



Аннотация

Книга А.Н.Кольева (А.Н.Савельева) посвящена исследованию феномена государства и государственной власти в связи с процессами становления и развития нации. Методология анализа основана на концепции политического консерватизма. Особенностью исследования является рассмотрение государства как культурной ценности и политического инструмента выживания нации. Все аспекты теории нации и государства рассматриваются исходя из целей защиты национальной безопасности России и сохранения жизнеспособности государствообразующего русского народа.

Книга адресована специалистам по теории государства, политикам и государственным деятелям, а также всем, кто ищет разрешения проблем современной России, путей сохранения ее самобытности и возрождения ее государственного могущества.

ТЕОРИЯ НАЦИИ И ГОСУДАРСТВА

консервативная реконструкция

Предисловие

Глава 1. ПРОЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО

Границы политического
Схватка, а не свобода
Освобождение и обязывание
Научные тупики для нации и государства
Методологические замечания
Цели теории и цели России

Глава 2. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Определение невозможно, смысл познаваем
Государство, похищенное у Небес
Государство идеальное и реальное
Ни регресс, ни прогресс
Собирание единства во множественности
Неизбежность социальной иерархии
Пределы права
Общество против нации и государства
Государства и пространство
Россия как индивидуальное и особенное государство

Глава 3. ВЛАСТЬ И СРЕДСТВА ГОСПОДСТВА

Власть: миф и приказ
Фундаментальный феномен
Теория господства
Тирания – классическое господство
Монархия - истинная власть
Традиция над правом
Этничность власти
Аристократия и ведущий слой
Внушение лояльности
Особенности современных властных отношений
Власть как задача управления
Русская идея сильной власти

Глава 4. СУВЕРЕНИТЕТ

Теоретические проблемы определения понятия «суверенитет»
«Классическое» понимание суверенитета
Народный суверенитет и суверен
«Мягкий» суверенитет

Радикальная концепция суверенитета
Суверенитет и война
Проблема внешнего и внутреннего суверенитета
Русский суверенитет – теория и практика

Глава 5. ЦЕНТРАЛИЗМ И ФЕДЕРАЛИЗМ

Под прессингом федерализма
Разные федерализмы
Федерализм европейский и российский
Американский федерализм и его подражатели
Пропасть мультикультурализма
Имперский регионализм
Принципы федерализма и практика этносепаратизма
Концепции национального строительства и федерализм

Глава 6. ЭТНОС, НАЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ

Проблемы терминологии
Цивилизация, нация, государство
Национальная идентичность
Этническое смешение и этногенез
Национальное государство
Нация и этническая иерархия
Национальные меньшинства в судьбе государства
Нация и национализм
Язык нации и лингвистический этношовинизм
Особенности русской нации
Русский национализм
Этнополитическая доктрина для России

Глава 7. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Проблемы теории национальной безопасности
Варварство, этницизм, нигилизм, космополитизм
Мятеж бюрократии
Революция-преступление и революция-возрождение
Русская революция и русская нация
Возможность войны
Угроза глобального тоталитаризма
Военная доктрина и национальная безопасность
Армия победы
Военное и чрезвычайное положение
Духовно-нравственные проблемы войны и безопасности

Глава 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА

Марксистское государство
Либеральные взгляды на государство

Европейский политический романтизм и консерватизм
Государство и нация в доктрине «консервативной революции»
Доктрина фашизма и пропаганда нацизма
Русский консерватизм

Глава 9. ПАРТИЙНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА

Партийное размежевание как дифференциация стилей мышления
Социалистические и прочие «левые» модели государства
Либеральная модель государства и нации
Консервативная модель государства
Этатизм «партии власти»
«Клубные» концепции государства
Консервативный прорыв

Глава 10. СЛУЖЕНИЕ НАЦИИ И ГОСУДАРСТВУ

Культ создает нацию
Верность и измена
Русское служение
Национальная традиция и общечеловеческая «ересь»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В государстве больше нет необходимости. Такое суждение вряд ли покажется разумным человеку, далекому от политической науки и политологической публицистики. Ему вряд ли придет на ум усомниться в том, что государство по-прежнему остается ведущим понятием, когда речь заходит о политике. Хотя в политологических учебниках понятие «государство» все еще считается центральным, в последние годы стремительно накапливается материал, где это понятие отодвигается на второй план: якобы, государство – вымирающая сущность, лишняя в современном мире. Его замещают «федерализм», «глобализация», «мультикультурализм», «культура мира» и пр. И даже если на слуху высказывания высших чиновников об укреплении государства, реальная политическая практика – это «вхождение в цивилизованный мир», «развитие федерализма», «общечеловеческие ценности» и т.д. Наука о государстве в современном мире сильно угнетена – с одной стороны, публицистикой, паразитирующей на антигосударственных темах, с другой, – новомодными научными веяниями, предвещающими конец государства в силу его ненужности в эпоху глобализации.

Общемировой политической процесс делит жизнеспособные государственные организмы, создавая на их месте мелкий дребезг государств, где политики становятся торговцами, а измена – профессиональным качеством государственного деятеля. Происходит унификация – мировой жандарм покровительствует триумфальному шествию беспринципной бюрократии, учреждающей фиктивные демократии со скрытым олигархическим стержнем. Полисная система отдаленных эпох восстанавливается в новом виде – без естественной социальной иерархии, жизнеутверждающего социального мифа, полноправных граждан, без государства. Территориальное государство медленно умирает, не умея защититься от наплыва виртуальных практик, изводящих под корень волю граждан к реальной государственной жизни. Нарастающая численность бюрократии, рассеивающей политическую энергию в усложняющихся бессмысленных процедурах, стирает из сознания смысл человеческой коллективности – индивидуализм сопровождается ростом паразитического слоя, обслуживающего политические имитации взамен реальным политическим процессам. Место гражданина – общественного существа – занимает «политическое животное». В таком распаде социальности иным ученым видится особая новизна,двигающая их к пересмотру всех прежних достижений человеческой мысли и обнаружению современности как изолированной от истории реальности, которую следовало бы даже называть постсовременностью.

Новация является врагом научного метода, когда она перевешивает традицию, а поток модернизаций смывает прежние знания. Именно такие новации обрушились на политологию, превратив ее в большинстве проявлений в антигосударственную или просто праздную мысль. Столетия интеллектуального напряжения лучших умов человечества теперь составляют предмет для уничижительной критики либо избирательного цитирования вкупе с недобросовестными интерпретациями. Все – и история, и научная мысль – будто бы говорят против государства. И только занятая своими повседневными делами публика не замечает, что государство, в надежности которого привыкли не сомневаться, уже сдало свои позиции. Общественные нестроения относятся на счет непродуктивной политической конкуренции, эгоизма кланов и происки авантюристов. А исчезновение государства, происходящее на наших глазах, не затрагивает сознание.

Нигилистическое отношение к государству за десятки лет превратилось в дурную псевдотрадицию. Теперь соответствующие умозрения материализуются в законодательной практике и деятельности административного аппарата, подминающего под себя все элементы государства и лишая их прежнего содержания – парламент – не парламент, суд – не суд, армия – не армия... В России это особенно явно видно по ничтожности политического класса, отдавшегося в руки чиновничества и штампуемого

законы, которые некому исполнять, а также по стойкой уверенности чиновников, что государство – это они.

Антигосударственная направленность современной политической науки требует одновременно восстановления в правах прежних представлений о государстве – только таким образом можно вспомнить о способах обеспечения жизнеспособности государства – и своеобразной «консервативной революции» – решительного возвращения к истокам знания и критического пересмотра множества новаций. Это особенно важно для российской государственности ввиду реальной опасности распространения нигилистических учений, которые питают общественные настроения, в свою очередь формирующих извращенную политическую культуру, ни в грош не ставящую русскую традицию. Насущной задачей для ответственного исследователя общественных процессов является восстановление традиции в своих правах – оправдания исторического пути русского государства и возвращения позитивных оценок мировой философской классики в области теории государства.

Теории государства приходится возрождаться на развалинах того социального строя, который становится отправной точкой для исследователя. И сегодня ясность теории во многом может определяться видением краха государственных систем, извращения политическими режимами самой сути государственности. Это тот «опыт зла» (И.А.Ильин), которому продолжает подвергаться человечество во все возрастающих и становящихся непосильными объемах. «Опыт зла» важен и для науки, но не всякий исследователь готов признать регресс, когда вокруг все говорят о прогрессе и общественность стремится доказать свою прогрессивность, чем подчеркнуть следование некоей «общечеловеческой перспективе».

Многомерность современного государства создает для политической теории немало проблем, прежде всего, проблемы удержания частного и всеобщего, общечеловеческого и самобытного, традиции и развития. Все они, как и многие другие, высвечиваются в теоретических подходах к концептам власти, суверенитета, нации, которые создают «магический треугольник» вокруг фрейма «государство», и, взаимодействуя, формируют некую теоретическую «ауру», без которой рассматривать государство невозможно (духовно-нравственную, общественную, правовую, территориальную, национальную). Ни одна из указанных характеристик не может не быть оспорена и сохраняется как важный аспект государства. Казалось бы, ни одна не может быть также и абсолютизирована, выдана за исчерпывающую или главнейшую характеристику во всех случаях. Тем не менее в теории государства существует выделенная позиция – проблема нации.

Состояние российской политической культуры таково, что термин «нация», если и стал достаточно часто звучать в риторике политических деятелей и научных публикациях, зачастую остается столь же расплывчатым и многозначным, как и термин «народ». У политиков термин «нация» также служит заменой термина «государство» (государство как бы делится на власть и нацию), а ученые используют его как наукообразную замену термина «население», «граждане» или (реже) «гражданское общество». Общим свойством данного словоупотребления является избегание всякой этничности и выделение этнических проблем в особую тему, где предметом изучения становятся в основном проблемы национальных меньшинств. В результате основа нации, государствообразующий народ с его традициями и идеалами исчезает из рассмотрения. Любая попытка вернуть его в научные и политические дискуссии вызывает совершенно несостоятельные обвинения в «национализме». Цена такого политизированного подхода – игнорирование огромного корпуса зарубежной и отечественной научной литературы, посвященной нации и этносу, национализму и национальному государству. Возвращение его в научный оборот – отдельная задача. Но и с точки зрения теории государства, обращение к идее о нации и исследованию национализма представляется чрезвычайно важным.

Уберечь разодранную смысловую ткань науки о государстве, восстановить значение понятий в их системной взаимоувязке – требование политической теории. И основная задача – объединить нацию и государство, отлученные друг от друга и оплеванные в многотиражной публицистике и на страницах учебных пособий. Причем таким образом, чтобы вторичным результатом не оказалось разрушение апологетической концепции российской истории и русской культуры. Обратное означало бы предательство своего народа и собственного государства, на которое так легко идут иные критики российского исторического опыта.

Исходя из такого понимания научной задачи, придется направить свои усилия не к окончательному академическому виду теории государства, а напротив, к определенному авангардному проекту будущей России, к «русскому прорыву», в котором нация отвернется от заведомо тупиковых стратегий развития, оправданных только абстрактной «гуманностью» и досужими умозаключениями, рассчитанными на неискушенных любителей теленовостей и «желтого» чтива. Русский прорыв может быть только инициативой стратегической элиты, способной сформировать истинную аристократию – ведущий слой общества. И не убедить в бесплодных и бесконечных дебатах массу обывателей, а увлечь (если надо, и принудить) ее к спасению и сохранению России как к делу спасения и сохранения собственной жизни.

Кража смыслов, ставшая болезнью российской общественности, грозит любому понятию, прежде всего, со стороны примитивных либерально-гуманистических интерпретаций, которые перед лицом неизбежного снятия идеологических табу перехватывают политический дискурс и пытаются притянуть любое свежее слово к пропавшим двухсотлетним нафталином идеям Французской революции и эпохи Просвещения. Так же происходит и со словом «консерватизм», которое наперебой нагружают совершенно чуждыми смыслами, доходя до абсурда: консерватизм, мол, – то же, что и либерализм, только «покруче», поскольку находит-таки для государства достойную роль москвы на поводке гражданского общества.

Подмена консерватизма оторванной от традиции идеей «сильного государства» ничего не меняет ни в либеральных, ни в «левых» идеологиях. Они незыблемы и едины в главном – в отрицании исторической России и желании заменить ее проектом «новой России», отбросившей все, созданное нашими предками, как несущественное. Им не понять, что консерватизм – это жизнь традиции в современности, что государство существует не для удовлетворения частных капризов, а для воспроизводства нации. Поэтому их идеи по отношению к нации и государству – это перелицованные идеи нигилистов и анархистов.

Консервативная реконструкция государства сначала в теории, а потом в практике противодействия разлагающему нигилизму и анархизму требует энергичного обращения к понятию «нация», еще только приобретающему в публицистике и науке позитивную смысловую нагрузку, а до этого употребляемому исключительно в негативистском ключе. Мысль о нации должна подкрепить мысль о государстве и придать последнему сущностную определенность и конкретность прикладных аспектов, необходимых для видения стратегических перспектив России.

Реальность России – вот продукт теории нации и государства, в котором должна соединиться классика государственной мысли и современность – идеи и смыслы, востребованные самобытностью русской исторической славы и сегодняшним временем нашей гибели.

Глава 1. ПРОЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОГО

Границы политического

Нужен ли нам критерий отделения политического от неполитического? Сама по себе задача выдвижения такого критерия едва ли может кого-то вдохновить. Но сопоставленное с доктриной политики, то есть с научной концепцией и ее понятийной структурой, понимание политического выглядит делом необходимым. Размытость границ и сущности политического означала бы размытость самой концепции и невозможность ее применения к жизни. Рассматривая политическое как характеристику, относящую к политике, мы одновременно очерчиваем и содержание политики, где протекают процессы и действуют институты, несущие на себе как политические, так и неполитические черты. Политическое оказывается важным для того, чтобы не рассматривать социальные процессы и институты исключительно как политические и видеть в них неполитическое (или то, чему не следует быть политическим). В то же время политическое невозможно расценивать вне связи с его конкретным содержанием (средствами), специфическими целями и ценностями.

Американский исследователь Дэвид Хелд отмечает, что узкая специализация политических исследований и их замкнутость на институциональных вопросах приводят к односторонности и ограниченности анализа, а порой и к неправильному объявлению источников и форм правления в обществе¹. Хелд делит исследователей на две группы: первая ставит политику выше власти и соединяют политику с другими формами человеческой деятельности. Политика универсализируется вне зависимости от институтов. Другая группа связывает концепции политики в большей мере с государством, его взаимоотношениями с другими государствами и с гражданами. В целом сфера политики оказывается неопределенной, поскольку научный дискурс включает обе группы исследователей, а также тех, кто мигрирует из одной группы в другую². Линия разделения во взглядах на политику, прочерченная проблемой политизации и деполитизации экономики (вплоть до утверждения полезности только сугубо частного владения средствами производства), проходит между марксизмом и либерализмом. Либерализм выделяет мир политический, обособляя его от гражданского общества, а экономику рассматривает как результат свободных частных договоров вне связи с государством. Марксизм, напротив, видит связь между экономикой и государством. Тем не менее, марксизм также выделяет политику, обособляя ее по другому критерию – по критерию классовых отношений. В частности, из политики исключаются межэтнические и этнические процессы, взаимоотношения бюрократии и ее клиентов, избирательный процесс и деятельность избирательных институтов. Оба идейных направления не ограждены от злоупотреблений в рамках собственных же доктрин: либерализм может сжимать политику до ничтожной сферы, в которой он готов видеть государство как «ночного сторожа», а марксизм склонен к внедрению политики во все сферы жизни за счет распространения на них классовых интересов. Обе эти точки зрения и оба варианта непонимания политического противостоят консервативной традиции, в рамках которой осознается подвижность границ политического и опасность как последовательной политизации, так и последовательной деполитизации общества.

Сужение понимания политического, с одной стороны, подрывает возможности учета сложного взаимовлияния различных проблем нации и межнациональных отношений. В то же время, «неограниченная» концепция политики чревата невольной политизацией всех сторон жизни нации и даже жизни частного лица. Разумно полагать, что «неограниченность» политики – ее потенциальное свойство. То есть, политику можно обнаружить всюду, но в некоторых отраслях общественной жизни ее не должно быть или она присутствует там от случая к случаю. В то же время есть и ядро политического, где

¹ Хелд Д. Введение редактора// Современная политическая теория, М.: NOTA BENE, 2001.с. 18.

² Там же, с. 19.

политика присутствует всегда или должна присутствовать всегда. Таким образом, исследователь обязан делать выбор между изоляцией политического и ее расширением применительно к конкретному случаю, в котором он оценивает 1) наличие политического в тех или иных сферах жизни в данный момент, предполагая как возможность присутствия политики во всех сферах жизни, так и возможность их деполитизации; 2) продуктивность политизации тех сфер жизни, где политическое фиксируется в данный момент и там, где оно отсутствует.

Влияние на политику того или иного жизненного аспекта означает, что политика затрагивает эту сферу жизни. К примеру, если конкретный частный интерес влияет на политику, то этот частный интерес, бесспорно, политизирован. Но где проходят границы политического? Похоже, в современном мире они перестают ощущаться и понимание политического исчезает, замещаясь в головах мыслителей и граждан странной смесью повседневного цинизма и морализаторства.

Немецкий социолог Ульрих Бек пишет: «...непременно возникающее сегодня в любой публичной дискуссии пугающее слово “глобализация” говорит не столько о закате политики, сколько о том, что политическое вырывается за категориальные рамки национального государства и даже из ролевой схемы того, что считалось “политическим” и “не-политическим”»³. И здесь все вполне в духе постмодернизма, превратившегося из литературной экзотики в извращенную форму умствования. Политическое оказывается всюду и нигде, одновременно все и ничто.

Современная политическая теория и теория государства до сих пор не смогли ничего сказать толком о трансформации государства в эпоху глобализации. Прежние теории межгосударственных отношений (либеральные и марксистские) оказались для этого непригодными. Сложившаяся методология, обособляющая международную жизнь от внутригосударственной, непродуктивна именно в связи с глобальными процессами, стирающими грань между внутренним и внешним. Теория глобализации как бы не принимает во внимание государства и не требует его существования – перескочив через реальность, она стала утопией безгосударственного мира.

Непонимание политического превращает политическую науку в увлекательную игру - в поиск нового определения, которое должно отбросить как ненужный хлам тысячелетние усилия человеческой мысли. Зазнавшееся поколение политических философов последних десятилетий полагает, что открывает в человеке и обществе нечто принципиально иное. Между тем, амбициозные научные замыслы падают на почву, удобряемую бюрократией и системой массовой информации, которым совершенно не нужно понимать политического и желательно лишить граждан такого понимания – именно в таком состоянии подвластный наиболее удобен, поскольку превращен в бездумного потребителя организационных и информационных «услуг». Таким образом, научная мысль становится соучастником покушения на человека социального и на его мир – мир государств и наций. На свалку истории так называемая «современная наука» предлагает выбросить весь массив культуры, так или иначе отражающий сущность политического – историю государств и мысли лучших умов человечества о государстве. Больше всего не по нутру такой науке то, что сущность человека определяется через политику, а сущность политики – через нацию и государство. Соответственно альтернативной научной парадигмой является восстановление политических смыслов, начиная «от печки» – с осмысления государства.

Государствоцентричное определение политического идет от Платона, который видел политику как «царское искусство», как искусство управлять всеми иными искусствами (ораторским, военным, судебным и т.д.) и «уметь оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими» (Политик, 297 b). Центральным понятием в платоновском понимании становится *благо* – только «знание блага» дает в руки

³ Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001.

властителю искусство политики. И это – истинная политика, в отличие от публичных споров софистов. Причем речь идет только о государстве, которое присутствует всюду вне семьи–рода и храма. Чем и очерчивается область политического. Таким образом, должным (целью и ценностью) полагается *благо*, а инструментом его – государство (который с некоторой натяжкой нам приходится считать у Платона сущим, сросшимся с содержанием политики).

Аристотелевская линия, напротив, расширяет понятие политического: поскольку политика составляет человеческую природу, человек есть существо политическое. Вместе с тем, сущность раскрывается не сама собой, а участием человека в общественной жизни, где реализуются все его достоинства и достигается *высшее благо*.

Древнегреческие философы понимали политическую науку как знание о правильном и мудром правлении. Средневековые подхватили эту установку, а в идеях Макиавелли «технизировала» ее до уровня универсальных рекомендаций, произвольных по отношению к ценностям и личным качествам правителя. Ценности оказались отделенными от управленческой эффективности, должное – от сущего. Главным содержанием политики становится борьба за власть, понимание политического приобретает конфронтационный смысл. Ключевым понятием политики определяется *власть*.

Продолжая интеллектуальную традицию Нового времени Макс Вебер определяет политику как лидерство государственного аппарата или влияние на это лидерство (или шире – как самостоятельное руководство политическим союзом⁴). Политика означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти. И здесь должное уже не просто отделено, а заменено сущим – реальной картиной политики, в которой есть конкуренция, конфронтация, борьба. Также и у Маркса политика как борьба классовых интересов принципиально конфронтационна, а государство – лишь средство этой борьбы. Ключевым понятием политики остается *власть*.

Согласно древнегреческой традиции условием политики является свобода, ибо государство – союз свободных людей. Свобода не абсолютизируется – она лишь условие политики, а политика – лишь средство. Целью же является *благо*. Впоследствии европейская мысль поставила в центр понятийной схемы *свободу*, превратив ее в цель политики, а в практическом осуществлении ценностей свободы оказалось, что целью становится уже само средство – технические решения (власть), ситуативно понятая необходимость.

Понятие политического не может увязываться с другим единственным понятием, что просто замещало бы его. Поэтому, когда древние греки говорили о *благ*е, они знали о процессах, препятствующих его утверждению. Также к понятию о *власти* прибавляется понятие *свободы* и складывается их оппозиция – стеснение и противодействие стеснению (стеснению стеснителя). Когда же свободу становятся центральным понятием, тогда властному стеснению отказывают в праве называться политическим и только за свободой от государства признают действительно политическое содержание.

Неконфронтационное понимание политического обуславливает выделение в политике определенной системы, в рамках которой объявляется достижение общих целей или общего блага. Подспудно предполагается, что есть нечто, препятствующее общим целям, – другие общества и политические организмы. Но их признают участниками политики только, если они готовы присоединиться к тем, кто уже достиг консенсуса. (Понятно насколько конфронтационным при этом будет «неконфронтационное» понимание политического!)

Коммуникативная модель политического также направлена на затушевывание конфронтационности – политика рассматривается как социальная коммуникация, в которой власть остается лишь одним из субъектов коммуникации с некоторыми

⁴ Вебер М. Политика как призвание и профессия// Вебер М. Избранные сочинения. М., 1990.

дополнительными возможностями в правовых установлениях. В концепции Николаса Луманна⁵ указывается, что власть выступает как медиум коммуникации. Это означает выделенность властной позиции и возможность борьбы как вокруг нее, так и с ее помощью.

Знаменательно, что свою работу «Понятие политического»⁶ Карл Шмитт начинает с вопроса об определении сущности государства, которое затрагивает все политические теории. И от этого вопроса о государстве переходит к более общему – о политическом: «Государство, по смыслу самого слова и по своей исторической явленности, есть особого рода состояние народа, и именно такое состояние, которое в решающем случае оказывается главенствующим, а потому, в противоположность многим мыслимым индивидуальным и коллективным статусам, это — просто статус, статус как таковой. Большого первоначально не скажешь. Оба признака, входящие в это представление: статус и народ, — получают смысл лишь благодаря более широкому признаку, т.е. политическому,— и если неправильно понимается сущность политического, они становятся непонятными».

Французский мыслитель Жак Эллюль также понимает политическое как предмет и сферу общественных интересов, созданных и представленных государством, а политику – как деятельность относительно этого предмета, выраженную в поведении общественных групп⁷. Поэтому политика мыслится им как состязание между группами, претендующими на разрешение поднятых в обществе проблем. Эллюль соглашается с мнением других исследователей, согласно которому политика есть совокупность поведенческих моделей и институтов, регулирующих общественные отношения и создающих как сам властный контроль, так и конкуренцию за обладание силой власти.

Если в европейской политологии консервативная линия продолжает различать в конфликт и конфронтацию, то западная политология в целом стремится дать свое понятие политического и, возвращаясь к *должному*, удаляет из понятия политического конфликт, а вместе с ним – *государство* и *власть*, будто бы, принципиально не способные приблизиться к идеалу *свободы*. Государство и власть конфликтны и конфронтационны как вне, так и внутри себя – они сами собой представляют причину и инструмент политической борьбы, которую западная политология стремится заменить консенсусом и компромиссом.

Примером такого произвольного замещения и удаления власти и государства из политической теории является концепция политического Э. Фольрата, который называет для определения политического три критерия: общность, публичность и свобода⁸. Тогда политической становится та политика, которая основана на законе, преследует общественные интересы и не покушается на свободу личности. «Политическая политика» противопоставляется недостойной называться политикой «неполитической политике». Образовавшаяся нелепость составляет некий невысказанный «консенсус» западной науки (а теперь уже и официальной российской науки), оторвавшейся от реальности.

Стремясь к конкретно-политическим исследованиям западная политология не желает вникать в такие проблемы, оставляя полемику по поводу понятия политического на обочине. Одной из работ, которая все же обращается к данной теме, является статья Агнес Хеллер «Пересмотренное понятие политического»⁹, в которой критикуется подход Карла Шмитта как «полностью тиранический» и предпринимается попытка поглотить его за счет уравнивания миротворческой интерпретацией политики Ханны Арендт

⁵ Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001.

⁶ Шмитт К. Понятие политического// Вопросы социологии, 1992, №1.

⁷ Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. С 27.

⁸ Цит по Костюк К. Понятие политического в истории мысли и современной науке// Социально-политический журнал, 1999, №3.

⁹ Хеллер А. Пересмотренное понятие политического// Современная политическая теория, М.: NOTA BENE, 2001.

(политическое = пространство свободы, политика = свободное действие, власть = свобода)¹⁰.

Шмитт, ссылаясь на Х.Плеснера, говорит: нет такой философии и нет такой антропологии, которые бы не были политически релевантны, равно как и нет, наоборот, философски иррелевантной политики. Потому что «философия и антропология как знание, специфическим образом направленное на *целое*, не могут, в отличие от какого-нибудь специального профессионального знания в определенных "областях", нейтрализовать себя против "иррациональных" жизненных решений».

Политический характер исследования, таким образом, будет определяться не темой, а направленностью в конкретной ситуации - «за» или «против» кого-то. Утрачивая актуальность, результат исследования остается политическим лишь в силу его применимости «за» или «против» кого-то в новой политической реальности или в руках нового политического субъекта. Универсальность политики, ее единотипичность во все времена позволяет сохранять политический характер множеству произведений прошлого. Даже их критика (как критикует, например, Карл Поппер Платона) ничего не меняет – это выражение позиции «за» или «против», но лишь с изменением полюсов оценки. Политический характер критики сохраняется.

Различные концепции политического, переплетаются, или снова расходятся в опровержениях друг друга – дискуссия идет сквозь эпохи и культуры. И получается, что «чистая» концепция политического либо нечто совершенно далекое от политического мышления – некая пресная философская истина, либо «чистых» концепций несколько и весь политфилософский язык они понимают по-разному – в соответствии со сверхзадачами политических доктрин. Философия оказывается при обсуждении политического частью самого политического, и здесь угадываются фундаментальные разделительные линии.

Хеллер говорит о трех независимых логиках любого обсуждения: путь к столкновению, состояние сосуществования и состояние сотрудничества. В первом случае политическое ясно очерчено и видны проблемы современности – размывание представлений о политическом, деполитизация мышления, департизация политической конкуренции, бюрократизация государственной машины и др. В последнем случае «логика сотрудничества» затушевывает вопрос о целях сотрудничества и политизирует те вопросы, которые по смыслу должны иметь минимальную концентрацию политического. Промежуточный вариант «логики сосуществования», с одной стороны, лишает политическое конфронтационного содержания, с другой – тормозит выработку выраженного понятия о «своем». «Сосуществование» одинаково прохладно и к «своим», и к «чужим».

Если в первом случае мы имеем дело с конфронтационной логикой и органичными оппозициями мы/они, национальным пониманием политического, то во втором – с консенсусным, глобалистским, бюрократическим и поверхностным пониманием политического. Промежуточный случай чреват как неорганическими оппозициями (например, классовыми), так и поверхностной идеологией в сочетании с двойным стандартом, мечущимся между национальными и интернациональными ценностями.

Введение *свободы* в понятие политическое (политизация свободы или либерализация политики) означает деполитизацию мышления, департизацию политики и превращение политических институтов в фикцию, используемую денационализированной бюрократией, а научных понятий – в обыденные метафоры. В случае введения *справедливости* в качестве ключевого понятия в политическое, деполитизация мышления, очевидно, остается, но политика становится партийной и система управления политизируется, становясь частью партии – фиктивным становится мировоззрение,

¹⁰ Арендт Х. Традиции и современная эпоха.// Вестник Московского Университета. Серия 7: Философия, 1992, №1.

подменяемое омертвевшей и застывшей идеологией. Оба случая – скорее уж не логика, а политика, политическая позиция, намеренная прикинуться безопасной логикой.

Консервативное понимание политического центральным понятием полагает *нацию*. И от этого понятия «вширь» выстраиваются разнообразные понятия, описывающие оппозиции с другими нациями, в «вглубь» – оппозиции между национальными и антинациональными, государственными и антигосударственными силами. Здесь логика и политика совмещаются в одно и понимание политического вполне логично. Логика политики, в то же время, отличается от логики политической науки. Логика политики – политические мифы¹¹.

Логика консенсуса и сотрудничества в политике отражает непонимание политического. В интегральной, расширительной схеме толкования политического конфронтационная «логика» говорит о сущности и понимании политического. Если речь идет о модели сотрудничества и сосуществования, понимание утрачивается. Непонимание политического начинает играть особенную роль – оно усиливает конфронтационность ввиду незнания о диспозиции сил, «своих» и «чужих», попыток выдвигать для тех и других одни и те же этические доводы, утраты представлений о ведущих политических субъектах и особенностях их функционирования.

К политическому относятся такие черты, которые объект нашего внимания приобретает в результате острого конфликта, имеющего публичное выражение, и доведенного до такой стадии, в которой претензии предъявляются не к идеям, а к личностям или политическим субъектам. Причем они выражаются на языке политических ценностей (национальное и антинациональное, государственное и антигосударственное; в ином идеологическом наборе – ксенофобия и солидарность, авторитаризм и демократия и т.д.), в сюжетно оформленной политической парадигме – политическом мифе. Именно миф обеспечивает этическому противостоянию долговременность и системность. Но миф становится политическим, если проистекает из политического класса, который и определяет уровень политического сознания масс. Миф масс – ничто без магии вождей¹².

Война – квинтэссенция политического. Политика – всего лишь сублимированная война¹³, она ищет иные методы уничтожения врага, когда запрещено применять открытое насилие. Только в кризисном обществе воинская служба становится аполитичной, поскольку нация забывает себя, утрачивая представление о собственных врагах. Если у нации нет врагов, то близится ее конец, а до этого – конец армии. Вместе с тем армия как институт является последним аргументом политики, единением нации, и в этом смысле в армии не может быть партийных страстей, иначе партийная склока сломает государство, призванное ограничить открытое насилие и учредить политическое как таковое в рамках государства.

Есть ли сферы жизни принципиально неполитические? К таким относится все частное, интимное, например, любовь, а также все, что предполагает искреннее сотрудничество, например, научное творчество, даже если оно совершается через спор. Или производственный процесс, труд как таковой. К неполитическому относится все, что использует для принятия решений консенсус и сотрудничество, где конфронтация подлежит систематичному изживанию. Бесспорно, вне политического находятся религия, традиционная семья, точные и естественные науки. Политического нет и в социальных науках, пока та или иная тема, поднятая учеными, не стала предметом обсуждения и публичного столкновения интересов, и в военной стратегии и не должно быть в управлении войсками. В противном случае умножение жертв среди своих солдат становится неизбежным.

Пока есть консенсус в восхищении или равнодушии, аполитична и культура. Если же культура делит людей на группы, расходящиеся в своих оценках к полюсам

¹¹ См. *Кольев А.* Политическая мифология. М.: Логос, 2003.

¹² См. *Кольев А.* Миф масс и магия вождей. М., 1999.

¹³ Пьер Бурдьё писал о «сублимированной гражданской войне» между политическими партиями.

«безобразное»/«прекрасное» и публично выразивших свою позицию, политика проникает и сюда. В нормальном состоянии культура аполитична, когда она – классика, а смыкается с политикой только в авангардных экспериментах.

Сфера обыденного также является неполитической, даже если в ней присутствует повседневное чтение политических газет и просмотр политических телепередач. Обыденность носит частный характер. Только разрыв обыденности ведет индивида к участию в политическом процессе.

Понимание политического означает определенный выбор – требование не пустить политическое туда, где его заведомо не должно быть; регламентировать его проникновение туда, где оно может появляться от случая к случаю; наконец, не выпустить политического оттуда, где без него жизнь фальсифицируется и увядает. Последнее особенно важно в условиях кризиса, когда политическое иссякает там, где оно должно быть, прежде всего, в представлениях нации о самой себе и государстве, о своих интересах и средствах защиты собственной безопасности.

Схватка, а не свобода

Популярная этическая позиция состоит в том, что мы боремся не с людьми, а со злом в них. Но является ли эта позиция хотя бы в каких-то аспектах политической? Политической она станет тогда, когда мы начнем бороться с конкретными злыми людьми – пусть и не различимыми в персональном статусе, но объединенными как персоны неким злым началом в деятельные группы.

Притом что «образ врага» всегда конкретен и персонифицирован, политический человек не может иметь индивидуальных черт – его позиция приобретает вес лишь в сочетании с аналогичными позициями, утратившими личную окраску. У политического лидера, приобретающего популярность, проявляются те личностные черты, которые отражают консолидированные чаяния его поклонников; в личности лидера теряется различие между личным и коллективным, его дар соединяет одно с другим. Интересы частного индивида могут быть прагматичными только в одном смысле – в смысле дезориентации политического противника.

Для Карла Шмитта критерием политического является некоторая *интенсивность противоположности*, которая приобретет политический смысл вне зависимости от изначального содержания противоположности – религиозного, морального, экономического, этического. Как только зафиксировано образование групп друзей и врагов, можно говорить о присутствии и политического.

Но этого мало. Шмитт выделяет два фактора, которые отделяют частную вражду от политической: враг, во-первых, есть *борющаяся* совокупность людей, противостоящая точно такой же совокупности; во-вторых, борющаяся *публично*. При этом у политики нет собственного содержания. Оно поставляется в политику той проблематикой, по поводу которой между группами ведется непримиримая борьба (внешне, возможно, корректная и регламентированная).

Шмитт не учел того, что публичность не исключает лукавства и тайных операций против врага. Если действие не имеет публичного измерения, канала, по которому сведения о тайном перетекают в область явного, то такое действие не может считаться политическим. Именно такие каналы являются источником лакомой информации для публики и политиков – к ним приковано политическое внимание, стремящееся расшифровать замыслы противника. Непубличность – особого рода политическое лукавство. Оно также может быть политическим, поскольку предполагает публичные изменения, но при скрывании их причин.

Публичность может быть востребована уже после того, как схватка состоялась и выявила новый расклад сил. Тогда результаты предъявляются публике, чтобы их легитимировать и соединить тайное и явное. Речь идет не о создании политического актом

публичности, а о формировании нового политического субъекта, в котором политическое разных субъектов сливается в одно целое.

Хеллер также говорит о публичности как о критерии политического – все «становится реально политическим, если люди решат, что это должно обсуждаться, оспариваться, решаться в общественной сфере; подобным образом все может перестать быть политическим, если все это снять с общественной повестки дня»¹⁴.

При этом американский политолог делает явную ошибку – публичность возникает не потому, что кто-то решается обсуждать. Акт терроризма совершается намеренно, публично и таким образом, что его нельзя снять с повестки дня. А политическое убийство вообще может не преследовать публичных целей, вносится в повестку дня независимо от чьей-то готовности его обсуждать. Состояние общества таково, что убийство обсуждается, попадая в область политического, и именно потому совершается, что непременно попадет в эту область.

Для Хеллера спор – лишь один из вариантов публичности, один из видов проявления политического. Для Шмитта спор – ключевой признак политического. Именно за это звучит упрек в его адрес: за приписывание политическому акту бинарной и персонифицированной категории «друг/враг». И здесь сказывается противоречие в глубинных философских основах позиции, которые у двух авторов принципиально различны. Хеллер все время пытается подменить реально-политическое должно-политическим. Шмитт относит свою позицию к политической конкретности, требующей объекта приложения усилий и видимого ориентира для направления действий. Невозможно, например, бороться с бюрократией вообще, необходима конкретность института или персоны. «Что-то» может только дать импульс для неприятия «кого-то», но само «что-то» отходит на задний план, а «кто-то» становится средоточием многих «что-то» - образом врага.

Хеллер полагает, что к политическим понятиям можно отнести речевые акты, направленные на взаимное понимание. Шмитт, напротив, считает, что все эти, представления и слова имеют *полемический* смысл. Следовательно, как только политический текст направлен не на консолидацию «своего» и оппонирование «чужому», а на некое всеобщее понимание, он ослабляет свою политическую сущность или вовсе ее утрачивает (если не встречает сопротивления).

Представим себе два крайних сценария: 1) постепенное изживание конфронтационности в политике и превращение политики исключительно в публичные акты, направленные на взаимное понимание и совместное действие ради общего блага; 2) постепенное обострение политической конфронтационности до полного неприятия и отстранения от «чужого». В первом случае возникает наивная утопия единого человечества, во втором – мрачная трагедия фрагментации человечества на обособленные группировки, живущие сами по себе и не желающие иметь ничего общего с «чужими».

Обе указанные концепции реализованы в представлениях о политическом.

В книге «Открытие политического» Ульриха Бека¹⁵ говорится о принципиальном *изживании различий* правых – левых, консерваторов – либералов, национального – интернационального (т.е., о слиянии и неразличении «своего» и «чужого»). Разделение, специализация и однозначность будто бы заменяются в XX в. сосуществованием, множественностью, неопределенностью, синтезом и амбивалентностью. Индивидуализм вытесняет традиционные политические институты, самоорганизующиеся группировки индивидов отстаивают свои интересы помимо государства. «Политическая констелляция индустриальной эпохи становится неполитической, в то время как то, что в индустриализме было неполитическим, становится политическим. Речь идет о

¹⁴ Хеллер А., Пересмотренное понятие политического// Современная политическая теория. М.: NOTA BENE. С. 476.

¹⁵ Bek U. Die Erfindung des Politischen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1993.

категориальном смещении политического при постоянных институтах и сохранивших свою целостность властных элитах».

В концепции немецкого социолога Томаса Майера («Упадок политического») говорится, что политическое все больше устраняется из политики, жизнь и политика отчуждаются друг от друга. Органическое единство утрачивается вследствие *нарастания специализации и раздробленности*, политические процессы рассогласуются и автономизируются. И здесь также нет места схватке, борьбе, конфликту интересов.

Объявление прежних политических институтов и явлений низложенными и введение в политику исключительно новых элементов (низложение истории, но в сочетании с печальным признанием фатального расхождения жизни и политики), говорит об утрате политологической мыслью связи с живым током истории, с реальной политикой, которая не знает разграничения между минувшим и современностью. При всей поляризации взглядов и различиях в отношении к действительности между либералом Беком и социал-демократом Майером, они видят ее одинаковой: один ужасается трагедии углубляющегося раскола мира, другой видит в множащемся разнообразии предвестник новой эпохи, когда политикой будут заниматься транснациональные партии «граждан мира», а не государства.

Обе концепции можно считать образцами непонимания политического – в них не признается возможность обращения процесса вспять: от разделения к объединению, от единения к отчуждению и т.д. Но именно такой возвратный процесс и есть признак политического – группы «своих» постоянно образуются и распадаются, имея против себя такие же то возникающие, то исчезающие группы «чужих». И ни один из поворотов этого процесса, с точки зрения стороннего наблюдателя, не подлежит этической оценке: он не плох и не хорош, он реален. И только при отнесении себя к одной из групп, можно огорчаться по поводу утраты единства или радоваться укреплению такого единства. Что мы и видим в исключительно «партийной» позиции вышеуказанных авторов. Отказываясь признавать политическую схватку (по разным причинам), они тем не менее остаются участниками такой схватки.

Политическая схватка между сторонниками различных концепций достигает определенной интенсивности и тем самым становится фактором политики. Но в какой момент чисто научная публикация приобретает политическое звучание? Только тогда, когда она организует группу «своих» и «чужих» и интенсивное противостояние между ними. Напряженность противостояния производит политическое, как только оппонирующие группы начинают добавлять в полемику *этические оценки* – это и означает, что необходимая интенсивность противоположности достигнута, и аргументация уже работает не на понимание между оппонентами, а на противостояние. Но политика идет дальше – от этического неприятия противника к обвинению его в умственной неполноценности и до физического отвращения к врагу – враг всесторонне безобразен и является как бы подделкой под человека. Разрешенный конфликт, выявивший победителя, возвращает противостоящим сторонам человеческие черты – победитель оказывается уже потому прав, что победил, поверженный вновь обретает человеческие черты потому, что был в состоянии противостоять победителю.

Этические оценки в политике очень часто смущают ученых, которые именно в этике начинают видеть политическое. При этом единство этического языка выдается за потенциальную возможность предотвратить любой политический конфликт и путем переговоров признать общность позиций и интересов. Упускается из виду, что этические оценки лишь оформляют конфликт и выражают неприятие противника, когда кончаются иные аргументы в обосновании своей позиции.

В неполитических сферах жизни привлечение этических категорий означает вполне возможное приобретение предметом нашего внимания политических характеристик. Для того, чтобы выражать именно политическое, этические нормы должны представляться, во-первых, в определенной системной форме, во-вторых, прилагаться не

только к какой-то конкретной ситуации, но и иметь определенную «историю». Только тогда получается, что плох не аргумент «врага», а сам «враг», все доводы которого систематически не выдерживают критики. «Враг» становится элементом «картины мира», а не причиной случайного раздражения или стычки.

Публичные спортивные состязания носят обычно легкий политический оттенок, когда представляют собой борьбу за национальный престиж. Как только речь идет не об отдельных спортсменах и не результатах, а возникает тема представительства той или иной страны, можно ожидать явления политического. Но пока нет этических претензий к соперничающей стороне, политического в спорте все же нет.

Политика может вторгаться везде, но в неполитической сфере она либо разрушает сами основы жизни (например, семью), либо носит случайный и временный характер. Добиться системности и конкретности этических претензий к «врагу» можно только формируя *политический миф* – аналог архаического мифа, потенциально присутствующий в любой человеческой практике.

Для политической философии в целом трудно согласиться с концепцией «друга/врага» как слишком уж овеществленной. Враг индивидуален, а индивидуальность вещи или явления требует уникального описания. И тогда философия переходит в миф с уникальным и варьируемым контекстом и своими героями.

Обратная проблема у политической науки – абстрактность и избыточный охват всех типов конфликтности в отношениях «свой/чужой» как бы уводят конкретно-политические исследования от результата, от анализа институтов и процессов, которые в современном мире кажутся увязанными в систему, удобную для кодифицированного изучения.

Об этом пишет Агнес Хеллер: «Понятие политического пришло спасать политическую философию после того, как она стала жертвой слишком большого количества наук, слишком многих компромиссов, слишком многого реализма»¹⁶. Тем самым мифологическое возвращается в политику через философию, и это совсем не по душе американской исследовательнице: «...парадигма коллективной сознательности (или коллективного бытия) разрешает подавление индивидуального сознания и свободы. Понятие коллективного экзистенциального выбора мифологично, потому что оно воспринимает современную коллективность, например нацию или класс, в терминах индивидов, одиночного человека гигантского измерения, с мощной силой и единой волей. В этой философии мир переносится на новый Олимп, где разыгрываются героические драмы. Если довести ее до логического конца, то эта концептуальная операция в результате приведет к полному краху ощущения реальности»¹⁷.

Для Карла Шмитта связь теологических и политических предпосылок мышления совершенно ясна. Эллюль также отмечает, что чувство религиозного обновления теперь подменено участием в политике. Партии подбирают то, что теряет церковь, и заменяют религиозное чувство политическим суррогатом. И тогда человек обретает способность «чувствовать абсолютно необходимую ему общность, которой он не находит ни в своей семье, ни среди компании соседей, ни в своей работе: общая цель, некий великий народный порыв, подхватывающий человека, становящегося частицей общего, товарищество, особый язык, объяснение окружающего мира. Политика дает ему эти радости, эти символы и эти невидимые глазу выражения общности»¹⁸.

Как же все это может совмещаться с политическим абсентеизмом, который захватывает современное общество? Дело в том, что вслед за партиями остатки религиозного чувства начинают подбирать СМИ, которые потом оттесняют партии от формирования чувства единства людей, подменяя относительно устойчивый партийно-политический миф иллюзорным единством хаотизированных рассудков, принимающих

¹⁶ Хеллер А., Цит. пр. С. 470.

¹⁷ Там же. С. 467.

¹⁸ Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. С. 58–59.

политическое, в основном, под воздействием информационного потока. Деполитизация современного человека на самом деле есть, прежде всего, денационализация, деидеологизация, департизация и продолжение отхода от практики мышления в пользу практики впечатления. Общие воззрения теряют политическое измерение, и политикой начинают называть совершенно лишенную идеологии и безответственную предвыборную пропаганду.

Политологи мечутся между признанием реальности политического мифа и его отвержением как не соответствующего рациональным представлениям о действительности. Возникает миф об отсутствии политического мифа, миф «неполитической политики», деполитизированного государства. В то же время действительность не желает быть разумной, а разумное никак не обретает формы действительного – иррациональность обескураживает повсеместным вторжением в политическое. Поэтому, пока мы не признаем действительность политического мифа, невозможен никакой политический проект, в котором рационально учитывается иррациональность современной политики, ее подверженность древним архетипическим мотивам.

Архетип может пробуждаться неполитическими средствами. Но инструментарий публичной политики полностью задействует мифологические категории и прямо формирует по древним шаблонам современные мифы.

В архаическом мифе политическое присутствует только в том смысле, что миф – человеческое проявление, а аристотелевский человек – «политическое существо». Архаический миф и политика в древнем мире представляли собой единое целое, как и сегодня. Но в те времена миф был реальностью, верой, а сегодня выродился, стал только впечатлением. Аристотелевский человек имел устойчивую картину мира – если не социального, то духовного. Современный человек живет, путешествуя по мирам, созданным впечатлениями от ежедневных телепрограмм. Миф царствует в политике и становится одним из ключевых признаков политического – с одной стороны, как возможность возвращения к религиозной вере, с другой, – как условие непрерывных причудливых трансформаций политического сознания.

Сделать разумное действительным – огромный соблазн для политического философа. И тогда, вопреки очевидности, утверждается, что «современность есть поворотный момент истории в том смысле, что и там, и тут универсальные ценности становятся политически эффективными. То, что до сих пор происходило только в философии, может и происходит сейчас в политической практике и жизни»¹⁹.

Уже несколько десятилетий исследователи отмечают избыточную политизацию жизни, когда все проблемы становятся по виду политическими, так или иначе затрагивая область политики. А политические методы позволяют разрешать те проблемы, которые считались сугубо неполитическими. При кажущейся сплошной политизации в науке возникает засилье приверженцев анализа текущих фактов, в поверхностных интерпретациях противостоящих все более угнетаемой политической метафизике. Политическое становится случайным, а потому лишенным смысла – в нем исчезает систематический конфликт и остается спонтанная реакция. Схватка концепций и групп заменяется склокой политических персон, отражающей частную и спонтанную свободу выбора, которую политология пытается умиротворить призывами к консенсусу. И тогда смысл политического сужается до этических наставлений в адрес склочных политических персон.

Политические отношения веками были делом крайне немногочисленного политического класса и затрагивали ограниченный круг людей. Деятельность масс, их действительный вес в политике начинается с XIX века. Но в XX веке массы отвлекаются

¹⁹ Хеллер А. Цит. пр. С. 470.

от политики иллюзией, продолжая полагать, что с ними все еще считаются. И это заблуждение подкрепляется мифом о сплошной политизации жизни.

Сплошная политизация – это попытка утаить от скептического взгляда деятельность технических кадров (бюрократии), которые все отдают в управление государственному аппарату, оставляя для нации театр политических склок. Бюрократия, лишённая понимания политического, обесмысливает политику, превращает политическое в фальшивое. Нация оказывается под пятой чиновника, выедающего государство изнутри до безжизненной оболочки.

Отвлекаясь от сиюминутной жизни, мы полагаем, что только государство может сохранить порядок, но возвращаясь к ней, обнаруживаем, что бюрократические агенты государства как раз утверждают хаос – они гипертрофируют регламентирующую роль государства до запрета на реальную политическую схватку. В то же время бюрократия политизирует эмоции, ибо становится врагом всех, – даже самим себе, низводя управление до бесплодной суеты и превращая политику в аппаратные интриги. Поэтому возникает желание олицетворить государство с популярным лидером, а аппарату отказывать в доверии. Возникает суррогат политического в сознании, когда политика видится разорванными фрагментами в сюрреалистической картине мира.

Наше мышление кажется составленным из политики и подчиненным только политике, а повседневная жизнь – деполитизированной. В действительности мышление освобождено от политики, но существо современного человека наполняется политическими впечатлениями. Политика же становится отвлеченным мифом в самой низкопробной форме – в форме анекдота. Всюду обнаруживается политическое, но крайне трудно найти политику – то, что преимущественно составлено из политического и включает ценности и метафизические истины (концептуальный политический миф).

Дурная политизация, примеры которой приводит Эллюль, связана с тем, что ценности не воспринимаются всерьез, пока они не наполнены политическим содержанием. Им намеренно придают политическое описание: свободу рассматривают только в связи с представительством интересов в государстве и со способностью уклоняться от государственного воздействия; справедливость видят исключительно как социальную справедливость, за достижение которой должно отвечать государство. При этом человек, не имеющий права опускать бюллетень в урну, просто не считается личностью, а женщины причисляются к роду человеческого, когда они получают политические права. Именно это и считается свободой, основным содержанием политики.

Обратная сторона процесса дурной политизации жизни – деполитизация мышления, которая приводит к резкому сокращению сферы стратегического планирования и рассасыванию ценностных ориентаций власти. Эллюль пишет: «Единственная область, где политика все еще способна действовать, – это текущие события, т.е. сфера эфемерная и неустойчивая. В результате утратилось ощущение подлинной серьезности политического решения. Становящееся зримым есть теперь уже не что иное, как видимость. Ничтожность результатов действия в этой пустоте компенсируется лишь крайней возбужденностью политиканов. Таким образом, решающим обстоятельством, характеризующим современную политику, выступает некая «смесь» из двух противоречащих друг другу элементов: необходимого и эфемерного»²⁰.

Практика управления политическими системами становится предопределенным техническим действием и деполитизируется, а чувственная сторона переживания политики наполняется обрывками мифов – пропагандой и потоком неструктурированных новостей, отключающих сознание. В первом случае избыточный рационализм заставляет управленцев и политиков смотреть исключительно под ноги, во втором – иллюзия, оторванная от жизни, либо сводит человека с ума, либо воспринимается как идущий на периферии сознания спектакль о какой-то иной реальности. И там, и там моментальность

²⁰ Эллюль Ж. Цит. пр. С. 70.

реагирования (на ситуацию или на предлагаемый образ) лишает человека ценностей и смыслов – у него не остается времени на сопоставление действительности с *должным*. Политическое в таком варианте становится бессмысленным, ненужным дополнением к социальным процессам и управленческим решениям. Политика расплывается в иные сферы, маргинализируется, а собственное ядро, исконная территория политического ослабляется – политика оказывается одновременно везде и нигде. Индивид чувствует свою причастность к политике через свободу, но отчужден от реальной политической схватки – в его жизни есть только переживание политики, но нет самой политики.

Можем ли мы сегодня обозначить пространство, где политическое отсутствует? Таким пространством наверняка является религия, ценности которой, бесспорно, превышают политические – ни один истинно верующий не скажет, что для него ценности государственности выше ценностей религиозной истины. Религиозная догма вне политики, хотя она может оказывать на политику заметное воздействие. Вне политики и этические ценности, которые, непременно используются, но не порождаются в политике. Они скорее захватываются политикой.

Можем ли мы обозначить пространство, где политическое доминирует? Вероятно, это пространство политического мышления, идеология, а также политическое действие, где решается судьба государства и нации. Здесь мы фиксируем *политические ценности* – суверенитет, национальное единство, национальная безопасность, власть и т.д. Размывание их означает недостаток политики, понимания политического. Диффузия политических ценностей в неполитические сферы, подмена политических ценностей этическими с политизацией последних – свидетельство неверного, расширительного (и одновременно «разбавленного», бесконфликтного) толкования политического.

Политические ценности, в отличие от этических, прямо отсылают к институтам (что вовсе не означает рационализации «картины мира», которая в политике составлена, возможно, из рационально познаваемых фрагментов, но по законам мифа). Попытка придать этическим ценностям *институциональный характер* превращает жизнь человека в политику и не дает ему здравого понимания политического. Вместо политического, реальной политической схватки и участия в ней ему предоставляется свобода потребления информации – прежде всего, политических скандалов и новостей – и свобода профанных суждений, не обремененных размышлением над политическим.

Политическая эффективность универсальных ценностей – крайне опасное заблуждение. Оно может быть охарактеризовано как самообман или обман. Политика легче всего усваивается обыденным сознанием в военных терминах. Обыденное сознание обманывается проповедью этических ценностей и отвлечением от реальной политической схватки захватывающими сенсациями и скандалами. Таким образом, борьба за понимание политического – та же самая схватка концепций: концепции свободы и концепции схватки.

Освобождение и обязывание

Агнес Хеллер пишет, что понятие политического «должно указывать, какая эта вещь, позволяющая, если добавить ее к другим, сделать их "политическим", и/или оно должно указывать область, где любая входящая в нее вещь преобразуется в "вещь" политическую. Это понятие должно включать в себя и выявлять напряженность между *должно быть* и *есть* в его существовании и модус операнди современных обществ»²¹. В качестве *должно быть* выбирается понятие свободы как «наиболее поливалентное»: «Свободы могут эффективно использоваться как "термины долженствования" во всех своих интерпретациях, как только деятели начинают применять их в качестве регулятивных и конструктивных практических идей»²². Хеллер заключает: «Практическая реализация универсальной ценности - свободы - в общественной сфере является

²¹ Хеллер А. Цит. пр. С. 471–472.

²² Там же. С. 472.

современным понятием политического»²³. «Практическая реализация свободы может иметь место в форме борьбы между другом и врагом, а также в ансамбле сотрудничества или дискуссии или же в некоторых других формах и на иных путях»²⁴.

«Поливалентность» дает широкий простор для интерпретаций политики, а точнее – различных форм ее непонимания. Понятийное поле наполняется большим числом определений, которые трудно объединить в систему. К понятию «свобода» легко привязываются любые характеристики, способные создавать неразрешимые противоречия. Все это мешает ясному политическому мышлению, а в экспортном варианте – легитимируют собственные политические устремления и дисквалифицируют или деморализуют противника. То есть, непонимание может быть лукавым розыгрышем.

Слабость доводов Хеллер состоит в том, что место свободы может быть заменено любым этическим императивом – справедливостью, равенством, солидарностью, рациональностью. И это требует поиска совершенно иного понятия, в котором политическое имело бы максимальную концентрацию политического, не порождая множественности «логик», но сохраняя возможность для множественности «политик».

Унификация «политик» продемонстрирована уже в умозрительном методе Канта. Кант определил идеал общественного устройства как максимально возможное удовлетворение интересов большинства индивидов, в котором обеспечена свобода каждого члена общества, равенство и самостоятельность граждан. Соответствующие принципы составляют систему права, где свобода каждого ограничена только свободой другого – соединением свобод²⁵. Таким образом, право – это системно организованная свобода, а свобода – это право. Плюс к тому свобода связывается с властью, будучи подчиненной внешним законам. Источником права, то есть свободы и власти одновременно, является общая воля народа, устанавливающая законы, согласно идеям разума, в котором сливаются воедино понятия свободы, равенства и единства коллективной воли²⁶.

Кантовский метод исследования предельных оснований, выводимых внешнеэмпирически непосредственно из разума, смутил многих исследователей, которые не увидели в нем всего лишь мысленный эксперимент человека, крайне далекого от политики вообще. Его метод вскрыл направление мысли профанного разума, лишённого жизненного опыта, не помышляющего ни о чем другом, кроме личной свободы и возмущенного традиционными иерархиями как несправедливыми «по трезвому размышлению».

Схема Хеллер, по такому же «трезвому размышлению» порождает плюрализм политических логик в рамках единственной выбранной политики: «Скептическая версия может видеть современный мир как поле битвы противоречивых реализаций этой ценности, где одно стирается и переписывается другим. Нигилистический сценарий может проектировать на экран будущего картину самоуничтожения свободой, и все они могут поддерживать понятие политического, которое именно здесь предлагается. Это понятие современно в том смысле, что оно может сопровождаться различным видением истории»²⁷. Но при этом легитимируется только одна форма политики (а точнее – политической риторики): «Рациональность, равенство и мир, кроме того, много других ценностей относятся к арсеналу политически активных ценностей, если, и только если, их конкретизация – прямо или косвенно – связана со свободой...»²⁸. Политик может говорить

²³ Там же. С. 475.

²⁴ Там же. С. 476.

²⁵ Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. Трактаты и статьи (1784–1796). М., 1994. С. 291.

²⁶ Там же. С. 297, 303.

²⁷ Хеллер А. Цит. пр., с. 476–477. Аналогичную позицию занимает Д.Сартори, предложивший разделение политики на политику войны и политику мира – Sartori G. 1987. The Theory of Democracy Revisited. Chatham, New Jersey. P. 41.

²⁸ Там же. С. 477.

на ином языке – лишь бы он пользовался теми же понятиями. Иначе его исключат из политического дискурса и снимут с «великой шахматной доски» современной политологии.

Хеллер в своих рассуждениях допускает явную ошибку – пытается оправдать внесение этических ценностей в содержательное определение политического лишь тем, что эти ценности «приобретают силу политически действительных понятий, потому что они сильны и как воображаемые институты, и как институционализированные формы права». Здесь неявно присутствует пресловутая идея «естественного права», которая должна унифицировать все правовые системы в соответствии с либеральными ценностями. При этом должна институализироваться не политика, а этика.

Классический либерализм (Вольтер, Монтескье и др.) отождествляет свободу с личной безопасностью и независимостью индивида от произвола властей. Социализм предпочитает задержаться на дуализме свободы и равенства, имеющем более глубокие онтологические и метафизические корни. Соответственно различаются и типы демократии – безопасность доходит до желания порядка в сочетании с чувством личной физической неуязвимости, равенство – до исключения частной жизни. Равенство или безопасность должны обеспечить разворачивание принципа свободы и при этом снять конфронтацию, убрать образ врага или заставить его исчезнуть (это, правда, грозит конфронтационным потоком, поскольку враг становится несовместимым с картиной мира).

Совершенно иная правовая и ценностная система складывается в традиционном государстве, где религия и авторитет регламентируют политику, обращаясь к понятию «свобода» далеко не в первую очередь. Если всю политичность «оттянуть» к этому понятию, то традиционное государство оказывается вообще аполитичным. Вместе с тем такой теоретический подход может быть разоблачен как риторическая уловка. Именно на этом настаивает Карл Шмитт, когда говорит о ложной мягкости либерализма в его требованиях нейтрализации, деполитизации и свободы. На деле вся эта риторика остро политизирована, поскольку направлена против определенного государства и его политической власти. Здесь речь уже не о теории государства, а о политической задаче.

Либеральная идеология относит понятие свободы только к личности и именно личность рассматривает как носитель политического. Личность должна перехватывать у государства политическое, конвертируя ее в различные федеративные образования – внегосударственные и вненациональные. Консервативная традиция видит коллективистские модели свободы, прежде всего связанные с реальностью нации, для которой свобода есть коллективный выбор. Социализм сохраняет коллективистский выбор, но в безнациональной форме.

Шмитт подчеркивает: «Покуда народ существует в сфере политического, он должен — хотя бы и только в крайнем случае, но о том, имеет ли место крайний случай, решает он сам — самостоятельно определять различие друга и врага. В этом состоит существо его политической экзистенции. Если у него больше нет способности или воли к этому различению, он прекращает политически существовать. Если он позволяет, чтобы кто-то чужой предписывал ему, кто есть его враг и против кого ему можно бороться, а против кого — нет, он больше уже не является политически свободным народом и подчинен иной политической системе или же включен в нее»²⁹.

Эллюль говорит, что свобода необходима нации для принятия решений.

Реальность нации регламентирует свободу политического выбора для тех, кто поставлен ею принимать решения – выбор должен быть связан в основном лишь чувством ответственности перед нацией. Это не означает всеобщей неограниченной политизации. Политика остается профессией политического класса, власти. Политическое в данном (национальном) смысле означает возможность и обязанность власти перешагнуть через

²⁹ Шмитт К. Понятие политического// Вопросы социологии, 1992, №1.

необходимость (возможно, сначала теоретически, идеологически, но потом – непременно и фактически), а для подвластных – подчиниться новой необходимости новой реальности, созданной этим шагом.

Нация является понятием из другой, неэтической сферы. Но оно-то и может дополняться, нагружаться множеством этических характеристик. В этом смысле оно «поливалентно», но уже не по отношению к неясному множеству понятий, а по отношению к политическим категориям.

Полагая нацию ключевым понятием для определения политического, мы избегаем тавтологических комбинаций этических понятий и бесплодных рассуждений об их взаимоотношениях. Нация всегда имеет конкретное выражение, и ее свобода также может обсуждаться как вполне ясная политическая задача. Кроме того, нация всегда имеет внутреннее и внешнее измерение (содержание нации и отношение к иным нациям), чего не скажешь о свободе. Если конечно же не касаться антигосударственной направленности теории либерализма, которая имеет либо внутреннюю направленность – против своего государства, либо внешнюю – против иных политий, куда либерализм направляется в качестве идеологического экспорта. Нация всегда конфронтационна, она выражает некоторую исторически индивидуальную идею государства. Свобода требует от любого государства универсального компромисса, нация – только компромисса среди «своих» против «чужих». Нация – это внутреннее обязывание, требующее внешней свободы.

В концепции политической свободы подразумевается универсальная ценность частного индивида, который всегда скрывается за понятием «свобода», когда о частном говорить неудобно – проще подменять защиту частного интереса игрой этическими понятиями. Либеральная автономия личности реализуется как неполная форма ответственности (либо полной безответственности). Ей отвечает политика «сниженного» уровня и федералистского типа – терминологически миролюбивая, призывающая к деполитизации (и прежде всего, к деполитизации экономики, которая рассматривается как обособленная сфера жизни со своими нормами поведения). Национальная консолидация, напротив, выдвигает на первый план ответственность личности, а этическую свободу считает частным и исключительно неполитическим состоянием, духовной ценностью.

Нация – ядро понятия политического, поскольку деполитизируясь, она мгновенно исчезает. Нация осуществляется только политически, чего не скажешь о государстве, которое способно существовать в формах самой униженной зависимости – в условиях иллюзии суверенитета или все еще возможного суверенитета. Но в то же время государство сохраняет потенциальную возможность нации, превращения подданства в гражданство. Поэтому в иерархии понятий государство ниже нации, но выше всех прочих политических институтов.

Макс Вебер определял нацию через специфическое единство, «данную в чувственности общность», выраженную в стремлении к собственному государству. Это определение отталкивается от цели, а не от состояния. При этом цель возникает из жесточайших схваток не на жизнь, а на смерть, в которых рождаются общие воспоминания, подчас более существенные, чем культура и язык. Напротив, язык, культура, общие этические нормы вытекают из общей политической судьбы.

Этические нормы могут стать элементом политики, будучи используемы противостоящими политическими группами. Но сами по себе этические нормы – достояние нации. Ими создаются рамки политики, в которых неизбежная конфронтация групп не разрушает национального единства. Если же исключить понятие нации, этические нормы оказываются формой деполитизации мышления и разложения политической прагматики – они заставляют уступать абстрактным соображениям, позволяя человеку оставаться сиюминутно порядочным, но отстраняясь при этом от последствий своей «порядочности» для нации. Последовательно проведенная политическая философия свободы всегда доходит до осуждения нации. И это снова подталкивает нас к тому, чтобы понимать политическое именно через нацию.

Хеллер, комментируя наиболее политизированные работы Хайдеггера, упрекает его в том, что он отбирает экзистенциальный выбор у индивида и передает его коллективу. Она делает обратную операцию – отказывает сообществу в возможности выбрать само себя. Так свобода индивида входит в противоречие со свободой нации, искажая смысл и назначение этических норм.

Современный атомизированный человек хочет «выбирать себя абсолютно», не связываясь (или не чувствуя связи) с нацией. И в этом аполитичном выборе ему способствует либеральная мысль о том, что именно частное и есть политическое, а коллективное – вторичный продукт личной экзистенции.

Лишение человека памяти в потоке ежедневных новостей («утренняя газета заменяет утреннюю молитву») не дает ему сформировать образ врага, понять политику как противостояние добра и зла, как схватку с врагом нации. И тем самым человек перестает быть свободным – он отрешен от выбора добра и зла в частной жизни, исключается из коллективной воли нации, перестает быть человеком политическим. А это значит, что он забывает свой род, который он должен продолжить до конца времен, отражая агрессию врагов.

Управленец также лишается свободы, поскольку забывает за текущими делами и техническими решениями об интересах нации, поддаваясь диктатуре момента. Он не видит дальше своего должностного круга обязанностей и текущих исполнительских задач с их повседневной суетой. Не зная «своего» и «чужого», не понимая политического, управленец всю свою деятельность превращает в одну большую стратегическую ошибку.

Хайдеггер говорит об экзистенции нации в национальной революции, которая становится фундаментальным политическим фактом (аналогичным факту чрезвычайного положения, которым государство утверждает свой суверенитет – по Шмитту). Причем, это не означает неперенной войны, а только решительное избавление от диктата «чужого», которое в общей перспективе так разграничивает нации, что они могут жить в вечном мире. Война остается как возможность, вероятная перспектива, к которой надо быть готовым, чтобы не исключить себя из политики.

Экзистенция нации – это прорыв к собственной сущности, сбрасывание с себя «чужого» и обретение свободы. Только таким образом может возникнуть и весь прочий комплекс этических понятий в политике – через волю нации, решимость сделать выбор и стать «мы», направив этические аргументы против «они».

Частная экзистенция ко всему этому имеет самое малое отношение. Как пишет Шмитт, «если граждане некоего государства заявляют, что у них лично врагов нет, то это не имеет отношения к вопросу, ибо у частного человека нет политических врагов». То есть, враги у нации остаются, а человек просто вне политики – он не участвует в противостоянии групп и никаким группам не интересен.

Отрицание нации в угоду частной свободе носит, бесспорно, политический характер и отражает определенный проект будущего человечества – это федералистский проект, согласно которому национальные сообщества надо сначала полностью раздробить, а потом предоставить атомизированным индивидам самопроизвольно (а на самом деле – в соответствии с настойчивыми советами современных гуманистов) ассоциироваться, забыв о нации.

Противоположный проект должен соединить свободу и нацию – политическим будет в этом случае не то, что связано со свободой, с борьбой за нее, а то, что связано с борьбой за свободу нации. У нации есть «свои» и «чужие», и в этом смысле шмиттовское определение политики сохраняется. Но в свете того, что некие силы объявляют себя вненациональными и целью всеобщую ассимиляцию и деполитизацию государства, это следует воспринимать как агрессию «чужого» против «своего» – как посягательство на собственную нацию.

Современная политическая наука, кичащаяся своим рационализмом, изгоняет из социальной действительности не только нацию. Отождествляя расу с расизмом,

политическая наука чурается всякого биологизма³⁰. Даже если нацию в какой-то степени впускают в политику, то стараются принять ее без этнических характеристик – исключительно по модели подданства/гражданства, что и приводит к противоречию с жизнью практически везде.

Часто в ход идут некорректные домыслы о том, что человек биологически отличается от обезьяны на каких-то 5%. И это вопреки элементарным представлениям о ценности тех самых «процентов», которые дают нам отличие от обезьяны, легко угадываемое зрительно. Вне этой очевидной разницы человека трудно отличить и от червя. И в некотором смысле это так, поскольку методы социобиологии и биополитики угадывают в животном мире аналоги человеческих политических процессов – живая природа оказывается натурным экспериментом, полезным для понимания человеческого общежития. Самого человека его «природа» также обязывает.

И все-таки человек очень далек от животного мира своей антиприродной разумностью. Это можно утверждать без научного глубокомыслия – просто признав очевидное. Точно так же можно легко отличить и человеческие расы, что при отсутствии комплиментарности между народами становится самым простым методом идентификации «своего» и «чужого». И здесь разумность человека, объединенного в коллективы, отходит на второй план, уступая место явлениям, имеющим аналоги в животной стае.

Другим некорректным оборотом, используемым учеными, является представление о бесспорной смешанности всех ныне живущих народов. На указание очевидного различия, которое само по себе свидетельствует о незначительности многовекового «смешения народов», отвечают, что такое смешение происходит – теперь еще быстрее в силу глобализации. Между тем, другие исследователи отмечают повсеместный рост локальной идентификации, которая теперь может возникать вдали от родовых ареалов. Обратной стороной глобализации оказывается локализация, подкрепляемая повсеместной возможностью создания обособленных в расовом или культурном отношении общин.

Абсолютное разделение биологического и политического все время сталкивается с неравенством природных задатков людей, которые имеют различную предрасположенность к разным видам деятельности. Существует, соответственно, и предрасположенность человеческих сообществ к определенной иерархии, в которой частные склонности получают органичное развитие. То же самое можно ожидать и при рассмотрении склонностей тех или иных народов, в которых всегда присутствует такая же склонность к вполне определенным отличиям по сравнению с другими народами, предопределяемая природно-биологическими факторами. При этом индивид может переступить через эти факторы, благодаря заложенным природой особым волевым задаткам. И тогда существует возможность формирования некоей «сборной команды» из разных расовых групп, которые складываются в *тип*, приспособленный к определенной профессии (например, управлению современным самолетом). Но и здесь неизбежно возникает своя иерархия, которая выдвигает вперед представителей какого-то более дееспособного в данном виде деятельности племени.

Важным фактором для понимания политического является видение стратегической ценности демографических процессов. Одни народы, уступая пространство другим народам, уносят в небытие целые культуры вместе с их политическими особенностями. И только бюрократии все равно какими народами управлять – бюрократия, без понимания ценности нации, лишена и понимания ценности соответствующего природно-биологического материала как носителя данного типа культуры. Именно поэтому бюрократия является биологическим врагом нации, и жизнеспособность нации зависит от того, насколько она способна выявлять и уничтожать этого врага. Причем актуальность видения в бюрократии врага при сохранении лояльности государству и нации становится

³⁰ Обсуждение темы см. в сборниках Расовый смысл русской идеи. Вып 1., М.: Белые альвы, 2001, Расовый смысл русской идеи. Вып 2, М.: Белые альвы, 2003.

в современном мире особенно актуальным при стремительной денационализации политических элит.

Современная политика пока не готова к тому, чтобы увидеть свою задачу в управлении биологическим фактором, в аккуратном и тонком применении евгенических законов и выращивании здорового и адаптированного к определенному типу жизни индивида, задатки которого проявляются в раннем возрасте и направляются в нужное русло. Отказ политиков от принятия на себя ответственности за биологическое выживание нации обуславливает нарастание вала генетических болезней, жизненных драм запутавшихся в своих склонностях людей, в деформации сложившихся этнополитических пропорций, ведущих к вражде между этносами, потерявшими способность к существованию в едином государстве. Кроме того, помимо воли политиков, биологическое врывается в политику, становясь уже неконтролируемым фактором, перекрывающим по значимости все прочие. Биологическое становится обязывающим законом, даже если его пытаются не пустить в политику, объявляя глупость и беспамятство истинной свободой.

В политике обязывание повсеместно, поскольку оно формирует общность «мы» и ее оппозицию к «они». При этом основания для обязывания могут быть самыми различными. Исторически данное обязывание – нация, природно предопределенное – этничность, расовая принадлежность, харизматический дар. Освобождение в политике для частного лица может быть связано только с возникновением нового измерения жизни, определенного обязыванием. Соотнесение себя с группой дает жизни объем. Попытка же представить свободу как выход из сферы обязанностей означает обеднение личности. Для политического процесса насаждение такого представления влечет за собой снижение уровня политического сознания и замену политики фикцией – участи наблюдением, схватки балаганом и т.д.

Научные тупики для нации и государства

Важность теоретического осмысления основ российской государственности и становления современной политической нации в настоящее время стало настолько неоспоримой, что практически любое серьезное выступление аналитиков или государственных деятелей затрагивает соответствующий круг проблем. Вместе с тем нарастающий в течение многих лет отрыв теории от практики привел к тому, что целые пласты теоретических достижений в области теории государства до сих пор оказываются невостребованными, либо используются в конъюнктурно-пропагандистской и поверхностной форме. Результатом небрежного отношения к мировому и отечественному интеллектуальному наследию явились неясность правительственного курса, хаос законодательной практики, невнятность внешнеполитического курса.

Как пишет современный исследователь проблем российской государственности, «восприятие действительности сквозь призму якобы самоочевидных установок более чем что-либо иное блокирует сегодня любые позитивные сдвиги в области этнополитики и, напротив, консервирует в конструкции российской государственности мощные конфликтогенные напряжения»³¹. Действительно, много «самоочевидного» накопилось в политической науке, когда она касается государства, - неявно запрещенных тем для дискуссий и табуированных терминов.

Как отмечал Иван Александрович Ильин, «только неиспуганный, свободный дух может подойти к проблеме честно, искренно, зорко, все додумать и договорить, не прячась трусливо и не упрощая, не заговаривая себя словами аффектированной добродетели и не увлекая себя ожесточенными жестами»³². Этот свободный дух науки, кажется, в массе ученого сообщества России все больше выветривается, а творческий

³¹ Каспэ С.И. Конструировать федерацию — Renovatio Imperii как метод социальной инженерии// Полис, 2000, №5.

³² И.А.Ильин. Путь к очевидности. О противлении злу силою. М.: Республика, 1993.

поиск подменяется пересказом и лояльным комментарием бюрократических нормативных актов.

Быстрое преобразование марксистской школы политической философии в либерально-западническую показывает их близость и привязанность к общим заблуждениям. Общий их источник – утопические идеи эпохи Просвещения. Беда отечественной политической науки состоит в том, что она в значительной степени оказалась не способной понять, что общественные идеалы этой эпохи рухнули перед лицом тоталитарных режимов XX века и обнажили несостоятельность надежд идущей от Просвещения традиции политической философии. Некоторые случайные черты в развитии Европы были приняты ею за доминирующие, а более веский опыт всего остального мира и иных эпох, столь трагически ворвавшийся в Европу двумя мировыми войнами, оказался проигнорированным.

Примером неадекватного восприятия теоретических разработок в последние несколько лет стало расширенное использование термина «национальная безопасность», который, где нужно и ненужно, стал внедряться в аналитические разработки и нормативные документы. Значение этого термина остается в большинстве использующих его разработок столь расплывчатым, что не позволяет доводить их до прогнозных оценок или продуманных практических рекомендаций.

Другим примером является обусловленное случайными факторами забвение термина «нация», без которого политическая теория становится ущербной и перестает описывать ряд важных государственно-политических процессов. Попытка то подменить термин «нация» превратно понятым термином «этнос», то заменить проблему нациестроительства проблемами гражданского общества существенно уменьшают возможности творческого поиска и ведут к использованию деградированной теории государства, отбросившей важнейшие достижения целого ряда выдающихся мыслителей.

В фундаментальном труде «Современное положение науки о государстве» русский философ и правовед начала XX века Николай Николаевич Алексеев указывает, что современная теория государства была построена в период европейской истории, в течение которого наблюдалась утрата чувства реальности государства³³. Вслед за Н.Н.Алексеевым можно уверенно утверждать, что всплеск популярности теоретических положений XVIII века был связан с катаклизмами первой половины XX века и ужасом европейского сообщества перед авторитарными и тоталитарными режимами. Утопические конструкции эпохи Просвещения стали для Европы мобилизирующим фактором в борьбе против фашизма и в противостоянии «советской угрозе». Именно этим обусловлено сегодняшняя унитарность западной политической философии, выбирающей в качестве действительной и разумной лишь одну из «политик».

То же самое можно сказать и о представлениях о государстве в современной российской науке, которая восприняла договорную теорию государства как непреложный факт именно в тот период, когда стоял вопрос о существовании России. Текущая политическая конъюнктура объясняет стремительное распространение европейских воззрений на государство и нацию. Между тем, эти взгляды во многом носят формальный, схоластический характер и не претендуют на изменение политики жесткой защиты национальных интересов, которая свойственна каждому европейскому государству вопреки любым теоретическим изысканиям. В России же пустопорожние теоретические представления догматизировались и вошли в законодательство, которое только в последние годы стало осмысляться как неэффективное и разрушительное для государства и общества. Государственное строительство развитых стран, которые многие рассматривали как пример для России, имеет мало общего с тем, что реализуют идеологи государственно-правовых и экономических реформ в России. Оказалось, что из европейской правовой традиции эти реформы заимствуют только формальную сторону,

³³ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998.

которая в Европе выражена почти исключительно во внешнеполитической риторике и отвлеченной научной публицистике и почти не присутствует в реальной политике.

Один из ведущих немецких философов Курт Хюбнер пишет: «Абстрактная политическая философия исходит из понятия человека как родового существа, неважно имеет ли это место в свете метафизики или стремления к воплощению идеальной утопии. Напротив, конкретная политическая философия рассматривает человека как существо, укорененное в определенной национальной культуре, а тем самым в состоянии неразложимой общности с другими. Общности, которая лишь в государстве может обрести свое объективное существование и гарантии. И действительно, уже у греков мы можем обнаружить глубинный образ этого противоречия, которому суждено будет господствовать во всей последующей истории политической философии. Речь идет о противоречии, которое снова и снова прорывалось в фундаментальных политических темах “Гражданин и Государство” или “Нация и Государство”»³⁴. Более того, «идея нации стала белым пятном в политической философии современности»³⁵.

Положение в российской политике последнего десятилетия XX века как нельзя лучше характеризуют слова Н.Н.Алексеева, сказанные им в 20-е годы того же века: «Вместо властного союза, требующего подчинения и жертвы, была поставлена человеческая личность с ее интересами. Личность эта не признавала никакого общественного целого, которое не представляло бы собой совокупности во всех отношениях самоопределяющихся личностей. Личность оторвала себя от общества и государства, стала независимой, самостоятельной, не нуждающейся в обществе величиной. Нация, государство превратились в агрегат наделенных правами отдельных личностей, этих «безвкусных выдумок XVIII века». Личности эти были чисто отвлеченными, не определялись ни историческими условиями, ни социальными различиями, ни каким-либо иным положением в обществе. Такая личность и заслонила собою государство, заставила идейно забыть о нем»³⁶.

В XX веке наука решила опровергнуть государственную практику наиболее успешных государств, встав к ним в конфронтацию и превратив в объект аналитического расчленения. Будучи не в состоянии объяснить современной государственности и процессов национальной идентификации, политическая философия поистине стала формой шарлатанства³⁷, дорогостоящей забавой, разрешенной лишь ввиду воспоминаний о заслугах древних авторов.

Предчувствуя этот пагубный поворот науки, русский общественный деятель и публицист XIX века Михаил Никифорович Катков писал: «В вопросах государственного свойства все должно оцениваться с точки зрения государства, и притом не какого-нибудь, не отвлеченного, но действительного, живого, одного из всех, того, которому мы служим, во всей совокупности связанных с ним интересов. Мы ничего не утратим, не причиним ущерба никакому ценному для человека интересу, когда будем последовательны и тверды в вопросах государственной важности, когда в этих вопросах будем руководствоваться только истинной пользой государства, только действительными потребностями нашего Отечества, когда мы будем вполне и безусловно национальны в наших суждениях и действиях».

Отторжение науки от практических задач государства и нации и обращение к иллюзиям, названным идеалами, обуславливает кризис и в практических делах — принципы принятия оптимальных решений затмеваются идеальными абстракциями.

Далее М.Н. Катков утверждает: «...непоследовательность и полумеры в государственном деле всегда сопровождаются вредом и пагубой для всех охраняемых

³⁴ Хюбнер К. Нация. М.: Канон, 2001. С. 28.

³⁵ Там же. С. 251.

³⁶ Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 386.

³⁷ См. Гуторов В.А. Философия политики на рубеже тысячелетий: судьба классической традиции// Полис, 2001, №1.

государством интересов. Результат всегда оказывается противоположным тому, чего мы искали, меняя точку зрения и вовлекаясь в область иных соображений. Церковь, например, есть величайший для человека интерес, но она находит себе верное обеспечение только в государстве, которое, охраняя ее, знает себя и умеет отличать желательное от обязательного. Интерес экономический имеет бесспорную важность, но исключительно им нельзя руководствоваться в государственном деле. Рядом с системой экономических интересов есть порядок нравственный, есть порядок юридический, и с точки зрения государственной каждому порядку дается свое место, каждый принимается в уважение и при правильном ходе дел каждый выигрывает, приходя в соглашение с другими. Филантропия есть прекрасное чувство, но никаким побуждением, хотя бы и прекраснейшего свойства, нельзя оправдывать уклонение от государственного долга. История свидетельствует, что дело, происходящее из наилучшего источника, но уклоняющее нас от долга нашего служения, ведет роковым образом к нежеланным и ненавистным для нас самим последствиям. Тысячи жертв могут полатиться за доброе чувство, которое ошиблось в пути. Милосердие к людям требует не поблажки, а решительного противодействия тому, что их губит великая ошибка — вступать в сделку с направлениями, существенно враждебными государству, и надеяться замирить их уступками»³⁸.

Наука в XX веке, увы предпочла направлять мораль, экономику, филантропию, против государства и тем самым становилась антинациональной.

Аберрация политической философии, зародившаяся в XIX веке, была перенесена и на постсоветскую политическую науку, сохранившую догматизм прежних времен и укрепив его ссылками на европейский опыт. Так безапелляционно были приняты идеи европейского Просвещения, которые подменили понятие «нации» многоликим и произвольно трактуемым в зависимости от текущих задач того или иного автора понятием «общество». Тем самым в стороне оставляется огромный пласт европейской культуры, который, собственно, и создал Европу. Поэтому тот кризис национальной идентичности, который в связи с разрывом этих культурных нитей нарастает в Европе (и это показатель того, как научные заблуждения в конце концов калечат социум), обнаруживается и в России, которая также утрачивает связь с собственной историей и собственным мировоззренческим наследием, т.е., связь нынешнего населения с исторической нацией.

Современная российская наука о государстве повторяет болезни европейской науки, которая, по словам Н.Н.Алексеева, использовала реставрационные идеи Берка, де Местера, Гегеля, Карлейля лишь отвлеченно-формально, вдохновляясь при этом революционными мифами Руссо, Монтескье, Сийеса, Мабли — идеями народного суверенитета, неотчуждаемых прав, самоуправления народа и др. Вместе с тем и этот революционный дух на российской почве оказался очень недолговечным, и государственная теория свернула на тропу немецкого юридизма, в рамках которого право заслоняет государство, отождествляя его с нормой права. Государственно-правовые учебники унаследовали советский формализм, не выявляя той огромной области жизни государства, которая находится вне пределов права и формирует право как таковое. При этом и право коснеет — правовая норма отделяется от реальности и, как отмечает Алексеев, переносится из мира сущего в мир должного, т.е., приобретает черты политического диктата, пренебрегающего живым социальным творчеством и живой исторической традицией. Политический диктат в России обычно быстро скатывается к диктату бюрократическому, регулирующему жизнь в интересах чиновника за ширмой либеральных правовых установлений.

По сравнению с таким положением дел марксистская теория, объявившая государство совокупностью классовых отношений, выглядит более реалистичной, поскольку имеет веские основания высмеивать руссоистские мифы об отвлеченной

³⁸ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 392–393.

человеческой личности и противопоставлять юридическому догматизму живое видение социальных процессов. Однако, даже этот, плодотворный шаг назад в политической теории – к суженному представлению о государстве как об исторически преходящей организации классового принуждения, сегодня предпринимается с тем же формальным юридизмом, который свойственен либеральной мысли. В обиход широко введено представление о государстве как об управленческом аппарате, противостоящем обществу. Договорная теория трансформируется в несколько иную форму – договор теперь заключается как бы между управленческим аппаратом и гражданским обществом.

Определенный оптимизм по отношению к перспективам развития теории российского государства можно испытывать в связи с наметившееся в последние годы пробуждением *ощущения государства*. С постепенным уходом в небытие политического наследия ельцинизма начинают приобретать плоть и кровь понятия «национальный интерес», «национальная безопасность», «задачи государственного строительства» и др. В этой связи, как нельзя кстати, приходит органическое представление о государстве, выраженное Алексеевым следующим образом: «Государство не механическая совокупность отвлеченных граждан, но живая целостность; государство не отвлеченный субъект права и не совокупность юридических норм, но конкретная форма жизни; государство не придаток правопорядка, но развитие витального принципа самосохранения и развития; государство не надстройка над общественной реальностью, свойственная известной ступени жизни человека, но реальная необходимость, требуемая самим началом жизни»³⁹.

Теория государства и нации крайне важна для судеб государства, которое и в прежние времена испытывало не себе тяжкие последствия политических заблуждений. Военный теоретик, один из ярких мыслителей русского зарубежья А.А.Керсновский приводит ряд примеров такого рода последствий. Интересна, например, его интерпретация итогов наполеоновской политики: «Внутренняя его политика столь же катастрофична. Его гражданское законодательство, составленное в анархическо-индивидуалистическом духе утопий Руссо, с сохранением якобинской централизации управления, разрушило семейные устои Франции. Те сотни тысяч французов, что Наполеон погубил в своих красивых, но в конечном итоге бесполезных сражениях — ничто в сравнении с миллионами и десятками миллионов французов, которым он своим законодательством запретил родиться. "Code civil" погубил французскую рождаемость. Известны слова лорда Кастльри на Венском конгрессе — "Зачем нам добивать Францию? Предоставим это ее законодательству!"»⁴⁰.

Отсутствие ясного видения национальных интересов дорого обошлось России в Первой мировой войне: «Русская стратегия Великой войны, при всей своей посредственности, не была так уж плоха, как то может показаться по ее результатам. Но она была связана по рукам и по ногам плачевнейшей политикой. Россия беспрекословно подчинялась самым абсурдным требованиям своих союзников, приносила безоговорочно насущные свои интересы в жертву их самым мелочным, меркантильным расчетам (под фирмой "общесоюзного дела"). Мы играли жалкую роль. По первому приказанию союзников — мы бросались для них в огонь»⁴¹.

Керсновский пишет также, что анархичность Белого движения стала причиной его гибели: неустройство занятых местностей, неиспользование их человеческих ресурсов (при населении контролируемых территорий в 60 миллионов - на фронте всего 22 тысячи штыков), упущенный момент для создания регулярной силы воссозданной государственности. Таким образом, отсутствие ясных представлений о государстве и государственности может катастрофическим образом сказаться на судьбе тех или иных

³⁹ Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 392–393.

⁴⁰ Керсновский А.А. Философия войны// Философия войны, 1995. С. 34.

⁴¹ Там же. С. 35.

политических субъектов. Такой субъект, как Россия нам слишком дорог, чтобы оставить надежду добиться ясности в соответствующем вопросе.

Сегодня кризис российской государственности во многом связан с кризисом в разработках теории государства. Представление о том, что практическое применение теории государства в современных условиях может быть обусловлено только одной из ветвей традиции Просвещения, имеющее хождение в научной литературе и в государственных органах, серьезно подрывает перспективы России как на мировой арене, так и при формировании эффективной системы государственного управления внутри страны. Такая «политкорректность», ставшая своеобразным аналитическим стилем, не может быть принята как научно обоснованная и требует критического анализа, законодательных решений, политических программ и правительственного курса.

Для исследования современных условий российской государственности необходима теоретическая база, которая в последние годы была серьезно обеднена. Не случайно теория государства стала сегодня преимущественно уделом правовых учебников, утратив серьезный научный дискурс и достойную по масштабу и широте поиска научную публицистику.

В рамках сокращенной «политкорректностью» понятийной базы, усеченного ею «коридора возможностей» крайне затруднена разработка таких стратегий государственного строительства, которые использовали бы все источники управленческой эффективности, все средства мобилизации для преодоления препятствий развития, которые в XXI веке встают на пути России. Напротив, снятие искусственных барьеров позволит по достоинству оценить перемены, произошедшие в России в течение последнего десятилетия XX века, и построить систему аргументированных рекомендаций по ключевым направлениям государственной политики.

Теория государства и нации является настолько непростым предметом, что требует определенной решительности по отношению к тем теориям, которые описывают государство или незаметно лежат в основе тех или иных политических концепций. Говоря словами Пьера Бурдьё, «...если мы хотим осмыслить государство, — которое все еще мыслит себя через тех, кто силится осмыслить его (например, Гегеля или Дюркгейма), — то нужно стремиться поставить под вопрос все предположения и предварительные построения, вписанные в действительность, которую мы хотим анализировать, и в само мышление анализирующего». «...мы можем получить какие-то шансы действительно осмыслить государство, которое все еще мыслится через тех, кто пытается его осмыслить, только при условии, что прибегнем к некоторого рода радикальному сомнению, направленному на пересмотр всех предположений вписанных в анализируемую реальность и в саму мысль аналитика»⁴².

И далее: «Особая трудность вопроса о государстве состоит в том, что большая часть текстов, посвященных этому предмету, хотя и имеют внешние признаки анализа проблемы, на самом деле участвуют более или менее непосредственно и продуктивно в его строительстве, а следовательно, — в самом его опыте. Это относится, в частности, к юридическим текстам, которые, особенно на стадии формирования и укрепления, обретают свой истинный смысл только тогда, когда в них видят не один лишь теоретический вклад в познание государства, но также и политические стратегии, имеющие целью внушить специфическое видение государства, отвечающее интересам и ценностям, связанным с частной позицией их производителей в становящемся бюрократическом мире».

⁴² Бурдьё П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля.// Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук «Поэтика и политика». М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1999. <http://bourdieu.narod.ru/bourdieu/PBetat.htm> Здесь и далее не всегда приводится точная ссылка на страницы и издания в связи с использованием в качестве источника текстов ресурсов Интернет.

Гегель отмечал: «Вообще мнение ввело в обращение такое несказанное множество превратных представлений о народе, государственном строе и сословиях, что приводить, пояснять и исправлять и здесь было бы напрасным трудом»⁴³. Следуя этой позиции, мы должны ограничить исследование лишь базовыми направлениями, которые важны для теории государства и нации в современном виде и имеют практическую значимость для государственно-правовых реформ России и обеспечения ее национальной безопасности.

Главным моментом должна быть апология знания, выброшенная на свалку современными поклонниками методологии, заложенной Просвещением. Масштабно эту задачу формулирует Курт Хюбнер: «Если окинуть взором историческое развитие от Платона до современности, как это я и пытался осуществить, обозреть духовные схватки за идеи государства, нации, индивида и общества, если проследить обострения проблем современного государства в Просвещении, попытки их решения в романтизме, последующую за этим трагедию упадка и искажения всего, что было достигнуто, или хотя бы того, чего желали и на что надеялись, только тогда можно осознать весь масштаб упущений нынешней политической философии. Она — *реакционна* в том смысле, что оказалась позади романтики. ...То, что никто вообще не воспринял наследие романтической философии, — первостатейный научный скандал»⁴⁴.

Разумеется, европейский философский романтизм — лишь частность. Подлежит защите от нелепых нападок также и наследие античных и средневековых авторов, которых считают чуть ли не предтечами тоталитаризма, навешивая на прошлое политические ярлыки современности. Чего стоит одно попперовское издевательство над Платоном, чьи идеи две тысячи лет лежат в основе всей европейской науки.

Помимо восстановления в правах целых направлений европейской мысли, теория нации и государства должна взять все полезное и от русских авторов, которые в современной российской действительности находятся в своеобразной резервации и отданы на откуп не всегда внятной «почвеннической» публицистике.

Наиболее масштабной задачей в реанимации политической философии является возвращение к адекватной методологии. Рационализм Просвещения должен быть признан полезным лишь для решения частных и специализированных задач. Современная наука должна выйти из подросткового возраста, куда ее загнали догматики либерализма и марксизма. Пора прекратить «слепое топтание философов на почве классического Просвещения»⁴⁵.

Как указывает Хюбнер, «философия Просвещения в целом покоится на теоретико-познавательной и философско-научной догме абсолютизированной научной онтологии и отождествленного с ней разума. Этой догме следует возразить так: *существуют мифические разум и онтология, а также и мифическая форма опыта, в то время как рациональность является чисто формальной логической способностью и во всех аспектах действительности работает одинаковым образом*. И там, и здесь на основе онтологических предпосылок осуществляется логический вывод, и *homo sapiens* во все времена «размышлял» одинаково хорошо, но лишь о других содержаниях и предметах.

Онтология — это *система опыта*. Поэтому миф, вопреки все еще широко распространенному мнению, является такой же системой опыта, как и наука, но лишь с совершенно иным содержанием»⁴⁶.

Вероятно, современный опыт подводит нас к той же мировоззренческой революции, которую совершил Платон — с одной стороны, увидеть слабость Логоса и Рацио как чисто формальной процедуры, с другой — развенчать миф, застывший и утративший содержание, и ритуал, формализованный и неспособный оказывать чувственное воздействие на людей. С одной стороны, это — осовременивание Логоса

⁴³ Гегель. Философия права. М., 1990. С. 340.

⁴⁴ Хюбнер К. Нация. М.: Канон, 2001. С. 285.

⁴⁵ Там же. С. 385.

⁴⁶ Там же. С. 368–369.

метафизикой, почерпнутой из прежде живого мифа, с другой, – оживление мифа в политическом процессе, его «логофицирование»⁴⁷. В целом, требуется возврат к абстрактному политическому мышлению, открытому Платоном (теоретический уровень) в сочетании с практицизмом национального мифа и связанными с ним задачами государственного управления.

Политическая философия должна работать именно с теми забытыми (или скрытыми от публики) содержаниями, которые прямо и открыто или подспудно внедряются в массовое сознание политическими мифами, политическими технологиями. В современном мире политический миф – такая же реальность, как в древних сообществах культурный миф. Просвещенческий рационализм не может решать проблемы современности, потому что ему чужды иррациональные мотивы в поведении людей. Не будучи в состоянии объяснить и оправдать их, современный научный рационализм объявляет их либо недействительными, либо подлежащими всяческому подавлению. Между тем политический рационализм лишь делает вид, что следует научному мифу, давно превращенному в ритуал. Политический рационализм давно живет производством и переработкой политических мифов – политическими технологиями.

Методологические замечания

Государство является (и признается практически всеми учеными) основным объектом политологических исследований, однако теория государства в современной науке как следует не разработана. Даже отдельные отрасли политического государствоведения не продвинулись дальше аристотелевской методологии, а в научной добросовестности остались далеко позади Аристотеля. Пытаясь быть современными, иные «прогрессивные» ученые стараются отыскать какую-нибудь новую методологию, чтобы избавиться от укоряющего примера древних мыслителей и списать их в музей.

Существенной новизной по сравнению с аристотелевскими временами является принципиальное усложнение самого подхода к понятию в гуманитарном знании. Этот подход уже не может опираться на имитацию естественнонаучного эмпиризма – задача состоит не в описании ограниченного множества политий с набором классифицируемых переменных, что составляло политику времен Аристотеля, а в анализе каждой политики, каждого государственного организма, которые вобрали в себя всю сложность социального устройства, прежде как бы распределенного в относительно чистых типах городов-государств (или при смешении малого числа идеальных типов). Типы государств стали неясны в отрыве от типов цивилизаций, которые в силу глобализации, оказались различимы лишь в соотношении с ведущими нациями, подтягивающими к себе цивилизационную периферию. Так возникает увязка теории государства и теории нации, которая не сложилась в отдельную отрасль социального знания.

В связи с переплетением проблематики государства и нации оказывается очень продуктивным подход Хюбнера, предлагающего при исследовании национальной идеи вернуться к ее истокам – философской романтике, противостоящей безнациональному эмпиризму и органично (а не формально!) связывающей научную мысль с древней философской традицией⁴⁸. Идея ускользает от точного определения, а потому требует целой сетки понятий

Курт Хюбнер говорит: невозможность дать некоему явлению однозначное и точное определение еще не означает, что не существует определение иного рода. «Фундаментальный пример – идентичность некоторой личности, которая никогда не может получить однозначного и точного определения через свои качества. Кто-то считает характерными чертами одни качества, а кто-то другие. Эти различные определения могут частично дополнять друг друга, частично друг другу противоречить»⁴⁹.

⁴⁷ Там же. С.21–22.

⁴⁸ Там же. С. 289.

⁴⁹ Там же.

Так же мыслит и российский социолог А. Филиппов, отметивший у современного исследователя своеобразный рецидив утопического подхода к действительности: современный исследователь («наблюдатель империи») не может и не хочет рационально обосновывать свои социальные модели, но может и хочет их рационально конструировать. Действительно, пример России показывает, что ее «тело» (пространство) неопределимо через официально признанные государственные границы – история нашей страны и нашего народа не завершена и не может быть рационально прописана⁵⁰. Поэтому будущее может лишь моделироваться в силу позиции исследователя. Филиппов пишет: «Важно понять, что “проверка фактами” здесь вообще невозможна. Понятия, с которыми нам приходится работать, суть одновременно (хотя и не в одном и том же смысле) и научные, и политические понятия. Это не означает, что проблема научной достоверности тем самым элиминируется; но ставится она по-другому. Данные берутся из области политической жизни, политической коммуникации, а здесь факт и его широкая политическая интерпретация чаще всего намертво сращены друг с другом»⁵¹.

Еще одной характеристикой «романтической» методологии становится учет диахронной идентичности понятия. Понятие оказывается сложным и многомерным: «Если исходя из уже названных причин трудно установить синхронное, то есть актуально данное многообразие качеств некоторого человека, то гораздо более трудно охарактеризовать его диахронную идентичность, то есть его единство в течение всей его жизни»⁵². Нация и государство определяются историей и миссией, личность – биографией и судьбой. А к прошлому непросто подойти с мерной шкалой. Отсюда возникает необходимость определенной реконструкции целостной идентичности – расшифровка некоего политического мифа. До конца понять этот миф можно, соединив его с собственной жизнью, погрузившись в него.

И здесь мы подходим к тому пределу плоско-рационального знания, который наука все время переступает, но стыдливо старается не замечать своего «грехопадения». В особенности это касается социальных наук, которые переступают через собственные выводы непрерывно, но сохраняют оболочку классических форм фиксации знания – все должно быть однозначно, основания абсолютны, описания системны.

Честный взгляд на здание современной науки должен зафиксировать его зыбкость, изменчивую и «воздушную» плотность и признать, что социальная наука никогда и не покидала пространства метафизики и мифа. Беда лишь в бедности и невзрачности метафизики и этого мифа, который не предоставляет современным мыслителям, в отличие от древних, широкого культурного контекста.

Сущность сложного знания, которое, в отличие от примитивной регистрации фактов (в действительности – их видимости, нагруженной определенным теоретическим багажом), требует определенных логических схем, возводимых от исходных аксиом-предпосылок. Самим аксиомам невозможно дать никакого обоснования и соотнести с дихотомией истина/ложь, само знание запутывается в длинных логических цепях и заменяет их мифологиями или обозначает достигнутые результаты некими знаками и тем самым плодит целый веер мифологем или просто этимологических несурзаци.

Ученым все-таки приходится подбирать не исходные основания (до которых докопаться трудно, да и вряд ли оправдано тратить на это силы), а соглашаться с тем, что в рамках диалектического рационализма принятие или отбрасывание аксиом-предтеч вытекает «из случайных *исторических связей* и внешнего исторического контекста, которому они обязаны своим появлением»⁵³. Если это касается нации и государства, то мы никуда не уйдем от истории, метафизики и мифа, а в попытках дать целостное видение

⁵⁰ Достоевский писал о том, что замысел Бога можно понять только в конце истории, а до того представление о том, что все можно рационально осмыслить беспочвенны.

⁵¹ Филиппов А. Смысл империи: к социологии политического пространства// Иное, 1995. Т.3. С. 427.

⁵² Хьюбнер К. Нация. М.: Канон, 2001. С. 290.

⁵³ Там же. С. 280–281.

объекта исследований – и от религии, религиозного откровения и истинности его исходных «аксиом». Историческое измерение нации и государства требует видеть не только рационально систематизируемые правила, повторяющиеся в истории всех народов или одного только народа, но и такие «ненаучные» явления как случайность и судьба⁵⁴.

Объяснение с помощью правил, фиксируемых при анализе исторических событий, должно где-то прерваться, а это значит, оно неполно и не объясняет все до конца. Но если нам повезет и исторический материал будет достаточным, то мы пойдем дальше по логической цепочке и доберемся до аксиом – легендарного момента рождения истории, рождения народа, нации, государства. И здесь снова придется говорить о судьбе (и тайне!), не поддающейся научной рациональности. Напротив, эта рациональность становится просто служебным подспорьем, чтобы увидеть, как из исторической сингулярности разворачивается предопределенная ею историческая последовательность. Тайна рождения и недетерминированность исторической динамики становится главными отличительными элементами идентичности, если дело касается нации и государства.

К этому добавляется еще и измерение нации и государства вглубь: «Религия, миф, искусство, ремесло, нравы и обычаи — назовем только некоторые элементы, — конечно, в известной связи также могут становиться предметом рационального или морального рассмотрения, но их *субстанциональное* содержание никогда этим не исчерпывается. Тот, кто подобно Нозику хочет четко отделить от этого государство и общество, высасывает из них плоть и кровь, оставляя лишь безжизненную личинку, далекую от действительности фикцию»⁵⁵.

Чтобы усвоить невероятную сложность современной социальности, мы должны перейти от привычного в науке : от анализа (всегда неполного и чаще всего имитируемого) к синтезу, начиная с самых простых элементов.

Хюбнер предложил три метода описания мифологической действительности (и действительности вообще), выявляющие онтологические структурные связи: паратаксис, гипотаксис и синтез. Паратаксис не выявляет связей между объектами, описывая их изолированно и фрагментарно, набрасывая картину мира. Когда нет возможности охватить (или преподать) картину в целом, она дается набором фрагментов, а образное восприятие само достраивает недостающие элементы. Так может «склеивать» общее представление набор ярких примеров. Гипотаксис дает описание через построение отношений к стержневому образу или идее – это уже не метод преподнесения учения (целостного мифа через его фрагменты, притчи), а скорее метод прикладной науки, идеологии, политической мифологии: на ключевую определяющую форму «нанизываются» все прочие объекты. Наконец, синтез – достояние фундаментальной теории, где требуется создать понятийно-образную сетку, выявить бытийные формы во взаимоувязке. В гуманитарном знании это значит отыскать гештальт – интегральную сумму объектов, которая означает больше чем чисто механическое их сложение. И тут оказывается, что мы снова впадаем в миф и сталкиваемся с проблемой невыразимости социального бытия, ограничиваясь его интерпретациями – пусть даже и целостного, интегративного характера. Анализ и синтез становятся взаимодополняющими приемами, переплетенными настолько, что между ними теряется разделительная граница.

Для аналитического расчленения объекта, необходимо, чтобы он не исчезал, разобранный на мелкие детали. Поэтому рационалистические методы исследования никак не могут обойтись без мифологического синтеза. Ремифологизировать объект не так просто, и исследователь неизбежно отдает предпочтение аналитическому расчленению. Возможность ремифологизации заключается в выборе априорных политических

⁵⁴ Что есть фактически одно и то же – см. у Хюбнера: «...если верно, что спекуляции о сплошной детерминации истории отвергаются правомерно (диалектически по Гегелю или по Марксу), то у нас не остается никакого иного выбора, кроме того, чтобы оперировать либо понятием случайности, либо понятием судьбы. Однако наш опыт осознанно или неосознанно решает в пользу судьбы» - Там же. С. 318.

⁵⁵ Там же. С. 263.

ценностей для самого исследователя. Для русского ученого это – Россия, русская культура, русский народ, православная вера.

Беда современной политической науки состоит в очарованности результатами аналитических методов и наивной вере, что эти методы всюду пригодны и непререкаемы. Поэтому так востребованы этические доводы, лишенные национальной почвы – с их помощью любой объект, вплоть до родного государства, может быть расчленен аналитически (а потом и политически) и разоблачен этически как не соответствующий абстрактному идеалу.

Вера в этическую аналитику предполагает опровергнутым и преодоленным любой мифологический подход к действительности. Миф, а с ним и научный синтез, рассматриваются как пережитки, выход за рамки науки. Рациональный аналитизм перестает видеть сложные объекты и предпочитает заниматься деталями (обломками) уничтоженного им объекта, теряясь в каждом случае, когда требуется поднять глаза к Небу и ответить на вечные вопросы, «вдруг» становящиеся на повестке дня в условиях глобального кризиса. И тогда мифологическая онтология волей-неволей все-таки принимается – мифологические конструкции берутся уже готовыми, нация и государство в определенном контексте принимаются как абсолютные ценности.

Хюбнер пишет: «...историческая наука имеет дело с двумя субстанциальными событийными пластами одним, рационально объясняемым на основе исторических правил (и законов природы), и другим, который с равным теоретическим правом можно характеризовать как определяемый и случайностью, и судьбой. ...Для политики, как и вообще для жизни, опыт судьбы все же является не просто доказательным антропологическим феноменом, который стремятся заболтать искусственными интеллектуальными аргументами. Вера в судьбу — это также и *практический постулат*. ...Если ученый историк говорит о судьбе, он движется в буферной зоне: там, где начинается миф и заканчивается история. Миф и наука перекрываются в своих областях. Мифическое, тем самым, становится уже интегральной составной частью научно-исторического мышления»⁵⁶.

Политическая философия и политология страшатся выхода за пределы привычной методологии – вплоть до боязни употреблять мифологические имена (на это указывает Хюбнер, когда говорит об отсутствии слова «нация» даже в предметных указателях научных трудов⁵⁷). Преодолеть этот страх перед сумеречной областью, где рациональная наука и иррациональная мифологическая действительность равнозаконны, - задача современной политической науки.

В то же время современная политология не должна увлечься постмодернистской игрой слов и связать себя «тиранией понятий», которая уже в определении какого-либо термина дает исчерпывающую и одновременно удивительно бедную картину действительности. Понятия не могут быть выше действительности, жизни национально-государственного организма. В связи с этим следует обратить внимание на пожелание М.Н.Каткова: «Наши понятия, наши воззрения — злейшие враги наши; они пуще всего сбивают нас с толку, заводят не туда, куда показывают, и дают не то, что обещают. Они коварно подставляют нам один предмет вместо другого, и мы в полной уверенности, что поступаем разумно, можем совершить дела крайнего неразумия, можем сделать то, чего не хотим сделать, и попасть туда, куда не хотим попасть, можем готовить себе пагубу, утешая себя мыслью, что спасаемся от всех бед в тихом пристанище»⁵⁸.

В этом «тихом пристанище» либеральных воззрений и общедемократической риторики корабль российской государственности оброс ракушками и сел на мель. Иным теоретикам только этого и надо, чтобы доказать свою правоту в прогнозе безусловной гибели России и в оценке всей нашей истории как исторического анахронизма.

⁵⁶ Там же. С. 319–320.

⁵⁷ Там же. С. 366

⁵⁸ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 131.

Неподвижность России им выгодна – так проще разбирать ее на детали и издеваться над нелепостью и нежизнеспособностью каждой из них, вырванной из еще дышащего тела. Наша цель противоположна – интеграция идеи российской государственности и русской нации. За мысленной разборкой должна осуществиться реальная сборка «проекта Россия» с указанием того, какие элементы погибли, какие требуют реанимации, какие пригодны для возобновления исторического пути.

Стандартный вопрос о практической применимости теории имеет стандартный ответ: «Нет ничего практичнее хорошей теории». В то же время практичность для теории зависит от готовности какого-либо политического субъекта сделать ее своей для понимания и объяснения политического, а затем – и для применения на практике. Последнее упирается в невозможность широкой трансляции теории без популяризации и идеологизации. Как пишет Джон Данн, «мир современной политики представляется слишком сложным и туманным, чтобы кто-то его очень ясно понял. И он фактически выходит за пределы познавательного пространства людей, находящихся в неблагоприятном положении, для осознания ими большинства его аспектов, а также оказывается вне постижения лицами, имеющими мало склонности попытаться себя как-то лучше осознать»⁵⁹.

Таким образом, понимание политического – внутреннее дело политики как профессии. Невозможно представить себе мир политического во всех деталях, невозможно знать намерения и склонности всех людей. Поэтому понимание политического складывается в рамках замкнутой корпорации. Отделенность от мира позволяет существовать мысли об этом мире. Причем поверхностная демифологизация общества приводит у плюрализму политических мифов, но вовсе не к рационализации политики в целом. Только группа может быть рациональной – да и то в рамках своей внутренней утопии, сложившегося в ней политического мифа и понимания политического. Собственно, сила политической группы состоит в том, чтобы сформировать для себя подлинный миф, а вместе с ним получить подлинное понимание политического. Слабость группы (государства) – в упоении лжемифом или иллюзией полной рационализации.

Практичность политической теории состоит в том, что она способна предложить объяснение политики, превосходящее по продуктивности объяснение неспециалиста⁶⁰. От более глубокого понимания следует ожидать и большего практического успеха. Но только в том случае, если наука действительно опирается на продуктивную методологию, а политика последовательно строит на ней свою стратегию. Увы, ни то, ни другое в современной России не наблюдается – политическая наука существует в отрыве от политики, путая, прежде всего ценностно-нормативное с проблемно-реальным. Выводам науки политики не доверяют, потому что видят в ней попытку заставить их делать то, что их страшит или противоречит их интересам. Наука в качестве субъекта политики выдвигает на первый план иные сущности, чем отпугивает политика, желающего видеть себя деятелем, а всех остальных – подвластными такому деятелю объектами.

Встречный процесс сближения теории и практики должен потребовать от науки прояснения выгод политика, а от политика – готовность признавать существование как других деятельных субъектов, так и не зависящих от его воли процессов, к которым следует приспосабливаться. Такой процесс возможен только в опыте сотрудничества – то есть, в стороне как от «чистой» академической науки, так и от правителей, кажущихся себя если не всевластными, то вполне осведомленными в ситуации. «Средний» (прикладной) слой науки должен соединиться со «срединой» политикой, еще способной воспринимать научные разработки и селекционировать их по признаку продуктивности. Пока процесс сближения науки и политики не запущен, наука все же может дать

⁵⁹ Данн Д. Политическая обязанность// Современная политическая теория, М.: NOTA BENE, 2001.с. 67.

⁶⁰ Хелд Д. Введение редактора// Современная политическая теория, М.: NOTA BENE, 2001.с. 30.

политической практике важное подспорье – язык коммуникации, позволяющий формулировать привлекательные идеи и вербовать их сторонников. Например, наука может дать интерпретацию государственной и национальной традиции, что политика самостоятельно делать не в состоянии – примеров тому множество: как в нелепых партийных манифестах, так и в риторике лидеров общественного мнения.

В целом задачи политической теории можно определить из формулы Дэвида Хелда: «Политические схемы повседневной жизни, как и политические теории профессиональных политологов, являются комплексными сетями предположений, утверждений и идей, а также мнений о природе, целях и характеристиках правительства, государства и общества, о возможности и приемлемости политических изменений и способностях действующих в политике лиц. Поэтому проект политической теории должен включать ряд отдельных задач: во-первых, философских, занимающихся прежде всего концептуальным и нормативным; во-вторых, эмпирико-аналитических, посвященных в первую очередь проблемам понимания и объяснения; и, в-третьих, стратегических, направленных на первоочередное решение проблемы оценки выполнимости движения от того, где мы сейчас находимся, туда, где нам хочется быть. К этому надо добавить историческое, проверку меняющегося со временем значения политического объяснения – ключевых понятий, теорий и задач. Без исторического вряд ли возможно представить себе, как озарения и недостатки прошлых поколений можно включить в коллективную мудрость нынешних»⁶¹.

Эта программа построения теории крайне сложна для выполнения и игнорируется в силу имитационных привычек, распространившихся в социальных науках. В то же время она выполнима только как авангардный проект – как апология нации, ее истории и ее государственности.

Цели теории и цели России

Угнетению мысли о государстве в России служит убеждение, что наше государство неконкурентоспособно – отстало навсегда от ведущих держав и держится среди них только благодаря ядерному потенциалу. Забывается, что кроме ядерного потенциала у России есть и культурный потенциал, который в современном мире приобретает особое значение – его наличие открывает перспективу развития, его отсутствие – пресекает даже те перспективы, которые кажутся обеспеченными с экономической и военной точки зрения.

Теория становится бессмысленной, если для собственного государства и собственной нации не ставит стратегических целей и не видит путей для национальной перспективы. Предмет теории государства и нации в России – это практическая разработка ориентиров и путей реализации того потенциала, который не замечается или намеренно игнорируется при «вычислении» перспектив России в XXI веке.

России действительно «не светит» в ближайшее время вырваться вперед в экономике и обеспечить достаток граждан по высшему стандарту стран Запада. Но это не означает, что страны Запада сохранят нынешнее положение, делая ставку преимущественно на развитие хозяйственных признаков своей цивилизации. Даже хозяйственная оптимальность системы в данный момент времени может оказаться вредной в исторической перспективе – например, в связи с утратой собственной идентичности, которая грозит, прежде всего современной Европе.

Россия может вырваться вперед по сравнению с другими ведущими странами мира (в том числе и в экономике), используя свои обусловленные историей преимущества. Но вопрос в выборе стратегических приоритетов – в чем вырваться и для чего? Этот вопрос о некоем замысле о России – для чего она? В прежние времена ответы на этот, безусловно, религиозный вопрос были даны в разных вариациях. Мы их тоже ищем, в конце концов

⁶¹ Хелд Д. Введение редактора// Современная политическая теория, М.: NOTA BENE, 2001.с. 36-37.

повторяя уже давно звучавшие мысли, пристраивая современность к вечному. Вечная «картина мира» - важнейший момент для понимания того, что нужно России сегодня, чего требуется от политической теории.

Отложив обсуждение вопроса о «картине мира», мы можем прямо обратиться к тому, что предопределяет эту «картину мира» и позволяет не торопиться с формулировками. Речь идет о понимании того, чем располагает Россия - что у нас есть здорового и достойного, что оставлено нам в качестве уникальных ресурсов развития и полноценной жизни. «Инвентаризировав» наследие предков, мы легко поймем, что нужно делать и чего можно добиться, какие цели реальны с этим багажом.

Наполеону приписывают фразу: Бог всегда на стороне лучшей артиллерии. Иначе говоря, в схватке выигрывает тот, кто к ней лучше готов. Кто рассчитывает на бесплотную «духовность», всегда проигрывает. Дух только в своей «телесности» может противостоять «лучшей артиллерии» – это факт, доказанный войнами всех времен и народов. «Телесность» определяет возможный «коридор событий», границу принципиально возможного; дух прикладывает к этому невозможное – стратегический резерв, о мощи которого изначально никто толком и не подозревает. Реализация этого резерва, порой, воспринимается как чудо. Это и есть чудо – божественное вмешательство в логику событий. «Телесность» же национального проекта требует: чудо Божье надо готовить и к нему готовиться. Раб Божий – соработник и сотворец. А значит, «на Бога надейся, да сам не плошай». Забота о телесности – один из признаков здорового духа.

Стратегия для России означает план реализации естественных преимуществ - того, что у нас есть, а у других мало или совсем нет:

1. Православие. Россия - ядро русско-православной цивилизации. Формализация и вырождение религии в христианских странах очевидно. У нас – сочетание этого же с религиозным возрождением. Соответственно, стоит задача сохранить позитивную тенденцию и подкрепить ее разработками концепции взаимодействия Русской Православной Церкви и государства.

2. Интеллект. Русские умеют быстро и неординарно мыслить. Пока это ведет только к тому, что одни бегут на Запад, другие спиваются, чтобы заглушить свой творческий порыв. Соответственно, стоит задача наладить производство интеллектуалов - до такой степени, чтобы мир наполнился русским интеллектом, а вместе с ним и русским менталитетом. Для этого русское зарубежье необходимо связать с истинной Россией.

3. Пространства, природа и полезные ископаемые. Мы не умеем пока их использовать для себя, значит выгодно пока законсервировать все это для потомков. Это диктует приоритеты экономической политики – преодоление сырьевого статуса нашего хозяйства.

4. История. Россия – единственный наследник исторической Империи, способный стать ее естественным, «аутентичным» продолжением. Есть символичный ряд, способный выстроить единое мировоззрение и удержать нацию в системе глобальных сетей. Этим мы можем спастись от растворения в общечеловеческом, грозящем многим другим народам и государствам. Исторические символы являются для нашего народа родными, величайшие события истории человечества - историей нашего народа. В Европе Древней Греции и Риму наследуют все подряд, не понимая, что наследуют. Мы же ведем свое наследие из древности через Византию. Имея Российскую Империю как колоссальный опыт, мы можем его использовать для того, чтобы во всех глобальных сетях встречать «наших». Нация оказывается тогда привязанной не столько к территории, сколько к культурно-историческим кодам.

Все четыре наших «ресурса» – это одновременно и цели, и ценности, которые объединяются возвышающейся над всеми стратегиями задач обеспечения самотождественности (самоидентичности) России. Это и цель, и условие для осуществления любых стратегических замыслов. Ее присутствие означает глобальный стратегический проект для России: «Нам нужен мир. Желательно весь». Проект русской

культурной экспансии – это ответ на глобализацию, это православный универсализм, реализуемый в современной истории.

Соответственно мы имеем ряд теоретических задач: духовно-нравственные и культурные аспекты нации и государства, интеллектуальная и ресурсная теория жизнеспособности государства, роль исторического наследия в формировании современной идентичности нации и государства, безопасность России в глобализирующемся мире.

Устремленность к самоидентичности и экспансии ставят перед Россией как государством и перед русскими как нацией три взаимосвязанные задачи:

1. Внутреннее воссоединение – ликвидация федерализма как тупиковой государственной модели. Административно-территориальное деление без всяких конституций – по экономико-географическим районам. Ликвидация политической субъектности регионов и крупных городов. Одна страна, один парламент, один президент. Моноцентричность государственной власти. Но в то же время – мощное местное самоуправление с собственными бюджетами. Имперская модель управления периферией и нерусскими провинциями и анклавами.

2. Внешнее воссоединение – воссоединение исторической России. Только эта цель может вдохновлять граждан и облагораживать политику, привлекать союзников и выявлять врагов.

3. Заселение, освоение и защита пространства исторической России. Соответственно – демографическая и миграционная политика, сохраняющая этнические пропорции и преимущество русских как государственностроительной нации. Нас должно быть 500 миллионов и по три ребенка в семье. Гражданство и трудовая миграция только для лиц, идентифицирующихся с русской культурой. За Полярным кругом и за Уралом в обозримом будущем не может быть налогов на труд и инвестиции. Военная политика – исходя не из возможности, а из неизбежности войн.

Все сказанное совершенно не ново и новым быть принципиально не должно. Не нашему поколению формулировать новые цели России – оно слишком много уступило и должно пока хотя бы вернуть свое. В нашем поколении нет никакого прорыва в освоении смыслов бытия, но нам они даны в Традиции. Этим нам дан шанс спасти страну и заслужить уважение потомков. Традиция же дает нам смелость судить о том, что нет и не может быть никаких принципов государственного строительства, чтобы ради них можно было погубить Родину.

С Третьим Римом ничто в современном мире не сравнится. Третий Рим должен быть достроен, наш внутренний Карфаген (торгашески-стяжательский тип) разрушен, а грядущий кровосмесительный и уравнилельный Вавилон (богоборческий нигилистический тип) задавлен еще в проектных разработках. Третий Рим как русский реванш должен быть возрожден сначала для самих себя через воссоздание традиции, а потом для всего мира как образец иного мира, как реализация русской исторической миссии.

Глава 2. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Определение невозможно, смысл познаваем

Проблема определения политологических терминов является весьма важной для системы образования. Вместе с тем, попытки отыскивания однозначных и общепринятых определений в значительной мере перенимают этот методологический принцип из области естественных наук, где исследователь имеет дело с неизменными законами природы. В гуманитарных дисциплинах требование однозначного определения достаточно обосновано лишь в сфере юриспруденции. Любая поисковая задача так или иначе потребует подхода к объекту изучения с разных сторон, а значит, постоянного развития изначально выдвинутых в качестве гипотез идей и соответствующих определений или постоянного пополнения набора определений. Что касается теории государства, то начинать ее изложение или анализ с какого-либо определения, значит заведомо ограничить возможности в применении ее как к современной ситуации, так и к общим и различным теориям и практикам государств прежних эпох.

Гегель указывал, что такого определения и не может быть. Он писал, что государство есть организм, т. е. развитие идеи в своих различиях. «Природа организма такова, что если не все его части переходят в тождество, если одна из них полагает себя самостоятельной, то погибнуть должны все. С помощью предикатов, принципов и т. д. так же нельзя достигнуть суждения о государстве, в котором следует видеть организм, как нельзя с помощью предикатов постичь природу Бога, жизнь которого я должен созерцать в самом себе»⁶². Добавим, что подобные затруднения будут и при попытках определить человека или, скажем, черепаху или бактерию.

Современный исследователь пишет: «Попытка дать точную и исчерпывающую дефиницию государству заранее обречена на провал. Десятки и сотни таких попыток в лучшем случае раскрывали какую-либо сторону государства, его структур или функций, описывали его публично-властные функции или влияние функциональных свойств на жизнь людей и т.д.»⁶³.

В то же время расчленение теории государства по отраслям знания, каждая из которых высвечивает лишь некоторый аспект государства (паратаксис), приводит к тому, что «...изучаемый предмет множится в нашем умственном зрении, разлагаясь на несколько вполне самостоятельных предметов. Совершается рассеяние предмета, деконцентрация его существенных свойств. Предмет растекается сквозь пальцы исследователя, как вода. О какой же еще реальности государства можно при этом говорить? Социолог имеет дело с одной реальностью государства, юрист — с другой, а какова истинная реальность, не знает ни тот, ни другой»⁶⁴.

Отсюда возникает методологический принцип, соответствующий метод философского синтеза: «Государство должно быть взято во всей его богатейшей природе как непосредственный предмет умственного созерцания. К изучению государства должен быть применен тот интуитивный метод, который столь популярен в современной философии. Теория государства должна пережить конкретную целостность государства во всем богатстве ее живых проявлений, должна погрузиться в логику самой государственной жизни и почувствовать в ней истинно существенное в отличие от случайного»⁶⁵.

При ограниченности возможности всеобъемлющего синтеза приходится согласиться на гипотаксис, выявляя стержневую идею в понятии государства, которая

⁶² Гегель. Философия права. М., 1990. с.293–294.

⁶³ См. обсуждение этого вопроса в Мамут Х.С. Государство: полюсы представлений// Общественные науки и современность, 1996. №4.

⁶⁴ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 397.

⁶⁵ Там же. С. 400.

позволила бы соединить фрагментарно набросанную различными исследователями картину в нечто связанное, выявляющее наиболее существенное.

Чтобы осмыслить государство, как главный феномен политики, наука должна «опредметить» его, рассмотреть в различных ракурсах и аспектах, не теряя в то же время целостности объекта исследования. И это возможно, по всей вероятности, только путем анализа конкретного государства, в котором сочетается общее всех государств и ярко высвечиваются индивидуальные и особенные его аспекты. Практическую значимость теория государства приобретет для нас, если в качестве конкретного государства мы выберем Россию, в истории которой так разнообразно проявилась идея государства, что мы можем не беспокоиться о какой-либо ограниченности исследования или упущении важных аспектов, требующих разработки теоретических подходов.

Таким образом, гипотаксис,двигающий нас к синтетическому объемному видению феномена государства, требует в качестве одного из вариантов стержневой идеи использовать идею исторического своеобразия конкретного государства и соотнести с этим всеобщие закономерности, которые отличают данное государство от других.

Понятие о многомерности государства сталкивается с текущей политической практикой его примитивизации и упрощения до какого-либо убогого принципа. «В связи с этим попытки ухватиться за одну словесную формулу, например, правовое государство, социальное государство, вульгарно и прямолинейно их интерпретировать, а тем самым редуцировать до некоего мифа могут иметь исключительно негативные последствия — самообман и дезориентацию собственного мышления, навязывание согражданам нелепых и разрушительных утопий»⁶⁶.

Жак Эллюль описывает политическую иллюзию государства, поселившуюся в душах людей XX в.⁶⁷:

- соотнесение политики исключительно с государством, а зрелой личности — исключительно с политикой; размещение государства в роли центрального фактора жизни людей;
- представление об истории как функции государства;
- апелляция исключительно к государству при любых обстоятельствах, придание государству мистических способностей разрешить любую ситуацию;
- представление о власти как о силовом факторе, который единственно способен обеспечить безопасность гражданам, защищая самое себя;
- монистическая идея власти, которая сама есть источник любой власти, и при которой невозможна никакая властная автономия.

Все это образует миф государства, дополняемый при определенных обстоятельствах «верховным божеством» — обществом, которое имеет государство на посылках и обязывает удовлетворять его запросы. Эта либеральная модификация мифа государства ничего в нем не меняет и не позволяет отделять его от мифа тоталитарного государства.

Эллюль пишет: «Мотивы, обряды, таинства, которые заставляли человека принимать религию и ожидать, что Бог совершит то, чего не может сам человек, приводят его ныне в политику и побуждают к упованиям на государство, от которого ожидают тех же самых свершений»⁶⁸. И это частичный, ложный миф обыденного сознания, выключающий человека из соучастия в социальном процессе. Однако интегральный миф, найденный в самобытной истории, а не навязанный ей иждивенческой психологией, дает возможность если и не свести результаты исследований к короткой формуле, то хотя бы наметить план реконструкции государства и создания его теоретического проекта как политического воплощения нации.

⁶⁶ Ильин М.В. Слова и смыслы// Полис, 1994. №1.

⁶⁷ Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. Гл 1.

⁶⁸ Там же. С. 321.

Последствия разнообразных утопий, к которым многократно пытались подтянуть Россию, ее народ прочувствовал за последнее десятилетие настолько интенсивно, что возникшие в связи с этим результаты затмили утопические опрошения прошлого (в том числе и советского). Поэтому задача снятия барьеров, замыкающих теорию государства в рамках упрощенных подходов, является важной научной задачей сегодняшнего дня. Сложность состоит в том, чтобы показать связь со стержневой идеей многообразия реальных политических задач, связать национальный миф с практикой национально-государственного строительства.

Утопизм, развившийся сверх национального мифа, черпающий «вдохновение» уже не из души нации, а из догматизированных элементов произвольно привнесенного политического учения, вызывает к жизни определенную научную методологию, в которой дедукция затмевает все другие методы познания. Все явления, не укладывающиеся в сконструированную «картину мира» просто исключаются. Соответственно, государство и нация приобретают застывшие черты, легко пробуждающее по отношению к ним нигилистическое отношение. Как отмечал Иван Александрович Ильин, коммунист воспитывается именно на дедуктивном мышлении, которое является «самым легким, самым пустопорожним, отвлеченным, мертвым и пассивным». «Дедукция знает все заранее: она строит систему произвольных понятий, провозглашает «законы», владеющие этими понятиями, и пытается навязать эти понятия, «законы» и формулы – живому человеку и Божьему миру».

Предельная рационализация Logos вплоть до формально-логического вывода, по сути дела, исключает интуицию, чувственное восприятие (Aisthesis) и угнетает индукцию – само познание (Episteme). Кончается все это властными велениями насилия и террора.

Ускользнуть от соблазна догматического конструирования государства возможно только в связи с признанием истины национального мифа и отнесением дедуктивных методов в финальные, заключительные процедуры исследования. В связи с этим теоретическое осмысление понятия государства не может быть продуктивным, если попытаться начать его с жестких формулировок, делающих все дальнейшие рассуждения лишь оправданием догматически выдвинутого тезиса.

Единственное определение, которое можно допустить в силу его тавтологичности состоит в том, что государство есть политически организованное общество. При этом обозначение принадлежности государства к сфере политики лишь фиксирует в нем обстоятельства публичности и борьбы вокруг сферы общественных интересов и власти – ничего более. Государство во внутренней и внешней сферах означает возможность присутствия «чужого», «врага», который в безгосударственной ситуации должен был бы просто уничтожаться всеми силами. Именно поэтому государство, а также воплощенная этика – только этика дает человеку силу терпеть чужого и даже пытаться его понять и ассимилировать в своем сознании. Эта возможность возникает только при монополии на насилие – никому не дозволено уничтожать своего «врага» без санкции государства. Таким образом, в определении государства как политически организованного общества скрыто присутствуют другие его определения и вся прочая проблематика, которая разворачивается по мере разъяснений тех или иных терминов, включаемых в определение первого, второго и т.д. уровней. В отличие от естественных и точных наук, здесь совершенно иная схема построения понятийного аппарата – в языке общества нет неопределимых понятий, а потому парадоксы носят совершенно иной смысл – в них скрыта не новая теория, а новые смыслы.

Государство, похищенное у Небес

Платон находит в мире идей идею Бога, которая, выражая совершенство, не может приобретать множество ликов. Идея платоновского Бога монотеистическая и нравственная: «Бог — это, конечно, нечто простое и правдивое и на деле, и в слове: он и сам не изменяется и других не вводит в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения

ни наяву, ни во сне». В «Законах» идея монотеизма выступает как «политическая теология» - единый Бог должен господствовать и в государстве. «Государства, где правит не Бог, а смертный, не могут избежать зол и трудов».

Бог Платона, как мы видим, далек от сообщества греческих мифических богов и скорее сходен с некоей абсолютной идеей. Что отражает систематизацию Платоном «картины мира», в котором государство должно стремиться к такому же идеалу, который может быть помыслен в идее Бога как совершенства. Реальное государство вокруг Платона было в упадке и не могло служить источником философского вдохновения, греческий миф также угасал как живое явление, и также не поставлял новых образов, исходя из которых можно было строить систему представлений об обществе. Поэтому дух философа припал к абстрактной идее, извлеченной из собственного ума. Лишившись при этом связи с жизнью, он открыл некоторые аспекты этой жизни – холодные и безжизненные, подобно греческой статуе, но совершенные в своей форме.

Идея меры (соразмерности, числа, равного и неравного) для Платона носит божественный характер и всегда ведет к Благу, которое символизируется Солнцем и позволяет видеть вещи в их несокрытости (А-летейя). Нарушение меры есть чувственная разнузданность, не скованная Сверхчувственным. Вождения ведут к упадку любой общественной конструкции. Властолюбие, алчность, честолюбие и анархия доводят любой политический режим до абсурда и реформируют его на иных принципах: олигархия превращается в демократию, демократия – в тиранию, тирания – в аристократию и т.д. Иными словами, есть естественно-божественная иерархия в государстве-обществе и ее извращение в отступлениях от божественного. Совпадение с божественным остается в памяти о классическом греческом полисе, где нация была единством граждан на форуме, какие бы споры между ними не возникали. Физическое пространство полисного единства, каким бы холодным оно ни было оказывается действительным замыслом национального единства и национальной иерархии (если говорить о государстве Платона современным языком).

Религиозные основы государства проявляются в учении Платона. Он рекомендует не увлекаться законами – вместо «хороших законов» нужны «хорошие люди». И тогда людям оказываются не нужны законы о сделках и торговле, о ссорах и обидах, о суде. «Ведь большую часть того, что надобно определить законом, они, конечно, и сами легко откроют» (425cr1). Зато «величайшие, прекраснейшие и первые из законоположений» суть *религиозные*. К оракулу и надо прибегать с важнейшими вопросами. И эти величайшие, прекраснейшие и первые законы «относятся к сооружению храмов, к жертвам и иному чествованию богов, гениев и героев, также и к гробницам умерших и ко всему, что должно совершать, чтобы боги были нашими заступниками, ибо таких-то вещей мы сами не знаем... да не обратимся и ни к какому иному истолкователю, кроме единственного бога» (427bc). Законодатель, по Платону, должен ориентироваться на такие цели-ценности, как Красота и Истина.

Не закон должен зависеть от воли людей и находиться в их услужении, но люди должны рассматриваться как слуги божественных законов. Право не может определяться волей сильнейшего или выгодой власть имущего. Оно измеряется масштабами установленных Богом законов. Платон видит неизбежность гибели государства там, «где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги». Без религиозной веры немыслима сама идея справедливого государства, в противном случае закон зависит лишь от власти имущих, а нравственная мотивация — от политической конъюнктуры, когда правильным оказывается то, что социально значимо и выгодно. Задача законодательства состоит в том, чтобы по возможности преодолеть эту разобщенность и превратить религиозно-нравственные нормы в нормы социальные, а нравственное поведение сделать общепринятым.

Платоновская идея государства, как и идея Бога, заключена в некоем идеале. Если о совершенстве платоновского Бога ничего нельзя сказать, поскольку он – начало всего, то по поводу государства можно представить себе, что есть замысел, который описывается также некоторыми неопределимыми понятиями – Истина, Красота и т.д. Так в холодном платоновском мифе государства объявляется сконструированная утопия, все обоснование которой состоит в том, что она эстетически совершенна.

Алексей Федорович Лосев отмечал, что платонизм мыслит всех людей как богочеловеков. Напротив, в христианстве «только однажды единый и неповторимый Бог воплотился в человеках субстанционально, а все остальные люди воплощают в себе бога только энергийно, только идеально. В платонизме же люди – субстанциональные, ипостасийные воплощения божеств. Боги в платонизме не личности, но мистически мифологизированные идеи»⁶⁹.

Характеризуя учение Платона о государстве, А.Ф.Лосев писал: «В платонизме тело живет такой идеей, которая не есть идея чего-нибудь духовного или нетелесного, но телесного же. Сама идея нетелесна, но это идея — телесного. Идея осмысляет бытие только в смысле телесности, т. е. схематизма. Итак, кто признает существование только тела и для кого тело есть только тело, тот не может увидеть и самого тела в его подлинной жизни, а видит в нем лишь схему, так как всякое тело не может быть только телом; и в полной мере тело оно только тогда, когда есть и еще что-то, в отношении к чему оно — тело. Итак, культ тела и прельщенность телом диалектически приводят к проповеди тела как пустой схемы, тела как голого факта, которому несвойственно ничто личностное и духовное. Факт тела признается и поощряется, а смысл его отрицается. Такова диалектика всякого материализма. Такова диалектика и того вида материализма, который есть язычество»⁷⁰.

Тем не менее схематизм духовно-нравственного источника государства у Платона дает картину последовательного конструирования государства исходя из высших ценностей – это первая, детски наивная рефлексия, которая возводит и человека, и общество к отвлеченному Богу-идее. И так совершается интеллектуальная революция, выход из состояния зверства, описанного в греческих мифах и иудейских преданиях как повседневная практика государственной жизни.

Совершенно иной подход к идее и идеалу государственности присутствует у Аристотеля. Религиозные основы государственности фактически удаляются, ибо считается, что мир божественный бесконечно удален от мира человеческого. Соответственно на место этики полиса приходит попытка сформировать универсальную этическую доктрину как часть политики, то есть, самого процесса управления обществом⁷¹. Аристотель увязывает понятие добродетели с интересами (благом) государства. Вместе с тем совершенная добродетель – нечто более высокое, чем гражданская, ибо существует множество типов государств, которые свидетельствуют о множественности типов гражданской добродетели. Но совершенство единично. Иными словами, добродетель выходит за пределы полиса и установленных в нем законов. Дело не в замысле Бога о государстве, а в замысле Бога о человеке, который создает земное государство по собственным планам – во всем его разнообразии. Аристотель по сравнению с Платоном отступает к языческому политеизму, обслуживая в дальнейшем культурную задачу эллинизма.

Логика Аристотеля прерывает свое действие, останавливаясь на пороге развития этики территориального государства и государства-империи. Этические основы государства должны были быть обоснованы уже вне связи с полисной общиной, вне прямого межличностного общения, где замысел Бога о человеке реализовался зримым образом во взаимодействии «общественных животных». А это значит, что в обоснование

⁶⁹ Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 848.

⁷⁰ Там же.

⁷¹ Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 55.

гражданской этики должны были быть снова привнесены религиозные мотивы – уподобляясь Богу, гражданин сближался с другими гражданами, стремящимися к такому же уподоблению через идею личного Бога. В этике территориального государства воздаяние за добродетель уже не может планироваться как непосредственное и неизбежное и переносится трансцендентный мир. Соответственно радикальным образом меняется идея государства как идеального замысла Бога.

Августиновское государство разъединяет мир божественного государства и мир светского государства, но одновременно превращает их в конкурентов – римский папа становится хранителем священного государства, а император – светского. Душа человека и тело человека получают каждая свое прибежище и свою ответственность перед государственным принципом. Западнохристианская конструкция государства, родоначальником которой был Августин Блаженный, таким образом, создает не иерархию и функциональную ответственность властителей, а их столкновение в борьбе за государственную власть – светские и духовные властители в зависимости от ситуации могут вступать в союзы или объявлять друг другу войну. Тем самым нарушается фундаментальный христианский принцип «всякая власть от бога», власть императора узурпируется властью папы, а его полномочия в конечном счете присваиваются светскими суверенами. Мир-империя заменяется мирами абсолютистских государств, где принцип властвования подчиняет себе духовно-нравственные идеалы.

Теория государства Фомы Аквинского прямо продолжает учение Аристотеля, полагая, что государство возникает из естественной необходимости человека жить в обществе. Фома Аквинский также судил о месте церкви и веры в государстве по тому, что государство может быть «неправильным». Суждение о законности происхождения и использования власти принадлежит церкви. Церковь может призвать народ к сопротивлению тирану. Но в идеале церковная и государственная власти соотносятся как душа и тело, и духовная власть оказывается выше светской.

В борьбе с папской властью у европейских монархов сформировался «социальный заказ» на доказательство примата имперской светской власти над папством. Одним из философов, реализовавший этот заказ, был Жан Жанден («Страж мира», 1324), доказывавший, что государство стоит над церковью и вместе они опираются на принцип верховенства народа. Соратник Жандена Марсилий Падуанский увидел в государстве разновидность «общественного договора», а идеальной формой правления считал монархию с пожизненно избираемым правителем («Защитник Мира», 1324-1326 гг.). Выветривание духовного содержания из теории государства демонстрируется уже в учении Марсилия, который полагал, что государство создается добровольным объединением людей, которые самостоятельно определяют характер правления и передают правителю власть над собой. Теряя божественное предназначение, теория государства утрачивает культурную идею и становится всего лишь конструкцией договорного типа, в которой нация не просматривается.

Философ не может смириться с таким возвращением к языческой дикости и многоликости идеала, который присваивается властителями, рвущими друг у друга престолы. Поэтому мы встречаем совершенно иное понимание взаимоотношений светского и духовного в учении Данте о монархии⁷² (XIV вв.). Миссия церкви диктует отделенность духовной власти от государства – папа ведает путем в царство не от мира сего, а потому не может и не должен конкурировать с императором в светских делах. Авторитет империи абсолютно независим от церкви, а император лишь оказывает церкви светское покровительство. Иными словами, Данте продолжает линию Аристотеля, полностью разъединяя мир божественный и мир человеческий. При этом связь между этими мирами все-таки остается, осуществляясь посредством взаимной поддержки папы и императора. Государство остается за императором и ему доверяется план идеального

⁷² Данте А. Монархия. М.: Канон-пресс, 1999.

государства. А духовная власть надзирает лишь за божественным замыслом о человеке. Увы, такого рода модели отношения церкви и государства, идущего от Византии, не было шансов реализоваться. Она обрела свою опору только на Руси.

Европейская мысль развивалась преимущественно в другом направлении – вслед за политикой. Схематический материализм Гоббса воплощается в его учении о государстве, согласно которому люди отказываются в пользу государства от своей свободы, чтобы соперничество, недоверие, жажда славы не выливались в постоянную войну между ними. Божественное еще остается в государстве, но уже отстраненно, не вмешиваясь в дела «земного бога»: «Таково рождение того великого Левиафана или... того *смертного бога*, которому мы под владичеством *бессмертного бога* обязаны своим миром и своей защитой». Просвещение – впоследствии доминирующая политическая утопия – полностью порывает с божественным, полагая возможным все объяснить естественными отношениями между людьми. Впоследствии и эта «гипотеза» оказывается ненужной. Либерализм в конце концов жертвует и «естественным правом», чтобы не оставить никаких оговорок и возможностей оправдать родовые привилегии и права, доказавшие свою естественность длительностью существования. Возникает идея государства, получившая дальнейшее и полное развитие в марксизме.

Консервативная и романтическая традиции, сосуществуя с либеральной, имели широкие возможности для критики безбожных моделей государства и защиты традиционных государственных форм, в которых традиция подтверждала присутствие божественного и связанных с ним этических норм. Для Гегеля государство есть «нечто божественное в земном»⁷³ – платоновская идея, спустившаяся на землю. «Государство есть действительность нравственной идеи — нравственный дух как *очевидная*, самой себе ясная, субстанциальная воля, которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она это знает. В *нравах* она имеет свое непосредственное существование, а в *самосознании* единичного человека, его знания и деятельности — свое опосредованное существование, равно как самосознание единичного человека посредством умонастроения имеет в нем как в своей сущности, цели и продукте своей деятельности свою *субстанциальную свободу*»⁷⁴.

Государство осуществляется в нравах и самосознании, т.е., в жизни нации. И только в нации индивид осуществляет свою телесную свободу, наполненную духом божественного замысла. В нравах нации государство конкретно и индивидуально, но в этой индивидуальности воплощается и единственная нравственная идея.

Великие мыслители в поисках связи земного государства с высшей небесной сущностью пытались понять, множественны ли мысли Бога о государстве или эта множественность порождается только человеческой природой – либо уклоняющейся от божественного своим произволом, либо исполняющей свою земную миссию.

В немецкой философии божественное угадывалось в уже существующей нации, которая именно поэтому получала права на жизненное пространство – на строительство соответствующего задаче нации государства. В русской философии такая самохвала нации не была возможной, поскольку достойное нации государство было дано русским в православном царстве, а затем – в православной империи. Миссия русской нации заключалась в том, чтобы вырасти до соответствия этой идеальной земнобожественной сущности и поддержать ее существование как закон собственной жизни.

В русской философии христианская мысль достигла понимания того, что нравственная идея может быть и является разной у народов и воплощается в различных государственных формах, каждая из которых подходит более всего именно данному народу. Для каждого народа идеал такой формы единственен и народы – суть мысли Бога, как и государства. В то же время воплощение духовно-нравственного идеала всегда исторически конкретно, как конкретна должна быть оценка уклонений от него. Утрата

⁷³ Гегель, Цит. пр. С. 310.

⁷⁴ Там же. С. 279.

государства, модель которого далеко опережала способности нации, вернула русских к положению немцев – расчлененному состоянию и необходимости обрести хотя бы такое государство, которое соответствовало интересам выживания русской нации. Немцы же, пройдя до конца путь национальной катастрофы, обрели гармонию в скромном государстве и скромном национальном самосознании, где нет места размышлениям о какой-то самостоятельной миссии и отличной от общезападной «немецкой идеи».

Ощущение сакральности государства (обычно без внятного представления о его «земном» измерении и даже без особого интереса к этому измерению) – неотъемлемая черта русского самосознания, а также того «коллективного бессознательного», которое всегда присутствует в решениях политиков, в их риторике и символических действиях. Поэтому проблема осмысления духовно-нравственных основ государства и соотнесение с ними его «земных» деталей становится научно-практической задачей. «Материализация» государства как бездушного механизма, представление о нем как о безыдейном (в платоновском смысле) инструменте прямо противоречит менталитету широких слоев русского общества. При доминировании такого рода взглядов, наблюдаемых сегодня в политических и экономических «верхах» означает, что государство теряет свою онтологию, выпадает из системы сверхматериальных ценностей, оказывается вне системы этических ориентиров. Отсюда недалеко до отрицания ценности государства как такового, радикального противопоставления интересов личности интересам государства, антигосударственного нигилизма. Это и есть характеристика глоболизирующихся «верхов», потерявших связь как с небесным, так и с земным Отечеством.

Теория государства должна ясно различить духовную природу государственности, соотнести ее действительные формы с божественным замыслом о нашем народе. Без этого все усилия ученых будут пустой тратой времени, собиранием обломков национального мифа, который в их трудах никогда не сложится в осмысленную картину и останется либо незавершенным паратаксисом – бессвязными элементами разрушенной мозаики, либо неначатым гипотаксисом – попыткой подбирать только те фрагменты мозаики, которые соответствуют только собственным представлениям ученого и достойны внимания.

Государство идеальное и реальное

Порок современной политической науки – постоянные попытки вывести реальное государство из умозрительных посылок, выстроив логическую цепочку от придуманного государства к государству недалекого будущего. Бесплодность поисков идеального государства как изобретения, не имеющего связи с историческими прототипами и аналогами, до сих пор не осознана. Логический позитивизм упивается мнимой научностью, ошибаясь уже в своей первой посылке. Политическая жизнь меж тем ищет оптимальных решений, не обращая внимания на ходульно-идеальные схемы, которые подбрасывает наука⁷⁵. Цинизм политиков в данном случае является благим принципом по сравнению с заносчивыми мечтами ученых о социальном эксперименте с целью повесить на шею народу непосильный идеал.

Реализм и утопизм в классической теории государства всегда стоят рядом. Например, Аристотель, как реалист, прекрасно знает, что идеальные представления о государстве на практике редко достижимы. Поэтому неизбежны извращенные формы государства, например, когда демократическая анархия пресекается сильной личностью тирана. Аристотель пишет, что «хороший законодатель и истинный государственный муж не должны упускать из виду как подлинный наилучший вид государственного устройства, так и относительно наилучший» (1288b)⁷⁶.

С этой точки зрения политика – искусство возможного, а с точки зрения мифа, культурной общности, в которой укоренилось государство, *искусство невозможного*.

⁷⁵ Dahl R.A. After the Revolution? Authority in a Good Society. Revised edition. New Haven. L., 1990. P. 36.

⁷⁶ Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 486.

Возможное и невозможное, реальное и идеальное соединяются в политическом мифе. Политический миф создавал греческий патриотизм, заставляющий быть, например, приверженцем Афин вне зависимости от государственного строя. Тот же миф невозможного отразился в общеэллинской солидарности, так и не вылившейся в единое государство, которое, по мысли Аристотеля, могло бы господствовать над всем миром (1327b)⁷⁷.

Аналогичным образом синтез реального и идеального мы можем проследить в истории России, которая для многих исследователей остается исторически невозможным государством. В истории России чудятся непрерывные поражения, которые делают величайшее государство мира следствием нарушения причинности – Россия кажется погибающей почти во все времена своего существования, но одновременно дает миру такие образцы щедрости и жизнелюбия, такой мощной экспансии, которые ожидаются только в моменты расцвета и торжества над врагами.

А.Ф.Лосев выделяет в греческой философии четыре периода: «В первом, *натурфилософском*, периоде философ погружен в созерцание всеобщей Стихии, называемой им то Водой, то Воздухом, то Числом, то Беспредельным, и в спокойную решимость покинуть жизнь перед лицом этой стихии. Во втором периоде, у софистов и Сократа – несколько иной пессимизм. Релятивистический субъективизм софистов совершенно обесценивает принципиальную ценность общественной и государственной жизни; у Сократа же спокойное благодушие перед властями и родиной смешано с беспощадной и принципиальной идеалистической критикой отдельных сограждан. В третьем периоде, у Платона — ожесточенная полемика против «дурных» форм государства и стремление найти пристанище в утопии, у Аристотеля — тот же примат «созерцания» перед «действием», затушеванный научно-реалистическим тоном исследователя. В четвертом периоде, у эпикурейцев, основное требование морали — «не участвуй в политике», у стоиков — превознесение мирового Закона и государства перед земным и национальным, у скептиков — традиционное изгнание политики. Принципиальное презрение к государству, однако, везде совмещается с удивительно живым и бодрым фактическим в нем участием»⁷⁸.

Два первых периода отчетливо лишены определенности идеального в государстве, а потому мысль разрабатывает проблемы частных, не касаясь принципов или не приводя принципов в какую-то систему. Софистика стала своего рода антифилософским («политологическим») течением, поставившим под вопрос основы идеологии полиса – представление о морали и учреждениях города-государства как соответствующих божественному правопорядку (Дике). Платон во многом перенял пренебрежение к реальному государству у софистов. У софистов номос или отражает право более сильного, как считает Фразимах у Платона («Государство», 338), или является результатом зависти со стороны слабых, которые объединившись, стараются заставить соблюдать право более сильных, как заявляет Калликл в диалоге Платона «Горгий» (483 b). Гиппий так говорит в платоновском «Протагоре»: «Мужи, находящиеся здесь! Я думаю, что все вы родственники, ближние и граждане не по закону, а по природе, ибо подобное по природе сродно подобному, а закон — тиран человеков, он часто насилует природу». По мнению софистов, государственные учреждения основаны не на принципах разумного миропорядка, а на произволе законодательства.

Платон уходит от тотального нигилизма софистов и пытается наряду с критикой полиса создать некую идеальную модель государства, осмысливая идею государства как такового. Философы, как считает Платон, «неизменно любят ту науку, которая была бы, которая открывала бы им бытие всегда сущее, а не блуждающее между становлением и разрушением» (485 ab). И он находит идею государства за пределами сущего.

⁷⁷ Там же. С. 601.

⁷⁸ Лосев А.Ф. Цит. пр. С. 868.

Хотя Платон скептически относился к попыткам затормозить процесс социального гниения, его научная методология была построена именно на том, что совершенное устройство общества должно быть полностью ограждено от каких-либо изменений. Следовательно, нужна тщательная разработка этого устройства и гарантий торможения любого социального процесса. Платон исходил из общей посылки, которая гласила, что чувственным сущностям, подвергающимся деградации соответствует совершенная сущность, не знающая упадка. Эта сущность – идея или форма – даже более реальна, чем текущие вещи, поскольку они подвержены разложению, а идея совершенна и неизменна. Идея, существующая вне времени и пространства, есть оригинал, «добродетель», причина существования текущих вещей. С этим оригиналом и следует соотносить реальное государство.

В платоновском идеальном государстве не может быть никакой истории, никакого прогресса. В условиях, когда царит вечность, не может быть каких-либо нововведений и улучшений. Но реальное государство может и должно улучшаться в меру своего несоответствия идеалу и в направлении к нему. При всем скептицизме Платона в его учении угадывается надежда на возможное движение к нерушимому согласию общества. Он предлагает органическую теорию государства, которое «чувствует» каждого члена, как орган, болеет этим органом, когда он болен, и наслаждается, если он здоров. Единство и знание каждым своего места – вот платоновская гармония. «Есть ли у нас для государства зло более того, которое расторгает его и делает многим вместо одного, или добро более того, которое связует его и делает одним».

«Телесность» идеи государства приводит Платона к мысли о вполне земных причинах его существования. Он приходит к заключению, что государство создают потребности. В его изложении звучит тезис Сократа: «Государство... возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом... Каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства, не правда ли?»

Платон говорит о нужде людей друг в друге. Но недостаток в ресурсах (пастбищах и пашнях) ведет к тому, что между соседними государствами, даже если они мыслятся как идеальные, начинается «бесконечное стяжательство» – война. То есть, даже в идеальном государстве следует планировать существование войска, сословия воинов.

В дальнейшем платоновские представления о реальном государстве как сообществе людей (идеальном или реальном) развиты Аристотелем, основавшим соответствующую философскую традицию. Вслед за Аристотелем Цицерон видел в государстве объединение людей (граждан), связанных друг с другом «согласием в вопросах права и общностью интересов»⁷⁹. Человеческие общества, развиваясь, достигают качественно новой формы общежития – гражданской общины, которая и есть государство. Сама же общность предстает совокупностью материальных и социальных факторов, создающих принадлежность граждан к общине: «форум, храмы, портики, улицы, законы, права, правосудие, голосование»⁸⁰.

Аналогичным образом продолжали аристотелевскую традицию и мыслители Нового времени. Почти цитируя Аристотеля, Гуго Гроций в сочинении «Три книги о праве войны и мира» определял государство как «совершенный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы»⁸¹, обладающий «собственными законами, судами и должностными лицами»⁸². Локк в «Двух трактатах отправления» определил государство как любое независимое сообщество людей – вне зависимости от

⁷⁹ Цицерон. Диалоги о государстве. О законах. Кн. 1. М., 1966. С. 20.

⁸⁰ Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1975. С. 72.

⁸¹ Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1956. С. 74.

⁸² Там же. С. 126.

формы правления⁸³. В философском проекте «К вечному миру» Кант пишет: «Государство – это общество людей, которое само распоряжается и управляет собой»⁸⁴. В «Метафизических началах учения о праве» содержится фактически аналогичный по композиции портрет государства: «Государство есть объединение людей под эгидой правовых законов»⁸⁵.

Аристотелевская линия предполагала видение идеального позитивного образа государства в любом варианте его существования. По Аристотелю, государственность всегда есть благо: она всегда существует «ради достижения благой жизни», «для самодовлеющего существования»⁸⁶. Хотя известны факты дурного применения власти в государстве и его «неправильные формы», но даже тирания не лишена позитивного смысла.

Аристотель стремится никогда не упускать из виду идеальную цель государства – достижение благородной жизни, блага и справедливости. Государство – общность благородной жизни семей и родов ради приносящей удовлетворение жизни и независимости (1280b)⁸⁷. В то же время идеального замысла государства в этой линии, завоевавшей в Новое время главенствующее положение, уже нет.

В рамках христианского вероучения различия между идеальным и реальным государством рассматривал и Августин Блаженный, который видел в истории государства два типа – богомерзкое и богоугодное. В первом преимущества имеют и заправляют делами тем, что «живут по человеку» (град земной), во втором – те, что «живут по Богу» (град Божий)⁸⁸. В граде земном правит бал человеческая похоть, эгоизм и своеволие. В действующих государственных системах Августин видел определенный позитив (по сравнению с безгосударственным бытием) только в отношении удовлетворения некоторых экономических потребностей и поддержании общего порядка⁸⁹.

Для Фомы Аквинского государство в своей идеальной ипостаси есть священное, боготворимое явление, часть миропорядка. Поскольку в большинстве реальных государств священное не просматривается, это приводит мыслителя к убеждению, что все государства не относятся к миропорядку, имеющему священную санкцию. В них либо форма государственной власти, либо способ пользования властью противоречит божественной сущности государства – системе социальной иерархии и отношений господства-подчинения.

По Гегелю государство – это «шествование Бога в мире», «земнобожественное существо», «всеобщая и объективная свобода», «действительность конкретной свободы»⁹⁰. Гегель выделяет идеальное в каждом реальном государстве: «Каждое государство, пусть мы даже в соответствии с нашими принципами объявляем его плохим, пусть даже в нем можно познать тот или иной недостаток, тем не менее, особенно если оно принадлежит к числу развитых государств нашего времени, содержит в себе существенные моменты своего существования. Но так как легче выявлять недостатки, чем постигать позитивное, то легко впасть в заблуждение и, занимаясь отдельными сторонами, забыть о внутреннем организме самого государства. Государство — не произведение искусства, оно находится в мире, тем самым в сфере произвола, случайности и заблуждения; дурное поведение может внести искажения в множество его сторон. Однако ведь самый безобразный человек, преступник, больной, калека — все еще живой человек,

⁸³ Локк Дж. Соч. в 3 т. Т. 3. М., 1988, С. 338.

⁸⁴ Кант. К вечному миру. Соч. М., 1966, Т. 3.

⁸⁵ Кант. Метафизические начала учения о праве. Соч. в 6-ти Т.4.Ч.2. М., 1976.

⁸⁶ Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983, С. 462.

⁸⁷ Там же. С. 462.

⁸⁸ Августин Блаженный. Соч. в 22 кн. Т. 3. Кн. 14-17. М., 1994, С. 66.

⁸⁹ Там же. С. 131–132.

⁹⁰ Гегель. Цит. пр., С. 284, 310, 93, 286.

утвердительное, жизнь существует, несмотря на недостатки, а это утвердительное и представляет здесь интерес»⁹¹.

В идеальном государстве, как мы видим, высвечивается его духовно-нравственная природа, а случайность, по Гегелю, подрывает эту идеальность, не затрагивая, благо в самой идее государства. Идеальная схема государства для христианских и консервативных мыслителей, очевидно, существует.

Римская традиция, увлекаясь внешними формами, начинает видеть идеальное государство в гармонично уравновешенных институтах. Так, Цицерон усматривает идеальное государство в смешанном устройстве власти республиканского периода, когда властные функции распределялись между консулом (монархический элемент *karitas*), сенатом (элемент превосходящих способностей и качеств немногих лучших) и наконец народным собранием (элемент свободы каждого) (I, 46). В этом смысле идеальна схема берется не из идеала, гармонирующего с Космосом, а из наилучшего порядка управления.

Полибий считает причиной объединения в государство страх, а римскую смешанную форму правления – идеальным рецептом снятия страха, поскольку она предполагает всеобщий контроль, противовесы любым попыткам политического диктата. Полибий замечает: «Хотя каждая из частей... (консулы, сенат, народ) ...обладает властью чинить друг другу неприятности и помогать друг другу, тем не менее во всех критических ситуациях они взаимодействуют столь единодушно, что лучшую государственную форму вряд ли можно сыскать... Ибо если одна из трех частей переступает границы ей отведенного, примеряя на себя большую власть, чем ей подобает, то здесь сказывается то преимущество, что ни одна из них не является самодержавной, но находит в других свой противовес, который препятствует ей в ее притязаниях. Ни одна из них не может подняться слишком высоко, ни одна из них не может перелиться через все дамы»⁹².

Институциональный идеал пренебрегает источниками римской формы правления – историей и культурой. Иными словами, Цицерон и Полибий перестают видеть за формой правления нацию, связанность граждан единым мировоззрением, для которого формы правления – лишь вторичный фактор единства. Исчезновение нации из политической мысли – опасная тенденция, говорящая о том, что нация перестает узнавать себя. Это свидетельствует не только о кризисе обществознания, но и о кризисе самой нации, об утрате идеальных ориентиров.

Подмена культурной конкретности нации институциональной конкретностью лишает государство нравственной санкции. Идеал становится выхолощенным и привязанным к переменчивым формам правления, но не к принципам. Уходя от абстрактного трансцендентализма Платона, римские мыслители стремились полностью оставить всякую трансцендентность, удалить божественное от человеческого, тем самым утрачивая способность видеть конкретность нации, неразличимую вне ее трансцендентальных проявлений.

Соединить абстрактную идею божественного и конкретную культурную идентичность современного государства попытался Данте. Теологическая идея государства Платона и его общезначимая конструкция идеального государства сочетались у Данте с конкретной имперской идеей Средневековья и христианской верой. Античная идеальная абстракция и христианский универсализм слились в реальности конкретного государства, в его институциональных принципах, способных воспитывать нацию и поднимать ее до своих институтов.

Эта конкретность, по мысли Данте, призвана доказать необходимость универсальной монархии, которая реализует идеальные цели человеческого рода. Мир человеческий уже не отстранен от мира божественного, но может сблизиться с ним как аналог божественной империи. Рим как основатель земной империи движет человечество

⁹¹ Там же. с. 284–285.

⁹² Цит. по Хьюбнер К. Нация. С. 34.

именно к этой цели, доказывая это хотя бы судьбоносной ролью Пилата как легитимного судьи в искуплении Христа.

Чтобы познать достоинства идеи государства, следует отвлечься от конкретности, случайных сторон, от мирских искажений. Но здесь возникает проблема: не останемся ли мы ни с чем, отбросив все конкретно-реальное? Если мы не хотим такого финала теоретических изысканий, то должны признать, что в истории реального государства есть такие проявления, которые связывают его с идеальной конструкцией – идеей блага, небесным Градом и т.д. Что-то ценное должно остаться и в тирании. Задача поиска этого «что-то» стоит при анализе реального и конкретного государства, даже в условиях самого плачевного его состояния.

Ни регресс, ни прогресс

Современный мир все больше разочаровывается в идее прогресса, которая охватила ведущих мыслителей XVIII-XIX вв., живших в эпохи бурных перемен и исполненных надежд на то, что человек по своей природе добр. А значит, добронравие рано или поздно возьмет верх над злонравием и восторжествует идеал общества, к которому человечество ведут исторические законы.

Параллельно с гуманистической верой в прогресс всегда существовало прямо противоположное воззрение, сопровождающее эпохи упадка и кризиса. Воспоминания о прежнем величии государства и уважение к деяниям выдающихся предков заставляли людей думать о том, что все лучшее позади и мечтать не о быстром прорыве в «царство свободы», а о том, чтобы как-то удержать в настоящем крохи дорогого сердцу прошлого.

Древние были преимущественно пессимистами, поскольку философская мысль начинала работать только тогда, когда упадок был налицо. Рассматривая историю как нарастание негатива в окружающей жизни, философы начинали искать образ истинного государства, который остался в далеком прошлом. Так, идею платоновского государства можно проследить обратным путем через его концепцию истории, сутью которой является процесс утраты элементов идеального государства, когда-то представленных в божественной полноте, а впоследствии потерянных в процессе всеобщего регресса от состояния «золотого века».

На смену совершенному государству, согласно теории Платона, приходит «тимархия» или «тимократия» – господство благородных воинов, сражающихся за честь и славу. Данное устройство общества Платон соотносит с традициями, частично сохранившимися в Спарте и на Крите. Затем наступает правление олигархии – власть богатых семейств. «Скопление золота в кладовых у частных лиц губит тимократию; они прежде всего выискивают, на что бы его употребить, и для этого перетолковывают законы, мало считаясь с ними: так поступают и сами богачи, и их жены... Затем, наблюдая, кто в чем преуспевает, соревнуясь друг с другом, они уподобляют себе и все население». «К власти не допускаются те, у кого нет установленного имущественного ценза. Такого рода государственный строй держится применением вооруженной силы или же был еще прежде установлен путем запугивания». Олигархии соответствует социальный конфликт: «государство, находящееся в подобном состоянии, заболевает и воюет само с собой по малейшему поводу. Причем некоторые его граждане опираются на помощь со стороны какого-либо олигархического государства, а другие – на помощь демократического; впрочем, иной раз междоусобица возникает и без постороннего вмешательства».

Из олигархии происходит демократия – царство свободы, характерное беззаконием. Платон демократов называет распутниками, скупердями, наглецами и бесстыдниками, рабами своего каприза, живущими ради удовольствий и удовлетворения нечистых желаний. «Но крайняя свобода для такого рода государства состоит в том, что купленные рабы и рабыни ничуть не менее свободны, чем их покупатели... Если собрать все это вместе, самым главным будет то... что душа делается крайне чувствительной,

даже по мелочам, все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они... тем, что перестанут считаться даже с законами... чтобы уже вообще ни у кого и ни чем не было над ними власти». Подобием такого государства для Платона были Афины, пытавшиеся отменить рабство.

Наконец, наступает тирания – «самое крайнее заболевание государства». Переход осуществляется народным вождем, играющим на социальных антагонизмах и создающим собственную армию. Задачей тирана, поработавшего подданных, будет постоянное вовлечение граждан в войны, «чтобы народ испытывал нужду в предводителе». Данный тип государства Платон знал по личному опыту службы у сиракузского тирана Дионисия Старшего, где свои идеальные представления философ намеревался воплотить в жизнь.

Платоновская идея идеального государства, возникшего в момент Творения, не смогла устоять перед знанием европейской цивилизации, открывшей многообразие моделей общества и дикость – как первосостояние, а не результат деградации многих народов. В связи с этим акт Творения должен был содержать в себе механизм саморазвития, который совершенствует человеческие отношения. В то же время невозможно закрыть глаза и на явные признаки деградации и разрушения государств. Следовательно, прогресс и регресс должны составить две стадии одного и того же процесса. Соответственно, обязательно должна присутствовать и стадия расцвета. Такую картину развития после акта Творения и последующего упадка можно увидеть, например, в романтической доктрине Шарля Фурье («Судьбы мира и человечества»), а позднее – в концепции развития государства Константина Николаевича Леонтьева или в гипотезы этногенеза Льва Николаевича Гумилева.

Конечность всего сущего не может не приводить философа к пониманию смертности не только организмов, но и государств. Так, К.Н.Леонтьев считал, что законы органической и общественной жизни заставляют все живое в своем развитии проходить три стадии — первичную простоту, цветущую сложность и, наконец, вторичное упрощение, смешение и упадок⁹³. Трех стадиям развития государства соответствуют свои системы организации государственной власти: «...в начале развития государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократическое начало. К середине жизни государственной является склонность к единоличной власти (хотя бы в виде сильного президентства, временной диктатуры, единоличной демагогии или тирании, как у эллинов в их цветущем периоде), а к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало»⁹⁴.

Стадия цветущей сложности соответствует полному раскрытию замысла, оформившегося на первой стадии после акта Творения. Сложность соответствует сильному организующему началу, дифференцирующему и упорядочивающему все элементы системы, чему служит принцип деспотии внутреннего единства – дисциплины порядка, иерархии, разделенности и самобытности социальных слоев. Вторичное упрощение на стадии упадка отмечено утратой социальной специфики и дифференцирующих социальные слои признаков. Упрощение касается, прежде всего, самих систем государства, утрачивающих различие и понимание специфики своих функций в единой структуре. Происходит смешение и усреднение, расплываются строгие морфологические очертания. Именно здесь, на стадии упадка, торжествуют идеи равноправия, прав человека и личной свободы, неизбежно ведущие к вырождению государственной формы.

Помимо «одноразовых» схем историософии государства существуют циклические. Первая из таких схем была разработана Полибием, отметившим, что «правильные» и «неправильные» виды государственного устройства поочередно сменяют друг друга.

⁹³ См.: Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 1876. С. 68—89; Собр. соч. Т.6: Восток, Россия и славянство. М., 1912. С. 65—67; Цветущая сложность: Избранные статьи. М., 1992. С. 67—74.

⁹⁴ Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992, С. 41—42.

Вико («Основания новой науки об общей природе наций») соединял однофазовую и циклическую концепции. Он полагал, что народ, как и человек, переживает три периода – детство, юность и зрелость. Для народа эти стадии соответственно означают божественную, героическую и человеческую эпохи. Государство возникает в героическую эпоху (господство аристократии) и увядает в человеческую эпоху (демократия). Затем совершается круговорот в новом цикле. Вместе с тем это уже другая история – история другого государства.

Прогрессистские историософские идеи обычно составляются представлением о ступенчатом развитии народов и государств. Гегель в «Философии истории» пишет об истории народов, как о ступенях сменяющих друг друга эпох всемирной истории, каждой из которой свойственны системы нравственности, государственности, искусство, религия, философия. Хотя, Гегель готов был признать, что в истории не раз вместо развития наблюдалось уничтожение огромных культурных приобретений прежних эпох, его мысль не могла отпустить на волю концепцию саморазвития абсолютной идеи. В отличие от природы, где нет направленных изменений, в человеческой истории все время осуществляется поступательное движение, считал Гегель. И даже если нас смущает туманность или отсутствие представлений о целях этого движения, то с этим вопросом нам должны помочь разобраться философы, которые так или иначе приходят к мысли о «конце истории» в конкретной модели государственного правления. Именно так гегелевская историософия остановилась на современном ему германском государстве, как достигнутом в общем и целом идеале.

Историософию марксизма также можно отнести к прогрессистским, но без ясно прослеженного и очерченного в своих признаках финала-апофеоза марксистской идеи. Она представляет собой пять последовательно сменяющих друг друга общественно-экономических формаций, причем каждая последующая является прогрессивной по отношению к предшествующей: первобытно-общинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм. Законом исторического прогресса является действие его движущей силы – противоречия между производительными силами и производственными отношениями, выраженные в форме классовой борьбы. Переход на следующую ступень развития (к следующей формации) происходит через революции. Последняя революция по Карлу Марксу должна завершить прежнюю историю, которую он расценивал только как «предысторию». Затем должно начаться нечто новое, невиданное и не описанное марксистами.

Если у Полибия и Вико циклические стадии связываются с государством, то у Гегеля и Маркса последовательный прогресс начертан общечеловеческой историей в целом. Прогресс заставляет все государства и народы идти по одному и тому же пути, пусть и с разной скоростью. Поэтому одна схема не противоречит другой – быстрые циклы государственной истории могут происходить на фоне длинных исторических эпох, поднимающих человечество на новые и новые высоты своего развития. Эти идеи приводят к мысли о развитии по спирали, в которой материализуется гегелевская схема развития абсолютной идеи. Такими малыми циклами можно оправдать движения цивилизации вспять, и подкрепить анализ исторических процессов разнообразными аналогами, поставляемыми будто бы с других витков развития и иллюстрирующими современные процессы.

Принципиально иной подход связан с отказом видеть какую-либо ценность или осмысленность в общечеловеческой истории. Цивилизационный подход требует прогноза и оценки судеб народов, а не человечества в целом. Николай Яковлевич Данилевский считал, что черты одного культурно-исторического типа не передаются другому типу. Каждый тип, развиваясь самостоятельно, проходит периоды роста, расцвета (цветения и плодоношения) и увядания. При этом культурно-исторический тип уходит из жизни навсегда. В славянах Н.Я.Данилевский видел особый культурно-исторический тип, у которого еще все впереди. XX век неоднократно ставил под вопрос этот вывод, сохранив

неопределенность славянского будущего и в начале XXI в. Но в целом мысль об органической судьбе всего сущего, включая цивилизации, государства, нации становится для ученых важным мировоззренческим выводом, которым можно оправдать как наблюдаемые упадок (мол, народ «выработал свой ресурс»), так и расцвет (мол, нация молода и энергична).

Освальд Шпенглер («Закат Европы»), пользуясь этим методологическим подходом, предсказывал гибель западноевропейской цивилизации. Если западноевропейская цивилизация исчерпывается, то русско-сибирская только начинает пробуждаться. Как и Вико, Шпенглер проводил аналогию между человеческой жизнью и жизнью культуры. При всем разнообразии культур они проходят одни и те же фазы: 1) «Весна» - ландшафтно-интуитивная стихия, мощные творения, сверхличное единство и полнота; 2) «Лето» - созревающая сознательность, ростки гражданско-городского и критического движения; 3) «Осень» - интеллигенция больших городов, кульминация умственного творчества; 4) «Зима» - начало космополитической цивилизации, угасание душевной творческой силы, этико-практические тенденции иррелигиозного и неметафизического космополитизма.

Идеи Шпенглера приобрели необычайную популярность в первой половине XX в, но были отброшены или забыты после войны, по завершении которой оказалось, что гуманистический прогресс возможен. И хотя для народов других континентов прогресс все еще был под вопросом, европейская мысль, догоняя мысль североамериканскую, стала убеждать жителей Запада, что история закончилась в определении своих ценностей и продолжается только в порядке их самораскрытия. Этот ремейк гегелевской идеи многим пришелся не по душе. В частности, тем, кто рассчитывал экологические нагрузки на окружающую среду, наблюдал политические процессы в Африке, Латинской Америке и Азии. Если общечеловеческий прогресс мог быть всеобщей надеждой, то он никак не подходил для того, чтобы возбудить оптимизм у государств и наций.

Арнольд Тойнби отмечал, что каждая цивилизация имеет свои исторические фазы: возникновение, рост, надлом, упадок, разложение. В первых фазах цивилизацией движет энергия «жизненного порыва», следующие три фазы характерны истощением жизненных сил. Естественный конец цивилизации может наступить и до полного исчерпания всех фаз – в силу исторических причин.

Теория Л.Н.Гумилева предполагала более дробные субъекты истории – этносы, которые также проходят фазы, аналогичные фазам жизни человека, и складываются в историю этноса протяженностью в полторы тысячи лет. (К обсуждению этой теории мы вернемся в главе, посвященной проблемам нации.)

Таким образом, популярные историософские теории не обещали прогресса для всех – у всечеловеческого прогресса, как оказывалось, будут неизбежные жертвы. Но это не опечалило западных мыслителей, которые в конце концов пришли к мысли о естественности борьбы и гибели цивилизаций. А это значит, что одним историей обещано вкушать плоды прогресса, а другим – нет. Но для каждой нации важно не стать жертвой, не опустить руки перед лицом исторической неизбежности, выдуманной историками. Поэтому любой национальный мыслитель всегда сможет подобрать модель развития, в которой его собственный народ не лишен перспектив выживания. А христианская историософия говорит о том, что перед Божьим судом прогрессистскими соображениями не оправдаться и причастностью к «наиболее развитым народам» грехов не искупить. Финал будет общим, как бы ни бросало народы и государства вперед-назад по указанному прогрессистами пути. И современный мир подтверждает: риски все более денационализируются, и заносчиво причислившим себя к «золотому миллиарду» вряд ли суждено прийти к Божьему престолу с иным качеством жизни, чем остальное человечество.

Материал истории, который закладывается в основу любой историософской теории, пользуется историей государства – на первых стадиях развития культур,

цивилизации или этноса преобладают примеры становления государств; в эпохи могущества – примеры государственной мощи, в эпохи упадка – примеры разложения и гибели государств. Грандиозная история государств-цивилизаций, служащих могучим источником культурных стандартов, совпадает с историей культурно-исторических типов или суперэтнических образований. Малые народы и государства, напротив, демонстрируют возможность кратких исторических сюжетов – утрату и обретение государственности, взлет и падение мощи под покровом или прессом государств-цивилизаций. Все это говорит в пользу того, что историософия тщетно пытается встать над историей государств-империй и не замечать истории малых государств и народов. История человечества все-таки пишется государствами.

Представление о прогрессивном или регрессивном состоянии того или иного государства или человечества в целом позволяет до некоторой степени описывать и систематизировать события прошлого, но ничего не дают для анализа текущего состояния нации и государства. Надежды на объективную данность прогресса лишь порождают ненужные иллюзии, представления об упадке цивилизации – беспочвенный пессимизм. И то, и другое мешает реальному национально-государственному строительству.

Собирание единства во множественности

Гегель считал, что для Платона гражданин имел значение, скорее, не как отдельный индивид, а лишь как элемент совокупности всех людей. «Что же касается... исключения принципа субъективной свободы, то это одна из главных черт платоновского государства. Дух последнего состоит существенно в том, что все стороны, в которых утверждает себя единичность как таковая, растворяются во всеобщем, — все признаются лишь как всеобщие люди». В платоновской республике, как отмечает Гегель, подавляется принцип единичности. Так как для Платона принцип индивидуальности есть не что иное, как политическое зло, субъективности и индивидуальной нравственности нет места в его государственном организме. Платон отказывается от признания присущего государству раздвоения всеобщего и отдельного в гражданине и человеке и отрицает субъективную свободу.

Платон, усматривая в индивидуальности и субъективной свободе зло, не мог прийти к идее государства, которую проповедовал Гегель с его диалектикой всеобщего и индивидуального, опосредующих друг друга. Абсолютный дух Гегеля в себе самом расставлял все по местам, зная место особенному и предвещая свое явление в человеческий мир, как религиозная совесть. Тут-то, мол, и станет ясно, куда девать частного индивида во всеобщем государстве, индивиды сами устремятся ко всеобщему, а всеобщее воплотится в индивидах. Пока же – до появления истинной религии – не может быть и истинного государства. В дальнейшем в этой гегелевской мысли нашли упование марксисты, представив себе общество будущего как единый организм, где нет необходимости в политических институтах – все регулируется само собой и самым позитивным образом.

Да, Платона не занимала судьба абстрактного индивида. И тому были причины исторического характера. Идея абстрактного индивида показалась бы древнегреческому философу дикостью. Разве можно считать человеком нечто, лишенное родовых и общественных уз? У Платона идеальное опосредование всеобщего и индивидуального уже состоялось само собой – до такой степени, что не было смысла обсуждать это. Речь шла лишь о том, куда катится это единство личного и общественного – как быть с выпирающим частным эгоизмом, опосредующим всюду разлагающееся государство? И Платон искал ответ не в бесплодном теоретизировании по поводу соотношений индивида и власти, а в общей модели совместной жизни людей, где отсутствуют признаки неизбежного разложения и гибели. Его волновала мысль о тех институтах, в которых людское множество составило бы надежное государственное единство. Он шел к общей

идею от конкретности окружающей жизни, в то время, как упрекающий его Гегель, стремился под свои идеи подогнать понимание политических процессов.

Ближе к институциональной идее государственного единства находился Жан Боден, который, будучи идеологом светского, независимого от церкви государства, не нуждался в отвлеченных идеях государственного единства. Боден отрицал божественное происхождение власти монарха и обосновывал идею конституционной монархии, одновременно полагая его высшим арбитром. В государстве он видел не множество, а единство взаимозависимых частей под властью суверена. Суверен создавал единство, приближая государство к органичному бытию. В то же время Боден признавал право народа на убийство тирана, господство которого, по сути дела, уже не составляет государства. Ведь государство трактуется Боденом как справедливое управление, которое отличается от шайки воров или разбойников, чье единство непригодно ни для заключения союзов, ни для ведения войны. Соответственно, единство достигается способностью суверена справедливо управлять. Но возникает вопрос, что значит управлять справедливо? Во всех ли случаях и для всех ли государств это одно и то же?

Один из универсальных ответов Бодена, заключается в том, чтобы развести частное и общее, провести между ними четкую границу. Смысл справедливого государства, чтобы предоставить ему «то, что является общественным, а каждому - то, что является его собственностью». Тогда никакой проблемы единства нет, поскольку единство уже присутствует в индивидуе – в стремлении человека жить в обществе. При этом индивидуальность остается незыблемой, поскольку владеет и распоряжается своим имуществом и ведет сугубо частные дела.

Боден рассматривал государство не как союз индивидов, а как союз семей. Отдельные личности, как предсказывает Боден, просто должны вымереть. И здесь он отчасти следует древним мыслителям, не видевшим в оторванном от семьи и рода индивиду ничего человеческого.

Полемизируя с идеей Платона об общности имущества как средстве предотвращения гибели государства, Боден выдвигает следующий аргумент: «подобная общность всего имущества невозможна и несовместима с семейным правом. Ведь если семья и город, собственное и общее, частное и общественное смешиваются, то нет ни государства, ни семьи». Вместе с тем такое устройство государства «противоестественно и аморально, общее достояние всех не может вызывать чувства привязанности и... общность влечет за собой ненависть и раздоры... Ведь обычно наблюдается, что каждый пренебрегает общими делами, если из них нельзя извлечь выгоды лично для себя». Вслед за Аристотелем, считавшим государством единство во множестве, Боден говорит о том, что нельзя сделать все имущество общим. Иначе государство перестало бы быть государством, общим делом, ибо, когда нет ничего частного, не может быть и общего.

Имущественный вопрос для Бодена оказывается куда более существенным, чем для Платона и Аристотеля. Последним невдомек было придавать ему такое значение. Имущество могло быть общим и частным, но главное, что платоновская идея государства требует определенного отвращения гражданина от имущества. Только то в человеке, что не связано с его частными имущественными интересами, может составлять «полезный материал» для государственного единства. В идеальном государстве человек вообще независим от имущества, в реальном – его жизнеспособность зависит от того, насколько он избавлен от заботы о своем добре. Чем меньше у него хлопот по этому поводу, тем проще ему быть гражданином и исполнять общественный долг.

Вопросы справедливого распределения материальных благ занимали многих мыслителей, и здесь многим виделся ответ на вопрос о высшей справедливости. Но это был только мираж – как Бодену, так и его последователям в данной области ничего не удалось сделать, поскольку государство они считали учреждением исключительно человеческим и подвластным только человеческой воле. Во многом именно из этого очеловечивания государство возникает договорная теория, где общее создается просто

соглашением между частными индивидами. Для Бодена символом этого соглашения был суверен, для других мыслителей – конституция, парламент или что-то еще.

Боден считал, что государство ведет свое происхождение либо «от семьи, которая постоянно размножается, либо сразу учреждается посредством собрания народа воедино», а также путем «согласия одних людей добровольно передать в подчинение других людей всю свою свободу целиком, с тем чтобы эти последние ею распоряжались, опираясь на суверенную власть, либо без всяких законов, либо на основе определенных законов и на определенных условиях». Также государство может образоваться «из колонии, происшедшей от другого государства подобно новому пчелиному рою или подобно ветви, отделенной от дерева и посаженной в почву, ветви, которая, пустив корни, более способна плодоносить, чем саженец, выросший из семени». Здесь налицо сочетание античных представлений о происхождении государства и договорной теории. Единство либо просто умножается, либо какой-то единой волей учреждается, либо отщепляется от другого единства. Проблема лишь в том, чтобы пожертвовать частной свободой. Но и она оказывается пустячной – в истории никогда не возникает вопроса о том, чтобы какая-то общность выражала единомоментное желание пожертвовать частной свободой – само государство свидетельствует собой определенный уровень такого согласия, возникшего либо добровольно, либо под давлением. Таким образом, проблема единства решена. Возникает вопрос, как удерживать его и стоит ли это делать?

И все-таки имущественная сторона проблемы не столь волнует Бодена. Как только он допускает возможность отделить общее от частного, приходится все равно обращаться к проблеме обеспечения общего – откуда оно берется? И Боден говорит о необходимости «согласия одних людей добровольно передать в подчинение других людей всю свою свободу целиком». Принцип добровольности в сочетании с целостным отказом от индивидуальной свободы и составляет единство во множественности, которое есть суть любого государства.

Но очевидно, что с принципом добровольности приходится расстаться в тот же момент, как государство создано. Свободный импульс к единству заменяется постоянными импульсами принуждения к нему. Учредив закон, люди становятся его рабами. Для Платона это было ясно, но неясно многим, кто после него пытался понять природу государства.

Определив функциональное назначение государства, Боден писал, что оно может и должно существовать в виде, прежде всего, суверенной державы с основным законом, который служит государству и фиксирует его различные полномочия. Он выступает против вывода Аристотеля и других античных мыслителей о том, что достижение счастья для людей является главной целью государства. При этом делается ссылка на то, что древние называли республикой общество людей, объединившихся, чтобы хорошо и счастливо жить. Однако в определении отсутствуют, по мнению Бодена, такие главные пункты, как семья, суверенитет и то, что общее в республике. То есть, снова и снова Боден возвращается к тому исходному пункту, который философы пытались обойти и забыть – к вопросу о смысле государства, о справедливом государстве. Видеть его цель в том, чтобы счастливо жить, – слишком расплывчатая задача. Необходима конкретность: что это значит для семьи, для общих дел граждан, для отношений с соседними государствами?

Гегель, критикуя идеальное государство Платона, видит единство государства в единстве интересов индивидов, а Боден дополняет это положение принципом отказа от индивидуальной свободы в пользу единства. Но все это касается учреждения государства – вопроса не так важного, как вопрос о том, что делать с уже существующими государствами. Что же удерживает государство, помимо чистого насилия, которым единство в конце концов удержать невозможно?

Индивиду со своими частными делами, частным имуществом, частными интересами ведут себя так, что готовы многим поступиться ради существования государства, которое возвышается над ними своим суверенитетом и требует от него

жертв? Что меняется в поведении индивидов? Не просматривается ли здесь шаг к той органичной жизни, которая должна была состояться в марксистской утопии?

Теоретическая трудность объясняется тем, что новому явлению необходимо дать название – нечто наполняет государство такими условиями, в которых индивид становится частью множества и объединяется с другими, добровольно вынося тяготу государственной жизни. Как только это «нечто» утрачивается, индивид отчуждается от государства, становится его врагом и всегда готов нанести ему ущерб.

В современной науке этот мотив единства принято называть «гражданским обществом» – именно оно становится своего рода посредником между индивидом и государством. Как только эта функция утрачивается, государство воспринимается как чужое. Но данный термин не пригоден для объяснения единства, поскольку всегда отчужден от государства уже самим фактом проведения границы между ним и государством. Термин «гражданское общество» отражает совершенно иное явление, в большей мере описывающее именно состояние отчуждения.

Для обозначения единства во множественности, присутствующего в государстве, больше подходит термин «нация». В нем нет противопоставления и границы между гражданскими и государственными институтами, как нет и обязанности индивида иметь оппозицию государству в институтах гражданского общества. В нации единство рассматривается как органичное, дополняющее и уравнивающее управленческий конструктивизм государства. Государство создает нацию, но и служит ей – и только таким образом индивид способен выносить принудительность государства.

Современная либеральная критика платоновского государства, исходящая от Карла Поппера, оспаривает безликое единство, отраженное в таких словах Платона: «...бытие возникает не ради тебя, а наоборот ты – ради него. Ведь любой... делает все ради целого, а не целое ради части». Поппер, напротив, хочет поставить целое на службу частному, определить замысел бытия как «мира для меня» (для меня лично; для меня, любимого). Тогда никакие политические привилегии не могут считаться «естественными», потому что естественность остается за одной привилегией – переделывать целое в угоду части. Отсюда следует не устойчивое общество, а жестокая конкуренция, которая в сочетании с принципом «открытости» не может быть когда-либо прекращена.

Это означает, что личность государства не возникает в угоду индивиду – она лишь черпает из истории человеческой общности те черты, которые в дальнейшем формируют нацию. Нация становится личностью государства, а попперовское государство частных индивидов, несмотря ни на какие усилия, остается безличным, а кроме того, агрессивно разъединяющимся.

По этому поводу можно привести слова Сергея Николаевича Булгакова о бессилии атеистического гуманизма. Гуманизм «не в состоянии удержать одновременно и личность, и целое, и поэтому постоянно из одной крайности попадает в другую: то личность своим бунтом разрушает целое и, во имя прав индивида, отрицает вид (Штирнер, Ницше), то личность упраздняется целым, какой-то социалистической Спартой, как у Маркса»⁹⁵.

Отсюда, с одной стороны, утрата чувства Родины, пожелания поражения собственного правительства в войне, объявление примата «общечеловеческих ценностей» над национальными интересами..., с другой – извращенное понимание нации и государства как однородной массы, в которой не различаются ни личности, ни социальные группы, ни культурное богатство, и все гибнет под прессом тотальной идеологии.

Удержать целое и часть возможно только в связи с признанием благотворности и неизбежности социальной иерархии. Только тогда государство становится реальностью, воплощением идеальной схемы единства во множественности.

⁹⁵ Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество, М.: Русская книга, 1992. С. 89.

Неизбежность социальной иерархии

В «Законах» Платон выделяет монархический принцип как наиболее близкий к идеальному государству: «На первое место я ставлю возникновение государства из тирании, на второе – из царской власти, на третье – из какого-либо вида демократии, на четвертое – из олигархии. В самом деле, из нее труднее всего возникнуть совершенному государству, ибо при ней больше всего властителей. Мы же говорим, что возникновение наилучшего государства произойдет лишь тогда, когда явится истинный по природе законодатель и когда мощь его будет действовать сообща с самыми сильными в государстве лицами. А поскольку, чем меньшее число лиц стоит у власти, тем она крепче, как, например, при тирании, то именно в этом случае всего быстрее и легче совершается переход».

Эта мысль присутствует и в современную эпоху в мечтах о «сильной руке». Простонародная надежда на доброго диктатора не идет ни в какое сравнение с развернутыми доктринами национальной диктатуры, подготавливающими переход нации к органичной системе власти и стабильной социальной иерархии. Но и мифы масс, и расчеты социальных программистов сходятся в одном – в том, что должна существовать вершина иерархии, воплощенная в одном лице. И это находится в разительном противоречии с политической доктриной Запада, в которой иерархическая система расплывается. Даже очевидное возвышение элиты над остальным обществом становится вопросом⁹⁶.

Отказ видеть и утверждать социальную иерархию, искать для нее наиболее эффективные и справедливые формы наблюдается еще со времен Платона, который писал: «Есть два как бы материнских вида государственного устройства, от которых, можно сказать по праву, родились остальные. Было бы правильно указать на монархию как на первый из них и на демократию как на второй (...). Персы более, чем должно, полюбили монархическое начало, афиняне свободу; вот почему ни у тех, ни у других нет умеренности. (...) Если ввести и там и тут некоторую умеренность, в одном из них ограничить власть, а в другом свободу, тогда, как мы видели, в них наступит особое благополучие; если же довести рабство или свободу до крайнего предела, то получится вред и в первом, и во втором случае».

Два идеальных типа создают смешанные системы, которые описывают многообразие властных отношений в современных государствах. В то же время научная мысль пытается уклониться от их анализа, подменяя реальный смешанный вариант идеальным и в действительности не существующим.

По сравнению с современными апологетами демократической системы, так или иначе высказывающими мысль о «конце истории» и достижении идеала в государственных системах Запада, социальная теория Платона выглядит верхом научной добросовестности. В его представления о государстве положена идея естественного неравенства между людьми. Его справедливость носит «непропорциональный» характер, учитывая степень добродетельности. «Для неравных равное стало бы неравным», – говорит Платон. Гражданская добродетель, хотя и доступна всем, не может быть усвоена всеми в одинаковой степени. Она дана всем потенциально, но не актуально. Поэтому, согласно Платону, стремление к народному суверенитету ведет к заблуждениям, поскольку не все обладают политической мудростью. Право не может основываться на воле большинства, его значимость определяется истинами порядка бытия, познать которые и является задачей законодателя-философа.

Социальная иерархия в идеальном государстве строится на верховенстве философов-властителей, по-спартански воспитанном в воинском сословии (стражи-полиция и воины) и «третьем сословии» ремесленников и пахарей, все обязанности которых сводятся к тому, чтобы кормить и обслуживать два высших сословия. О рабах

⁹⁶ См. Парсонс Т. Новый аналитический подход к теории социальной стратификации. // Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.

Платон предпочитает умалчивать, не предполагая изменения их статуса в идеальном государстве. Эта идеальная конструкция дает нам систему координат, в которой можно анализировать реальные общества и прогнозировать их развитие.

Отношения между сословиями у Платона, с одной стороны, должны создавать органическое единство. Ведь обособленность индивида возникает, когда граждане не одно и то же характеризуют, как «мое–не мое», но различаются в зависимости от того, идет ли речь о собственном или общем. Поэтому наилучшим для Платона является государство, в котором «большинство говорит таким же образом и об одном и том же: «Это — мое!» или «это - не мое!». Такое состояние и преодоление обособленности может иметь место только при отсутствии принадлежности к семье и владения частной собственностью. Отсутствие семьи уравнивает родственные статусы, общественная собственность способствует тому, что все граждане ставят перед собой одну и ту же цель и по мере возможности испытывают одинаковые переживания, прекращаются споры о праве на владение. Таким образом, Платон пытается в идеальном государстве мысленно убрать все иные статусы, кроме сословных, – убрать в мысленном эксперименте все иные параметры, усложняющие построенную модель. Помысленное, таким образом, органическое единство показывает нам, в чем состоит единство нации.

В государстве Платона отношение господства трансформируется в отношение «согражданственности», правителей именуют не «господами», а «спасителями» и «помощниками», различие государства и общества, общественной и частной сферы снимается в единстве социального организма. В то же время Платон оставляет в своем государстве разделение труда и сословную изолированность. «Вмешательство этих трех сословий в чужие дела и переход из одного сословия в другое – величайший вред для государства и с полным правом может считаться высшим преступлением». Платон стремится одновременно и к органическому единству, и к устойчивой сословной дифференциации. Устойчивость – свойство совершенной социальной организации. И пусть платоновское государство, в принципе, не осуществимо, но его мысленный эксперимент подсказывает, каким путем следует искать прочные конструкции государственной жизни.

В интерпретации Карла Поппера политическая программа Платона сводится к следующему⁹⁷:

1. Строгое разделение общества на классы.
2. отождествление судьбы государства с судьбой правящего класса, обобществление его интересов и жесткие правила его формирования.
3. Монополия правящего класса на военное дело и образование в сочетании с полным устранением от экономической деятельности.
4. Цензура интеллектуальной деятельности, пропаганда единства правящего класса.
5. Экономическая автаркия, обеспечивающая независимость правителей от торговцев.

Марксистский язык попперовских интерпретаций говорит о том, что главное в них – неприятие, непризнание иерархии. Идеи Платона никак не могут сочетаться с доктриной либеральной демократии. Признание продуктивности социальной иерархии просто разрушило бы миф современного западного общества, обнажив его настоящие пороки, скрываемые пропагандой и подпиральной ее наукой.

Поппер считает «программу Платона» тоталитаристской, в то время как она – основа любой прагматической общенациональной программы (может быть, лишь в смягченном виде, пригодном для современности). К тому же, нельзя согласиться с Поппером, отказывающим в существенности устремлений Платона к мудрости и истине, благу и красоте, добродетели и счастью. Идеальная модель государства Платона имеет

⁹⁷ Поппер К. К открытому обществу. М., 1990, с. 123–124.

бесспорное (хотя и не очень ясное) содержание, наполняющее социальную конструкцию. Именно оно является главным – под него Платон подбирает государственную форму, а не наоборот. Для Поппера же главным являются институты.

Попперовская критика платонизма вполне объяснима теми окончательными выводами, которыми для современности можно завершить ряд ключевых умопостроений Платона. Алексей Федорович Лосев позволяет нам пояснить этот момент, не пускаясь в длительные рассуждения: «...каждый чувствует, что с Платоном несовместима никакая социал-демократия, никакой парламентаризм, никакое равенство, никакой вообще либерализм и пр. и пр. Платонизм несовместим ни с верой в прогресс (эта вера есть создание исключительно европейского либерализма), ни с безобрядовой религией (созданием европейской дуалистической метафизики), ни с экономическим материализмом (этим возрожденским плодом классического иудаизма)»⁹⁸.

С современной либеральной доктриной не совместимы и идеи Аристотеля, которого западная наука готова принимать по частям, забывая некоторые важные элементы его политологии.

Аристотель определяет государство как особым образом организованное политическое общество людей, коллективность особого рода. Вслед за Платоном он видит в государстве частные потребности, получившие от соединения особое качество – устремленность к благой жизни. При этом коллективность, образующая государство, исходит из представления о гражданах – свободных и равных, образовавших добровольный союз. Государство есть совокупность граждан⁹⁹. Именно целостность государства, выраженная в единстве составивших его граждан, является его сущностным моментом. В то же время «...государство при постоянно усиливающемся единстве перестает быть государством. Ведь по своей природе государство представляется неким множеством»¹⁰⁰. И в этой связи платоновская идея иерархии у Аристотеля сохраняется, пусть и не являясь предметом пристального внимания философа: «...одни люди по своей природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо»¹⁰¹. Именно поэтому одним из ключевых вопросов для Аристотеля является вопрос о том, кого следует считать гражданином.

За платоновским «целое предшествует части», «идея предшествует вещи» и «душа предшествует телу» следует мысль Аристотеля, что «государство... по природе предшествует каждому человеку»¹⁰². В связи с этим положением, вошедшим в мировую политическую культуру, дальнейшее развитие представлений о государстве не могло не прийти к выделению определенной социально-профессиональной группы (и даже одного лица-суверена), в которой идея государства как бы «сгущается» на вершине иерархической пирамиды.

Цицерон говорит о формальном равенстве перед законом, соглашаясь на общественное неравенство – ведь в ином варианте неизбежно нарушение справедливости – уравнивание неравных по способностям и неравных по имуществу (I, 32). Это правило всех обществ и смысл права: закон закрепляет социальное неравенство, государственную иерархию. Сами слова о равенстве перед законом становятся социальным мифом, сообщающим гражданам слепую веру в то, что они – такие же люди с такими же правами, что и сильные мира сего. Тщетно пытаются они ставить себя на одну доску с президентом, промышленными и финансовыми магнатами, равняться с теми, чей интеллект или духовные способности значительно превышают среднестатистические. Между тем равенство перед законом – это не просто иллюзия равенства, это нечто прямо противоположное равенству.

⁹⁸ Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии, М.: Мысль, 1993, с. 778–779.

⁹⁹ Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983. с. 444.

¹⁰⁰ Там же. С. 404.

¹⁰¹ Там же. С. 384.

¹⁰² Там же. С. 379.

Нельзя не признать очевидное: развитие права всегда усиливает дифференциацию различных правовых диспозиций, а значит дифференцирующие признаки людей, попадающих в ту или иную ситуацию. Следовательно, право все время сужает те группы людей, которые подпадают под определенную диспозицию, расширяя тем самым возможности для того, чтобы формальное равенство перед законом теряло смысл, а актуальное неравенство было все более ясным и очевидным. И развитие правовых систем по этому пути доводит либеральные общества до абсурда: право уничтожает нацию, разрывая ее на малые группы. И сама справедливость утрачивается, теряясь в параграфах законов, измышлениях адвокатского сословия и произволе судей.

Таки образом, государство с неразвитой правовой системой страдает от неопределенности иерархии, а гипертрофированная – от имитации реальной иерархии, от ее подмены в судебных процедурах. Современное западное общество, а вслед за ним и Россия идут сегодня по этому пути – по пути создания противоестественной иерархии судебных тяжб и разворачивания пропагандистского мифа о правовом равенстве, будто бы тождественном справедливому социальному порядку. Идея справедливого государства на этом пути систематически уничтожается.

Между тем, европейская мысль знает, что иерархия – важнейший признак существования власти. Жан Боден в «Шести книгах о государстве» определяет сущностью государства справедливое управление «множеством семейств и тем, что им принадлежит, посредством суверенной власти». Государство ассоциируется преимущественно с управляющими «верхами», с суверенной властью, защищенной особым правовым статусом. При этом Боден – решительный противник уравнивания прав: «Я рассматриваю... как заблуждение мысль, будто природа пожелала, чтобы все люди были равны». «Можно сказать, что имущественное равенство губительно для государств. У них нет более прочного основания и более надежной опоры, чем доверие подданных друг другу, которое покоится на взаимных обязательствах, вытекающих из правового соглашения. Без такого доверия немыслимы ни устойчивость сообществ, ни торжество справедливости. Если обязательства признаны недействительными, а годовые контракты и долги отменены, то нельзя ждать ничего иного, кроме полного разрушения государства, ибо утрачиваются какие бы то ни были узы, связывающие одного человека с другим».

Право закрепляет имущественное неравенство. Боден упирает именно на это – отношения между людьми в государстве возможны только, если существуют различные имущественные статусы, которые сами собой складываются в процессе имущественных отношений. И здесь Боден предлагает другую интерпретацию иерархии по сравнению с Платоном – он мысленно устраняет иные параметры и дает ей другое обоснование. В то же время в реальном государстве и властная, и сословная, и имущественная иерархии сосуществуют. Проблема заключается в том, как складываются взаимоотношения между ними.

Гоббс в своем «Левиафане» требовал власти, способной держать людей в страхе и направлять их действия к общему благу. Государство олицетворяется в фигуре государя или имеющем аналогичные prerogatives собрании людей, и только в таком случае все множество подданных вместе с правителями может называться государством¹⁰³. Монарх становится обликом государства, в котором только и можно различить подспудные признаки аристотелевского единства. В конце концов, обладатель суверенитета, по Гоббсу, и есть государство. Иными словами, над всеми иерархическими пирамидами возвышается единственная вершина, с которой диктуются правила для всей иерархической системы в целом.

В европейской истории иерархические системы разорялись, и их приходилось воссоздавать, подавляя возникающие бесструктурные массы, устремления которых были исключительно деструктивными. Но XVIII-XIX в. привели к тому, что система

¹⁰³ Гоббс Т. Соч. 8 2 т. Т. 2. М., 1992. С. 133.

производственных и имущественных отношений создавала бесструктурную массу, и прежняя силовая «аргументация» против восстания масс уже не срабатывала. Более того, у масс появились вожди, которые сказали, что иерархия вредна и ее следует разрушить, прежде всего уничтожив суверена-монарха и упразднив сословия. Таким образом, европейская цивилизация стала развиваться односторонне, признавая только иерархию имущественных статусов. А от этого вспышки бунтов могли только усиливаться. И только в XX в. были найдены рецепты обуздания деструктурированного общества – тотальная пропаганда, социальные пособия и миф о либеральной демократии. Массы были успокоены относительным благополучием и насаждением представлений о том, что никаких иерархий в государстве больше нет, и потому оно постепенно отмирает.

В эпоху бунтов и революций олицетворение государства как совокупность управленцев стало основой для формирования его негативного образа новейшего времени (в либерализме, марксизме, анархизме), хотя исходные представления о негативной природе «земного града» появились задолго до современного антигосударственного нигилизма. Антигосударственный нигилизм во все века прямо обещает разделить общий материальный капитал государства между частными индивидами, каждый из которых получит в управление то, что было в руках у государства. Доказать необходимость иерархии атомизированному индивиду, выплескивающему свой менталитет в социальное пространство в периоды кризисов, невозможно. Да и никто не смог бы логически совместить целое и часть в неслиянно-нераздельное единство. Все это свидетельствует в пользу предположения, что социальная иерархия опирается на национально-государственный миф, вбирающий в себя традицию политической культуры¹⁰⁴. Покуда сильна традиция, силен и этот миф. Подорванная кризисом традиция заменяется мифом равенства, мифом либеральной или пролетарской демократии. В первом случае это только имущественная иерархия, в втором – только властная. Обе призваны успокоить революционное движение, учесть «пользу стада». Обе создают исторический тупик.

В условиях нарастания массовых явлений в политике Ницше радикализировал понятие иерархии в своем представлении об аристократии и выдвинул концепцию «нигилизма наоборот» – концепцию отвержения прежней системы ценностей, заводящей мир в тупик. Ницше писал: «Необходимо провозглашение войны высших людей массам! Всюду, где объединяется посредственность с целью сделать себя господствующей! Все, что делает "мягче", "женственное", все, что служит гибели людей или "феминизирует" рабочих в пользу всеобщего права голоса»¹⁰⁵. Мифу масс должен был противостоять миф «белокурой бестии» – правящего аристократического начала. Власть понимается как средство реставрации былого величия аристократии и для соответствующей цели указывается программа теоретического поиска: «Необходимость доктрины власти для работы: как воспитующее средство; укрепление сил, парализующее и разрушающее мировую скорбь. Гниение Европы. – Уничтожение рабских оценок. Господство над землей для создания высшего типа. Уничтожение тартюфства, называемого моралью... Уничтожение всеобщего права голоса, т.е. системы, через которую слабейшие творения предписывают себя в качестве законодателей для высших. Уничтожение посредственности и ее одобрения...»¹⁰⁶.

Разрабатывая идею ранга, Иван Александрович Ильин разделил людей на два социально-психологических типа: эгалитаристов, охваченных стремлением к равенству, и индивидуалистов, признающих значение ранга¹⁰⁷. Парадоксально, но факт, что весь либеральный индивидуализм ничего не стоит по сравнению с личностным

¹⁰⁴ См. Хюбнер К. Истина мифа. М.: Республика, 1996, где доказывается, что отождествление целого и части есть признак мифологического сознания, на основе которого только и может существовать общее представление о нации.

¹⁰⁵ Ницше Ф. Воля к власти. М., 1994.

¹⁰⁶ Там же.

¹⁰⁷ Ильин И.А. Идея ранга// Наши задачи. М., 1992. С. 273.

индивидуализмом традиционного общества. Первый фиктивен в человеческом «стаде», ведомом доктриной «прав человека», второй – содержателен, ибо дифференцирует личности по их достоинству в иерархической системе.

По Ильину, люди равенства не терпят превосходства и, если им не удастся опорочить и разрушить идею ранга в революции, то они стремятся фальсифицировать ранг, выдвигая «бездарных, тупых, криводушных, двусмысленных разлагателей». В данном воззрении только сходное и одинаковое в людях считается существенным. Поэтому политическое верование в данном случае уповает на всеобщее равное голосование, арифметический подсчет голосов и «народный суверенитет» республиканского типа.

Люди ранга считают различия, своеобразие и самобытность природным свойством человека. Более того, развитие и совершенствование, не нивелирует, а подчеркивает индивидуальные различия. Соответственно, справедливость в таком воззрении против равенства. Люди ранга не столько удовлетворяются личным особенным качествам, сколько умеют радоваться чужому качеству. В политической сфере оно стремится к отбору лучших людей и к монархии.

Идеи Ильина смыкаются с идеями Макса Вебера и его теорией типов властного авторитета. Ильин, как и Вебер, различает и разделяет авторитет традиционный и авторитет должности. В терминологии Ильина это ранг духовного превосходства (праведность, гений, талант, познание, храбрость, сила характера, умение-понимание, политическая дальнзоркость) и ранг человеческого полномочия (сан, чин, власть, авторитет). «Все дело в том, чтобы узнавать подлинно-лучших (людей естественного ранга) и выдвигать их, возлагая на них необходимые полномочия и обязанности (социальный ранг)». Идея ранга в России, утверждает Ильин, держится на монархическом правосознании, религиозной духовности и на патриотическом чувстве. «Ранг в России держался верою и любовью; и постольку вызывал в душах искреннюю и самоотверженную лояльность».

Представление о долге может быть привито обществу только вместе с представлением о социальной иерархии. Как писал Карамзин, «основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить на верху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание»¹⁰⁸.

Признание жестких ограничений на «вертикальную мобильность» и принятие этики служения, соответствующей определенному социальному слою, – важнейшее условие существования стабильного государства, способного отбирать из всех социальных слоев и выдвигать на ведущие государственные посты лучших из лучших. И в таком случае нельзя не прийти к идее «правлящего отбора», когда государственная система строится исходя из множественных «тестов» на человеческие достоинства – от духовно-душевных качеств до природы данных способностей. Современному государству с тайной иерархией («государство всеобщих возможностей») может быть противопоставлен проект идеального государства самовоспроизводящейся иерархии лучших – аристократического правления и верховной суверенной воли.

Пределы права

Отчасти продолжая нигилизм софистов, Платон характеризует правовой закон как закон тиранический. «Чистый закон» (*nomos akrotos*) — это «тираническое предписание» (*tyrannikon epitagma*), которое Платон уподобляет предписанию врачей, не оставляющему пациенту никакой свободы. Традиция и обычай должны управлять людьми – только они способны удержать человека в рамках определенных норм и не отступать от блага, даже втайне. Лишь в «Законах» Платон все-таки признает необходимость некоторых «светских» законов – вроде предписаний уважать старших, иметь определенную стрижку

¹⁰⁸ Карамзин Н.М. Мысли об истинной свободе. //О древней и новой России, М., 2002, с. 443.

и т.п.; в некоторых случаях Платон дает рекомендации по поводу торговых законов, законов о предотвращении обмана и т.п., относя их, конечно же к реальному, а не к идеальному государству, где ничего подобного не требуется.

Несмотря на общий «правовой нигилизм» Платона, в его сочинениях прослеживается одна из линий, ставшая в дальнейшем источником теории естественного права. Платоновский Протагор вносит в идею блага релятивизм, когда говорит: «Что каждому городу кажется справедливым и похвальным, то и есть для него справедливое и похвальное, пока он так думает». Относительность полисной добродетели противопоставляется универсальным природным началам, которые в значительной мере (с точки зрения греческого философского пессимизма) противоположны человеческим установлениям.

Платоновский Афинянин в «Законах» прямо отражает высшую степень уважения к праву, которое, вероятно, для самого Платона, была сомнительной позицией: «людям необходимо установить законы и жить по законам, иначе они ничем не будут отличаться от самых диких зверей». Платон различает этику и право и рассматривает ее как самостоятельную теоретическую доктрину, хотя и неразрывно связанную с законотворчеством. Он требовал, чтобы законодатель всегда предпосылал своим законам вступления – нравственно-религиозное обоснование действий и норм. В противном случае это будет лишь человеческий произвол – кажущаяся справедливость.

Афинянин в «Законах» все время возвращается к тому, что величайшая власть только тогда может привести к наилучшему государству, когда она соединена с истиной, разумением и рассудительностью. Но что есть Истина? Истина имеет божественный смысл: «государства, где правит не бог, а смертный, не могут избежать зол и трудов». А смертная природа человека «всегда будет увлекать его к корысти и служению своим личным интересам. Безрассудно избегая страданий и стремясь к удовольствиям, она поставит их выше того, что более справедливо и лучше. Себя самое она ввергнет во мрак и в конце концов преисполнит всяческим злом и себя, и все государство в целом».

Законодатель должен становиться соучастником божественного дела: «Законодатель должен не только начертать законы, но и, кроме того, включить в свой набросок мнение о том, что прекрасно и что нет. А образцового гражданина это должно обязывать ничуть не меньше, чем предписания, за неисполнение которых законы грозят наказанием».

Афинянин провозглашает: «Ни один смертный не дает никаких законов, но все человеческое зависит от судьбы и случая». И тут же оговаривается: «Впрочем, не будем так строги: есть и нечто третье, следующее за ними, - искусство. В самом деле: своевременное применение искусства кормчего в случае бури дает, по-моему, большие преимущества». «Ведь если бы по воле божественной судьбы появился когда-нибудь человек, достаточно способный по своей природе к усвоению этих взглядов, то он вовсе не нуждался бы в законах, которые бы им управляли. Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может быть разум чьим-то послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно свободен. Но в наше время этого нигде не встретишь, разве что только в малых размерах. Поэтому надо принять то, что после разума находится на втором месте, – закон и порядок, которые охватывают своим взором многое, но не могут охватить всего».

Второй момент Истины – общее благо: «Так как в государствах этих происходила борьба за власть, то победители присваивали исключительно себе все государственные дела – настолько, что побежденным, как самим, так и их потомкам не давали ни малейшей доли в управлении. Всю жизнь они были настороже друг против друга, ибо боялись, что кто-то восстанет, захватит власть и припомнит им тогда прошлые злодеяния. А ведь подобное положение вещей, как мы теперь утверждаем, не есть государственное устройство: неправильны те законы, что установлены не ради общего блага всего государства в целом. Мы признаем, что там, где законы установлены в интересах

нескольких человек, речь идет не о государственном устройстве, а только о внутренних расприх и то, что считается там справедливостью, носит вообще это имя. Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать государствам боги».

В чем же идея блага? Платон выделяет высшие блага – разумение (разум), здоровое состояние души, а затем справедливость и мужество. Из малых (меньших) благ он в порядке значимости распределяет: красота, здоровье, сила, богатство. Лишаясь высших благ, говорит Платон, лишаются и меньших благ. Идея блага – это и есть та общая польза, из стремления к которой должен исходить закон.

Третий момент – «занятие числами». Вслед за этим возникает суждение о выборах, которые надо проводить исходя из меры добродетели, ибо «для неравных равное стало бы неравным, если бы не соблюдалась надлежащая мера». Мера делит людей на имущественные классы (Афинянин предлагает сделать их четыре), рабов и господ. Социальная иерархия, таким образом, вытекает не из права, а из мудрости – из «занятия числами».

Мера равного для равных и неравного для неравных говорит о том, что воля большинства должна быть проигнорирована. Ибо «большинство требует от законодателей, чтоб они устанавливали такие законы, которые были бы добровольно приняты большей частью народа. Это вроде того, как если бы требовали от учителей гимнастики и врачей только приятного упражнения и врачевания для поручаемого их попечению тела». Властитель должен действовать так, будто обращается с малыми детьми: «многое из того, о чем молит для себя ребенок, отец просит богов отворотить, – чтоб никогда не исполнилось по молитвам сына».

Мера монархического принципа допускает на выборные должности только людей добродетельных, имеющих заслуги, мера демократического принципа – допускает сами выборы. В политике отражается всеобщий божественный принцип соразмерности. Этот же принцип виден в иерархии добродетели, допускающей к власти: «Не может стать достойным похвалы господином тот, кто не был раньше подвластным; поэтому более, чем умением хорошо властвовать, должно хвалиться умением хорошо подчиняться, прежде всего умением подчиняться законам». Государство Платона прагматично в своей соразмерности, но не требует права как верховного принципа. Есть некоторые должностнодействия, которые в идеальном обществе не регулируются, а существуют сами собой. Закон – признак несовершенства человеческих отношений. И мы можем заключить: чем больше общество живет по закону или стремится именно к этому (идея «правового государства»), тем более оно несовершенно и более запутаны в нем представления о справедливости.

Закон меры заключается в том, чтобы бороться как с богатством, так и с бедностью, утверждает Платон. «Богатство развратило душу людей роскошью, бедность их вскормила страданием и довела до бесстыдства». Сегодня можно сказать о том же: имущественное расслоение доводит общество до конфликта, до саморазрушения. Поэтому имущественная иерархия должна предусматривать и определенное сдерживание «естественных» имущественных различий, без чего государство превратится в соревнование разврата «верхов» и бесстыдства «низов». В идеальном государстве частного имущества просто нет; в реальном оно есть и требует правовых институтов. Но не освобождения, а ограничений частного имущественного владения – таков прикладной вывод из мыслей Платона.

Без нравственного обоснования и системного включения закона в идею Блага, закон для Платона – ничто: «По-моему, истинно и справедливо утверждать, беседуя о божественном государстве, что устроитель, устраивая в нем законы, имел в виду не одну часть добродетели, притом самую ничтожную, но всю добродетель в целом; сообразно с ее видами он и исследовал законы, а не так, как это делают нынешние законодатели,

исследующие произвольно установленные виды. Ведь теперь каждый исследует и устанавливает то, в чем у него в данное время нужда: один – законы о наследствах и дочерях-наследницах, другой – об оскорблениях действием, третий – что-либо иное подобное, и так до бесконечности»¹⁰⁹.

В современном обществе, увы, закон отождествился с благом. Даже само установление законности в государстве считается верхом мечтаний. Инструмент исправления несовершенств общества и государства принимается как нечто, чему общество и государство обязаны своим существованием. Таким образом, органичное государство подменяется инструментально-фиктивным, где социальные иерархии подменяются правовыми и начинает торжествовать бюрократия, защищенная принятыми и произвольно интерпретируемыми законами и системой пропаганды.

Вряд ли Платон мнил Благо как нечто вненациональное, но он еще не готов к актуализации национального начала в идее Блага.

Метафизика права и национальная идея объединяются у Цицерона. Цицерон говорит, прежде всего, о Риме, как бы дающем всему человечеству образцы справедливости и *res publica*. При этом постоянно происходит отсылка к священному наследию отцов, *maiores*. Абстрактное право, таким образом, рождается из национального самосознания. И не из идеала, как у Платона, а из традиции. Отталкиваясь от определения человека как политического животного, Цицерон говорит о человеке в связи с включенностью в дела государства – человек лишь тогда может быть назван человеком, когда он связан с другими общим правом и пользой, являясь частью нации и гражданином государства. Человеческая природа выражается тем сильнее, чем активнее человек включен в государство и нацию.

Цицерон утверждает, что «истинный (моральный) закон являет собой (одновременно) правовой разум» (*Est quidam vera lex recta ratio*, III, 22). Этот закон не подвластен ни воле институтов государства, ни народу, ни ученым объяснениям и обоснованиям, поскольку един для всех народов и во все времена и ведет свое происхождение от Бога (*deus*, II, 22). Кто непослушен правовому разуму, отрицает свое человеческое бытие (*ipse se fuget ac naturam hominis*, III, 22). И мы можем различать отрицание собственного частного и общенационального бытия, анализируя законы современного нам государства. Оно убийственно потому, что не национально. Этого Цицерон сказать не мог, признавая всечеловеческим законом только римский закон. Для него только римская нация была реальностью.

Жан Боден использовал понятия «естественный закон», «естественные законы», чтобы подчеркнуть особенность установления правления в обществе как закономерного и само собой разумеющегося явления. В понимании Бодена единство закона в природе и обществе есть общий фундамент, на котором возвышаются и сочетаются власти в семье и государстве. Естественная власть главы семьи сосуществует с полновластием государства в лице суверенного монарха. Последнее означает, что всеобщий общественный закон в лице суверена все-таки имеет национальное выражение и национальную особенность.

С позиции теории естественного права, согласно которому «мудрый человек есть мера справедливости и истины и... высшее благо частного лица то же, что, высшее благо государства», а следовательно нет «никакого различия между добродетельным человеком и хорошим гражданином» – именно с этой позиции Боден определяет «главную цель, к которой должно быть направлено справедливое управление государством». В то же время эта цель совпадает с целями суверена, а не с произволом частных лиц, именно он знает, что для них есть высшее благо. С точки зрения Бодена, «царь не должен быть добрым», он только соблюдает естественное и божественное право. Вопрос состоит в том, кто должен контролировать соблюдение этих прав, и не будет ли это посягательством на суверенитет правителя?

¹⁰⁹ Надо сказать, что современное законотворчество именно таково, каким не хотел бы видеть его Платон – бессистемно и безотносительно нравственного начала.

В позитивной ценности закона сомневаются многие мыслители, и вряд ли кто возьмется всерьез оспаривать максиму Тацита: «чем глубже падение государства, тем больше у него законов». Это правило достаточно применить к современному государству, чтобы понять, что право становится в нем формой отхода от идеи блага. В нем не только не возникает вопроса о контроле за сувереном, нет и самого легитимного суверена. А правовые процедуры всегда оставляют сомнение в легитимности избранных президентов и парламентов вплоть до установления срока этой легитимности, к порогу которого избранные приходят полностью избавленными от властного авторитета.

Н.В.Устрялов обнаружил несостоятельность юридика в его отвлечении от сущности и природы власти: «Юридический анализ бессилен охватить *существо* власти. Он призван дать лишь описания и классификации условного значения, исходящие из чисто догматического восприятия государственного явления определенного типа и отдельной эпохи. Но государство есть не статика, а динамика. Сводить государственную власть к власти права, как это делает Кельзен, значит не объяснять и не осмысливать природу власти, а просто лишь констатировать, что нормы государственного порядка связывают поведение людей. Сколь тощий плод столь почтенных логических усилий! (...) Нетрудно заметить, что под застывшими формулами юридических определений бился и бьется живой пульс политической борьбы, разносторонней и противоречивой исторической драмы. Но юрист-догматик отведет это замечание формально-методологическим соображением: жизненные предпосылки правовых велений, их каузальное объяснение – не дело нормативных исследований»¹¹⁰.

Как было показано Пьером Бурдьё, концентрация юридического капитала в руках государства является частным случаем концентрации символического капитала¹¹¹. В связи с этим присутствует некий налет сакральности на законе, праве, всей юридической практике, который создает, например, ритуальные моменты в процедурах выказывания верности режиму, признанному легитимным и обладающему средствами принуждения к подчинению. Таким образом, право вообще не относится к сущностным чертам государства, а является лишь частным способом решения государственных проблем, которому власть придает общезначимую форму.

В целом, как считает Бурдьё, «происходит переход от диффузного символического капитала, основанного на одном только коллективном признании, к объективированному символическому капиталу, кодифицированному, делегированному и гарантированному государством, короче — бюрократизированному»¹¹². И право есть присвоенный и бюрократизированный символический капитал, воспроизводимый институтами насилия, системой образования, культурной политикой государства. Владельцем этого капитала, вопреки либеральным мифам, является именно бюрократия, а не избираемые народом представители. Гипертрофированное право позволяет бюрократии творить насилие над нацией.

Н.Н.Алексеев указывает на распространенную методологическую ошибку: замену теории государства теорией современного государственного права (чем ученые политизируют свои воззрения, обуславливая их конъюнктурными заказами действующего режима, смешивая политику и науку – например, описывая западный строй государства как образцовый)¹¹³. Государство сводится просто к правопорядку. Проблема государства сужается сначала до европейских рамок, а потом и вовсе сводится к апологии современного европейского государства, погребенного под пластами либеральной пропаганды и бюрократических издевательств. Все, что не укладывается в этот мир, объявляется деспотией, тиранией – «неправильными» (неправовыми) государствами, не

¹¹⁰ Устрялов Н.В. Элементы государства// Вестник китайского права. См. <http://lib.nexter.ru/list.php?i=26970>

¹¹¹ Бурдьё П. Дух государства...

¹¹² Там же.

¹¹³ Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 395–397.

подлежащими изучению. Отбрасываются целые тысячелетия человеческой истории. И все ради утверждения ложного представления об эффективности западных государств, которые в нынешней форме живут лишь несколько десятков лет и, как видят прозорливые мыслители, уже стоят одной ногой в могиле. Беда России, что ее тянут в ту же пропасть.

«Русские ученые, – пишет Алексеев, – вышедшие из западных школ, без всяких особых размышлений и без всяких оговорок перенесли построенную на западе *теорию европейского государства* на русскую почву и тем самым придали принципам этой теории нормативное значение. Оттого наше государствоведение в трудах наиболее популярных представителей (например, *Кокошкин и Лазаревский*) являлось не чем иным, как политикой европеизации русского государства»¹¹⁴.

В связи с этим выводом, который полностью можно отнести и к нашему времени, следует видеть ту опасность, которую несет правовая теория государства для самобытного российского государства – оно начинает выстраиваться по меркам губительной европейской правовой доктрины. Причем, чаще всего речь идет о сугубо формальном юридизме, усеченном до куцега набора правил, которые в действительности являются политической идеологией с явными признаками антигосударственного нигилизма, всегда распространяющегося у нас точно эпидемия.

Мы можем привести пример некритического применения на практике принципа «разрешено все, что не запрещено законом». С одной стороны, это принцип усекается и из него формируется обывательская формула: «разрешено все, что не запрещено», которая аналогична пресловутому «не пойман – не вор». С другой стороны, указанный принцип начинает распространяться и на аппарат управления, который также находит себе «незапрещенную зону» и творит произвол. При этом исключается правило, гласящее, что чиновник должен действовать только в соответствии с правовыми нормами по закону, а без них он должен бездействовать. В действительности, бездействовать предписывают гражданам.

Фетишизация закона, присущая фиктивной демократии, объявляет нормативные акты панацей против социальных болезней и единственным методом государственного управления. Закон будто бы предотвращает произвол и насилие, дает гарантии справедливости. Однако, такая позиция опасна установлением произвола и насилия, только узаконенного и освещенного торжественно принятыми правовыми актами. К любому правовому порядку легко приспособляется бюрократия, выхолащивая из правовых норм дух, превращая право в формальность. Правовое разрешение конфликтов в обществе оказывается менее эффективным по сравнению с консолидированной позицией бюрократии. Поэтому расчет на правовую технику для обеспечения достойной жизни граждан совершенно безоснователен. Смысл правовым нормам придает воля властителя правящего политического класса. Верховенство закона ничтожно по сравнению с волей властителя. Закон – фикция без властной воли его исполнить. А властвующая бюрократия и не собирается соблюдать законы, относя их только к гражданам.

Закон всегда исходит из определенных ценностей, которые диктуют и их смену. Поэтому ссылки на закон, Конституцию в условиях ослабления государственности, тяжелого политического и экономического кризиса всегда носят спекулятивный характер. Никакой закон не может оправдать разрушение государства и подрыв национальной консолидации. Обязанность власти состоит в том, чтобы нарушить такой закон, пресечь его действие – пусть и незаконными действиями. Как утверждал Платон, из тирании еще можно приблизиться к идеальному государству, из демократии – только к тирании. Чувствуя это, бюрократия сохраняет формально-демократический режим, блокируя появления суверена-диктатора.

Решающее значение для наполнения смыслом законов имеет «дух нации» – решимость граждан исполнять закон, который они считают своим, принятым от их имени

¹¹⁴ Там же, с. 396.

и в их интересах. Попытка представить законотворчество механизмом совершенствования социальных отношений – крайне опасная затея. Вытекающие из закона правоотношения входят в противоречие с жизнью, мощь государства оказывается направленной против жизнеспособности его самого и общества.

Закон должен следовать за жизнью, угадывая социальные тенденции и лишь оформляя их в единообразно трактуемых правовых процедурах. Прямо противоположное мы видим в продукции парламентской демократии современной России, которая в течение десятилетия создавала деструктивное право и порождала непрерывные социально-политические конфликты. В данном случае олигархическо-тиранический режим в некотором смысле стал причиной выживания России, поскольку систематически отказывался направлять усилия государства на поддержание законности – проведение в жизнь тех законов, которые разрушали социум и разлагали государственный организм.

Если народ – безвластный источник власти, то власть – изначально неправовой источник права. Раскол во власти неизбежно ведет к расколу в правотворчестве и правоприменении. Деструктивное право неизбежно порождает альтернативные процедуры, в частности, открывая дорогу бюрократическому манипулированию, которое оказывается более эффективным, чем формально законная деятельность и даже принимается гражданами как более справедливое устройство жизни по сравнению с жизнью по закону. И здесь происходит реальное разделение властей – прямая реализация принципа, при котором все ветви и уровни власти действуют вразнобой, чтобы как-то свести концы с концами и не прервать властеотношений.

Через право власть может лишь самоограничиваться ради унификации процедур и обеспечения иерархии властеотношений. Формализация прав в угоду идеологическим абстракциям заставляют носителей власти искать неправовые лазейки, чтобы ограничения власти не пресекали ее и не рассыпали властную иерархию. Судебная процедура становится затяжной и неэффективной, трактовки права разнородными, а властная воля – расчлененной на множество частных волей мелких чиновников.

Все это свидетельствует о том, что теория права должна составлять достаточно обособленную область, а теория государства стремиться к тому, чтобы не раствориться в правовых доктринах, которые также часто упиваются частностями, как и любители давать преимущество частным интересам индивида над задачами сохранения единой нации.

Общество против нации и государства

Согласно идеальным воззрениям Платона на государство, совершенное политическое целое представляет собой единство, в котором все элементы существуют и функционируют в согласии с целым, и которое становится единым организмом и приближается к естественной инстинктивной организации всего живого. Однако разделение труда порождает противоречия в государстве – чем сложнее хозяйственная жизнь, тем больше противоречий. И Платон находит выход из нарастающего конфликта в архаизации государства – препятствовании разделению труда. В таком государстве феномен общества возникать не должен – Платон вынужден отказаться в идеальной модели общества даже от частной собственности и семьи. В платоновском государстве введены три запрета, в наибольшей мере свидетельствующие об отсутствии субъективной свободы; индивиду там не разрешается: 1) выбрать себе профессию и сословие; 2) владеть частной собственностью; 3) иметь семью и детей (все дети – государственные).

Аристотель проводит мысленный эксперимент, как бы выстраивая государство Платона, и приходит к мысли, что укрепление единства общества приведет к тому, что оно сократится до семьи, а потом и до одного человека. Ведь отдельный человек и семья демонстрируют большее единство, чем единство государства. Следовательно, Аристотель приходит к выводу, что благим будет не предельно возможное единство. А это значит, что сохраняется и семья, и собственность, и выбор профессий. В то же время Аристотель ищет идею справедливости, которая не распыляла бы граждан и цементировала

государство. В противовес иерархическому аристократизму государственной идеи Платона Аристотель пытается найти справедливость, учитывающую некую количественную характеристику, которая для всех граждан должна уравниваться. В то же время справедливость не должна означать механическое уравнивание – она есть равенство для равных и неравенство для неравных. Иными словами, Аристотель все же возвращается к иерархической идее Платона в несколько завуалированной форме. И само государство предшествует не только обществу, но и человеку: «Государство от природы первоначально в большей степени, чем дом или каждый отдельный из нас, ибо целое есть первоначало по отношению к части» (Политика, 1253а). Поэтому у Аристотеля человек политическое животное (общественное существо), которое появляется вместе с государством, с политикой, с обществом. Само же общество определяется через язык и культуру, т.е. – через миф.

При всех различиях в понимании сущности государства (у Платона – идеального, у Аристотеля – реального) они едины в одном – в неразличении общества и государства. Тем самым они утверждают мысль, которую можно было бы выразить в определении: государство есть политически организованное общество.

Каким образом и когда возникает эта организация – не суть важно. Главное в том, что в обществе все, что относится к политике, относится и к государству. Все бесконфликтное сотрудничество может и должно быть частным делом. Если же в него вторгается регулирующая сила государства, значит мы имеем дело с гипертрофией бюрократии. Если же, напротив, конфликтные зоны общественных отношений остаются безнадзорными (нелишне будет сказать, что множество конфликтов между частными индивидами носят, бесспорно, общественный характер), то налицо анархия.

Для либералов «гражданское общество» (этот термин почему-то стали употреблять вместо термина «общество») лишь по видимости никак не связано с государством и даже противопоставлено ему. Классический либерализм признает гражданским обществом все, что соответствует формально-правовому регулированию либерального государства. То есть, по виду оно следует античным представлениям. Протест против этого регулирования считается попытками установления диктатуры. В то же время смещение акцентов приводит к тому, что диктатура мерещилась европейским просветителям везде, где власть пыталась стоять над законом. Поэтому просветители ненавидели суверена. Ведь он законодатель, что в их глазах равносильно произволу. И просветители готовы были этот «произвол» заменить произволом коллективных решений избранного органа, утверждающего «суверенитет народа».

Продолжая идеи просветителей, Гизо полагал, что в какой-то момент общество перестает нуждаться в опеке государства и начинает само формировать государство на основе рациональной теории¹¹⁵. Если бы не эта приверженность рациональности, мы бы могли сказать, что здесь речь идет о нации. Но Гизо полагает, что общество способно быть рациональным, рационально исследовать свои интересы и утверждать в соответствии с ними государство. Таким образом, за бортом остаются уроки истории, а вперед выступает социальная утопия, которая, собственно, и таит в себе опасность диктатуры бюрократии.

Один из классиков немецкого либерализма В. фон Гумбольдт («Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства») считал государство сложной многогранной машиной, отличной от общества, «национального союза», являющегося по отношению к этой машине другой реальностью¹¹⁶.

Оценка этой «другой реальности» могла быть как позитивной, так и негативной. Так согласно органической теории общества государство рассматривается как искусственное образование, основанное на насилии. «Ему противопоставлялось истинно органическое бытие общества в его разнообразных формообразованиях, которые мы

¹¹⁵ Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб., 1905. С. 282.

¹¹⁶ Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 71.

получаем в чистом виде тогда, когда снимем с них искусственную и насильственную форму государства. Напротив того, в органической теории государства проявляется этатизм германской расы. Для нее государство есть не только организм, но и *высший* из организмов»¹¹⁷.

В короткий период государственного становления Германии представление о государстве как о высшей ценности помогало преодолеть центробежные силы. Нация в то же время взывала из «другой реальности» к единству, будучи уже сформированной в национальном мифе из языка, искусства, литературы, философии. Именно другая реальность оказывалась выше, чем создаваемый ею «высший организм». И в этом проявилось единство нации – именно она соединила общество и государство.

Альтернативная традиция, продемонстрировавшая слабость в бурном XX в. и грозящая крупными социальными катаклизмами в XXI в. – позиция принципиального разделения общества и государства. Еще Боден считал, что такое разделение имеет фундаментальное значение для большого периода человеческой истории. С позиций теории естественного права он рассуждал о закономерном характере установления в обществе правления. Государство возникает в обществе само собой, но именно как нечто «другое».

В то же время вполне очевидно, что освободиться от государства в некоей иной реальности крайне трудно. Это заметил Гегель: «Если смешивать государство с гражданским обществом и полагать его назначение в обеспечении и защите собственности и личной свободы, то *интерес единичных людей как таковых* оказывается последней целью, для которой они соединены, а из этого следует также, что в зависимости от своего желания можно быть или не быть членом государства. Однако на самом деле отношение государства к индивиду совсем иное; поскольку оно есть объективный дух, сам индивид обладает объективностью, истиной и нравственностью лишь постольку, поскольку он член государства»¹¹⁸.

У Гегеля гражданское общество всегда связано с конфликтом, поскольку оно самой своей природой разлагается на частные интересы. В руссоистской модели этот конфликт преодолевается утопической конструкцией общественного договора: чтобы множество общих волей каким-то образом соединилось в общую волю хотя бы по какому-то поводу. Договор является посредником между частными лицами, но после учреждения государства – между этим государством и обществом.

Согласно Руссо, в правильно построенном (на общественном договоре) государстве народ, с одной стороны, является совокупностью *граждан*, принимающих участие в образовании суверенитета, с другой – совокупностью *подданных*, подчиненных законам государства. Такая позиция, развитая последователями Руссо до логического завершения, доводит их до отказа считать государствами феодальные монархии, господствующие над землями, не связанными единым гражданством. В то же время, и последующие формы государств не очень-то заботились о мнении граждан, пребывая в «иной реальности», как обособленная от общества сущность. И мы бы все время путались в этих дебрях взаимоотношений общества и государства, если бы не заходила речь о нации с ее конкретно-историческими рецептами динамичного воздействия на административный аппарат, политиков и государственных мужей.

Гегель пишет, что Руссо определял в качестве принципа государства мышление и волю в форме единичной воли, а потому объединение людей в государство превращалось у него в договор – сознательно выраженное согласие. «Поэтому, обретя власть, эти абстракции, с одной стороны, правда, явили нам впервые за все время существования человеческого рода невероятное зрелище — ниспровержение всего пребывающего и данного, для того чтобы создать конституцию великого действительного государства с самого начала и из *мысли*, стремясь дать ему в качестве основы лишь мнимо *разумное*;

¹¹⁷ Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 435.

¹¹⁸ Гегель, Цит. пр.. С. 279.

однако, поскольку, с другой стороны, все это были только лишённые идеи абстракции, они привели эту попытку к ужасающим и вопиющим событиям»¹¹⁹.

Именно общество могло проступить сквозь развалины традиционных государств – нации так не возникали, как не хотелось бы это доказать либеральным историкам. Нации возникали в обратных процессах и в альтернативных представлениях – в реставрации, в реакции на революционный произвол, ниспровергающий троны.

Н.Н.Алексеев говорил о двух стихиях общественного строя: дезорганизованной и организованной, «общественной» и «государственной». «Понятие государства здесь обозначает властно организованную и централизованную стихию общественной жизни, общество же — неорганизованную, свободную сферу людского общения. В сходном смысле противопоставляют, например, "гражданское" общество государству. "Гражданское общество" складывается из свободного от государственного вмешательства взаимоотношения частных интересов; государство — из коллективной организации, проводящей принудительно в жизнь известные общие цели»¹²⁰.

Как только общество добирается до коллективных целей, оно начинает расшатывать государство, вторгаясь в сферу политики и вытесняя его с назначенных традицией высот.

Кризис идей Просвещения связан с рассеянием представления об индивидуальном человеке, на котором покоится общество, и которое, в свою очередь, несет на своих плечах государство. Как пишет Николас Луман, «Мы теряем возможность делать высказывания о "человеке" (в единственном числе) для того, чтобы начать с этого. Многими это воспринимается болезненно. Но если верно, что "человек" вообще появляется лишь с конца XVIII века, то можно с достаточным основанием сказать: forget it! Он относится к переходному времени, когда еще было невозможно адекватно описать современное общество, вместо этого нужно было пускаться в иллюзии будущего для того, чтобы за счет семантической ассоциации "общество-будущее-человек" сохранить надежду на целостность, способную к улучшению. Эта проекция мнимого человека (или еще хуже: образа человека) должна была отказаться от того, чтобы определить человека через его отличие от минералов, растений и животных. Поэтому она предложила себя в форме понятия без противоположного понятия, что означает посредством различения плохих и хороших людей с большой вероятностью оказаться в сфере морали»¹²¹.

«Хорошим» становится человек общества, «плохим» – человек государства. Более того, хорош, согласно мифу Просвещения, только экономический человек, а политический человек – ущербен. И здесь мы обязаны заметить радикальное противостояние классическим античным представлениям о человеке. Антигосударственный нигилизм, зародившийся в эпоху борьбы с европейским абсолютизмом, объявил себя общечеловеческой сверхидеей и заставил тысячи умов работать над ее оправданием.

Переинтерпретируя лумановскую теорию аутопойесиса, воспроизводящего общество во всеобъемлющей коммуникации, можно вернуться к идее мифологического «базиса» национального государства. В современную эпоху политический миф национального единства передается во все слои общества не через течение исторических событий, «избранные триумфы» и «избранные травмы», а через сеть коммуникаций, которая использует символы прошлого для ежедневного воссоздания единства. Либеральная доктрина пытается пресечь эти трансляции, заполнив коммуникационные сети иными мифами – потоком рекламных объявлений и биржевых курсов. Имитация коммуникации дает то, что необходимо бюрократии и тщательно маскирующейся олигархии – атомизированного индивида, о котором они смогут сказать forget it. Только

¹¹⁹ Там же. С. 280–281.

¹²⁰ Алексеев Н.Н., Цит. пр. С. 401.

¹²¹ Луман Н. Понятие общества Проблемы теоретической социологии / Под. ред. А.О. Бороноева. СПб., 1994. С. 25–42.

не в смысле растворения индивида в коллективных формах бытия, а в смысле его исчезновения как личности – он становится ничтожеством, манипулируемой единицей, объектом пропаганды.

В современных условиях очень близким к истине оказывается Н.Н. Алексеев, видевший коммуникативные возможности внутри социальных слоев и сословий: «Демократические учреждения всех, даже самых передовых демократий, не знают того действительного, а не абстрактного только народа, который состоит из предпринимателей и рабочих, фабрикантов и торговцев, рантье и спекулянтов, потребителей и производителей; они знают отвлеченного человека-гражданина, голосующего индивидуума, и для них народ, совсем по *Руссо*, есть совокупность таких отвлеченных граждан»¹²². Алексееву уже в начале XX в. было ясно, что либеральная мысль и либеральное право имитируют государство граждан. Нашим политикам до сих пор это остается неведомым.

Государства, созданные игрой инстинкта, бесспорный факт истории. Но современное государство выступает как общественный индивидуум, сознательно организующий общественные силы. Тогда государство должно быть результатом деятельности общества, рожденного первоначально в недрах инстинктивно образованных государственных общностей. При этом общество в своей целостной ипостаси выступает как нация. А точнее, нация, аналитически расчлененная в умах мыслителей и в практике политиков, оказывается обществом. И только воссоединенная в исторической практике народной жизни нация оказывается творцом государства. Гражданское общество, действительно, противоположно и враждебно государству, нация – его дитя и одновременно – породитель.

Постсовременное государство – государство имитируемой коммуникации – переступает через нацию, отрекшись от нее в XX в. и отождествив ее с нацизмом. А.Филиппов пишет¹²³, что при распаде империи образуется не деполитизированное гражданское общество (на что многие надеялись при распаде СССР, ранее – при всех дроблениях европейских империй), а только лишь государство с обозначенной территорией и принципом национальности, с понятием народа и народного суверенитета. Суверенитет поначалу определяется лишь как суверенитет остаточно-имперский, реализованный локально через абсолютизм (государев суверенитет возникает раньше народного), в котором остается много черт имперскости. Идея всемирного призвания империи в безграничном пространстве переходит в идею совершенства власти на локальном пространстве, а мечта о деполитизации т.е., об избавлении от контроля государства и о переносе всех отношений в личностно-договорные, превращается в правозащитную рутину с догматикой «прав человека», полагающей любую государственную практику преступлением.

Западная политическая культура лишь внешне сняла противоречие между гражданским обществом правозащитников и государственным абсолютизмом – государство в своих видимых проявлениях формализовалось и само стало рупором правозащитной риторики, при этом гражданственность также формализовалась в избирательных кампаниях. Реальная политика, как закулисная война, самых примитивных в интеллектуальном и самых варварских в нравственном отношении экономических интересов вполне уживается с таким «деполитизированным» гражданским обществом, предоставив ему широкие возможности вкушения «хлеба и зрелищ».

Таким образом, постсовременное западное государство с «деполитизированным» гражданским обществом оказывается в прямой оппозиции реальному постимперскому государству, основной характеристикой которого является нация, чей смысловой строй

¹²² Алексеев Н.Н. Цит. пр.. С. 429.

¹²³ Филиппов А. Смысл империи: к социологии политического пространства// Иное, 1995. Т.3. С. 474–475.

чреват воссозданием новой империи. Общество противостоит нации, либеральное государство – национальному, глобализм – империализму.

Как правильно замечает Филиппов, «важнейшее определение современных государств – их территориальность – все больше оказывается размытым. Множество социальных действий и коммуникаций определяется либо на большом пространстве мирового общества, либо на обозримых небольших пространствах локальных сообществ, притом, что *государственное гражданство действующих* – это правило, а не исключение в современном мире. Итак, действующий, как правило, – это гражданин, но действия и коммуникации часто по своему смыслу совершаются помимо государства как в той внутренней неполитической сфере, которая самой идеей (либерального) государства предполагается внутри его границ, так и вне их»¹²⁴.

Так деполитизированный «гражданин» подминает государство и прежние функции межлокальной солидарности, образующей национальный организм. Гражданственность в гражданском обществе либерального типа оказывается фиктивной, связанной лишь с гарантиями безопасности индивида, которые не привязываются к конкретному государству-родине. Таким образом, либеральное гражданство востребует государство лишь как полицейского, а свою активность переносит либо в глобальные, либо в локальные институты и процессы. Но вся эта диспозиция либеральных ценностей сохраняется лишь до тех пор, пока не предъявлены территориальные претензии. Возможно, именно для того, чтобы сохранить либеральное равнодушие гражданина к государству, столь незыблемыми объявляются европейский границы вплоть до гарантий НАТО пресечь любые территориальные претензии если не коврами бомбардировками, то глобальной ядерной войной.

Государство и пространство

Территориальные характеристики государства кажутся настолько естественными, что иногда сама сущность государства сводится к контролю за определенной территорией – «государство есть корпорация, необходимо территориальная»¹²⁵. В то же время чисто географическая трактовка территориального измерения государственности вряд ли может рассматриваться как удовлетворительная.

Во-первых, ландшафт всегда воспринимается как множество пространственных достопримечательностей, священных территорий (тименосов) или чем-либо заметных мест¹²⁶. Для любого государственного организма одни части занимаемой территории являются более значимыми, другие – менее значимыми. Особым статусом всегда обладает столица или территории, связанные с какими-либо историческими событиями (например, Косово поле, ставшее для сербов знаком «избранной жертвы» в прошлом и трагедии в современных условиях).

Во-вторых, ландшафт предопределяет характеристики этносов, занимающих его (Л.Н.Гумилев), что решающим образом сказывается на жизни государства – его внутренних межэтнических отношениях. То есть, речь не идет о территории как таковой – вопрос состоит в том, кто населяет эту территорию. Тот, кто не может заселить формально принадлежащую ему территорию, рискует очень скоро лишиться ее – ее займут более плодовитые и неприхотливые народы.

В-третьих, значительными отличиями для любого государства являются приграничные территории, в которых особым образом обостряются как проблемы сакральной географии, так и ландшафтно-этнические проблемы. Пограничье более проблемно для государства, чем обширные внутренние пространства. Но имперские пространства могут вообще не иметь четких границ, как не была определена государственная принадлежность пространств между петровской Россией и султанской

¹²⁴ Там же. С. 458.

¹²⁵ Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 404.

¹²⁶ См. Хюбнер К. Истина мифа, М.: «Республика», 1996.

Турцией. Пока границы не стабилизировались по естественным географическим преградам, толком сказать о занимаемой территории государства нельзя.

В-четвертых, государство явно распространяет свое влияние и за пределы своей территории – как в международных отношениях, так и в воздействии, которое оно оказывает на гражданина, даже не имея возможности воздействовать на него непосредственно, когда он находится за пределами территории государства. Для нас особенно важно, что Россия пространнее, чем государство Российская Федерация.

Устрялов, останавливаясь на политических и политгеографических трактовках государства и истории, указал на целый ряд моментов, которые были игнорированы этими новомодными учениями¹²⁷. Предметом непосредственного господства государства являются люди, живущие в его границах. Ненаселенные пространства могут быть включены в государственную территорию только в качестве *возможной* сферы действия государственного правопорядка. Государственное право собственности на территорию – всего лишь «рефлекс личного господства» суверенов прежних времен. И только при социализме государство сосредоточивает *imperium* и *dominium* – проводит национализацию земли, средств производства и путей распределения.

Чем ближе история к современности, тем меньше в ней географии. Устрялов говорит о «диктатуре недр» – запасах полезных ископаемых, которые предопределяли экономическое положение государств. Уже одно это говорит о том, что не следует впадать в «Географический фатализм». История, говорит Устрялов, тяжелая тяжба человека с пространством. Это значит, что судьбы государств связаны не только с пространством, но и с трудом и творчеством человека. За территорией не видеть государства, как властно организованного порядка. Месторазвитие *дано* государству, но в то же время государство *творит* себе свое месторазвитие. А это свидетельствует о том, что география скорее иллюстрирует, чем определяет историю. «Судьба – не только ландшафт, но и творческая людская энергия, его дополняющая, связанная с ним...».

Ложное родство политического пространства с пространственной телесностью¹²⁸ чудится оттого, что смешиваются два плана реальности – локальный и глобальный. (Либо локально-смысловой с глобально-телесным обесмысленным, либо глобально-смысловой с локально-телесным бессмысленным). Частная телесность смешивается с сакральной вопреки явной противоположности почти истерической моде на здоровый образ жизни в современных западных странах и нагруженной смыслами телесности, скажем, греческой скульптуры.

Г.Зиммель писал: «Не географический охват пространства в столько-то квадратных миль образует величайшее царство (Reich), это совершают те психологические силы, которые из некоторого срединного пункта политически удерживают вместе жителей такой (географической области)»¹²⁹. Следуя этой мысли, А.Филиппов увязывает имперское пространство с идеей империи: «Империи как политическая реальность оказываются не более стойкими, чем государства, но имперская идея оказывается куда более продолжительной и перспективы нового профилирования империи – куда более существенными, чем в случае государств. В этом легко убедится всякий, кто сравнит историческую географию имперской Европы с исторической географией европейских государств»¹³⁰.

М.В.Ильин упоминает о том, что представления о территориальном государстве связаны с современной европейской трактовкой государства. Автаркии знают, прежде всего, подданство и «объединяют людей одного этоса (веры, рода, полка, языка) вне

¹²⁷ Устрялов Н.В. Элементы государства...

¹²⁸ см. Филиппов А. Смысл империи: к социологии политического пространства// Иное, 1995. Т.3. С. 434.

¹²⁹ Зиммель Г. Цит. по Филиппов А. Смысл империи: к социологии политического пространства// Иное, 1995. Т.3. С. 438.

¹³⁰ Там же. С. 459.

зависимости от их нахождения». Империи – открытые, постоянно расширяющиеся системы, не имеющие представления о границах, в идеале – безграничные. И если автаркия и империя в традиционном виде сегодня не существуют, то их исторические «следы» не могут быть стерты несколькими десятилетиями европейского прогресса в XX веке.

Ввиду дифференциации территориального достояния государства геополитические особенности его положения несколько теряют привычную значимость, которой в последние годы в российской науке уделяется много внимания (мы имеем, прежде всего, ту привлекательность, которую создали для геополитических дискуссий работы и переводы А.Г.Дугина). Территориальный детерминизм начала XX в. вылился в геополитические доктрины, парадоксальным образом получившие популярность в российский военно-научных кругах на исходе XX в., главным образом, вследствие явной аналогии с картиной поля сражения – господствующие высоты, естественные преграды, пространство маневра и т.д. Тактический полигон как бы расширяется до масштабов всей планеты и позволяет рассматривать глобальные политические процессы на том же понятийном уровне. Мы предполагаем, что такой взрывной интерес к геополитике среди военных был обусловлен отлучением от привычной марксистской догматики, что создало потребность заменить ее каким-нибудь «все объясняющим учением».

Геополитическому подходу явно противостоит цивилизационный, который не оставляет камня на камне от англоцентричной маккиндеровской концепции. Кому-то, вероятно, эта концепция покажется подтвержденной в связи с новым витком борьбы за евразийский «хартленд» - агрессией США против Афганистана и Ирака. Но достаточно поместить себя мысленно в историческое пространство русской цивилизации, чтобы увидеть, насколько разнонаправленной в течение 1000 лет была русская экспансия. Да и битвы Второй мировой войны вовсе не имели никакого отношения к планетарному или региональному «хартленду».

Геополитические концепции оказались устаревшими практически сразу после их рождения. Например, концепция границы К.Хаусхофера может быть отнесена лишь к определенному историческому периоду и определенной политической культуре – к европейской ситуации почти сплошного пограничья – доступности для нанесения ударов противника в тесном пространстве европейского полуострова, стесненности народов, в значительной мере исчерпавших ресурсы саморазвития на занимаемых территориях (поэтому развернувших колониальную экспансию в других частях света). Но уже Вторая мировая война показала, что географические рубежи не столь заметны, когда освоена воздушная стихия и власть над ней приобретает чрезвычайно важное значение. Разгром Европы, готовившейся оборонять свои границы, опираясь на естественные преграды, показал устарелость такой стратегии. Технический и организационный рационализм побил географическую концепцию и демократический режим военной мобилизации, но в свою очередь уступил еще более мощной силе – русскому духу, прорвавшему в условиях чрезвычайной опасности скорлупу советской бюрократии. Позднее выяснилось, что власть над Мировым океаном и околоземным космическим пространством также приобретают решающее значение. И сегодня русский дух стоит перед новой задачей опровержения неоимперского диктата США, опирающегося на контроль за пространством.

В послевоенном мире советская геополитика, стремившаяся к мировому господству в конкуренции с США, явно или неявно включала в себя географический фактор наряду со всеми прочими. Но именно в географическом аспекте советская доктрина мировой политики получила и первый удар – отпадение Польши и образование враждебного политического организма в тылу советской военной группировки. Географический фактор оказался управляемым, зависимым от других факторов, прежде всего от пропагандистского и идеологического. Советское руководство к этому оказалось не готово.

Бесспорно, стратегическое положение нашей страны могло быть куда более устойчивым, если бы Сталин использовал победу в войне для обеспечения контроля над балтийскими и черноморскими проливами и Манчжурией. Но чего стоил этот контроль по сравнению с разделенностью политических элит СССР по этническим уделам, с провалом в концепции государственности? Взорвавшись, эта мина, заложенная еще большевиками, сломала все преимущества, достигнутые по географическому фактору.

Шпенглер писал о глубокой провинциальности античной культуры, замыкавшейся в городах-полисах, и противопоставлял ей фаустовскую культуру Европы Нового времени, устремленную в бесконечность. Именно этой бесконечности не хватает географическому подходу. За тактическими задачами исчезает стратегическое видение мирового политического процесса.

Н.Н.Алексеев классифицировал государства, разделяя их на несколько территориальных типов¹³¹.

1. Государствоподобные земли, населенные несколькими родами или семейными общинами.

2. Государство-земля. На германском наречии «Land», «земля» означает «государство», что отражается в названиях государств (Deutschland, England, Holland и т.п.). Этому соответствует и русское слово «земля», в древнем употреблении тоже обозначающее «государство». Образование этой политической формы всегда связано с образованием городов, к которым «тянется» земля.

3. Государство в тесном смысле этого слова или «царство» (латинское «regnum», немецкое «Reich»).

4. Государство-мир (латинское imperium). Это самое большое из всех возможных политических образований, которое стремится заполнить собой часть света. К таким государствам относится и Россия.

В качестве одной из разновидностей государства-мира Н.Н.Алексеев рассматривает Великобританию, в основе жизни которой лежал океанический принцип, противостоявший другому геополитическому принципу – принципу государства-континента. «Государство-континент с точки зрения *океанического принципа* неизбежно находится в некотором «обездоленном» состоянии, неизбежно стоит на задворках «мирового хозяйства». Свойственное каждому государству стремление к благосостоянию, очевидно, разрешается совершенно иными средствами в государстве океаническом и континентальном. В первом оно удовлетворяется более всего тяготением к свободе морей, во втором — путем экономической политики, направленной на удачное использование «континентальных соседств»¹³².

Дальнейшее разрастание государства Н.Н.Алексеев считает выходом за естественные границы: «Впрочем, существуют чисто естественные пределы пространственной экспансии государств, переступая которые, государство рискует ослабить себя, а не усилить. Если считать, что предельной формой государственной величины является государство-мир, которое стремится заполнить собою «часть света», то, естественно, каждое существенное увеличение государства за границы «части света» является, скорее, бременем, чем преимуществом. В указанном смысле можно утверждать, что, по крайней мере, государство-мир, живущее на единой территории и совпадающее с определенным культурным типом, имеет самой природой и культурой поставленные границы»¹³³.

Возникает вопрос о влиянии пространства на характер государственности и населяющего его народа. Руссо писал: «Чем более государство растет, тем более уменьшается свобода граждан». Алексеев комментирует эту мысль: «Таким образом, в подданстве своем люди равны в любом государстве, гражданство же или политическая

¹³¹ Алексеев Н.Н. Цит. пр.. С. 408–412.

¹³² Там же. С. 417.

¹³³ Алексеев Н.Н. С. 413.

свобода уменьшается в зависимости от количества населения. А так как количество это зависит от территории, то политическая свобода, как думал Руссо, осуществима только в маленьких государствах-общинах. Чем больше государство, тем более оно расположено к деспотии»¹³⁴. Действительно, большое государство усложняет понятие гражданства. Полис не требовал системы делегирования и запоминания своей роли – роль гражданина игралась практически без перерыва. Территориальное государство требует иной этики, которой оно связывается в единое целое, так же как и управленческой конструкции, в которой невозможно прямое народовластие.

Пространство, занимаемое государством, может многое сказать о душе народа-государствостроителя. «Чем шире пространство, тем более верную картину всей земли оно представляет... Это способствует образованию величественных представлений в душе народов, обитающих в подобных странах и над ними господствующих...» «Напротив того, узкие земельные пространства порождают то, что можно назвать узостью, политическим провинциализмом маленьких государств»¹³⁵. «...связь государства с землей не есть внешняя связь, это есть связь внутренняя, которую можно сравнить со связью между душой и телом. Государство вырастает из своего тела, из земли, и многие черты государственной жизни определяются особенностями территории, на которой вырастает государство»¹³⁶.

Для Российской империи и, особенно для современной России весьма важно видеть достаточное ландшафтное единообразие (по сравнению, например, с Китаем, Аргентиной, Бразилией), обусловленное вытянутостью территории по меридиану. Вмещающий ландшафт соответственно формирует единый тип сельского жителя, а унифицированная среда крупного города со своим искусственным «ландшафтом» – свой тип. Отсюда следует, что естественная регионализация России состоит вовсе не в том, чтобы найти на ее территории различные народы и попытаться зафиксировать их особенность в национально-территориальном делении, а в том, чтобы видеть, прежде всего, деление на сельские районы и городские агломерации, а потом и естественные экономические районы, которые, не имеют ничего общего с национально-территориальным принципом.

Эта вытянутость территории России, позитивно сказывающаяся на ее внутренней устойчивости «превращается в прямой минус с точки зрения положения государства среди других государств. Удлиненное государство стратегически находится всегда в положении худшем, чем государство симметрично расположенное»¹³⁷. Военно-стратегическое положение вытянутого государства значительно сложнее, поскольку в нем велика относительная длина границ и коммуникации растянуты по большому пространству. Этот негативный фактор, как мы отметили, не столь влиятелен, как состояние национального духа.

Отношение государства к собственной территории не может быть опущено теорией государства. Следовательно, «вопрос о земле» не может быть признан случайно обострившимся в современных дискуссиях российского парламента, обнаруживших необходимость объяснять самим себе причины, по которым Калининградская область и Курилы являются российскими территориями. Вероятно, именно в этих дискуссиях началось восстановление ощущения пространства Россия. И неизбежно возникла мысль о том, что Россия не укладывается в Российскую Федерацию.

Другой аспект территориальной проблемы государства выливается в вопрос: должно ли государство властвовать на своей территории непосредственно? Его решение зависит от условий места и времени: в одних отношениях эта власть непосредственна (там, где не признается частная собственность на землю) в других – опосредована (где это

¹³⁴ Там же. С. 415.

¹³⁵ Там же. С. 414.

¹³⁶ Там же. С. 407.

¹³⁷ Алексеев Н.Н, С. 416.

право признается)¹³⁸. Либеральное государство, безусловно, стремится к регулированию отношений между собственниками, но не к прямому владению собственностью, в том числе и земельной. Это один, но не единственный способ решения вопроса о земле, и он имеет не нормально-образцовый, а исключительно идеологический характер. Для каждого государства важна собственная «идеология» земельных отношений, собственная норма вмешательства государства в отчуждение или межевание земель.

Как только земля становится доступной иностранцам (легальным или скрытым образом), суверенитет оказывается подорванным. Именно такая ситуация складывается в правовом регулировании деятельности иностранцев в современной России, которые могут скупать не просторы, а экономически ценные места российской территории, прежде всего, нефтяные скважины. Формальным прикрытием такого захвата становится акционерная собственность, соучастие во владении с российскими гражданами.

Казалось бы, речь здесь идет о чисто территориальной проблеме. Но это не так. Возможность территориального захвата путем относительно законных сделок, во-первых, обусловлено состоянием политического класса, не чувствующего, что из-под него вытаскивают одну подпорку за другой, превращая в наемных паяцев с депутатскими мандатами, а во-вторых, общим пониманием гражданства, которое приобретается само собой и используется не в общенациональных целях, а в частно-эгоистических, попирающих интересы нации. Следовательно, речь идет о том, что нация перестала чувствовать, что есть для нее действительное обладание территорией, какие «тименосы» культурного и экономического характера надо бесспорно, держать в своих руках.

Из формального владения своей территорией и не очень внятного понимания того, что есть на самом деле факт владения, вытекает еще одна проблема, связанная с бурным развитием коммуникаций. Современное государство сталкивается с тем, что даже всеобъемлющий контроль над своей территорией не означает полноты суверенитета. Территория перестает быть ключевой характеристикой государства (если не полагать, что государство должно отмереть и отмирает у нас на глазах). Николас Луман пишет: «Понятие территориальных границ также становится излишним и тем самым излишне предположение о многообразии региональных обществ. То, какое значение имеет пространство и пространственные границы, следует из их коммуникативного использования, но сама коммуникация не имеет пространственного места. Вследствие своего материального субстрата она, конечно, может быть зависима от пространственных условий. В мире животных пространственные отношения являются одним из важнейших, если не единственным способом выражения социального порядка, но эволюция социокультурного мира благодаря языку, письменности, телекоммуникации настолько уменьшает значение пространственных отношений, что сегодня следует исходить из того, что коммуникация определяет оставшееся значение пространства, а не наоборот, не пространство допускает и ограничивает коммуникацию»¹³⁹.

Единый этос империи означает ее безбрежность – в ней есть территория, но нет легитимных границ. И даже если империя сокращается до одного города-государства, как Византия, она остается империей, будучи распределенной по островкам религиозной и придворной культуры, включениями, закрепленными по всему свету. Пространством империи можно и следует жертвовать, если это не повредит сохранению имперского этоса – имперскость выше империи. Как пишет Константин Фрумкин, «жрецы готовы пожертвовать пространством ради незыблемости древних традиций и тонких государственных механизмов, ради величия престола фараона как престола первосвященника (но не как полководца и землевладельца)»¹⁴⁰. Эта жертва, осуществленная последовательно под давлением исторических обстоятельств,

¹³⁸ Там же. С. 405.

¹³⁹ Луман Н., Цит. пр. С. 25–42.

¹⁴⁰ Фрумкин К. Империя и пространство// Философская газета, 2001. №7; <http://www.philolog.f2s.com/article.php?art=7oftext2&issue=7>

уничтожающих государство, приводит к новому типу сакральной империи, дискретно проявленной в церковных общинах – империя перемещается в пространство культуры.

«Империя - это смысл (и реальность) большого и устойчивого политического пространства, длительно переносимый на смысл неполитических действий и коммуникаций»¹⁴¹. При этом «следует постоянно иметь в виду тонкое, почти неуловимое на первый взгляд различие между переносом политического смысла и переносом смысла политического пространства. Первое происходит в государстве, второе – в империи»¹⁴². Империя принципиально политизирована во всех аспектах, все политические идеи переносят на пространство, хотя бы в дискретных формах островков-вкраплений собственного влияния. Либеральное государство, напротив, антиполитично, поскольку бежит от любых коллизий типа «свой-чужие» и предпочитает либо достижение консенсуса, либо умиротворение через третейскую роль суда. В либеральном государстве универсальный смысл политического рассеивается универсальной процедурой юридического. От этого формальное представление о государственном суверенитете отрывается от реального обладания землей.

Имперская глобализация сохраняет традицию в противовес либеральной глобализации, принципиально отрекающейся от пространства, от которого остается одна сетка координат с транснациональными корпорациями в узлах. Либералу пространство только мешает установить уравнительную коммуникационную схему, в которой уже нет сакрального пространства, зато есть сакральное тело индивида, подлежащее защите от пространства всеми средствами и методами, которые могут обеспечить безопасность. Либерал пытается поглотить пространство своим рассудком и изжить зависимость от него через утилизацию. Напротив, человек традиционной культуры стремится вернуться в пространство территории из пространства смысла – выйти из дискретного существования в континуальное и безграничное, не утратив при этом ни смысла, ни пространства, размеченного тименосами.

Территориальная характеристика государства (геополитика, земельный вопрос, ландшафт, сакральная и экономическая география и т.п.) заметно сдает свои позиции в современную эпоху, и все более важными становятся культурные характеристики, т.е., тот самый «национальный миф», о котором следует постоянно помнить. Вместе с тем уступки территории, безусловно, подрывают национальный миф и следует помнить слова Карамзина, обращенные к Александру I, намеревавшемуся восстановить древнее Королевство Польское: «Старых крепостей нет в политике: иначе мы должны были бы восстановить и Казанское, Астраханское царство, Новгородскую республику, Великое княжество Рязанское и так далее. К тому же и по старым крепостям Белоруссия, Волыния, Подолия вместе с Галицией были некогда коренным достоянием России. Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литве. Или все, или ничего. Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди, ни врагу, ни другу»¹⁴³.

Иными словами, граница наполнена смыслом, и каждое ее изменение отдается в смысловом поле национального мифа торжеством или унижением. На все попытки обосновать отторжение государственной территории или усомниться в праве ее расширения за счет исконных территорий ответ может быть только один: наша национальная территория там, где хотя бы в какой-то период наши предки жили оседло, где стояли наши войска и была провозглашена наша власть. Столкновение подобных установок не должно пугать: в этом споре выигрывает тот, кто упорнее и сильнее. Заведомо проигрывает тот, кто уступает доводам противника и соглашается усомниться в своих правах на территорию. То есть, важна не столько сама территория, сколько сознание права на нее, будь это хоть ничтожный клочок земли.

¹⁴¹ Филиппов А. Смысл империи: к социологии политического пространства// Иное, 1995. Т.3. С. 462.

¹⁴² Там же. С. 464.

¹⁴³ Карамзин Н.М. Мнение русского гражданина// О древней и новой России. М., 2002. С. 437.

Крайне опасными следует признать любые потакания «исторической справедливости», подобные признанию каких-либо прав Японии на Курилы и Сахалин или Германии – на Калининградскую область. Преступными являются как уступки территории Китаю ради «выравнивания границ» (что сопровождалось оскорблением национального достоинства русских уступкой полуострова Даманский, где была героически отражена китайская агрессия), так и пересмотр в чужую пользу морских границ, начиная с действий Шеварднадзе, уступившего США обширнейшую акваторию в Тихом океане. Отсутствие законной ратификации со стороны России не помешало Америке взять под контроль эту территорию и арестовать в ней наши рыболовецкие суда. Наше сомнение сразу означало наше поражение в споре о пространстве.

Территориальный вопрос по отношению к государству сразу приобретает иное звучание, как только возникает тема соотношения правовых границ государства и национального чувства Родины. Для России особенно важно, что границы государства Российская Федерация не совпадают не только с ощущением общности миллионов людей, находящимися за его пределами, но также и с огромным количеством правовых вопросов, объективно свидетельствующих о наличии территориальных проблем. Народы России не могут и не хотят мириться с раздельным существованием, международное право дает массу оснований для предъявления своих прав на ряд сопредельных и удаленных территорий. Реальная государственная политика, поставленная в угоду либеральным ценностям над интересами нации и традиционной ответственностью власти перед народом, предпочитает замкнуть Россию в исторически абсурдной ситуации неопределенности случайно прочерченных границ. Российская идентичность остается в жестком противоречии с идентичностью правящей либерально-олигархической группировки.

Россия как индивидуальное и особенное государство

Гегель подчеркивает, что имеется индивидуальное государство, в котором индивидуальность есть момент самой идеи государства (то есть может быть чертой любого государства), отличающегося от особенного государства, «которое принадлежит истории» (т.е. имеет нигде более не встречающиеся черты). Последнее говорит о важности представления о самобытности, в особенности, если это касается крупных государственных организмов.

М.В.Ильин отмечает в своем исследовании «Слова и смыслы»: «На Руси к исходу средневековья вызревает конкурирующее с царством название отечественной политической системы — государство. Оно, однако, с самого же начала приобретает более широкую трактовку, хотя и не становится полным аналогом европейским понятиям республики и статуса-состояния»¹⁴⁴. Русское государство явно отличается уже в самом понятии от европейского State, которое в русской традиции восходит к понятию Господь. «Государство трактуется первоначально как достоинство и атрибут лица, воспринимающего благодать от горнего Господа и передающего его земцам-соотечественникам, а также как принадлежность хозяина в своем доме, вотчине. Затем уже в условиях кризиса вотчинного уклада атрибуты и свойства господина/государя переносятся на политическую систему, а там, наконец, отождествляются с самой этой системой».

С.С.Аверинцев пишет о трансформации представлений о государстве, фактически разделившей христианский мир и выделившей русско-православное понимание государства и государственной власти: «Расставшись с чистым августинизмом во времена Аквината, католическое мировоззрение делит бытие не надвое ("свет" и "тьма"), а натрое: между горней областью сверхъестественного, благодатного и преисподней областью противоестественного до поры до времени живет по своим законам, хотя и под властью

¹⁴⁴ Ильин М.В. Слова и смыслы// Полис, 1994. №1.

Бога, область естественного. Государственная власть принадлежит именно этой области...». «Русская духовность делит мир не на три, а на два – удел света и удел мрака; и ни в чем это не ощущается так резко, как в вопросе о власти. Божье и Антихристово подходят друг к другу вплотную, без всякой буферной территории между ними; все, что кажется землей и земным, - на самом деле или Рай, или Ад; и носитель власти стоит точно на границе обоих царств. То есть это не просто значит, что он несет перед Богом особую ответственность, – такая тривиальная истина известна всем. Нет, сама по себе власть, по крайней мере власть самодержавная, - это нечто, находящееся либо выше человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него как бы и не входящее»¹⁴⁵.

Здесь мы обнаруживаем особое измерение, в котором также есть свои границы. И для нас важно чувство этих границ. Для российского государства принципиальной особенностью является именно это – измерение своего масштаба не в пространстве, а в отношении к Царствию Небесному. Убери этот вечный вопрос, этот стимул к нравственной организации жизни (а значит, и власти) и в судьбе России ничего понять уже будет невозможно.

И.Л. Солоневич в своей книге «Народная монархия» писал: «Соборы никогда не претендовали на власть (явление с европейской точки зрения совершенно непонятное) и Цари никогда не шли против "мнения Земли" – явление тоже чисто русского порядка. За монархией стояла целая "система учреждений" и все это вместе взятое представляло собой монолит, который нельзя было расколоть никаким цареубийством»¹⁴⁶. «Система монархических учреждений должна начинаться с территориального и профессионального самоуправления (земства, муниципалитеты, профсоюзы) и заканчиваться центральным представительством, составленным по тому же территориальному и профессиональному принципу, а не по принципу партий»¹⁴⁷. Необходимо «иметь Одного Человека, который стоял бы *над* борьбой, а не был бы результатом борьбы, каким является всякий диктатор, или бессильной случайностью в этой борьбе, какой является любой президент»¹⁴⁸. «Некая человеческая индивидуальность рождается с правом на власть. <...> По дороге к реализации этой власти, этой индивидуальности не приходится валяться во всей той грязи и крови, интригах, злобе, зависти, какие неизбежно нагромождаются вокруг не только диктаторов, но и президентов»¹⁴⁹.

Существует важно отличие российской государственной власти от европейского абсолютизма, уступившего место либеральной демократии лишь в середине XX в.: «Европейский король был ставленником правящего слоя. Он, в общем, был действительно орудием угнетения низов. Русская монархия исторически возникла в результате восстаний низов против боярства и всегда стояла именно на защите низов. Русское крестьянство попало под крепостной гнет в период отсутствия монархии, когда цари истреблялись и страной правила дворянская гвардия»¹⁵⁰. «Русское самодержавие было организовано русской низовой массой, оно всегда опиралось на Церковь, оно концентрировало в себе и религиозную совесть народа, и его политическую организацию»¹⁵¹. «Русская Церковь никогда не простирала руки к государственной власти, не вела и не провоцировала никаких религиозных войн...»¹⁵².

Русская традиция дает пример отношения к государственной власти как к «земнобожественному существу» (Гегель). Государство и отношения господства-подчинения – священный элемент миропорядка, творец которого – Бог. Первоначально

¹⁴⁵ Аверинцев С.С. Византизм и Русь: два типа духовности. Закон и милость// Новый мир, 1988, № 9. С. 234–235.

¹⁴⁶ Солоневич И.Л. Народная монархия, М.: Феникс, 1991. С. 41.

¹⁴⁷ Там же. С. 42.

¹⁴⁸ Там же. С. 46.

¹⁴⁹ Там же. С. 89.

¹⁵⁰ Там же. С. 127.

¹⁵¹ Солоневич И.Л. Народная монархия, М.: Феникс, 1991. С. 56.

¹⁵² Там же. С. 127.

расплывчатая (как и в античности) мифология Русской земли вместе со становлением российской государственности заменяется ясно понимаемыми отношениями Государя и подданных, мнение которых есть «мнение земли». «Государство существовало Государем» (Карамзин), а легитимность власти самого Государя определялась системой престолонаследия по праву первородства. Именно поэтому государство и Отечество для русских – одно и то же, а Государь – гарант миропорядка, «царь-батюшка». Все это наше, русское своеобразие, которое загнано на задворки национального сознания, но все еще живет в отношении к государству и власти.

Важно знать, что в России законодательство о престолонаследии не толковалось на уровне буквоедского юрицизма. Миссия Государя была на первом месте, право на престол – на втором. Половина российских монархов кончило жизнь не своей смертью, но преемственность миссии власти Государя сохранялась. Разрыв преемственности состоялся только вместе с Февральской революцией 1917 года, прямым следствием которой стало убийство Российского Императора и его семьи. Антигосударственный негативизм теперь мог сдерживаться только тотальной пропагандой и репрессиями. Именно с этого момента Россия жестоко подорвала свои исторические перспективы, приблизившись к усредненной европейской «норме».

Как указывает А.И.Щербинин, «в отечественном дискурсе "государство" никоим образом не связано с латинским "status" – "состояние, положение" и поэтому отнюдь не соответствует немецкому "die Staat", английскому "the State", французскому "l'Etat" и т.п., выражающим относительно внешнюю для общества и личности формальную сторону политического существования»¹⁵³. Это верное замечание, указывающее на одну из причин самобытности российской государственности, к сожалению, дает основание некоторым авторам (а также для автора цитированной статьи) представлять российскую историю как беспросветное тоталитарное господство российских государей над холопами, лишенными каких-либо признаков гражданственности. Самобытность выдается как «неправильность», как порок российской государственности, а значит, как повод отказаться от традиции, в рамках которой эта государственность развивалась.

Политическая и ученая схватка происходит вокруг оценки самобытности, и победа в ней прямо предопределяет судьбу России. Если нации докажут, что Россия строила у себя исключительно «неправильную» форму государства, то очень скоро нации наступит конец – она перестанет выделяться как индивидуальное и особенное государство и Россия станет не политическим и историческим, а только географическим понятием. Если нам докажут, что тирания и деспотия хуже, чем отказ от государственности как таковой (а именно к этому и склоняют русских многие ученые мужи), то собственная история будет опорочена и оборвана, а на месте действительной России возникнет «новая Россия», разбазарившая самое ценное, что можно иметь в жизни народа – наследие предков. Соответственно, придется лишиться и прав на территорию, недра и даже политическую независимость.

С богоданностью государства связаны взгляды средневековой Европы. Такие представления оформились в консервативных идеологиях, для которых важнее было не стремление к таящемуся в неопределенном будущем идеалу, а защита реальной государственности от разных извращений. Нигилистический взгляд на государство, развившийся из утопий эпохи Просвещения, к сожалению, стал популярным и в общественных науках, которые в современной России несут на себе память о недавней тотальной идеологизированности и, меняя знак, переносят ее из советского периода в постсоветский. Русскую историю иные идеологи надеются закончить уже не 1917, а 1991 годом. И действительно, только оставшийся обрубок можно хоть как-то подвести под общий знаменатель «общечеловеческих ценностей» и усреднить по шаблонам «цивилизованных государств».

¹⁵³ Щербинин А.И. Государь и гражданин// Полис, 1997. №2. С.159–171.

Предупреждая от вырождения государства и теоретических представлений о нем, И.А.Ильин писал: «Настоящее государство держится не принуждением и не страхом, а свободной лояльностью своих граждан: их верностью долгу; их отвращением к преступности; неподкупностью чиновников; честностью судей; патриотизмом избирателей; государственным смыслом парламентариев; гражданским мужеством писателей и ученых; инициативной храбростью и дисциплиной солдат... Только при таком понимании нам раскрывается идея "общественного договора". Эта идея имеет в государственной жизни свой предел, а именно: он выговаривает основу человеческого правосознания, а не принцип государственной формы. <...>

Но сколь нелепо превращать этот призыв к личному правосознанию в основу государственной формы и признавать только те режимы, которые якобы основаны на «общественном договоре» - как на единообразном историческом событии или на беспрестанно повторяющейся политической процедуре. Именно так истолковала идею "общественного договора" первая французская революция; именно этим она потрясла и измучила свою страну до основания, именно этот предрассудок она оставила последующим французским революциям (1830, 1840, 1870), а также, увы, русским доктринерам. Но дело в том, что таких режимов не было, нет и не будет: ибо всякое "учредительное собрание" есть лишь грубая карикатура на "общественный договор" и никакой "референдум" не в состоянии осуществить его.

Нелепа претензия гражданина, чтобы ему дали право заключать в пределах своего государства любые "общественные договоры", расчленять свою страну, федерироваться или не федерироваться с кем ему заблагорассудится, останавливать организацию государства и действие закона заявлением своего несогласия, заявлять об одностороннем "выходе" или "вхождении" и т.д. Все это есть путь к анархии и соответствует программе анархизма. Поэтому все это - безгосударственно и противогосударственно, политически бессмысленно и национально губительно»¹⁵⁴.

Для того, чтобы иметь причину для атаки на традиционную российскую государственность, России приписывают «первородный грех» – варварскую жестокость и предельную неэффективность Московского царства. История показывает совершенно обратное. Московское царство в сложившихся исторических условиях было как раз предельно эффективно. Это отмечает, например, профессор Кельнского университета Герхард Симон: «Ни литовцам, ни полякам, ни украинцам, ни татаро-монголам или позднее Османской империи не удалось построить стабильное государство на северо-восточных просторах Европы. По всей видимости, политическое устройство с сильным перевесом верхушки власти и, соответственно, со слабыми промежуточными звеньями власти более всего подходило к естественно-природным, социально-экономическим, а также духовным условиям России»¹⁵⁵.

Об эффективности российской государственной традиции говорит и тот факт, что иерархическая централизованная система власти превратилась в русский национальный архетип, который не смогли сломать никакие революции. Эта система обеспечивала возможность сверхмобилизации в условиях постоянных иноплеменных нашествий. Ведь история России – это непрерывная череда войн со всем остальным миром – нашествия татаро-монгольских орд, многоязыких наполеоновских армий, англо-франко-турецких экспедиционных корпусов, Антанты и гитлеровских полчищ, использующих львиную долю мировых ресурсов своего времени.

Европейское понимание государства во многом отличается от русского в силу постоянного перемалывания прежних государственных институтов в результате внутриевропейских войн и революций. Этот процесс остановился только в середине XX в. (лишь отчасти, если иметь в виду Балканы). Поэтому чувство Отечества в европейских государствах некрепко и достаточно легко преобразуется сегодня в общеевропейский или

¹⁵⁴ Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948–1954 годов. М.: Рарог. Т.1. С. 183–184.

¹⁵⁵ Симон Г. Мертвый хватает живого. Основы политической культуры России// Полис, 1996, №6.

атлантический патриотизм, стирающий границы между государствами. Возможно, через воссоединение Европа пройдет путь к органическому пониманию государства, сложившегося в России, много столетий ведущей Отечественные войны против внешнего агрессора.

Традиционное российское государство умело сочетало массовые и элитные технологии власти, но оказалось не готовым к современным пропагандистским технологиям, рожденным Европой. Общинная традиция и комплекс философских и богословских идей соборности оказались бессильными против газеты, листовки, подпольных кружков. Полицейских мер и протекции охлократическому черносотенству было явно недостаточно. «Верхи» последних лет Российской Империи не нашли в себе сил для создания современной национальной идеологии, не захотели всерьез противопоставить массовому увлечению либеральными и марксистскими идеями массовую технологию пропаганды национальных ценностей, национальных интересов, консервативного (взамен реакционному) мировоззрения. Традиционная государственность рухнула, не найдя себя в современности.

Герхард Симон пишет: «Русская история показала, что культура единения способна добиться больших успехов, однако она содержит в себе также и опасность внезапных крушений, ибо чрезвычайно трудно своевременно ощутить и зафиксировать длительный (растянутый во времени) процесс распада единства и тем самым предотвратить перерождение системы. В этом отношении культура конфликта в открытом обществе превосходит культуру единения. Но западная культура конфликта имеет свои границы, ибо при всей своей либеральности не может предложить общей смысловой базы при открытом разрешении конфликтов и поэтому находится под угрозой раздробленности и внутреннего разложения». «Обратная сторона политической культуры единения – постоянный поиск врага, обнаружение заговоров, участники которых объявляются виновниками неуспеха политики, ориентированной на достижение абсолютного (а не возможного, относительного) результата»¹⁵⁶.

При всем негативном звучании слов о поисках врага они только отражают здоровое понимание политики, сложившееся в русском традиционном самосознании, адекватном историческим процессам. Русским надо было точно знать различие «своих» и «чужих», чтобы вынести давление внешней агрессии и подавить внутреннюю крамолу. Попытка же «демократической революции» вымучить такое представление о государстве, которое объявило бы внешнего врага отсутствующим, есть попытка уничтожить русский национальный архетип, а вместе с ним и русскую государственность, раззять русское геополитическое пространство на этнические уделы и противопоставить этнические интересы общенациональным.

Главное для нас – вновь ощутить позитивное значение иерархии и ее особого строения, отличающего Россию от других государств, придающей ей «лица необщее выражение». Как писал Л.А. Тихомиров, «в обществе разумно расслоенном, различные слои которого твердо сложены, проникнуты сознанием своих обязанностей, каждый человек составляет частицу известной группы, возникающей не случайно, существующей вечно. Посему каждый человек получает известное руководство от людей наиболее уважаемых. Мысль людей более выдающихся освещает мысль более слабых, менее развитых. Общественное мнение слагается в той высоте, какая доступна, по степени развития лучших членов общества. Сверх того, это общественное мнение направляется на обсуждение действительных потребностей личности (поскольку может их понять). В обществе либерально-демократическом необходимое расслоение происходит *вопреки* сознательному стремлению людей, которые, напротив, стремятся создать общество, чуждое расслоению. Общественные авторитеты понижаются, ибо первые места занимают не лучшие, а случайные люди, нередко только потому, что они хуже и ничтожнее прочих.

¹⁵⁶ Там же.

А между тем с первых мест их голос слышнее. Общественное мнение слагается под руководством не лучших людей, а только наиболее проницательных и направляется (говоря в отношении *свободы*) на совершенно не идущую к делу цель»¹⁵⁷.

Бюрократизированное государство, удерживающее демократическое правление, лишенное исторически обусловленной иерархии, представляет собой реализацию сценария «управляемого хаоса», в котором принцип верховной власти отсутствует, как и правящий отбор в системе власти. Властвует чиновничья посредственность, создавшая корпорацию против нации. Эта корпорация действительно носит всемирный характер, сближаясь своими чертами с такими же корпорациями (включая удельные бюрократии и управляющие центры транснациональных экономических корпораций). Чтобы не стать заложником этой крепнущей во всемирном масштабе корпорации, нации необходимо стряхнуть с себя ложные представления, усредняющие Россию с вымышленными общечеловеческими стандартами – прежде всего, в системе власти.

Мистика свободы индивидуальной должна замениться реальной свободой и ее ограничением системой авторитетов: «Когда масса, интересуясь оценкой происходящего, обращает свои взоры на людей почтенных, живущих с ней, давно выдвинувшихся по наследственной подготовке или выдающимися заслугами, она получает действительно серьезный материал для суждения, ряд мнений, над которыми действительно стоит подумать и в которых есть чему поучиться. С другой стороны, и эти центры общественного мнения, не имеющие надобности заискивать у толпы, тем спокойнее прислушиваются к ее голосу и выбирают в народном говоре не то, чем можно воспользоваться для агитации, а то, что умно и практично. Такое общественное мнение составляет серьезную силу и по качеству своему и по прочности. Такое общественное мнение не переделаешь в два месяца ловкой агитацией. Если мы к этому присоединим высшее правительство *независимое*, не истекающее из «народной воли» а установленное традиционно, прочно, не принужденное принимать во внимание всякого вздора, какой явится у народа, а только то, что ему кажется дельно, — то мы получаем комбинацию наилучшего охранения всего, что народным сознанием признается *правом личности*, условием ее *свободы*»¹⁵⁸.

Мысли русского консерватора Л.А.Тихомирова поразительным образом перекликаются с мыслями немецкого эссеиста «консервативной революции» Эрнста Юнгера, который писал о «веймарской Германии»: «...немец не знал, какое применение найти той свободе, которую всеми способами — как мечом, так и уговорами — пытались ему навязать и которая была учреждена провозглашением всеобщих прав человека: эта свобода была для него орудием, не имевшим связи с наиболее глубинными его органами»¹⁵⁹. Как и немцы, русские жили в таких условиях, когда «неосуществимо такое понятие свободы, которое как некую фиксированную и саму по себе бессодержательную меру можно было бы прикладывать к любой подводимой под него величине. Напротив, испокон веков здесь считалось, что мера свободы, которой располагает сила, в точности соответствует отводимой ей мере связанности, и что объемом высвобожденной воли определяется объем ответственности, наделяющей эту волю полномочием и значимостью. Это выражается в том, что в нашу действительность, то есть в нашу историю в ее наивысшем, судьбоносном значении, не может войти ни что из того, что не несет на себе печать этой ответственности»¹⁶⁰.

Отличие русской традиции от немецкой можно увидеть в постоянных срывах в бунт и нигилизм, которых немцам удавалось избегать. Поэтому нам есть чему поучиться по части идеи служения, которая у Юнгера выражена следующим образом: «То качество, которое прежде всех остальных считают присущим немцу, а именно порядок, — всегда

¹⁵⁷ Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. С. 454–455.

¹⁵⁸ Там же. С. 459–460.

¹⁵⁹ Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб.: Наука, 2000. С. 62.

¹⁶⁰ Там же. С. 63.

будут ценить слишком низко, если не смогут усмотреть в нем отражение свободы в зеркале стали. Послушание — это искусство слушать, а порядок — это готовность к слову, готовность к приказу, пронзающему подобно молнии от вершины до самых корней. Все и вся подчинено ленному порядку, и вождь узнается по тому, что он есть первый слуга, первый солдат, первый рабочий. Поэтому как свобода, так и порядок соотносятся не с обществом, а с государством, и образцом всякой организации является организация войска, а не общественный договор. Поэтому состояния предельной силы мы достигаем только тогда, когда перестаем сомневаться в отношении руководства и повиновения. Нужно понимать, что господство и служение — это одно и то же»¹⁶¹.

Служение России – это не служение «общим местам», описанным досужим умом специалистов по сравнительному государствоведению. Национальное служение России – это служение ее своеобразию, ее исторической особенности, ее отличию от других государств. И это – служение русской России, колыбели величайшей культуры, размахнувшейся на тысячелетие. Служение российскому своеобразию следует понимать и как служение нации – именно в нации, а не в государственных институтах русская индивидуальность очевиднее и доступнее. И только правящему сословию может быть доступна тонкая материя национально-государственных отношений и специфика институционального устройства российской власти.

¹⁶¹ Там же. С. 64.

Глава 3. ВЛАСТЬ И СРЕДСТВА ГОСПОДСТВА

Власть: миф и приказ

Обыденное сознание наделяет власть мистическими свойствами и обнаруживает ее всюду, где чудятся непреодолимые препятствия частной воле. В общественных отношениях власть столь же таинственна, сколько и законы природы в природных явлениях – она также создает непреодолимые барьеры человеческой воле, а также возвышает над человеком социальный закон.

Эта особенность обыденного сознания (или, иначе говоря, общественного мнения) сводится к тому, что оно, как пишет Жак Эллюль, «не воспринимает всерьез никакой письменно изложенный факт, пока не начнется кампания, в которую вовлечены ценности (мир, справедливость, человеческие жизни и т.п.), и пока читателя не призовут к суду над фактом; с этого момента он (читатель) заинтригован, начинает реагировать и формировать мнение. В этот момент факт становится политически важным»¹⁶². Факт «должен быть обработан при помощи символов, прежде чем он сможет появиться и быть признанным в общественном мнении. Информация не может, следовательно, включать факт в структуру политической жизни или придать ему характер политического факта. Это под силу только пропаганде. Только пропаганда сумеет ввести факт в контекст общественного мнения; только пропаганда способна заставить блуждающее внимание толпы остановиться и сосредоточиться на каком-то событии; только пропаганда может сообщить нам о прогнозируемых последствиях каких-нибудь предпринятых мер. Только пропаганда в силах заставить общественное мнение объединиться и сориентироваться на какое-то определенное событие, которое затем становится политическим фактом или же одновременно и политической проблемой»¹⁶³.

Таким образом, состояние обыденного сознания не столько положено ему от его естества, сколько предопределено постоянной и интенсивной пропагандистской деятельностью, которая теперь уже не имеет специфически политической формы и представляет собой навязывание определенного культурного стандарта, очерченного рядом стандартных умозаключений. При этом политический факт означает мифологизированное и переведенное на язык морали событие, ставшее предметом пропаганды. В современном мире власть реализуется через формирование и управление такими искусственными политическими фактами.

Как пишет Эллюль, «когда государство использует пропаганду – «насилует» массы и ухищренным способом детерминирует поведение гражданина, оно прибегает к грубому принуждению, но на более широком поприще. Сила, таким образом, не является больше функцией только полиции, она вторгается в душу индивида, желая добыть здесь энтузиазм подвижничества, его благоволящее поведения, его преданность делу. Но это не меняет сущности характера применяемой силы: государство продолжает действовать самостоятельно; и это происходит потому, что пропаганда не подвержена никакой критике и находится вне какого бы то ни было морального контроля»¹⁶⁴. Новизна ситуации последних лет состоит лишь в том, что пропаганда направлена уже не на обеспечение всеислия государства, а против государства, против суверенитета за торжество глобальных ценностей, общечеловеческой иллюзии.

Граждане, как и полвека назад, «по существу ничего не решают, потому что они организованы в строго структурированную массу, легко поддающуюся манипулированию при помощи пропаганды. Массу, права которой сводятся к свободе, чтобы проявлять энтузиазм и с важным видом подтверждать то, что ей уже было

¹⁶² Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003 С. 195.

¹⁶³ Там же. С. 191.

¹⁶⁴ Там же. С. 147.

преподнесено»¹⁶⁵. Но теперь энтузиазм их направлен не к национальным ценностям, а к иллюзиям унифицированного общества потребления, не имеющего суверенных границ.

В ученом мире отношение к власти иное – ее все время пытаются разобрать на составные части и классифицировать по признакам, найти параметры качественного и количественного описания. Распределенность предмета по различным социальным институтам, присутствие его в любых политических процессах, подталкивают к тому, чтобы от проблемы власти постоянно переходить к обсуждению сопутствующих ей частных тем. Как верно отмечал Арнольд Гелен, «власть является “социологически аморфной”, то есть обнаруживается в любых обстоятельствах и ситуациях, и исходит из любых источников и мотивов»¹⁶⁶.

Аморфность власти постоянно подвергается попыткам анализа и выделения типов по признакам ее источников.

Плюралистический подход определяет политику как властное распределение дефицитных ресурсов под давлением заинтересованных групп. То есть, власть представляет собой владение дефицитными ресурсами. При этом государство является лишь конгломератом заинтересованных групп, не имеющим собственной субъектности. То есть, государственная власть – всего лишь совокупность непротиворечивых властных ресурсов составивших его групп (или равнодействующая групповых воль). Правительство только обеспечивает сохранение баланса сил, принимая то или иное решение относительно комбинации интересов и ресурсов¹⁶⁷.

Корпоративистский подход рассматривает государство как воплощение отношений между группами интересов, имеющее самостоятельное значение. Государство предполагает монопольную сферу, где баланс конкурирующих политических групп достигается с учетом неконкурентного слова государственной власти, распределяющего властные «лицензии». Таким образом, власть означает уже не конкурентное владение дефицитными ресурсами, а установленное волевым образом с помощью государства.

Сетевой подход пытается интегрировать оба вышеуказанных варианта, учитывая, что государство при всей его внешней исключительности в распределении власти, оказывается сегментированным, а составляющие его подсистемы могут быть использованы как в борьбе политических групп за дефицитные ресурсы, так и в столкновениях групп внутри самого государства, превращающихся в конкурентные. В общем случае государственное решение является всего лишь одним из дефицитных ресурсов, вокруг которых происходит борьба конкурирующих групп. В нем пытаются видеть политику взаимной ответственности и обязательств и всячески избегать властной ее определенности. Утопизм этого метода состоит в попытке найти альтернативу источнику власти вне рыночных и административных структур. Для этого приходится удалиться как из сферы экономики, так и из сферы государства и найти область применения для самостоятельной общественности, действующей вне всяких отношений иерархии и исключительно на основе свободной кооперации.

Все три подхода составляют идеально-типическую картину: первый предполагает возможность «покупки» власти (рыночная модель), второй – ее административное распределение, третий – обменное неконкурентное и неадминистративное распределение (а значит, и неэквивалентное, поскольку всеобщий эквивалент для сравнения разного вида ресурсов в данном случае отсутствует). В реальности все три типа присутствуют при распределении власти.

Наиболее распространенным исследовательским самообманом является уход в сторону от изучения государственной власти и попытка рассматривать различные властные проявления в отрыве от главного источника, в котором концентрируются все

¹⁶⁵ Там же. С. 286.

¹⁶⁶ Gehlen A. *Soziologie der Macht // Handwoerterbuch der Sozialwissenschaften*. Bd.7. Stuttgart, Tuebingen, Goettingen, 1961, S. 77.

¹⁶⁷ Сморгунов Л.В. Сетевой подход к политике и управлению// Полис, 2001. №3.

потенции власти и откуда проистекают властные решения. Привычным для ухода от существа вопроса является представление о том, что «источником власти является народ». Этим положением вопрос как бы закрывается политическим аргументом. В действительности он остается открытым, но отставленным в сторону.

Если главные характеристики государства в различных интерпретациях сводятся хотя бы к общепонятным территориальным, национальным и управленческим характеристикам, то вопрос о функционировании теоретически описанной или выстроенной как идеал государственной системы зачастую остается вне пределов рассмотрения. Кроме того, не выяснено, почему в той или иной институциональной или ценностной схеме присутствует воля, побуждающая соблюдать заложенные в них принципы. Обычно это свободная воля составивших общество индивидов или воля доминирующей группировки, насильно навязывающей ее обществу в целом.

В определении Макса Вебера говорится о государстве как об отношениях господства/подчинения, опирающихся на легитимное насилие¹⁶⁸. Оно выглядит сегодня тривиальным, поскольку просто отождествляет насильственное господство и государство, оставляя вопрос о том, что есть насилие (помимо просто физического воздействия или его угрозы), и в чем выражается господство? И что является источниками и признаками признания легитимности?

Вебер указывает, что подчинение обуславливается мотивами страха и надежды, вызываемых посулами и угрозами потусторонних или посюсторонних сил. Причем особенностью Запада, считает Вебер, является политический вождизм, посредством которого, надо полагать, и утверждается легитимность насилия. Действительно, там, где впервые развилась многопартийная система, возник парламентаризм и невиданную роль приобрели средства массовой информации, политический демагог становится неотъемлемой частью политического режима и инструментом, с помощью которого этот режим легитимируется.

Указанные дефиниции создают ряд проблем для анализа государства, прежде всего, с точки зрения особенностей политической культуры, которая может существенно отличаться от западной, а значит, иметь своеобразие как в легитимации насилия, так и в его самобытных формах. Российская государственная власть, очевидно, на протяжении всей своей истории использовала не только легитимное насилие, но и такие формы насилия, которые не требовали легитимации. Фигура политического демагога в России значительно менее влиятельна, чем на Западе. И вождизм в России носит скорее не политический, а, если так можно выразиться, «цезарепапистский» характер – политический лидер объединяет в себе лидерские функции национального героя и пророка. Это прямо указывает на соединение потусторонних и посюсторонних признаков власти в политическом мифе, выраженных в российской политической культуре более явно благодаря тому, что в ней миф еще не столь глубоко погребен под спудом имитационных политических наук.

Представление о власти как о политическом авторитете не позволяет выяснить механизмы ее функционирования, предлагая чисто психологический подход. Что же является элементарным актом власти? Разрешить этот вопрос возможно, представив себе власть как динамическую характеристику политической системы, которая оживляет ее, приводит в движение институциональные структуры. Тогда становится ясным, что элементарным актом власти является исполненный приказ, который в свою очередь порождает новый приказ и продолжает цепочку, заканчивающуюся каким-либо физическим актом, не обусловленным иными причинами, кроме приказа.

Эффективностью власти следует считать соответствие совокупности порожденных приказом физических актов его исходному замыслу. Эффективность же политической системы связана с воспроизводством власти, т.е., со способностью направлять приказы

¹⁶⁸ Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные сочинения. М., 1990.

таким образом, чтобы они не только адекватно выполнялись, но и поддерживали легитимность политической системы и государства как источника наиболее важных приказов. И вот тут-то веберовское рассмотрение авторитета власти и веры в ее чудесные свойства со стороны подвластных будет полезно. Властью оказывается приказ, воспринятый как неотвратимая воля внешних сил. Свойство неотвратимости передается вовсе не угрозой насилия, а погруженностью человека в определенный миф, где взвешиваются балансы потерь и приобретений на случай выполнения/невыполнения приказа.

Необходимо отметить несостоятельность критерия эффективности, когда он берется лишь как показатель текущей деятельности бюрократии. Такая эффективность не оптимизирует выживание нации, а порой приходит в противоречие с задачами обеспечения жизнеспособности нации. Бюрократическая эффективность вытесняет смысл и стратегию. Бюрократические средства довлеют над целью, пока последняя не исчезнет и средства не обесмыслятся, т.е., потеряют ориентацию в политическом пространстве и не способны выдвинуть саму концепцию эффективности. Смысл же уберегает нацию не от поражения, а от небытия. Если честь (политический миф) сохранена, то все возможно, даже если кажется, что все уже потеряно.

То, что мы здесь назвали потоками приказов, Толкотт Парсонс предлагал сопоставлять с денежными циркуляциями¹⁶⁹. Продуктивность указанной аналогии становится относительной в связи с попытками ее автора решить вопрос о «количестве» власти через проведение параллелей с функциями денег. Аналогом кредита, как показывает Парсонс, становится политическая поддержка. Иначе говоря, речь идет о делегировании полномочий. Тогда циркуляция власти перестает быть «игрой с нулевой суммой».

Действительно, денежные суррогаты (облигации, векселя, фьючерсные контракты и т.п.) в какой-то мере соответствуют суррогатам власти, а их ликвидность – обратной конвертируемости суррогата в действительную власть легитимного насилия. Пока действует явная или неявная конвенция между «игроками», суррогаты власти обращаются в политической системе, но стоит каким-либо обстоятельствам подорвать доверие, как власть снова концентрируется там, где легитимное насилие закреплено традицией – в государстве.

Государственная власть уникальна тем, что использует наиболее «ликвидный» тип приказа – приказ, подкрепленный не только конвенцией участников политического «рынка», но и возможностью добиться исполнения насилием, вплоть до применения полицейских мер. Поэтому в теории государства нас должен интересовать не весь политический «рынок» и обращение суррогатов власти в нем, а лишь его фрагмент – государственный механизм и циркуляция властных распоряжений, а также проблема воспроизводства способности к генерированию таких распоряжений.

Государство нам интересно как информационно-пропагандистская система, которая использует насилие в основном с целью предостережения субъектам, попадающим в подобные диспозиции (в том числе и регулируемые уголовным правом), но в наибольшей степени занято распространением символов своей воли, напоминающих о неотвратимости приказа, даже если в каких-то частных случаях его нарушение приводит к приобретению выгоды. В тех секторах жизни общества, где государству не удастся доказать неотвратимость своей воли, возникает произвол и замещение этики государственного подчинения другими типами этики, например регламентацией жизни по уголовным «понятиям».

Важно учитывать социальные причины существования феномена власти, которые предопределяют общую «сумму власти». Гелен указывает, что «институты власти выполняют функцию обеспечения необходимой энергии и ответственности у

¹⁶⁹ Парсонс Т. О понятии «политическая власть»// Антология мировой политической мысли в 4 т. М., 1997. т. 2. С. 479.

господствующих и подданных, задают необходимую степень готовности к действию. Тем самым они противостоят естественному стремлению системы к энтропии, падению напряжения». С другой стороны, «люди взаимно разгружают друг друга от определенных работ (разделение труда). Благодаря этому они в разных отношениях зависят друг от друга при удовлетворении своих потребностей, что может непосредственно перейти во властные отношения, т.к. потребности различаются своей настоятельностью»¹⁷⁰. Иными словами, власть призвана концентрировать социальную энергетику в одних случаях и перераспределять нагрузку в других. Циркуляция напряжений/расслаблений аналогична притоку крови к мышцам, двигающим организм (или управлению финансовыми потоками, стимулирующим производство, как у Парсонса).

Этот органический подход к власти пригоден только для стабильных обществ, где не происходит бурного развития и образования новых видов труда и государство не отстранено (или само не отстраняется) от естественных обязанностей управления социальными энергиями (их концентрацией и направлением). Даже если это касается местного самоуправления, его существование невозможно без государственной воли, в чем мы можем в достаточной степени убедиться на примере современной России.

Таким образом, для теоретического анализа политической власти необходимо установить, насколько отлажен государственный организм для циркуляции в нем социальных энергий, управляем ли волей политически доминирующих группировок, насколько ценностный выбор этих группировок соответствует политической культуре нации, наконец, насколько сформирован национальный политический миф и легитимирует ли он государственное насилие.

Весь массив представлений о власти можно схематически разделить на психологический и структуралистский.

Первый тип представлений преимущественно занят осмыслением самого явления повеления/подчинения, исходя из природы человека, коллективной и массовой психологии. Здесь практические следствия отодвинуты на второй план, но не устранены и могут содержать в себе богатый набор «рекомендаций» по манипулированию общественным мнением, политическим технологиям и т.д. В этой связи можно говорить о подспудно присутствующей стратегии «непрямых действий» (Лиддел-Гарт) в захвате и удержании власти, а также об общих причинах существования властных отношений и факторах, способствующих их обустройству или расстройству.

Второй тип представлений исходит из задач управления и предполагает возможную оптимизацию структуры политической системы с целью ее эффективного развития, в той или иной степени контролируемого государством. В данном случае речь можно вести, скорее о прямых методах манипулирования обществом через правовые нормы и управленческие решения, закрепляемые в институтах.

Оба типа являются аспектами единого представления о государственной власти – о ее легитимации, реализации (организация, функционирование) и циркуляции. Институализация не снимает психологической составляющей власти: «каждое институционализированное господство как раз вследствие определенности и законности своих компетенций имеет возможность создавать ситуации, в которых оно снова может трансформироваться в аморфную власть. Это есть исходящее из легального господства, полностью правовое и тем не менее непредсказуемое, и потому аморфное «обладание властью», которое бывает возможным просто потому, что важная часть его компетенции не получает употребления, что и определяет ситуацию. Управлять развитием ситуации можно и посредством решений о приоритетах действий — не существует какой-либо казуистики этих бесконечно разнообразных явлений»¹⁷¹.

Тогда вполне удачным для определения государственной власти можно считать высказывание Парсонса: власть «является реализацией обобщенной способности,

¹⁷⁰ Gehlen A. Ibid.

¹⁷¹ Gehlen A. Ibid.

состоящей в том, чтобы добиваться от членов коллектива выполнения их обязательств, легитимированных значимостью последних для целей коллектива, и допускающей возможность принуждения строптивых посредством применения к ним негативных санкций, кем бы ни являлись действующие лица этой операции»¹⁷². Под коллективом здесь следует понимать всех граждан государства, а также лиц, находящихся на его территории и подпадающих под действие его правового поля. Возможность насилия связывается с соответствующими институтами, а психологические основания с «обобщенной способностью».

Парсонс подчеркивает важность именно «обобщенной способности», т.е. готовности систематично применять определенные и легитимированные общественным мнением санкции при одинаковых диспозициях. С другой стороны, и воспроизводство власти также должно быть систематическим, что означает символический характер власти, выраженный в том, что легитимация аналогична доверию и не сулит «источнику власти» никаких материальных выгод, помимо систематичности (непроизвольности, а значит, предсказуемости) применения санкций.

Вместе с тем парсоновская аналогия власти и денег заходит в тупик, как только объявляется о связи политической сферы и экономики, состоящей в постоянном обмене политической эффективности на экономический результат. Если понимать это как возможность конвертации политической власти в экономическую мощь, то циркуляция власти не может быть «игрой с возрастающей суммой» (через использование суррогатов, позволяющих считать один и тот же приказ властным ресурсом разных политических субъектов), поскольку в этом случае параллельно должен возникать также экономический рост, следующий за ростом общего «количества» власти. Но предположить такую связь практически невозможно. Поэтому увеличение власти, аналогичное увеличению денежных суррогатов в системе кредита, следует считать ложным, а суррогатные формы власти лишь элементом политической игры, технологии власти, связанной с эффективностью ее делегирования. Скорее, здесь применима аналогия с диверсификацией инвестиционного портфеля – власть «инвестируется» с целью ее наиболее эффективного использования (максимального соответствия физических действий замыслу исходного приказа). Что же касается взаимной конвертации власти и собственности, то суррогатные формы служат здесь своеобразным товаром для коррупционеров и преследуются государством.

Полагая циркуляцию государственной власти аналогом «игры с неувеличивающейся суммой», мы могли бы уподобить власть топливу в трубопроводной системе, где структурная модель говорит о направленности потоков и развитости инфраструктуры, источниках, потребителях, а также о безвозвратных утратах. Как система труб и клапанов, система государства есть структура, а наполнение этих труб – топливо, питающее властные институты. В идеальном случае данная конструкция предусматривает замкнутый цикл потребления/воспроизводства и «игру с неизменной суммой».

Говоря о власти, как о подобии энергетического сырья в сети трубопроводов, мы не должны забывать, что это «топливо» должно характеризоваться неким набором ценных характеристик, некоей «энергетической ценностью». (Ведь власть реализуется не только в подкреплении приказов возможными санкциями, но и в содержании этих приказов). В этой связи мы можем использовать тот же подход к проблеме, который применялся в предыдущей главе – очертить некоторый набор характеристик государственной власти.

Прежде всего, к таковым следует отнести духовно-нравственную продуктивность властных установлений – символическую ценность, неизменную в течение длительных исторических периодов. Власть, реализованная вопреки духовной традиции и нравственных норм, проворачивает механизмы государства вхолостую. Элементарная

¹⁷² Парсонс Т. Цит.пр.

нравственная норма верности введенному правилу или норме становится для власти своеобразным тестом – готова ли она сама признавать то, к чему обязывает граждан, может ли она претендовать на связанные с ней надежды и тем самым легитимироваться на длительный срок? Владеет ли властвующий тем языком, на котором он пытается объясниться с обществом или сообщить инструкции подвластным? Иными словами, насколько государственная власть является источником политического мифа и она сама воспринимает этот миф как действительность своей реализации?

Каждая новая норма (декларация о системном применении санкции), введенная властью, делает возможными новые социальные отношения. Даже если они в реальности не возникают (например, не будучи защищенными ослабленной судебной системой), то определяют наличие некоторых новых ответвлений в «трубопроводной системе», куда «энергетическое сырье» может внезапно хлынуть, если внедрить в жизнь определенную правовую новацию. Это означает тесную связь властных приказов, исходящих от государства, с политической системой в целом, что важно для эффективности власти.

Территориальные характеристики власти, как бы не были они архаичны, играют значительную роль. Именно в силу архаичности они увеличивают свой удельный вес в ослабленном государстве. И это хорошо видно на примере современной России, где административные территории отданы на кормление чиновникам, и их политический потенциал зависит «контроля» территории – способности препятствовать деятельности одних политических и экономических субъектов и благоприятствовать другим. Не случайно главы администрации территориальных образований стремятся подмять под себя именно те структуры гражданского общества, которые перешагивают административные границы, консолидируя нацию – средства массовой информации, финансовые институты, энергетику, торговлю и даже местные отделения политических партий. Задачи укрепления локальной власти таким путем входят в противоречие с идеальными целями центральной власти, образуя вместо «вертикали власти» конфедерацию чиновников, корпорацию сепаратистов, успешно противостоящих центральному правительству.

Отношение к структурной композиции власти, к ее парадигме во многом предопределяет соответствие власти критерию эффективности. Механическая модель властных отношений, пригодная для простых обществ или для мобилизационных ситуаций, оказывается бессильной в условиях «сложного хаоса» структурных перестроек. Попытка пронизать властной инфраструктурой все общество и регламентировать все отношения, существующие в нем, исходят из надменного отношения к социальной «природе», которую бюрократическая машина намерена покорить. При этом всеобщий авторитарный порядок может выражаться как в предельном опрошении общества (например, в идеальном государстве Платона), так и в современных моделях «всевидящего ока» тоталитаризма и демократического «правового государства», каждая из которых по-своему исходит из картины социального мира, воображаемого в рамках лапласовского детерминизма¹⁷³.

Здесь «трубопроводная» аналогия для системы властных институтов должна закончиться, поскольку социальная вселенная приобрела неустранимые стохастические параметры. Сообразно этим параметрам, народ действительно становится источником власти, хотя и не единственным и не выражающим свою волю напрямую. Характеристики исходящей от народа власти (легитимации) серьезно отличаются от рационально выверяемых инициатив государственных институтов. Прежде всего, своей духовно-нравственной стохастичностью, которая может быть учтена, но не поддается планированию и манипулированию.

В этой связи реализация власти становится рискованной деятельностью с неясными априори и отложенными последствиями. Любая выстроенная концепция власти

¹⁷³ Обсуждение этого вопроса см. в книге *Панарин А.С. Политическая философия*. М.: Высшая школа, 1996. С. 19–22.

оказывается неэффективной в результате вмешательства закономерностей, которые лежат вне плоскости управленческих или правовых решений. И только в идеальной конструкции нации-государства, где аппарат управления становится национальным, принимая в качестве своих ключевых свойств некое чувство нации и духа времени, возможно творческое реагирование на сложные процессы современности.

Таким образом, в концепции власти на первый план выступает задача сохранения и воспроизводства нации, а не государства, которое превращается лишь в средство. Воспроизводство нации через воспроизводство власти с определенным набором динамичных характеристик – проблема, стоящая перед властными институтами. Власть становится не ответом на хаос и неопределенность, а способом придать хаосу продуктивный, творческий характер и породить новый национальный миф, скрепляющий нацию и восстанавливающий общественно-государственное единство.

Фундаментальный феномен

На протяжении веков множество мыслителей говорили о власти как о неотъемлемом признаке общества, которое без власти и повиновения было бы невозможным.

В Средние века в Европе наблюдается двойкий подход к теории господства. Критический подход усматривал в идее господства некое противоречие идее блага, поскольку господство в этот период носило сословно-наследственный характер, критикуемый в рамках естественно-правовой доктрины. Отчасти этот подход был обусловлен тем, что церковная иерархия в конкуренции с аристократией использовала религиозный мотив равенства, чтобы поставить под сомнение абсолютность сословной системы господства. Но в условиях Реформации господство стало рассматриваться как расплата за грехи, бич Божий, способ обуздания греховной человеческой природы (Лютер). Покорность властям становилась элементом добродетели.

Лютер прямо отождествляет политическую власть с насилием: «И власть, и меч учреждены не для чего иного, как для того, чтобы наказывать злых, защищать благочестивых и предотвращать мятеж. Об этом говорят св. Павел и св. Петр». Власть светская становится проводником божественной воли, угрозы злым людям в защиты от них. В соответствии с евангельским учением властитель является Божиим слугой – добрым к благочестивым и мстительным к творящим зло (Рим. 13, 4).

В учении Лютера о «двух Царствах» (трактат «О светской власти. В какой мере ей следует подчиняться») он утверждает, что в Царстве истинных христиан не нужно никакой власти, а вот для светского Царства нехристиан меч власти и учрежден Богом, ибо им сдерживаются враги Христа. В связи с таким делением Лютер не признает иерархию Церкви и противопоставляет светскую власть меча духовной власти – «служению проповедничества».

Лютеровское негативное толкование власти находится в прямом противоречии с толкованием Иоанна Златоуста, для которого власть означала благоустройство, а политическая власть вырастала из других видов власти – власти «между мужем и женою, между сыном и отцом, между старцем и юношею, рабом и свободным, между начальником и подчиненным, между учителем и учеником». При всей фундаментальности феномена политической власти у Лютера она составляет особую богоугодную форму возвышения одних людей над другими, но лишенную признаков, объединяющих политическую власть с иными ее формами. Для нее оказывается единственное оправдание – связь с божественным.

Как отмечает Д.Л.Сапрыкин, «Лютерово отрицание положительного смысла власти имеет и другую сторону: удивительное умаление идеи милости, которая почти полностью вытесняется идеей суда. Сам Лютер беспрестанно вспоминает о милости Божией, но странным образом эта "милость" заключается прежде всего в том, что Бог наконец-то

перестал сдерживать свой гнев и обрушил его на антихриста-папу и на безбожных правителей. Суд заменил милость»¹⁷⁴.

Расхождение между протестантской отрицательной (карающей) и православной положительной (милующей) оценками природы власти проявляется в новеллах императора Юстиниана, толкующих о симфонии властей – и царство, и священство есть «украшение человеческого рода». Наиболее ярко это расхождение проявляется в православном видении любой власти, как власти от Бога¹⁷⁵. Божественность ее – в милости к подвластным. Не отмщение характеризует власть как фундаментальный феномен, а милосердие. Такое понимание ближе русскому православному духу, русской традиции. И выражено оно в сердоболости по отношению к наказанному и униженному преступнику, но вовсе не к творящему произвол разбойнику, для которого было имя «душегуб».

В русской традиции отношение к феномену власти как к предопределяющему всю жизнь человека глубоко укоренилось. Митрополит Московский Филарет (Дроздов) писал: «Что повиноваться должно, надо ли сие доказывать? Где есть общество человеческое, там необходимо есть власть, соединяющая людей в состав общества: ибо без власти можно вообразить только неустроенное множество людей, а не общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством повиновения. Следственно повиновение необходимо связано с существованием общества...»¹⁷⁶.

Идея божественной власти не освещает ее структурных особенностей, психологических истоков и вообще не может быть использована в политических теориях. Если умиротворение конфликта светских и духовных властей в концепции симфонии и вскрывает сущность власти от Бога, то для земных дел эта концепция оказывается платоновской идеей, не имеющей реализации и только лишь вскрывшей подспудную сущность власти, не позволяя ей проявиться в чистом виде. Утверждение божественности власти останавливает процесс изучения феномена власти. Поэтому требуется отвлечение от этой фундаментальности и попытка рассмотреть явление власти в различных иерархических или конфликтных системах.

Наиболее грубым и простым вариантом изучения власти, на которое не рисковали идти мыслители древности, стало учение Николо Макиавелли, с которого можно отсчитывать инструментальное использование теории господства. Макиавелли создал инструкцию для Государя, поставив фундаментальный феномен власти на службу властителю. Этот опыт в свое время пришелся ко двору тоталитарных режимов и воплотился в идее вождизма – в какой-то момент политическая ситуация подсказывала, что грубые методы использования власти могут давать далеко идущие последствия.

Макиавелли писал, что властитель должен быть готов к тому, чтобы заставить народ поверить силой, когда вера в нем иссякает. Хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска. Но способность ответить ударом на удар не должна означать постоянного применения силы, ибо это есть расходование власти. Если же пришло время проявить жестокость, то она должна быть применена в отношении ничтожного меньшинства, обращена на большинство подданных, а властитель не должен упорствовать в ней. Все эти принципы стали азбукой, фундаментом политики господства. Но они, очевидно, ничтожны, когда речь идет о политической конкуренции и борьбе за власть.

Отстраненный подход Макиавелли, который видел только Государя, а подданных рассматривал как предмет манипуляции, рано или поздно должен был быть дополнен видением подданства как стремления к подчинению, свойственному массам. Юм писал: «Ничто не представляется более удивительным тем, кто рассматривает человеческие дела философски, чем та легкость, с которой меньшинство управляет большинством, и то

¹⁷⁴ Сапрыкин Д.Л. Меч и крест//Философская газета, 2001, №5.

¹⁷⁵ Златоуст Иоанн Избранные творения. Беседы на послание к Римлянам. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1994. С.779.

¹⁷⁶ Митрополит Филарет (Дроздов). О Государстве. Тверь, 1992. С.8.

безоговорочное смирение, с которым люди отказываются от собственных мнений и аффектов в пользу мнений и аффектов своих правителей. Если мы будем исследовать, при помощи каких средств достигается это чудо, то обнаружим, что как сила всегда на стороне управляемых, то правители в качестве своей опоры не имеют ничего, кроме мнения. Поэтому правление основывается только на мнении; и это правило распространяется как на самые деспотические и диктаторские правления, так и на самые свободные и демократические»¹⁷⁷.

Тайна служения власти без обращения к религиозным мотивам оказывается непроницаемой. В то же время включение подвластных в анализ феномена власти открывает иной путь – путь изучения власти как совокупности мнений. Коль скоро дело лишь во мнении, то возникает соблазн отказаться от мнения и заменить это мнение другим. И эпоха Просвещения утверждает негативистский подход к власти, отождествляя господство с насилием и только мнения – с достойной человека договорной властью. Человек, – говорили просветители, – от природы свободен и не должен иметь господина над собой. Господство, монархия критиковались как явления, противные природе человека. Соответствующий анализ проблемы господства предпринимался теоретиками общественного договора (Гоббс, Локк, Руссо).

Отчасти негативистский подход к господству был связан с исторически преходящей сословной формой, входящей в противоречие с усложняющейся социальной системой обществ Нового времени. Государство, пользуясь определением Гегеля, должно было обрести внутренний суверенитет, который отвечал бы не только задачам контроля над обществом, но и организации промышленного хозяйства. Господство таким образом соединилось с политической властью, а политическая власть была немыслима без опоры на мнение общества. Из этого могла следовать либо теория нации и национального единства, либо теория общественного договора и расчленения власти во множестве частных мнений.

Исходя из открытия ответно-встречных отношений господство/подчинение, Вебер построил теорию взаимного влияния властвующих и подвластных, которая должна была восстановить целостность феномена власти без утраты понимания ее разнообразных аспектов (управленческих, психологических, оценочных и пр.). Социология господства Вебера опирается на концепцию харизматического лидера. Вебер исследовал легитимное господство, в котором власть распадается на взаимное ожидание властителей и подчиненных. При этом существуют три типа господства и мотивов уступчивости – традиционный (по типу семьи), харизматический (на основе лидерских качеств) и легальный (правовой тип, уступчивость целерационального типа и признание необходимости бюрократической машины).

Вебер был первым европейским социологом, который осознал фундаментальность феномена власти и вторичность по отношению к ней государственно-правовых институтов. Он отказался от сугубо юридического представления о власти, от неоправданного отождествления ее с совокупностью государственно-правовых институтов и аппаратов управления, но сохранил в понимании власти мнение. Именно мнение легитимирует властителя, снимая с него обязанность разрешать все проблемы отношений с подвластными с помощью силы.

Вебер, подобно Макиавелли, отождествил власть с господством, а государство и право – с определенным типом господства. Государство, по каноническому выражению Вебера, стало определяться как институт, обладающий легитимной монополией на применение средств физического насилия на данной территории. Государство и право, согласно Веберу, – лишь один из типов господства в истории цивилизации. Соответственно и политика не может быть понята только из рассмотрения власти

¹⁷⁷ Юм Д. О первоначальных принципах правления// Юм Д. Сочинения в 2 т.: Т. 2. - М.: Мысль, 1996. С. 503–504.

государства и его правовых установлений. Мнение не устанавливается насилием или правом.

В дальнейшем разработки Вебера легли в основу теории ролей и теории систем (Парсонс, Мертон, Истон и др.), а также теории властвующей элиты (Ч.Р.Миллс). Производной теории господства становится теория зависимости, которая находит свое отражение также в анализе политических отношений. И здесь мы сталкиваемся с особенностью развития науки, которая вновь и вновь расчленяет предмет исследования, чтобы затем собрать различные аспекты воедино – в том или ином мифе власти.

Таким «собирателем» был Ницше, предпочитавший мыслить метафорами. Это дало новый импульс в понимании феномена власти как некоей «полевой» теории. Он рассматривал власть как «волю к власти», как неопределимый онтологический принцип, противостоящий «воле к небытию». Власть всегда стремится к еще большей власти. Социальная вселенная Ницше пульсирует «квантами власти», разрушая отношения причинности. Вместо побуждений от власти к подвластным, Ницше предлагает смену картины мира во властном акте без причин и следствий: «Речь идет о борьбе двух неравных по силе элементов; получается новый распорядок сил в зависимости от меры сил каждого из элементов. Второе состояние есть нечто, в корне отличное от первого (а не его действие). Существенно при этом то, что находящиеся в борьбе факторы выходят из нее с другими объемами власти»¹⁷⁸. Ницше видит аналоги власти в механике сталкивающихся и взаимодействующих атомов, в биологии – слабое влечется под прикрытие сильного, сила стремится избавиться от слабости, чтобы не погибнуть самой. Стремление к единению – свидетельство слабости, стремление к внутренней дифференциации, разъединению – свидетельство силы. Воля к власти проявляется во всякой комбинации сил, она ищет сопротивления для покорения и усвоения, преодоления и преобразования.

Ницше усматривает в воле к власти фундаментальный феномен всего живого и неживого, не выделяя для политической власти никакой специфики. Все это позволяет ему пользоваться широкими возможностями метафорического описания политической власти как завоевания и покорения, представляя ее фундаментальным законом человеческого бытия, продолжающего природные закономерности. Вместе с тем Ницше не создал национального мифа власти, сформировав лишь заготовки, которые могут использоваться другими мыслителями по своему усмотрению.

В развитии европейской и американской социологии и политологии возникло противостояние двух подходов в объяснении феномена власти. Один из них представлен в институциональной школе (С.Липсет, Д.Ландберг, Р.Дарендорф, Р.Бендикс), которая настаивает на том, что социальная жизнь организована сложной сетью общественных норм и институтов, обладающих собственным существованием, независимым от поведения людей; второй – в поведенческом (бихейвиоральном, социально-психологическом) направлении в политологии, социально-философских концепциях Э.Канетти, М.Фуко, Р.Барта. Первая из этих школ лишь по виду рациональна, поскольку вытесняет априорные суждения в элементарные нормы и институты, которыми манипулирует. Этот метод, полезный в специальных случаях, становится препятствием для общей теории власти, для осознания фундаментальности феномена власти относительно любых политических институтов. Вторая – явно или неявно мифологична, она пытается вновь собрать предмет исследования воедино.

Мишель Фуко подчеркивал, что власть не тождественна институтам государства и складывающейся системе господства одной части общества над другой. Он характеризовал власть как множественность отношений силы, имманентных той области, в которой они осуществляются, как подвижный цоколь силовых отношений, которые в силу своего неравенства постоянно индуцируют состояние власти. Из этого вытекает иной

¹⁷⁸ Ницше Ф. Воля к власти, М., 1994. С. 295.

взгляд на государство, которое «при всем универсальном значении его аппаратов, далеко от того, чтобы заполнить собой всю область актуальных отношений власти»¹⁷⁹. И далее: «государство может действовать лишь на основе других, уже существующих отношений власти. Государство надстроечно по отношению к целой серии властных отношений, которые инвестируют тело, сексуальность, семью, родство, познание, технологии и т.д.»¹⁸⁰.

Попытка семантических заимствований, широко использованная Ницше, породила в XX в. «полевые модели» власти как некоего динамического поля сил, составляющего фундамент социальных институтов. Бертран Рассел писал: «Подобно энергии, власть существует во множестве форм, таких как богатство, военная сила, гражданская власть, влияние или общественное мнение. Ни одна из них не может рассматриваться как подчиненная другим или, наоборот, как источник, из которого проистекали бы все остальные. Любая попытка рассматривать отдельно одну из форм власти — например, богатство — может закончиться лишь частичным успехом, подобно тому, как исследование одной отдельно взятой формы энергии за некоторым порогом окажется недостаточным, если не учитывать другие ее формы. Богатство может проистекать из военной силы или же из влияния на общественное мнение, а они, в свою очередь, могут вытекать из богатства»¹⁸¹. Он также намечает и программу науки о взаимопревращениях разных форм социальной энергии: «Следует считать, что власть, подобно энергии, непрерывно переходит из одной формы в другую, и целью науки об обществе должны быть поиски законов этих превращений»¹⁸².

Бертран Рассел, подчеркивая фундаментальную значимость понятия власти, непосредственно обращается к аналогии с понятием энергии: «Фундаментальным понятием в общественных науках является власть, в том же смысле, в каком энергия является фундаментальным понятием физики... Власть, подобно энергии, следует рассматривать как постоянный переход из любой одной формы в другую, и делом общественных наук должен стать поиск законов таких преобразований»¹⁸³.

«Полевая» теория, использующаяся для простейших (или наиболее общих) случаев анализа властных отношений, в более сложных ситуациях представляется совершенно не пригодной. Концепции Бертрانا Рассела противостоит такое резонное рассуждение Н.Лумана: «На уровне общественных подсистем экономики и политики существуют важные нормативные барьеры, препятствующие прямой конвертации денег и власти. Политическое влияние не должно зависеть от богатства лица и в современном обществе зависит от этого меньше, чем на любой из его предшествующих стадий развития. Богатство теперь несколько не увеличивает шансы определять содержание законов. В свою очередь, политическая власть в силу конституционных предписаний не может беспрепятственно отчуждать собственность, непосредственно обогащаться или превращаться для власти имущих в источник доходов. Но при наличии всех этих барьеров власть все-таки может использовать коммуникативное средство экономики, придающее системам организаций определенную привлекательность либо посредством правового оформления земельной и вещной собственности просто создающее элементарные условия и возможность организованного труда»¹⁸⁴.

Можно сказать, что полевые теории просто эксплуатируют описательные аналогии, не продвигаясь в понимании власти. Вопрос о конвертации одних типов власти в другие «зависает», как только применяется к конкретным ситуациям. Одни субъекты

¹⁷⁹ Foucault M. Power-knowledge. Brighton. 1980. P. 122.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Russel B. Power, A New Social Analysis. — Londres: George Allen and Unwin Ltd, 1938. P. 12–13.

¹⁸² Ibid. P. 13–14.

¹⁸³ Russel B. Power. London. 1985. P. 10.

¹⁸⁴ Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С. 158.

оказываются способными на такую конвертацию, другие – нет, одни производят такую конвертацию легитимно, другие – криминально и т.д.

Современные последователи теоретиков общественного договора пытаются разрешить проблему господства через его отделение от самого понятия политического. Раймонд Арон пишет: «Различие между властью и господством заключается в том, что в первом случае приказ не есть законная необходимость, а подчинение не обязательно долг, тогда как во втором случае подчинение основано на признании приказов теми, кто им подчиняется»¹⁸⁵. Поддерживая этот тезис, российский исследователь А.И.Щербинин говорит: «Таким образом, для господства, а следовательно и "государства", конфликт является свидетельством надлома и признаком разрушения отношений господство/подчинение. Для политики же, как известно, и конфликт, и процесс его урегулирования суть жизненная среда, без которой не было бы необходимости ни в политических лидерах, ни в их программах, являющихся основанием для отношений сделки и консенсуса»¹⁸⁶.

Об искаженности такого рода представлений, усекающих понимание политического подменой сущего должным, говорит хотя бы тезис Джона Локка: власть – это право издавать законы, неисполнение которых карается смертью и другими наказаниями. В применении к современности мы должны сделать упор не на карательную сущность законов, а на право придавать законам такой характер. Кто не обладает таким правом – не имеет власти, а кто обладает – не обязан издавать исключительно карательные законы. Современная власть вовсе не обязана господствовать, насаждая подчинение, как долг, достаточно и того, что власть предлагает подвластным исчерпывающий набор альтернатив. Подвластный выбирает, но не устанавливает альтернативы. В этом и состоит его отношение к власти. Не посягая на государственную власть, подвластный сам может участвовать в политическом конфликте по выбирая из установленных альтернатив. Это и есть легальная политика без каких-либо признаков кризиса политической системы.

Рефлексия по поводу власти требует оценки ее значимости для отдельного индивида и социального организма. Насколько далеко может заходить власть в ее ущемлении автономии индивида, насколько обоснованы претензии индивида на ограничение приоритета государства? Ответы на эти вопросы может дать только разработка представлений о правильном балансе между автономией и авторитетом, о распределении политической власти¹⁸⁷.

«Правильность» и «неправильность» – оценочные суждения, которые хороши как исходный момент при рассмотрении конкретной системы властных отношений. В целом речь должна идти о выяснении насущного распределения политической власти в политической системе общества, а затем о сравнении с неким образцом, эталонность которого может быть объяснена лишь идеологическими мотивами. Последнее дает новый импульс в осмыслении власти при необходимости преодоления излишней отвлеченности концепции власти. Напротив, целостная концепция власти, исходящая из «природы» человека, востребуется в период, когда один из аспектов власти, одна из ее идеальных моделей приобретает самодовлеющее значение. Не упустить одновременного видения целого и части, как и в ситуации с государством, помогает принцип многоаспектности феномена власти и взаимодополнительности различных способов его осмысления.

Как фундаментальный феномен, власть не может оцениваться в координатах истина/ложь, добро/зло. Лишь прикладные аспекты выявляют роль власти и властителей в скреплении общества, либо в его разрушении. Соответственно только в прикладном аспекте могут анализироваться технологии власти. Это означает, что мы неизбежно должны прийти к анализу национальных моделей власти, в рамках которых не могут быть

¹⁸⁵ Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С.550.

¹⁸⁶ Щербинин А.И. Государь и гражданин// Полис, 1997, №2. С.159–171.

¹⁸⁷ Алексеева Т.А. Справедливость как политическая концепция. Москва: МОНФ, 2001.

признаны абсолютными никакие общезначимые выводы. В то же время для данной нации иные национальные модели власти могут быть полезны и поучительны.

Теория господства

Стержень бытия государства Аристотель определял как «власть, в силу которой человек властвует над людьми себе подобными и свободными» (1277в). Согласно Томасу Гоббсу элементарный интерес субъекта к безопасности своего существования выступает причиной интереса к существованию государственной власти. Гоббс признавал право на восстание в случае очевидного безвластия правительства, т.е. его неспособности обеспечить защиту подданных. Но где заканчивается власть государства, в какой момент человек перестает соединять себя с такими же свободными людьми? Когда эти свободные люди отказываются видеть в государстве защитника? Положение о свободе подвластных становится камнем преткновения в современной теории государства, постоянно сталкивающейся с несоответствием полисного идеала и линии Аристотеля реалиям исторических государств. Большинство из них в рамках высказанного принципа свободы и «подобности» людей нельзя считать государствами в аристотелевском смысле.

В связи с этим затруднением, политологи часто спорят по поводу источников покорности подвластных¹⁸⁸. Между тем, в русской философии этот вопрос решен введением понятия о «свободной лояльности» (И.А.Ильин). Привить лояльность методами внешнего регулирования можно только в условиях жесточайшей тирании или манипуляции общественным сознанием (что и делается в современных условиях). Обеспечение свободной лояльности (осознанным и свободным вступлением в подчиненный статус) вообще внеинституционально и связано в большей мере с религиозно-нравственными основами государственности.

Арнольд Гелен пишет, что господством «может считаться лишь институционализированная, длительная власть в сфере приказов, например, в смысле понятия “канализированной власти” Карла Мангейма. Систематическое осуществление господства, не обусловленное чрезвычайным положением, обладающее “монополией легитимного принуждения” (Макс Вебер) и способное создавать внешние связи, могло бы считаться атрибутивным признаком государства»¹⁸⁹.

Таким образом, свободная лояльность и господство истекают из двух разных источников и лишь их единство может позволять вести речь об «органическом государстве», где власть осуществляется «себе подобными» и исходит из задач обеспечения их безопасности.

Государство, по сути дела, означает наличие такого механизма, который превращает большинство населения в подвластных (с их согласия или без него) с тем, чтобы выстроить определенную иерархию социальной мобильности и материальной обеспеченности. Попытка поставить такую иерархию под сомнение сразу дает о себе знать в виде кризисов государственного управления. Революция или переворот ломает прежние социальные статусы и учреждает их снова, быть может не меняя системы социальной стратификации, а только персональный состав страт, по-разному относящихся к материальным и властным ресурсам.

Безусловно, социальная асимметрия (иерархия), делающая господство и государственное управление возможным, имеет свои исторические корни. Они постоянно обсуждаются политическими аналитиками и приводятся в качестве аргументов в пользу той или иной стратегии государственного развития. Вместе с тем за историческими фактами, имеющими бесспорное значение, подчас теряется видимость всеобщей черты государственных систем – неизбывности господства как такового (тоталитарного или демократически организованного – не важно). При этом господство может быть понято

¹⁸⁸ *Массинг О.* Господство// Полис, 1996. № 6.

¹⁸⁹ *Gehlen A.* Soziologie der Macht // Handwoerterbuch der Sozialwissenschaften. Bd.7. Stuttgart, Tuebingen, Goettingen, 1961, S. 77–81.

как социальный антагонизм, а может интерпретироваться как неизбежное условие для функционирования сложной системы управления (достаточно сравнить теорию государства Маркса и теорию государства Вебера). Представление об «инфантильности» государственной иерархии, призыв выйти из этого состояния могут быть связаны только с утопическим «прогнозированием» будущего без отношений господство/подчинение.

В книге Макса Вебера «Хозяйство и общество» в главе «Типы господства» даются ставшие почти общепринятые определения¹⁹⁰. Господством Вебер называет возможность встречать повиновение определенных групп людей специфическим (или всем) приказам. При этом господство аналогично «авторитету» и столь же разнообразно в мотивах его признания, ведущих к повиновению. Каждое фактическое отношение господства характеризуется определенным минимумом желания подчиняться, а именно: внешними или внутренними интересами повиновения.

Исходя из теории Вебера, можно заключить, что только внутренние интересы (или, точнее говоря, мотивы) создают легитимное господство, т.е. господство, не нуждающееся в постоянном фискальном присутствии государства и в непрерывном использовании средств насилия и устрашения. Воспитанию этих «внутренних интересов» (или веры) есть также цель господства. Поэтому Вебер предлагает различать виды господства по типичной для них претензии на легитимность.

Вебер выделяет чистые типы легитимного господства, которые можно представить в следующей интерпретации:

Характер господства	Основание	Субъект господства
Рациональное (легальное)	Вера в легальность установленного порядка и законность осуществления господства на основе этой легальности (вера в правопорядок)	Формальная законность и безличный порядок, представляющие их официальные лица
Традиционное	Обыденная вера в святость традиций, вера в легитимность авторитета, основанного на этих традициях (вера в традицию)	Традиции и привычки почитания господина
Харизматическое	Вера в незаурядные проявления святости, геройской силы или образцовость определенной личности (вера в харизму)	Порядок, учрежденный харизматическим вождем, созданный его откровением, доблестью или образцовостью

Легальное господство с точки зрения государственной власти является просто управлением, одна из задач которого – формирование соответствующей веры, «легитимации» действующего политического режима, внушение лояльности. Мы рассмотрим этот тип власти в специальном разделе, а пока коснемся веберовской теории традиции и харизмы применительно к формированию отношений господства/подчинения.

Вебер выделяет в традиционном господстве мотив святости традиции, согласно которому власть и право повелевать принадлежит отдельному лицу или группе лиц. При этом не должностное положение украшает персону символами господства, не должностная святость, а сам господствующий со всеми его личностными особенностями. Тут противоречия торжественному «Король умер, да здравствует король!», ибо святость переносится на новые личностные черты не в силу замещения «должности»

¹⁹⁰ Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehende Soziologie.- 5., rev. Aufl.- Tubingen: Mohr, 1980. - Kap. III. Die Typen der Herrschaft.- S.122–176 и перевод Р. П. Шпаковой (§ 4), опубликованный в журнале «Социологические исследования», 1988. № 5.

господствующего, а в силу традиции. Именно поэтому монарх или любой правитель традиционного типа – не чиновник.

Важным качеством традиционного господства является выстраивание всей властной пирамиды не из «начальников-чиновников», а из «слуг-товарищей» с подданными или «братией» («традиционными товарищами») в основании пирамиды. Вся эта пирамида пронизывается не служебным долгом, а преданностью – подчинением личности. При этом господин вправе действовать как в рамках традиции, так и вне традиции, которая допускает для господина определенный произвол. Вебер отмечает возможное сопротивление против личности господина (или слуги), не уважающего традиционные границы власти, которое при этом действует не против традиционной системы как таковой («традиционалистическая революция»).

Современное государство при всем его рационализме и декларациях долга госслужащего и гражданина не может избежать вскрытых Вебером механизмов формирования штаба управления традиционного типа – из «патримониально набранных» людей, связанных с господином узами почитания и традиционно зависимых от него (клиента, семья, личные слуги). Никуда из современной практики власти не исчезает и набор «экстрапатримониально набранных» – фавориты всех сортов.

В значительной степени сохранению традиционного типа господства способствует и система разделения властей, лишаящая власть единой иерархии и создавая для господских выдвиженцев широкое поле дворцовых интриг и конкуренции.

В самом деле, достаточно сравнить, какие черты господства Вебер выносит за пределы традиционного типа с некоторыми реалиями современной государственности: объективно распределенная устойчивая «компетенция», устойчивая рациональная иерархия, упорядоченное определение на службу по свободному контракту и упорядоченное продвижение по службе, профессиональное обучение (как норма), постоянное и выплачиваемое в деньгах содержание. Даже последний пункт для современной системы власти в России является, скорее, исключением, чем правилом, – регулярная зарплата чиновника даже самого высокого ранга обеспечивает лишь малую часть его реальных расходов.

Вебер определяет харизму как «качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, особыми силами и свойствами, не доступными другим людям. Оно рассматривается как посланное богом или как образец». Это показывает, что харизматический тип господства вполне может принять (хотя бы на какое-то время) все черты традиционного господства, в котором вера в традицию и привычка замещены экзальтированным отношением подданных к харизматiku. Единственное значимое отличие состоит в том, что харизматическое господство менее устойчиво, ибо связано с необходимостью подтверждать чудесные характеристики личности вождя. Во всем остальном здесь, как и в традиционном господстве, для чиновника нет карьеры, иерархии и ясного распределения функций управления. Вебер с иронией пишет: «по существу для всех форм харизматического господства имеет значение: "здесь написано — но я говорю вам"»¹⁹¹. От традиционного господства харизматическое отличается, прежде всего, эмоциональный строй власти, ее внеобыденность и отказ от роли прежних правил, если они противоречат откровениям вождя.

Применительно к современному государству важен следующий вывод Вебера: «Власть имущий предстает свободно избранным вождем. Так же развивается признание общиной харизматических правовых положений к представлению о том, что сама она по собственному желанию может принимать, признавать и отменять право как в общем, так и в частном случае. В то время как случаи спора о "справедливом" праве в условиях

¹⁹¹ Там же.

подлинной харизматической власти фактически регулированы решением общины, но под психологическим давлением: существует только одно обязательное и правильное решение. Тем самым обсуждение права приближается к представлению о легальности. Важнейший переходный тип: плебисцитарное господство. В современном государстве оно воплощено в типах "партийного вождизма". Но повсюду оно существует там, где власть имущий ощущает себя легитимным доверенным лицом масс и признан таковым»¹⁹².

Вебер указывает на неизбежную рационализацию харизматического господства: «Плебисцитарный лидер будет пытаться заручиться поддержкой точно и без сбоев функционирующего штаба чиновников. Он будет пытаться привязать подчиненных или воинской славой и почестями, или улучшением материального благосостояния — а при определенных обстоятельствах попыткой их комбинации — к своей харизме, как "подтвержденной". Разрушение традиционных, феодальных, патримониальных и прочих авторитарных сил и предпочтительных шансов становится его первой целью, а второй — формирование экономических интересов, которые связаны с ним легитимностью-солидарностью. Поскольку он использует при этом формализацию и легализацию права, он может в значительной степени содействовать формально-рациональной экономике»¹⁹³.

Вебер отмечал, что расширение избирательного права приводило к сдвигу власти от местных «уважаемых людей» к партийным машинам, способным организовать предвыборную кампанию в общенациональном масштабе. В то же время значение отдельного парламентария уменьшалось, но возрастала роль партийного лидера, личность которого во многом определяла даже избрание других членов его партии. Выборы превращались в вотум доверия индивидуальному лидеру, т.е. в своего рода плебисцит, который давал ему значительный престиж в партии и широкие возможности определения политики. Как считал Вебер, подобные лидеры, закаленные в предвыборных битвах, обладали способностью подчинить бюрократию политическому контролю.

Здесь мы снова видим, как эти положения переключаются с современной российской действительностью — с формированием опоры власти в лице особо приближенных олигархов и придание их деятельности особого статуса, хотя и вписывающегося в формальный рационализм рыночной экономики.

Полезность схемы Вебера состоит в его собственном определении в том, что соответствующими типами господства можно именовать не политический режим в целом, не отдельное государство (чистые типы крайне редки), а типы властных отношений, к которым реальный режим приближается или которые допускаются им в определенных секторах государственного управления. Веберовские чистые типы господства схематизируют не историческую реальность, а отношения господства/подчинения.

Вебер фактически дал описательное определение господства и его типов, не раскрывая генезиса соответствующих отношений. На наш взгляд, удачным восполнением этого пробела является работа Пьера Бурдьё «Практический смысл», где в главе «Способы господства» показываются архаические механизмы формирования властных отношений и объясняются причины их присутствия в современных условиях¹⁹⁴.

Бурдьё указывает на материализацию властных отношений в действиях по сбору дани (что создает определенный «капитал обязательств и долгов») с последующей раздачей. Социальная алхимия превращает эту распределительную функцию в священнодействие, которому понуждают оказывать знаки уважения, почтения, преданности, которые ведущие к возобновлению перераспределительных циклов. Смысл этих циклов состоит в том, чтобы превратить произвольные отношения в законные, а фактические различия между людьми — в официально признанные отличия.

¹⁹² Там же.

¹⁹³ Там же.

¹⁹⁴ Бурдьё П. Практический смысл: Пер. с фр. / Общ. ред. перевода и послесловие Н.А. Шматко — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. С. 238–265.

Особо подчеркивается роль дара, легитимирующего власть либо в форме прямого экономического долга, либо в форме моральной зависимости. То есть, мы сталкиваемся с открытым или с символическим принуждением, которое должно в силу привычки превратиться в веру – одну из форм легитимного господства. Именно это вынуждает Бурдьё сделать вывод, что господство, чтобы быть признанным, должно быть неузнанным – спрятаться за символы. И в конечном итоге следует видеть здесь символы государства, которое предусматривает целую систему символических форм господства, дающих возможность воздерживаться от прямого применения силы.

Бурдьё видит эту форму господства только в докапиталистической экономике «потому что в ней отношения господства могут устанавливаться, поддерживаться или восстанавливаться только благодаря таким стратегиям, которые, дабы не погибнуть, открыто выдав свою суть, вынуждены переоблачаться, перевоплощаться, одним словом эвфемизироваться; цензура, которой эта экономика подвергает открытые проявления принуждения, в частности в его грубо экономической форме, приводит к тому, что корыстные интересы могут удовлетворяться лишь при условии их маскировки в тех самых стратегиях, посредством тех самых стратегий, которые направлены на их удовлетворение»¹⁹⁵.

Действительно, пока государство не берет на себя все риски, связанные с применением открытого насилия, «социальная алхимия» выстраивает власть только мягкими символическими средствами, дабы подвластные не имели поводов ответить насилием на насилие или уклониться от налагаемых обязательств бегством. И этом «принуждение символическое, мягкое, незримое, неузнаваемое в качестве такового, принимаемое поневоле, но вместе с тем и по вольному выбору, принуждение доверием, обязательством, личной верностью, гостеприимством, дарением, долгом, признательностью, почтением — одним словом, всеми теми добродетелями, которые чтит мораль чести»¹⁹⁶.

Государство чисто насильственное также не может обойтись без мягких форм принуждения и включает в себя символические элементы. Бурдьё указывает на современность символической власти: неизбежен «возврат к способам накопления, основанным на конвертировании экономического капитала в символический; таковы, например, разнообразные формы легитимирующего перераспределения — публичного («социальная» политика) или частного (финансирование «некоммерческих» фондов, дарения больницам, учебным и культурным учреждениям и т. д.), — посредством которых представители господствующего класса обеспечивают себе капитал «кредита», как бы уже не связанный с логикой эксплуатации; таково же и накопление предметов роскоши, подтверждающей вкус и изысканность своего владельца»¹⁹⁷.

При видимой обособленности этой культурной благотворительности от государства, последнее выступает точно таким же благотворителем, как и владельцы частных капиталов, конвертирующих их в символические. Государства, поддерживая свою «харизму» также отчисляют бюджетные средства на культуру, образование, «на гражданское общество» и т.п. Невнимание к этой символической сфере постепенно размывает господство государства, легитимность власти, как это было в поздний советский период, когда финансирование социальной сферы осуществлялось по остаточному принципу, а чувство товарищества между гражданами государства подтачивалось подчеркнутой обособленностью партийной геронтократии и доктриной об удовлетворении все более возрастающих материальных потребностей. Формальное материальное господство советского государства постепенно превратилось в богатство, которое невозможно было конвертировать в символический капитал, в чувство единства

¹⁹⁵ Там же.

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ Там же.

народа и власти. Именно поэтому накопленная мощь оказалась бессильной перед кризисными явлениями и ничтожной перед угрозами разрушения государства.

Тирания – классическое господство

Древние общества с царской или тиранической властью демонстрируют глубинное содержание понятия «власть». Поняв его, можно в дальнейшем говорить о поздних напластованиях, которые дороги современной цивилизации настолько, что порой в моделях власти не распознаются архаические пласты. Тогда исследователь пытается создать сложные объяснительные модели, запутывая сам себя и создавая дискурс, уводящий в сторону от самой сути власти.

Древнегреческая история прекрасно демонстрирует смену парадигм властвования – с царской (до X – IX вв. до н.э.) на аристократическую (преимущественно с VII в. до н.э.), а затем через олигархические режимы – к тирании. Тирания имитировала монархию по всем параметрам, за исключением наследования власти и самоограничения традицией. Это были «старшие тирании», отражавшие сброс остатков традиции после раскола в стане олигархов. «Младшие тирании», возникшие в более поздний период в связи с кризисом классического греческого полиса, замещали уже не олигархии, а демократии. Близость демократии к тирании впоследствии стала поводом для размышлений философов самых разных эпох – Руссо, Достоевский, Эвола и др. Но главное о тирании сказал уже Платон: демократическая свобода соседствует со своей противоположностью, поскольку в демократии свобода абсолютизируется. Согласно мысли Платона, тирания сочетает начала свободы и несвободы («Законы»), что позволяет говорить о том, что элементы тирании присутствуют в демократии, и наоборот, – элементы демократии остаются в условиях тирании. Более того, элементы тирании при желании можно усмотреть в любом политическом режиме. Иными словами, согласно Платону, тирания и есть самая обнаженная и неприкрытая власть. Не случайно сам Платон пытался воплотить свои представления об идеальном государстве на службе у тирана.

Сближение тирании с монархической властью вообще, столь характерное для революций Нового времени, угадывалось и в древнегреческом мировоззрении. Аристотель писал, что «Тирания – монархическая власть, преследующая интересы только того, кто ее осуществляет» (1279b). «Неправильность» тирании состоит в том, что она создает между монархом и подданным не отношения отца и сына, а господина и раба. Таким образом, «неправильная монархия» превращается в свою противоположность – тиранию, которая также является противоположностью демократии. Следовательно, монархия и демократия (полития) связаны между собой генетической близостью к тирании, где власть не скована ни традицией, ни общественными процедурами. И хотя Аристотель считает тиранию наихудшим государственным устройством, дальше всего находящимся от его сущности (1289b), эта удаленность как раз и вскрывает сущность, скрытую в «правильных» государственных формах различными условностями. Тирания становится «разрядкой» общества от более сложных государственных форм, требующих от людей значительных усилий, дисциплины, самопожертвования. В перманентной форме тирания перерастает в деспотию, которая становится уже не «случайным» отклонением от правила, а сущностью государства.

В Римской республике такая «разрядка» вводилась регулируемым способом – через диктатуру как экстраординарную власть. В отличие от тирании, диктатура вводилась при определенных условиях: в Риме она могла быть только краткосрочной и только в некоторых городах – постоянной. Тем не менее, главный признак – неограниченная единоличная власть – сближает диктатуру и тиранию. Кризис и падение Римской республики привели к полному отождествлению диктатуры тиранией. Причем, выделилась еще одна составляющая «обнаженной власти» – опора на военную силу, которая легитимировала захваченную власть. В ситуации кризиса государственности власть раскрывала свое содержание через вооруженное насилие.

Эпоха Просвещения серьезно затруднила понимание феномена власти, сформировав «демократическую мифологию»¹⁹⁸, в которой метафоры подменили термины. Тирания, диктатура, деспотия стали означать просто иной по сравнению с демократическим режим, где отвергается народное представительство и правовое государство. Вместе с тем эта метафоричность позволяет увидеть власть как антипод либеральной демократии – либеральная демократия противопоставляет власти как таковой, стремится извести ее разнообразными ухищрениями. И эти ухищрения могут быть успешны только до той поры, пока не наступят экстраординарные условия, когда власть будет высвобождена из-под сдерживающих ее политических напластований в духе «общественного договора».

XX век в изобилии представил возможности для обнажения природы власти – помимо военных диктатур он дал образец реализации учения о диктатуре пролетариата. Если все «ординарные» тирании насильственно консолидировали распадающееся общество, оправдывая жесткость режима временными (пусть и затяжными) трудностями, то диктатура пролетариата должна была создать новую традицию вечно молодой тирании, где единоличная власть не предполагалась, но осуществлялась, «общественный договор» для пролетариата предусматривался, но не состоялся. Тирания, пытавшаяся прикрыться политико-философской концепцией, все же оставалась классической («старшей») тиранией.

В условиях России можно и нужно говорить о продуктивности «младшей» тирании – национальной диктатуре в той ее форме, которую предугадал Иван Александрович Ильин после крушения коммунистического режима. В действительности, предсказанный тем же Ильиным период разброда и упадка государственности означал этап безвременья, наступивший после застарелой «старшей» тирании, смененной демократией. Распад государства вне всякого сомнения должен вновь обнажить сущность власти – период национальной диктатуры, восстанавливающий исторические нормы жизни без оглядки на неорганичные напластования, образовавшиеся за десятилетия уклонений от исторической миссии России.

Монархия – истинная власть

В Европе монархия исходно ассоциировалась с идеей суверенитета. В отличие от России европейские монархисты понимали монархию как абсолютизм. Жан Боден определял суверенитет как высший авторитет приказа, который может исходить только от монарха и только им суверенитет может становиться бесконечно длящейся властью государства (*Majestas*). Монарх свободен в соблюдении или нарушении собственной клятвы, соблюдении или нарушении собственных законов. Поскольку и то, и другое – обещание, данное самому себе, которое может быть в любой момент пересмотрено, монарх обязан только Богу. И то лишь постольку, поскольку он опирается на некоторую религию. Столь абсолютное понимание власти монарха отрицает даже право народа на сопротивление тирании, требуя от народа терпения и мученичества в самых вопиющих ситуациях¹⁹⁹.

Кто имеет право на власть в государстве? Гегель, полагавший, что «государство есть совершенно нечто в себе и для себя сущее, которое поэтому должно рассматриваться как божественное и пребывающее, стоящее над всем тем, что создается»²⁰⁰, считал этот вопрос абсурдным. Вопрос о праве на власть в государстве оказывается бессмысленным. Само собой разумеется, что власть и сама суть государства сосредоточены в личности монарха. Народ же без монарха – просто бесформенная масса, лишенная всех признаков

¹⁹⁸ Казанцев А.А. Тирания, диктатура: когнитивная схема и историческая судьба политических понятий// Полис, 2001. №5.

¹⁹⁹ см. Хюбнер К. Нация, С.79–81.

²⁰⁰ Гегель. Философия права. М., 1990. С. 314.

государства²⁰¹. Более того, народ без монарха перестает быть народом, поскольку не организован в государство. Государство народом не придумывается и не создается – государство есть данный историей факт. Соответственно, не разрушая государство и самого себя, народ не может выбирать государственный строй, учреждать или отменять его.

Христиан Вольф («Немецкая политика»), которого Гегель читал как философского учителя немцев, говорит, что начальство само знает, что делать, поскольку получило легитимацию от абсолютного разума. И единственное, что можно рекомендовать монарху – просвещенный абсолютизм, когда властитель заботится о благополучии своих подданных. Впрочем, поскольку разум монарха Божией милостью просветлен больше других, то он и сам знает это. Таким образом, монархия по-европейски означает тот же конец истории, что и у либеральных республиканцев нашего времени.

Совершенно иную интерпретацию монархии дает русская политическая традиция. Русская идея царства видит монарха богоподобным (но не божественным), требуя уравнивания всех сословий и социальных разрядов перед Царем, как и всех верующих перед Богом. Точно также монархия олицетворяет единую и единственную власть. Мощь власти монарха направляется против крамолы (иных форм политической власти, иных «партий») и служит устранению препятствий народному благу. В то же время, русское Царство означает самоуправление народа, в котором есть все, исключая политическую власть. И действительно, только в России оказалось возможным властью Царя, монаршим манифестом освободить крестьян от крепостной зависимости без революций и бунтов²⁰².

Монархическая идея очень близка национальной – она связана, как единством множества различных народов под скипетром Царя, так и с господствующей народностью и выработанными ею нормами жизни. Единство ядра и окраин русского мира обеспечивается единством верховной власти, которая в лице Царя олицетворяет это единство. При этом Церковь не подминается государством, а все верования покрываются сплачивающим началом государственного единства подданных одной и единственной верховной власти. «Все разнородное в общем составе России, все, что, может быть, исключает друг друга и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только заговорит чувство государственного единства. Благодаря этому чувству Русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли»²⁰³.

Русская мысль различает истинную и ложную монархию. Ложность – в принципе абсолютизма, который отстаивали европейские монархисты. В противовес их доктрине абсолютизма монархии можно привести слова Льва Александровича Тихомирова: «Монархия истинная, то есть представляющая верховную власть нравственного идеала, неограничена, но не абсолютна. Она имеет свои обязательные для нее начала нравственно-религиозного характера, во имя которых только и получает свою законно не ограниченную власть. Она имеет власть не в самой себе и поэтому не абсолютна»²⁰⁴. Русский Царь не мог быть неверующим человеком, не мог не интересоваться «мнением земли», не мог не стремиться приближать к себе лучших людей Отечества.

Единство власти в монархической идее означает не только наличие верховной власти, но и повторение ее принципов на низовых уровнях. Для монархии не подходит представление о разделении властей по вертикали. Об этом пишет Николай Михайлович Карамзин, критикуя деление властей, образовавшееся в русских губерниях: «Выходит, что губерния имеет не начальника, а начальников, из коих один в Петербурге, другие в Москве: система правления, весьма не согласная с нашей старинною, истинно монархическою, которая соединяла власти в наместнике для единства и силы в их

²⁰¹ Там же, с. 320–321.

²⁰² См. Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002, с. 384.

²⁰³ Там же. С. 111.

²⁰⁴ Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. http://www.voskres.ru/gosudarstvo/mongos/mg_0.htm

действиях. Всякая губерния есть Россия в малом виде; мы хотим, чтобы государство управлялось единою, а каждая из частей оною разными властями. Страшимся злоупотреблений в общей власти. Но частная разве не имеет их?»²⁰⁵.

Русская мысль и традиционная русская государственная практика знают также о том, что монархическая государственность вырабатывает тип гражданина с особым правосознанием. Тем самым национальная и монархическая идеи созревают до тождественности.

Иван Александрович Ильин, сравнивая правосознание монархиста и республиканца, нашел между ними множество разделительных линий, которые в любом обществе (даже лишенном монарха) присутствуют и отражают мировоззренческие различия государственного и антигосударственного типа. Тем самым в монархическом правосознании кристаллизуется и приобретает зрелые формы идея власти как таковой. В этом достаточно убедиться, сравнив те характеристики, которые Ильин подбирает при оценке двух противоположных типов мировоззрения²⁰⁶:

Монархическое правосознание	Республиканское правосознание
Олицетворение власти и государства-народа	Растворение личного начала и власти в коллективе
Культ ранга	Культ равенства
Мистическое созерцание верховной власти	Утилитарно-рассудочное восприятие власти
Приятие судьбы и природы, ведомых Провидением	Человеческое изволение выше судьбы и природы
Государство есть семья – патриархальность и фамильярность	Государство есть свободный, равный конгломерат, уравнительное всесмешение
Пафос доверия к главе государства	Пафос гарантии против главы государства
Пафос доверия	Пафос избрания удобного "Rebus sic stantibus"
Центростремительность	Центробежность
Тяга к интегрируемой аккумуляции	Тяга к дифференцированной дискретности, атомизму
Культ чести	Культ независимости
Заслуги служения	Культ личного успеха, карьеры
Стихия солидарности	Стихия конкуренции
Органическое восприятие государственности	Механическое восприятие государственности
Культ традиции	Культ новаторства
Аскеза политической силы суждения	Притязательность политической силы суждения
Культ дисциплины, армия	Личное согласие, инициатива, добровольчество
Гетерономия, авторитет	Автономия, отвержение авторитетов
Пафос закона, законности	Пафос договора, договоренности
Субординация, назначение	Координация, выборы
Государство есть учреждение	Государство есть корпорация

Монарх и нация соединены в религиозно-национальной идее. Как пишет Л.А.Тихомиров: «Власть монарха возможна только при народном признании,

²⁰⁵ Карамзин Н.М. Записки о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях// О древней и новой России. М., 2002. С. 428.

²⁰⁶ Полторацкий Н.П. Монархия и республика в восприятии И.А. Ильина// Ильин И.А. О монархии и республике// Собрание сочинений: в 10 т. М.: Русская книга, 1994.

добровольном и искреннем. Будучи связанной с высочайшей силой нравственного содержания, наполняющей веру народа и составляющей его идеал, монархическая власть является представительницей не собственно народа, а той высшей силы, которая составляет источник народного идеала. Признавать верховное господство этого идеала над своей государственной жизнью нация может только тогда, когда верит в абсолютное значение этого идеала, а стало быть, возводит его к абсолютному личному началу, то есть Богу».

Вопрос об истинности монархии Тихомиров связывает с истинностью веры. Только истинная вера открывает людям истинные цели жизни. Уклонениями от истинности становятся абсолютистская и деспотическая монархия, в которых наблюдается отрыв верховной власти от нации. В истинной монархии, «желая подчинить свою жизнь нравственному началу, нация желает подчинить себя Божественному руководству, ищет верховной власти у Бога. Это составляет необходимое условие для того, чтобы единоличная власть перестала быть делегированной от народа и могла стать делегированной от Бога, а потому совершенно независимой от человеческой воли и от каких-либо народных признаний».

Таким образом, в русской традиции не может быть «конца истории» в поиске идеальных государственных форм – сама форма идеальной монархии предопределяет непрерывный процесс поиска соответствия Божией воле. То есть, смыкаясь с нравственными поисками, политика перестает быть поверхностным умствованием или фарсом, не затрагивающим сущности государства.

Тихомиров писал: «Идея монархической верховной власти состоит не в том, чтобы выражать собственную волю монарха, основанную на мнении нации, а в том, чтобы выражать народный дух, народный идеал, выражать то, что думала бы и хотела бы нация, если бы стояла на высоте своей собственной идеи».

Поиск этой высоты означает процесс национального развития под руководством истинной власти.

Традиция над правом

Власть, как система, требует рассмотрения внутренних связей, которые должны обеспечивать единство. Полагают, что системность может быть обеспечена правом. Вместе с тем, при всей вескости такой постановки вопроса, право реализует систему лишь формально – через законодательство. Власть как комплекс обязанностей действительно может существовать лишь на нижних этажах властной иерархии. Чем выше положение властителя, тем меньше в нем памяти об обязанностях и юридических рамках своих полномочий. Верховный властитель становится законодателем – в рамках права для него нет ограничений. Его главный ограничитель – традиция, ценности и соображения об эффективности власти.

Реальное властвование зависит как от носителя власти, так и от подвластного. Связь между ними носит, скорее, неформальный характер и опирается на авторитет, который сама суть – духовный феномен и элемент традиции. Это означает, что системность власти обусловлена также и системностью «картины мира», в рамках которой присутствуют духовные феномены, порождающие власть.

Власть не может быть понята исходя, из рационального выбора людей – в ней всегда присутствует божественный, мистический компонент, чаще всего играющий решающую роль по сравнению с рационально-формальными компонентами. Опора власти на мифы сохраняется до современности, в которой мифология лишь трансформируется, одновременно теряя признаки целостности, а вместе с ними и устойчивость властеотношений между носителем власти и подвластным. С одной стороны, это чревато революциями и переворотами, с другой – обеспечивает ускоренную ротацию власти в условиях стремительного течения социального времени. Нестабильность, разорванность картины мира ставит перед властью задачу создания новых отношений с подвластными –

фактически, создания контролируемых смен картины мира и снижения роли формальной законности при всех ее возможных трансформациях. Текучесть политического мифа становится для власти, намеренной не уступать руководящие рычаги конкурентам, насущной задачей.

И все же власть вторична по сравнению с традицией. Традиция создает устойчивую власть. Власть в борьбе с традицией уступает психологии масс, но именно поэтому она снова вынуждена возвращаться к традиции и пробуждать национальные архетипы (Сталин после Ленина, Путин после Ельцина).

Отход от традиции превращает власть в капитал или приз победителю в политической схватке. Угадывание сиюминутных интересов влиятельных групп и толп дает возможность победителю захватить контроль над властными институтами и свободно конвертировать власть в собственность и символический капитал. Однако сама попытка такой конвертации всегда требует обращения к традиции, в которой властитель является самодержцем, не скованным законом, поскольку сам является законодателем. Нарушение закона должно быть расценено как прецедент, более высокий по статусу, чем нарушенный закон. Исключение становится законом, показывающим, что законодательство не может сковать волю властителя. Посягнув на закон, властитель вынужден втягивать в систему властеотношений и другие элементы традиции. Ведь традиция заведомо выше любого закона уже по праву длительности своего существования. Закон становится равным традиции, лишь превратившись в эту традицию и перестав быть юридической нормой.

Задача конвертации власти в зримые признаки могущества требует отказа от чисто управленческих методов принуждения подвластных. Традиция, выходящая из забвения, приобретает форму идеологии. И только тогда власть обретает признаки системы – организационная функция дополняется идеологической, управление приобретает политическую осмысленность и связывается с «картиной мира». Естественным образом происходит «консерватизация» власти. Противное означало бы неизбежную актуализацию нарушенного права и возмездие за попраный закон. Чтобы быть выше закона, властитель должен быть восстановителем традиции и законотворцем, проводящим контрреформы против собственных «реформ», утвердивших его у власти.

Система власти связывает мифом властителей и народ. Разрушение мифа превращает народ из источника власти в источник деструктивных процессов. Поэтому осознание несовместимости народа и власти дает идею здорового системного устройства государства. По мысли К.Н.Леонтьева, «практическая мудрость народа состоит именно в том, чтобы не искать политической власти, чтобы как можно меньше вмешиваться в общегосударственные дела. Чем ограниченнее круг людей, вмешивающихся в политику, тем эта политика тверже, толковее, тем самым люди всегда приятнее, умнее»²⁰⁷.

Народ не является и не должен быть устройтелем и осуществителем власти. Народная мудрость состоит, с одной стороны, в подчинении власти, а с другой – в требовании справедливости. Она немыслима вне Традиции, задающей систему ценностей, которой должны следовать властители для сохранения системы власти, приемлемой для народа.

Этничность власти

С древних времен вождь мог стать тот, кто выделяется из стада, например, своим инородством, или приходит в нестабильную общину со стороны. В стабильной общине, напротив, вожаком становится только кто-то из своих, выделяющийся особой силой и ловкостью. История многих народов складывалась таким образом, что военно-аристократическое сословие формировалось по этническому признаку. И только длительное сосуществование иноэтнических верхов среди численно превосходящего подвластного этноса создавало органическое единство.

²⁰⁷ Леонтьев К. Записки отшельника. М., 1992. С. 56.

Б.Ф.Поршнев писал: ««Он» еще в основном принадлежит кругу «они», хотя бы и вступившему во взаимодействие с «мы». Но та же точка принадлежит к кругу «мы», и тогда это уже «ты». Если с этим единичным обособленным от других человеком все же можно общаться, если он хоть в чем-то ровня другим, значит один круг уже врезался в другой. Это — важный этап формирования личности. Правда, и от «ты» еще далеко до «я». Но «он» и «ты» — это уже достаточно для социально-психологического определения положения того или иного авторитета, вождя, лидера внутри общности. <...> Впрочем, вожди, государи, правители в историческом прошлом очень часто как раз были иноплеменниками. Но они, далее, почти всегда были прикрыты, защищены от психических контактов и общения с подавляющим большинством людей мощными стенами дворцов, замков или храмов, непроницаемым окружением свиты и стражи. Их отсекали от мира неодолимые рубежи. Оружие языка им заменял язык оружия»²⁰⁸.

Даже правитель, связанный родовыми узами с подвластными, зачастую собирал вокруг себя вовсе не членов своей семьи. Кровнородственная связь с ближайшим окружением означала опасность обоснованных претензий на власть. Поэтому в Османской империи был введен закон об умерщвлении братьев султана сразу по его восшествии на престол. В Древнем Египте также власть, как правило, не делегировалась членам царской семьи.

Удаление от верховной власти тех, кто принадлежит к роду правителя, могло заходить и еще дальше. Так, в античной Ассирии высшими чиновники были одновременно и рабами. В империях Древнего Востока иностранцы, в особенности перешедшие в ислам христиане, получали доступ к высшим должностям. В империи Ахеменидов высшими управленцами были часто греки, а не «титulyные» персы и мидяне. В Монгольской империи высшие управленческие функции исполнялись почти исключительно иностранцами. Булгарская орда хана Аспаруха в завоеванной части Византии стала военным сословием. В Цинской империи маньчжуры в течение веков сохранялись как этнос на своей земле, одновременно существуя в Китае в качестве военного сословия.

Вопреки расхожему мнению, это вовсе не подрывало стабильности общностей, таким образом использовавших инородцев. Напротив, управленческое сословие под властью родового вождя было особенно послушным и «патриотичным», ибо всегда находилось под угрозой самой безжалостной расправы. В случае привлечения в чиновное сословие представителей народа, о котором властитель должен был заботиться, он лишался бы такой возможности. Кроме того, как отмечает Пьер Бурдьё, в ряде случаев формировалась система: близкие к власти лишались возможности к воспроизводству, близкие по крови — во избежание конкуренции за корону — становились политическими импотентами²⁰⁹.

Стабильность государства и общества, активно применяющего в системе управления инородцев, определяется жесткостью монархической традиции, прежде всего, преследуемой со стороны монарха и его ближней свиты. И обеспечение этой традиции было делом многих столетий во всех известных истории государствах древности. Ее основа — живой миф, который располагал правителя среди богов.

Страшные боги древних народов становились прообразами страшных вождей и государей, которые могут попираť и менять принятый порядок жизни. Первоначально «Они» — это злые боги Иного, которые постепенно поселяются в общине и узнаются в некоторых ее представителях, выделяющихся своими особенностями как «внутренние чужаки». Именно «Он» на стыке «мы» и «они» реализуется в стаде как личность и

²⁰⁸ Поршнев Б.Ф., Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. С. 162–163.

²⁰⁹ Бурдьё П. От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля// Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН «Социоанализ Пьера Бурдьё». М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 2001.

становится первым источником власти, нерасчлененно слитой с личностью²¹⁰. Иначе говоря, личность возникает в оппозиции общины-стада и его внутреннего властителя-хищника.

Древние часто объявляют тотемное животное или монстра первопредком, основателем общины, ставшим в мифе жертвой этой общины или своих родственников и товарищей. Ритуальный характер жертвы, коей в мифологии является первопредок, указывает на него, как на «чужого» в том сюжете, который обозначает создание общины. То есть, «чужой» играет в определенных случаях не роль фармака-парии, а роль главы рода.

Рене Жирар пишет: «Гипотеза то взаимного, то единодушного и учредительного насилия — первая, по-настоящему объясняющая двойственность всякого первобытного божества, сочетание пагубного и благого, характерное для всех мифологических сущностей во всех человеческих обществах. Дионис — и “ужаснейший”, и “сладчайший” из всех богов. Точно так же есть Зевс, разящий молнией, и Зевс, “сладкий как мед”. Любое античное божество двулико; римский Янус обращает к своим почитателям лицо поочередно миротворное и воинственное потому, что и он — знак динамики насилия; в конце концов он становится символом внешней войны потому, что и она — всего лишь частный модус жертвенного насилия»²¹¹. «Подобно Эдипу, король — и чужеземец, и законный сын, человек из самого срединного центра и с самой далекой окраины, образец и несравненной кротости, и предельного варварства. Преступный и инцестуальный, он стоит и ниже и выше всех правил, которые сам учреждает и заставляет уважать. Он самый мудрый и самый безумный, самый слепой и самый проницательный из людей»²¹².

Разумеется, примитивное сообщество, руководимое внутренним хищником, малоэффективно по сравнению с сообществом, разделяющим особи по функциональным задачам и направляющим агрессию преимущественно вовне. Однако задача формирования такого порядка становится разрешимой только в связи с выделением разных охранительных сословий, в которых образ врага становится не только следствием природных инстинктов, но и системы воспитания, общественной морали.

Этничность власти проявляется в том, что государство в любом случае находится во владении (формально или неформальном) какого-либо определенного народа. В нем всегда можно выделить национальное ядро, дающее социуму язык, культуру, демографическую значимость, историческое право на данную территорию и т.д. Причем нет никакой необходимости фиксировать право народа на территорию — оно укоренено в обычае, и ключевым его элементом является «ощущение владения» государством со стороны конкретной этнокультурной группы, которая воспринимается как отличная от гражданства или от постоянно проживающего в стране населения в целом²¹³.

Этничность власти в Европе XVIII в. являлась очевидной вещью, поскольку феодальная система рассматривалась как продолжение разделения на сословия по признаку крови. Аристократы считались потомками германцев-франков, а «третье сословие» — потомками галлов. Соответственно и все революции имели этническую окраску. Сброс аристократической верхушки означал продолжение прежних войн или месть за угнетение.

Современность создает новые формы этнической консолидации, не запрещенные и одновременно не замечаемые правовыми системами. Вместе с тем именно здесь создаются те механизмы власти, которые предопределяют будущее народов и государств. Наличие этнических группировок в современной России более чем очевидно, особенно в

²¹⁰ Мэмфорд Л. Миф машины// Утопия и утопическое сознание, М.: Прогресс, 1991. С.96.

²¹¹ Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 304.

²¹² Там же. С. 306.

²¹³ Brubaker K. Nationalizing States in the old "New Europe" - and the new. - "Ethnic and Racial Studies", 1996. vol. I 9. No 2. P. 431.

связи с резкими различиями между русской массой и группировками, образуемыми по этническому признаку вокруг удельных и местных бюрократических «вождей».

О прямом влиянии этничности на власть писал М.Н.Катков, рассматривая положение польской администрации в Западном крае Российской Империи²¹⁴. Чиновник, даже связанный долгом присяги, может испытывать сомнения в прочности государственного порядка уже только потому, что он ставится под сомнение определенной этнической группой. Чувство долга перед этой группой сталкивается с чувством долга перед системой, к которой чиновник принадлежит. Если этнической консолидации служит еще и религиозная идентичность, то возникает еще более веское основание для выделения лиц своей этнической принадлежности, которые всегда воспринимаются, как гонимые за правду.

Видимая безразличность власти к этничности не должна никого обманывать. Этнические симпатии просачиваются через зазоры правовой системы и без труда образуют этнические кланы там, где право чужается этнических проблем. В особенности, это опасно при наличии провинций с преимущественно инородным населением, где этничность власти обретает наиболее явные формы – и даже если местная администрация возглавляется «чужим», вокруг него все равно возникает преимущественно иноэтническая властная корпорация. Вертикальная мобильность в общегосударственной системе власти приводит к тому, что этнический клан может переключаться на высшие этажи управления, и «чужой» во власти окажется уже не в силу обычая (где он мог становиться также и козлом отпущения), а в силу административной «игры».

Указанные обстоятельства позволяют предположить, что современные правовые системы в большей степени допускают формирование государств-химер, чем в древние времена. Прежде «чужой» вынужден был нести во власти охранительную функцию, предполагающую ответственность и уважение нравов этнического большинства. В современных условиях он становится скорее паразитом, чем хозяином. Решающее значение почвы оказывается бессильным перед неявными корпорациями крови.

Формальная свобода от «чуждой народу» своей аристократии оборачивается в современных государственных системах зависимостью от чуждой народу бюрократии – чуждой во всех отношениях, включая этничность. Задача возрождения национальной власти предполагает уничтожение этнических группировок, врастающих в ткань власти в рамках особой бюрократической традиции, когда потомки видных государственных чиновников также получают высокие посты в системе управления и поддержку своего родового клана.

Рецептом в этом отношении многие считают пропорциональное представительство. В то же время такой подход означал бы признание прав этносов на свою «долю» власти, в то время, когда они не могут иметь никакой доли – любые полномочия могут определяться только службой. С нашей точки зрения расшатыванию и уничтожению этнических группировок во власти может служить принцип должностной дистанции – родственники до третьего колена не могут работать в одном учреждении и даже занимать выборные должности в соседних территориальных образованиях. Вторым условием разрушения этнических группировок может быть деэтнизация государственного устройства (это касается, прежде всего, России) и конкурсность на замещение должностей, в рамках которой, прежде всего, проверяется дееспособность в общенациональном языке. В России чистая русская речь и грамотное русское письмо должны быть неперменным качеством чиновника любого уровня.

Прежняя естественность этнической обособленности власти от народа должна быть заменена иного типа обособлением – оформлением власти как национальной элиты, как носителя высших форм языка и высших образовательных стандартов. Для этого во власти любые семейно-родовые группировки должны уничтожаться самым решительным

²¹⁴ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 112.

образом. Этничность во власти должна быть заменена нацией – национально мыслящей элитой, отобранной по признаку верности нации, которая ни в коей мере не противоречит уважению к своему роду. Безродный национализм столь же нелеп, как и этно-интернационализм («многонациональность»), распространившийся в российских властных и политических кругах.

Аристократия и ведущий слой

Иллюзия участия масс в политическом действии – один из самых устойчивых политических мифов. Более глубокий взгляд на социальные процессы обнаруживает, что везде и всюду правит меньшинство, а массы являются либо зрителями политического театра, либо играют в нем роль толпы. Именно меньшинство способно дать массе такое видение жизни, которое превратит ее в нацию – общество, пронизанное пониманием политического, пониманием социальной и властной иерархии. Тогда правящее меньшинство и подвластное большинство минимизируют политические отношения между собой и становятся органичными частями единого целого.

Анализируя платонизм, А.Ф.Лосев так демонстрирует логику Платона: «...должен быть общественный класс, который является носителем идеи, созерцателем идеи, специфическим проводником идеи в материальный мир. Платон называет таких людей философами. Они — созерцатели чистых идей, и это есть их профессия. Никто, кроме философов, не должен и не может созерцать и воспринимать чистые идеальные сущности. Никакой другой класс, никакой другой человек на это не способен и не может быть способен. Философы — от природы таковы. Они — мудрые властители над всем телесным; они — победители также и своих страстей. Они — погружены только в идеальное умозрение. Мало того, это и есть правящий класс». Платонизм, – заключает Лосев, – это проповедь аристократии, причем аристократии духовной, которая ничем иным не занимается, кроме созерцания идей. Это монахи-старцы, погруженные духом и телом в вечность и управляющие на основании своих созерцаний народом.

Философ, как идеальный чиновник, был всегда лишь предметом мечтаний, но никогда – реальной практикой. Макс Вебер показал эффективность как раз бюрократической машины, осуществляющей разделение труда и специализацию. Вместе с тем идеальное государство не может быть мыслимо как бюрократическое, и требование ограничения всевластия бюрократии встречается всюду, где обсуждаются проблемы управления. Нужна некая динамическая альтернатива, подталкивающая бюрократический аппарат к ценностям за пределами сохранения набора личных статусов чиновников. Такой альтернативой часто полагают «гражданское общество» и противопоставление частей бюрократической машины путем воплощения принципа «разделения властей».

Попытка институционального решения проблемы бюрократии, по-видимому, обречена на провал, поскольку оставляет без внимания мотивации чиновников, полагая их такими же независимыми и свободными в преследовании своих интересов, как и остальные граждане. Этическая проблематика, напротив, требует поиска каких-то оснований свободной лояльности чиновника, соединения его запросов и нравственных установок с интересами и запросами нации. И здесь возникает надежда внедрить в бюрократическую систему идею служения, свойственная аристократии, которая одновременно и служит, и мыслит, и управляет.

Аристократический слой в условиях стабильности государства и единства нации является опорой власти, подчиняясь ей как в силу воспитанной привычки, так и в силу выраженного интереса сохранять сложившиеся социальные отношения. В условиях, когда власть пошатнулась, государственность под угрозой, нация расколота аристократия берет на себя руководство противоборствующими группировками и восстанавливает стабильность в том или ином виде, но не нарушая традиции.

Аристократия в эпоху Средневековья воплощала в себе идею свободы. В эпоху раздробленности феодалы защищали себя и своих подданных от произвола и грабежа – их

свобода была продолжением их ответственности. Королевская власть вынуждена была считаться с этой автономией и в конце концов «вписывать» личность аристократа в государство. Возник иерархический баланс между личной свободой и ответственностью перед государством, который был сломан только буржуазными революциями, покончившими с аристократией. Демократия, лишенная ведущего слоя аристократов, вынуждена была подменять его функцию чисто коммуникативными средствами, навязывая публике кумиров и в плановом порядке сменяя их новыми. Фикция с этих пор становится условием легитимации власти.

Шпенглер видел в современных нациях население древних династических областей. Династическая идея выстроила фаустовскую (европейскую) нацию²¹⁵ – ради нее шли на смерть, повергая потомков в недоумение: как можно было биться так отчаянно за какое-то пустяковое династическое разногласие? И только в конце XVIII в. начинается эмансипация нации от династического принципа – возникновение идеи либеральной нации, нации литературных людей. «С этих пор во всех странах наличествуют две партии, представляющие нацию в противоположных смыслах, как династически-историческое и как духовное единство. – партии расы и языка»²¹⁶.

Нация исходно связывалась с аристократией – до буржуазных революций именно ведущий слой олицетворял собой нацию. Революция отняла у него эту привилегию – возникло сообщество граждан, которое в свою очередь начало выделять ведущий слой уже не по наследственному принципу, а по принципу политической конкуренции. Распад аристократической иерархии означал, что идея нации и высшие ценности становились общедоступными, и это расширяло численность одухотворенных национальной идеей. Но сама идея, сливаясь с низменными материальными страстями, лишалась привилегии хождения в избранных слоях, ассоциировавших себя с землей – родовым наделом.

Алексис де Токвиль писал: «Когда королевская власть, поддерживаемая аристократией, мирно управляла народами Европы, общество, несмотря на все свои лишения, чувствовало себя счастливым в такие моменты, которые с трудом можно понять и оценить в наши дни»²¹⁷. Аристократия защищала народ от деспотизма, охраняя традицию как гарантию сбалансированности отношений в обществе. С другой стороны, аристократия являлась организованной силой, удерживающей в узде народ, готовый временами к действиям, открывающим пути тирании. Именно этого больше всего опасался Токвиль, наблюдая за демократической системой в Америке.

Вырожденной формой аристократии становится олигархия, пытающаяся скрыто провести свою лидирующую функцию, но не ставя задачи сверх собственного группового эгоизма. Олигархия становится заказчиком политических мифов, имитирующих народовластие, традицию и политическое лидерство «халифов на час», т.е. имитирует нацию. Но если власть олигархии пошатнулась, вера в фикции демократии поколеблена, государство нестабильно, олигархия не в состоянии выполнить функцию аристократии – переучредить государство. Тогда она вынуждена склонить голову перед тираном так же, как это делает демократия.

Аристократия является источником личностного поведения, связанного сознательным членством в сословной корпорации. Именно такой статус характеризует полноценную, свободную личность. Напротив, управляемые сословия, дорвавшиеся до власти, выхолостили идею свободы как внутреннего состояния и превратили ее в символ хаоса – независимости всех от всех.

Ницше писал об аристократической природе высших форм морали, в которых образ врага присутствует как неизменный атрибут: «Способность и обязанность к долгой благодарности и продолжительной мести — все это лишь по отношению к равным себе, — изысканность в возмездии, утонченность в дружбе, известная потребность иметь

²¹⁵ Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. М.: Мысль, 1998. С. 184.

²¹⁶ Там же. С. 189.

²¹⁷ Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 2000. С. 30.

врагов (в качестве отвлекающего для аффектов зависти, сварливости, заносчивости — для того, чтобы быть способным к доброй дружбе): все эти типичные признаки благородной морали...»²¹⁸.

Николай Бердяев, обращаясь к задаче выращивания национальной элиты — аристократии, формулирует принцип отношения неравных частей нации: аристократического ведущего слоя и ведомой народной массы: «В истории происходит мучительный процесс все новых и новых исканий истинной аристократии. Дурное и пренебрежительное отношение к простому народу — не аристократично, это хамское свойство, свойство выскочек. Аристократическое чванство — безобразное явление. Аристократия должна была бы давать простому народу от своего избытка служить ему своим светом, своими душевными и материальными богатствами. С этим связано историческое призвание аристократии»²¹⁹.

Освальд Шпенглер в своем знаменитом труде «Закат Европы» пишет, что раса выражается, прежде всего, в аристократии, которая воспитывает ощущение красоты и доводит телесный идеал воина и героя (добавим также и нравственно-рассудочный идеал мудреца) до чистоты²²⁰. Аристократия, таким образом, становится, подлинным образом нации.

Многие крупнейшие мыслители перед лицом социальных потрясений присоединялись к призыву смирять презрение к черни. Народ, сколь бы он ни был развращен и бесстыден, остается телесной основой нации, биологическим субстратом национальной души. Поэтому ведущий слой общества обязан заботиться о демографическом благополучии и нравственном воспитании народа, не замыкаясь в себе, не превращаясь в секту.

Но не дай Бог аристократу становиться народником, потакать холопью духу разночинца, который толком не знает своего рода-племени и не может ценить его. Аристократ — носитель родового знания тайны крови и религиозного таинства: «Аристократизм есть сыновство, он предполагает связь с отцами. Не имеющие происхождения, не знающие своего отчества не могут быть аристократами. И аристократизм человека, как высшее иерархической ступени бытия, есть аристократизм богосыновства, аристократизм благородно рожденных сынов Божьих. Вот почему христианство — аристократическая религия, религия свободных сынов Божьих, религия даровой благодати Божьей»²²¹.

Аристократия связана кровью — это очевидный факт, который и в русском дворянстве, сместившем с исторической сцены боярские роды, подтвержден передачей из рода в род идеи служения и чести. Николай Бердяев пишет: «Существование “белой кости” есть не только сословный предрассудок, это есть также неопровержимый и неистребимый *антропологический факт*. Дворянство не может быть в этом смысле истреблено. Никакие социальные революции не могут уничтожить качественных преимуществ расы. Дворянство может умирать как социальный класс, может быть лишено всех своих привилегий, может быть лишено всякой собственности. Я не верю в будущее дворянства как сословия и не хочу себе как дворянину дворянских привилегий. Но оно остается как раса, как душевный тип, как пластическая форма, и вытеснение дворянства как класса может увеличить его душевную и эстетическую ценность»²²².

Важность аристократических для общества принципов Николай Бердяев подчеркивал особо: «Всякий жизненный строй — иерархичен и имеет свою аристократию, не иерархична лишь куча мусора, и лишь в ней не выделяются никакие аристократические качества. Если нарушена истинная иерархия и истреблена истинная аристократия, то

²¹⁸ *Ф.Ницше*. цит. пр. С. 302.

²¹⁹ Там же. С. 136.

²²⁰ *Шпенглер О.* Закат Европы. М.: Мысль, 1998. Т.2. С. 129.

²²¹ *Бердяев Н.А.* Философия неравенства. М.: ИМА-пресс, 1990, с. 129.

²²² Там же, С. 133–134.

являются ложные иерархии и образуется ложная аристократия. Кучка мошенников и убийц из отбросов общества может образовать новую лжеаристократию и представить иерархическое начало в строе общества. Таков закон всего живого, всего, обладающего жизненными функциями. Лишь куча сыпучего песка может существовать без иерархии и без аристократии». Обращаясь к большевикам, Николай Бердяев продолжает: «И ваше рассудочное отрицание начала иерархическо-аристократического всегда влечет за собой имманентную кару. Вместо аристократической иерархии образуется охлократическая иерархия. И господство черни создает свое избранное меньшинство, свой подбор лучших и сильнейших в хамстве, первых из хамов, князей и магнатов хамского царства. В плане религиозном свержение иерархии Христовой создает иерархию антихристову. Без лжеаристократии, без обратной аристократии вы не проживете и одного дня. Все плебеи хотели бы попасть в аристократию. И плебейский дух есть дух зависти к аристократии и ненависти к ней»²²³.

Выстраивание соответствующей иерархии – бесспорная необходимость для любого общества, намеренного быть самостоятельным субъектом Истории. Отсутствие системы элитного отбора приводит государство к химерным формам: «Демократия может быть понята как установление условий, благоприятных для качественного подбора, для выделения аристократии. При этом целью может быть поставлено отыскание реальной, а не формальной аристократии, т. е. отстранение той аристократии, которая не является царством лучших, и раскрытие свободных путей для истинной аристократии»²²⁴.

Аристократизм власти может составлять тот признак, отсутствие которого говорит о тяжелой болезни национального организма, отсутствии в нем ведущего слоя стратегической элиты. Это прекрасно понимали русские консерваторы. В начале XIX в. Л.А.Тихомиров прямо подчеркивал необходимость восстановления аристократических начал: «Если бы класс политиканов мог осесть в стране прочно, стать более или менее наследственным, то политика, перестав быть *un sale metier*, конечно, привлекла бы к себе более уважающие себя слои нации. Укрепив свое положение, новый класс мог бы вступить с народом в более тесное нравственное общение и приобрести способность выражать дух народа. Такая эволюция демократического парламентаризма привела бы к некоторому виду аристократического строя»²²⁵. Позднее И.А.Ильин писал: «Демократия заслуживает признания и поддержки лишь постольку, поскольку она осуществляет подлинную аристократию (т.е. выделяет кверху лучших людей); а аристократия не вырождается и не вредит государству именно постольку, поскольку в ее состав вступают подлинно лучшие силы народа... Демократия, не умеющая выделить лучших, не оправдывает себя; она губит народ и государство и должна пасть»²²⁶.

Демократия, как показывает история современной России, порождает особые формы правящего отбора, подрывающие жизнеспособность нации и государства. В России в конце XX в. явно выделилась новая этнополитическая идея, возводящая на пьедестал космополитическую персону в пример отречения от собственного рода, расы, истории, культуры. Идея интернационализма за полтора десятилетия переросла в идеологию русской жертвы ради достижения этнической безразличности и, наконец, в постсоветской интеллигенции воплотилась в химеру антиэлитного отбора, создающего космополитические «верхи» – антипод родовой аристократии.

Преимущества в новой системе ценностей, отбросившей природную иерархию, получают люди, предельно оторванные от национального организма, предельно денационализированные, с предельно перемешанной кровью и воспитанные в ненависти к

²²³ Там же. С. 127.

²²⁴ Там же. С. 125.

²²⁵ Тихомиров Л.А., Критика демократии. М., 1997. С. 131.

²²⁶ Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948–1954 годов, Т. 1. М.: Параг, 1992, С. 128.

национальному телу и национальному духу. Именно перемешанность кровей и публичное оглашение своей особенности открывает доступ в «клуб избранных» – новую элиту²²⁷.

Внушение лояльности

Понимание политики, как столкновение «своих» и «чужих» позволяет ставить вопрос о формировании соответствующих общностей «свои» и «чужие» и взаимодействии между ними, образующими политический процесс. Поскольку предметом этого взаимодействия является система делегированных полномочий (внутренняя форма консолидации социальной общности), а целью – политическая власть (система защищенных статусов), необходимо понять, каким образом в современном информатизированном мире складываются соответствующие отношения.

Стремление политиков быстро обеспечить себе наивысший должностной (или в целом институциональный) статус наталкивается на противоречие его законам формирования авторитета. Авторитет есть оценка репутации человека, связанная в сознании окружающих с решением содействовать ему в реализации декларируемых им целей. Это содействие выражается в добровольном отказе от некоторых своих прав в пользу дела, которое он делает. Возникает система взаимных прав и обязанностей, которая есть ничто иное, как система статусов, не институализированных в конкретных проявлениях, но очень чувствительная к любому колебанию в поведении носителя репутации. Это личный статус, ориентирующий не на функцию, а на личность.

Проблема общества состоит в *несоответствии между авторитетом и должностью*, которое выражается в несовпадении ролей, обеспечивающих наибольшее продвижение в должностном положении (или положении престижа), и ролей, обеспечивающих продвижение по части личного статуса, очищенного от должностной составляющей – авторитета. Т. е. наблюдается *рассогласование статусных иерархий*, наличие ранговых шкал в разных частях общественного сознания: одни и те же статусы, одни и те же способы выполнения ролей по-разному могут оцениваться различными группами людей. Противоречие может разрешаться только применением различных форм власти.

При всем многообразии трактовок власти она сводится к приказу (устному или письменному) необратимым способом перераспределяет ресурсы (материальные, интеллектуальные, финансовые и т. п.). Возникает вопрос, что заставляет одного человека следовать воле другого?

Власть опирается на две первичные позиции: *способность внушать лояльность* свободную (под воздействием авторитета, харизмы) и/или принудительную (путем угрозы насилия или какой-либо оплаты лояльности). В первом случае действует авторитет пассивный, когда ему подчиняются без обиняков, или активный, вынужденный стремиться к убеждению и манипуляции. Во втором случае власть реализуется через запрет, создание какого-либо препятствия и побуждение, за которыми всегда стоит угроза ущерба. Объект подчиняется приказу в силу надежды на вознаграждение или ненанесение вреда.

Сила власти не может применяться исключительно в форме акций насилия, запрета и принуждения. В своих естественных пределах власть ограничена установленными ею общими правилами. Есть область эффективного применения власти и есть *для власти зона недоступности*, внедрение в которую разрушает свободную лояльность, но не создает эффективной системы принудительного исполнения властных распоряжений. *Зона свободной лояльности* – это зона самодеятельности общества, которое воспитывается свободой в определенных рамках, ставит власть, страхуясь от саморазрушения и хаоса. В этом смысле государство и гражданское общество составляют единое целое, поделенное

²²⁷ Характерной в указанном отношении является книга некоего Юрия Безелянского «5-й пункт, или Коктейль “Россия”», фрагмент которой был опубликован в газете «Вечерняя Москва» 7 сентября, 2000.

порой достаточно неясной границей и связанное сложной системой иерархических отношений.

Поэтому существуют более тонкие механизмы власти, в которых сочетаются принудительные и свободные формы лояльности. Такими механизмами являются, например, создание иерархии делегирования власти (побуждение другим центром власти) или «правление предвиденных реакций» (побуждение непрямыми действиями). Особую «тонкость» им придают современные методы властвования через управление коммуникацией – обменом информацией и символами.

Юрген Хабермас в ряде своих работ разрабатывал теорию коммуникативного действия²²⁸. В противоположность инструментальному (вещному, техническому, «ставшему») действию он относил к сфере коммуникативного действия политику, право, культуру, объединяемых по признаку присутствия ориентации на передачу традиционных культурных ценностей. Коммуникативное действие также выделяется как один из типов социального действия и сводится к интеракции владеющих речью и способных к действию субъектов. Интеракция имеет целью достижение понимания.

Прочие типы социального действия имеют иной смысл. В *телеологическом* действии актер выбирает средства и методы по своему усмотрению, исходя из собственных представлений об успехе. *Нормативное* действие предполагает соотнесение с социальной группой и ее ценностями. *Драматургическое* действие отчасти совмещает оба предыдущих типа – отдельный актер пытается образовать свою публику и вызвать в ней образ самого себя через самопрезентацию собственного внутреннего мира.

Поскольку *коммуникативное действие* угнетается, как полагает Хабермас, инструментальным действием, происходит отчуждение политического действия (акта) от его носителя (актера) и возникает политическое манипулирование. Таким образом, Хабермас рассматривает коммуникацию как совместное действие, выгодное в равной степени ее участникам. Тогда канал коммуникации рассматривается равнопроницаемым для участников коммуникации, по крайней мере, в идеале, к которому нужно стремиться. Неравенство участников коммуникации становится как бы ее срывом, обращением его в манипулирование.

Это романтическое представление игнорирует повсеместное присутствие манипулирования в политике, включенность манипулирования в политический процесс как обязательный компонент. Иначе, само понимание политического вырождается до общения дружелюбных и заинтересованных в пользе друг друга партнеров. Реальный процесс коммуникации всегда выстраивает иерархию влияний, в которых партнеры по коммуникации не равны. Только таким образом может быть реализована политическая власть. И в этом смысле политическая коммуникация всегда носит на себе отпечаток инструментальности, а коммуникация как таковая всюду внушает лояльность к определенным символам (в частности, к символам государства, политической власти).

Мишель Фуко, объясняя «генеалогию власти», говорит о том, что любой дискурс является элементом или тактическим блоком в поле силовых отношений. Любой дискурс включен в мобильное поле отношений власти, образует их компонент и не может быть очищен от властных функций и характеристик²²⁹. То есть, коммуникативная асимметрия всегда налицо и присутствует как форма проявления власти.

«Любое общество, — писал Фуко, — имеет свой собственный порядок истины, свою «общезначимую» политику истины: то есть оно делает акцент на определенные виды дискурса, которые позволяют ему функционировать в качестве истинного дискурса; существуют механизмы и инстанции, которые делают возможным разграничение истинных и ложных высказываний и определяют модус, в котором санкционируются одни или другие; существуют приоритетные техники и процедуры нахождения истины;

²²⁸ Habermas J. A. Theorie Communicative Action. См. также Ю.Хабермас. К логике социальных наук. Реферативный сборник «Современная западная социология», ИНИОН РАН, Вып. 1, 1991.

²²⁹ Foucault M. Archeologie des Wissens. Frankfurt am Main. 1973. S.42.

существует определенный статус для тех истин, которые уже обретены, определения того, являются ли они истинными или нет»²³⁰.

Эта властная самобытность внедрена в общественные науки и через них сложным опосредованным путем внушает лояльность к институтам государства. Утрата «политики истины», представлений об определенной самобытности социального дискурса (как это было в конце 80-х годов XX в. в СССР) означает, что власть утратила свои символические признаки и в состоянии опираться только на прямое насилие, а значит, не в состоянии внушить лояльность наиболее эффективными методами и идет на риск применения силовых методов принуждения к лояльности.

Вероятно, именно тогда существенными становятся «вневластные» элементы культуры, о которых писал Ролан Барт – силы свободы, способные преодолеть идеологические стереотипы и дефетишизировать социальную действительность²³¹. И единственный способ вырваться из дискурса власти, которым захвачен язык («общеобязательная форма принуждения»²³²) – это литературные тексты, позволяющие «расслышать звучание вневластного языка»²³³.

В связи с этой теорией мы можем говорить, что одной из задач государства является утверждение и распространение универсальных форм языка, всеми возможными методами стесняя ненормативную лексику. Абсолютизация такой государственной функции внушения лояльности были акции против анекдотов, применяемые в сталинский период (а отчасти и позднее). Вместе с тем, и обратное – уклонение от регулирования языковых норм – крайне пагубно действует на состояние общества. В этом случае «вневластный» язык становится общеупотребимым и рушатся объединяющие нацию ценности, перестают уважаться символы, и последним аргументом государства остается лишь полицейская дубинка.

Речь идет о том, что государство, осуществляя власть, обязано заботиться как об ограниченности сферы своего применения (чтобы не нарушить механизмы выработки свободной лояльности), так и о том, чтобы эффективные формы реализации власти сохранялись, прежде всего в сфере коммуникаций и в языковой сфере. Последнее приводит к мысли, что одна из форм представления системы циркуляции власти есть система информационной коммуникации, а власть есть информация, циркулирующая в этой системе. Тогда «энергетической ценностью» становится языковая норма, которая позволяет верно и однозначно трактовать дух и букву закона и приказа, а также символические ценности.

Особенности современных властных отношений

Типологии власти посвящено множество работ²³⁴, которые, сходны в одном – власть реализуется преимущественно принуждением, манипуляцией и побуждением (reward power), зачастую – демонстрацией силы и признанной легитимности. Реже говорится о таких типах власти, которые связаны со стремлением подданных (существующим или создаваемым) идентифицироваться с самой системой господства (своего рода мимесис по отношению к власти). Тогда вступает в действие власть как привлечение (attrahent power), власть как авторитет (убеждение) и референтная власть. Отдельные исследователи выделяют такой тип власти, который возникает при формировании объекта власти и закладывании отношения господства-подчинения в заданные его характеристики. Менее «интенсивными» формами власти являются сдерживание (в форме создания препятствий), уступка по предвидению (anticipatory surrender, правление предвиденных реакций), реакция (символическая демонстрация

²³⁰ Foucault M. Wahrheit und Macht.// Dispositive der Macht. 1978. S. 51.

²³¹ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С.548.

²³² Барт Р., Там же. С.549.

²³³ Барт Р., Там же. С.550.

²³⁴ См., например, обзор в Ледяев В.Г. Формы власти. Типологический анализ// Полис, 2000. №2.

власти, порождающая надежду объекта на вознаграждение или ненанесение вреда). Дополнительно иногда выделяется экспертная власть, хотя современное общество принято называть информационным, и тех, кто владеет информацией, обычно считают владеющими и властью.

Можно привести лишь незначительное количество работ, ставящих проблему информации на первое место при определении власти. Например, следует упомянуть книгу С. Ароновица «Наука как власть. Дискурс и идеология в современном обществе»²³⁵, посвященную концепции научного дискурса как дискурса власти. Автор говорит о новых источниках власти, таких как научные лаборатории в промышленных фирмах, научно-производственные объединения, экспертные группы государственных органов. Отечественные исследования в этой области представлены статьей А.П.Огурцова, который пишет о наращивании властных функций науки²³⁶. Проблеме информации уделял внимание и Пьер Бурдьё: «Государство накапливает информацию, обрабатывает ее и перераспределяет. А самое главное, совершает теоретическое объединение. Ставя себя на точку зрения Целого, общества в целом, оно несет ответственность за все действия по тотализации, в частности через перепись и статистику или через национальный учет, и объективации — посредством картографирования, целостного, обзорного представления пространства или просто через письменность как средство накопления знания (например, архивы), а также кодификации, как когнитивной унификации, включающей централизацию и монополизацию в пользу духовных лиц или ученых»²³⁷.

Если власть есть коммуникация, то борьба за власть означает конкуренцию за средства коммуникации. И в этом смысле «пространственные позиции» (например, кабинет с телефоном) трансформируются в социальные и наоборот. Как пишет Бурдьё²³⁸, от положения в физическом мире зависят социальный статус, социальная позиция. Результатом борьбы за власть явились максимальное освоение пространства и символическая позиция в нем, позволяющая держать дистанцию относительно нежелательных вещей, явлений и персон и сокращать ее относительно желаемых вещей, явлений и персон.

Власть реализуется через обладание различными *видами капитала* (экономический, культурный, социальный, символический – престиж, репутация, имя...), который в свою очередь дает возможность приобретать прибыль: рента от ситуации (нахождение рядом с дефицитными и желательными вещами и процессами); прибыли ранга (престиж), прибыли от оккупации пространства (арендная плата). «Государство есть завершение процесса концентрации различных видов капитала: физического принуждения или средств насилия (армия, полиция), экономического, культурного или, точнее, информационного, символического — концентрации, которая сама по себе делает из государства владельца определенного рода метакapиTaлa, дающего власть над другими видами капитала и над их владельцами. Концентрация различных видов капитала (которая идет вместе с формированием соответствующих им полей) в действительности приводит к возникновению некоего специфического капитала, собственно государственного, позволяющего государству властвовать над различными полями и частными видами капитала, а главное — над обменным курсом между ними (и тем самым над силовыми отношениями между их владельцами). Из этого следует, что формирование государства идет вместе с формированием поля власти, понимаемого как пространство игры, внутри которого владельцы капитала (разных его видов) борются именно за власть над государством, т. е. над государственным капиталом, дающим власть над различными

²³⁵ Aronowitz S. Science as power. Discourse and Ideology in Modern Society. Hampshire. Minnesota. 1988.

²³⁶ Огурцов А.П. Научный дискурс: власть и коммуникация (дополнительность двух традиций) // Философские исследования, 1993. № 3. С.12–59.

²³⁷ Бурдьё П. Дух государства...

²³⁸ Бурдьё П. Социология политики. — М.: Socio-Logos, 1993.

видами капитала и над их воспроизводством (главным образом, через систему образования)»²³⁹.

Коммуникативная природа власти проистекает из природы современных СМИ. Систематическая подача фактов, ответственность за выводы и прогнозы и т.д. требует уровня профессионализма, недостижимого в условиях «свободы слова». Эта свобода, добытая в другую эпоху и означавшая возможность свободно выражать свои мысли, преобразилась в право продавать информационный суррогат. Массовость информации породила ее тотальную бессистемность, новости стали потоком бессвязных фактов, воздействующим на эмоции и угнетающим способность потребителей информации мыслить.

Чтобы быть в курсе текущих событий, человек должен забывать вчерашние новости. В политической сфере это означает утрату способности здраво размышлять о политике. Все размышление сводится к досужим разговорам о текущих скандалах. Для гражданина политика становится лишь темой праздных бесед. Кроме того, происходит дискредитация политического мышления как ретроградства, не способного знать актуальную ситуацию. Возникает мода стыдиться за «политизацию». Общественным мнением теперь считается деполитизированное мнение о текущих фактах и ложная свобода суждений, которые в действительности предопределены информационной обработкой сознания. Таким образом в современной легальной политике происходит удивительный процесс перехода от мышления к животным инстинктам. Мышление становится нелегальным и маргинальным явлением. Для власти (государственной или партийной) открываются колоссальные возможности дрессуры подвластных средствами пропаганды.

Жак Эллюль верно заметил, что «вплоть до нашего времени невозможно было создать целый иллюзорный мир важных фактов, и люди не жили в подобного рода иллюзорном мире. (...). Современный мир – это мир, где все переведено в представления, где все является воображаемым»²⁴⁰. От СМИ и государственных мужей, имеющих в руках средства регулирования из деятельности, зависит, будет ли эта иллюзия каким-то образом просветлять рассудок и вдохновлять нацию на реальные действия, или же иллюзия будет разрушительной во всех отношениях.

Вопрос в том, что пробуждает государственная пропаганда (или деятельность СМИ и отведенных им рамках): национальные архетипы или губительные предрассудки? Унифицированная пропаганда «общечеловеческих ценностей», с которой мы сталкиваемся в России в последние полтора десятилетия, даже не предоставляет возможности конкуренции пропагандистских проектов – наши иллюзии не являются следствием победы одной пропаганды над другой (каждая задействует наиболее динамичные элементы восприятия, типы мышления того или иного человека). Либеральная пропаганда, лишенная рамок и элементарного контроля со стороны государства, поддержанная им и огражденная от критики, становится механизмом последовательного изничтожения нации.

В результате мы становимся заложниками такого политического мира, который Запад еще некоторое время назад чувствовал в себе, как страшную болезнь. Такой политический мир, как о нем пишет Эллюль, «сравнительно самостоятельная реальность, навязанная миру осязаемых фактов, – реальность, состоящая из лозунгов, из образов, представленных в черном и белом свете, и банальных суждений, отстраняющих людей от наблюдаемой чувственной действительности, чтобы заставить их жить в единственном мире с присущей ему логикой и согласованностью. Это такой мир, который все навязчивее сковывает собой людей, так, что они не могут уже войти в контакт с чувственно осязаемым миром»²⁴¹.

²³⁹ Бурдьё П. Дух государства...

²⁴⁰ Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. С. 205.

²⁴¹ Там же. С. 204.

С удовлетворением и тревогой мы должны встречать проявившуюся в среде молодежи тенденцию полного отказа от потребления либеральной иллюзии и моду на маргинальность. Выход из-под пресса либеральной пропаганды, с одной стороны, обещает возвращение человека политического, способного к мысли и организации. С другой стороны, он опасен антигосударственным нигилизмом и впадением в иные разрушительные и тотальные иллюзии. И здесь снова возникает выбор, который делает государство: либо позволить иллюзиям разорвать нацию на части, либо выдвинуть адекватный национальной истории Большой национальный миф.

Целостная медийная концепция власти была разработана Николасом Луманом, который определяет власть в качестве *символически-генерализированного медиума коммуникации*, подобного катализатору, ускоряющему или замедляющему, а также управляющему каналами коммуникации, альтернативами коммуникативного обмена. Под *генерализацией* понимается *обобщение смысловых ориентаций*, позволяющее закрепить тождественный смысл среди различных партнеров в различных ситуациях с тем, чтобы иметь тождественные или похожие представления (т.е. концентрация смысла в символе). Средства коммуникации развивают символически генерализованные коды для совместного ориентирования участников коммуникации. Власть – это регулируемая кодом коммуникация. Государство – говорит Луман – есть высший пункт генерализации власти, смысловая референция всех операций политической системы²⁴².

Власть всегда связана с неопределенностью коммуникации и возможностью выбора, который устраняет эту неопределенность для подвластного. В силу множества альтернатив и определенной свободы выбора у подвластного (без чего власть не имела бы смысла – она не побуждала бы к определенному выбору) возникает «игровое пространство» для генерализации и спецификации особого медиума коммуникации, который и есть власть в современном смысле слова («четвертая власть»). Функция власти состоит в том, чтобы сделать свое влияние на коммуникацию независимым от воли подвластного. Причем речь идет не о разрушении воли подвластного, а о ее нейтрализации и создании иллюзии свободного выбора альтернатив, в котором воля подвластного несущественна для власти.

Углубление дифференциации общества и специализации коммуникаций делает задачу власти взять подвластных под полный медийный контроль неосуществимой. Более того, власть смещается в сторону подвластных. Луман пишет: «Собственнику остается потенциал угрозы: он может вывести из предприятия свои средства. Но тем самым – с точки зрения техники власти – он окажется в невыгодном положении по отношению к тому, кто уже ангажирован предприятием и отнюдь не намерен его ликвидировать. У возможных противников собственника появляется, таким образом, возможность эксплуатировать его в рамках организации, поскольку его ликвидационная власть слишком велика для того, чтобы ее можно было эффективно использовать внутри организации»²⁴³.

Власть приводится в исполнение благодаря тому, что она стремится оказать влияние на отбор действий (или бездействий) в виду других возможностей. При этом власть оказывается тем сильнее, чем больше свобода со стороны подверженного ей, чем менее подвластный закреплен в своем собственном выборе альтернатив. Одновременно она тем сильнее, чем больше различных решений может избрать для властного проведения. Наряду с этим власть тем больше, чем больше она может осуществляться вопреки партнеру, со своей стороны обладающему различными значительными альтернативами и способами воздействия на коммуникацию. Таким образом, власть возрастает с *увеличением числа альтернатив* и способностью продуцировать коды, управляющие выбором из этих альтернатив.

²⁴² Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С. 249.

²⁴³ Там же. С.160.

Принуждение – это пресечение возможностей выбора (отказ от преимущества символического генерализования и от управления селективностью партнера). Таким образом, принуждение, как властное деяние, ведет к уменьшению власти или же применяется в условиях ее нехватки – принуждающий берет на себя всю нагрузку, связанную с выбором и принятием решения.

Возврат к традиционным формам власти, которые с точки зрения коммуникативной теории выглядят проявлением слабости, все-таки неизбежен. Ибо власть должна постоянно восстанавливать у подвластных свой зримый образ и будить соответствующие национальные архетипы. Тогда коммуникативное управление заменяется отсылкой к символам, которые ясно свидетельствуют о распределении ролей и подчиненном состоянии подвластного.

Насилие не может пониматься просто как «последнее средство», «оно опосредует отношения символического уровня с уровнем органическим, *не ангажируя при этом такие неполитические функциональные области, как экономика или семья*. Благодаря этому насилие делает возможным дифференциацию специфически политической власти, которая должна отвечать неременному условию — не «вырождаться» в физическое насилие»²⁴⁴.

Луман говорит, что насилие требует организации решений по его применению²⁴⁵. Российский опыт войны в Чечне показывает, что дезорганизованное насилие малоэффективно с точки зрения защиты государственной власти.

«Физическое насилие, намеренно применяемое по отношению к людям, упорядочивается в рамках соотнесенного с действием коммуникативного средства власти благодаря тому, что *одно действие* элиминируется им *на основе другого*, исключая тем самым коммуникативный перенос редуцированных предпосылок решений. Обладая такими свойствами, физическое насилие как таковое не может быть властью, но оно образует непреодолимый пограничный барьер для конституирующей власти *альтернативы избегания*. Здесь становится понятен смысл рассмотренных выше свойств симбиотических механизмов: возможность применения насилия не может игнорироваться ни одной из сторон коммуникации; насилие обеспечивает сильному *большую надежность* в преследовании своих целей; оно *может применяться почти универсально*, поскольку в качестве средства оно не привязано ни к определенным целям, ни к определенным ситуациям или мотивациям участников коммуникации; наконец, поскольку речь идет об относительно простом действии, то его легче *организовать*, а значит, за исключением случая самоудовлетворения, и *централизовать*. Не стоит представлять дело так, будто общественное развитие автоматически порождает власть, в которой оно нуждается, будто власть возникает сама собой как побочный продукт общественной дифференциации, а затем используется обществом в целях перекрытия более высокой комплексности и более высокой контингенции возможных действия. В пику этому подходу следует заметить, что власть, опирающаяся на структурно обусловленные зависимости, в ходе растущей дифференциации существенно ослабляется, получает функциональную специфичность и лишается локализации, скажем, как власть руководства ремонтной бригады над рабочими-сдельщиками в структуре предприятия. Формирующиеся при образовании власти структурные зависимости требуют поэтому соответствующей эластичности. (...) Следует искать такие основания власти, которые не зависят исключительно от общественной дифференциации, но могут применяться универсально. На уровне общества в целом этому служит такое основание власти, как физическое насилие»²⁴⁶.

Вернувшись, таким образом, к исходной форме власти, к физическому насилию, мы же должны за системой символов и сетью коммуникаций различать и локальную проблему – возможность лишь ненасильственных оснований власти в стабильном

²⁴⁴ Там же. С. 97.

²⁴⁵ Там же. С. 101.

²⁴⁶ Там же. С. 102.

обществе, если данная проблема не касается общества в целом. Государство может применить прямое насилие лишь локально, если не желает идти на риск саморазрушения в гражданской войне. Любая локальная власть также в состоянии применить прямое насилие лишь в более дробных локусах, где физическое насилие заведомо не может встретить равного сопротивления. Соответственно, власть может воздействовать на общество лишь через систему коммуникаций, лишь средствами пропаганды. Отказ от государственных средств массовой информации или уступка независимым СМИ, рост частных форм образования и размывание единого образовательного стандарта делают власть игрушкой в руках конкурирующих информационных и образовательных проектов. Аналогичным образом и на локальном уровне власть подвергается опасности деструкции, если утрачивает пропагандистский потенциал.

Согласно Бурдье, консолидация любой политической группы осуществляется через способность делать свои установки публичными, видимыми, должными, официальными, т.е. через коммуникацию, в процессе которой формируется «здравый смысл» группы, ее символичные коды, многократно упрощающие и ускоряющие формирование понимания «своих». Таким символом, который Бурдье выделяет как простейшую форму власти, является номинация. Право использовать эту силу от имени группы есть, безусловно, инструментальная форма коммуникации. Ее неравнозначность для участников коммуникации очевидна, как и неизбежность такой неравнозначности при образовании любой политической группы.

В этой связи следует более внимательно отнестись к ситуации, когда определенные термины, задействующие феномен харизмы, становятся общедоступным достоянием. Из современного опыта России можно привести пример, когда академическое звание демонстрировало предельно высокий уровень научного авторитета, университет означал высочайший образовательный статус, ордена и медали – выдающиеся заслуги перед страной. Утрата значимости этих символических форм капитала, которым располагало государство, незаметно подрывает и авторитет самого государства, не в состоянии собрать этот капитал ради легитимации своих стратегических решений. Информация, которую государство может предложить обществу через средства коммуникации, становится неструктурированной, лишенной заметных символических ценностей.

В целом символический характер политической коммуникации выражается в том, что изолированные агенты могут конституироваться как политическая группа тем сильнее, чем больше они объединены символически. Таким образом, из положений, выдвинутых Бурдье, прямо следует, что политика связана именно с инструментальными элементами коммуникации, с присутствием в ней символических кодов, вызывающих по виду иррациональный отклик у подвластных. Мы должны поэтому говорить о концентрации символического капитала у государства, которое задействует в своих властных решениях весь культурный капитал нации, осуществляя отбор форм и содержания коммуникации по своему усмотрению.

Неравенство участников политической коммуникации (в особенности, коммуникации властвующих и подвластных) предполагает специальную подготовку, например, владение риторикой дебатов и публичных выступлений. Политик, таким образом, есть профессиональный коммуникатор, а властвующий политик – владелец средств коммуникации, которые он использует по своему усмотрению, пропуская через ее каналы коммуникации стратегически выверенную цепь символов, мобилизующих его сторонников. Конкурентной борьбой за власть является борьба за средства мобилизации, т.е. за участие в коммуникации с потенциально подвластными. Все, что остается подвластным в политике – это почти всегда безотчетное участие в формировании поля культуры, откуда политики черпают «кванты» коммуникации – пакеты символов, запускаемых в каналы коммуникации.

В культурном поле власть всегда расценивается как божественное (точнее – таинственное потустороннее) присутствие. Но реальная власть предполагает вполне

осмысленное искание тех форм, которые общество способно переносить и дают в руки властвующим реальные рычаги управления.

При невозможности измерить «количество власти» всегда на локальном уровне можно говорить о ее уменьшении (расхождении) или увеличении (приращении). Некоммуникативные методы власти снижают мобильность подвластных, вынуждают власть пользоваться неэффективными средствами мобилизации, что в целом ослабляет ее. Но в критические периоды истории насилие и диктатура вполне могут резко изменить траекторию развития общества, переместить ее из состояния последовательно развивающегося кризиса. В этом смысле «архаические» методы власти могут в какой-то момент оказаться более эффективными, чем современные информационные – производить лояльность более эффективно, чтобы в дальнейшем захватить каналы коммуникации и наладить трансляцию иного символического ряда, чем тот, который завел общество в тупик.

Главная проблема власти – выбор идеи, которая могла бы служить формированию свободной лояльности масс, прочности государства и развитию нации. Дополненная технологическими, инструментальными методами такая идея способна воссоздать жизнеспособность национального организма в условиях кризиса.

Бурдье писал: «...чтобы действительно понять, как достигается непосредственное подчинение государственному порядку, нужно порвать с интеллектуализмом неокантианской традиции и понять, что когнитивные структуры являются не формами сознания, а телесными предрасположенностями, и что подчинение, которое мы выказываем государственным предписаниям, нельзя понимать ни как механическое подчинение силе, ни как сознательное принятие порядка (во всех смыслах этого слова). Социальный мир изобилует призывами к порядку, которые выполняют только те, кто предрасположен их замечать, кто обнаруживает глубоко заложенные телесные диспозиции, однако при этом не выводит их на уровень сознания или расчета. Именно этого докситического подчинения доминируемых агентов структурам социального порядка, продуктом которого являются их мыслительные структуры, не мог понять марксизм в силу того, что остался ограниченным интеллектуалистской традицией философии сознания. В концепции «ложного сознания», которое ввел марксизм для объяснения эффектов символического доминирования, лишним является «сознание», а говорить об «идеологии» — значит поместить в порядке представлений, поддающихся преобразованиям посредством интеллектуальной конверсии, которую называют «сознанием», то, что помещалось в порядке верований, т. е. в самой глубине телесных диспозиций. Подчинение установленному порядку есть результат соглашения между когнитивными структурами, которые коллективная история (филогенез) и индивидуальная история (онтогенез) воплотили в телах, и объективными структурами мира, к которому они применяются»²⁴⁷.

Оппозиция или лояльность к государству (да и каким-либо идеям вообще) имеют свою «телесность». Стили мышления тесно связаны со стилями жизни, и это обстоятельство следует учесть в нашем анализе «партийных» теорий государства и их центральных идей. Для нас немаловажным будет также понимание коммуникативной природы нации и национализма²⁴⁸.

Власть как задача управления

Пьер Бурдье видел проблему функционирования бюрократического микрокосма как средство понять символический план воздействия государства. Для этого он предлагал «проанализировать генезис и структуру того мира агентов государства, которые смогли превратиться в государственную знать в процессе установления государства и, в

²⁴⁷ Бурдье П. Дух государства...

²⁴⁸ Deutsch K. Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1966.

частности, в процессе производства перформативного дискурса о государстве»²⁴⁹. История дискурса и образования правящего слоя любопытна, но слишком разнообразна, чтобы пытаться на основе невероятного массива информации выделить сначала нечто общее, а потом прикладывать его к российской проблеме власти. Более практичная задача – проанализировать имеющуюся бюрократическую машину с точки зрения задачи текущего государственного управления – легально-формального и скрыто-опосредованного.

Повседневное господство, пишет Макс Вебер, — это прежде всего управление. Согласно Веберу, основным признаком бюрократии является систематическое разделение труда, при помощи которого административные проблемы разбиваются на ряд поддающихся решению задач, относящихся к сфере деятельности различных должностных лиц и координируемых в рамках централизованной иерархии. Подчиненность правилам позволяет бюрократии вести большое число дел единообразно, тогда как наличие процедур для изменения этих правил освобождает от ограничений традиции.

Легальность господства является немым условием единообразия, поскольку тайная унификация невозможна настолько же, насколько нелепо было бы предполагать тайное распространение среди граждан знаний о законе. Господство, как управление обществом, публично, хотя и может предполагать некоторые тайные операции власти. Но поскольку господство возникает в обществе и порождено политическими процессами, любая тайна предполагает явные следствия или последующую легализацию.

Вебер выделяет набор значимых для легального господства представлений, которые должны бытовать в обществе. Прежде всего, легальность означает заключение рационально ориентированного договора (целерационального или ценностно-рационального), требующего от членов политического союза (общества, партии, группы) уважения, а от подконтрольных ему личностей (например, не имеющих статуса гражданина) подчинения. Далее законом/правилом устанавливается специальный надзор судебного характера. Легальная власть олицетворяется в господине, правящим не произвольно, но в силу безличного порядка, который он реализует в своих распоряжениях. Подчинение этим распоряжениям осуществляется лишь в силу договора – в порядке принадлежности к политическому союзу. Подчинение осуществляется не личности господина, а безличному порядку, имеющему определенные рамки и не действующему за их пределами. В сфере государственного управления это означает разделение личного и служебного.

Полагая государственную власть легальной и связанной той же договорной обязанностью, что и политический союз, Вебер делает вывод о том, что управленцы действуют только в силу закона и не выходят за его рамки, меры принуждения ясно очерчены, служебная иерархия и разделение труда четко выстроены, а в частной жизни чиновник оказывается независимым от этой иерархии. В действительности ничего подобного государственный аппарат не представляет, а в его работу вклиниваются «нелегальные» формы господства, которые порой значительнее, чем все формально установленные правила и законы.

Вебер полагал, что определяющие характеристики бюрократии выступали необходимым условием организационной эффективности, но в определенных и строго ограниченных рамках: «Как показывает опыт, чисто бюрократический тип управленческой организации способен, с чисто технической точки зрения, достичь наивысшей степени эффективности ...и превосходит любую иную форму по своей точности, стабильности, дисциплине, и надежности»²⁵⁰. В другом месте он утверждал: «Полностью развитый бюрократический механизм находится в таком же отношении к

²⁴⁹ Бурдые П. Дух государства...

²⁵⁰ Weber M. Theory of social and economic organization. New York, 1964. P. 337.

другим формам организации, как машина к немеханическим способам производства»²⁵¹. То есть, границы эффективности определены для бюрократии чисто техническими рамками, а также механическими инструментами. «Полевая теория» власти или теория «продуктивного хаоса» также говорит о том, что интегральная эффективность связана с некоей ценностной позицией, возникающей помимо соображений механической эффективности бюрократического плана.

Бурдье указывал и на немеханические элементы в самой бюрократической системе: «Социологический взгляд не может не замечать расхождения между официальной нормой как она формулируется в административном праве, и действительностью административной практики со всеми ее нарушениями обязательства бескорыстия: «использованием служебного положения в личных целях» (злоупотребление материальными благами или общественным положением, коррупция или взяточничество) или, в более извращенной манере, незаконные льготы, административное невмешательство, отступления от закона, торговля служебным положением, — всем тем, что служит получению выгоды от неприменения или нарушения закона. Но вместе с тем, социолог не может не видеть результатов деятельности этой нормы, требующей от агентов принести свои частные интересы в жертву обязательствам, входящим в их функции («служащий должен отдавать себя работе целиком»); точнее, — если быть реалистом — он не может не видеть эффектов личной заинтересованности в бескорыстии и всех тех разновидностях «лицемерного благочестия», появлению которых может способствовать парадоксальная логика бюрократического поля»²⁵².

Мы открываем здесь удивительную связь «негатива» и «позитива» в монополизации в руках чиновничества всех форм символического капитала. Монополия сама собой накладывает на чиновника обязанность хотя бы внешне соответствовать всеобщему легальному интересу и не выставлять напоказ свой интерес (т.е. формально пребывать в рамках легального господства). Тем не менее, частный интерес в деятельности чиновника все-таки присутствует, так как он может превращать власть в неструктурированную «аморфную власть», формально действующую в рамках права, но осуществляющую собственный и целенаправленный выбор из предоставляемых правом вариантов.

Как говорил Вебер: «Центральный вопрос заключается в том, что мы можем противопоставить этой машине, чтобы предохранить человеческую природу ...от полного господства бюрократических идеалов»²⁵³. «Как вообще возможно, - писал Вебер, - перед лицом этой всепобеждающей тенденции к бюрократизации сохранить какие-либо остатки индивидуальной свободы?»²⁵⁴.

По критерию рациональной эффективности Вебер видит, что превосходит бюрократию лишь частное лицо, заинтересованное в прибыли, т.е. капиталистический предприниматель. И именно он заинтересован в подрыве абсолютного господства бюрократии и либо противопоставления различных рациональных стратегий (отраслевая конкуренция), либо воздействия на бюрократию эффективными иррациональными методами, среди которых информационные могут приобретать особое значение. Но к этому варианту противостояния всевластию бюрократической машины Вебер не подошел. Для него было очевидным, что «капитализм требует развития бюрократии, поскольку капитализм также является самым рациональным экономическим основанием (так как поставляет в распоряжение государственной казны необходимые денежные средства), на котором государство может существовать в самой рациональной форме».

Соответственно в веберовской теории остается иррациональный элемент: капитализм желает усиления бюрократии, но одновременно и противостоит ей, стремясь

²⁵¹ From Max Weber / Ed. by H.Gerth, C.R.Mills. London, 1948. P. 214.

²⁵² Бурдье П. Дух государства...

²⁵³ Beetham D. Max Weber and the theory of modern politics. 2nd edition. Cambridge, 1985. P. 81.

²⁵⁴ Weber M. Economy and society. New York, 1968. P. 1403.

обособиться в сфере предпринимательства и учредить здесь свою собственную бюрократическую систему, не подвластную государству. В этом парадоксе содержится «изюминка» – можно разрешить его, следуя неолиберальной модели государства-привратника; можно подойти к парадоксу иначе, расценив экономическую деятельность, как всего лишь один из видов деятельности человека, которая опасна лишь тем, что особый ее статус способен загнать все другие виды деятельности в резервации. В последнем случае роль государства и задача государственного управления могут быть поняты как контроль за хозяйственной сферой для сдерживания непомерных амбиций частного интереса, который и само государство готово скупить и стереть в порошок ради увеличения прибыли. Это особенно актуально для современной России.

Из веберовской модели бюрократии следует, что эффективность господства может быть достигнута благодаря рациональному разделению труда и четкому определению сфер компетенции. Практика реального управления говорит об обратном: никакая рациональность не является гарантией эффективности, если она не будет дополнением к определенному набору жизненных установок – трудовой этики, национальной солидарности и т.д. Важна мотивация деятельности чиновника, его профессиональная подготовленность к содержательным вопросам управления, способная входить в противоречие с подчиненностью приказу «сверху», а также система сбора и отбора информации, необходимой для принятия управленческих решений. Это означает усложнение критерия эффективности, в котором сталкиваются различные типы рациональности, а также внерациональные факторы.

В противовес веберовской модели бюрократии можно говорить также о множественности вариантов решения организационных проблем и необходимости реагировать на меняющиеся задачи, которые система управления призвана решать. Структура, хорошо работающая в одних условиях, может утратить эффективность в другой ситуации. Следовательно, критерий эффективности подвижен по отношению к структуре бюрократического штаба управления, обязанностям чиновников, порядку исполнения приказов и т.п. Устаревшая система управления может прямо противодействовать эффективности управления.

Определенную проблему для бюрократической системы составляют ее запланированный механизмы, безличность и равнодушие к конкретному случаю и связанным с ним отношениям. Бюрократическая иерархия препятствует проявлению индивидуальной ответственности и инициативы чиновника, что наносит ущерб всей властной системе, которая по виду укрепляется единообразием действий, а по сути уничтожает вневластные источники легитимности управляемых. Разрешить проблему сочетания легального господства с индивидуальностью служащего можно лишь путем допущения того, что Вебер считал неприемлемым, – соединения личной и служебной сферы.

Без всяких усилий со стороны общества в формальной бюрократической системе всегда существуют «лазейки», связанные с личностными качествами чиновников. То есть личностные отношения могут серьезно сказываться не в неформальных вкладах в эффективность работы аппарата. Кроме того, полагая чиновника включенным в системы массового обслуживания (если он имеет дело с гражданами), следует учитывать критерии эффективности и его способность к систематичному и быстрому налаживанию личностной коммуникации. Все это – элементы обратной связи, без которой бюрократическая машина становится механизмом, лишенным смысла. Вопрос лишь в смысловом содержании – личностный компонент проистекает из задач служения собственному эгоизму или национальным интересам.

Вебер искал противоядие безмерному разрастанию власти бюрократического аппарата в сфере баланса социальных сил, противоречия между которыми ограждают личность от прессы государственной власти. Современные демократии воспринимают эту идею и стремятся к созданию гарантий от монопольной концентрации власти. Отчасти эту

задачу решает определенная обособленность экономической и политической деятельности, в которой существуют зоны, свободные от вторжения бюрократического регулирования. Тем не менее, мощные государственные институты остаются, обеспечивая традиционные формы господства и бюрократическую систему, с неэффективностью которой общество вынуждено мириться, чтобы сохранять единство и защищать общие интересы. На определенное снижение экономической эффективности стоит пойти ради того, чтобы экономическая подсистема не подорвала изнутри систему общества/государства, которую в идеале оптимизирует не экономическую, а социальную прибыль.

Этические проблемы власти порождают в современном мире призыв к государству отказаться от ценностных ориентиров, позволяя существовать иным этическим системам. Гелен пишет: «Перед лицом необходимости привести к согласию религию, мораль и право в последнее время этос отказа от власти выступает в форме терпимости ко всему многообразию возможностей вплоть до отказа от авторитета собственной морали». В то же время «всегда требуется ответ на конкретный вопрос, кто де-факто обретает власть через запрет войны, ее криминализацию, программный пацифизм, гуманитарную метафизику и т.п. Отказ от власти может быть средством осуществления иной власти, проповедь непротивления злу насилием — неборимой формой реализации власти (Ганди)»²⁵⁵.

Ослабление государственной власти путем самоограничения в этической сфере ведет к усилению не только негосударственных форм власти (например, власти криминальных структур и инокультурных влияний), но и антигосударственных сил, которые могут быть и анархистской субкультурой, и клиентом конкурирующих экономик.

Н.Н.Алексеев пишет, что государство представляет собою также и некоторую нравственную организацию — организацию положительно установленной этики. Оно «устанавливает нравственные основы официальной государственной власти и известного нравственного давления, исходящего от государства и направленного на граждан. В первом случае речь идет об определенном самообязывании ради обеспечения легитимности». При этом «понятие социального служения на самом деле вовсе не связано со служением общей пользе, но оно вытекает из того, что государственная организация служит некоторым высшим культурным идеалам и ценностям. Государство тем и отличается от частного предприятия, что оно служит более высоким нравственным целям и утверждает себя, как учреждение, созданное для осуществления этих целей»²⁵⁶.

Следовательно, с этической точки зрения, эффективность власти связывается с определенной *этикой служения*, проблемы которой затрагивались еще Гегелем. Гегель определяет политическое государство идеальностью двух моментов: а) соединение его особых функций в идее целого; в) свойственность (имманентность) особых функций, которые связаны с индивидами их осуществляющими, но не стороны их непосредственной личности, а со стороны их всеобщих и объективных качеств. «Поэтому, — заключает Гегель, — государственные функции и власти не могут быть частной собственностью», а чиновники правомочны вести дела государства в силу своих объективных качеств²⁵⁷. Этика служения как раз и есть эта самая «объективность», т.е. приверженность к нормам, лежащим вне системы управления и вне соображений о ее формальной легитимности и эффективности.

Гегель вводит понятие внутреннего и внешнего суверенитета. В феодальной монархии, как считает Гегель, внутреннего суверенитета у государства не было, поскольку особые функции государства «находились в ведении независимых корпораций и общин, и целое представляло собой скорее агрегат, чем организм»²⁵⁸.

²⁵⁵ Gehlen A. Ibid.

²⁵⁶ Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 532.

²⁵⁷ Гегель, Цит. пр. С. 316–317.

²⁵⁸ Там же. С. 317.

Данное умозаключение весьма важно для анализа государственности современной России, в которой вместе с процессом приватизации собственности активно проводились приватизация функций государственного управления, образование кланов и группировок, контролировавшие не только целые отрасли государственного хозяйства, но и разделы госбюджета, и ряд других функций.

Гегель выводит этические нормы для чиновника именно из его безразличия к «частным страстям управляемых». Он говорит: «Государственная служба требует жертвования самостоятельным и случайным удовлетворением субъективных целей и именно этим дает право находить такое удовлетворение в сообразном долгу выполнения служебных обязанностей, и только в нем. В этом заключается, с этой стороны, связь между всеобщим и особенным интересом, которая составляет понятие и внутреннюю прочность государства. Должностное отношение не есть и *договорное* отношение, хотя здесь и налицо двойное согласие, и выполнение обязательств с обеих сторон»²⁵⁹.

И тут же оказывается, что такая этическая установка требует вмешательства извне, когда интересы чиновников, в особенности при несовершенстве учреждений, могут превратить их в аналог аристократии, а средства управления – в средства произвола. И тогда требуется вмешательство суверенной власти²⁶⁰. Приемлемый и понятный в рамках монархии метод разрешения этического и управленческого конфликта такого рода становится малопродуктивным в других условиях. И это ставит на повестку дня задачу выработки этических норм государственного чиновника в современном государстве.

Очевидный тупик в поиске управленческой эффективности – договорной подход теории легитимного господства Вебера, который может быть применим только к некоторым, наиболее примитивным подсистемам государственной власти. К власти в целом, очевидно, подходят требования, которым мы бы выдвинули в адрес аристократической корпорации, над которой существует власть верховного арбитра. Последняя может быть как формальной в лице национального лидера с непререкаемым авторитетом, либо неформальной в лице национальной Церкви, внушающей аристократической корпорации идею служения интересам нации и высшим ценностям.

О роли национального лидера блестяще высказался Освальд Шпенглер, нарисовав просторное поприще для политика, который видит свое бытие за горизонтом личного физического существования:

«Первая задача: что-то сделать самому; вторая, не столь видная, однако более тяжкая и великая в своих отдаленных следствиях, *создать традицию*, подвести других к тому, чтобы они продолжили твое дело, его такт и дух; отпустить на свободу поток единообразной деятельности, который, чтобы оставаться «в форме», более не нуждается в самом первом вожде. Тем самым государственный деятель становится чем-то таким, что античность вполне могла бы назвать божеством. Он делается творцом новой жизни, духовным предком юной расы. Сам он как существо через немногие годы исчезнет из этого потока. Однако вызванное им к существованию меньшинство – другое существо своеобразнейшего вида приходит на его место, причем на необозримое время. Одиночка в состоянии породить это космическое нечто, эту душу правящего слоя, и оставить его после себя, как наследника; так и производились в истории все долговременные последствия»²⁶¹.

И далее: «Традиция муштрует высокий средний уровень, на который вполне может положиться будущее: не Цезаря, но сенат, не Наполеона вовсе, но офицерский корпус. Крепкая традиция притягивает к себе таланты со всех сторон и с небольшими дарованиями добивается больших успехов. Итальянские и голландские живописные школы доказывают это в не меньшей степени, чем прусская армия и дипломатия римской кури. То был великий недостаток Бисмарка в сравнении с Фридрихом Вильгельмом I, что

²⁵⁹ Там же. С. 334.

²⁶⁰ Там же. С. 335–336.

²⁶¹ Шпенглер О. Закат Европы, Т.2. М.: Мысль, 1998. С. 471.

он умел действовать, однако не сумел выстроить никакой традиции, что рядом с офицерским корпусом Мольтке, он не создал соответствующей расы политиков, которая чувствовала бы свое торжество с его государством и его новыми задачами, которая продолжалась, вбирала бы в себя значительных людей снизу и навсегда сращивала их с тактом собственной деятельности. Если этого не случается, вместо правящего слоя, отлитого из одного куска остается сборище умов, оказывающееся беспомощным перед лицом непредвиденных обстоятельств. Если же повезет, *возникнет «суверенный народ»* в том единственном значении, которое достойно народа и возможно в мире фактов: пополняющее само себя вымуштрованное меньшинство со стабильной, созревшей в ходе длительного опыта традицией, заставляющее всякое дарование подпасть под свои чары и его использующее и именно поэтому находящееся в созвучии с направляемой им остальной нацией. Такое меньшинство неспешно делается подлинной расой, даже если оно когда-то было партией. Оно принимает решения с уверенностью крови, а не рассудка, именно поэтому все в нем происходит «само собой»: в гениях оно уже больше не нуждается. Это значит, если можно так сказать, *замену великого политика великой политикой»*²⁶².

Это действительно величайший дар и величайший подвиг – «господствовать с помощью личностей, а не распоряжений». Именно в этом и состоит задача стратегической перестройки политического управления, в нашей стране погрязшее в административном нормативизме, за которым грязным шлейфом волочится измена и коррупция.

Русская идея сильной власти

Российская интеллектуальная традиция знает глубокие мысли о фундаментальном характере власти. Для К.Н.Леонтьева проблема власти – это проблема формы, «деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться»²⁶³. Идентичность любой сущности дается только внутренней тиранией, гарантированной исключительно формой. Это закон не только социального, но и материального мира. Особенность политической власти – выражение формы в деспотизме идеи, сдерживающей социальный организм от распада.

Обсуждая сущность политической власти и ее отношение к личности, М.Н.Катков говорил, что свобода относится к лицам, власть – к учреждениям²⁶⁴. Смещение свободы и власти крайне опасно, потому что они не суть противоположности, а разноположности. Соответственно, внедрение свободы в учреждения под предлогом благотворности свободы как принципа ведет к тупику неразличения своего и чужого. Напротив, применение властных различий к личности и разночтения в понимании личной свободы унижают достоинство нации в целом. К отдельному лицу власть должна принимать позицию покровительства и равенства по отношению к учреждениям и корпорациям – развивать исключительно национальные учреждения и национальные корпорации и подавлять инациональные или антинациональные. Предоставлять свободу следует любой отдельной частной личности, но давать власть только национальным институтам, укорененным в традиции. Таково консервативное понимание государственной власти в русской традиции. Таковой должна быть и концепция господства в русском государстве.

Н.Н.Алексеев на основе изучения былинного наследия русской культуры вывел ряд формул «философии государства» русского народа²⁶⁵: Россия представляется еще совокупностью самостоятельных земель, городов и княжеств, промеж которых живут разбойники, страшные недруги и враги. Единственно соединяющей Русь силой является православная вера. Русь едина, поскольку она православная Святая Русь. Потому соединяющим моментом является не нация, а скорее, религия. Русские богатыри не ведают различия между «своим» и «чужим», раз дело идет не о басурмане, а о

²⁶² Там же. С. 471–472.

²⁶³ Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992. С.117.

²⁶⁴ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 204.

²⁶⁵ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998.

православном. Русь представляется стихией, где свободно и вольно, чисто анархически возникают властные отношения. Не долг повиновения, а свободная воля – вот отношения богатырей к князю.

«Казацкий политический идеал есть идеал романтический, соответствующий Руси удельного периода, быту Запорожской Сечи, полукочевым условиям русских степей. Оттого он и лишен практической политической программы, не обладает никаким планом собственного государственного строительства. В русской истории был целый ряд моментов, когда казацкий идеал из мечты становился действительностью. Таково было Смутное время, бунт Стеньки Разина, бунт Пугачева», – заключает Алексеев²⁶⁶.

Не случайно сближение Алексеевым политического идеала казачества с идеалами русского сектантства. И то, и другое, имея в своем внутреннем содержании мысль о «государстве правды», противопоставляет идеал реальному живому государственному организму. И как только он ослабевает, «государство правды» становится бунтом, разбойной стихией, национальным бедствием.

Как верно отмечает современный философ В.Аверьянов, «Киевская Русь лишь приняла крещение, она лишь готовила будущую миссию, она не была еще делом Православия. Но Россия, подымающаяся из запустения и разрухи после падения Киевской Руси — это уже иная страна и совсем другая история. Целиком и полностью она была и остается путем православного духа, его магистральным промыслительным руслом, несмотря на то, что внешне все может казаться по-другому»²⁶⁷.

В связи с этими историческими обстоятельствами национальная русская модель государственной власти не может опираться на доправославные архетипы, которые тут же отбрасывают нас в анархию и казачью вольницу. И хотя национальная идентичность требует черпать символический капитал из эпохи Киевской Руси, «канонический» образ русской власти принадлежит более поздней истории. И путь он не совпадает с идеалом «симфонии», он может быть воспринят как схематично-приблизительное воспроизведение идеала, в котором нет стремления к его противоположности, но отчетливо угадывается готовность приблизиться к идеалу.

Русское слово «государство» имело удельно-вотчинное происхождение и, согласно В.О.Ключевскому, обнаруживало смешение частного и публичного права. Это феодальное начало русской государственности получило своеобразное развитие в самодержавно-крепостническом Московском царстве, существенно преобразовавшем весь сословный строй. Как отмечает М.В.Ильин, с XVIII в. «понятие государство оказалось как бы зажатым между еще не отпускающей на свободу традицией царства и реальностью империи, уже успевшей подавить начала современного государства. В результате не получила своего развития концептуализация статуса состояния территориальной политической системы. Это объясняется особенностями трансформации российской политической системы: аналогичное европейским тенденциям утверждение романовского абсолютного государства в условиях форсированной и односторонней модернизации преимущественно военно-бюрократических аспектов системы делало Россию скорее империей, чем нацией-государством»²⁶⁸.

Имперская судьба и особенности национального характера диктуют русской власти необходимость преодолевать бюрократический формализм и требовать от служилых сословий личностного подхода к делу службы и ее одухотворенности религиозной мотивацией.

Б.Н.Чичерин и другие представители российской государственной (юридической) школы начала XX в. вслед за Гегелем рассматривали государство как высшую форму человеческого общежития, противопоставляя его родовому быту; при этом русская история виделась как раннее и ускоренное силой обстоятельств (геопрограммированное

²⁶⁶ Там же.

²⁶⁷ Аверьянов В. Россия – не от мира сего// Завтра, 08.01.2002.

²⁶⁸ Ильин М.В. Политический дискурс: Государство// Полис, 1994, № 1. С. 136.

расположение и колонизация, Орда и другие внешние угрозы) развитие централизованного государства, закрепостившего сословия²⁶⁹.

О том же писал И.А.Ильин, указывая: «Русское правосознание имеет тяжелое историческое наследие: удельные раздоры, татарское иго, смуту, кочевой и разбойничий юго-восток, восстания Разина и Пугачева, дворцовые перевороты, революционные движения 19 и 20 веков, правление большевиков. Все это нарастало на тот особый уклад души, который можно охарактеризовать, как равнинную недисциплинированность, как славянский индивидуализм и славянскую тягу к анархии, как естественную темпераментность, как дыхание Азии. Все это, вместе взятое, выработало в русском народе такое правосознание, которому импонирует только сильная власть»²⁷⁰.

В значительной степени анархическая тяга, которую должна уравновесить сильная власть (не только государственная), восходит к церковному расколу. Н.Н.Алексеев отмечает, что раскольничьи писатели с подробностью останавливаются на критике того взгляда на государство, согласно которому всякая власть происходит от Бога и всякая душа должна повиноваться властям предержащим. Раскольники считали, что эту теорию создали «лжеправедники»: «”В начале бо евангельской проповеди, - говорят они, - всюду бе власти языческие, а зде еретицы богохульные обладаша, и они тогда, языческие властители, слуги токмо дьявола нерекошася, зде же о самом сатане по числу его (666) состоит слово”. Поэтому следует говорить не о “покорении” этим властям, но о брани с ними, не о почитании их, но о ненависти. “Сатанинские власти Бог, словами пророка, яко врагов истине повелевает ненавидити, глаголя, ненавидящие тя, Господи, возненавидех, совершенною ненавистью возненавидех их, бо враги быше мои”»²⁷¹.

Идея сильной власти, в конечном счете, всегда одолевала вольницу, показывая, что все-таки основной чертой русского национального характера является стремление к порядку и к тому, чтобы он был основан на нравственно-религиозных принципах, а не на договоре, заключенном между людьми. Что же до русского свободолюбия, то для него есть обширное поприще обеспечения национальной независимости и преодоления бюрократических уродств государственного управления.

Как пишет И.А.Ильин, «идея “сильной власти” совсем не так проста и общепринята, как это многим кажется. Она окружена соблазнами. Все то, что требует свободного дыхания, добровольного самоопределения со стороны человека, его творческой инициативы, не подлежит произволению и властному распоряжению государственной власти. Сильная власть грядущей России должна быть сильна в своих пределах»²⁷². А пределы эти таковы, что должны оставлять простор творческой личности и давать свободно формировать «ведущий слой» государства путем выдвижения лучших представителей народа. Власть также не должна подменять свободную лояльность покорностью.

В то же время Ильин отмечает, что повелевающий повелевает не только послушным, но и непослушным: и к этому он должен быть готов заранее, т.е. рассчитывать на применение к непослушному насилия. Ведь «в самой государственной власти заложена эта обязанность: понудить и сломить непокорного, или погибнуть на своем посту. И в этом смысле идея воинского долга и воинской чести является глубоким зрелым прообразом гражданской чести и гражданского долга: она не знает ни одностороннего отречения, ни малодушного уговаривания». «Государственная власть есть подлинная живая драма, в которой решение вождя и поступок стража определяют собою судьбу всего народа. Это есть драма воли, благородства, жизни и смерти».

Таким образом, властитель, в жестко очерченных границах своих суверенных прав должен быть жестким и даже жестоким, поскольку решает вопросы жизни и смерти

²⁶⁹ Медушевский А.Н. История русской социологии. М., 1993.

²⁷⁰ Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948–1954 годов, М.: Рарог, 1992. С. 315.

²⁷¹ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 80.

²⁷² Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948–1954 годов, М.: Рарог, 1992. С. 317.

собственной нации. Жесткость означает для него также и роль стража тех самых границ, в которых должна находиться всякая власть, не переступая, но и не уступая определенного рубежа.

Разумеется, речь идет не только о принуждении. Принуждение оправдано и обусловлено вместе с другими функциями власти только духовно-нравственной мотивацией: «Сила власти есть прежде всего ее духовно-государственный авторитет, ее уважаемость, ее признаваемое достоинство, ее способность импонировать гражданам. Поставить себе неосуществимую задачу не значит проявить силу; растративать свой авторитет не значит быть сильным. Сила власти проявляется не в крике, не в суете, не в претенциозности, не в похвальбе и не в терроре. Истинная сила власти состоит в ее способности звать не грозя и встречать верный отклик в народе. Ибо власть есть прежде всего и больше всего – дух и воля, т.е. достоинство и правота наверху, которой отвечает свободная лояльность снизу» – так определял основу власти в России Ильин.

Наиболее емким идеальным предначертанием для российской власти могут служить слова Н.Н.Алексеева, которыми он заключает свой труд «Русский народ и государство»: «Современный момент русской истории, конечно, является переходным. Рано или поздно, теми или другими путями коммунистическая партия потеряет власть. Но кто хочет предугадать те прочные формы, которые, наконец, может быть, после еще некоторых потрясений и ложных шагов (да избавит от них Бог Россию) привьются в нашем государстве, тот всегда должен считаться с "примитивом". Возобладавшие в 1917 году идеи демократии, диктатуры и социальной справедливости как-то должны остаться и стать основами будущего периода русской истории. Но они должны быть исправлены и преобразованы. Должны быть освобождены от материализма и преобразованы в смысле религиозном. Производя это исправление опять-таки в духе "примитива", нам остается выбор между иосифлянской монархией и идеалом правового государства в духе Нила Сорского. Установления московской монархии ушли в вечность, в целом своем они уже невозвратимы. Будущее принадлежит православному правовому государству, которое сумеет сочетать твердую власть (начало диктатуры) с народоправством (начало вольницы) и со служением социальной правде»²⁷³.

Переходный характер настоящего момента России в некоторых чертах аналогичен тому, современником которого был Алексеев. Как один из ведущих мыслителей евразийства, он полагал, что в сталинском режиме сквозь интернациональный коммунизм пробивается национальная суть русской власти, что русский народ перемалывает марксистские догмы. При всей ошибочности этого прогноза, Алексеев, тем не менее, увидел то направление, вдоль которого должны двигаться все государственные реформы, чтобы почувствовать под ногами историческую почву – служить идеалам социальной правды, давать свободу общинному народоправству и твердо держать в руках рычаги государственности, гарантируя будущее России от внешних притязаний и внутренних потрясений.

Таким образом, идея сильной власти – это вовсе не идея всевластного бюрократического аппарата, подмявшего под себя нацию. Напротив, идея сильной власти – это властность политического класса, сформированного нацией из национально мыслящих государственных деятелей, имеющих волю починять себе чиновничий аппарат, утверждая идеалы нации в области государственного строительства и общественного устройства.

²⁷³ Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. С. 115-116.

Глава 4. КОНЦЕПЦИИ СУВЕРЕНИТЕТА

Теоретические проблемы определения понятия «суверенитет»

Первоначально концепция суверенитета (XVI в.) полностью ассоциировалась с абсолютной монархией. Крах Священной Римской империи породил династические и гражданские войны, которые могли быть остановлены только верховным арбитром, который наделен высшей и неделимой властью – данное если не от Бога, то от всемогущего принципа рациональности, говорящего о том, что в противном случае не избежать анархии и хаоса. Перешагнув через принцип имперского управления, территориальное государство с явно выраженным этническим корнем единства (как родовой знати, так и подданных) утвердилось в качестве основной единицы управления в Европе.

Но быстрое принятие конституций, ограничивавших власть государства в сфере прав собственности, распределявших ее по самостоятельным «ветвям», создающих «противовесы» чрезмерной централизации, отделили идею суверенитета от монархии и ассоциировали ее с идеей верховной власти. Принятие различного рода законов и судебных постановлений, начиная с петиций о даровании привилегий в XVII в. и кончая всевозможными биллями о правах в XVIII в., привели к ограничению власти суверена сначала в Англии, а затем, по мере распространения ее опыта, и в других странах.

В некоторых случаях верховная власть мыслилась расплывчато и заменялась концепцией народного суверенитета. Понятие суверенитета стало идеальным, отражающим состояние «полноценного» государства, и одновременно реальным признаком сильных государств, диктующих свою волю слабым государствам и служащим им моделью государственности как таковой.

Определенным соблазном для того, чтобы ставить под сомнение понятие «суверенитет», является опыт Соединенных Штатов Америки, в истории которых народ как создатель государства не просматривается. Само понятие «народ», как отмечал Алексис де Токвиль, заменяло в политической риторике США понятие «Бог». Именно поэтому государственная система США формирует демократию без демоса, что изначально было заложено волевым актом создания такой Конституции, которую практически невозможно изменить и в которой правомочия власти были поделены между тремя ветвями федеральной власти и штатами. Общенациональное правительство наделялось властью, и эта власть ограничивалась с помощью детального перечня тех прав, на которые ему запрещалось покушаться. Именно поэтому конституция Соединенных Штатов не знает понятия суверенитет. Данное обстоятельство, а также развернутые дискуссии по поводу процессов глобализации породили как сомнения в том, что «суверенитет» является ценным для политической и правовой науки понятием, так и концепции «мягкого» суверенитета.

Одна из проблем состоит в том, что постоянно ставится под вопрос понятие «суверенитет» – наличие расхождений между «суверенитетом факта» и «суверенитета признания». В свое время об этом писал Гегель: «Народ как государство есть дух в своей субстанциальной разумности и непосредственной действительности, поэтому он есть абсолютная власть на земле; следовательно, каждое государство обладает суверенной самостоятельностью по отношению к другому. Быть таковым для другого, т. е. быть признанным им, есть его первое абсолютное право. Но вместе с тем это право лишь формально, и требование государством этого признания только потому, что оно есть государство, абстрактно; есть ли оно в самом деле нечто в себе и для себя сущее, зависит от его содержания, строя, состояния, и признание как содержащее в себе тождество обоих моментов столь же зависит от воззрения и воли другого государства»²⁷⁴. Гегель приводит

²⁷⁴ Гегель, Философия права. М.: 1990. С. 365.

слова Наполеона: «Французская республика также не нуждается в признании, как не нуждается в нем солнце»²⁷⁵. Тем самым усматривается сила существования, в которой уже заключено признание. Формальное признание следует за предъявлением сущности.

Этих очевидных соображений оказалось недостаточно, и во второй трети XX в. указанное расхождение в трактовках суверенитета породило бурную дискуссию.

Кажущееся нарастание мощи международных институтов, в частности Лиги Наций, подталкивало некоторых теоретиков права к мысли о бесполезности понятия «суверенитет» и даже о его вредности для сохранения мира. Государственный суверенитет казался все более эфемерным²⁷⁶. Позднее попытка очистить политический дискурс от лишних понятий привела некоторых исследователей к выводу, что термин суверенитет «не имеет четкого определения, и связанные с ним теории запутаны и часто сбивают с толку»²⁷⁷. Было обнаружено шесть различных значений понятия «суверенитет», плохо согласующихся между собой. Предлагалось даже отказаться от столь многозначного термина²⁷⁸.

Распространенным аргументом против такого подхода является научная традиция²⁷⁹, которая именно в термине «суверенитет» отражает устойчивость государств, чье существование определяет историю человечества многие сотни лет. Отказ от понятия «суверенитет», обусловленный будто осложнившимися взаимовлияниями и взаимозависимостью современных государств, разрушил бы существующие опоры гражданского мира, которые остались без изменений со времен абсолютистских монархий²⁸⁰.

Вероятно, выход из терминологического затруднения связан также с трактовкой суверенитета, как состояния, определяемого, с одной стороны, в рамках дихотомичной модели «существует - не существует», а с другой – в рамках оценочно-сравнительной модели «существует в такой-то степени», «более суверенен, чем...», «суверенен в таком-то круге вопросов». Простое принятие той и другой теоретической модели вместе или их применение в зависимости от контекста может снять какие-либо семантические противоречия: между фактом и признанием наличествует множество состояний, общая черта которых - суверенитет. Любой суверенитет в каком-то смысле частичен и ограничен, как ограничена любая власть.

Более того, видимый недостаток легко обратить в достоинство, если полагать, что понятие «суверенитет» является связующим звеном между юридической наукой (суверенитет де-юре) и политической наукой (суверенитет де-факто), между желаемой (или декларируемой) моделью государственной власти и ее реальным состоянием.

Проблемы теории суверенитета все же лежат в сфере задач власти по замещению ее силовой составляющей гарантиями повиновения – в сфере обеспечения авторитета власти, утверждающего ее внутреннюю легитимацию как условие для легитимации внешней. Эта проблема ставится уже в учении Жана Бодена, где, как отмечает американский исследователь Стенфорд Лейкофф²⁸¹, неявно содержится утверждение, что без собственного согласия подданные не могут облагаться налогами. В противном случае были бы сняты все ограничения, препятствующие полному присвоению монархом их собственности. Отсюда следует естественное ограничение применения государственного насилия (на что указывают и современные исследователи).

²⁷⁵ Там же. С. 366.

²⁷⁶ См. об этом Устрялов Н.В. Элементы государства...

²⁷⁷ Benn St. I., Peters R.S. Social Principles and the Democratic State. L., 1959. С.257.

²⁷⁸ Benn St.I. The Uses of Sovereignty. — "Political Studies", 1955. № 3.

²⁷⁹ См. Stankiewicz W.J. In Defense of Sovereignty. N.Y., 1969. P.3–38.

²⁸⁰ На данное обстоятельство указывает д'Антрёв, полагающий, что «тонкие механизмы» регулирования власти в государстве-нации могут оказаться пригодными и для мира-государства - *Entreves A.P. de. The Notion of the State: An Introduction to Political Theory*. Oxford, 1967.

²⁸¹ Лейкофф С. Оппозиция "суверенитет - автономия в условиях федерализма": выбор между "или - или" и "больше - меньше"//Полис, 1995. №1. С. 182.

Другой проблемой является усложнение общественных структур, которое делает определение носителя суверенитета затруднительным. Акт легитимации в современном мире ускользает от исследователя и дает возможность произвольно применять представления о легитимности или нелегитимности тех или иных политических режимов. Когда очевидные результаты простого анализа уже невозможны, а сложный анализ неединообразен, начинают действовать моральные оценки.

Вадим Цымбурский, проанализировавший энциклопедические статьи, посвященные понятию «суверенитет», пришел к выводу, что все они исходят из банальной констатации связи суверенитета с властью: внутренний суверенитет – с возможностью для государства распоряжаться своей территорией и ресурсами, а также с изданием законов и принуждением подданных к их исполнению; внешний – с возможностью проводить независимую политику, устанавливать дипломатические отношения с другими государствами, объявлять им войну и заключать мир²⁸².

Эта «банальность» воспринимает абсолютистскую концепцию суверенитета, идущую от Бодена и Гоббса с ее диадой полновластия и независимости высшей властной инстанции. В то же время Цымбурский указывает на ряд проблем, которые подрывают абсолютистское видение суверенитета:

1. Проблема «распределенного суверенитета», связанная со структурой федераций, где «неотъемлемые полномочия» оказывались рассредоточенными между федеральным центром и правительствами штатов, округов, кантонов. Очевидные примеры современного состояния могут быть предварены куда более ранними – практикой уступок со стороны суверенных королей и князей части своих прерогатив имперскому правительству в Берлине.

2. Проблема существования «внутреннего суверенитета» без «суверенитета внешнего» в «протектируемых государствах» в составе Британской империи с системой доминионов. Протекторат рассматривается как суверенное, но зависимое государство.

3. Проблема укрепления внутреннего суверенитета за счет ограничения внешнего суверенитета – суверенного права ведения войны.

Вместе с тем все эти «каверзы» всего лишь умаляют сектор, в котором суверен принимает решения. Его же свойство полновластности и независимости остается. В этой связи обнаруживается «небанальная» политологическая концепция рассмотрения суверенитета с использованием бесконечно пополняемых и модернизируемых списков сопутствующих понятий - power (власть-могущество), community (общность), obligations (обязательства), legitimacy (легитимность), authority (власть-авторитет), state (государство), government (правительство), constitution (конституция)²⁸³. Все это выглядит добровольной готовностью затемнить ясные стороны темы и поставить во главу угла спорные.

Цымбурский верно подмечает, что внешний и внутренний суверенитет составляет проблему, которая постоянно ставится и разрешается в истории, собственно и выделяя суверенитет, как концепт, отражающий динамическую связь между фактом власти и его внешним признанием. Важное замечание, которое сделано к этому умозаключению, состоит в утверждении о неправомерности рассматривать «признание суверенитета» как некое к нему добавление. Суверенитет создается актом признания, но не всегда, а лишь в определенных условиях. Общим для возникновения суверенитета Балтийских республик осенью 1991 г. и ликвидации суверенитета Чехословакии над большей частью ее территории в 1938 была слабость самого факта суверенитета, нестабильность государства и решимость других государств воспользоваться своим суверенным правом признания суверенитета автономизирующихся частей другого государства.

²⁸² Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте// Полис, 1993, №1.

²⁸³ Stankiewicz W.I. The validity of sovereignty. In: Defense of sovereignty. Ed. by W.J.Stankiewicz et al. New York, 1969. P. 294.

Как пишет Цымбурский, «реальная суверенность того или иного режима определяется вовсе не требованиями права как таковыми, но соотношением между реальным властным потенциалом, которым соответствующий субъект располагает, и масштабом его признания мировым сообществом суверенов. С этой точки зрения можно говорить о большей или меньшей "материализованности" суверенитета»²⁸⁴.

В этом плане, забегая вперед, можно говорить о том, что федерализация есть прямое ослабление суверенитета, а поддержанное внешними суверенами – прямая угроза национальной безопасности, посягательство на фактический суверенитет.

Понятие суверенитета позволяет отличать государственные формирования от негосударственных или протогосударственных. Там, где обнаруживается властный центр, способный к принятию окончательных решений, суверенитет очевиден, а государство носит унитарный характер. В конфедерациях, напротив, трудно обнаружить центр принятия окончательных решений – либо такие решения принимаются от случая к случаю, либо идет борьба группировок, которые могут только временно удерживать позицию окончательного решения. Типичными примерами конфедераций, носящих протогосударственный характер, являются Ахейский союз (Древняя Греция), Конфедерация Новой Англии (1643 г.), Американская Конфедерация (1781 г.), Северо-Германский союз (1867 г.), Швейцарская Конфедерация (до 1867 г.).

Иногда к конфедеративным объединениям относят различные межгосударственные объединения – НАТО, ЕС, Организацию африканского единства и др. Такое отнесение вряд ли может считаться обоснованным, поскольку центр принятия решений в данном случае не может указывать одному из своих учредителей, что делать на своей суверенной территории. Такие объединения необходимо считать межгосударственными союзами, действующими в соответствии с заключенными соглашениями. В том случае, когда комплекс вопросов, затрагиваемых этими соглашениями, превышает некий критический уровень, формирующий центр принятия решений, можно говорить о протогосударственной структуре. Такое положение сложилось в Европейском Союзе.

Вторая важная функция понятия «суверенитет» состоит в разделении независимых государств и зависимых, вассальных, колониальных образований. Несуверенные государственные образования лишены суверенитета, хотя и могут по ряду вопросов имитировать поведение суверенного государства настолько, насколько это позволяет метрополия. Поэтому они в полной мере не могут считаться государствами.

Трудность классической теории суверенитета связана с возникновением федераций, которым классическая теория предсказывала быстрый крах, но затем была вынуждена признать реальность федеративных образований и перейти к «у/к/ф-типологии»²⁸⁵ (унитаризм/конфедерализм/федерализм), в которой федерация занимает промежуточное положение между унитарным суверенным государством и конфедерацией. Федеральный центр не является ни полностью суверенным, ни полностью зависимым от членов федеративной ассоциации – его право на законодательную инициативу имеется, но в узких рамках. Ни центральное, ни местные правительства ассоциации не наделены верховной властью и не являются суверенными. Суверенитет реализуется в данном случае иным образом – совокупной волей субъектов федерации, которые только все вместе образуют верховную власть. Делимым оказывается не суверенитет (правительство всегда является «унитарным», поскольку не может терпеть иного равноправного правительства), а суверен – в федерации он является составным.

Последнее утверждение разрешает трудность теории суверенитета. Попытка критики классической теории суверенитета только на том основании, что она не в состоянии определить сущность федерации, поскольку вопрос о суверенитете целого или составных частей решался в рамках классической теории ответом «ни то, ни другое» не увенчалась успехом.

²⁸⁴ Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте // Полис, 1993. №1.

²⁸⁵ Кинг П. Классифицирование федераций // Полис, 2000. №5.

В такой же мере неудовлетворительна и критика классической теории, выводящая ее из сферы политической теории в сферу идеологии. Понятие о суверенитете отождествляется с абсолютизмом и тиранией, понятие отсутствия суверенитета – с анархией. Соответственно федерация оказывается золотой серединой – особой политической идеологией, объясняющей и оправдывающей федерацию как универсальный тип государственного устройства, единственно и всюду пригодный для современного общества. Федерализм, таким образом, оказывается альтернативой теории суверенитета.

Атака федералистов на теорию суверенитета, прежде всего, основана на обвинении в приверженности к запретительной централизации. В то же время запрет может породить теневые социальные практики, которые на деле подорвут централизованное управление. К тому же и реальные проблемы власти означают, что различные функции централизованного правления могут входить в противоречие и дискредитировать централизм как принцип. Централизм, понимаемый как тотальный контроль, вообще теоретически несостоятелен, поскольку любое изменение системы управления будет нарушением тотальности. Но именно таким образом федералисты стремятся к оправданию своего подхода к децентрализации управления – любую централизацию они готовы рассматривать исключительно как тотальную.

В то же время недобросовестная критика теории суверенитета ставит перед ней вопрос: какова должна быть степень децентрализации, чтобы считать, что государство все еще обладает суверенитетом, но стоит на пути неизбежной утраты независимости; в чем должна выразиться степень децентрализации? Очевидно, что никакой количественный критерий здесь применить быть не может – нет такого параметра, который отделил бы распадающиеся федерации от укрепляющихся и приближающихся к унитарной модели. Но с другой стороны, именно фиксация такой качественной характеристики трансформации государственной системы, как укрепление или ослабление централизации, будет показывать, в какую сторону идет процесс от точки неустойчивого равновесия – к укреплению суверенного государства или его разрушению.

Указанный формальный критерий может быть дополнен и критерием другого рода. Последовательно децентрализованная федерация доходит до момента, когда центры принятия решений перестают улавливать импульсы, исходящие от нации, которая также федерируется на независимые субъекты, имеющие свою волю и интересы – нация как личность распадается на множество личностей-наций. Таким образом, для определения типа государства, необходимо решить вопрос о степени национального единства. Наличие независимых от центра политических элит, культурной среды (прежде всего использования местного языка в официальной практике), рекрутирования управленческих кадров по принципу «почвы» или «крови», верховенства местного законодательства над федеральным в отдельных субъектах федерации явно указывает, что граница уже пройдена и государство находится на пути утраты суверенитета.

Исходя из данного критерия, Россия периода правления Б.Н.Ельцина находилась в состоянии распада, постельцинская Россия усилиями президента В.В.Путина перешла в разряд укрепляющихся федераций, но недалеко отодвинулась от опасной черты.

Главной трудностью, которую не удастся преодолеть в рамках классической теории суверенитета, является соотнесение и у/к/ф-типологии с логикой обустройства имперских пространств. Империя по ряду своих черт оказывается близкой к федерации или даже к конфедерации.

Классическая теория суверенитета состоялась как политизированная доктрина, противопоставившая европейской имперской системе Священной Римской империи систему суверенных абсолютистских государств. Суверенным государством (государством в полном смысле слова) оказывался только тот фрагмент империи, который полностью порывал с ней и устанавливал абсолютную власть монарха-суверена. В то же время в традиции общеимперская идентичность могла сохраняться, а значит, империя могла рассматриваться как федерация, все еще имеющая шансы воссоединиться.

Действительно, для того чтобы определить критерий, разделяющий по виду децентрализованную империю с высокой управленческой автономией провинций, и федерацию, нужен несколько иной подход. И такой подход мы встречаем у Карла Шмидта, который пошел не по пути дискредитации теории суверенитета, а по пути придания ей радикального характера.

Хотя Карл Шмитт не касался вопроса об империи, его постановка, как главного критерия суверенности, приводит к простому выводу: автономия имперской провинции может либо имитировать свою суверенность, проводя таким образом определенную политику имперского центра, удерживающего население провинции в повиновении, либо имперский центр имитирует свой суверенитет над провинцией, в действительности уже утратив контроль над ней и будучи не в состоянии принять решение о смещении верховной власти в ней.

«Классическое» понимание суверенитета

Как считали Н.Н.Алексеев, Н.В.Устрялов и др. уже мыслители русского зарубежья, теория суверенитета была изначально теорией политической, призванной решить чисто политический вопрос: кому должна принадлежать верховная власть в нормальном государстве и какими свойствами она должна обладать²⁸⁶. Ссылаясь на известного правоведа Г. Еллинека, Алексеев говорит о том, что понятие суверенитета «родилось в борьбе представителей папской партии со сторонниками партии королевской, причем католики, чтобы унижить королевскую власть, выставили лжеисторическую гипотезу, что всякая государственная власть произошла из договора, когда-то заключенного между королем и народом. Так и родилась теория народного суверенитета, сыгравшая столь выдающуюся роль в последующей борьбе буржуазии с королевской властью и феодальной аристократией. Сторонники королевской власти в свою очередь выставили гипотезу, что монархи получили свою власть от Бога и что власть эта есть вечная, несвязанная законами, неограниченная, безответственная (суверенитет монархический)»²⁸⁷.

Действительно, вхождение понятия «суверенитет» в политическую теорию в конце XVI в. было связано с крушением идеи имперской христианской государственности под властью Рима (с ее парадигмой «распыленного суверенитета») и с вытеснением этой средневековой парадигмы трактовкой национальных государств как самостоятельных, самодовлеющих организмов. В этот период Жаном Боденом был поставлен вопрос о прерогативах политической власти, которые позволяли бы ей исключить наличие на своей территории иной власти, превосходящей или равной ей по силе. Боден, пришел к выводу, что необходим единый центр сосредоточения могущества и власти, который был бы «безусловным и бесконечным». «Суверенитет», «суверенная власть» – ключевые слова, с помощью которых Боден маркировал государство. Суверенитет, считал он, «есть постоянная и абсолютная власть государства».

Концепция суверенитета, выдвинутая Боденом, была воспринята, как иное имя государственной власти, в котором воплотилась ее личность – суверен. Из этой власти истекает всякая другая власть – все властные институты выстроены в цепочки, заканчивающиеся институтами государственного насилия. Тайна этой соподчиненности заключена, согласно идеям Бодена, в суверенной королевской власти, подчиненной только божественному и естественному законам. Суверенная власть воистину носит мифологически возвышенный характер. Как писал Н.В.Устрялов, «суверенитет, согласно определениям его теоретиков, есть власть принудительная, господствующая; власть первоначальная, производная; власть верховная, независимая, самостоятельная, сама ставящая себе предел, сама определяющая свою юридическую компетенцию; высшая власть, юридико-догматическое понятие которой не допускает никаких степеней. С этой

²⁸⁶ Алексеев Н.Н., Цит. пр. С. 460.

²⁸⁷ Там же.

точки зрения, для суверенитета государства безразлично, кто его носители, какими органами он осуществляется: монархом ли, аристократией, парламентом, или советом депутатов. Власть государства – одно, а государственный строй – другое. Если первая всегда равна себе, принудительна, верховна, непроеводна и абсолютна, то второй, конкретно воплощая первую, складывается в зависимости от политических условий жизни страны. Органов государства много, суверенитет его – “един, неотчуждаем, неделим”»²⁸⁸.

Суверенная власть кажется всемогущей в силу своей юридической неограниченности. За этим статусом скрывается зависимость от материальных факторов и национального менталитета. И в этом полумистическом отношении к суверенитету есть своя правда – неограниченность суверенной государственной власти должна исключить юридические вопросы из рассмотрения проблем суверенитета. Никакой юридический довод не может быть принят во внимание. Напротив, все то, что кажется мистической мощностью власти, может быть проанализировано наукой, выявляющей факторы господства.

Бодену государство виделось уже не полисным политическим союзом и не столько определенным политическим сообществом (совокупностью домохозяйств), сколько ближайшим и непосредственным осуществителем суверенной власти. Подобную функциональную роль, согласно Бодену, не в состоянии играть все сообщество людей. Но может быть (и должен) государь либо верховный орган, управляющий всем «множеством семей». Таким способом презюмируемый мыслителем суверенитет политического союза («народа») отесняется на задний план и подменяется суверенитетом государя, а потому государство начинает олицетворять и воплощать в себе государь (либо орган, наделенный прерогативами последнего).

Боден имел веские социально-исторические и теоретические основания вычлениить и по достоинству оценить такой бесспорно фундаментальный признак государственности, как суверенность. Но предложенная ученым интерпретация носителя данного признака означала резкое отделение носителя суверенитета от того политического целого, неразрывной органической частью которого он является, внутри которого существует, благодаря которому наделяется суверенностью и только в границах которого имеет свой резон. Здесь перед нами не просто мысленное отщепление части от целого, но одновременно перенос (вольный или невольный) статуса этого целого на его часть, пусть и важную. В этом смысле боденовский суверенитет означает либо донациональное существование государства, либо отрицает нацию учреждением суверенной власти.

Боден наделяет власть двумя свойствами - абсолютности и вечности. Характеристика суверенной власти, как «вечной», относится только к жизни того, кто обладает властью. Суверенитет есть абсолютная и постоянная власть государства. Абсолютность суверенитета означает, что суверенная власть предоставляется вне каких-либо условий и ограничений. Суверен не подчиняется повелениям других людей и может «давать законы подданным и отменять, лишать силы бесполезные законы, заменяя их другими...». Однако «абсолютная власть государей и суверенных властителей никоим образом не распространяется на законы Бога и природы». При этом, Боден считал лучшим государственным устройством абсолютную монархию – она обеспечивает выполнение воли монарха в любом случае, кроме тех, которые противоречат естественным или божественным законам.

Суверенитет обладает, по теории Бодена пятью свойствами:

1. Суверенитет един и неделим – он не может быть разделен между королем и народом, несколькими различными организациями, и не может поочередно осуществляться ими.

2. Суверенная власть постоянна – ее нельзя передать на время или на других условиях какому-либо лицу.

²⁸⁸ Устрялов Н.В. Элементы государства...

3. Суверенная власть неограниченна и надзаконна – ни один человеческий закон не может ограничивать суверенитет.

4. Суверенная власть подчиняется только божественным и естественным законам, но не религиозным догмам.

5. Суверенитет может принадлежать либо одному человеку, либо меньшинству населения страны, либо всем дееспособным людям. Но ни в коем случае недопустимо посягательство на суверенитет со стороны папского престола. Боден писал: «Истинный государь держит свой скипетр не от Папы, не от Архиепископа Реймского, ни от народа, а только от Бога».

Пять отличительных признаков суверенитета следующие:

- 1) властью давать законы всем вообще и каждому в частности и притом без согласия на то ни высшего, ни равного, ни низшего; властью законодательной объемлются все атрибуты суверенитета;
- 2) власть войны и мира;
- 3) право назначения должностных лиц;
- 4) право суда в последней инстанции;
- 5) право помилования.

Все атрибуты суверенитета, согласно теории Бодена, не могут быть отчуждаемы и потеряны за давностью, и даже на государственную собственность не распространяется сила давности. Таким образом, древняя традиция ни в коей мере не может быть подменена новацией, сколько бы она ни существовала. Принцип суверенитета, как только кризисные явления будут преодолены, вступит в свои права и восстановит традицию.

Осуществление функций власти лишь временно и условно может быть поручено должностным лицам, но в присутствии суверена они теряют свою власть и в отношении к подданным и в отношении друг к другу, «как звезды блекнут перед солнцем, и все реки теряют свою силу, изливаясь в море». Суверен как бы воплощает традицию власти в ее самой изначальной и незыблемой форме.

Суверенная власть республики, распространяясь на все общество, имеет публичный характер. Это принципиально, как подчеркивает Боден, отличает ее от власти глав семей и различных общественных организаций, которая может быть только частной. Поэтому власть республики как суверенная обладает присущими только ей качествами и признаками.

Важным признаком власти является также обладание законодательной функцией. «Собственно говоря, – пишет он, – можно сказать, что только это и есть единственный признак суверенитета». В отношении судебной власти Боден исходит из того, что вообще суверен должен объявлять свою волю по какому-либо вопросу с учетом «мудрых советов» и «тщательного рассмотрения самыми проницательными советниками и управляющими». Поэтому судом должен заниматься парламент, но за исключением принятия решений в последней инстанции, так как данный порядок соответствует «одному из главных прав суверенитета».

Наилучшим образом принцип государственного суверенитета воплощают три формы: «в том случае, если суверенитет пребывает в одном государе, то мы назовем его Монархией; если к нему имеет отношение весь народ, то мы скажем, что государство является народным; если только меньшая часть народа, мы будем считать государство Аристократическим».

Боден не признавал возможности смешанного типа правления, в котором единый центр власти, суверен отсутствует. Он указывал, что короли Англии, Франции и Испании нередко принимали законы, не спрашивая согласия сословий. Он отрицал также, что республиканский Рим действительно имел смешанную «конституцию» – конечная власть все равно оставалась за народом Рима, что бы ни обсуждал Сенат, какие бы распоряжения ни издавал.

Будучи убежденным противником демократического строя, он считал, что «цель народных государств – изгнание добродетели». Народ для Бодена – это «животное с несколькими головами», лишенное разума. Ожидать от него решений и советов – «все равно, что просить мудрости у сумасшедших». Боден в принципе допускает, что суверенитет может быть воплощен в каждой из указанных им форм правления. Однако он категорично заключает, что истинный суверенитет возможен только при монархии, ибо только в этом случае возможно последовательное и полное проявление его свойств.

Истинный суверен держит свой скипетр от Бога. «Поскольку, после Господа Бога, нет на земле ничего более великого, чем суверенные правители, и поскольку они установлены Им в качестве Его заместителей, дабы управлять другими людьми, нам следует ясно понимать их статус, так, чтобы мы могли в полном послушании чтить и почитать их величества, восславлять их в наших мыслях и в наших речах. Неуважение к своему суверенному правителю — это неуважение к Господу Богу, чьим земным подобием он является. Именно потому, говоря с Самуилом, от которого народ потребовал поставить над ними другого правителя, Господь Бог сказал: “Не тебя они отвергли, но отвергли Меня”»²⁸⁹.

В то же время Боден, как депутат от третьего сословия, заявил в ответ на необоснованные запросы двора, что король является лишь пользователем имущества, принадлежащего государству. Король вместе с армией по закону получает необходимое обеспечение. Все излишки, полученные в государственном секторе, принадлежат народу и должны быть использованы для блага республики, общества. В этом смысле реальная политическая практика подталкивала Бодена к пониманию суверенитета, как производной не только миссии короля, но и миссии нации.

Боден признавал, что суверенитет не требует в обязательном порядке абсолютную монархию. Власть монарха может быть ограничена моральным законом или обычным правом, в том числе законом о порядке престолонаследия, а также правом собственности подданных. В некоторых случаях суверенитет может принадлежать и народным ассамблеям. Хотя Ж.Боден тут же добавлял, что было бы неразумно доверять им «рассмотрение дел», фактически признав единственной институциональной альтернативой монархии собрание знати, наподобие Большого Совета Венеции²⁹⁰.

Ограниченная монархия или аристократия приводит к тому, что суверенитет более не сосредоточивается в одном лице. В результате работа такого государства будет менее эффективна. Аристократия подвержена постоянным раздорам партий и борьбе честолюбий, она не сможет справиться с мятежами, если их поднимет народ, отстраненный от власти. Демократия – худший способ осуществления суверенитета. Народ в целом не способен прийти к правильным решениям и иметь здравые суждения.

Позиция Бодена благоприятствовала тому, что в европейском политическом менталитете укоренилось обыкновение извлекать институты публичной власти (вместе с занятыми в них лицами) из пространства политического сообщества, противопоставлять властвующим подвластным, возносить институт публичной власти над всем политическим сообществом – часть над целым, институты государства над нацией.

Гегелевская трактовка суверенитета в связи с пониманием органического единства части и целого представляется более продуктивной с точки зрения идеально мыслимой конструкции государства: «...суверенитет считают голой силой, пустым произволом и отождествляют его с деспотизмом. Между тем деспотизм означает вообще состояние беззакония, в котором особенная воля как таковая, будь то воля монарха или народа (охлократия), имеет силу закона или, вернее, действует вместо закона, тогда как суверенитет, напротив, составляет в правовом, конституционном состоянии момент идеальности особенных сфер и функций и означает, что подобная сфера не есть нечто независимое, самостоятельное в своих целях и способах действия и лишь в себя

²⁸⁹ On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth. Cambridge, 1992. С.46.

²⁹⁰ Там же. С.50, 54.

углубляющееся, а зависима в этих целях и способах действия от определяющей ее *цели целого* (к которому в общем применяют неопределенное выражение *благо государства*)»²⁹¹.

Далее Гегель показывает различное проявление суверенитета, особенно выделяя ситуацию чрезвычайного положения: «В *состоянии мира* особенные сферы и функции продолжают идти по колее осуществления своих особенных функций и целей и частью лишь характер бессознательной *необходимости* вещей приводит к тому, что их своекорыстие *переходит* в споспешествование взаимному сохранению и сохранению целого, частью *прямое* воздействие верху беспрестанно возвращает их к цели целого и ограничивает в соответствии с этим, а также вынуждает совершать прямые действия для этого сохранения. Но в *состоянии нужды*, будь это внутренняя или внешняя нужда, организм, пребывавший в своих особенностях, концентрируется в простом понятии суверенитета, и последнему доверяется спасение государства жертвой этого, вообще-то правомерного момента, и тогда идеализм суверенитета достигает присущей ему действительности»²⁹².

Идея чрезвычайного положения, как важная для определения сущности суверенитета, пригодится нам в дальнейшем обсуждении. А в данном контексте следует зафиксировать реализм боденовского представления о суверенитете и идеализм гегелевского. В первом случае выход за пределы описания реальной ситуации и представление реальности как идеальности существенно запутывает концепцию государства. Точно также происходит и во втором случае, когда мы видим подгонку реалий современного Гегелю государства под разработанную им идеальную схему. Синтез двух подходов требует признания концепции Бодена как описательно-эмпирической, а Гегеля – как идеально-теоретической. Оба подхода совместно создают классическую интерпретацию идеи суверенитета. Одна из ее характеристик состоит в том, что нация видится только в эмпирических приложениях политической теории, но еще не созрела в качестве политического понятия.

Современными западными исследователями выдвигаются следующие возражения против классической теории суверенитета²⁹³:

1. Классическая доктрина суверенитета слишком абсолютистская, поскольку никакой агент верховной власти никогда не располагал возможностью безусловного подчинения своему приказу – полной, беспредельной и неделимой властью. Это стало очевидным: идеал абсолютизма был разбит идеалом демократии или республиканства. В демократическом государстве суверен не может быть неограниченным – стоять выше закона. Это значит, что в классической теории демократическое государство не удовлетворяет критериям суверенности.

2. Суверенное государство как территориальная единица должна исключать влияние внешних агентов на его процедуры. Для этого нет необходимости в абсолютной, полной, беспредельной или неделимой власти. Напротив, власть оказывается нормативно связанной (ограниченной), зависящей от политической иерархии. При этом окончательность решения сохраняется – оно лишь организовано определенной процедурой и рамками.

3. Классическая доктрина не в состоянии определить сущность федерации, которая оказывается промежуточным положением между истинно суверенным унитарным государством и конфедерацией, в которой суверенным является лишь составившие ее субъекты. Между тем, принципы федерализма получают все большее распространение.

Все три возражения носят идеологический характер.

Действительно, классическая теория «недемократична» – не соответствует критериям современной демократии, где нет абсолютного подчинения приказу, и решение

²⁹¹ Гегель, Цит. пр. С. 318.

²⁹² Там же.

²⁹³ Кинг П. Классифицирование федераций // Полис, 2000. №5.

уступает место обсуждению и процедуре. Из современного западного государства изъят важнейший элемент суверенитета – верховный арбитр. И поэтому становятся возможными процессы глобализации политических элит, размывания политических границ государств и стирание национальных идентичностей. В этом смысле современный мир стоит на грани провала прежней политической культуры – вместе с понятиями суверенитета, государства, нации мир либерально-демократических государств идет в небытие.

Второе возражение также легко отразить, указав на тот факт, что нормативная связанность вовсе не противоречит авторитарному управлению, в котором лишь на вершине властной пирамиды существует неподвластный юридическому закону суверен – учредитель законов. Его право на такую роль перед лицом нации определяется реальным авторитетом и лидерством (династическим или харизматическим). Ни в одном государстве основная масса граждан не желает и не может заниматься законотворчеством, но везде она требует определенного результата такого законотворчества и персональной ответственности законодателя.

Беглое обсуждение третьего критического положения в адрес классической теории суверенитета приведено в начале главы, а более подробное – в главе «Централизм и федерализм», а также в разделе о «мягком» суверенитете, размещенном в текущей главе.

В целом критика классической теории с либеральных позиций является своеобразным политическим заказом на ослабление и ликвидацию государства. Обратный политический заказ привел бы к мысли о выдвигании иных претензий. С нашей точки зрения главными из них являются: 1) смещение божественной сущности государства с земной сущностью кесаря; 2) идущее от европейской политической эмпирики признание «суверенитета народа», не развившееся в теоретическое понятие «нации»; 3) невозможность описания в рамках классической теории имперского государства.

Для современных условий классическая теория не является устаревшей, но требует серьезных поправок и освобождения от привязанности к породившего ее политического контекста – обслуживания идей европейского абсолютизма. Последнее, как было показано в предыдущей главе (раздел «Монархия – истинная власть»), серьезно ограничивает осмысление идеала государственной власти, в особенности при его соотнесении с русской исторической традицией.

Народный суверенитет и суверен

Вспоминая о том, что идея суверенитета носила исходно чисто политический характер, трудно ожидать от идеи народного суверенитета какой-либо особой объективности и обоснованности. Н.Н.Алексеев писал, что сторонники идеи народного суверенитета целиком приняли теорию монархического суверенитета с ее утверждением о единстве, неделимости, неограниченности и неотчуждаемости суверенитета. «Менялся субъект, но качества утверждались старые, что указывает на одинаковость способов проведения политических тенденций, безразлично, в чью пользу они проводились». «В этом утверждении проявлялось стремление новых национальных государств отстоять свое самостоятельное существование и освободиться от бесчисленных опеки, которые накладывал на носителей власти феодальный строй. Теория суверенитета представляла, таким образом, интересы вновь слагающегося национального государства»²⁹⁴.

Разработка идеи общественного договора как предпосылки государства открыла путь представлению о народной природе суверенитета, почерпнутой из традиции республиканского Рима. Согласно римской политической теории, власть императора была в конечном счете подарена ему народом. Следуя этой традиции, европейские «легисты» (XIII в.) исходили из того, что власть монарха может пониматься двояко: как суверенная (*majestas*) или как королевская (*regnum*), признавая существование различия между

²⁹⁴ Алексеев Н.Н., Цит. пр. С. 461.

властью, осуществляемой монархом от имени государства, и властью, осуществляемой им по личному праву. Один из предтеч теории федерализма И.Альтузий (1562-1638), приняв боденовскую формулу суверенитета в сочетании с идеей общественного договора между группами, образующими общество, пришел к тому, что сувереном является организованное сообщество – народ. Суверенитет должен осуществляться сословиями и корпорациями.

Локк, а затем Руссо заложили основу представлений о том, что источником власти является гражданское общество – организованный народ. Идея народного суверенитета вобрала в себя тезис Локка о том, что власть возникла с образованием гражданского общества и она дана представительному и подотчетному законодательному органу в качестве доверенной ему обязанности. В своем требовании народного суверенитета Руссо пошел значительно дальше, поскольку не видел необходимости ограничивать такой суверенитет даже естественным законом.

Классическая концепция суверенитета идеологами Просвещения была пересмотрена таким образом, что стала приложимой ко всей совокупности граждан, выступающих именно в ипостаси граждан, а не подданных, и объединившихся для выражения совместной или общей воли. Суверенитет был отождествлен с демократией либерального типа. В Декларации прав человека и гражданина источником любого суверенитета объявляется нация. Но это, казалось бы, позитивное развитие теории в действительности вело ее в тупик, поскольку нация все еще оставалась только эмпирическим феноменом – ее увидели в текущих революциях, а потому никак не связывали с исторической и культурной традицией. Нацией оказывался народ, присвоивший себе суверенитет, отнятый у суверена.

Просветительская концепция народного суверенитета не могла не вызывать критики со стороны консервативных кругов. Так, для де Местра вопрос заключался не в том, принесла ли новая французская конституция свободу «народу-суверену», а в том, позволяет ли она народу в принципе *быть сувереном*²⁹⁵. Воля народа делегируется так называемым представителям, что неизбежно ведет к полному отчуждению народа от правительства. Де Местр критикует народный суверенитет, исходя из того, что народ «в принципе лишен возможности управлять» – в республике, как и в монархии, он неизбежно оказывается в положении управляемого. Народный суверенитет нереален, поскольку народ не обладает властной способностью.

В книге «О Папе» (1819) де Местр пишет: «Народ создан для государя, и государь создан для народа; и тот, и другой созданы для того, чтобы был суверенитет. Большая пружина в часах создана вовсе не для маятника, и он — не для нее; но каждое из них — для другого, и то и другое для того, чтобы показывать время». «Нет суверена без нации, как нет и нации без суверена; но нация обязана суверену *большим, чем суверен — ей*. Ибо она обязана ему своим общественным существованием и всеми благами, которые из этого вытекают, в то время как государь обязан суверенитету только тщетным блеском, не имеющим ничего общего со счастьем и почти всегда исключаящим его»²⁹⁶.

Преодолевая просветительский нигилизм по отношению к традиционным формам власти, де Местр выдвигает идею *равновесия нации и королевской власти*. Король как конкретный объект политического поклонения, выступает для подданных персонифицированным воплощением идеи Родины. Приверженность к династии совпадает с привязанностью народа к своему историческому прошлому. Поэтому именно в преданности престолу де Местр усматривает наивысшее проявление патриотического чувства. Только благодаря монархии нация определяется в качестве исторической и политической целостности.

²⁹⁵ Дегтярева М.И. Понятие суверенитета в политической философии Ж. Де Местра// Полис, 2001. №3. С. 114.

²⁹⁶ Цит. по Дегтярева М.И. Понятие суверенитета в политической философии Ж. Де Местра// Полис, 2001. №3. С. 115, 117.

Но кто же будет в реальном государстве гарантом этого единства? Философ предлагает возложить на папу Римского роль третейского судьи в разрешении конфликтов между монархами и их народами. Вместе с тем пример Наполеона и акт его коронации папой привел де Местера к мысли о другом определении конфликтной ситуации. Он выделяет отличие власти настоящего суверена от временного держателя властного мандата признаками древности и традиционности – корону поддерживает авторитет *времени*. Т.е. надежность и долговременность суверенной власти связывается с ее легитимностью, наследственностью²⁹⁷.

Аналогично де Местеру, Гегель также стремился снять мнимые противоречия между сувереном и нацией. Таким образом, Гегель порой перешагивал через собственные воззрения, лежавшие преимущественно в рамках классической теории. Он писал: «...в новейшее время о народном суверенитете обычно стали говорить, как о *противоположном существующему в монархе суверенитете*, — в таком противопоставлении представление о народном суверенитете принадлежит к разряду тех путаных мыслей, в основе которых лежит *пустое* представление о *народе*. *Народ*, взятый без своего монарха и необходимо, и непосредственно связанного именно с ним *расчленения* целого, есть бесформенная масса, которая уже не есть государство и не обладает больше *ни одним* из определений, наличных только в сформированном внутри себя целом, не обладает суверенитетом, правительством, судами, начальством, сословиями и чем бы то ни было»²⁹⁸. Гегель вообще отказался обсуждать предположение, что под народным суверенитетом понимают республику. Это представлялось ему верхом нелепости.

«Выборность монарха, — пишет Гегель, — легко может показаться наиболее естественным представлением, т.е. она ближе всего к поверхности мышления...»²⁹⁹. Но в таком случае «государственный строй в избирательной монархии превращается в институт, при котором государственная власть отдается на милость частной воле»³⁰⁰. Действительно, если выборы проводятся именно частной волей, то единства не возникает. Выборы разумны, если следовать логике Гегеля, только в том случае, если граждане приобретают качества идеального чиновника, т.е. реализуют на выборах свои всеобщие и объективные качества. То что было возможно на полисных форумах и вечевых сходах, когда индивидуальности сплавлялись в массу, в развитом обществе с множеством делегированных полномочий и заочных конфликтов становится недостижимым идеалом.

Политическая судьба Европы была таковой, что идея народного суверенитета, или верховной власти народа пришла на смену идее династического суверенитета, обосновывавшей право монархов на монопольное осуществление физического принуждения и законодательной власти на определенной территории. На протяжении XIX и XX вв. идея народного суверенитета через революции и реформы шаг за шагом завоевывала устойчивые позиции в мире. Переход понятия «суверенитет» из разряда характеристик, закрепленных за абсолютной монархией, в систему либеральных ценностей и связь его с народом давал только теоретическую гарантию от деспотизма. Реальным результатом такого перехода было лишь ограничение власти государства определенными рамками – государство отныне не могло открыто и явно переступить через основополагающие конституционные права граждан. Вместе с тем государство сохранило свою роль единственного «исполнителя» публичного права и верховного управителя территорией, экономикой, системой безопасности. Идеи государственного суверенитета могли противостоять лишь представления о гражданском обществе, как

²⁹⁷ Данная мысль красной нитью проходит в русском летописном наследии, которое задолго до европейских мыслителей в образно-литературной и наставительной форме представила все положения теории суверенитета.

²⁹⁸ Гегель, Цит. пр. С. 320–321.

²⁹⁹ Там же. С. 325.

³⁰⁰ Там же. С. 326.

желаемом в идеале противовесе бюрократическому аппарату, а также международное право³⁰¹.

Ни то, ни другое не могло поставить под сомнение само понятие «суверенитет», как принципиальной характеристики существования государства. В то же время идея народного суверенитета и «внутренней легитимности» того или иного политического режима крайне редко рассматривается в качестве причины для того, чтобы считать соответствующий государственный организм суверенным или несуверенным. Либерализм сделал понятие суверенитета, как и многие другие понятия, совершенно непригодными в качестве интеллектуального инструментария описания и анализа действительности, превратив социальную философию в оплаченную форму общественного досуга и пустопорожней риторики политических марионеток.

Как отмечает Вадим Цымбурский, власть может держаться даже на чистом насилии (без всякой харизматической или традиционной легитимации), что не мешает ей быть признанной во внешнем мире и обрести ранг суверенной. Пример тому – членство в ООН откровенно тиранических режимов. Поэтому вопрос о внутренних основаниях власти для суверенитета в международных отношениях чаще всего не имеет существенного значения. То же самое можно сказать и о концепции общественного договора. В современных условиях сомнительный «виртуальный договор», прежних времен, когда суверенитет увязывался Божьим велением, и вовсе должен был казаться абсурдом.

Сказанное требует заключения о том, что «народный суверенитет» является в значительной мере ложной или излишней смысловой конструкцией, мешающей выделить в понимании власти те особенности, которые формируют инвариантную смысловую структуру понятия «суверенитет». Теоретическая конструкция «народного суверенитета» в большей мере подходит как имя одного из факторов кризиса государственности и национального самосознания. Это достаточно хорошо иллюстрируется на примере русской истории.

В XIX в. российская монархия стала обращаться к идее народности – возникла доктрина официальной народности Николая I, который отождествлял народ с царем через восхваление его преданности своим правителям. Александр II в первые годы своего царствования отождествлял монархию с реформами 1860-х — освобождением крестьян, судебной и земской реформами, которые осуществлялись правительственными чиновниками. Именно эти реформы создавали неразрывную связь сословий с правительством и монархом. Монархическое государство рассматривалось как основа для развития чувства народного единства и его олицетворения в Государе и подвластных ему институтах Империи. Александр III превратил идею монархической государственности в официальную идеологию религиозно-этнического единства власти и народа, отделяя эту связь от государственных институтов. Самодержавное государство мыслилось в идеале, как непосредственное продолжение личной власти монарха, а нацией признавались только интуитивно-верноподданные массы крестьянства.

Отказ от выстраивания «срединных» элементов этого единства с одной стороны, порождал в Российской империи неэффективную бюрократию, и, с другой – революционизировал вычеркнутые из государственной политики слои интеллектуалов. Интеллектуальная публика, имевшая возможности в рамках официально допущенной риторики для высказывания верноподданических чувств, к концу XIX в. фактически прекратила свое участие в создании национальной культуры, развитии языка, литературы – всего того, что формировало бы национальную идентичность как самих интеллектуальных слоев, так и русского народа. Иным (более ранним) ответом на исключение образованных слоев из формирования национального суверенитета были

³⁰¹ Вестфальский мир 1648 г. создал современную систему международных отношений, при которой множество государств (каждое — суверен на своей собственной территории) сосуществуют как равные, не подчиняясь никакой высшей власти

нигилистические антигосударственные мотивы ранних славянофилов, отвергавших институциональную основу государства как таковую. Антигосударственный нигилизм проявлялся и в русском народничестве с его идеализацией общины. Таким образом, внутри империи формировался оппозиционный самодержавию «народный суверенитет», черпающий идеологические доктрины из сочинений европейских мыслителей. Сама же имперская система пыталась выстроить примитивную национальную доктрину, фактически соскальзывая к устаревшей концепции абсолютистского суверенитета.

Цымбурский пишет о четырех и модусах воплощения понятия «суверенитет» в Новом времени: последовательно вытесняющие друг друга представления о суверенитете монархов, суверенитете народа, суверенитете нации (государства) и дополнительный концепт «права наций на самоопределение». В первом случае мы имеем дело с концентрацией суверенного права всего феодального сословия, во втором – слоя собственников (позднее – всего населения страны), в третьем – с интегративными структурами государственности, в четвертом – с этнической концепцией государства. Из четырех «модусов» три предполагают подмену «подлинного суверена» неким представителем, а значит, и определенное самоограничение режима, в обмен на которое от управляемых требуется повиновение.

«Давно отмечено, – пишет Цымбурский, – к каким вывертам и двусмысленностям обязывает режим его декларации насчет "суверенитета большинства" или "суверенитета электората", означающий на деле обязательство данного режима быть "чувствительным ко всем влияниям", которые, суммировавшись, давали бы в итоге "волю большинства". Напротив, доктрина суверенитета нации-государства как организма, способного иметь собственные — "высшие" — интересы, не совпадающие с интересами ни одной из конкретных групп населения, облегчает режиму жизнь, делая правящую бюрократию его важнейшей референтной группой. Ориентируюсь на тот или иной модус воплощения суверенитета или на их комбинацию, режим делает ставку на социальные функции, которые в данную эпоху общество ценит выше всего и во имя которых оно наиболее склонно подчиниться отчуждаемой государственной власти»³⁰².

Национализм, суверенитет нации-государства возникает из либеральной конструкции «народного суверенитета», в которой размывается понятие индивидуальности и усиливается мотив единства. Неоднозначность терминов «нация» и «народ» в европейских языках способствовали такой замене при усилении центральной власти и возникновении серьезных и внутренних внешних угроз. Именно идеология единства, востребованная в определенный исторический момент, сближала терминологические обозначения населения государства (подданных) и ведущего (крупнейшего) этноса, а также нацию и государство.

Одновременно присутствие некоего образа суверена сохраняется даже там, где суверенитет народа кажется незыблемым. На Западе существуют государства с монархическим строем (Великобритания, Нидерланды, Дания, Швеция и т. д.), которые являются не менее стабильными демократиями, нежели республиканские Франция, США, Швейцария, ФРГ и др. Монарх в современных европейских государствах как бы отражает волю народа, не в силах изменить ее. И одновременно олицетворяет народный суверенитет вместе с приверженностью традиции, в которой роль суверена не может быть умалена.

Отрадно видеть, что в европейских государствах идея «народного суверенитета» является всего лишь набором риторических оборотов в рамках политкорректности. Но с другой стороны, национальный суверенитет здесь также формален, традиция, скорее имитируется, чем воспроизводится. Все это указывает России на более эффективные формы организации государства на основе принципов всесословного общенационального

³⁰² Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте// Полис, 1993. №1.

единства и неформального восстановления суверенной верховной власти в соответствии с собственной традицией.

«Мягкий» суверенитет

Попытка отказаться от теории суверенитета через утверждение федеративной теории означает отбрасывание критерия централизация/децентрализация и признание концепции унитарного государства банальным и ненужным. Ключевым в этом случае становится понятие федерализма. Федеративное государство – именно в отношении такого государства формируется понятие о суверенитете, как о некоем негативном качестве, подлежащем преодолению. Оно считается истинно суверенным в «мягком» понимании суверенитета. Унитарное государство объявляется просто вырожденной формой федеративного, архаичной и неэффективной государственной конструкцией.

Главной чертой федеративного государства является инкорпорирование региональных единиц в центральное правительство для решения ряда вопросов законодательной и исполнительной власти. Суверенитет объявляется распределенным между центром и территориальными единицами. Но это уже суверенитет, не имеющий никакого отношения к предельному властному решению, и даже допускающий региональную деспотию в сочетании с консенсусным принципом принятия решений федеральной властью – альянсом деспотий.

Соединить жесткое требование неделимости суверенитета с существованием федеративных государств теоретически крайне затруднительно. Именно поэтому «мягкий» суверенитет становится новацией, которая должна была оспорить продуктивность неделимого суверенитета, существовавшего во всей европейской истории, но не давать при этом повода для обвинений в оправдании сепаратизма.

Проблема заключалась уже в том, как проследить распределенность суверенитета с момента образования государства из ранее независимых частей. Если допустить, что федерирующиеся части сохраняют свою обособленную правовую субъектность, то возможно ли при этом конституировать новое государство без фактической ликвидации обособленности правовых систем его составных частей? Если такая обособленность сохранена и суверенитет федеративных составляющих не потревожен, то новое государство не состоялось. Если же федеративные органы власти могут требовать безусловного приоритета в каком-то круге вопросов, то можно утверждать, что каждый учредитель нового государства переучреждает сам себя, в чем-то утрачивая прежнюю субъектность. Если это так, то выход из состава федерации одного из субъектов должен также означать переучреждение государства в целом, затрагивающим все его части. Тогда решение о выходе из федерации не может быть принято одной из ее составных частей. То же будет касаться и любого изменения конституционного режима как федерации в целом, так и отдельного субъекта федерации.

Таким образом, «мягкий» суверенитет может быть реализован только в ситуации крушения прежнего суверенитета и системы отношений между федерированными субъектами и учреждения его вновь. Причем, в условиях интенсивной политической борьбы и масштабных реформ законодательства «мягкий» суверенитет оказывается либо в условиях постоянной нестабильности, либо фактически не существующим.

Допущение о делимости суверенитета в порядке «совместного ведения» означает, что составные части федерации неуничтожимы – не могут быть расформированы решением высших государственных органов. Такая ситуация сложилась в современной России, вставшей перед проблемой обеспечения собственного внутреннего суверенитета – невозможностью провести в парламенте конституционный закон о ликвидации того или иного субъекта федерации, создания нового административно-территориального образования с правами области или республики, либо о принятии в состав нового субъекта.

Ввиду невозможности реформирования федеративной территориально-политической системы, «мягкий» суверенитет означает ограничение централизации с одной стороны, а с другой – отсутствие ограничений для децентрализации. Соответственно, если децентрализации не будет поставлен внеправовой неформальный барьер, она произойдет вплоть до распада государства. Ликвидация такого внеправового института, как КПСС, мгновенно привела к децентрализации вплоть до распада государства. Возможность стремительной реализации формально сохраненной возможности ликвидации государства через разъединения выходящих в него составных частей была самым ярким образом воплощена на практике.

Можно сказать, что «мягкий» суверенитет – это, скорее, видимость суверенитета, его потенциальная возможность в ситуации кризиса государственности (включая кризис начального этапа его становления). И существует немало политических теорий, которые полагают кризис государственности делом, благом и необходимым для полноценного развития общества.

После Второй мировой войны вместе с иллюзией общемирового альянса, призванного в дальнейшем гарантировать мир от фашизма, появилось множество сторонников давней анархистской идеи о мировом обществе, в котором господство государства будет ограничено, а потом и вовсе упразднено. Так, один из известных французских мыслителей Жак Маритен подходит к выводу, что понятие суверенитета ни к государству, ни к политическому обществу неприменимо. Ибо «до тех пор, пока государства дорожат своим так называемым суверенитетом, они не могут ни на один день хотя бы гипотетически оставить свою верховную независимость, с тем чтобы вступить в политическое общество иного порядка, в мировое общество»³⁰³.

Новое обоснование этой идеи ничуть не сложнее прежних – высшая власть связывается с пережитками абсолютизма, непонятным образом присутствующими в демократическом обществе. В теории Маритена есть лишь одно новшество – суверенитет у государства и общества отнимается одновременно, а на его место приходит свободная взаимоподдержка Церкви и светского государства. Если такая замена будет достигнута, считает Маритен, национальные границы исчезнут и мировое христианское правительство станет реальностью – органом общечеловеческой культуры. На роль такого правительства католик Маритен, разумеется, прочил Ватикан.

Суть концепции ограниченного суверенитета состоит в том, что появление принципа суверенного государства было обусловлено историческими обстоятельствами прошлого. Политические события последних десятилетий показывают, что этот принцип все менее отвечает требованиям современности. Поэтому более приемлемым и гибким инструментом государственного обустройства может быть признан принцип автономии в условиях федерализма.

По мнению многих западных исследователей, реалии современного мира активизируют стремление к независимости и делают автаркию, с одной стороны, трудносохранимой, а с другой — представляющей угрозу правам меньшинств. Из этого делается вывод о том, что более разумным было бы вести речь не об отсутствии альтернативы государству и суверенитету, а о степени федерализма и автономии: «Государство по-прежнему выступает в качестве формы, где вызревает внутренняя и внешняя политика, однако усиление тенденций к рассредоточению власти внутри него и к внешней независимости актуализирует различного рода концепции, альтернативные доктрине государственности, и в первую очередь концепции автономии в рамках федерализма»³⁰⁴.

Продолжая размышления на эту тему, С.Лейкофф пишет: «Происходящие в современном мире события усилили осознание того, что и идея государства, и

³⁰³ Маритен Ж. Человек и государство. / Перевод с англ. Т. Лифинцевой. М.: Идея-Пресс, 2000. С. 55.

³⁰⁴ Лейкофф С. Оппозиция «суверенитет – автономия в условиях федерализма»: выбор между «или – или» и «больше – меньше» // Полис, 1995. №1. С. 178.

вытекающая из нее идея суверенитета — это не столько необходимые категории политической реальности, сколько искусственные исторические конструкты, призванные обслуживать потребности прежних времен»³⁰⁵; «...появление принципа суверенного государства было обусловлено непреодолимыми историческими причинами, однако события последних лет делают его все менее и менее отвечающим требованиям времени, препятствием на пути дальнейшего прогресса в разрешении внутренних и международных конфликтов или хотя бы в предотвращении их эскалации»³⁰⁶.

Проблема переосмысления суверенитета и ценности государственности видится на Западе, прежде всего, как проблема российская. Именно России предписано переступить через государственную традицию и усвоить «новые реалии». То есть, вновь, как во времена большевиков, воплотить умозрительные европейские теории и следовать на практике либеральной риторике.

Английский профессор Ричард Саква пишет по этому поводу: «В посткоммунистическом мире, переживающем процессы глобализации, четко определяемая формальная природа границ уступает перед более подвижной средой, в которой все территории, независимо от существования или отсутствия формальной привязки к конкретному государству, оказываются, в политическом смысле, "пограничными" областями. Вопрос, по сути, не только в самой территориальной демаркации, но в равной мере и в политической практике: в условиях меняющегося понимания государственности и постепенного размывания жесткости концепции суверенитета новые государства вынуждены продвигаться в пограничные области политических конструкций. Это касается прежде всего России, где история, масштабы и местоположение страны требуют радикального переосмысления теории и практики построения государства»³⁰⁷.

Для посткоммунистического российского контекста Саква считает «абсолютное определение суверенитета» неадекватным и предлагает «комплексный *рациональный* подход». Данный подход, который Саква называет «республиканизацией», предполагает при невозможности обретения полной независимости российскими республиками изменение понятия общероссийского суверенитета («суверенитет нового типа»), которое должно обслуживать квазинезависимый статус республик — зависимый, если дело касается получения субсидий, и автономный, если речь заходит о системе власти, правах на ресурсы и т.п. Соответственно предусматриваются более широкие трактовки федеративных отношений (в частности, через квазиконституционные договоры о разделении полномочий между центром и регионами).

Концепция суверенитета в западной политологии подвергается пересмотру путем признания обусловленности этого понятия задачами социального конструирования³⁰⁸. Единое и устоявшееся в прошлом понятие суверенитета также становится спорным ввиду рассмотрения современных условий как особенных — сложность современного мира будто бы требует комплексного понимания суверенитета, отличного от понимания прежних времен³⁰⁹.

Один из современных критиков понятия «суверенитет» С.Дуванов пишет: «Для многих правителей суверенитет служит таким забором, за которым они делают со своими народами все, что им вздумается. Такой суверенитет допускает, что не желающий расстаться с властью правитель устанавливает свой “особый порядок”, в рамках которого преследуется инакомыслие, оказывается давление на не согласных, подавляется

³⁰⁵ Там же. С. 179.

³⁰⁶ Там же. С.180.

³⁰⁷ Саква Р. Республиканизация России: суверенитет, федерализм и демократическое устройство// Конституционное право: восточно-европейское обозрение, 1999. №4 (29).

³⁰⁸ Slocum J.W. A Sovereign State within Russia? The External Relations of the Republic of Tatarstan // Global Society, 1999. Vol.13. No.1. P.49.

³⁰⁹ Tully J. Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity. Cambridge University Press, 1995.

социальный протест. А весь цивилизованный мир при этом становится пассивным наблюдателем. Порой доходит до абсурда, когда некоторые диктаторы заливают страну кровью, а международное сообщество “выражает озабоченность”. Достаточно вспомнить режим Пол Пота в Камбодже, который уничтожил половину населения своей страны. Ведь никто не пытался остановить его, предотвратить чудовищный геноцид. Оправданием такого попустительства служил все тот же пресловутый суверенитет, который в соответствии с международными нормами не позволяет вмешиваться во внутренние дела государств. С Пол Потом в конце концов разобрались, но три миллиона человеческих жизней были положены на алтарь Суверенитета. Это всего лишь один пример тех жертв, какие понесло человечество, не сумевшее благодаря фетишу суверенитета помешать диктаторам в их расправах со своими народами»³¹⁰.

Дуванов заявляет, что терроризм выходит за границы суверенитета отдельно взятой страны и становится международным, а это значит, что настало время всерьез задуматься о том, необходим ли такой суверенитет, от которого в итоге страдают ни в чем не повинные люди других стран, а мир оказывается на грани войны? Предполагается, что с точки зрения безопасности человечества было бы безрассудством позволять правительствам государств определять степень свободы и прав человека для своих граждан. Значит обеспечение прав человека и его свобод должно стать прерогативой международного сообщества. Властители должны быть зависимыми от мирового сообщества в части соблюдения прав человека. Государство суверенно во всем, кроме вопросов соблюдения прав и свобод человека.

Симптоматично, что подобного рода доводы вполне позитивно оценивают агрессию НАТО против суверенной Югославии и тайный захват президента Милошевича с попыткой организовать против него судебный процесс в Гааге. События в Югославии выдаются за образец адекватной реакции международного сообщества на насилие, которое пыталось прикрыться суверенитетом.

В связи с этим нетрудно предположить, как видится применение концепции ограниченного суверенитета против нашей страны. Прежде всего, данная концепция связывается с размытием понятия «суверенитет», с попытками поставить под вопрос наличие верховной власти в государстве. Во внутренней политике это стимулирует конфедерализацию, во внешней – все большую открытость страны для разного рода «гуманитарных» организаций, вмешивающихся в государственные дела (например, в решения судов по поводу преследования за шпионскую деятельность).

В противовес попыткам создать «мягкую» концепцию суверенитета можно привести простые рассуждения Н.Н.Алексеева. Делим ли суверенитет? – задает вопрос Алексеев. «Если понимать суверенитет как свойство быть высшим, – пишет Алексеев, – то в этом смысле суверенитет неделим»³¹¹. Но тогда мы имеем дело лишь с формальным понятием. Объем вопросов, по которым высшая власть обладает правом последнего решения может быть различным. Поэтому по объему суверенитет делим: «...организованная власть должна в конце концов иметь иерархическое строение, то есть единого официального носителя или суверена, хотя бы в лице организованной коллегии»³¹². «Суверенитет, таким образом, не есть понятие, созданное для уразумения природы и явлений государственного властвования. Суверенитет не обозначает также и единства, неделимости, неограниченности и неотчуждаемости государственной власти, как об этом учит политическая теория суверенитета, но в его единственно возможном научном истолковании оно является понятием, выражающим иерархичность отношений между официальными носителями власти в государстве и утверждающим, что в этих

³¹⁰ Дуванов С. От национального суверенитета к международному терроризму// IEI (Международный евразийский институт), 25 сентября 2001 года.

³¹¹ Алексеев Н.Н., Цит. пр. С. 540.

³¹² Там же, С. 543.

отношениях должна быть некая высшая точка, некий высший центр действия, обладающий способностью последних решений»³¹³.

Сравнение подхода Алексеева с концепциями «мягкого» суверенитета показывает, что в действительности эти концепции не исчерпываются предложениями по оптимизации государственного управления, а посягают на суверенитет государства как такового – на замену государственной власти властью внесударственного регулирования или, точнее, внешнего вмешательства.

Радикальная концепция суверенитета

В 2001 году впервые на русском языке вышли книга известного немецкого философа и юриста Карла Шмидта «Политическая теология», которая настолько удачно совпала с дискуссиями по актуальным проблемам российской государственности, что не могла восприниматься как чисто академическое событие. Это было поистине политическое событие, ярко отразившее расхождение между сторонниками подчинения России глобализации и сближения с Западом и сторонниками идеи самобытного и независимого развития России. Идеологическая несовместимость концепций «жесткого» и «мягкого» суверенитетов приобрела в нашей стране радикальный характер, становясь, таким образом, политическим фактором, прежде всего в связи с новым прочтением государственно-правовых отношений и методологических принципов их анализа.

Трактат Шмидта «Политическая теология» имеет подзаголовок: «Четыре главы к учению о суверенитете». Этой встречей «политической теологии» с «суверенитетом» на титульном листе вполне объясняется интеллектуальная задача, предпосланная работе: ее предмет – «радикальное» прояснение понятия суверенитета, которое в силу специфики метода превращается в социологию понятия суверенитета. Кроме того, «теология» свидетельствует об источниках политических понятий, который все имеют догматическое происхождение и формируют политические мифы, включая миф о государстве.

«Суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»³¹⁴, – первые слова трактата, которые сразу определяют жесткую позицию, столь важную для современных дискуссий об ограниченности и делимости суверенитета государства. Формально суверен можно определить по юридическому праву объявлять чрезвычайное положение. Реально суверен выявляется в момент принятия такого решения. Суверенность определяется тем, насколько удалось добиться целей, заложенных в этом решении, – подавить антигосударственный мятеж, отразить агрессию или оказать помощь при ликвидации последствий стихийного бедствия.

В своей идее чрезвычайного положения Шмитт развил положение Бодена о том, что суверен, будучи источником закона, должен быть «не связан законом» (*legibus solutus*), т.е. свободен от подчинения ему. Разворачивая формулу суверенитета, Шмитт, показывает, что право не может не содержать изъятий из общих правил, которые имеют отношения к внезапно возникшим и непредсказуемым ситуациям, где государственное право демонстрирует очевидное бессилие. Недостаточность правопорядка автор описывает в терминах «исключительного случая»: «Исключительный случай, случай, не описанный в действующем праве, может быть в лучшем случае охарактеризован как случай крайней необходимости, угрозы существованию государства или что-либо подобное, но не может быть описан по своему фактическому составу. Лишь этот случай актуализирует вопрос о субъекте суверенитета, то есть вопрос о суверенитете вообще»³¹⁵.

Суверен тот, «в чьей компетенции должен быть случай, для которого не предусмотрена никакая компетенция»³¹⁶. Разумеется, что «предпосылки и содержание

³¹³ Там же. С. 540.

³¹⁴ Шмитт К. Политическая теология, М., 2000. С.15.

³¹⁵ Там же. С.16–17.

³¹⁶ Там же. С.22.

компетенции здесь необходимым образом неограниченны»³¹⁷. Суверен принимает решение о чрезвычайной ситуации и организует ее в качестве некоторого порядка. Это властное водворение порядка – решающая предпосылка возможности какого бы то ни было права. «Не существует нормы, которая была бы применима к хаосу. Должен быть создан порядок, чтобы имел смысл правопорядок», – говорит Шмитт. Это значит, что «суверен создает и гарантирует ситуацию как целое в ее тотальности»³¹⁸.

Здесь мы должны указать на весьма близкие представления, высказанные до Шмидта Н.Н.Алексеевым: «*Самопровозглашение* является тем наиболее первичным властным актом, посредством которого устанавливается существование верховных официальных носителей государственной власти»³¹⁹. «Тщетно пытаться обосновать иначе власть этого первичного верховного органа современной демократии, который совершенно так же, как и первичный верховный носитель власти в монархии, конституируется произвольно, на основе известного положения и в силу самоопределения, согласно которому люди утверждают себя носителями голоса и представителями нации»³²⁰.

Более ясную позицию по вопросу о значимости чрезвычайного положения для государства высказывал до Н.Н. Алексеева М.Н.Катков:

«У нас вышло совсем из памяти, что ни одно из самых свободных государств не отказывалось от своего несомненного права законным образом принимать в исключительных обстоятельствах исключительные меры. В Англии в случае надобности может быть отменен акт, обеспечивающий личную безопасность, «Habeas Corpus». В Риме в минуты опасности сенат постановлял свое знаменитое *videant consules* (пусть консулы смотрят) — и консулы были облакаемы диктаторской властью. Эти меры, стесняющие личную безопасность в интересах безопасности общественной, необходимы везде. Они законным образом отменяют законы, издаваемые для мирного времени. Принимаемые при исключительных обстоятельствах, они делают на время этих обстоятельств законным то, что в мирное время не допускается законом. Можно жалеть о том, что в человеческих обществах время от времени наступают такие обстоятельства, но коль скоро они наступают, государство не может бороться против них теми средствами, которые считаются достаточными в спокойное время. Напротив, чем долее государство медлит в подобных случаях принятием исключительных мер, тем круче должны быть впоследствии эти меры и тем продолжительнее должно быть их применение, несомненно тягостное не только для виновных, но и для невиновных»³²¹. «Нельзя не скорбеть о необходимости, вызывающей суровые меры, но нельзя не желать и не признавать полезными мер, вызываемых необходимостью. Чем более власть проникнута чувством своего долга, чем неуклоннее ее правильное действие, тем менее бывает необходимость прибегать к суровым мерам преследования и кары. Печальная необходимость, вынуждающая принятие исключительных мер есть всегда следствие слабого или неправильного действия власти. (...) Власть бессильная бездействует по бессилию; но если власть сильная и бездействует, то это может быть только вследствие каких-либо парализующих ее мнений или какой-нибудь неправильности в распорядке ее органов...»³²².

Обращение к идеям Каткова, как мы видим, двигает более позднюю мысль Шмитта в иное русло – дело даже не в самом чрезвычайном положении, а в его потенциальной возможности, настолько явной (достаточно свежей в памяти), что не требуется в течение длительного периода установление его на практике. Таким образом суверен тот, кто вынуждает помнить о своей способности применить чрезвычайные меры в любой момент,

³¹⁷ Там же. С.17.

³¹⁸ Там же, с.26.

³¹⁹ Алексеев Н.Н., Цит. пр. С. 553.

³²⁰ Там же.

³²¹ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 140.

³²² Там же. С. 363–364.

как только это потребуется. Иными словами, в современном мире, где не применима формула «государство – это я», речь идет о национальной власти. Суверенна только национальная власть.

Важно отметить эту «особую точку», в которой понятие суверенитета смыкается с понятием «нация». Современный исследователь Борис Капустин пишет: «Нация, практически единодушно поднявшаяся для отпора внешнему агрессору, представляет собой такое волящее "мы", каким она перестает быть в дни мира, распадаясь на более частные "мы", выступающие в этих условиях предельными обобщениями индивидуальных волей. Нация при этом, разумеется, сохраняется как этнографический факт и даже как объект политического управления. Но она перестает быть политическим субъектом, т.е. определенным волящим "мы"»³²³. Из этой мысли следует, что и суверенитет, и нация существуют в нормативной ситуации лишь подспудно, а в явления превращаются в чрезвычайной ситуации.

В западные мыслители послевоенного периода, если указывали на необходимость чрезвычайного положения, то обязательно либо останавливались на том, что применение силы государства – чрезвычайное зло, либо добивались до антигосударственных идей – если государство без насилия над индивидом невозможно, значит следует отказаться от государства.

Например, Жак Эллюль признавал, что «в случае необходимости политический режим возьмет на вооружение пропаганду и добьется приверженности народа в целом, создавая, таким образом, свою собственную противозаконность»³²⁴. Если же пропаганды будет недостаточно, то в ход пойдут силовые методы. Ведь «говорить, что государство не должно применять силу, – это просто означает утверждать, что государства не должно быть»³²⁵. В целом позиция государственной власти такова: «правительство соблюдает закон, если ничего особенного не происходит, но если вдруг объявляется чрезвычайное положение, то специально оговаривается, что особые законы будут оставаться в силе на определенный период. Это случается главным образом в такие моменты, когда какая-нибудь группа пытается насильственно добиться своих целей. В такие моменты ответная реакция государства безжалостна»³²⁶. Безжалостность определяется как аморальность. Соответственно, государство и вся сфера политического представляются оторванными от морали, а потому человеку, мол, не дано реализовать в политике свои ценности.

Наша позиция противоположна: безжалостность в чрезвычайной ситуации как раз и является возможностью проявить предельные ценности, ради которых люди жертвуют своей жизнью, а государство – жертвует их жизнями и правовыми свободами. Но в чрезвычайном положении, когда ценности выражены непосредственно и не скованы необходимостью правовых формулировок, они могут оказаться и антинациональными – направленными против национальной традиции. И тогда это будет тирания, которую следует отличать от диктатуры, способной нести национальные черты.

Альтернативой понятию «суверенитет» Шмитт видит доктрину «правового государства» с его идеей «нормального состояния» и абсолютизации этой идеи (здесь можно вспомнить Гегеля и его процитированную выше мысль о том, что суверенитет проявляет себя более всего в «состоянии нужды»). Шмитт воспроизводит эту альтернативу в своем видении государства в формуле Кельзена: «государство тождественно своей конституции». В противовес этому тезису всегда возможно хотя бы мысленное моделирование ситуации, когда наступает чрезвычайное состояние, при котором государство продолжает существовать, а право (прежде всего – конституция) отходит на второй план. Более того, политика сохраняет свою актуальность, пока такие состояния возможны.

³²³ Капустин Б.Г. Что такое политическая философия. Часть II.// Полис 1997. №1.

³²⁴ Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. С. 140.

³²⁵ Там же. С. 145.

³²⁶ Там же. С. 141.

Шмитт пишет: «Можно ли покончить с экстремальными исключительными случаями, это вопрос не юридический. И если кто-то верит и надеется, что такое действительно возможно, то это зависит от его философских убеждений...»³²⁷. И, добавим, от политических убеждений, которые и в современной России дают далеко заходящие следствия, связанные с концепцией «правового государства».

В подробном анализе аргументов либеральных теоретиков права Шмитту удастся показать: проблему суверенитета они решают тем, что отрицают его. Это обстоятельство в полном соответствии с исповедуемым методом относится им к метафизической противоположности двух картин мира: «нормативистской» и «десизнистской» (*desizion*, решение – излюбленный термин Шмитта). Обе они описывают метафизические концепции с собственными теоретико-познавательными, теологическими, антропологическими предпосылками. Особенно яркие параллели проводятся с областью теологии: «чрезвычайное положение имеет для юриспруденции значение, аналогичное значению чуда для теологии»; между тем как «идея современного правового государства реализуется совокупно с деизмом с помощью такой теологии и метафизики, которая изгоняет чудо из мира и которая также отстраняет содержащееся в понятии чуда нарушение законов природы, устанавливающее исключение путем непосредственного вмешательства»³²⁸.

Для нас особенно важно, что присущее русскому духу ожидание чуда связывается с радикальной интерпретацией понятия суверенитета. Радикальное понятие суверенитета адекватно русской традиции.

В современном мире концепция «жесткого» суверенитета встречает много сторонников. Так, Алан Джеймс утверждает, что суверенитет – это правовое, абсолютное единое условие, не подлежащее дроблению: «как в принципе не может быть дома наполовину, так не может быть и относительного суверенитета»³²⁹. При этом исследователь не признает необходимости особых интерпретаций суверенитета в свете происходящего в Восточной Европе³³⁰, «суверенитет – это мощное устремление... Те, кто хотят его получить, не очень хотят развивать новую концепцию суверенитета. Они не хотят перевернуть принцип, который лежит в основе политического мира. Они скорее хотят присоединиться к этому миру»³³¹.

До сих пор понятие суверенитета в его жесткой интерпретации остается ключевым в международных отношениях, где (хотя и все более формально) государства считаются самостоятельными акторами, власть которых в рамках национальных территорий ограничивается лишь договорными обязательствами, которые они могут аннулировать в одностороннем порядке. Государственный суверенитет определяется как «установление тождества и монополии государства на верховную власть в обществе»³³².

Проблема внешнего и внутреннего суверенитета

Представления о внутреннем и внешнем суверенитете проистекают из различных трактовок суверенитета как такового. Сужение понятия суверенитет оставляет пространство такому понятию, как независимость.

Внешние отношения государства есть отношения формально равных. Поэтому, по мнению Н.Н.Алексеева, логичнее говорить не о внешнем суверенитете, а о независимости государства. Но независимость не есть необходимый признак государства, подобно суверенитету³³³. Действительно, суверенитет может быть налицо вместе с зависимостью

³²⁷ Шмитт К. Политическая теология // Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С.18.

³²⁸ Там же. С.57.

³²⁹ James A. Sovereign Statehood. Allen & Unwin, 1986. P. 48.

³³⁰ James A. Sovereignty in Eastern Europe // Millenium: Journal of International Studies. 1991. Vol. 20. No.1. P. 81.

³³¹ Там же. С.88.

³³² Fried M.H. The State. — In: International Encyclopedia of Social Science. N.Y., 1961.

³³³ Алексеев Н.Н., Цит. пр. С. 541.

государства и нации, которые готовы до каких-то пределов следовать в форватере более сильного партнера в международных отношениях.

Было бы неверным отделять понятие суверенитета от государственной власти, считая, что суверенитет есть только признак государственной власти, а не сама власть. Тогда, как отмечает Алексеев³³⁴, могут быть *несуверенные* государства, каковыми придется считать средневековые государства или части союзного государства (швейцарские кантоны или американские штаты, входящие в федерацию США). Если к этому добавить множество возможностей решения вопроса о носителях суверенитета, понятие «суверенитет» становится смутным или вовсе ненужным.

Альтернативную позицию представляет немецкая предвоенная традиция неразделенного суверенитета, согласно которой суверенитет означает полную независимость внутри и вне страны. Суверенное государство во всех отношениях само себе хозяин. В то же время такой жесткий вариант отношения к суверенитету затрудняет понимание указанных выше ситуаций внешней зависимости. Уровни этой зависимости при усилении взаимосвязей между современными государствами могут быть самые разные, что означает для жесткой концепции фактическую гибель – суверенной может быть только автаркия, немыслимая в нынешних условиях.

В то же время дальнейшее «смягчение» понятия суверенитет опасно другой крайностью – внешний суверенитет представляется такой частью суверенитета, которой можно пожертвовать. В дальнейшем очевидная увязка внутренних и внешних политических процессов будет означать сдачу суверенных позиций и во внутренней жизни государства³³⁵.

Выходом из этой обоюдной сложности можно считать определенную иерархию – неравенство в роли внутреннего и внешнего суверенитета. Внешний суверенитет, очевидно, должен быть подчинен внутреннему. Все внешние уступки и зависимости допускаются лишь в той мере, в которой они не нарушают внутреннего господства государства. В этом смысле верховенство международного права над национальным либо иллюзорно (для действительно суверенных государств), либо служит способом создания отношений зависимости между сильными и слабыми государствами.

Вадим Цымбурский вводит представление о парадигмах «суверенитета факта» и «суверенитета признания» (или «суверенитета согласия») как о двух господствующих в разные эпохи и в разных политических системах типах реализации базисной формулы суверенитета³³⁶. «Суверенитет факта» отвечает такому положению, когда мировое сообщество государств своим признанием лишь ратифицирует факт самоутверждения и жизнестойкости любого режима, заставляющего с собой считаться как с реальной силой. Для «традиционных» международных систем, где господствует «суверенитет факта», характерно жесткое размежевание сфер внешней и внутренней политики: последняя является частным делом суверенных режимов, не допускающих вмешательства в домашние дела. «Суверенитет признания» выражает тенденции таких эпох и систем, в рамках которых сила и стабильность каждого суверенного субъекта оказываются в зависимости от силы и стабильности мирового сообщества государств в целом. В таких условиях нормы политического поведения, демонстрирующие приверженность духу согласия, превалируют над своеволием и ценностным сепаратизмом отдельных режимов, а грани между внешней и внутренней политикой размываются.

При обилии публикаций, связанных с попытками представить современное государство в качестве явления, слабо связанного с понятием государства прежних времен, именно традиционное государство («суверенитет факта») является моделью для международного права. Федеративные и конфедеративные модели распределенного суверенитета только тогда возникают в международных отношениях, когда суверенитет

³³⁴ Там же. С. 462.

³³⁵ Об этом см. Устьялов Н.В. Элементы государства...

³³⁶ Цымбурский В. Понятие суверенитета и распад Советского Союза// Страна и мир, 1991. № 1.

факта оказывается под сомнением. Только тогда вне всяких законов международного права (например, соглашения о неизменности границ в Европе) возникает суверенитет признания. И лишь в короткие промежутки времени федеративно-конфедеративная модель признается как базовая, например, в период Священного Союза в Европе XIX в., а также начальный период ЕС (который на глазах заканчивается, поскольку конструкция ЕС перегружается разнородными деталями и нюансами взаимоотношений многочисленных стран – участников).

Внешняя функция суверенитета представляется как свойство государства вести независимую внешнюю политику, самостоятельно осуществлять свои функции в международном общении, в межгосударственных отношениях и в отношениях с международными организациями. В то же время внешний суверенитет может рассматриваться как дополнение к внутреннему суверенитету, поскольку в международных отношениях неизбежно возникают проблемы «суверенитета признания» и соответствующая иерархия «признаний» (например, в ограниченности числа постоянных членов Совета Безопасности ООН). Следовательно, всегда уместны подозрения о том, что во внешней сфере мы будем иметь для целой группы государств суверенитет «второй свежести» и широкий спектр отношений зависимости от наиболее мощных держав мира.

Вероятно, понятие суверенитета должно употребляться преимущественно в узком смысле – как независимость государства в его внутренних делах, которая выражается в верховенстве государственной власти – ее универсальности (действию на всей территории и на все население), исключительности (приоритете государственной власти над всеми другими видами власти) и специфичности (монополии на легитимное насилие, осуществляемое институтами, имеющимися в распоряжении только у государства: армия, полиция, тюрьма и др.).

Суверенитет и война

Войну нельзя признать просто конфликтным состоянием противоречивых общественных отношений, при котором политические и иные цели государств, народов и социальных слоев достигаются противодействием с массированным применением средств вооруженного насилия. Война, прежде всего, – взаимное отрицание права на суверенитет (официальная позиция каждой из воюющих сторон). Чаще всего оно выражено либо в отрицании права на территорию и стремление к аннексии, либо (в гражданской войне) – права на управление государством и организацию общественной жизни.

Суверенитет выявляется как факт в войне и утверждает себя в праве вести войну, т.е. вооруженным путем отстаивать свой суверенитет, добиваться признания факта суверенитета. Проявление фактического состояния суверенитета наиболее ярко демонстрируется в способности к войне, которая в мирное время лишь потенциально адекватна претензиям на сохранение суверенитета. Военная составляющая суверенитета, с этой точки зрения, выглядит бесспорной, что требует рассмотрения проблемы государственности в увязке с военной доктриной и системой современных угроз национальной безопасности. Проблема суверенитета может быть видна также и в задачах технической политики в области вооружений, и значение создания истребителя пятого поколения в соревновании с другими ведущими державами может оказаться для России куда существеннее прочих атрибутов суверенитета.

Бердяев, высказываясь по поводу Второй мировой войны, делает заключение: «Война... есть крайняя форма господства общества над личностью. Если это выразить иначе, то она есть явление гипнотической власти коллектива над личностью. Люди могут воевать лишь при ослаблении личного сознания и усилении сознания группового, коллективного»³³⁷.

Если воспринимать эту формулу не как обличение коллективных форм социального действия, то в ней легко увидеть характеристику войны, как проявления национального единства, т.е. внутреннего условия суверенитета. Преодоление войны было бы преодолением суверенитета государства. Именно это имеет в виду Бердяев, когда пишет: «В эпоху французской революции армия хорошо и победоносно воевала потому, что она была покорна таинственному инстинкту любви к отечеству, ее направляла созидаящаяся нация. Войну решает и воевать хочет не эмпирический народ, а сверхэмпирическая нация»³³⁸.

Действительно, война может быть иррациональной в тех ее проявлениях, которые происходят из иррациональных начал истории и нации. «Страшные жертвы войны не оправдываются никакими интересами. Эти страшные жертвы требуют сверхразумной санкции, требуют веры в цель и смысл, лежащие за пределами этого эмпирического отрывка земной жизни».

Известная формула Карла-Филиппа-Готфрида Клаузевица о войне, как о продолжении политики иными средствами, фиксирует лишь ее рациональную природу. Однако война, как разновидность социального бедствия и крайне антиномичное явление, в значительной мере иррациональна. И сам Клаузевиц видел это, подчеркивая величайшее значение морального фактора в войне. Он отмечал, что война представляет собой триединство, составленное из насилия, как первоначального своего элемента, ненависти и вражды, которые следует рассматривать как слепой природный инстинкт; из игры вероятностей и случая, что делает ее свободной душевной деятельностью; из подчиненности ее в качестве орудия политике, благодаря чему она подчиняется простому рассудку. Первая из этих трех сторон обращена больше к народу, вторая, больше к полководцу и его войску, а третья – к правительству³³⁹.

Бердяев указывает на антиномичность войны, которая сегодня стала «фигурой умолчания»: «Войны были могущественнейшим средством объединения человечества. Народы братались в кровавых распрях и в столкновениях. С древних времен через войны объединялись человеческие общества в большие исторические тела, в огромные империи; через войны разливались народы по поверхности земли, и этим путем уготовлялись единое человечество и единая всемирная история! И война же была выражением самого кровавого раздора в человечестве, взаимной ненависти народов и жажды истребления»³⁴⁰.

Перенося эту антиномию на сферу государственной жизни, мы можем сказать, что война есть одновременно и рождение, и гибель суверенитета – она может укрепить суверенитет, ослабить его или ликвидировать окончательно. «Война основана на признании реальности целости, общностей, духовных организмов. Социальная борьба, гражданская война отрицает все целости, общности, духовные организмы, она распыляет их, атомизирует их»³⁴¹.

Продолжая мысль Бердяева, мы можем сказать, что межгосударственные войны воссоздают суверенитет на новом уровне и являются своеобразным признанием суверенитета противоборствующей стороны, который намереваются сокрушить, отрицая

³³⁷ Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Глава VII Война.//Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: ТЕРРА, 1998. С.254–357.

³³⁸ Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письмо одиннадцатое. О войне. См. http://www.krotov.org/berdyayev/1918/fn_11.html

³³⁹ Клаузевиц К. О войне. М., 1937.

³⁴⁰ Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письмо одиннадцатое. О войне.

³⁴¹ Там же.

его в будущем. В гражданской войне происходит и самоотрицание суверенитета, позволяя внешним силам выбирать суверена между противоборствующими сторонами в период, пока внутренний суверен не утвердился.

Нужно заметить, что сталинская стратегия военного строительства была по сути дела отрицанием суверенитета как такового, поскольку предусматривала ведение почти исключительно наступательных войн. Еще Фрунзе полемизируя с Троцким, высказывался против оборонительных войн, настаивая на том, что рабочий класс может вести только войны наступательные. За эту концепцию наша страна чуть было не поплатилась собственным суверенитетом в 1941 году, оказавшись не подготовленной к оборонительным действиям в его защиту.

Аналогичная катастрофа поджидала Германию, взявшую на вооружение концепцию «абсолютной войны» Э.Людендорфа, отрицавшую возможность сохранения суверенитета противника, а значит предусматривающую только полную и окончательную победу, безоговорочную капитуляцию вражеского государства. Поражение в тотальной войне до последнего солдата, как показала история, обернулось тотальным поражением нации, фактической ликвидацией прежней германской нации и германской традиции государственности. Несколько раньше к этой грани подошла Франция, в военной доктрине которой предполагалось, что «позитивных целей можно добиться лишь наступлением», а в военных уставах пропагандировалось «наступление до предела». И только вмешательство внешних сил спасло Францию от окончательной национальной катастрофы во Второй мировой войне.

Бердяев пишет: «Трудно даже понять, где справедливость в великом историческом столкновении народов. Почему справедливо, чтобы греки победили персов или персы греков, римляне галлов или галлы римлян, Наполеон весь мир или весь мир Наполеона? Почему может быть справедливо усиление одних империй или разрушение других? Справедливо ли разрушить турецкую империю или сохранить её? Все эти вопросы неразрешимы, потому что неверно поставлены. Война есть борьба не за справедливость, а за онтологическую силу наций и государств»³⁴².

Таким образом, способность к войне есть тест не только на наличие суверенитета, но и на наличие нации, готовой отстаивать (прежде всего, оборонять) его, как свой собственный и тождественный ее бытию.

Гераклит говорит, что война всегда справедлива в своем финале, имеющем значение помимо представлений о справедливости у противоборствующих сторон: «Война (Полемос) – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людьми, одних творит рабами, других – свободными... Должно знать, что война общепринята, что вражда – обычный порядок вещей, и что все возникает через вражду и заимообразно».

Мы можем вывести из этой мысли простое следствие: внутренняя иерархия нации и государства первоначально создается войной, и эта изначальная система оправдана и справедлива уже тем, что она победила. Вместе с тем мрачная правда мысли Гераклита оставляет в стороне проблему устойчивости к новым потрясениям и переделам «справедливости». Новая справедливость уже на следующий день в результате восстания может опровергнуть старую, или же столетием спустя прежние «боги» будут прокляты по воле нового победителя. Следовательно, победа не может оправдать победителя, если за ним не стоит более высокое понятие о справедливости, чем то, которое было у побежденных. Отсюда следует, что возвышение каждого очередного победителя над предыдущим (если исключить откаты вспять) должно дать некий высший закон справедливости и, соответственно, некий высший закон утверждения суверенитета.

Нам нечем более обосновать этот высший закон, как традицией, которая прорастает в развитии цивилизации, несмотря на поражения и возвышение недостойных

³⁴² Там же.

победителей. Эта традиция утверждает и суверенитет, в котором нация и государство встречаются и образуют целостность всемирно-исторического значения.

Русский суверенитет – теория и практика

Главная проблема для современной России (понимаемой как пространство единого Отечества, раздробленного сегодня на множество государств) состоит не в том, чтобы определиться с границами цивилизаций. Это проблема актуальна скорее для американских политологов, которые разыгрывают на бумаге сценарии новых мировых войн. Для нас важнее понять, что разграничивает духовное пространство России, засоренное инородными цивилизационными включениями, что разрывает русский мир на части границами суверенных государств? Возможен ли русский суверенитет как проект единого государства с ведущей ролью русского народа, вобравшего в себя все свои части и фрагменты?

Сегодня достаточно популярной является риторика, связанная с упованиями на славянское единство. Соответственно и цивилизацию, к которой мы принадлежим, есть соблазн назвать славянской. Вместе с тем, ни разу в истории славяне не выступали единой силой. Наоборот, история славянства – это история непрочных союзов и подлых предательств. Что может объединять нас или что нас объединяло когда-нибудь с католической Польшей, в которой сегодня распиливают памятники русским воинам-освободителям? Что может объединять нас с Болгарией, пользовавшейся покровительством России, в которой нас называли «братушки» и предавали, вчера союзничая с Гитлером, сегодня – с НАТО?

Русские философы на рубеже XIX-XX вв. видели в концепции панславизма требование нового расширения империи в онемеченные, окатоличенные области и замены реально русского мнимым общеславянским. Противоположный подход требовал лидерства русских среди славян, которых предлагалось рассматривать, как детей великой матери России. Но и эта идея выглядела сомнительно, поскольку защиту со стороны русских славяне всегда принимали, но дружбу – никогда. Об этом писал в «Дневнике писателя» Ф.Достоевский, горько подмечавший извечную неблагодарность и презрение к русским жертвам, как только надобность в помощи отпадала. Поэтому и сегодня любой панславизм может быть продуктивным и прагматичным для русских только в форме русского национализма, который расширяется до общеславянских интересов. В этом смысле, как отмечал Н.Дебольский, всякий нерусский панславизм является попыткой решить свои проблемы за счет русских.

Идея панславизма как общеславянской солидарности полностью провалилась при попытках создания полиэтнических государств, которые, как казалась некоторым славянским народам, вырвались из плена Австро-Венгрии. После распада Австро-Венгрии под покровительством США, Великобритании и Франции были созданы Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Югославия) и Чехословакия. Оба эти государства вместе с СССР появились и распались практически одновременно. Никакая славянская солидарность не помогла, никакого сопротивления расчленению славянских государств народы не оказали.

В истории можно зафиксировать какие-то элементы славянской солидарности, но нет глубинной духовной общности, нет стремления к единому государству. И это означает, что не может быть не только славянской нации и славянского суверенитета, но и славянства, как исторического субъекта. Что вполне соответствует выводу К.Н.Леонтьева о том, что славяне есть, а славянства нет. Более того, идея славянского единства вполне может стать попыткой объединить славянские народы против России и оторвать от русского национального ядра белорусов и украинцев, превратив их в новые среднеевропейские народы, забывшие свои исторические корни.

Это касается и попытки определения нашей цивилизации, как восточно-христианской. Несмотря на то, что Православие является стержнем нашего национального

понимания Истины, в своей социальной проекции оно не в состоянии скрепить восточно-христианские страны в политический субъект. Православие, скорее, является монастырем в миру, который стремится жить по православным канонам, но не един в их понимании и малоспособен к такого рода единству. Современное состояние добавляет к этому церковный раскол и отсутствие духовных авторитетов, значимых для социума в целом.

Наша цивилизация не может быть определена с опорой на советские ценности недавнего прошлого. Более того, можно достаточно убедительно показать, что именно в советский период формальное единство народов СССР скрывало консолидацию сил нового варварства и разложение национального самосознания. Следовательно, пытаясь определить полноценный российский суверенитет через признаки разрушенного в 1991 г. советского государства, мы снова попадем в теоретический тупик, а в след за ним – и в политический. Политическая теория обязана отказаться от попыток восстановить «дружбу народов» в советском государстве и на советских принципах государственного строительства. Прежде всего потому, что полноценного суверенитета без государствообразующей нации быть не может, а советская модель была попыткой держать суверенитет без нации. Тотальная бюрократизация всех сторон жизни была следствием этой установки и причиной крушения государства.

Признак, который составит портрет возможного нового суверенитета, – русская культура, русская мысль, русская история. Этот признак обобщает в себе и славянскую солидарность, и восточно-христианскую традицию, и успехи советского периода. В русском суверенитете в единое целое могут быть собраны, прежде всего, русские народы – великороссы, белорусы, малороссы и другие русские народности вместе с обрусевшими выходцами из других народов.

Моделирование союзного государства Россия – Белоруссия, бесспорно, является попыткой разыграть идею славянского единства, но никак не идею русского суверенитета. Этот проект преподносится политическим руководством двух государств, как сочетание двух разделенных суверенитетов, формирующих общие органы управления в некоторых секторах экономики и госуправления. Он является бесспорным тупиком и не может быть ни началом воссоединения страны, ни экспериментом по отработке механизмов такого воссоединения. Прежде всего, потому, что в нем не угадывается русского суверенитета, а делается упор на ложную славянскую солидарность. В российско-белорусском проекте выхолощена сама идея объединения, потому что во всех обсуждениях считается невозможным затронуть суверенитет Белоруссии или России. Воссоединение суть совершенно противоположное – это ликвидация прежних суверенитетов и создание нового суверенного государства, которое не может быть федеративным (иначе будет поставлена под вопрос дееспособность системы власти). Новый суверенитет должен сразу и окончательно удалить «вложенные» суверенитеты в Российской Федерации и сохранить для Белоруссии лишь некоторые остатки суверенных органов на переходной период.

«Союзное государство» может быть либо межгосударственным соглашением с учетом принципиально различных интересов, либо единым государством без всяких оговорок. Что же касается промежуточных положений, когда суверенитет неясен и кажется разделенным, такие положения связаны с тяжким для народа испытанием – с борьбой за власть, со становлением суверенитета, который все равно «сгустится» в обособленных центрах власти или в едином и единственном центре власти, за которым будет сила и воля последнего слова.

Полноценный суверенитет России может быть восстановлен уже самим процессом воссоединения страны в одном государственном организме. Будучи поставленным в текущую повестку дня деятельности российского правительства, он сам собой будет означать утверждение суверенитета.

Восстановительный процесс, возвращающий в историю государство-цивилизацию Россия, сегодня возможен и насущно необходим не только исходя из высших целей политики, но и из прагматических и даже цинично-эгоистических интересов значительной

части правящих «верхов» российского истеблишмента. Политическая элита и бюрократические «верхи» располагают достаточной информацией и достаточным опытом для того, чтобы воздержаться от вывода об окончательности всех исторических поражений России в последнем десятилетии XX века. Такое признание означало бы стратегическое поражение в грядущих политических баталиях и ничтожное место в мировой политике. Вероятно, чувствуя это, Президент РФ сказал в момент снятия очередного недопонимания с белорусским руководством: «Россия слишком много отдала в последнее время. Теперь мы будем только брать». Последующая оговорка на счет уважения норм международного права была, скорее, данью привычной политкорректности, требующей постоянно смягчать формулировки и создавать нечеткость в политической позиции.

Современная ситуация как никогда способствует восстановлению российского суверенитета над историческими территориями. Этому способствует:

1. Наличие единого культурного пространства и исторической памяти населения о том, что «раньше лучше было», прежде всего в материальном достатке, морально-психологическом спокойствии и межэтническом мире. Исключением можно считать только прибалтийские республики, где неприязнь к русским и массированная помощь Запада делают свое дело. Но и там в пользу присоединения к Европейскому Союзу высказывается только половина населения (пусть даже наиболее активная) и только после массированной пропагандистской подготовки.

2. Наличие значительной русской диаспоры, которая при волевом усилии России может объединиться в мощные политические движения, прежде всего, в Белоруссии, на Украине и в Казахстане. Абхазия и Южная Осетия при минимальном изменении позиции российского руководства заявят о возвращении в Россию. Почти та же ситуация с Приднестровьем. Крым, Новороссия – пророссийские и поэтому федерализация Украины неизбежна – роль России в этом процессе могла бы стать решающей.

3. Кризисный характер государственности на постсоветском пространстве практически всюду. В Средней Азии этнократические режимы держатся только на непрерывных репрессиях и опостытели даже «титовскому» населению. Вступление России в борьбу за права своих граждан, в большинстве проживающих в азиатских республиках, и за права человека в целом (что встретит понимание в мировом сообществе, привыкшем к соответствующей риторике) может всерьез изменить здесь ситуацию.

4. Жесткая зависимость постсоветских экономик от российского сырья и транзита через российскую территорию. Ни к какому другому государству, кроме России, постсоветские парагосударства «прилепиться» не в состоянии. Их не ждут в Евросоюзе, они не интересны в качестве равных партнеров азиатским государствам.

Восстановление российского суверенитета в полном объеме возможно и во внутренней жизни, где силы охотников брать суверенитета столько, сколько удастся «проглотить» стало заметно меньше, силы сепаратистов серьезно ослаблены. Чтобы суверенитет России был незыблем, требуется решительно покончить с федерализмом, а не пытаться его трансформировать, реформировать или трактовать в позитивных оценках.

Федерализм противоречит российской традиции государственности. Особые условия для периферии и этнических анклавов, которые представляются подходящими для России, – это имперская, а не федеративная модель. Периферийным образованиям и этническим анклавам может быть оставлен их устав жизни, но суверенитет (политическая власть) останется за центральным правительством, а демократические институты при наличии права на особость имперской периферии на нее не распространяются.

Российский федерализм фиктивен, Федеративный договор – фальшивка (он не был подписан полномочными представителями регионов). В этом смысле федерализм может быть признан несостоятельным в юридическом плане и унитарное управление восстановлено в полном объеме.

Внутренний суверенитет России может быть восстановлен достаточно быстро благодаря ослабленности этнократических элит во «внутренних республиках» – для них показателен пример Чечни (не все готовы положить свой народ под топор, как Дудаев с Масхадовым), а в руках центра есть стратегическая инициатива – экономические рычаги, бюджетные субвенции и изменение системы налоговых сборов в пользу федерального центра. Центральное правительство может еще более усилить контроль над региональными элитами через действительное обеспечение законности выборов, которые везде и всюду стали фиктивными. Стоит однажды действительно проследить за соблюдением законов, и выборы будут признаны недействительными, а ведущие действующие лица, стремящиеся отстоять политическую субъектность регионов, окажутся дискредитированными.

В целом ситуация такова, что региональные элиты ждут милостей от центра и наперебой готовы заявлять о лояльности в обмен на посты в федеральной «вертикали». Часть губернаторов является прямыми назначенцами Кремля и будет лояльна к любому решению по изменению системы власти и восстановлению полноценного суверенитета. Административную реформу в этой сфере можно провести очень быстро.

Чтобы обеспечить все эти действия, требуется отказаться от введшихся в постсоветскую политику представлений о возможности «мягкого» суверенитета, который будто бы должен учитывать международные обязательства, международную практику и оценки международной общественности ставя их выше национальных интересов России. Обусловленность концепций «мягкого» суверенитета политической конъюнктурой делает их сомнительными и опасными для национальной безопасности большинства государств (прежде всего, европейских).

Напротив, «радикальная» концепция суверенитета открывает широкие возможности для восстановления управляемости политическими процессами, что и означает суверенность – независимость от внешних попыток повлиять на российский политический процесс и способность подавлять внутренний сепаратизм во всех его формах. «Радикальная» концепция суверенитета исторически и интеллектуально обусловлена и оправдана «классическими» моделями суверенитета, связывающими современность с наследием государственной традиции.

России важно не поддаться на политологическое поветрие, принижающее роль государства и ставящее под вопрос целесообразность независимого существования государств. Непротивление этому поветрию, уже сказавшееся на российской политической науке, чревато постепенно сдачей своих позиций в пользу наднациональных институтов, призванных последовательно подмывать суверенитет государств и формировать новую бюрократию, никак не привязанную ни к исторической традиции, ни к национальному укладу жизни. Эти уступки открывают простор для вмешательства во внутренние дела любого государства под предлогом универсальности «общечеловеческих ценностей».

Суть концепции суверенитета заметным образом зависит от того, считается ли суверенитет делимым или неделимым. Первый вариант присущ концепциям «мягкого» суверенитета, второй – «классическим» и «радикальным» концепциям. В первом случае понятие суверенитета размывается путем распределения суверенных прав на множество субъектов, что в предельном варианте означает исчезновение суверенитета или невозможность его реализации в бесконечных процедурах согласования. Кризисность государственности во многом обуславливает приверженность исследователей «мягкому» суверенитету – кажется, что неделимость суверенитета трудно применима к политической реальности, когда под угрозой поставлена независимость и целостность государства. В кризисных условиях нет ясности в вопросе о способности объявить чрезвычайное положение – оно может быть установлено, например, как федеральным центром, так и стремящимся к суверенитету субъектом федерации. В этом случае суверенитет как бы

может переходить из рук в руки, пока не будет восстановлена стабильность государства или оно не распадется окончательно.

Вместе с тем представления о делимом суверенитете создают массу проблем с его описанием, и фактически делают само понятие «суверенитет» крайне неудобным для описания политической системы до такой степени, что у ряда авторов рано или поздно возникает желание устранить это понятие. Напротив, концепция неделимого суверенитета достаточно проста и удобна для того, чтобы по нескольким признакам фиксировать наличие или отсутствие его у данного политического субъекта. Причем, понятие о «суверенитете факта» и «суверенитете признания» позволяет разделить формальную и неформальную сторону вопроса, сконцентрировавшись в политологических исследованиях преимущественно на внутреннем суверенитете (факт), а в юридических – преимущественно на внешнем суверенитете (признание). Оба случая оказываются тождественными, как только речь заходит о состоянии войны, – тогда суверенитет характеризуется способностью вести войну, а также признанием такой способности со стороны противника, что и есть одновременно и фактическое, и формальное признание суверенитета. Прочие случаи могут быть проблематичными либо с точки зрения признания суверенитета (например, при объявлении чрезвычайного положения на части территории, которое не признается мировым сообществом как легитимное, а значит, в данном вопросе отрицает суверенитет государства), либо в вопросе о фактическом суверенитете, который может быть поставлен под сомнение в достаточно спокойных условиях, когда суверенитет не испытывается чрезвычайной ситуацией. В последнем случае вопрос о суверенитете как бы обращается к нации, которая должна в «ежедневном плебисците» доказывать, что имеет основания считать данное государство своим.

Задача политической теории, ищущей пути укрепления российского суверенитета, должен быть отказ от опасных попыток приписать суверенитет каким-либо иным политическим субъектам, что открывает простор для конкуренции разнородных «суверенитетов» (например, суверенитета государства и суверенитета народа). Поэтому необходимо закреплять суверенитет только за государством, каким бы образом он ни обеспечивался – международным признанием, поддержкой народа, договором и т.п. В этом случае «народный суверенитет» означает просто существование нации, созревшей до контроля над собственным государством и ограничивающей произвол (но не суверенитет) правящих «верхов», олицетворяющих это государство. Нация становится соучастником, а затем и практически единственным источником феномена под названием «суверенитет».

Глава 5. ЦЕНТРАЛИЗМ И ФЕДЕРАЛИЗМ

Под прессингом федерализма

Особый статус дискуссии о федерализме в России привел к тому, что теоретические исследования в этом вопросе стали элементом политической борьбы. Федеративными отношениями зачастую считают вообще любые «вертикальные» отношения в системе государственной власти, которые каким-то образом должны превращаться в «горизонтальные». Тогда теория федерализма становится в некоем непроговоренном пределе идеологией «уплощения» человеческой социальности — лишения ее какой-либо иерархии.

В конце XIX в. М.Н.Катков отмечал терминологические проблемы, которые были у европейских мыслителей на счет российской государственности. На российской почве эти проблемы подхватывались сепаратистами, стремящимися представить Россию как нечто, отличное от европейской государственности. И все ради того, чтобы отказать России в праве именоваться государством. Государствами в европейском смысле должны были, согласно такому подходу, считаться составные части Империи. «Балтийская политика согласна называть Россию *Reich* и допустить для нее *Reichseinheit* (имперское единство), но она не хочет знать Россию как *государство* и не допускает для нее *государственного единства*. *Reich* может служить собирательным именем для совокупности многих государств, случайно связанных между собой, как, например, была Ассирийская, или Вавилонская монархия, как была монгольская Орда на Волге, как нынешняя Турция, как нынешняя Австрия, которая не имеет внутренней основы для своего бытия и может быть ежеминутно стерта с европейской карты. Иное дело *Staat*. Это есть индивидуальность, которую приобретает народ тяжким и долгим трудом исторического развития, это есть цельное, живое, *органическое* единение. Видеть в России только *Reich*, как разумеют это слово балтийские публицисты, и не признавать ее, как *Staat* — это есть не что иное, как возвращение к тому учению, которое некогда излагал наш почтенный друг г-н Шедо-Ферроти, предлагавший России улетучиться в человечество и стать кучей многих государств, над чем он, по всей вероятности, сам теперь смеется, сожалея, что его способное перо было употреблено на столь недостойную мистификацию»³⁴³.

В современных условиях попытка растворить остатки России в человечестве, предварительно размягчив ее федералистскими концепциями, уже не кажутся смешными — реальная мощь российского государства утрачена и продолжает ослабевать под напором новых политических технологий, в которых теории становятся одним из самых мощных разрушительных орудий.

Большой и доминирующей в российской политологии группе ученых глобализация признается фактором, который размывает национальное государство. Общим местом являлись рассуждения о кризисе вестфальской системы и необходимости переосмыслить само понятие государства. Федерализм стал одним из направлений такого «переосмысления» и выдается за политико-правовую оболочку глобализации³⁴⁴. Вместе с тем считается, что федерализм не имеет прямой связи с федеративным государственным устройством, а федералистские рецепты действуют помимо конституционных установлений.

Федеративная модель государства и федерализм как совокупность идей оцениваются порой как выражение процесса перехода человечества (или хотя бы наиболее прогрессивной его части) из современности в постсовременность. Если в философии, литературе, искусстве постмодернизм-постсовременность являются лишь радикальным опытом поиска невидимых связей, то в практической политике и политической науке объявление переживаемого настоящего эпохой постмодерна означает стремление к полной ликвидации каких либо иерархий и даже просто каких-либо

³⁴³ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 220–221.

³⁴⁴ Захаров А.А. Федерализм и глобализация// Полис 2002. №6. С. 116.

предпочтений. Властвующие и подвластные перестают различаться, политические программы реализуют «радикальный эклектизм» и становятся заведомой неправдой (вероятное неотлично от чудесного), политические системы лишаются структурности и стабильности. Оправдать что-либо постсовременностью, постмодернизмом – значит полностью уйти из сферы науки к языковым играм. Федерализм становится одной из таких игр, в которой правило состоит в том, что нет никаких правил, а логический круг – обычное явление.

За перенесением характеристик научного и художественного эксперимента в сферу политики следуют рекомендации, как федеративному государству совпасть с постсовременностью. И тут федерализм оказывается замечательной возможностью всюду видеть амбивалентность, неоднозначность и отсутствие субъекта, принимающего на себя ответственность. Полисубъектность, ничем не связанный плюрализм и консенсус в виде бесконечной политкорректной дискуссии – вот те пополнения теории государства, которые делают сторонники федералистских принципов.

Разделенность, диктуемая федерализмом как промежуточная стадия перед полной социальной бесструктурностью, приводит к тому, что главным действующим субъектом договорных отношений становится не государство, а регион – и чем он дальше, тем все более мелкий. Поэтому поощряется региональное разнообразие и разные темпы «приобщения» частей государства к глобальным проектам. Европа делится на еврорегионы и объявляется пространством именно регионов, а не государств и не наций. Культурно-исторические границы предлагается игнорировать и объединяться по географическому принципу, в значительной степени обусловленному экономическими соображениями, а проще говоря, финансовой выгодой. Вместе с тем Европа регионов так и не состоялась, региональные программы носят, скорее, имитационный характер. «Сплющить» европейскую политику пока удастся с большим трудом. Но определенных успехов федералисты добились, инициатива на их стороне.

Теоретики федерализма признаются, что давление глобализации на федеративные государства продвигает их вовсе не к прочности государственного механизма, а к разложению – к конфедеративной модели. Путаница федеративного устройства, в которой и сами федералисты не могут разобраться, означает для них однозначный выбор между военной диктатурой и конфедерализацией. Ради сохранения нынешних форм демократии предлагается «оптимизировать» суверенитет, отказываясь от ряда функций государства в пользу наднациональных структур. Традиционные представления о независимости считаются устаревшими, традиционный смысл понятия «суверенитет» – неприемлемым в условиях глобализации. Будто бы в пользу этого свидетельствует правило: чтобы быть конкурентоспособным в современном мире, приходится жертвовать «частью суверенитета», координируя свою политику с партнерами (а реально, уступая инициативу наиболее сильным и наиболее настойчивым в насаждении идеологии федерализма).

Большой путанице в современной теории федерализма способствовало невиданное количество публикаций самого разного достоинства и целые публицистические программы, заполняющие российские научные издания и либеральные СМИ. Особую лепту в этот публицистический вал внесли научные и политические круги тех регионов России, для которых обособление от Кремля было одной из ключевых задач, а угроза конфедерализации – методом давления на федеральный центр.

Открытый после 1991 г. сезон охоты на государство, порой, кажется умопомрачением, заботливо стимулируемым из-за рубежа. Но и грехи прежних теоретиков государства дают о себе знать сегодня. Так, Монтескье и многие современные ему авторы зачастую употребляли термины «федерация» и «конфедерация» как синонимы. К курьезам может привести также заимствование положений знаменитого американского «Федералиста», содержащих эти термины. Они также использовались в двояком смысле – как по отношению к законам конфедерации, так и к будущему

конституционному устройству³⁴⁵. Авторитет этих и множества других прославленных мыслителей, дающих современным авторам свободу интерпретаций, сказывается на состоянии умов ученого сословия, путающего себя и несущего эту путаницу с университетских кафедр.

Чисто юридическая трактовка (федерализм в узком смысле слова) дает представления об этом явлении как о реализации определенного договора, формирующего единый политический субъект с внутренней структурой³⁴⁶ – ложной объемностью политики. Данная трактовка может опираться либо на суверенитет факта и рассматривать федерацию как государственно-правовое объединение, в котором власть составляющих его частей пользуется известной самостоятельностью, либо на суверенитет признания определенных исторических реалий как признание прошлого суверенного существования государственных образований, входящих в федерацию, делегированный общему центру (то есть, федерация, в таком варианте может складываться лишь из суверенных государств).

Напротив, расширительная трактовка требует дополнения территориально-политических характеристик федерализма политико-правовыми, экономическими, финансовыми и культурными характеристиками и привлечения коммуникативных интерпретаций федерализма³⁴⁷. Расширительная трактовка позволяет делать глубокие экскурсы в историю и возводить федеративные отношения чуть ли не к платоновской Атлантиде с ее союзом государств и единым органом, собиравшимся раз в 5–6 лет для обсуждения общих дел, принятия основных законов и контроля за правителями. К такого же рода «изобретениям» можно отнести и попытку приписать систему отношений в Древнем Риме, где существовали федеративные общины (*foederatae civitates*), свобода которых обеспечивалась договором (*foedus*), а также систему союзнических отношений и обязательств в рамках Римской империи. Мы полагаем, что здесь имеется лишь некоторая аналогия, но не более. Считать имперский принцип тождественным федеративному невозможно. Это мы обсудим ниже.

Простор для развенчания государства открывается многозначностью понятия «федерализм», утвердившейся в современно политологическом дискурсе. Вследствие этого любые союзные (федерирующие) отношения, о которых в прошлом говорили, как о межгосударственных, переносятся на внутригосударственный уровень.

Для такого перенесения подбираются самые причудливые обоснования. Например, в связи с известными трудами Макиавелли, который говорил именно о разных государствах, а не об одном, когда указывал на меньшую оперативность в принятии решений совещательным органом федерации государств в сравнении с управлением городом-государством, а также на сложность федерирования разнохарактерных или территориально удаленных государств³⁴⁸. Реалии современной Макиавелли Италии легко переносятся на современность, игнорируя огромный опыт унитарного управления, современных управленческих технологий и информационных систем.

Аналогичным образом могут быть привлечены мысли Монтескье, полагавшего наиболее приемлемой формой крупного государства федерацию малых независимых республик – все тех же городов-государств, которые оказывались удобной конструкцией в связи с древнегреческой научной классикой. Монтескье полагал, что республиканская форма правления эффективна лишь в небольших по размерам государствах, поэтому чтобы сохранить республиканскую форму в крупном государстве, необходимо соединить

³⁴⁵ Остром В. Смысл американского федерализма. М., 1993. С. 89.

³⁴⁶ См., например, Журавлев А., Комарова В. Суверенитет в федеративном государстве// Право и Жизнь, 2000. № 29.

³⁴⁷ Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю. Пространство российского федерализма// Полис, 2000. №5.

³⁴⁸ См.: Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. М., 1996. С. 234–237.

в нем внутривластные и экономические преимущества республики и внешние силы монархии через федерацию³⁴⁹.

К современным научным курьезам можно отнести книгу «Федерализм в истории России»³⁵⁰, где утверждается, что вся отечественная история представляет собой историю федерализации, и даже Ярослав Мудрый собирал русские земли на принципах федерализма.

Эти примеры спекулятивного привлечения исторического опыта могут быть развернуты в ином ракурсе и доказывать прямо противоположное тому, что выставляется чуть ли не последней истиной теории современного государства. Во всех этих примерах некая протофедерация представляла собой переходную модель к унитарному правлению – от полиса к территориальному государству. В современную же эпоху понятие «федерализм» означает просто децентрализацию власти на основе конституционных норм и межправительственных соглашений.

Восприняв обусловленное массой причин бессилие мыслителей прошлого в попытках создать теорию территориального государства, современная западная мысль пытается заложить в теорию государства принцип его бессилия перед полисными общинами, которые в свою очередь должны спасовать перед собственной цеховой структурой, а та – перед волей обособленного индивида.

Главные теоретические установки западной модели федерализма таковы³⁵¹:

1. Наличие гражданского общества (область общественного ограничивает сферу государственной власти, ограждая от вмешательства в некоторые аспекты частной жизни гражданина; государство постепенно превращается в одну из многих форм гражданских ассоциаций). Правительство обладает лишь правами, которые делегированы ему суверенным народом.

2. На каждом уровне сформированные правительства, обрамляющие тот или иной сегмент гражданского общества, образуя своеобразную матрицу, построенную на иных принципах, чем властная иерархия или олигархическая централизация. Структурная децентрализация с распределением властной нагрузки на различные единицы внутри матрицы.

3. Территориальное оформление любых форм соучастия во власти.

4. Полная федерализация всей территории политики с целью избежать периферизации отдельных автономизированных субъектов. Отсутствие доминирующего субъекта, угрожающего полномочиям остальных субъектов (наличие субъектов с относительно равной мощностью).

5. Наличие у населения федерации относительно близкой политической культуры, не враждебной федерализму.

6. Создание федеративных конструкций на основе широкого общественного согласия.

7. Использование системы соглашений для поиска баланса сотрудничества между сотрудничеством и конкуренцией центрального правительства и федерированных единиц.

Если принять эти требования, то оказывается, что в современном мире федерация практически невозможна и только каким-то чудом уцелела в некоторых европейских странах. В то же время принцип федерализма оказывается всюду и везде на Западе ключевым содержанием политической риторики. Что же до политической практики, то евро-атлантическая модель государственного управления пока достаточно жестко противостоит как примитивному унитаризму, так и фрагментаризации. Полиэтнические

³⁴⁹ Справедливости ради надо отметить, что в не пример российским «федералистам» Монтескье выступал против права членов федерации или конфедерации независимо выступать на международной арене и вступать в иные союзы.

³⁵⁰ Абдулатипов Р. Г., Болтенкова Л. Ф., Яров Ю. Ф. Федерализм и история России. М.: Республика, 1992.

³⁵¹ Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм// Полис, 1995. №5.

федерации обычно поддерживаются более жесткими мерами против этнократизма («этнического национализма»).

В современной России риторика и политическая практика зачастую идут нога в ногу, не видя дороги, по которой пытаются увлечь народ. До недавнего времени тщательной политической цензуре подвергались тексты, в которых к федерализму высказывалось скептическое отношение. Этнократизму было позволено маскироваться под федерализм и в качестве политической технологии перехватывать мифологию западного федерализма.

В реальности, очищенной от пропагандистского прессинга и политической цензуры, отношения между центральной и региональной властью имеют множество форм и оттенков, которые следует видеть и различать:

1. Федерация — форма организации государственной власти, при которой центральное правительство учреждается самоуправляющимися территориями путем делегирования определенного набора полномочий (США, Швейцария, Канада). Формальное делегирование при учреждении государства в дальнейшем не играет практически никакой роли — регионы приобретают политическое лицо только в рамках единого государства.

2. Конфедерация — отличается от федерации сохранением за субъектами, учреждающими центральную власть, права на полный государственный суверенитет и собственное законодательство, а также право самостоятельного выхода из конфедерации без согласия остальных ее членов (Европейский Союз). В то же время реальная практика готовит конфедерации либо кризис и распад, либо упрочение и объединение в федеративное государство с перспективами унитаризации.

3. Федератизм — асимметричная система отношений между центральной властью федерированного государства и отдельным субъектом, сохраняющим широкую автономию и отказывающимся лишь от некоторых прав в пользу федерального центра (Пуэрто-Рико, Гуам в рамках США). Большинство примеров таких отношений в системе государственной власти носят локальный характер и защищают не столько автономию, сколько центральное правительство и основную массу населения от интеграции неудобоваримых федерированных фрагментов единого государства.

4. Ассоциированная государственность — в отличие от предыдущего случая предусматривается возможность разрыва содружества при определенных условиях (Микронезия, Маршалловы острова и США). В действительности такие условия никогда не наступают, но условия ассоциированного членства дают ощущение иллюзорной независимости, без которой возникали бы ненужные конфликты.

Помимо этих форм, существуют также унии (Великобритания и Северная Ирландия), лиги (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), кондоминиумы (Андорра под совместным протекторатом Франции и Урхельского епископа Испании), конституциональная регионализация (Италия), конституциональное управление (Япония).

Все эти формы отнюдь не противоречат государственности, предназначаясь для укрепления связей между федерированным субъектом и центральной властью. Лишь странной и нетипичной трансформацией федерализма можно считать международное федералистское движение, ставшее формой интернационализма «новых левых», взявших на вооружение сахаровский лозунг «всемирного правительства»³⁵².

Сама идея федерализма до последнего времени практически никем не ставилась под сомнение. С одной стороны, это обуславливалось политическим заказом власти, который не могут не ощущать обществоведы, а с другой, — определенным магизмом слов: коль мы живем в Российской Федерации и по Конституции наше государство обозначено как федеративное, то без позитивной оценки федерализма никак не обойтись (иное как бы означает нелояльность).

³⁵² Аболин О.Ю. Всемирный и европейский федерализм// Полис, 1994. №5. С.142.

Отделяя достаточно ясный вопрос о федерации от путаного вопроса о федерализме, мы можем опереться на позицию английского исследователя федерализма Престона Кинга³⁵³, который указывает на такое различие между федерацией и конфедерацией: в первом случае для принятия решений используется мажоритарная процедура, а во втором – принцип единогласия. П.Кинг особенно выделяет для федеративных государств состояние «укрепленности» региональных единиц. Он говорит: при решении вопроса о том, является ли то или иное государство федеративным, в первую очередь необходимо установить, что а) оно строится на территориальном представительстве; б) это территориальное представительство имеет как минимум два яруса («местное» правительство и «региональное» правительство); в) в процедуру принятия решений в национальном центре электорально и, возможно, другим образом включены, по крайней мере, региональные единицы и г) основания подобного регионального представительства в центре трудно поменять, в частности, их нельзя изменить с помощью процедуры простого большинства, которая используется в обычных ситуациях, — короче говоря, региональное, территориальное представительство «укреплено». Вместе с тем эта «укрепленность» не означает суверенности – в особом положении федеральный центр может подорвать или даже уничтожить региональную укрепленность регионов.

Таким образом, в данном случае теория суверенитета полностью обуславливает определение федерации и статус ее составляющих. И единственно, что делает федеративное государство своеобразным, – некоторый барьер в переустройстве представительства системы интересов в центральной власти. Разумеется, при анализе систем управления и особенности заложенных в них принципов совершенно не требуется обращаться к федерализму – разросшейся и потерявшей связь с жизнью теме. Мы вынуждены обращаться к ней только потому, что федерализм стал источником вдохновения для обширного слоя политологов.

Разные федерализмы

Либеральная идея состоит в придании приоритетного значения ценности личности. Сочетание этой всеобщей установки с концепцией естественного права дает эгалитаристскую позицию актуального неразличения индивидов перед лицом государственных институтов и правовых установлений. Логичным следствием является возможность бесконечного федерирования между государствами, вплоть до создания единого общечеловеческого государства. Распространившись «вширь», всемирный федерализм будет означать также и распространенность «вглубь» – диссоциацию всякой социальности.

Монтескье в свое время пришел к выводу о неизбежности международной солидарности. Вслед за Боденом, впервые обосновавшим юридическое отличие конфедерации от федерации, Монтескье в «Духе законов» рассматривает федерацию как договор, основанный на доброй воле государств, заключающих его с целью создания более сильного государства, сознательно идя на утрату международно-правового статуса и права самостоятельного заключения международных договоров. Последователи Монтескье развивали идеи федеративного устройства вплоть до создания всеобщей конфедерации цивилизованных народов (Ж.Кондорсе, А.Тюрго и др.). Дальнейшее развитие этой идеи получило в концепции «золотого миллиарда», отделяющего себя от остального «нецивилизованного человечества».

Первый практический пример применения федералистских идей показал, что в них содержатся как основания для разложения государственности, так и основания для ее укрепления. Речь идет о ситуации, связанной с образованием США. Первоначально в американских колониях Великобритании большую популярность приобрела концепция децентрализации, а затем, когда определенные успехи в борьбе за независимость были

³⁵³ Кинг П. Классифицирование федераций // Полис, 2000. №5.

достигнуты, авторы знаменитого «Федералиста» резко повернули к централизаторской концепции – суверенитетом должна была обладать только федерация в целом.

Приведем всего лишь несколько строк из сочинений отцов-основателей США: «Дополнительная защита республиканского строя состоит в том, чтобы с помощью обновленного союзного правительства обуздать местные политические группировки и мятежи, и поставить предел властолюбию могущественных лиц в отдельных штатах, чья громкая известность и влияние в среде тамошних лидеров и любимцев толпы может дать им деспотическую власть над народом, а также устранить поводы для интриг иностранных держав, которые, несомненно, воспользуются столь желанным для них распадом Конфедерации...»³⁵⁴.

Отцы-основатели Конституции США (под общим псевдонимом Публий) в яростной полемике отстаивали единство страны, привлекая примеры из истории. Поэтому нам нет необходимости доказывать даже проамерикански настроенным политологам, что «суверенизация» регионов – абсолютное зло для государства, чреватое взаимной агрессией обособившихся частей, иноземной опасностью, межпартийной грызней. Положение о том, что условия, в которых народ лишен общенационального государства, представляют собой «картину, внушающую ужас» (выражение Публия), можно считать доказанной. Публий дает такую отповедь своим противникам: «Противоестественно властолюбие класса лиц, которые либо надеются возвеличить себя благодаря разброду в стране, либо льстят себе, воображая, что им будет легче достигнуть верхушки власти при условии распада государства на несколько частичных конфедераций, чем в условиях союза при едином правлении...»³⁵⁵.

Возвращаясь к идеям Монтескье, заметим, что федерацию в Америке рассматривали как своеобразную форму разделения суверенитета. Д. Мэдисон в одной из статей «Федералиста» писал: «У народа, сплоченного в единую нацию, верховная власть полностью принадлежит *национальному* законодательному органу. У сообществ, соединившихся с той или иной целью, верховенство принадлежит частично общесоюзному, а частично муниципальным законодательным органам. В первом случае все местные власти подчиняются верховной, которая пользуется правом проверять их, направлять и распускать. Во втором случае местные или муниципальные власти образуют самодостаточную и независимую ветвь верховной власти, которая так же не подпадает под юрисдикцию общесоюзной власти, как и та не входит в юрисдикцию местных или муниципальных властей в отведенной ей сфере деятельности. Следственно, в этом отношении предлагаемое правительство нельзя считать *национальным*, поскольку его юрисдикция распространяется лишь на ряд оговоренных предметов, тогда как все остальные остаются в полном и нерушимом суверенном ведении отдельных штатов. Правда, при возникновении разногласий касательно границы между этими двумя юрисдикциями суд, которому надлежит вынести окончательное решение, учреждается союзным правительством. Но это не меняет дело в принципе. Решение выносится беспристрастное, целиком основанное на статьях конституции, и принимаются все возможные и наиболее действенные меры, дабы обеспечить полную беспристрастность. Некоторые из таких судов, несомненно, весьма существенны, дабы препятствовать вооруженным столкновениям и распутывать гордые узлы, и вряд ли можно спорить против того, что суды такого рода лучше учреждать не при местных правительствах, а под эгидой союзного, а говоря начистоту, только под его эгидой, ибо лишь оно способно обеспечить ему безопасность»³⁵⁶.

Этот пример указывает на две ветви, присутствующие в теории федеративного государства, которые содержат противоположные решения проблемы делимости суверенитета. Современный федерализм, насаждаемый с переменным успехом в России,

³⁵⁴ Федералист. М.: Прогресс, 1994. http://grachev62.narod.ru/Fed/Fed_ogl.htm

³⁵⁵ Там же.

³⁵⁶ Там же.

полностью игнорирует даже те источники, которые должен был изучать вдоль и поперек. Фактически он означает предательство своих предтеч, которые даже надвое высказывались достаточно редко, всегда ценя целостность государства выше собственных любимых идей.

Алексис де Токвиль отмечал, что при создании государственного союза американцам предстояло так поделить суверенитет, чтобы субъекты этого союза сохраняли самоуправление во всем, что относится к их внутреннему благосостоянию, а сама нация в целом не перестала бы при этом составлять органическое целое и удовлетворять свои общие потребности. Токвиль развивал мысль о том, что власть союза и власть штатов обладает ограниченным суверенитетом, каждая в своей сфере. Полным суверенитетом обладает союзная власть и власть членов федерации, взятых в совокупности. Правовую основу разделения суверенитета между союзом и штатами Токвиль видел в разделении компетенции между федеральными органами власти и органами власти штатов. «Верховная власть в Соединенных Штатах разделена между Союзом и штатами»³⁵⁷. Одной из гарантий суверенитета штатов Токвиль считал устройство сената, а одной из гарантий суверенитета союза — устройство палаты представителей.

Русские имперские юристы также склонялись к концепции разделенного суверенитета. Например, русский правовед начала XX в. Александр Яценко пытался решить проблему выработки общей воли, создающей суверенную государственную власть: «Не может быть несколько суверенных органов, имеющих каждый свой суверенитет, но можно допустить, что суверенное решение получается путем согласного действия многих органов»³⁵⁸. «Общая воля всех штатов, соединенная с местной волей штатов, дает суверенную государственную федеральную власть»³⁵⁹. Суверенитет в федерации, по мнению А.Яценко, не принадлежит ни отдельным государствам-членам, ни всему союзу, а принадлежит совокупной воле союза и членов федерации. Таким образом, проявляется дуализм федеративной системы.

Согласно X поправке к американской конституции, компетенция штатов была признана общим правом, а компетенция федерального правительства — лишь исключением из общего права. Эта «сепаратистская» ветвь федеративных отношений должна была быть чем-то уравновешена, чтобы не стать поводом для перехода к конфедеративным отношениям и распада страны. Такой «централистской» составляющей стала федеральная судебная система, поддерживающая принцип разделения властей, заимствованного из теоретических разработок Локка, Монтескье и др., а также сильная президентская власть.

Попытка перенести этот опыт на ситуацию в современной России сразу бы показала, что из «централистских» рычагов на сегодня имеется лишь президентская власть, а судебная ветвь власти (как и вся правоохранительная система) крайне ослаблена и ей необходимо реформирование. Данное обстоятельство означает, что стабильность государства в таких условиях требует несколько иного (мягко говоря) представления об основах государственного строительства, чем прямое заимствование идей американского федерализма.

В этой связи имеет смысл обратиться к немецкой правовой и политической науке, где господствовала идея неделимости суверенитета, который не может принадлежать отдельным государствам в рамках единой федерации, а является прерогативой только союза в целом. Если в США эту «ветвь» федеративных отношений поддерживали суды и избираемый президент, то в Европе невозможно было отбросить традицию единства суверенитета, который мог быть вручен президенту или парламенту только в таком же виде, в каком он принадлежал монарху. В этом случае федерация возможна только как

³⁵⁷ Токвиль де А. Демократия в Америке. М., 1992. С. 96.

³⁵⁸ Яценко А. Международный федерализм. Киев, 1908. С. 363.

³⁵⁹ Там же. С. 328.

договорной союз нескольких суверенных государств, которые в любой момент могут выйти из договора и покинуть федерацию. (Точно так же формальное право на сепессию сохранялось за союзными республиками СССР.)

Каким же образом в этом случае может быть обеспечено единство федерации? Только органичным перерастанием договорных начал в новый конституционный строй и возникновением нового неделимого суверенитета. Вероятно, именно этот переходный период и переживает до сих пор Россия, сочетая в структуре властных институтов как американскую, так и немецкую модель суверенитета. Соответственно и федеративные отношения рассматриваются либо как уступка-исключение со стороны регионов, либо как система уступок, которые все более увеличивают роль центра и формируют единый и неделимый суверенитет. Соответственно, теоретическая конструкция, обслуживающая отношения первого типа может быть в российских условиях признана сепаратистской (деление суверенитета в зависимости от воли субъектов федерации), а вторая – унитаристской (последовательное усечение регионального суверенитета). Второй вариант для российской ситуации должен подводить теоретическую мысль к тому, что российский специфический федерализм, делающий федерацию очень похожей на унитарное государство, вовсе не так специфичен и является общедоступной доктриной, распространенной, например в современной Европе.

Унитарная теория федерализма, разработанная П.Лабандом и Г.Еллинеком, гласит, что все государственные объединения сводятся к двум категориям: либо это союзы, основанные на международном договоре (конфедерация), либо это корпорации, носящие государственно-правовой характер (федерация). Конфедерацию следует рассматривать как правоотношение между государствами, а не как субъект права, федерацию – как организованное единство, юридическое лицо. По своей юридической природе конфедерация есть образование, основывающееся на принципах и нормах международного права, федерация – на принципах и нормах государственного права.

Как считал Еллинек, федеральное государство есть «образованное из нескольких государств суверенное государство, государственная власть которого исходит от его отдельных членов, связанных в одно государственное единство. Оно представляет одно государственно-правовое соединение государств, устанавливающее над соединенными государствами господство, участниками которого всегда являются однако сами государства так, что они в своей совокупности господствуют или, по крайней мере, участвуют в господстве – и в то же время, как отдельные государства, являются в известных отношениях подвластными»³⁶⁰.

Еллинек рассматривал суверенитет как способность государства к исключительно правовому самоопределению, он полагал, что суверенитет не может быть разделен, увеличен или уменьшен. Можно разделить компетенцию, но не суверенитет. «Между союзным государством и его членами не разделены, таким образом, ни суверенитет, ни государственная власть. Разделены объекты, на которые направлена деятельность государства, а не субъективная деятельность, относящаяся к этим объектам»³⁶¹. Суверенитет, по Еллинеку, принадлежит федеративному государству, но членов федерации он рассматривает как государства на том основании, что они самоопределяются в пределах, установленных их государственному ведению. «...Германские союзные государства, следует признать государствами, так как они могут организовываться по своим собственным, основанным исключительно на их воле конституциям, которые являются их законами, а не законами империи»³⁶².

Некоторые западные мыслители придают особое значение сепаратизму в истории государств. Например, Эгберт Ян пишет, что образование США как современной нации-государства служит первым примером национального сепаратизма. Более того, он

³⁶⁰ Еллинек Г. Права современного государства СПб., 1908, с. 569.

³⁶¹ Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1903, с. 370.

³⁶² Там же, с. 359.

считает, что подавляющее большинство европейских наций-государств обязаны своим появлением именно сепаратистскому национализму. Без учета малых государств, это составляет примерно две трети. Сюда Э.Ян относит восемь западноевропейских государств (Бельгия, Финляндия, Греция, Ирландия, Исландия, Мальта, Норвегия и Кипр), 22 восточноевропейских государства, и после некоторого колебания прибавляет сюда же и Россию, которая «отделилась» от Советского Союза³⁶³.

Здесь мы сталкиваемся с типичным проявлением концепции, отождествляющей нации и государства при игнорировании бесспорных фактов сохранения национальной идентичности, даже в условиях интервенции или многолетнего вхождения национальной общности в инородные государственные организмы. Можно привести в пример Польшу и Финляндию, без труда увидеть национальные признаки в покоренной турками Греции, в раздробленной Италии, разглядеть зародыши наций в Австро-Венгрии и т.д. Причиной распада государств является ослабление скрепляющих имперских или колониальных механизмов, но вовсе не сепаратизм. Если бы последний побеждал, то мир насчитывал бы тысячи государств.

Признание сепаративной концепции российского федерализма (по американской модели) означало бы согласие на распад государства и продуктивность такого распада с точки зрения общечеловеческой истории. Тогда без всякого напряжения может быть оправдан и распад СССР, произошедший вопреки воле народов, его населявших.

Приходится признать, что именно такая концепция в течение 90-х годов XX в. была чрезвычайно популярна в российских региональных элитах, в особенности в национальных республиках. И только такого рода отношения, в рамках которых регионы являются независимыми учредителями договорного союза и вольны по своему усмотрению делегировать некоторые права Центру, и назывались в России «федерализмом». Федерализм, как вполне оформленное политическое течение со своим комплексом интересов и движущих сил, до сих пор сохраняется и как определенная теория, обосновавшая полезность расчленения страны на обособленные уделы. Разумеется, эта теория и соответствующая ей политическая практика не имеют никакого отношения к традиционной федерации, возникающей в Западном мире. Там федеративные государства образовывались путем объединения, а не обособления – Швейцария (из 22 кантональных государств в 1848 г.), Италия (из 8 государств и частей государств в 1859–1866 гг.) и Германия (из 36 тогдашних членов Северо-Германского Союза в 1871 г.). Впрочем, последний пример, скорее, относится уже не к федеративным, а к имперским образованиям – автономия здесь сочетается с явным доминированием прусского национально-государственного элемента.

Федерация всегда является объединением исторически сложившихся устойчивых государственных образований. Если она складывается из государств, до тех пор не связанных в государственно-правовом отношении, то ее образованию предшествуют договоры, относящиеся к ее конституции. Превращение же единого государства в федеративное, как это имело место в Венесуэле, Мексике, Аргентине, Бразилии, возможно лишь в силу допустимости этого союзной конституцией. Причем, нельзя сказать, что такой процесс «федерализации» позитивно сказывается на жизни указанных государств. Скорее, федерализация здесь оказывалась формально прописанной в конституции возможностью государственного кризиса. То же самое мы имеем и в России.

Федерализм западного образца предполагает возвышение регионального над этническим с тем, чтобы этнос замкнулся в ландшафте и рассматривал себя как его неотъемлемую часть. Но при этом в одном и том же ландшафте могут пребывать несколько этносов, а также представители государствообразующей нации. Если этнос отождествляет себя с ландшафтом, то он перестает различать региональное и этническое, объявляя регион частью себя, а себя – частью региона. Соответственно, любые

³⁶³ Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство// Полис, 2000. №1.

проникновения в регионы иноэтнических элементов рассматриваются как посягательство на жизнь этноса. Никакой органичной привязки к единому государственному организму не происходит, и благие намерения возвысить «почву» над «кровью» трансформируются в их соединение.

Затем (и это стадия федерализации, в которой Россия оказалась в 1991 г., а другие страны могут быть еще на подходе) стремительно развивается этнический национализм — национальная идентичность перехватывается у государств этническими группировками. Это будто бы свидетельствует в пользу федерализма, который только и может разрешить национальный вопрос. Но при этом возникает логический круг — из-за федерализма расцветает этнизм, а его смирение требует того же федерализма. Теоретический тупик очевиден и свидетельствует не в пользу федералистских идеологий.

Федерализм европейский и российский

Концепция федерализма возникла на Западе в попытках разобраться в понятии «государственный суверенитет» при утрате исторических перспектив абсолютными монархиями, а затем при формировании многомерной системы международных влияний, отчасти меняющих взгляд на суверенитет³⁶⁴. Кроме того, современный федерализм, понятый как продолжение принципа разделения властей, стал попыткой преодолеть общий кризис государственности, которая не справлялась с насущными внутренними и внешними проблемами — «государства стали слишком маленькими, чтобы заниматься большими проблемами, и слишком большими, чтобы заботиться о малых делах»³⁶⁵.

Двуполусный мир, в котором сверхдержавам удалось убедить многие страны довольствоваться усеченными формами суверенитета (т.е. фактически государственной нестабильностью и признанием постоянной конкуренции вокруг проблемы суверенитета), и усиление роли региональных элит, требующих автономизации, породили массу теоретических изысканий, сводящихся к тому, что прежнее понимание суверенитета должно отойти в прошлое. На его место должно прийти понимание сдержек и противовесов между различными субъектами власти как внутри страны, так и в межгосударственных отношениях. Крупные государства должны были обратиться в большей степени к собственным внутренним проблемам, дав возможность малым государствам усилить свое влияние в международных делах.

Эта программа федералистского переобустройства мира и подрыва, прежде всего, суверенитета сильных крупных государств, мало кому приходится по душе за пределами институтов западного общества. За пределами западной цивилизации нет стремления к выстраиванию виртуальной реальности многоуровневого суверенитета, как нет и ресурсов для ее поддержания. Фиктивное перенесение проблем суверенитета в современных условиях Запада в Россию и другие незападные страны вызывает в них внутреннюю нестабильность и подпитывает сепаратистские настроения.

Ввиду очевидных угроз от такого перенесения следует заключить, что западный федерализм — скорее «цветущая сложность», чем общий закон жизни. Если в Великобритании говорят о федеральном правительстве, федеральной полиции и прочем, как об атрибутах государственного единства, то в Германии — как о некоей политической технологии, позволяющей землям не утонуть в унитаризме, порождающем в ответ центробежные тенденции. Во Франции деление на округа и департаменты — всего лишь инструмент управления. В России такого рода федерализм на сегодняшний день не может возникнуть в силу особенностей исторического момента, да и всей предшествующей истории. На Западе федерализм тоже мгновенно исчезает с обострением политической ситуации, наступающей, например, в условиях войны.

³⁶⁴ См. *Лейкофф С.* Оппозиция «суверенитет- автономия» в условиях федерализма: выбор между «или — или» и «больше-меньше»// *Полис*, 1995. №1. С. 177.

³⁶⁵ См. отчет о сессии Колледжа федералистских исследований// *Полис*, 1994. №5. С.153.

В период 1991–1999 федерализм в России практически стал официально признанной идеологией, тиражируемой в десятках нормативных актов, законов и закреплённых указами президента концепций. Прямая или косвенная поддержка оказывалась федеральными и региональными властями ряду соответствующих политических объединений (движение «Реформы — новый курс», Конгресс национальных обществ России (КНОР), «Сенежский форум», Союз народов России и др.). Между тем, глубокого понимания основ государственности, требующих федеративного устройства (и даже в какой-то степени федеративного мировоззрения) не было сформировано — готовые рецепты черпались из западных источников, но сам федерализм утверждался как некая альтернатива западной государственности и отражение некоей самобытности России. Даже само понятие «федерализм» появилось в России, хоть и со ссылкой на европейский опыт, но в основном лишь вследствие того, что федеративное устройство формально присутствовало в конституционно-правовой традиции, открытой большевиками: «федерализм появился в России лишь с установлением большевистской власти и только как ее эпифеномен»³⁶⁶.

Критика Запада с федералистских позиций возникла в связи с тем, что федерализм европейский, несмотря на внутреннюю его противоречивость, все же достаточно решительно противостоит сепаратизму. Например, попытки признать население Корсики отдельным народом, включённым в состав французского народа, были признаны противоречащими национальным интересам. В российском же варианте все наоборот — сепаратистские настроения процветали под сенью официально одобренной концепции федерализма, воплощенной в принципах формирования и работы одного из ведущих институтов государственной власти — Совета Федерации. Сам российский федерализм поэтому был лишь мягкой (до поры, до времени) формой сепаратизма, с которым в Европе никто не подумал бы мириться.

Если европейский федерализм сохраняет деление на нации и отечества как дань историческим реалиям, то российский федерализм утверждает это деление как историческую новацию — крайне опасную по своей природе и уже наступившим последствиям подмену задач этнического бытия задачами борьбы за обособленную государственность. Европейская интеграция — признак складывающейся цивилизации, способной успешно конкурировать в XXI в. с другими мировыми цивилизациями. Россия — уже сложившаяся цивилизация. Попытаться цивилизовать Россию европейскими средствами, переименованными на основе этнократических принципов федерализма, — значит, лишить ее конкурентоспособности.

Часто приверженцы федерализма в России ссылаются на удачный опыт Германии. Но там федеративное устройство проистекает из прежнего состояния расчленённости. Германских государств до империи Бисмарка было более трехсот, их объединение было способом выживания. В России такой государственной чересполосицы не было никогда. После того, как Россия вобрала в себя Великую Степь и разнородные культуры своих южных соседей, сформировала двойную идентичность: этническую и общенациональную, снова пытаясь поставить во главу угла государственного строительства удельное своеобразие — непозволительная «роскошь».

Опыт Германии для России может пригодиться лишь в имперском измерении государственности, которую от федерализма отличает разделение центр-периферия. Именно так строилась и Российская империя, и Германская империя образца 1871 года. Нет никаких оснований считать, что «германский и российский федерализмы — в определенном смысле модели сознательного дизайна»³⁶⁷. В Германии, действительно, была и сохраняется глубокая федеративная традиция, обслуживавшая имперские

³⁶⁶ Каспэ С.И. Конструировать федерацию — *Renovatio Imperii* как метод социальной инженерии// Полис, 2000. №5.

³⁶⁷ Бусыгина И.М. Германский федерализм: история, современное состояние, потенциал реформирования// Полис, 1996. №4.

интересы германской нации. Но полагать, что Конституция имперской Германии 1871 года является образцом федеративной государственности, нет никаких оснований³⁶⁸. То же касается и послевоенного федерализма, который был навязан оккупированной стране с целью ее ослабления. Можно сказать, что именно с этой целью вводился и российский федерализм, означавший слабость и дальнейшую перспективу ослабления государства с целью его расчленения и захвата национального достояния внешними силами.

В том виде, в котором в современной российской политологии представляется «классический германский федерализм», его следует признать вымыслом. Развитие германской государственности до Второй мировой войны шло по пути последовательного усиления централизации. В Северогерманском союзе федеративное устройство было лишь переходной формой централизованной государственности. Федерация была этапом централизованного общегерманского единства. Империя образца 1871 г. была федерацией уже только формально и имела ярко выраженное прусское ядро. Относительная автономия федерированных частей не означала, что прусская гегемония могла быть поставлена под вопрос. Влияние имперского центра усилилось в преддверии и в ходе Первой мировой войны. И лишь общее ослабление государственности на исходе войны возбудило федералистские настроения. Тем не менее, Конституция Веймарской республики была централистской. Идея дробления Пруссии и формирования равноценных земель была отвергнута. Гарантировался приоритет имперского права над законодательством земель. Против вышедших из повиновения земель по Конституции могла быть применена вооруженная сила. Фашистский режим усилил централизацию еще больше, поскольку рассчитывал на военную необходимость.

Федеративная структура ФРГ после 1945 г. определялась в интересах США и Великобритании, стремившихся создать слабое и управляемое извне немецкое государство. По той же причине была расчленена и уничтожена Пруссия. Ее части вошли в состав 11 земель, Восточная Пруссия была разделена между Польшей и СССР и насильственно очищена от немецкого населения. И даже столь жестокие меры по ликвидации традиций немецкой государственности не смогли вытравить тягу к централизации. Ведь федеративная обособленность в Германии никогда не была реализована даже, как, культурная автономия (не говоря уже о политической). Границы распространения немецких диалектов не совпадают с границами земель, национальный вопрос в отношениях между землями никогда не поднимался. Внутренние миграционные процессы весьма интенсивны и не дают закрепляться земляческому самосознанию, а также образованию землячеств выходцев из какой-либо земли, проживающих в другом административном образовании (что имеет место и настоятельно стимулируется в Российской Федерации региональными властями). Моноэтничность была закреплена также массовым переселением немцев с востока в ходе и после войны. Местная идентичность в Германии определяется «почвой», а не «кровью». (Характерно, что и конфессиональные соображения не имеют значения в федеративной системе Германии; в 1953 г. была образована земля Баден-Вюртемберг, соединившая протестантский Вюртемберг и католический Баден.) «Земельная» идентичность была проявлена в большей степени лишь в связи с исторической памятью и своеобразным региональным патриотизмом, который ни в коей мере не противоречит общегерманскому патриотизму.

Субъекты федерации в современной Германии имеют компетенцию только вне полномочий федерации. Собственное конституционное творчество строго ограничено общегерманским конституционным порядком. В сфере конкурирующей компетенции возможность земельного регулирования сохраняется только до того, как свое слово скажет федеральный законодатель. Тем не менее в компетенции земель остается

³⁶⁸ Вымыслы немецких юристов на этот счет нельзя признать обоснованными – см. *Бернхардт Р.* Конституционное правосудие и принципы федеративного государственного устройства в ФРГ.// Современный немецкий конституционализм. М., 1994.

достаточно много: земельное конституционное законодательство и административное устройство, культура, средства массовой информации, школа, местное самоуправление.

Неуклонный процесс централизации в Германии продолжался и продолжается. Это связано как с внутренними причинами (готовность к централизации «новых» земель, присоединенных в 1991 г.), так и внешними (образование Евросоюза, следствием которого является вторжение межнациональных органов в сферу компетенции земель). В целом земли Германии не являются носителями политического суверенитета (и даже политической автономии) и выполняют преимущественно управленческие функции.

Имперский принцип уравнивает автономию гегемонией. Германская государственность не была бы возможной без ведущей роли Пруссии и без авторитарных механизмов скрепления единого государства. Именно в этом смысле есть аналогия между Россией и Германией. Разница заключается в том, что в России никогда не существовало федеративной традиции, и автономия не была продуктом соглашений и баланса сил, а только управленческой технологией. Если Германия соединяла в федерацию культурно единый народ, то Россия либо возвращала традиционно русские земли, либо покоряла не способные к созданию самостоятельных политических организмов народы.

По сравнению с послевоенной Германией России никто не навязывал извне разрыва с имперской традицией – она все еще присутствует в нашей государственности как подспудная тенденция, как непреодолимый фактор. Но политическая культура Германии при всех федералистских формальностях не предполагает расширения политических прав земель, чего активно добиваются российские и зарубежные «федералисты» по отношению к России. Политические права земель минимальны, центр доминирует над регионами в политическом смысле бесспорно, и только коллективное воздействие на него всех земель может заставить центральную власть действовать по воле субъектов федерации. Соответственно, нет и речи о каких-либо особых политических статусах для земель, федерация подчеркнута «симметрична». В целом германский федерализм остается формой, которая теряет содержание в силу естественной унификации, что тревожит немецких «федералистов», опасаящихся, что федерализм в Германии окончательно «выдохнется» и утратит свой конкурентный характер.

«Если мы посмотрим на предысторию современных крепких и демократических федераций, – пишет А.Б.Зубов, – то обнаружим, что их субъекты всегда имели долгую историю независимого или полунезависимого друг от друга существования, особенное государственное сознание, особые законы, а часто и несходные традиции законодательства». «Федерация имеет смысл тогда, когда решившие создать ее области, пусть и на очень небольшом пространстве расположенные и природно весьма сходные (Швейцария, Австрия или Германия), имеют различные правовые и государственные традиции своего устройства. Тогда, заключая союз — *foedus* (отсюда и наше слово федерация), они стремятся сохранить свое властное достояние и впредь существовать автономно в тех сферах жизни, которые они предпочли союзу не верить. Но какие государственно-правовые особенности и своеобразные юридические установления желают сохранять, отгородившись друг от друга, Петербург и Курск, Самара и Красноярск, Воронеж и Сахалин? Унитарное прошлое государства, этническое единство, общность исторического процесса делают преобразование России на федеративных началах совершенно неорганичным и потому — малоперспективным». (А.Б.Зубов также показывает, что вплоть до принятия Конституции в 1993 г. Россия никогда ни фактически, ни формально федерацией не являлась³⁶⁹).

Федерализм Швейцарии кажется особенно непонятным явлением – почти воплотившим мечту федералиста о множестве государственных языков (четыре государственных языка) и широчайших полномочиях регионов по отношению к центру. И действительно, по конституции Швейцарии «кантоны суверенны постольку, поскольку их

³⁶⁹ Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм. К вопросу о будущей организации государственного пространства России// Полис, 2000. №5.

суверенитет не ограничен федеральной конституцией; они реализуют все права, кроме той, которые переданы ими Конфедерации». Но все расставляется по своим местам, поскольку в той же конституции указывается верховенство федерального законодательства над кантональным, а также обязанности конфедерации обеспечивать соблюдение кантонами федеральных законов. Хотя автономия кантонов и определяется как суверенитет, выражено это лишь в полномочиях (и даже обязанностях) по реализации общешвейцарских законов, но никак не в их ревизии.

Идеи федерализма в России имеют совершенно иной смысл. Получается, что федерализм в Европе — модель новой интеграции, а в России — модель дезинтеграции, уничтожения суверенитета. Именно поэтому российский федерализм как одна из теорий государственного строительства принципиально отличен от федерализма европейского, хотя и пользуется его терминами и аргументами. *Федерализм европейский и федерализм российский отражают принципиально разнонаправленные доктрины.* Поэтому оценки их благотворности могут быть также совершенно противоположными.

Если немецкая идея соотносится с универсальной общенемецкой идентичностью и является объединительной идеей для всех немцев, то русская идея — идея вселенская, идея надэтнического единства при ведущей роли русских в этом единстве. Значит, федерализм в Германии связан с контролем уровня «спекания» земель, имеющих собственную (хотя и близкую к общенемецкой) идентичность. Для России была бы годна такая форма региональной политики, которая, наоборот, ограничивала бы степень обособления по-разному ориентированных этносов и степень обособления имеющих свои специфические интересы регионов. Попытки же представить дело так, будто в многонациональном государстве федерализм еще более необходим, чем в этнически однородном, — явно противоречит элементарной логике. Как отмечает А.Б.Зубов, «Большинство многонациональных государств не являются федерациями и большинство федераций не строятся на этническом принципе. Этническая федерация — это чисто социалистическое изобретение»³⁷⁰. И, добавим, постсоветское либеральное.

Следует также упомянуть, что европейские рецепты, как бы их ни воспринимать, опасны не только для России. Лейкофф указывает на множество современных исследований, которые указывают, что в ряде стран, таких как Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Германия (первоначально только Западная), «федерализм уже стал альтернативой государственному суверенитету, что и в других частях земного шара территориальные и этнические конфликты разумнее разрешать посредством принятия планов автономизации, чем путем создания микросоциальных»³⁷¹. Хотя Лейкофф признает, что «государство... остается господствующей парадигмой», но в то же время указывает на наличие контртенденций, в том числе на историческую реакцию против монархического абсолютизма, с которым ассоциировался суверенитет, давшей начало федеративным системам, «сулящим более гибкое, хотя и менее определенное, сочетание управления в широком масштабе с относительной автономией на ограниченном, местном уровне»³⁷².

Утверждения Лейкоффа подтверждаются исследования идентичностей — локальной (местной), региональной и общегосударственной³⁷³.

³⁷⁰ Там же.

³⁷¹ Лейкофф С. Оппозиция "суверенитет - автономия в условиях федерализма": выбор между "или - или" и "больше - меньше"// Полис, 1995. №1. С. 180.

³⁷² Там же.

³⁷³ Рукавишников, В.О., Халман, Л., Эстер, П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М., 1998. С.282–283.

Страна	Локальная идентичность (город, местность), %	Региональная идентичность, %	Общегосударственная идентичность, %
Россия	17	17	49
Германия	33,9	29	13,6
Великобритания	38,8	16,1	32,2
Франция	40	13,6	30
Италия	40,6	11	27,5
США	36,7	12,8	30,2
Исландия	-	5,3	48

Вместе с тем сравнение данных, полученных в развитых странах Запада, с российскими показывает, что в нашей стране на уровне идентичностей нет почвы для федерализма – общегосударственная идентичность решительно превалирует над прочими. В странах Запада, вероятно, рассыпанию федераций противодействует локальная идентичность, не позволяющая развиваться региональному сепаратизму.

Для развития федералистских настроений нужны определенные условия. Это хорошо видно на примере структуры идентичностей Калининградской области³⁷⁴, оторванной от основной территории Российской Федерации:

Идентификация	15-30 лет, %	Старше 40 лет, %
«Россияне»	36	45
«Калининградцы»	51	44
Европейцы	13	11

Сравнивая данные таблиц, нетрудно увидеть, что в Калининградской области среди молодежи складывается европейский тип идентичности (привязанность в большей степени к региону, чем в стране в целом), что достаточно опасно в сочетании с эксклавным положением. Можно подумать, что региональный тип идентичности нам не грозит, поскольку в Германии она более выражена, чем в России, и при этом нет никаких признаков нарушения государственного единства. Но для Германии региональная идентичность носит исторически обусловленный характер и не может всерьез влиять на общенациональную солидарность. Для Калининградской области, напротив, региональная идентичность политически актуальна, поскольку имеет характер вызова в адрес России, «которая нас бросила». Причем вызов этот связан в большей мере с социальными проблемами и выражает чувство оторванности народа от власти. (Проблема изоляции от России в «рейтинге страхов» калининградцев стоит после угрозы бедности, потери здоровья, утраты близких, безработицы и др.)

Особенно опасно отождествление принципов федерализма с демократией, которое выхолащивает национальное своеобразие и подменяет национальную форму демократии одним лишь универсальным образцом западной демократии, которая по мысли таких, как Лейкофф, вообще в перспективе ставит под вопрос независимую государственность, расценивая перманентную нестабильность как повод для замещения традиционных форм суверенитета гибкими взаимозависимостями в рамках федерализма. Не случайно Лейкофф говорит о том, что такую характеристику суверенитета, как наличие

³⁷⁴ Данные Среднерусского консалтингового центра (г. Владимир), проводившего исследование в Калининградской области летом-осенью 2002 года по заказу Фонда Эберта// Московские новости, 17 декабря .2002.

определенной культурной идентичности, обнаружить в современном мире будет все сложнее и сложнее³⁷⁵.

Суверенитет, по Лейкоффу, если и сохранится, то будет беспрерывно мультиплицироваться, как это произошло с СССР. Трактовать это можно только, как теоретическое оправдание распада государств по этническим границам, в рамках которых снова будут выделяться анклав, требующие самоопределения и отделения.

У исторической России был ресурс, позволяющий сохранять более стабильный мир на своей территории, в отличие от Запада, приверженного к автономии в рамках федерации. Этого ресурса не было у народов, зажатых на европейском полуострове. Именно поэтому Европу перепыхивали войны, перемешивающие и уничтожающие народы, выплавляющие из них современные нации. Европейцам не хватало пространства, чтобы мирить разнородные этносы. В войне близкие этносы формировали федерации для борьбы с противником не на жизнь, а на смерть. Никакой мирной ассимиляции не наблюдалось, целые народы просто стирались с лица Земли. Не случайно крупнейшие войны, включая две мировые, были порождены именно Европой.

Россия вынуждена была сохранять унитарные формы управления большим геополитическим пространством, имея разный по глубине, но нераздельный суверенитет над различными территориями. Система государственного строительства европейского типа — федерация территорий с равным статусом для России не годилась и не годится по историческим причинам и в силу разнообразия этнических, климатических и иных факторов.

Для того, чтобы в России навсегда выбить почву из-под сепаратизма и оградить государство от посягательств со стороны этнических элит, федерализм должен быть полностью заменен унитаристскими принципами. Следует согласиться с А.Б.Зубовым, который говорит: «Федерализм как институт для России неорганичный и объективным потребностям страны внеположенный, должен быть, скорее всего, отброшен *in corpore*. Его надо не реформировать, не превращать задним числом из договорного в октроированный, что и невозможно по букве права, — от федерализма следует отказаться как такового»³⁷⁶. Федеративная территориальная автономизация может и должна быть заменена. «В государстве с местным самоуправлением налицо вертикальное ранжирование гражданской власти — люди избирают как тех, кто принимает национальные законы, по которым они будут жить, так и тех, кто эти законы будет осуществлять на местах. Такая модель в прямом смысле слова демократична, и привески в виде федерации там, где государственного союза *de facto* нет, здесь не требуется»³⁷⁷.

Федерализм и либеральная демократия исходят из приоритета частного над общим. Тем самым обнажается установка вовсе не на разновидность общественного диалога (диалог — принадлежность «общего»), а на подмену диалога его расстройством и налаживанием диалога иного типа — с иными субъектами, которые уже не являются «ближними», а выносятся за пределы исторически сложившихся сообществ. Устойчивая форма социальности считается навязанной, а грядущая, о которой толком ничего сказать нельзя, добровольной. В этом смысле для Запада, имеющего инструменты нейтрализации сепаратистских тенденций в федерализме, гремучая смесь федерализма и либерализма также крайне опасна.

Мы уже не говорим, что эта смесь смертельна для России. С одной стороны, предполагается, что без федерализма нашей стране не обойтись, с другой, — что при нашем федерализме интеграция в новый мировой порядок будет непременно связана с потрясениями³⁷⁸. Россия как бы загоняется в гибельный сценарий — без федерализма и глобальной интеграции ее бытие немыслимо, а с ними — неизбежно катастрофично.

³⁷⁵ Лейкофф, Цит. пр. С. 181.

³⁷⁶ Зубов А.Б. Цит. пр.

³⁷⁷ Там же.

³⁷⁸ Захаров А.А. Федерализм и глобализация// Полис, 2002. №6.

Логичным развитием темы глобализации в научной литературе и политической риторике является появление представления о «странах изгоях», которые именно в силу нежелания погибать под прессом глобализации и выстраивающие защиту собственного суверенитета рассматриваются как опасные. России предложено либо раствориться в глобализованном пространстве, либо погибнуть иным путем – превратившись в «государство-изгой» и уничтоженной коалицией глобалистов насильственными методами.

На Западе либеральные мыслители все время подчеркивают именно личностную ориентацию федералистских принципов, выраженных в договорном самоуправлении и разделенном правлении, собственной и совместной компетенции. Здесь федерализм становится правовой доктриной, регулирующей взаимоотношения не столько государственных институтов, сколько граждан. Федерализм понимается как «философское учение о человеке». Демократия в федералистской ее трактовке означает всемерное разъединение людей, прежде всего расчленение государств. Поскольку в России государственность в крови у народа, нам ничего не остается, кроме ущербной и неустойчивой формы государства и демократии, испорченных федерализмом. В конце концов либо будет сломлен русский национальный характер, либо федерализм будет Россией преодолен и изжит.

За рубежом Россия считается своеобразной страной потому, что в ней сильны настроения, связывающие будущее с унитаризацией. Именно те действия президента В.В.Путина, которые воспротивились дальнейшему разложению российского суверенитета, вызвали уважение со стороны других государств и заставили примолкнуть сторонников глобализации и федерализации. Вместе с тем Путину было поставлено в вину многими западными и отечественными публицистами и общественными активистами формирование бюрократического капитализма и затруднение внутренней политической конкуренции. Возникает конгломерат эмоций в адрес России: с одной стороны, уважаются самобытные проекты унитаризации и укрепления суверенитета, с другой – именно эти проекты критикуются, как противоречащие западным стандартам организации государственной жизни (а в действительности формальным теориям и политкорректной риторике).

России предлагается сегодня вступить во все межгосударственные объединения, которые только возможны, и тем самым поддержать свой шаткий федерализм извне. Именно так формулируется обоснование капитуляции перед силами, заинтересованными стереть нашу страну с карты мира и окончить ее историю.

Нас пугают тем, что скоро у нее не останется обособленных своих суверенитетов государств-партнеров, а все внешние дела придется вести с международными структурами. И такая опасность действительно существует. Но еще большей опасностью была бы бессубъектность России, которая уступила бы ведение своих внутренних и внешних дел каким-нибудь коалиционным институтам, не имеющим ничего общего с российской традицией.

Сторонникам федерализма никак не поймут, что уродливые формы российского федерализма идут вовсе не от недостатка уступок внешним силам, а от избыточной уступчивости им. Федералистская идея, действительно, превратилась у нас в язык торга властных элит, в ней действительно нет ничего народного, национального. Тем не менее надежда внести что-то разумное и достойное в эту идею за счет привлечения в «федералистский диалог» народных масс, заведомо утопична. Массы тут вообще не при чем и не могут быть «причем». Поскольку федерализм, как соревнование в уступках внешним силам (или внутренним разлагающим тенденциям этницизма, поддержанным извне), однозначно ведет к авторитарным удельным режимам, раскалывающим страну. «Недоделанный» федерализм страшен и опасен, но еще более опасен «доделанный». Вопреки ожиданиям федералистов найти в нем уважение к индивиду и опору на него, доведенный до конца федерализм может означать только обрушение страны в варварскую

грызню обособившихся территорий во главе с преступными группировками, разорвавшими страну – полностью по сценарию разрушения СССР.

Американский федерализм и его подражатели

Американский федерализм источал те же опасности, что и нынешний российский. Так, в решении Верховного суда США еще в 1793 г. содержалась формулировка: «любой штат в Союзе, в любом вопросе, в котором его суверенитет не был делегирован Соединенным Штатам, так же полностью суверенен, как Соединенные Штаты в отношении переданных им прав»³⁷⁹. В комментариях к Конституции США торжествовала теория разделенного (или дуального) суверенитета: «Суверенитет союза — это эманация суверенитета штатов, а не пламя, пожравшее их, или пропасть, поглотившая их. Каждый из них является государством все еще суверенным, все еще независимым и все еще свободным, если того потребуют обстоятельства принять на себя выполнение своих функций как таковых в самых неограниченных размерах»³⁸⁰. Нетрудно увидеть в этой теории причины гражданской войны, которая могла быть завершена только через формализацию принципа относительной независимости штатов.

Западная политология превращает федерализм в идеологическую антигосударственную доктрину. Базисным ее утверждением служит тезис о том, что наивысшим достижением человечества является американский федералистский опыт, поставивший во главу угла индивида. Федерализм представляется уже не просто политической и правовой доктриной, но неким учением о человеке. Чтобы реализовать эту доктрину требуется определенный антропологический «субстрат» – т.е. выдвигается вполне расистский тезис о том, что есть народы, неспособные к федерализму – высшему достижению человеческой культуры в деле государственного строительства³⁸¹. Вслед за этим нетрудно прийти к мысли о том, что неприятие федерализма какой-либо политической культурой говорит не в пользу этой культуры.

Разделяя полностью федерализм и государство, американские теоретики закладывают страшное противоречие: индивид образует регион, регионы образуют государство, государства образуют глобальную систему, для которой и государства, и регионы перестают быть необходимыми – все люди становятся «гражданами мира», реализуя принцип федерализма - идеал свободно существующей автономии личности, которая в зависимости от своих желаний может как угодно федерироваться или дефедерироваться.

Именно поэтому федералисты отказываются от каких-либо классификаций: федерализм всегда универсален, как универсальны (а не уникальны) в либеральной парадигме отдельные личность или отношения между отдельными личностями. Сводя все к экономической модели отношений, американские федералисты говорят об идее сообщества как о партнерстве. Будучи перепевом идеи общественного договора, эта мысль служит обоснованием для уничтожения государственности как таковой, если индивидам вдруг вздумается заключить иной тип партнерства, в ином составе или вообще отказаться от него.

Принципы партнерства американцы усматривают только в либеральных ценностях, пригодных, как показывает практика, преимущественно для самих американцев. Остальным в способности федерироваться отказано или же выражается сомнение в том, что их партнерство действительно продуктивно и имеет основания для уважения. Американцами в рамках федералистской теории уважается только собственная куца традиция – прежде всего, традиция говорения на данную тему с глазами, закрытыми на

³⁷⁹ Цит. по: *Левин И.Д.* Суверенитет. М., 1948. С. 293.

³⁸⁰ Там же. С. 293.

³⁸¹ *Элейзер Д. Дж.* Сравнительный федерализм. // Полис 1995. № 5.

явные или не очень очевидные противоречия, с которыми без труда столкнется тот, кто попытается погрузиться в реальную американскую жизнь, не замуриваясь при этом³⁸².

Американские исследователи надеются представить дело таким образом, что все прочие федерации суть обман, фальшивка, квазифедерация, ибо лишь распределяют государственную власть, не исходя напрямую от свободных личностей. До предела обнажается американская позиция радикального федерализма во фразе американского исследователя федерализма Дугласа Вернэ: «быть федералистом и быть либералом – это одно и то же»³⁸³. Либерализм, по мысли американского политолога, нагружает федерализм ценностями, в то время как в других общественных системах он является всего лишь инструментальным приемом. Вернэ пишет: «Канадцы и индейцы не являются либералами в американском смысле и, следовательно, не могут принять американскую концепцию либерализма. Подтверждением тому служит использование ими федерализма не в качестве цели, но исключительно в качестве средства»³⁸⁴.

Импортная модель американского федерализма дает в руки сепаратистским силам новые доводы: мол, асимметрия – общая и возрастающая особенность демократических федераций, особенно тех, где компактно проживают группы этнических меньшинств. Асимметрия в данном случае понимается как право на паразитизм, право на льготы и преимущества по принципу владения частью территории страны, исходя из «исторических прав». Вопреки реальной жизни, выдумывается какой-то никому не ведомый расширяющийся процесс передачи унитарными государствами на уровень регионов асимметричных прав, учитывающих региональные особенности. Только как явно провокационную можно рассматривать и такую теоретическую выдумку американских федералистов, как фиксируемая каким-то образом тенденция к неспособности централизованных государств справляться с запросами экономического, социального и культурного развития в условиях глобализации. Правильнее было бы полагать, что американский федерализм вообще не признает никакого иного централизованного государства, кроме своего собственного, которое единственное в мире, будто бы, осязается способным гарантировать успешное развитие всей человеческой цивилизации³⁸⁵.

Теория «поделенного суверенитета» фактически представляет собой ту самую модель беспредельно распространяющегося на все сферы жизни либерального федерализма, о которой мы ведем речь. Суверенна, в конце концов, оказывается только изолированная персона, по своей воле раздающая кусочки суверенитета социальным институтам и по своей воле реквизирующая эти кусочки обратно. В континентальных государствах эта модель неэффективна, поскольку переносит на иную историческую почву принципы, рожденные на определенном этапе американской истории и адаптированные в последующие периоды путем формализации и выхолащивания этих принципов за счет введения иных правовых норм и неписаных правил политической культуры. У России своя история, и ей незачем побираться на чужих интеллектуальных свалках. Тем не менее желающих побираться в современной Российской Федерации хватает.

Отечественные политологи, пытаясь взять на вооружение американскую модель с ее радикальным либерализмом, непоследовательно вспоминают об особенностях России, якобы делающих федеративную модель нашей государственности неизбежной – говорят об особенностях географического положения, этнического состава населения,

³⁸² Симптоматично, например, признание американского солдата, который после войны в Ираке 2003 года делился с корреспондентами своими возвышенными мыслями о причастности к армейскому организму в качестве «винтика» единой системы.

³⁸³ Verney Douglas. Federalism, Federative Systems, and Federations: The United States, Canada, and India. // Publius: The Journal of Federalism, vol. 25, no. 2 (Spring 1995). P. 88.

³⁸⁴ Ibid. – P. 91

³⁸⁵ Donna Bahry. Rethinking Asymmetrical Federalism. P. 1. http://federalmcart.ksu.ru/conference/konfer1/bari_eng.htm

исторической и политической наследственности. Но если ко всему этому отнестись всерьез, никакой автономной и универсальной личности обнаружить в русской традиции невозможно, поскольку она и выжить-то в особенностях русского ландшафта и русской истории не могла. Следовательно, федерализм, исходящий от автономной личности, для России не только нежелателен, но и невозможен. Возможна лишь та форма «исполнительного федерализма», которая по сути является закулисным сговором между разными политическими группировками, перетягивающими одеяло политической власти на себя и не думающими о судьбе страны.

Еще один вариант исследовательского лукавства – попытка совместить американский образец с идеалом парламентской республики, в которой федеративная модель проще всего отражает договорной суверенитет – субъекты федерации совместно реализуют единое для них суверенное право. Президентская модель США и других стран Запада показывает несостоятельность федеративной концепции в целом – федерализм становится просто другим наименованием идеологии либерализма. Федерализм в сочетании с президентской властью ясно и недвусмысленно дает понять идеологические устремления правящей группировки.

Российский федерализм опорочил себя нарушениями Конституции в угоду договорному процессу, превращающему разноуровневые элементы государственной иерархии (причем, исполнительной ветви власти) в партнеров, между которыми нет иерархической субординации, а есть намерение договариваться по поводу спорных вопросов главным образом лежащих в сфере присвоения конкурирующими властными группировками тех или иных частей национального достояния.

Нелепость федеративной конструкции ельцинской России демонстрируется декларацией единства суверенитета РФ (ч. 1 ст. 4 Конституции РФ) при одновременном признании некоего «совместного ведения», в рамках которого каждый из субъектов федерации волен по договоренности присваивать себе те или иные функции федерального центра. Попытки разграничить ведение, предпринятые Администрацией Президента РФ в 2002–2003 гг. оказались несостоятельными ввиду непонимания насущной необходимости строить систему государственной власти в России на совершенно иной основе.

Еще одна форма лукавства либеральных политологов, ставшая причиной прямых преступлений против устойчивости государства, связана с объединением проблемы территориального деления России с «национальным вопросом». Федерация, как утверждалась, неизбежна там, где присутствует полиэтничность и не нужна там, где ее не наблюдается. Следствием этой позиции, вбивавшейся в сознание людей через систему массовой информации и образования, стало возбуждение этницизма и образование преемников сепаратистских объединений, заряженных не столько ненавистью к русской государственности, сколько «теоретической базой» – либерализмом. Вместе с внедрением соответствующих установок возникает требование партнерства и диалога с государством, истекающее откуда угодно: или от самодеятельных клубов правозащитников, или от избранных в состав законодательных собраний этницистов. Все хотят быть с государством «на дружеской ноге», добываясь привилегий. Дарованная государством в процессе диалога-давления система привилегий – вот истинный результат либерализации государственной системы.

Последовательной формой реализации либерального «поделенного суверенитета», неизбежно приобретающего этнические черты, является нигерийская история последних лет. В 1963 г. в Нигерии четыре исторических региона плюс федеральный округ Лагос были преобразованы в 12 штатов, в 1976 г. к ним добавились 7 новых штатов, в 1989 г. число штатов возросло до 21, в 1991 г. – до 30, в 1997 г. – до 36³⁸⁶. И процесс этот не остановить – в Нигерии проживает около 400 лингвистических и этнических групп, каждая из которых требует суверенитета при очередном военном перевороте. То же самое

³⁸⁶ Каменская Г.В. Федерализм: мифология и политическая практика. – М.: ИМЭМО, 1998. С. 73–96

ожидает и Россию, если она не прекратит применять федералистские принципы и не разделит территорию на единицы управления с экономически и географически обусловленными границами.

Отечественная наука решает проблему государственного устройства, исходя из принципа: либо этническая принадлежность фиксируется государством как неперемный атрибут личности и, отталкиваясь от принципа приоритета личности, политическая субъектность возникает у этносов; либо этничность считается «воображаемым сообществом» и политическая субъектность признается только очищенной от каких-либо традиций индивидуальности. Соответственно, в первом варианте возникает этно-федералистская либеральная модель государства, во втором – западническая, но по-прежнему либеральная, включающая в себя принцип федерализма как «антропологическую доктрину».

Модель государственного управления в России начала постепенно трансформироваться в 2000 г. с приходом к власти В.В.Путина – коллективный суверенитет, реализованный в Совете Федерации, был ликвидирован; договорной процесс с регионами прекращен³⁸⁷ и под давлением Кремля (через Генеральную прокуратуру) региональное законодательство в основных своих чертах было приведено в соответствие с Конституцией; гонор региональных баронов погашен за счет переключения потоков налоговых поступлений из регионов в федеральный центр. В семи административных округах появились «наместники» – те же генерал-губернаторы с пока еще неясными функциями, но растущим авторитетом официальных представителей усиливающегося федерального центра. Суверенитет сгущается в этом центре, изживая «парад суверенитетов» и опровергая теорию «поделенного суверенитета» вместе с федералистской моделью, явно неприемлемой для России.

Ленивые реформы В.В.Путина ведут Россию к подражанию США в их нынешнем лицемерии – либерализм в словах, а империализм в делах. И такому подражанию есть определенные предпосылки. Дело в том, что российский вариант государственного устройства исторически ближе не к Европе, а к Америке (с оговоркой, что культурная основа государственного строительства принципиально различна). За 200 лет с момента принятия Конституции США их территория увеличилась в четыре раза (и никто не попрекнет отцов-основателей США в «имперских амбициях») — нечто похожее на освоение Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока Россией. Вместе с Конституцией США действуют конституции штатов — нечто похожее есть и у нас. Разница состоит в том, что в США основой единства нации является обособленность индивидуальности, а общинная структура выходцев из различных регионов мира и представителей различных этносов не носит административно-территориального характера. В современной России региональный «патриотизм» элит выражен значительно сильнее, а этносепаратизм подкреплен статусом субъектов федерации для «титulyных» республик и автономных округов. Общеамериканская идентичность не противоречит идентичности территориальной. У нас же эти идентичности конфликтуют, а федерализм этот конфликт возводит в правило.

Для России введение имперской модели управления через двойной стандарт невозможно. Для русского менталитета «Империя» – слишком важное слово, чтобы превращать его в тайную игру властей, а самим упиваться иллюзиями федерализма. Отрицая ложь либеральной пропаганды, русские восходят к слову «Империя», как к таинственному символу былого могущества России и открывают для себя его истинное значение: *imperiū* означает вовсе не экспансию, а суверенитет и управление.

Европейская государственность постепенно уступает многие функции наднациональным органам, что вызвано уже вполне ясно зафиксированной европейской

³⁸⁷ Возобновление договорных отношений с субъектами федерации остается возможным в связи с инициативой того же В.В.Путина сделать исключение для Чечни.

ментальностью, возводящей любую европейскую нацию к Риму³⁸⁸. В том же духе на основе римского права и римской истории строили свою политическую аргументацию и отцы-основатели США. В свое время Дж. Вашингтон говорил о США как о «восходящей империи», имея в виду национальное становление³⁸⁹. Но для России имперская система – не метафора, а элемент уже состоявшейся исторической самобытности. И тем более удивительно, что именно метафорой в течение ряда лет (а зачастую и сегодня) подменяется серьезный анализ имперских государственных систем. Метафора, призванная быть негативной альтернативой федерализму, оборачивается противоположным знаком – знаком надежды на возрождение России.

Пропасть мультикультурализма

Мультикультурные общества прежде назывались мультинациональными, мультиэтничными, мультирасовыми, мультирелигиозными. Новый термин возник в 60-е годы в Канаде в связи с особенностями управления англо-французским бикультурным обществом. В дальнейшем мультикультурализм стал фиксироваться в связи с новой волной неевропейской миграции, которая к концу 80-х – началу 90-х годов XX в. затронула такие европейские страны, как Италия, Греция, Португалия, Испания, Ирландия, которые сами прежде были источниками миграционных потоков. Франция в 1995 г. имела 11% населения, родившегося за ее пределами, Западная Германия подверглась массированному заселению неевропейскими народами в 60-х и 80-х годах, в Швеции в середине 90-х 10% населения были выходцами из-за рубежа. В начале 90-х пятую часть Лондона, четвертую часть населения Брюсселя или Франкфурта составляли небелые. Канада и Австралия уже в 70-е годы были на 15-20% населены заграничными уроженцами, основной поток которых составляли в этот период небелые³⁹⁰.

В Австралии такой поворот дела был связан с дефицитом рабочей силы, который заставил отказаться от лозунга «Сохраним Австралию белой!», а также переориентацией торговли с Европы на Азию. В 1967 г. гражданские права получили австралийские аборигены. Тем не менее к началу 90-х Австралия вернулась к прежней политике, на словах сохранив приверженность мультикультурализму. В это время 70% иммигрантов составляют европейцы, американцы и новозеландцы.

Мультикультурализм возникает сам собой в связи с тем, что ассимиляционный потенциал Европы и Нового Света оказался исчерпанным, и прежде культурно однородные общества начинают включать в себя инокультурный элемент, не растворяя его. Причем инокультурное включение оказывается некоей обособленной суперпозицией национальной культуры и прежней материнской культуры представителей некоренного населения, что говорит об утрате прежних завоеваний национальной однородности и о старте в маргинальных условиях нового этногенеза, грозящего со временем вытеснить национальную традицию. Прежде маргинальные и распыленные этнические группы объединяются современными средствами коммуникации и усиливаются новой этнической интеллигенцией, разрабатывающей доктрины расизма небелых народов, в которых все настойчивее звучит требование реституции и компенсации мультикультурным группам за колониальные грехи «старых» наций.

Гёран Терборн пишет о том, что студенческие и молодежные движения в США, которые при антирасистской напряженности не продолжали борьбы за равные гражданские права, а требовали институционального равенства для маргинальных субкультур³⁹¹. В этот поток, захлестнувший Запад, влились особыми группами феминистки, лесбиянки и гомосексуалисты, черные расисты и другие этнические

³⁸⁸ Об этом пишут достаточно часто – см. Хюнер К. Нация. М., 2001.

³⁸⁹ Шлезингер А. мл. Циклы американской истории, М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. С.201.

³⁹⁰ Терборн Г. Мультикультурные общества// Социологическое обозрение, 2001. Т.1, №1. С. 50–66.

³⁹¹ Там же.

группировки. Маргиналы потребовали от общества признания и уважения. Культурная гегемония на национальной территории поставлена под сомнение и вынуждена уступать напору, финансируя мультикультурные программы, национальные квоты в учебных заведениях, издавая новые правовые нормы против дискриминации. Все это – новая стадия внедрения принципов федерализма в западное общество.

Другой аспект мультикультурализма – интеграционные процессы в Европе, постепенно стирающие национальные границы, но не отменяющие культурной автономии европейских наций. Считается очевидным, что интеграционные процессы, идущие в Европе, бесспорно, благотворны и должны быть взяты в пример для интеграции раздробленного постсоветского пространства. Вместе с тем, пример Европы говорит, скорее, о том, что интеграция и федерирование идут без попытки всерьез ответить на вопрос «зачем?»³⁹² Предпочитают отвечать на вопрос «как»? В России дела обстоят прямо противоположным образом: интеграция – это попытки вернуть утраченное единство. А вот вопрос «как?» то и дело повисает в воздухе, поскольку имеются мощные силы, противостоящие русскому проекту воссоединения земель – в новой реальности Большой России им просто не будет место ни в экономическом, ни в политическом пространстве.

Объединение выгодно – эта мысль считается очевидной. Быть разьединенным – привилегия богатых, и Европе нет смысла так уж интенсивно стирать внутренние границы. Объединение Европы носит не экономический и не военно-оборонительный характер. Оно происходит по идеологическим мотивам, согласно которым федерализм является важнейшей целью всей социальной организации человечества, а суть федерализма – либерализм с его ненавистью к государству и нации. В свою очередь либеральная доктрина – это доктрина «американской салатницы», в которой мелкие культурные ассоциации соседствуют друг с другом, не смешиваясь. Создание такого же рода мультикультурного смешения, как в США – вот действительная цель европейского объединения. В дальнейшем Соединенные Штаты Европы не должны ничем отличаться от Соединенных Штатов Америки – так Америка проглотит Европу и пресечет историю европейских наций.

Для теоретиков федерализма процесс объединения Европы трактуется примитивно: все федерируется – федерация внутренняя дополняется федерацией внешней. Соответственно, процессы глобализации расцениваются как позитивные в плане замены национальных государств иными формами объединения людей – суверенитет растворяется в разного рода мультикультурных ассоциациях.

Проблема культурно-государственной идентичности при рассасывающемся национальном суверенитете волнует европейских мыслителей. Мы попытаемся проследить за ходом рассуждений таких разных исследователей, как немец Курт Хюбнер и швейцарец Урс Альтерматт. Первый из них пытается придумать модель единой Европы без мультикультурализма, второй – без наций.

Хюбнер указывает, что в каком-то смысле мультикультурными были и греческие города-государства, соединенные общеэллинской идеей. Еще больше оснований есть для того, чтобы рассматривать Римскую Империю как мультикультурное государство. В действительности, речь должна идти не о мультикультурности, а о многослойной идентичности, которая всегда присутствовала на территории Европы в больших государствах-империях. Хюбнер отмечает, что мы встречаемся с двойной идентичностью с незапамятных времен. Причем родовая идентичность может быть шире гражданской (у эллинов) или уже нее (как у современных наций)³⁹³.

Если в Греции эллинское единство опиралось на единство мифологии, а мультикультурность была разнообразием городских и родовых версий единого мифа, то в Римской Империи миф выходит за городские пределы и даже за пределы языковой

³⁹² В датской программе «Единая Европа» (МИД Дании, 2002) можно отыскать лишь декларацию о стабильном и безопасном развитии, которое будто бы несет объединение Европы.

³⁹³ Хюбнер К. Нация, М.: Канон, 2001. С. 12.

общины – мультикультурное пространство соединяется политическим мифом расширяющейся идеи *рах готана* и идеей римского права. И пока это расширение происходило, мультикультурность не имела значения – «предложение духовного товара реализовывалось, словно в супермаркете. Синкретизм пользовался все возрастающей популярностью»³⁹⁴. Современная Европа также готовится к соединению своих национальных культур в таком американском супермаркете.

Империи тоже были мультикультурными обществами, но иного типа, чем современные общества. Прежде всего, никакой интеграции традиционных культур в маргинальных слоях не формировалось, как не было и унификации жизни завоеванных народов. Языковое, правовое и даже религиозное единообразие не ставилось в качестве задачи (исключение составляет Испанская империя после 1492 г.). Переход к имперской культурной парадигме стимулировался только карьерными соображениями местных элит и их стремлением к участию во владении общеимперским богатством.

Малолюдные империи поощряли миграцию – еврейскую в Польшу и Литву (XIII–XIV вв.), немецкую в Пруссию, Трансильванию и Россию (XVII–XIX вв.). Оттоманская империя приняла евреев-сефардов после реконкисты в Испании. Относительная веротерпимость этой империи позволяла сосуществовать в ней множеству конфессий, что во многом заложило мозаичность расселения народов и распространения религий на Балканах. Впоследствии это послужило поводом для неисчислимых конфликтов. В этом смысле терпимость империй к инородцам сродни нынешней терпимости-толерантности в рамках мультикультурной парадигмы современных обществ. История показывает нам последствия реализации мультикультурной программы развития государств – их неизбежную гибель.

Мультикультурализм Римской Империи не мог продолжаться вечно не только по причине исчерпания возможностей ее пространственного расширения, но также по причине ее внутренней ущербности. Как отмечает Хьюбнер, только гордыня цезаризма могла обеспечивать пронизанную пороками толерантность. Псевдомиф богоподобного (или равнобожественного) цезаризма стал ритуалом лояльности, за которым не было реальной духовной жизни. Точно так же и всеобщая терпимость скрывала механическое отправление соседствующих культов, давно отступивших из духовного мира граждан Империи в повседневной необязательности. Именно это грозит сегодня мультикультурной Европе, если она пойдет по пути утраты Отечества. Всеобщим фоном тогда будет та же необязательность нравственного поведения и усредненность повседневности по американским клише массовой культуры.

«Итак, даже внешнее умиротворение *рах готана* не могло затемнить истинное положение дел, состоящее в том, что мультикультурный синтез и хаос мифов, религий, культов и философских школ влекли за собой всеобщую релятивизацию ценностей, все большую утерю идентичности и прогрессирующее разукоренение костенеющих национальных связей, что наносило урон сознанию общности и, казалось, одновременно, было способно осветить своим блеклым светом и вместить в себя все, что угодно. В этом мире люди странным образом переставали чувствовать себя как дома, и разве не поэтому так спасительно подействовало слово Назаретянина, сказавшего, что этот мир им преодолен и царство его не от мира сего? Ни внешний глянец, ни величие империи, ни тем более правовая защищенность не могут затемнить то обстоятельство, что отчаяние и суэта жизненных наслаждений достаточно часто выливались в отвращение, которое некоторые — как, например, христиане — обращали на империю, ощущая ее словно болото, которое только и могло бы найти свой конец в божественном апокалипсическом Страшном Суде. Тяжелые социальные битвы, сотрясавшие империю, также должны в конечном счете рассматриваться во взаимосвязи с этим духовным положением»³⁹⁵.

³⁹⁴ Там же. С. 35.

³⁹⁵ Там же. С. 36–37.

Надо сказать, что мультикультурный Рим никогда не был обществом социальной упорядоченности и стабильности. Римская Империя – это непрерывная гражданская война, которая заменила войну наций на уничтожение войной партий, на уничтожение их лидирующих группировок, а на периферии – мятежами и карательными экспедициями, необходимыми для непрерывной экспансии. Межплеменные войны на имперской периферии заменялись войнами племенных вождей, объединявшихся против Рима и бросавших ради этого местные распри. В противодействии Империи рождалась неформальная идентичность. И в самой Империи христианство отыскивало актуальное единство в противовес формальному, основанному только на римском праве.

Священная Римская Империя попыталась восстановить имперский универсализм на основаниях христианской веры. Хюбнер отмечает, что во всех католических государствах Европы формировался инвариантный правящий слой – клир везде осуществлял одинаковый культ, а аристократия практиковала одинаковую систему феодальных правил, свои нравы и обычаи. При этом дворяне могли служить любой стране, а браки среди представителей аристократических родов различного национального происхождения заключались регулярно. Обособленность от внешнего разнообразия создавала внутреннюю солидарность Священной Империи – универсальная латино-германско-католическая идея противопоставлялась как имперской византийской и имперской исламской, так и языческой³⁹⁶. «Соответственно, князья и ландграфы принимали от императора право на господство над имперскими провинциями. Князья и феодалы несли такую же ответственность перед императором, какую последний нес перед Богом. Таким образом, ленная система покоилась на верности и вере и понималась как *личное отношение* между сеньором и принимающим у него лен вассалом. Военное государство также основывалось на *личном принципе*, а не на *территориальном*, как позднее»³⁹⁷.

Личный принцип в мультикультурной конфедеративной империи, таким образом, противоречит современным устремлениям европейцев к унификации государственных и экономических стандартов, которые в действительности являются американизацией всех сторон жизни. Таким же образом асимметричная федерация в России, лишенная личного имперского принципа, подрывает стабильность государства, а унификация, проводимая по европейским канонам, создает костную систему, не способную оперативно реагировать на быстро меняющуюся обстановку и отвечать на многоплановые угрозы национальному суверенитету.

Стабильность европейских наций может объясняться тем, что христианская реконкиста не была толерантной и сопровождалась изгнаниями и евреев, и мусульман. Реформация закрепила в Западной Европе принцип «кого власть, того и вера» (*eius regio, cuius religio*). Здесь образовалась монокультурная и монорелигиозная территория. Эпоха Просвещения при введении принципа веротерпимости тем не менее ввела иную уравнительную систему – систему этнолингвистической унификации. Из рыхлого этнографического материала, спаянного единством религиозной жизни и единством суверенной власти, сформировались современные нации (например, в середине XIX в. в Италии лишь 2–3% знали итальянский язык). Исключением из европейского правила являлись Нидерланды, Бельгия, Швейцария. Очевидно, все это своеобразные государственные образования, как бы зависшие между крупными державами и оставшиеся мультикультурными только потому, что история предоставила им такой шанс быть в стороне от основных конфликтов эпохи.

Как пишет Хюбнер, Средневековые породило Европу как государство многих народов, в котором отдельные нации чувствовали себя укрытыми и защищенными. Но почему состоялся раскол Европы, почему пала Империя *Regnum Alemanie*? Не по той же причине, что и последующая псевдоимперия, лишенная имперского ядра и

³⁹⁶ Там же. С. 40–41.

³⁹⁷ Там же. С. 43.

стимулировавшая вместо общеимперской элиты создание местных этнических элит – СССР? Не по причине ли того самого мультикультурализма, который разъедал этнически индифферентные государства?

Священная Римская Империя германской нации будто бы намечает ядро империи, порождая, наряду с имперской, национальную идею. Но национальная идея, безусловно, главенствует, дополняясь также гражданской (городской) идеей самоуправления и идеей династической верности князю, чья власть ближе к национальной и доступнее, по сравнению с имперской. Имперская власть отодвигалась на задний план, хотя и конкурировала с княжеской. Римское право и княжеская власть вытеснили государство личного принципа и города-государства, заменив его территориальным государством. Иерархически-пирамидальная властно-идентификационная система Средневековья была разрушена. На смену католическому универсализму пришла реформаторская формула «*cuius regio, eius religio*» (гражданство прежде религии). Религия становилась лишь частью национальной идентичности.

Увидев процесс разложения универсальной идеи единой христианской Европы, но пропустив в нем раскол и выход из общеевропейской идеи европейских православных наций, Хюбнер пытается найти новый европейский универсализм – универсализм без христианства: «мы должны отказаться от надежды обнаружить в христианстве искомое специфическое внутреннее сознание единой Европы, что было возможно прежде»³⁹⁸. Христианство более не является общеевропейской религией и не имеет прежней власти над душами и умами европейцев.

Нация и Европа, по мысли Хюбнера, должны дополнять друг друга. Сознание европейской нации должно вбирать в себя сознание наций, ей принадлежащих. Но что же тогда идентифицирует «европейскую нацию», «миф Европы»? И Хюбнер берет этот миф у Мюллера, считавшего, что национальная идея и идея человечества образуют диалектическую связь – понять себя можно только во взаимодействии с другими нациями. Точно также существует и диалектическая связь между европейскими нациями и объединяющей их европейской нацией с собственной идентичностью, не противоречащей идентичности отдельных наций.

При всей очевидности этой мысли, у нее есть немало противников – европейские ценности противопоставляются общечеловеческим, национальные – европейским. «Выдвигаются требования отказаться от культурного своеобразия, и не только европейского, и построить так называемое мультикультурное общество, в котором должно быть перемешано и по возможности релятивировано всякое многообразие»³⁹⁹. «Требование мультикультурного общества в конечном счете сводится лишь к тому, чтобы в пустопорожном резонерстве человек потерял бы свои собственные корни и рассматривал культуру не как образ *жизни*, а всего лишь как интеллектуальную игру. Поэтому толерантность, которая делает возможной распространение этой игры, в своей основе оказывается лишь безразличием»⁴⁰⁰; «понятие нации и родины оттесняется на задний план, если вовсе не высмеивается, а идея «Европы» ...трансформируется в столь же расплывчатую, сколь и невразумительную идею мультикультурного общества»⁴⁰¹.

Мультикультурализм опасен остатками чувства национальности и культурной обособленности, благотворными в другой ситуации: «Исторический опыт учит: совместная жизнь различных культур в узком пространстве всегда была постоянным запалом, приводящим к новым и новым взрывам. (...) Но что из этого выйдет, если, скажем, христиане, иудеи и мусульмане должны будут ютиться на узком пространстве, ежедневно вступая в духовные, материальные и физические контакты, в полной мере показывает Ближний Восток. Отчасти это приводит лишь к фанатической ненависти,

³⁹⁸ Там же. С. 383.

³⁹⁹ Там же. С. 389.

⁴⁰⁰ Там же. С. 391.

⁴⁰¹ Там же. С. 395.

отчасти к безразличию и релятивизму, что в конце концов ведет к потере всей жизненной энергии»⁴⁰².

И все же для Хюбнера Европа есть лишь структурное дополнение нации, соединяющей европейцев в некую подобную нации общность: «Лишь во взаимодействии, плодотворном обмене, конкуренции нация может прийти к своему полному раскрытию. Лучшим основанием для этого является мир и регулируемая, упорядоченная кооперация при одновременном сохранении собственной сущности Единая и объединенная Европа, следовательно, необходима уже именно потому, что она является интегральной составной частью самой национальной идентичности и гарантом ее сохранения»⁴⁰³.

Но в этом случае Европа – только мультинациональное конфедеративное объединение, которое уже не состоялось – Европейский Союз не сохраняет границ между нациями и унифицирует законы и правила: вместо интегрирующей европейской идентичности возникает общезападная проамериканская идентичность, а Европа все больше превращается в имперскую периферию США.

Хюбнер в качестве мифа Европы предлагает только историю Европы: платоновская рационализация мира идей или августиновская рационализация веры не создают каждая по отдельности универсального основания политики. Но сопоставленные вместе с европейской историей и современным уровнем научных представлений, выходящих за свои собственные пределы в научном мифе, создают нуминозное представление – идею Европы. Именно из него Хюбнер предлагает выводить всякое конкретное политическое мышление⁴⁰⁴.

Столь смутный рецепт национально-государственного строительства вряд ли может быть воплощен в нечто реальное. И вместе с тем он верен, если правильно понять современные научные представления европейцев о самих себе. Научность, как оказывается, ничего не стоит без мифа. Миф Европы о самой себе, действительно, не мыслим без идеального государства Платона и христианской доктрины. Миф Европы действительно может быть миром «идеальных государств» – своеобразного союза отечеств, объединенных христианской культурой. Распад этого мифа будет означать действительный закат Европы – сначала культурный (под давлением уравнивающего американизма), затем политический (утрата национальной идентичности и превращение в имперскую периферию США). Мультикультурность единой Европы возможна лишь в том случае, если сохранится все еще достаточно явное разделение европейского пространства культурными и политическими границами, которые в свою очередь диктуют также и сохранение европейских государств в качестве независимых экономических субъектов.

А что же Россия? Попытка отождествить задачи европейской интеграции с задачами российского государственного строительства – явно некорректный шаг. В России и в Европе идут *разнонаправленные процессы*. Если Европа только создает институты единства, то в России они давно существуют, если европейцы пытаются формировать нечто вроде европейской нации, то в России русский язык и русская культура являются родными более, чем для 90% населения, и все признаки нации уже налицо.

Действительно, европейская интеграция происходит именно в плане объединения, а не дробления. Последовательное сближение европейских наций отражено древней тенденцией, берущей свое начало в Римской Империи, затем – в Священной Римской Империи германской нации, а в современном мире – реализованной в решениях Гаагского конгресса 1948 г, в Маастрихтском договоре 1992 г. с образованием Европейского Союза – межгосударственного объединения, сочетающего в себе черты международной организации и федеративного государства. Считать, что Россия идет по этому же пути просто нелепо. Единство Большой России в ее исторических границах – вот аналог,

⁴⁰² Там же. С. 390.

⁴⁰³ Там же. С. 381.

⁴⁰⁴ Там же. С. 392.

который можно сопоставлять с Европой. Только интеграция России должна идти не между регионами, а между Великороссией, Белоруссией, Украиной, Казахстаном.

Россия не может быть союзом каких-либо политических субъектов. Поэтому доктрина мультикультурности для нашей страны еще более ясно и отчетливо означает скорую гибель страны, вычеркивание ее из истории. Монокультурность, бесспорная доминанта русской культуры обоснована исторически тем вкладом, которая русская культура внесла в культуру мировую. Это не означает подавление локальных культур, которым в сложных случаях должна быть предоставлена возможность выжить в этнографических заповедниках. Но у носителей этих культур не должно быть никакой политической субъектности. Это значит, что для России никак не подходит и не годится европейская союзно-федеративная модель. То, что в Европе подлежит сохранению и убереганию от смешения и усреднения, в России, напротив, должно быть растворено – локальная культурная идентичность может оставаться лишь провинциальной, лишенной самостоятельного существования.

На общественную жизнь России и деятельность ее государственных институтов оказывает влияние выдумка о единой Европе, в которой европейцы вовсе не так уверены, как полагают сторонние наблюдатели. Референдумы о единстве Европы (о Европейском Экономическом Сообществе и членстве в ЕС) показали расколотость европейских обществ – сторонники единства лишь немного превзошли противников и то лишь под давлением направленной правительственной пропаганды⁴⁰⁵. Кроме того, в течение 1990-х позитивная оценка объединительных процессов постоянно снижалась⁴⁰⁶. Кризис доверия к европейским институтам породил рост собственной национальной идентичности. Пока этот кризис удастся смягчить путем расширения ЕС и наложенного членства в НАТО – новые сторонники объединения, живущие страхом перед Россией, удерживают ЕС от краха и берут на себя инициативу в общеевропейских делах – роль малых стран в ЕС значительно возрастает.

Проект объединенной Европы в том виде, в котором он существует, прямо направлен против объединенной Германии, которая могла бы стать гегемоном общеевропейской Империи, но сегодня опутана множеством международных обязательств и низведена до угнетаемого члена в международных организациях. Данный проект направлен также против сербского населения Балкан и использован НАТО для развязывания европейской войны, а немецкой бюрократией – для уничтожения сильного соседствующего конкурента – единой Югославии. Третьей жертвой европейского объединения становится Россия, против которой направлены все космополитические инициативы бывших союзников по Варшавскому договору – правительства и народы Восточной Европы жаждут свалить на Россию ответственность за собственную подчиненную позицию в течение нескольких десятилетий. Ради этого они готовы на новое подчинение, в котором малым странам уготована более весомая роль – их голос подкрепляется США и НАТО и вынуждает крупные политии уступать инициативу.

Европейский союз создан волей правительственных бюрократий, отделившихся от собственного политического и культурного наследия, от собственных наций. ЕС легитимирован договорами, а не волей народов. (Заметим, что точно так же разрушен СССР – не волей народов, а волей политических проходимцев). Кризис доверия к объединению возник, как только правительства попытались найти опору объединению в обществе и открыли широкие дебаты по этой теме. Урс Альтерматт замечает, что в Европе нет никакой политической общественности, никакого сознания общности и идентичности, которыми мог бы обладать Европейский союз⁴⁰⁷. Поэтому в ЕС соединяются только бюрократии, теряющие национальные черты.

⁴⁰⁵ См. сводную таблицу - *Альтерматт У.* Этнонационализм в Европе, М., 2000. С. 262.

⁴⁰⁶ См. график – там же. С. 274.

⁴⁰⁷ Там же. С. 279.

Альтерматт сетует на отсутствие общеевропейского дискурса, что означает отсутствие выработки общей системы ценностей и образования общеевропейской общественности. Поэтому общественное мнение в Европе действует по национально-государственным законам.

Сторонники европейского единства никак не возьмут в толк, что общеевропейская общественность невозможна, как и невозможен общеевропейский дискурс по поводу единства Европы – этот дискурс, если и может наличествовать, то только, как имитация, как бюрократическая подделка и политическое шоу (во что всегда выливаются «встречи на высшем уровне»). Культура, оставаясь национальной, не может быть обобществлена на безнациональной основе – тогда она утрачивает свою глубину и дискурс превращается в фальшь.

Альтерматту кажется, что ЕС формирует государство без нации. Но дело в том, что это еще было бы полбеды. Кругом беда возникает оттого, что европейская нация (как и европейское государство) никому не нужна. Современная демократия понимается прямо противоположным образом по сравнению с античной. Это демократия без демоса. ЕС становится инструментом изживания, изведения европейских демосов и формирования олигархической пирамиды безгосударственной бюрократии.

Поэтому европейский проект сегодня все больше выглядит как чисто бюрократический – «еврократия» становится агентом антинациональной глобализаторской политики США, которая закрывает пути национальному культурному творчеству и открывает двери для иммигрантов из неблагополучных стран. Кроме того, образование ЕС становится деянием антинационального толка – международными соглашениями ограничивается власть избранных органов законодательной власти. Как и в России, политические изменения в Европе становятся формой мятежа исполнительной власти, которая подрывает государственный суверенитет, образуя наднациональную глобализированную политическую элиту.

Альтерматт предлагает для Европы модель Швейцарии, где понятия «демос» и «этнос» полностью разделены и демонстрируется возможность надкультурного политического единства, даже без общей языковой среды. Несостоятельность этой идеи очевидна ввиду огромного исторического опыта существования государств с государствообразующим народом, который создает для других народов общую языковую и культурную среду. Игнорирование государствообразующей роли этнократического лидерства на протяжении всей мировой истории – распространенная болезнь либеральных мыслителей.

Отказываясь от этничности, Альтерматт вынужден в проекте объединенной Европы отказаться и от нации (и от государства тоже – обломкам наций достаются только обломки «частичного суверенитета»). Он говорит, что Европа должна быть денационализирована: «Культурное и историческое многообразие создает предпосылки для того, чтобы Европейский союз опирался не на некую этническую общность по происхождению и даже не на общие мифы и воспоминания, а на политическую культуру прав человека, правового государства и демократии»⁴⁰⁸. Но что в этом случае останется от государства и демократии, в какой культурной среде окажется европеец, если он будет денационализирован? В рамках либеральной модели, в рамках проекта денационализированной Европы ответа нет.

Конфликт идентичностей оказывается неизбежным и неизбежно приобретает политический характер. Это сквозь зубы признает Альтерматт: «Европейский союз страдает от того, что экономика работает транснационально, брюссельская бюрократия – наднационально, а политика – в значительной степени национально-государственно. ...прогрессирующая гомогенизация европейской цивилизации наталкивается на встречное

⁴⁰⁸ Там же. С. 234.

течение, которое в политической сфере усиливает желание вернуться к мнимым естественным обществам»⁴⁰⁹.

Соединение Европы изначально имеет причину в памяти о Священной Римской Империи, а в качестве прагматического выбора – образование экономического противовеса США. Восточные же страны, воспользовавшись кризисом представлений о целях европейского единства, стали в Европейском Союзе искать защиты от России – защиты от несуществующих для народов, но ощутимых для либерально-тоталитарных элит, угроз. И эти самые страны – новые члены ЕС оказываются проводниками политики США, которая в оговорках ведущих своих политиков уже противопоставила себя «старой Европе», призвав в союзники «новую Европу» малых постсоциалистических государств. Таким образом, Европа своим западным плечом становится против Америки, а восточным (усилиями США) – против России. И только в этом заключается единство Европы – только в политическом противостоянии, но никак не в стремлении к внутреннему единству, единому гражданству.

И во второй своей конфронтационной ипостаси Европа воспроизводит давнейшую традицию – быть реальностью, только противостоя России. «Никакая независимая страна не подчинит решения своих вещественных интересов суду присяжных и заинтересованных соседей», - цитирует почти полтора века назад М.Н.Катков лондонскую «Таймс». «Но та же газета в той же самой статье, не переменяя тона объявляет, что Европа, эта несуществующая Европа, эта фикция, эта утопия, эта нелепость, которая в случае попытки осуществить ее стала бы началом новых войн и потрясений, вдруг становится действительностью несомненной, бесспорной, священной, как только речь коснется интересов России»⁴¹⁰.

Единая Европа только для того и годится, чтобы пытаться навязать свою волю России. Причем волю, несвободно выработанную, а определенную давлением США, которому противостоят лишь «западным» плечом «старой Европы».

Многонациональное федеративное государство в Европе не организовать никакими силами. А мультикультурная Европа, подобная американской «салатнице», столь же абсурдна, как и многонациональная федеративная Россия. Толерантность, заменяющая лидерство, – плохой принцип для единства. Без германского лидерства Европа будет только американской периферией, без русского лидерства Россия останется полуколонией транснациональных корпораций.

Без этнической компоненты «демос» не имеет никаких границ – в ЕС готовится вступить и Турция, согласная принять формальные правила игры и поверхностные экономические и политические стандарты Евросоюза. Двери оказываются открытыми для всех. Европа становится мультикультурным смешением – расплывшимся в пространстве Вавилоном, где не может быть глубины человеческих отношений, не может существовать высокой культуры и прорывных научных открытий.

Опасный для Европы мультикультурный проект формулируется и для России. Но внедряется не прямой проповедью либеральных принципов, а псевдопатриотической доктриной неоевразийства. Неоевразийство становится источником федералистского государственного проекта России как в ее внутренней жизни, так и в отношениях с постсоветскими соседями.

Наиболее подробно и разносторонне неоевразийство выражено в сочинениях А.Г.Дугина, который подспудно протаскивает в интеллектуальные круги противопоставление древнего русского «тоталитарного» единства сверхдревнему федеративному славянскому единству. Это должно уводить русских от православной русской идеи, от восстановления национальной традиции. Вместо русской государственной России, по мысли неоевразийцев должна возникнуть территория спора, пограничная зона между атлантизмом и пантюркизмом, европоцентризмом и

⁴⁰⁹ Там же. С. 299.

⁴¹⁰ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 350.

востокофилией. Речь о русской нации и русском государстве. И если все это каким-то злым роком воплотится в жизнь, останется ожидать скорее всплеска этногенеза, который навсегда похоронит русскую историю в мультикультурном и мультиэтническом синтезе.

Вслед за старыми евразийцами Дугин повторяет историческую фальшь о том, что Россия почерпнула имперостроительную стратегию от татар. В рамках той же фальшивой схемы оказывается, что Россия будто бы всегда была «многонациональной», и только евразийцы это обстоятельство оценили положительно. Русский народ рассматривается Дугиным и его соратниками как сырье для изготовления евразийского проекта, объявленного «великой целью». Как это будет выглядеть, видно из того, что А.Дугин на месте принципов политической нации и государственного суверенитета видит некий «евразийский федерализм» со свободой всяческих этно-культурных автономий и местной многоукладности при централизме непонятно какого типа – во всяком случае, имеется в виду не Россия, а некий Евроазиатский Союз – аналог СССР. Именно СССР будто бы сохранил «архаическое национальное содержание и преемственность геополитическому призванию России». В действительности, Дугин остается в рамках биполярного мышления, в котором антизападничество в любом случае оправдывается. Запад объявляется, как «худшее из зол», и ему предпочитается марксистский режим. Так, развернувшись от «худшего из зол», Дугин с компанией своих почитателей оказывается в плену «не худшего из зол», но зла хитрого и изворотливого, противостоящего Русской национальной идее не менее энергично, чем либеральное западничество. Его представление о «цивилизационном плане», в который включается Россия, далеко от русских национальных интересов, которые приносятся в жертву евразийской утопии.

Почерпнув броский тезис у Константина Леонтьева, Дугин говорит о «цветущей сложности», как об основном принципе евразийства. Чтобы придать вес этому принципу, он утверждает нелепое: «Никогда в истории нашей страны мы не имели моноэтнического государства. Уже на самом раннем этапе русский народ формировался через сочетание славянских и финно-угорских племен. Затем в сложный этнокультурный ансамбль Руси влился мощнейший чингисхановский, татарский импульс»⁴¹¹. Понимая очевидные возражения, Дугин торопится поставить государствообразующий народ на место: «Русские не являются этнической и расовой общностью, имеющей монополию на государственность. Мы существуем как целое благодаря участию в нашем государственном строительстве многих народов, в том числе мощного тюркского фактора». И тут без всякого напряжения видно противопоставление культуры и географии – русской культуре и русской государственности противопоставляется евразийская география и периферийные для русской жизни факторы.

Мысленно лишив русских их исторического статуса, Дугин подводит базу под особую форму «центризма» в международных отношениях: «принцип "цветущей сложности" является точным аналогом многополярности, о которой говорится в доктрине национальной безопасности Российской Федерации». То есть, Россия должна повторить в самой себе многополюсный мир. Это значит, что и разделенность мира на государства Россия также может повторить – федерализироваться и конфедерализироваться.

Особость России представляется неоевразийцам как смешанность рас и культур с приоритетом Востока. Эта особость позиционирована следующим образом: евразийство или атлантизм. То есть, речь о русской природе нашей государственности и культурно-исторического типа не идет. Место России занимает Евразия, ее «цветущая сложность». В дополнение к мультикультурным США, мультикультурным Соединенным Штатам Европы – еще и мультикультурные Соединенные Штаты Азиопы!

Интересно, что разрешать межэтнические конфликты Дугин предлагает по рецепту Князя Трубецкого, в котором производится алхимическая смесь национализма с интернационализмом с образованием некоего общевразийского национализма –

⁴¹¹ «Независимая газета», 5 июня 2001. Далее цитирование А.Г.Дугина - по этой публикации.

«самоутверждение каждого народа и каждой нации в составе России поддерживается Центром». Мы снова видим, что «цветущая сложность» понимается в неоевразийстве как заместитель русского исторического субъекта и раздел оставшегося имущества между «цветущими» народами, оставшимися на освобожденных евразийских пространствах.

Генеральной историософской идеей Дугина, высказанная в платформе движения «Евразия», является представление о том, что национальная идея русского народа «становится все более и более универсальной, всеобъемлющей, масштабной, восходя от племенного уровня к осознанию себя мировой державой с особой планетарной миссией». Отсюда он делает вывод о том, что «следующий по логике вещей этап государственного утверждения России должен стать эпохой создания геополитического Евразийского Государства планетарного объема». Мы видим всеобъемлющую аналогию с советским государством, с Интернационалом, в котором русские служили чужим интересам, забывая про свои.

Для того, чтобы как-то оправдать превращение русских в лакеев «нашего многомерного своеобразия», новая концепция евразийства доходит до прямого заимствования западной идеи о нечистоте русского народа. Дугин пишет, что русские – «это преимущественно славянский индоевропейский народ со значительным элементом тюркских и угорских этнических и культурных черт». «Русские — и особенно великороссы — формировались изначально именно как евразийский этнос, универсально объединяющей в себе черты различных племен, населявших северо-восточную Евразию». Как доказанный факт, он преподносит доктрину о якобы имевшем место расовом синтезе белой (славяно-индоевропейской) и желтой расы (тюркско-угорской). Великороссы, как считает Дугин, «возникли как нация в ходе смешения славян с тюрками и уграми». В дальнейшем его концепция предполагает, «гибкую модель евразийского дифференциализма»: терпимое отношение к этническому смешению на уровне элит и осторожное на уровне масс. Расшифровка этого ребуса такова: «...предлагаемая мондиализмом модель всеобщего смешения народов и рас столь же опасна, как дискредитировавшая себя националистическая теория “расовой чистоты”». В обоих случаях такие грубые проекты ведут к этноциду. Евразийское отношение к этносу является охранительным, исходит из принципа необходимости защиты каждой этнической группы от перспективы исторического исчезновения».

Отсюда без труда выводится этницизм, только слегка очищенный Дугиным от лишних реверансов по отношению к европейской традиции. Дугин, без обиняков, замещает антропоцентризм этноцентризмом: «народы, этносы являются главной ценностью и субъектами человеческой истории». Культура и вера становятся уделом свободного творчества этносов – от самых малых и диких до значительных. А.Дугин мечтает радикально разрушить все доселе существующие правовые доктрины. Этнический и региональный контекст он намерен внести и в гражданское право, и в уголовный кодекс. Таким образом, вместо пестрого ковра государств на пространстве Евразии А.Дугин замыслил разместить пестрый ковер этнических сообществ. Налицо своеобразный тотальный и интернациональный сепаратизм – либеральный федерализм нигерийского толка с неостановимым дроблением и беспрерывной межэтнической войной.

«Евразийский федерализм предполагает политическое и административное устройство, радикально отличное от модели государства-нации, которая лежит в основе современных западных держав, – пишет Дугин. В государстве-нации существует строгий политический централизм, языковая и культурная однородность, всеобщая обязательность единой правовой, конституционной, политической и экономической системы. Предполагается, что государство-нация представляет собой единый монокультурный блок, состоящий из атомарных граждан, обладающих равным гражданским статусом перед лицом унитарной государственной системы». Вместо этого должна возникнуть евразийская замена государственности как таковой: «...федеральный субъект, играющий структурообразующую роль в формировании Государства должен воспроизводить

федерально-демократическую модель и на внутреннем уровне, т.е. представлять собой не ограниченный аналог государства-нации в малом масштабе (как это имеет место в случае отделившихся от России новообразовавшихся республик, и национальных и территориально-административных образований, стремящихся сегодня к повышению своей политической автономии вплоть до сепаратизма), но мини-империю с широчайшим спектром внутренних коллективных субъектов, структурообразующих, в свою очередь, для самого субъекта большой федерации. И так далее вплоть до самоуправления рабочих коллективов, исполнительных органов местных общин и Советов».

Трудно не заметить совпадения концепции Дугина с выдумкой новых привилегий для малых этносов России, извлекаемых через систему национально-культурных автономий и средств шантажа государства. Что же касается реализации дугинской концепции за пределами России, то оказывается, что здесь снова предполагается использовать русский народ в страдательном залоге – именно русские, как и в рамках России, должны взвалить на себя ношу по созданию сверхплюралистического общества, альтернативного «мондиалистской модели», но похожей на нее, как две капли воды.

Если оценивать дугинское евразийство по его невысказанным замыслам, то оно предназначено для того, чтобы убить Россию, если не Западом (что уже, вероятно, не получится), то Востоком – утопить русских в этническом половодье народов и народцев, каждому из которых именно русские должны обеспечить средства к существованию, защиту и рост численности.

Многоплановость неоевразийских концепций и их свободная трактовка староевразийских идей не устраняют в этом разнообразии главного – подбирания для русской нации такой роли, которая не только не по плечу ей, но и не в ее интересах. Разочарование в демократических ценностях и нежелание принять ценности национальные ведут евразийцев к мысленным экспериментам, стирающим на политической карте государства и народы, замене их другими государствами и другими народами, их мультикультурными сообществами-«салатницами». Выдуманная традиция приходит на смену реально существующей, выдуманные народы – на смену живущим. И этими фантазиями с успехом пользуются этнономенклатура и этнисты, расплодившиеся в ельцинской России и на всем постсоветском пространстве.

Наблюдая за интеграционными процессами в Европе и улавливая фальшь в интеграционных призывах постсоветских деятелей, нетрудно сделать вывод о полной бесперспективности для России как европейских, так и евразийских мультикультурных моделей. Прежде всего потому, что нам нужно по форме то же, а по сути – совершенно иное, чем европейская интеграция. И совершенно иное, чем новая версия расширенной федерации ельцинского типа. На месте расколотого пространства исторической России должна восстать из пепла единая и неделимая Большая Россия. Только тогда русская нация сможет получить простор для развития угнетенного, почти умершего государства-цивилизации. Только тогда будет снят чудовищный бюрократический пресс (десятки парламентов, сотни представительств и посольств и т.д.), лишающий локальные экономики самостоятельных государств эффективности. Только тогда мощь государства будет достаточной, чтобы усмирить необузданность частной корысти, а свобода и гражданская позиция народа – чтобы пресечь бюрократическое чванство. Возвращаясь к государственному единству, мы получим не только качественно более благоприятные условия для развития экономики, но и реальное доверие граждан, увидевших, что власть осуществила действительно масштабный проект, ради которого каждый занимается своими узкопрофессиональными «мелочами».

Современное единство Европы с проектами перекраивания границ, обобществления культур вслед за валютами и обобществления политики под контролем брюссельской бюрократии создает в ней скрытые механизмы раздора и снижения уровня развития, и без того подорванного американизацией. Аналогичным образом неоевразийские поветрия опасны для России теми же конфликтами, а более того

отвлечением от действительного процесса воссоединения русской земли гуманистическими сказками, пересказанными на восточный манер, лишением русских чуткости к басурманским угрозам и предательствам.

Мультикультурализм не противоречил бы консервативной доктрине, если бы не подрывал традиции, не вторгался бы в дела ведущей нации и ее культуры. Но поскольку это не так, консерватизм не может быть терпимым к современному мультикультурализму в той же мере, что и к обычной (имперской) множественности культур, разделенных барьерами традиций. Классический либерализм не может признать мультикультурализма, поскольку последний утверждает приоритет коллективных прав и не признает универсальности либеральных ценностей. Мультикультурализм является гибридом «левой» и либеральной идеологии, в которых мотивы угнетенности государством и требования освобождения являются почти идентичными.

Имперский регионализм

Исследование имперской модели государства, достаточно представленное среди европейских авторов, в России непопулярно и отмечено крайне ограниченным перечнем публикаций⁴¹². Но дело даже не в числе публикаций, а в несравнимой по мощности публицистической альтернативе – несоразмерном количестве публикаций о федерализме на фоне почти полного забвения имперской модели российской государственности, а в особенности тех ее измерений, которые остаются актуальными для современных условий. Между тем, именно сложно организованная система власти и права в Российской Империи обеспечивала длительную государственную устойчивость, которой сегодня доискиваются в умозрительных конструкциях федерализма.

Обличительный антиимперский пафос современной публицистики серьезным образом задерживает развитие данного научного направления. Лишь в последнее время начинает утверждаться мысль о том, что несправедливость «имперского гнета» сочеталась с защитной функцией империи, сохранившей для будущего множество народов вместе с их самобытными культурами и исторической памятью. Более того, именно имперская модель в России позволила многим народам стать частью мировой цивилизации и пройти культурную модернизацию в мягкой форме, не убившей традиции.

Проклятья колониальному прошлому империй Запада не могут быть отнесены к Российской Империи хотя бы в силу того, что для России не подходит извечная дихотомия «метрополия — колония». Более продуктивным в отношении России следует считать определение Ф. Броделя; «мир-империя» подразумевает наличие «центра» и «периферии», управляемых особым образом (в каком-то смысле неравных периферийных центру). Центр «мир-империи» отмечен сильной государственной властью, привилегированным положением и динамичным развитием⁴¹³. Очевидно, что для современной ситуации речь должна идти уже не столько о политико-географической структуре государства и не о региональной политике, сколько о культурном центре, диктующем свои условия культурной периферии и в то же самое время заботящемся о сохранении этой периферии.

В этом смысле имперская модель позволяет совершить неожиданный прорыв к почти забытым религиозно-мифологическим характеристикам государственности.

⁴¹² *Гатагова Л.Г.* Империя: идентификация проблемы // Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М., 1993; *Дякин В.С.* Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX в.) // Вопросы истории, 1995, № 9; Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов. М., 1997; *Неизбежность Империи* (сб. статей), М., 1996; *Капеллер А.* Россия — многонациональная империя, 1997; *Воробьева Е.И.* Мусульманский вопрос в имперской политике российского самодержавия: вторая половина XIX в. — 1917 г.: Автореф. дис. канд. ист. наук. СПб., 1999; *Каспэ С.И.* Конструировать федерацию — *Renovatio Imperii* как метод социальной инженерии // Полис, 2000. №5; *Ремнев А.В.* Имперское управление азиатскими регионами России в XIX — начале XX веков: некоторые итоги и перспективы изучения // Пути познания истории России: новые подходы и интерпретации. М., 2001.

⁴¹³ *Бродель Ф.* Время мира. М., 1992. С. 18, 48–49.

Империя должна пониматься (и понималась исторически) как священновластие, «как попытка установления институциональной связи между мирами горним и дольным. И только ощущаемый в качестве подлинного контакт с миром горним легитимизирует империю в сознании ее подданных – вне зависимости от того, насколько такой контакт возможен и успешен с точки зрения стороннего наблюдателя»⁴¹⁴.

Отказ от «имперского наследства» стал бы одновременно и тотальной секуляризацией, разрывающей те невидимые нити, которые связывают нацию и государство, соединяют граждан в нацию. Собственно, проект СССР и был попыткой получить империю без веры не только религиозной, но и мифополитической, оставленной в наследство «социализму с человеческим лицом» ленинско-сталинским режимом, но не востребованной послевоенной партийно-хозяйственной номенклатурой. Только после десятилетия десакрализации российской государственности во всех возможных аспектах можно видеть постепенный (или даже достаточно энергичный) рост настроений, отраженных в лозунгах типа «Россия – Вперед!», перетекающих из разного рода международных соревнований в политику. «В Россию можно только верить», – вот та доминанта патриотического чувства, которая заставляет значительную часть молодого поколения совершенно иррационально ставить в системе ценностей свою страну выше всех прочих.

При анализе имперской государственности следует, прежде всего, исходить из того, что имперский суверенитет формируется в рамках определенной цивилизационной традиции, взятой в ее целостности. Если цивилизации удалось поддержать имперскую форму государственности, то внутри нее можно допускать некую иерархию власти, обставленную различными условиями (поливалентность). Если же имперская государственность по какой-то причине рухнула, то в рамках цивилизации формируется сложная система отношений, в которой, тем не менее, суверенитет становится главным достоянием той или иной страны, как и борьба с суверенитетом других стран (таково положение на постсоветском пространстве). Принятие такого взгляда на сложившиеся обстоятельства должно вести к следствию, признающему принципиально иной характер осуществления суверенитета в России и окружающих ее государствах, нежели чем на Западе.

Современный исследователь В.Пастухов пишет об этой своеобразной ситуации: «Ситуация напоминает замкнутый круг. Государственное единство больше нельзя сохранить имперскими средствами, но империя остается необходимым условием существования России как единого целого. Разорвать этот круг можно, только изменив саму основу государственности, ее структурные элементы. На место фиктивных субъектов Федерации следует поставить реальные, способные действительно быть лидерами конституционного движения»⁴¹⁵.

Автор цитируемой статьи в очередной раз выдвинул идею укрупнения субъектов Федерации и выравнивания их экономических потенциалов, которая только через несколько лет (с уходом Ельцина с политической арены) стала более или менее популярной. Казалось бы только таким образом и можно прийти к европейской модели федерализма. Но даже если «укрупнение» произойдет, вряд ли сформируются действительно дееспособные «субъекты» новой федерации. Зато, вне всяких сомнений, быстро сформируются отряды региональных эгоизмов, которые уже безо всяких оглядок на Центр смогут претендовать на всеобъемлющий суверенитет. Выход из этого положения, на наш взгляд, связан с возвращением к традиции российской государственности, где этот вопрос решался сложным, но оправдавшим себя путем.

Целый ряд авторитетных суждений об империи, пусть и не в точности, повторял рейгановскую формулу об «империи зла» и приближался к ней в оценке прошлого России.

⁴¹⁴ Каспэ С.И. Конструировать федерацию — *Renovatio Imperii* как метод социальной инженерии// Полис, 2000. №5.

⁴¹⁵ Пастухов В. «Pro et Contra», 1996, осень, С.191.

Подавляющее большинство современных политиков и ученых сходятся в том, что эпоха империй кончилась – одни расставались с этой эпохой с нестерпимым желанием построить новую Россию, другие – с привкусом горечи⁴¹⁶. В значительной мере в этих оценках играло роль убеждение, что коммунистическая власть в нашей стране была именно имперской. Голос возражавших на эту явную передержку⁴¹⁷ до сих пор не услышан. Империя все еще отождествляется с голым насилием, с военной экспансией и порабощением народов и видится как прямой антипод демократии. Веским возражением против имперского порядка является также убеждение, что показал свою несостоятельность уже самим фактом крушения Российской Империи в 1917 г. (не говоря же о крушении колониальных империй). Предшествующая история империй и различия между различными типами империй не бралась в расчет.

Некоторые современные исследователи полагают основной причиной краха Российской Империи и распада СССР «перегруженность центра» властными полномочиями и угнетенность бесправной периферии и «титовых республик». Для них необходимость федеративного устройства России обусловлена ее огромными размерами и множеством компактно проживающих на территории России самобытных народов. В противовес этой точке зрения необходимо привести те позиции, исходя из которых формировалась региональная и национальная политика России в XIX в. – в «золотой век» российской государственности, а также более поздние взгляды мыслителей русского зарубежья.

В «Русской правде» Павла Ивановича Пестеля⁴¹⁸ национальная политика определялась представлением о господствующем народе и подвластном ему народах. Общность коренного русского народа определялась по единству языка (при различных наречиях), веры, сословного деления, исторического пути (принадлежность к России в старинные времена). Всех полагалось именовать единым именем «россияне» (в отличие от ельцинских «россиян» здесь имелся в виду тип человека, издревле живущего в великорусских губерниях). Говорилось, что подвластные народы всегда желают для себя независимости и отдельного политического существования. Признать такое желание, как оправданное, истинное возможно «для тех только народов, которые, пользуясь оным, имеют возможность оное сохранить». Среди всех подвластных народов такое сохранение допускалось только для Польши при соблюдении ряда условий – полного тождества системы управления с российской и военного союза. Выделение пользы соответствовало принципу «благоудобства» государства, обустроивающего границы. Из того же принципа полагалось возможным расширение границ в Закавказье, Средней Азии и Молдавии. Финляндия считалась почти полностью обрусевшей страной, отличной от коренного русского народа лишь некоторыми обычаями. Целью национальной политики полагалось полное слияние всех народов в один народ и забвение подвластными народами своей «бессильной народности». Предполагалось, что методами государственной политики различные племенные имена будут уничтожены и всюду будет введено общее название «русские». Добиваться этого полагалось господством русского языка и единством законов и образа управления.

Имперские принципы построения государства дополнял в «Русской правде» принцип неделимости России, ввиду явного преимущества «неделимого образования государства над федеративным». В условиях федерации «слово “государство” будет слово пустое, ибо никто нигде не будет видеть государства, но всякий везде только свою частную область; и потому любовь к отечеству будет ограничиваться любовью к одной

⁴¹⁶ См. *Солженицын А.И.*, Как нам обустроить Россию; *Моисеев Н.Н.*, Агония России: есть ли у нее перспективы? // Зеленый мир, 1996, Специальный выпуск №12; *Лебедь А.И.* Закат империи или возрождение России// Сегодня 26, апрель, 96; *Клямкин И.М.*, *Кутковец Т.И.*, Кому в России нужна империя?// Сегодня 01, февраль, 96.; *Янов А.*, После Ельцина. М., 1996. С.16. и другие.

⁴¹⁷ См., например, статью Махнач В. Империи в мировой истории// Неизбежность Империи. М., 1996.

⁴¹⁸ Восстание декабристов. Документы. Госполитиздат, 1958. Т. VII.

своей области». Для России федеративное устройство признается особенно пагубным в силу ее разнородности: «если сию разнородность еще более усилить через федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные области скоро от коренной России тогда отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое могущество, величие и силу, но даже может быть и бытие свое между большими и главными государствами. Она тогда снова испытает все бедствия и весь неизъяснимый вред, нанесенный Древней России удельною системою, которая также ни что иное была, как род федеративного устройства государства. И потому если какое-нибудь другое государство может еще сомневаться во вреде федеративного устройства, то Россия уже никак сего сомнения разделять не может: она горькими опытами и долголетними бедствиями жестоко заплатила за сию ошибку в прежнем ее государственном образовании».

Никакого областничества также не признавалось. Законы должны были быть одинаковы во всем пространстве государства, допуская лишь на местном уровне и в отношении традиционных общин несколько иные формы регулирования. При этом занималась особо жесткая позиция в отношении инокультурных притязаний на свой собственный местный закон: «Мы обязаны запрещать все те действия иноверных законов, которые противны духу Законов Христианских; но все, что духу оных не противно, хотя и с оными различно, дозволять по усмотрению мы можем». Особенно жесткие меры предполагались, чтобы лишить привилегий обособленного существования евреев, которые жили по слову своих «рабинов», ужасным образом разоряют края, где живут, имеют право не давать рекрутов и не объявлять об умерших, воспитывать по своему усмотрению детей. Полагалось невозможным сохранять положение, когда евреи пользовались большими правами, нежели христиане.

Перебрасывая мостик через полтора столетия в XX в., мы можем увидеть аналогичные мысли у Ивана Александровича Ильина, который задолго до выхода на авансцену этносепаратистских группировок национальных республик в Российской Федерации писал: «Вот откуда разложение власти: федералисты ничего не понимали и ныне ничего не понимают в государстве, в его сущности и действии. Тайна государственного импониования; сила его повелевающего и воспитывающего внушения; секрет народного уважения и доверия к власти: умение дисциплинировать и готовность дисциплинироваться; искусство вызывать на жертвенное служение; любовь к Государю и власть присяги; тайна водительства и вдохновение патриотизма – все это они просмотрели, разложили и низвергли, уверяя себя и других, что императорская Россия держалась "лакеями и палачами" ...»⁴¹⁹.

Ильин прекрасно видел, что «федерация возможна только там, где имеется налицо несколько самостоятельных государств, стремящихся к объединению. Федерация отправляется от множества... Это есть процесс отнюдь не центробежный, а центростремительный»⁴²⁰. «Первая основа федеративного строя состоит в наличии двух или нескольких самостоятельно оформленных государств... Эти оформленные государства должны быть сравнительно невелики, настолько, чтобы единое, из них вновь возникающее государство имело жизненно-политический смысл... Есть территориальные, этнические и хозяйственные размеры, при которых федеративная форма совсем не "рентрируется"; она становится не облегчением порядка, безопасности жизни и хозяйства, а нелепым затруднением»⁴²¹.

«Федерации вообще не выдумываются и не возникают в силу отвлеченных "идеалов"; они вырастают органически. Но мало взаимной нужды и пользы; нужно, чтобы народы приняли эту нужду, признали эту пользу и захотели этого единения»⁴²². В то же

⁴¹⁹ Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948–1954 годов, М.: Рагор, 1992. С.152.

⁴²⁰ Там же. С. 166.

⁴²¹ Там же. С. 175.

⁴²² Там же. С. 176.

время, «дар политического компромисса, способность "отодвинуть" несущественное и объединиться на главном, – воспитывается веками»⁴²³. Малые народы России, советская элита этнических уделов ни такого дара, ни веков для его воспитания не имела. А поскольку центральная власть компартии оказалась продажной и прогнившей насквозь, сбылись предсказания Ильина, писавшего, что «введение федерации неминуемо вызывает вечные беспорядки, нелепую провинциальную вражду, гражданские войны, государственную слабость и культурную отсталость народа»⁴²⁴. «...в эти образовавшиеся политические ямы, в эти водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая порочность: во-первых, вышколенные революцией авантюристы под новыми фамилиями; во-вторых, наймиты соседних держав (из русской эмиграции); в-третьих, иностранные искатели приключений, кондотьеры, спекулянты и "миссионеры" (перечитайте "Бориса Годунова" Пушкина и исторические хроники Шекспира). Все это будет заинтересовано в затягивании хаоса, в противорусской агитации и пропаганде, в политической и религиозной коррупции... Двадцать расстроенных бюджетных и монетных единиц потребуют бесчисленных валютных займов; займы будут даваться державами под гарантии "демократического", "концессионного", "торгово-промышленного", "военного" и рода. Новые государства окажутся через несколько лет сателлитами соседних держав, иностранными колониями и "протекторатами"»⁴²⁵. «Россия превратится в гигантские "Балканы", в вечный источник войн, в великий рассадник смут. Она станет мировым бродилом, в которое будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран...» «...расчлененная Россия станет неизлечимой язвой мира»⁴²⁶.

Еще более жестко оценивал превращение России в федерацию известный публицист русского зарубежья Иван Лукьянович Солоневич: «Можно было бы предположить, что полтора-два петлюра во всех их разновидностях окажутся достаточно разумными, чтобы не вызвать и политического и хозяйственного хаоса — но для столь оптимистических предположений никаких разумных данных нет: петлюры режут друг друга и в своей собственной среде»⁴²⁷. «Всякий истинный федералист проповедует всякую самостийность только, пока он слаб. Когда же он становится силен, — или ему кажется, что он становится силен, — он начинает вести себя так, что конфузятся самые застарелые империалисты. Федерализм есть философия слабости...»⁴²⁸; «...всякий сепаратизм есть объективно реакционное явление: этакая реакционная утопия предполагающая, что весь ход человеческой истории от пещерной одиночной семьи, через племя, народ, нацию к государству и империи можно обратить вспять»⁴²⁹.

Россия с ее исторически предопределенной мобилизационной системой не могла позволить себе никаких внутренних политических субъектов, как и сложной системы согласования решений в рамках полисубъектного суверенитета. Сложность ситуации в пределах границ Российского государства и на границах отражалась в сложной системе управления, где не согласовательные процедуры, а региональная автономия подотчетных монарху наместников давала возможность отвечать на местное своеобразие уникальными управленческими решениями.

В Московском царстве институт кормления означал, с одной стороны, автономию и самовластие наместников, а с другой — систему обязательств и личных особых отношений между наместником и монархом. Судебная (губная) и земская реформы Ивана IV унифицировали управление, но в то же время пограничный режим по сравнению с режимом центральных территорий был иным — если в центре вводились элементы

⁴²³ Там же. С. 177.

⁴²⁴ Там же. С. 171.

⁴²⁵ Там же. С. 261–262.

⁴²⁶ Там же. С. 255.

⁴²⁷ Солоневич И.Л., Народная монархия, М.: Феникс, 1991. С.63.

⁴²⁸ Там же. С.237.

⁴²⁹ Там же. С.238.

самоуправления, то на периферии власть принадлежала воеводам – высшим местным властителям, соединявшим военные, хозяйственно-административные, фискальные и судебные функции. Таким образом, из хаотически организованных территорий выросла имперская система, различающая центр и периферию.

К сожалению, имперская организация регионального управления продержалась недолго. Смута, а потом преодоление ее требовали централизованного военного порядка на всей территории. Поэтому при царе Михаиле Федоровиче воеводство стало повсеместным. Особое положение сохранялось лишь для Малороссии, что было обусловлено наличием собственной удельной элиты, не успевшей соединиться с общероссийской и имевшей ресурсы для автономного существования.

Губернская реформа 1708 г., проведенная Петром I, еще более усилила военный компонент системы управления – имперская экспансия требовала дополнительных ресурсов. Региональная система начинала соответствовать экономической – губерния должна была платить налоги и содержать расквартированные на ее территории полки. Особые территории выделялись ввиду военной опасности. Угрозы со стороны Швеции и Турции отмечены назначением в них генерал-губернаторов: из восьми губерний – только в Ингерманландской (с 1710 г. — Санкт-Петербургская) и Азовской.

Губернская система регионального управления в России в XVIII в. претерпевала изменения в основном поверхностного характера, не затрагивая неписаного принципа выделения особых территорий и неизменной централизации управления. По достижении достаточной прочности государственного управления провинции были ликвидированы, а губернии стали более дробными и примерно равными по численности населения. Дробление потребовало введения промежуточной властной инстанции – наместничества (генерал-губернаторства), включающего в себя 2–3 губернии. Фактически эта промежуточная ступень власти сосредоточивала в себе в основном функции политического надзора со стороны центра и координации местных властей. Вместе с тем право введения чрезвычайного положения в сочетании с беспрерывно чрезвычайной исторической ситуацией привело в 1775 г. к возвышению генерал-губернаторской власти до фактически самовластного правления. Имперская система качнулась в сторону децентрализации, которая не разрушала государство лишь в связи с личными отношениями удельных властителей с монархом.

Требование унификации управленческих решений для однотипных регионов привело Павла I к ликвидации в 1797 г. генерал-губернаторства в центрально-русских областях, чем был создан унифицированный «градиент» имперской власти, позволявший сатрапиям быть только на периферии – там, где закон не мог иметь твердой опоры. Александр I до некоторой степени вернул прежнюю екатерининскую систему: утвердил генерал-губернаторов уже не как надзирателей за местной властью, а как правителей. В то же время XIX в. статус генерал-губернаторов оставался неопределенным, что отражало уникальность периферийных ситуаций. При всей сложности и конфликтности такой системы управления, считается, что во второй половине XIX — начале XX вв. институт генерал-губернаторов эффективно функционировал на всех окраинах Российской империи: на Дальнем Востоке, в Туркестане, на Кавказе, в Северо-Западном крае, в Великом княжестве Финляндском.

Российское имперское правление во второй половине XIX в., в отличие от предшествующего периода, характеризовалось стремлением к унификации, что соответствовало европейским либеральным веяниям – уравнительная модель подданства должна была преобразоваться в гражданство, империя с открытыми и проблемными границами превратиться в обычное государство, отличное от прочих только обширностью территории. Эта стратегическая ошибка, угадываемая лишь интуитивно самими просвещенными умами Российской Империи (более всего в связи с «польским вопросом»), вела к утрате решающего преимущества имперской системы регионального управления, сочетающего местную специфику с централизацией ключевых позиций

государства, утверждающих его суверенитет. Унификация заменяла доверительное управление – локальные автаркии на периферийных территориях в сочетании с общеимперской лояльностью. За унификацией системы управления шла унификация частного права, открывающая простор социальной и пространственной мобильности, а также ослабление ранее жесткого культурного стандарта метрополии, далеко опережавшего локальные культурные стандарты. Фактическая демократизация провинций, воспринимавших европейские стандарты права только с одновременной утратой укорененности в своей локальной культуре, и уравнивание коренного населения в правах сначала с имперским контингентом, растворявшимся в местном быте, а потом – и с жителями метрополии, разрушали естественную иерархию отношений и гибкость управленческих схем.

Естественно, провинции начинали «созревать» до польской модели политического протеста – чем мягче становился имперский пресс, тем более зычными становились голоса, избобличавшие цивилизационный центр в «имперском гнете». Ускоренная модернизация управления имперской периферии, значительно опережавшая рост промышленного потенциала и развитие локальных культур, оставляла просвещенным слоям этнических элит лишь политическую активность. Этим подталкивалась дальнейшая модернизация – фактическое введение политико-правового равенства с русским национальным ядром, которое при этом вынужденно оставалось в угнетенном положении: равный статус был предоставлен заведомо неравным субъектам. Возмущение еще недозревшей для политической модернизации периферии вело, таким образом, к одновременному возмущению перезревшей (в отношении введения национальной демократии) метрополии.

Штамп «колониального гнета», проставленный в истории Российской Империи в советское время, сохраняется до сих пор, что особенно нелепо при наличии реальной и ускоренной интеграции подчиненных территорий в тело России (в сочетании с местной автономией и налоговыми послаблениями) в противовес изматывающим колониальным поборам, принятым европейскими странами в отношении заморских территорий. Напротив, ускоренная европеизация оказывалась губительной для России, требовавшей огромных затрат и организационных усилий. Европа, отказавшись от такой интеграции, сделала колоссальные накопления и без особого сожаления уступила политическую власть в своих колониях марионеточным режимам. Россия же могла пройти по средней линии между европейским колониализмом и европеизацией своих провинций, сохраняя свою отличительно-имперскую специфику. Увы, этот шанс не был использован.

Казалось бы, Россия не торопилась распространять на провинции судебную, земскую и прочие реформы, осуществляемые в центральной части страны. Распространение преобразований из центра к периферии всегда имело естественный градиент. Когда он перестает быть существенным, тогда и реформы тормозились, и периферия теряла свою структурную зависимость, переставая фиксировать свое место в общеимперских отношениях. Именно в этих условиях возникали регионалистские движения, федералистские потуги и реальный сепаратизм – локальные столицы пытались обрести абсолютный статус государственных центров, а локальные элиты – стать носителями суверенитета. Именно такие возможности для периферии в полной мере были предоставлены советской системой.

Отделенность окраин от центра и особый режим управления в них – принцип, неизменный в региональной политике исторической России, усиливавший свое влияние по мере становления империи. Периферия должна иметь определенную автономию и в некоторых вопросах должно быть выведена за рамки общероссийского законодательства в силу своего особого статуса. Причем, особый статус означает вовсе не большую меру свобод и прав, а приближенность к чрезвычайному положению и усечение возможностей для деятельности независимых общественных институтов.

Империя, как расширяющаяся государственная система, всегда имеет нечеткие границы, на которых внутренняя и внешняя политика не разделена резкой гранью. В то же время неуклонная унификация и усиление имперской централизации порождают конфликт между особым статусом рубежных провинций и требованиями центральной бюрократии, стремящейся окончательно интегрировать периферию и унифицировать систему управления. В этом смысле самовластие генерал-губернаторов в России выполняло охранительную функцию имперской системы, а унификаторские усилия ее разрушали, смешивая государствообразующую нацию с населением провинций и уравнивая их в материальном, культурном, правовом положении. Центральная бюрократия, таким образом, ликвидировала имперский градиент и породила сепаратистские этнические элиты.

Задачи имперского строительства сами собой привели к образованию своеобразных механизмов управления рубежными территориями, где присутствие имперского ядра обозначалось обособленными вкраплениями – городскими учреждениями и городской средой, жившей по стандартам имперского ядра, и казачеством, сочетавшим трудовую и военную миссию. Основанные русскими города и крепости были закрыты для свободного размещения мигрантов из местного населения. Обособленность от сохранных для прочего населения местных обычаев гарантировала имперское присутствие и само чувство империи в самосознании ее подданных.

Вовремя не остановленное взаимное проникновение местных и имперских норм жизни означало размывание имперского принципа. Развившись в полной мере в советской системе, усреднение жизни бывших рубежных территорий и провинций доказывает антиимперский характер государственной доктрины коммунистов, как и ее полную бесперспективность, продемонстрированную крушением СССР, где чувство империи было полностью изжито.

Как отмечается современными исследователями⁴³⁰, для анализа имперской региональной политики крайне неудачными и эмоционально нагруженными терминами являются «метрополия» и «колония», а термин «регион» носит преимущественно административно-территориальный характер. Если в первом случае мы чаще должны употреблять понятия «центр» (национальное ядро, столичный регион и т.п.) и «провинция» (периферия, окраина, рубеж и т.п.) и стремиться к отказу от эмоционально нагруженных доводов, то во втором случае – рассматривать пространство империи как динамично структурированное и воплощенное в системе историко-географических общностей, в разной степени обладающее субъектностью государственно-исторического процесса (к слову сказать, далекой от этнической идентификации). Разной мерой регионам должны быть отмерены политические и экономические права, по-разному организовано административное управление. Именно от такой гибкой, стремящейся к равновесию не столько локальному, сколько глобальному (общеимперскому), региональной политики Российской Империи следует отталкиваться при анализе ее ошибок или успехов. В этом смысле имперскую регионализацию, понимаемую как иерархическое структурирование пространства, следует считать позитивным явлением, а либеральную регионализацию (федерализацию) как политически произвольное явление – бесспорно антигосударственным.

Федералистские устремления в России были сподручны лишь для крушения государства и потому использовались только большевиками. Но, как отмечает А.Б.Зубов, «социалисты-федералисты в 1906 – 1917 гг. составляли незначительное меньшинство, даже в своих партиях. Только В.Ульянов, к удивлению и негодованию товарищей по партии, предложил летом 1913 г. изменить программу российской социал-демократии, вставив в нее положение о праве наций на самоопределение вплоть до полного

⁴³⁰ Ремнев А.В. Имперское управление азиатскими регионами России в XIX — начале XX веков: некоторые итоги и перспективы изучения. // Пути познания истории России: новые подходы и интерпретации. М., 2001. <http://www.zaimka.ru/power/remnev3.shtml>

отделения»⁴³¹. Требование независимости и автономии только в конце XIX – первые годы XX в. начало звучать в призывах польских, украинских, балтийских партий (в основном «левого» толка). Но все эти партии «самостийников» потерпели провал на выборах в Государственную Думу и уже не шли дальше требования весьма ограниченной автономии или даже просто местного самоуправления при безусловном соблюдении государственного единства России.

«Правые» партии совершенно иначе видели развитие российской государственности. В воззвании «Союза 17 октября» 1905 года говорилось: «Мы безусловно полагаем необходимым сохранение единства и нераздельности российского государства, понимая под этим сохранение за ее строем исторически сложившегося унитарного характера и допуская известное автономное государственное устройство лишь для Финляндии... При широком развитии местного самоуправления на всем пространстве Империи, при прочно установленных основных элементах гражданской свободы, при участии равно всех русских граждан, без различия национальности и вероисповедания в создании правительственной власти, при признании за отдельными национальностями права на удовлетворение и защиту своих культурных нужд в пределах, допустимых идеей государственности и интересами других национальностей, такое положение, отрицающее идею федерализма в применении к русскому государственному строю, вполне допускает объединение отдельных местностей Империи в областные союзы для разрешения задач, входящих в пределы местного самоуправления, и нисколько не препятствует местным особенностям и интересам различных национальностей найти себе выражение и удовлетворение в законодательстве и управлении, основанных на признании безусловного равенства в правах всех русских граждан»⁴³².

Если рассматривать Россию как принципиально имперскую цивилизацию (сначала существующую в форме непрерывно расширяющегося пространства, потом в системе метрополия – сателлиты), то многое становится ясно в процессе отщепления от нее обширных территорий. Как только Империя ослабевала и замыкала свои интересы в рамках метрополии, ее периферия сразу начинала тяготеть к сепаратизму, и внутри самой Империи выделялось ядро новой метрополии. Именно поэтому от Империи отделились Польша и Финляндия. Только пережив катаклизмы гражданской войны, Россия смогла снова выйти из своих пределов и вернуть некоторые территории, первоначально решительно отпавшие от нее.

Современная ситуация повторяет признаки этого процесса. Как только СССР замкнулся на своих собственных проблемах и отступил из Восточной Европы, Латинской Америки, Вьетнама, Индии, Ближнего Востока, Афганистана, начался процесс отмежевания периферии. Совершенно аналогичный процесс может произойти и с Российской Федерацией, если только убедить себя в ненужности закреплять присутствие России в Калининградской области, Приднестровье, на таджикско-афганской и монгольско-китайской границах, на военных базах в Армении, Грузии, на Кубе и во Вьетнам, если забыть о наших зарубежных соотечественниках. Политика В.В.Путина в этом отношении пока не отличается последовательностью: закрепляясь на одних плацдармах Империи, она сдает другие плацдармы, завоеванные в прежние десятилетия тяжкими трудами политиков и кровью солдат.

Исследователь имперской государственности С.И. Каспэ констатирует: «Признание имперской природы России – не Российской Федерации как ее одной из возможных институциональных форм, а именно России как политического организма – неизбежно. В пользу такого признания и гигантская величина российского пространства (занимающего сегодня пусть не одну шестую, но одну восьмую часть суши), являющаяся

⁴³¹ Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм. К вопросу о будущей организации государственного пространства России// Полис, 2000. №5.

⁴³² Цит. по Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм. К вопросу о будущей организации государственного пространства России// Полис, 2000. №5.

одной из ключевых детерминант политической культуры и ментальности страны; и сохранение этнокультурной и, что еще важнее, этнополитической гетерогенности этого пространства; и преемственность новой российской государственности по отношению к прежним (как до-, так и послеоктябрьским), но равно имперским формам»⁴³³.

Продуктивность имперских инструментов управления российской политической элите еще предстоит открыть. Вероятно, для этого потребуется пресечь разгул антиимперской риторики в СМИ и снятие монополии либеральных хулителей исторической традиции России в научных изданиях.

Принципы федерализма и практика этносепаратизма

Право на государственное самоопределение народов не может быть признанным принципом мировой политики, поскольку с точки зрения каждого государства такой принцип был бы очевидным вмешательством извне, диктующим до какой степени можно допускать самоопределение. Любой этносепаратизм тогда таил бы в себе право на инициацию территориального распада государства и даже непрекращающегося процесса дробления и депортаций.

Швейцарский ученый Урс Альтерматт верно отмечает, что не существует никакого универсально действующего права на самоопределение. «В принципе народы конституируют себя сами. Международное право санкционирует реальность задним числом. Политический процесс, а не народный дух решает, что такое народ»⁴³⁴. Точнее было бы сказать, что народный дух решает, что он такое, и только когда обращается к политике, созревает до политического действия. Соответственно политическое действие национальных меньшинств должно восприниматься как прямая претензия на сецессию.

Иное дело, когда народный дух политизируется от имени нации, которая, собственно, никогда не уходит из политики, присутствуя в ней «ежедневным плебесцитом». Тогда речь идет не о сецессии, а о возвращении национальной элиты к отстаиванию национальных интересов. Это движение государствообразующей нации не имеет ничего общего ни с анархией, ни с сепаратизмом. Оно представляет собой государственностроительную инициативу.

Смешение двух указанных вариантов политизации, подведение их под единый параграф международного права или политологического учебника создает сложную ситуацию. Равное требование свободы означает поддержку сепаратизма, равное требование смирения угнетает жизнеспособность государства в целом. Следовательно, необходимо разделить нацию и этнос – первой положить в основу жизни принцип свободы, второму – принцип смирения.

В дополнение к последнему утверждению мы должны сказать, что смирение для национального меньшинства позитивно только в рамках национальной программы. Если же национальное меньшинство находится под прессом систематического подавления, даже отказавшись от политического самовыражения, оно само собой порождает сепаратизм, ища в нем средства спасения. Мы можем объявить подавление национального меньшинства несправедливым, но даже ввиду отчаянной несправедливости необходимо знать, что любое государство как общественный порядок выше, чем этническая стихия. (В этом можно было убедиться после крушения режима Саддама Хусейна в Ираке, когда бандам грабителей и мародеров нечего было противопоставить, даже при наличии оккупационных войск.) Как только мы признаем право этноса (или какой-либо другой группы) на самозащиту от государства вне рамок действующих законов, то признаем и его право на политическое бытие, а значит – право на сецессию. Единственным рецептом остается невмешательство внешних сил – государствообразующая нация, если она слаба, уступит территорию или власть, если нет – раздавит сепаратистов. И никакой

⁴³³ Каспэ С.И. Конструировать федерацию — *Renovatio Imperii* как метод социальной инженерии// Полис, 2000. №5.

⁴³⁴ Альтерматт У. Этнонационализм в Европе, М., 2000. С. 105.

нравственной или правовой оценки здесь быть не может, если мы уважаем принцип суверенитета и требуем уважения к целостности своего государства и его права подавлять сепаратизм на собственной территории. Всякие разговоры о «непропорциональном применении силы», всяческие «гуманитарные» акции в поддержку какой-либо этнической группы следует расценивать только как неприкрытую поддержку сепаратизма.

Национально-территориальная (т.е. этно-территориальная) федерация, утвержденная в качестве формального устройства коммунистического государства в СССР, могла существовать без особых конфликтов лишь до тех пор, пока национальное единство обеспечивалось неправовыми методами – через партию, выполняющую роль ведущего государственного института. Можно сказать, что Советский Союз жил беспрерывно в чрезвычайном положении. Его суверенитет не был национальным, и требовал особых мер, чтобы удержать целостность государства. И единственным фактором национального толка оставался русский менталитет и русский язык, оторванный от его носителя – русского народа и присвоенный бюрократией. Но мина замедленного действия не могла не сработать. Ведь принцип суверенитета в СССР не признавался – им поддерживались сепаратистские «национально-освободительные» движения, а на собственной территории не проводилась политика поддержки государствообразующей нации. И даже напротив, как будто нарочно, коммунистический режим урезал пространства русского расселения – передал Крым с Севастополем украинской этнономенклатуре, надтеречные районы – Чечне, южноуральские степи – Казахстану, после войны осчастливил рядом русских территорий прибалтийские республики – особенно Литву. Все это тяжело отозвалось на жизни русских людей после разрушения СССР.

Как пишет А.Б.Зубов, «национально-территориальный принцип государственности жестко связывает нацию с землей, что при реальном смешении этносов на любой территории неизбежно приводит к ранжированию народов, делению их на хозяев и гостей. Хозяин — это тот народ, чьим именем названа территория. Гости — все остальные. А поскольку гости живут бок о бок с хозяевами десятилетия, а то и века, поскольку все границы более или менее условны — острые распри между народами внутри таких национально-территориальных образований неотвратимы»⁴³⁵.

Межэтническая напряженность находит выход в политических формах и соответствующих им теориях государства, интерпретируемых в каждом конфликтном случае путем введения новых представлений о целом и части и выделения новых ценностных позиций, превращающих этнос в центральный политический актор. Этнические конфликты становятся покрывалом, позволяющим не видеть реально существующие политические конфликты.

За межэтнический конфликт и сепаратизм подчас выдается политической конфликт, суть которого состоит в противоборстве сторонников единой исторической России и ее противников. Например, известное противостояние между Республикой Молдова и самопровозглашенной Приднестровской республикой (ПМР), приведшее к кровопролитию в июле 1992 г., объяснялось молдавскими властями как противодействие прокоммунистически настроенного населения Приднестровья «демократической Молдове». И это толкование было более близким к истине, чем утверждение о том, что имел место межэтнический конфликт, причиной которого стало нежелание составляющего большинство украинского и русского населения (ПМР) подвергнуться принудительной «румынизации». Полиэтническое Приднестровье отчетливо осознавало себя частью России, которая подвергается агрессии сепаратистов из Молдовы.

Аналогичен и конфликт между Грузией и самопровозглашенной Республикой Абхазия летом 1992 г. – сепаратистский режим Тбилиси пытался захватить территорию,

⁴³⁵ Зубов А.Б. Унитаризм или федерализм. К вопросу о будущей организации государственного пространства России// Полис, 2000. №5.

население которой чувствовало себя частью единой державы. Этнический вопрос здесь имел второстепенное значение и лишь вносил в конфликт особое ожесточение.

Оба примера дают основания и для разных трактовок событий – и, соответственно, для политического размежевания, в котором принцип территориальной целостности выступает как отправная точка для этических претензий по отношению к политическому противнику. Те, кто признали суверенитет Молдовы и Грузии, разумеется, будут обвинять Приднестровье и Абхазию в сепаратизме. Если же считать, что на переломном этапе истории возникла проблема конкуренции за суверенитет между союзным центром и республиками, то именно режимы Кишинева и Тбилиси следует считать сепаратистскими. Только отказ Москвы от суверенитета над территориями, отказавшимися от соучастия в расчленении страны, привел к образованию непризнанных государств и их международной изоляции.

Другим примером сепаратистской формы федерализма можно считать ряд республик в составе Российской Федерации, которые не признали суверенитета федерального центра и в течение ряда лет находятся с ним в конфронтации, с переменным успехом отторгая суверенитет у Центра.

Например, Татарстан был назван в Основном законе республики независимым государством, субъектом международного права, ассоциированным с Российской Федерацией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения (ст. 1). Говорилось, что Татарстан является суверенным государством, субъектом международного права, ассоциированным с РФ (ст. 61). Республика самостоятельно определяет свой статус, решает вопросы политического, экономического и социально-культурного строительства (ст. 50). Татарстан установил для себя верховенство республиканских законов над федеральными.

Внешне конфликт был урегулирован Договором о разграничении полномочий и предметов ведения органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Республики Татарстан. Вместе с тем, Татарстан остался для России союзным государством, поскольку делегировал Центру только те полномочия, которые считал нужным. На территории Татарстана правовое положение граждан серьезным образом отличалось от положения в большинстве других административно-территориальных единиц России, а подчас и вовсе действовало этнократическое обычное право. И хотя в 2000 г. были сняты наиболее острые противоречия между федеральным и республиканским законодательством, реальная практика осталась практически без изменений. Данное обстоятельство означает факт признания за Татарстаном статуса суверенного государства, отделенного от Российской Федерации особым правовым статусом, который может быть изменен лишь с согласия руководства Татарстана. При этом действие федерального права на территории Татарстана следует рассматривать просто как следствие сходства законодательств двух суверенных субъектов.

Отсутствие гражданского конфликта в Татарстане и законодательных коллизий обусловлено только тем, что федеральный центр и республика находят в каждом конкретном случае компромиссное решение, что позволяет притуплять и этнический конфликт между русскими и татарами, составляющими примерно равные части населения республики, но по-разному представленные в ее органах власти. Компромисс между властями оказывается дискриминационным по отношению к русскому населению⁴³⁶.

Возможность дальнейшего обособления от Центра на основе сепаратистской концепции суверенитета было продемонстрировано Конституцией Республики Тыва, где говорилось, что «порядок приобретения гражданства определяется с учетом демографической ситуации в Республике Тыва и способствует обеспечению устойчивого преобладания коренной нации... Этнические тыва, проживающие за рубежом, имеют

⁴³⁶ Савельев А.Н. Русские и татары: общая судьба и общая беда// Национальные интересы, 2002. №3.

преимущественное право перед другими иностранцами в приобретении гражданства Республики Тыва» (ст. 31).

Поток «соотечественников» из-за рубежа в ряде российских республик должен был создавать ситуацию численного преимущества «титulyного» населения. В республиканских конституциях содержались положения явно этносепаратистского характера, вмешивающегося в компетенцию государства: «Соотечественникам, проживающим за пределами Республики Дагестан, предоставляется право приобретения гражданства Республики Дагестан. Приобретение гражданства Республики Дагестан соотечественниками не влечет приобретения ими гражданства Российской Федерации...» (ч. 6–7, ст. 11 Конституции Дагестана); «Республика Адыгея признает право возвращения на историческую Родину проживающих за пределами Российской Федерации соотечественников» (ст. 10 Конституции Адыгеи). Наряду с этим в Адыгее существовал также закон «О репатриантах», согласно которому соотечественником рассматривается лицо, представившее свидетельство своей принадлежности к адыгскому этносу.

В Бурятии этнический национализм был прямо вписан в республиканский основной закон: «Изменение государственно-правового статуса республики... осуществляется путем референдума, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан республики, в том числе более половины граждан бурятской национальности, принявших участие в голосовании» (ч.4, ст. 60 Конституции Бурятии).

Аналогичное положение создавалось в Якутии, но в завуалированной форме. В Конституции определялась возможность сепаратизма («Народ Республики Саха (Якутия) на основе свободного волеизъявления ее граждан сохраняет за собой право на самоопределение» (ч.2, ст. 36 Конституции Якутии). На практике осуществлялось вытеснение русских из престижных и высокодоходных сфер экономической деятельности, из управленческих структур, а также предоставление преимуществ народам Саха при выдаче субсидий на детей и пр.

В целом это положение было попыткой установить главенство «титulyных» народов над русским большинством. Ведь компактное проживание национальных меньшинств наблюдается лишь в трех республиках – в Северной Осетии (здесь проживает 53% российских осетин), Туве (64 %) и Чувашии (68 %), а еще в трех республиках «титulyный» этнос сконцентрировался, так и не дотянув до половины своей общей численности – в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Татарстане. Остальные этносы проживают в рассеянии и практически всюду обрусели. Только крайнее материальное неблагополучие и дестабилизация общественных отношений в целом приводят этих людей к поиску новой идентичности и отбрасыванию морали цивилизованных русской культурой людей (так в Чечне бандитами становились поэты, колхозники, советские офицеры и т.д.).

Успех этносепаратистов, которым дали возможность локально реализовать принцип «чье имя, того и власть», означал в самой близкой перспективе разрыв отношений с федеральным центром, которому, в лучшем случае, могли бы оставить функцию конфедеративной координации. И такой шаг состоялся, но в другом регионе России – в Чечне. Опора на локально доминирующий этнос стала там аргументом уже не особой формы федерализма, а прямым восстанием сепаратистов. Тува была на грани такого же развития событий – в 1990 г. в результате этнического конфликта 10 тыс. русских покинули республику, отток русского населения продолжался и впоследствии.

В качестве платы за присоединение к Федеративному договору Башкортостан (проживает 22% башкир – третья по численности этническая группа в республике) потребовал подписания специального приложения о дополнительных полномочиях республики в области внешней торговли; республика Саха-Якутия (проживает лишь 33% якутов), волей обстоятельств получившая в пользование огромные пространства Сибири, – право оставлять в своем распоряжении значительную долю доходов от разработки месторождений золота и алмазов. 90% федеральных субсидий направлялись в республики

Саха-Якутия, Татарстан, Башкортостан и другие, где доход на душу населения выше, чем в среднем по стране и лишь 10% — в регионы со сложными климатическими и природными условиями. В результате 10 территорий с доходами ниже среднего уровня стали донорами бюджетных поступлений, 8 территорий, в которых доходы выше среднего, — получателями федеральных субсидий⁴³⁷.

Кремль, пользуясь обстановкой переворота 1993 г., попытался вынудить регионы и республики к уплате федеральных налогов. Но даже угрозы прекращения всех форм федерального финансирования, установления эмбарго и конфискации счетов в ЦБ испугали далеко не всех. Чечня и Татарстан налоги платить не стали. Ельцину удалось лишь распустить Совет глав республик. В 1994 г. 20 этнических республик уже действовали коалиционно, защищая свои привилегии.

Татарстан, Тува и другие республики в составе Российской Федерации в принципе были очень близки к тому шагу, который был сделан в Чечне. Возможно только дополнительный внутренний конфликт, порожденный расколом Чечено-Ингушетии на две республики и конкуренция между двумя группировками (умеренной и радикально-сепаратистской) усилило напряженность в Чечне до того предела, за которым началось уничтожение всякого присутствия российской государственности в этой республике (включая русское население). Можно предположить, что некоторые дополнительные источники напряженности в других республиках могли бы привести к аналогичным последствиям.

Указанные примеры показывают, что естественный процесс централизации, свойственный любой федерации, может в кризисные моменты идти вспять и порождать конкуренцию за суверенитет с последующим переделом государственных границ и образованием переходных государственных форм — «непризнанные государства», «государства в государстве» и т.п.

Во всех приведенных выше примерах существенным фактором, подкрепляющим борьбу местных элит за суверенитет, был этнорегионализм. Этническое большинство (абсолютное, относительное или вообще мнимое) диктовало свою волю и в Грузии, и в Молдавии, и в Татарстане, и в Туве. Из практики распада СССР и ослабления государственности РФ можно сделать вывод о том, что любое локальное этническое большинство (пусть и весьма относительное) является вероятным источником сепаратизма, подрывной силой, проявляющей себя при отсутствии государственной политики противодействия сепаратизму.

Промежуточные формы суверенитета в федеративных государствах могут быть достаточно стабильны, поскольку, с одной стороны, являются также и формой самоопределения этнических групп, не имеющих иных (например, культурных) условий самоопределения, а с другой стороны, — в силу явно неприемлемых для этноэлит последствий окончательного решения вопроса о суверенитете и образовании независимого государства. Этносепаратизм остается постоянным признаком федеративного устройства, которые не переходят границы и даже при самых радикальных требованиях не готов реально идти по пути сепарации. Именно поэтому этносепаратизм чаще всего носит либеральный характер, предпочитает декларировать приверженность демократическим ценностям и действовать не радикально, а рационально⁴³⁸. Последнее особенно важно для региональных элит, стремящихся к получению определенных привилегий в рамках федеративного государства и проводящих политику осторожного шантажа федерального центра и бюрократических игр. В целом этносепаратизм является политикой паразитической этноэлиты, которая использует ситуацию государственного кризиса и теории расчлененного суверенитета в своих эгоистических интересах.

⁴³⁷ Солник Ст., «Торг» между Москвой и субъектами федерации о структуре нового российского государства: 1990-1995// Полис, 1995. №6. С.103.

⁴³⁸ См. Дробизева Л.М. Возможность либерального этнонационализма// Реальность этнических мифов, Центр Карнеги, 2000, октябрь.

Этносепаратистские устремления ограничиваются рядом факторов. К таковым Л.М.Дробизева относит следующие⁴³⁹:

1. *Этнический состав территории.* Чем меньше доля титульной национальности, тем больше она должна считаться с волей другой части населения, думать об обеспечении поддержки с ее стороны, либерализовать этническую политику, выдвигать цели и задачи, которые будут обеспечивать единство всего полиэтнического сообщества.

2. *Территориальное положение.* Если республика или самоопределяющаяся этническая общность не имеет внешних границ, ей трудно ставить целью сецессию, радикальный сепаратизм. Все ставшие самостоятельными бывшие союзные республики СССР так же, как и Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Чечня, имели внешние границы. Отсутствие таких границ ограничивает сепаратизм и стимулирует поиск мирных решений.

3. *Ресурсы группы, заявляющей о своих притязаниях, уровень ее модернизации.* Важен состав политической элиты, уровень ее профессиональной подготовки, ее способность вести переговоры и аппаратные игры, а также те материальные ресурсы, которые она может привлечь для обеспечения своих политических целей.

Вопреки тому, что международное право и резолюции ООН признают право на создание отдельных государств только за нациями, а отдельным малым народам в лучшем случае может быть представлен либо статус автономии, либо квотируемое представительство в органах власти, именно эти уступки сепаратизму оказываются решающими в реальной жизни федеративных государств и подрывающими самоопределение нации в целом. На это указывают также попытки пересмотреть базовые принципы урегулирования межнациональных конфликтов через введение в практику международных отношений так называемых «гуманитарных интервенций». Даже при том, что стамбульский саммит ОБСЕ в 1999 г. отклонил так называемую новую Европейскую хартию безопасности, содержащую в себе возможность «гуманитарного» насилия и вмешательства в дела суверенных государств, реальная практика США и НАТО против «стран-изгоев» (или стран «оси зла») и ПАСЕ (вмешательство в чеченские дела России) демонстрируют закрепление указанных факторов уже не только во внутривнутриполитических процессах, но и во внешнеполитической сфере. Этносепаратизм становится инструментом, с помощью которого в мировой политике подрывают стабильность стран-конкурентов, ставят под вопрос их суверенитет.

Как следствие, возникает политика двойных стандартов и двойной морали. Франция приравнивает корсиканских сепаратистов к уголовникам, Индия военными средствами подавляет сикхских и мусульманских сепаратистов в штатах Джамму и Кашмир, Великобритания использует военную силу в Ольстере, Турция осуществляет геноцид против курдов, составляющих треть численности этой страны и т.д. Но одновременно США и их сателлиты используют сначала хорватских и мусульманских, а потом албанских сепаратистов для полного разрушения Югославии, чеченских бандитов – для подрыва стабильности в России, таджиков Северного альянса – для разгрома талибов в Афганистане, курдских повстанцев – для борьбы с режимом Саддама Хусейна в Ираке.

Принуждение к межэтническому миру не может не свестись к той или иной форме силового диктата, если не существует внутригосударственных механизмов, обеспечивающих ликвидацию политических групп, использующих этнические факторы в борьбе за власть, еще на ранней стадии зарождения конфликта. Для России отказ от этого принципа сыграл роковую роль и одновременно послужил укреплению во власти антинациональных сил. Лидеры антикоммунистической оппозиции в 1988–1989 гг. разыграли этносепаратистскую карту, исходя из набора популистских принципов⁴⁴⁰:

⁴³⁹ Там же.

⁴⁴⁰ Салмин А.М. Союз после союза. Проблемы упорядочения национально-государственных отношений в бывшем СССР// Полис, 1992. №1–2.

1.Идея нерушимости внутрисоюзных границ. Следствие — усиление у региональных элит ощущения их легитимности и безнаказанности за сепаратистские устремления.

2.Истолкование идеи обновления Союзного договора как идеи нового союза старых республик, который не считался неизбежным и обязательным для всех. Напротив, полагалось обязательным «отпустить прибалтов» — Литву, Латвию и Эстонию. Прибалтийский пример вдохновил иные сепаратистские замыслы.

3.Отказ от понимания искусственности национально-территориальных образований и готовность заключить союз именно между такими искусственными субъектами. Позднее пришлось подменить реализацию этого принципа фиктивным Федеративным договором, чтобы удержать захваченную власть.

4.Поощрение автономий к повышению их статуса, принятие идеи «коренной нации», подталкивающей народы к самоопределению любой ценой. Этот принцип оказался для либеральных движений современной России самым незыблемым элементом либеральных программ.

Совокупность указанных принципов привела к организации в недрах властных структур РСФСР нелегитимной группировки во главе с Ельциным, поставившей себе целью сговор с этническими элитами и разрушение страны. К сожалению, партийная верхушка КПСС, исходящая из коммунистической доктрины государственного и национального строительства, оказалась совершенно нечувствительной к сепаратистским замыслам сложившегося антирусского этнополитического альянса.

Отторжение всего русского в пользу местного культивировалось в советский период в среде творческой интеллигенции и в региональных партийных кругах. Номенклатура в национальных республиках и автономных образованиях из поколения в поколение воспитывалась в духе обособления ото всего русского, хотя открыто на официальном уровне это и не проявлялось. В скрытно-сдержанной форме неприязнь ко всему русскому постоянно присутствовала в Прибалтике и на Западной Украине. В открытой форме, вылившейся в массовые беспорядки, эта неприязнь проявила себя в Якутске и Алма-Ате еще в начале 80-х годов. Отказ от понимания русского народа как государствообразующего стержня и объединителя других народов в едином государстве привел эту национальную политику к краху — снятие идеологического пресса тут же обнажило древнейшие этнические архетипы и родовые мифы, заменившие исчезнувшую в одночасье советскую идентичность.

Российское правительство после августа 1991 г. де-факто согласилось с тем, что во всех республиках, кроме Российской Федерации, имеется так называемый титульный народ, обладающий, якобы, особыми правами и привилегиями. При этом от притязаний на «титульность» отказалась только Белоруссия, которую по этому признаку можно признать самым демократическим государством постсоветского пространства. (То же самое можно сказать и о Приднестровской Молдавской Республике). Напротив, Российскую Федерацию в этом смысле можно считать государством самым недемократическим — в нем «титульность» была отнесена к 5–7% населения страны, проживающего во внутренних национальных республиках и автономных округах и отнесенного к «титульной» народности. За Россией следует Казахстан, в котором «титульность» была отнесена к меньшей части населения. В остальных странах титульные привилегии получили наиболее многочисленные этнические группы, ущемляющие права меньшинств, еще недавно составлявших национальное большинство Большой России.

Вопреки ожиданиям общественных течений и политиков, добивавшихся расчленения СССР, бывшие союзные республики сформировали свою национальную политику не по образу и подобию европейских государств. За исключением России, Белоруссии и Приднестровья, новообразованные государства встали на позиции открыто декларируемой нетерпимости, прежде всего по отношению к русскому населению.

Формально введенные законодательные нормы не мешают реально проводимой политике дискриминации и враждебности к проявлениям русского самосознания.

Сразу после распада СССР началось вытеснение русских с руководящих должностей, введение особых льгот «титulyным» национальностям, неравенство прав граждан в области образования, культуры, языка. Яркий пример – закрытие русских школ в новом зарубежье, где их число прежде всюду соответствовало доле русского населения. С 1991 по 1997 г. в новом зарубежье было закрыто более 1,5 тыс. школ, а число обучающихся в русских школах сократилось на 2 млн. человек. Аналогичные процессы произошли не только в новом зарубежье, но и во внутрироссийских республиках.

Удельные номенклатуры, получившие статус национальных политических элит независимых государств, стремились превратить русских в нежелательное меньшинство, поскольку боялись политического движения в обратном направлении – интеграции с Россией, которая рано или поздно поставила бы вопрос об исторической ответственности расчленителей единой страны. Таким образом, дискриминация русского населения указывает на явно присутствующий политический интерес, не имеющий ничего общего с интересами народов постсоветских государств и многомиллионного нового русского зарубежья.

Вторая причина дискриминации вытекает из первой – доктрина моноэтнического государства вызывает к жизни родовые мифы, в которых любой упадок прежней государственности связывается с угнетением со стороны другого народа, которому и предъявляются претензии за выдуманные притеснения. Следствием становятся межэтнические и межконфессиональные конфликты, начало которых угадывалось уже в последние годы существования СССР. Эти конфликты показывали, насколько непрочным был мир между народами, выстроенный по рецептам советской национальной политики. По тем же рецептам строилась национальная политика и в Российской Федерации.

Лишение России русского государствообразующего стержня привело к тому, что малые народы отказались от идентифицированности с российской государственностью и получили возможность идентифицироваться как оппозиция этой государственности. После разрушения СССР ряд «титulyных» республик предприняли успешную атаку на центральное правительство с целью выбить для себя привилегированное положение.

Доктрина этносепаратизма в России явно или неявно декларирует и проявляет в политической практике следующие черты.

Антигосударственный экстремизм. Право на сохранение самобытности трактуется как право на формирование обособленной этнополитической общности, с которой государство обязано выстраивать особые отношения, исходя из полного снятия каких-либо ограничений для выражения этой самобытности. Считается, что централизованное государство не справится с поддержкой всех культур, а значит, нужна децентрализация (т. е. перераспределение ресурсов в пользу этносепаратистов) и приоритетное выделение из госбюджета средств для поддержки «малых культур».

Реваншизм. Требование компенсации государством последствий ранее допущенных дискриминаций по национальному признаку (депортация, репрессии).

Расизм. Трактовка права на самоопределение народа не как принципа, а как юридической институции, закрепляющей «право крови». Квотное представительство национальностей в представительных и исполнительных органах власти всех уровней. Этнизация судебного процесса на «титulyных» территориях. Права гражданина, таким образом, в ряде существенных случаев (например, управление «титulyными» территориями) могут реализоваться только в порядке межэтнического конфликта.

Русофобия. Обвинение русских во всех исторических неудачах или несправедливостях (включая «вину за коммунизм»), представление русских как доминирующее и угнетающее другие народы большинство, очернение русской истории и культуры. Требование отказаться от «приоритетного развития одного языка», т. е. насильственного ограничения применения русского языка и внедрение языков

национальных меньшинств как главенствующих на определенных территориях и в определенных диспозициях. Как о вполне естественном процессе говорится о вытеснении русских с руководящих постов в «титულных» республиках.

Паразитизм. Требование беспорной и безусловной поддержки малочисленных народов вне вопроса о комплиментарности их по отношению к другим народам, традиционно проживающим в России. Требование присвоения природной ренты, переходящее в фактическую экспроприацию, – распоряжение природными богатствами и ресурсами в интересах только одного этноса (Татарстан, Якутия и др.).

Культурная эксклавность. Требования ввести на определенной территории «добровольно-принудительное» обучение на «титульном языке» в ущерб русскому и европейским языкам. Вытеснение русских культурных стандартов из жизни властных органов, системы культуры, образования, науки. Выдвижение принципа «духовно-политического федерализма» как основы государственной политики (Р.Абдулатипов).

В идеологических построениях этносепаратистов проблема существования малого народа вычленяется из общенациональной проблематики и рассматривается таким образом, чтобы все прочие общегосударственные проблемы служили для этнических меньшинств внешней неблагоприятной средой.

В соответствии с интересами этносепаратистов и доктриной федеративного государства политическая воля «верхов» в течение ельцинского десятилетия ориентировала чиновничий аппарат и процесс расходования бюджетных средств на поддержку малых и «титулных» народов, ущемляя тем самым русский народ и закладывая экономические предпосылки для обострения межнациональных конфликтов. Законодательство Российской Федерации также формируется не как законодательство, общее для всех граждан, – возникает целая система льгот, предоставляемых только на основе этнического происхождения. Предпринимаются попытки принятия законов «по каждому народу» или по категориям народов («репрессированные народы», «народы Севера» и др.), которые также ущемляют именно русский народ. Например, русский народ, пострадавший от сталинских репрессий не меньше других народов, считается чуть ли не виновником этих репрессий. Действующее законодательство и политическая практика нацелены именно на это – перекладывание общей вины за бедственное состояние страны, всего русского исторического пространства исключительно на русских.

Важнейшим условием для снятия межэтнической конфликтности (в особенности для России) является отказ от национально-территориального принципа, который предоставляет в распоряжение этнических элит такой ресурс, как территория и такой фактор влияния, как титул этой территории, выделяющий «титульный» этнос. Уход от этого принципа чрезвычайно важен для народов России, поскольку его сохранение не оставляет иного выбора, кроме диктатуры или распада государства по административным границам. Напротив, переход к национально-культурной автономии делает полиэтничность государства из фактора нестабильности в фактор укрепления государственности, поскольку именно в этом случае общенациональная и этническая идентичности привязаны к единой территории, охватывающей пространство общей для всех народов Родины.

Единство государства и подавление этносепаратизма может быть предпринято реализацией принципа «кого имя, того и власть» не в локальном, а исключительно в общегосударственном масштабе. Россия – русская страна, в которой под покровительством русской нации живут другие коренные народности, осуществляется русское культурное преимущество, равенство гражданских прав, лишение всех политических и части экономических прав для всех иностранцев и лиц без гражданства. Как только указанный принцип возникает как политическая программа локального значения, государство должно реагировать на это немедленно – самыми жесткими репрессиями, призванными оградить страну от сепаратизма.

Концепции национального строительства и федерализм

Единой концепции федерализма пока не создано. И, вероятнее всего, не может быть создано (не считая подмены федерализма либерализмом). Федерации оказываются почти столь же различны, что и государства. Концепции федерализма привязываются к конкретным ситуациям в конкретных государствах. Именно поэтому конструктивная теория государства должна поднимать вопрос о типах национального строительства, а не о формальных основах территориального единства.

В отношении России можно говорить о четырех группах концепций национального строительства, каждой из которых в какой-то мере соответствует та или иная теория федерализма или же альтернативная концепция имперского регионализма, о которой мы писали выше.

К *первой группе* следует отнести концепции, полагающие Россию содружеством народов. Соответственно, народы становятся субъектами государственного единства. Народы, являясь источником суверенитета, образуют такую государственную систему, в которой федерация и ее члены только в совокупности создают суверенитет. А это возможно лишь в силу возникновения особой общенациональной идентичности. «Минусом» этой концепции является очевидная невозможность для народа стать субъектом права. Поэтому в реальности федерализм соответствующего типа формируется элитными группировками, образованными на базе этнической идентичности. Это означает, что успех такой этнофедералистской концепции был бы связан с приоритетом этнической идентичности над общегражданской, с разделением политической нации на этнократические «партии», пронизывающие общество и разрывающие его на части. Модель федерации народов означает нестабильность государства и политическую конфликтность на основе конфликта этнических идентичностей.

Вторая группа концепций признает суверенитет только за субъектами федерации, абсолютизируя случайно возникшее административно-территориальное устройство современной России. Такого рода концепции в «мягком» варианте являются проявлением регионального или этнического эгоизма обособленных от общенациональных интересов региональных элит, а в «жестком» варианте – обоснованием распада государства. (По Лейкоффу, это автономия в рамках федерализма и конструктивная альтернатива нации-государству). В любом случае здесь речь идет о единой политической нации. Отдельные этносы рассматриваются как нации со своими территориями. Для России это означает статус нации только для «титულных» народов республик и отсутствие такого статуса для всех остальных народов и для всех народов, вместе взятых. Здесь политической нации уже не может быть в принципе, только конфедерация обособленных политических субъектов, в которую неизбежно превращается федерация.

Третья группа концепций склоняется к пониманию федерации как единственного субъекта – носителя суверенитета. Эта унитаристская позиция рассматривает составные части федерации лишь как звенья управления, систему обратной связи. Здесь мы имеем дело с возвышением государства над нацией, с формированием российского варианта европейской нации-государства (а точнее, государства-нации). Поэтому в данной группе концепций более всего для обозначения нации подходит термин «народ», который употребляется в самых разных контекстах, не оформляясь в более или менее ясное понятие.

Наконец, *четвертая группа* концепций – альтернативная первым трем – трактует федерирование территорий в имперском ключе и возвышает нацию над государством, сохраняя имперский «градиент» от центра к периферии, где местные элиты находятся под властью имперских наместников и собственных исторически определенных форм общежития.

Вероятно, концепцию российской Конституции с ее фразой в преамбуле «мы многонациональный народ» следует считать особым случаем, который вообще не вписывается ни в одну из концепций федерализма, ни в одну из концепций национального

строительства. Особенностью этой концепции является возможность увидеть в ней любую другую. В 1991–1999 гг. со стороны государственной власти и большинства политологов в ней виделся преимущественно вариант сепаратистский, с 2000 г. – вариант этатистский, в идеальном случае требующий стирания всяческих различий между народами, традиционно населяющими территорию России.

Если первая группа концепций выглядит достаточно расплывчатой, трудно приложимой к реальности, то две последующие, если пытаться воплотить их в реальность, чреваты нестабильностью и противостоянием между конфликтующими идентичностями, а также между Центром и региональными элитами. И только в имперских концепциях мы можем усмотреть надежду на стабильность тем более, что Россия и русская нация вполне в состоянии под видом интеграционных инициатив на постсоветском пространстве вновь обрести свою периферию.

Представления о системе государственного устройства России и ее смыслового наполнения в национальной политике представляют собой множество идейных композиций, которые в той или иной мере продолжают иметь хождение российских в научных и политических кругах.

Конфедерализация. Идею расчленения России на независимые государства с возможным объединением в конфедеративные и федеративные союзы впервые высказал А.Д.Сахаров, предложив раздробить страну на мелкие уделы, в каждом из которых провести референдум об отделении от СССР. Тем не менее это предложение оставалось маргинальным и практически не обсуждалось ни тогда, ни в последующий период, поскольку слишком явно выдвигало ликвидаторскую идею по отношению к России. Теоретически конфедерализация России не разрабатывалась и обозначалась в течение недолгого времени лишь в выступлениях таких политических деятелей, как В.Шумейко (спикер Совета Федерации) и Г.Старовойтова (советник Президента Ельцина по национальной политике).

Закрепление «многонациональности». Невнятность и неустойчивость российской государственности ставит под вопрос действующую ныне систему федеративного устройства. В связи с этим одним из вариантов ее реформы является обоснование и закрепление сложившегося положения, которое, по мысли сторонников этноцентристской идеи федерализма, должно быть усугублено исходя из принципа многонациональности. Множественность национальных организмов требует от демократического режима федеративного устройства. Вместе с тем, некоторые политические права признаются лишь для ряда «титulyных» национальностей, которым повезло получить именные территориальные наделы. Остальным право на самоопределение дает основания только для национально-культурной автономии, финансируемой за счет средств федерального бюджета.

Многонациональная концепция федеративных отношений оказывается возможной в связи с лоббистскими усилиями властей «титulyных» республик и оплаченных ими ученых, разрабатывающих этноцентристские модели государственности. Эти силы организовали как политический процесс собирания средств и сил для противостояния тенденциям централизма и воспроизводства кадров идеологической борьбы, оформленной как научные изыскания (прежде всего, в Татарии, Башкирии, Якутии и северокавказских республиках). Главными догмами соответствующих «научных» открытий стали: 1) тождественность федерализма и демократии; 2) федерация есть способ решения «национального вопроса» в России; 3) демократия предусматривает свободу этнического самоопределения и самовыражения этнических интересов; 4) в рамках российского суверенного государства могут существовать другие суверенные государства с приоритетом собственного законодательства над общероссийским.

Этнофедералисты пытаются давать собственные трактовки международного права с целью доказать право собственного этноса на любую форму самоопределения. В частности, приводится положение Международного пакта об экономических, социальных

и культурных правах, принятого в 1966 г.: «все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие». Народ при этом понимается узкоэтнически, а практика международных отношений, признающих суверенитет только за нациями, игнорируется.

Спекулируя на идеологических установках правящего режима, провозгласившего новый отсчет исторического времени и образование «новой России», этнофедералисты требовали создания «истинной федерации» как бы с чистого листа - путем делегирования компетенции от республик центру по желанию этих республик. В частности, по этой причине в 1992 г. представители Татарстана отказались подписать Федеративный договор, а в 1994 г. инспирировали договорную форму федеративных отношений, в рамках которой между субъектами федерации и Кремлем подписывались двусторонние отношения. Последнее означало, что Российская Федерация по факту сговора правящих элит стала конфедерацией, и только единые силовые институты удерживали страну от развала.

Явным симптомом этнизации стало образование в Дагестане «национальных избирательных округов», где выдвигаться кандидатами в депутаты могут только представители одной национальности (будто бы для того, чтобы избежать межэтнического конфликта в смешанных избирательных округах и обеспечить в парламенте пропорциональное представительство). Еще один симптом такого рода – принятие закона о национально-культурных автономиях, которые получают финансирование из бюджетов всех уровней и уже не являются в полной мере общественными объединениями. Фактическое введение этого закона в действие в 2000 г. создавало новые очаги для возвращения этноцентристских настроений и этнофедералистских теорий.

Республиканизация. Стремление к равноправию субъектов федерации выражено, прежде всего, руководством русских краев и областей, недовольным асимметрией федеративного устройства и льготным режимом для республик. Причиной для выдвижения требований повышения статуса краев и областей до статуса республик является убеждение в том, что иной путь уравнивания прав административно-территориальных образований затронет интересы республик и вызовет с их стороны жесткое противодействие.

Типичным примером таких суждений может служить тезис одного из приближенных к власти научных чиновников: «сама форма национальной государственности обрела огромную политическую и эмоциональную легитимность», что означает необходимость реформы федеративной системы «не через демонтаж национальной государственности, а через расширение полномочий субъектов федерации и утверждение в них полного гражданского равноправия»⁴⁴¹. Разумеется, под национальной государственностью в данном случае понимается суверенитет республик в составе Российской Федерации.

Таким образом, деэтнизация федеративных отношений в рамках данного подхода считается желательной, но невозможной, а потому этничность республик должна быть не ликвидирована, а уравновешена равным статусом других субъектов федерации. Очевидно, что реализация такой реформы привела бы к дальнейшей децентрализации управления, что не ослабило бы, а усилило этноцентристский характер республик, которые еще в меньшей степени были бы зависимы от центра. Тем не менее такая независимость не приветствовалась республиканским руководством – республиканизация России ликвидировала бы привилегии «титulyных» республик в отношениях с центром. Напротив, идея республиканизации одно время была взята на вооружение патриотическими силами.

⁴⁴¹ Тишков В.А. Межнациональные отношения в Российской Федерации. М., 1993. С. 38.

Русская республика. Идея объединить все русские области и края, учредив Русскую республику в составе Российской Федерации, имеет свой прототип в Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 1990 г. Главным побуждающим мотивом принятия Декларации было стремление, с одной стороны, освободиться таким образом от центрального правительства, ведущего неприемлемый (по мнению сторонников суверенизации России) политический курс, а с другой стороны, «сбросить периферию» – освободиться от необходимости расходовать бюджет на развитие национальных республик. Те же самые мотивы, прежде свойственные «демократической общественности», повторились в патриотическом движении, для которого, с одной стороны, был неприемлем курс Ельцина, а с другой – паразитизм национальных республик в составе Российской Федерации. Возможность реализации этого варианта реформы федеративных отношений всегда была сомнительной, а потому он использовался, скорее, как повод спровоцировать «национальную гордость великороссов» и разыграть «русскую карту» в политической борьбе. В действительности, была спровоцирована волна этношовинистических публикаций сторонников асимметричной федерации, в которой экстремистской (и даже фашистской) объявлялась не только идея Русской республики, но и вообще какой-либо русской субъектности. Этнотерриториальные образования, таким образом, объявлялись привилегией исключительно тех народов, которые уже имели «свои» субъекты федерации. Всем остальным народам России, включая государствообразующий русский народ, отказывалось в праве иметь собственную этническую вотчину.

Губернизация. Выравнивание статусов субъектов федерации через их деэтнизацию представляется естественным решением, упрощающим управление государством и реализующим принципы справедливости и демократии. В действительности, умозрительные принципы экономии сил и справедливости в рамках дискуссий о реформе российского федерализма всегда высказывались достаточно осторожно – границы территориальных образований всегда считались незыблемыми. Национально-территориальные границы лишь должны были стать чисто административными.

Этнофедерализм подвергается критике как со стороны «демократов», усматривающих в нем продолжение ленинско-сталинской политики и опасность возникновения вражды между этническими группами, так и со стороны «патриотов», которые видят перспективу избавления от этнофедерализма в унитарном государстве. Если первые требуют демократизации федеративных отношений, то вторые – формирования государства-нации.

Укрупнение субъектов федерации. Процесс восстановления функций федерального центра после 1999 г. естественным образом возвратил Кремль к идее промежуточного надзорно-координационного уровня власти, который материализовался в институте представителей президента и в образовании федеральных округов. Идея такой реформы, основанной в большей мере на естественном экономическом районировании и управленческой целесообразности, высказывалась и ранее (например, в документах Конгресса русских общин). Реализация этой идеи приближалась к осуществлению в 1993–1995 гг., когда возможность создания Уральской республики с трудом была блокирована Кремлем.

Позднейшее создание в 2000 г. неформальной, не закреплённой законами системы федеральных округов можно считать промежуточной стадией, подготовляющей постепенное изживание этнофедерализма и местнических региональных амбиций. В то же время уже на данной стадии обнаружилось, что управленческая целесообразность требует равенства территорий не только по экономическому или демографическому, но и по проблемному потенциалу. Наглядно это было продемонстрировано высоким уровнем обсуждения проблем Калининградской области в связи с ее эксклавным положением, усугубленным процессом расширения Евросоюза (2002 г.).

Представляется невозможной и ненужной идеей создание новой федерации из крупных субъектов, которые будут иметь для сепаратизма уже не только политические, но и экономические рычаги. В отличие от имперской системы власти в таких крупных субъектах федерации будут действовать, исходя не из преданности государственной идее России и центральной власти, а из внутренней политической ситуации – будут ставленниками местных элит. Фактически такая ситуация повторит проект СССР и будет угрозой целостности России. Напротив, создание региональных единиц, в которых тонут права экономически несостоятельных удельных «суверенитетов», приблизит Россию к традиционной имперской модели.

Унитаризация. Несостоятельность федерации в России и необусловленность ее исторической традицией не могли не вызвать жесткой критики федерализма и требований унитарного государства со стороны оппозиционных сил. К сожалению, ни политический, ни правовой аспект такого рода реформы не разрабатывался, и она сводилась лишь к лозунгу. Данная концепция реформы российской государственности означает полную ликвидацию политической субъектности регионов и замыкание их исключительно на проблемах местного самоуправления. «Губернизация» в данном случае уже рассматривается не как вариант обновления федеративных отношений, а как образование административной структуры унитарного государства. К сожалению, проект унитарного государства часто путаются с проектом внеэтнической симметричной федерации.

Проект унитаризации (ликвидации федеративных отношений) может быть конструктивным лишь как конечная цель преобразований – от ослабления федеративных отношений через укрупненную административную регионализацию («генерал-губернаторство») к губернизации со снижением законодотворческого потенциала и изживанием полисубъектности федеральной власти (Совет Федерации, Госсовет и пр.) и, наконец, к восстановлению унитарного характера российской государственности. Любая асимметрия регионального управления в таком процессе может сохраняться только в связи с более жесткими и менее демократичными режимами на рубежных территориях (мятежная Чечня, нестабильный Северный Кавказ, отмежеванная Калининградская область, приграничные зоны Дальнего Востока, слабозаселенные Северные территории).

К сожалению, унитарная модель оказалась для продолжающих интегрироваться в мировую глобальную систему российских политических и экономических «верхов» приемлемой только в самом зачаточном варианте, когда «акции» этих верхов в мировой политике заметно повысились, но не перешли определенную грань конкурентоспособности и не вызвали тревоги мирового эстеблишмента. В результате Совет Федерации не ликвидирован, привилегии внутренних республик практически не затронуты, асимметрия федерации сохранена, в Чечне объявлен референдум по местной Конституции и выборы. Россия завязла в переходном состоянии, рискуя вновь возбудить дезинтеграционные процессы.

Какая же концепция национального строительства могла бы устранить эти недостатки?

Наш ответ состоит в том, что именно имперская доктрина, переосмысленная для современных условий, содержит множество рецептов, гарантирующих государственную стабильность и национальное единство для России. Именно в ней угадываются достаточно очевидное присутствие в России государствообразующего народа и разумное определение статуса национальных меньшинств и территорий с особым режимом управления, представление о ведущей религиозной конфессии и особом статусе традиционных конфессий и т.д. Здесь же нетрудно увидеть и связь со всей предшествующей историей государства Российского, и цивилизационную самобытность России, и продуктивную форму национализма многонародной российской нации, из которой этничность не изгнана верховенством чиновничества, а размещена таким образом, чтобы не становиться разрушительным фактором в государственной жизни. Россия – унитарное, единое и неделимое государство государствообразующей русской

нации и союзных этнических меньшинств, имеющих почетный статус «национальных». Вот проект, достойный разработки политической теории и применения в политической стратегии!

Глава 6. ЭТНОС, НАЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ

Проблемы терминологии

Освальд Шпенглер отмечал, что понятие «народ», которое столь широко применяется при описании событий прошлого, оказывается многозначным – на давнюю историю переносится нынешнее понимание, имеющее мало общего с минувшей реальностью. Так, переселение народов вовсе не есть переселение прототипа нынешних народов. «“Народы”, как понимаем мы их сегодня, не странствуют, а то, что странствовало тогда, нуждается в чрезвычайно корректном наименовании, и не везде – одинаковом. (...) Нет сомнения, что в этих сильных и простых людях существовал изначальный микрокосмический порыв к движению на широких просторах, поднимавшийся из глубины души, чтобы оформить в страсть к приключениям, дух бродяжничества, одержимость судьбой, в стремлении к власти и добыче, в слепящее томление – какого мы теперь просто уже не можем себе представить – по поступку, по радостной сече и героической смерти. Нередко же причиной служили внутренние распри и бегство от мести сильнейшего, однако в основе неизменно было нечто мужественное и сильное»⁴⁴².

Мы привыкли считать историю и культуру результатом деятельности народов в том виде, в котором мы понимаем их сегодня. Для Шпенглера этот вопрос был далеко не однозначен: «Все великие события истории, собственно говоря, совершены народами не были, но скорее породили на свет их самих»⁴⁴³. «Народы – это не языковые, не политические и не зоологические единства, но единства душевные»⁴⁴⁴. «...великие культуры есть нечто всецело изначальное, поднимающееся из глубочайших недр душевности. Напротив того, народы, находящиеся под обаянием культуры, оказываются и по своей внутренней форме, и по общему своему явлению не творцами, но *произведением* этой культуры»⁴⁴⁵. «Определяющим не является ни единство языка, ни единство телесного происхождения. Что отличает народ от населения, выделяя его из населения и позволяя ему вновь в нем раствориться, – это неизменно внутреннее переживание “мы”»⁴⁴⁶. Последнее говорит в пользу политической трактовки понятия «народ».

Еще сильнее политическая природа проявляется в нации – некоторых избранных историей «народах»: «Народ, по стилю принадлежащий к одной культуре, я называю нацией и уже одним этим словом отличаю от образований, имеющих место до и после [культуры]. Это наиизначальнейшее из всех великих объединений внутренне сплавляется не только мощным чувством “мы”. *В основе нации лежит идея. ...Лишь исторические народы, народу, существование которых есть всемирная история, являются нациями*»⁴⁴⁷.

Разные времена и разные культуры дают множество оснований для единения в «мы». В античности нации – «это не эллины или ионийцы, но демос всякого единичного города, союз взрослых мужчин, обособленный в правовом отношении, *а тем самым – и национально*: сверху – от типа героя, а снизу – от рабов»⁴⁴⁸. «Греческий “народ” в нашем смысле – это недоразумение: греки вообще никогда не знали этого понятия. Появившееся около 650 г. название “эллина” обозначает не какой-либо народ, но совокупность античных культурных людей, сумму наций в противоположность варварству. И римляне, этот подлинно городской народ, не были в состоянии “мыслить” свою империю как-то иначе, чем в форме бесчисленных национальных точек, *civitas*, на которые они

⁴⁴² Шпенглер О. Закат Европы. Т.2, М.: Мысль, 1998. С. 166.

⁴⁴³ Там же. С. 169.

⁴⁴⁴ Там же. С. 173.

⁴⁴⁵ Там же. С. 174.

⁴⁴⁶ Там же. С. 169.

⁴⁴⁷ Там же. С. 175.

⁴⁴⁸ Там же. С. 177–178.

раздробили все пранароды своей империи также и в правовом отношении. В тот момент, когда национальное чувство в *этой* его форме угасло, завершилась также и античная история»⁴⁴⁹.

Шпенглер выделяет различие в понимании нации так же, как и магического и фаустовского стиля. «Античная нация внутренне связана с одним городом, западноевропейская — с ландшафтом, арабская же не знает ни отчего края, ни родного языка. Выражением ее мироощущения является только письменность, которую всякая «нация» создает сразу же при своем возникновении. Однако как раз потому это в полном смысле слова магическое национальное чувство и является таким внутренним и стабильным, что от него веет чем-то совершенно загадочным и жутким на нас, фаустовских людей, кому явно здесь недостает понятия родины»⁴⁵⁰.

Все, что может объединить это разнообразие (не такое уж богатое), это политика. Нация является одновременно и объясняющим политическое термином, и важнейшим объектом исследования в политической науке. Дискредитация слова «нация» после второй мировой войны и снятие запрета на него лишь в 60-х годах XX столетия (а в России — еще три десятка лет спустя) предопределило особенность отношения ко всему, с чем связан этот термин.

Крут Хюбнер посвятил бесправному положению понятия «нация» в политической науке и общественном сознании почти отчаянные строки: «Национальное сознание и национализм сливаются в общий котел ужасающего в своей примитивности мышления, благодаря чему и формируются представления о национальном государстве, как о государстве националистическом и централизованном. Это изначально закрывает путь к углубленному размышлению о том, что вообще представляют собой нация и национальная принадлежность. Так и не было осознано, что феномен нации никоим образом не является открытием девятнадцатого столетия, но издревле составлял субстанциальную основу государств, не исключая — вопреки расхожему и ошибочному мнению — Античности и Средневековья. Недавно появившиеся предложения по замене — якобы отжившего свое — национального государства на так называемое мультикультурное общество нелепы и коренятся в мышлении, чуждом всякой действительности»⁴⁵¹.

Но мало этого политического диктата, подрывающего науку и порождающего странные теоретические конструкции, будто специально предназначенные подрубить сук, на котором сначала укрепляется ее сочинитель. Какая-то нарочитость сквозит и в терминологической путанице, которая достигла того предела, за которым мерещится прощание с надеждой на какое-либо понимание текстов иных авторов.

Вадим Цымбурский указывает на влияние языкового синкретизма и причины его возникновения в европейских языках: «Если бы — в порядке гипотезы — европейские языки (или хотя бы подязыки политики и права) четко различали термины для "государства", "народа-населения" и "этноса", не располагая лексемой, синкретизирующей все три понятия, то "право крупного этноса на создание своего государства" явно утратило бы применительно к полиэтническим территориям значительную часть своей "очевидности". Оно лишилось бы лингвистической точки соприкосновения с "суверенитетом народа" как общности хозяйственной и гражданской. Но для упомянутых подязыков такая жесткая дифференциация была не актуальна именно из-за тяготения в Западной Европе Нового времени этих трех теоретически несовпадающих понятий к слиянию — под воздействием либерально-рыночной доминанты западной социальности.

Другим способом разрешения указанной омонимии могло бы стать разграничение терминологии, описывающей собственно западноевропейский социополитический космос, от терминологии, относящейся к внешнему миру, куда была бы причислена не только, скажем, Африка с ее трайбалистским наследием, но и регионы, подобные

⁴⁴⁹ Там же. С. 178.

⁴⁵⁰ Там же. С. 179.

⁴⁵¹ Хюбнер К. Нация, М.: Канон, 2001. С.9.

Балканам. Однако и этот вариант был исторически исключен из-за того, что та же рыночная доминанта, обуславливая космополитическое отождествление "западного" с "общечеловеческим", приводила к наложению "западных" концептов на регионы, инородные евроамериканской цивилизации по своему социальному генотипу. Традиционное либеральное мышление никогда не хотело всерьез допускать, что в незападных обществах демократизация суверенитета способна выдвинуть на первый план совсем иные его социальные функции, чем в Западной Европе и Северной Америке — вести не к конституционному "народному суверенитету", а либо к этнократическому паттерну, либо к некой форме чистой политократии, гражданской или вооруженной»⁴⁵².

Неясность терминологии может, конечно же, играть не только стабилизирующую, но и конфронтационную роль. Пока государственные дела идут успешно, синкретизация понятий влияет только на научное сообщество, вынуждая его ходить по кругу, постоянно разрешая неизбежные недоумения в ученых дискуссиях. Кризисное общество все эти недоумения вносит в пространство политической борьбы — оказывается, что выбор той или иной позиции может быть сделан достаточно свободно, и даже правовая сторона вопроса, оказывается, не содержит разрешения терминологических противоречий. Еще хуже обстоят дела, когда западная терминология превращает незападное общество в перманентно кризисное, которое не способно даже на уровне терминов разрешить конфликтные ситуации. Все это требует хотя бы каких-то попыток терминологической определенности, которая могла бы послужить в будущем для умиротворения в политике и конструктивной дискуссии в науке.

Западные мыслители, пораженные всплеском национального самосознания, который к концу XX в. невозможно было игнорировать, до сих пор пытаются представить национализм кризисным явлением сознания и власти не только современных, но начиная с Нового времени. Считается, что национализм стал секулярной идеологией взамен религиозным убеждениям.

Джон Лукас, американский историк венгерского происхождения назвал национализм «единственно популярной религией». В 1993 г. он писал: «Определяющей для XX века была не власть классов и не соперничество идей, а борьба наций»⁴⁵³. Урс Альтерматт развивает этот тезис: «Национальное государство выступает вместо двора или духовенства. В противоположность прежним временам сегодня уже не религия, а государство поддерживает культуру»⁴⁵⁴. Вслед за Эрнстом Геллнером он считает, что культура возможна и без церкви, а для современных людей Запада важнее быть членом общепризнанной культуры и национального государства, чем членом общепризнанной религии и церкви.

Чаще всего считается, что современный национализм охватил массы только в конце XIX в., когда выдвигался тезис о том, что каждой нации соответствует одно государство и каждому государству — одна нация. И хотя эта формула XIX в. определяла всю последующую политическую историю Европы, многие западные исследователи требуют от политики денационализации. Подспудной причиной такой странной установки является убеждение, что после 1945 г. мир настолько изменился, что государство стало утрачивать свое значение, а вместе с ним и национализм со своей государственно-строительной функцией оказывается препятствием на пути прогресса. Те же тенденции, которые свидетельствуют о бесспорном росте национализма, списываются на особенности восточноевропейского национализма (аналогичного, как подразумевается,

⁴⁵² Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте// Полис, 1993. №1.

⁴⁵³ Lukas J. Die Geschichte geht weiter: Das Ende des 20-Jahrhundert und die Wiederkehr des Nationalismus. Munchen, 1994, s. 271. Ср. с позиций Эрика Хобсбаума: национальная идентичность подменяет реальную вертикаль классовой иерархии воображаемой горизонтально равенства всех представителей одной нации. - Hobsbawm E. Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. Cam-bridge: Cambridge University Press, 1990. P.191.

⁴⁵⁴ Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 142.

азиатскому), которому дается определение «этнонационализм».

Таким образом, либеральная западная мысль колеблется между негативной и позитивной оценками национализма и религии, не понимая, как удастся консерваторам соединить позитивную оценку того и другого, а коммунистам отрицательную оценку того и другого. Либерализм же пытается отречься от понятия «нация» как исторически преходящего, и, как оказывается, приходящегося как раз на период торжества идей классического либерализма. Отказываясь от нации, либерализм отказывается и от собственных корней, становясь полностью новаторской (и поэтому тотально нигилистической) доктриной.

Термин «нация» изначально появился в европейской традиции – в процессе преодоления феодальной государственности и обозначал совокупность подданных государства. В западной науке существует устоявшееся различие в уже достаточно устоявшихся подходах к пониманию нации: «французское», исходящее из идеи свободного сообщества граждан государства, основанного на политическом выборе, и «немецкое», базирующееся на культуре и общем происхождении.

Марксистской научной традиции соответствует подход, определяющий нацию через перечисление определенных качеств (общность языка, территории, особенности культуры, сознания и психологии). Иногда таким же образом нация определяется и современными западными исследователями, пытающимися строить многоярусные понятийные схемы⁴⁵⁵. И все время не хватает слов, чтобы описать нацию через множество сопряженных понятий. К тому же всегда к понятию «нация» прибавляется понятие «этнос», которое само собой втягивается в понятийное облако вокруг «нации». Включаемые в понятие «нация» характеристики в зависимости от ситуации приобретают разный вес, что не дает возможности снять конфликт понимания термина, определение которого в зависимости от желания можно сконцентрировать на одной из указанных характеристик.

В Германии национальное сознание было больше ориентировано на культуру, поскольку идентичность по государству сталкивалась с противоречием – необходимостью соотноситься, с одной стороны, с малым княжеством или городом, а с другой – с империей. Во Франции королевской власти удалось создать и централизовать государство, что позволило соединить государственную и национальную идентичность. Поэтому во Франции понятие нация политизировалось, а в Германии происходила его деполитизация и соотнесение с культурой. Французское понимание нации требовало ассимиляции для обеспечения политического единства, немецкое – дифференциации для выделения и образования такого единства. В первом случае речь идет о фундаменте созданного государства, во втором – еще только создаваемого. В первом случае политизация означала, что нации еще нет, а государство ее формирует. Во втором нация наличествует до государства и государственное единство обеспечивается культурной общностью. Это различие проявляется и в правовой традиции: начиная с XIX в., немцы использовали *ius sanguinis* (право крови), а французы — комбинацию из *ius sanguinis* и *ius soli* (право почвы).

В 1907 г. Фридрих Майнеке определил различающиеся типы нации: культурная и государственная. Первая основана на культурном наследии, вторая – на объединяющей силе политической истории и конституции. В 1944 г. Ханс Кон разработал модель, согласно которой проводилось различие между западным, или субъективно-политическим, и восточным, или объективно культурным, понятиями нации. «На Западе национализм вырос в процессе труда, нация — в политической реальности и в битвах современности, и при этом не возникла слишком сильная эмоциональная связь с историческим прошлым, в Центральной Европе, напротив, националисты часто конструировали из мифов прошлого и перспектив будущего идеальное отечество, которое

⁴⁵⁵ См., например, *Smith A. D. National Identity.*— Perguin Books, 1991.

хотя и было очень тесно связано с историческим прошлым, но ни в коей степени не было связано с современностью, и ждали, чтобы оно когда-нибудь реализовалось бы политически»⁴⁵⁶.

Сегодня чаще всего приходится встречаться с «французской» трактовкой нации. Более того, при рассмотрении понятия «нация» предполагается неразрывная связь с понятием «государство» (предполагая его демократическим, государством-нацией). Народ, согласно этой концепции, становится нацией только при условии, когда он создает свое государство и получает контроль над институтами общественного насилия. В то же время, как отмечает Эгберт Ян, «наряду с возникшими в средние века территориальным и позднее государственным толкованиями нации всегда сохранялось ее первоначальное этническое понимание, согласно которому этнос (часто называемый народом или нацией) как союз людей характеризуется не зависящими от территориальной принадлежности качествами — типа общности происхождения (близкородственные отношения), традиций и обычаев, порой конфессии и, особенно, языка»⁴⁵⁷.

Этническое и государственное понимание нации часто трактуется как противоречие между политическим, либерально-республиканским, демократическим и гражданско-общественным подходом, с одной стороны, и этнокультурным, нелиберальным и недемократическим — с другой. Это, как пишет Э.Ян, не затрагивает сути различий. «Во-первых, у всех крупных этносов этнокультурное понимание нации исторически перерастает в политическое, которое бывает также либеральным и демократическим. Во-вторых, известно немало случаев, когда в нациях-государствах присутствовали (и временами брали верх) нелиберальные, авторитарные и диктаторские направления. В-третьих, этнокультурные черты неизбежно присущи и государственным нациям, которые не могут быть полностью индифферентными к этнокультурным различиям хотя бы потому, что в большинстве государств только один (иногда — несколько) язык является государственным, что ставит его носителей в привилегированное положение. Таким образом, в государственных нациях также присутствует этнонациональное ядро»⁴⁵⁸.

Примерно в том же духе пытаются предложить свою «синтетическую» концепцию нации и отечественные исследователи. Релятивистская концепция нации, ставшая чрезвычайно популярной в России за счет адаптации российской политологии и этнологии к западным образцам (В.А.Тишков, А.Г.Здравомыслов и др.), говорит о том, что нации — просто культурно-политический артефакт⁴⁵⁹. Нация признает себя таковой только потому, что есть другие национально-этнические группы. Сознание определяет бытие и ни в коем случае наоборот, нация появляется только вслед за своим фиктивным образом. Следствием такого подхода является и фиктивное проведение национальной политики путем распространения мифов и обработки сознания людей, постоянно меняющего ориентиры в зависимости от интересов властных кругов.

Другая группа отечественных исследователей пытается вслед за зарубежными коллегами проследить природу нации по «французской» модели. Например, академик Э.А.Поздняков⁴⁶⁰, пишет, что нация проявляет себя через двуединство государства и гражданского общества, а формирование нации — есть политический процесс, хотя в основе нации лежит не этническая общность (все нации полиэтничны), а политическая — деятельность государства, следующего общенациональной идее. Такой синтез, на самом деле, просто исключает этничность, которая с трудом угадывается в конструкциях

⁴⁵⁶ Цит по *Альтерматт У.* Этнационализм в Европе. М., 2000. С. 36.

⁴⁵⁷ Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство// Полис, 2000. №1.

⁴⁵⁸ Там же.

⁴⁵⁹ Анализ релятивистских концепций нации см. в статье *Росенко М. Н.* Нации в современном обществе: теоретико-методологический анализ// Журнал социологии и социальной антропологии, №2, апрель, 1999.

⁴⁶⁰ Поздняков Э.А. Нация, национализм, национальные интересы. М.: Прогресс-культура, 1994.

гражданского общества. Нация вместе со всеми своими отличительными чертами определяется исключительно «сверху».

Пытаясь все же дать «неофранцузское» определение нации, Э.А.Поздняков упустил из виду тот понятийный синтез, который состоялся в русской философии. Этот синтез состоит в том, что нация понимается как форма человеческого объединения, обусловленная не только и не столько интересами, сколько идеями. Причем в данном случае идея рассматривается в качестве первоисточника и для деятельности государства. Здесь стоит привести известный тезис Вл. Соловьева о том, что «идея нации есть не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Не государство, не народ выбирают идею «под себя». Идея существует помимо них, ими открывается и познается. То есть поиск национальной идеи связан с выходом за пределы собственных границ («человек есть не то, что он есть»).

В статье о «русской идее» Вл. Соловьев пишет: «Призвание, или особая идея, которую мысль Бога полагает для каждого морального существа – индивида или нации – и которая открывается сознанию этого существа, как его верховный долг, – эта идея действует во всех случаях, как реальная мощь, она определяет во всех случаях бытие морального существа, но делает она это двумя противоположными способами: она проявляется как закон жизни, когда долг выполнен, и как закон смерти, когда это не имело места»⁴⁶¹. Поиск собственной судьбы, адекватной национальной идее, служащей проектом Отечества, – вот задача нации.

Петр Бернгардович Струве в сборнике «Из глубины» выразил это таким образом: «...судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями. Они определяются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти. Но всякие такие стремления выливаются в идеи, в них формулируются. Явиться могучей, движущей и творческой силой исторического процесса страсть может, только заострившись до идеи, а идея должна, в свою очередь, воплотиться в страсть»⁴⁶². Исходя из данного положения, Струве дает следующее определение нации: «Нация – это духовное единство, создаваемое и поддерживаемое общностью духа, культуры, духовного содержания, завещанного прошлым, живого в настоящем и в нем творимого будущего». «В основе нации всегда лежит культурная общность в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие, общая культурная работа, общие культурные чаяния»⁴⁶³. Мы видим, что понятие «нация» здесь определяется не по «составным частям», а по образующим ее процессам. Акцентируется внимание на духовном единстве и культурной общности, выступающих в качестве интегрирующей связки внешних признаков нации. Кроме того, в трактовке Струве нация – не только сообщество чувства, устремленного к автономной государственности, но сообщество чувства, заострившегося до идеи.

Сергей Николаевич Булгаков писал: «Русское государство дорого мне не как государство, или известная определенная форма правового порядка вообще (мы знаем, как велики его несовершенства в этом отношении), но как русское государство, в котором моя народность имеет свой собственный дом»⁴⁶⁴. Здесь мы видим явное выражение концепции государства-нации, так же очищенное от грубого рационализма западной традиции. В своей работе «Размышления о нации»⁴⁶⁵ Булгаков отмечал, что в традициях западного Просвещения применяется номиналистическое видение нации, определение нации всего лишь как абстракции от определенного набора фактов. Противоположный подход – философский реализм рассматривает нацию как духовный организм, трансцендентную реальность, не сводимую к своим внешним проявлениям.

⁴⁶¹ Соловьев Вл. Смысл любви. Избранные произведения. М.: Современник, 1991. С. 43.

⁴⁶² Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи//Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Изд-во МГУ, 1990. С.235.

⁴⁶³ Там же. С.248.

⁴⁶⁴ Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество.– М.: Русская книга, 1992. С. 195–196.

⁴⁶⁵ Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т. 2.– М.: Наука, 1993.

Совершенно другим примером понятийной определенности могут служить идеи Эрнста Геллнера, в частности, его работа «Нации и национализм»⁴⁶⁶, в которой образование наций связывается с формированием новых основ культурной дифференциации, вызванной необходимостью надэтнической культурной среды, обслуживающей современное индустриальное общество. Культура, в отличие от русского философского понимания нации, здесь попадает в служебное положение. Э.Геллнер, а также Б.Андерсон⁴⁶⁷, П.Барсс⁴⁶⁸ и др. говорят о национальности (уже в смысле этничности) как о результате воспитания в определенном обществе, в котором человеку внушается миф об общем происхождении и тесной кровной, культурной и исторической связи всех представителей того народа, к которому он принадлежит. В действительности, за этим мифом ничего не стоит, и народ остается «воображаемой общностью», «идеологической конструкцией». Эта мысль очень нравится современным российским либералам. Все остальное в геллнеровской концепции они стараются опустить или не заметить, а именно, превращения национального мифа в современную реальность.

Теории национализма Геллнера и Андерсона сводятся к тому, что идентификация с нацией является следствием процесса модернизации, т.е. национальное сознание явилось непосредственным результатом развития современных средств коммуникации, массового рынка, урбанизации, процесса усиления влияния государства на население через систему налогов и воинской обязанности и, прежде всего, школьной системы и печатной культуры. Геллнер говорит, что нации изначально не существовали, а образовались из объединения культуры и политики. Индустриализация порождает новые формы соперничества, в которых всплывают старые родовые мифы, источающие национализм, создающий нации: «Нация как естественный, от бога данный способ классификации людей, как внутренне заложенная политическая судьба – это миф. Национализм, который иногда превращает в нации ранее существовавшие культуры, а иногда изобретает их, зачастую уничтожает самобытные ранее существовавшие культуры – такова реальность, как бы ее ни оценивать, и неизбежная реальность»⁴⁶⁹.

Андерсон также видит возникновение нации в результате переворота в мировоззрении, который произошел в течение XVI в. и привел к секуляризации сознания – утрате веры в Священное Писание, веры в традицию и предопределенную богом социальную иерархию, веры в «равноправие космического и исторического времени». Национализм становится на место религии, а печатное слово заменяет объединительную функцию священного текста. И таким образом, усиливается роль коммуникации в национальном единстве.

Исследователь полагает, что для образования нации и национального самосознания решающее значение имеет массовая печатная культура, понимаемая как обмен информацией, культурными символами в низших социальных слоях – утреннее чтение газет заменяет молитву. Между тем, достаточно ясно, что национальное единство не обязательно должно опираться на печатное слово, а может использовать и устную народную традицию, мифологизированные представления о государстве в противовес рациональному походу и осознанному отношению к отражению своих собственных интересов в государстве. Более того, современная действительность говорит нам о том, что средства коммуникации все более освобождаются от каких-либо признаков национальной принадлежности.

Нация, по мнению Андерсона, – «воображаемое сообщество», потому что соотечественники даже не знакомы между собой, но имеют в сознании образ сообщества. В то же время нация всегда территориально определена (даже если границы ее эластичны

⁴⁶⁶ Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.

⁴⁶⁷ Anderson B. Imagined Communities: Reflections on Origins of Nationalism. London, 1983. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.

⁴⁶⁸ Barth P. Ethnic Groups and Boundaries. Bergen-Oslo-L., 1969.

⁴⁶⁹ Gellner E. Nations and nationalism. Oxford: Blackwell, 1983, С.48–49.

и размыты), суверенна (обладает государством, а вместе с ним – независимостью) и выражена в чувстве братства, материализованном миллионами жертв в истории последних столетий. Получается, что нация не столь уж воображаема. Прежде всего, она очерчена государством и всем, что с ним связано. Если государство и нация «придуманы», то придуманы историей.

Хоми Бхабха⁴⁷⁰ считает, что национальная идентичность не имеет под собой никаких иных оснований, кроме духовных, и существует исключительно в форме рассказов и преданий разных народов о самих себе. Нация возникла как западная историческая идея из политической и литературной традиции романтизма, выдвинувшей недостижимый символический идеал единства, некогда существовавшего в мифическом прошлом и требующего возрождения. Этот идеал совпадает с психологической потребностью человека иметь перед собой «значимого чужого», в котором он видит зеркально отражение себя. Но все это годится для однородных обществ эпохи Просвещения и утрачивает силу в условиях, когда разные группы дают свои трактовки и версии истории, а поток переселенцев из бывших колоний размывает прежние принципы равенства. Выявляется фрагментарность идеи нации и национальной идентичности, что ведет к росту внутринациональных противоречий.

От этой позиции всего шаг до постмодернистской концепции «постнационального мира», в котором разнородные меньшинства доказывают себе и окружающим свое право «быть другими». И в то же время – один шаг до русского философского понимания нации. Только это шаг в противоположную сторону от постмодернизма.

Таким образом, современные западные теории нации и национализма, как и их пересказы российскими учеными, полностью отказываются от каких-либо родовых признаков нации и этноса, что и приводит авторов и трансляторов этих теорий к отождествлению в рамках культурологической теории нации и этноса, и отнесению национализма лишь к краткому мигу современности, стремительно уступающему место постсовременности. В России к этой теоретической проблеме примешивается еще и политическая актуальность, сохранившаяся со времен Льва Тихомирова, который говорил, что у нас национализм скорее «слово», чем «понятие»⁴⁷¹.

Вероятно, наиболее удобный для теоретических целей подход к пониманию нации использует Пьер Бурдьё, который пишет: «Государство участвует в объединении культурного рынка, унифицируя все коды: правовой, языковой, и проводя гомогенизацию форм коммуникации, особенно бюрократической (например, введение бланков, формуляров и т. п.). С помощью систем классификации (по возрасту и полу, в частности), вписанных в право, бюрократические процедуры, образовательные структуры, а также посредством общественных ритуалов, особенно замечательных в Англии или Японии, государство формирует ментальные структуры и навязывает общие принципы видения и деления, т. е. формы мышления, которые в образованном обществе выполняют ту же роль, что и формы примитивной классификации, описанные Дюркгеймом и Моссом по отношению к “первобытному мышлению”. Тем самым они принимают участие в построении того, что обычно называют национальной идентичностью (или более традиционным языком — национальным характером)»⁴⁷².

«Построение государства сопровождается созданием своего рода общего исторического трансцендентального, имманентного всем «подданным». Через условия, которое государство навязывает практикам, оно учреждает и внедряет в головы общепринятые формы и категории восприятия и мышления: социальные рамки восприятия, понимания или запоминания, мыслительные структуры, государственные формы классификации. Тем самым оно создает обстоятельства как бы непосредственного

⁴⁷⁰ Bhabha, Homi K. The location of culture. London, New York : Routledge, 1994. Bhabha, Homi K. Nation and Narration. London, New York: Routledge, 1990.

⁴⁷¹ Московские ведомости, 1910, №174.

⁴⁷² Бурдьё П. Дух государства...

согласования габитусов, являющегося основанием некоторого рода консенсуса по совокупности взаимопризнаваемых бесспорных истин, составляющих здравый смысл»⁴⁷³.

Отсюда следует вывод о том, что нация первоначально есть продукт деятельности государства, формирующего культурную общность «подданных» ради оптимизации системы управления. Но национальный миф (общие формы мышления), устоявшаяся национальная идентичность начинают жить самостоятельной жизнью, и уже государство становится инструментом нации, а не наоборот. В то же время этничность и ее культурные компоненты вовсе не отрицаются. Напротив, они как бы вплетаются в национальное самосознание, делая его отчасти проблемным (в связи с возможным конфликтом идентичностей), но также и разнообразным, вариативным, составляющим группы консенсуса.

Надо сказать и о том, что не всякая деятельность государства образует нацию. Власть как бы нащупывает такие стратегии отношений с подданными, которые вызывают к жизни как бы заснувшие в их сознании стереотипы, едва припомиаемые предания – иными словами, актуализируя национальный миф, исходное происхождение которого невозможно определить и следует отнести исключительно к Божиему промыслу.

В связи с указанными сложностями в западной политологии в попытке представить этнос как «просто кровное родство», а нацию, как «просто юридическое гражданство» делают научные подходы к проблеме этнических и национальных доминант в государственном строительстве невозможными. Родовые, культурные и политические механизмы общности связываются между собой, оставляя разные явления, которые мы и определяем в одних случаях как «этнос», в других – как «нацию». В первом случае доминирующим является родовое (локальное) начало, во втором – политическое (государственное). В первом случае мы имеем преимущественно мифическую идентификацию, во втором – рационалистическую. Но мифическая и научно-практическая рациональности никогда не вытесняют друг друга, их невозможно обособить друг от друга, как невозможно разделить этнос и нацию.

Урс Альтерматт предлагает остерегаться «тирании понятий», когда дело доходит до обсуждений проблем нации и национализма. Искажение понятий искажает действительность. Швейцарский политолог также предлагает остерегаться табуирования и демонизации этих слов⁴⁷⁴. Что, собственно, означает как предостережение от самоутопления в мифе, так и погружение в иллюзию полной логической рациональности политической действительности.

Действительно, латинское слово *natio* обозначает родовую общность (*nassi* – рожден). Но этого мало для понимания современной проблематики нации государства. Попытка исходить из какого-либо ведущего признака нации приводит лишь к тому, что сообразно задачам каждого исследователя вперед выступает какой-либо один из признаков. Так, Французская академия в 1694 г. определила нацию как совокупность всех жителей «одного и того же государства, одной и той же страны, которые живут по одним и тем же законам и используют один и тот же язык». В 1789 г. аббат Сийес определил нацию как объединенную группу, живущую по общему закону, – свел все к юридической норме.

Альтерматт приводит пример многозначности понятия «объединенные нации», указывая, что преамбула декларации о создании ООН сформулирована аналогично Конституции США, и в обоих случаях говорится об «объединенных нациях», хотя во втором случае объединялись не народы, а государства. Другой пример – поиск арабского аналога слову «нация». В конце концов в качестве аналога был принят чисто религиозный термин «умма». «Тирания понятий» в этом случае привела к пониманию «арабской нации», объединенной по религиозному и языковому принципу. Альтерматт приходит к

⁴⁷³ Там же.

⁴⁷⁴ *Альтерматт У.* Этнонационализм в Европе, М., 2000. С. 29–30.

выводу, что значение слова «нация» раскрывается в конкретности историко-культурного контекста⁴⁷⁵.

Хью Селтон-Уотсон полагал невозможным дать научную дефиницию нации, что не мешает существованию самого феномена⁴⁷⁶. Однако ненаучность понятия не может означать непереносимости ненаучности дискурса. Более того, тот или иной его контекст означает определенный политический выбор. Как только слово «нация» включается в содержание какой-либо дискуссии, можно безошибочно констатировать нарастание политической напряженности – либо в контексте защиты Отечества и формулирования общенациональной идеи, либо при выдвижении этноцентристских требований и увеличении опасности раскола нации. Называя себя нацией, общность или группа заявляет требование – для себя государства со всеми его атрибутами, включая международное признание.

Альтерматт отмечает, что в научном мире существует согласие по поводу мобилизационной мощи национализма, которая является одной из самых эффективных интеграционных идеологий⁴⁷⁷. И это особенно важно для научных изысканий, которые в данном случае напрямую вторгаются в реальную политику и формулируют текущие задачи общественным движениям и государственной власти.

Швейцарский исследователь резюмирует противоречия различных точек зрения на нацию так: «Нации основаны не на фактах, а на том, что люди считают фактами. Однако неправильно считать нации просто выдумкой. Они включают в себя народы и людей, которые на протяжении истории случайно оказались живущими друг рядом с другом. Известное изречение гласит: нации — это общности, которые на основании исторической ошибки верят в совместное происхождение и имеют какого-то общего врага»⁴⁷⁸.

В этом резюме мы без труда можем обнаружить ключевой момент понимания политического по Карлу Шмитту – образ врага, а также важнейшее условие для существования нации – политический миф. Нация – и не выдумка, и не факт. Она – реальность политической жизни, глубокий и многогранный политический миф.

Подойдя к пониманию нации и его значимости для политики, Альтерматт боится онтологизации различий между людьми и превращения их в «понятийно-сущностный предрассудок»: «Духовная дезориентация способствует апартеидному мышлению, за которым стоят иррациональные страхи перед "другими", иными. Во времена социальных конфликтов иные кажутся угрозой status quo, местные жители апеллируют к нации, чтобы сделать государство гарантом их традиционных прав владения»⁴⁷⁹.

В этом состоит противоречие – в признании фактического существования нации и этноса и страх перед тем, что межнациональные и межэтнические различия, помноженные на их научное осмысление, доведут до беды. В то же время апелляция к одному различию с целью подавить другое оказывается бесспорным признаком политических процессов – нация, возвышающаяся над этичностью оказывается спасительным кругом в буре социальных конфликтов. Напротив, унижение нации в угоду общечеловеческой перспективе на деле оказывается возвышением этничности и способствует распаду государственности.

Страх перед всяким неравенством – это страх «другого», который западная политическая наука никак не может вписать в свой образ мира. Обращаясь то к идее унификации, то к идее разделения, западная мысль проходит мимо гармонизации различий в иерархии. Принцип различия и иерархизации говорит о том, что считать народы равноправными только на основании того, что они объединяются одним типом

⁴⁷⁵ Там же. С. 31–32.

⁴⁷⁶ *Selton-Watson H. Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism*. Boulder (USA), 1977. P. 5.

⁴⁷⁷ *Альтерматт У. Этнонационализм в Европе*. М., 2000. С. 28.

⁴⁷⁸ Там же. С. 55–56.

⁴⁷⁹ Там же, с. 203.

идентичности, было бы нелепым. Тогда на одну доску ставились бы мельчайшие сообщества в несколько сот человек и стомиллионные народы. Для современного мира даже численность народа в 1 млн. человек не является существенной⁴⁸⁰.

Многие народы находятся еще в стадии национального строительства. Национальные государства в Азии и Африке остались формальными, а этническая и религиозная солидарность перешагивает национальные границы, если речь идет о вторжении Запада со своими экономическими и политическими интересами. В то же время после отступления колониальных держав, создавших подделки под нации, обнажилась донациональная структура Африки – континент на десятилетия погрузился в беспрерывные войны. Это именно те войны, которые должны выявить лидера и установить этнонациональную иерархию на континенте.

Более развитые страны должны беречь достигнутое качество национально-государственного единства, не поддаваясь на иллюзии постнационального существования. Тогда иерархия будет иметь место и конфликтность минимизируется.

Цивилизация, нация, государство

Отношение нации к государству при всем объеме посвященных этому вопросу научных трудов выглядит весьма несложно, если под нацией подразумевать некоторую социальность; в ее природу при определенном упрощении нет необходимости вдаваться. Можно предполагать, что общество возникло до государства, но это мало что дает в теоретическом плане для анализа современного государства. Можно предполагать, что нация создает государство. Но наиболее простой и эффективный подход – полагать, что изначально государство предшествует нации и создает ее. Первоначально единство достигается насильственным путем, но затем формируется общая судьба, люди самым фактом совместной жизни получают опыт совместной деятельности, совместные интересы и формируют представления об общих ценностях, интересах и угрозах.

Материальное единство постепенно формирует и духовное единство. Но не всегда глубина этого единства достаточна, чтобы говорить о нации. Если государство не стабилизируется в своем составе и приходится по-прежнему применять жестокое насилие ради удержания новых завоеванных племен, нация возникнуть не может. Поэтому нацию можно считать результатом определенного дара власти, когда из механического единства людей формируется органическое целое, именуемое нацией – *одухотворенным* общественным союзом, связанным не столько давлением власти, сколько добровольным выбором. Нация свидетельствует об одухотворении государства⁴⁸¹.

Более сложные теоретические проблемы возникают при попытках соотнести государство и нацию с цивилизацией.

Термин «цивилизация» был введен в обращение французскими просветителями XVIII в. и определен как высший этап всемирно-исторического развития, переступившего этап Средневековья. Впоследствии Франсуа Гизо определил цивилизацию как особое состояние народа, находящегося на высоком уровне развития⁴⁸². Цивилизованность Гизо связывал с приоритетом идеи свободы, развитием общественной деятельности и личной инициативы. Эти определения цивилизации являются продолжением либеральной утопии, отделяющей одни народы и государства от других, которым приписывалась нецивилизованность.

Научное обсуждение проблем цивилизационной идентичности той или иной модели государственного строительства впервые введено в оборот в концепции

⁴⁸⁰ Народы с численностью менее одного млн. человек каждый составляют лишь около 3% населения земного шара, а на народы с численностью более 25 млн. человек приходится 68,8%.- Этнические процессы в современном мире. М., 1987. С. 423.

⁴⁸¹ Дебольский Н.Г. Начало национальностей в русском и немецком освещении // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1916, № 2 (февраль). С. 183–207.

⁴⁸² Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб., 1905. С. 10

культурно-исторических типов Николая Яковлевича Данилевского («Россия и Европа», 1868 г.). В дальнейшем цивилизационная школа сформировала аналитический инструментарий для определения национальной идентичности, которая брала в качестве элементарного объекта изучения государство. При этом стало понятным, почему некоторым нациям тесно в своих государственных границах, а иные нации, напротив, стремятся обособиться и/или получить возможность для новых политических союзов.

Данилевский различал культурно-исторические типы по целому ряду признаков. Объединяя их, можно сказать, что культурно-исторический тип – это племя или семейство народов, имеющих «непосредственное ощущение» близости языков, способность «по духовным задаткам» к историческому развитию, независимых и объединенных в федерацию или политическую систему государств. Данилевский отмечает, что цивилизационные начала одного культурно-исторического типа плохо усваиваются другим культурно-историческим типом. Соответственно возникают естественные границы цивилизаций.

Иной концепции цивилизации придерживался Освальд Шпенглер («Закат Европы», 1918 г.), увидевший в переходе к единой общемировой цивилизации конец, завершение культуры. По Шпенглеру, цивилизация – система, объединяющая мировой город и провинцию. Цивилизованные люди как бы теряют признаки культурного стиля. Это уже не люди барокко или рококо, это растворенные в космополитическом братстве сущности, лишенные связи с народным телом. Цивилизация становится существованием без внутренней формы, утратившим символическое значение стиля, деградирующего до переменчивой и бессодержательной с культурной точки зрения моды. Таким образом, в цивилизации национальное тонет и исчезает.

Арнольд Тойнби («Цивилизации перед судом истории», 1947 г.) определил цивилизацию как наименьший блок исторического материала, к которому обращается тот, кто пытается изучать историю собственной страны. Цивилизация – это имеющая пределы во времени и пространстве интеллигибельная единица общественной жизни, составной частью которой является история страны. Концепцию Тойнби сближает со шпенглеровской скептическое видение перспектив Запада. В условиях так называемой постсовременности Запад саморазрушается, его цивилизационная идентичность слабо выражена по сравнению с исламской и конфуцианской цивилизациями.

Шпенглер и Тойнби подходили к определению цивилизации как к ребусу, который требуется загадать, а не разгадать. Тойнби попытался дать разгадку без обоснования, как само собой разумеющееся деление мира на 21 цивилизацию, 6 из которых дожили до нашего времени. Шпенглер со своей стороны загадывает загадку о мировых городах и культурных псевдоморфозах, которые заимствованными формами обманывают поверхностного наблюдателя. Национальное, оказывается, способно сохраняться, меняя обличье.

Попытку упростить задачу и превратить цивилизационную проблематику в инструментарий актуальной политологии предпринял С. Хантингтон, выступивший с нашумевшей статьей («Столкновение цивилизаций?»)⁴⁸³, 1993 г.). Цивилизация по Хантингтону – культурная общность наивысшего ранга, выше которой уже следуют видовые (в культурном измерении) признаки рода человеческого. Деление на цивилизации происходит по совокупности особенностей языка, истории, религии, обычаев, институтов.

Концепция Хантингтона подхлестнула дискуссию в отечественной науке, которая тоже пытается понять объект исследований вполне отчетливо, но примитивно обрисованный американским ученым. Возникают свои варианты ребусов. Например, говорится о цивилизации, как о культурной общности людей, обладающих общим социальным генотипом, социальным стереотипом, освоившей большое (автономное и

⁴⁸³ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций// Полис, 1995. №1.

самодостаточное) пространство, как о географически мотивированном сочетании религиозных, этнических и исторических характеристик. В качестве признаков цивилизации указывается контрастный тип традиции духовности и социальности, географическая (геополитическая) отграниченность от остального мира, воплощение традиции в популяции-носителнице (этнос или группа этносов) с обособленной традицией государственного строительства и своей геополитической судьбой (В.Цымбурский).

Интегрируя «ребусы» о нации и цивилизации, можно предложить следующую схему отношений этих понятий, раскрывающихся в процессе этнокультурного и национально-исторического генезиса социальной общности.

Если рассматривать процесс «намывания» культурного слоя, то достаточно очевидно нарастание на геополитической подстилке различных культурно-исторических явлений. Ландшафтные барьеры, разделяющие локальные этнические формирования формируют локальные культуры. В какой-то момент развитие техники и пространственная экспансия преодолевают барьеры и конфликт культур разрешается путем доминирования одной из них. Доминирует, разумеется, более высокая культура с мощным адаптивным потенциалом и способностью поглощать все лучшее из локальных культур. Так складывается цивилизационная культура, которая в идеальном варианте образует единственный центр – мировой город. Наиболее «живучими» оказываются цивилизации, созданные по модели империи – в них этнокультурное гармонизируется с цивилизационным. Распад империй влечет за собой образование наций-государств, развитие империй – выделение и укрепление национального ядра. Наиболее «живучими» являются нации, добившиеся внутренней цивилизационной однородности и нашедшие возможности политического союза с нациями одной и той же цивилизационной природы – либо в рамках империи, либо в межгосударственном союзе.

Геополитическая подстилка обеспечивает пространственные качества социальной среды. Культура является закрытым и доисторическим типом общения-общности (для которого достаточно понимания устной речи), распределенным в виде «человеческой материи» на геополитической подстилке. Цивилизация представляет собой инструмент вписывания культур в геополитическую подстилку, а также в пространственные конфигурации, созданные историческими империями. Тогда нации – это квазизакрытые территориальные системы, обеспечивающие интеграцию культурной субстанции и цивилизационной структуры в государства-нации. Нации как бы овладевают своей историей и наследием культур и цивилизаций, избавляясь от рока одновариантного естественно-исторического процесса.

В данном случае становятся бессмысленными рассуждения о высших и низших стадиях развития культурных общностей, ибо в каждом уровне заложен свой смысл. Противопоставление нации, цивилизации и культуры становится ненужным. Более того, нация, забывшая о своих этнических или цивилизационных корнях, свое развитие вынуждена определять как попытку возвращения к этим корням. Тогда цивилизация становится еще и высшей стадией культурного развития современной нации (или группы наций), восстановленной на новом уровне вновь обретенной неповторимости и своеобразия характера народных традиций, производственного творчества, науки, искусства, литературы, а также государственных форм и отношений власти и общества. В современном мире цивилизация становится одновременно и общностью наций, отнесенных к одному культурному типу и одному стержню культурного развития. Цивилизация – общность, обладающая парадигмой и ресурсами автономного выживания в процессе природных и исторических катаклизмов («образ особого человечества на отдельной земле»).

Любое государство стремится отнести себя к той или иной цивилизации, более всего отвечающей национальному духу. Растворяясь в цивилизации, государство переживает свое историческое бытие. Даже его гибель в процессе исторических

катаклизмов не означает полного исчезновения его национальной культуры. Наиболее значимые культурные достижения через цивилизацию входят в мировую культуру и служат развитию других национальных и этнических культур. Можно даже определить цивилизацию по функции – по способности сохранять тени народов, государств и культур других эпох.

В то же время нация и государство ни в коем случае не могут ставить перед собой задачи превращаться в тени и гордиться своей «загробной» славой. Такая «гордость» была бы величайшим позором для дееспособной нации и слабым утешением для нации-призрака. Можно даже сказать, что нация до тех пор ощущает свое бытие, пока она нацелена на «земную» славу – когда она воспроизводит живую национальную (и цивилизационную) культуру и добивается политических побед.

Национальная идентичность

Терминологическое поле вокруг понятия «нация» постоянно меняется, трансформируя его отношение к понятию «этнос». Как замечает Альтерматт, в конце 80-х годов XX в. наблюдается новый всплеск терминологических подмен. То, что в 30-х годах называлось расой, сегодня называется родом (происхождением), что раньше было народным духом, сегодня стало культурой, регион находится на месте жизненного пространства и т.д.⁴⁸⁴. Швейцарского исследователя не радует стремление ученых вернуться к оставленным научным парадигмам, обойдя табуированные термины и соблюдая политкорректность. Он боится осмысления этничности, которая будто бы тем самым онтологизируется и превращается из ложной сущности в объективную реальность.

С нашей точки зрения, наука пробивается к истине, преодолевая препятствия, созданные на ее пути идеологическим диктатом, для которого также найден удобный и внешне невинный термин – политкорректность. При этом столкновение научных парадигм оказывается также и политическим столкновением когда речь заходит о судьбе наций и государств. Наука предлагает вбирать либо пути самозащиты, либо пути гибели; либо пути побед, либо пути непрерывного отступления и оправдания своих поражений.

Все попытки определить нацию являются выдвижением той или иной идеи национальной идентичности. Французский богослов Эрнест-Ренан в 1882 г. в качестве ключевой идентификационной идеи выдвинул идею общей воли, возникшей из чувства прежних и предстоящих жертв, прежней и будущей славы. У Сталина в его формуле нации все прошлое заключается в смутном качестве историчности («исторически возникшая общность людей»), а настоящее – в единстве языка, территории, хозяйственной жизни и психического душевного склада, проявляющегося в общности культуры.

Энтони Д. Смит предлагает сравнительную характеристику основных подходов к определению нации⁴⁸⁵:

⁴⁸⁴ Там же.

⁴⁸⁵ *Smith, Anthony D. Nationalism and modernism. A critical survey of recent theories of nations and nationalism. N.Y.-L.; Routledge, 1998. P. 23.*

Организмизм	Модернизм	Постмодернизм
Культурное сообщество	Политическое сообщество	Культурная фикция
Продукт незапамятной древности	Продукт нового времени	Исторические границы феномена нации не рассматриваются
Имеет основания в естественной природе	Сконструирован правящими элитами	Идеологический мираж
Органическое единство	Механическое единство	Аморфность
Внутренняя целостность	Стратификация	Разноприродные фрагменты
Природное качество	Политический ресурс	Воображаемая категория
Свойство всего народа	Изобретение элиты	Анализ ограничен индивидуальными случаями
Механизм функционирования – преемственность	Механизм функционирования – коммуникация	Функционирует только на уровне индивидуального сознания

Сам Смитт определяет национальную идентичность через набор ценностей, символов, воспоминаний, мифов и традиций. Как выразитель синтетического течения, подхватывающего все полезное из других подходов⁴⁸⁶, Смитт вместе с коллегами изучает содержательную сторону национальной идентичности – работу национальной памяти, образный ряд этносимволизма (вожди, святые, герои, избранные победы и поражения), что ближе всего подходит к пониманию национального мифа. Вместе с тем, у этносимволистов миф отрывается от своего источника – родовой общности. Поэтому исходные и простейшие причины идентификации остаются под вопросом.

На наш взгляд, ключевым в идентификации всегда остается понятие рода, родовой общности. Причем следует всегда помнить, что нация, в отличие от этничности, - произведение не только чувства, но и интеллекта. Нация исчезает, если граждане перестают размышлять о причинах своей общности и солидарности. За денационализацией следует развал государства - в отечественной истории так рухнул СССР, в европейской истории разложение национального чувства облегчило создание объединительных институтов и американизацию европейской жизни.

Алексей Федорович Лосев связывал род и индивида: «Жизнь, общая родовая жизнь порождает индивидуума. Но это значит только то, что в индивидууме нет ровно ничего, что не существовало бы в жизни рода. Жизнь индивидуумов – это и есть жизнь рода. Нельзя представить себе дело так, что жизнь всего рода – это одно, а жизнь моя собственная – это другое. Тут одна и та же совершенно единая и единственная жизнь. В человеке нет ничего, что было бы выше его рода. В нем-то и воплощается его род. Воля рода – сам человек, и воля отдельного человека не отлична от воли его рода. Конечно, отдельный человек может стремиться всячески обособиться от общей жизни, но это может обозначать только то, что в данном случае приходит к распадению и разложению жизни самого рода, разлагается сама жизнь данного типа или в данное время или в данном месте. Так или иначе, но всегда жизнь индивидуума есть не что иное, как жизнь самого

⁴⁸⁶ См. анализ различных подходов к национальной идентичности в статье: *Кабанов И.А.*
<http://www.vsu.ru/science/sch-sem/publication/docs/kabanova01.html>

рода, род — это и есть единственный фактор и агент, единственное начало, само себя утверждающее в различных индивидуумах»⁴⁸⁷.

Николай Александрович Бердяев выделяет в данном вопросе динамическую составляющую: «Человек органически кровью принадлежит к своей расе, своей национальности, своему сословию, своей семье. И в неповторимой, лишь ему одному принадлежащей индивидуальности своеобразно преломляются все расовые, национальные, сословные, семейные наследия, предания, традиции, навыки. Личность человеческая кристаллизуется на той или иной органической почве, она должна иметь сверхличную компактную среду, в которой происходит качественный отбор. Одно из самых больших заблуждений всякой абстрактной социологии и абстрактной этики — это непризнание значения расового подбора, образующего породу, вырабатывающего душевный, как и физический тип»⁴⁸⁸.

«Расовый подбор», о котором здесь говорится, не может не привести к евгенической проблематике, важной для понимания путей сохранения социальной структуры общества и обеспечения его конкурентоспособности. Также можно понять «расовый подбор» как последовательную политику формирования национальной аристократии, концентрирующей в себе национальный идеал.

Для нас особенно важно подчеркнуть не только антропологическую предзаданность характеристик общества, но и реальность политического мифа нации, который невозможно не опровергнуть, но обойти. Как пишет Хьюбнер, «идентификация с некоторой нацией не является актом воли или свободного решения. Это — судьба. (...) Человек со своим родным языком, детством и юностью, которые накладывают на него неизгладимый отпечаток, самым фактом своего рождения принадлежит своей нации, безразлично, идет ли речь о нациях мононационального или многонационального государства, либо о культурной нации»⁴⁸⁹.

Как бы ни относиться к национальной мифологии, она есть реальность политики: «Интуитивное, так сказать, наивное национальное сознание, которое и сегодня нередко отбрасывается, если не сказать — презирается как смутное, нелогическое, иррациональное, фиктивное и окончательно устаревшее, при этом полностью выдерживает научную верификацию и анализ и может быть спокойно сохранено»⁴⁹⁰.

Все попытки третировать мифологическую реальность заведомо непродуктивны ни с научной, ни с политической точки зрения. Они основаны на наивной вере, что человеческую природу можно переделать путем беспрерывных внушений какой-то рациональной истины. История показывает нам, что все попытки образования многонациональных обществ приводили к краху — для имперских государств это была внутренне назревающая катастрофа, против которой не было никаких рецептов, для федеративных государств — самоубийственная национальная политика. В «многонациональности» этническая и национальная идентичности противопоставляются, и национальная идентичность гибнет — она оказывается более хрупкой конструкцией, миф перебарывает рационализм, если он не строится по канонам современной рациональности как национально ориентированная государственная пропаганда.

В принципе задача обеспечения жизнеспособности государства должна предполагать определенную иерархическую зависимость идентичностей, прежде всего этнической и общенациональной. Наиболее ярко эта проблематика вскрывается именно в истории империй.

Хьюбнер подходит к этой проблеме: «...нации типа античного полиса характеризуются общим родным языком, закрытым пространством поселения и общей культурой. При этом в дозволенных здесь рамках обобщения мы можем отвлечься от

⁴⁸⁷ Лосев А. Ф. Родина//Русская идея. М.: Республика, 1992. С. 421–422.

⁴⁸⁸ Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., ИМА-пресс, 1990. С. 133.

⁴⁸⁹ Хьюбнер К. Нация. М., 1999. С. 345

⁴⁹⁰ Там же. С. 332.

особенного городского характера древнегреческих полисов. Нации типа Священной Римской империи, напротив, содержат в себе нации типа античных полисов в качестве *конститутивных элементов*. Объединяющая культурная идея Империи словно вбирает в себя культурные идеи составляющих элементов, не разрушая их. Каждый из граждан империи понимает себя, с одной стороны, как принадлежащего к меньшей родине, ее языку, нравам и обычаям, но, с другой стороны, ощущает себя одновременно и подданным императора, а тем самым, принадлежащим к более объемлющему христианскому государству. Всякое рассуждение о нации изначально обречено на пустословие, если это понятие определяется слишком узко и применяется лишь к гомогенным образованиям. Еще и сегодня споры о нем отмечены этим недоразумением, которое скрывает в себе не только опасность национальной ограниченности и шовинистической обособленности, но и именно ввиду этой ограниченности опасность возможного вытеснения конкретной, исторически релевантной национальной реальности. Поэтому большое значение имеет прояснение того обстоятельства, что государство, объединяющее много народов, заслуживает названия нации, ибо вопреки своему национальному многообразию оно являет собой единую, значимую для всех его граждан культурную форму, порождая чувство общей принадлежности и общее сознание идентичности, если только это государство существует достаточно долго⁴⁹¹.

Проблема иерархической соподчиненности того, что Хюбнер продолжает именовать нацией в двух разнородных смыслах – объединяющем (имперская идентичность) и разъединяющем (локальная идентичность) должна разрешаться не только в практике государственного управления (вплоть до подавления локальных идентичностей), но и в теоретическом плане. Это требует отказаться от именования локальных идентичностей как национальных – в них уже не должно быть никаких государственных мотивов. Напротив, локальная идентификация должна трансформироваться в идентификацию в основном безотчетную, родовую, идентификацию места – малой родины. И только в этом случае конфликта идентификаций можно будет избежать.

Хюбнер вводит понятие «регулятивная идея», представляющее собой некую усеченную логическую конъюнкцию всех присущих нации правил и регулятивных систем, а также их логические отношения. Усечение как раз касается невозможности видения сквозной логической тотальности. Логика рассыпается на фрагменты, а тотальность воплощается только в идее (а точнее, в политическом мифе, консолидирующем миф культурно-этнический и государственную рациональность), носящей в значительной мере описательный характер, не чуждый противоречиям (нескончаемое рассмотрение эмпирических элементов национального множества). «Пережитые и выстраданные противоположности становятся идентификационными признаками нации»⁴⁹².

Соотнося нацию с понятием судьбы (истории), мы должны рассматривать ее как групповую идентификацию с определенной последовательностью исторических событий, приобретающих как рационально объяснимую цепь взаимозависимых явлений, так и мифическую предопределенность. Как и частная биография, история нации может быть поведена в качестве сухой справки или поэтизированного сюжета. Множественность возможных форм описания судьбы нации означает также и множественность измерений национальной идентификации – она столь же неоднозначна и столь же реальная как и идентификация личности. Идентичность проявляется во множественности аспектов личности или нации, которые никогда не могут быть исчерпаны, но всегда содержат определенное идентифицирующее ядро («регулятивные идеи») – избранные моменты судьбы, становящиеся символами. Причем, это ядро может содержать крайне

⁴⁹¹ Там же. С. 52–53.

⁴⁹² Там же. С. 298.

противоречивые элементы – и победы, и поражения, и проявления антиномий народного духа – силу в одни периоды и слабость в другие.

В то же время Хюбнер выделяет узловые пункты целостного множества, от которых зависят все остальные, образующие подсистемы: «Идентичность нации определяется множеством регулятивных систем, которыми в определенные моменты времени руководствуются субъекты, формирующие горизонт близкого и знакомого ("свое"): ценности, нравы, культура, язык, политические идеи, а также отношение к географии, климату, ремеслу и "стилю". Иерархические отношения систем образуют структуру - структурированное множество систем. Возникает синхронная идентичность, артикулирующая "общий дух" (Монтескье) и романтическую национальную идею как культурную форму».

Немецкий философ отмечает, что множество систем вовсе не подразумевает схематизации, поскольку жесткие правила предполагают их практическую гибкость. Даже иррациональное, слепое, аффективное поведение несколько не исключается, если оно характерно для национально релевантных групп. Динамика множества национальных систем никогда не складывает их в готовую тотальность, никогда не завершается логически⁴⁹³.

Структурированное национальное множество систем, как пишет Хюбнер, никогда нельзя полностью перечислить, это множество не дано как тотальность, но дана возможность описывать его и объяснять регулятивную идею национального множества. При этом нация, как и личность, продолжает жить со своими противоречиями, а борьба с национальными противоречиями оказывается также борьбой за национальную идентичность. Разрешение всегда возможных противоречий происходит в национальном мифе.

Очень близкие к хюбнеровским выводы делает Светлана Лурье⁴⁹⁴. Статике изучения «национального характера» она предпочитает динамику – историческую этнологию. Только в истории могут быть замечены неизменные черты. В связи с этим характер становится одновременно и «сценарием», который разыгрывается народом в своей истории. Неизменные элементы С.Лурье называет *этническими константами*, а формируемую ими динамическую схему — *генеральным культурным сценарием*. В этом сценарии ролевые и сюжетные особенности определяются диспозицией, в которой константы занимают свои позиции.

Этнические константы описываются, как элементы картины мира:

- *образ себя (образ «мы»)* - представление о себе, своих возможностях, своих сильных и слабых сторонах, своих намерениях;
- *образ добра* и его связь с «мы»;
- *образ источника зла (образ врага)* - препятствие, которое необходимо устранить, чтобы установить желаемое положение вещей;
- *образ поля действия* задает ту психологическую структуру пространства, в котором совершается действие.
- *образ способа действия* – метод достижения желаемого результата;
- *образ условия действия* – представление о ситуации, которая необходима, чтобы действие было совершено;
- *образ покровителя* – внешняя сила, которая может помочь «мы» в победе над «злом».

С очевидностью здесь просматриваются конструкции национальной мифологии. Не случайно, «приходится прибегать к языку метафор и говорить о константах не в их исходном виде, а в виде, проявленном при помощи *трансфера*, т.е. переноса бессознательных установок на те или иные конкретные обстоятельства». И тогда хюбнеровские «регулятивные идеи» становятся содержанием *центральной культурной*

⁴⁹³ Там же, с. 298-299

⁴⁹⁴ Лурье С.В. поисках русского национального характера// Отечественные записки, 2002. №3.

темы, которая все время озвучивается и реинтерпретируется в историческом сюжете с целью восстановить в современном звучании национальную идентичность и подтвердить наличие сакрального смысла существования нации. Иначе говоря, центральная культурная тема является Большим национальным мифом.

В данном случае мы видим почти идентичные позиции, но Хюбнер говорит о нации, а Лурье – об этносе. Авторы разводит к разным терминологическим полюсам внимание к реальной и мифологической истории. Для Лурье центральная культурная тема (миф) образуется в результате удачного трансфера бессознательных констант. Мифологический подход Хюбнера говорит об ином – миф имеет свое внутреннее обоснование, и для него нет необходимости в совпадении трансфера с успехом адаптации в исходных условиях зарождения этноса. «Начало истории» всегда и всюду имеет легендарную природу вне зависимости от успеха или неуспеха первых шагов этнической истории.

Этнос становится нацией только после того, как совершил обратный «трансфер» исторической информации в собственное бессознательное. Тогда миф приобретает политический характер, а человек создает государство – дом для своего народа, населенный духами предков и воспоминанием о родоначальнике и законодателе. Политическим мифом, таким образом, обладает нация, но не этнос, чья центральная культурная тема лишена социальной функции и представления о государстве.

Этническое смешение и этногенез

Невнятность советской этнологии можно проследить в определении, которое давал этносу Л.Н.Гумилев: «Этнос – это коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Не ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за скобку мы можем только одно - признания каждой особе: “мы такие-то, а все прочие – другие”. Поскольку это явление повсеместно, то, следовательно, оно отражает некую физическую или биологическую реальность, которая и является для нас искомой величиной»⁴⁹⁵.

При всей невнятности в определении Гумилева имеется научная задача поиска, выявления объективной биологической реальности, которая скрывается за универсальным самоопределением «мы», которое пока нельзя заместить каким-либо набором «объективных» признаков.

Те же черты проблемного определения мы можем видеть в ставшем для советской науки классической формулировке Ю.В.Бромлея: «Этнос может быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, обладающих не только чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)»⁴⁹⁶.

«Межпоколенная совокупность» здесь является остатком некоей «физической реальности», осознаваемой опосредованно через отличие и обособление своей группы в культуре, языке, этнониме. Это последнее – отличие (иными словами, определение в системе координат «свой-чужой») стало для этнологии главной проблемой, поскольку искомая «физическая реальность» оказалась недоступной для исследователей XX века – в начале века в силу ограниченности естественнонаучных методик, в конце века – в силу политического табу.

⁴⁹⁵ Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993, с. 19.

⁴⁹⁶ Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983, с. 58.

В конце концов «физическое» отступает на задний план и исследователю остается лишь «этничность» – некий конструкт группового сознания, по сути дела миф⁴⁹⁷. Но тем самым этнология приближается к политологии (разумеется, при отнесении к историческим народам, а не к диким племенам) – мы имеем для этого и дихотомию «свой-чужой», и культурный миф (в современном обществе неизбежно политизированный). Способствуют этому и идеологические столкновения по поводу судьбы государства и нации, а также сближение определений «нации» и «этноса» в ряде политизированных теорий.

Современная этнология, подпав под влияние либеральной парадигмы, стремится устранить из определения этноса все биологическое и историческое. Даже уклончивая позиция советской этнологии, близкая к «примордиалистской», оказывается для этнологов «демократической» эпохи неудовлетворительной. Нигилизм постсоветской этнологии доходит до прямого отрицания существования собственного объекта исследований – этноса⁴⁹⁸. Марксистские уступки в пользу культурно-исторической концепции этноса и отказ видеть его социологическую природу, уже не устраивали потрясателей традиционной науки.

От имени потрясателей В.А.Тишковым был выдвинут следующий обличительный тезис вполне политического свойства: «опасаясь впасть в идеологическую ересь... вместо того, чтобы оценить реальную силу духовной субстанции, - мифотворческого фактора... сотворили миф о безусловной объективной реальности этнических общностей как неких архетипов»⁴⁹⁹. В противовес выдвигалась собственная мифотворческая доктрина: «Этносы... есть умственные конструкции, своего рода “идеальный тип”, используемые для систематизации конкретного материала... Они существуют исключительно в умах историков, социологов, этнографов... в действительности же... есть некое культурное многообразие, мозаичный, но стремящийся к структурности и самоорганизации континуум из объективно существующих и отличных друг от друга элементов общества и культуры»⁵⁰⁰.

Постсоветские этнографы стали претендовать на разрушение этнических мифов и замену их другими мифами – мифами об отсутствии объективных причин для этнической солидарности. Место этноса в либеральной парадигме заняла этничность – набор признаков, определяемых некими химерами группового сознания, которые требовалось систематически изживать. Мол, этноса как такового нет, но есть этничность. Этническая идентичность становилась «проклятой иррациональностью», которую надо было разоблачать как наивное и опасное заблуждение.

В непрекращающейся этнологической схватке номиналистов и реалистов возникает два неудовлетворительных для науки вывода, подобных «основному вопросу»

⁴⁹⁷ См., например, Колтаков Е.М. Этнос и этничность// Этнографическое обозрение, 1995, №5, с. 17. В данной работе утверждается, что для этноса лишь на этапе становления существенны общность территории, языка, культуры и т.д., а ставший этнос утрачивает объективную основу и главным становится этническое самосознание, окрашивающее все объективные характеристики общности в этнические тона. Таким образом, можно говорить о том, что происходит становление «мифа этничности».

Суждение об этническом мифе присутствует у западных этнологов. Например, Э.Смит определяет этнос как «общность людей, имеющая имя, разделяющая мифы о предках, имеющая совместную историю и культуру, ассоциированная со специфической территорией, и обладающая чувством солидарности» - Smith A. The ethnic origins of nations. Oxford, 1986, p.30. В данном определении миф определяет все атрибуты этноса – и специфичность территории (священная земля), и солидарность, и представление об общности культуры и истории.

⁴⁹⁸ Дело доходит до диких обвинений в адрес «примордиалистов». По мнению И.С.Кона (известного публициста советской поры, ставшего этнологом в постсоветское время) вера в кровное родство должно непременно обратить Пушкина в русскоязычного эфиопа – Кон И.С. Несвоевременные размышления на актуальные темы// Этнографическое обозрение 1993, №1, с. 4.

⁴⁹⁹ Тишков В.А. Да изменится молитва моя!...М., 1989, с. 7.

⁵⁰⁰ Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса// Этнографическое обозрение, 1992, №1, с. 7-8.

марксистско-ленинской философии о первичности либо этнического сознания, либо этнической материи. Первые выступают в роли социальных конструктивистов, вторые – эссенциалистов, первые выводят все категории из исторического контекста и состояния сознания общества, вторые – исключительно из объективных явлений.

Доминирующее ныне конструктивистское представление об этносе представляет собой совершеннейший научный тупик, в котором барахтаются сотни исследователей из приверженцев идей Просвещения, для которых этнос – игнорируемая сущность, подменяемая нацией-государством, понимаемым исключительно как некий общественный договор. По их утверждениям этнос – «лишь миф». То есть, ложь, «воображаемая общность», осуществляемая как «перманентный психоз»⁵⁰¹. В лучшем случае конструктивистами признается, что этнос – некая статистическая совокупность без признаков субъекта или же феномен, порожденный желанием к объединению. Возникает вопрос, каким же образом этнос все-таки фиксируется статистикой (хотя бы по каким параметрам) и откуда же берется желание сохранить единство в рамках статистически зафиксированной группы? На этот вопрос постсоветские и западные этнологи-конструктивисты ответить не могут и не хотят, переводя проблему определения этноса в область политической догматики. То же происходит и с термином «нация».

Если эссенциалисты, стоящие на базисе марксистской философии, еще способны к научным изысканиям, то конструктивисты превращают объект исследования – этнос и нацию – в артефакт, от которого остается лишь этноним (переносимый также на нацию). В последнем случае этносом или нацией становится то, что люди думают об этничности и национальности. А думают они разное. Соответственно, этнос и нация меняют свои лики в зависимости от текущего состояния общества и даже отдельных составляющих этого общества, для каждой из которых этнос и нация имеют собственные черты. Немалую роль в этих установках, превращающих саму науку в фикцию, сыграли уничижительные домыслы вроде: «потри любого русского и найдешь татарина».

Безусловно, гибридная природа этноса, определяемого не только близкородственными признаками, но и заимствованными чертами пришельцев извне, составляет важную проблему этнологии. Нет смысла протестовать против расовой природы этноса, когда разнообразные расовые признаки, вероятно, присутствуют в каждом этносе и в каждом индивидууме. И дело даже не в том, что некоторые из них являются биологически доминантными, а другие могут и вовсе вымываться из этнического генофона с течением времени. Дело в том, что некоторые расовые признаки могут оказываться *культурно доминантными*, «просыпаясь» в определенных условиях даже вопреки биологическим задаткам, имеющим статистическое преимущество. Именно таким образом происходит взаимодействие природно-биологического и духовного в человеке – типично русский фенотип может сочетаться с совершенно нерусским культурным стереотипом. И напротив, фенотипически нерусское лицо может принадлежать человеку с истинно русской душой – казалось бы подавленные биологические корни русскости становятся для него доминантными в повседневном поведении. Судить же о личности по экстерьеру опрометчиво. Атлетический торс может принадлежать трусу, а в хлипком теле заключаться могучий дух. То же касается физиогномики. Что лицо – зеркало души, узнаешь только после опыта длительного общения с человеком, после познания его души.

Не разворачивая подробных обсуждений, мы можем сказать, что этнос соединяет в себе и объективную природу человеческого родства, и чувство (духовное чутье) этого родства. Этнос – это группа людей, соединенная чувством биологического родства (пусть даже весьма отдаленного и «замутненного» родством с иными общностями), закрепленным в традиции (мифе). Утрата чувства родства разрушает этнос, несмотря ни на какие биологические причины для единства. Утрата биологического базиса делает

⁵⁰¹ Соколовский С.В. Парадигмы этнологического знания// Этнографическое обозрение, 1994, №2, с. 9.
250

родовую солидарность фальшивой, а фальшь рано или поздно разъедает родовой миф и этнос исчезает. Этническая природа нации ставит перед ней задачу культурного поддержания тех биологических доминант, которые изначально присутствуют в образовавшейся общности. Соответственно, возможна и необходима национальная этнополитика, целенаправленно проводимая государством ради собственного сохранения и означающая подкрепление заданных природой человека признаков племенного родства. Речь, разумеется, не о тотальной евгенической чистке, а о социальных практиках подкрепления биологических доминант данного народа и формирования из него нации – общности, в которой культурная среда пробуждает традиционные типы поведения, соответствующие определенному расовому типу.

Возвращаясь к проблеме этнического смешения, следует сказать, что пониманию феномена политической нации чрезвычайно мешает устоявшееся убеждение в том, что ни один государственный организм не обходится без смешения различных народов, и любой народ также есть плод какого-либо смешения. Такому убеждению противоречат факты истории и те закономерности, которые подтверждаются культурным материалом.

Пониманию феномена политической нации чрезвычайно мешает устоявшееся убеждение в том, что ни один государственный организм не обходится без смешения различных народов, и любой народ также есть плод какого-либо смешения. Такому убеждению противоречат факты истории и те закономерности, которые подтверждаются культурным материалом.

Смешение этносов становится естественным следствием после предположения об их смертности. Считается, что этносы рождаются и умирают. Но тогда непонятно, почему восстановленные образы наших предков из сохранившихся древних захоронений без труда соотносятся с типичным образом какого-нибудь из живущих этносов (скажем, фараон Тутанхамон как две капли воды похож на известного бразильского футболиста). Трудно совместить смертность этносов с фактом практического бессмертия генов. Но и помимо этого, существуют достаточно серьезные причины с осторожностью относиться к теории этногенеза, основанного на изначальном смешении.

Знаменитый русский ученый, автор ряда популярных книг Лев Николаевич Гумилев предположил, что этнос получает энергетический толчок извне, который собственно его (этнос) и образует. Возникает вопрос о субъекте восприятия этого энергетического заряда. Этнуса еще нет, а энергия впрыснута буквально в несколько человек. Получается, что и субъект, порождающий этнос – исключительно специфичен. В дальнейшем этнос почему-то никакой энергетической подпитки воспринять уже не может и вынужден следовать путем, предначертанным начальными условиями его зарождения. Поэтому приходится предполагать, что энергетический импульс всегда носит также исключительно специфический характер (нет импульсов с повторяющимися параметрами).

Изначальная энергия этноса, по теории Гумилева, расходуется в течение полутора тысяч лет. То есть, мы имеем дело с колоссальным ресурсом, который притом так тщательно спрятан, что его невозможно выявить средствами естественных наук. Замечательным свойством этой неведомой энергии является односторонний характер ее расходования только на преодоление сопротивления среды (природной и иноэтнической). В обратную сторону процесс не идет – компенсировать потери невозможно, даже овладевая природными и социальными процессами. Получается, что вооружаясь государственной, промышленной и культурной мощью, этнос теряет что-то безвозвратно. То есть, этнос, вопреки явным и ясным обстоятельствам, считается закрытой системой, которая не в состоянии подпитываться энергией извне, переплавляя ее в энергию собственной жизнестойкости. Это тем более странно, если заметить рост численности этноса и увеличение вероятности мутаций, вызванных самыми разными причинами.

Указанные проблемы говорят о крайне неудовлетворительном характере гипотезы Гумилева о космическом происхождении пассионарного энергетического всплеска. Для

микромутации, о которой пишет Гумилев, нет надобности в космическом излучении. Мутация случайным образом дает группе индивидов новое качество, в дальнейшем формирующее этнос. (Можно предположить, что мутации усиливаются среди маргиналов именно в силу ослабления их жизнеспособности.) В одних случаях смешение генотипических различных групп приводит к ослаблению их жизнеспособности, в других – к повышению и получению преимуществ по сравнению с другими группами. Допустим, что так оно и есть. Но тогда этногенез имеет лучшие условия в местах наибольшего контакта различных этнических групп – на периферии ареалов их обитания или в условиях завоевания одного этноса другим. Иными словами, образованию этноса способствуют, прежде всего, маргинальные группы, слабо связанные с этническим ядром (включая завоевательные армии).

Действительно, Гумилев пишет, что новый этнос возникает только при сочетании двух и более этнических субстратов, двух и более культур на границе двух и более ландшафтов. К этому добавляется пассионарный толчок-мутация. Затем возникший этнос проходит: 1) фазу подъема, которая имеет инкубационный и явный периоды; 2) акматическую фазу; 3) фазу надлома; 4) фазу инерции; 5) фазу обскурации; 6) фазу гомеостаза. Интересно, что уже в явном периоде фазы подъема носителями микромутации оказываются только пассионарии, а субпассионарии лишь противодействуют порывам пассионариев или в лучшем случае следуют за ними, создавая балласт для социальных процессов. И только в акматической фазе завершается слияние столкнувшихся этносов – пассионарии доминируют. В фазе надлома снова обнаруживается конфликт и раскол – субпассионарии берут реванш и ослабляют жизнеспособность этноса. В фазе обскурации противоречия затухают (субпассионарии победили), а в фазе гомеостаза достигается равновесие этноса с природной средой.

Приведенную схему этногенеза Гумилев подкрепил обширным историческим материалом. Вместе с тем, этот материал преимущественно почерпнут из истории слабозаселенного евразийского пространства и допромышленного этапа развития. Действительно, европейская история (а теперь уже и общемировая) знают непрерывный контакт многих этносов – границы государств не совпадают с этническими ареалами; этносы легко преодолевают ландшафтные барьеры; маргинальность присутствует уже не только на территориальных границах, но и пронизывает все общество и все пространство. Но никакой активизации этногенеза в последние столетия незаметно. Остается полагать, что перестали поступать космические импульсы?

Даже евразийский исторический материал позволяет объяснить «пассионарный» всплеск, как и этнический упадок, вполне земными причинами. Если закрыть глаза на таинственность возникновения нового знания, то все остальное выглядит как простая технология, эксплуатирующая природные ресурсы и автоматически наращивающая численность этноса. Ландшафт дает этносу повышенную продуктивность до тех пор, пока его ресурсный потенциал не исчерпывается.

Известен пример Буковской орды, которой было позволено поселиться в 1801–1803 г. в междуречье Волги и Урала на пустующих землях Рын-песков. За 20 лет поголовье скота здесь увеличилось с 200 тыс. до 5 млн. Последующий экологический кризис (недостаток кормов) потребовал сокращения поголовья до 1,5–2,5 млн. Но даже при таком кризисе численность орды за 40 лет увеличилась с 50 тыс. человек до 150 тыс.⁵⁰².

Если считать такую закономерность общей, то можно оценить рост численности монголо-татар Золотой Орды за столетие со времени окончания завоевания Восточной Европы в 1242 г. до первой эпидемии чумы в 1346 г. Численность завоевателей-скотоводов должна была вырасти с нескольких сот тысяч до нескольких миллионов. При нормативах владения скотом, подобных существовавшим в Буковской орде, экологический кризис

⁵⁰² Иванов И. В., Васильев И. Б. Человек, природа и почвы Рын-песков Волго-Уральского междуречья в голоцене. М., 1995. С. 181, 184.

был неизбежен – сотни миллионов животных должны были превратить обширные пространства леса и степи в пустыни и полупустыни⁵⁰³. Именно экологический кризис в сочетании с культурной парадигмой, не позволявшей переходить к земледелию, подорвал силы золотоордынцев. Столь многочисленный этнос уже невозможно было превратить в кочевое войско, история не предоставила также возможностей избавить золотоордынцев от противоречий и конфликтов во властной элите. Набеги татар на славянские территории уже не могли носить характера тотальной войны – в XV в. там, где прокатывалось татарское войско, пространство превращалось в пустыню. Но Русь теперь была более продуктивной экономически, что в конце концов привело и к численному перевесу, и к переходу на службу русским многочисленных татарских отрядов, с помощью которых Иваном Грозным была взята Казань. Крымское ханство продержалось до конца XVIII в. только вследствие поддержки Турции и отвлечения сил России на борьбу с Польшей и завоевание Сибири.

Этические установки, которые Гумилев приписывает каждой из стадий этногенеза, могут быть многократно отнесены к разным историческим периодам одного и того же народа. Фаза обскурации с конформистским лозунгом «Будь таким, как мы!» может быть для России в равной мере отнесена и к советскому застою, и к периоду ельцинизма, и к Смуте. Напротив, верховенство долга («Будь тем, кем ты должен быть») – к периодам Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941–1945 г. Историческая обусловленность этического императива налицо. Скорее, здесь просматриваются быстрые фазы государственного развития, чем растянутого на целые эпохи этнического.

Более плодотворной гипотезой Гумилева считается предположение о создании этноса из консорции - объединения небольшой группы людей, связанных взаимной симпатией, единой целью и общей исторической судьбой. Такая группа может образоваться без всякого смешения с другим этническим субстратом, и, напротив, сплотиться в противостоянии враждебному этническому окружению.

С древних времен всякое этническое смешение было связано с нестабильностью, кризисом сакрального, наступающим в случае внезапных катаклизмов (смерть вождя, голодо-мор и т.п.). Ослабленный этнос в этом случае лишается веры в своих жрецов и спасительную силу религиозных ритуалов. Возникает всеобщее недоверие и крушение иерархии социальных статусов. Только в этом случае может возникнуть обращение к варягам: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Придите и владейте нами». Сакральность стабильного этноса в случае кризиса может быть признана действительной, а собственная – ложной. Тогда «не совсем людьми» для остатков родовой аристократии (например, сохранившихся после междоусобицы в одном из родов) оказывается большинство собственного этноса. Именно в этом случае «чужак» может быть избран вождем, отвечающим за преодоление сакрального кризиса и берущим на себя функцию учреждения новой сакральности. Если функция выполнена, возникает новая социальность, если нет – чужак становится ритуальной жертвой и социальность становится без него.

Определенное смешение в такой модели нестабильности возможно, но оно не способно серьезным образом изменить антропологические признаки этноса, поскольку «чужаки» составляют ничтожное меньшинство – часть ведущего сословия, которая в дальнейшем растворяется в этническом большинстве. Меняется культурная парадигма, но генофонд остается прежним. Более того, новая культурная парадигма приспосабливается к законам этнического менталитета и вмещающего ландшафта – только в этом случае доказательство жизненности новой сакральности может состояться.

Простая мысль о смешении высказывалась основателем русской антропологической школы Анатолием Петровичем Богдановым: «Если в густонаселенную

⁵⁰³ Кульпин Э. Граница леса и степи в судьбе России// Отечественные записки, 2002. №6.

местность, представляющую более или менее компактную массу, однородную по своему кровному составу, попадает незначительное число переселенцев иной расы или если они выше по культуре, то оставляют несомненные следы своего прихода в языке, в нравах и обычаях, но с кровной точки зрения они совершенно исчезают в первобытном населении. Замечательно, что призвание варягов имело большое бытовое и государственное значение, оставило свой след в истории народа, но не оставило никакого антропологически заметного следа. Иное дело бывает, если в редко разбросанное, малочисленное население попадает сравнительно значительное число новых колонизаторов. Если от прикосновения с ними не исчезнет племя, не уйдет в другие места, не будет перебито или не вымрет от отнятия у него единственно возможных условий для его существования, то оно подчиняется новым колонизаторам земли, и притом не в смысле политическом или бытовом исключительно, а в смысле антропологическом, если только оба племени при соединении могут давать плодущие поколения»⁵⁰⁴.

В своих работах Богданов выделяет несколько причин асимметричности смешения:

1. Традиция неприятия инородцев и иноверцев в семью: «идеал русского человека вовсе не таков, чтобы легко скрутить свою жизнь с какою-либо «поганью», как и теперь еще сплошь и рядом честит русский человек иноверцев. Он будет с ним вести дела будет с ним ласков и дружелюбен, войдет с ними в приязнь во всем, кроме того, чтобы породниться, чтобы ввести в свою семью инородческий элемент. На это простые русские люди и теперь еще крепки, и когда дело коснется до семьи, до укоренения своего дома, тут у него является своего рода аристократизм, выражающийся в отвращении к инородцам»⁵⁰⁵. Следовательно, смешанные внесемейные дети жили в более трудных условиях (отторжение у обоих народов инородческой связи, «неполная» семья, угнетение потомства) или в малодетных семьях, если происходил разрыв с традицией из-за более тяжелых условий (прежде всего, из-за отсутствия поддержки старших поколений в деле воспитания потомства).

2. Мужской состав колонизаторов: «В соприкосновении с инородцами, как это мы видим и теперь везде, куда проникают европейцы, приходят не семьи европейцев с семьями туземцев, а бессемейная европейская толпа мужчин в виде войска, матросов, искателей приключений, торговцев, весьма много вредящая антропологу в сравнении чистоты типа первобытных племен»⁵⁰⁶. Соответственно, прочная семья была почти немыслима, а хаотические половые связи беспорядочными – внесенный смешанный элемент просто поглощался туземной средой. Отчасти сопротивляемость колонизаторам может выражаться в том, что метисы первой крови (от первого смешения) представляют более сходства с материнской расой, чем с отцовской⁵⁰⁷.

3. Направленность метисации. Например, ведущая к чрезвычайной редкости случаев рождений, происходящих от англичан с австралийками и французов с новокаледонками. И наоборот, на островах Полинезии плодовитость с европейцами оказывалась более высокой, чем с местной расой⁵⁰⁸. Направленность метисации может быть связана также с большей смертностью потомства (в разных возрастах) или снижением плодовитости метисов.

⁵⁰⁴ Богданов А.Н. Антропологическая физиогномика. Скрещивание и метисы // Русская расовая теория до 1917 года, М., 2002, 135-136. Ср. у Шпенглера: «...все странствующие народы ...были очень малы по отношению к населению занятых областей, насчитывая немногие тысячи воинов, и превосходили туземцев лишь своей решимостью: ими двигал порыв сделаться судьбой, а не претерпевать ее». - Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. М.: Мысль, 1998. С. 167. Решимость они передавали туземцам, а вот их генетический родовой образ исчезал навсегда в пучинах человеческого моря.

⁵⁰⁵ Там же. С. 137.

⁵⁰⁶ Там же.

⁵⁰⁷ Там же. С. 149.

⁵⁰⁸ Там же. С. 147.

4. Нестойкость признаков метисации. Например, мулаты – метисы первой крови демонстрируют большой разброс в пигментации кожи. В целом наблюдается преобладание черт либо материнской, либо отцовской расы⁵⁰⁹. Неустойчивость соответственно, оказывается причиной того, что смешение не дает признаков новой расы, и последующие смешения восстанавливают разграничительные признаки практически в полном объеме (хотя следы первичного смешения могут угадываться во многих поколениях). Устойчивая численность метисов с выраженными смешанными признаками возможна лишь при непрерывных контактах двух рас. Прекращение таких контактов должно приводить к достаточно быстрому исчезновению метисов.

В целом уже само существование достаточно многочисленного народа, осознающего свое единство, свидетельствует о направлении биологического отбора при смешении и о том, что прежние этнические кризисы были преодолены без существенного ущерба «чистоты крови».

Кризис может возникнуть, например, в условиях дефицита ресурсов, порожденного либо изменившимися природными условиями, либо хозяйственным прогрессом, повлекшим за собой резкий рост численности этноса. В обоих случаях часть этноса покидает вмещающий ландшафт и образует завоевательную армию. Эта армия со своими представлениями о священном не может принимать за людей членов другого этноса, встретившихся у нее на пути. Смешение здесь может быть лишь частичным за счет браков с иноплеменницами. Но эти браки не ведут к устойчивой заботе о потомстве со стороны завоевателей. Численность поглощаемого этноса катастрофически падает и за счет разгрома хозяйства, и за счет уничтожения «нелюдей», каковыми кажутся завоевателям коренные жители. Таким образом, в случае успеха завоевателей этническое смешение также остается малосущественным. И даже если мы представим себе фантастическую ситуацию, когда конфликта идентичностей не происходит, мы всегда отметим несимметричность метисации относительно будущего смешивающихся рас (о чем сказано выше).

Остается единственная возможность для заметного этнического смешения – маргинальные зоны этнического расселения. В них представление о священном размыто, и интенсивность смешения может поддерживаться на высоком уровне достаточно долго; завоевания в них могут носить характер разбоя (например, с похищением женщин); в них возможен обмен, поскольку предметы быта не настолько нагружены сакральными функциями, как в сердцевине этноса. Как раз остатки сакральности могут вести к сближению и даже к породнению представителей разных этносов. И все-таки новая сакральность на данной территории (например, новый тип захоронений) может быть связана либо с полным уничтожением прежнего этноса (этнического ядра), либо с его биологическим сохранением после кризиса прежней сакральности и заимствованием у соседей нового ритуала, а отчасти и родовой аристократии. Никакого этнического смешения новая сакральность не означает.

Реальное этническое смешение наступает только, если два этноса испытывают общий кризис и сливаются на одной территории как беженцы. Это возможно лишь в связи с экологической катастрофой, произошедшей в течение короткого времени (наступление ледника к таковым не относится) или нашествием, которое сносит один этнос за другим, превращая их в перемешанную массу. Тогда беженцы, остановившись, наконец, и заняв какой-то ландшафт, могут смешаться и образовать новый этнический организм. Возможно такой механизм сработал, когда орды Чингисхана сметали все на своем пути.

Интенсивное смешение, казалось бы, становится возможным лишь в условиях перехода от городов-государств к территориальным государствам. Но и здесь имеется сложный момент. Новый тип нашествия (наиболее ярко зафиксированный в истории войн Александра Македонского) предполагает только замену племенной элиты или ее

⁵⁰⁹ Там же. С. 150.

подчинение имперским планам завоевателя. Имперский принцип формирования государственности полностью отрицает какую-либо массовую ассимиляцию, лишь приоткрывая двери в общеимперскую элиту для инородческих элит. То есть, речь об этническом смешении снова не идет. Именно поэтому империи часто распадаются по границам этнических ареалов, которые существенным образом не меняются, а еще чаще – по границам административно-культурных ареалов с восстановлением прежних государственных образований.

«Зоной смешения» можно было бы считать рабство, где встречались представители завоеванных народов. Но предел смешению здесь задает как низкая плодovitость рабов, так и все та же склонность к бракам с единоплеменниками. Лишь один эксперимент смешения можно рассматривать как в некоторой мере состоявшимся – рабская семья латиноамериканских плантаций. При этом результат смешения по сравнению с массами несмешанного населения все равно остается ничтожным. Как пример в Занзибаре, где насильственно пережили огромное количество арабов с неграми. Результат смешения носит исключительно локальный характер, даже в таких случаях – ничего примечательного для истории человечества занзибарский «эксперимент» не представляет.

Запрет на межэтническое насилие и насильственное совместное проживание разных этносов в территориальном государстве вовсе не означает их смешивания. Даже в средневековых «космополисах» (в основном на периферии культурных ареалов), различные этносы жили слободами и цехами, обособленными друг от друга не только в бытовом, но и в культурном отношении.

Для нас важен пример относительно изолированного существования прусского этноса, который под названиями эстии, сембы и прочих существовал на Самбийском полуострове не менее трех тысяч лет с несколькими всплесками могущества и несколькими упадками. Растворенный в XIII–XV вв. в потоках пришлого населения (германского, голландского и пр.) он уступил место пруссакам, которые в условиях открытой системы смогли просуществовать лишь несколько сот лет с кратким взлетом с середины XIX до середины XX в.⁵¹⁰

Л.Н.Гумилев показывает, что «сквозное» смешение двух этносов может быть противоестественным, химерным. «Если этносы – процессы, то при столкновении двух несхожих процессов возникает интерференция, нарушающая каждую из исходных частот. Складывающиеся объединения химерны, а значит, не стойки перед посторонними воздействиями, недолговечны. Гибель химерной системы влечет за собой аннигиляцию ее компонентов и вымирание людей в эту систему вовлеченных. Таков механизм нарушения заданной закономерности, но он имеет исключения. Именно неустойчивость исходных ритмов является условием возникновения нового ритма, т.е. нового этногенетического инерционного процесса»⁵¹¹.

Прилив инородцев, который разрешается чисто культурной причастностью к этносу (подчинился султану и исламу – уже турок), калечит стереотип поведения и ослабляет этнос. Правда, Гумилев видит и другой вариант развития метисации за счет притока инородцев – например, в Китае, где такой процесс просто приводил к расширению понятия «этноса» на более широкую общность. Но здесь тоже имеются свои проблемы – «внутренний враг» становится особенно агрессивным и беспощадным. Гумилев сам приводит пример восстания «желтых повязок» (III в.), когда население Китая сократилось с 50 млн. человек до 7,5 млн.

Таким образом, новый этнос может возникнуть только из неустойчивых компонент. Здоровые этносы, смешиваясь, тут же погибают, образуя лишь на время химерную систему. Иначе говоря, жизнеспособный этнос либо погибает под воздействием непреодолимого внешнего воздействия, либо отказывается от смешения с другими

⁵¹⁰ Более подробно этот пример разобран в статье *Савельев А.Н.* Прусы: эксперимент поставленный историей. См. <http://kolev3.narod.ru>

⁵¹¹ *Гумилев Л.Н.* Этногенез и биосфера земли. М., 1993.

этнотами и живет обособленно, преодолевая внешние воздействия и растворяя в себе инородцев. Малосущественное смешение возможно лишь в маргинальных слоях, на периферии этнокультурного ареала. Существенное смешение возможно только в ослабленном этносе, где культурные и родственные связи распадаются, и возникает возможность принять «чужого» за «своего», а точнее – вырабатывается новый образ «своего», неизменно сопровождающийся снижением культурного уровня и забвением прежних родовых уз.

Таким образом, мы можем констатировать, что этносы могут жить любой срок, и среди современных этносов есть древние и сверхдревние. Новых же этносов – меньшинство, поскольку новизна вовсе не способствует жизнестойкости. Чем моложе этнос, тем он слабее.

Выводом из вышесказанного может служить оценка идеи «субстратного» синтеза в этногенезе разливных ветвей восточных славян – финно-угорского для русских, восточно-балтийского для белорусов (а самом деле кривичей, радимичей и дреговичей) и индо-иранского для украинцев (о чем пишет в ряде работ член-корреспондент РАН В.В.Седов) как совершенно несостоятельной. Субстрат должен был практически полностью погибнуть. Какие-то надежды на его выживание могут быть связаны с тем, что славяне выселялись со своих традиционных мест обитания нашествиями кельтов и германцев, а также были дестабилизированы резким ужесточением климата в V в. Но жизнеспособность славянских племен по сравнению с коренным населением на тот период говорит о том, что от субстрата могли остаться лишь культурные следы, но никак не антропологические – точно так же, как не могли славяне смешаться с надвигающимися на них кельтами и германцами. Для варягов (викингов-прусов) славяне в свою очередь не могли быть субстратом в силу численного доминирования славян.

Совершенно несостоятельной выглядит и гипотеза Гумилева о смешении булгар и славян в междуречье Волги и Оки в VIII в. Напротив, тысячелетие проживания бок о бок не дали никаких видимых признаков новой вспышки этногенеза. Славянский «субстрат» пребывавших в рассеянии близкородственных племен сросся в русский этнос под давлением государственной воли военного сословия русов, а вовсе не в силу естественных причин – каких-либо этнических смешений.

Методы археологии не могут установить антропологических изменений и доказать факт смешения с субстратом, потому что в Европе в те времена существовал обычай трупосожжения. Наличие предметов быта и культуры якобы слившихся вместе этносов ни о чем не говорит. Культурное заимствование естественно было со стороны завоевателей, присваивающих себе все лучшее, что оставил этнос-субстрат. И только культурологический аспект древней истории может дать ответ на вопрос о взаимоотношениях соседствующих этносов. А культурология (исследование сакрального, мифологии и ритуалов) дает однозначный запрет на мало-мальски масштабное этническое смешение.

Борис Федорович Поршнев отмечал, что «враждебность и отчужденность встречаются не только к отдаленным культурам или общностям, но и к наиболее близким, к почти тождественным «нашей» культуре. Может быть, даже в отношении этих предполагаемых замаскированных «они» социально-психологическая оппозиция «мы и они» особенно остра и активна»⁵¹². И только властная элита может позволить себе смешение «своего» и «чужого», но на уровне отдельного брака, причем с условием сохранения собственных культурных ограничений, включая политическую культуру и принцип лояльности подданного. Все это ради сохранения идентичности массы подданных и сохранения их кровного родства.

Этническое смешение – достояние нового и новейшего времени, т.е. того периода, когда религиозный запрет на этническое смешение отступил перед натиском

⁵¹² Поршнев Б.Ф., Социальная психология и история. М.: Наука, 1979. С. 116.

секуляризации. Но и здесь возникает масса барьеров на пути смешения, прежде всего, языковые и культурные. Только номадическая Америка, созданная кочевой частью европейских наций (кстати, полностью изничтожившей коренной американский «субстрат») может в будущем стать примером иного рода – последовательно осуществляемого этнического и такого же последовательного (но в меньших масштабах) расового смешения. Пока и в США «чужой» угрожает несмешанной массе белого населения со своими общинными объединениями (ирландцы, германцы и т.д.) как в повседневной жизни из негритянских и латиноамериканских кварталов, так и в перспективе через численное доминирование небелых и «черный расизм».

Оценивая смешение как нечто экзотическое для этической истории, мы все же должны видеть в нем не только следствие, но и опасность этнического кризиса – устойчивый и возрастающий поток инородческого элемента в Россию неизбежно повлечет за собой перепрограммирование народной души через переделку его телесных параметров. Ведь речь не идет об эволюционном процессе отбора, который, по уроку истории, дает преимущество русским. Речь идет об уничтожении «субстрата» и новом этногенезе, которого чают и некоторые ученые мужи, потерявшие веру в жизнеспособность русских.

Тем более важно принять к сведению слова Шпенглера: «физиологическое происхождение существует только для науки и ни в коем случае – не для народного сознания, и что этим идеалом чистой крови никакой народ никогда не вдохновляется. Обладание расой – это не что-то там материальное, но нечто космическое, нечто направленное, ощущаемое созвучие судьбы, единого шага и поступи в историческом бытии»⁵¹³. «Римляне, сами чрезвычайно разнородного происхождения, образуют посреди италийской путаницы племен расу, обладающую строжайшим внутренним единством, – ни этрусскую, ни латинскую, ни «античную» вообще, но специфически римскую»⁵¹⁴.

От смешения русских с другими народами не может образоваться новая имперская нация. Потому что сами русские являются такой нацией (о чем, в частности, свидетельствует и наше физиогномическое разнообразие – единство во множественности). Новый цикл этногенеза может означать лишь дробление на маргинальные этнические группы, кичащиеся своей особенностью и выпячивающие нерусскость, а также новую путаницу племен, из которых только тысячелетия смогут выпестовать что-нибудь путное. Сознание этой ужасной перспективы должно подвинуть науку к прояснению физиологии для народа, и если не вдохновить чистотой крови (чего и не требуется в силу инстинктивного отторжения от инородцев), то уберечь власть от диких миграционных проектов.

Национальное государство

Понятие о национальном государстве возникло на Западе на заре Нового времени (начиная с XVI в.) как реакция на окончательное крушение Священной Римской империи и появление суверенных правителей и национализма в сфере культуры. Государство было призвано удовлетворить настоятельную потребность в безопасности и обеспечении торговли в рамках условно определяемых территориальных границ.

Термин «нация» изначально появился в европейской традиции в процессе преодоления феодальной государственности и обозначал совокупность подданных государства. Между тем, уже в античности наблюдается присутствие такого понимания политики, которое немыслимо без патриотизма, обозначаемого древними греками в том же ключе, в котором мы сегодня понимаем термин «национализм». Хьюбнер указывает, что подлинное национальное сознание буржуазии полностью совпадает с образцом, имевшим место в античном полисе: «гражданин идентифицировал себя с городом и его

⁵¹³ Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. М.: Мысль, 1998. С. 169.

⁵¹⁴ Там же. С. 170.

окрестностями, гомогенность которых вытекала из общности языка и единой гражданской культуры. Уже в Средневековье торговые фирмы классифицировались по нациям»⁵¹⁵.

В связи с этим убеждение, будто нация представляет собой позднюю идею, никак не связанную с глубинами истории, следует рассматривать как заблуждение.

Сегодня, пишет Хюбнер, «...нация понимается сквозь призму мифа, определяется через архетипически понимаемую историю. Однако тот, кто так обозначает нацию, мифологизирует принадлежащее ей пространство (...) Повсюду - в горах, в долинах и равнинах, в изгибах рек и в городах - находятся "свидетели" прошлого, которые, как писано выше, воспринимаются в качестве идеально-материальной и тем самым субстанциональной части настоящего». Но также «должен быть один идеальный и материальный образ, связывающий всех друг с другом. Хотя нация определяется благодаря своей истории, она существует все же и физически»⁵¹⁶. И с этой точки зрения можно говорить о нации, как о некоем священном существе, соединяющем индивидуальности тем, что присутствует в каждой из них.

Национальный миф – важнейшее условие коллективного единства. Эрнест Ренан писал о роли забвения при формировании нации. Определенные исторические моменты коллективное сознание должно исключить, чтобы не пробудить старых обид. Например, для существования французской нации необходимо забвение ее исходного формирования из бретонцев, басков, парижан, эльзасцев... С другой стороны, образование наций в Восточной Европе требует прямо противоположного – воспоминания о прошлом единстве и единой исторической судьбе, мифологизируя и героизируя ее. Вместе с тем, забывание, вполне вероятно, только потому и возможно, что между родственными племенами не было мифологического, а значит и этнического барьера – нация сформировалась естественно, по родственному и культурному признакам.

Национальная идея, по Хюбнеру, «доказывает свою бесспорность как в своем научном, так и в мифическом аспекте. Ее практически-политическая необходимость для современного, основанного на демократии и народном суверенитете государства, которое, следовательно, зависит от определения понятий народа и нации, тем самым обнаруживает свое теоретическое основание и правомерность»⁵¹⁷.

Как уже говорилось выше, в западной научной традиции чаще всего используется подход, в котором понятие «нация» неразрывно связано с понятием «государство». Народ становится нацией только при условии, когда он создает свое государство и получает контроль над институтами общественного насилия. Эта веберовская трактовка неявно присутствует как в науке, так и в политике. В то же время она не расшифровывает загадки возникновения или исчезновения нации, а лишь фиксирует факт обретения государства, консолидируясь с «суверенитетом факта» и не зная откуда он проистекает. В то же время ясно, что для образования нации необходимо нечто - некая характеристика, которая возникает до государственности и является, по сути дела, ее причиной.

Нация иногда понимается и как «сообщество чувства», стремящееся к воплощению в автономное государство, как культурный феномен (национальная идентичность). Со времен Руссо понимание нации связано с наличием некоей общей воли, а свободное общество, как считается, возникает в случае соответствия государства этой воле. Данное соответствие, мол, минимизирует насилие власти.

При верном направлении мысли, Руссо совершал ошибку. Как говорил Лев Тихомиров, он «захотел искать *общей воли* именно там, где есть лишь презируемая им *воля всех*. Он не только под влиянием осиротелого христианского чувства идеализировал, безмерно одухотворил общую волю, но, сверх того, в противность всем фактам, упорно *хотел* видеть эту обожествленную общую волю именно в ассоциации данных наличных обывателей данной страны. А между тем некоторая общая воля существует лишь как

⁵¹⁵ Хюбнер К. Нация. М., 1999. С. 56.

⁵¹⁶ Хюбнер К. Истина мифа. М.: Республика, 1996. С. 327–328.

⁵¹⁷ Хюбнер К. Нация. М., 1999. С. 371.

унаследованный вывод исторических традиционных привычек, как результат долгого коллективного опыта. Это то, что называется гораздо лучше *духом народа*⁵¹⁸.

Представляется ошибочным деление наций Хюбнером а государственные (доминирующие как единое сознание в мультинациональном государстве), субнации (элемент национального многообразия государства) и культурные нации, определяемые безотносительно к государству⁵¹⁹. Уже одно то, что «эти варианты могут накладываться друг на друга граждане одной государственной нации или субнации могут в то же время понимать себя как принадлежащие некоторой культурной нации», говорит о слабости такого подхода и продуктивности разделения: нация, образующая государственную идентичность, – и есть собственно нация, а так называемые «субнации» – этнические группы, национальности, национальные меньшинства и т.п. И тогда только в одном случае может возникать разнотение, когда государствообразующая нация имеет диаспору за пределами своего государства. В рамках своего государства эта общность должна именоваться нацией, за пределами ее элементы могут рассматриваться как национальное меньшинство, связанное, тем не менее, с «исторической родиной» и имеющее в ее лице своего государственного покровителя – не как части политической системы, а как носителя определенной культуры, памяти истории и кровного родства.

Существуют два научных подхода, которые по-разному оценивают взаимоотношения нации и государства. Западные ученые, предпочитая забывать предысторию образования своих государств, фактически отождествляют нацию и государство. А вслед за этим рассматривают гражданство как приложение к проживанию на определенной территории, независимо от этнической принадлежности. Национально мыслящие ученые Восточной Европы, напротив, полагают, что нация и государство могут быть разделены и даже противопоставлены друг другу, а гражданство во многом определяется способностью к адаптации в рамках определенной культурной традиции и природно объединенной общности. Для западных ученых нация исторична и в значительной мере сконструирована властью, для восточных искусственность может относиться к государству, которое именно в меру несовпадения с нацией может оказаться химерным, антинациональным.

Разумеется, применение западных подходов и попытка забыть предысторию государствообразования, вредно отзывается на здоровье восточноевропейских наций. Им начинают приписывать модель государства западного образца, а значит, модель разделения и ассимиляции. Живущие чересполосно народы оказываются в условиях, когда они будто бы обязаны раздробиться как можно мельче, чтобы образовать национальные государства западного типа. Между тем, остановить этот процесс может только национальное ядро, собравшее вокруг себя другие народы и образовавшее национальную иерархию в рамках империи. Такого рода опыт наиболее эффективно представлен Российской Империей. Именно Империя и есть восточно-европейский тип национального государства.

В русской философской традиции идею «государства-нации» порождает (а не обслуживает) культура (в широком понимании, включая культ), выдерживающая жестокую конкуренцию с другими культурами. С развитием культуры, обретением ею высших форм, этническая государственность (в том числе и полиэтническая, договорная) уходит в прошлое. Конкурентоспособными становятся только те культуры, которые способны нести объединительную надэтническую функцию и вращать в мировые цивилизации. При таком понимании нацией следует считать сообщество, объединенное надэтнической (но не безэтнической) культурой, творческим поиском идеи совместного существования и стремлением к суверенной государственности.

При отсутствии в народном самосознании тяги к суверенной государственности нет нации. Но прочная суверенная государственность – лишь показатель жизнеспособности

⁵¹⁸ Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. С. 122.

⁵¹⁹ Хюбнер К. Нация, М., 1999. С. 295

нации, национальной идеи, находящей ответы на вызовы современной цивилизации. Суверенная государственность стимулирует укрепление нации, но некоторое время нация может существовать и без государства, а государственность – без нации (например, в случае утраты общей культурной компоненты общественного сознания, утраты национальной идентичности).

Не всякое желание суверенного существования выявляет нацию. Оно должно быть обосновано высокой культурой, способной принять новые качества современного индустриального (постиндустриального) мира, обеспечить надэтническое единство (понятие Отечества). Если пренебречь этим замечанием, то за национальное возрождение можно принять активность бандформирований, построенных по этническому признаку.

Таким образом, мы выявили различия между российским философским осмыслением «нации-государства» и западноевропейским nation-state. Но сказанным различия не исчерпываются.

В последнее время в научной среде это различие подмечено, и обсуждается вопрос о природе нации в России и ее отличия от природы наций Запада. Проблема состоит в том, что понятие «государства-нации» в чистом виде в западной интерпретации «не ложится» на российскую действительность. Возникшее на Западе понимание нации лишь отчасти применимо для России. Российская особенность состоит в том, что у нас национальное становление не закончено, оно постоянно возобновляется. Русские существуют, как непрерывно становящаяся нация, доказавшая свою реальность тысячелетней государственностью. Эта государственность не только все время подмывалась, разрушалась войнами и революциями, но и трансформировалась. Видимо, это как раз и мешает застыванию национального процесса в nation-state по западноевропейскому образцу. Русские – не нация (или необычная нация) в западноевропейском смысле этого слова. Ее надэтничность не противопоставляется этничности вообще.

Иван Александрович Ильин отмечал: «Дело совсем не в том, чтобы быть ни на кого не похожим... Нам надо не отталкиваться из других народов, а уходить в собственную глубину и восходить из нее к Богу; надо не оригинальничать, а добиваться Божьей правды; надо не предаваться восточно-славянской мании величия, а искать русскою душою предметного служения». «Самобытность русского народа вовсе не в том, чтобы пребывать в безволии, наслаждаться бесформенностью и прозябать в хаосе; но в том, чтобы выращивать вторичные силы русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и совести)»⁵²⁰.

Кроме того, этнические корни русской нации (понимая ее, прежде всего, как единство великороссов, малороссов и белорусов) достаточно хорошо прослеживаются, чего не скажешь о нациях европейских или американских. Там смешение было существенным образом многонародным, прерывающим прежний цивилизационный путь и образующим политическую общность. В России имеет место скорее этно-нация, сохранившая архетипы Древней Руси и русский нациообразующий стержень. Российская Империя представляла собой надэтническое содружество этносов вокруг имперского ядра, образованного этно-нацией – носительницей большой цивилизационной традиции, отличной от малых этнических (этнографических, бытовых и пр.) традиций.

Когда политики говорят о «русской нации», ими используется западноевропейская концепция nation-state без учета процесса национального становления в России. Если за такого рода утверждениями стоит убеждение в том, что в России уже сформировалась некоторая политическая общность, вынудившая граждан забыть о своих родовых корнях, то это явная иллюзия, противоречащая фактам (например, такому, как разрушение СССР и размежевание внутри Российской Федерации по национально-территориальному признаку). Поэтому прояснение термина «русская нация» должно в

⁵²⁰ Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948-1954 годов, М.: Парог, 1992. С. 329–330.

какой-то мере включать в себя «немецкий» вариант определения нации – этнокультурные корни. В этом случае не остается ничего иного, кроме признания тождества русского и российского в контексте определения нации.

Возвращаясь к попытке продуктивного определения нации, которое в дальнейшем должно дать понимание природы и особенностей российской нации, следует отметить, что продуктом естественного развития человечества являются этнические общности, продолжающие цепочку от семьи, рода, племени. Нация в западноевропейском понимании – это явление новейшего времени, связанное со становлением надэтнической государственности, носящей надэтнический характер. Нация и народ (этнос) – нетождественные понятия, и даже в определенном смысле противоположные. Но это понятия, связанные историческими реальностями. И ясность их антиномичного соседства более естественно просматривать через русскую философию, в которой разговор об исторических сущностях не делит нацию и этнос, а говорит о единстве духа. Соответственно, явление нации вовсе не ограничивается современностью, но уходит вглубь веков и проявляется в историческом материале всех эпох.

Связав понятие нации с духовной реальностью, культурой, прочувствовав ее надприродный характер, мы можем избавиться от спора о «политичности» или «этничности» нации, свести его к вопросу о духовных основах национального сообщества. Дальнейшим развитием этого вопроса будет определение соответствующих национальных и государственных интересов, концепция этнических доминант. Главное зафиксировать, что нация – суть продукт уже не естественно-природной эволюции (как этнос), а результат реализации осмысленной (или осмысляемой) «культурной программы», которой соответствуют также некоторые формы подкрепляющей ее социальности.

Булгаков пишет: «Человек есть воплощенный дух и, как таковой, состоит из духа и души, и тела, – одушевленной телесности. В нем есть личное и родовое начало, мужское и женственное. Дух есть божественное начало в человеке, имеющее жизнь в себе и раскрывающееся в Боге. Человеческая личность есть личный дух по образу Христову, и в этом, онтологическом, смысле она причастна Христу, Его вселенскому вселику. (...) Члены тела Христова суть тем самым граждане мира, члены вселенского братства, не интернациональное, но сверхнациональное, духовное объединение»⁵²¹.

Отталкиваясь от представлений о духовном единстве человечества, легко впасть в заблуждение, которым так часто напоказ грешат политики, скрывая свои честолюбивые замыслы. Показное человеколюбие – это так модно, этого ждут от любого государственного мужа! Но здесь-то как раз и намечается разделительная грань. «Общечеловеческое может иметь двоякий характер – абстрактно-человеческого, безличностного и вненационального, или конкретно-человеческого, индивидуального и национального»⁵²².

Надо понимать, что конкретность здесь, в рассуждениях Булгакова, не носит универсального характера. В противном случае признание существования наций и их неотъемлемости от человеческой природы исчезало бы их уравниванием, безразличием. Отсюда возникает особенность отношения личности к нации: «Родовое начало, психея есть для человека непреложный факт его собственной природы, от которого онтологически не может, а аксиологически не должен освободиться, ибо это означало бы развоплотиться, перестать быть в своем собственном человеческом чине. Это люциферическое восстание против Творца...»⁵²³.

Подмена общечеловеческой духовности существует в виде интернационализма, космополитизма и энонационализма (этницизма) – тяжело переносимых любой

⁵²¹ Булгаков С.Н. Сочинения в двух томах, М.: Наука, 1993. Т.2. С. 644.

⁵²² Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество, М.: Русская книга, 1992. С. 204.

⁵²³ Булгаков С.Н. Сочинения в двух томах, М.: Наука, 1993. Т.2. С. 645–466.

государственностью болезней. Абсолютизация родового начала, как и его игнорирование, нравственно порочны и чреваты политическим расколом нации.

Российские либералы, преодолевая извращение родового чувства (лишенный духовности интернационализм), негодуя на его абсолютизацию (шовинизм), впадают в собственную болезнь — болезнь игнорирования этого чувства. Отсюда утрата чувства Родины, пожелания поражения собственному правительству в войне, объявление примата «общечеловеческих ценностей» над национальными интересами. Отсюда непонимание роли государства, служащего оболочкой нации; противогосударственные политические установки, уродливые концепции свободы личности, оторванной от культурной почвы.

По этому поводу Булгаков говорит о бессилии атеистического гуманизма, «который не в состоянии удержать одновременно и личность, и целое, и поэтому постоянно из одной крайности попадает в другую: то личность своим бунтом разрушает целое и, во имя прав индивида, отрицает вид (Штирнер, Ницше), то личность упраздняется целым, какой-то социалистической Спартой, как у Маркса»⁵²⁴.

Мы приведем замечательную цитату из статьи современного российского публициста М.Захарченко: «Русский – не тот, кто дорос до национального самосознания, но тот, кто перерос его, преодолел, вышел на его пределы, именно на пределы, а не за них. Русскость – в самоопределении и самоотвержении национального, но таком, которое не переходит в безликий “интернационализм” и космополитизм гражданина мира»⁵²⁵.

Как писал Булгаков, «здравому национальному самосознанию должно понимать, что «национальность есть для нас и страсть, и бремя, и судьба, и долг, и дар, и призвание, и жизнь. Ей должна быть являема верность, к ней должна быть хранима любовь, но она нуждается в воспитании, просветлении, преображении. Космополитический гомункул вольтеровского и коммунистического образца в жизни не существует... Только национальное есть и вселенское, и только во вселенском существует национальное. Дух един и прост, плоть же, с ее психеей, многочастна и многообразна, “многоразличная Премудрость Божия” (Еф. 3, 10)»⁵²⁶.

Выше уже отмечалось, что построение системы общественных идеалов требует здравого понимания телесности человека, его родовых корней. Булгаков утверждает: «Стремление найти логос национального чувства, понять и привести к возможной отчетливости идеал национального призвания неистребимо коренится в самом этом чувстве, которое, как и всякое глубокое чувство, не довольствуется инстинктивным самосознанием, но ищет своего логоса»⁵²⁷.

Первоэлемент этого логоса – признание существования нации.

Для многих политических сил на признание бытия нации пойти оказывается невозможным. На худой конец, нации придумываются, как была придумана в угоду доминирующей политической доктрине нация «россиян» – некая неясная сущность, суммирующая всех граждан государства, но не соединяющая их в нечто целое, свойственное каждому гражданину. Гражданину как бы предоставляется возможность быть свободным от национальной идентичности и свободно же выбирать или не выбирать этническую (субнациональную) идентичность. Не удивительно, что в тексте Конституции Российской Федерации появляется «многонациональный народ». Возвышение этнической идентичности над национальной вызывает к жизни политические идентичности, конфликтующие меж собой в межнациональных столкновениях, воспринимаемых участниками этих конфликтов уже не как племенная вражда, а как борьба за власть, за безраздельный контроль над частью территории, за суверенитет.

Государственное самоопределение — святое право только для нации, которая всегда надэтнична (но не лишена этничности в своей природе). Поскольку этнос —

⁵²⁴ Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество, М.: Русская книга, 1992. С. 89.

⁵²⁵ Россия 2010 №4, 1994.

⁵²⁶ Булгаков С.Н. Сочинения в двух томах. М.: Наука, 1993. Т.2. С. 653.

⁵²⁷ Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. М.: Русская книга, 1992. С.187.

существенным образом природное образование, он не нуждается в собственной государственности. При отсутствии в народном самосознании тяги к суверенной государственности — нет нации. Но прочная суверенная государственность — лишь показатель жизнеспособности нации, национальной идеи, способной находить ответы на вызовы современной цивилизации.

Нацию в России, как и во времена Булгакова, порой стремятся «слепить» из этнографических факторов, разукрасить правовыми нормами и свести к ансамблям песни и пляски. Иногда государственный аппарат применяется для того, чтобы живую реальность нации умертвить в конъюнктурной абстракции или фольклорной простоте.

Проблема состоит в том, чтобы понять нацию как трансцендентную реальность, которая реальнее многих иных субъектов политики. Нацию надлежит опознавать непосредственным переживанием (чувство национальной идентичности), прозрением высшей миссии (национальная гордость, чувство избранности). «Инстинкт переходит в сознание, а сознание становится самопознанием. А отсюда может родиться и новое национальное творчество». «...национальное сознание и чувство могут известным образом (несмотря на подсознательный характер национальности) воспитываться, и, конечно, также и извращаться»⁵²⁸.

Так возникает мысль о государстве, которое родится как оболочка, и в ней национальный дух ищет своего воплощения.

Этот подход противоречит методологии иных современных теоретиков нации, которые мыслят по принципу: «Не видно, значит, не существует». Так, И.Е.Кудрявцев пишет: «Первые в Европе централизованные государства, на мой взгляд, не представляли нации как таковые, их население не было "коллективным субъектом", который задавал бы волю государству, исполненному неким объединяющим все социальные слои "национальным духом"; отсутствовала и идентификация простых граждан с властителями — иллюзия "общности крови", что большей частью и определяет существо нации. Это были государства как бы до-национальные(...) ...население на ограниченной территории продолжало оставаться как бы неодушевленной массой, с точки зрения государства, не обладавшей волей (или точнее: *не должной* проявлять волю - для успешности государственных дел). Политическая воля в таком государстве спускалась исключительно сверху вниз, что соответствовало абсолютистской модели»⁵²⁹.

Согласно упомянутой нами в главе о суверенитете концепции «чрезвычайного положения», в которой, по Шмитту, высвечиваются «предельные понятия», нация может существовать латентно, как и этнокультурная общность, которой нет необходимости в признании. Но в особой ситуации, в «ситуации нужды» (Гегель) нация обнаруживает себя, как это было, к примеру, в России в Отечественной войне 1812 г., когда политическая воля, направляемая сверху вниз, была бесполезной и незаметной, в существенную роль играла как раз воля «низов». Конечно, это еще не та политическая нация, которая находится в состоянии «ежедневного плебисцита», но еще вопрос: вечно вотирующая или латентная нация является действительным субъектом истории?

Современная ситуация сомнения в перспективах государства обусловлена явным истощением «ежедневного плебисцита» — территория уже не настолько привязывает гражданина к себе. Его патриотизм может быть обращен к символам прошлого, но его участие в экономической жизни заставляет испытывать интерес к общепланетарным процессам и иным государствам, в стабильности которых гражданин экономически заинтересован. Кажется, что экономика должна доминировать и отодвигать на задний план прочие факторы идентичности, пока государственная власть дает возможность достаточно свободно существовать частному интересу. Но даже в рамках либеральной модели государственности национальное государство не может превратиться в несущественную формальность, в рудимент прежних эпох. Дело в том, что в этом случае

⁵²⁸ Там же. С. 446.

⁵²⁹ Кудрявцев И.Е. «Национальное я» и политический национализм// Полис, 1997, №2. С.77–94.

придется признать и всю мировоззренческую концепцию Запада излишней – если исчезнет представление о ценности правового государства, то неясно кто же будет обеспечивать защиту индивида от произвола. Национальный суверенитет оказывается незаметным гарантом прав человека, которые либеральная доктрина защищает и одновременно угнетает, выступая с антигосударственными концепциями.

Нация и этническая иерархия

В европейской истории судьба современных национальных государств претерпела несколько этапов, которые лишь на начальной стадии кажутся индифферентными по отношению к этническому составу территорий.

1. Создание государств на основе «французской» модели национализма. Образование национальных государств в Великобритании и Франции.

2. Создание государств на основе «германской» модели национализма – воссоединение культурно-языковых общностей. Образование единых государств: Германии, Италии, Греции.

3. Раздел империй с выраженной этнической неоднородностью. Между Берлинским конгрессом 1878 г. и началом Первой мировой войны на земле Османской империи возникли государства: Румыния, Болгария, Сербия, Черногория и Албания. На руинах Габсбургской монархии в 1918 г. возникла Чехословацкая республика. В результате разрушения Российской Империи Польша добилась своего возрождения; Литва, Эстония и Латвия объявили себя независимыми государствами. Независимыми стали Исландия и Ирландия.

4. Послевоенный передел границ: Польша уступила СССР свои восточные области, получив взамен восточные немецкие; Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР; Германия была разделена на два государства и уступила ряд территорий Польше и СССР; Италия уступила ряд территорий Югославии и Греции.

5. Разрушение государств с выраженной этнической неоднородностью и воссоединение некоторых этнически однородных территорий. Распались СССР и Югославия, разделилась Чехословакия, воссоединилась Германия.

Всюду разрушение государства связано с разделом по этническим границам, а создание – либо с подавлением этничности, либо с воссоединением земель с близкородственным населением. В первом случае этничность складывается в открытую или скрытую иерархию, во втором этническое размежевание уничтожает такую иерархию, а вместе с ней и государство.

Можно выделить четыре основные модели отношений между нацией и этничностью.

1. Имперская модель. Этнические общности отчасти сохраняют традиционный безгосударственный образ жизни, встраиваясь в этническую иерархию своими элитными слоями, включаемыми в общеимперскую властную «вертикаль». Все элементы государственности обеспечиваются ведущей этнической общностью, составляющей нацию, национальные меньшинства не включаются в нацию и не ассимилируются. Национальные меньшинства составлены подданными, но не гражданами.

2. Ассимиляционная модель. Этнические общности, составляющие национальные меньшинства, не претендуют на территории или какие-либо правовые особенности. Осуществляется модель единства гражданских прав; различия в статусах связываются только с заслугами и уровнем освоения общенациональной культуры.

3. Модель чересполосицы («салатница», сегрегация). Этнические общности распределены на неформальные общины, которые не создают политических субъектов и не отделяют себя от единой нации. В соответствии с американской моделью *E pluribus unum* (единство во множественности) немцы селились в Винконсине, ирландцы – в Новой Англии, негры Нью-Йорка жили в Гарлеме и Южном Бронксе.

4. Модель автономии (этнофедерализм). Этнические элиты формируют политические группировки, превращающие этничность в политический фактор, и борются за контроль над определенной «титульной» территорией.

Только имперская модель предполагает стабильную этническую иерархию. Во всех прочих случаях этничность либо начинает доминировать над нацией (модель автономии), либо изживается сначала как политический, а потом и как социокультурный феномен. Попытки политически ликвидировать этнос вызывают ответную реакцию – политизацию этноса. Именно этим и обусловлена волна этнического самосознания, зафиксированная в конце XX в. – распад империй и либеральное уравнивание ведут к деэтнизации. В ответ этническое самосознание актуализируется и находит своих врагов.

Энтони Д. Смит говорит о следующих признаках этноса: 1) коллективное имя собственное; 2) миф об общих предках; 3) общая историческая память; 4) один или более дифференцирующих элементов общей культуры; 5) связь со специфической «родной землей»; 6) чувство солидарности у достаточно многочисленных групп населения государства⁵³⁰. Посягательство на любой из этих признаков достаточно легко фиксируется. Поэтому деэтнизация лишь обостряет этническое самосознание. Напротив, этническая иерархия способна без посягательств на этническую солидарность и этническую мифологию встроить этническое самосознание в общегосударственное. Но для этого стоит заметить слабость конструктивистского подхода, который не различает нации и этноса. Ведь нация также характеризуется общей памятью, мифом, культурными особенностями, именем, священной землей и солидарностью.

Провести разграничительную линию можно, только дополняя конструктивистские определения пониманием феномена политического. Для этноса враг может быть только этническим, и война с ним не может быть регламентирована правовыми нормами. Политизация этноса всегда носит экстремистский характер. Для нации, напротив, политическое противоборство естественно и не ведет к войне на уничтожение. Нация, в отличие от этноса, допускает «внутреннюю» политику и высокий культурный уровень политической конкуренции между группами, претендующими на определение будущего нации. Политический противник для нации определяется ее духовно-нравственными приоритетами, а не привязан к внешним ликвидаторским инициативам. Нация, в отличие от этноса, сама является источником политики и живет осознанием меняющейся политической среды, где нет вечных друзей и вечных врагов. Наконец, нация способна осмыслить необходимость этнической иерархии и оформить ее государственным порядком. Этнос не может самостоятельно выработать отношений с другими этносами – для этого ему требуется внешняя воля нации и дополнительный идентификационный параметр личности, затрагивающий не только кровно-родовую солидарность.

Еще одной проблемой, вытекающей из конструктивистского подхода, является игнорирование природных факторов, которые так или иначе, предопределяют поведение людей и преимущественно формируют солидарность. Этническая солидарность как раз и является в большей степени инстинктивной. Именно инстинкт вызывает к жизни миф, который в свою очередь, предопределяет поведение людей. Для нации спонтанных пробуждений архетипа недостаточно. Для нее требуется не индивидуальное проявление инстинкта каждым индивидом, а определенный ритуал, в котором миф оживляется политическими практиками и символами, главными из которых становятся символы власти и государственности. Только в этом случае миф можно политизировать и повернуть из прошлого в будущее. Тогда этнокультурный фактор отходит на задний план.

Западные ученые, пытающиеся отыскать рецепт против бесконечного дробления государств, зачастую приходят к чисто статистическим моделям, в которых этничность должна быть предана забвению. «Отдельный гражданин принадлежит непосредственно к государству, без посредничества промежуточной инстанции, которая называется нацией

⁵³⁰ *Альтерматт У.* Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 62.

или этний. (...) Современные государства могут существовать только в том случае, если они освобождают политическое гражданство от культурной и этнической идентичности», – говорит Урс Альтерматт. Парадоксальным образом политическая культура избавляется от собственно культуры, культура становится частным делом: «Если государство уважает многообразие культур, то не возникает необходимость классифицировать народности по этническим критериям и даже создавать новые более мелкие национальные государства»⁵³¹.

Нетрудно увидеть, что здесь подерживается позыв к ассимиляции, либо рекомендуется принцип «салатницы» – рядом, но не вместе. Политическая общность при этом обеспечивается только лояльностью обособленных граждан по отношению к государству, внушающему им, что этническая индифферентность открывает широкие возможности для политического осуществления частных прав.

Границы государств-наций определяются политикой, а не этнографией – это верно, поскольку субъектом политики этнос может становиться только внешней волей, а нация – самовольный субъект политики. Тем не менее этнография, как оказывается, опосредованно воздействует на политику – ее мобилизующая роль общепризнанна. Соответственно несовпадение этнических и государственных границ всегда чревато конфликтами до тех пор, пока историческая память не вытеснит воспоминания о культурном единстве. Примечательную ситуацию мы встречаем в объединенной Германии, где восточные земли оказались настолько непохожими на западные, что говорить сегодня о единой германской нации затруднительно. За несколько десятков лет, как оказывается, политика создает уже не только государственный, но и этнокультурный барьер даже между людьми одной культуры. И этот факт показывает русским: жизнь врозь со своими соотечественниками может тяжело сказаться в будущем не процессе воссоединения русских земель.

Философское осмысление феномена этнического размежевания и иерархии рассматривалась Бердяевым как одна из причин неустранимого неравенства между людьми: «Раса сама по себе есть фактор природно-биологический, зоологический, а не исторический. Но фактор этот не только действует в исторических образованиях, он играет определяющую и таинственную роль в этих образованиях. Поистине в расе есть таинственная глубина, есть своя метафизика и онтология. Из биологических истоков жизни человеческие расы входят в историческую действительность, в ней действуют они, как более сложные исторические расы. В ней разное место принадлежит белой расе и расе желтой, арийской расе и расе семитической, славянской и германской расе. Между расой зоологической и национальностью исторической существует целый ряд посредствующих иерархических ступеней, которые находятся во взаимодействии. Национальность есть та сложная иерархическая ступень, в которой наиболее сосредоточена острота исторической судьбы. В ней природная действительность переходит в действительность историческую»⁵³².

Сама история кажется Бердяеву наполненной тайной крови и рода, которая источает иррациональность, ложно принимаемую за рациональную действительность: «Если и неверна односторонняя исключительно антропологическая, расовая философия истории (Гобино, Чемберлен и др.), то все же в ней есть какая-то правда, которой совсем нет в отвлеченной, социологической философии истории, не ведающей тайны крови и все сводящей к рациональным социальным факторам. Исторические дифференциации и неравенства, путем которых образовался исторический космос, не могут быть стерты и уничтожены никакими социальными факторами. И голос крови, инстинкт расы не могут быть истреблены в исторической судьбе национальностей. В крови заложены уже идеи

⁵³¹ Там же. С. 120.

⁵³² Бердяев Н.А. Философия неравенства. М., ИМА-пресс, 1990. С. 94.

рас и наций, энергия осуществления их признания. Нации — исторические образования, но заложены они уже в глубине природы, в глубине бытия»⁵³³.

Расовая глубина бытия скрыта за социальными факторами, но не отменена ими. Этого не хотят понять либеральные деятели, сводящие историю к политическим интригам и преследованию меркантильных интересов.

«Закон крови» (*ius sanguinis*) - важнейшая составляющая истории, которую можно игнорировать только в ущерб пониманию прошлого и современности, в ущерб эффективности и состоятельности политических прогнозов. Как ни уклоняйся от «закона крови», он предопределил историю XX века – Германия, потрясая Европу и весь мир стояла на принципе, что немцем является тот, кто принадлежит к немецкому народу по происхождению. Следствием этого принципа являлась изоляция мигрантов, не желавших быть немцами на немецкой земле. Другим следствием было причисление к немецкой нации потомков ассимилированных иностранцев, в прежние годы выехавших из Германии. Вкупе эти принципы позволяли немцам дважды восстанавливать национальное единство – после двух мировых войн. Послевоенная Конституция ФРГ (ст. 116) гласила: «Немцем в смысле этой конституции является тот... кто обладает немецким гражданством или был принят в области Германского рейха по состоянию на 31 декабря 1937 г. в качестве беженца или изгнанника, принадлежащего к немецкой нации, или в качестве его супруга или родственника по нисходящей линии». К этому в 1953 г. был добавлен Федеральный закон об изгнанных, установивший принадлежность к немецкому народу того, «кто объявил на своей родине о своей причастности к немецкому народу, если это объявление о причастности подтверждается определенными признаками, такими, как происхождение, язык, воспитание, культура»⁵³⁴.

Нечего и говорить, что для русского народа аналогичные положения были бы одним из средств спасения и собирания русской нации и русских земель. Нация, вспомнившая о своем этническом корне, способна разрешить кризис, забывшая о «тайне крови», - неизбежно попадет к какой-нибудь политической капкан, из которого не будет знать, как выбраться.

Бердяев приходит к мысли о тайне крови через очевидную непредвзятую взору русскую традицию почитания предков: «Жизнь нации, национальная жизнь есть неразрывная связь с предками и почитание их заветов. В национальном всегда есть традиционное»⁵³⁵. «В настоящей, глубокой и утонченной культуре всегда чувствуется раса, кровная связь с культурными преданиями»⁵³⁶. Кроме того, «тайна крови» – это и тайна природного родства людей одного племени, в которое сама собой возникает иерархия: «Вопрос о правах самоопределения национальностей не есть вопрос абстрактно-юридический, это прежде всего *вопрос биологический*, в конце концов, мистико-биологический вопрос. Он упирается в иррациональную жизненную основу, которая не подлежит никакой юридической и моральной рационализации. Все исторические национальности имеют совершенно разные, неравные права, и они не могут предъявлять одинаковых притязаний. В историческом неравенстве национальностей, неравенстве их реального веса, в историческом преобладании то одних, то других национальностей есть своя большая правда, есть исполнение нравственного закона исторической действительности, столь не похожего на закон действительности индивидуальной»⁵³⁷.

В своем фундаментальном труде «Этногенез и биосфера Земли» Гумилев подчеркивает, что родоплеменное и корпоративное структурирование этноса обеспечивает внутреннее разделение функций, а значит, укрепляет его стабильность. Причиной упадка этноса всегда является появление в системе человеческих отношений

⁵³³ Там же. С. 95.

⁵³⁴ Цит. по *Альтерматт У.* Этнонационализм в Европе. М., 2000. С 179–180.

⁵³⁵ *Бердяев Н.А.* Философия неравенства. М., ИМА-пресс, 1990. С. 96.

⁵³⁶ Там же. С. 134.

⁵³⁷ Там же. С. 93.

новых этнических групп, не связанных с ландшафтами региона и свободных от запретов на эндогамные браки. Эти запреты, поддерживая племенную однородность региона, ведут к сохранению ландшафтов, вмещающих мелкие родовые группы (выполняющие определенные функции в этнической иерархии). В отличие от животных сообществ в этносах позиции на иерархической лестнице занимают не особи, а субэтноты. Нарушение этой иерархии опасно для существования этноса в целом – иноэтническая группа оказывается «нерастворимым» фрагментом в этническом портрете региона и стремится к реализации обособленных интересов вне традиционной иерархии.

Гумилев указывал на причину возникновения персистентных (переживших себя) этносов – отсутствие частого общения с иноплеменниками. В этом случае образ врага забывается, этнос теряет волю к сопротивлению, его структура упрощается за счет утраты оборонных функций и жизнеспособность этноса падает.

Конкуренция этносов и субэтносов, в конце концов утверждающая определенную иерархию, оформляет любую национальную субъектность, о чем писал Василий Васильевич Розанов: «Закон антагонизма как выражение жизненности сохраняет свою силу и здесь: сословия, провинции, отелные роды и, наконец, личности в пределах общего для всех их национального типа борются все между собою, каждый отрицает все остальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность между другими. И здесь, как в соотношении рас, победа одного элемента над всеми или их общее обезличивание и слияние было бы выражением угасания целого, заменю разнообразной живой ткани однообразием разлагающегося тупа»⁵³⁸.

Если доминирующая нация отказывается от законодательного закрепления своего преимущества, она становится дойной коровой для национальных меньшинств, получающих привилегии только на основании своей малочисленности. В этом случае разложившаяся нация становится чернью, потерявшей энергетику борьбы с «чужим», утратившей благородное стремление иметь врагов и побеждать их. Аристократическая мораль переходит к малым этносам, которые начинают рвать страну на куски, выделяя из нее личные феодалы для кормления своих чиновничьих дружин. Именно поэтому в связи с задачами самозащиты традиционное общество вырабатывает ту или иную модель этнических статусов – этническую иерархию.

Традиционная культура оценивает любые изменения не столько на соответствие сложившейся норме, сколько на отступление от нее, социализация основана на запретах и негативных смыслах⁵³⁹. Б.Ф.Поршнев писал: «“Они”, на первых порах куда конкретнее, реальнее, несут с собой те или иные определенные свойства — бедствия от вторжений “их” орд, непонимание «ими» «человеческой» речи (“немые”, “немцы”). Для того чтобы представить себе, что есть «они», не требуется персонифицировать “их” в образе какого-либо вождя, какой-либо возглавляющей группы лиц или организации. “Они” могут представляться как весьма многообразные, не как общность в точном смысле слова»⁵⁴⁰.

«Они», таким образом, связываются с духами Зла, колдунами-оборотнями иных племен (а вовсе не с палеоантропами, впоследствии уничтоженными, как предполагает Б.Ф.Поршнев). Они не вполне люди или совсем не люди. Не случайно перевод названий многих народов и племен, как отмечает Поршнев, означает просто «люди». Именно «они» сдерживали «мы» от распада, закрепляли стадный инстинкт, который значительно позднее был дополнен инстинктом стаи, перенесенным в социальные отношения из чисто «производственной» деятельности по добыванию пропитания.

Племенная психология не признавала за чужаками человеческих черт. С ними не могло быть никаких тесных отношений. Даже на уровне родов, которые обмениваются женщинами, чтобы избежать внутривидового конфликта, существуют отношения «свой-

⁵³⁸ Розанов В.В. Эстетическое понимание истории// Русские философы. Антология. Вып. 2. М.: Книжная палата, 1994. С. 65.

⁵³⁹ Байбурун А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб, 1993. С.15.

⁵⁴⁰ Поршнев Б.Ф., цит. пр. С. 81.

чужой». Если между родами «чужой» может быть просто воплощением иного в человеческом облике, то иной этнос воспринимается как нелюди. Малейшее культурное различие означает попрание сакрального, которое в древних сообществах было мерилем человеческого. Поэтому иной этнос – это не просто «нелюди», а существа, которые хуже самых кровожадных или самых нечистых животных. Отвратить от этого представления, ведущего к тотальной резне, может только политический инструмент – нация, формирующая иные мифы, более соответствующие современности. Чтобы эти мифы становились реальностью общественного сознания, этносы должны быть выстроены в иерархическую систему, где нет никакого повода враждовать между собой.

С присутствием «чужого» так или иначе приходится мириться. Общий закон государства запрещает открытую вражду подданных. И поэтому племенные страхи, смиренные государственностью, вызывают к жизни определенные социальные практики, ассимилирующие «чужого». По мысли Конрада Лоренца, в современной организации общества природный инстинкт агрессивности не находит адекватного выхода, человек страдает от недостаточной разрядки природных инстинктивных побуждений. Подавленная агрессивность порождает те неврозы, которые реализуются, с одной стороны, в форме гипертрофированно агрессивных политических теорий, с другой – в форме «гуманистических» мечтаний превратить социум в разбредшееся стадо, забывшее образ врага и утратившее представление об опасности. Способ изжить невроз – перевод антагонизма в ритуальную сферу и символику единства, не дающие антагонизму воплотиться в межэтническое насилие.

В древних родовых общинах это достигается в институте учредительного насилия, который во всех своих элементах демонстрирует дихотомию «своего» и «чужого», благотворного и враждебного. Члены общины совместно вырабатывают механизм различения «своих» и угадывания «чужого» по определенному набору признаков. Одновременно возникает социальная иерархия, поскольку дифференцирующие признаки только и способны удержать общину от внутреннего насилия и непрекращающейся мести, возникающей в процессе конкуренции за общезначимые предметы вожделения (пища, сексуальные отношения и т.д.). Таким образом, налицо симбиоз с «чужим». Учредительная жертва объявляется в принципе чужой, а в случае отсутствия удобного «чужого» вместо него либо используется маргинал из «своих», либо такой маргинал специально готовится. При этом чувство рода – главный мотив общества, намеренного выжить. Это чувство может сохраниться только в том случае, если ритуал постоянно напоминает общепризнанные черты чужого.

Современное общество стремится к изживанию ритуала учредительного насилия, открывая тем самым путь для открытой агрессии. Вместо «нового Средневековья» наступает «новый каменный век», который более всего выражается в ужесточении криминального насилия, терроризма и в распространении психических болезней. Одновременно угнетение естественных этнических статусов начинает убивать само общество, в котором подспудно формируются этнические кланы, использующие в своих интересах легальный политический порядок.

Ликвидация этнической иерархии (и ее ритуального восстановления в имперской нации) имеет как следствие масштабный общемировой процесс дробления государств. Этничность берет свое – не ограниченные ни в чем этнические группы возникают, размножаются, развиваются и, в конце концов, посягают на суверенитет государства. Еще до претензий на суверенитет образуются мощные отряды кровожадной этнобюрократии, временно ассоциированные в антигосударственный интернационал.

Признавая неустрашимость этнических статусов, которые присваиваются тем или иным этническим группам в любой европейской стране, ученые и публицисты с особой яростью мстят Германии за то, что эти статусы стали предметом правового регулирования, т.е. начали приобретать форму ритуала, восполняющего потерю оздоровительной функции учредительного насилия. Исследователей фашизма раздражает

создание правовых основ этнической иерархии, защищающих право немцев на их землю и культуру (Указ «О новом порядке владения земельной собственностью» от 12 мая 1933 г. – введение принципа единства крови и почвы; Закон о гражданстве от 15 января 1935 г. – разделение граждан на полноправных граждан арийского происхождения и неарийцев; Закон «О защите немецкой крови и немецкой чести» от 15 сентября 1935 г. – запрет браков и сожительства граждан рейха с евреями и т.д.) Соответственно, сама мысль о возможности регулирования этнических статусов кажется изуверской, будто этнические меньшинства являют собой образец гражданственности, верности закону и элементарным нравственным нормам.

Упрек, который может быть брошен фашизму, состоит совершенно в другом – в том, что ритуальный момент не был достаточно проработан, а главное – сочетался с пропагандой насилия вопреки всякому праву, непрерывное насилие осталось в конце концов, если не единственной, то главнейшей основой национального суверенитета. Таким образом, насилие переставало носить учредительный характер и лишалось ритуальной государствообразительной подоплеки. Вместо иерархии этнических статусов пропагандировался геноцид, чужой не адаптировался, не ассимилировался, не встраивался в иерархию, а изгонялся и уничтожался.

Проблема современного общества состоит в том, что ему трудно признать несостоятельность уравнилельных правовых установлений вопреки тому, что реальная жизнь постоянно опровергает формальное гражданское равенство. Равенство как универсальное подданство, безусловно, может и должно присутствовать в государстве. Между тем, уравнилельное подавление этничности ведет, с одной стороны, к подавлению этнокультурной идентичности (что дает «на выходе» пресечение традиции и локальную идентификацию крайне низкого, варварского уровня), а с другой – лишает общество легальной иерархии, которая восстанавливается нелегально и неконтролируемо.

Национальные меньшинства в судьбе государства

В прежние времена многонародность государств также была тяжким бременем власти. Немецкий философ и поэт Готтфрид Гердер писал: «...ничто так очевидно не противоречит целями правительств, как неестественное увеличение государств, беспорядочное смешение под одним скипетром людей-родов и наций. Скипетр человека слишком слаб и мал, чтобы суметь таким образом объединить противоречащие друг другу части; итак, они склеиваются в хрупкую машину, которую называют "государственная машина", без внутренней жизни и без симпатии частей по отношению друг к другу»⁵⁴¹.

Проблему национальной иерархии затрагивает в своих работах Бенедикт Андерсон⁵⁴². Оценивая усилия национальной унификации, он показывает, насколько неэффективно «натягивать узкую и короткую кожу нации на огромное тело старой империи». Если Лондон добился относительно заметных успехов в англлизации Ирландии, то германизация немецкой части Польши, навязывание французского языка итало-говорящей Корсике дало лишь незначительные результаты. Русификация периферии Российской Империей после 1880-х годов и отуречивание арабского мира Османской Империей были практически безрезультатны.

Андерсон приводит примеры не только из европейской истории. Японская имперская политика в Корее и на Тайване в действительности была лишена национальной иерархии – периферия должна была подражать имперскому ядру и говорить по-японски. В результате периферия устояла, а империя рассыпалась.

Обращаясь к более давней истории, Андерсон вспоминает, что в Китае имперская династия маньчжуров, правившая с 1644 г. до начала XX в. не пыталась проводить

⁵⁴¹ Herder J.G. Ideen zur Philosophic der Geschichte der Menschheit, Zweiter Theil, Riga; Leipzig, 1785. S. 261–262.

⁵⁴² Андерсон Б. Западный национализм и восточный национализм: есть ли между ними разница? // Русский журнал, 2001. №11.

политику маньчжуризации, «поскольку престиж правителей был основан на различии, а не на подобии». Но разделение еще не создавало иерархии, и этот недостаток сказался – крушение династии в 1911 г. было неизбежным, поскольку западным завоевателям невозможно было противопоставить ни современной армии во главе с аристократией, ни национальной враждебности, организующей повсеместное сопротивление.

В современном Китае национальная иерархия стабильна, конечно, за счет подавляющего численного преобладания ханьцев. Но есть и другой признак – ханьцы подчеркнуто отделены от своего прошлого в повседневной жизни. Если меньшинства появляются на телеэкранах в ярких традиционных костюмах, то ханьцы повсеместно одеты в строгие европейские костюмы, как бы демонстрируя, что именно они контролируют современность. С древностью государствообразующую нацию связывает не внешняя этнографическая пестрота (в русских условиях – не балалайка и гармошка), а дух нации в строгом прагматичном облачении занятых делом людей. Меньшинства, своим многообразием и повсеместной демонстрацией привязанности к древности, легитимируют пространство империи.

Противодействовать расползанию государства во все времена могли только достаточно жесткие меры – суверенитет в многонародном государстве должен был заявляться и подтверждаться куда чаще, чем в условиях, когда одной из народностей принадлежал бесспорный численный перевес.

В 1879 г. Генрих фон Трейчке, профессор истории Берлинского университета опубликовал статью «О нашем еврействе», где поднимал проблему еврейского меньшинства и его отношения к государствообразующей нации. Как может существовать чужая национальная сущность в единстве с основной нацией? – задается вопросом Трейчке. Он выдвинул требование к евреям стать до определенной степени немцами, не тревожа при этом свою веру и свои исторические воспоминания. Таким образом, речь идет о гражданской солидарности, которая не соединяет традиционную германскую культуру с еврейской, но может предполагать, что еврей становится в высшем смысле германской личностью.

Особое беспокойство Трейчке высказывал, сравнивая молодую немецкую нацию с английской и французской, в которых, как он полагал, инородческая примесь не задевает прочно укорененных национально-культурных традиций. Германия же подвержена влиянию в силу недостаточной оформленности национального стиля и национального инстинкта, которая проходит становление в процессе возрождения немецкого государства. Меньшинства, игнорирующие этот процесс и не желающие быть немцами, рискуют противопоставить себя основной нации. И Трейчке призывает евреев к терпимости по отношению к немецкому народу и прекращения непочтительного отношения ко всему немецкому, исходящего от некоторых торговых и литературных кругов.

Почти дословно повторяет Трейчке русский мыслитель М.Н.Катков: «Государство не может требовать, чтобы все его подданные исповедовали одну веру, оно также не может требовать, чтобы все его подданные были философами одной школы и имели одинаковые мнения о достоинствах культуры. Быть честными русскими гражданами и не иметь иного патриотизма, кроме русского, — вот весь ваш долг перед русской национальностью»⁵⁴³.

Как известно, взаимная нетерпимость и безответственность национальных лидеров немцев и евреев довела до жесточайших репрессий и бесконечной цепи взаимных оскорблений и укоренившихся на многие десятилетия конфликтных интерпретаций истории. Если бы еврейская диаспора угадала становление немецкой государственности и всплеск немецкой национальной пассионарности, конфликт с государствообразующей нацией мог быть нивелирован на дальних подступах к опасной черте. Но аналогичное требование может быть отнесено и к немцам, которые не дали евреям возможности быть в

⁵⁴³ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 236.

полной мере немцами, не выстроили национальной иерархии и не оставили ниши этническим меньшинствам.

Значимость национальных меньшинств в европейском политическом театре забывается по причине барьеров, возведенных принципами либеральной политкорректности. Между тем, весь XX век насыщен событиями, которые вовлекали меньшинства в конфликты, как наиболее значимый и активный компонент наиболее масштабных межгосударственных и внутригосударственных конфликтов. Достаточно привести пример революции в России (вместе с предшествующим периодом революционной борьбы во главе с инородцами-разночинцами) и краха СССР (подготовленного партийными этнономенклатурами).

При том, что в Российской Империи крупнейшей составляющей населения были русские – по переписи 1897 г. в России насчитывалось 83,9 русских (56 млн. великороссов, 22 млн. малороссов, 5,9 млн. белорусов) – весьма существенную роль могли сыграть и сыграли этнические меньшинства – 8 млн. поляков, 5 млн. евреев, 3,7 млн. татар, 2 млн. финнов, 1,8 млн. немцев, 1,7 млн. литовцев, 1,4 млн. латышей, 1,4 млн. грузин, 1,2 млн. армян, 1,1 млн. молдаван, 1 млн. эстонцев. Именно из этих этнических общностей рекрутировались революционные армии, свалившие Империю и оторвавшие от нее несколько земель в качестве самостоятельных государств. Прибавим сюда роковую роль чехословацкого корпуса, нанесшего тяжелейший удар в спину силам реставрации и контрреволюции.

В Османской Империи на рубеже веков жили 14 миллионов мусульман (турок, курдов и арабов), не менее 4 млн. православных (греков, армян, болгар), 215 тыс. иудеев, 120 тыс. католиков. Империя раскололась по религиозному признаку, а внутри религиозных групп – еще и по этническому. Национальные меньшинства сыграли в этом расколе главенствующую роль.

Еще более зыбкой была ситуация в Габсбургской австро-венгерской монархии, где в 1910 г. проживало 12 млн. немцев, 10 млн. мадьяр, 6,5 миллионов чехов, 5 млн. поляков, 4 млн. украинцев, 3,2 млн. румын, 2,9 млн. хорватов, 2,3 млн. евреев, 2 млн. словаков, 2 млн. сербов, 1,2 млн. словенцев и 0,8 млн. итальянцев. Не удивительно, что эта империя рассыпалась на мелкие составляющие.

Германская империя на рубеже веков включала достаточно незначительные группы меньшинств – 3 млн. поляков, 200 тыс. франкофонов, примерно по 100 тыс. датчан, мазуров, литовцев, чехов, кашубов и сербов. Доминирование немцев позволило Германии сохранить имперское ядро и собрать нацию даже после поражения в войне.

После Первой мировой войны возникли новые границы и новые национальные меньшинства.

Самым многочисленным меньшинством в Восточной Европе стали евреи – больше 8 млн.: 3,3 млн. жили в Польше, 3,2 млн. – в СССР (1,7 млн. – на Украине, 600 тыс. – в Белоруссии и 900 тыс. – в остальных частях Советского Союза), 700 тыс. – в Румынии, 600 тыс. – в Венгрии, 350 тыс. – в Чехословакии. Неудивительно, что «еврейский вопрос» оказался фактором напряженности и повлиял на судьбу Европы.

8 млн. немцев представляли собой вторую по численности группу меньшинств Восточной Европы: 3,2 млн. в Чехословакии, 2 млн. – в Советском Союзе, 1 млн. – в Польше, свыше 700 тыс. – в Румынии и по 500 тыс. – в Венгрии и Югославии. Если прибавить сюда немецкое население Австрии и Франции, то ход европейской истории к войне вполне описывается тенденциями, заложенными этнополитикой. Соответственно, репрессии против немцев в СССР также становятся делом объяснимым и предсказуемым – «немецкий вопрос» представлял собой крупнейшую проблему для государства, готовящегося к войне.

Третьим по значимости в предвоенной истории было русское меньшинство, которое составляло более 6 млн. человек – около 1 млн. белорусов и 4 млн. малороссов и украинцев в Польше, 600 тыс. малороссов и украинцев и 400 тыс. великороссов – в

Бессарабии и Буковине, 500 тыс. малороссов и украинцев – в Закарпатской Украине? не говоря уже о трехмиллионной великорусской эмиграции.

Крупными меньшинствами являлись также мадьяры за пределами Венгрии (1,5 млн. — в Трансильвании, Банате и Крейшланде, 700 тыс. – в южной Словакии и Закарпатской Украине, около 500 тыс. - в Воеводине), 800 тыс. поляков в Советском Союзе, 600 тыс. турок в Болгарии, 500 тыс. албанцев в Косово, 400 тыс. словенцев и хорватов в Италии, Триесте и Герце, 350 тыс. болгар в Добрудже и 200 тыс. греков в Стамбуле. Все это – топливо для внутренних конфликтов и внешней экспансии.

Послевоенная Европа через военную и послевоенную депортацию и передел границ достигла определенного этнического равновесия – удалось отчасти привести в соответствие государственные границы и границы расселения национальностей. Но Восточная и Центральная Европа в силу этнической чересполосицы сохранила неоднородность. прежде всего в СССР, Югославии, Чехословакии. Лишенные единой национальной элиты, деятельного национального ядра, СССР и Югославия рухнули, пережив кошмары гражданской войны и интервенции, которые лишь кажутся менее мучительными, чем прежние потрясения XX в., но отличаются от них лишь одним – относительной немногочисленностью жертв прямого вооруженного насилия. Мирное расчленение Чехословакии можно объяснить как общей вялостью этнического самосознания (отмечаемую еще за столетие до того), а также неучастием в этом расчленении внешнего «третьего лишнего», отвлеченного на другие более масштабные задачи.

Продуктивный в послевоенной Европе принцип самоопределения сыграл в последующем дурную шутку. Рецидивом этого принципа можно считать Международную конвенцию по устранению любой формы расовой дискриминации, принятую в 1966 г. Генеральной сессией ООН. Взяв под защиту «народности», главные политические игроки санкционировали распад колониальных держав не только по административным границам – эти границы тоже оказались поставленными под вопрос в силу несдерживаемой ничем этнической вражды. Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым в том же 1966 г. утверждалась непозволительность препятствий для этнических или языковых меньшинств вести свою культурную жизнь, исповедовать свою религию и пользоваться своим собственным языком. Реализация этого идеологического положения привела к потоку гражданских войн на Африканском континенте, а позднее к переделу постсоветского пространства и дестабилизации его крупнейшего осколка – Российской Федерации.

После распада СССР образовалось беспрецедентное по численности русское меньшинство, распределенное по бывшим союзным республикам. Численность только великороссов в этой группе оценивается в 25 млн. человек. Трудно представить себе стабильный мир со столь нестабильным этническим составом государств. Если 2 млн. албанцев бывшей Югославии буквально взорвали европейское пространство, открыв его американским крылатым ракетам и бомбам, то каковы будут последствия русского реванша, русского восстания против повсеместного геноцида? Европейские аналитики стремятся закрыть глаза на репрессии против русского народа и масштабное переселение преимущественно русских, бежавших от нищеты, войны и репрессий из бывших союзных республик в Россию. Их численность – не менее 11 млн. человек, что приближается по масштабам к немецкому послевоенному исходу, составившему 11,7 млн. беженцев, которые были приняты в ФРГ (7,6 млн. до 1950 г. и еще около 4 млн. между 1950 и 1961 г.), в ГДР (3,7 млн.) и в Австрии (400 тыс.).

В результате Второй мировой войны (1939–1945 гг.) общий поток беженцев, депортированных и пленных, составил 50–60 млн. человек – 10% европейского населения (включая СССР). В результате разрушения СССР не по своей воле сдвинулись со своих мест не менее 10% населения бывших союзных республик (без Российской Федерации) и

не менее 2% населения периферийных районов коренной России – обезлюдили Север⁵⁴⁴, Дальний Восток, Сибирь, состоялся исход русского населения с Северного Кавказа, продолжилось начатое в советское время запустение сельской местности.

Для западных ученых русские жертвы незначительны, русские победы незаметны, русская история неинтересна. И все это вопреки масштабам, которые во все годы и по всем качественным и количественным параметрам перекрывали европейские события. Россия вела «неизвестные» для Европы войны, выигрывала «неизвестные» сражения, терпела «незаметные» страдания. Поэтому Европа не замечает трагедии России и русского народа, но вспомнит о нем, когда русские соберутся с силами для воссоединения. Тогда европейские «гуманисты» наперебой заговорят о праве наций-государств, которые в действительности никогда не создавались в постсоветском пространстве и никогда не имели той государственно-правовой природы, что европейские государства-нации.

Национальные меньшинства в современном мире играют все большую роль в связи с тем, что во второй половине XX в. на Западе укрепилась охранительная парадигма в отношении «культурной нации», и не была замечена грань, когда требование свободного культурного развития начала размываться и этничность смешалась с политикой – этнические группировки начали требовать себе политических прав и территориальной автономии. Эти охранительные настроения не подкреплены государственным проектом и могут быть лишь оправданием разделения государств. Осуществление власти в современных государствах, напротив, требует энергичных мер, которые либо ускоряют ассимиляцию, либо выстраивают этническую иерархию.

В начале XX в. этнополитическая доктрина США была предельно ясной и вовсе не либеральной. Президент Теодор Рузвельт писал: «Мы должны сделать из них (иностранцев-переселенцев) американцев во всех отношениях: по языку, политическим взглядам и принципам, по пониманию и отношению к церкви и государству. Мы приветствуем немца, ирландца, стремящихся стать американцами, но нам не нужно чужеземцев, не желающих отказаться от своей национальности. Нам не нужны немцы-американцы, ирландо-американцы, образующие особый слой в нашей общественной и политической жизни. Мы никого не можем признавать, кроме американцев...».

Напомним, что особые законы для черного меньшинства были отменены в США лишь в 60-х годах XX в.

Возвращаясь к исходной имперскости Америки, необходимо сопоставить ее с возникшей во второй половине XX в. особой либеральной доктрины, оказавшейся лояльной к прежним имперским установкам. Американский либерализм может сколько угодно излагать свои взгляды, но действовать в реальной политике будет привычный имперский прагматизм. Сохранение этого симбиоза было возможно до тех пор, пока многословие не потребовало хоть каких-то дел. Америка предпочла сбросить эти дела во внешний мир в виде доктрины своей ответственности за распространение свободы в других странах. Экспортный мультикультурализм хлынул прежде всего в Европу, подкрепляя европейские правозащитные традиции в пользу этнических меньшинств. На волне денацификации доктрина «прав человека» была внедрена в Европу в той форме, которая позволила формировать внутри сложившихся европейских наций нелояльные к ним этнические диаспоры. Именно этим европейским этническим интернационалом была доведена до реализации концепция «Европы регионов», которая фактически подорвала национальную государственность. «Европа Отецеств» еще сопротивляется, пытается выстроить хотя бы внешний пограничный контур в рамках Шенгенских соглашений, но все более и более уступает давлению диаспор.

⁵⁴⁴ Занятно, что европейское и мировое сообщество в порядке «гуманитарных инициатив» поддерживает обезлюживание российских территорий, участвуя в программе переселения жителей северных территорий - под предлогом дороговизны их жизнеобеспечения.

К чему же пришли США, столь активно внедрявшие идеи раскола в Европе? Профессор Уткин приводит такие слова одного из ведущих американских аналитиков – бывшего председателя Национального совета по разведке ЦРУ Грехема Фуллера «Современный мировой порядок существующих государственных границ, проведенных с минимальным учетом этнических и культурных пожеланий живущего в пределах этих границ населения, ныне в своей основе устарел. Поднимающиеся силы национализма и культурного самоутверждения уже изготовились, чтобы утвердить себя. Государства, неспособные удовлетворить компенсацию прошлых обид и будущих ожиданий, обречены на разрушение. Не современное государство-нация, а определяющая себя сама этническая группа станет основным строительным материалом грядущего международного порядка». «Хотя националистическое государство представляет собой менее просвещенную форму социальной организации с политической, культурной, социальной и экономической точек зрения, чем мультиэтническое государство, его приход и господство попросту неизбежны»⁵⁴⁵.

Ведущие американские аналитики прогнозируют дробление национальных государств на этнические микро государства. Специальная аналитическая группа при европейском отделении ООН в Женеве объявила, что через 25 лет в мире может быть уже не две с половиной сотни государств, а вдвое больше. Как мы понимаем, стертая в мелкую этническую пыль государственность будет заменена глобальным управлением невидимого мирового правительства, действующего как секта людей-коктейлей с доктриной собственной избранности и божественной предназначенности повелевать историческими нациями. И этот чудовищный проект бьет прежде всего по крупным национальным организациям. Не останется в стороне от этого процесса и Америка.

Уже сегодня в США возникла возможность самой настоящей этнической войны. Аналитические издания прямо фиксировали особую роль этнических меньшинств, которые смогли противопоставить ассимиляционному давлению американского государства свои собственные интересы. Диаспоры перестали ассимилироваться и постепенно превращались в локальные сообщества, которые с приходом к власти администрации президента Уильяма Клинтона в 1993 г. получили политическое подкрепление своему обособленному, сепаратному существованию. Клинтон призвал забыть о прежнем «плавильном тигле»⁵⁴⁶ и провозгласил политику мультикультурализма.

В 1910 г. в США проживало 14,7% лиц, родившихся в других странах. В 1970 г. этот показатель составлял 4,8%, а к 1995 г. он снова вырос и достиг уровня 8,8% около 23 млн. человек. Четверть из них родилась в Мексике, около миллиона – на Филиппинах. Согласно данным отдела прогнозирования численности населения Бюро переписи населения, к 2005 г. латинос превзойдут по численности негров и станут крупнейшей группой национальных меньшинств в стране – на их долю будет приходиться 12,6% всего населения страны, на долю черных - 12,4%. К 2050 г. латинос будут составлять четвертую часть населения США. Удельный вес азиатов в населении, который сегодня составляет 3,5%, в 2050 г. вырастет до 8,2%. Неиспаноязычные белые, на долю которых сейчас приходится почти три четверти населения, к 2030 г. будут составлять менее 61% населения, а в 2050 г. – лишь немногим более половины.

Если Советский Союз с его доктриной «дружбы народов» не смог ничего противопоставить кланам этнических меньшинств и субэтносов, и был растащен на удельные княжества, то в США англосаксонское большинство вместе с мощными экономическими группировками вовремя почувствовало опасность разрушения единого гражданского самосознания и буквально вырвало из лап демократической партии победу

⁵⁴⁵ World Policy Journal, Summer 1998. P. 30.

⁵⁴⁶ Изначально концепция «плавильного котла» была выдвинута еще в 1782 году в Нью-Йорке Дж. де Крекёром. Она стала удобной для национального строительства в США, где население представляло собой социальных девиантов Европы или их рабов. При этом общество так и осталось мозаикой этнорелигиозных групп, которые и составили актуальный «мультикультурализм» Америки.

на президентских выборах 2000 г. Президент Буш-младший вновь начал восстанавливать концепцию «плавильного тигля» или хотя бы «салатницы», где этнические группы если и не переплавлены, то хотя бы не создают этнополитических анклавов. Вместе их удерживает «гражданская религия» (секуляризированная имперская доктрина) и экономический интерес (поддержание неэквивалентного обмена с остальным миром). При этом гражданское равенство обыденной жизни широких слоев населения сочетается с подчеркнутой элитарностью в различных секторах управления государством и экономикой, где определенная этничность – негласно существующий пропуск в тот или иной закрытый клуб.

К аналогичной политике могла бы была перейти Европа, которая все больше становится мусульманской территорией. Во Франции уже свыше 5 млн. мусульман, оказывающих влияние на политический выбор французов (в 2002 г. на их поддержку опирался Жак Ширак, выступая против Ле Пена), в Германии – около 2 млн., в Нидерландах – более полумиллиона, в Италии – примерно столько же, в Греции – около 300 тыс., в Бельгии 250–300 тыс. И это без учета нелегальной миграции, приобретающей все больший размах. В приведенных цифрах также не учтена албанская составляющая, носящая агрессивный характер и целенаправленно использующая в целях расширения своего влияния преступный бизнес - оборот оружия и наркотиков.

Перед западноевропейскими странами стоит вопрос адаптации и ассимиляции потока иммигрантов и их стремительно умножающегося потомства. Пока же, как отмечает Урс Альтерматт, они имеют примерно тот же статус, как метеки в античных Афинах – находятся за пределами политического сообщества⁵⁴⁷. В то же время изгойство иммигрантов оказывается для них объединяющим и мобилизующим, а потому и желанным фактором. Миграционное общество готово жить по европейским экономическим законам, но отказывается принимать европейскую культуру. Европа пока не нашла ответа на этот этнический паразитизм. Но практически во всех европейских государствах возникли сильные политические объединения, ставящие одной из ключевых задач закрытие границ для беспрепятственного въезда иностранцев из Африки и Азии. Эта позиция нашла понимание у избирателей, и у сторонников сохранения национального государства возникли свои парламентские фракции, порой вторые-третьи по численности.

Теоретической проблемой в этой области является проведение разделительной линии между государствообразующим народом-нацией и национальными меньшинствами. Альтерматт пишет: «Никто не может объективно определить, почему, например, литовцы, латыши и эстонцы являются народами, а чеченцы, баски и ретороманцы только национальными меньшинствами. Каждое определение понятия в отношении народов и меньшинств отражает соответствующее политическое соотношение сил. Кто еще вчера был "меньшинством", завтра уже может стать "народом", и наоборот»⁵⁴⁸.

С нашей точки зрения, эта проблема разрешается достаточно просто: нациями являются те этнополитические группы, которые не утратили памяти о своей прежней государственности и желания иметь его в будущем. Те же, кто получил государственные институты в результате исторического курьеза (например, советские прибалты), могут стать нациями когда-нибудь, но пока таковыми не являются. Соответственно, те, кто не имеет и не имел своей государственности, не могут претендовать на статус нации до тех пор, пока данное положение не изменится в силу очередного исторического курьеза. Здравая национальная политика должна всячески избегать этих курьезов, чтобы нынешние нации сохранялись, а новые не появлялись.

Другой проблемой не столько теоретической, сколько политической – является новая форма нациеобразования, наметившаяся в современном мире. Интегрирующиеся в коммуникативных пространствах меньшинства могут составить виртуальную нацию,

⁵⁴⁷ Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 227.

⁵⁴⁸ Там же. С. 106.

которая окажется серьезным соперником государствам-нациям. Касаясь этой проблемы, Бенедикт Андерсон говорит об опасности «удаленного национализма», который не зависит от проживания на территории родной страны⁵⁴⁹. Современные империи и современные национализмы становятся электронной (основанной на электронных СМИ) формой национально-государственного мифа.

Унификация потребления и личная культурная анонимность побуждают людей искать своей идентичности, обращаясь к прошлому и отправляясь на поиски духовного братства, которое современное государство не желает создавать. Исчезающие политии заменяются этниями без территориальной определенности. Международный терроризм и связанный с ним религиозный фундаментализм – лишь начало этого процесса образования виртуальных культурных наций. Современный либеральный мир и джихад исламских фундаменталистов – две стороны одной и той же медали.

Государство-нация может противопоставить этой виртуальной консолидации, рано или поздно собирающейся предъявлять претензии на политические права и политическое влияние, собственную виртуальную стратегию – распространить свою культурную экспансию на весь мир, и доступными методами как только возможно сократить воздействие на своих граждан виртуальных практик, возбуждающих этнические мифы. Национальные меньшинства должны быть размещены в информационных резервациях, выход из которых позволен только через усвоение общенациональной (имперской) культуры. Национально-культурная автономия, получающая право голоса в общении с государством и бюджетное финансирование (что заведено в России сегодня), – опасная уступка этническому.

Нация и национализм

«Националистический дискурс» вовсе не является чем-то присущим только современности. Еще Цицерон писал: «Если взглянуть на все с точки зрения разума и души, то из всех общественных связей для каждого из нас наиболее важны, наиболее дороги наши связи с государством. Дороги нам родители, дороги дети, родственники, близкие друзья, но отечество одно охватило все привязанности всех людей»⁵⁵⁰. В «Духе законов» Монтескье говорится: «Если бы я мог сделать так, чтобы люди получили новые основания полюбить свои обязанности, своего государя, свое отечество и свои законы, чтобы они почувствовали себя более счастливыми во всякой стране, при всяком правительстве... я счел бы себя счастливейшим из смертных»⁵⁵¹.

Ярко и последовательно национализм проявляется в концепции Макиавелли, которую зачастую неверно считают чисто инструменталистской. Макиавелли ищет величие не только и не столько в фигуре властителя. Его привлекает идея величия нации во всей совокупности составляющих ее исторических и культурных процессов и достижений. Макиавелли ищет лучшего государственного устройства для достижения максимальной витальности нации – духовное для него остается первичным, а государственные формы – преходящим фактором. Причем слабость нации, согласно Макиавелли, указывает на упадок морали и национальной жизни.

Характерной особенностью учения Макиавелли является выдвижение нации на первый план и отношение к религии и морали как ко вторичным проявлениям ее существования. Жизнь и свобода нации превыше всего. Нет никаких моральных или религиозных оправданий уступкам в этой области. Никакая оценка политического не может происходить вне идеи блага отечества. Только нация имеет абсолютное, вневременное значение.

⁵⁴⁹ Андерсон Б. Западный национализм и восточный национализм: есть ли между ними разница? // Русский журнал, 2001. №11.

⁵⁵⁰ Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1975.

⁵⁵¹ Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 160.

Хюбнер пишет, что «в национальном метафизическом мифе Макиавелли нация ничего не желает, кроме себя самой. Итак, духовные устремления Макиавелли направлены лишь к одной великой цели — восстановлению величия Италии»⁵⁵².

Концепция Макиавели остается предельно актуальной ввиду расширения и укрепления либерального утопизма, ставящего индивида во главу угла и именно ему посвящающего все свои интеллектуальные труды. В либеральной утопии государство обслуживает свободно соединившихся индивидов, но не нацию. Этому утопическому государству усредненного и абстрактного индивида противостоит национальный пафос Макиавелли.

Умеренный по сравнению с Макиавелли статус нации предполагается в политических учениях, склонных соединять нацию и государство. Чувство привязанности к государству-нации мы обычно называем патриотизмом, чем и отделяем его от более «радикального» чувства — национализма.

Гегель дал более глубокое определение патриотизму, связав его не с частным эмоциональным порывом, а с доверительным умонастроением, способным стать пониманием и выраженным в готовности к сверхнапряжению: «Политическое умонастроение, вообще *патриотизм* как заключающаяся в *истине* уверенность (чисто субъективная уверенность не исходит из *истины* и есть лишь мнение) и ставшее *привычкой* воление есть лишь результат существующих в государстве учреждений, в котором разумность *действительно* налична, а также обретает свою деятельность посредством соответствующего этим учреждениям действия. Это *умонастроение* есть вообще *доверие* (которое может перейти в более или менее развитое понимание) — сознание, что мой субстанциальный и особенный интерес сохранен и содержится в интересе и цели другого (здесь — государства) как находящегося в отношении ко мне как единичному, вследствие чего этот другой непосредственно не есть для меня другой, и я в этом сознании свободен»⁵⁵³. «Под патриотизмом часто понимают лишь готовность к *чрезвычайным* жертвам и поступкам. Но по существу он представляет собой умонастроение, которое в обычном состоянии и обычных жизненных условиях привыкло знать государство как субстанциальную основу и цель. Это сознание, сохраняющееся в обычной жизни и при всех обстоятельствах, и есть то, что становится основой для готовности к чрезвычайному напряжению»⁵⁵⁴.

Можно сказать, что патриотизм представляет собой национальную солидарность, для которой вообще нет необходимости в чрезвычайных решениях. Патриот всегда солидарен с национальным суверенитетом. Но эта солидарность также предполагает и требует чрезвычайных решений, поскольку они мобилизуют также и непатриотические слои общества, подчиняют их идее национального суверенитета, а также организуют патриотическое чувство в реальный ресурс противодействия угрозе суверенитета.

Для того чтобы отделить патриотизм от национализма, достаточно удобно использовать гегелевский подход и определить национализм как осознание своей связи с нацией, ее интересами и существующими в рамках национальной культуры ценностями. А патриотизм остается именно умонастроением, направленным в большей степени на государство, а не на нацию. Национализм — это уже организованное чувство, имеющее коллективную форму выражения. Патриотизм вполне может оставаться частным эмоциональным напряжением, не находящим себе деятельного применения.

Можно выделить три идеологических версии национализма:

1. Марксизм определяет национализм как продукт мелкобуржуазного сознания и мелкобуржуазной ограниченности — как предрассудок, который должен преодолеть освободившийся пролетариат у которого «нет отечества». Классовый принцип в данной интерпретации всюду преобладает над национальным.

⁵⁵² Хюбнер К. Нация. М., 1999. С. 66.

⁵⁵³ Гегель, Цит. пр. С. 292.

⁵⁵⁴ Там же. С. 293.

2. Современные либеральные учения в основном рассматривают национализм как возрождение первобытного родового мышления, проявление варварства и дикости (Э.Фромм, Т.Адорно, М.Хоркхаймер и др.).

3. В консервативно-традиционалистской интерпретации национализм приобретает положительную характеристику как естественное проявление национального духа, исторического самосознания народа, а также способ отстаивания его жизненных интересов. Продуктивный национализм отличается от ложного и деструктивного тем, что первый есть *сохранение своего*, второй — *захват чужого*. Причем сохранению своего в широком значении этого слова означает также и возвращение того, что было незаконно отнято⁵⁵⁵.

Модернистская концепция национализма выражается в двух основных тезисах⁵⁵⁶:

1. Национализм – явление, сопровождающее модернизацию, которое переживает каждое общество на пути к современности. Посредством эмоциональной нагрузки национализм образует политическую интеграционную религию в условиях секуляризованного общества. Национальное сознание и национализм представляют собой компенсационную функцию, восстанавливающую связи между людьми, ослабленные в результате индустриализации и урбанизации.

2. Всплеск этнонационализма связан с модернизацией, которая ускоряет развитие поликультурности общества, и является ответной реакцией на универсализм. Этнонационализм основан на представлении, что народ, нация и этния представляют собой единственные сущности.

Для обоснования первого тезиса Урс Альтерматт цитирует американского политолога Карла В. Дойча: «Когда люди в стремлении приобрести богатство посредством политики или войны обменивали относительную безопасность деревень и привычный мир на мобильность и ненадежность поездок, городов и рынков, а также на конкуренцию, то они смогли получить более благоприятные материальные возможности и плату за свою агрессивность и свое самоутверждение. Одновременно они в большей степени осознали одиночество, утрату чувства защищенности и общественных связей, а также потерю значения индивида — все то, что принес с собой переход к новым жизненным привычкам. Главным образом национализм является ответом на этот двойной вызов материальной возможности и неуверенности, одиночества и власти»⁵⁵⁷.

Второй тезис предполагает деление на «плохой» и «хороший» национализм по географическому признаку. Он предполагает возможность идеологизации различий между французской и германской моделью нации. Так, Г. Кон говорит о двух типах национализма: «западном» и «восточном». Первый он видел в Великобритании, Франции, США, Нидерландах, Швейцарии, второй – в Германии, странах Восточной Европы, России. «Западный» национализм обычно характеризуется как либеральный, основанный на рациональном свободном выборе и лояльности, преданности граждан государству, «восточный» – как органический, иррациональный, основанный на преданности народу, имеющий культурную основу⁵⁵⁸.

Французский социолог П.Бирнбаум⁵⁵⁹ выделяет культурный и государственный типы национализма. Первый связан с отстаиванием всего того, что выражает национальную специфику определенного народа (язык, культура, самосознание). Второй тип национализма направлен на отстаивание силы и величия национального государства и нации, при котором культурные, языковые и другие моменты отходят на второй план.

⁵⁵⁵ Дебольский Н.Г. Начало национальностей в русском и немецком освещении // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1916, № 2 (февраль). с. 183–207.

⁵⁵⁶ Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 15–16.

⁵⁵⁷ Там же. С. 82.

⁵⁵⁸ Kohn H. The Idea of Nationalism. New York: McMillan, 1967.

⁵⁵⁹ Бади Б., Бирнбаум П. Переосмысление социологии государства// Международный журнал социальных наук, 1994, № 4 (7).

«Западный» национализм закономерно приобретает характеристику «либеральный» или «гражданский», во всем противопоставленный «восточному» этнонационализму. Считается, что западный национализм в XIX в. был связан с либерально-демократическим движением, у восточного национализма эта связь отсутствовала.

Л. Гринфелд⁵⁶⁰ в этой связи выделил три типа национализма: индивидуалистический, гражданский и этнический. Второй и третий типы носят коллективистский характер, не утверждая первенства индивида и либеральной демократии. Гражданский вариант национализма (Франция) характеризуется уверенностью в политических и культурных силах, достижениях и даже превосходстве, а этническому национализму присущ комплекс неполноценности нации (Германия, Россия).

Национализм понимается современными исследователями также еще в двух смыслах – как государственный патриотизм и как этнонационализм.

Немецкий исследователь Э. Ян представляет идею такого деления следующим образом:

«...государственный и этнонационализм существенно отличаются друг от друга. Государственный национализм имеет инклюзивный характер, т.е. включает в понятие нации языковые и этнические меньшинства и пытается их ассимилировать, хотя бы в языковом отношении, — чаще всего с помощью “пряника” (социальное продвижение и причастность к реально или мнимо превосходящей языковой культуре), но иногда и с помощью “кнута” (принуждение к изучению государственного языка, социальная дискриминация). За языковой нередко следует и этническая ассимиляция. Политика “плавильного котла” совершенно равнодушна к этническо-языковому происхождению государственных граждан, но не к их этническо-языковому будущему. Неумение приспособиться к господствующим языку и культуре, как правило, не преследуется законом, но влечет за собой негативные социальные последствия.

Этнонационализм, будучи по своей природе эксклюзивным, исключает этническо-языковых “инородцев” из нации. Некоторые разновидности этнонационализма преследуют те же цели, что и языковой, и культурно-миссионерский государственный национализм, т.е. ориентируются на ассимиляцию этнических меньшинств. Этот процесс воспринимается, однако, не как приспособление к культуре и языку государственной нации, а как переход из одной нации в другую. При таком подходе культурно-языковая адаптация и подчинение, как правило, не удаются: хотя подобный этнонационализм пытается быть гуманным по отношению к отдельным индивидам, его принудительные меры приводят в конечном итоге к этноциду (культурному геноциду). Другие варианты этнонационализма не только не стремятся ассимилировать этнических “инородцев”, но даже опасаются их. Для обоснования невозможности или нежелательности ассимиляции выискиваются биологические и расистские, а иногда и культуралистские причины. Такого рода этнонационализм выступает по большей части за сохранение культурно-этнических различий, но расплатой за это служит социальная дискриминация с перспективой изгнания и физического геноцида»⁵⁶¹.

В том же духе высказывается и Альтерматт: «Этнонационализм представляет собой мощное духовное и социальное движение, которое оборачивается против культурной современности и плюралистической демократии. Как и фундаментализм, он не борется с самой современностью, но предается мечтам о полусовременности, отрицающей культурную модернизацию, приветствует техническую и рационально-научную модернизацию и использует ее в своей борьбе против современности»⁵⁶².

⁵⁶⁰ Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, 1992.

⁵⁶¹ Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство// Полис, 2000. №1.

⁵⁶² Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 205.

В данной позиции не учитывается тот факт, что и государственный национализм имеет свои предельные характеристики весьма негативного свойства – он может быть доведен до государственной тирании, тоталитаризма, в котором не будет заметных признаков этнократии, но интенсивность искоренения инакомыслия окажется ничуть не меньше, чем в условиях этноцида. Да и сам принцип «плавильного котла» может стать базовой идеей для тотального этноцида или (в более скромной форме) для формирования химерной нации с доминированием внеэтнической бюрократии.

История говорит о том, что демократии, кичащиеся государственно-строительной формой национализма, исходно реализовали жестокие ассимиляционные модели, соответствующие насильственному государственному единству, которое создавало нацию. Напротив, «восточные» модели государственности, если и были не менее жестокими, то хотя бы не умножали жестокость путем этноцида. Во Франции, Великобритании, США нация исходно понимается как сообщество граждан. Поскольку здесь не просматривается никакой промежуточной социокультурной структуры между гражданином и государством, управление могло строиться на централизованных, унитарных началах, а потом с течением времени «федерализироваться» в рамках построенного государственного базиса. Если же историческая память сохраняет символы догосударственного родового и территориального единства более мелких общностей, то нации более свойственна федеративная или имперская система. В раздробленных Германии и Италии единого государства не было, и чувство общности возникало из единого языка и единой культуры. Имперский вариант оказывается естественным, поскольку почти всегда находилась одна из родовых территорий, осуществившая, наконец, государственный суверенитет и становившаяся в процессе объединения гегемоном (Пруссия в Германии). Только уничтожение имперского центра позволяет прорасти либерально-федеративным началам – полисубъектному суверенитету.

Исследователи выделяют две модели развития национализма. Во Франции, Англии и Швеции рост национального самосознания происходил под эгидой монархии и может считаться органичным развитием традиционных форм национализма. В Западной Европе конца XIX в. резкое увеличение электората способствовало идентификации общества с нацией и заставило традиционные элиты искать массовую поддержку избирателей. Другой тип национализма возникает в процессе становления национально-освободительного движения или в борьбе за национальную независимость против внешнего врага. Общим для обоих вариантов признаком национализма является возникновение институтов, предназначенных для того, чтобы продемонстрировать, что власть осуществляется по воле или от имени народа. Под национализмом подразумевали стремление народов к самоуправлению, утверждению гражданской независимости через институты представительной власти.

Эгберт Ян указывает, что либеральная и социальная составляющие в революционной или реформаторской интерпретации национализма стояли на первом плане до тех пор, пока в качестве основного противника движения выступало сословное династическое государство. В последней трети XIX в. национальные движения начали противоборство друг с другом. «На смену свободе от династического и сословного социально-политического господства пришла свобода от чужеземного ига, способная заслонить правду о несвободе внутри собственной нации. Соккрытие собственных недостатков, считавшееся вначале условием успешной борьбы против внешнего врага, постепенно перерастает в институционализированную привычку. Этот факт, а также связанная с ним тенденция подчеркивать культурно-этническую основу нации часто ведут к вытеснению либерально-демократических течений как в уже утвердившихся нациях-государствах, так и в еще не обретших государственности национальных движениях»⁵⁶³.

⁵⁶³ Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство// Полис, 2000. №1.

Более осторожные и вдумчивые исследователи предпочитают не вводить в анализ национализма географический фактор и полагают, что гражданский и этнокультурный национализм могут иметь общую основу и накладываться друг на друга⁵⁶⁴. Из признания того, что национализм бывает разным, делается вывод, что национализм в своих проявлениях может в большей или меньшей мере сочетаться с либерализмом и демократией.

Наиболее продуктивный подход к пониманию национализма, на наш взгляд, содержится в позиции современного российского политолога И.Е.Кудрявцева⁵⁶⁵, несколько переработанную интерпретацию которой мы приводим ниже.

Нация, возникшая в Великой французской революции, означала силовое навязывание народу субъектных качеств, которые мыслились универсалистски – вне этнокультурной идентификации. И лишь дальнейшая политическая модернизация позволила выяснить, что демократия не стабильна, пока не подкреплена фундаментом национализма в его нынешнем культурном и этническом понимании.

Общая культурная парадигма делает иррациональность масс продуктивной. Стихийные импульсы разнонаправленных волей, если они не скреплены определенного рода «предрасудками» (патриотизмом, национальной гордостью, ощущением святости миссии), могут разорвать государство, особенно в условиях современной тесной сети коммуникаций, когда меняющаяся воля масс может меняться быстро и непредсказуемо.

Кудрявцев считает, что нация создает единство, оставляя людям ощущение свободы, а национализм и демократия способны создавать друг друга. В этом смысле либеральный национализм – всего лишь форма национализма, присущая определенным формам демократии, не имеющим никакого универсального статуса. Соответственно, самобытная русская нация также не может не иметь собственного национального «я» с собственными характеристиками национализма и демократии. Как раз наличие у нации субъективного начала, самобытности позволяет ей противостоять внешним угрозам.

Важным для нас является и вывод о том, что нация не является ни сущностью целиком «реальной», материальной, объективной, ни, наоборот, полностью субъективной, духовной – она представляет собой структурный синтез объективного и субъективного компонентов. Таким образом, естественным следствием существования нации является наличие «национального мифа». При отсутствии «объективных» условий для формирования государства нация становится сообществом духа, а национальный миф – единственным выражением этого духа. Именно так нация может существовать в латентной форме, лишенной всякого институционального оформления.

Российская политическая публицистика сильно воздействует на науку, и термин «национализм» зачастую понимается в резко негативном смысле – как стремление к превосходству одного народа над другими, как идеологический ярлык «врагов общечеловеческих ценностей». В то же время позитивные смыслы соотносятся с этнополитическими процессами, в которых действуют «национальные движения». Именно такие движения в Прибалтике, Грузии, на Украине и т.д. с началом перестройки получили позитивные характеристики как среди западных специалистов, так и среди отечественных либеральных ученых. Поэтому общей идеей было смешение «национализма» и самосознания русского народа с «имперскими амбициями», а также признание освободительного характера этнополитических движений на всем постсоветском пространстве. Патриотизм в конце 80-х – начале 90-х годов XX века клеймился в советских, а потом почти во всех российских средствах массовой информации как нечто антигуманное, потребное лишь для «последнего прибежища негодяя».

⁵⁶⁴ *Smith A. The Ethnic Origins of Nations. - Oxford, 1986. - P. 149.; Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. - Cambridge, Mass., 1992. P. 9–11.*

⁵⁶⁵ *Кудрявцев И.Е. Национальное «я» и политический национализм// Полис, 1997, №2. С.77–94.*

Кризисное общество в России породило и кризисное обществоведение, в котором наблюдалась путаница терминов и подмена изучения явлений оценочными характеристиками. И лишь во второй половине 90-х годов началось некоторое отрезвление. Вероятно, во многом научный подход к проблеме национализма проложил себе дорогу в России через выстроенные на его пути идеологические барьеры только после страшного урока первой Чеченской войны (1994–1996)⁵⁶⁶. Националистическими в научной литературе стали называть такие политические доктрины, в которых интересы и ценности нации считаются приоритетными перед другими интересами и ценностями, национализмом – систему принципов, суть которых состоит в том, что политические и национальные единицы должны совпадать.

Вместе с тем, такой подход все еще замкнут в рамках узкого круга специалистов, что требует подробной разработки данного направления. По-прежнему сохраняется разрыв между популистскими, журналистскими, идеологизированными взглядами и научными разработками проблем национализма. Сильно осложняет ситуацию зависимость национализма как явления, постоянно обнажающего то одно, то другое свое «лицо» в зависимости от социально-политического контекста⁵⁶⁷. Но это же свидетельствует в пользу «националистического дискурса», без которого осмысление современных политических процессов просто невозможно.

Для России актуальной политической задачей стало возвращение позитивных смыслов понятию «национализм» – для государства это чрезвычайно важно в связи с необходимостью: с одной стороны, перехватить лозунги защиты национальных интересов у экстремистских кругов, а с другой – обрести язык приказов, касающихся подавления этнополитического раскола нации. Если удастся вывести «националистический дискурс» из чисто научной литературы и в приемлемых формах превратить его в перманентную практику общественной оценки решений власти, российская нация приобретет язык политической коммуникации, дефицит которого остро ощущается в «атомизации общества».

Язык нации и лингвистический этношовинизм

До французской революции европейские правители не интересовались языковой культурой своих подданных. Для задач управления достаточно было локальной коммуникации подвластных и минимальное понимание общего языка в управляющей инфраструктуре, которая обеспечивала налоги и военную службу. Прусский король Фридрих II писал свои литературоведческие и философские трактаты на французском языке и даже объявил о своей мечте стать великим французским поэтом. Еще более яркий пример – франкоязычность русского дворянства (которое, правда, не смутилось этим обстоятельством в войне с Наполеоном.). Тем не менее, правящее сословие не могло говорить на разных языках и допустить разнородных языков в системе власти. Можно считать, что государственный язык все-таки везде и всюду был один. Фридрих Великий не мог говорить по-пруски, а русское дворянство, скажем, на польском. Единоязычие власти – безусловный, естественный закон.

При всем равнодушии к податным сословиям феодальная власть не могла быть полностью равнодушной к языку подданных, поскольку не допускала возможности, чтобы язык становился признаком сопротивления. Методы подавления в этом случае были самыми жестокими вплоть до запрета исполнять песни на родном языке (как это было сделано в попытках германизировать лужичан).

⁵⁶⁶ Дробижева Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева В. В., Солдатова Г. У. // Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996.; Коротеева В. В. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? // Pro et Contra. Т. 2., # 3. Лето, 1997.

⁵⁶⁷ Дробижева Л. М. Возможность либерального этнонационализма. // Реальность этнических мифов, Центр Карнеги, октябрь 2000 г.

Как только на авансцену истории выходят массы, идентичность по языку оказывается важнейшим признаком единства. Национальная идентичность прежде всего оказалась связанной с общими культурно-языковыми категориями. Именно поэтому с конца XIX в. происходит языковая унификация через образование и средства информации. Стремление ведущих государств к стабильности приводило к политике, целью которой было превращение множества языков данной территории в диалекты господствующего языка. Во Франции системой образования и государственным контролем за издательской деятельностью этого удалось достичь. В Испании превращение каталонского и галисийского языков в диалекты кастильского не состоялось, но определенная языковая иерархия все-таки была достигнута. В Японии Мэйдзи также стремились во всех частях страны свести весьма различные островные языки к диалектам нового национального языка – мандаринского. Бенедикт Андресон⁵⁶⁸ приводит примеры действия колониальных сил во Вьетнаме (французская администрация) и Индонезии (нидерландская администрация), которые насаждением собственного языка породили в 20-х годах XX в. новый национализм, решивший, что новая форма языка является для местного населения национальной. Аналогичным образом в Индии и на Филиппинах англоязычный национализм сочетается с региональными языковыми культурами.

Всемирная и общеевропейская закономерность – контроль за употреблением языка, понимаемый как важнейшее условие суверенитета. Суверенитет должен был быть национальным, нация – иметь общий язык, обеспечивающий интенсивную культурную и политическую коммуникацию.

Изжить разноразличия в рамках политической нации до конца невозможно, да и ненужно. Современные нации многоязыки – на 8–10 тыс. языков в мире приходится лишь около двухсот государственных языков. В Африке зафиксировано более 1200 народов и этнических групп со своими языками. Жители Нигерии говорят на 400 языках. В Индии насчитывается до 5000 различных культурных сообществ и больше сотни языков (радио вещает на 190 языках), 18 официальных языков (плюс английский и французский, на котором говорит политическая элита). Жители островов Новой Гвинеи говорят на почти тысяче языков. Именно поэтому вопрос о сосуществовании этнических языков с государственным языком является серьезной проблемой для нации.

Внутригосударственный раскол намечается, как правило, при языковой консолидации, которая начинает пониматься одновременно и как политическая (национально-освободительная) солидарность. Как только проблема этнического языка станет обсуждаться, как только возникнет вопрос его преподавания, сохранения, развития, защиты, можно с уверенностью прогнозировать конфликтные ситуации и всплеск этнического сепаратизма. Поэтому задача государства, не вмешиваясь в регулирование языков бытового общения, жестко охранять язык нации, язык власти, язык ведущей культуры и не допускать никаких дискуссий о языках, никаких сомнений в доминировании одного языка во всей публичной сфере.

Дискуссии о языке сами по себе вредны, поскольку под видом защиты этнического языка обычно выдвигаются претензии на контроль за определенными статьями государственных расходов, некоторыми государственными институтами, наконец, на контроль за территориями компактного расселения представителей данной языковой группы. Как только какие либо дополнительные возможности получены, претензии этноэлит стремительно перемещаются в сферу ревизии истории и традиции народа, говорящего на данном языке. Открытой формы конфликта следует ожидать, если этноэлита находит «общечеловеческий» контекст для своих претензий, требующий

⁵⁶⁸ Андерсон Б. Западный национализм и восточный национализм: есть ли между ними разница? // Русский журнал, 2001. №11.

«понимания национальных чувств других этносов»,⁵⁶⁹ начиная с языка, кончая трактовками истории.

Национальный язык в национальном государстве должен доминировать – этот непреложный закон является скрытым (и подчас неосознанным) условием сохранения суверенитета. Власть в государстве может быть национальной только в том случае, если она обеспечивает первенство и лидерство ведущей традиции, передаваемой из поколения в поколение преимущественно средствами первенствующего национального языка. Это прекрасно понимали еще в начале XIX в. как либеральные, так и национальные философы-романтики.

Опаснейшим для государства фактором является искусственное возникновение параллельной литературной традиции, которая начинает выражаться в словарях и записях устных народных традиций. Если не прекратить этот процесс, не вести внятной языковой политики, формирующей языковую иерархию одновременно с социальной и этнокультурной, то малые языки поднимут восстание против языка нации, порождая вражду там, где ее не было и не могло быть.

Традиция политизируется, как только приобретает концепцию национальной истории – пусть даже и на чужом языке. Тем более возникает напряженная политизация этнического сознания, если ему позволяют разрастись до лингвистического этношовинизма и породить собственную версию истории, оппозиционную государственной.

Политическому делению предшествует этнолингвистический раскол – это понимали в Российской Империи, но пытались вразумить сепаратистов мягкостью политики. И эта ошибка дорого обошлась, обернувшись жертвами. Только после польского восстания 1863 г. с помощью школ и средств массовой коммуникации Империя перешла к осуществлению языкового и культурного национализма – ввела повсеместное изучение и официальное употребление русского языка. Поэтапно было упразднено официальное употребление польского языка, в средних и высших учебных заведениях преподавание осуществлялось на русском языке вместо польского, название Польши было заменено названием Привислинский край. Менее жесткие, но похожие меры были применены на Украине – Министерство внутренних дел циркуляром запретило печатание книг на украинском языке, за исключением беллетристики. Малороссийский язык был объявлен диалектом русского языка, испытывавшим сильное польское влияние. Несколько позднее (1900 г.) русский язык в качестве официального был введен в Финляндии для высших органов управления и Сената. Запоздалость и недостаточность этих мер во многом обусловило поддержку этническими меньшинствами большевистской революции, на начальном этапе ублажавшей иллюзии этношовинистов.

В России лингвистический этношовинизм выражается в двух формах: 1) в форме русского (прежде всего, украинского) сепаратизма, возводящего один из русских просторечных говоров в ранг культурного языка; 2) в форме иноязычного сепаратизма нерусских народов. Проникновение этнического языка в сферу политики и власти сразу возбуждает забытые исторические мифы и консолидирует антигосударственные и антирусские силы.

В русской истории уникальным является «польский вопрос», который был особенно труден для национальной политики, поскольку вхождение части Польши в Российскую Империю требовало более энергичных мер политико-культурной

⁵⁶⁹ Именно такой сценарий умиротворения «лингвистического национализма» предлагают некоторые российские ученые - *Здравомыслов А.Г.* Социология конфликта. М.: Аспект-пресс, 1996, с. 203. Тем не менее, такой подход может лишь спровоцировать эскалацию конфликта, но никак не послужит для смирения страстей. Более того, как это видно из ситуации, сложившейся вокруг проблемы франкоязычного Квебека в Канаде, лояльность к «лингвистическому национализму» ведет и к утрате экономических перспектив, ибо иноязычие считается в данном языковом локусе несовместимым с профессиональной деятельностью, признанной в остальной части страны.

ассимиляции, чем при других территориальных приобретениях. Тем более, что с самого начала была совершена тягчайшая ошибка – в 1815 г. по решению Венского конгресса герцогство Варшавское было присоединено к России, а Александр I создал из него Царство Польское с конституцией, парламентом и широкой автономией, воссоздав таким образом польскую государственность. И это было крайне трудно совместить с тем, чтобы заставить поляков постепенно забыть свою национальную славу и превратиться в добропорядочных российских подданных. Решающую трудность здесь составляла религия, отделявшая поляков языком и ритуалом от остального населения империи. Вместе с тем, все возможности для мирного процесса ассимиляции были. Общественная жизнь была спокойна, пока вооруженная сила России была решительна в намерении не допустить каких-либо видов на национальную самостоятельность Польши. Но как только угроза сепаратистам стала ослабевать, польское «национальное чувство получило возможность дышать свободно, и открылись виды на будущее; политические преступники возвращены из ссылки и из изгнания»⁵⁷⁰. Тогда же первым делом автономного статуса края были открыты польские школы и университет, где преподавали по-польски. Автоматически началось вытеснение русских управленческих кадров и замещение их польскими; началось возвращение в общественную жизнь польских эмигрантов, возбудилась антирусская солидарность польской диаспоры по всей России и поднялась волна сочувствия к полякам со стороны европейской и русской либеральной публики. Вслед за этим начались опустошительные волнения и смуты, дошедшие до вооруженного восстания. Запрет войскам применять оружие привел к образованию разнузданных толп на варшавских улицах, убийствам русских солдат исподтишка и поодиночке, образованию самозванного правительства, требовавшего не только полной независимости, но и низведения России с позиции великой державы с уступкой ряда территорий с русским населением. Польское население, поддавшееся антирусской агитации, потом само было не радо обстановке террора и революции, вызвавшей, наконец, ответ со стороны России, подавившей мятеж и запретившей польский язык не только в официальных учреждениях, но и в общественных местах.

Другим ярким примером лингвистического этношовинизма является «чеченский вопрос», два века досаждающий России и лелеющий память об имаме Шамиле, потрясавшем юг Империи три десятка лет. Здесь уже избранная слава была не в государственности, а лишь в ее возможности, очерченной мифическими военными подвигами, а затем, подкрепленной и избранной травмой – сталинской депортацией в Казахстан. И все эти смутные, переполненные выдумками воспоминания приобрели силу, как только чеченцам было позволено самоопределяться на свое родном языке и возводить к власти исключительно тех, кто им владел в 1991 г. Полное расслабление власти и даже соучастие Москвы в этнизации Чечни довели дело до геноцида и изгнания русского населения⁵⁷¹.

Самый серьезный удар по русской государственности нанес малорусский (украинский) лингвистический этношовинизм. В особенности потому, что история Киевской Руси для русского человека служит источником образов, составляющих его национальное мировоззрение, а древний Киев является неоспоримым символом русского единства. Как писал М.Н.Катков, «Украина никогда не имела особой истории, никогда не была особым государством, украинский народ есть чистый русский народ, коренной русский народ, существенная часть русского народа, без которой он не может оставаться тем, что он есть. Несчастные исторические обстоятельства, оторвав Украину от русского корня, насильственно соединили ее на время с Польшей; но Украина не хотела и не могла быть частью Польши, и из временного соединения с ней вместе с полонизмами своей

⁵⁷⁰ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002.

⁵⁷¹ См. работы автора Кольев А. Чеченский капкан.// М., 1997, Савельев А.Н. Преступления режима Дудаева-Масхадова <http://kolev3.narod.ru>.

местной молви вынесла вечную, неугасимую национальную ненависть к польскому имени»⁵⁷².

И вдруг в середине XIX в. украинская интеллигенция, потянувшись к Польше, открыла для себя украинский язык и занялась составлением словарей и наполнением украинской национальной библиотеки произведениями, выдаваемыми за образцы литературной речи. Провинциальный гонор в сочетании с памятью о величии Киева и запорожской вольницы (а на деле – о гетманских изменах) притягивал противников России, извлекая из Украины честолюбивые замыслы и крамолы. В момент ослабления державной мощи империи и заминки в формировании национальной политики все пошло в ход – и исторические мифы с антимосковской пропагандой, и лжелингвистика, и поддержка зарубежных врагов России⁵⁷³. Как и в случае с чеченцами, все это выплескивалось в периоды народных бедствий – в Гражданской войне 1918–1922 гг. и в Отечественной войне 1941–1945 гг., а затем в условиях распада государства в 1991 г. и «украинизации» Малороссии в последующие годы. И сегодня политический клан, захвативший власть на Украине, всячески расширяет лингвистический раскол русского народа, терроризирует своих подданных, всеми силами искореняя русский язык, и является главным препятствием на пути русского воссоединения.

Изживание русского языка ведется на Украине в продолжение лингвистического национализма, еще в середине прошлого века досаждавшего малороссийским крестьянам новосочиненным наречием. Вспоминаются прежние пропагандистские мифы польского происхождения – будто Юго-Западная Русь не имеет ничего общего с остальным русским народом и тяготеет к Западу. Тогда в ответ на эти мифы Катков говорил: «Малороссийского языка никогда не было и, несмотря на все усилия украинофилов, до сих пор не существует. Во множестве особенных говоров Юго-Западного края есть общие оттенки, из которых искусственным образом можно, конечно, сочинить особый язык, как можно сочинить особый язык, пожалуй, даже из костромского или рязанского говора. Но, спрашивается, из каких побуждений может возникнуть желание сочинить такой особый язык, как будто недостаточно уже существующего русского языка, принадлежащего не какой-либо отдельной местности, целому народу, нераздельному и единому, при всех местных особенностях и местных наречиях, впрочем, несравненно менее резких, чем во всякой другой европейской стране?»⁵⁷⁴ «Восточная Русь все силы свои положила на упрочение единства, все отдала в жертву для спасения основ существования народа, для утверждения власти и государственной целостности и к половине XVII века образовала из себя крепкую и плотную державу: между тем как в Киевской Руси удержалось и развилось начало свободы, которая сама по себе лишена силы организации, но которая на крепкой основе установившегося государства есть благодатная сила, и без нее ничто человеческое не может иметь истинной ценности». (...) Москва приучила, скажем словами древней летописи, примучила Русь к твердому порядку; Киев, в свою очередь, внес впервые свет европейской науки в заглохшую жизнь Московского государства. Только после Переяславской рады образовался из двух половин русского народа один цельный, великий народ, способный к полному, всестороннему развитию»⁵⁷⁵.

И вот сегодня украинский академик, публикуясь в известном российском журнале, основой для своих доводов берет лозунги Кирилло-Мефодиевского товарищества, которое полтора столетия назад призывало славян к восстанию против России и созданию союза славянских республик: «И Украина сделается Речью Посполитою в союзе славянском». Не случайна конфессиональная ориентация этого нового полонизма: мол, идею славянской взаимности «подверстывают под идею православия, исключают из нее славянокатоликов и славян-протестантов (а поляков просто злобно третируют)» и опрометчиво

⁵⁷² Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 146.

⁵⁷³ См. статью автора Савельев А.Н. Украинский сепаратизм// Новая Россия, 1997. №1–2.

⁵⁷⁴ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 147.

⁵⁷⁵ Там же. С. 262–263.

«связывают судьбу славян с миссией российской монархии, сакрализуют ее экспансию», планируя «снова впрячь “братьев” в старую имперскую упряжку»⁵⁷⁶.

В упрек нынешней российской власти и провалам в национальной политике прежних лет нужно привести пример деятельности Российской Империи, организованной по части ограждения белорусов от польского влияния.

Белорусский говор, если его отделить от русского языка, полагал Катков, при большом желании можно «разуть» в особый язык. Но точно так же можно поступить и с любым иным русским простонародным говором, каждый из которых имеет свой территориальный центр и распространен по всей Руси. Вся разница лишь в польском влиянии, которое как раз и тянет белорусский говор к обособлению, а белорусов – к розни с великороссами. Это обстоятельство, но уже без польского влияния сохраняется и теперь, когда белорусам предлагают преисполняться гордости за свою обособленность от русских и за свою «литературу», оторвавшуюся от общерусского литературного языка.

Лингвистический сепаратизм, раздуваемый группами интеллигенции, в конце концов не может не привести к следующей стадии – разворачиванию этнических мифов и выдумыванию этнической истории таким образом, чтобы продлить ее в глубь веков. Именно так появляются концепции обособленного «тысячелетнего исторического пути белорусов»⁵⁷⁷, отделенного от великорусско-белорусского единства, и невозможность государственного воссоединения. Утверждается, что версия происхождения восточных славян из единого корня – это всего лишь «плод творчества русских ученых XVIII-XIX веков». Вместо этого предлагается рассматривать историю Полоцкого княжества, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой настоящей традицией белорусской государственности. Мол, белорусы уже в X в. составляли особую этническую общность, Полоцкое княжество было типичным европейским государством и вместе с Новгородом, Ростовом, Суздалем и Рязанью противостояло «Руси». Соответственно и война 1812 г. была войной Европы против России, в которой значительная часть населения Речи Посполитой шла за Наполеоном и не считала для себя войну Отечественной. Между польским и белорусским различия при этом не делается, белорусы становятся поляками второго сорта, периферией чужой истории, чтобы увести от логичных вопросов, к этой концепции добавляется повторение большевистского клейма, обозначившего Российскую Империю как «тюрьму народов».

Таким путем подчеркивается дистанция с «большими народами», а на деле – с родовым национальным ядром. «Азиатская» Русь противопоставляется европейскому славянству, а Россия превращается в агрессора, будто бы захватившего восточный форпост европейского мира. Таким образом, формируется идеология разделенного существования, не допускающая возвращения Белоруссии к ее исторической миссии западного форпоста Русского мира.

Тяжким уроком для России является прибалтийский сепаратизм, родившийся в XX в. не из чего – из каких-то отголосков рыцарской гордости и привилегий немецкой аристократии российских Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, не имеющей никакого отношения к литовцам, латышам и эстонцам. Еще в начале XIX в. тут ни о каком народе говорить было невозможно. «Никакого народа не было тогда в этих областях, и ни о какой национальности не могло быть вопроса. Туземные населения вовсе не проступали на вид. О них не было помину. Это были совершенно бесправные существа, лишенные всякого гражданского, даже человеческого значения. Рыцари предпочитали повелевать ими на их темных языках, нежели приближать их к себе и уравнивать с собой посредством немецкого языка: вот как мало помышляли они о национальном единении между различными элементами своей страны!»⁵⁷⁸ Потом извне поступает доктрина о единении лидирующей немецкой нации с онемеченной туземной интеллигенцией на основе

⁵⁷⁶ Родина, 2001, №1–2.

⁵⁷⁷ Там же.

⁵⁷⁸ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 226.

антирусской солидарности. И начинает забываться, что балтийские уроженцы составляли в Российской Империи корпорацию, были отдельным правительственным сословием, и всюду принимались как «свои», но не как представители отдельной национальности.

Последствиями начатой было германизации стала случайная независимость, доставшаяся прибалтам в награду от большевиков за особенно ревностное участие в революционном движении. Память об этом событии, как и о лишении дарованной независимости теми же, кто ее предоставил, стала для прибалтов поводом для шовинизации сознания, подспудно нарастающей в течение всего советского периода. Огромные материальные вложения советского государства в хозяйство прибалтийских республик и заселение Прибалтики русским рабочим людом, казалось бы, постепенно снимало вопрос о независимости. Но как только местный шовинизм стал возможен, он тут же выплеснулся наружу мятежом в Вильнюсе и Риге, поддержанным антигосударственными силами в Москве. Это был чисто лингвистический мятеж, у которого исторический миф был самым куцым из всех возможных, самым нелепым. И тем яростнее он обрушил на русское население репрессии возникших на развалинах СССР нацистских режимов Эстонии, Латвии и Литвы.

Теперь, когда Россия прошла огромный путь борьбы с сепаратизмом, когда наша история несет тяжкий груз поражений, связанных с уступками лингвистическому этношовинизму, мы имеем в собственных властных структурах самоуверенное следование федералистским принципам, согласно которым все национальности в нашей стране должны получить свои школы, университеты, национальный кадры, судопроизводство на своих языках и т.д. Это ни что иное, как подготовка горючего материала для мятежа даже там, где до сих пор не было никаких условий для его возникновения.

Все примеры из русской истории говорят об одном – о необходимости самого решительного изменения отношения к общенациональному для России русскому языку и о пересмотре федералистских принципов «свободного развития языков» в ущерб русскому языку и за счет него. Вновь обращаясь к наследию М.Н.Каткова, мы можем почерпнуть из наследия русского философа убеждение в том, что «из всех языков русский, однако же, при всей громадности пространства и разнообразии местностей, где он звучит, отличается наибольшей однородностью, так что самые большие разноречия в нем менее значительны, чем самые мелкие особенности в местных говорах Германии, Франции, Англии, Италии и т. д.»⁵⁷⁹. Поэтому залогом суверенитета над пространствами исторической России является бесспорное и повсеместное доминирование русского языка.

Также следует помнить и о том, что в русском разъединении кровно заинтересованы враги России, которые хотели бы, чтобы вместо единой русской нации пространство исторической России населяли чужие друг другу «москальи», «хохлы» и «сябры», а также народы, не желающие брать от русской культуры или вносить свою лепту в общенациональное достояние. Они лелеют мечту разделить русские пространства сначала разноречием, а потом и политической враждой.

Особенности русской нации

Большинство современных авторов, рассматривающих вопросы российской государственности, явно или неявно предполагают универсальную схему образования государства. За основу берется концепция политической нации. В этом случае «государство» и «нация» выступают как две различные ипостаси одного и того же: государственно организованной общности людей. Тогда «нация — почти всякое сущее на земле государство, признанное *de jure*, а иногда даже имеющее представительство, признанное *de facto* или *ad hoc*»⁵⁸⁰. (в Российской Федерации нация как бы уже состоялась вместе с фактом существования государства.). Нация превращается в метафорическое

⁵⁷⁹ Там же. С. 243.

⁵⁸⁰ Салмин А.М., Россия в ожидании политического воплощения: нация, государство, федерация// Российский монитор, 1995. №5.

определение государства, принятое в международно-правовом языке, в формальную идентификацию граждан по гражданству. Раскрытию сущности государственного единства это ничуть не помогает.

В реальной жизни в культурно-историческом пространстве значительно важнее понять, насколько принципы политического и духовного единства вытесняют другие принципы, несовместимые с ними.

Соединяя методологические подходы К.Хюбнера и С.Люе можно выделить следующие черты русской нации:

Образ себя	Носители, хранители и возделыватели добра
Образ врага	Тот, от кого надо защищаться или защищать
Поле действия	Пространство без границ и препятствий с иерархией ценностных структур, распределенных по «степеням защиты»
Условие действия	Защита себя и покровительство подопечным. Осознание себя как могущественной и самой правой (справедливой) силы. Уверенность в благожелательности, комплиментарности мироздания (русское Чудо – на крайний случай).
Способ действия	Служба, служение как выполнение нравственного долга.
Образ покровителя	«Русский Бог», Россию сам Бог блюдет, Россия – придел Богородицы
Регулятивная идея (центральная культурная идея)	Идея Третьего Рима и особого предназначения русских в эсхатологической, связанной с концом истории, перспективе ⁵⁸¹ .
Основные регулятивные системы	Русское государство и русская крестьянская (шире – корпоративная) община

Эти черты вовсе не пребывают в условиях стабильного «трансфера» из области бессознательного. Регулятивные системы принципиально конфликтны, отражая особенностями своего конфликта национальные черты. Кроме того, когда этот конфликт входит в стадию непонимания, непереводаемости двух интерпретаций центральной культурной темы и традиции в целом, наступает ситуация смуты. Государство и нация («верхи» и «низы») как бы забывают себя, превращаясь в фикции и подавляя реальный личностный «трансфер» – героизм и подвижничество. Снятие конфликта возможно лишь в рамках лояльности единому покровителю – «русскому Богу», осуществляющему реальное духовное единство нации.

А.М.Салмин⁵⁸² рассматривает три ситуации, которые можно было бы считать уровнями комплиментарности основных регулятивных систем нации:

1. Нормы и ценности политической нации приходятся «впору» стране до такой степени, что кажутся естественными и органичными для нее.

2. Принципы политической нации и культурно-историческая традиция образуют сложный культурно-политический синтез, дополняя друг друга, и действуют в различных измерениях жизни социума.

⁵⁸¹ Как говорилось одним из авторов журнала «Золотой лев», Карфаген должен быть разрушен, а Третий Рим – достроен.

⁵⁸² Там же.

3. Идея государства-нации, институты государства активно отвергаются существенной частью населения. Результатом может быть либо крушение государства, либо установление режима, несовместимого с принципами государства-нации, да и нации вообще (как несовместим с ней любой оккупационный режим).

Все три ситуации можно выстроить в цепочку состояний, отмечающих исторические этапы. Вторая ситуация соответствует среднесрочной цели, первая — долгосрочной, третья, по всей видимости, является реальностью современной Российской Федерации. Если режим синтонности в отношениях нации и государства характерен для России XIX века, то советский режим связан с отчуждением — одно дело советское государство, другое дело народ. Современная Российская Федерация как проект «новой России» не вернул нацию и государство к синтонности, а еще более обострил отчуждение, дошедшее до взаимного опровержения. Разрешением этого неустойчивого состояния может быть либо внешняя оккупация, либо национальная революция с заменой нынешней генерации разложившегося чиновничества на новый управленческий слой.

Если пытаться проводить аналогию с «классическими» государствами Запада, то следует отметить, что при их образовании идея духовной общности была вытеснена идеей цивилизационного доминирования и унификации. Сегодня европейские государства-нации во многом — лишь видимость, личина, под которой свои гримасы строят интернациональные элиты и напрягаются идеи глобализма.

Традиционному российскому государству не всегда удавалось соединить национальные и государственные интересы, а общественным группам — соединить свое представление о должном с текущими задачами государственного строительства. Когда Государь создавал Государство, народ мог безмолвствовать; когда народ превращался в нацию, «верхи» могли цепляться за отжившие формы государственного управления, а «общество» — погружаться в нигилистические антигосударственные утопии. Но в целом отношения Государь-гражданин в российской традиции были таковы, что дали великую историю государства Российского, величайшую культуру одной из мировых цивилизаций.

Несхожесть русского национализма с его европейскими аналогами побуждает некоторых исследователей ставить под сомнение существование нации в исторической России. Так, Ричард Пайпс пишет: «Мужик имел слабое представление о принадлежности к русской нации. Он думал о себе не как о русском, а как о "вятском" или "тульском"»⁵⁸³. Иные исследователи преподносят имевший место в истории факт феодальной раздробленности русских земель как нечто уникальное, демонстрирующее извечный провинциализм русского характера, привязанность к собственному месту рождения. Сам факт пространственного расширения Российской Империи, история русского землепроходства, православная вселенскость русской культуры в таком случае грубо игнорируются.

Для сравнения западных выдумок о русском народе приведем высказывание М.Н.Каткова, который не сомневался в том, что русские всегда считали себя единым народом, даже если кто-то пытался выделить их языковые различия и на этом основании разъединить русскую нацию. «Ступайте по всей Русской земле, где только живет русский народ всех оттенков, и вы без труда поймете всякого, и вас без труда поймет всякий. Наиболее резкую особенность встретите вы в малороссийском и белорусском говоре. Но почему это? Заселены ли эти места какими-либо особыми народностями, случайно присоединившимися к русской и вошедшими в состав его государства? Нет, здесь искони жил русский народ, здесь началось русское государство, здесь началась русская вера, и здесь же начался русский язык. Здесь впервые родилось историческое самосознание русского народа, здесь явились первые памятники его духовной жизни, его образования, его литературы. Южное и северное, западное и восточное народонаселения России с самого начала сознавали себя как один народ; да и нет ни одного признака в истории,

⁵⁸³ Pipes R. The Russian Revolution. New York, 1990. P. 203.

чтобы между ними была какая-нибудь народная рознь, какой-нибудь племенной антагонизм. Но монголы и литва разрознили на некоторое время русские народонаселения, и юго-западная часть нашего народа, подпавшая под польское иго, долго страдала, долго обливалась кровью. И хотя она отстояла себя, но тем не менее время разъединения с Россией внесло в южнорусскую речь несколько польских элементов и вообще несколько обособило ее более, чем разнятся между собой другие местные говоры в России»⁵⁸⁴.

Западный исследователь С.Смит предпочитает относиться к этому вопросу более осторожно, учитывая самобытный характер российской цивилизации: «Не может быть сомнений в том, что русские крестьяне на протяжении нескольких веков осознавали свое русское происхождение, главным образом благодаря принадлежности к православной церкви. Они также отдавали себе отчет в том, что многие из их традиций и институтов, таких, как община, являются специфически русскими феноменами. Имели они и представление о русской истории, хотя и в сильно мифологизированном виде получившей отражение в легендах, описывавших такие места, как колодцы, источники, могильные курганы или камни, и повествовавших о войнах, вражеских нашествиях, былинных героях и подвигах. (...) Крестьянство отождествляло себя скорее с отечеством, чем с нацией, точно так же, как царь требовал преданности имперскому государству в большей степени, чем к национальному государству. С другой стороны, сильное осознание этнического отличия, географического положения и истории непосредственно питало национальное сознание, слагающееся как из культурных, так и политических компонентов»⁵⁸⁵.

Нация в России не связана с «повседневным плебисцитом» гражданского общества – она выступает за пределы государственной рутины только в моменты испытаний. Русские как нация ощутили себя на Куликовом поле в сопротивлении татаро-монгольскому игу, которое открыло русским их сверхплеменное единство. Те же мотивы для национального самоопределения ярко представлены в истории России Отечественной войной 1812 г., Отечественной войной 1914–1917 гг. и Отечественной войной 1941–1945 гг. Примером национального самосознания может служить взрыв патриотических настроений с началом войны 1914 года и практически полное прекращение забастовок, достигших в предшествующие годы по числу участников 2/3 численности рабочей силы.

Более того, именно в этот период оказалось, что нация в России имеет близкие к европейским характеристики и в разделении государства и общества. Как показал на примерах печатной продукции того времени Ян Губертус, большинство русских не считало себя лояльными империи: их преданность проявлялась по отношению к родине и выражалась в гордости за выдающихся представителей русской культуры, известных генералов и славное военное прошлое⁵⁸⁶. Зачастую такое отделение от государства (прежде всего, от его институтов, высшего и местного чиновничества) мы встречаем и в современной России.

Следует отметить, что европейские характеристики, возникшие в русской нации в этот период, оказались крайне нестойкими. Нелояльность к власти, ставшая для широких слоев населения модой, а для узкой группы подпольщиков – профессией, годами подтачивала традиционный для русских патриотизм. Неудачи 1916 г. резко развернули настроения против собственного правительства и сделали пропаганду большевиков чрезвычайно эффективной. Крушение государственности стало одновременно и катастрофой для русской нации, которая так и не смогла закрепить те свойства, которых требовало становление самобытного общества. Новый импульс к развитию они получили уже после Второй мировой войны, начиная с хрущевской «оттепели».

⁵⁸⁴ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 143–144.

⁵⁸⁵ Смит С. Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года// Вестник Омского университета, 1996. Вып. 2. С. 57–66.

⁵⁸⁶ Hubertus F. Jahn. "For Tsar and Fatherland? Russian Popular Culture and the First World War" in Stephen P. Frank and Mark D. Steinberg. Cultures in Flux. Princeton, 1994, P. 131–146.

Отчасти болезни русской нации проистекают из разорванности отношений образованных слоев, не входящих в чиновничье сословие, и народной массы. Именно эта разорванность породила интеллигентский комплекс перед народом, который никак не проснется «исполненным сил» (то есть остается лишь латентной нацией).

Бердяев писал: «Народническое сознание связано с разрывом, с противоположением, с отсутствием единства. Народ не есть единое целое данной исторической национальности. Народ противопоставлялся то интеллигенции и образованным классам, то дворянству и классам господствующим. Обычно народник-интеллигент не чувствовал себя органической частью народного целого, исполняющей функцию в народной жизни. Он сознавал свое положение ненормальным, не должным, даже греховным. В народе не только скрыта правда, но и скрыта тайна, которую нужно разгадать. Народничество было порождением неорганического характера русской истории петровского периода, паразитарного характера массы русского дворянства»⁵⁸⁷.

Не состоявшись в качестве ведущего слоя общества, российская интеллигенция не сыграла своей роли и в становлении гражданского общества, превратившись в нигилистический слой, который клялся именем народа, но в противостоянии государству подрывал основы существования этого народа.

В то же время «неполное» существование русской нации, бесспорно, присутствует в русской истории и даже имеет свою институциональную форму – Земские соборы, созываемые преимущественно для обсуждения проблем чрезвычайного характера. Причем Собор требовал еще и определенной духовной санкции. Как писал Бердяев: «Собор непогрешим лишь тогда, когда вдохновлен Святым Духом и высказывает истину»⁵⁸⁸. Религиозно-философская идея соборности во многом является рефлексией реальности русской нации, выражением ее самобытности и отличности от европейских наций.

Итак, равнодушие русской нации к русскому государству не только чревато конфликтом, но и национальным подвигом. Это накладывает на русское государство особую политическую функцию – подавление антинациональных сил, смущающих граждан своей пропагандой и посеяющих в их сознание нездоровое недоверие к государству. Но такой функции для государства можно добиться только, если оно стает национальным, чего не скажешь о современной России. Денационализированное чиновничество создает для нации чрезвычайно сложную ситуацию – смешение лояльности к государству, как к дому русской нации и ненависти, как к институту, ежедневно лишаящему нацию жизнеспособности. В связи с этим нация вырабатывает защитный механизм, различая во власти национальное и антинациональное и создавая особую форму лояльности, которая относится уже не ко всему государственному механизму, а только к некоторым его фрагментам и персонам. Что, собственно, и закладывает основу будущей победы национальных сил над антинациональными, граждан над бюрократией, нации над олигархической тиранией.

Русский национализм

Для России обе указанные выше формы возникновения европейского национализма (этнический и государственнический) можно признать лишь отчасти. Слабость социальных групп и политических институтов препятствовала развитию националистического движения и институтов народовластия. Именно отсутствие европейских (и антиевропейских – в колониальных станах) форм национализма создавали в России особую форму патриотизма, который раскрывал свой потенциал только в условиях наиболее опасных угроз национальной (государственной) безопасности. Такая форма национализма-патриотизма могла опираться только на монархическую форму

⁵⁸⁷ Бердяев Н.А. Русская идея// О России и русской, философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 131–132.

⁵⁸⁸ Бердяев Н.А. Дух и реальность.// Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М. 1994. С. 455.

правления, где высшая власть олицетворяла национальное чувство и государство как таковое. Борьба большевиков с самодержавием и их антивоенная пропаганда били в одну точку, расшатывая традиционную русскую форму национализма. Не имея под собой страхующих от подобных катаклизмов институтов народовластия, монархия рухнула вместе с крушением фронта и арестом царя Временным правительством. Вместо периферийных институций общества и государства, мешающих явлению современной нации, начали ломаться несущие конструкции национального единства, что и послужило причиной гражданской войны.

Ричард Вортман пишет, что «изучение русской народности и русского национализма всегда осложнялось как неопределенностью самой концепции национализма, так и своеобразием понимания нации в России»⁵⁸⁹. Действительно, национальная гордость, патриотизм всегда были присущи российскому (русскому) менталитету. Вместе с тем гражданский национализм, который в большей степени проявляется в повседневной мирной жизни и не требует всеобщей мобилизации против внешней опасности, в России XX века явно не сложился. До обнародования доктрины «официальной народности» национализм ассоциировался с либеральным меньшинством в составе образованной элиты, находившейся под воздействием идей Французской революции и немецкого романтизма. Только под влиянием европейской революции 1848 г. российский «гражданский» национализм вступил на путь защиты самодержавия.

Традиционные нации (этно-нации), к которым относится и русская, обладают своим – мобилизационного типа – национализмом, и только в процессе модернизации (как и полагают западные политологи) возникает новая форма национализма как «воображаемого сообщества». Традиционный национализм проявляется лишь в условиях мобилизации и задач защиты суверенитета, модернистский – в постоянных претензиях к власти, в независимых от государства институтах гражданского общества.

Сегодняшний политический дискурс о русском национализме чаще всего оставляет в стороне его позитивные формы (прежде всего, традиционные). И эта тенденция идет от либеральной мысли начала XX в. Тогда ведущие политики и философы либерального толка представляли зарождение русской нации по модели западных национальных государств, а потому отказывали Российской империи в устойчивой политической традиции. Они стремились дать определение понятиям «русский народ» и «русский национализм», разграничивая их этическими или историческими оценками.

В русской философии можно увидеть совершенно иной ракурс рассмотрения национализма.

Выделенность русских представлялась для ведущих мыслителей XIX в. бесспорной. Профессор П.Ковалевский, сделавший обзор консервативной политической мысли этого периода, писал: «Государство, известное под именем Российской империи, создано *русскими* славянами, потомками скифов и сармат. В его созидании работали только одни русские, – а не поляки, не грузины, не финны и другие народности России. Созидательница русского государства – русская нация, а потому эта нация по всем божеским и человеческим правам должна быть *господствующей* нацией, держащей в государстве власть, управление и преобладания или *державной нацией*. Все остальные нации, как вошедшие уже в готовое государство, как присоединенные к нему *державной нацией*, должны быть ей соподчиненными»⁵⁹⁰. «Только тот, кто слился кровью и духом с русским народом, кто боролся в его рядах за его национальные задачи и стал потомственным пайщиком великого культурного исторического наследия, имеет неоспоримое право русского гражданского равноправия»⁵⁹¹.

⁵⁸⁹ Вортман Р. Национализм, народность и российское государство// Неприкосновенный запас, 2001, № 17 (3).

⁵⁹⁰ Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России. СПб, 1912. С. 139–140.

⁵⁹¹ Там же. С. 141.

Этими мыслями П.Ковалевский продолжает «Русскую правду» П.И.Пестеля, предлагавшего инородцам оставлять свою прежнюю национальность за пределами России.

Против мелкой самобытности, не желающей сливаться с великой исторической личностью Русского народа, выступали позднее С.А.Хомяков, и М.Н.Катков («какого бы ни были происхождения русские граждане, они не должны иметь иного отечества, кроме России», Россия «не может иметь никаких государств в государстве, не может допустить, чтобы какие бы то ни было части страны могли организоваться в смысле особых политических национальностей. Единое государство, значит единая нация»).

Необходимо отметить, что выделенность русской нации рассматривалась русскими мыслителями вовсе не с позиций исключительно духовно-нравственных и культурных. Например, профессор Ковалевский определяет нацию через язык, веру, единство исторической судьбы, общность *физических* и душевных качеств и формирование собственной национальной культуры⁵⁹². При этом общность физических качеств выражается в ранних формах русского национализма. Ковалевский пишет, что допетровский русский национализм был «животный, инстинктивный, биологический, но он спас России ее самобытность»⁵⁹³. Эта отчужденность русского национализма от рационального осознания своих дальних интересов стала, с другой стороны, причиной отставания России от Запада. После татарского ига оказалось, что «Россия была выше, но темнее» Запада. Вероятно, именно это обстоятельство привело к постоянным отклонениям политики российских самодержцев от принципа русского национализма, о чем с горечью писали русские историки и философы.

Ковалевский выделял отличия патриотизма от национализма. Если первый связан с родиной и отечеством, то второй – с родом, нацией. В первом случае речь идет о историко-географическом понятии, во втором – о *психолого-антропологическом*⁵⁹⁴. Русский антропологический тип, таким образом, является определяющим для формирования в России нации как таковой. При этом Ковалевский ссылается на мнение профессора Градовского: «...чем больше мы видим в данном государстве местностей и племен, стоящих на особом положении, тем дальше это государство от полного развития своих национальных начал, тем больше препятствий и трудов предстоит ему преодолеть»⁵⁹⁵.

Н.С. Трубецкой подразделял национализм на истинный и ложный. Истинный национализм носит черты государственного и нацелен на защиту исторических традиций и культурной самобытности, недопущение ассимиляции. Ложный, скорее, связан с этническим национализмом, который стремится к собственной государственности, разрывая традиционный, исторически сложившийся государственный организм. Струве выделял национализм творческий и охранительный. Творческий национализм носит государственный характер и стремится к созданию благоприятных условий для экономического, политического и культурного развития своего народа при открытом соперничестве с другими странами и народами. Охранительный национализм, напротив, ограждает народы от конкуренции, создает искусственные привилегии. В последнем случае также видны черты этнического национализма.

Оба философа, как и многие другие, становились на защиту государства, пытаясь ликвидировать раскол между нацией и государством, поставив именно нацию на службу государству, но не наоборот. Это было крупной теоретической ошибкой.

⁵⁹² Там же. С. 65. Заметим, что роль физиологических параметров может пониматься по-разному. Шпенглер отмечал, что раса не может определяться только костями и антропометрией, одинаковой как для живого человека, так и для трупа. Раса выражается в движении живой плоти – в манере двигаться, в языке, в устройстве жилища и одежды. И здесь мы видим уместность мысли А.Ф.Лосева о телесной фигурности духа и невозможности рассматривать тело как тупую биомассу.

⁵⁹³ Там же. С. 17.

⁵⁹⁴ Там же. С. 92.

⁵⁹⁵ Там же. С. 101.

Струве был энергичным пропагандистом либерального национализма в России, призывавший русских к политическому самообразованию и укреплению союза нации с государством. В августе 1918 г. он говорил о Русской революции: «Это был первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей»⁵⁹⁶. Струве различает «национализм» и «национальную идею», вероятно, в связи с тем, что национальная идея понималась им как идея народности, национальной идентичности, как пассивный признак, присущий русским людям. В то же время национализм расценивался им как политизация национального сознания и требование создания нации-государства: один народ, один язык, одна вера, один закон. Такого рода унификация была в Российской империи невозможна, а для русской нации – губительна, поскольку лишала ее естественных этнических признаков и лидерской роли в общероссийском социуме.

П.Н.Миллюков в «Очерках по истории русской культуры» определил русский национализм как признак вымершей государственной системы. Он противопоставил национальное и общественное самосознание. Первое, по мысли Миллюкова, прославляло сложившиеся национальные качества, второе – критиковало существующий порядок. Миллюков противопоставил понятие «нация» и «народ». К первому термину он относил и негативную трактовку «национализма» как национальной исключительности, ко второму – демократическое устройство общества. Миллюков утверждал, что националистические настроения должны уступить место народному движению, свободному от груза прошлого. Этот «народнический» импульс угадывается также и у В.Н. Муравьева, одного из авторов сборника «Из глубины» (1918 г.), который усматривал в отречении русской интеллигенции от национальной идеи главную причину Октябрьской революции⁵⁹⁷.

Ведущие либеральные интеллектуалы России начала XX века вовсе не чужды были национальной идее, понимая под ней некоторую оппозицию правому национализму монархического толка. Интеллигенция отошла не от идеи нации как таковой, а лишь от концепции, отождествляющей нацию с самодержавием, т.е. с традиционным российским государством. Традиционной нации либералы подбирали новое государство, принимая за образец Европу, где отношения синтонности между нацией и государством были в большинстве случаев заведомо невозможны. Что стало, кстати, следствием колоссальных военных поражений западных демократий от консолидированной германской нации.

Русский ученый А.Е.Пресняков в лекциях по русской истории (1907 г.) говорил, что государство превращается в нацию, когда развивается национальное самосознание или национальная воля. «Воля к общей политической жизни, стало быть, явление коллективной психики данного населения, есть основная черта как личной, так и общественной “народности” или “национальности” на той ступени исторического развития, когда создаются нации». Сегодня, когда речь заходит о нации, очень трудно понять, о чем говорит тот или иной автор. Но термин «нация» в России теперь звучит чаще всего нейтрально-позитивно в значении «народ», а вот «национализм» – почти всегда негативно.

Традиции русской консервативной мысли не упускали этой темы и рассматривали ее с достаточной ясностью, чтобы использовать прежние методологические подходы и в современных условиях. В частности, речь идет и о понимании структуры общегражданской нации – ее этнических ингредиентов. Например, С.Н. Булгаков пишет: «Даже те государства, которые в своем окончательном виде состоят из многих племен и народностей, возникли в результате государственной деятельности одного народа, который являлся в этом смысле “господствующим”, или державным. Можно идти как угодно далеко в признании политического равенства разных наций, их исторической равноценности в государстве это все равно не установит. В этом смысле Россия, конечно,

⁵⁹⁶ Струве П.В. Исторический смысл русской революции и национальные задачи. // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990. С. 235.

⁵⁹⁷ Муравьев В.Н. Национальная идея // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М., 1990.

остается и останется русским государством при всей многоплеменности даже при проведении самого широкого национального равноправия»⁵⁹⁸.

К такому подходу близка и позиция современного западного мыслителя Э.Яна: «...демократия (власть народа) ни в коем случае не может быть этнократией (господство народа с одним языком или культурой). В то же время любой демократии неизбежно присущи этнократические черты, поскольку, во-первых, выбор государственного языка фактически ставит в привилегированное положение тех граждан, для которых он является родным, и, во-вторых, у привилегированной этнокультуры шансы на сохранение на территории государства гораздо выше, чем у всех прочих. Этнократический характер демократического государства может быть существенно смягчен, если оно не только признает факт полиэтничности и, возможно, мультинациональности своего населения, но и приложит все усилия, чтобы поддержать существующие меньшинства»⁵⁹⁹.

Одна из либеральных трактовок нации и национализма принадлежит Вл.Соловьеву: «...христианская истина утверждает неизменное существование наций и прав национальности, осуждает в то же время национализм, представляющий для народа то же, что эгоизм для индивида: дурной принцип, стремящийся изолировать отдельное существо превращением различия в разделение, а разделение в антагонизм»⁶⁰⁰. Отчасти такая позиция разделяется и С.Н.Булгаковым: «путь, который указывается нам историей, должен вести нас к подъему культурного патриотизма и ослаблению политического национализма»⁶⁰¹.

Противоположное понимание национализма представляет И.А.Ильин: «...национализм проявляется прежде всего в инстинкте национального самосохранения, и этот инстинкт есть состояние верное и оправданное. Не следует стыдиться его, гасить или глушить его; надо осмыслить его перед лицом Божиим, духовно обосновывать и облагораживать его проявления»⁶⁰².

При всем разнообразии трактовок национализма в начале XX века в России созревало понимание места ведущего племени и самого государства Российского как самобытного и имеющего свои особенности и интересы. В 1912 г. такой либеральный мыслитель, как Е.Н.Трубецкой, говорил: «Нас слишком долго держали в убеждении, что русский человек – не просто человек с определенными конкретными чертами расы и народности, а “всечеловек”, объемлющий черты всех национальностей, что неизбежно ведет к утрате собственной национальной физиономии. Мы привыкли видеть в России целый мир, и начинаем уже поговаривать о том, что нет в ней ничего местного, ибо она не запад и не восток, а “Востоко-запад”. Нам тщательно внушали мысль, что Россия или Мессия или ничто, что вселенское и истинно русское одно и то же»⁶⁰³.

Но основная масса либеральной интеллигенции уже во второй половине XIX в. пыталась превратить русских в рабов «всечеловеческой» идеи, в народ-мессию, которому надо снести все пороки иных цивилизаций, отказываясь от своей, и в этом полагая свою особость. В XX в. социалистическая идея использовала этот неизжитый мессианский настрой, пригодный только в период высшего имперского могущества русских, и тяжким бременем возложила на русских интернационализм прямое отрицание национализма как такового. Эта непосильная ноша давила и давит русский народ целый век, заставляя его быть слугой и донором других этнических и национальных организмов.

Анализ текстов русских дореволюционных философов показывает, что противоречия в их трактовках национализма в большей степени обусловлено разным

⁵⁹⁸ Там же. С. 446.

⁵⁹⁹ Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство// Полис 2000. №1.

⁶⁰⁰ Соловьев В.С. Смысл любви. Избранные произведения. М.: Современник, 1991, с.52.

⁶⁰¹ Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество. М.: Русская книга, 1992. С. 208.

⁶⁰² Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948–1954 годов, М.: Парог, 1992. С.281.

⁶⁰³ Трубецкой Е.Н. Старый и новый национальный мессианизм// Русская идея, М.: Республика, 1992. С. 256.

освоением нововведенного термина. Мы предпочитаем опираться на разработки Ильина, который большее внимание уделил пониманию национализма, особенно остановившись на ложных и вредных формах национализма. Ильин указывает на возможные «затмения» национального чувства: «...чувство и воля националиста прикрепляются не к духу и не к духовной культуре, а к внешним проявлениям народной жизни, — к хозяйству, к политической мощи, к размерам государственной территории и к завоевательным успехам своего народа. Главное — жизнь духа — не ценится... или являясь средством для неглавного, т.е. превращаясь в орудие хозяйства, политики или завоевания». «...чувство и воля националиста, вместо того чтобы идти в глубину своего духовного состояния, уходят в отвращение ко всему иноземному»⁶⁰⁴.

С.Н.Булгаков также указывает на опасность извращений национализма, особенно в условиях благополучия: «Высоким призванием своим не только возвышается народ, но им он и судится. ...Те, сердце которых истекало кровью от боли за родину, были в то же время ее нелицеприятными обличителями. Но только страждущая любовь дает право на это национальное самозаушение, там же, где она не ощущается, поношение родины, издевательство над матерью, проистекающее из легкомыслия или духовного оппортунизма, вызывает чувство отвращения и негодования. Национальный мессианизм есть поэтому жгучее чувство, всегда колеблющееся между надежной и отчаянием, полное страха, тревоги, ответственности. ...И это чувство недостойности в избрании, которое все-таки остается неотменным для верующего сердца, наполняет душу смятением, страхом, ее волнует и терзает. В национальном чувстве есть поэтому страшная и всегда подстерегающая опасность изменить ради него кафоличности, всечеловечности так же, как национальной церкви легко отъединиться от церкви вселенской, "единой, соборной, апостольской". Национальность есть хотя и органическая, но не высшая форма человеческого единения, ибо она не только соединяет, но и разъединяет. И национальный мессианизм, особенно в годину исторического благополучия, слишком легко переходит в национальную исключительность... Национальное чувство поэтому нужно всегда держать в узде, подвергать аскетическому регулированию и никогда не отдаваться ему безраздельно. Идея избрания слишком легко вырождается в сознание особой привилегированности, между тем как она должна родить обостренное чувство ответственности и усугублять требовательность к себе. ...Одним словом, национальный аскетизм должен полагать границу национальному мессианизму»⁶⁰⁵.

В качестве оппонента Соловьеву, Бердяеву и другие в их трактовках национализма выступал Л.А.Тихомиров: «В. Соловьев упрекал Данилевского, будто бы его национализм и учение об исторических типах противны христианскому чувству. Напротив, Данилевский, именно как глубокий христианин, не мог впасть в ошибку, неизбежную для социологов-нехристиан или полухристиан. Он ясно чувствовал, что в жизни нашей есть от мира сего и что — не от мира сего. Для него абсолютное, вечное и свободное не исчезало в человеке при мысли о необходимости и условности его земного существования в мире материальном, биологическом и социальном, где есть и раса, и национальность, и их роковое органическое развитие. А потому Данилевский и мог думать о необходимых, несвободных законах социологии и подчинении им человека совершенно объективно, не тревожимый в своем анализе лишними вторжениями из области чисто духовной»⁶⁰⁶.

Тихомиров с яростью обрушивается на идею русского «всечеловечества»: «Эта злополучная идея, приглашающая Россию *пережить* все духовные болезни прочих народов, «перестрадать» их заблуждения и потом всё и всех привести ко Христу, очень ярко показывает смесь распушенности и гордости, наполняющих наши якобы религиозные стремления. *Просто* позаботиться о своем спасении кажется слишком сухо, неинтересно. Нужно сначала по уши забраться во всякую грязь, какая только где-нибудь

⁶⁰⁴ Там же. С.284.

⁶⁰⁵ Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество, М.: Русская книга, 1992. С.189–191.

⁶⁰⁶ Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. С. 75.

на свете найдется, заразиться всеми грехами и потом уж из самой глубины падения вознестись в святость, да еще поднять с собою весь мир — вот что «эффектно», затрагивает нервы нашего больного интеллигента!»⁶⁰⁷ И таким образом, уже само отвержение интернационализма (коммунистического, квазирелигиозного) служит лучшим обоснованием национализма.

Отчасти сблизить позиции русских философов способен довод о том, что национализм бывает разным, а его возвышенные культурные формы присущи только историческим нациям, пережившим, переборовшим племенное чванство. Обобщая подход русских философов, можно повторить, что нация — это сообщество, объединенное надэтнической культурой, творческим поиском идеи (смысла, духовной санкции) совместного существования в форме суверенной государственности. Соответственно национализм — просто качество этого сообщества, его политическое воплощение, в котором также видны «враги», как и «свои», «наши» в собственном государстве и за его пределами. Именно внутренняя политическая ипостась национализма столь не мила современной бюрократии, видящей в национализме не столько опасность для страны (о чем все время говорится), сколько для собственного паразитического бытия (о чем умалчивается).

Можно говорить и шире о национализме истинном и мнимом⁶⁰⁸. К истинному национализму относится национализм духовный, великодушный, нравственный, о котором писал Ильин; к мнимому — бездуховный квазинационализм, не осмысляющий своих вселенских задач, не чувствующий ценности отечественной истории, замкнутый в пренебрежении и даже ненависти к другим народам. То есть, не способный вместить в свою «картину мира» образ чужого, не способный к политике, а именно, образованию устойчивой оппозиционной группы, удерживающей образ «чужого» и готовящейся к тому, чтобы возобладать над «чужим» не в инстинктивных и бессистемных нападках, а в организованном политическом действии, в перспективе — в национально ориентированной государственной политике.

Если говорить о национализме, как о понятии, привязанном к понятию «нация», то это не более и не менее, чем новое социальное качество, преодолевшее безотчетность чувствования и разобщенность восприятия Родины. Это чувство и сознание, превращенные духовными переживаниями и размышлениями в явление, которому доступно развитие и совершенствование. В этом смысле мнимый национализм лучше, чем отсутствие национализма вообще — он действительно, способен воспитать нацию или, точнее, вывести ее из латентного состояния к перспективе истинного национализма.

Этнополитическая доктрина России

Исторический опыт говорит о том, что Россия всегда была государством русского народа, в котором полноценно и самобытно могли жить другие народы. Сейчас же именно русскому народу не дают житья этнономенклатуры, объединенные в интернационал. Именно это обстоятельство и есть ключевая проблема нашей национальной политики.

Проблема бытия государствообразующего русского народа и формирования на его основе политической нации — основной вопрос российской этнополитики. Все исходные предпосылки для возрождения русского самосознания имеются, и только последовательным подавлением русского духа со стороны либеральной бюрократии можно объяснить угнетенное самоощущение русских в России.

Тихомиров пишет: «Изо всех славянских племен одна великорусская раса обладает великими государственными инстинктами. Поэтому она возбуждала особенную ненависть в том, кому противно в обществе все историческое, органическое, не случайное, не произвольное, а необходимое»⁶⁰⁹.

⁶⁰⁷ Там же. С. 370–71.

⁶⁰⁸ Протоиерей Владислав Свешников, Заметки о национализме истинном и мнимом, М.: Парогъ, 1995.

⁶⁰⁹ Тихомиров Л.А., Критика демократии, М., 1997. С. 77.

Тихомиров указывает, что созданию российской государственности одни народности помогали в особенности, если они сходились с русскими в вере, другие входили в состав государства безлично, а третьи были прямо враждебны. И всем этим категориям из принципа справедливости должно быть дано равное право на свободное развитие? — спрашивает Тихомиров, обращая свой вопрос к полемизирующему с ним леволиберальному философу Вл.Соловьеву. «“Свободное развитие” одних создает силу, *поддерживающую* государство, других — рыхлую *безразличную* массу, третьих — силу, *разрушающую* государство. И г-н Соловьев с прочими либералами находит, что справедливость требует для столь различных элементов *одинаковых* прав!» — пишет Тихомиров.

Мы должны полностью принять именно консервативное понимание справедливости, которое коренным образом отличается от либерального: «Справедливость требует не уравнительности, а ответственности прав с обязанностями, награды или наказания — с заслугой или виной. Можно давать права поляку или еврею, если они их стоят. Но дать в России равные права *русской* национальности и *польской* или *еврейской* национальности, в смысле коллективного целого, было бы актом величайшей несправедливости. Это значило бы отнять у русских их достояние и отдать тем, кто его не только не собирал, но и возьмет только для того, чтобы разрушить или эксплуатировать в своих особых целях»⁶¹⁰.

Самозванство, столь широко развитое в современной российской политике, приобретает особенно отвратительные формы в том случае, когда некие лица начинают представлять от имени той или иной национальности и выдавать свои частные интересы за будто бы сложившиеся интересы этой национальности, претендующей на роль исторической личности. Выдумки эти были известны и в конце XIX в., когда Тихомиров писал: «Но вот какие-нибудь лица, заинтересованные в развитии *особой* народности, начинают раздувать всякие ее отличия, раздувать всякий предлог для порождения антагонизма между этим племенем и русским. Такие лица легко являются. Они могут принадлежать к местной родовой аристократии, которой господство обеспечивается при возбуждении «местного национального движения», они могут принадлежать к многочисленному ныне слою политиканствующей интеллигенции, мало способной к другому роду труда, но честолубивой и ловкой в искусстве агитации. Требуется ли справедливость признавать права всех таких требований на «свободное развитие»?

Ничуть и ни малейше. Это было бы не признание прав национальностей, а признание права на вредные для народа профессии. Правительство всякой страны, еще не находящееся в полном разложении, имеет прямую обязанность пресечь — если нужно, то и насильственно — все подобные упражнения в политике. Так поступило и революционное правительство Франции с игравшими огнем жирондистами, со взбунтовавшейся Бретанью. Так поступило правительство Соединенных Штатов с южными сепаратистами. Так поступит *всякое* правительство страны, еще не собирающейся умирать»⁶¹¹.

Вредные профессии — вот имя для деятельности всяческих специалистов по «межнациональным отношениям» и национально-культурным автономиям, пресечение — вот здоровое отношение власти к этим «профессионалам».

Государствообразующая роль русского народа — не пустая выдумка для очередного лозунга или для пущего раздражения этнических меньшинств. Эта роль может и должна быть закреплена в праве, будучи обоснована в законе жизни российской государственности.

«Русская империя создана и держится *русским* племенем, — пишет Тихомиров. Все остальные племена, добровольно к ней присоединившиеся или введенные в ее состав

⁶¹⁰ Там же. С. 401–402.

⁶¹¹ Там же. С. 402–403.

невольными историческими условиями, не имеют значения *основной* опоры. В лучшем случае это друзья и помощники. В худших случаях — прямо враги. Все эти племена и национальности, разбросанные от Карпат до Тихого океана, *только* русским племенем объединены в одно величественное целое, которое так благотельно для них самих даже и тогда, когда они этого не понимают, когда они в своем мелком патриотизме стараются подорвать великое целое, их охраняющее»⁶¹².

Вопрос, по мысли Тихомирова, состоит в том, во имя чего русский народ собирает множество племен в одну империю. «Если мы не во имя *православия* собираем в одну империю племена Востока и Запада, Севера и Юга, то нет тогда никакой причины, чтоб их собирали именно *мы*»⁶¹³. «Огромная сила России именно и обуславливается тем фактом, что содержание нашей национальной идеи допускает или, лучше сказать, непременно требует ее одухотворения самым высшим идеалом, какой только открыт человечеству. Отсюда так прискорбно отражается на нас всякое подражание *духу* других народов, ибо для нас оно дает понижение, а не повышение идеалов»⁶¹⁴.

Таким образом, вопрос о смысле ставит перед нацией сверхисторическую цель, ради которой национальная политика требует иерархии отношений к народностям вплоть до подавления тех из них, чье развитие прямо вредит России и русским. Причем подавление антирусских настроений есть благо не только для одних русских: «Ибо, вникая в идею нашей государственной власти, мы, несомненно, убеждаемся, с одной стороны, в том, что она существует не для одних русских, с другой же стороны — что даже в интересах нерусских племен должна сохранять русский характер и, стало быть, остаться *русской* властью»⁶¹⁵.

Добавим к этому, что русская суть России имеет и всечеловеческий смысл — и как сохранение биологического и культурного разнообразия в мире, и как отлаженная в национальных условиях система элитного отбора.

Здравая этнополитическая доктрина России может быть выработана только на основе обращения к тому периоду нашей истории, в котором не было место межэтнической распри — к опыту Российской Империи. Не будучи выражена в едином документе, этнополитическая доктрина того периода была разработана в уже цитированной нами полемике между Л.А.Тихомировым и В.С.Соловьевым.

Кратко эта доктрина сводится к следующим принципам.

Россия создана и поддерживается русским по племени и православным по вере народом. Никакая другая народность не должна иметь больших прав в России, чем русские, но некоторые народности могут быть поставлены наравне с русской. Право на развитие получают лишь те народности, которые не угрожают существованию России и не мешают русским управлять по-русски и оставаться русскими (принцип государствообразующего племени).

Россия есть семья народов, собранная вокруг русского народа в государственном единстве. Национальное соединение (русификация) может быть только добровольно и проходить в отношении тех народностей, которые не способны к созданию собственной коллективности, юридической субъектности. Одновременно пресекается всякое раздувание племенного антагонизма, подчеркивание по любому поводу различий между каким-либо племенем и русскими. В слабых или враждебных народностях государство замечает лишь людей и их личные права, но не коллективность и право ее развития (принцип исключения этничности из политики).

В соответствии с принципом лояльности формируется отношение к национальностям Империи, которое дифференцировано в зависимости от заслуг и отношения к российской государственности.

⁶¹² Там же. С. 408.

⁶¹³ Там же. С. 641.

⁶¹⁴ Там же. С. 543.

⁶¹⁵ Там же. С. 454–456.

В соответствии с принципом справедливости (а не уравнительности) права соотнесены с обязанностями, награды или наказания — с заслугой или виной. Уравнительность в отношении национальностей означала бы «отнять у русских их достояние и отдать тем, кто его не только не собирал, но и возьмет только для того, чтобы разрушить или эксплуатировать в своих особых целях».

Результатом применения этой доктрины было отсутствие крупных межэтнических конфликтов, сохранение всех вошедших в состав Империи народностей, лояльность иноконфессионального и иноэтнического населения к русской власти, определенность этно-культурного образа власти в глазах населения.

И чем же заменили все это большевики?

Исходные посылки советской этнополитической (национальной) доктрины покоились на принципе ликвидации государства и антипатриотизме («у пролетария нет отечества») и ненависти к «великорусскому шовинизму» (доктрина «тюрьмы народов»). В дальнейшем советская доктрина преобразовалась в доктрину «дружбы народов», сочетающую в себе представление о «новой исторической общности – советском народе» (аналог нации-государства западного типа) и развитие самобытности народов (поощрение этнических кадров в управлении, науке, искусстве и т.д.). В результате национально-территориального деления (взамен губернского в Российской Империи) возникли этнические номенклатуры и этнические клановые группировки. Одновременно происходило ущемление русского самосознания (русская история, литература, искусство преподносились как борьба передовых слоев общества против жестокого абсолютизма) и русской коллективности (РСФСР была лишена не только собственной Академии наук, но и республиканской парторганизации – фактически собственного общественно-административного инструмента).

Важным элементом советской доктрины было признание справедливости национально-освободительных движений, за которые выдавались любые всплески революционной стихии стран третьего мира. Впоследствии аргументация в поддержку этнических движений была использована этнономенклатурой для разрушения СССР и организации межэтнических конфликтов, облегчавших получение привилегий и этнических уделов.

Особенностью указанного периода было также игнорирование протекающих этнополитических процессов, вопреки постановлениям партийных съездов об укреплении советского патриотизма и пролетарского интернационализма, изживании местничества и воспитании граждан в духе дружбы народов.

И чего добились советская номенклатура? Ее этнополитика привела к последовательному разрушению русского самосознания, размыванию этнокультурного образа власти (и страны в целом), усилению этнической дифференциации за счет искусственного возвышения этнического самосознания нерусских народностей (в особенности среднеазиатских народов и украинцев), возникновению искусственных административных границ между этносами, по которым в дальнейшем была расчленена страна.

Этнополитическая доктрина ельцинизма первоначально складывалась на основе принципа «сбрасывания периферии» и выделения России из СССР как наиболее поддающегося демократическим реформам ядра. Затем произошло соединение демократической риторики с прежними политическими штампами о дружбе и свободном развитии народов России. Этнополитическая конструкция СССР была повторена в России: выделены «титulyные» уделы, которые получили возможность строить систему управления по собственному усмотрению и иметь преимущества как в верхней палате парламента (представительство в Совете Федерации от территорий, а не от равного числа избирателей), так и в нижней (специальные избирательные округа для малочисленных субъектов Федерации). Советская этнополитическая доктрина была внедрена в госстроительство концепцией федерализма, некорректно трактующей Россию как «союз

народов» или союз независимых субъектов («титულных»), федерирующихся в зависимости от своего желания (исторически Россия никогда не была федерацией, а федеративное устройство эпохи Ельцина лишь отражало ослабление государственного единства). Доктрина о «советском народе» была заменена доктриной «многонационального народа», которому официальная риторика дала имя «россияне».

В этнополитической доктрине ельцинской эпохи были восстановлены принципы, которые официальная пропаганда советского времени не востребовала из наследия большевиков. Наиболее ярким проявлением этой преемственности была организация кампании борьбы с «русским фашизмом» (кампания, затеянная Министерством юстиции под руководством П.Крашенинникова и группой «Мост» во главе с медиамагнатом В.Гусинским). Второе симптоматичное проявление – тезис о необязательности русского языка в системе образования (под видом принципа ненасилия в системе образования и соблюдения прав на образование на национальном языке).

Основной особенностью ельцинизма в области этнополитики был переход к рассмотрению русских как этноса (а не суперэтноса и не нации), т.е. однородного племенного образования, отличающегося от прочих племен только своей численностью. Новым явлением стала открытая консолидация этнических элит в борьбе за привилегии, образование «интернационалов» национальных меньшинств без участия русского народа (Миннац, Комитет Госдумы по делам национальностей, Ассамблея народов России и др.). Законодательство предоставило легальные возможности для этнического обособления за счет бюджетных средств (система национально-культурных автономий).

Ельцинизм привел к болезненному обострению этнического самосознания и тяжелейшим межэтническим конфликтам, возникновению этнического паразитизма – набора необоснованных привилегий, которыми наделяются национальные меньшинства по сравнению с русским большинством; подавлению всех проявлений русскости, утрате образа страны, распаду власти и «верхов» общества на клановые группировки (в значительной степени имеющие этнический характер).

Итогом сравнения этнополитических доктрин и стратегий отбора управляющих элит может служить таблица, приведенная ниже.

Политический выбор	Тип отбора	Правящая стратегия	Эталонный расовый тип	Доминирующая группа	Идеал государственности
Национальный	Элитный	Служение	Чистый	Русские	Империя
«Левый»	Бюрократический	Паразитизм	Смешанный	Иностранцы	Конфедерация
Либеральный	Антиэлитный	Нигилизм	«Коктейль»	Ублюдки	Колония

В приведенной таблице намеренно опущен вариант государственности, который предполагает этнически гомогенное население. Он, во-первых, является предельным и идеально-абстрактным, во-вторых, в современных условиях возможным лишь в случае племенного дробления до уровня компактных поселений (что возможно еще в Африке, но не в Европе). Современное национальное государство можно считать вариантом империи, утратившей периферию, но сохранившей внутреннюю социально-этническую дифференциацию. В зависимости от политического выбора определяется тип этой дифференциации: может не быть Империи, но может быть имперская нация.

В этой связи следует отбросить как негодные всякие замыслы о расовой гомогенизации России за счет отсечения от нее областей со смешанным населением или преимущественно иностранцами. Это было бы предательством перед русским меньшинством на этих территориях, а также предательством наших предков, отбивавших

и осваивавших эти земли. Напротив, эти проблемные территории следует превращать в объект интенсивной этнополитики, которая обеспечивала бы лояльность этнических меньшинств и производила бы из инородцев граждан русского культурного выбора. Разумеется, субъектом этнополитики может быть только государство, осуществляющее монополию на этнополитику с той же настойчивостью, что и монополию на нелегитимное насилие. Запрещая этнополитику, государство вынуждено само заниматься этнополитикой и применять в этой области насилие в связи с существованием нелегитимных этнополитических процессов.

То же самое касается и такого важного пункта этнополитической доктрины, как миграционная политика. Иммиграция в Российскую Федерацию должна быть ограничена как по общим основаниям (судимость, опасные болезни, участие в экстремистских организациях, участие в шпионской деятельности против России и т.п.), так и по основаниям, которые могут меняться в зависимости от социально-экономического и политического положения, сложившегося на территории Российской Федерации в данный момент. Комплекс регулирующих норм, связанных с часто меняющимися условиями, необходим в связи: а) с возможным ростом социально-экономической напряженности (например, захват иммигрантами определенных сфер экономической деятельности, конкуренция с коренным населением); б) с возможной направленной иммиграцией лиц определенной этнической принадлежности, приводящей к этнополитической дестабилизации (Краснодарский край, Астраханская область, Дальний Восток, Москва и Подмосковье).

Законодательство должно предусматривать: а) принципы квотирования въезда иммигрантов из определенных стран («грубое» регулирование, например, упрощение въезда из Белоруссии, Украины, Прибалтики и усложнение въезда из других стран); б) принципы, связанные с перспективами культурной адаптации иммигрантов (ограничение въезда в Российскую Федерацию лиц, плохо владеющих русским языком, введение теста по русскому языку не только для целей принятия гражданства); в) принципы зонирования территории Российской Федерации для преимущественного приема трудовых мигрантов (ограничение места жительства определенными территориальными зонами с сохранением свободы перемещения в рамках этих зон); г) принципы профессиональной специализации (ограничение для иммигрантов сферы деятельности, прежде всего в области предпринимательской и общественной деятельности).

Знание русского языка должно быть важнейшим условием для длительного пребывания на территории России (а не только приобретения гражданства), а в особенности для занятия определенными видами деятельности, где присутствует интенсивная межличностная коммуникация (например, в сфере торговли, образования, обслуживания, средств информации, общественной деятельности и т.п.). Введение теста по русскому языку для всех иммигрантов способствовало бы развитию русского языка за рубежом.

Наиболее существенной проблемой миграционного регулирования является его преимущественно запретительный характер и полное отсутствие стимулирующих механизмов. Это приводит к тому, что Россия перестает быть привлекательной для иммигрантов, присутствие которых на территории России желательно (высококвалифицированных и образованных кадров, с одной стороны, и работников непрестижных и низкооплачиваемых профессий – с другой), а в сфере внутренней миграции – к отсутствию перспектив заселения слабозаселенных и слабоосвоенных территорий.

Российская миграционная политика должна создать особые преимущества для поддержания связей с зарубежными соотечественниками, которые для нашей страны являются наиболее желательными иммигрантами – хорошо владеют русским языком, обычно обладают высоким уровнем образования, способны на быструю адаптацию на новом месте жительства. Для них иммиграционные барьеры должны быть самыми

незначительными или вовсе отсутствовать, а приобретение российского гражданства должно происходить автоматически – в заявительном порядке.

Важнейшим принципом миграционной политики должен стать приоритет оседлого населения перед мигрантами (в случае, если речь идет о социально-экономически и этнически стабильных поселениях и территориях). Именно мигранты должны предпринимать усилия для адаптации к жизни в России в избранном месте проживания, а не оседлое население подстраиваться под интересы мигрантов и учиться «толерантности» (как это требуют иные законопроекты и концепции).

Внутренняя миграция не может признаваться за бесспорно позитивное явление. Она должна быть поддержана государством, если она следует задачам создания новых производственных мощностей и освоения территории. Напротив, не должно быть никакой ликвидации «нереализованного миграционного потенциала» в сельской местности, вместо этого – создание рабочих мест в сельской местности. Мобильным должен быть не столько рынок труда, сколько рынок рабочих мест, которые должны обеспечивать жизнь традиционных поселений.

Задача сохранения России как своеобразного «концерта» этнических культур и антропологических типов (составляющих национально-культурную самобытность России) требует признания этого своеобразия в качестве объекта для защиты от размывания и искажения. Если в этой области предоставить ситуации развиваться без вмешательства государства, она рано или поздно породит жесточайший конфликт с последующим его распадом.

В связи с этим миграционная политика должна быть нацелена на стабилизацию этнического состава Российской Федерации и отдельных ее территорий, отличающихся особым своеобразием. Это позволит реализовать равенство прав граждан независимо от их этнической принадлежности (поскольку это равенство будет поддерживаться местными культурными традициями), а также сохранить самобытность России и народов, традиционно проживающих на ее территории и не имеющих иной государственности, кроме российской.

Последнее требует введения Реестра народов России, который ограничивал бы их «самозарождение», обусловленное определенными политическими амбициями и стремлением приобщиться к вводимым для определенных этнических групп льготам. Классификатор должен делить население Российской Федерации на народы, традиционно живущие на территории России и не имеющие за ее пределами титульной государственности и живущие преимущественно в России; национальные меньшинства – народы, традиционно живущие на территории России, но имеющие за ее пределами титульную государственность или преимущественно живущие в других государствах; и прочие народы. Поддержка переселению в Россию должна оказываться в основном первой категории, в некоторых случаях – второй категории, и никогда – представителям третьей категории.

Вопросы внутренней миграции требуют более подробной классификации первой категории, которая может быть разделена на три подгруппы:

1. Государствообразующий народ, представляющий большинство населения России и определяющий ее культурно-историческую идентичность – русский народ (великороссы, малороссы-украинцы и белорусы российские).
2. Коренные народы – народы, традиционно живущие на территории Российской Федерации, имеющие места компактного проживания и общую численность не менее 50.000 человек.
3. Малые народы – коренные народы России, имеющие численность менее 50.000 человек.

Именно эти подгруппы должны быть внесены в Реестр народов России и защищены миграционным и иным законодательством от размывания, растворения в миграционных потоках.

Следует оговориться, что за народами закрепляются не территории, а земли, и только по границам ареала компактных и длительное время существующих поселений. Якутия не может принадлежать якутам (или «народам саха»). Слабозаселенные пространства, напротив, должны наполняться потоками мигрантов, но с учетом сохранности компактных поселений коренного народа.

За исходный материал для составления Реестра может быть взят этнический состав, зафиксированный в СССР и РСФСР (с учетом возникновения новых границ в 1991 г. и необходимости восстановления в правах отмененного ранее понятия «великоросс»).

Народы, традиционно живущие на территории Российской Федерации, не имеющие за ее пределами титульной государственности и живущие преимущественно в России		Народы, традиционно живущие на территории Российской Федерации, но имеющие за ее пределами титульную государственность или преимущественно живущие в других государствах
Абазины Адыгейцы Алтайцы Балкарцы Башкиры Буряты Вепсы Ижорцы Ингуши Кабардинцы Калмыки Карачаевцы Карелы Коми Коми-пермяки Марийцы Мордва Народности Севера: Эвенки Эвены Ханты Манси Ненцы Долганы Коряки Чукчи Нанайцы Наганасаны Ительмены Эскимосы Селькупы Алеуты Кеты	Негидальцы Нивхи Ороки Орочи Тофалары Удэгейцы Ульчи Чуванцы Энцы Юкагиры Народы Дагестана: Аварцы Агулы Даргинцы Кумыки Лакцы Лезгины Рутгульцы Табасараны Ногайцы Осетины Русские народы: Великороссы Малороссы –украинцы Белороссы российские Татары сибирские Таты поволжские Тувинцы Удмурты Хакасы Цахуры Черкесы Чеченцы Чуваши Шорцы Якуты	Абхазы Азербайджанцы Армяне Белорусы Болгары Гагаузы Греки Грузины Евреи Каракалпаки Казахи Караимы Крымчаки Киргизы Корейцы Латыши Литовцы Молдаване Немцы Поляки Саами Таджики Татары крымские Туркмены Узбеки Украинцы Уйгуры Финны Цахуры Цыгане Эстонцы

Изменения в Реестр народов России должны вноситься либо по результатам всероссийской переписи населения, либо по результатам локальной переписи (для малых

или компактно проживающих народов) и утверждаться федеральным законом на основе ранее разработанных принципов. В случае Абхазии и Южной Осетии можно ожидать, что возникнет еще одна причина – включение этих территорий в состав России в связи с тем, что большинство населения примет российское гражданство.

В этой связи возникает вопрос об этническом самоопределении, которое не должно быть свободным – в соответствии с анекдотической ситуацией «мама турок, папа грек, а я русский человек». Такая ситуация возможна, но только в том случае, когда уже забыто все греческое и турецкое, а основу самосознания составляет русская идентичность. Ей должны соответствовать определенные объективные характеристики личности, а не «свободное волеизлияние».

Таким образом, сохранение этнического своеобразия России должно не только вернуть в паспорт гражданина России графу «национальная принадлежность», но и перейти к установлению такой принадлежности и введению особого порядка ее изменения. Право на установление национальной принадлежности по имевшим законную силу документам или иными способами для всех граждан России, российских соотечественников за рубежом и мигрантам, въезжающим на территорию России, должно быть гарантировано государством. Разработав соответствующий процедурный сценарий, государство получит в руки инструмент контроля за собственным состоянием – фактически осуществлять мониторинг здоровья нации как единого во множестве (а не раздробленного на субъекты федерации) этнополитического организма. Таким образом, могут быть введены в действие дифференцирующие факторы, разделяющие мигрантов на желательных и нежелательных, а также выработаны средства защиты традиционного уклада проживания народов России, сформировавших свою особую этнокультурную среду и своеобразное общежитие представителей различных этносов, образующих внятный и устойчивый «портрет» российской нации и российской культуры.

Фактически почти все современные государства есть результат распада империй – одни государства представляют собой ядро бывшей империи, другие – бывшие провинции. Историческая память вынуждает сильные нации стремиться к имперской модели государственности, ослабленные уступать и соглашаться на статус колонии. Возможен и промежуточный вариант, когда государство «зависает» в федеративно-конфедеративном положении, пока верх не возьмет одна из тенденций. Последнее десятилетие России связано именно с этим вариантом «левой» государственности, третируемой инородческими элитами и компрадорским нигилизмом. И только с приходом к власти В.В.Путина наметились некоторые тенденции усмирения федералистов и нигилистов.

Что же необходимо для изживания этнопаразитизма и выстраивания русской этнополитической доктрины сегодняшнего дня, которая учитывала бы и актуальное состояние русской нации?

Ключевыми задачами русской этнополитики следует считать:

1. Воссоздание социокультурного ядра политической нации – русского самосознания, которым формируется образ страны и ее стратегические устремления в мире.
2. Восстановление демографического потенциала русского народа как государствообразующего.
3. Восстановление лояльности этноэлит к центральной власти.

При этом основные принципы этнополитики Российской Империи могут быть дополнены следующими:

1. Принцип равенства прав граждан вместо иллюзорного принципа равенства прав народов (формирование многонациональной нации с единым культурным стандартом на основе достижений русско-православной цивилизации).
2. Принцип национальной иерархии: государствообразующая русская нация (состоит из множества русских этносов: великороссы, малороссы, белорусы и другие) и

национальные меньшинства, защищаемые в соответствии с нормами международного права, но без формирования политической субъектности. Первая группа составляет около 90% населения страны, что отражает ее мононациональный (а не многонациональный) характер.

3. Принцип деэтнизации политики: Россия – родная земля для всех российских народов, граждане политически равны вне зависимости от этнической принадлежности. Следствие: ликвидация «титულных» субъектов Федерации, введение принципа равного представительства в парламенте от равного числа граждан, запрет на политические организации, формируемые по этническому принципу или выступающие от имени этносов и за их политические права (монополия государства на этнополитику).

Провал в национальной политике, длиной в десятилетие, может быть ликвидирован только ясным и недвусмысленным определением статуса русской нации как нации, создавшей Россию и остающейся ее становым хребтом. С уважением относясь ко всем коренным национальностям России, надо признать, что только русские способны сохранить уникальный облик российской цивилизации, только русские несут на себе всю полноту ответственности за сохранение нашей страны.

Глава 7. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Проблемы теории национальной безопасности

История постоянно преподносит государствам проблемы, связанные с их выживанием и отстаиванием достойного места в мировой политике. Новые угрозы сложившемуся статусу или самому существованию тех или иных государств ставят вопрос об ответе на новые вызовы, с которыми приходится сталкиваться национальным правительствам в современную эпоху. Апостол говорит: «Ибо когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба...» (1 Фес. 5, 3). Мир и безопасность непрочны. Война и вражда, как заявляет Гераклит, отец и царь для всех. Потому и безопасность – постоянная забота государства и нации.

Гоббс рассматривал образование государства как следствие страха, который толкает людей к объединению в государство посредством заключения общественного договора на уровне каждого индивида. Парсонс обнаружил в этой схеме парадокс: если люди вдруг решат не угрожать друг другу и солидарность между индивидами восторжествует, общественный договор распадается. То есть, солидарность, создающая социум, должна пожрать сама себя⁶¹⁶.

Гоббсовская идея безопасности в государстве не подходит для русского самосознания – это идея «спасти животишки», которая, как писал Ф.Достоевский, «есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество. Это уже начало конца, предчувствие конца»⁶¹⁷.

Для того, чтобы разрешить парадокс Парсонса-Достоевского, оптимальное состояние должно состояться до того, как солидарность достигнет своего пика. То есть, конфронтация, порождающая страх, останется, а сам страх исчезнет. Парсонс полагал, что источником страха становится не другой индивид, а суверенная власть, которая возникает в результате общественного договора, а потом становится независимой от людей, гарантируя мир в государстве. Страх уходит из частной жизни, пока она не угрожает порядку, поддерживаемому государством. Государство вообще может быть незаметным для индивида, пока он следует нормам поведения, прижившимся в социуме. Но как только готовность следовать нормам исчезает, государство выходит на авансцену со своей способностью к легитимному насилию.

Эта схема, удовлетворительная еще столетие назад (для России уже тогда явно негодная), сомнительна в связи с рисками, не чувствительными к границам государств. Государство перестает быть достаточным гарантом безопасности. Что вызывает к жизни новые политические образования, оспаривающие у государства первенство в принятии политических решений.

В этой ситуации можно следовать тому, что предлагает Ульрих Бек⁶¹⁸ – сдавать государство в архив и полагаться на снижение рисков за счет деятельности партий «граждан мира». Можно, напротив, заострить внимание на охранительной роли государства, которое в современном мире должно отказаться от утопий, вскрывающих национальную территорию для различных новых угроз. То есть, речь идет о новой автаркии – создании замкнутых и самодостаточных политических и экономических систем.

Конечно, нет возможности провести границы так, чтобы дышать только «своим» воздухом и иметь только «свою» воду в море. Но своим может быть все, что не смешивается с чужим. Тогда государство может быть гарантом безопасности. Если же уступить гуманистическим утопиям, то на месте транснациональных «партий» могут

⁶¹⁶ Обсуждение этого вопроса см. Филиппов А. «Общество риска» как политический трактат по фундаментальной социологии // Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 357–359.

⁶¹⁷ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 // // Собрание мыслей Достоевского. М., 2003. С. 293.

⁶¹⁸ Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

оказаться хищные транснациональные корпорации, которые присвоят национальное богатство, оставленное без охраны государства.

Таким образом, концепция национальной безопасности должна относиться, прежде всего, к государству и рассматривать угрозы его существованию как внутренние, так и внешние. И здесь возникает ряд осложнений, затрагивающих понятийную сферу.

Понятийные альтернативы всегда сталкиваются с тем, что одна из них оказывается определенной и пригодной для количественных теорий, в то время как вторая такими качествами не обладает. Это заметил Николас Луман в книге «Социология риска», показав, что пара риск/надежность аналогична паре болезнь/здоровье⁶¹⁹. Однозначного определения второму термину в каждой паре дать не удастся. Надежность является рефлексией риска, здоровье – рефлексией болезни, точно так же, как и в паре опасность/безопасность. Опасность может быть представлена в ясных образах, безопасность остается ненужным понятийным придатком – остатком от того, что не покрывается опасностью, т.е. чем-то размытым и неясным. Луман предложил сформировать иную пару – риск/опасность.

Понятие в наблюдении первого уровня (субъект-объектное наблюдение) позволяет пользоваться парой альтернатив. Но когда речь идет о наблюдении за наблюдением (наблюдение второго порядка, когда субъект-объектная связь рассматривается как объект), риск уже не связан напрямую с угрозой, а определяется тем, что считается рискованным. Риск может быть двояким – внутренним (риск решения, добровольный риск) и внешним (риск положения, вынужденный риск). Во втором случае речь идет об опасности.

Современность связана с тем, что риск решения размывается в риск положения – результаты решения оказываются вплетены в сложную сеть отношений и возможный ущерб не подлежит расчету. В связи с этим начинает использоваться понятие об опасности – понятие второго уровня наблюдения. Соответственно возрастает роль информационных технологий и убеждения в том, что то или иное решение или состояние опасно. Риск связан с кратковременным планированием, ближайшими последствиями решения, а опасность требует более широкого взгляда на окружающую среду, в которой возможный ущерб от решения может поглощаться иными ущербами, исходящими от других причин. И само решение начинает играть лишь роль «спускового крючка», а ответом на него становится непредсказуемая реакция среды с трудно прогнозируемыми ущербами.

У. Бек говорит о риске как об опасности недостоверного знания, который невозможно нивелировать ничем⁶²⁰. В общемировом масштабе это обстоятельство требует социальной конструкции, сложность которой была бы адекватной сложности рисков. Мировое правительство Бек считает опасным, поскольку оно не в состоянии противостоять субполитике негосударственных структур, легко преодолевающих национальные барьеры, а также опасно своими агрессивными действиями ради подтверждения легитимности. Вместо этого предлагаются общественные структуры, диктующие свои условия государствам. При очевидном утопизме, Бек рассматривает такой вариант минимизации рисков и контроля за ними как возможный и желательный. Тогда вопрос о национальной безопасности снимается и замещается вопросом о глобальной безопасности, в равной мере затрагивающей всех жителей планеты.

Институциональные идеи по минимизации нового качества опасностей проще найти в рамках государства, а транснациональную политическую активность рассматривать как новый тип угроз национальной безопасности.

Комплекс понятий, описывающих систему угроз и контр-систему противодействия этим угрозам, составляет проблематику методологии изучения и обеспечения национальной безопасности. Выверенная теория национальной безопасности может дать

⁶¹⁹ Луман Н. Понятие риска// THESIS, 1994. №5. С. 149.

⁶²⁰ Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

вполне осязаемый прагматический результат – адекватную времени и самой природе политического процесса концепцию национальной безопасности, прогнозирующую внешние угрозы и вызовы и планирующую организационные, технологические, информационные методы их отражения.

Современные теоретические подходы к национальной безопасности, к сожалению, отличаются неопределенностью во взглядах на безопасность и недооценкой ряда методологических аспектов формирования стратегии национальной безопасности, исключающей единый алгоритм мышления, принятия стратегических решений и деятельности в сфере безопасности. На данное обстоятельство указывают многие авторы⁶²¹. Это отражается и в официальных государственных документах, которые не содержат точных определений основных целей, объектов и методов обеспечения национальной безопасности России, зачастую ограничиваясь констатациями и декларациями.

Законом РФ от 05.03.1992 года «О безопасности» национальная безопасность Российской Федерации понималась как состояние защищенности национальных интересов России от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное и устойчивое развитие личности, общества и государства⁶²². В качестве главных объектов, ради которых формируется система национальной безопасности России, избраны:

- личность, её права и свободы;
- общество, его материальные и духовные ценности;
- государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.

Эти разделы были повторены в Концепции национальной безопасности при определении понятия «национальные интересы» как совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства. При этом проблема баланса становится в таком определении "загадкой", которая вырастает в фиктивную теоретическую проблему, образовавшуюся в связи с неправильной исходной посылкой. Первоначальное обособление различных интересов затем вынуждает искать их воссоединения. Но при этом все равно остается, к примеру, особый интерес государства в сохранении конституционного строя. Личность и общество здесь отодвигаются на второй план.

В концепции национальной безопасности также неверно определен приоритет экономического развития. Неясно, над чем воздвигается этот приоритет, но понятно, что среди прочих отодвинут на второй план приоритет единства нации⁶²³. Духовно-нравственная сфера исчезает даже в качестве темы, которая должна бы серьезным образом рассматриваться в таком важном государственном документе. Остается лишь оброненная фраза в Концепции: «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает в себя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России, формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания населения».

Не самым большим недостатком определения, присутствующего в Законе «О безопасности» и Концепции национальной безопасности, является неудачность и неполнота выбора в нем основного метода обеспечения безопасности: вместо превентивного уничтожения или своевременного уклонения от источников внешних и внутренних угроз законом предписана одна лишь защита от них. Есть и более

⁶²¹ Жинкина И.Ю. Стратегия безопасности России: проблемы формирования понятийного аппарата. М.: РНФ. Науч. доклад 1995. №29.– 116 С, Соловцов Н.Е., Ловцов Д.А., Сергеев Н.А. Национальная безопасность: базисные аспекты. Стратегическая стабильность, 2000, №3. С. 44–56 и др.

⁶²² Закон РФ «О безопасности» от 05.03.92 г.// Ведомости Съезда и Верховного Совета народных депутатов РСФСР, 1992. №15.

⁶²³ В этом смысле неслучайной кажется позиция председателя Совета Федерации РФ С.Мировнова, высказанная им в предвыборных дебатах 25 ноября 2003 года, где он явно отдал предпочтение плюрализму в сравнении с национальным единством.

существенный недостаток. Наблюдается прямое заимствование элементов понятия «конституционный строй», который «характеризуется особыми принципами (базовыми началами), лежащими в основе взаимоотношений человека, общества и государства. Конституционный строй – это такая организация государственной и общественной жизни, где государство является политической организацией гражданского общества, имеет демократический правовой характер и в нем человек, его права, свободы, честь, достоинство признаются высшей ценностью, а их соблюдение и защита – основной обязанностью государства»⁶²⁴. Другие авторы видят в конституционном строе систему отношений в конституционной форме выражения⁶²⁵, систему конституционных отношений – предмет конституционного регулирования и конституционные нормы и принципов⁶²⁶, устройство государства и общества, закрепленное государственно-правовыми нормами, основы государственности и права⁶²⁷. Иногда сюда добавляются также и нравственные нормы⁶²⁸, которые в этом случае зачастую подменяются все теми же правами и свободами человека⁶²⁹.

В то же время указанная триада, описывающая конституционный строй, бесспорно, является абстрактной, не выделяя Россию как индивидуальное государство (иначе пришлось бы точно определять, что есть в России личность, общество и государство), а значит, ограничивая сферу национальной безопасности лишь общезначимыми для любого государства планами и действиями. Кроме того, уже как бы предполагается наличие гражданского общества и его руководящей роли в отношении с обособленным от него государством. Да и сам подтекст триады личность–общество–государство, распознанный нами как понятие «конституционный строй», является (что показано выше), является далеко не однозначным и имеющим массу разнообразных трактовок. Увы, это расплывчатое понятие становится заведомо нормативно-правовых актов и порой прямо заявляется в качестве объекта защиты⁶³⁰.

Попытка выйти из этого затруднения может быть двоякой – либо внести в понятие конституционного строя еще и все, что в обществе может регулироваться со стороны государства, либо принять объектом защиты общественный строй плюс все то в государственном строе, что может регулироваться со стороны общества. Последнее выглядит предпочтительнее еще и потому, что от такого подхода до признания нации ключевым объектом защиты остается один шаг, осуществляемый без каких-либо интеллектуальных усилий.

Без представления о России как об индивидуальном (самобытном) государстве нет никакой возможности сформулировать ту систему ценностей, которая описывала бы объекты защиты создаваемыми государствам службами национальной безопасности. Обобщенный характер представлений о государстве в нормативно-правовых документах как в данной области, так и во всей правовой системе приводит к тому, что те же службы могут перейти к защите иного государства, возникшего на месте существующего – они как бы нацеливаются защищать форму государственного общежития, не заботясь о ее содержании.

⁶²⁴ Основы государства и права: Учебное пособие для поступающих в вузы. Под ред. академика О.Е. Кутафина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 1998. С. 65.

⁶²⁵ Кабышев В.Т. Становление конституционного строя России. - Конституционное развитие России. Саратов: Абрис, 1993. С. 4.

⁶²⁶ Еременко Ю.П. Советская Конституция и законность. Саратов, 1982. С. 18.

⁶²⁷ Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления) - М.: Юрист, 1994. С. 22.

⁶²⁸ Румянцев О.Г. Указ. соч., С. 23–24.

⁶²⁹ Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право РФ. Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 96.

⁶³⁰ См., например, ст. 10 Закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г., ст. 16 Закона «Об общественных объединениях» от 14 апреля 1995 г., ст. 1 Закона РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г., ст. 3 Закона «О чрезвычайном положении» от 17 мая 1991 г. и др.

В Конституции РФ и Концепции национальной безопасности Российской Федерации, а также в соответствующей литературе имеет место путаница между жизненно важными интересами, ценностями и потребностями личности, общества и государства. Попытка ориентироваться на интересы личности приводят к неадекватному намерению создать безопасные условия каждому, забывая о всеобщем характере действия государственной системы. За личностью теряется народ с его традиционной моралью и исторической памятью. То же касается вопроса об обществе, которое не может быть «обществом вообще» и описывается конкретными характеристиками, которые в идеализированной форме могут выступать как ценности и именно в такой форме подлежат защите со стороны государства.

Один из крупнейших современных специалистов в теории национальной безопасности П.Г.Белов указывает, что «вместо более естественной и емкой триады “человек - народ – нация” Закон РФ “О безопасности” и Концепция национальной безопасности России оперируют в настоящее время триплетом “личность-общество-государство”. При этом под личностью часто подразумевается, например, “устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивидуума как члена общества”; под обществом – “совокупность социальных связей и отношений людей с общими целями и конкретными условиями жизни”; под государством – “форма политической организации общества, совокупность институтов управления и организации оседлого населения, занимающего определенную территорию и подчиненного одной власти”»⁶³¹.

Нелепо права и свободы личности объявлять основным объектом защиты (ст. 2 Закона «О безопасности»), что даже для правоохранительной системы является лишь частной задачей; или относить права и свободы к первостепенным «национальным интересам» (разд. 2 Концепции национальной безопасности РФ). В условиях военного или чрезвычайного положения (а именно здесь система национальной безопасности должна действовать наиболее эффективно) национальный интерес имеет совершенно другие ориентиры. Наконец, невозможно объявлять права и свободы «высшей ценностью» государства (ст. 2 Конституции РФ), поскольку такое определение обнажает некоторые частные потребительские запросы и игнорирует общенациональные интересы, которые для любого народа отражены в морально-этических нормах, выражающих «душу нации». Именно они формируют неповторимый уклад духовной и общественной жизни и служат основой идентификации «свой-чужой», без которой нет нации, а государство превращается в бюрократический институт.

Весьма расплывчатый термин «общество» применим в других сферах, но его не следовало бы использовать там, где конечной целью научных разработок должно быть создание четких инструкций, особенно для служб национальной безопасности.

Объектом безопасности в государстве разные специалисты считают общественный строй – организацию (систему отношений и учреждений) общества⁶³², систему общественного сознания и традиций, охраняемых государством (там же), систему общественных отношений и традиций, охраняемых государством⁶³³, «исторически конкретную систему общества, обусловленную определенным уровнем производства, распределения и обмена продуктов, характерными особенностями общественного сознания и традициями взаимодействия людей в разных сферах жизни и охраняемую государством и правом»⁶³⁴.

⁶³¹ Белов П.Г. Методологические основы национальной безопасности России. М.: Русский проект, 2002.

⁶³² Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления) - М.: Юрист, 1994. С. 20.

⁶³³ Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник в 4-х томах/ Отв. ред. Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 1993. С. 126.

⁶³⁴ Большой юридический словарь. М-ИНФРА. М.: 1999. С.436.

Проблема здесь возникает не столько с выбором системы отношений или системы общества, сколько с присутствием государства и права в качестве гарантов общественного строя. Получается, что неохранные государством и правом общественные системы не образуют общественного строя. Логичным было бы исключить государство из определения общественного строя и полагать, что общественный строй – социально-политическое, а не государственно-правовое понятие, и представляет сумму социальных отношений вне зависимости от регулирующей функции государства и права. Тогда государство становится подчиненной системой, входящей во фрейм «социальный институт».

Такой ход мысли естественно осложняет теоретическую модель, настолько снижая роль государства, что оно остается лишь системой учреждений, обслуживающих общество (и то отчасти). С одной стороны, такой ситуации мы не видим в реальности, с другой, – попытки сделать общество ключевой ценностью для государства настолько искажает понятие о последнем, что его придется отнести лишь к незначительному числу политических систем, в основном современных и действующих на Западе.

Попытка принять в качестве объекта защиты государственный строй вызывает еще больше возражений. Поскольку государственный строй определяется как система социальных, экономических и политико-правовых отношений, устанавливаемых и закрепляемых нормами конституционного (государственного) права⁶³⁵, из объекта защиты выпадают внесударственные и внесударственные элементы (например, сфера частного предпринимательства или религиозные учреждения традиционных конфессий).

Иногда этактистская линия в юриспруденции играет злую шутку с создателями государственно-правовых концепций и с приложениями этих концепций к проблеме безопасности. Например, совершенно нелепым выглядит комментарий к ст. 275 Уголовного кодекса РФ, где говорится, что «под безопасностью государства следует понимать состояние защищенности жизненно важных интересов государства – конституционного строя, суверенитета и территориальной неприкосновенности от внутренних и внешних угроз»⁶³⁶. Здесь можно различить только репрессивные обещания со стороны государственных органов, которые не желают никаких реформ. Нелепый конституционный строй, подлежащий смене, таким образом, ставится на один уровень с территориальной целостностью и суверенитетом, которые, в отличие от конституции, никак не связаны с произволом действующего политического режима.

Признание государства (точнее, государственного строя) в качестве объекта защиты фактически отодвигает в сторону нацию. Естественно, при таком подходе любая инструкция в сфере национальной безопасности отодвинет в сторону все иные объекты защиты, оставив лишь единственный – бюрократическую структуру, сопряженную с интересами узкого круга высших чиновников. Государственный строй характеризуется переменными характеристиками такими, как система органов власти, социально-экономические и организационно-политические основы государственной власти, территориальное устройство. Помимо переменного характера такого потенциального объекта защиты, он может быть не только внесударственным, но и не соответствующим традиционным моральным устоям. То есть, возможна ситуация, прямо противоположная той, которой мы опасаемся в случае принятия в качестве объекта защиты общественного строя.

С нашей точки зрения, конкретность деятельности служб национальной безопасности требует сохранение лишь одного объекта защиты – нации. Все прочие объекты должны быть связаны с ним, иметь определенные и зримо присутствующие атрибуты этой связи. Прежде всего, это касается государства, вся деятельность которого должна быть подтверждением приверженности интересам нации. Оккупационное

⁶³⁵ Там же. С. 131.

⁶³⁶ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. доктор юридических наук, профессор А.В. Наумов. М.: Юрист, 1996. С.669.

правительство, путь даже созданное формальным применением законов, не может быть объектом защиты. Напротив, оно должно быть признано фактором, подрывающим национальные интересы, а значит, служба ему однозначно является преступлением.

Разумеется, чиновник стремится к тому, чтобы любая деятельность государства, его собственная деятельность находились под защитой «человека с ружьем» и спецслужб. В связи с этим опасно перерождение соответствующих структур из средства защиты интересов нации в средство подавления, в тайную или явную политическую полицию (как это произошло в значительной степени с НКВД и КГБ). Соответственно, в проблематику национальной безопасности вмешивается ключевой вопрос внутренней жизни политики – противостояние национальных и антинациональных сил.

Намерение построить теоретическую модель государства с включением в нее понятия «национальная безопасность» требует определенности как термина «нация», так и термина «безопасность». Специфичность России в этом плане, очевидно, связана с историей проживающих в нашей стране народов. Соответственно, при определении нации, подлежащей защите, необходимо помнить, что Россия создана русскими и российская государственность защищена и приобрела «лица необщее выражение» преимущественно усилиями русских людей. Составляя существенное большинство населения современной России, русские и сегодня несут основное бремя ответственности за сохранение и развитие государства. В связи с этим считать Российскую Федерацию многонациональной страной (как указано в Конституции РФ) нет никаких оснований. Россия, действительно, полиэтнична, что не мешает ей быть одновременно и мононациональной. Русский уклад жизни является главной отличительной чертой той нации, безопасность которой должны защищать системы национальной безопасности.

На уровне терминологии следует договориться, что в России живет единая нация (более 90% считают русский язык и русскую культуру родной для себя), состоящая из многих этносов, которые сплошь русифицированы, но сохраняют под сенью российской государственности свою культурную самобытность. Бесспорно, на территории России проживают также некоторые этнические группы, которые не могут или не хотят иметь ничего общего с русской нацией – до недавнего времени именно такую позицию занимала существенная часть северокавказских чеченцев (в отличие от чеченской диаспоры, расселившейся по остальной территории страны). До сих пор стремятся укрыться от российского государства за статусом беженцев турки-месхетинцы, скопившиеся в Краснодарском крае; обособленно от России живут на Дальнем Востоке китайские общины, а в центральных регионах – вьетнамцы и недавние выходцы из Закавказья. Эти группы населения могут защищаться государством именно как «государством вообще» – ведь специфические черты российской государственности и образующей ее русской нации как раз и отталкивают их. Соответственно, исключенные (самовыключенные) из состава русской нации группы не могут ожидать от российского государства иного отношения, чем то, которое гарантировано иностранцам. В то же время специфические черты российского государства связаны с особым укладом духовной, общественной жизни и производства и должны быть предметом защиты государства.

Таким образом, мы установили, что объектом защиты со стороны систем национальной безопасности должен быть традиционный национальный уклад, который в определенной мере должен угадываться в прошлом нашей страны, а в современную эпоху воспринимается (пусть и не каждым гражданином России) как некий социальный идеал.

В недавнем прошлом под национальной безопасностью понимали защиту страны от нападения извне, шпионажа, покушения на государственный и общественный строй. Затем добавили меры против угрозы впасть в экономическую зависимость, обанкротиться, потерять национальное лицо. Стали учитываться демографические, техногенные и экологические факторы. В результате возникла тенденция включать в это понятие едва ли не всю проблематику жизни и деятельности современного общества. Безопасность стали автоматически делить на число, соответствующее количеству опасностей или имеющихся

для их отражения ресурсов. Широко используются представления о таких видах безопасности, как военная, генетическая, демографическая, духовная, интеллектуальная, информационная, историческая, конституционная, криминальная, оборонная, пограничная, политическая, правоохранительная, продовольственная, психофизиологическая, финансовая, экологическая, экономическая, энергетическая, ядерная⁶³⁷.

Одна из причин – копирование изобретателями таких «безопасностей» зарубежных словосочетаний без учета того, что *safety*, например, всегда относят к источнику угроз, а *security* – к потенциальной жертве. То есть, речь идет об описании частных случаев, а не о теоретических обобщениях, которые развиваются в наших доморощенных школах исследования проблем безопасности.

В качестве другой причины следовало бы назвать ведомственный интерес авторов, ищущих средства к существованию, обслуживая запросы чиновничества в дележе в свою пользу бюджетного пирога. Дело в том, что употребление термина «безопасность», обычно направлено на то, чтобы подчеркнуть неординарность возникшей у них ситуации и указать на вытекающую из этого необходимость в принятии чрезвычайных мер по ее устранению. Вместе с прессингом нравственной риторики мы здесь встречаемся со всеми характерными чертами политического – там, где политики (т.е. вражды) быть не должно. Иначе мы вместо дела национальной безопасности (оформления общности «свои») начинаем «внутривидовую» конкуренцию лоббистских группировок в науке и управленческих кланов в госаппарате.

Причиной гибели отдельных людей, народностей, этносов и наций служит, как правило, множество одновременно действующих опасностей, угроз и вызовов. Вместе с тем, в отдельные периоды времени некоторые из них могут заметно превалировать над остальными. Естественно, что такие ситуации требуют более пристального внимания к доминирующим угрозам со стороны соответствующих государственных органов, что и приводит к вычленению из системной безопасности различных ведомственных оттенков. Отсюда возникает необходимость разграничения угроз вообще и угроз национальной безопасности. К последним следует отнести только такие, которые в самое ближайшее время могут привести к гибели нации, например, к утрате суверенитета, к разрушению нравственных основ общества, к подрыву экономики, к быстрому сокращению численности работоспособного населения. Это означает, что деятельность структур государства, обеспечивающих национальную безопасность, носит чрезвычайный характер, являясь аналогом чрезвычайного положения, только привязанного не к территории, а к определенным аспектам жизни нации, подвергаемым чрезвычайно опасному воздействию.

Для конкретной потенциальной жертвы (нации в нашем случае) безопасность единственно возможна и обеспечена она может быть только в двух случаях: а) опасности вообще отсутствуют (что невозможно в принципе); б) все порожденные ими угрозы и вызовы парируются либо своевременно принятыми мерами, либо благодаря собственной устойчивости, стабильности и живучести потенциальных жертв. За своевременные чрезвычайные меры отвечают службы национальной безопасности, за долговременную живучесть нации – политическое руководство страны.

В коллективной монографии «Международная безопасность и обороноспособность государств (понятия, определения, термины)» дается следующее определение: «Национальная безопасность – способность государства и его народа самостоятельно или совместно с другими дружественными странами и народами сдерживать, блокировать и устранять внутренние и внешние угрозы его суверенитету, территориальной целостности,

⁶³⁷ Образцом такого многотемья является статья первого заместителя секретаря СБ РФ, генерал-полковника юстиции, доктора юридических наук, заслуженного юриста РФ Н.Г.Соловьева – *Соловьев Н.Г.* Некоторые проблемы обеспечения национальной безопасности России в современных условиях// Вестник аналитики, 2003. №2.

социальному и экономическому укладу и развитию, другим конституционным основам, определяющим его жизнедеятельность. Обеспечение национальной безопасности является ключевым показателем национальных интересов народа любого государства»⁶³⁸.

В качестве альтернативы такому определению П.Г.Белов предлагает при определении понятия национальной безопасности в качестве родового признака применять *не состояние*, которое может присутствовать или отсутствовать, а *способность* – определенное свойство системы. Тогда под национальной безопасностью понимается уже не состояние защищенности, а способность сохранять определенные параметры нации – способность к самосохранению, самовоспроизводству и самосовершенствованию. При всей привлекательности такого подхода он затруднен уже сложившимся словоупотреблением – безопасность всегда означает защищенность. Поэтому подход П.Г. Белова следовало бы модифицировать таким образом: *национальная безопасность* – это состояние защищенности таких качеств нации, которые обеспечивают ее способность к самосохранению, самовоспроизводству и самосовершенствованию. С точки зрения наблюдения второго уровня речь должна вестись уже не о состоянии, а о способности к прогнозированию угроз и планирования мер их нейтрализации.

Мы обязаны отметить, что определение национальной безопасности как *состояния* порождает ведомственность и резервный порядок выделения средств на обеспечение безопасности – на каждую потенциальную угрозу создается свой ведомственный орган, который ожидает для себя работы, пребывая в бездействии или занимаясь другими делами. Напротив, *способность* – характеристика, присущая чрезвычайному положению и заложенная в сущность созданных для обычных ситуаций государственных органов.

Можно привести показательный пример трансформации российской оборонной доктрины, когда от должностного принципа формирования Государственного Комитета Обороны и Ставки Верховного Главнокомандующего произошел переход к нормативной несуранице – в случае войны органы «руководства войной» формируются, но каким образом, никто не знает, поскольку для них нет названия и порядок их формирования не зафиксирован в законе. Таким образом, национальная безопасность не обеспечена ни *состоянием* (нет соответствующего органа), ни *способностью* (нет порядка образования органа на случай ЧП).

В определении сущности национальной безопасности речь идет о защищенности определенной способности, о снижении риска нанесения ущерба этой способности. При этом надо отметить, что данная способность должна быть отнесена к нации в целом, а не к отдельным ее элементам. Только если опасность ущерба конкретному человеку может снизить жизнеспособность нации в целом, он может становиться объектом защиты соответствующих государственных органов (например, глава государства). Если ущерб какому-либо народу существенно затрагивает нацию в целом, он может быть признан как неприемлемый и подлежащий отражению усилиями служб национальной безопасности. В то же время ущерб какому-либо народу или человеку может быть признан незначительным (и тогда его защитой должны заниматься правоохранительные органы) или несущественным перед фактом полученного преимущества для нации в целом. (Разумеется речь не идет о реальных «малых» жертвах в пользу «великой» идеи, что являлось бы просто призывом к разложению моральных норм).

Часто национальные интересы связываются с наиболее существенными потребностями общества и государства, удовлетворение которых обеспечивает их существование и развитие⁶³⁹. Отсюда следует понимание безопасности как ключевого национального интереса, т.е. потребности, среди которых выделяются объекты защиты:

⁶³⁸ Международная безопасность и обороноспособность государств (понятия, определения, термины). М., 1998.

⁶³⁹ Национальные интересы и проблемы безопасности России. Доклад по итогам исследования, проведенного Центром глобальных программ Горбачев-Фонда в 1995–1997 гг. М., 1997.

политическая стабильность, т.е. управляемость, поддержание порядка, необходимого для нормального функционирования всех общественных и государственных институтов, защита конституционной законности, прав и свобод граждан;

целостность государства, т.е. такая его структура и политический режим, которые исключают угрозу распада под воздействием внутренних противоречий;

оборона, т.е. защита независимости и территориальной неприкосновенности страны от вооруженной агрессии извне;

техноэкологическая безопасность, т.е. предупреждение техногенных катастроф, преодоление последствий стихийных бедствий;

экономическая безопасность, т.е. обеспечение экономической самостоятельности страны как условия выживания и развития народа;

внешнеполитические приоритеты, способствующие созданию максимально благоприятной для России международной среды.

Д.В. Трошин приводит перечень национальных интересов, который дает возможность выявить угрозы национальной безопасности⁶⁴⁰:

1. Геополитика:

- обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства, предотвращение дезинтеграции Российской Федерации;
- защита прав и интересов национальных меньшинств представителей народов Российской Федерации в бывших союзных республиках, граждан и организаций Российской Федерации за рубежом;
- развитие взаимовыгодных отношений со всеми государствами мира;
- обеспечение политической стабильности в зонах интересов Российской Федерации;
- поддержание авторитета великой державы;
- обеспечение суверенитета государств, близких России по различным признакам.

2. Экономика:

- обеспечение гражданам России необходимого уровня материального благосостояния;
- самодостаточность экономики;
- устойчивость кредитно-финансовой сферы;
- повышение производительности труда.

3. Военное дело:

- возможность нанесения неприемлемого ущерба любому агрессору в ответном ударе;
- защита территории России от иностранного вооруженного вторжения;
- защита интересов России за границей;
- рациональность военного строительства.

4. Социальная сфера:

- стабильность общественной обстановки;
- сохранение традиционно российского мироощущения;
- сохранение здоровья населения;
- увеличение численности населения до 500 млн. человек.

5. Экология:

- сбережение запасов полезных ископаемых на территории России;
- сохранение чистоты окружающей среды;
- сохранение разнообразия биоты;
- сохранение государственного контроля за изменением ландшафта;

⁶⁴⁰ Трошин Д.В. Структура целей обеспечения национальной безопасности России, http://www.sbcinfo.ru/articles/6th_1998conf/1_4.htm.

- освоение околоземного пространства, ресурсов Луны, исследование Марса и Венеры.

6. Информационная сфера:

- развитие государственной иерархической автоматизированной системы информационного обеспечения поддержки принятия управленческих решений;
- право граждан на информационное обеспечение жизнедеятельности;
- обеспечение информационного суверенитета государства;
- обеспечение раскрытия творческого потенциала человека.

Перечень Д.В. Трошина более конкретен и может быть интерпретирован не столько как совокупность интересов, сколько как перечень ценностей и целей (интерес состоит в защите этих ценностей и целей, для чего применяются глаголы «сохранение», «защита» и т.д.).

Можно также определять национальную безопасность через *потребности* – совокупность запросов, обеспечивающих *необходимые условия* для самосохранения (витальные, базовые потребности), самовоспроизводства (социальные потребности, воспроизводящие семью, общину, народ, нацию) и самосовершенствования (духовные потребности и потребности развития).

Именно через понимание потребностей, лежащих в основе существования нации, можно прийти к видению связей нации с судьбой отдельного индивидуума, поскольку способность отдельных людей удовлетворять свои основные потребности является главным системообразующим фактором, необходимым для образования семьи, народа и нации в целом. Значимость такой способности подтверждают инстинкты врожденные (самосохранения, размножения) и приобретенные (самосовершенствования), утрата которых равносильна гибели нации. Вместе с тем, речь опять-таки не может идти об отдельном человеке с его индивидуальными характеристиками, а только о «всеобщем человеке» определенного качества, т.е. о «человеке нации» и о тех свойствах человека, которые проявляют сущностные черты нации.

Если взять витальные потребности, то они входят в перечень защищаемых системой национальной безопасности только в тех рамках, которые социально приемлемы для нации в целом (т.е. по сути, носят нормативный характер, ограничивая частные индивидуальности и особенности отдельно взятого социального слоя или поколения).

Аналогичным образом ресурсные потребности для обеспечения жизнеспособности нации также имеют свои ограничения в рамках национальной безопасности. Защита материальных ресурсов должна, помимо прочего, ограничивать потребление действующего поколения, предполагая заботу о будущих поколениях и в стратегическом плане рассчитывая меры по обеспечению жизнеспособности нации на необозримые времена.

Примененные здесь термины должны быть ясны, чтобы теоретические построения не запутывались и не превращались в свободную игру терминами. Приведем некоторые из них:

Опасность – возможность причинения ущерба системе (обществу, государству).

Угроза – признак присутствия опасности понести ущерб неточно определенного содержания или тяжести, возможности парирования которого не установлены.

Риск – признак присутствия опасности понести ущерб определенной тяжести и содержания в результате принятия решения в рамках самой системы, в результате которого ожидаются опасные изменения внешней среды.

Вызов – признак присутствия опасности, которая возникла в результате решения внешнего по отношению к системе субъекта, и требует реагирования с целью предупреждения и/или снижения возможного ущерба.

Ущерб – изменение свойств и/или условий существования системы, затронувшее ее сущностные характеристики, в результате которых снижена ее устойчивость или стабильность.

Устойчивость – способность системы сохранять свои основные характеристики, несмотря на воздействие различных разрушительных факторов через включение обратных связей, приводящих к ослаблению неблагоприятных последствий, или вследствие естественной эластичности и сопротивляемости по отношению к неблагоприятным внешним воздействиям.

Стабильность – длительное сохранение сущностных свойств либо в связи с отсутствием заметных негативных воздействий на систему, либо в связи с обеспечением устойчивости по отношению к таким воздействиям в течение длительного срока.

Еще один важный теоретический вывод необходимо сделать для того, чтобы понять, что в проблематике национальной безопасности должно быть зафиксировано как цель, что есть средство, а что – способ достижения цели. «Материалистический» подход, скорее всего, поставит в качестве цели – сохранение «тела» нации, т.е. ее выживание. Тогда способом становится сохранение определенного уклада жизни, а средством – материальные ресурсы и организационные мероприятия. Переставляя понятия местами, получаем противоположный подход – целью становится определенный, исторически обоснованный уклад духовной и материальной жизни («безбожная Россия Христу не нужна»), а способом – удовлетворение потребностей нации, обеспечивающих ее выживание и развитие (средством – все те же организационные и материальные ресурсы).

Предпочтя второй подход, мы с большей надежностью выявим угрозы национальной безопасности, выделяя наиболее существенные из них по признаку потенциального ущерба традиционному укладу жизни нации – мятежи и войны.

Значительное количество угроз существованию нации и государства в кризисном обществе побуждает иных исследователей и политиков к безбрежному расширению сферы приложения разрабатываемой ими концепции национальной безопасности. В результате возникает отраслевое членение «безопасностей» и рассеяние функции обеспечения национальной безопасности по множеству государственных и общественных институтов.

В прямом противоречии с этой тенденцией находится проблематика управления кризисным обществом, в рамках которой необходимо выявить иерархию угроз и их причин, определить наиболее важные источники угроз и взаимозависимостей между ними, а также в разработать такую институциональную схему, которая позволяла бы эффективным образом подготовить отражение угроз.

В ситуации острого кризиса речь должна идти о суверенитете государства, который требуется оградить от прямых посягательств средствами чрезвычайного или военного положения, т.е. свертывания принятых в обычных условиях правовых процедур и норм регулирования политической и экономической жизни с концентрацией всех сил и ресурсов на решение задачи сохранения суверенитета. Можно сказать, что острый кризис требует достаточно жестких управленческих и полицейский мер, а в условиях угрозы войны – всесторонней военной мобилизации.

Системный социально-политический кризис ограниченной остроты (именно так следовало бы характеризовать положение в России) требует более дифференцированного подхода и видения не только проблем суверенитета, единства власти и правового поля, но также и задач укрепления политической нации через систему средств информации, образования и организацию политического процесса, утверждающего национальные формы демократии.

В государстве, где острые кризисы изжиты, центр тяжести по обеспечению национальной безопасности переносится уже в сферу внешней политики и задач, связанных с обеспечением динамичного развития экономики. Внешнеполитические задачи служат упреждению возможных кризисов, способных нанести ущерб государству

и обществу извне, а экономическое развитие – расширению ресурсной базы для решения тех задач в области национальной безопасности, которые могут возникать в будущем.

Варварство, этницизм, нигилизм, космополитизм

В вопросе о народностях России сегодня сливаются вместе внешнеполитическая и внутриполитическая проблематика – внешние силы давят на российскую власть, поддерживая в этнополитических группировках стремление к обособлению от России, к выделению для них особого статуса и подконтрольных территорий. Победа принципа самоопределения российских народностей от русской нации – наиболее опасная для нашей страны угроза, проистекающая из популярной доктрины столкновения цивилизаций, все больше подкрепляемой конкретной политикой ведущих мировых держав.

Специфика российских условий – присутствие на ее территории, по меньшей мере, двух цивилизаций – русско-православной и исламской. В первом случае речь идет о ядре цивилизации, во втором – о вкраплениях одной из мировых цивилизаций. Кроме того, фоновым образом в российской цивилизационной среде разлиты элементы западной цивилизации (преимущественно в форме бытового усвоения протестантских элементов). Все это создает возможности внутреннего конфликта, который инспирирован внешними цивилизационными центрами, прежде всего западными и мусульманскими.

Эта угроза национальной безопасности России объясняется теорией столкновения цивилизаций, полагающей, что такое столкновение носит объективно заданный характер. В то же время понимание цивилизаций как культурно обособленных фрагментов человечества говорит о том, что большинство конфликтов происходит не между цивилизациями, а между цивилизацией и варварством. В России варварство порождено вовсе не восточной архаикой или остатками исторических империй, а тем самым западным влиянием, осуществляющим не цивилизационное, а политическое вторжение на суверенную территорию России. Отчасти это вторжение поддерживается и исламскими государствами, ищущими пути расширения и укрепления своего влияния в мире.

Успех этого внешнего политического давления, прикинувшегося объективным процессом конкурентного взаимодействия цивилизаций, зависит от состояния национального самосознания и цивилизационной идентификации граждан России и жителей всего постсоветского пространства. Ослабление нациестроительной функции российского государства пошатнуло идентификационные скрепы и позволило осуществить захват постсоветского пространства этническими группировками с отчетливо выраженными варварскими установками. Цивилизационная кромка русского мира оказалась захваченной мятежниками, поддержанными иноцивилизационными влияниями, пестующими на территории исторической России собственные псевдоморфозы (псевдоислам в среднеазиатских республиках и внутренних республиках в РФ, псевдозапад в прибалтийских республиках, на Украине, в Закавказье и Молдавии).

Усилению варварства способствует насильственная глобализация мира – вторжение в традиционные уклады и их разложение под видом модернизации. Взамен угнетенных национальных культур на авансцену выходят локальные культуры. Антизападный (и парадоксальным образом прозападный – как ясно видно из деятельности чеченских эмиссаров в Европе и Америке) и одновременно антирусский мятеж воплощается во взрыв архаики. Ожидаемое единообразие мира оборачивается его фрагментацией, прежде всего за счет национальных государств. Глобализация, оставившая по всему миру признаки своего присутствия, постоянно провоцирует бунт варварства, отвергающего чуждый образ унифицированного человечества. Глобализм мировых рынков и поп-культуры становится лишь фоном для новой трагедии народов, которые отбрасываются в донациональное состояние. Глобальная безопасность по-западному оказывается неприемлемой для других стран, которые ощущают попытку насаждения этого типа безопасности как самую отчаянную опасность – как

экзистенциальную угрозу локальной коллективности. В то же время эта локальная коллективность в своей локусной, догосударственной форме опирается именно на вторжения Запада, чтобы переустроить систему власти, перекроить границы, изменить сложившийся этнополитический баланс и т.д. В целом даже антиглобализм становится формой мятежа против государства, чаще всего принимающего формы этнического бунта.

Чем меньше национальный культурный пласт на цивилизационной кромке, чем слабее меры защиты традиционных ценностей в цивилизационном ядре и на периферии, тем агрессивнее этницизм, тем больше расхождение между риторикой «федералистов» и их реальными действиями. Так, бунт варварской архаики в Чечне приобрел наиболее яростный характер в связи с тем, что там по историческим причинам не возникло серьезных культурных напластований: сначала Кавказская война исказила восприятие ислама, в котором видели только джихад против «неверных» и правила дележа добычи, потом большевистский переворот помог вспомнить вкус русской крови, наконец, чеченцы прошли через позор массового предательства в годы войны и возмездие депортации. Демократизация России позволила чеченцам освободиться от бремени культуры, которое так тяжело нести тем, кто еще недавно вышел из раннефеодального периода с его варварским изуверством и ложной героикой «военной демократии».

Варварство развязывает кровавые конфликты, в которых цивилизация вынуждена отыскивать адекватный ответ, забытый в периоды политического затишья. Сталкиваются мобилизационные парадигмы разной природы: парадигма социально-психологической консолидации общества определенной цивилизационной принадлежности и архаика варварской, этнократической консолидации.

Варварское самосознание, сплотившее чеченцев в исключительно кровожадные бандформирования (их «подвиги» малоизвестны для российского обывателя), неожиданно получило поддержку другого варварского самосознания — самосознания, родившегося в среде российской интеллигенции, не нашедшей себе лучшего применения, чем участие в открытой антигосударственной деятельности. Лишившиеся идеологической опоры работники пера, прежние компропагандисты тоже почувствовали огромное облегчение и взялись за дело, столь же недостойное, как и открытый разбой — за антирусскую, антироссийскую пропаганду. Отправной точкой здесь послужили два фактора — приобщение к иномцивилизационной западной парадигме и во многих случаях сознание своей иноэтничности, обособленности от русского народа.

Любая цивилизация (а Россия — государство-цивилизация) имеет на своей периферии территории, не вполне приживленные к данному типу культуры или испытывающие влияние другого типа культур. Более того, распад традиционных империй и образование государств-наций означает, что культурные и государственные границы перестают совпадать. Именно поэтому между цивилизацией и варварством всегда возможен конфликт. В нем Россия, к сожалению, не использует свое историческое достояние — сохранившуюся еще имперскую форму государственности, в которой столица государства совпадает со столицей цивилизации. Ослабление государственности, утрата цивилизационной идентичности всегда приводят к тому, что сквозь культурные напластования происходят вулканические выбросы этнической архаики.

Противодействие такого рода выбросам может происходить тремя способами:

— вмешательством извне (вроде миссии миротворческих сил, которая толком преодолеть конфликт не может);

— силовым предъявлением ресурсов государства без учета причин конфликта и характера противостоящих государству сторон (в этом случае для подавления варварского мятежа требуется на порядок больше ресурсов, а при их отсутствии приходится объявлять о капитуляции и задабривать победителя);

— локализацией конфликта, подготовкой государства к предъявлению своего цивилизационного превосходства и выдерживанием паузы для «сваривания» внутренней конфликтности, неизбежной в варварской среде.

Последний вариант позволяет развернуть энергетику конфликта внутрь, а заодно обнаружив слабости своей цивилизационной позиции, вовремя откорректировать ее. Если это не происходит, то измена собственной цивилизационной природе делает государство неспособным к сопротивлению варварству.

Опыт «цивилизованных стран», на который у нас ссылаются по самым разным поводам, свидетельствует, что сепаратизм, этнический мятеж всюду выжигают каленым железом. В «цивилизованном мире» англичане могут двадцать лет оккупировать Северную Ирландию, турки поливать напалмом курдских сепаратистов, мексиканцы годами гасить индейские мятежи. Это нормально, потому что походит на прополку злаковой культуры с известной урожайностью от сорняков с непредсказуемой судьбой. Только глубоко заблудшему иноквилизационному сознанию может показаться, что в России ничего подобного делать нельзя. Будь воля носителей такого сознания, они бы всю страну отдали под сорнячные плантации.

Согласно либеральной доктрине, подавлять этницизм и сепаратизм в России принципиально нельзя, ибо это нарушает права человека. Согласно коммунистической доктрине, надо поддерживать эти «национально-освободительные» движения и блокировать любые попытки их подавления. И для коммунистов, и для либералов Россия является страной 150 наций. Коммунисты полагают, что каждая из них может вырвать кусок из территории России, если того пожелает ее «национально-освободительный» каприз. И даже среди так называемых «националистов» находятся те, кто готов сдать территории страны этническим кланам только на том основании, что на этих территориях русские не составляют в данный момент времени большинства. Все эти умонастроения перешли в латентную форму, как только изменилось состояние общественного сознания – стало невозможно без ущерба своей репутации пропагандировать сепаратизм под каким бы то ни было предлогом (для этого в терактах на территории России должны были погибнуть сотни людей). Но в случае нового ослабления решимости государства подавлять этнический мятеж формальный федерализм тут же обратиться в сепаратизм, извлекая из пыльного запасника замшелые политические теории.

На территории исторической России национальное становление состоялось лишь для русской нации. Она прошла через соответствующие исторические испытания, создала великую культуру и великую государственность. Остальные этнические общности не всегда дотягивают даже до того, чтобы называться народом. Стоит ли считать народом рыхлую человеческую субстанцию с примитивным производством и убогим бытом, которая к тому же не сосредоточена в компактных поселениях и численно не превосходит города среднего размера? Тех же чеченцев, чья численность составляла в самой Чечне не более 600 тыс. (данные о миллионной численности по переписи 2003 г. явно фальсифицированы), чью письменность пришлось основать на русских буквах, чья история не знает ничего, кроме разбоя?

Принадлежность к малому народу не означает какой-либо личной униженности или ограничений для проявления гражданственности. Но любой малый народ, этнографическая группа, народность по логике развития вместилища их нации и логике истории будут стремиться к максимальному сепаратизму, если ему не ставить препятствий. Мелочная спесь всегда будет прорываться наружу и пытаться приобрести политический статус. Субэтническая группа всегда будет стремиться выдать себя за этнос, этнос — за нацию.

Здравый взгляд выделяет в России только русскую нацию, состоящую из нескольких народов, исторически связанных друг с другом единой судьбой. Только сама Россия имеет право самоопределиваться и отделиться (или отделить от себя гнилые места, когда сочтет их никчемными). Все остальные формы самоопределения на территории России являются мятежом.

Чтобы пресечь в России сепаратизм, необходимо обозначить, где присутствует всего лишь национально-культурная автономия, а где начинается мятеж и вред

государственным интересам - крамола этнистов. Сепаратизм начинается с признания «национального» образования в качестве равного общенациональному. Отсюда возникает признание в качестве полноценного гражданина того, кто с трудом говорит по-русски, плохо читает и пишет на русском языке. Не приняв русской культуры и лишь слегка приобщившись к какой-либо другой культуре, эти полуграждане с готовностью превращают все русское во враждебное. Возникает бунт варварского самосознания против цивилизации. В Чеченской войне – это бунт раннефеодального самосознания вкупе с препарированным исламом, сведенным до разбойничьего «джихада».

Варвару не понять, почему государство не просто может, но и обязано применять насилие и даже монополизировать его. Варвару более понятно, когда право на насилие становится общедоступным, и лидеры бандформирований, и президент страны делят это право между собой. Он не понимает, почему кровавые разборки между криминализированными бизнесменами в его собственном городе — явление того же порядка. Это беда варвара, которая может стоить ему жизни. Но беда общества – оправдание варварства, склонность вести с варваром, не знающим чести и верности слову, переговоры и признавать его политическим субъектом. Такому обществу суждена скорая гибель в потоке мятежей. Россия прошла по краю обрыва, спохватившись перед лицом явной угрозы, перед фактом массовых жертв среди гражданского населения и военнослужащих. За эти жертвы отвечает антинациональная власть, допустившая мятеж и использовавшая его в качестве инструмента воздействия на общество.

Для нигилистического «гуманного» самосознания единственная реальная сущность, достойная защиты – физическая субстанция, воплощенная в человеческих индивидах или материальных ценностях. Человеческие сообщества – государства, цивилизации для нигилиста, как и для варвара, представляют собой лишь неизбежное зло, которому надо наносить внезапные удары в кризисные периоды слабости. Именно поэтому интеллигенция, подобострастно обслуживавшая советскую власть, после окончательной деградации коммунистических догм не нашла себе лучшего применения, чем участвовать в открытой антигосударственной деятельности и войне против русского традиционного мировоззрения.

Г.П.Федотов видел истоки нигилизма в духовном строе русской интеллигенции, которая одновременно идейна и беспочвенна. Идейность в прежней русской интеллигенции (добавим, что и в теперешней – космополитической) — это особый вид рационализма, который несет на себе этическую окраску. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость. Интеллигент «берет готовую систему “истин” и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность защищает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость – этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии»⁶⁴¹. Именно так, зачитывая до дыр советскую Конституцию (а позднее, Декларацию прав человека), «сходили с ума» от вируса чадаевщины диссиденты-шестидесятники.

Федотов упоминал и о почвенническом нигилизме, который в современной России глубоко внедрен в православно-патриотическое движение. Рассуждая о неизбежности национальной революции, философ писал: «Для революции гораздо существеннее продвинуть свои рубежи в глубь прошлого, освободить русскую традицию от оков карамзинской монархической схемы. Национальный канон, установленный в XIX веке, явно себя исчерпал. Его эвристическая и конструктивная ценность ничтожны. Он давно уже звучит фальшью, и труд русской исторической науки подорвал, искрошил старую национальную схему. Новой, революционной схемы не создано. Материалы для нее – груды камней - собраны поколениями русских историков. Но нет архитектора, нет плана, нет идеи»⁶⁴².

⁶⁴¹ Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. СПб.: София, 1997. Т.1 С.70–71.

⁶⁴² Там же. С. 268.

В ответ народникам всех времен, всегда и неизбежно скатывающимся к антигосударственным позициям, Федотов заявляет, что народ может быть «максимально беспочвенен и максимально безыдеен». К этому мы можем добавить, что народ может быть явно и деятельно «почвенен и идеен» лишь в условиях отечественной войны. В спокойной ситуации, в бытовых обстоятельствах народ и почва Отечества — две вещи, трудно совместимые и редко совмещающиеся. Вот почему при отсутствии национальной элиты, способной понять смысл трудов и подвигов предков и преподнести этот смысл в системе образования и воспитания народу, этот народ становится носителем измены, питательной средой антигосударственных настроений — нигилизма и варварства, этнического мятежа. Поэтому и национально действующее правительство обязано беспрерывно вести «сублимированную гражданскую войну» с целью пробуждения патриотических, почвенных чувств в народе — только деятельная любовь к Отечеству, воспитанная национальной элитой и национальным государством, гарантирует нацию от этнических мятежей.

Федотов говорит о слабости христианской интеллигенции и ставит политическую задачу, актуальную для сегодняшнего дня: «Во-первых, мы должны отрешиться от привычной сращенности православия с политическими, культурными, бытовыми формами старого времени. Не считать идеалом православия реставрацию старины и найти в нем источник свободы для творческого отбора в старых сокровищах, для творческого созидания новой жизни. Вторая — в известной степени противоположная слабость — это индивидуализм личного религиозного пути. Для отрешенного, погруженного в собственный мир строя души, не возникает проблем национальной культуры, да и культуры вообще. Как первая школа духовной жизни, эта замкнутость души может быть законной, необходимой. Как традиция, как стиль целого поколения — это уже некое уродство, становящееся национальной пассивностью»⁶⁴³.

Судьба Римской Империи, да и история Российской Империи, должны напомнить нам, что вырождение и антинациональный характер власти, предательство и измена, упадок морали и духовная разруха ведут не просто к крушению институтов государственности. Вслед за этим с фатальной неизбежностью следует кровавый потоп. Цивилизация гибнет не бесследно. Ее язык и культура становятся предметом изучения энтузиастов и растворяются в мировой культуре. На месте одной цивилизации вырастают другие, но не стоит забывать про моря крови, которые мы призываем в свою судьбу, примиряясь с варварским самосознанием и умиляясь музейными образцами павших под напором варваров цивилизаций.

Можно выделить несколько признаков нигилистического мировоззрения и обнаружить в них те моменты, которые делают его ближайшим союзником этнистов:

1. Отрицание всего традиционного, национального. Следствие — революционизм, глупая мечтательность, отрыв от реальности. Этнисты подхватывают эту мечтательность в своих локальных мифах, а антинациональный негативизм направляют на разрушение высокой культуры в угоду своим ветхим богам.

2. Человекобожие и, следовательно, претензия на абсолютную истину, универсальность и всеохватность. Одно из следствий — клановость. Этнисты, как и нигилисты, живут в крайне тесном мифологическом пространстве, полагая, что в нем заключена вся Вселенная. Нигилисты ставят в центр ценностных систем человека вследствие некрофильских устремлений (разрушено должно быть все, но «Я» — в последнюю очередь), этнисты — вследствие угнетения религиозного самосознания и доминирования животной агрессивности.

3. Антропоцентризм, идеализация всего «человеческого», «естественного». Одно из следствий — разнузданность нравов, снятие нравственных барьеров в отношениях с «непосвященными», упадок межличностных отношений, равнодушие к распаду социума,

⁶⁴³ Там же. С. 183.

семьи. Этнисты и тут разделяют психологический строй нигилистов. Их развращенность – следствие узости и примитивизма, предельной выхолащенности представлений не только о высокой, но и об этнической культуре.

4. Догматизм – опора на скупой набор «истин», понимаемых буквально и недискутируемых. Последнее особенно близко этнистам, замыкающимся в узком круге крайне примитивных представлений и яростно отмечающим любое сомнение в них.

Варварское и нигилистическое мировоззрение даже в скрытых формах выступает как антисистема, подрывающая жизнеспособность нации и государства. Под антисистемой мы понимаем фрагменты социума, сплоченные контр-мифом в паразитический организм, живущий за счет остального общества, за счет поддержания процессов его разложения.

Применением термина «антисистема» к социальным процессам мы обязаны работам выдающегося историка и православного публициста В.Л.Махнача⁶⁴⁴, который продуктивно использовал введенное Л.Н.Гумилевым понятие, описывающее разрушительные для жизни этноса структуры, к общественной жизни и выделил следующие характерные черты:

1. Негативное мировосприятие и, как следствие этого, стремление к разрушению мироздания, культуры, нации. Сочетание принадлежности к данной культуре и крайне негативное отношение к ней, сочетание гипертрофированного стремления к служению народу (реально попавшей в этническую ловушку части населения) и презрения к нему.

2. Образование теоретического «базиса» путем смешения несовместимых систем ценностей. Разрешенность лжи или даже утверждение праведности лжи для адептов данной антисистемы. Следствием является невозможность полемики с антисистемой, ибо любой аргумент присваивается и трансформируется ею. (В политической практике России последних лет данный признак ярко был зафиксирован в переговорах с чеченскими бандформированиями, лидеры которых беспрерывно лгали.)

3. Порождение этнических и социальных химер (вроде общности «советский народ» или протогосударства «Ичкерия»). Способность (в отличие от химер) к длительному существованию в превращенном или скрытом состоянии. В частности, при внедрении в элитные слои общества. В случае утраты элитного положения антисистема вновь восстанавливает свои качества.

4. Распространенность в среде второсортного бюрократизированного чиновничества и маргинальной (второсортной) интеллигенции, оторванных от традиционных форм социального бытия. Как известно, именно эта среда породила на свет сепаратистов всех мастей, начиная от участников Беловежского сговора 1991 г. и кончая лидерами чеченского сепаратизма, переродившимися в вождей варварства из посредственных советских офицеров.

Одной из форм нигилизма, особенно опасного своим гуманистическим пафосом и поддержкой интеллектуальных слоев, стремящихся быть «гражданами мира», является космополитизм. Космополитизм исходит из убеждения в том, что политическое можно распространить на все человечество и считать его обществом. Тем самым нации и государство попадают в подчиненное положение и становятся исторически преходящими сущностями, через которые рано или поздно придется переступить, чтобы перейти к общности более высокого порядка.

Русский мыслитель начала XX в. Н.Г.Дебольский⁶⁴⁵ указывал на ошибку Н.Я.Данилевского, считавшего нацию *видом* в *роду* человечества, и потому пришедшего к затруднению – необходимости доказывать, что интерес *частного* может стать выше интереса *общего*. Дебольский предложил понимать нацию, как *общество*, а человечество,

⁶⁴⁴ Махнач В.Л. Антисистемы // Аналитика и информация.– М.: Внешнеполитическая ассоциация, 1993. С. 43.

⁶⁴⁵ Дебольский Н.Г. Начало национальностей в русском и немецком освещении // Журнал Министерства Народного Просвещения, 1916, № 2 (февраль). С. 183–207.

как *неопределённую собирательную группу*, что сразу делает интересы определенного предпочтительными по сравнению с неопределенным – служить человечеству можно лишь через служение какому-либо общественному союзу. При этом противоречие между национальным и общечеловеческим снимается, поскольку нация может рассматриваться только как форма, в которой человечество получает определенную организацию.

Дебольский указывает на действительный характер того противоречия, которое постоянно фиксируется вокруг вопроса о нации. Действительное противоречие – это противоречие между национальным, где общечеловеческое обретает свою форму, и космополитичным, где общечеловеческое политизируется – возникает представление о некотором общечеловеческом *обществе*, служение которому становится выше, чем служение своему народу. Доктрина космополитизма – это борьба за идеалы несуществующего высшей формы общества, под которым подразумевается человечество. Это борьба против наций.

Когда в какой-либо концепции пытаются говорить от имени человечества и проповедуют общечеловеческий универсализм, это отражает самые агрессивные намерения, о которых в свое время (несколько позднее Дебольского) писал Карл Шмитт в работе «Понятие политического». Действительно, представления о человечестве как о возможном политическом единстве означает, что границы должны быть устранены. Но кем? Разумеется, одним из государств – супердержавой, которая должна покорить весь мир. Но для этого война должна стать абсолютной, поскольку враг подлежит тотальному уничтожению, он приобретает черты абсолютного врага, несовместимого с сущностью грядущего гегемона⁶⁴⁶. Такая перспектива тотальной деполитизации человечества означает исключительную политизацию войны «во имя человечества», оккупацию, и злоупотребление универсальными понятиями. Для этого врагу приходится отказать в праве считаться человеком.

Таким образом, космополитизм есть доведенный до абсурда и крайней ненависти нигилизм. Если нигилизм может ограничиться ненавистью к определенной нации и определенному государству, то космополитизм при всех своих гуманистических декларациях означает ненависть ко всему человечеству и любовь к иному человечеству, которое когда-то должно возникнуть и прийти в соответствие с общезначимыми этическими нормами. С мечтой о земном устранении зла космополитизм порождает самую жестокую ненависть, поскольку для него в человечестве уже нет добра – по крайней мере в том, что называют государствами и нациями.

Умиротворение космополитизма не может не связывать его с интересами иных наций и государств, которые стремятся к проникновению на нашу национальную территорию с целью либо ее полной деполитизации и дальнейшего освоения собственным политическим проектом (а возможно и новым населением), либо перестройкой национального сознания, которое должно быть ассимилировано иным национальным проектом. В любом случае космополитизм должен считаться открытым заявлением об измене и получать соответствующие характеристики со стороны государственных деятелей и соответствующие санкции правоохранительных органов.

Нельзя не заметить единства политической стратегии и целей варварства, этницизма, нигилизма и космополитизма. Соответствующие им политические установки легко перетекают одна в другую и пользуются взаимной поддержкой. Вместе эти мятежные установки создают альянс противников нации и государства – реальную угрозу национальной безопасности.

Мятеж бюрократии

Государство поглощается административным аппаратом – вот основное определение мятежа номенклатуры. Государство изгоняется и остается только его форма в

⁶⁴⁶ См. Шмитт К. Теория партизана.

виде управленческого аппарата, который поддерживает однажды возникший статус-кво. Политика теряется в «бюрократических джунглях». То, что должно было исполнять политические решения, теперь само становится источником решений. Служба превратилась во власть⁶⁴⁷.

Политика подчиняется бюрократии по мере ухода из нее идеологии. Именно это есть процесс подмены целей и ценностей средствами. Бюрократия пытается снизить возможность политического выбора и удержаться на однажды избранной ветви развития, применяя только технические методы регулирования социума. В этом смысле правы были большевики, намереваясь не реформировать, а сломать враждебный госаппарат. Бюрократию невозможно реформировать – она коснеет в политическом выборе прежней эпохи. Бюрократию можно только беспрерывно разрушать реорганизациями и вливанием «новой крови» из политических кругов.

Бюрократия в полной мере реализует политику как обособленную от других проявлений жизни сферу. Ее обособленность выражена в устранении от ценностей – бюрократия не знает ни социальной справедливости, ни политического выбора. Она только функционирует. Любая истина теряет свое содержание и в лучшем случае становится деталью пропаганды, подкрепляющей статус-кво. Это смертельная опасность для нации, утрачивающей возможность обустройства государственной жизни в соответствии с меняющимися условиями.

Заложниками мятежа бюрократии становятся политические деятели, которым приходится брать на себя ответственность за чужие решения, а собственные решения лишь имитировать. Гражданам приходится сталкиваться не с политиками, которым они намерены доверить свою жизнь, а с бюрократией, которая служит уже не посредником между гражданином и властью, а собственно властью – только совершенно независимой от гражданина, а потому абсолютно равнодушной к его проблемам.

Бюрократический мятеж имеет своим верным союзником свободу слова в средствах массовой информации. Этот факт отметил еще М.Н.Катков, относя его еще не к массовой информации, а лишь нигилистическому настрою литературных кругов его времени: «Дух отрицания и ломки, развившийся до безобразных размеров и проявлений в нашей литературе, взялся первоначально из того склада мысли, из тех умственных обычаев, из тех направлений, которые могли образоваться только в бюрократической среде. Бюрократия есть везде, но у нас бюрократия есть все: она является почти единственной, почти исключительно действующей силой, и направления, развивающиеся под влиянием этой силы и ею поддержанные, легко распространяются повсюду и овладевают всеми общественными понятиями. Дух, вышедший из этих сфер, дух неуважения и недоверия к жизни, весьма нередко оказывает свое действие там, где, по-видимому, должен был бы господствовать совсем другой дух; он прокрадывается даже туда, где раздается протест против бюрократии, и часто слышится даже в самом этом протесте»⁶⁴⁸. «Безумное потворство, практика безвластия под фирмой либеральничанья, расслабление мысли, страшнейшая всего твердого, государственный практический нигилизм (который постоит нигилизма противогосударственного), порождающий ожесточенную войну ведомства против ведомства, лоском прикрытое ничтожество и невежество – вот великие источники, откуда орошаются всходы нигилизма»⁶⁴⁹.

Единственным механизмом противодействия бюрократическому аппарату и «свободе сквернословия» в СМИ может быть только партия, в которой аппарат также присутствует, как и опасность партийной бюрократизации. Подавляя внутреннюю бюрократию, партия в состоянии быть контрольным органом, третирующим государственную бюрократию и внедряющим в нее своих агентов. С этой точки зрения компартия в СССР и нацистская партия в Германии были наиболее эффективными

⁶⁴⁷ См. Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. С. 251.

⁶⁴⁸ Катков М.Н., Имперское слово. М., 2002. С. 162.

⁶⁴⁹ Там же. С. 259.

противовесами бюрократии. В то же время бюрократизация компартии в Советском Союзе дает пример того, как этот противовес теряет силу и обюрокрачивается, соучаствуя в тупиковом политическом курсе. Нацистская Германия просто не успела пройти этот путь.

Постоянное поглощение политического класса (партийной верхушки и ведущих политиков) бюрократией наводит на мысль о необходимости административных революций, которые регулярно должны проводиться политическим классом против бюрократического механизма. И мы знаем пример такой революции в 1999 г.⁶⁵⁰ – перехват группировкой, выдвинувшей В.В.Путина, инициативы у группировки Ю.М.Лужкова, уже видящей себя в кремлевских кабинетах. Только такая революция, как бы она ни была идеологически непродуманной, позволила сохранить целостность России. Увы, не будучи доведенной до конца, она уже через полтора года начала снова уступать командные высоты партии бюрократии. Группировка В.В.Путина не смогла сформировать партию «молодых волков» и всерьез обрушиться на бюрократическую машину, созданную прежними режимами. «Партия власти» оказалась просто скопищем второсортного чиновничества с тем же менталитетом, что и у госбюрократии. Слияние этих сил в одну партию означало продолжение антинационального номенклатурного мятежа – ельцинизма без Ельцина⁶⁵¹.

Современная демократия не в состоянии контролировать бюрократию, поскольку она представлена автономизированными персонами, участь которых жить под пятой бюрократии и под гипнозом ее повседневной пропаганды. Как пишет Жак Эллюль, демократия ныне служит не средством контроля государственной власти, а средством организации масс⁶⁵². Следовательно, демократия требует иной организации, далекой от современной либеральной мифологии. Необходима не либеральная, а национальная демократия – расчет не на голосование отдельных индивидов, а на деятельность антибюрократической национальной партии, в полной мере авторитарной и в полной мере правящей. Фактически именно к этому склонилась группировка В.В.Путина, предполагая введение в 2004 году «ответственного министерства» – правительства, формируемого на основе парламентского большинства. Правда, налицо и возможность скоротечного выхолащивания идеи правящей партии, поскольку эта партия, очевидно, оказывается плотью от плоти бюрократии и, скорее, готова обслуживать, чем повелевать.

В отличие от этнического и нигилистического мятежа проблему защиты нации от мятежа бюрократии крайне трудно решить институциональным путем. Но все же некоторые возможности, которые политический класс способен ввести законом, имеются. Самый простейший механизм – исключение совмещений политических и государственных постов. Правительство, вся иерархия государственных служащих – вне партий. Законодательство о партиях должно ограничивать не партии, а бюрократию, предоставляя политическому классу полную свободу организационных форм и средств работы среди населения. Именно политическим и корпоративным объединениям необходимы существенные преимущества над бюрократией, например, исключительное владение печатными средствами массовой информации.

Важнейшая задача, без которой номенклатурный мятеж всегда будет страшной угрозой для нации и государства, состоит в том, чтобы вырвать из бюрократической системы правоохранительные органы, политизировав их насколько возможно и блокировав всякую финансовую зависимость судов, прокуратуры, милиции, спецслужб от бюрократии. Соответствующие должности должны приобретать политический характер – замещаться исключительно представителями правящей партии. Верхний слой постов всех

⁶⁵⁰ Савельев А.Н. Выборы-99 как этап административной революции// Политический маркетинг, 1999. №12.

⁶⁵¹ О мятеже номенклатуры, определившей лицо власти с 1993 года автору приходилось писать достаточно подробно: Кольев А. Мятеж номенклатуры, М.: Интеллект, 1995. См. <http://kolev3.narod.ru>.

⁶⁵² Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. С. 279.

административных структур должен заполняться политиками, а значительные полномочия переходить от бюрократии к самоуправлению.

Систематический подрыв бюрократических процедур может состояться в случае последовательного сокращения административного аппарата, нормативно вводимого ежегодно. Сохранение размеров финансирования позволит чиновнику повысить свою легальную зарплату за счет штатных сокращений. Второй метод подрыва бюрократии – введение временных нормативов работы с документами, которые не дают чиновнику времени организовать коррупционные схемы и имитировать деятельность.

Подорвать бюрократию может законодательство, отбирающее у нее право на нормотворчество – законы должны быть детальными, касающимися мельчайших частностей. Тогда у бюрократии будет меньше возможностей создавать противоестественные барьеры для предпринимательских, культурных, политических инициатив.

Главный принцип, гарантирующий нацию от мятежа номенклатуры, состоит в том, чтобы ни на минуту не давать чиновничьим структурам вздохнуть свободно – они должны постоянно реформироваться, а должностные лица как можно чаще перемещаться на другие ветви административной структуры. Политический класс всегда имеет возможности для третирования бюрократии; важно, чтобы он осознал необходимость делать это постоянно и энергично, спасая себя и свою нацию от ползучего мятежа.

Революция-преступление и революция-возрождение

Страшным потрясением для общества становится крах несостоятельного политического класса, исчезающего под натиском родившегося в недрах общества нового политического класса. Ничего нет проще, чем проклясть всякие революции для исследователя общественных процессов. Несложно и прославить революции особенно какого-нибудь одного типа или вообще единственную избранную революцию. Сложнее видеть в революции разные стороны, соотнося их с национальными интересами. Для нации важно не закоснеть в призрачной «стабильности», но одновременно сохранить свою «самость», наследие предков. Нации необходима безопасность как от бесперспективного застоя, останавливающего развитие, так и от великих потрясений, стирающих опыт национального строительства. Революция может быть для нации преступлением и подвигом одновременно, поскольку в социальном катаклизме всегда одновременно действуют как национальные, так и антинациональные силы.

Ханна Арендт указывает, что слово «революция» представляет собой буквальный латинский перевод *ανακύκλωσις* Полибия – метафорического термина, пришедшего из астрономии. В античности политические катаклизмы не означали ничего принципиально нового и считались только стадиями неизменного цикла мирового порядка. История казалась цикличной. Таким образом, «революция» (в смысле катаклизма) означала неотвратимость причинности, вечное возвращение, воплощение закона природы. «Революция», устанавливающая тиранию, могла считаться преступлением, но состоявшимся в рамках неизбежного развития демократии. В произволе тирана могла угадываться историческая необходимость, которая в конце концов сметет и самого тирана.

Возможность политических революций возникла с утверждением христианского мировоззрения. Явление Христа создало ту «особую точку» истории, которая уже не может быть ни началом, ни концом какого-то цикла. В то же время это событие долго считалось неотмирным, нарушившим ход земной истории лишь однажды, не будучи включенной в ее логику. Сама история тем самым не изменилась; изменились люди, призванные словом Христа. Тем не менее образец такого события мог стать в дальнейшем примером для оценки наиболее масштабных событий мирской жизни, которые также могли рассматриваться как «особая точка». Придавая земной истории божественные

черты, потрясатели социальных основ заведомо становились преступниками против религии.

В европейский обиход слово «революция» вошло, как и у древних греков, в качестве метафорической «кальки» с астрономического термина – термин «революция» получивший всеобщее распространение после знаменитого труда Николая Коперника «О вращении (revolutionibus) небесных сфер». В XVII в. древняя метафора возвращается в политику. Первое употребление относится к восстановлению монархии в Англии в 1660 г. после событий, которые ныне называют Английской революцией. В 1688 г. Славной революцией называли реставрацию королевской власти после изгнания Стюартов. Последующие революции, которые анализирует Ханна Арендт, – Французская и Американская изначально, мыслились как реставрация, восстановление прежнего порядка вещей, попорченного деспотизмом абсолютной монархии или злоупотреблением колониальных властей. Отцы-основатели американской Конституции обильно цитировали древних авторов, хотя античность никто восстанавливать не собирался. Ссылки на древних должны были свидетельствовать, что революция не вмешивается в божественный закон, происходит лишь возвращение на круги своя и не более того. Преступление, таким образом, скрывалось под консервативно-архаической риторикой.

Токвиль отмечал, что буржуазные революции привели к атомизации общества, разрушив привычную жизнь. В новом обществе «люди, уже не связанные друг с другом ни кастой, ни сословием, ни корпорацией, ни родом слишком склонны заботиться только о своих частных интересах и, всегда занятые только собою, погрязают в узком индивидуализме, который заглушает всякую общественную добродетель»⁶⁵³. Аристократический порядок в революции принесен в жертву идее свободы, новый порядок отнял у людей «общую им страсть» точно так же, как отнимает ее деспотизм⁶⁵⁴. При этом революция внесла в общество гораздо меньше нового, чем предполагают⁶⁵⁵. Повторяя диктатуру, либеральная демократия уравнивает всех перед государством.

Античное мировоззрение с его статичной «картиной мира» предполагало устойчивость и вечность различий между богатыми и бедными. Революции Нового времени отвергли эту картину и заменили ее иной – естественным мыслилось не различие, а равенство политических прав. Таким образом, разрыв традиции все-таки происходил, и преступление свершалось. И преступность революции связана, прежде всего, с уравнительностью.

Америка показала миру пример революционного избавления от бедности, хотя это «доказательство» положенных в основу американского общества принципов было продиктовано лишь кратким мигом – историческими обстоятельствами технического прогресса. Этот пример фатальным образом оказался доказательством «права на революцию». Полностью аналогичное «доказательство» приводится также и в пользу большевистской революции в России – оно не замечает обусловленность успехов нации совершенно иными процессами, нежели потрясения социокультурных основ общества.

Современное понимание революции свидетельствует о революции как о разрыве причинности, задуманной и осуществленной революционерами. В революциях конца XVIII в. родилась новая история. Это значит, что и в дальнейшем мы в состоянии поставить задачу нового рождения (возрождения) и принципиального изменения характера и ритма исторического процесса. Если понимание национальных задач революционным путем отнято у народа, то революционным путем оно может быть ему и возвращено.

Главным элементом революционной доктрины в современную эпоху стала идея свободы, которая направляла социальную активность на обретение нового исторического бытия. Именно идея политической свободы, рожденная в революциях, становилась

⁶⁵³ Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М., 1896., с. 14.

⁶⁵⁴ Там же. С. 15–16.

⁶⁵⁵ Там же. С. 36.

критерием подлинной революции. Причем, речь идет не об освобождении от угнетения (что означает просто бунт, требующий смягчения деспотии или тирании), а именно стремление к свободе как образу жизни – свободе от авторитета, традиции, обязательств. Это есть свобода по своему выбору признавать или отвергать церковь, авторитет власти, социальный контракт. Этот строй мысли требует принципиального отказа от монархии и утверждения республики.

Здесь мы видим принципиальное разночтение в понимании революции – с одной стороны, это может быть освобождение от тирании и возвращение на круги своя к свободе в монархии; с другой – разрыв традиции, свержение монархии и учреждение принципиально иных отношений между людьми в республике. В первом случае мы имеем дело с исторической закономерностью, во втором – с преступлением перед историческим законом. Во втором случае революция принципиально безбожна, ибо возводит свободу в новый абсолютизм, замещающий Бога. Политика отрывается от божественного и составляет обособленную сферу жизни, в которой божественному вообще не остается места. Соответственно меняется и система права – в нем уже нет нравственного закона, а есть принцип защиты свободы республиканского типа, которая получает автономию от традиционных институтов и традиционных форм авторитета.

С середины XIX в. Прудон ввел в оборот термин «перманентная революция», предполагая неразрывность революционного процесса. И это была самая честная декларация длящегося преступления, которое должно последовательно разрушить мир Традиции и открыть свободе все аспекты человеческого существования. Революция становилась тотальным республиканизмом.

Признание исторического права на такую концепцию состоялось в Русской революции, которая, как и в случае с Американской независимостью, показала частный пример, выданный как закон. Краткий миг исторической случайности, использующий всплеск технического прогресса, будто бы легитимировал революцию как рационально преследуемую цель. С другой стороны, отцы-основатели США и большевики полагали себя проводниками высшей исторической необходимости, никому неведомой, но открытой революционерами в миг прозрения. Разрыв истории был переосмыслен как исторический закон, преступление против нации для нигилистов стало подвигом.

Важно зафиксировать, что в обоих случаях – в русской и американской революциях – инициаторы потрясений вели речь не о чисто национальном опыте, который возможно неприемлем в других условиях, а именно об общечеловеческой значимости свершившихся революций. Революции предписывалось перешагивать через национальные границы, определяя нациям и государствам единую перспективу – слом Традиции.

Движущими силами революции как преступления никогда не были классы. Американскими проводниками революции были политические клубы и их завсегдатаи, поучавшие наслаждение от публичных дискуссий. Во французской революции роковую роль сыграли «люди пера», создавшие массив текстов с теоретическим оправданием преступления. В том же духе в России действовало марксистское подполье и либеральные газетчики. В дальнейшем эти люди превратились в народных трибунов, наслаждавшихся экзальтацией толпы и ее рукоплесканиями. Революционеры были фанатиками публичной свободы, не понимая внутреннего, духовного переживания свободы и ответственности.

Диалектики свободы и необходимости, на которой так настаивают марксисты, в действительности не оправдывает свободы, а унижает ее подчиненностью неколебимому процессу истории. За публичной свободой наступает политическая ответственность, даже если она в какой-то момент отвергнута как архаическая химера. Рано или поздно наступает ответственность за революцию-преступление. Но когда свобода и ответственность воссоединяются, социальное творчество начинает вновь совпадать с историческим законом. Тогда вспоминаются национальные интересы и ценность государства, а также вместе с ними и ценность личности.

Революция кончается реакцией. В Американской революции возник Билль о Правах, в котором главным была не публичная свобода, а гарантии защиты частного перед произвольным государственным вмешательством. Фальшивое и временное равенство в публичности разбилось о реальное неравенство в имуществе. Также и Робеспьер объявил одной из целей конституционного режима охрану индивидуумов от злоупотреблений публичной власти. Будучи защищенным, гражданин обретает свободу уже не в отделившейся от него публичности, а в частной жизни. И здесь готовится следующий шаг – возвращение всех элементов публичности, названных иными именами, к традиционным формам существования. От реакции на революцию политический режим переходит к реставрации.

Революция как преступление, чем бы оно ни кончалось, все-таки остается злом. Арендт отмечает, что свобода лучше сохранилась в тех странах, которым удалось избежать революции, а там, где революционеры были разгромлены, существует больше гражданских свобод, чем там, где повержена была контрреволюция и реставрация. Более того, пресечение революции-преступления дает простор для реализации революции-возрождения.

В двух этих ипостасях революции мы имеем дело с различием концептуального характера – с одной стороны, необходимость как свершающаяся высшая воля в значительные промежутки времени, с другой – публичная свобода как закон мятежа и краткие взрывы всеобщего произвола, всенародного преступления. Революция-возрождения призывает к ответственности революционеров-преступников.

Русская революция и русская нация

Либеральная концепция нации забывает в нации главное – традицию. Поэтому нация в России XIX в. мыслилась интеллигенцией точно так же, как в Европе, – в противостоянии монархии. Образованным слоям, очарованным идеями Просвещения, казалось, что социальное единство можно создать из народа, если устранить пресс давящего на него традиционного государства. И во многом эта идея была продуктивной до тех пор, пока у нее не было политических перспектив. Идеал служения народу и народного просвещения пробуждала в обществе национальные чувства, сопричастность к великой русской культуре. Именно таким образом национальное чувство русского народа, дремавшее в сказках и в бытовом «черном» православии, постепенно прояснялось как русская национальная идея.

Как только у российских просветителей забрезжила надежда на избавление от традиции не в культурном развитии (которое в действительности могло традицию только продолжить), а в практике государственного управления, в обиход вошли фантастические утопии и террор. Интеллигенция из национальной стала антинациональной. Начиная с революции 1905 г. идея политического единства трансформировалась в идею народного восстания против бесправия. Утопия гражданских и политических прав, будто бы возможных только без самодержавия, захватила умы, не имевшие достаточного опыта социального зла. И зло заполнило собой всю политику. Национальная идея оказалась идеей классовой ненависти, а желаемое единство обернулось гражданской войной.

Характерно, что мировая война вызвала взрыв патриотических чувств и новое пробуждение русской нации от спячки. Но образованные слои и опоенные злобой войны солдаты быстро сменили пристрастия – их в большей степени взволновала Февральская революция, предвещавшая политическую жизнь. Необходимость победы мыслилась как естественное, само собой разумеющееся приложение к рождению политической нации, празднующей день своего рождения вместе со смертью самодержавия. Но оказалось, что нация актом Февральской революции не родилась, а умерла. Точнее, была убита. Лозунги свободной демократической России были смяты свободой расправ и изуверств – без царя в России было все позволено.

Национальное единение ожидалось кадетами как приз за социальную революцию. Примерно ту же позицию высказывали и меньшевики, переплавившие марксистское учение в собственную теорию единения классов в демократическом государстве. Целью революции, и для тех, и для других была победа нации в войне. Но забытая Традиция напомнила о себе: ни победы, ни национального единства без нее не было. Права, свободы, гражданское равенство – все оказалось пустым звуком для одичавшего народа, лишенного вековой властной иерархии. Внутренний враг оказался ненавистнее внешнего. Ему дали имя «буржуй», и ненависть обрела теоретическое обоснование, доступное пролетарию.

При всей своей простоте и мобилизующей мощи, классовая теория революций не выдерживает никакой критики. Пока государство в силах подавлять бунт и пресекать крамолу, никаких революций быть не может. В русской истории это прекрасно продемонстрировали Екатерина II, Николай I, Александр III, П.А.Столыпин. Революция – это всегда следствие разложения власти, в России – распад дворянского сословия и расползание властной корпорации правящей династии. На это накладывается историческая случайность – общее ослабление государства в переходных условиях. В России это были условия войны, бурного экономического роста и становления политической нации. Без войны революция не имела никаких шансов даже против слабой власти.

Великий князь Алексей Михайлович в своих воспоминаниях 1931 года писал:

«Императорский строй мог бы существовать до сих пор, если бы «красная опасность» исчерпывалась такими любителями аплодисментов, как Толстой и Кропоткин, такими теоретиками как Ленин или Плеханов старыми психопатками вроде Брежнев-Брежневской или Фигнер и авантюристами типа Савинкова и Азефа. Как это бывает с каждой заразной болезнью, настоящая опасность революции заключалась в многочисленных переносчиках заразы мышах, крысах и насекомых Или же, выражаясь более литературно, следует признать что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков этой заразы. Трон Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей адвокатов, профессоров и др. общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян, полиция справилась бы с террористами. Но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах.

Как надо было поступить с теми великосветскими дамами, которые по целым дням ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи про царя и царицу? Как надо было поступить в отношении тех двух отпрысков стариннейшего рода князей Долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? Что надо было сделать с князем Трубецким ректором Московского университета, а который превратил это старейшее русское высшее учебное заведение в рассадник революционеров? Что надо было сделать с блестящим профессором Милюковым, который считал своим долгом порочить режим, разъезжая по заграницам, понижая там наш кредит и ратуя наших врагов? Что следовало сделать с графом Витте, возведенным Александром III из простых чиновников в министры, специальностью которого было снабжать газетных репортеров скандальными историями, дискредитировавшими царскую семью? Что нужно было делать с профессорами наших университетов, которые провозглашали с высоты своих кафедр, что Петр Великий родился и умер негодяем? Что следовало сделать с нашими газетами, которые встречали ликованиями наши неудачи на японском фронте? Как надо было поступить теми членами Государственной Думы, которые с радостными лицами слушали сплетни клеветников, клявшихся что между Царским Селом и ставкой Гинденбурга существовал беспроволочный телеграф? Что следовало сделать с теми командующими вверенных им

царем армии, которые интересовались нарастанием антимонархических стремлений в тылу армии более, чем победами над немцами на фронте? Как надо было поступить с теми ветеринарными врачами, которые, собравшись для обсуждения мер борьбы с эпизоотиями, внезапно вынесли резолюцию, требовавшую образования радикального кабинета?»⁶⁵⁶

Ответ на все эти вопросы один: меры национальной диктатуры. Невозможность установить соответствующий режим управления в 1916-1917 гг. объясняется исторической случайностью, усугубившей временную слабость власти: военные условия дали в руки подрывным силам средства германского Генерального Штаба. Германское командование сделало ставку на подрыв тыла противника, ввиду неизбежного поражения в весенней кампании 1917 года, в которой русская армия готова была перейти в наступление по всему фронту.

Слабость спецслужб не позволила вовремя выявить измену среди генералитета (с требованием отречения к Николаю II обратились все командующие фронтами, исключая генерала Гурко). Мятеж в Петрограде был бы подавлен в считанные дни, если бы изменники не саботировали в течение длительного времени приказ о направлении в столицу гвардейской кавалерии.

Дополнительным фактором являлся раздор в династии, который приводил к отказу от служения Отечеству, к заключению браков, нарушающих династические законы, к праздности – среди Романовых было множество ценителей поэзии, музыки, технических новшеств, меценатов, но ни одного серьезного государственного деятеля, кроме Николая II. К роковым годам иссяк воинский дух династии, в ней распространились либеральные взгляды и личная неприязнь между группами и кланами. Следствием стала такая случайность, как отречение Михаила Александровича в пользу Учредительного собрания. Империя потеряла хозяина – точно так же, как потерял хозяина СССР в 1991 году. Не найдя в себе силы на диктатуру, страна получила анархию и тиранию. Революция стала преступлением.

Не только народ склонялся к бунту, но и Временное правительство намеревалось развязать руки для внутренних расправ – именно этим было обусловлено воззвание к народам мира о защите революции, установлении демократического мира и отказа от всех аннексий и контрибуций. Позднее все это было повторено большевиками, которые готовы были отдать полстраны внешнему противнику для возможности вести внутреннюю войну.

До начала 1917 г. в рабочем движении России классовая идея не доминировала над национальной, рабочие выступали против забастовок на военных заводах и требовали отпора прусскому милитаризму всеми силами общества. Путиловские рабочие были готовы работать для фронта сверхурочно, рабочие петроградского завода Лангенциппен объявляли о готовности работать сколько угодно для оборонительной войны, Петроградский совет осудил организацию братания с немецкими солдатами на западном фронте⁶⁵⁷. Но к концу лета 1917 г. язык национального единства остался за партиями либерального толка, а язык классовой борьбы – за большевиками. Это отразило распад социальной иерархии, начавшийся с ареста Государя. С этого момента общество фатально расчленилось, перемалывая любую иерархию. Что делало невозможным управление страной и ведение войны. И то, и другое было продолжено большевиками только средствами самого жестокого и массового террора.

Революционное оборончество, меньшевистские призывы к защите Отечества, риторика национального единения для отпора врагу, призывы к классовому согласию в демократическом государстве – все это потонуло в жажде бунта против собственной страны. Национальный вопрос был отодвинут в сторону и на авансцену вышел классовый

⁶⁵⁶ Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. М, 1999, с. 190-191.

⁶⁵⁷ О борьбе национальной и классовой идее в русской революции см. *Смит С.* Класс, нация и общественная политика в русской революции 1917 года Вестник Омского университета, 1996. Вып. 2, С. 57–66.

антагонизм, который только и мог дать простор насилию, физическому истреблению любых ограничителей свободы-произвола, кулачного права и равенства в расстрельных списках.

Российское общество распалось, но не распалось до конца – всюду оставались протогосударственные структуры, где патриотическая риторика все же не противостояла классовой. Под спудом революции-преступления существовали закономерности революции-возрождения. Именно поэтому часть народа большевикам удалось вернуть на фронт, выкликнув: «Социалистическое отечество в опасности!» Большевицкая пропаганда также широко использовала домысел о предательстве имущественных слоев, будто бы вступивших в сговор с немцами ради наживы. Нация большевиков была нацией «трудового народа», в которой нет места «буржуям». Таким образом, классовая и национальная идея переплелись, создав образ врага в лице имущих слоев. В дальнейшем национальная идея в сталинской политике полностью преодолела классовый подход, завершив тем самым революцию-преступление и выхолостив марксистские догмы до ритуальных заклинаний, за которыми не было уже никакой действительности.

Совершенно иная картина откроется в цепи тех же событий, если проследить развитие Русской революцией, мысленно убирая из нее признаки революции-преступления. Тогда взору откроется Великая русская революция – революция-возрождение, в которой величайшая трагедия сопутствовала величайшим прозрениям и национальному прорыву. Русские, как говорил Иван Александрович Ильин, получили в XX в. огромный опыт зла⁶⁵⁸. Этот опыт не мог пройти даром, не мог не отложиться в самосознании нации. Только этим опытом, который подвиг нацию к противостоянию мировому злу, можно объяснить победу в Великой Отечественной войне. Именно Победа стала достоянием, наградой нации, свершившей революцию-возрождение. Одновременно коммунистическая идеология и советская бюрократия стали тяжким бременем, наказанием нации за революцию-преступление. Социализм как политический строй в России не состоялся – состоялся надрывающий жилы народа строй тоталитарной бюрократии, которая присвоила себе победы русской нации в XX в.

Революция возрождения раскрепостила огромный потенциал русской нации, сняв с нее прежние бюрократические ограничения, слишком медленно устранявшиеся реформами второй половины XIX в. В начале XX в. национальная революция уперлась в стену, образованную архаической системой управления. Грех политической элиты России состоит в том, что она не смогла создать таких государственных форм, которые были бы адекватны потребностям развития, выдвинуть таких государственных деятелей, которые смогли бы освоить и направить культурный и производительный бум. Великая русская революция ремесленников, революция мастеровых людей требовала больше, чем 20% годового роста экономики. Этот сценарий был сорван тем, что русская интеллигенция запуталась в своих нравственных исканиях, управленческая элита не нашла сил, чтобы стать национальной, а крестьянство прониклось идеей бунта, желая не получить землю, а непременно взять ее силой.

Сброс старой политической системы означал, что импульс развития во многом был потрачен на поиск новых форм самоорганизации общества, т.е. израсходован не в том направлении, в котором импульс развития принес бы максимальные результаты. Революция-преступление затормозила революцию-возрождение. Но и того, что не было разбазарено в классовой борьбе, хватило, чтобы провести индустриализацию, победить фашизм, прорваться в космос и освоить атомную энергию.

К концу XX в. интеллектуальный компонент России превысил половину интеллекта человечества. И это привело к разворачиванию на исходе века Второй русской революции, которая, в отличие от революции ремесленников, теперь носит характер

⁶⁵⁸ В.Аверьянов в книге «Природа русской экспансии» (М., 2003) применил к русской Смуте иной термин – мутация, что дало возможность говорить об укреплении национального организма и приспособлении его к новым условиям бытия.

интеллектуальной революции⁶⁵⁹. Неразвитые властные институты вновь мешали развитию нации. Если в начале века масса ремесленников не находила соответствующего интеллектуального оформления, то в конце века мощно продвинувшийся в своем развитии интеллект нации не имел опоры в массе, которая проседала под тяжестью интеллекта.

Революция мастеровых, продолжавшаяся с 1905 г. около 30 лет, породила в России новую элиту, которая воспроизвела старую в ее худших чертах. Новая бюрократическая элита стала инструментом расплаты с революционерами, мечтавшими продолжения преступления и распространения его на весь мир – новая мировая война должна была стать концом русской нации. Репрессии подавили этот зловредный энтузиазм, прихватив бюрократическим арканом еще и массу безвинных жертв. Удержавшись в национальных границах, Русская революция, тем не менее, преобразила мир, в котором европейская история уже не может считаться главным содержанием мирового исторического процесса. Это была национальная русская революция, потрясая своим величием весь мир. Все, что было в этой революции от Запада, коммунизма, либерализма, нанесло ущерб стране, а то, что было от русской души, воли и интеллекта двинуло страну вперед. И сегодняшняя Русская революция, начавшаяся снова с преступления против нации, с революции-предательства, революции-преступления также имеет национальный характер и перемалывает преступников, как и в начале XX в. Как и в революции начала века, нашими врагами остаются бездарная и коррумпированная бюрократия, лживая либеральная публика, тупая безграмотность, помноженная на импортные сказки о «светлом будущем».

Русская революция проявит свои черты революции-возрождения, когда будет изжит хищнический либеральный романтизм интеллигенции, вновь запутавшейся в собственных утопиях и действующей против собственных интересов. Ее уже остановила старая бюрократия, вновь занявшая ключевые посты в государстве, но к интеллектуалам все еще не пришло понимание собственной миссии в русской революции. На этот раз путаница угрожает самим основам существования нации, ибо в новой русской революции главный ресурс возрождения – интеллект.

Вопрос состоит в том, сможет ли русский интеллект, рассеянный по всему миру, собраться в политическую силу и политически убить простонародную мечту о «жирном царстве», которой в равной мере захвачены и скоробогатеи, и нищие работники бюджетной сферы, и пенсионеры, и армейские офицеры. Это будет возможно, если угроза восстания нищеты вынудит умерить хищнические аппетиты олигархических кругов, а угроза распада государства востребует иные механизмы управления. Тогда в среде управленцев и предпринимателей наметятся национальные силы, вместе с которыми русский интеллект создаст современную русскую цивилизацию.

Русская революция XX в пресекла посягательства на национальную безопасность революции-преступления, которую иноцивилизационные группировки нигилистов и интернационалистов готовились сделать последним актом русской истории. Революция возрождения оказалась консервативной контрреформой, преобразовав бунт и нигилизм народа в пафос индустриального строительства и научного творчества, в прочную основу национальной безопасности. И революция интеллекта, обрушившая советский строй, также готова к преображению, к тому, чтобы из разрушителя нации стать ее строителем. Для этого необходим реакционный ответ на революцию-преступление и стремительный возврат к Традиции.

Возможность войны

Проблема обеспечения национальной безопасности прямо зависит от национального проекта, который может быть связан с вполне прогнозируемыми угрозами, прежде всего, угрозой войны. Вопрос «будет ли война?» всегда является для общества насущным, и ответ на него формирует отношение к армии и воинской службе, мотивирует

⁶⁵⁹ Впервые эту мысль высказал С.П.Пыхтин.

парламентариев на утверждение тех или иных сумм военного бюджета, утверждает молодых людей в решении посвятить себя воинской службе или найти иные сферы применения.

В XXI в. нас ждут как локальные, так и, вполне возможно, масштабные войны. Победить в них можно, только обеспечив определенное состояние общества. А это значит, что требуется кардинальный пересмотр всей системы ценностей, положенных в основу современного российского законодательства. И здесь имеется ряд проблем, решение которых составляет жизненно важный интерес всех, кто считает Россию бесценным сокровищем и стремится сохранить его для своих потомков.

Для будущего России и всего русского мира важно понимание того, что война не просто будет – война уже идет. Точнее, война не прекращалась никогда. Просто мы иногда не знали о ней, иногда старались ее не замечать. И в этом нашем неведении – причина резкого ослабления жизнеспособности российского общества. Оно и теперь слабо представляет себе возможность не только масштабной войны, но и малых войн, ведущихся в мире беспрерывно.

Перспектива выживания русского мира, русско-православной цивилизации связана с воссоединительным процессом, который не может идти безболезненно. В «спор славян между собою» непременно постараются вмешаться (и вмешиваются) те интернациональные силы, которые уже поставили под свой контроль большую часть советского наследия и стремятся теперь окончательно закрепить за собой права на ресурсный потенциал России. Они готовы загребать жар чужими руками, провоцируя внутренние конфликты на русских землях – этнические, религиозные, внутриэлитные, экономические и т.д. Это значит, что опасность войн, подобных Чеченской, ждет нас на каждом шагу воссоединения русского мира. В том национальном проекте, который обеспечит выживание России, не будет мира и согласия. Если, преследуя цели национальной безопасности, мы откажемся от конфронтации и будем исключать для себя возможность войны, это будет означать самоубийство нации, а сама концепция национальной безопасности превратится в концепцию капитуляции.

Такой сценарий нам знаком по советской эпохе, сочетавшей миротворческую риторику с огромными военными затратами. Мир не был обманут этой риторикой, но собственное население в полной мере. В течение многих лет борьба за мир формировала в СССР такой тип гражданского самосознания, которое отказывалось признавать реальность войны. «Лишь бы не было войны» – лозунг, воспитавший поколения конца XX в. В результате воинский дух настолько ослаб, что политические колебания конца 80-х годов вызвали к жизни яростную антиармейскую пропаганду, поддержанную наиболее активной частью общества. И отчасти критика была справедливой, потому что пацифистский дух проник в советскую армию и разложил ее, превратив в дивизии строителей, картофельные батальоны и взводы садовников во главе с армейскими «хозяйственниками», заменившими военных вождей.

Внутренние мятежи, подтачивающие жизнеспособность России, создают потенциальную опасность поражения России в неизбежной и уже распланированной ведущими интеллектуалами войне. Между тем, ученый мир пытается жить исходя из того, что война невозможна, в то время, как очевидность колоссальных военных расходов и беспрерывная активность военных действий, вспыхивающих то и дело в «горячих точках» планеты, говорят об обратном.

После дискуссий вокруг известной статьи С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций?» трудно сомневаться в том, что основные конфликты современности будут каким-то образом связаны с цивилизационными различиями – именно они становятся индентификационными признаками политических и военных союзов. Атлантическое самосознание представляет ситуацию так, что западная цивилизация будет вынуждена противостоять всему остальному миру. Отказавшись от надежд на триумфальное шествие либерализма, оно теперь полагает, что не несет ответственности за все безобразия (в том

числе, за российский марксизм прошлого века и российский либеральный радикализм века нынешнего). Цивилизационная аргументация становится более удобной и дает возможность менять геополитических союзников в соответствии с новыми принципами.

Остроту назревающим конфликтам придает осознание элитными слоями незападных сообществ того факта, что Запад уже не догнать, двигаясь по его пути. Поэтому интерес к Западу как поставщику политических стратегий, культурных и материальных стандартов утрачивается, происходит девестернизация элит, обращение их к историческим корням. Запад все чаще наталкивается на решительное противодействие попыткам внедрить свои ценности (демократия, либерализм) в качестве общечеловеческих. Эти ценности усваиваются некоторыми слоями общества других цивилизаций лишь поверхностно, чем еще больше дискредитируются.

Современные конфликты зарождаются в пространствах между цивилизационными платформами, где сталкиваются, пытаются отождествиться с какой-либо из цивилизаций, народы, «зависающие» между ними. Но их успехи в процессе движения в ту или иную цивилизацию могут оказаться весьма относительными и вовсе не приниматься в качестве успехов в глазах жителей этногеографических платформ – периферии приходится бороться не только с иноцивилизационной периферией, но и с собственной материнской цивилизацией. Кроме того, внутри каждой цивилизации также идет напряженная борьба за гегемонию, самоутверждение в субцивилизационных раздорах (Россия-Украина, Иран-Ирак, Америка-Европа), борьба за идеологический и религиозный символический капитал с привлечением в качестве арбитра других цивилизаций.

Россия, безусловно, потерпит поражение в грядущей войне, если не обеспечит крутого поворота политического курса. Такой поворот означает концентрацию в руках государства экономического и организационного потенциала, способного несколько лет (10–15, но не более!) оснастить армию тем вооружением, которое пока единичными образцами изумляет зарубежных экспертов. Это возможно только, если отказаться от государственного обслуживания неких неведомо откуда взявшихся собственников, воспользовавшихся смутой для захвата крупнейших российских предприятий и оказавшихся плохими менеджерами. Иными словами, без сегодняшней масштабной национализации (и даже реквизиции) того, что составляло мощь советской экономической системы, наша чахлая во всех отношениях армия завтра будет разбита в первом же серьезном сражении. Мы расплатимся за поклонение золотому тельцу и олигархическим кумирам жизнями наших детей (как это уже было в Чечне), территориями, своим благополучием, наконец, которого ни в коем случае не может обеспечить нынешняя экономическая система.

Тенденции мирового развития и состояние России требуют быстрых и жестких мер от тех, кто намеревается сохранить нашу страну и русскую культуру как живое явление истории, а не музейный экспонат. Реальность локальных войн, неотвратимость региональных конфликтов, опасность глобальной войны обязывают нас думать не о правах и свободах, не об удовлетворении «все более растущих потребностей» и социальной справедливости, а о выживании русского мира, его культурного и антропологического своеобразия. Мы должны мысленным взором увидеть уходящую в бесконечность цепь наших русских потомков, живущих на русской земле хозяевами, и понять те политические задачи, которые могут обеспечить такую перспективу. Это значит, что русский мир стоит перед выбором между небытием и глубокой переоценкой ценностей. Последнее предполагает отказ от чуждых русским интересам либеральных принципов (как в советском, так и в «демократическом» вариантах) и обращение к традиционным ценностям православной цивилизации, примененным к задачам сегодняшнего дня.

Хочешь мира – готовься к войне. Эта древняя формула, из которой нельзя выбросить ни первой, ни второй части. Беззащитное миротворчество столь же губительно, как и милитаризация ради агрессии. В России миролюбивое отношение к изменникам

зашло так далеко, что уже констатирована неспособность нашей страны вести войну даже на региональном уровне. Мы с большим трудом и крайне неэффективно ведем и единственную пока локальную войну в Чечне. А это значит, что затраты на оборону становятся бессмысленными – финансировать остатки советской армии, не способной к защите страны, просто глупо. Стыдливое прикрывание глаз на предательство военной верхушки СССР в 1991 г. (включая некоторых действующих в политике до сего дня командующих округами), на генеральские дачи, построенные на деньги из разворованных военных бюджетов и гонорары за прямое предательство национальных интересов, на паразитический слой ельцинских генералов, вознесенных не за верность Отечеству и профессионализм, а за охрану тела президента, на очевидную нелепость военной реформы может закончиться гибелью страны в ближайшие полтора-два десятилетия.

Залог победы России в войне – это христолюбивое воинство: сто миллионов обученных военному делу граждан, десятиmillionная национальная гвардия и миллионная мобильная армия. Победа – это готовые к применению в любой момент ядерные вооружения, от тактических до стратегических (и восстановленный потенциал ракет средней дальности, предательски уничтоженных перестройщиками). Победа – это воплощенные в серийном производстве идеи наших ученых и инженеров. Победа – это Русская идея, зажигающая сердца горячей любовью к Родине.

Угроза глобального тоталитаризма

Гегель отмечал значение внешнего конфликта для государства-нации, которое позднее отрицалось марксистами: «В мирное время гражданская жизнь расширяется, все сферы утверждаются в своем существовании, и в конце концов люди погрязают в болоте повседневности; их частные особенности становятся все тверже и окостеневают. Между тем для здоровья необходимо единство тела, и, если части его затвердевают внутри себя, наступает смерть»⁶⁶⁰. Отрицание нации прямым следствием имеет отрицание войны – такой войны, которая отстаивает суверенитет. Напротив, разрушение суверенитета (а вместе с ним и нации) связано с требованием войны, которую большевики призывали лозунгом превращения империалистической войны в гражданскую.

Жан Боден (в отличие от Макиавелли) считал войны вредными, а профессиональных военных – главными источниками этих войн. Однако и он считал, что выбор профессиональной армии – это выбор меньшего из двух зол, если другим злом считать отказ от армии вообще: «Пусть ратным делом занимаются военные, а остальные утратят право носить оружие. Иначе земледельцы и ремесленники будут предаваться разбою, что они нынче и делают, забросив поля и мастерские. Они не обладают никаким боевым опытом и после первого же столкновения с неприятелем изменяют знамени, разбегаются, приводя в замешательство всю армию. Что бы там не утверждал Т.Мор в своем сочинении, этих ремесленников и вскормленных нуждой домоседов умудренные полководцы древности считали совершенно непригодными к войне». И это было верно для того времени. С течением истории, правда, истинное положение становилось ложным.

В заявлении Бодена все же осталась определенная доля истины. Используя его доводы, мы можем сказать: как ни противно гражданскому обществу и чиновному люду существование кадровой армии, живущей своей внутренней жизнью и пугающей своей дисциплиной и вооруженностью менее дисциплинированного и невооруженного чиновника, такая армия необходима, чтобы защитить государственный суверенитет. И в этом смысле существование кадровой армии – очевидное условие обеспечения национальной безопасности.

Следует добавить к этому, что доказательство необходимости армии не требуется. Но предметом беспокойства служб национальной безопасности является состояние армии, ее профессионализм. Составлена ли она из тех, кто обладает соответствующими навыками

⁶⁶⁰ Гегель, Цит. пр. С. 360.

и боевым опытом? Достаточно ли она организована и сплочена для ведения войны с потенциальным противником? Достаточно ли она самостоятельна в решениях тактических задач и достаточно ли подчинена политическому руководству страны?

Эти вопросы, затрагивающие судьбу государственности как таковой, тесно связаны с современной ситуацией, в которой лишь локальные войны могут вестись профессионалами, чья жизнь полностью связана с армией. Масштабная война (региональная или глобальная) остается возможной, а потому требует подготовки к участию в ней и тех, кто обычно лишен права носить оружие. Речь идет о всеобщей воинской обязанности, которая в современной России подвергается всесторонним нападкам и называется «призывным рабством».

С тех пор, как на арену мировой истории выступили нации, война приобрела народный характер. Войны России были преимущественно Отечественными, и именно это обеспечивало победу в противоборстве самым страшным нашествиям в истории. В этом смысле идеи евразийцев 30-х годов XX в. отражали состояние международных отношений и содержали в себе рекомендации по изменению военной политики, которые важны и для сегодняшних задач по обеспечению национальной безопасности России.

Н.С.Трубецкой, описывая свой государственный идеал – идеократическое государство, говорил о принципах реформирования армии: «Самый дух демократического государства по существу антимилитаристичен, поэтому политизация армии в демократическом государстве способна либо разложить армию, привив ей антимилитаристический дух, либо, наоборот, укрепить милитаристический дух армии, настроить ее против существующего государственного порядка <...> При идеократическом режиме государство не беспринципно, а исповедует определенное миросозерцание, при этом миросозерцание постоянное, не зависящее от исхода выборов или каких бы то ни было внешних событий или обстоятельств. Естественно поэтому, что это государственное мировоззрение не только может, но и непременно даже должно быть привито армии, являющейся опорой и органом государства. Поскольку же носителем этого мировоззрения является государственно-идеологическая организация, прививка государственного мировоззрения должна выразиться в усиленной вербовке членов названной организации в армии, и прежде всего в среде командного состава»⁶⁶¹.

Трубецкой очерчивает главные направления, по которым будет реформироваться армия: «Самые характерные особенности современной постановки военного дела и весь облик последней (мировой) войны являются следствиями плутократического и плутократически-демократического строя общества и государства — что особенно ясно, если сопоставить современное военное дело с военным делом эпохи аристократического строя. Общественный и государственный строй (т.е. согласно нашему учению, определенный *тип отбора правящего слоя*) определяет собой не только роль и положение армии в государстве, но и всю постановку военного дела, тактику, стратегию, наконец, даже самые задачи войны». В данную военную доктрину входит и выпячивание роли пропаганды: «Важная роль пропаганды (особенно в армии и в тылу противника) уже сейчас может быть указана как одна из черт идеократической военной тактики»⁶⁶².

Если первый необходимый компонент – политизация и идеологизация армии был усвоен коммунистическим руководством СССР, то пропагандистский компонент всерьез не был учтен. Что касается послевоенной советской армии, то идеократичность свелась к лозунгу партийного руководства армией, которое было в действительности полностью выхолощено, а бездейственная форма пропаганды пришла в явное противоречие с реальным состоянием боеготовности войск.

Идеологизация армии была в советский период ограничена, поскольку становилась опасной для государства. Без аристократии и венчающей ее верховной власти, обособленные от политической системы военный организм может поглотить страну,

⁶⁶¹ Трубецкой Н.С. Идеократия и армия. <http://evraz-info.narod.ru/59.htm>

⁶⁶² Там же.

предъявив силовой аргумент. Сообразно этой опасности государству приходится создавать сверхмощный полицейский аппарат. Опасна идеологизация армии и в условиях либеральной демократии, когда армия становится игрушкой в руках партийных пропагандистов⁶⁶³. Таким образом, армия может служить стране как носитель определенной доктрины только в условиях иерархизированного общества и отсутствия свободной игры политических сил. Именно этот ресурс используется правыми диктатурами и показал свою мощь в гитлеровской Германии.

В советский период роль ядерного оружия была быстро осознана как фактор сдерживания, а не ведения наступательных операций. В связи с этим эпоха баланса ядерных вооружений была и эпохой поиска новых типов войн. СССР, не научившись военной пропаганде в условиях почти состоявшегося «блицкрига» фашистской Германии, и в новых условиях не увидел неизбежности перехода проблемы отстаивания суверенитета в информационно-пропагандистскую сферу. Это слепота была связана также и с интересами правящей партии, стремящейся не выпустить армию из-под своего контроля.

В советских военных академиях изучалась концепция Б.Лиддел-Гарта, предложившего стратегию «непрямого действия», которая основывалась на том, что в условиях противодействия противника наиболее простой и прямой путь к достижению цели никогда не бывает самым эффективным, так как противник обязательно примет меры к блокированию этого пути. Следовательно, кратчайшим путем к цели должно стать «непрямое действие», неожиданное и непредсказуемое. Но эта концепция так и не нашла своего применения и не отразилась на пересмотре военной доктрины, в которой информационная война должна была бы задействовать огромное поле для разработки стратегических новинок.

До 2003 года в российской военной доктрине по этому поводу мы имели лишь одно более или менее внятное упоминание: «Возможность достижения военно-политических целей непрямыми, неконтактными действиями предопределяет особую опасность современных войн и вооруженных конфликтов для народов и государств, для сохранения международной стабильности и мира, обуславливает жизненную необходимость принятия исчерпывающих мер для их предотвращения, мирного урегулирования противоречий на ранних стадиях их возникновения и развития».

Очевидно, здесь высказана негативная оценка не прямых действий и сделан миротворческий акцент при отсутствии собственно военного подхода к непрямым действиям, как к современному инструменту борьбы с потенциальным или реальным противником. При этом России отводится лишь страдательная роль под воздействием целого ряда «непрямых» действий против ее национальной безопасности:

- различные действия одних государств, их коалиций, а также отдельных негосударственных группировок, направленные на нарушение территориальной целостности других государств, в том числе с использованием межэтнических, межконфессиональных и других внутренних противоречий, на удовлетворение территориальных, политических и экономических претензий со ссылками в отдельных случаях на отсутствие четкого договорно-правового оформления межгосударственных границ;

- действия одних стран, направленные на подрыв и сдерживание интеграционных процессов в других странах, на ослабление связей с другими государствами в районах традиционного сотрудничества;

- нарушения прав и свобод национальных меньшинств, проживающих в сопредельных государствах, приводящие к нарастанию напряженности и неуправляемым миграционным процессам;

- политика «двойных стандартов»;

⁶⁶³ Меньшиков М.О. Письма к близким // Новое время, 7 мая, 1906.

– действия одних стран, направленные на вытеснение других с международных рынков сбыта промышленной продукции и современных технологий, из международных финансовых и политико-экономических структур⁶⁶⁴.

Недостатки военной доктрины тяжело сказываются на стратегическом планировании систем национальной безопасности России. Неверно выбранная стратегия в ближайшие годы может привести к полному разрыву между нацией и армией. Альтернативой такому положению дел может быть только всеобщая воинская учеба, которая одновременно является и формой пропаганды национального единства и значимости военного дела для каждого дееспособного гражданина, и формой всеобщей воинской обязанности. Разделенность армии на «профессионалов» и подневольно служащих по призыву порождает ряд проблем, делающих срочную службу опасной для общества и государства.

Необходимо отметить, что военная среда постоянно отвергала совершенно чуждую ей идею классовой основы войн. В советский период армия все-таки оставалась русской, а политические комиссары всегда были презираемы строевыми офицерами. Советская военная наука формализовала классовый подход, сводя его к преамбулам, не затрагивающим сущность теоретических разработок, решавших такие проблемы, как определение источников и причин возникновения войн, их сущности и соотношения с политикой, классификации, закономерности хода и исхода войн, подготовки к их ведению. Но вступление России в постсоветский период разрушило даже эту систему, сохранив лишь вышеобозначенные «преамбулы», выписанные по образцам мирной политической линии КПСС на международной арене.

Новые параметры, требующие учета в системе национальной безопасности, обозначились к концу XX в.:

1. Кардинальные геополитические изменения и интенсивное развитие процессов глобализации, трансформирующих систему международных отношений.

2. Рост вероятности непредсказуемых последствий военных конфликтов не только для воюющих государств, но и для всей земной цивилизации из-за интенсивного повышения возможностей систем вооружения и военной техники (следствие – сближение национальной и международной безопасности).

3. Новые виды угроз, рассеянных в пространстве и времени и глобальных по последствиям (международный терроризм).

В связи с указанными факторами весьма примечательна реакция на них США, разработка ведущими американскими интеллектуалами доктрины национальных интересов. Посмотрим, как воплощается представление о национальных интересах в американской политологии на примере одной из работ Кондолизы Райс, занявшей важный государственный пост в администрации президента США Дж. Буша-младшего⁶⁶⁵.

Райс отмечает, что Соединенным Штатам оказалось крайне трудно определить свои основные национальные интересы в отсутствие фактора советской мощи – исчез фактор опасности, определяющий миссию США в Западном мире. Именно поэтому обострилась проблема выбора между различными вариантами экономического, политического и социального развития. Не рассматривая варианты такого выбора, Райс пытается акцентировать внимание на внешнеполитических задачах, полагая важным для плюралистического демократического общества ясно сформулировать национальные интересы, которые она противопоставляет задачам изоляционистов и сторонников приоритетов местных интересов⁶⁶⁶. Таким образом, внешнеполитические приоритеты

⁶⁶⁴ Чугунов В.С. Угрозы европейской безопасности: существующие и потенциальные// Евразийский вестник 2002. №21.

⁶⁶⁵ Райс К. Во имя национальных интересов. Pro at Contra, 2000, весна.

⁶⁶⁶ Там же. С. 104.

становятся своеобразным ответом также и на обострение политической конкуренции внутри страны – ответом вполне претендующим на своеобразный мессианизм.

Райс перечисляет задачи, которые во внешней политике отражают национальные интересы США:

- гарантировать, чтобы американские вооружённые силы были способны предотвращать войну, демонстрировать силу, а если сдерживание посредством устрашения не даёт результата, то и применять её в интересах страны;
- поощрять экономический рост и политическую открытость, распространяя блага свободной торговли и устойчивой международной валютной системы на все страны, приверженные этим принципам, в том числе и страны Западного полушария, роль которых как жизненно важной сферы национальных интересов США слишком часто недооценивалась;
- возродить прочные и тесные отношения с союзниками, которые разделяют американские ценности и потому способны разделить и бремя усилий ради мира, процветания и свободы;
- сделать особый упор на развитие многоплановых отношений с крупными державами, особенно с Россией и Китаем, которые могут и будут определять характер мировой политической системы;
- решительно нейтрализовать угрозу со стороны государств-«изгоев» и враждебно настроенных держав, которые наращивают потенциал террористической деятельности и производства оружия массового уничтожения⁶⁶⁷.

В связи с четко высказанными ориентирами возникает вопрос о ценностных основах таким образом понятых национальных интересов. Не оказывается ли, что в данном случае налицо подмена национального интернациональным?

Райс видит эту опасность и предостерегает от подмены «национального интереса» «гуманитарными интересами» или интересами «международного сообщества»⁶⁶⁸. Сохранение мессианского духа и эгоистического интереса одновременно оказывается возможным, если сказать: «если Америка действует, руководствуясь своими национальными интересами, то это само по себе способствует укреплению свободы, рыночной экономики и мира во всем мире»⁶⁶⁹. Райс также пытается снять противоречивые подходы, основанные на факторе силы и на факторе ценностей. Она говорит, что американские ценности универсальны (хотя перечисляются только свобода слова, совести, парламентаризм), а потому их торжество возможно только, если международный баланс сил складывается в пользу государств, отстаивающих эти ценности⁶⁷⁰.

Если не вдаваться в детали и не ограничиваться поверхностными идеями всеобщего мира и согласия, можно без труда увидеть противоречие изложенной концепции национальных интересов США национальным интересам России. Фактически снятие этого противоречия означало бы утрату Россией собственной национальной и государственной традиции, а в перспективе – и суверенитета. Отчасти такое «снятие» уже состоялось, и суверенитет России в последние годы поставлен под сомнение. Именно поэтому столько разговоров ведется вокруг обеспечения национальной безопасности в научных, политических и военных кругах нашей страны.

Российская программа перевооружения, обнародованная в начале 2002 года, прямо совпадает с идеей Райс о целесообразности «перескакивать» через целое поколение технологий, чтобы прогресс шел не шаг за шагом, а крупными рывками⁶⁷¹. Соответственно, Россия вынуждена в течение десятилетия справляться с неизбежными локальными конфликтами морально и физически устаревшим оружием и сворачивать

⁶⁶⁷ Там же. С. 104–105.

⁶⁶⁸ Там же. С. 105.

⁶⁶⁹ Там же. С. 105.

⁶⁷⁰ Там же. С. 107.

⁶⁷¹ Там же. С. 109.

серийное производство в предвкушении сверхновых образцов техники. Если США могут себе позволить роскошь мечтать о сверхновом оружии (и пугать других этим блефом), обходясь прежними системами вооружений, то для России такие мечты крайне опасны.

Военная доктрина и в целом доктрина национальной безопасности России может либо смириться со статусом подраздела некоей глобальной концепции безопасности (диктуемой США и их союзниками), либо, сохраняя внешнюю политкорректность, обособиться до такой степени, что перестать быть публичной и уйти под покров военной тайны. Очевидно, персонификация угроз в открыто публикуемой доктрине может только осложнить положение – подтолкнуть потенциального противника (государство или международную террористическую организацию) к мерам противодействия.

Первый вариант, очевидно, требует отказа и от суверенитета, и от национальной самобытности, второй пока выглядит для действующей политической системы слишком экстравагантно и радикально. В связи с этим остается лишь некая полумера – сочетание открытых и закрытых разделов военной доктрины (примерно, как закрыты от публики бюджетные статьи на обеспечение обороны). Общая открытая часть должна описывать лишь некие принципиальные ориентиры, исходя из принципа «у нас нет постоянных врагов, есть только постоянные интересы» (которые, к слову, мало отличаются от интересов т.н. «мирового сообщества»). В закрытой части военной доктрины уже должны быть обозначены враги и друзья, которые, конечно, не могут меняться слишком быстро, и каждое соответствующее изменение должно быть тщательно взвешено, ибо оно влияет и на структуру вооруженных сил, и на распределение военной мощи в пространстве.

Помимо угрозы войны, ведущейся непрямыми средствами мировыми державами, опасность для России все больше представляют локальные этнические и этнорелигиозные войны, которые вызревают не только под воздействием не прямых средств создания «управляемого хаоса», но и в результате процессов глобализации – как альтернатива и средство противодействия им.

Новые типы войн связаны с целым рядом особенностей:

1. Субъектом войны выступает не государство, а этнические, этнорелигиозные, политические, криминальные организации и движения местного или транснационального характера. Именно эти субъекты мировой политики присваивают некоторые функции государства, вынуждая его относиться к данным субъектам, как к определенной форме государственного образования. В то же время дробление таких субъектов на конкурирующие и враждующие группировки не дает возможности государству вести эффективные переговоры с противостоящей ему стороной. Подталкивание к безнадежным переговорам с мятежниками, сепаратистами и террористами становится одним из легальных, с точки зрения мирового сообщества и международных организаций, методов не прямых действий против суверенного государства.

2. Целью «неклассической» войны становится не суверенитет над территорией (захват или удержание территории и проживающего на ней населения), а подрыв государственности как таковой с перспективой сначала удовлетворить частные интересы этнических или криминальных группировок, затем перекроить политическую карту целого региона и только тогда (в очень отдаленной и неясной перспективе) приступить к созданию основ государственности (далеко зашедший «проект» такого рода – независимая Ичкерия). При этом объектом военного насилия становится не государство, а те или иные этнические группы, олицетворяющие собой это государство (государствообразующие народы), а ресурсы для ведения войны приобретаются чаще всего криминальным бизнесом (торговля оружием, наркотиками, рабами), обычно имеющим потребителя далеко за пределами региона, в котором ведутся военные действия.

3. В силу специфики субъекта военных действий перестают действовать международные соглашения, связанные с попытками «гуманизации войны», – война становится предельно жестокой и неразборчивой в средствах вплоть до насильственного

втягивания в боевые операции мирного населения и размывания различий между боевиками и мирными жителями.

4. Признаками поражения в «неклассической» войне являются уже не отступления по фронту, человеческие, материальные и территориальные потери, а разложение национального единства – возникновение частных интересов, которые получают свое удовлетворение именно в условиях ведения войны (возможность расхищения бюджетных средств, организация новых каналов незаконной торговли оружием, образование неподконтрольным правоохранительным органам анклавов и т.п.). Единый национальный интерес рассыпается на множество частных интересов, которые не связаны даже отношениями компромисса, а потому конкурируют столь же жестоко, как и полевые командиры мятежных провинций. Правительство в этой ситуации вынуждено искать свое место в беспрерывном погашении противоречий путем подавления одной из конкурирующих группировок и перестает решать задачи общенационального характера, воспроизводить нацию.

Все эти особенности связаны с противоречием между двумя концепциями государственного строительства – концепцией суверенитета и концепцией права народов на самоопределение. Совместное использование обеих концепций неизбежно ведет к «двойному стандарту», который наблюдается тем ярче, чем большие претензии на мировое лидерство проявляет то или иное государство. Концепция самоопределения гипертрофируется вплоть до признания особых прав меньшинств в ущерб правам и интересам нации в целом, вплоть до оправдания агрессии меньшинства – вооруженного сепаратизма.

В случае, с которым мы сталкиваемся на примере США, предъявляется претензия на глобальное регулирование процесса самоопределения и пересмотр прав на суверенитет, т.е. фактически на перекраивание всей политической карты мира при условии измельчения крупных государств или растворения их суверенитета в выстроенных по-имперски международных отношениях. Одна империя и, следовательно, один культурно-исторический тип должны навязать всему миру свой образ жизни. Весь мир должен стать периферией разлагающейся морально и чудовищно прожорливой метрополии.

Современный русский философ Виталий Аверьянов предостерегает от нового образа мира, который внедряется не только в самосознание российской нации, но и повсеместно: «...в самом постмодерне заложена угроза нового тоталитаризма. Общество, к которому он нас готовил, будет неким подобием позднего имперского Рима. То есть от всего обилия декларируемых свобод останется только внешний поверхностный плюрализм. Постмодерн сегодня переходит в тоталитарную фазу, политкорректность – в политическую коррекцию. Постмодерн до сих пор скрывал свою определяющую возможность – построения нового кастового порядка, выстраивания полного и всеобъемлющего контроля над индивидуальностью, совершенного социального моделирования. Теперь не скрывает»⁶⁷².

Фактически для обеспечения безопасности России – ее народа, ее духовного и материального достояния мы должны признать опасность тоталитаризма мирового масштаба, которая до сих пор никогда не была осязаемой перспективой. Именно эта особенность современного мира требует от концепции национальной безопасности России и ее военной доктрины ясного понимания существующих угроз и конкретного плана мероприятий по их нейтрализации.

Военная доктрина и национальная безопасность

Осознание войны как главного творящего начала истории отодвинуто современной политической наукой в сторону. Если начало XX в. с ощущением близости войны вызывало к жизни мужественное понимание войны как первополитики, как продолжения

⁶⁷² Эксперт, 2002, №1-2 (309) от 14 января.

природного закона борьбы всего живого и даже явления в мир человека метафизического принципа единства жизни и борьбы как неразрывного единства⁶⁷³, то современный мыслитель старается быть гуманистом, понимая это, как бесспорное отрицание войны, т.е. отрицание жизни в войне и зависимости истории от результатов войны.

Избегание войны с внешним врагом означает перенос жизненного закона внутрь собственной нации. «И всякая попытка исключить этот расовый момент приводит лишь к его переносу в другую сферу: из межгосударственной сферы он перемещается в межпартийную, межландшафтную, или если воля к росту угасает также и здесь, — возникает в отношениях между свитами авантюристов, которым добровольно покоряется остальное население»⁶⁷⁴.

Консенсусное понимание политики и упорное нежелание видеть современность как типичную военную эпоху (не замечать при этом миллионные жертвы текущих войн) есть одновременное отвержение собственного народа, который, как писал Шпенглер, действителен «только в соотнесении с другими народами, и эта действительность состоит из естественных и неснимаемых противоположностей — из нападения и защиты, вражды и войны. Война — творец всего великого. Все значительное в потоке жизни возникло как следствие победы и поражения»⁶⁷⁵. Не желая знать войны, не желают знать и победы. Сама нация этим бесплодным пацифизмом ставится под вопрос: «Начинается все желанием всеобщего примирения, подрывающим государственные основы, а заканчивается тем, что никто пальцем не шевельнет, пока беда затронула лишь соседа»⁶⁷⁶.

Национально мыслящему ученому, национально ориентированному политику следует признать, что войны остаются неизбежным и серьезнейшим испытанием для любого государства. Кроме того, следует чутко уловить то обстоятельство жизни нации, что само отношение к войне, к прежним военным победам и поражениям вызывает серьезнейшие изменения в общественном сознании, образует самосознание нации.

Место военной стратегии в государственной политике и армии в государстве четко определил видный военный теоретик русского зарубежья А.А.Керсновский:

«Политика — это руководство Нацией, управление Государством. Стратегия — это руководство вооруженной частью Нации, управление той эманацией Государства, что называется Армией.

Политика — целое. Стратегия — часть. Стратегия творит в области, отчеркнутой ей политикой. Это — политика войны, тогда как сама война — элемент политики Государства. Откуда явствует, что Стратегия есть один из элементов Политики — и безусловно один из капитальных ее элементов.

Задача Политики — подготовить работу Стратегии, поставить Стратегию в наиболее выгодные условия в начале войны, облегчить работу Стратегии в продолжении войны, и как можно лучше пожать плоды Стратегии после войны»⁶⁷⁷.

Таким образом, политика в некотором отношении оказывается подчиненной войне — военной стратегии. Поскольку без этой стратегии вся политика обесмысливается, государство теряет суверенитет, нация — независимость. Без учета неизбежности войн всякая политика обращается в политиканство. Нам надо точно знать для себя, что война будет — что бы там ни говорили дипломаты. «До Христа и не перестанет война, это и предсказано», — писал Ф.М.Достоевский.

Керсновский делит войны на три категории:

«Первая — войны, веденные в защиту высших духовных, ценностей — войны безусловно справедливые. Все наши войны с Турцией и с Польшей в защиту угнетаемых

⁶⁷³ Шпенглер О. Закат Европы, Т.2, М.: Мысль, 1998. С. 466.

⁶⁷⁴ Там же. С. 472.

⁶⁷⁵ Там же. С. 379.

⁶⁷⁶ Там же. С. 463.

⁶⁷⁷ Керсновский А.А. Философия войны// Философия войны. М., 1995, с.32.

единоверцев и единоплеменников, как и Гражданская война 1917–1922 гг. с белой стороны, относятся к этой категории.

Вторая — и наиболее распространенная — войны, веденные во имя интересов Государства и Нации. Общего правила, общего мерил для этой категории не существует. К каждому случаю в отдельности надо применять особую мерку — в каждом случае оценка может быть лишь чисто субъективной.

Третий вид войны — это война, не отвечающая интересам и потребностям Государства и Нации и не отвечающая в то же время требованиям высшей справедливости. Войны этой категории относятся по большей части к типу бескорыстных авантур, а, лучше сказать, авантур бессмысленных. Таково, например, участие России в коалиционных войнах в 1799 г. и 1805–1807 гг., поход в 1849 г. на Венгров, экспедиция французов в Мексику при Наполеоне III»⁶⁷⁸.

В российской военной доктрине от 21 апреля 2000 г. была принята совершенно формальная классификация войн, а понятие справедливости поставлено в зависимость от международных соглашений. Там говорилось о том, что современная война по военно-политическим целям может быть «справедливой (не противоречащей Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, ведущейся в порядке самообороны стороной, подвергшейся агрессии); несправедливой (противоречащей Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, подпадающей под определение агрессии и ведущейся стороной, предпринявшей вооруженное нападение)».

Использование категории «справедливость» в узко-юридическом толковании совмещает смутное понимание этических законов войны и формальных принципов международного права. В классификации Керсновского этический фактор в определении характера войны выделен в привязке к ценностям высшего порядка, а вместо юридического фактора выдвигается обособленный от ценностей фактор национального и государственного интереса. О справедливости войны однозначно можно говорить только в связи с защитой духовных ценностей; когда же война защищает интересы, о справедливости однозначно говорить не приходится. В последнем случае война окажется справедливой, если от врага защищается такое государство, в котором духовные ценности являются безусловным приоритетом или становятся таким приоритетом перед лицом опасности, угрожающей нации и государству.

Роль духовных факторов в определении характера войны отражается на характере нации, которая ведет войну или готовится к ней, следуя определенной военной доктрине. Керсновский писал: «Военная доктрина представляет собою мировоззрение данной нации по военному вопросу и составляет одну из многочисленных граней доктрины национальной. Отсюда следует основное свойство военной доктрины - ее национальность. Она является производной исторических, бытовых и военных традиций данной нации - ее политических, географических, племенных условий, духа и психологии народа (или народов) ее составляющих. Короче – отражением духовного лица»⁶⁷⁹.

Патриот России генерал Петр Николаевич Краснов видел в армии лицо нации: «Армия есть школа для народа. Не только потому, что через ее ряды при всеобщей воинской повинности проходит почти всё мужское население нации и учится в ней долгу, мужеству и патриотизму, но еще и потому, что Армия проникает во все слои общества и по её поведению на маневрах, ученьях, смотрах, по виду ее офицеров и солдат, по их поступкам, по их разговорам все судят о духовной силе своего государства, все учатся уважать и любить свое отечество»⁶⁸⁰.

Вопреки этим простым и ясным формулам, современная жизнь российской армии, напротив, отторгает ее от нации, оставляет место для армии преимущественно не лучшим,

⁶⁷⁸ Там же. С. 16.

⁶⁷⁹ Там же. С. 93–94.

⁶⁸⁰ Краснов П. Армия// Русский колокол, 1928. № 3.

а покорным. В советской армии в послевоенные годы создалось такое положение, когда офицер, а не только солдат превращался в «серую скотинку», разлагающуюся и в профессиональном, и в нравственном отношении. Не та национальная армия: «Как же высоко должно быть воспитание Армии, из каких рыцарственных элементов она должна состоять — для того, чтобы иметь право переступить через кровь; для того, чтобы быть готовой отдать все — покой и уют, семейное счастье, силы, здоровье и самую жизнь во имя Родины, во имя ее спасения и блага»⁶⁸¹.

Духовное лицо нации можно видеть через военную доктрину — эта ключевая мысль Керсновского чрезвычайно важна, поскольку позволяет делать выводы о сущности того или иного государства, исходя из официально принятой или незримо присутствующей в ее военной политике доктрине.

Разумеется, нас более всего должна интересовать российская военная доктрина — как ее официальное содержание, так и то, которое предопределено «душой (духовным лицом) нации» и может совпадать или не совпадать с принятым документом.

Керсновский пишет: «Будучи народом православным мы смотрим на войну, как на зло, — как на моральную болезнь человечества — моральное наследие греха прародителей, подобно тому, как болезнь тела является физическим его наследием. Никакими напыщенными словесами, никакими бумажными договорами, никаким прятаньем головы в песок, мы этого зла предотвратить не можем. (...) А раз это так, то нам надо к этому злу готовиться и закалять организм страны, увеличивать его сопротивляемость. Это — дело законодателя и политика»⁶⁸².

Серьезным продвижением в деле подготовки страны к войне стала российская военная доктрина 2003 года⁶⁸³. Представляя военную доктрину, военное руководство государства впервые за многие годы включило войну в систему угроз национальной безопасности, не обособляя от других угроз - международного терроризма, этнического и религиозного радикализма, торговли наркотиков и организованной преступности. Сделан вывод о расширении сферы приложения военной силы и ее распространении на новые сферы — включая угрозы вмешательства во внутренние дела Российской Федерации со стороны иностранных государств или организаций, поддерживаемых иностранными государствами, и нестабильность в приграничных странах, порожденную слабостью их центральных правительств.

Вместе с тем, новая военная доктрина, признав, что «высокий боевой дух и моральная сила военнослужащих вдруг и сразу не возникают» и являются результатом «сознательного целенаправленного воздействия на мировоззрение, интеллект, мораль и психику, как всего народа, так и отдельных граждан», оставила в стороне практические вопросы организации такого рода воздействия не только в мирный, но и в военный период.

Организм России ни нынешняя военная доктрина, ни повседневный быт армии не закаляют. Напротив, опошляя и извращая суть армии, нынешний режим ее существования отрывает ее от нации, превращая нацию в нежизнеспособный обрубок. Это чревато национальной катастрофой даже без войны — вместе с аристократизмом армии нация теряет свой нравственный стержень, а сама армия превращается в полицейские силы, направленные против нации.

Российская военная доктрина сегодня в значительной степени соответствует высказанным выше установкам только на стадии предотвращения войн. О ведении войны в доктрине 2000 года речи практически не было, будто течение войны в современном мире невозможно предусмотреть. В доктрине 2003 года некоторые элементы, описывающие современную войну появились. Прежде всего это выразилось в определении таких характерных особенностей современной войны, как решающая роль воздушно-

⁶⁸¹ Там же.

⁶⁸² Керсновский А.А. *Философия войны*// *Философия войны*, М., 1995. С. 96

⁶⁸³ http://www.rian.ru/rian/intro.cfm?doc_id=276

космических сил, роль информации в управлении войсками, возможность маневра огнем дальноточной артиллерии взамен концентрации сил на направлении главного удара, противодействие партизанским и диверсионно-террористическим действиям противника. Задача превращения любой бесконтактной войны в контактную диктует высокую мобильность и автономность ударных подразделений, а также решающую роль ПВО в отражении нападения противника.

Характерно, что в военной доктрине России и в большинстве военных справочников и энциклопедий нет слова «победа», нет ничего от суворовской «Науки побеждать». Что показывает на восприятие войны как противостояния организационных и технических, но не духовных потенциалов противников.

Приверженность идеям разоружения в современном мире кажется насущно необходимой для выживания человечества. Иная позиция, выраженная открыто и без оговорок, скорее, была принята как вопиющее нарушение политкорректности⁶⁸⁴. Вместе с тем, ведущие военные державы, прежде всего США самым активным образом разрабатывают программы перевооружения, создают новые военные технологии и продолжают гонку вооружений. В рамках имеющихся возможностей тем же занимается и Россия, сохраняя в то же время в военной Доктрине все элементы политкорректности и, таким образом, демонстрируя «двойной стандарт» в данной области, который тяжело сказывается на отношениях армии и общества, на военном духе нации и способствует распространению антиармейских и пацифистских настроений.

Пацифизм страшен своим странным «гуманизмом», спасающим отдельных индивидов от близкой опасности, но разрушающим национальный организм и государственное управление, чтобы через время обрушить на спасенного индивида в сто раз большую опасность, чем та, от которой он спасся. Как писал видный военный теоретик А.Л.Матюшин, «война явление страшное, но еще более страшное явление – это поражение, и пока человеком не найдено решения для предотвращения войны, надо напрячь все усилия, чтобы это поражение не случилось»⁶⁸⁵.

Керсновский сравнивает попытки разоружения с избиениями чернью лекарей и докторов: «"Интеллектуальная чернь" двадцатого века — так называемые пацифисты,— а также руководящая и в то же время руководимая этой чернью ярмарочная дипломатия видят в роспуске армий средство избавиться от войн. По их мнению, наличность вооруженной силы является причиной зла: кровожадные генералы, чающие отличий, "пушечные короли", ждущие барышей, вовлекают страну в военную авантюру попустительством "вырождающихся династий" и "секретной" (притом еще титулованной) дипломатии»⁶⁸⁶.

Идею сокращения военных функций государства можно преследовать и другим образом, распространяя доступность к вооружениям на весь народ. Замена постоянной армии всеобщим вооружением народа – одна из любимых идей всех революционеров. Керсновский напоминает о мифе «миролюбивой милиции», идущем еще от идеологов французской революции, и тех кровавых жертвах, и том ожесточении, которые трудно увидеть даже в самой жестокой войне, но очень часто - в революционных войнах⁶⁸⁷. В современных условиях как раз локальные войны сопровождаются доступностью оружия для широких слоев населения (в Афганистане, Косово, Чечне), что и ведет к крайним формам зверства и ожесточения. В то же время для добропорядочного гражданина оружие остается недоступным – нация не вооружена против бандита и агрессора и не владеет умением применять оружие. Зато гражданину всегда противостоит «миролюбивая

⁶⁸⁴ Что, собственно и произошло после обнародования военной доктрины России 2003 года, объявившей, что сокращение ВС России закончилось.

⁶⁸⁵ Матюшин А.Л. Помни войну! Вопросы современной и будущей войны// Философия войны, М., 1995., С. 139.

⁶⁸⁶ Керсновский А.А., Цит. пр. С. 22.

⁶⁸⁷ Там же. С. 23.

милиция», еще дальше отступившая от элементарных нравственных норм, чем армия, и всегда готовая к вооруженному соучастию в преступлении против безоружного гражданина.

Нет, нам не нужен вооруженный народ вместо армии, вся нация не может быть армией. Нам нужны вооруженные граждане – часть системы национальной обороны, источник сил армии. Пока мы разоружены, наша победа в грядущих войнах проблематична – нами сможет понукать любой бандит.

Матюшин говорит о том, что «в вопросах войны и мира главнейшее – это постоянная готовность, которая измеряется не только готовностью армии, но и готовностью народа, готовностью всей страны»⁶⁸⁸. «Здоровые народы никогда не станут на путь мягкотелой проповеди мира, ибо они чувствуют свою силу и знают цену себе, ибо они понимают и учитывают, что еще на долгие века удержатся племенные и религиозные особенности народов, что климатические и земные богатства разбросаны на нашей планете не равномерно, что "только меч может удержат меч в ножнах" и что, наконец, единственная гарантия не быть раздавленным и стертым — это быть самому сильным, чтобы устоять против внешнего давления и внутреннего взрыва»⁶⁸⁹.

«Сам по себе уже объект войны будет, все-таки человек.

Он будет руководить действиями машины, будет определять момент, когда надо пустить в ход то или иное средство, он будет заменять машину, когда она откажет,— он, а не машина, будет решать участь столкновений.

Этого ни на один момент не должно забывать ни одно государство. Вот почему культура человека, культура его воли, духа и ума должны составлять важнейшую заботу, превыше всех культур.

Будущий человек должен быть существом крепких нервов, сильной воли и самоотверженного патриотизма. Вне этого не может быть армии.

Инстинкт самосохранения свойствен всему живущему. Страх смерти и боязнь болезненных ранений могут быть ослаблены лишь соответственной и упорной культурой человеческого духа...»⁶⁹⁰.

Принципы обеспечения военной безопасности Российской Федерации не содержат тех элементов, которые демонстрировали бы связь государства и нации в военных вопросах, нацеленность на культивирование воинского духа граждан. В военной доктрине России 2000 года указываются лишь следующие принципы:

- сочетание твердого централизованного руководства военной организацией государства с гражданским контролем ее деятельности;
- эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и классификации военных угроз, адекватность реагирования на них;
- достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения военной безопасности, их рациональное использование;
- соответствие уровня готовности, подготовки и обеспечения военной организации государства потребностям военной безопасности;
- ненанесение ущерба международной безопасности и национальной безопасности других стран.

В военной доктрине 2003 года задачи ВС сформулированы более конкретно и менее «политкорректно»:

1. Сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности Российской Федерации, включая обеспечение стратегической стабильности и территориальную оборону страны.

⁶⁸⁸ Матюшин А.Л. Цит. пр. С. 99.

⁶⁸⁹ Там же. С. 105.

⁶⁹⁰ Там же. С. 118.

2. Обеспечение экономических и политических интересов Российской Федерации, что может включать в себя проведение по решению Президента РФ операций с использованием Вооруженных Сил.
3. Осуществление силовых операций мирного времени, включая выполнение Российской Федерацией союзнических обязательств, осуществление миротворческих операций по мандату ООН или СНГ.
4. Применение военной силы для нейтрализации военной угрозы, в том числе и в условиях применения оружия массового поражения.

При всех преимуществах военой доктрины образца 2003 года перед предыдущей доктриной 2000 года, армия и нация остаются разорванными. Пустующее пространство государственной идеологии и внятных официальных обоснований участия граждан в деле обеспечения обороны и безопасности, заполняется самозванными идеологиями – атлантизмом, либерализмом, пацифизмом, сепаратизмом и пр.

Керсновский напоминает, что «идеологии» обошлись человечеству дороже завоевателей – «последователями утопий Руссо пролито больше крови, чем ордами Тамерлана»⁶⁹¹. Если глобальная война сегодня не может быть идеологизирована в силу ее бесспорной абсурдности, то локальные войны, террор, «гуманитарные интервенции», создание «гуманного оружия» (похожее на то, что применялось НАТО против Сербии) – все это содержит явные элементы идеологии, отражающиеся и в военных доктринах. Это значит, что во множестве случаев мы можем судить о сущности государства по способу применения им оружия и характеру ведения военных действий. Состояние российской государственности в полной мере проявилось в кровопролитной и бездарно организованной войне в Чечне, и в бесплодных «миротворческих операциях» в Югославии. Состояние армии показало потенциальному противнику: Россия не сможет оказать агрессору достойного сопротивления, и все, что остается для ее оккупации, – нейтрализовать стратегические ядерные силы.

В прежние времена, когда армия была продолжением национальной элиты, она была опорой всех сторон жизни общества. Как отмечал К.Н.Леонтьев, «военный может легко и скоро стать всем: дипломатом, администратором, министром, хозяином сельским, хорошим мировым судьей, художником, ученым. Он может быть всем этим, не переставая быть военным! Генерала можно прямо сделать начальником губернии или поручить ему дипломатический пост. Но можно ли дать прямо полк камергеру и послать его в огонь?»⁶⁹²

Политика сил, пришедших к власти в России после 1917 года, планомерно подрывала элитные положения военнослужащего, черпая кадры для офицерства в низших слоях общества, допуская на высшие этажи военного руководства людей необразованных и не знающих своей страны⁶⁹³. Когда высшие офицерские посты занимает плебс, а государственное управление в разладе – все рассыпается. Офицер, приходя на гражданскую службу, способен чаще всего только имитировать продуктивность, не понимая сущности гражданских отношений не только с подчиненным, но и с равным – с партнером. Последние годы советской армии дали отвратительные образцы бюрократизации и коррупции, а годы либерального развала – всеобщего упадка армейских нравов. Военные не становились ни достойными общественными деятелями, ни успешными предпринимателями. Это показывает лишь одно – в обществе, лишенном аристократической иерархии, не может существовать национальной армии.

Оценивая военную доктрину России 2000 года, приходится заключить, что в данном случае мы имеем дело не с военно-политической концепцией, а, скорее, военно-

⁶⁹¹ Там же. С. 26.

⁶⁹² Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство... С.243.

⁶⁹³ Во многом удача пропаганды большевиков в армии была связана с тем, что к 1917 в армии были выбиты войной офицерские кадры и более 90% офицерского корпуса получило офицерские звания уже во время войны и происходило из низших слоев общества.

бюрократической инструкцией, неудовлетворительной даже в этой роли – фактически собирающей воедино элементы действующего законодательства, инструкций и правил. Данный документ лишен понятия о специфике Российского государства как исторически сложившегося организма, не усматривает приоритета нации, национальных интересов над управленческими, не видит возможности отечественной войны и всенародного единства в отпоре врагу, не касается собственно характера войны и принципов ее ведения. Указанные недостатки во многом сохранились и в доктрине 2003 года.

А.Ф.Клименко указывает на причины увеличения значимости военной доктрины как элемента национальной безопасности:

«Во-первых, произошли кардинальные геополитические изменения и интенсивное развитие процессов глобализации, прежде всего в сферах экономики и финансов, что существенно трансформирует систему международных отношений, усиливает взаимосвязь и взаимозависимость различных стран.

Во-вторых, возросла вероятность самых непредсказуемых и губительных последствий военных конфликтов не только для воюющих государств, но и для всей земной цивилизации из-за интенсивного повышения возможностей систем вооружения и военной техники. Это неминуемо ведет к тому, что границы между угрозами национальной безопасности и международной безопасности все больше размываются.

В-третьих, сами угрозы теперь принципиально иные. «Носители» этих угроз во многом рассеяны, нетранспарентны и вместе с тем глобальны по проявлению. После сентябрьских терактов в США становится предельно ясно, что требуются скоординированные действия международного сообщества по их выявлению, предупреждению и противодействию им»⁶⁹⁴.

В то же время отмеченные явления в современном мире, предъявляющие особые требования к военным доктринам ведущих мировых государств, практически остались без внимания в военной доктрине Российской Федерации 2000 года, прежде всего в части формулирования принципиального курса на отражение возможных вызовов и предотвращение ущерба национальным интересам. Это связано с ложными нормами политкорректности, которые стесняют необходимые интеллектуальные усилия в области формулирования задач национальной безопасности России.

После 2003 года Россия декларировала, что намерена превентивно применить военную силу в случаях, когда

- непосредственно зреет неотвратимая военная угроза Российской Федерации;
- возникают препятствия для России в доступе к жизненно важным регионам мира;
- складывается нестабильная обстановка в СНГ, возникает прямая угроза жизни соотечественников, граждан России, проживающих за ее пределами, а все другие меры, включая политические, экономические и международные санкции, исчерпаны»⁶⁹⁵.

В порядке политкорректности нормативные акты современных государств старательно избавляются от установок на сверхусилия, которые всегда требуются на войне, а до ее объявления бывают неудобны для деятельности бюрократического аппарата. На войне душа нации востребуется бюрократией ради собственного спасения – так поступил Сталин, воззвав к «братьям и сестрам», вернув Церкви возможность благославлять идущих на смерть граждан. Но окончание войны связано с иными запросами бюрократии – с унижением личности воина, раскрывшейся при защите Отечества. Проблема послевоенного развития связана с тем, сумеет ли нация сохранить эту личность от давящего воздействия бюрократии.

Бердяев писал: «Не случайно великие добродетели человеческого характера выковывались в войнах. С войнами связана выработка мужества, храбрости, самопожертвования, героизма, рыцарства. Рыцарства и рыцарского закала характера не

⁶⁹⁴ Клименко А.Ф. Не так поймешь - врагов наживешь. К вопросу о сравнительном анализе военных доктрин. НВО, 2001 г., 16 ноября.

⁶⁹⁵ http://www.rian.ru/rian/intro.cfm?nws_id=443986

было бы в мире, если бы не было войн. С войнами связано героическое в истории. Я видел лица молодых людей, добровольцами шедших на войну. Они шли в ударные батальоны, почти на верную смерть. Я никогда не забуду их лиц. И я знаю, что война обращена не к низшим только, а и к высшим инстинктам человеческой природы, к инстинктам самопожертвования, любви к родине, она требует бесстрашного отношения к смерти».

Опасность отталкивается бюргерским и бюрократическим самосознанием, опасное положение объявляется безнравственным и старательно избегается, а реальное столкновение со злом наблюдается даже не со стороны, а как бы из-за угла. Героизм, напротив, принимает на себя отрицания, о которых предупреждает страх, вплоть до отрицания собственной жизни. Дегероизированное общество возникает именно в связи с тем, что оно не может ужиться со страхом, преодолеть его.

Эрнст Юнгер, видевший перед собой виновника унижения Германии веймарским капитулянтским режимом, писал: «...опасное предстает в лучах [бюргерского] разума как бессмысленное и тем самым утрачивает свое притязание на действительность. В этом мире важно воспринимать опасное как бессмысленное, и оно будет преодолено в тот самый момент, когда отразится в зеркале разума как некая ошибка». Бюргерское государство «заявляет о себе во всеохватной структуре системы страхования, благодаря которой не только риск во внешней и внутренней политике, но и риск в частной жизни должен быть равномерно распределен и тем самым поставлен под начало разума, — в тех устремлениях, что стараются растворить судьбу в исчислении вероятностей. Оно заявляет о себе, далее, в многочисленных и весьма запутанных усилиях понять жизнь души как причинно-следственный процесс и тем самым перевести ее из непредсказуемого состояния в предсказуемое, то есть вовлечь в тот круг, где господствует сознание»⁶⁹⁶.

Трусливому индивиду-бюргеру Юнгер противопоставляет *тип* — личность, идентифицирующую себя не индивидуальными отличиями, а признаками, лежащими за пределами единичного существования, т.е. в сфере духа. Этот тип выражает нацию и защищает ее.

А.Ф.Лосев в своем изложении античной философии⁶⁹⁷ отмечает внеличностный характер рабовладельческой формации и одновременно диалектическую целостность общественно-государственного строя. Надличностным принципом выступает здесь судьба, а логикой, объясняющей события, — фатализм. С другой стороны, надличностный принцип определяет, что «боги, демоны и герои не суть личности в полном смысле этого слова, потому что они являются в античности только обобщением природных свойств или явлений. Но, отражая на себя все целое и потому творя его волю, они являются героями, так что чувственно-материальный космос есть оплот всеобщего “героизма”».

При переходе к новым историческим реалиям личность вступает в свои права, но надличностный принцип остается в сфере героизма. Как отмечает современный исследователь Светлана Лурье, «обычно ситуации выбора связаны с *«малыми пограничными ситуациями»* — кризисными ситуациями в жизни человека, требующими самостоятельного поступка. Именно в *малой пограничной ситуации* и происходит соединение между личным поведением человека и «национальным характером» — только в подобной ситуации человек может «поступить как русский»⁶⁹⁸. То есть, вступление во владения надличностного принципа осуществляется только личностью, делающей сознательный или интуитивный (но все равно личностный) выбор в пользу такого поступка, и именно им личность отождествляется с нацией и становится героической.

В разлагающемся обществе, уклоняющемся от личных и коллективных поступков, существует запрос на фальшивый героизм, когда почести отдаются тем, кто изгоняет из истории настоящих героев. Культ героев заменяется культом кумиров. Именно поэтому интерес проявляется не к поступкам и даже не к делу, а к частной жизни кумира, его

⁶⁹⁶ Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб.: Наука, 2000. С. 108–109.

⁶⁹⁷ Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1998.

⁶⁹⁸ Лурье С. В поисках русского национального характера// Отечественные записки, 2002. №3.

скандальным выходкам. Не надличностный родовой принцип вызывает энтузиазм, а частный отличительный признак. Таким образом, отсутствие национальной пропаганды героизма допускает монополия технологий промывания мозгов и превращения граждан в сброд, лишенный Отечества.

СМИ показывают людей, которые личный успех как бы ставят на поток и преподносят его как нечто ценное (а на самом деле вовсе ненужное), и превращая дееспособных граждан в праздных зрителей с заранее предопределенной реакцией на эти демонстрации. Здесь нет и тени подвижничества, которое, собственно, и отличает истинного героя от фальшивого. «Герой» не действует, а играет, ожидая аплодисментов или скандала, а антигерои (вплоть до криминальных персон) становятся просто занимательными фигурами, во всем подобными эстрадным знаменитостям. Герой своим примером или поступком спасает, а псевдогерой лишь очаровывает или развлекает. Праздность плодит псевдогероев, которые занимают внимание публики, лишенной потребности в героизме. Праздность не знает цены поступков. Публика живет фальшивкой, а общество гибнет – его некому спасти.

Представление о героизме оказывается настолько размытым и неясным, что большинству населения уже трудно отличить информационную обертку какой-нибудь пустышки от действительного героя, совершившего подвиг. Более того, герои былых времен становятся объектом циничной травли, дискредитации, их подвиги превращаются в нечто постыдное, вовсе негероическое. Все это означает, что в России не существует действующей концепции национальной безопасности, разрушению нации не поставлено никаких преград.

Кризис национальной идентичности преодолевается выходом из пространства праздности и зрелища в пространство подвига и деятельности, полное опасностей и испытаний. В подвиге всегда есть нравственный аспект и забвение собственных амбиций. Именно поэтому гражданский подвиг выше военного, военный выше спортивного. Военный и спортивный подвиги (в особенности, спортивные) продуцируются созданными условиями – не будет героем, так другой. Потому здесь всегда есть момент стяжания личной славы, отход от надличностного принципа. Между тем, личная слава формируется вовсе не подвигом. «Себе чести, а князю славы» ищет русская дружина. Честь – признак героя, слава – то, что он своим поступком обеспечивает народу и Родине. Слава князя или государя – не его личная слава, а слава Отечества.

Булгаков говорил, что необходимо различать героизм интеллигентский, обусловленный страстью к переустройству мира на основе одной из политических утопий «светлого будущего», и героизм, связанный с подвижничеством. Подвижнический героизм отличается подвигом не во имя свое, а во имя Божие. Подвижнический героизм связывает темный инстинкт агрессивности и просветляет личность надмирным авторитетом – божественной Личностью.

Героизм надиндивидуален, он воплощает дух нации. В героизме преодолевается страх нации, ее зависимость от бюргерской трусливости. Только героизм делает воюющую страну достойной победы. Победа же – главная цель военной доктрины.

Русским, как последней имперской нации историей дан шанс исторической победы над истирающими себя в пыль фаустовскими людьми – именно имперское наследство позволяет русским оказаться «в форме», когда другие нации теряют перспективу и превращаются в общечеловеческое перекаати-поле. Все русская история – это история русского воинства, история русской Армии Победы. Сегодня от нее остались лишь островки героического сопротивления, которые по-прежнему страшат потенциального агрессора. Задача государственной политики – слить разрозненные очаги русского сопротивления в армию солдат империи, чем привести нацию в чувство. Ведь, как писал Шпенглер, «Народ “в хорошей форме” (“in Verfassung”) – это изначально воинство, глубоко прочувствованная внутренним образом общность способных носить оружие. Государство – мужское дело, это значит печься о сохранении целого и о том душевном

самосохранении, которое обыкновенно обозначают как честь и самоуважение, предотвращать нападение, предвидеть опасности, но прежде всего – нападать самому, что является чем-то естественным и само собой разумеющимся для всякой находящейся на подъеме жизни»⁶⁹⁹. «Традиции старинной монархии, старинной знати, старинного благородного общества, поскольку они еще достаточно здоровы, чтобы удержаться поодаль от политика как гешефта или от политики, проводимой ради абстракции, поскольку в них наличествует честь, самоотверженность, дисциплина, подлинное ощущение великой миссии, т.е. *расовые качества*, вымуштрованность, чутье на долг и жертву, – эти традиции способны сплотить вокруг себя поток существования целого народа, они позволяют перетерпеть это время и достичь берегов будущего. “Быть в форме” (“in Verfassung”) – от этого зависит теперь все. Приходит тяжелейшее время из всех, какие только знает история высокой культуры. Последняя раса, остающаяся “в форме”, последняя живая традиция, последний вождь, опирающийся на то и другое, – они-то и рвут ленточку на финише как победители»⁷⁰⁰.

Таким образом, военная доктрина – это доктрина нации. Правильно выбранные приоритеты, точно указанные Шпенглером, дают все шансы на стратегическую Победу – на победный спурт в гонке национальных проектов мировых держав и исторических народов.

Армия победы

В XX в. дважды принципиально менялась модель войны. В самом начале века были образованы массовые армии, а мировая война потребовала тотальной мобилизации всех сил воюющих стран, ибо затрагивала буквально все стороны жизни и каждого подданного воюющих держав. Отсидеться в медвежьих углах в европейской войне было невозможно. Вторично модель войны сменилась во второй половине XX в., когда была прочувствована мобилизующая мощь пропаганды. Почерпнув эту технологию у гитлеровской Германии, западные державы в период «холодной войны» и позднее применяли ее против СССР. И как только государственная стабильность в нашей стране была подорвана, в нее хлынул поток информационных провокаций, были созданы центры рекрутирования провокаторов, прежде всего в среде журналистов и партийной номенклатуры. Информационная война быстро обернулась локальными войнами на окраинах державы и ее разрушением.

Вместе с моделью войны оба раза менялся тип военного формирования, необходимый для эффективного ведения боевых операций. Массовая мобилизация Первой мировой войны поделила армию на аристократическую кадровую элиту и «серую скотинку» плохо обученных новобранцев. Речь о воинском братстве и общем понимании целей войны в таких условиях не могла идти. Во Второй мировой войне этот внутренний раскол армий первой удалось преодолеть Германии, объединившей в воинское сословие огромные массы людей униженных Версальским миром. Ни одна европейская страна ничего не смогла противопоставить немецкой тотальной мобилизации. Советскому государству пришлось создавать такое единство уже в процессе войны, расплатившись за нерасторопность миллионами военнопленных в 1941 г. В столкновении двух тотально мобилизованных обществ был решен исход мировой войны, оставив иные общества на периферии событий.

Второй поворот истории, связанный с достижением политических целей непрямыми действиями, потребовал армейских структур, умеющих быстро побеждать в ожесточенных локальных войнах и подкрепленных общественной поддержкой и психологической обработкой противника. Россия оказалась совершенно не готовой к локальным и идеологическим войнам. Приспособленные к локальным войнам воздушно-десантные войска были почти изничтожены, а элитные части спецназа рассеяны по десяткам военных и правоохранительных департаментов. СМИ, включая

⁶⁹⁹ Шпенглер О. Закат Европы, Т.2, М.: Мысль, 1998. С. 379.

⁷⁰⁰ Там же. С. 459.

государственные, были превращены в рупор разнузданной антиармейской и антироссийской пропаганды. Результат – унижительное поражение в Первой чеченской войне, в которой остаткам разложившейся советской армии противостояла сверхмобилизованная общность чеченских банд, возглавляемая советскими офицерами.

Затянувшаяся ликвидация остатков этих банд после Второй чеченской войны связана именно с этим различием в уровне мобилизации. Значительная часть чеченцев готова воевать до последнего представителя своего народа – отсюда и массовое пособничество бандитам со стороны «мирного» населения, и теракты против единоплеменников, сотрудничающих с российской властью. Российская армия и российское общество в Чечне, напротив, не вели тотальной войны, исходя из политической установки на защиту «общечеловеческих ценностей» и соблюдение гражданских прав лиц, почти открыто сотрудничающих с бандами⁷⁰¹.

Проблема создания русского воинского сословия, как костяка массовой армии, упирается не столько в политические решения по поводу характера локальных войн, сколько в государственную политику, которая должна предполагать *воспитание полноценного гражданина*. Речь должна идти о намерении упущенного в области военно-спортивной и военно-технической подготовки молодежи и ясной мировоззренческой доктрины для военной аристократии. Без готового к сверхмобилизации гражданина и готовой к бою иерархии военных вождей никакая техническая оснащенность не обеспечит победы в грядущей войне.

Войны XXI в. требуют совершенно иной формы военной организации, прежде всего, обученного военному делу населения, реального воплощения принципа всеобщей воинской обязанности, причем он должен быть реализован не путем насильственного призыва, а в форме всеобщей воинской учебы вне казарменной обстановки. Военные сборы должны стать обычным делом для каждого полноценного гражданина – общедоступным приключением для настоящих мужчин и эмансипированных женщин.

Только последовательная реализация всеобщей воинской обязанности, а не наемничество выведет армию из сегодняшнего жалкого положения. Когда общество снизу доверху будет пронизано идеей воинского служения, защиты Отечества, в армии будут воссозданы воинское братство древнерусских дружин и офицерская аристократическая этика.

Задача подготовки к войне состоит в том, чтобы *научить все взрослое население пользоваться оружием*, а впоследствии ввести право на владение оружием самообороны. Гражданин должен быть вооружен против распоясавшихся уголовников (которые сегодня всегда вооружены против безоружного гражданина), уметь безопасно обращаться с оружием (иметь нравственный запрет стрелять в своих) и личными средствами участвовать в собственном вооружении. На случай внезапного призыва (который в условиях локальных войн всегда будет именно внезапным) гражданин должен встать в строй готовым бойцом, а не безоружным новобранцем.

Общедоступные стрелковые секции и тиры для всех возрастов – не развлечение для праздной публики. Враг должен знать, что огонь по нему может быть открыт из каждого окна, из каждой подворотни. Тогда русские на своей земле будут непобедимы,

⁷⁰¹ Ошибочное представление о войне, как о деле исключительно для армии, составляющей обособленную часть нации, исходит из установок XIX века. В частности Керсновский выступал против ведения войны в бесчеловечных ее формах, отбросив «клаузевицко-ленинскую» теорию интегральной войны с ее терроризацией населения неприятельской страны: «Присоединять неприятельские земли нам не надо (коль скоро они не являются похищенным нашим достоянием) — хватит и духовного присоединения иноземцев к нашей культуре. А это возможно лишь при отсутствии взаимного озлобления, незаживших ран. Не будучи бесчеловечными к чужим странам, можем ли мы быть зверями в отношении нашей родной матери? Мы должны вести войну, стремясь как можно меньше отягчать, истощать организм страны. Это достигается лишь сохранением на своих местах возможно большего количества специалистов своего дела — все равно хлебопашцев или железнодорожников, ремесленников или торговцев» (Керсновский А.А., Цит. пр. С. 97).

как непобедим вооруженный народ, ставший нацией. Довод «они друг друга перестреляют» безоснователен, если владение оружием будет связано с иерархией гражданских прав, равенство которых является одной из вреднейших выдумок европейского гуманизма. Общество может быть воспитано самим процессом обретения оружия самообороны, предусматривая сначала приобретение права на оружие за верную службу Отчеству, затем – охранным фирмам, которые должны превратиться в формирования «горячего резерва» армии, наконец – для каждого после специальной подготовки, психологического тестирования, с условием участия в регулярных военных сборах и т.д.

Разумеется, оружие не может продаваться в магазине каждому встречному. Вор, даже искупивший свою вину на лагерных нарах, должен быть лишен права на владение оружием пожизненно. Но также разумеется, что нет никаких оснований лишать офицера личного оружия, которое он должен носить при форме и применять в случае угрозы для своей чести и жизни окружающих граждан. Естественно было бы доверять оружие тем, кому мы доверяем определять судьбы страны на выборах и референдумах. Если не всем можно доверить оружие, то не всем можно доверить и голосование. Отсюда возникает задача приобретения гражданства (а с ним и права на оружие) при определенных условиях, а не по рождению.

Вооруженный гражданин – признак традиционной (национальной) демократии. В традиционной демократии невозможна взаимная площадная брань, потому что на оскорбление отвечают ударом меча и ценят честь выше жизни. Оружие дисциплинирует, а не развращает. Развязные типы быстро отправляются на тот свет. Это часто случается с криминальными авторитетами, что демонстрирует определенную «этику» в мире преступности, где всегда взвешивают слова, если намерены сохранить жизнь.

В российском обществе нарастает ощущение необходимости и неизбежности системного сдвига в формировании оборонной доктрины страны. Советская армия все еще цепляется за жизнь, генералы руководят заведомо недееспособными частями и рапортуют о готовности дать отпор агрессору, которого уже не существует в природе. Армия «новой России» бродит по стране, как призрак контрактной системы, полностью провалившейся в Чеченской войне, но все еще оставляющий дурно пахнущее облако, сводящее с ума либеральных политиков. Они выдвигают проект совершенно недееспособной армии, которая живет с убеждением, что врагов у России нет. В то же время мир стремительно меняется, грозя старым армейским формациям мучительной гибелью от врага, против которого нечем защититься. Новые технологии в руках малочисленного контингента способны поставить на колени миллионные армии, крошечные диверсионные группы – полностью дестабилизировать мощные государства. Все технические и тактические изобретения, возникшие и примененные в XX в., оказываются единственным средством нападения и обороны, подталкивающим доиндустриальные (и даже некоторые индустриальные структуры) методы ведения войны к исчезновению.

В истории войн народы и государства применяли две основные стратегии, которые также существуют и в мире животных – выживание обеспечивается либо массовостью, либо уникальными свойствами малочисленного контингента. В столкновении однотипных стратегий все решали дополнительные качества: уровень вооружений, национальный менталитет (стойкость к лишениям, презрение к смерти и др.), мобильность. Русские научились у монголов необходимости собирать массовое войско, готовое к быстрым перемещениям и составленное из умелых воинов, сочетавших крестьянский труд с владением оружием. Победа над Ордой была обеспечена новыми дополнительными качествами: 1) чрезвычайной устойчивостью в обороне, которая могла быть свойственна только потомственным земледельцам и отсутствовала у кочевников; 2) наличием элитной дружины, способной переломить ход решительного сражения, как это было сделано Засадным полком на Куликовом поле.

Русские нашли альтернативную стратегию как нашествиям Степи с ее массами организованной кочевой конницы⁷⁰², так и латинству с ее рыцарским войском. Русские переиграли ордынцев выучкой воинов и организацией стойкой обороны, а латинян – стратегической обороной, массой и той же выучкой, которая, возможно, уступала бы в поединке «один – на один» выучке крестоносцев, но оказалась более эффективной в большом сражении на Чудском озере.

В лице монголо-татар русские встретились впервые с концепцией тотальной войны и массовым войском, народом-войском. Тут на войне не делили княжеское наследство и не мстили частным порядком, а добивались истребления высших сословий и порабощения низших, полного разгрома и полной покорности. «Федеративная» Киевская Русь погибла почти мгновенно в 1237–1239 гг. От этого поражения русские получили урок «асимметричного ответа», который постепенно вызрел и погубил Орду.

Впоследствии именно сочетание стремительной дворянской конницы и бесстрашной крестьянской пехоты обусловило несколько столетий непобедимости русской армии, несмотря на частные поражения. Все это дало русским: Крым, Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, Кавказ с Закавказьем и позволило разгромить все нашествия из Европы и с юга (включая Османскую Порту, всегда бывшую инструментом европейской политики в отношении России).

Главное обретение России в военной стратегии, во многом компенсировавшее отсталость вооружений по сравнению с Европой (на восточных и южных границах России винтовка Мосина была вне конкуренции) – отказ признавать поражение и возникший после него статус-кво. Поражение могло быть признано только формально, а последующий период использовался для сосредоточения сил, необходимых для реванша – после поражения Россия сосредоточивалась, как говорил выдающийся русский дипломат, имперский канцлер Александр Михайлович Горчаков.

Возникло и иное отношение к победе. Цена победы для русских никогда не может быть высокой – ради победы можно отдать все, потому что поражение означает почти неизбежную гибель народа. Это приводило зачастую к тому, что только массовый героизм солдат мог компенсировать безжалостность генералов к «серой скотинке».

И третье приобретение – генерация выдающихся русских полководцев, черпавших знание стратегии из русской и мировой истории, принципов ведения войны как продолжения законов национального бытия. Под их управлением крепостные крестьяне превращались в чудо-богатырей.

⁷⁰² Ревизия русской истории, опирающаяся на труды Л.Гумилева, говорит о «симбиозе» Руси и Степи, а также об удивительных успехах небольших численно армий монголо-татар. Это прямо противоречит летописной традиции, говорящей об значительном численном преимуществе монголо-татар в сражениях с раздробленными и неотмобилизованными русскими дружинами и необученным малочисленным ополчением.

«А татары отошли от Золотых ворот (Владимира), и объехали весь город, и расположились лагерем на видимом расстоянии перед Золотыми воротами – бесчисленное множество воинов вокруг всего города... Свершилось великое зло в Суздальской земле, и не было такого зла от крещения, какое сейчас произошло...» (Лаврентьевская летопись) Здесь же упоминается о 14 уничтоженных городах, но это было «за один месяц февраль» и «не считая слобод и погостов».

«Узнали безбожные татары о таких невзгодах русских и о великом богатстве, собранном за многие годы, и двинулись они из восточных стран, и пленили сначала Булгарскую землю. А в третий год пришло их на Русскую землю бесчисленное множество – как саранча, пожирающая траву, так и эти “сыроядцы” христианский род истребляли». «...и взяли Тверь, и убили в ней сына Ярослава. И все города захватили в Ростовской и Суздальской земле за один февраль месяц, и нет места вплоть до Торжка, где бы они ни были» (Тверская летопись).

«Пришел Батый к Киеву с большой силой, с многим множеством воинов своих, и окружили они город, и обступила сила татарская, и был город в великой осаде. Был Батый у города, а воины его окружали город. И нельзя было голоса слышать от скрипенья телег его, от рёва множества верблюдов его, ржания стад коней его, и была вся земля Русская наполнена воинами» (Галицко-волинская летопись).

Недоверие к русской летописной традиции и мода на евразийский «консенсус», переносимый вглубь веков, превратились в составляющие антирусской идеологии.

В современных условиях все эти приобретения требуют пересмотра. Если в недавней истории массовость российской армии всегда создавала проблему противнику, то в современных условиях поставить под ружье несколько миллионов человек – дело немыслимое не только с точки зрения общественных настроений, но и с точки зрения управления. Поставить необученного резервиста в строй – был тот минимум, который давал результаты еще в середине XX в. Но это было связано с тягчайшими потерями (например, почти полностью погибшее в 1941 г. Московское ополчение). Сегодняшний технический уровень военной машины делает резервиста в качестве линейного бойца совершенно бесполезным. Согласование этой массы непрофессионалов с современной техникой и кадровым составом армии потребовало бы невероятных усилий, невероятно сложной машины управления, которая заведомо не могла бы справиться со скоротечностью военных задач. Массовая армия в современных условиях России – заведомая фикция, в особенности при сравнении демографического потенциала нашей страны с демографическим потенциалом, подпирающим нас по всем южным границам. Этого не хотят признать наши генералы, погубившие столько солдат в Чеченской войне и только недавно перешедшие к системным спецоперациям против горских бандформирований.

В то же время массовость российской армии имеет не только непосредственно военное значение. Иван Ильин писал (Манифест Русского движения), что армия – «наше почетное и ответственное, вооруженное и знаменами славы осененное волевое средоточие, *наша армия и наш флот*: наша сила, наша надежда, основа нашего национального существования. Кость от нашей кости, кровь от нашей крови, дух от нашего духа. Мы сами ее составляем. Ее победа – наша победа; ее разложение – наша гибель. Она – воплощение нашей национальной рыцарственности; ограда нашей национальной целостности и независимости. Армия требует воинского качества. Она гасит в душах распушенность, лень и склонность к раздору. Она учит повиновению и ответственности. Она приковывает волю человека к воинской чести, а чувство единства и солидарности – к своей воинской части. Армия невозможна без характера, патриотизма и жертвенности. Ее лозунг: “Жить для России и умереть за Россию”».

Все это выбросить как исторический хлам невозможно, не предав памяти своих предков и той России, которую они нам завещали.

Каким же образом следует сочетать традиционную массовость русской армии с неизбежной элитарностью современных вооруженных сил? Ответ однозначен – только вооружением нации (добропорядочных граждан) оружием самообороны и преобразованием всей системы воспитания подрастающего поколения таким образом, чтобы военная и военно-спортивная игра стали неотъемлемой частью жизни русского общества. Вместе с игрой будет освоено и военное дело. Тогда диверсионно-террористическая тактика будет на национальной территории бессильной, всюду встречая подготовленных к сопротивлению граждан. Когда игра становится профессией, она возводится в ранг искусства. Для армии это означает возникновение на добровольных началах элитного контингента «псов войны» и профессионалов военно-технических специальностей.

Принцип массовости обеспечивается реализацией концепции народ-воин и психологической готовностью к тотальной войне (тотальной, то есть, затрагивающей каждого без исключения – воюет не армия, а весь народ, и не против армии-агрессора, а против народа-агрессора). Принцип элитности – подготовка высокопрофессиональных «асимметричных» стратегий против высокотехнологичной войны («контактные» методы против «бесконтактной» агрессии).

Все это позволяет нации избавиться от страха реальной войны и не впасть в ступор в момент нападения врага. В привычной психологической обстановке врага встретят самодостаточные группы, сыгранные и профессионально подготовленные. Таким образом, спонтанная «теллурическая сила» национального сопротивления с самого начала

приобретет организованный характер. Причем воин-«партизан» будет совершенно неуязвим для разного рода предательских капитуляций и изменнических дипломатических игр. Он с самого начала войны и до ее конца точно знает «настоящего врага»⁷⁰³.

Русский коллективизм – это не парад с тысячами участников. Парады проводятся для генералов и обывателей. Русский коллективизм семейно-артельного типа – в узком кругу, где понимают друг друга с полуслова. Романтика масс «человеческой икры» – не для нас. Это чужая романтика, романтика толпы, которая толком может воплощаться только в бунте. Нам ближе непримиримость и спонтанность испанской герильи.

Если главной опорной единицей классической русской армии был полк, то сегодня пришло время взвода. Только взвод спецназа в состоянии реализовать идею тактического чуда, которое потрясает стратегические порядки противника. Ранее это могли быть вышколенные рыцарской этикой и национальной идеей солдаты вермахта, японские самураи в мундирах империи и... русские партизаны. Собственно вооруженный народ – те же самые «партизаны», сгруппированные во взводную систему из людей, давно живущих по соседству, и чутко понимающих, где настоящий враг. Против такой системы может действовать только аналогичная. Это понял еще Наполеон, требовавший от своих генералов борьбы с партизанами партизанскими методами. Этого не понял Гитлер, санкционировав крайние зверства карателей, которые только ожесточили русское лесное братство и превратили для партизан «настоящего врага» и «абсолютного врага». Этого не поняли военные стратеги США, погубившие во Вьетнаме и свою честь, и десятки тысяч своих солдат, несмотря на подавляющее техническое превосходство. Взаимно вынесенный смертный приговор оказался более существенным со стороны партизана.

Партизанское движение по смыслу своему добровольно и основано на чувстве собственной национальной гордости. С другой стороны, партизан не может обойтись без поддерживающего его командования, обещающего оценить преступные, с точки зрения оккупанта, действия как героизм национального сопротивления. Образ жизни разбойника становится признанным и прославленным.

Партизан остается вне прав регулярных участников войны, а значит, и вне требований определенного рода лояльности по отношению к противнику. Его война тотальна и не принимает во внимание Женевские конвенции. Видимую надстройку партизанского движения можно разгромить, как это сделали американцы в Афганистане, но невозможно победить. Они не могут быть даже военнопленными (американцы так и не решили, что же делать с заключенными моджахедами на базе Гуантамо). Их невозможно отпустить домой по окончании военных действий, как требует международное право, потому что военные действия никогда не кончатся, а если кто-то решит все же, что они кончились и пленных можно освободить, то можно с уверенностью сказать, что вчерашние пленные снова станут партизанами.

Вся массированная пропаганда либеральных СМИ против права гражданина на оружие самообороны лжива от начала до конца, поскольку исходит от заинтересованных лиц – милицейского начальства, привыкшего опираться на произвол в отношении гражданина. Эти отбросы правоохранительной системы просто заражены психологией бандитов, которых они призваны ловить. Им подавай беззащитную нацию против вооруженных до зубов рэкетиоров в погонах, действующих наравне, а то и в прямом сговоре с бандитами. Им не понять, что за оскорбление словом должна существовать угроза смертью, которая может внезапно появиться из дамской сумочки. Они не хотят заниматься сложными формами контроля, а лишь только повелевать, имея на поясе последний аргумент, недоступный добропорядочному гражданину, даже в случае необходимой обороны.

⁷⁰³ Шмидт К. Теория партизана. 1963. [http://ryadovoy.vif2.ru/geopolitika/teoriya_partizana%20\(Shmitt\).htm](http://ryadovoy.vif2.ru/geopolitika/teoriya_partizana%20(Shmitt).htm)

Вооружение народа может создать тот потенциал добровольного призыва, в котором граждан будет привлекать воинское братство, естественный интерес к оружию, воинский дух чести, порядка и служения. Для этого нет необходимости всю жизнь торчать по казармам и гарнизонам. При массовом увлечении военной игрой боевое дежурство будет лишь элементом обычной жизни гражданина⁷⁰⁴.

Насильственный призыв в принципе бесперспективен, как и наемная армия. Первое создает бесполезные, постыдные воинские формирования, второе – истощает бюджет. Обе формы проверены на дееспособность в Чечне и оказались не способными ничего противопоставить партизанской войне чеченских бандитов. В то же время добровольческие формирования «чудо-богатырей», построенные по ротно-взводной системе⁷⁰⁵, смели бы чеченских сепаратистов в один момент. При этом война была бы просто опасной мужской игрой, для которой выделена площадка, где объявлен сезон охоты на бандитов.

Регулярная армия не может противостоять такой же регулярной армии, если та технически более совершенна. Это показали вторжения США в Югославию, Афганистан, Ирак. И Россия должна готовиться к тому, что перипетии мировой политики рано или поздно столкнут ее с технически более совершенной (или более многочисленной) армией. Противопоставить им можно только вооруженный народ, освоивший военное дело. У оккупантов не будет шансов, если они всюду встретятся с национальной гвардией, вытаскивающей из железных ящиков, подвалов и чуланов гранатометы и автоматы.

Необходимо определенное состояние национального самосознания, которое моментально переводило бы нацию с мирного положения на военное. Это достигается системой государственной пропаганды, государственного образования и воспитания. Одно из направлений – правда о войне минувшей и знание о войне, возможной (и даже неизбежной) в будущем. При отсутствии этой правды и этого знания нации грозит неизбежное поражение. В частности такое, которое Россия терпела в Чечне, теряя год за годом и не узнавая новый тип современной войны.

Эпоха массовых армий подходит к концу. Задача российской военной доктрины – начать готовиться к грядущим войнам, отказываясь от старых стереотипов в формировании военной машины государства и нации. Старая армия подлежит расформированию вплоть до устранения от командования прежней генерации высших офицеров и отправки их на покой. Стратегическую задачу – достижение победы над оккупантом или мятежником (о чем даже слова нет в действующей российской военной доктрине) должен решать взвод спецназа и взвод национальной гвардии.

Военное и чрезвычайное положение

Понятие международной и внутренней безопасности не ограничивается только политическим аспектом, т.е. реализацией принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела, нерушимости границ, целостности государств, а также вооруженной защиты и обеспечения государственной безопасности отдельных стран или военно-политических блоков. У каждого государства в этой сфере складывается своя собственная система норм, обеспечивающая его внутреннюю и внешнюю безопасность. Главной основой внутригосударственных режимов является суверенная концепция безопасности государства, отражающая внутриэкономические и политические факторы и принимающая во внимание соответствующие международно-правовые условия сосуществования мирового сообщества.

⁷⁰⁴ Савельев А.Н. Условие русских побед// Русский дом, 2001. №8, Переслегин С. Искусство варвара против аристократизма воина// Отечественные записки, 2002. №8.

⁷⁰⁵ В военной доктрине России 2003 года основной тактической единицей в локальных и пограничных войнах назван батальон, а в ответ на агрессию поставлена задача немедленного ведения наступательных действий отдельными отрядами и автономными группами.

Система законодательства предусматривает такой институт защиты национальной безопасности, как административно-правовой режим, который определяется как установленная в законодательном порядке совокупность правил деятельности, действий или правил поведения граждан или юридических лиц, а также порядок реализации ими своих прав в определенных условиях (ситуациях) обеспечения и поддержания суверенитета и обороны государства, интересов безопасности и охраны общественного порядка специально созданными для этой цели службами государственного управления⁷⁰⁶.

Особо следует выделить административно-правовые режимы, преследующие цели поддержания обороноспособности страны, государственной безопасности, общественного порядка в условиях наступления исключительных обстоятельств, в частности, вооруженного конфликта. Такими режимами, решающими комплексные задачи, являются правовой режим чрезвычайного положения и режим военного положения.

Чрезвычайное положение допускает установленные законом ограничения прав и свобод граждан и прав юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей⁷⁰⁷. Интересно, что такие ограничения имеют целью восстановление законности и правопорядка, устранение угрозы безопасности граждан и оказание им необходимой помощи. Это означает, что источник защиты от угроз находится вне правовых механизмов.

Данный вывод подтверждает и тот факт, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 15) определяет, что «во время войны или иного чрезвычайного положения, угрожавшего жизни нации, любая Высокая Договаривающаяся Сторона может принимать меры в отступлении своих обязательств по настоящей Конвенции только в такой степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с ее другими обязательствами по международному праву. Но в этом случае необходимо информировать в полном объеме Генерального секретаря Совета Европы о введенных ее мерах и о причинах их принятия»⁷⁰⁸.

В соответствии со ст. 88 Конституции РФ чрезвычайное положение вводится Президентом на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Указы Президента о введении чрезвычайного положения должны утверждаться Советом Федерации (п. «в», ч.1, ст. 102 Конституции). Последнее ограничение не позволило правовому механизму сработать во время ввода войск в Чечню в 1994 г., фактически означая, что обеспечение суверенитета России над частью ее территории проводилось вне каких-либо правовых положений. Но даже если Совет Федерации одобрил бы решение Ельцина о вводе войск в Чечню (что было почти невероятным в сложившейся на тот момент ситуации), это вряд ли изменило бы положение дел, поскольку речь шла о широкомасштабных военных действиях на территории собственной страны, которые вообще не могут быть каким-либо образом регламентированы.

Согласно Конституции Российской Федерации составной частью российской правовой системы, наряду с нормами внутреннего законодательства, являются общепризнанные нормы и принципы международного права, а также международные договоры Российской Федерации о сотрудничестве и оказании взаимной помощи в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности вооруженных конфликтов. Но государственный суверенитет ограждает внутреннее

⁷⁰⁶ Розанов И.С. Административно-правовые режимы по законодательству Российской Федерации, их назначение и структура // Государство и право, 1996. № 9.

⁷⁰⁷ Закон РФ «О чрезвычайном положении» от 17.05.91 г. // Ведомости Съезда и Верховного Совета народных депутатов РСФСР, 1991. № 22.

⁷⁰⁸ Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.50 г. // Вестник ННГУ им. Н.И.Лобачевского «Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина в экономической сфере». Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1998.

пространство государства от вмешательства международного сообщества. Если по вооруженным конфликтам немеждународного характера Женевские конвенции вместе с Дополнительными протоколами содержат лишь 20 положений, то по международным конфликтам - почти 500 статей. Право международных вооруженных конфликтов подробно кодифицировано с четко обозначенными положениями и средствами международного контроля, а право конфликтов немеждународного характера, состоящее из небольшого числа правил, сформулировано в общем виде и не имеет установленной законом системы международного контроля.

Но даже в международных конфликтах государственный суверенитет диктует поведение участников конфликтов, полностью отвлеченное от заключенных соглашений. Достаточно привести пример агрессии НАТО против Югославии и агрессии США против Афганистана и Ирака, чтобы продемонстрировать несостоятельность таких международно-правовых гарантий гражданскому населению, как неподверженность военному нападению, запрет на применение оружия, способного причинить чрезмерные разрушения и страдания, запрет на коллективное наказание.

Внутренний конфликт при всех законодательных благопожеланиях не может не отзываться на правах и обязанностях граждан других местностей, а также в РФ в целом. Попытка применять благие намерения во время мятежа в Чечне привели к организации баз террористов в Ингушетии, Дагестане и на других территориях Северного Кавказа, а также к прямому содействию бандитам со стороны множества средств массовой информации и ряда должностных лиц. Умиротворение бандитов натывается на такие правовые положения, как запрет принудительного труда, ограничение свободы совести, свободы вероисповедания и др. (ч.3, ст.5 Конституции РФ).

В этой связи необходимо такое изменение в законодательстве, которое давало бы в полной мере проявить те свойства государства, которые выражены в его суверенном статусе, т.е. прежде всего, в способности объявлять чрезвычайное (и военное) положение, отменяя любые конституционные нормы в отношении тех лиц и организаций, которые посягают на суверенитет и не собираются следовать установлениям, гарантируемым Конституцией не только для граждан, но и для любого человека, оказавшегося на территории Российской Федерации. По сути дела, именно обеспечение этих общезначимых прав, содержащихся в первом разделе Конституции РФ, требует пресечения действия лиц, посягающих на указанные права. Здесь конституционное поле следует считать разорванным – как в случае ведения войны, когда в боевых условиях воспоминания о разных свободах и правах становятся неуместными. Там, где вопрос о жизни и смерти решается каждое мгновение, право вообще отступает.

В условиях нового типа угроз национальной безопасности и в связи с задачами сохранения суверенитета возникает вопрос о дополнении конституционных норм такими положениями, которые позволяли бы реально и оперативно вводить военное положение в условиях антигосударственного мятежа и необъявленной войны спецопераций, подрывающих суверенитет. Необходимой нормой является также запрет на всякого рода амнистии участникам мятежа и их пособникам, поскольку их преступление состоит не в уголовном посягательстве на личность отдельного гражданина, а на личность нации. Это преступление должно рассматриваться как аналог измены государству, совершенное группой лиц.

Амнистия в отношении участников чеченского мятежа в 2003 г. стала примером того, как власть становится соучастником преступления против нации. Очевидная нелепость этого решения была неясна только его инициаторам и привела не к ослаблению террористической деятельности, а к ее эскалации точно так же, как и решение о выводе войск из Чечни в 1996 г., названное практически сразу же «Хасавюртовским сговором» – по месту подписания соответствующих соглашений между генералом А.Лебедем и лидером бандитов А.Масхадовым. Кроме того, национальное унижение состоялось по инициативе власти, добившейся-таки осуждения полковника Буданова, обвиненного в

преднамеренном убийстве чеченской девушки. Посланный на необъявленную войну офицер оказался обвиненным в убийстве, на которое он должен был быть готов как защитник своей страны. Убийство на войне было объявлено противоправным, а участие в бандформированиях при недоказанности совершения личного преступления – неподсудным.

Неготовность власти и общества к пониманию смысла современного военного конфликта в Чечне связана с множеством догм, внедряемых в сознание граждан средствами массовой информации. Гуманистический миф не позволял называть войну войной, мятеж мятежом. Даже чеченских бандитов долго именовали просто сепаратистами, а их главарей – полевыми командирами. Неосвоенность пространства смыслов, ведущих к здравому пониманию задач национальной безопасности, не позволило ввести в Чечне ни чрезвычайного, ни военного положения. Реальные условия войны не остановили имитаторов демократического процесса, организовавших в 1995 году в Чечне кампанию по выборам в депутаты Государственной Думы⁷⁰⁹.

Многочисленные жертвы Чеченской войны и хроническая опасность сепаратизма должны привести российские власти к пониманию того, что военное и чрезвычайное положение должны стать действующим инструментом внутренней политики и использоваться в условиях кризиса решительно и без оглядок на мировое общественное мнение.

Более того, сегодня различие между военным и чрезвычайным положением практически исчезает, поскольку современная война перестает походить на прежние типы войн. И одновременно понятие о безопасности государства стремится к традиционному, когда военная сила применялась во всяком случае внутренних нестроений, а воинство было государством в сокращенном виде. Пока не государство не будет понято как воинство, безопасность нации находится под вопросом. Пока не действуют режимы чрезвычайного и военного положения, у нации нет защиты ни против внешнего врага, ведущего тайные операции против России, ни против внутреннего врага, готового разорвать государство на куски и разорить его.

Ситуация чрезвычайного положения ставит перед государством вопрос о способах подавления мятежей, превращающихся в характерный признак вторжения иностранных сил в российское культурное, информационное, властное пространство. Попытка выделить специальный тип войск (внутренние войска) становится неадекватной реакцией бюрократии на вызовы национальной безопасности. Вместо четкого разграничения полицейских и армейских операций их начинают смешивать, фактически создавая мощный инструмент угрозы в адрес самой нации.

Изменения, внесенные в политический курс Кремля военной доктриной 2003 года, диктуют дальнейшую трансформацию военной организации общества – ликвидацию внутренних войск и создания регламентов действия армейских подразделений против внутреннего врага в режиме чрезвычайного и военного положения.

Духовно-нравственные проблемы войны и безопасности

Н.Бердяев в свое время бросил обвинение большевикам: «Когда нация с нацией ведет войну, вы делаетесь кроткими вегетарианцами, вы боитесь крови, вы призываете к братству. Но когда удастся вам превратить борьбу наций в борьбу классов, вы становитесь кровожадными, вы отрицаете не только братство, но и элементарное уважение человека к человеку. В исторических войнах народов никогда не бывает такого отрицания человека, как в революционных войнах классов и партий»⁷¹⁰.

⁷⁰⁹ В результате этих выборов голосами мятежников и их пособников, будто бы собранных в избирательные урны, депутатом от «партии власти» «Наш - Дом Россия» был избран В.Зорин, затем возглавивший думский Комитет по делам национальностей.

⁷¹⁰ Бердяев Н.А. Философия неравенства...

Впоследствии открытый официозный пацифизм компартии подорвал веру нации в возможность справедливых войн, а тайная классовая война за мировое господство стала причиной жестокого противодействия и поводом к обвинениям, нашедшим сочувствие и среди большинства граждан советской страны.

Ограниченность марксистской теории состояла в зауженности мировоззренческих и методологических ориентиров, преувеличении роли социально-классовых антагонизмов на базе частной собственности, однолинейности формационного подхода к истории с позиций экономического и политического детерминизма, абсолютизации роли революционного насилия в истории, ошибочности большевистской концепции мировой революции и революционной войны, нетерпимости к западным и иным немарксистским теоретическим взглядам на проблемы войны.

Переориентация социально-философского учения о войне с классово-революционных, партийно-идеологических принципов на общечеловеческие, цивилизационно-культурные и геополитические ценности и реалии в значительной степени разбалансировали отечественную военную доктрину, которая потеряла целостность, прежде всего в общественном сознании. Исследование сущности войны в современных условиях было подменено рассмотрением задач предотвращения войны, гуманистического содержания воинской деятельности, соотношения политических и военных средств и способов обеспечения мира, миротворческой роли вооруженных сил, положения и роли человека в современной войне.

Гуманистические ценности вводятся в теорию войны утверждением, что человечество подошло к тому, что война уже не может быть разумным средством достижения политических и иных целей; что война утратила свою прежнюю функцию становления государств как исторических тел, функцию показателя напряженности динамики истории, патриотизма и мужества участвующих в ней людей; что военно-технические средства также исчерпали свою прежнюю функцию разрушения, уничтожения, поражения противника и сегодня могут и должны выступать лишь в роли сдерживания, миротворчества, политического обуздания агрессоров. Речь идет даже о «культе ненасильственных форм жизнедеятельности»⁷¹¹.

Война, как мы видим, вообще выводится из сферы разумного выбора государственной политики и рассматривается как острая стадия спонтанного конфликта, ключевым признаком которого считается массовое применение средств вооруженного насилия. Но из такой схемы определения состояния войны выпадают информационные войны, так называемая «холодная война», составившая содержание целой эпохи, «война цивилизаций» как одна из доктрин межгосударственных конфликтов современного мира. Главное, как нам представляется, выпадают ключевые понятия – суверенитет и нация (национальная безопасность).

Бердяев пишет, что «демократическое требование, чтобы цели войны и смысл войны были понятны всем участникам войны, чтобы война была проведена через всеобщее избирательное право, чтобы каждый солдат свободно и разумно решал, хочет ли он воевать и имеет ли смысл война, есть революционно-рационалистическая нелепость, чудовищное непонимание природы войны и природы войска». «Ваш пацифизм есть отрицание зла, нежелание знать зло, желание устроиться со злом так, как будто бы зла нет. И потому, никогда вы не достигнете ни всемирного братства, ни вечного мира. Пацифизм ваш окончательно истребляет рыцарские начала, рыцарски-воинствующую борьбу со злом». «Война говорит о самобытной исторической действительности, она дает мужественное чувство истории. Пацифизм есть отрицание самостоятельности исторической действительности и исторических задач. Пацифизм подчиняет историю

⁷¹¹ Шахов М.И. Новые философско-мировоззренческие и методологические ориентиры теоретического анализа войны. Национальная электронная библиотека, 1998. <http://www.nns.ru/analytdoc/konf7.html>.

отвлеченному морализму или отвлеченному социологизму. Он срывает историю до её духовно-реального конца»⁷¹².

Отрицание войны есть также и отрицание государственной символики, в которой прежние победоносные войны или катастрофические поражения осеняют текущую политику мистическим благословением. То есть, призыв к забвению войн является антигосударственным по своему смыслу.

Важным для государственности является нравственное оправдание справедливой (т.е. соответствующей духу нации) войны, которое не может не решать проблемы жизни и смерти. И об этом также пишет Бердяев: «...физическое убийство во время войны не направлено на отрицание и истребление человеческого лица. Война не предполагает ненависти к человеческому лицу. На войне не происходит духовного акта убийства человека. Воины — не убийцы. И на лицах воинов не лежит печать убийц. На наших мирных лицах можно чаще увидеть эту печать. Война может сопровождаться убийствами как актами духовной ненависти, направленной на человеческое лицо, и фактически сопровождается такими убийствами, но это не присуще войне и её онтологической природе. Зло нужно искать не в войне, а до войны в самых мирных по внешнему облику временах. В эти мирные времена совершаются духовные убийства, накапливаются злоба и ненависть. В войне же жертвенно искупается содеянное зло. В войне берет на себя человек последствия своего пути, несет ответственность, принимает всё, вплоть до смерти»⁷¹³.

Именно в войне раскрывается предел ответственности личности, которая в обычной мирной ситуации может вообще стремиться к минимизации своих контактов с государством или к забвению нации в себе самой. Но в условиях войны раскрываются самые глубинные свойства личности, приготовившейся к смерти, а потому отыскивающей в глубине души государство и нацию, и самый потаенный выбор между добром и злом.

Бердяев пишет: «И в духовной природе войны есть своё добро. Не случайно великие добродетели человеческого характера выковывались в войнах. С войнами связана выработка мужества, храбрости, самопожертвования, героизма, рыцарства. Рыцарства и рыцарского закала характера не было бы в мире, если бы не было войн. С войнами связано героическое в истории»⁷¹⁴.

Достоевский, с неприязнью относившийся к рыцарству, оценивал духовный аспект войны почти таким же образом, говоря, что «без крови и войны загниет человечество»⁷¹⁵. Для Достоевского война есть противопоставление отвратительным явлениям «загнившего» общества: «Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать, нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять»⁷¹⁶. «Не всегда надо проповедовать один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а иногда и в войне оно есть»⁷¹⁷. «Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех почти (кроме разве войн междоусобных), — война есть процесс, которым *именно*, с наименьшей тратой сил, достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. И чем лучше теперешний мир между цивилизованными нациями — войны? Напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда рождает жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное — умственный застой. ...буржуазный долгий мир, все-таки, в конце концов, всегда почти зарождает сам

⁷¹² Бердяев Н.А. *Философия неравенства...*

⁷¹³ Там же.

⁷¹⁴ Там же.

⁷¹⁵ Собрание мыслей Достоевского. М., 2003. С. 337.

⁷¹⁶ Там же. С. 330.

⁷¹⁷ Там же. С. 334.

потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, – словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма»⁷¹⁸. В войне воссоздаются внутренние причины национального единства и оправдания государственной иерархии: «Война есть повод массе уважать себя, призыв массы к величайшим общим делам и к участию в них... Правом умереть за выгоды отечества, всех, самые низшие возвышаются до самых высших и становятся им равными как люди»⁷¹⁹.

Л.А.Тихомиров продолжил мысли Достоевского («Парадоксолист»), выступавшего против «дотолстовской толстовщины», указывая на опасные тенденции общественного сознания в период русско-японской войны, аналогичные тем, которые были за четверть века до того в период русско-турецкой войны: «Размягченное состояние умов, дряблость чувства, отвращение от всякого напряжения энергии вообще, какое-то "обабленное" настроение, создали почву для принципиального отрицания всякого действия "силой", и, в частности, отрицание войны, в резкой дисгармонии с запросом истории на мужскую доблесть. Хуже всего то, что эта рыхлая псевдогуманность, отрицание силы и активности, стали уже достоянием многочисленных слоев среднеобразованной толпы. Пока антисоциальная идея остается личным парадоксом взбалмошного, или даже гениального, ума, – беда не велика, и из парадокса может даже сверкнуть какая-нибудь искорка действительной истины. Но когда антисоциальная идея становится верованием толпы, – она делается опасной. Толпа не знает многогранности истины. Если среднее общество упрется лбом в какую-нибудь фальшь, то уж потом разве какие-либо страшные бедствия способны снова вразумить его. Это внутреннее опустошение ума и чувства опаснее всяких внешних вражеских нашествий». «Вера в то, будто бы война есть "зло" и "варварство", распространилась в среднем образованном обществе до того, что доросла до несокрушимой пошлости. Со всегдашней нетерпимостью опошленного верования, это отрицание войны стало уже воинствующим и готово забрасывать камнями всякий проблеск сознания всей важности "войны"...»⁷²⁰.

Сущность войны состоит не в убийстве и не в торжестве зла. Даже напротив, война вскрывает скрытое зло и предоставляет человеку ясный выбор между добром и злом. Вялость и дряблость содействуют злу – это ясно показывает война: «в войне – самой даже вредной и безнравственной – есть всегда один такой элемент, который сам по себе хорош и которого нет во вредном и безнравственном мире. Это именно элемент силы, активности, способности к борьбе. Между тем вся жизнь человека есть борьба. Способность к ней, это – самое необходимое условие жизни. Конечно, силу и активность можно направить не только на добро, но и на зло. Но если у какого-либо существа нет самой способности к борьбе, нет силы – то это существо ровно никуда не годится, ни на добро, ни на зло. Это нечто мертвенное. А для человека нет ничего противнее смерти, отсутствия жизни. Зло – безнравственно; но пока человек имеет силу, жизнь, то как бы вредно она ни была направлена, все-таки имеется возможность и надежда пересоздать злое направление и направить данную силу на добро. Если же у человека нет самой жизненной силы, то это уже почти не человеческое существо. Никаких надежд на него возлагать нельзя. Если же он, своей мертвенностью, заражает, сверх того, и окружающих, то не может быть на свете ничего более вредного и противного. В дурном мире – именно это и происходит, а в самой плохой войне никак не может быть. Когда идет война, мы

⁷¹⁸ Там же. С. 334–336.

⁷¹⁹ Там же. С. 337.

⁷²⁰ Тихомиров Л.А. О смысле войны// Христианство и политика

видим пред собой все-таки живых людей, и, если это даже разбойники, то, по крайней мере, не трупы. Из двух зол - все же лучше первое».

В войне решается судьба исторической нации – будет ли ее «проект» представлен в мире или она сойдет с исторической сцены, не сумев себя защитить. Именно великие нации, имеющие свою идею для человечества, и являются причиной войн, говорит Тихомиров, – они не уступают силе, подкрепляющей иные идеи. Великая нация решается на войну во имя своей правды, своего цивилизационного типа. Если же чувство правды перестанет жить, то великая нация умерла для человечества. «Война, таким образом, имеет смысл очень глубокий, который делает обязательным уважение не к убийству, не к истреблению, но к исторической роли силы». «Этой исторической роли силы не должен забывать ни один народ, который имеет историческую роль, миссию, как говорится. Мелкие, внеисторические, народы могут жить, забывая значение войны: все равно не они будут устраивать человечество, а их самих кто-нибудь будет устраивать. Но всякая нация, которой дано всемирное содержание, должна быть сильна, крепка и не должна ни на минуту забывать, что заключающаяся в ней идея правды постоянно требует существования защищающей ее силы».

Отец Валентин Свенцицкий – один из ярких церковных публицистов 20-х годов XX в., принявший сан священника в сентябре 1917 г., писал: «Христианство принципиально войны не отрицает. Не всякая война является злом с христианской точки зрения. Может быть такая война, благословить которую не только есть “компромисс”, а прямой долг Христианской Церкви»⁷²¹.

Понимание духовного смысла войны позволяет понять и смысл власти:

«Власть – это организованная сила, покоящаяся на определенных нормах, на законе, который является минимумом нравственности. Эта организованная сила – необходимое условие бытия народа, еще не организованного в духе и истине Церковью. Поэтому – она от Бога.

Но власть государства невозможна без вооруженной защиты. Поэтому апостолы, благословляя власть, как святую силу в историческом процессе, – тем самым благословляли и военную силу, которая служит ее основой.

Если бы не было организованной законом власти, человеческое общество превратилось бы в дикую анархию, и если бы не было «войска», люди вооружились бы как разбойничьи шайки. Это было бы гибелью для мира, а значит, и для Церковного дела.

Вот почему, по апостолу, представители власти не напрасно носят меч. Временное злоупотребление этим мечом не меняет положительного значения власти в историческом процессе. В принципе власть остается “от Бога”, потому что в общем она является как бы преддверием к тому внутреннему единству, которое дается Церковью. Если государство не может создать из людей живого организма, ибо живой организм требует не механического соединения людей, а внутреннего, духовного, мистического их соединения, что и осуществляется в Церкви, если государство не может выполнить этой высшей задачи, то все же оно может объединить людей для совместной культурной жизни и обеспечить дальнейшее развитие общества.

Признав всякую власть от Бога, апостолы тем самым признали от Бога и вооруженную силу, являющуюся основой государственного бытия. Признали, потенциально, войну, как неизбежный исторический факт.

...Иного способа защитить свое бытие, как только силой оружия, у государства нет».

Вопреки бюргерской безопасности, «спасающей животишки» и подсказывающей: «не убий, да неубитым будешь», христианская нравственность ищет смысл в действии – даже в таком страшном, как убийство: «Совершенно ясно, что под убийством, запрещенным Богом, разумеется такое убийство, которое было выражением злой воли

⁷²¹ Свенцицкий В., свящ. Война и Церковь. Ростов на Дону, 1919., цит по Свенцицкий В. Война и церковь// Мир божий, 2002. №1, С. 57–64.

человека, - его “нелюбви” к ближнему. Христос, расширив понятие “ближнего”, включив в него и “врагов”, естественно, расширил и понятие заповеди «не убий. Но, однако, расширил все же на основе принципа любви. Убийство и с христианской точки зрения осталось грехом исключительно как нарушение всеобъемлющей заповеди о любви к ближним.

В убийстве всегда полагается цель: “уничтожение человеческой личности”. На войне целью является победа, а уничтожение жизни далеко не всегда обязательное средство для достижения этой цели. ...Если “убийство” грех, потому что нарушает заповедь о любви, то тем более только та война грех, которая нарушает этот высший принцип любви. Другими словами: не всякая война грех, а лишь та война, которая преследует злую цель, ибо моральное значение войны определяется тем, во имя чего стремятся к победе».

Убийство может быть и во спасение жертвы от преступника. В этом случае убийство не есть проявление «злой воли». И даже более того, не защитивший ближнего и остановившийся перед преступником, приняв его за «ближнего», сам становится соучастником преступления. Имея такую возможность и не убив преступника ради спасения жизни невинных, человек сам совершает преступление. Таким образом, отказ от защиты Отечества под предлогом отказа от греха убийства является преступлением не только перед государством и нацией, но и перед Церковью.

Наивному представлению о том, что войну можно изжить точно так же, как разного рода гуманисты рассчитывают изжить зло на земле и обеспечить людям гарантированную безопасность, Достоевский противопоставляет христианскую эсхатологию: «До Христа и не перестанет война, это предсказано»⁷²². Точно такую же неизбывность войны видит и Бердяев, для которого война связана с обострением эсхатологических чувств и потому именно в войне проясняется религиозное оправдание истории, ее трагизма: «Христианские апокалиптические пророчества не говорят нам о том, что под конец не будет войн, будет мир и благоденствие. Наоборот, пророчества эти говорят о том, что под конец будут страшные войны. Апокалиптическое чувство истории противоречит вечному миру»⁷²³.

Война до предела обостряет проблематику, связанную с духовно-нравственными ресурсами нации. В мирное время они также сохраняют свою актуальность уже в сфере отношения к задачам обеспечения национальной безопасности, где также отражаются «великие добродетели», героическое – все, что в конечном итоге обуславливает либо будущую военную победу нации, либо ее защищенное положение и суверенитет ее государства.

Современный белорусский исследователь проблем национальной безопасности В.И.Бовш пишет: «Национальная безопасность соотносится и тесно взаимодействует с национальным сознанием как исторически сложившейся, устойчивой специфической формой общественного сознания, функционирующей в жизнедеятельности определенной национальной общности людей. Содержанием национального сознания служит отражение реальных условий ее существования, в том числе практики общения с другими народами и степени использования их социального, политического, интеллектуального и нравственного опыта, а также цивилизованных норм международных отношений и возможных отклонений от этих норм. Вполне понятно, что идея обеспечения национальной безопасности, чтобы материализоваться, то есть приобрести вид системы конкретных практических мер, должна пройти через национальное сознание. Она должна быть осознана как практическая необходимость, как императив национальной жизни»⁷²⁴.

⁷²² Там же, с. 338.

⁷²³ Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письмо одиннадцатое. О войне.

⁷²⁴ Бовш В.И. Национальная безопасность и историческое сознание нации// Евразийский вестник, 2001. №20.

Как и во время войны, нация сплачивается, когда серьезным испытаниям подвергается ее национальная безопасность. Причем, речь идет не только и не столько о военных механизмах сплочения. Информационная, духовная агрессия также должна быть прочувствована нацией и вызвать адекватную гражданскую реакцию, соответствующие оценки тех или иных информационных проектов или религиозных инициатив.

Духовным содержанием национальной безопасности становится постоянная готовность к мобилизации – патриотизм, позволяющий нации быть начеку и замечать все опасные изменения окружающего мира и собственного состояния. Для патриотизма нелепо стремиться к войне. Как писал М.Н.Катков, «истинный и разумный патриотизм состоит в том, чтобы ограждать Отечество от опасности и тем всего вернее предотвращать ее»⁷²⁵; «...мы не имеем никакого основания уступать другим народам привилегию на предусмотрительность, благоразумие и просвещенный патриотизм, который держит в резерве крайние жертвы, а не выдвигает их вперед, и старается действовать так, чтобы на них не рассчитывать»⁷²⁶.

Условием поддержания национальной безопасности является консерватизм национального духа, который до определенной степени сдерживает реформаторские порывы правительства и сам не проявляет стремления к реформам. Именно такое состояние характерно для русской традиции: «Мы знаем из нашей истории, что общественные силы были всегда у нас силами хранения и упора и что, напротив, сила движения исходила от государственной власти. В общем ходе нашей истории государство было постоянно силой разлагающей, движущей, *перестанавливающей* *обычай*, народ и общественные силы действовали всегда оборонительно и упирались, чтобы жизнь не потеряла своих основ, без которых не имеет смысла никакое движение»⁷²⁷.

Когда в обществе недостаточно консерватизма, роль удерживающего обязано брать на себя государство, прежде всего, чтобы общественная свобода не превратилась в анархию, а служило бы только скреплению национального единства. «Государство вооружено, но не против свободы, которая только в ограде его и возможна: оно вооружено против других государств как вне, так и внутри него. Власть по природе своей не может терпеть государств в государстве, и ее прямое назначение — пресекать и возбранять все, что имеет такой характер. Собирая и сосредоточивая власть, государство тем самым создает свободное общество. Власть над властями, Верховная власть над всякой властью – вот начало свободы. Что прямо или косвенно нарушает свободу, то противно и государственному началу, что может принять характер насилия, то должно быть на зоркой примете и правительство обязано предотвращать или пресекать всякое вынуждение не на законном праве основанное. При сбивчивости понятий и неспособности правительств возникают роковые и гибельные ошибки: смешивается свобода с тем, что противно ей — с вынужденным и насилием и правительство, думая угодить свободе, организует и узаконивает то, что ее подавляет, а вместе с тем вносит смуту в государство»⁷²⁸.

Для современных российских условий консервативная роль государства представляется ключевой в деле обеспечения духовно-нравственных основ национальной безопасности. Прежде всего, это касается системы средств массовой информации, систематически разлагающих национальное единство и унижающих национальное достоинство России. По этому поводу Катков писал: «Охраняя общественные пути от физического насилия не обязано ли то же правительство охранять общество и от насилий нравственных. Систематический обман не есть ли нравственное насилие? Может ли быть терпимо тенденциозное обращение к дурным страстям, к невежеству, к людской глупости все, что клонится, чтобы сбить с толку темные массы и овладеть незрелыми умами? Книга

⁷²⁵ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002, С. 126.

⁷²⁶ Там же. С. 127.

⁷²⁷ Там же. С. 111.

⁷²⁸ Там же. С. 128.

по содержанию и характеру своему назначаемая для круга людей, способных критически отнестись к ней, имеет иное значение, чем листок газеты, который обращается ко всем без различия, всюду вторгается и всеми читается. Может ли правительство оставлять уличное слово без контроля и отдавать малых слабых и темных людей во власть всякому речистому шарлатану?»⁷²⁹

Речь идет о выборе между национальной и антинациональной политикой, который составлял проблему для всех государственных режимов России XX века. Поэтому Россия то и дело оказывалась на грани между жизнью и смертью, и до сих пор невозможно с уверенностью говорить о ее будущем. Ввиду таких обстоятельств обеспечение национальной безопасности требует закрыть главную проблему – недопущение в России враждебных ей институтов, существующих под прикрытием догматических доктрин о частной свободе. Внутренний враг в России слишком силен, чтобы не обращать на него внимания и соглашаться на его паразитизм и свободу его своекорыстной воли. С этим внутренним врагом Россия несовместима, поскольку он не желает быть русским и не любит русскую Россию, стремясь сделать из нее некую «новую Россию», во всем различную с прежними традициями.

Россия в отношениях с Западом сталкивается с миром, где политика автономна, а тот, кто занимается политикой «должен знать, что война или угроза войны служит нормальным политическим средством и что отвергать этот специфический факт автономности – значит под прикрытием благонамеренности и идеализма делать политические отношения еще более разрушительной для общества силой»⁷³⁰. На войне «правила приложимы лишь в той мере, в какой они не препятствуют победе, и если одна из сторон терпит ущерб, она без малейшего зазрения совести отрекается от таких правил войны. Они фактически имеют силу до тех пор, пока нет войны. Поэтому единственное правило войны – побеждать»⁷³¹.

Но если в войне нет морали, то неизбежен был бы религиозный запрет на всякую войну. Таким образом, война отделяется от морали лишь в секуляризированном обществе. Там, где духовная традиция хотя бы в какой-то мере сохранена, нации не все равно как побеждать. Побеждать формально, уничтожая душу нации фактически – нелепо. Такая победа смертельна для победителя. От побежденного в этом случае несложно подхватить духовную заразу – как это произошло с Западом после победы над гитлеровской Германией.

Запад также стремится к тому, чтобы в войне была мораль, а точнее, какой-нибудь ее суррогат. «Несокрушимая справедливость», «Шок и трепет» американской интервенции в Ираке основаны на тотальной пропаганде миссии по спасению мира от диктаторов, овладевающих оружием массового уничтожения, и оправдании своих действий повсеместным утверждением свободы личности. Спасения от одержимых такой псевдо-моралью – вовсе не в аморализме войны, которую пытались вести арабские экстремисты-шахиды. Такой ответ оказался безрезультатным. Дух победы – в нравственных установках нации.

Русское историческое наследие дает русской нации уникальный нравственный капитал, который в войне легко реализуется тем, что защита Отечества является одновременно и защитой ядра цивилизации, продуцирующего и хранящего нравственные нормы. Для оккупации России не может быть никаких оправданий, измена России, бесспорно, сопровождается нравственным падением, агрессия против России – бесспорно аморальна.

⁷²⁹ Там же. С. 389–390.

⁷³⁰ Эллиуль Ж. Политическая иллюзия. М.: NOTA BENE, 2003. С. 165.

⁷³¹ Там же. С. 146.

Глава 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА

Марксистское государство

Отношение некоторых ранних либералов, анархистов, социалистов к ценности государства объединяет его оценка как фактора, препятствующего самоутверждению личности, порабащающего людей, сковывающего их свободу. Названные идеологи подчеркивали, что государство, чуждое и враждебное индивидам несовместимо с правами и свободами, со свободой общества в целом. Тезис Энгельса гласит: «Когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать»⁷³².

Хрестоматийные марксистские описания государства говорят о том, что оно в первую очередь «есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим» («Гражданская война во Франции»)⁷³³. По мнению Энгельса, публичная власть, государство суть «органы, которым поручается его (закона) соблюдение» («К жилищному вопросу»)⁷³⁴. С точки зрения Маркса, государство – орган, стоящий над обществом («Критика Готской программы»)⁷³⁵. Наконец, о государстве в буржуазном обществе Маркс и Энгельс писали, что «это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии» («Манифест Коммунистической партии»)⁷³⁶.

Идея естественного состояния, возникшая среди мыслителей Просвещения, оказалась близкой и Марксу, который использовал ее для своих экономических построений. Естественное состояние разрушается, когда вещи начинают приобретать социальный статус. Они начинают поработать человека, скрадывая его свободный труд. Государство, как подобие вещи, поработает человека, становится своеобразным депозитарием отчужденных вещей и отношений. Поэтому оно противоестественно и связано с определенным этапом в развитии человечества. Преодолев этот этап, человечество естественным образом избавится от государства.

Государственная власть, по Марксу, ее физическое воплощение – это чиновники, армия, администрация, судьи. В марксизме государство выполняет две функции – классового господства и «выполнения общих дел общества». С одной стороны, оно выражает волю и интересы экономически господствующего класса, с другой – официально представляет гражданское общество. Государство характеризуется как всеобъемлющая, универсальная политическая организация классового общества, его политическая оболочка и устройство. При этом все общество в определенную эпоху представляет только правящий класс: рабовладельцы-граждане, феодальное дворянство, буржуазия. Именно он создает аппарат усмирения классовых противоречий и угнетения одним классом всех остальных.

Маркс в известном письме Ведемейеру (от 5 марта 1852 г.) обозначает свои научные заслуги: 1) существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства; 2) классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата; 3) эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. В силу классовой сущности государства по Марксу это означает, что государство возникло, обязательно станет государством диктатуры пролетариата, а после и в результате осуществления этой диктатуры отомрет. Причем конец государства оказывается связан с переходом от управления людьми к управлению вещами. Но это возможно, как следовало бы рассудить, только в том случае, если отдельный индивид оснащен всеми средствами производства, чтобы осуществлять полный производственный цикл и сбыт продукции. Что мыслимо в «первобытном

⁷³² Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения в 3 т. Т. 3. М., 1979. С. 33.

⁷³³ Там же. Т. 2. С. 203.

⁷³⁴ Там же. Т. 2. С. 394.

⁷³⁵ Там же. Т. 3. С. 22.

⁷³⁶ Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произведения в 3 т. Т. 1. М., 1979. С. 109.

коммунизме», но крайне затруднительно представить для развитого общества. Чтобы все-таки представить такое состояние общества, надо представить его без индивидов – общество поглощает индивидов и само становится индивидом, обладающим всеми производственными циклами и организующими потребление продукции в самом себе.

Марксизм говорит, что государство возникает с расколом общества на классы. И конец государства приближается вместе с развитием производства, которому государство становится помехой. Новое общество организует правление вещами без управления людьми, которые будут взаимодействовать в свободной и равной ассоциации, что и отменит отмирающее государство. Некое общественное «желе», когда каждый индивид присутствует везде и нигде (и потому равен любому другому индивиду) заполнит мир вещей, овладев им.

Марксизм намерен заменить государство некоей организацией, построенной на всеобъемлющем «техническом» регулировании. Государство как аппарат насилия отомрет, но останется общественная власть. Она будет реализована не политически, не в виде обособленного аппарата, а в «совокупном, тотальном движении общества в целом, которое осуществляет принуждение к нормам своего общежития без специального аппарата насилия, будучи целиком само по себе таким аппаратом»⁷³⁷. И здесь марксизму ничего не остается, как вернуться к старым идеям романтиков об обществе-организме, в котором технический аппарат управления представляет просто один из органов. Отличие от романтизма здесь состоит в определенном биологизме («даже физические различия между людьми трудно угадать»), а также в отказе от национальной дифференциации. Для романтиков социальный организм может быть только национальным и духовным, для марксистов – только общечеловеческим и психобиологическим, причем подобным некоему мыслящему океану, в котором нет функционально выделенных частей с собственными человеческими особенностями.

В марксизме разделяется общественная власть и государство⁷³⁸. Под общественной властью понималась власть части общества (политическая власть), выступающая от имени всего общества, а под государством – аппарат насилия. Развитие государств, увеличение их населенности, внутренних и внешних противоречий наращивает мощь не только аппарата насилия, но и политической власти. Более того, политическая власть грозит поглотить все общество и госаппарат. Отрицая такую перспективу как позитивную, марксизм требует отказать политике в захвате новых областей, до этого неполитизированных. В то же время марксизм никак не требует ограничения госаппарата, который способен подавлять политику. Именно это кажется марксистам приближением к «техническому» управлению, но на деле приводит к тотальной бюрократизации жизни. Общество, которое марксизм намерен спасти от политики, в руках марксистов очень быстро умерло бы, лишившись одной из важнейших своих характеристик. На место общества придет биологический механизм, слившийся с производственной системой. Разумеется, все процессы в таком обществе должны полностью замереть и общество умрет. В действительности общество оказывается сильнее марксистского человеческого «желе», а человек политический – жизнеспособнее марксистского человека-«винтика».

Следуя логике Маркса несложно прийти к мысли, что государство в условиях максимального развития классовых и межгосударственных противоречий, лишает все эксплуатируемые классы общественного выражения – распыляет их. Поглощение государства означает переход аппарата в полную зависимость доминирующего класса, превращение его в партию этого класса. Что отличает фактическую диктатуру правящего класса от демократической республики, где власть класса осуществляется косвенно – через подкуп чиновников или союз правительства и биржи. Энгельс полагал, что государство может получать определенную автономию только в условиях равновесия сил борющихся классов. Распыление классов воплотилось как раз в попытке реализации

⁷³⁷ Ленин В.И. Государство и революция.

⁷³⁸ Энгельс Ф. Анти-Дюринг.

марксистской утопии – вопреки марксистской теории полновластие доминирующего класса в бюрократическом государстве оказалось практически ближе марксистам, чем государство, ослабленное бюрократией. Одновременно господство бюрократии оказалось марксистам дороже господства пролетариата. Практика, таким образом, подправила теорию – бюрократизация приближала к «обществу-желе» быстрее, чем политическое лидерство пролетариата, которое в истории так и не состоялось.

По сравнению с бесклассовым обществом в государстве, как его видят марксисты, власть возникает не из авторитета верхушки родового клана, а из занимаемой должности в аппарате насилия. Но тогда разрыв между общественной и государственной властью можно объяснять только неэффективностью политической власти, когда бюрократия сама образует отдельный слой, имеющий обособленные интересы по отношению к правящему классу. Именно такова ситуация не только в тоталитарном «пролетарском» государстве, но и в демократической республике, где правящий класс вынужден осуществлять свою волю через подкуп чиновника. Следовательно, давление подвластных классов на правящий обуславливает расцвет коррупции. Госаппарат в демократической республике становится враждебным правящему классу, который вынужден идти дальше по пути либерализации и минимизации государства – от политической диктатуры, воплощаемой во всевластии сборщика налогов, к диктатуре золотого тельца. Эти выводы, прямо следующие из марксизма, необходимо признать верными. Для этого достаточно увидеть взаимоотношения политического и бюрократического класса, из которых формально первый берет верх над вторым через коррупцию в демократической республике, а второй над первым – в условиях коммунистической диктатуры. Марксизм делает выбор в пользу диктатуры, а либералы – в пользу коррупции. Но есть и третья точка зрения на государство, говорящая, что оба варианта неприемлемы для полноценной жизни нации, о которой ни марксизм, ни либерализм, в общем-то, и не вспоминают.

Указанное следствие марксистской теории демонстрирует возможность антигосударственного альянса между правящими и подвластными слоями общества, осуществляющими совместную атаку на государство. Вместе с пролетариатом буржуазия в какой-то момент может провозгласить лозунги борьбы с государством как таковым и согласиться с тем, что государственную машину надо разбить и сломать, а не пытаться захватить. Не случайно Ленин декларировал поддержку демократической республики, как наилучшей для пролетариата формы государства при капитализме. Таким образом, могут сомкнуться (и в современных условиях смыкаются, особенно в России) интересы космополитичных работодателей и интернационально настроенных работников. Будучи заинтересованными друг в друге, они могут составить совместную претензию на политическую власть, которая должна отменить политическую власть вообще и сохранить лишь власть денег. И это будет вполне в духе марксистской теории, которая говорит, что примирение классовых противоречий, собственно, и означает конец государства. Правда, классические марксисты хотят такого примирения только через уничтожение классов как таковых, через пролетарскую революцию.

Негативное отношение к государству логично приводит марксистов к идее всемирного братства народов, которые должны в будущем освободиться от гнета государства. Вместе с тем, мировые и всеевропейские войны XIX–XX вв. показали, что пролетарии вовсе не проявляли склонности (а тем более склонности возрастающей, согласно воззрениям марксистов) к интернациональной идее и стремились лишь к улучшению своих условий труда в рамках сложившейся системы производства, в рамках данной национальной культуры (также и культуры производственной).

Интернациональный характер законов производственной жизни рассматривался марксистами в отрыве от культурно-исторического контекста, а значит, превращал представления об экономике в чисто абстрактные. В практике социалистических государств это привело к отчуждению человека от определения задач и результатов конкретного производства. Абстрактная интернациональная идея возвысилась над

конкретностью нации, общемировые производственные универсалии – над ее духовной жизнью. Тем самым бытию конкретной политической системы – системы социализма, конкретной государственной системы, конкретной производственной системы были положен предел, ибо ее источники в религии, истории и культуре были основательно перекрыты.

Ленин практически лишь воспроизвел марксо-энгельсовское изображение государства в качестве машиноподобного сооружения. Он буквально переписал у Энгельса фразу о том, что: «Государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим» («Пролетарская революция и ренегат Каутский») ⁷³⁹. Чаще всего государство виделось ему лишь инструментом господства определенного класса, специальной организацией, создаваемой этим классом с целью подавления своих противников («Государство и революция») ⁷⁴⁰.

Марксизм как доктрина опирается на ряд положений, которые неискушенному наблюдателю могут показаться настолько абсурдными, что трудно будет объяснить его невероятную популярность в XX в.

Вернемся снова к вопросу о государстве. С самого родового пароксизма марксистской теории мы можем видеть определенную позицию, зафиксированную в таком пассаже: «Когда государство, наконец-то, действительно становится представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним... Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества – взятие во владение средств производства от имени общества – является в то же время последним актом его как государства» ⁷⁴¹. Развивая эту концепцию, Август Бебель утверждал: «...являясь необходимой организацией общества, покоящегося на классовом господстве, государство теряет всякий смысл и возможность своего существования, как только с уничтожением частной собственности ликвидируются классовые противоречия» ⁷⁴².

Еще более решительно накануне величайших потрясений в истории России высказывался Ленин: «...пролетарское государство сейчас же после его победы начнет отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не нужно и не возможно» ⁷⁴³.

Первый Конгресс Коминтерна подтвердил эту установку: «По мере того, как будет сломлено сопротивление буржуазии, она будет экспроприирована и постепенно превратится в работающий слой общества, исчезнет и диктатура пролетариата, умрет государство, а с ним и деление общества на классы» ⁷⁴⁴.

Тем не менее, через диктатуру приходилось проходить, даже вопреки теоретическому представлению о государственном аппарате: «Все перевороты совершенствовали эту машину, вместо того чтобы сломать ее. Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного государственного здания как главную добычу при своей победе» ⁷⁴⁵. Прагматические цели политической борьбы требовали все-таки сохранения определенных «деталей» государственной машины: «до тех пор, пока поколение, выросшее в новых, свободных общественных условиях, окажется в состоянии выкинуть вон весь этот хлам государственности» ⁷⁴⁶.

⁷³⁹ Ленин В. И. ПСС, Т. 37. С. 252.

⁷⁴⁰ Ленин В. И. Государство и революция, ПСС. Т.33. С.96.

⁷⁴¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20, С.291–292. О том же – Т. 19. С.224–225.

⁷⁴² Бебель А. Женщина и социализм. М.: 1959. С. 436–437.

⁷⁴³ Ленин В. И. Государство и революция, ПСС, Т.33. С.29.

⁷⁴⁴ Ленин В. И. ПСС, Т.24, М., 1932. С.284.

⁷⁴⁵ Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения в 3 т. Т.1. М., 1985. С.506.

⁷⁴⁶ Энгельс Ф. Введение к «Гражданской войне во Франции» // Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения в 3-х т. т.2. М., 1980. С.203–204.

Конкретизируя это положение Парижской Коммуны, Маркс писал: «Задача (Парижской Коммуны) состояла в том, чтобы отсечь чисто угнетательские органы старой правительственной власти, ее же правомерные функции отнять у такой власти, которая претендует на то, чтобы стоять над обществом, и передать общественным слугам народа». То есть задача пролетарской революции состоит в том, «чтобы превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган, этому обществу всецело подчиненный...»⁷⁴⁷.

Из опыта Парижской Коммуны 1871 г. Маркс взял мероприятия по переходу к новому строю, который предполагал вместо государства некую систему, которой подошло бы название «не-совсем-государство»⁷⁴⁸:

1) ответственность избранных в Коммуну (в большинстве своем из рабочих) перед избирателями и сменяемость в любой момент;

2) ликвидация старой полиции, лишение ее политических функций и превращение в ответственный перед Коммуной и сменяемый орган;

3) то же самое, что и 2), в отношении всех чиновников всех отраслей управления;

4) исполнение любым государственным служащим своих обязанностей за заработную плату рабочего; отмена всех привилегий чиновникам любого ранга.

Интересно, что избираемая полиция и всеобщее вооружение народа были реализованы не марксистами, а американской демократией. В целом можно считать, что марксисты, добываясь власти, все же не думали воплощать в жизнь мероприятия Коммуны. Вероятно, они и не могли этого сделать, поскольку пролетариат даже вместе со своими «попутчиками» никогда не обладал такими волей и знанием, которые позволили бы ему действительно заменить весь госаппарат и построить его на иных принципах. Такое под силу было бы национальной революции, когда национальные силы, образовав некий «параллельный мир», отстраненный от антинациональной бюрократии, в конце концов сметают последние и приводят к власти контрэлиту – ее политические установки становятся при этом новым стилем государственного управления. Пролетарская революция к этому оказалась не приспособлена.

Марксизм, как бы он ни стремился придумать для себя переходное государство, в перспективе планирует полное устранение государства, чем даже в построенной марксистами системе власти оказывается оппозицией: «Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать»⁷⁴⁹.

Ленин подвел теоретическую базу под практически не ограниченную во времени диктатуру (а точнее, тиранию), а значит, и под практику постоянного подавления самих марксистских идей устранения государства: «Переход от капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у эксплуататоров неизбежно остается надежда на реставрацию, а эта надежда превращается в попытки реставрации. <...> ...Мы ... вправе говорить лишь о неизбежном отмирании государства, подчеркивая длительность этого процесса, его зависимость от быстроты развития *высшей фазы* коммунизма и оставляя совершенно открытым вопрос о сроках или конкретных формах отмирания, ибо материала для решения таких вопросов *нет*»⁷⁵⁰. В.Ленин полагал, что диктатура становится подготовкой масс к управлению страной, повышает их культурный уровень, совершенствует организацию общественного труда⁷⁵¹. То есть, речь по сути шла о формировании политической нации, но лишенной традиционной иерархии. Название «диктатура» остается лишь оберткой, свирепым символом, призывом к последовательному насилию против своих политических врагов. Мы снова замечаем, что

⁷⁴⁷ Там же. С. 239.

⁷⁴⁸ Там же. С.238.

⁷⁴⁹ Там же. С.33.

⁷⁵⁰ Ленин В.И. Пролетарская революция... С.264.

⁷⁵¹ Ленин В.И. Государство и революция, ПСС, Т.33. С.96.

марксисты ставят перед собой неразрешимые задачи – задачи национальной революции. Они оказываются обреченными на провал, отбрасывая нацию и вознося превыше всего в теоретических упованиях пролетариат.

Не признавая нацию, Ленин лишал власть и каких-либо духовных оснований, отчего его диктатура становилась бесконечным насилием без временных рамок, а значит, теряла очертания переходного периода и становилась незыблемой доктриной на необозримые времена. Прямое насилие как функция власти становится единственным фактором регулирования, который в простых системах, разумеется, работал эффективно, а в условиях технологического прорыва оказался несостоятельным.

Ленин полагал, что возможна ситуация, когда на смену бюрократическому аппарату придет власть избранных народом Советов: «В России совсем разбили чиновничий аппарат ...и дали *гораздо более доступное* представительство именно рабочим и крестьянам, *их* Советами заменили чиновников, или *их* Советы поставили над чиновниками...»⁷⁵². Но очень быстро оказалось, что советская система порождает еще более безобразный и неэффективный бюрократизм, с которым Ленин пробовал бороться лозунгами, не понимая, что столкнулся с определенным проявлением человеческой природы, с общими закономерностями функционирования государства. Пролетарского лица у диктатуры-тирании не получилось, она закономерно переросла в диктатуру партийно-советской бюрократии. Уже на XII съезде РКП(б) в 1923 г. Зиновьев выдвинул тезис о «диктатуре партии»⁷⁵³. Принципы демократического централизма, декларированные в программе компартии с момент прихода к власти и вплоть до ее крушения никогда не исполнялись. Низовые звенья партии всегда были в положении подвластных элементов бюрократической системы и не осуществляли реального контроля за действиями партийной верхушки. От «партмаксимума» сталинская система стремительно перешла к привилегиям для бюрократии. Возник культ личности. Иерархическая система, сломленная в гражданской войне, восстанавливалась сама собой, порождая новый правящий класс.

Период чрезвычайной эффективности советского строя приходится на предвоенные годы, когда можно было говорить о двух партиях – партии коммунистов и партии бюрократии. Первая подрывала заскорузлость второй, вторгаясь в нее своими свежими кадрами, на ходу осваивающими азы управления. По сути дела бюрократический режим на время был отодвинут от власти за счет стремительного увеличения госаппарата и расширения задач управления. И только в послевоенные годы партийная и хозяйственная бюрократии начали сближение, создав косную номенклатуру. Реализация ее интересов и отбрасывание ставших ненужными марксистских лозунгов состоялась в «демократической революции» – партия и бюрократия стали одним целым, предоставив остаткам компартии и скороспелым «демократам», отколовшимся от той же компартии, вести политические бои, пока происходил дележ собственности и власти.

Партийная диктатура и партийная бюрократия были логичным следствием марксистской теории государства. Вадим Цымбурский пишет: «Своеобразие того модуса воплощения суверенитета, к которому тяготел советский тоталитаризм, заключалось в снятии типичного для конституционно-демократической традиции дуализма "суверенитета народа" и "суверенитета нации-государства". Достигалось такое снятие благодаря двойственной роли компартии. Выступая в одной ипостаси как "ядро политической системы, государственных и общественных организаций", в другой она представляла "авангардом советского народа". Из совмещения этих официальных характеристик встает идея тождества "авангарда народа" с "ядром системы": "суверенитет народа" оказывается практически неразделенным с суверенитетом бюрократической элиты, и режим, действуя от имени "народа-суверена", имел право трактовать постулируемые для этого мифического субъекта интересы *sub specie* бюрократических

⁷⁵² Ленин В.И., Пролетарская революция... С.258–259.

⁷⁵³ XII съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). М., 1968, С.47–48.

идеалов интегрируемости и управляемости. Бифункциональность компартии воплощалась морфологически в глубоко понятом Дж.Оруэллом разделении ее на "внутреннюю" (номенклатура) и "внешнюю". Именно в силу такого строения партия могла служить медиатором, нейтрализующим содержательное различие образов "народного" и "государственного" суверенитета в пользу последнего и обеспечивающим присвоение высшей бюрократией "суверенитета народа" со всем мобилизационным потенциалом этого паттерна»⁷⁵⁴.

Сыграло свою роль и внедрение плановой экономики, которое, как отмечал Вебер, в сравнении с формально-юридическим неравенством порождает огромное расширение бюрократии. В условиях существования частной собственности две бюрократии: в правительстве и промышленности могли сдерживать одна другую. Тотальный социальный контроль потребовал более мощной бюрократической машины. Приближается диктатура чиновника, а не рабочего, констатировал Вебер. И этот прогноз сбылся, прежде всего, в условиях идеологического диктата марксистских партий.

В России коммунисты никогда не отказывались от политики «отмены государства», даже когда вводили самую жесточайшую бюрократию. Именно поэтому идея государственности как таковая в СССР была искажена – государство упразднено в своих традиционных смыслах и порождено в извращенных формах, в которых правит партия, партийная номенклатура, безответственная перед народом и спаянная внутренней корпоративной дисциплиной. Сталин, доведший ленинские тезисы до практического воплощения, говорил: «Мы не либералы. Для нас интересы партии выше формального демократизма»⁷⁵⁵; «...для нас, большевиков, формальный демократизм – пустышка. А реальные интересы партии – все»⁷⁵⁶. Не нация с ее традицией, а именно партия, партийная бюрократия – вот что ставилось на вершину ценностной пирамиды в противовес либеральной демократии.

Отмена государственности ни у российских коммунистов, ни у каких-либо иных не получилась, в силу очевидности разрушительного характера этого идеологического «открытия». Но другое открытие – интернационализм – было укоренено в философских иллюзиях человечества более основательно, а отрицание нации не приводило к столь быстрым и очевидным губительным последствиям для системы власти. Поэтому интернационализм глубже въелся в поры советского общества и официальной доктрины коммунистической власти как предпосылка крушения «буржуазного» государства и перехода к «царству свободы».

Ленин писал: «Лозунг национальной культуры неверен и выражает лишь буржуазную ограниченность понимания национального вопроса»; необходимо «соединение, сближение, перемешивание наций и выражение принципов иной, интернациональной культуры»⁷⁵⁷. Тем не менее использование национального вопроса оставалось тактическим трюком большевиков. Хотя Ленин и выступал против «мещанского идеала федеративных отношений»⁷⁵⁸, но в условиях борьбы с государством полагал необходимым противопоставить крупным централизованным капиталистическим государствам модель этнофедерации, подрывающей внутренние экономические связи в

⁷⁵⁴ Цымбурский В.Л. Идея суверенитета в посттоталитарном контексте// Полис, 1993. №1.

⁷⁵⁵ Сравним это с высказыванием Ивана Ильина, который также резко выступал против формальной демократии, но ставил во главу угла не революционный погром, а традицию, в которой истинная демократия только и возможна: «Демократия (по-русски - "народоправство") предполагает в народе способность не только вести государственную жизнь, но именно править государством». «Для этого народу необходимо... чувство государственной ответственности... добровольное законоблюдение, чувство долга и неподкупность... государственно-политического кругозора, соответствующего размерам страны и державным задачам этого народа». - Ильин И.А., Наши Задачи. Статьи 1948-1954 годов. М.: Парог, 1992. С.138.

⁷⁵⁶ XIV Съезд ВКП (б), Стенографический отчет, М., 1926. С. 503, 504.

⁷⁵⁷ Ленин, В.И. 1961. ПСС, Т. 23. С.322.

⁷⁵⁸ Ленин В.И. ПСС., Т.26. С. 108–109. См. также Сталин И.В. Соч. т.3: 27.

таких государствах⁷⁵⁹. В дальнейшем необходимость защиты собственной власти потребовала «накрыть» унитаристскими партийными структурами формальный федерализм.

Марксистская традиция отношения к нации, получившая свое завершение в работах Сталина, рассматривала нацию как продукт капитализма (так же, как род, племя — рабовладельческого строя, народность — рабовладения или феодализма). Социализму должна была соответствовать некая новая общность, обеспечивающая взаимопоглощение всех народов в будущем. Русские рассматривались уже не как нация, а как носитель «языка межнационального общения» (некоего «новояза») и русскоязычной «советской культуры». Русские становились как бы ядром и даже инструментом ассимиляции культур, теряя собственно «русскость», сливаясь с безнациональными русскоязычными «советскими людьми».

Марксистская догма утверждает, что материальные интересы двигают историю (исторический материализм). Причем эти интересы тождественны у рабочих всех стран, что делает классовую солидарность выше национальной. По крайней мере, эта солидарность значительнее, чем солидарность с капиталистами своей нации. Эта логика прямо ведет к отрицанию патриотизма и к отказу от военной защиты своего Отечества. Но это положение было опровергнуто практически сразу, как только большевики взяли власть и попытались отыскать международную солидарность трудящихся. В целом XX в. решительно опроверг значимость классовой солидарности по сравнению с национальной. Духовная связь с нацией оказывается сильнее материальной связи с классом, национальный интерес — выше классового. Наиболее яркое подтверждение тому — вражда между коренным рабочим населением и иммигрантами из бедных стран. Материальные интересы оказываются также разьединенными по национальности⁷⁶⁰. Аналогичным образом отсутствует классовая солидарность и между капиталистами. Если капитал и космополитичен, если он и глобализируется, переступая национальные границы, то от этого конкуренция не отменяется, а напротив, приобретает всеобщий и ожесточенный характер.

Возможно, именно ввиду этой очевидности Сталин уже в 1934 г. критиковал работу Энгельса «О внешней политике русского царизма», говоря, что при изучении российской истории надо избавляться от тона политического памфлета. В том же году усилиями Сталина из школьной программы была изъята книга М.Н.Покровского «Русская история», полная ненависти к прошлому России. Через полтора года было принято постановление ЦК ВКП(б) против клеветнической пьесы Демьяна Бедного «Богатыри» и т.д. И в то же время обвинения со стороны Троцкого, что Сталин изменил пролетарскому интернационализму и возрождает русский национализм, были беспочвенными. Интернационализм, конечно же, утрачивал чисто пролетарскую окраску, но в то же время именно Сталин поддерживал и укреплял концепцию «дружбы народов», требовал, чтобы учебники истории СССР исходили не из истории русского народа, а включали в себя историю всех народов СССР. Причем, концепция «дружбы народов» в некоторых случаях оказывалась для Сталина даже более важной, чем экономические изыскания марксизма. На встрече с таджикскими и туркменскими хлопководами в 1935 г. он прямо говорил, что дружба народов важнее, чем хлопок.

В течение всего срока своего властвования Сталин принимал геополитические решения в ущерб русскому народу. В 1936 г. была создана Казахская ССР, поглотившая исконно русские земли и несколько миллионов русских жителей. В 1945 г. Польша была передана большая территория в районе Белостока-Хелма, которую населяли 2 млн. белорусов и украинцев.⁷⁶¹ И.Сталин передал политый русской кровью Порт — Артур

⁷⁵⁹ Ленин В.И. ПСС, Т.24. С. 143.

⁷⁶⁰ Дебольский Н.Г. Начало национальностей в русском и немецком освещении // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1916, № 2 (февраль). С. 183–207.

⁷⁶¹ Шафаревич И.Р. Зачем нам сейчас об этом думать?// Завтра, № 29(294), 20 июля, 1999

Китаю и, не предприняв необходимых действий (например, по контролю за безлюдной в те годы Манчжурией), создал Великий Китай – головную боль современной России и ее будущих поколений.

Война побудила Сталина иначе взглянуть на роль русского народа в истории России. Известен его тост во здравие русских: «Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение»⁷⁶². И действительно, русские понесли в войне самые существенные потери, прежде всего на фронтах. При том, что русские составляли около половины населения СССР, среди убитых на войне их было 66%. Именно русские взяли на себя главную тяжесть войны.

Сталин, признанный, скорее, еретиком марксистского учения, чем его верным апологетом, своим прагматическим чутьем вернул в политическую практику понимание конкретности нации. Фактически к идее нации Сталин обращается накануне войны, широко разворачивая пропаганду патриотизма, в котором советское и русское смешивалось и взаимодополнялось. Марксистская абстрактная риторика уступала место конкретным задачам защиты государства. Общественная надстройка в реальной ситуации испытания войной оказывалась важнее экономического базиса и даже предопределяла его состояние, прежде всего в переориентации всей экономики на военные нужды. Вместе с тем, русскость понималась Сталиным и его соратниками чисто этнически, а признаки политической нации относились только к советскому. Кроме того, прославление русского народа отнюдь не означало русификации национальной политики или русификации политической системы. Отношение коммунистической бюрократии к русским было отношением к самым верным и заслуженным рабам.

Идея нации (национальности) возвращалась при Сталине в теоретические разработки, наполняясь социалистическим содержанием. В работе «Марксизм и вопросы языкознания» Сталин писал, что нация переживает классы и даже сохраняется в бесклассовом обществе, хотя бы уже потому, что национальные языки не являются классовыми языками, а общие для всех слоев общества. Правда, социалистические нации в ходе мирового революционного процесса должны будут слиться в единую нацию. Но эта отдаленная перспектива мало что значила в повседневной политике сталинского СССР.

Реальный марксизм, реализованный в советской коммунистической идеологии послесталинского периода, не отрицал нации и даже способствовал укреплению этно наций, а в некоторых случаях и их обособлению (например, в Средней Азии). Из этих «кирпичей» строилось межнациональное «братство», которое должно было интегрироваться вокруг ценностей коммунистической идеологии. Именно поэтому со времен первой союзной Конституции 1922 г. число «союзных республик» увеличилось с 4 до 15 и в полтора раза (до 38 в 1989 г.) увеличилось число автономий. Причем, в результате выделения из РСФСР пяти автономий территория национально-территориальных образований поглотила вдвое большую территорию, которая превысила половину территории Российских земель (в границах РСФСР 1989 г.).

Таким образом, оба ключевых положения марксистской доктрины – антигосударственность и интернационализм – обернулись последовательным уничтожением традиционных основ государства, обеспечивающих его историческую устойчивость, а также уничтожением всего национально-русского (включая уступку территорий, преимущественное развитие этнической периферии, выращивание местной

⁷⁶² Правда, 25 мая 1945 г.

этнократии и т.д.). Не менее разрушительный вирус был заложен коммунистической доктриной и в формирование управленческой системы советского государства.

Порой критиков марксистской доктрины упрекают в том, что они не так трактуют тезис о том, что «кухарка будет управлять государством». Недвусмысленные разъяснения на этот счет дал Ленин: «Мы не утописты. Мы не “мечтаем” о том, как бы сразу обойтись без всякого управления, без всякого подчинения... Нет, мы хотим социалистической революции с такими людьми, как теперь, которые без подчинения, без контроля, без “надсмотрщиков и бухгалтеров” не обойдутся. Но подчиняться надо вооруженному авангарду всех эксплуатируемых и трудящихся – пролетариату. Специфическое “начальствование” государственных чиновников можно и должно тотчас же, с сегодня на завтра начать заменять простыми функциями “надсмотрщиков и бухгалтеров”, функциями, которые уже теперь вполне доступны уровню развития горожан вообще и вполне выполнимы за заработную плату рабочего»⁷⁶³. «Все дело в том, чтобы они (горожане) работали поровну, правильно соблюдая меру работы, и получали поровну. Учет этого, контроль за этим упрощен капитализмом до чрезвычайности, до необыкновенно простых, всякому грамотному человеку доступных, операций наблюдения и записи, знания четырех действий арифметики выдачи соответствующих расписок»⁷⁶⁴.

Государственная доктрина российских большевиков-коммунистов покоилась на представлении о возможности руководства производством и госаппаратом без выделения особого слоя профессиональных управленцев. Поэтому впоследствии проблемами управления в СССР зачастую занимались неподготовленные к этому воспитанники партийных школ, разросся неэффективный бюрократический аппарат, который сводил управление к «наблюдению» и «записи».

Фактически Ленин такую программу и закладывал в основание большевистской доктрины: «Рабочие, завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же самых рабочих и служащих, против превращения коих в бюрократов будут тотчас приняты меры, подробно разработанные К.Марксом и Ф.Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше платы рабочего; 3) переход немедленный к тому, чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы все на время становились «бюрократами» и чтобы поэтому никто не мог стать “бюрократом”»⁷⁶⁵. «При социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял»⁷⁶⁶.

Получилось, что все советское общество насквозь обюрократилось и насквозь было пронизано непрофессионализмом по видимости выборных, а в реальности – контролируемых партийной верхушкой недоучек и профанов, которых контролировали такие же недоучки и профаны, загонявшие страну, как лошадь, которую нещадно хлещет конокрад, уходящий от погони. Погоня, меж тем, настигла – кухарка превратилась в не в Василису Премудрую, а в мерзкую жабу, важную своим знанием бесплодной процедуры.

Большевики рассчитывали на вчерашний день человечества, фактически отказываясь от специализации труда в тех отраслях, где должны были работать квалифицированные кадры и практиковаться современные небюрократические методы управления. Это касалось и армии, и правоохранительных органов. Ленин в 1905 г. писал: «Уничтожим совершенно постоянное войско. Пусть армия сольется с вооруженным народом, пусть солдаты понесут в народ свои военные знания, пусть исчезнет казарма и заменится свободной военной школой. ...Опыт Западной Европы показал всю реакционность постоянного войска. Военная наука доказала полную осуществимость народной милиции, которая может стать на высоту военных задач и в оборонительной и в

⁷⁶³ ПСС, Т.33. С. 49.

⁷⁶⁴ Там же. С. 101.

⁷⁶⁵ ПСС, Т. 33. С. 109.

⁷⁶⁶ Там же. С. 116.

наступательной войне»⁷⁶⁷. В «Военной программе пролетарской революции» Ленин указывал: «Мы можем требовать выбора офицеров армии народом»⁷⁶⁸ и далее многократно повторял этот тезис в других статьях.

Система выборности для большевиков была такой же «святой коровой», как и для либералов. И те, и другие видели в выборах высшее проявление справедливости, не замечая возможности перерождения любой избирательной системы. Слепота лидера большевиков доходила до того, что он предлагал вводить выборность учителей школ населением с правом отзыва «нежелательных учителей» и при полном «устранении центральной власти от всякого вмешательства в установление школьных программ»⁷⁶⁹. Предполагалось даже всерьез реализовать пункт коммунистического Манифеста о воспитании всех детей в интернатах-коммунах, а нарком просвещения Луначарский объявил об отмене оценок и аттестатов и заменой их справками о прослушивании курсов⁷⁷⁰.

Ключевое направление марксистской доктрины – последовательный антипатриотизм. Хорошо известен тезис Манифеста Маркса и Энгельса: «У пролетария нет отечества». В 1908 г. в статье «Уроки Коммуны» Ленин высказался еще более определенно: «В соединенье противоречивых задач – патриотизма и социализма – была роковая ошибка французских социалистов»⁷⁷¹. Тезис Манифеста был вообще для Ленина одним из самых любимых. Он повторял его многократно⁷⁷². В работе «Пролетариат и война» он объявил само понятие Отечества «устарелым»⁷⁷³. И в политической практике этот теоретический тезис выразился в предательском лозунге «поражения своего правительства в войне», возникшем во время русско-японской войны 1905 г. и широко использованным в пропаганде большевиков с 1914 г. (тогда дело дошло даже до более циничного лозунга – о превращении империалистической войны в гражданскую).

Предательство национальных интересов покоилось на теоретическом тезисе об отмирании государства, мировой революции и отсутствии Отечества у рабочих. Ленин без обиняков писал о том, что в эпоху Брестского мира «Советская власть поставила всемирную диктатуру пролетариата и всемирную революцию выше всяких национальных жертв, как бы тяжелы они ни были»⁷⁷⁴.

Отказ от патриотизма был следствием марксистской догмы об отказе от морали. Маркс с Энгельсом предлагали «страхнуть с себя истинно германскую добропорядочность»⁷⁷⁵, когда дело шло о том, чтобы загребать жар руками других партий. Ленин требовал «умолчания и сокрытия правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу»⁷⁷⁶, а председатель исполкома Коминтерна Г.Димитров требовал «добиваться выборных постов в фашистских массовых организациях в целях связи с массой, и раз и навсегда освободиться от предрассудка, будто такой род деятельности – неподобающий и недостойный для революционного рабочего»⁷⁷⁷.

Марксизм изначально восстал на традицию как таковую, не признавая ничего ценного в опыте государственного и правового строительства. Маркс объявляет ту же войну, что позднее объявил Ленин: «Война немецким порядкам! Непременно война! Эти

⁷⁶⁷ ПСС, Т. 12. С. 113, 114.

⁷⁶⁸ ПСС, Т.30. С. 141.

⁷⁶⁹ ПСС, Т.32. С. 155.

⁷⁷⁰ Луначарский А. О воспитании и образовании, С. 26.

⁷⁷¹ ПСС, т.16. С. 451.

⁷⁷² ПСС, Т.17. С.22; Т.26. СС.2, 20, 25,39, 163, 280, 321; Т. 27. С.438; Т.31. С. 179. С. 410 и т.д.

⁷⁷³ ПСС, Т. 26. С. 29.

⁷⁷⁴ ПСС, Т. 38. С. 133.

⁷⁷⁵ Соч., Т. 4. С. 21.

⁷⁷⁶ ПСС, Т. 41. С. 38.

⁷⁷⁷ Димитров Г. Наступление фашизма и задачи Коминтерна в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. Партиздат, 1935. С. 50.

порядки находятся ниже уровня истории, они ниже всякой критики, но они остаются объектом критики, подобно тому, как преступник, находящийся ниже уровня человечности, остается объектом палача. В борьбе с ними критика является не страстью разума, она – разум страсти. Она – не анатомический нож, она – оружие. Ее объект, есть враг, которого она хочет не опровергнуть, а уничтожить»⁷⁷⁸. Маркс сравнивает критику с рукопашным боем, где главное нанести удар, «не дать немцам ни минуты для самообмана и покорности». Он пишет: «Надо сделать действительный гнет еще более гнетущим, присоединяя к нему сознание гнета; позор еще более позорным, разглашая его»⁷⁷⁹. Он считает, что «надо заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу»⁷⁸⁰. И этот мессианский пафос венчается манифестом ультра-революционизма, обещающего человечеству светлое будущее после эпохи тотального разрушения: «никакое рабство не может быть уничтожено без того, чтобы не было уничтожено всякое рабство»⁷⁸¹. К рабству можно было отнести любую иерархическую организацию.

В рамках марксистской теории отчуждения решается вопрос о политической несовместимости ценностей свободы и равенства. Во всем виновата, будто бы, сила отчуждения, расталкивающая их по антагонистическим полюсам. Преодоление отчуждения сначала сблизит, а потом и ликвидирует антагонизмы. Тогда необходимость станет не естественной, а осознанной, и в этом смысле перейдет в свободу. А в промежуточных стадиях мы имеем постепенное освоение человеком «царства необходимости» и превращение его в «царство свободы».

Современность особым образом поворачивает марксистскую доктрину, высвечивая в ней ранее не замеченные черты. Если в XIX в. Маркс говорил о том, что пролетариату нужно лишь отмирающее государство, то в начале XXI в. оказывается, что глобализирующимся либеральным элитам нужно то же самое. Они уже в состоянии осуществлять свое господство без государства, а аппарат насилия готовы оставлять только для того, чтобы покорять общества, где власть «золотого тельца» еще не является абсолютной и сохраняется национальное самосознание.

Пролетариат, оказавшись не в силах утвердить свою политическую власть, спустил с цепи аппарат насилия, который сам стал правящим классом в СССР и смог сначала развратить, а потом и разрушить коммунистическую партию. Даже такая партия, которая сохраняла хоть какие-то претензии быть политической силой и развивать в хоть в самой малой степени политические идеи, оказалась для бюрократии обременительной. В результате бюрократия в «новой России» подавила (непрямыми методами) сопротивление трудящихся и обложила бизнес колоссальным коррупционным налогом.

Из этого мы можем заключить, что марксизм оказался несостоятельным, прежде всего, в своей доктрине пролетарской революции и пролетарского государства. И то, и другое не состоялось ни в одной части человеческой цивилизации.

Беда марксизма в том, что его практическая реализация досталась группе стран, которые никак не соответствовали представлениям Маркса и Энгельса о наиболее благоприятных предпосылках для преодоления отчуждения. Напротив, там, где отчуждение было наиболее жестоким, где действительно рабу не было обеспечено даже рабского существования (разумеется, в представлении самого раба), произошел «разрыв цепи» и осуществлена попытка сознательного регулирования производственных отношений. В результате реальное производство было присвоено не всей совокупностью человеческих индивидов, а партийными функционерами, построившими для себя индивидуальные «коммунизмы» или клановое «царство свободы». Для остального

⁷⁷⁸ Маркс К. Предисловие к «Критике гегелевской философии права». См. <http://www.ckp.ru/biblio/m/marx/text01.htm>

⁷⁷⁹ Там же.

⁷⁸⁰ Там же.

⁷⁸¹ Там же.

населения это было еще более условное снятие отчуждения и полувековой наркот, не позволявший почувствовать всю глубину установленного большевиками отчуждения.

Отчуждение не осознавалось до тех пор, пока действовала система пропаганды и насилия. Как только пропагандистский пресс утратил свою силу, и советские люди получили достаточную информацию о «рабстве» в другой общественной системе, они тут же поняли, что коммунистический режим как раз и не дает своим рабам даже рабского существования (на уровне современных представлений о рабском существовании). И тогда советский режим рухнул, чтобы предоставить возможность вызревшим в его недрах эгоизмам частным порядком присваивать отчужденные отношения.

Между тем, именно в капиталистических странах были найдены те механизмы, которые заметно ослабляли отчуждение и давали своим «рабам» вполне терпимый и достойный уровень существования. Частная собственность постепенно была заменена корпоративной. Проблематика производственных отношений вытеснена на собственную имперскую периферию, а процессы глобализации равномерно распределили ее по зонам производства – наиболее устойчивое финансовое и научное ядро, менее устойчивая промышленная периферия и вовсе неустойчивая кромка западной цивилизации, состоящая из компрадорских режимов. Пролетариат в марксистском понимании остается только на крайней периферии капитализма – и только там остаются перспективы для коммунистических партий (включая и КПРФ).

Важность Великой русской революции состоит в том, что марксистский пролетариат как субъект снятия частной собственности показал всему миру свою несостоятельность, но одновременно и благотворность такого снятия, продемонстрировавшего эффективность в подвиге индустриализации и оборонного производства в мировой войне. Именно на этот вызов капиталистический мир смог ответить целым веером действительных и суррогатных механизмов снятия отчуждения. С одной стороны – всеми формами корпоративного владения собственностью и государством, с другой – созданием потребительского общества и широким развитием символической политики, дающей человеку ощущение государства и общественного строя, как своего, как истинно справедливого и окончательно закрепленного.

Марксизм является уникальным для истории примером философского экстремизма, полагающего сложившиеся условия общественной жизни неизменными во всех исторических катаклизмах прошлого, а все половинчатые меры против нестерпимой жизни угнетенных слоев общества – очередной формой их закабаления. История буквально в течение нескольких десятилетий дала принципиально иную социальную среду. Энгельс в своих письмах уже признавал особую роль случайности в истории и роль политической «надстройки»: «Экономическое положение – это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно форму ее различные моменты надстройки...». К числу таковых он, прежде всего, относил политический строй, государство, которое хотя и порождается экономикой, но затем оказывает все большее обратное влияние⁷⁸².

Фактически это означало, что марксистская методология к концу XIX в. дала сбой, а в XX в. была уже старой философской рухлядью, которая только и годилась, чтобы совратить увязшую в беспочвенности русскую разночинную интеллигенцию и развратить измученные войной массы крестьянства, еще не укрепившегося в национальном самосознании.

Как писал Курт Хьюбнер, «лишь в полном отвлечении от исторического опыта кто-то мог поверить, что приведшая к диктатуре пролетариата революция принесла бы не новое подавление, но свободу. Лишь в полном абстрагировании от конкретной укорененности каждого отдельного человека в исторически сформировавшемся культурном каркасе кто-то мог понадеяться, что растворение конкретного человеческого

⁷⁸² Энгельс Ф. Письмо Йозефу Блоху от 21 (22) сентября 1890 г.

разума в разуме общечеловеческом (general intellect) принесет ему желанное счастье. И лишь в духе подобной абсолютной самонадеянности и невнимания к историческому опыту, всему выросшему на его почве, ко всему многообразию культурного каркаса и вплетенной в него сети человеческих отношений стали возможными задуманные за кабинетным столом и затем осуществленные с нечеловеческой жестокостью мероприятия Ленина и Сталина, стремившихся превратить в действительность абстрактные фантазмагии и мечтания Маркса»⁷⁸³.

Либеральные взгляды на государство

Основа либеральных взглядов – их направленность на ограничение бюрократической государственной системы, всевластия административного строя, сложившегося в централизованных государствах XVIII в. Поэтому изначально основной метод либерализма – *«не творческая деятельность, не созидание, а устранение»*⁷⁸⁴. Либеральная система ценностей выстраивает противовес административной системе в виде контрсистемы конституционного строя, будто бы ограждающего личность и общество от подавления административным аппаратом. История показала, что административный аппарат быстро овладевает правовым аппаратом и даже нанимает либералов обслуживать свои интересы в правовом поле.

Европейская мысль от Гоббса до Руссо основывалась на факте, что человек – это индивид, лишенный каких бы то ни было предустановленных институциональных связей с себе подобными, определяемый лишь своими собственными интересами, изолированный и самодостаточный. В этом понятии нет идеи гражданских обязанностей (вытекающей из духовно-нравственной основы любой «свободной лояльности»), но зато есть так называемые естественные права, ради которых традиционные устои государства могут быть подорваны, а теологическое обоснование государства отброшено.

Гоббс полагал, что общество возникает только в силу эгоизма индивида. Государственный порядок служит для него защитой от всякого рода вреда и позволяет поддерживать жизнь членов общества, обеспечивать общий мир и оборону. Разум толкает индивида в общество, исходя из знания естественных законов, которые Гоббс называет законами естественного разума и которые суть также божественные повеления.

Общество и государство образуются посредством договора, возникающего с выбором властителя большинством голосов и обязательства подчиняться его воле. Естественное состояние этим заканчивается и воля всех преобразуется в волю одного. Исходя из этого, Гоббс определяет государство как личность, чья воля равна воле всех в силу договора. Вечная борьба прекращается волей суверена, учреждающего правовые институты, естественное право при этом перестает действовать.

Боден считал, что государство и общество возникают под давлением обстоятельств, заставляющих индивида вступать в общественные отношения. В то же время общественная жизнь не становится самоцелью, и индивидуальные цели сохраняют решающее значение. Таким образом, государство существует, но нация не складывается, поскольку общество лишено особенностей, связанных с историей и культурой. И даже религия становится служебным институтом, поскольку служит лишь поддержанию общественного порядка, который в свою очередь обслуживает индивидуальное «подлинное счастье». Божественное право является источником для естественного права лишь в связи с необходимостью обеспечить легитимность господства. Чтобы его обеспечить, суверен обязан только не противоречить естественному праву.

Логичным следствием представления о вторичности государства и формальности его институтов является крайняя узость правовых идей, которые сводятся к обеспечению индивидуальных прав – прежде всего, права гражданина на частную собственность.

⁷⁸³ Хьюбнер К. Нация. М., 2001. С. 206–207.

⁷⁸⁴ . Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995.

Боден и Гоббс в качестве априорного условия образования государства предполагали свободу и разумность индивида. Но эта свобода оказывается пригодной только для образования государства, которое затем управляется волей суверена и творимым им правом. Абсолютистская утопия государства, венчающая некий «естественный процесс» государствообразования, рано или поздно должна была быть опровергнута принципом индивидуализма, который закладывался ранними либералами в идею государства. Миф о естественном праве должен был отторгнуть иерархическую конструкцию монархии и уравнивать людей в свободе. Сделать такой шаг позволяла одна из вольных интерпретаций христианской мифологии.

Локк использовал теологическое обоснование равенства людей в свободе, определив, что человек, как творение Божье, не может подвергаться насилию со стороны другого, что означало бы святотатство. Эта идея, по мысли Локка, носит врожденный характер и служит обоснованием естественного права. Свобода приобретает статус высшей государственной идеи. Это значит, что суверен не может противиться воле большинства. Истинный суверен – воля этого большинства, а действия государства должны совершаться как результат механического сложения разнонаправленных волей граждан.

Как пишет Хьюбнер, такой подход характерен для эпохи Просвещения. Вместе с тем, «христианская вера полностью лишается своего компонента — откровения, и сохраняет лишь Бога как последнюю причину всех вещей, наличие которого человек, по-видимому, вынужден предполагать на основе познанного разумом каузального закона. Далее следует логически необходимый вывод: то, что создал Бог — священо и сакрально, следовательно... и так далее»⁷⁸⁵.

Общей проблемой теории естественного права является непоясненность вопроса о том, как формальные правовые установления можно было бы соотносить с Божьей волей и чем измерять отклонения от нее. В связи с этим развитие индивидуалистической идеи государства должно было привести, в конце концов, к отказу от теологических обоснований.

Ранние естественно-правовые учения либералов еще предусматривали существование Бога как учредителя государства или общества (Пуфендорф, Вико, Гроций). Но правовые законы определялись как разумные конструкции, подобные законам геометрии. Отсюда возникает идея рассудочного договорного согласия между людьми, без которого государство оказывалось невозможным. Чтобы наделить аксиомы естественного права учредительными функциями по отношению к государству, потребовалась теоретическая абстракция обособленного и полностью рационального индивида, безразличного к интересам других индивидов, но заинтересованного в контактах с ними, исходя из расчета на определенные выгоды (не случайно ключевой правовой идеей либералов всегда была идея частной собственности). Метафизический уровень бытия государства и общества в этом случае полностью исключается из рассмотрения. На первый план выдвигаются вымышленные социальные абстракции – прежде всего, идея договорного государства.

Реальное государство для раннего либерализма было все еще незыблемым (и потому их позиции сегодня некоторые историки считают консервативными), а теоретические взгляды ставили мораль выше права (Томазий). Хотя праву придается все большее значение – отношения в экономике, в семье, а также религия должны быть строго регламентированы вплоть до правил питания (Х.Вольф), оно может исходить только из естественных законов. Если же власть посягает на естественные законы, народ может оказывать ей сопротивление. Кроме того, идеальное государство уже в раннем либерализме превращается в миф, где реализованы естественные порывы человека к счастью и уравнивание в материальном положении (Томазий, Беккария). В дальнейшем

⁷⁸⁵ Хьюбнер К. Нация. М., 2001. С. 88.

Вольтер рассматривал концепции естественного права и естественного закона как инструмент, с помощью которого могут воплотиться идеи частной свободы (слова, печати, совести, труда) и равенства перед законом во всем автономного человека. Уравнительные идеи стали также неотъемлемой частью учений Дидро, Руссо и других мыслителей Просвещения.

Как отмечает современный исследователь европейского либерализма М.М.Федорова, взгляды эпохи Просвещения абсолютизировали некую совершенную свободу – свободу «сведения других к самому себе, к собственному Я (равенство всех людей в их возможностях и притязаниях). Видимое противоречие между системой естественных законов, исключающих в природе малейшее отклонение от универсального детерминизма, и возможностью существования подлинных свобод – реальных, конкретных, живых – разрешалось путем вытеснения свободы из природы, космоса, реального общества в общество утопическое, которое еще предстоит построить народу (не монарху, правительству и т.п.)»⁷⁸⁶.

Для нас особенно важно, что эпоха Просвещения, находясь под влиянием механицистской картины мира, сложившейся в естественных науках того времени, точно так же пыталось отыскивать в жизни государства и общества некоторые универсальные законы, сводящие многообразие жизни к простым феноменологическим правилам.

Попытки сохранить теологические основания в либеральной теории сталкивают конкретно-исторический подход и абстракцию индивидуалистической концепции государства. Стремление исходить только из фикций естественного состояния, естественного права и теории договора выявляет их явную несостоятельность. Это прекрасно осознавал Руссо, понимая, что целостность государства не может быть обеспечена эгоистическими замыслами атомизированных индивидов.

Для того, чтобы стать пригодным для соучастия в государстве, индивид должен приобрести новое качество – готовность подчиняться воле сообщества. Эгоизм должен быть ограничен или включен в общую волю сообщества (олицетворенную во властителе), а любовь к себе реализована через участие в обществе. В противном случае целостность распалась бы в результате неизбежной анархии или потопа насилия. И только с этим качеством – готовностью к социализации – гражданин Руссо становится способным к социальному договору. Эгоизм естественного состояния оказывается непригодным для государственного строительства: «человека, следует изменить, а на место психического и независимого бытия, которое досталось нам от природы, поставить бытие как часть и бытие моральное». Таким образом, мораль становится важной составляющей политического тела (*corps politique*), обеспечивающей общую волю и единство государства.

Вместе с тем, понятие «общей воли» без конкретно-исторической привязки остается голой абстракцией и легко адаптируется в рамках любой политической конъюнктуры. Не учитывая самобытности каждой нации и исторических предпосылок конкретной государственности, либеральные теории оставляют не разрешенной проблему соединения индивидов в государство и образование той самой общей воли, которая неясно в чем выражена и откуда взялась. Понятие о народе (нации) в рамках либеральной идеи полностью выхолащивается, а сложная внутренняя структура общества сводится к конгломерату неразличимых индивидов.

Для Руссо народ – высшая сущность. Для народа в целом не может быть никакого закона, для него необязателен даже общественный договор. Закон народ ищет в своем сердце⁷⁸⁷. Иными словами, «природа человека», проявленная в народе, выводит его на верный путь.

⁷⁸⁶ Федорова М.М. Либеральный консерватизм и консервативный либерализм (сравнительный анализ английской и французской политической философии времен Великой Французской революции)// От абсолюта свободы к романтике равенства (из истории политической философии). М., 1994. С. 61.

⁷⁸⁷ Руссо Ж.-Ж. Трактаты, М., 1969. С. 162–163.

Вопреки почти божественной природе «Законодателя», Руссо строит социальную иерархию во главе с ним таким образом, чтобы высший (правитель) нуждался в низших (управляемых), а не наоборот. Государство становится заложником настроения, поскольку Общественный договор должен «по праву расторгаться, если бы в Государстве погиб один единственный гражданин, которого можно было спасти; если несправедливо содержали в тюрьме хотя бы одного гражданина или если бы проигран хоть один судебный процесс вследствие явного неправосудия... Если Правительству дозволено принести в жертву невинного ради безопасности многих, то я нахожу, что этот принцип – один из самых отвратительных, какие только изобрела тирания»⁷⁸⁸. Таким образом, государство, которому долженствует быть, по теории Руссо, может легко стать жертвой настроения – ничтожного факта, который вольная трактовка превращает в таран, крушащий устои государственности.

Народ по теории Руссо, обладает гешталтом «общей воли», превышающей простую сумму частных волей. Именно в общей воле частная эгоистическая природа человека заменяется бескорыстием, идеалом равенства, патриотизмом, трудолюбием, коллективизмом, что и делает возможным общественный договор. Парадоксальным образом совокупность бессовестных индивидов вдруг получает способность к справедливости – Добро и Зло совмещаются в едином процессе. Причем за Добро выдается «общая воля», противоречие которой относит личность на сторону Зла с вытекающими отсюда последствиями – коллективным ostracism. Так руссоистская демократия переходит в тиранию «Законодателя», руководимого страстями толпы, которые представляются высшей справедливостью: «Не имея возможности принуждать кого-нибудь верить в установленные им догматы, государство может изгнать из своих пределов всякого, кто в них не верит; оно может его изгнать не как нечестивца, а как человека необщественного, как гражданина, неспособного любить откровенно законы и справедливость и неспособного также принести жертву в случае надобности, свою жизнь своему долгу. Если же кто-нибудь, признав публично эти догматы, ведет себя как неверующий в них, то он должен быть наказан смертью: он совершил величайшее преступление: он солгал перед законами»⁷⁸⁹. Таким образом, что прощается закону, не прощается правительству. Закон оказывается всегда оправданным перед индивидом.

Общество, описанное Руссо как справедливое, становится предельно несправедливым только потому, что не имеет отношения к традиции и в принципе неорганично. Оно не имеет высшего арбитра вне себя и соотносится только со своими настроениями, берущимися из собственной же «природы», «общего духа», «сердца». Отрекаясь от традиции, оно отрекается и от социальной иерархии, превращаясь в однородную массу индивидов, безличных уже потому, что стерты все различия и устранено подчинение низших высшим в силу авторитета и обычая. Налицо фиктивное общество перманентной революции (когда «нечистых» множество) или упадка (когда главные события в процессе самоуничтожения государства уже состоялись).

В рамках либерального подхода спасти мораль от плоско-рациональной трактовки пытался Кант, считавший, что нравственный закон ценен сам по себе и не имеет никакого отношения к корыстным помыслам индивида. Кроме того, естественное состояние понималось Кантом не как исходное состояние человеческой разобщенности, а как актуальная опасность такой разобщенности в настоящем. Ключевой становится идея права, правового государства. Общественный договор при этом становится лишь идеей разума, реализованной в обязанности законодателя издавать законы, как если бы они исходили от объединенной воли народа, а для гражданина – в обязанности видеть в решениях государя стремление поступать справедливо⁷⁹⁰.

⁷⁸⁸ Там же. С.123.

⁷⁸⁹ Там же. С. 231.

⁷⁹⁰ Кант И. Соб. соч. в 6-ти томах. М., 1965. Т.4, ч. 2, с. 87, 96.

Морально-правовая идея у Канта становится априорной, и к ней тяготеет или должна тяготеть государственная действительность, стремящаяся к некоей «чистой республике», в которой воля народа находит свою государственную форму. По пути к этому идеалу невозможность разрешить вопрос о том, где начинается свобода одного индивида и заканчивается свобода другого, требует от Канта введения определенного морального принципа. Принцип долга подкрепляет принцип права, в рамках которого происходит отказ от индивидуальной свободы естественного состояния ради достижения гражданского (государственного) состояния. Общественный договор не может быть расторгнут на основе нравственных начал – природная доброта человека выступает как идеал, овеянный в правовых нормах. Частные свободы гармонизируются всеобщими законами. Между тем, характеристики этой гармонии (следовательно и права) остаются для Канта абстракцией, предполагающей наилучшее побуждение всех участников «общественного договора». Универсальность априорно данной абстракции не позволяет ему сформировать идею нации в ее конкретности и привязанности к истории, культуре, языку. Остается голая идея власти, которая только и видит общественный идеал: «...хотя люди и имеют идею о принадлежащих им правах, но из-за своей черствости они непригодны к тому, чтобы с ними обращаться в соответствии с этими правами, и недостойны этого; а потому некоторая высшая власть, действующая одним лишь правилам благоразумия, может и должна держать их в рамках порядка»⁷⁹¹.

Оборотной стороной идеи правового государства является либеральный юризм, столь жестоко надругавшийся над общественным сознанием России в период перестройки. Вероятно, наиболее яркую его формулировку дал Дж.Локк: «Свобода людей в условиях существования системы правления заключается в том, чтобы жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и установленном законодательной властью, созданной в нем; это свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека»⁷⁹².

Соответственно, принцип свободы и закона легко трансформируется в нигилистическую политику, когда закон считается отсутствующим, и в бюрократический произвол, когда закон отождествляется со свободой. Изъятие нравственного аспекта из социального идеала и замена ее свободой, лишь для вида прикрытой идеей законности, разрушает теоретическую базу для утверждения принципов устойчивой государственности.

Целью, образующей государство договорной ассоциации людей, согласно Руссо, должно было быть обеспечение свободы каждому из ее членов. Эта цель может достигаться исходя из принципа равенства, когда уступка своих естественных прав допускается только в пользу всей общины, причем каждый делает равную уступку. Неизбежным в таком решении проблемы ассоциации становится эгалитаристский подход – все люди полагаются не столько равными, сколько одинаковыми, а свобода автономной личности превращается в несвободу подчинения целому, не обусловленному никакими личными качествами.

Главный недостаток либеральной идеологии в отношении государства указан Хьюбером: «Диалектика просвещенческой философии состоит в том, что, с одной стороны, она окончательно проникается идеей, что суверен государства совпадает с народом или нацией, с другой стороны, однако, индивидуалистический подход не предоставляет ей средств для ответа на вопрос, что собственно нация и народ собой представляют»⁷⁹³.

⁷⁹¹ Там же, с. 98.

⁷⁹² Локк Дж., Соч., М., 1988, т.3, с. 274-275.

⁷⁹³ Хьюбер К. Нация, М., 2001, с. 117.

Нигилистическое отношение к государству в эпоху Просвещения проявляется в том, что действующие законы признаются несправедливыми, не соответствующими естественному праву, а потому подлежащими замене другими законами. Законы рассматриваются как привилегия для немногих и прикрытие для насилия (Беккария). Уничтожение сословных привилегий, упразднение церковных судов стало для Просвещения общей идеей, направленной против прежних государственной системы, социальной иерархии и теоретического обоснования государства. И если идеальной формой правления все еще считалась абсолютная монархия (Вольтер), она полностью отделялась от церковных институтов и должна была быть «просвещенной», т.е. исходить из норм «естественного права». Иными словами, речь шла о революционном преобразовании государства при сохранении его формы.

Идеи Просвещения, воплощенные в Великой Французской революции, показали, что форма государственной власти оказалась важнее, чем принципы, во исполнение которых эта форма менялась. Абсолютизм королевской власти сменился абсолютизмом Конвента, привилегии аристократии – произволом комиссаров и чиновников, а всеобщее благо и освобождение личности быстрее всего приближалось гильотиной. Общая воля, приобретающая в либерализме качество непогрешимости, таким образом становится оправданием тирании. На знаменитый тезис Руссо о том, что отдельного человека политический организм заставит быть свободным, ссылались якобинцы.

Как писал К.П.Победоносцев в «Московском сборнике» (1896 г.), «Много зла наделали человечеству философы школы Ж.-Ж. Руссо. Философия эта завладела умами, а между тем вся она построена на одном ложном представлении о совершенстве человеческой природы и о полнейшей способности всех и каждого уразуметь и осуществить те начала собственного устройства, которые эта философия проповедовала».

Впрочем, скептическое отношение Локка и Гоббса и других к качеству человеческой природы не мешало им разделять иные позиции Руссо. Важно другое – приверженность мысли о добровольном вхождении в общество, которое каждый индивид будто бы принимает сам, а потому государство – плод его соглашения с другими индивидами. Чтобы понять государство, таким образом, остается только исследовать умопостигаемые «естественные законы». «Естественное» государство становится плодом соглашения либо всех людей, либо мудрейших из них, которые воспитывают остальных (Гольбах, Гельвеций, Ламетри), а действительное государство управляется немудро, несправедливо и противоестественно, а потому подлежит разрушению. Все глубокие размышления деятелей Просвещения, собственно, и направлены на то, чтобы обнаружить в человеческом естестве нечто отвергающее современное государство и принимающее либеральную утопию: «Человек рожден свободным, а между тем он везде в оковах» (этими словами открывается трактат Руссо, «Об общественном договоре»).

«Законодатель» Руссо олицетворяет либеральный утопизм, направленный против традиционного общества, поскольку, чтобы «открыть наилучшие правила общежития, подобающие народу, нужен ум высокий, который знал бы все нужды людей» и «не имел бы ничего общего с нашей природой, но знал все, что природе всех нас свойственно; чье счастье не зависело бы от нас, но кто согласился бы все же заняться нашим счастьем. Словом, потребовался бы бог, чтобы дать хорошие законы человеческому роду»⁷⁹⁴. Сверхобщественный «законодатель» становится носителем власти, только находясь вне общества. И в нем угадывается «просвещенный» диктатор, заменяющий монарха⁷⁹⁵.

Важнейшим прагматическим содержанием политического либерализма считается принцип разделения властей. Инструментом либеральной государственной системы является конституционный строй, налаживающий равновесие между отдельными государственными органами через разделение властей. Гражданский строй, свобода и

⁷⁹⁴ Руссо Ж.-Ж. Трактаты, М., 1969, с. 333.

⁷⁹⁵ Заметим, что обратный путь от либеральной демократии делает фигуру «законодателя» позитивной, поскольку через нее ведет к монарху и традиции.

автономия личности поддерживаются законодательной властью, народным представительством; административная система, государственное обеспечение – исполнительной властью; конституционный строй – судебной властью.

Хотя Монтескье писал скорее не о разделении властей, а о разделении функций власти, его авторская интерпретация мало чего значила⁷⁹⁶. Идея о необходимости разделения властей стала «ходячим представлением» уже в XIX в. Гегель обратил внимание, что этот принцип не понимается теми, кто увлечен ими. «Принцип разделения властей содержит существенный момент *различия, реальной* разумности; однако в понимании абстрактного рассудка в нем заключается частью ложное определение *абсолютной самостоятельности* властей по отношению друг к другу, частью одностороннее понимание их отношения друг к другу как негативного, как взаимного *ограничения*. При таком воззрении предполагается враждебность, страх каждой из властей перед тем, что другая осуществляет против нее как против зла, и вместе с тем определение противодействия ей и установление посредством такого противовеса всеобщего равновесия, но не живого единства»⁷⁹⁷. В результате самостоятельности властей возникает «борьба, в результате которой одна власть подчиняет себе другую и тем самым создает единство, какой бы характер оно ни носило, и, таким образом, спасает существенное, пребывание государства»⁷⁹⁸. Гегель ссылается на пример Французской революции, в которой то законодательная власть поглощала исполнительную власть, то наоборот.

Принцип разделения властей либералами ставится выше интересов государственного единства. И на это также указывал Гегель: «Представление о так называемой независимости властей друг от друга заключают в себе ту основную ошибку, что независимые власти не менее должны ограничивать друг друга. Но посредством же этой независимости уничтожается единство государства, которое надлежит требовать прежде всего»⁷⁹⁹. Игнорирование ценности государства как такового по сравнению с абстрактными принципами в данном случае, как и в других, демонстрирует нигилизм либеральной мысли, которая постоянно находит какие-либо причины, чтобы объявить государство несостоятельным, противоречащим некоему умозрительному принципу.

Как и многие мыслители Просвещения, Гегель предпочитал монархию в качестве наиболее приемлемой формы государства. Для него речь шла о личности государства⁸⁰⁰, которая как раз и выделяла «власть субъективности как последнего волевого решения, *власть* государя, в которой различные власти объединены в индивидуальное единство»⁸⁰¹ – то есть, конституционная монархия скрепляет власть устанавливать всеобщее (законодательную) и «власть подводить особенные сферы и отдельные случаи под всеобщее» (правительственную власть). И здесь мы можем увидеть предпосылку идей суверенитета, развитых в учении Карла Шмитта. Но это направление оказалось чуждым либеральной мысли.

Удивительно непродуктивными остаются и по сей день беспрерывно воспроизводимые размышления либералов о разделении властей, которое было сформулировано в «Духе законов» Монтескье. Н.Н.Алексеев по этому поводу иронично отмечал: «Со времени Локка и Монтескье западная теория государства исключительно занималась размышлениями о том, как построить государство, в котором осуществление властных актов было бы максимально затруднено и задержано. Решение этой проблемы

⁷⁹⁶ Надо сказать, что Монтескье неоправданно приписываются основополагающие идеи либерализма, которые никак не стыкуются с утверждением национальной идеи. Действительно, Монтескье в «Духе законов» пишет, что человеческое поведение детерминирует климат, религию, законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы. Именно это, а не совокупная воля атомизированных эгоистов создает «общий дух» – дух нации как конкретного культурно-природного сообщества.

⁷⁹⁷ Гегель. Цит. пр. С. 309.

⁷⁹⁸ Там же. С. 310.

⁷⁹⁹ Там же. С. 339.

⁸⁰⁰ Там же. С. 319.

⁸⁰¹ Там же. С. 311.

достигалось путем “разделения властей” — то есть такого распределения функций, при котором осуществление одних мешало бы осуществлению других. Таким образом думали бороться с деспотизмом и построить истинно свободное государство. И, следовательно, проблема распределения функций превращена была в проблему построения некоторого идеального политического строя, обеспечивающего наилучшим путем свободу граждан»⁸⁰².

Именно в связи с такой оценкой можно заключить, что идея о разделении властей является фундаментальным элементом либерального утопизма, его вариантом «светлого будущего» и его «политической технологией» сегодняшнего дня, выдающей мечту за эффективный управленческий принцип. «...для понимания того, каким образом из этих трех лиц образуется единая государственная власть, до известной степени подходят богословские аналогии, взятые из догмы о троичности лиц единой божественной природы. Все это, впрочем, есть политическая метафизика, которая не может способствовать устранению практических недостатков подобной системы. Чрезмерное обособление властей или ведет к непримиримому их соревнованию, которое в любой момент склонно перейти в анархию, или же ведет к диктатуре одного из элементов власти, которая и устанавливает необходимое в государстве единство действий»⁸⁰³.

С точки зрения коммуникативной теории Николаса Лумана, система разделения властей вовсе не означает надежной защиты от произвола, ибо эта система в ложнодифференцированном обществе выглядит чрезвычайно примитивной, поскольку зачастую приводит не к взаимному усилению источников власти, а к их аннигиляции⁸⁰⁴. Комментатор Лумана А.Ю. Антоновский говорит о том, что староевропейская вера в разум опровергнута открытием природы общества как системы коммуникаций, в которой отдельный атомизированный человек вовсе не является источником идей общезначимого характера и даже не в состоянии обособленно формировать свою внутреннюю природу. В современном обществе дифференцируются не группы людей, а типы коммуникаций⁸⁰⁵. Власть в ее современном понимании в значительной степени смещается в сторону подчиненных: распоряжения предвосхищаются подчиненными, что позволяет манипулировать властвующими и властью. Властитель нужен подчиненному, чтобы через него протаскивать свои решения.

В заслугу либеральной доктрине часто ставится становление современной системы парламентаризма. Между тем, сословно-представительные монархии преобладали в Западной Европе еще в XIII-XVI вв., а первый российский «парламент» – Земский собор князя Всеволода III Большое Гнездо состоялся в 1211 г.

Парламент вообще является универсальной политической технологией как для республиканской, так и для монархической власти (даже Гражданская война в России в качестве аргумента использовала идею народного представительства с обеих сторон – равного представительства граждан в Учредительном собрании и идею представительства трудящихся в Советах). Возможно, именно универсальность представительства как системы делегирования власти «снизу вверх» уживается с либеральными воззрениями, для которых важно даже формальное равенство при формировании парламента – как переходного этапа к равенству реальному. Впрочем, Руссо полагал, что парламентаризм не способен служить средством выражения общей воли, ибо ее нельзя делегировать, и решения депутатов — лишь их частные волеизъявления. Чтобы парламент действительно обладал качествами всеобщей воли, по мысли Руссо, вообще не должно быть никакого большинства, поскольку избиратель должен быть полностью автономен от каких-либо партийно-политических группировок.

⁸⁰² Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 562.

⁸⁰³ Там же. С. 565.

⁸⁰⁴ Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С.169.

⁸⁰⁵ Там же. С.224–225.

Совершенно иную точку зрения на этот вопрос имел Гегель, склонявшийся, скорее, к традиционному сословному представительству: «Если депутаты рассматриваются как *представители*, то это имеет органический разумный смысл лишь в том случае, если они являются *представителями* не *единичных* лиц, не массы, а *представителями* одной из существенных *сфер* общества, представителями его крупных интересов»⁸⁰⁶.

Действительно, законы, принятые парламентским большинством, не могут выразить многообразие мнений в обществе. Поэтому идеи «классического» либерализма отступают от абсолютизации парламента и вводится принцип защиты прав меньшинства, который должен быть отражен в деятельности парламента. Уже Токвиль и де Местр опасались захвата власти некомпетентным большинством.

Государство должно заранее выстраивать барьеры против такого захвата. В этом состоит смысл «конституции свободы» Ф.Хайека, который предусматривает: 1) принцип дополнения демократии конституцией правового государства, ограничивающего большинство в возможностях установления тирании по отношению к меньшинству; 2) принцип дополнения равенства перед законом неравенством в обществе (поскольку отрицание второго уничтожает первое – уравнительность угнетает наиболее экономически активные слои общества). Здесь можно было бы увидеть подходы к иерархической модели общества, которая сама собой диктуется экономическим отношениями.

Тем не менее, защита прав меньшинства может предоставить именно ему возможности для тирании против большинства. Именно так обстояло дело в феврале 1917 г. в России. В каком-то смысле этому способствовала проведенная П.А.Столыпиным в 1907 г. реформа избирательной системы в пользу собственников – помещиков, фабрикантов и крестьян-землевладельцев. Политическая консолидация меньшинства позволила ему сломать прежнюю государственность, но удержать ее не было сил. И на смену тирании меньшинства пришла тирания большинства.

Стабилизирующим фактором для политической системы, взявшей на себя риски, связанные с парламентаризмом, может быть лишь не вполне материальная сила – сила национального единства. И в связи с этим, а также, исходя из первичного для либерализма противостояния идее суверенитета монарха, появилась идея либерального национализма⁸⁰⁷. Тем не менее, и здесь либеральная мысль требует от национализма сохранения свободного выбора человеком своей национальности, обеспечения прав культурных меньшинств и индивидуальных прав человека. И все же либеральный национализм означает всего лишь консолидацию общества вокруг либеральных ценностей и готовность отстаивать национальные интересы. Именно в этом смысле говорится о некоем осознании «общей судьбы». В доктрине либерального национализма мы имеем попытку уйти от наиболее явных антигосударственных идей либерализма и признание ценности государства и нации хотя бы в условном варианте.

Доктрину либерального национализма вряд ли можно считать существенной для либерального образа мысли в целом. Не стоит видеть в нем какой-то трансформации либеральных взглядов на государство в современную эпоху. В определенном смысле современный либерализм остается «классическим». Например, Хайек убежден, что государство есть организация, целенаправленно создаваемая совместно проживающими людьми в целях единообразного управления. Эта организация, подчеркивает Хайек, «ни в коем случае не идентична самому обществу». Она лишь одна из многих, имеющих в свободном обществе, «ограничена правительственным аппаратом»⁸⁰⁸. Для французских политологов В.Бади и П.Бирнбаума государство – «хорошо организованная машина

⁸⁰⁶ Гегель. Цит. пр. С. 350.

⁸⁰⁷ Дробижева Л.М. Возможность либерального этнонационализма// Реальность этнических мифов. Центра Карнеги, 2000, октябрь.

⁸⁰⁸ Хайек Ф. Общество свободных. Сдерживание власти и развенчание политики// Открытая политика, 1995, № 8 (10). с. 41.

власти вместе с находящимися у нее в услужении гражданскими чиновниками и вооруженными силами»⁸⁰⁹.

Либеральная концепция власти сегодня уходит от представления об атомизированном человеке, но все же человек в рамках либеральной доктрины остается обособленным, хотя и приобретает ответственность.

Эгберт Ян, профессор Мангеймского университета пишет: «Наиболее полное выражение власти народа (демократии) — свободная конституционная республика, в которой государственная власть, обеспечивающая права гражданина и человека, поделена между законодательными, исполнительными и судебными органами. (...) В отличие от абсолютной династической власти, государственный суверенитет народа представляет собой ограниченную естественным правом человека и самоустановленным правом гражданина, а также временными рамками верховную власть. Народ выступает в качестве не закрытого коллектива, а общественной ассоциации индивидов. В идеальном случае гражданин — это не просто член народного сообщества, исполнитель коллективной воли или же некий атомизированный эгоист, преследующий исключительно собственные интересы, а ответственный перед обществом субъект, самостоятельно и свободно мыслящий и способный участвовать в процессе формирования общественного мнения в государстве. Государственный народ являет собой правовое сообщество, а нация — политическое сообщество по волеизъявлению, принадлежность к которому не зависит от социального, конфессионального или этнического происхождения. Согласно исходной либерально-республиканской идее, порожденной Французской революцией, государственный народ как общность всех граждан и нация идентичны»⁸¹⁰.

Из приведенной цитаты следует, что принцип разделения властей является определенной гарантией принципа культурной уравнительности, а потому предопределяет не только понимание власти, государства, суверенитета, нации в рамках либеральных воззрений, но и в целом понимание политического. Политическое становится культурно индифферентным. И здесь возникает противоречие – либерализм отказывает в праве на существование иным культурам, в рамках которых культурная индифферентность неприемлема.

Классический либерализм открывает свое собственное понятие свободы, отличное от понимания свободы древними. Бенжамин Констан в 1815 Г. объявил, что свобода древних ограничивалась возможностью коллективного осуществления верховной власти – публичного обсуждения и голосования. В частных делах индивид не свободен – в древнем понимании свободы нет гражданских свобод и свободы совести. Новое, либеральное понимание свободы означает не столько соучастие в осуществлении власти, сколько личную независимость и самостоятельность и подчинение только законам. Эту независимость Констан считает первейшей из потребностей, а потому объявляет о невозможности «принесения в жертву» политической свободы. Причина нового понимания свободы связана с увеличением размеров современных государств (поэтому в текущем управлении невозможны формы прямой демократии), ликвидацией рабства (поэтому ликвидируется и досуг, необходимый для соучастия в управлении государством) и необходимостью личной предприимчивости в промышленной деятельности (в противовес воинской дисциплине граждан античности).

Разумеется, Констан, выдвигая свои тезисы, выполнял определенную политическую задачу. Поэтому его подходы сегодня выглядят надуманными: прямая демократия легко осуществляется на уровне общины, а полномочия делегируются; досуг сохраняется у элиты (поэтому для современности более приемлема аристотелевская цензовая полиция, а не уравнительная демократия), а личная предприимчивость никак не

⁸⁰⁹ Бади Б., Бирнбаум П. Переосмысление социологии государства//Международный журнал социальных наук. 1994. № 4 (7). С. 17.

⁸¹⁰ Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство// Полис, 2000. №1.

может означать отказ от государственной дисциплины и ответственности (писаной в законе и неписаной в этике) гражданина перед нацией. Таким образом, закрепившееся в либеральной доктрине отрицание античности и противопоставление современной демократии античному государственному порядку, сохранившееся до сей поры (труды Э.Геллнера, К.Поппера и др.), уводит либеральные представления о государстве в сторону от исторической традиции. Не случайно уже с конца XIX в. античный идеал государственности в рамках либеральной доктрины заменяется беспочвенным американским идеалом, не имеющим своей древности. Живой общеевропейский миф античности подменяется выдуманным мифом американизма. Вероятно, во многом эта подмена обусловила катаклизмы XX в. – революции и мировые войны, разделившие нации в них самих и, прежде всего, европейские нации – между собой. Демократия самоутверждается на развалинах культуры. Выигрывая войны и экономическое соревнование, мировая демократия незримо использует для мобилизации все тот же античный миф, но отрекается от него и изживает его в практике повседневности. Поэтому, называя себя «социальной», все больше разлагается изнутри, приобретая паразитические черты не только в отношении культуры, но и в отношении «недемократического мира».

Для современного российского либерализма особое значение имеет книга Поппера «Открытое общество и его враги»⁸¹¹. Попперовская критика Платона представляет собой критику индивидуализмом любой формы коллективности. Возражения теряют смысл хотя бы после оспаривания таких слов Платона: «...бытие возникает не ради тебя, а наоборот ты – ради него. Ведь любой... делает все ради целого, а не целое ради части». Поппер, напротив, хочет поставить целое на службу частному, определить замысел бытия как «мира для меня». Тогда никакие политические привилегии не могут считаться «естественными», потому что естественность остается за одной привилегией – переделывать целое в угоду части. Разумеется, отсюда следует не устойчивое общество, а жесточайшая конкуренция, которая в сочетании с принципом «открытости» вообще не может быть когда-либо прекращена.

Задачи управления государственными и национальными системами требуют исходить именно из естественности реальных или видимых привилегий (сохраняя тем самым гражданский мир), целостности общественно-государственного организма (коллективизм или «холизм» в терминологии Поппера), а также из обязанности индивида сохранять стабильность государства. Защитник свобод граждан также не может исходить из частных представлений о свободе и справедливости. Но этого, пожалуй, ни Поппер, ни его сознательные или интуитивные последователи понять не в состоянии. Они упорно стремятся сделать частные интересы основой общей теории управления, не замечая многообразия и противоречивости частных интересов, которые не могут быть уравновешены увещаниями, проповедью уступок друг другу. Да и моральный кодекс, на основании которого эти увещания и проповеди могли бы существовать, не составить из пожеланий частных лиц.

Для Поппера неустойчивость государства есть отражение его оправданности, для самого государства, напротив, оно ищет самооправдания в собственной стабильности. Мы видим, что попперовский либерализм на теоретическом уровне носит откровенно антигосударственный характер.

К достоинствам своего подхода Поппер относит отсутствие необходимости говорить о сущности государства и его происхождении – достаточно только рекомендации, чтобы следовать определенной политике. То есть, речь идет не об отстаивании политических сущностей, а о некоей технологии: свобода защищается государством, а само государство управляется свободными гражданами.

Поппер считает, что его противники придерживаются порочной позиции, согласно которой государство должно обеспечивать не свободу, а мораль. В этом случае за счет

⁸¹¹ Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1990.

морали расширяется правовая сфера. Иными словами, хочется, чтобы мораль была делом, во-первых, частным, во-вторых, самопроизвольным (не регламентированным в праве). Тогда только личность остается ответственной. Но с тем же успехом можно доказать, что она остается безответственной, ибо никто не стоит над индивидом и не спрашивает с него за его поступки. Напротив, «родовые тоталитарные табу» (как иронично называет правовые институты Поппер) предопределяют религиозную мотивацию поведения индивида, которая обретает законченную форму именно в праве.

Позиция Поппера отражена в категорическом утверждении: мораль государства значительно ниже морали среднего гражданина. Это может означать лишь принципиальную вредность государства как такового или предназначенность его лишь для вразумления аморальных типов и защиты высокоморального большинства от жалкой кучки преступников. В действительности, высшие нормы морали вносятся в общество только государством, мораль государства всегда выше морали подавляющего большинства граждан, которым нужен видимый образ силы и возможности наказания, чтобы соблюдать элементарные нормы социальной жизни. И действительно, Поппер ссылается на древнегреческого софиста Ликфона, который объявил, что закон не может сделать людей добрыми и справедливыми. Но тогда остается просто ждать, когда доброта и справедливость привьются сами собой, а государство, чтобы не мешать свободной игре нравов, должно быть распушено или же вовсе игнорировать задачу воспитания нравов.

Закрывая глаза на историю человечества, Поппер полагает, что власть имущие не могут делать все, что им заблагорассудится. Только явные приметы краха власти останавливали правителей, лишенных моральных императивов и религиозных мотиваций. То есть, «неконтролируемый суверенитет» присутствует всюду под более или менее тщательной маскировкой. Более того, цели частной политики (утверждаемой Поппером как идеальная модель) – устранение всех форм контроля за волей правителя. Может быть, власть и не должна быть неконтролируемой, но всегда стремится к этому и чаще всего успешно (по крайней мере в тактических вопросах, где нет ограничений, связанных с природными законами).

Критерием демократии, который якобы снимает парадоксы теории суверенитета, Поппер считает такое институциональное устройство, которое позволяет избавиться от правительства без кровопролития, переворота и других потрясений. При этом демократией, по Попперу, следует считать не власть демоса, а институты, ограждающие общество от тирании. Иными словами, речь идет о реализации принципа, не имеющего отношения ни к истории, ни к воле большинства (а тем более – меньшинства) населения. И этот принцип должен реализоваться в некоторой системе, которая выше даже воли избирателя, ради прояснения которой она создается (легитимная смена власти).

Российский либерализм в силу национальной специфики превратился в квазирелигию, в рамках которой демократия воспринимается как набор догм, а не как развивающийся процесс, а государство и национальные интересы отодвигаются на второй план, чтобы защитить атомизированную личность, выдуманную в эпоху Просвещения. Примером такого отношения к либерализму могут быть симптоматичные строки начала XX в.: «Декларация велика не тем, что первая возвестила человечеству освободительные принципы, но тем, что практические, трезвые, жизненные формулы американцев обратила со свойственными французскому народу темпераментом и блеском в великие моральные истины, общечеловеческие, общеобязательные. Местные хартии, местные вольности были обращены в катехизис, из которого строящее человечество черпало и долго будет черпать вечно юные, незыблемые принципы благоустроенного общежития. Пусть английские билли и американские декларации имеют хронологические преимущества; французская декларация остается апостольской проповедью»⁸¹².

⁸¹² Боровой А. Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм. Анархизм. М., Логос, 1996.

Как писал Лев Тихомиров, «*выводы о необходимости политических вольностей* затвержены наизусть, но *посылки*, из которых они только и вытекают, совершенно разрушены наукой. Выводы стали предметом общего верования, но висят на воздухе со всеми признаками ненавистных XVIII веку “предрассудков”. Говорят и нынче о естественных правах, но в качестве совершенно бессмысленного выражения, которое еще годится для оратора, но никак не для человека науки. Говорят о народном представительстве, о том, что правление без представительства есть узурпация, о том, каковы наилучшие формы выборов, о том даже, что и меньшинство не должно оставаться без представительства. Но почему вообще нужно представительство и даже что, собственно, оно “представляет” — ни один человек не сумеет объяснить. Говорят нынче о свободе, но откуда она взялась и что означает — никому не известно, и меньше всего специалистам-психологам, которые гораздо охотнее и толковее расскажут нам о роковых влияниях, принудительно определяющих действия человека. В этом отношении контраст двух веков разителен. Тогда разум и политическое действие, как формулировал Кондорсе, сливались неразрывно. Теперь между ними не улавливается никакой ясной связи»⁸¹³.

Тихомиров подчеркивает, что для Руссо и его сподвижников было совершенно ясно, что есть разница между *волею всех* (*volonte de tous*) и *общей волей* (*volonte generale*). Для российских либералов это понимание было полностью утрачено. Они предпочли забыть, что Руссо требовал уничтожения партий и политических группировок, замутняющих личное мнение. Они предпочли пройти мимо слов Руссо о том, что представительство создается только развращенным народом и может только продать их беспризорное отечество.

Тихомиров высмеивает либеральную забывчивость и слепую устремленность к институциональному творчеству: «Представительство само по себе, конечно, есть фикция. Нельзя представлять того, чего нет. Но оно облегчает для народа “неудобоносимые бремена” теории и ограничивает выражение “народной воли”, заставляя ее высказываться лишь в отношении *лиц и программ*. Это уже легче. Но и лицами, и программами способно интересоваться лишь меньшинство, по страсти, выгоде или убеждению более занимающееся политикой. Из этого-то маленького меньшинства возникают *партии*, одним концом коренящиеся в правительстве, а другим разжигающие народ и собирающие голоса. Так является *правящее сословие*. Настоящая природа социальных явлений обращает в ничто все фантазии теорий и создает *класс* там, где вся, задача теории состояла в уничтожении его. Появление партий приводит в изумление самих демократов»⁸¹⁴.

Вместо народоправства, пишет Тихомиров, мы имеем парламентаризм и господство партий. На выборах народ ловится на слове, в правлении же народ совершенно исчезает. Либеральные партии становятся принципиально антинародными, поскольку не выясняют мнения народа, а занимаются ловлей голосов, побуждением граждан подавать этот голос в свою пользу. Заморочить и обмануть — вот тайный смысл либерального представления о государстве. Либеральное государство — государство-обманщик.

Заметим, что попперовский антиисторизм направлен российским либерализмом против России⁸¹⁵, потому что предъявляет России самые абсурдные и безосновательные претензии (см. послесловие к его «Открытому обществу...», написанное в 1992 г.). Во-первых, Поппер обвиняет нашу страну в резкой поляризации правых и левых сил в Европе, которая, будто бы, привела к фашизму в ряде европейских стран. Во-вторых, Поппер объявляет, что именно Россия (Советский Союз) повинна в социальных конфликтах на Западе и конфликте Запада и остального мира. Будто бы виной всему

⁸¹³ Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. С. 115.

⁸¹⁴ Там же. С. 126.

⁸¹⁵ «...русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию» — эти слова Ф.М.Достоевский вкладывает в уста одного из героев романа «Идиот» — Собрание мыслей Достоевского, М., 2003. С. 313.

пропаганда. Наконец, антироссийскую направленность попперовской «теории» изобличает его симпатия к большевистскому пацифизму, его положительная оценка Брестского мира, как вклада в сохранение мира.

Теория государственности определяется тем нравственным идеалом, который заложен изначально в ее основу. Внесение в политическую культуру современной России либеральных ценностей сразу изменило представления о государственности, перенеся на российскую почву целый ряд положений, истоки которых лежат в эпохе Просвещения.

В практической политике идеал проявляет себя тем, что приверженные ему политические субъекты стремятся к воплощению идеала. Для России это означало, что на авансцене политической борьбы появились такие персонажи, которые добивались реализации на практике философских утопий эпохи Просвещения. Причем, речь шла не о постепенном и естественном прорастании либеральных идеалов сквозь живую ткань общества со всем его опытом, со всеми его сложившимися традициями, прозрениями и заблуждениями, а о прямом внедрении Просвещения в повседневную жизнь. Это наложило определенный отпечаток на интерпретацию принятых на вооружение идей.

Деятели Просвещения стремились к утверждению на земле «царство разума», в котором люди будут совершенствоваться во всех отношениях, восторжествует гармония интересов свободного индивида и справедливого общества, а гуманизм станет высшей нормой социальной жизни. Идеал такого общества должен был быть достигнут за счет вытеснения из массового сознания клерикальных идей и ликвидации феодально-аристократических институтов и традиций. В современной России аналогом клерикально-феодальных институтов стали институты советского общества и коммунистической партий. Соответственно в их уничтожении (а не вытеснении) новой генерации очарованных «демоном разума» политиков и активистов демократического движения виделась возможность установления «царства разума». Ради этой утопии вместе с коммунизмом готовы были уничтожить и Россию.

Успех либеральной программы разгосударствления, обусловленный долгой подготовительной работой марксистских иллюзионистов и партийной бюрократии, был колоссальный – мифы либерализма в кратчайшие сроки расстроили хозяйство, оборону, культуру всего пространства исторической России и даже подорвали у русской нации желание жить. Либеральной бюрократии, наполнившей свои ряды без исключения прежними партийными бюрократами, почти удалось уничтожить Россию, на этой грани между жизнью и смертью Россия и русские находятся до сих пор.

Европейский политический романтизм и консерватизм

Романтическая и консервативная философия, переплетаясь в произведениях разных авторов, составили весомую альтернативу Просвещению и развившемуся из него либерализму. Для современной российской ситуации соответствующие идеи призваны разрушить монополию однообразных обществоведческих клише, распространившихся в науке, праве, журналистике и обыденном сознании. Кризис российской государственности, понятый, как кризис сознания и бесперспективность удерживания страны в рамках либеральной доктрины, позволяет взять из европейского философского наследия те элементы, которые дают возможность связать общественную мысль с нашей собственной исторической традицией и проложить пути к отечественному интеллектуальному наследию.

В адрес либерального индивидуализма европейские романтики и консерваторы уже в конце XVIII – начале XIX вв. бросили несколько значительных обвинений. Прежде всего, обвинение в механическом подходе к государству, превращавшем его в машину, безразличную к особенностям людей, образующих государство. То есть, государство не было понято либералами как национальная форма.

Второе обвинение обращено к либеральной методологии, которая создает проект чисто умозрительного государственного устройства, пренебрегая чувственной природой

человека. Наконец, насмешкам подвергается абстрактное понятие об индивиду. Консерватор де Местер пишет: «Не существует чего-то такого, что можно назвать человеком. В своей жизни я встречал французов, итальянцев, русских и так далее, ...но что касается человека, то я заявляю, что я его до сих пор не встречал. Если он и есть, то я об этом не знаю».

Просвещение, преклоняясь перед «природой человека», в действительности представляло ее весьма расплывчато, зачастую всего лишь как примитивное проявление эгоистического инстинкта. Консервативная мысль в поисках истинной природы человека начинает искать ее в истории. Английский критик Французской революции Эдмунд Берк писал: «Действуя как бы в присутствии канонизированных предков, дух свободы, ведущий сам по себе к беспорядку и крайностям, умеряется благоговейной серьезностью...»⁸¹⁶. Национальное становится своего рода «цензором» для руссоистской «общей воли», взрывающей социальный порядок своим поиском свободы.

На этапе романтического увлечения народными обычаями у консерваторов-традиционалистов национальное могло пониматься как простонародный миф. Де Местер писал: «Все известные нам народы были счастливы и могущественны постольку, поскольку они свято придерживались советов... национального разума, который представляет собой не что иное, как подавление индивидуальных догм и абсолютное и всеобщее царство догм национальных, иначе говоря, полезных предрассудков»⁸¹⁷.

О полезности предрассудков высказывался и Берк: «Предрассудки полезны, в них сконцентрированы вечные истины и добро, они помогают колеблющемуся принять решение, делают человеческие добродетели привычкой, а не рядом не связанных между собой поступков»⁸¹⁸. Иными словами, «предрассудки» есть просто Традиция как таковая – все, что предопределяет дорассудочное решение, отобранное в течение длительного испытания и определенное временем как верное.

Национальное, таким образом осознавалось в рамках консервативной доктрины постепенно через уравнивание «естественных» эгоистических устремлений индивидов. Романтическая философия, начиная с более глубокого внимания к национальной идентичности, осталась в этой глубине вне политических аспектов жизни нации, которые все более затрагивались в работах консерваторов. Здесь, собственно, и проходит размежевание двух тесно связанных мировоззренческих позиций.

Будучи разноречивыми в других своих аспектах, романтическая и консервативная философии оставались едины в главном – в идее государства как формы существования традиции, соединяющей прошлое, настоящее и будущее. Причем, согласно мысли немецкого историка и политика Юстуса Мёзера, эта форма есть единство во множественности органических взаимосвязей, где целое нуждается в своих частях и наоборот. Таким образом, в отличие от либералов, в романтико-консервативном мировоззрении индивид не растворяется в общей воле, но реализует свою личность в общем духе, в который он делает свой вклад и который отображается в нем самом.

Романтизм предполагал рождение государства из самой природы за счет преобразование семьи в племя, из племени в межплеменный союз (Адам Мюллер, «Элементы государственного искусства»⁸¹⁹). Государство – особый организм, который нельзя сводить к сумме индивидов.

Более прагматичный и приближенный к политике взгляд консерватора оставляет такие вопросы в стороне как само собой разумеющиеся. Например, Берк считал, что индивид рождается в некоей культурной общности, что означает неизбежное присутствие традиции в государственном строительстве и низложение индивидуалистической абстракции государства как суммы частных эгоизмов. Берка не интересует абстракция

⁸¹⁶ Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993.

⁸¹⁷ Цит. по Карсавин Л.П. Жозеф де Местер// Вопросы философии, 1989. №3. С. 117.

⁸¹⁸ Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993. С.86.

⁸¹⁹ Muller A. Elemente der Staatskunst. Wien, 1922.

догосударственной предыстории семей и племен. Главное, что традиция актуальна и требует от индивида включения в нацию. Не воля и не эгоизм соединяют людей, а именно традиция.

Позднее Адам Мюллер, а за ним Гегель говорят о том, что нация должна рассматриваться как субстанциальное основание и любого отдельного индивида, и государства. Это значит, что не индивиды, складывая вместе свои особенности, формируют особенность нации, а напротив, нация придает индивидам своеобразные черты характера.

Иоганн Готфрид Гердер, получивший в дальнейшем звание «немецкого просветителя», сделал еще один шаг, провозгласив, что не может быть универсальных «наилучших форм государства», а каждый народ несет «в себе *свои* нормы права, *свои* представления о счастье», которые отличают данный народ от других, как и его язык, диктующий особенности мышления. Народы – это мысли Бога, а формы государства зависят от самобытности народа, его характера. Более того, естественное государство – это один народ с одним национальным характером, с одним языком, выражающим душу нации⁸²⁰. Универсалистская либеральная утопия, таким образом, несостоятельна.

Важно, что романтическая концепция государства не позволяет вмешиваться в жизнь «диких» народов и «цивилизовать их» под одну либеральную гребенку, тем более смотреть на «дикарей», как на не-вполне-людей. Все народы - ветви от единого ствола человечества, у каждого из них – своя роль в мировой истории, часть божественной идеи человечества, представленного во множестве национальных форм.

Романтикам ближе были культурные, а не политические идеи, отчего национальную общность они видели расплывчато, ограничиваясь, скорее, благими декларациями, чем исследованиями. Так, Леопольд фон Ранке предлагал не «вывешивать знамя воображаемой немецкости. Это вызовет лишь другой фантом, искушающий нас другими ложными путями». Ранке считал, что национальный гений (сущность нации) действует скорее неосознанно и говорить о нем бессмысленно, а практическая задача состоит в том, чтобы «действовать в согласии с нашим Отечеством и нашими предками», обращаясь к науке «со всеми нашими способностями и со всем нашим знанием»⁸²¹. Главным для романтиков было государство, достоинства которого не ставились под сомнение, а нация воспринималась скорее через фольклор и идеализированные эпизоды истории (миф былого величия).

Вероятно, наиболее веской политической идеей романтиков, заимствованной позднее консерваторами, была идея восстановления Священной Римской империи германской нации, которая угадывается и в современной модели Единой Европы. Эта мессианская идея находится в тесной связи с возвращением теологии в общественное сознание, которое становилось естественным в процессе разоблачения либеральной идеи о свободе личности.

Фихте писал, что свободен и верит в свою и чужую свободу лишь тот, чья жизнь «своим непосредственным становлением обязана Богу». Свобода, понятая, как погружение в собственную чувственность, в действительности не освобождает от внешней детерминации. Это свобода видимости. А подлинное явление свободы возможно лишь там, где божественное постигается в рамках языка, объединяющего чувственное и сверхчувственное, т.е. в рамках нации.

Новалис находит идеал государства в средневековой империи, соединявшей народы в христианстве как *Abendland*. Мир в Европе, по мысли Новалиса, может

⁸²⁰ Гердер, вероятно выражая свое отношение к иным народам, крайне критически относился к византийской системе власти и идее симфонии Церкви и государства. Некоторые формы государства ему казались все-таки лучше других, в чем он был солидарен с просветителями. - Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.

⁸²¹ Цит. по Хюбнер К. Нация, М., 2001. С. 326.

наступить с возвращением «в прежние алтари», с возвращением к христианскому мирноносному началу. Мюллер также указывает на эту объединяющую силу религии.

Национальная и универсальная идеи обуславливают друг друга и образуют друг с другом неразрывное единство. Какими бы разнообразными не были в Средневековье представления о праве, они соотносились с христианским нравственным учением, которое также придавала священное значение всем соглашениям и сообщало праву идею всеобщей обязательности. Именно поэтому религия не может быть личным делом каждого.

Нация романтиков также была ключевым понятием, получившим особое значение в результате противостояния идеям Французской революции. Фихте в этой области был первооткрывателем, объявив немецкий пранарод чуть ли не единственным носителем первоначальной человечности («Речи к немецкой нации»⁸²²). Он дал понятие народа как органического явления: «Это целостность людей, продолжительно живущих в обществе друг с другом и беспрестанно воспроизводящих самих себя естественным и духовным путем, которая в совокупности управляется некоторым особым законом развития Божественного из данного целого. Общность этого особенного закона есть то, что в вечном мире, и именно благодаря этому также и в мире временном связывает множество в естественную и наполненную лишь самим собой целостность».

Родной язык у Фихте – духовный мир, изначальная природная сила, становящаяся и разворачивающая свои свойства в рамках национального опыта. Фихте считал, что немецкий язык, в отличие от романских языков, развившихся из латинского, имеет органичный характер как «первоначальный» язык. Поэтому немцы сохраняют божественный первоисточник национальной жизни. Именно поэтому национальный характер немцев создает государство-империю из свободных городов. Романские же народы теряются в отвлеченной чувственности и потому создают только механическое государство. Таким образом, Фихте пытается связать государственное устройство с историей нации и сложившимся в историческом процессе национальным характером. В то же время, неясно представляя себя политический аспект нации, Фихте предполагал первейшей гражданской обязанностью служение государству, но одновременно считал государство лишь средством для нации. Аналогичная «государственническая» позиция была свойственна и Гегелю, далеко не романтику. Между тем, в отличие от либералов, для консерваторов характерно возвышение нации над государством с его формальным правом. Государство создается рассудочной деятельностью, а нация наполняет государственное устройство жизнью.

Согласно Шеллингу, государство, понятое как организм, связывает всеобщее государство и особенно гражданина, а также необходимость и свободу. Необходимость выражается в общем для граждан законе, свобода – в деятельности индивида, действующего на основании закона. «Совершенное явление гармонии необходимости и свободы — это совершенное государство, идея которого находит свое воплощение, как скоро особенное и всеобщее становятся абсолютным единством; все, что необходимо, одновременно является свободным, а все свободно свершающееся в то же время является необходимым». Свобода, не стесненная законом создает лишь извращенное государство, в котором связь всеобщего и особенного, необходимости и свободы разорвана, а государственное единство присутствует в абстрактной форме.

Конкретизацию диалектических идей Шеллинга в области политической философии можно встретить у Адама Мюллера, который говорил о двойственной природе человека как одновременно отдельного, особенного индивида, и явления всеобщего. Как часть всеобщего человек не может существовать вне государства (данное положение возвращает к аристотелевской идее человека как общественного существа). Общий дух – вот что не развивают философы Просвещения, упирая на индивидуальное и особенное в

⁸²² Fichte J. Reden an die deutschen Nation, Stuttgart, 1944.

образе индивида. Отсюда – неведение нации и интерпретация государства как союза эгоизмов, «меркантильной социальности».

Шеллинговская диалектика свободы и необходимости дополняется мюллеровской диалектикой длительности и изменения, которая дает основание понимать и воспринимать нацию в виде идеи. Именно в идее изменчивое остается идентичным и сохраняет единство в многообразии текучих форм. Многообразие и изменчивость не позволяют сформировать строго рациональное отношение индивида к нации, которое в действительности всегда опирается на веру и сотрудничество в общей для нации динамике жизни.

Согласно Гегелю, свобода не может уподобляться бессодержательной или эгоцентрической произвольности, которую философ называл *формальной свободой*. Свободу следует искать лишь в раскрытии личной индивидуальности в рамках национального целого, где только и может присутствовать *конкретная свобода*.

Предшествуя Гегелю, Мюллер различает *общую свободу* (*liberte generale*) и *свободу всех* (*liberte de tous*). Общая свобода, напротив, это свобода незабвенных предков, что придает значение вневременным интересам нации. Свобода всех относится только к решениям современного момента. Поэтому свобода отдельного человека имеет своей границей не только свободу всех других, живущих в данное время, но и свободу предков.

Здесь философская романтика ставит еще одно разграничение с рационализмом Просвещения и либерализмом. Мюллер пишет: «Целые столетия должны вернуть свободные представители в народное собрание, которое образуем мы, нынешние люди, и законы, все следы прошлых эпох должны признаваться и уважаться как живые представители тех, которые не могут более явиться сами, ибо покоятся в могилах». «Во все времена главная задача искусства управления государством как раз и состояла в том, чтобы сохранять ушедшие поколения в живой современности, ни на миг не упускать из вида бессмертие и тотальность политической жизни, обеспечивать главную задачу государства: *длительность и жизнь*».

Мюллер утверждает, что вне государства нет права, в том числе и естественного, которое вне конкретной истории остается фикцией, мертвой абстракцией. Эффективное право может существовать только как национальная идея права, проистекающая из вневременной национальной идеи государства. Динамику этой идее придает конкретность отдельного закона, применимого для сиюминутной ситуации. Но вечное (национальная идея) не может и не должно подменяться сиюминутностью отдельного правового акта. Именно поэтому право стоит над законом.

Новалис, возвращаясь к идее Руссо о соединении людей в государство силой любви, относит эту любовь к нации и олицетворяющему ее монарху: «Конституция интересна для нас лишь так же, как интересна буква... Что есть закон, если он не является выразителем любимой, вызывающей поклонение личности? Разве мистический суверен, то есть макроантропос, как и всякая идея, не нуждается в некоем символе, какой символ может быть достойнее и приличнее, чем милый и прекрасный человек?»⁸²³.

Так абстрактная либеральная идея преобразуется в конкретную консервативную идею, в которой объект любви конкретен – нация, а для государства возникает ясная символическая ценность, соединяющая людей.

Несмотря на антилиберальный пафос, романтическая философия своими идеализациями народной жизни притягивала многих либералов, например, Вильгельма фон Гумбольдта, в воззрениях которого причудливо соединялись представления о бесконечном развитии человеческой индивидуальности и идея нации как естественно-природного образования. В качестве таковой нация не может возникать постепенно, слагаясь из частей, но рождается сразу во всем богатстве своих потенциальных возможностей. Иными словами, нации суть «гештальты», а нация и индивид соединены

⁸²³ Novalis: Philosophical Writings. New York 1997.

законом природы, как лист и дерево. Как и для Гердера, для Гумбольдта все нации ценны, как божественные продукты природы. Соответственно, как пишет Гумбольдт, «каждая форма государства, рассмотренная как чисто теоретическое образование, должна изначально черпать во времени, обстоятельствах, национальном характере то материальное содержание своей жизненной силы, которое в дальнейшем просто развивается».

Уход от абстракций (и даже увлечение чисто биологическими трактовками общества) открыл романтикам дорогу к практическому анализу действующих национальных организмов. Гумбольдт применил свою теорию нации к Германии, которая, несмотря на раздробленность, «в восприятии ее жителей и в глазах чужеземца все еще остается единой нацией, единым народом, единым государством». Единство Германии основывается также «на воспоминаниях о сообща используемых правах и свободах, сообща завоеванной славе и пережитых опасностях, на памяти о более тесных связях, которые спланивали отцов, и которая еще живет в ностальгических переживаниях внуков». И здесь Гумбольдт уже переходит из стана романтиков в стан консерваторов.

С другой стороны, как считал Гумбольдт, раздробленность является отражением немецкого характера: «Немец осознает себя немцем, поскольку ощущает себя жителем определенной земли в общем Отечестве, и его силы и стремления будут парализованы, если его провинциальная самостоятельность будет принесена в жертву чуждому ему целому, с которым его более ничего не связывает». Поэтому Германия должна состояться либо союзом государств, либо федерацией (здесь в Гумбольдте говорит уже либерал).

Последовательно консервативный подход, в отличие от пограничного подхода Гумбольдта, предполагает более жесткое определение Отечества и его отделенность от остального мира. Барон фон Штайн писал графу Мюнстеру (1812 г.): «У меня есть только одна родина, это — Германия. В этот период великого развития мне полностью безразличны династии, они суть чистые орудия. Мое желание в том, чтобы Германия стала великой и сильной, чтобы она вновь достигла своей самостоятельности, независимости и национального единства (Nationalitaet)... Мой символ веры — это единство»⁸²⁴.

Романтики и консерваторы были близки друг к другу в представлении об идеальной модели государства, которая не может иметь иных источников, кроме традиции. Следовательно, европейское государство может быть только монархическим. Вместе с тем, сама монархия могла быть реализована самыми разными способами. А.Мюллер считал, что совершенное государство сочетает в себе монархию (олицетворение нации) и республику (свобода граждан). Монархия черпает свою живую суть из свободы граждан, республика черпает свою внутреннюю связующую силу из монарха как посредника между временностью и вечностью.

Аналогичным образом де Местер соединяет сущности нации и королевской власти, которые не сдерживают, а дополняют друг друга, исключая возможность обособленного существования: нет суверена без нации, нет нации без суверена. Будучи плотью от плоти нации, монархия для де Местра имеет смысл (легитимность) только в случае ее наследственного характера. И только если династия пресекается, нация может выбрать короля.

Гегель, продолжая линию романтиков, формулирует тезис: «Личность государства действительна лишь как некое лицо — монарх». Легитимность монарха есть нечто «естественное», данное ему от рождения и не требующее рациональной выборной процедуры. Достоинство монарха состоит в его происхождении.

В противовес либеральному эгалитаризму консервативные мыслители всегда обращали внимание на личностные качества индивида. Ницше, не будучи ни

⁸²⁴ Цит. по Хюбнер К. Нация. М., 2001. С. 212.

консерватором, ни романтиком, но развивая оба направления мысли в своем бурном нигилистическом творчестве, говорит о том, что индивидуальность может быть связана только с избранностью. А уравнилельные принципы порождают демократию посредственности, прокладывая затем путь социализму – власти опустившихся, власти социального дна. Либерализм пытается обеспечить мещанскую жизнь, озабоченную, прежде всего, безопасностью. Это означает неизбежное ослабление жизненной силы общества и утрату инициативы в нем. Демократия ведет к упадку и смерти государства. Поэтому подлинный индивид не может существовать в государстве «чересчур многих».

Всеобщее уподобление крайне опасно для судеб мира, считает Ницше: «Нужно призвать на помощь невероятные противодействующие силы, чтобы остановить этот естественный, слишком естественный *progressus in simile* (прогресс в подобном), уподобление людей друг другу, приближение к обычному, среднему уровню, к обыденному»⁸²⁵.

Из монархического принципа и понимания неизбежного неравенства между людьми вытекает сословный характер государства. Сословия обеспечивают республиканские свободы и ограничивают власть суверена, но в то же время, они укрепляют нацию балансом своих естественных оппозиций, стабилизированных ролью монарха, выступающего в роли верховного арбитра.

Мюллер пишет, что самосознание нации наиболее отчетливо выявляется в аристократии. Аристократия, из которой выходит монарх, выражает ее вневременную роль: она представляет «особенно долго процветающие фамилии, доказавшие свое значение для сопряжения эпох» и защищает общую свободу. Аристократия, так же как и монарх, утверждает Мюллер, репрезентирует единство живущих и ушедших, соединение прошлого, настоящего и будущего. По отношению «к отдельным людям с их сиюминутной властью она представляет власть и свободу незримых и отсутствующих звеньев гражданского общества». Выполнение этой функции тесно связано с землевладением – в земле представляется вечная длительность. Утрата этой функции означает потерю особого почитания благородного сословия и общий его упадок.

Если аристократия представляет длительность или устойчивость нации, то духовенство выражает длительность наднациональной общности народов. Аристократия связывает в нации поколения, духовенство поколения человечества. Буржуазия же и купечество, по мысли Мюллера, противостоят аристократии, репрезентируя временное настоящее и интернациональные компоненты рынка. Экономическая основа существования аристократии – семейная собственность, которой нельзя свободно распоряжаться. Напротив, частная собственность, находящаяся в руках буржуазии, предназначена для свободного распоряжения и использования в безразличных к свойствам личности и нации рыночных законов.

Таким образом, романтическое и консервативное мировоззрение вовсе не представляли собой реакционного мировоззрения, стоящего на пути индустриальной революции и экономической модернизации. Для частной предпринимательской инициативы лишь отводилось определенное место для того, чтобы она не ломала государственной традиции и не подрывала культурной идентичности нации. В политэкономической сфере это требует отказа от узко рациональных подходов и полагает, что материальные блага не существуют изолированно от духовных. Вещи несут на себе двойственную духовно-материальную природу человека, а духовные блага, как и материальные, обладают меновой стоимостью. А это значит, что дух имеет для экономики весьма важное значение.

Действительно, собственность нельзя жестко отделять от индивида – человек привязан к вещи, и наоборот. Именно поэтому собственностью нельзя распоряжаться как вздумается – она представляет собой наследство, переданное индивиду его предками,

⁸²⁵ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. // По ту сторону добра и зла. Избранные произведения. Кн 2. М.: Сирин, 1990. С. 311.

которое он должен сохранить для потомков: необходимо, чтобы «национальный капитал, как и национальный закон, т.е. целостное наследие предшественников, рассматривались в качестве правоспособного лица по отношению к любому другому отдельному лицу» (А.Мюллер). Эта вневременная связь поколений заключена в семье, и именно в семейной собственности заключается национальное достояние. Гегель полагал, что в отличие от абстрактно-безразличной связи между чистыми торговыми партнерами, отношения внутри нации конкретны и подобны семейным, когда каждая индивидуальность служит предметом пристального интереса членов семьи. То есть, именно семья, а не индивид, для романтиков и консерваторов представляет собой экономическую и правовую единицу – что стоит внимательнейшим образом учесть в современной правовой ситуации, не видящей иных человеческих отношений, кроме индивидуальных.

Мюллер особо выделяет капитал нации, сконцентрированный в родном языке. Подобно деньгам, приводящим в движение товары, язык приводит в движение капитал опыта, идей и жизненной мудрости нации. К тому же только посредством языка любой предмет приобретает свою ценность и меновую стоимость. Отсюда вытекает мысль о решающем значении культуры для хозяйства.

Если романтики говорили о государстве как об организме, имея в виду, прежде всего, духовное наполнение и полагая биологический организм лишь аналогией дееспособного государства, то консерваторы использовали биологические подходы более основательно, понимая роль природных факторов в образовании и жизни народа. В целом верный путь конкретизации знания и учета объективных факторов, не замечаемых романтиками, был, в то же время опасен возвышением биологического над духовным и снижением роли человеческой воли, преодолевающей природные детерминации.

Чисто биологические подходы к социальным явлениям (в частности, подходы некоторых последователей Гобино) для консервативной мысли оказываются неприемлемыми. Так, Хьюстон Стюарт Чемберлен рассматривает нации как нечто исторически ставшее – не столько биологические, сколько исторические общности. Поэтому для него именно смешанные расы являются наиболее благородными. Смешение ведет к обогащению жизни и к выработке национальной индивидуальности. Но в то же время это не всякое смешение, а точно взвешенное и имеющее определенную цель. Иначе с человечеством произошло бы то же, что происходит с животными – «продолжительное бесконтрольное скрещивание двух выдающихся животных пород всегда ведет к потере обеими их превосходных качеств»⁸²⁶.

По этому поводу Гобино писал: «Когда слово *выродившийся* применяется к народу, оно означает (как и должно), что внутренние достоинства народа не те, что были когда-то, потому что в его жилах течет не та кровь, потому что качество этой крови постепенно пострадало от непрерывного разбавления. Другими словами, хотя народ по-прежнему несет то имя, что дали ему его основатели, это имя не означает более ту же расу; на самом деле, человек эпохи упадка, законно называемый человеком *выродившимся*, с расовой точки зрения не то же самое существо, что герои великих времен»⁸²⁷.

Вопреки природно-биологическому закону, согласно теории Чемберлена, расу определяет ее дух: «...то, что мы характеризуем как расу, есть некий пластичный феномен внутри известных границ, и как физическое влияет на интеллектуальное, так и интеллектуальное обладает обратным воздействием на физическое». При этом физическое никак не может быть отброшено и должно быть учтено – слишком уж явно биологические параметры сопутствуют социальным.

Для консерватора важно не переступить грань, за которой остается только грубый биологизм, расизм, доведенный до болезненной ксенофобии. Хьюбнер говорит о пустоте

⁸²⁶ Chamberlain H.St. Die Grundlagen des 19 Jahrhunderts. Munchen, 1941.

⁸²⁷ Гобино Ж.А. де. Опыт о неравенстве человеческих рас. М.: Одиссей, Олма-Пресс, 2001.

социал-дарвинизма: если принять, что биологически более одаренные побеждают, то выясняется это лишь после того, как они побеждают⁸²⁸.

Логичным развитием консервативной мысли, конкретизирующей понимание национального, должен был стать интерес к психофизическим кондициям собственной нации и методам ее сближения с неким культурным образцом. Способствовали этому интересу обширные исследования XIX в. в области этнографии и наследственности (включая переоткрытие в 1900 г. законов Менделя).

К сожалению, соответствующие изыскания философов были интерпретированы предельно неверным образом с целью развенчания политических противников во внутренних и международных конфликтах, на основе грубой биологизации расовой теории Гобино и превращения научных изысканий антропологов в разнузданную публицистику.

Ганс Гюнтер, которого часто почитают чуть ли не за штатного расолога гитлеровского Рейха, вступаясь за Гобино, писал, что «нет общезначимого масштаба ценности народов и рас, т.е. раса не имеет высшей ценности сама по себе и не может называть другие расы неполноценными, расы можно оценивать только с точки зрения определенной цивилизации»⁸²⁹. «Ценность расы это всегда ценность определенной расы для определенной цивилизации»⁸³⁰. Поэтому примесь нордической крови для восточно-азиатской или африканской цивилизации будет разлагающим фактором, «неполноценной» примесью. Нет единого мерила ценности всех рас и народов, каждый народ создает свои ценности. Расовая идея лишь говорит о том, что чужое должно быть осознано менее ценным, чем свое, присущее для данной цивилизации, как возвышающие ее ценности.

Гюнтер считал крайне опасным смешение терминов «народ» и «раса» – «германская раса» вовсе не является совокупностью людей, говорящих на немецком языке. Такое смешение вело, с одной стороны, к пангерманистским заблуждениям, а с другой – к обвинениям расовой идеи в разжигании вражды между народами. Опасным является также превращение термина «арийский» в штамп, в котором перестает различаться расовая и языковая принадлежность. В то же время очевидно, что «народы одной расы или, правильней, одной расовой смеси, могут говорить на разных языках, а народы, говорящие на одном языке, отличаться друг от друга в расовом отношении. Но самое главное: народы – это всегда расовые смеси и никогда не раса»⁸³¹. А потому физически не существует арийской, германской, семитской и других рас. О германцах, романцах, славянах и других нельзя говорить как о расах.

Применительно к Германии, Гюнтер утверждает, что «расовый разлом проходит не по границе немецкого языка или германских языков, а через каждого немца, через каждого германоязычного»⁸³². «И каждый немец должен сделать для себя выбор: признать нордического человека за образец для отбора или нет»⁸³³. Нордическая примесь объединяет всех ее носителей, а потому нордическая идея направлена не на подчеркивание расовых различий, а на укрепление принадлежности к нордической расе через увеличение ценных (в рамках определенной цивилизации) ценностных наследственных задатков. Гюнтер подчеркивает вытекающую отсюда главную культурную задачу – опережение ненордических рас в рождаемости.

Нордическая идея, предупреждает Гюнтер, не должна увлекаться фантазиями о прошлом (в стиле Гвидо фон Листа и других) или восторгами в адрес белокурых людей. «Люди, сведущие в расологии, знают, что многие темноволосые и темноглазые личности являются более нордическими, чем многие голубоглазые блондины». Поскольку главные

⁸²⁸ Хьюбнер К. Нация. М., 2001. С. 235.

⁸²⁹ Гюнтер Ганс Ф.К. Избранные работы по расологии. М.: Белые альвы, 2002. С. 81.

⁸³⁰ Там же. С. 101.

⁸³¹ Там же. С. 83.

⁸³² Там же. С. 85.

⁸³³ Там же. С. 86.

качества нордической расы – благородная сдержанность, холодная деловитость, умеренность и самообладание, спокойная устремленность и решительное спокойствие⁸³⁴.

Главное, что можно выделить в нордической идее и распространить на иные национальные формы расовой идеи, состоит в том, что эта идея чужда примитивному биологизаторскому материализму, «она осознает себя как дух, который хочет создать собственное тело, но материал для этого тела он вынужден искать в окружающем его мире. Нордическая идея – это дух, который хочет предстать в самом благородном теле»⁸³⁵. Тяга к этому образцу предопределяет единство и жизнеспособность народа и цивилизации (в данном случае – германской). Духовно-телесный образец – это наследственно одаренный, благородный и прекрасный человек.

В размышлениях Гюнтера соединяется романтизм веры в человека, законы теории наследственности и идея неравенства с ее божественным происхождением. Наследственность становится главной причиной неравенства, а позитив преимущества знати остается в прошлом. Только «семьи всех сословий с высококачественной наследственностью мы можем считать латентной аристократией нашего народа»⁸³⁶. Здесь мы снова встречаемся с особой ролью семьи (включая ее правовое положение), без которой не мыслима никакая консервативная, национально ориентированная политика.

В связи с законами наследственности расовая теория вынуждена была решить вопрос о смешении разных народов, одновременно смешивающем и расы. Как пишет Гюнтер, можно с полным основанием доказывать, что возвышение цивилизации наступает как в условиях расового смешения (Х.С.Чемберлен и др.), так и в условиях расовой изоляции (Гобино). Но в случае изоляции северных народов отчетливо видна относительно более высокая одаренность, компенсирующая тяжелые условия жизни. Завоевание северянами южных цивилизаций дает новое качество не в расовом смешении, а в расовом расслоении, которое становится стимулом развития. Следующее за расслоением смешение, напротив, ведет к упадку цивилизации. И только существование в народе обособленного ядра творческой расы сохраняет для цивилизации возможности развития⁸³⁷. Для поддержания цивилизации, согласно расовой идее, требуется воспроизводство высококачественных наследственных задатков. То есть, необходимо найти такую форму культуры, которая способствовала умножению семей – носителей этой культуры.

Вопрос о соотношении влияния среды и наследственности расовая теория решает в противовес либеральной теории равенства. Гюнтер считает, что идеи равенства ведут к исчезновению тяги к народному идеалу, иерархии ценностей – иными словами, к отсутствию аристократического мышления. Он решительно отвергает ламаркизм (учение о решающем значении среды) и полагает, что можно облагородить только благородное от рождения. Отсюда – евгенические идеи: «Улучшение среды, как бы много оно ни давало отдельной личности, без одновременной стерилизации наследственно неполноценных лиц будет способствовать размножению родов, которые в конечном счете станут таким грузом для государства, что он падет под их тяжестью»⁸³⁸. Что, собственно, происходит и должно происходить в государствах, где социальная помощь становится главной заботой правительств⁸³⁹.

⁸³⁴ Там же. С. 93,94.

⁸³⁵ Там же. С. 98.

⁸³⁶ Там же. С. 299.

⁸³⁷ Там же. С. 105–112.

⁸³⁸ Там же. С. 294.

⁸³⁹ Любопытно проследить соответствие этих идей с идеями защиты меньшинства у Хайека – см. выше. А также удивиться, что повальный сайнтизм современной либеральной мысли оказывается столь далек от евгенической идеи расовой теории. По всей видимости, это может быть обусловлено лишь той фатальной приверженностью индивидуалистической абстракции, которая никак не может быть изжита в рамках либерального мировоззрения.

Понимание расы как типа человека и стремление внедрить в политическую жизнь иерархию типов, каждому из которых следует свое место сообразно с имеющимися качествами, отличает конкретность и устремленность к насущному консервативной идеи в отличие от развернутой в основном к истории романтической идеи. Консерватор ищет источник культурного стандарта, романтик только констатирует идеал, не имея намерения требовать его воспроизводства. Консерватизм оказывается более динамичным, более строгим и, конечно же, политически более рискованным подходом к политическим проблемам.

Расовые идеи (идеи *типа*, увязанные с идеей национального разнообразия) вошли в политику как один из побегов романтической и консервативной интеллектуальной традиции, и не всегда на этом побеге вызревали удобоваримые плоды. Трагедией Европы является тот факт, что именно эта негодная, вторичная во всех отношениях и побочная продукция интеллектуальных усилий ведущих мыслителей стала идеологией фашистской партии и на некоторое время частью самосознания немецкой нации.

Трагедией Европы следует считать также изъятие политической романтики и консерватизма из европейской политической культуры в результате зловредного домысла об идеологическом базисе гитлеризма. Уродование европейской политической культуры, продолжающееся по сей день, выключает из рассмотрения целые пласты политической науки и продуктивные идеи национально-государственного строительства. В этом смысле у России сохраняется шанс воспользоваться этим не востребованным наследием, привив его на собственной почве и разрешив у себя те проблемы, которые неуклонно пожирают Европу. Вполне в духе романтических идей можно ожидать, что именно это вернет России ведущее место в мировой цивилизации и спасет Европу от безнадежного западничества.

Государство и нация в доктрине «консервативной революции»

«Консервативная революция» течение преимущественно германской мысли в начале XX в., особенно интересно для современной ситуации, поскольку во многом тождественно тем умонастроениям, которые развиваются в «Веймарской России».

Во многом стиль и содержание «консервативной революции» предопределил Освальд Шпенглер, предъявив «пруссский социализм»⁸⁴⁰ как особую модель государственного устройства и национального менталитета. Социализм понимался, скорее, как «социальность» – способность к общности, берущая свое начало с традиции. Разнообразные интересы утрачивают противоречия в служении нации высшей идее. Личности должны служить целому – государству. Жертва личных интересов в пользу общности заявляется Шпенглером как исконная прусская добродетель, противопоставленная партийным антагонизмам Веймарской республики (английскому либерализму и французской демократии) и марксистскому нигилистическому социализму. Революцию 1918 г. Шпенглер и его единомышленники считали предательством, поражением в непроигранной войне, требующим реванша.

Шпенглер, как и многие из тех, кто примыкал к «консервативной революции», решительно отделяли себя от примитивных биологизаторских концепций расы и нации. Шпенглер утверждал, что раса предопределяется не костным строением, а плотью, которая облекает скелет, и в свою очередь неразрывно связана с неким пониманием времени и судьбы – движением⁸⁴¹. Что же касается нации, то в ее основе лежит идея и культурная общность народа. Кроме того, нациями могут быть лишь те народы, существование которых составляет всемирную историю⁸⁴². Духовный аспект нации представляет ее как общность исповедников, союз знающих путь к спасению⁸⁴³. Таким

⁸⁴⁰ Шпенглер О. Пруссачество и социализм, Пг. 1922.

⁸⁴¹ Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1994. С. 131–134.

⁸⁴² Там же. С. 175.

⁸⁴³ Там же. С. 179.

образом, нацию формируют культура и история, составляющие национальную идентичность.

Одним из основоположников «консервативной революции» был Артур Меллер (Меллер ван ден Брук). Его концепция государства, как и у Шпенглера, была основана на уважении к той традиции, которую Пруссия распространила на всю Германию, сцементируя разрозненные государственные образования в мощную державу – прусский государственный инстинкт преодолел аморфность немцев. Прусский стиль как самоотречение человека во имя высших ценностей объявляется Меллером образцом, исходя из которого должно происходить воспитание немецкой нации – «национализация» немецкого сознания и соединение культуры и политики. Романтический нерв «пруссизма» означал, что для него есть и общемировая перспектива – наполнение немецкой сущностью всего мира⁸⁴⁴. Глубокую аналогию с русской философской традицией можно усмотреть в меллеровском национал-универсализме – немцам их духовный склад предписывает осваивать другие культуры и заимствовать из них лучшее, применяя для становления немецкого самосознания. Не случайно Меллер увлекался произведениями Достоевского и ценил морально-духовные качества русского народа⁸⁴⁵.

Романтический универсализм Меллера сочетался у него с тезисом-призывом, который в равной мере относился к немцам и русским: «стать русскими во-первых и прежде всего», «стать немцем во-первых и прежде всего». Решение этой национальной и патриотической задачи, по мысли Меллера, имеет огромную ценность для Европы в целом, которая тем самым будет избавлена от пагубного влияния ценностей Запада, разлагающих органическую целостность народов. Меллер считал, что немцам не хватает русской духовности, которая должна стать дополнением к собственно немецкой духовности и противовесом западничеству.

Антизападничество «консервативной революции» выразилось у Меллера в учении о противоборстве молодых и старых народов – молодые восточные народы противостоят погрязшим в индивидуализме западным. Молодые народы, проявляя большую способность к развитию, начинают претендовать на территории утративших активность старых народов. У молодых народов Европы, таким образом, возникает природное право на жизненное пространство, которое им должны уступить старые народы⁸⁴⁶.

Стержневой идеей «консервативной революции» является соединение политики и культуры, позволяющее придать глубокий смысл, одухотворить и эстетизировать политику, все больше превращающуюся в игру низменных страстей. Одновременно полифония национальной культуры должна способствовать воссозданию национального единства и соединению естественных противоположностей. «Нация подразумевает общность ценностей, а национализм – сознание значимости этих ценностей»⁸⁴⁷. Националистическая идея «быть друг для друга прежде всего немцами» отражает противопоставление западной системе ценностей, видевшей в человеческих отношениях причины для разделения по классам, партиям, сословиям и племенам. В этом противопоставлении родилась идея синтеза национализма и социализма в «Третьем Рейхе». При этом универсалистская идея «жить не только для себя» продолжала универсалистско-экспансионистские замыслы в адрес народов, заинтересованных только собственным Я.

Необходимо понимать, что экспансионизм Меллера носит ответный характер – является реакцией на Версальский мир и навязанную немцам либеральную демократию. Такой демократии Меллер не принимает, предпочитая ей традиционную форму участия народа в собственной судьбе через преемственность, корпоративные связи и местное самоуправление. Народное единство – вот суть настоящей демократии в

⁸⁴⁴ Moeller A. *Erziehung zur Nation*. Berlin. 1911; Moeller A. *Der preußische Stil*. München. 1916.

⁸⁴⁵ Moeller A. *Rechenschaft über Rußland*. Berlin, 1933.

⁸⁴⁶ Moeller A. *Das Recht der jungen Völker*. München, 1919.

⁸⁴⁷ Moeller A. *Das dritte Reich*. Hamburg, 1935.

противоположность либерально-индивидуалистической концепции. «Либерализм убивает культуру, разрушает отечество, он означает конец человечества». Только в Германии, где не было националистического противовеса, либерализм, как полагает Меллер, был принят всерьез — с его помощью пытались избавиться от комплекса неполноценности по отношению к Западу. И в этом горьком выводе мы можем угадать и свою собственную нынешнюю ситуацию — сегодня именно в России либерализм не знает никаких пределов и всего его убийственные фантазии воплощены в жизнь.

Меллер выступал не только как критик либерализма, но и как яростный противник марксизма, который считал плодом либерального опошления социалистические идеи. Лишенный национальных корней, социализм приобретает чуждые формы: «Там, где народ обладает сильной политической традицией, там против Маркса вся двутысячелетняя европейская история. Марксизм утвердился лишь в юных мягких и безвольных народах, не осознавших своей миссии, в немецком и русском народах». Между тем, русские выиграли революцию, став политической нацией и остановив Запад, а немцы революцию проиграли. Так считал Меллер, вероятно, различая в политике большевиков вовсе немарксистское и уж, наверняка, нелиберальное.

Противник марксизма, либерализма и капитализма Меллер требовал обращения к консерватизму, привития консервативного мировоззрения всем немцам, образования «третьей партии» — партии всех национально мыслящих немцев. И в нашей российской действительности надежда на «третью силу», которая все никак не сгустится из политического хаоса, доходит до болезненности и порой воплощается в болезненные же формы политической активности.

Еще одним из ярких представителей «консервативной революции» является Эрнст Юнгер, чья концепция государства формулировалась в противопоставлении обществу бюргерского типа: «Общество — это государство, сущность которого стирается в той степени, в какой общество подгоняет его под свои мерки. Этот натиск обусловлен бюргерским понятием свободы, нацеленным на превращение всех связующих отношений ответственности в договорные отношения, которые можно расторгнуть»⁸⁴⁸. Бюргерской свободе Юнгер противопоставляет свободу, соединенную с государственным порядком: «То качество, которое прежде всех остальных считают присущим немцу, а именно порядок, — всегда будут ценить слишком низко, если не смогут усмотреть в нем отражение свободы в зеркале стали. Послушание — это искусство слушать, а порядок — это готовность к слову, готовность к приказу, пронзающему подобно молнии от вершины до самых корней. Все и вся подчинено ленному порядку, и вождь узнается по тому, что он есть первый слуга, первый солдат, первый рабочий. Поэтому как свобода, так и порядок соотносятся не с обществом, а с государством, и образцом всякой организации является организация войска, а не общественный договор. Поэтому состояния предельной силы мы достигаем только тогда, когда перестаем сомневаться в отношении руководства и повиновения. Нужно понимать, что господство и служение — это одно и то же»⁸⁴⁹.

Юнгер — певец органической жизни, полной опасностей, стихии и мужества. Подлинная жизнь для него носит черты героического и аристократического характера, но не индивидуалистического, а орденского типа. Масса в условиях современности становится беспомощной, и только дисциплинированный орден, соединивший в себе людей с определенными качествами и готовых к самоотречению, может быть успешен в политике, войне, экономической борьбе. Не смягчения, а обострения противоречий требовал Юнгер в своей доктрине политизации жизни: «...новый образ мира намечается не в размытии противоположностей, а в том, что они становятся более непримиримыми и что каждая, даже самая отдаленная область приобретает политический характер»⁸⁵⁰. Он предрекал, что мир вступил в эпоху конфликтов, побеждать в которых будут техническая

⁸⁴⁸ Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб.: Наука, 2000. С. 73–74.

⁸⁴⁹ Там же. С. 64.

⁸⁵⁰ Там же. С. 144.

мощь и неустанный труд рабочего-делателя. Жизнь в эту эпоху требует тотальной мобилизации и тотального государства.

Национал-социализм Юнгер противопоставлял либеральному капитализму и большевистскому социализму. Национал-социализм виделся как общность интересов нации, как интегральный национализм, во многом противоположный «старому» национализму вильгельмовской эпохи и ее ценностям. Новый национализм родился в окопах Первой мировой войны и требовал иного состояния нации, в котором порядок является потребностью и учреждается нацией в виде авторитарного, тотального государства.

Как и другие представители «консервативной революции», Юнгер стоял на позициях национал-универсализма, во многом аналогичного русскому мессианизму. Он полагал, что новый национализм должен явить миру такую нацию, которая превзойдет понятие Европы и сделает немцев ведущей силой в мире. Консервативная революция должна превратить немцев в империю работников-делателей, живущих в мире современных машин. Образ труженика-немца, предстающего в текстах Юнгера как новый тип человека, заставляет вспомнить героев произведений Андрея Платонова, столь же органично врастающих в современное производство. Массовое производство, фабрика требуют вполне определенной организации государственного управления, которое не может отдать производство на волю ветра рыночных стихий с их узкочастными задачами и оторванностью от общенациональных интересов.

Близким другом Юнгера был Карл Шмитт, вложивший антилиберальный пафос «консервативной революции» в строгие юридические формулы. В своем главном труде «Понятие политического» Шмитт прямо противопоставил национальное единство либеральной доктрине: «Систематическая теория либерализма касается почти исключительно только внутривнутриполитической борьбы против государственной власти и дает ряд методов сдерживания и контроля этой власти для защиты индивидуальной свободы и частной собственности, для того чтобы сделать государство "компромиссом", а государственные учреждения — "клапаном", а в остальном "уравновешивать" монархию демократией, демократию — монархией». «Политическое единство должно в случае необходимости требовать, чтобы за него отдали жизнь. Для индивидуализма либерального мышления это притязание никоим образом недостижимо и не может быть обосновано»⁸⁵¹.

Как Меллер и Юнгер, Шмитт отрицает плодотворность бюргерской безопасности, особенно опасной для общества в эпоху войн и революций: «...политическое понятие *борьбы* в либеральном мышлении на стороне хозяйственной становится *конкуренцией*, а на другой, "духовной" стороне — *дискуссией*; место ясного различия двух разных статусов: "войны" и "мира" заступает динамика вечной конкуренции и вечной дискуссии. *Государство* становится *обществом*, а именно, на одной стороне, этически-духовной, — идеологически-гуманитарным представлением о "*человечестве*"; на другой же стороне — экономико-техническим единством единой *системы производства и обращения*. Из совершенно очевидной, данной в ситуации борьбы *воли* к отражению врага, получается рационально-конструированный социальный *идеал* или *программа*, *тенденция* или хозяйственная *калькуляция*. Из политически соединенного *народа* получается на одной стороне культурно заинтересованная *публика*, а на другой — частью *производственный и рабочий персонал*, частью же — *масса потребителей*. Из *господства и власти* на духовном полюсе получается *пропаганда* и *массовое внушение*, а на хозяйственном полюсе — *контроль*»⁸⁵².

Важнейший теоретический шаг, который совершил Шмитт — отделение консерватизма от романтики. Направление мысли романтиков он увязывал с политической конъюнктурой, а романтический субъективизм — с чертой современной буржуазии. Действительно, современный так называемый «либеральный национализм»

⁸⁵¹ Шмитт К. Понятие политического. // Вопросы социологии, 1992. № 1.

⁸⁵² Там же.

представляет собой именно такую форму романтизированных либеральных принципов, в которых то и дело начинают звучать иные настроения – романтикой либерализм пытается заглушить в себе самом тот ужас, который наконец-то охватывает его от лицемерия самим же либерализмом учиненного разгрома всех государственных и общественных институтов.

Другим важным теоретическим достижением Шмитта стало разделение демократии и либерализма, которое видели и многие либералы, ставившие проблему готовности народа к демократии. Шмитт и его единомышленники, напротив, полагали, что демократия возможна всегда, а либерализм – лишь в периоды упадка. Действительно, античность показывает пример нелиберальной демократии, а современная Европа (Россия – в предельно карикатурной форме) – недемократического либерализма.

Видимое соединение либерализма и демократии, полагает Шмитт, возникает с введением всеобщего избирательного права. Между тем, либерализм интересуется не нацией, а свобода личности. Поэтому буржуазное общество становится над государством, превращая его в слугу⁸⁵³.

Наиболее важно с теоретическое достижение Шмитта – вскрытие смысла политического как противостояния «своего» и «чужого», очищавшее политическую теорию от уловок и недомолвок либеральной мысли. Политический суверенитет – способность определять, кто есть «враг». Консенсусно-договорная теория нации, как и теория политики вообще, завела многие страны и народы, не говоря уже об ученых-обществоведах, в непролазные дебри перманентного кризиса. Понимание политического, данное Шмиттом, показывает политикам и мыслителям ясный и четко обоснованный выход из этого плачевного состояния.

Антипарламентским пафосом проникнуто учение Шмитта и его единомышленников, названное «децизионизмом». Децизионизм придавал ценность политическому и правовому решению как таковому вне зависимости от его обоснованности более высокими нормами права или традициями. Этим оказывалось противодействие бездеятельности и параличу власти Веймарской республики, которая оказывается хуже диктатуры, способной к принятию решений перед лицом радикального зла (Донсо Кортез). Децизионисты считали, что парламентская дискуссия лишь запутывает компромиссами, затрудняет решение или вообще не допускает его⁸⁵⁴, а либерализм не в состоянии сформулировать, чего же он хочет⁸⁵⁵. Тот же порок видит Шмитт и у романтиков, превращающих процесс выработки решения в вечный разговор. Шмитту ближе де-местеровское рассмотрение государства и Церкви как институтов, принимающих такие решения, как если бы они были безошибочными⁸⁵⁶.

Еще одним ярким представителем течения «консервативная революция» был Эдгар Юлиус Юнг. Объектом его критики была не только Веймарская республика, но и в целом буржуазная система власти большинства, в которой политика подчиняется посредственности и не в состоянии продуцировать лучшие решения. В процессе консервативной революции, по мысли Юнга, должно состояться замещение принципа равенства принципом ценности, классового подхода – корпоративным, выборов – системой воспитания вождей, бюрократического режима – системой местного самоуправления.

Общий мессионистский порыв немецких мыслителей затронул и Юнг, который прямо связал грядущую эпоху с новоевропейской империей во главе с немецким

⁸⁵³ Как тут не вспомнить симптоматичный ответ Президента РФ на переписи 2002 года о роде занятий: «обслуживающий персонал». По контрасту с аналогичным ответом Государя-императора Николая II: «хозяин земли русской»

⁸⁵⁴ К.Шмитт указывает на опасность вырожденного децизионизма, который упускает из виду «покоящееся бытие» и увлекается текущим моментом – *Шмитт К. Политическая теология*. М., 2000. С. 13.

⁸⁵⁵ *Шмитт К. Политическая теология*. М., 2000. С. 189.

⁸⁵⁶ Там же. С. 82–83.

народом⁸⁵⁷. Духовное лидерство немцев в Европе для Юнга бесспорно. (Только русскую душу Юнг признавал равноценным явлением, но видел в ней также и отсутствие порядка и завершенности – того, что делает немецкую душу сердцевиной европейской культуры.) Именно немцы должны спасти европейские народы от либерализма, дать образцы нового мышления и вернуть центр Европы в Германию. Причем ключевым институтом в этом процессе Юнг считал государство: «Так же как для французов, нация является священным понятием, точно так же для немцев – государство. Для немцев государство – это олицетворение тяги к совершенству...»⁸⁵⁸.

Юнг видит ценность в средневековом порядке жизни, прежде всего, в абсолютизме и тех ограничениях, которые абсолютизм накладывал на аппарат управления. Свержение абсолютизма не дало реальных свобод, отделив государство от нации. В результате либерализации государство взяло на себя задачи общества и превратилось в «государство подаяний», благотворительное заведение, живущее неорганической жизнью. Преодоление этого положения возможно только возвращением захваченных государством функций сословным корпорациям, которые и представляют собой нацию.

В отличие от других представителей «консервативной революции», Юнг не считал диктатуру способной решить ключевые проблемы нации. Воссоздание органичного государства требует планировать диктатуру только на завтрашний день, но никак не на послезавтрашний, считал Юнг, допуская, таким образом, режим чрезвычайного положения, без готовности к которому не может обойтись ни одно государство. Но в нацизме Юнг видел гремучую смесь марксизма и либерализма – экстремистскую концепцию государства, за что и поплатился жизнью в «ночь длинных ножей» 30 июня 1934 г.

В наиболее четкой форме доктрина «консервативной революции» была изложена уже после того, как это течение мысли стало только историческим багажом человечества – в послевоенной книге Юлиуса Эвола «Люди и руины». Революционная воля к действию и консервативно-охранительная воля к органическому бытию соединились у Эвола в простой и ясный тезис: «В “революционной” защите и “сохранении” нуждается общая концепция жизни и государства, основанная на высших ценностях и интересах, превышающих уровень экономики, а вместе с ним все, что поддается определению в понятиях экономических классов»⁸⁵⁹. Сверхгосударственное единство нации требует от консервативного революционера сохранения верности принципам, а не учреждениям и устоям прошлого. Живая, динамичная традиция не может быть скована покорным конформизмом.

В идее Эвола об абсолютном решении, которое возникает, когда уже никакие компромиссы и уступки невозможны и обнажается сущность политического организма, угадывается развитие мысли Карла Шмитта о способности к объявлению чрезвычайного положения как главного признака политического суверенитета и идея де Местера об абсолютном характере власти. Между тем, увлекшись красотой абсолютного, Эвола перестает видеть слой насущного, за эсхатологией теряет онтологию, а вместе с ней и политическую актуальность своей позиции.

Эвола восстанавливает в правах сакральность власти. Тайна власти – это тайна Ордена, мужского союза. Демос, прорвавшийся в политику в виде массы, погрязшей в материальности, разрушает эту тайну. В этом смысле никакая форма «социализма» не может быть принята как государственностроительная. Эвола отвергает и демократию, и социализм – чего не было у немецких консервативных революционеров. Двигаясь дальше, Эвола перешагивает и через национализм: «Понятия нации, родины и народа, несмотря на нередко окружающий их романтический и идеалистический ореол, по сути принадлежат не политическому, а натуралистическому и биологическому уровню, и соответствуют

⁸⁵⁷ Jung E.J. Die Herrschaft der Minderwertigen. Berlin, 1930.

⁸⁵⁸ Ibid. S. 152.

⁸⁵⁹ Эвола Ю. Люди и руины. М., 2002. С. 19.

“материнскому” и физическому измерению данной общности. Почти все движения, признавшие за этими понятиями первостепенную ценность, отвергали или по меньшей мере ставили под сомнение идею государства и чистый принцип верховной власти»⁸⁶⁰.

Выбрасывая романтизм за дверь, Эвола впускает его в окно – укрепляя свой романтизм снижением значимости национального, он разжигает его абсолютизацией чрезвычайного, в котором принцип верховной власти скрыт – до того момента, когда меч должен быть извлечен из ножен. Эвола же предлагает размахивать им беспрерывно, побуждая нации склонять голову перед идеей подданства и служения.

Нация для Эволы чего-нибудь стоит, если имеет политическое ядро, соединяя ее с высшими принципами. Политическое в нации есть особая «благодать», которая в состоянии преодолеть не только географическую, но и узкоэтническую предопределенность национальной судьбы⁸⁶¹. Демократия же, впуская в душу нации женственное начало, превращает жизнь нации в партийные лозунги – нация вырождается вместе с политикой, государство отождествляется с обществом.

Эвола, абсолютизируя аристократический принцип, забывает о почве, без которой жизнь верховного принципа не может быть воспроизведена, как мужское не может быть воспроизведено без женского. В то же время, соглашаясь принять и принцип нации, Эвола верно указывает на тот факт, что нация в этом случае почти тождественна иерархически организованному Ордену, который в состоянии преодолеть натуралистические предопределения.

Принцип иерархии становится ключевым в понимании нации, который Эвола излагает по схеме Поля де Лагарда: «Быть просто “человеком” – это меньше, чем быть человеком в рамках данной нации и данного общества; последнее же в свою очередь меньше, чем быть “личностью”, то есть обладать качеством, изначально предполагающим переход на более высокий уровень, нежели просто натуралистический и “общественный”. В свою очередь личности также составляют особую категорию, в которой происходит последнее различие согласно степеням, функциям и качествам, в соответствии с которыми, вне общественного и, образно говоря, горизонтального уровня, вертикально определяется собственно политический мир со свойственным ему членением на сословия, функциональные классы, корпорации и частные союзы. Это обособленные группы слагаются в пирамиду, на вершине которой должны стоять типы сравнительно близкие к абсолютной личности – что означает высшую степень собственной реализации и, как таковое, является целью и естественным центром тяжести всего целого»⁸⁶². Эта высшая позиция – одновременно и высшее проявление принципа безличности, где личная исключительность и гениальность отступают на второй план. Это значит, что идея политической нации у Эволы все-таки пробивается и сквозь доминанту властных отношений. Именно на вершине пирамиды, где все особенности иерархий исчерпаны, нация воплощается в безличной личности и сама есть личность нации. Нация, по сути, остается верховным принципом.

Эвола повторяет романтическую идею единства Европы, подчеркивая национал-универсализм консервативно-революционной концепции: нация есть нечто большее по сравнению с человечеством. Чтобы быть этим «большим», нации требуется внутренняя иерархия.

Разумеется, все мысли Эволы находятся в прямом противоречии с либеральной доктриной, которая для каждого человека остается чисто внешним образованием безо всякого высшего смысла и является ограничением свободы, а не собственно свободой. Поэтому и порядок в либеральном государстве может устанавливаться только насилием и угрозой. В этом смысле либерализм ничем не отличается от тоталитаризма, также лишенного духовных основ единства и стремящегося к стиранию естественных иерархий.

⁸⁶⁰ Там же. С. 37.

⁸⁶¹ Там же. С. 40.

⁸⁶² Там же. С. 54–55.

Эвола повторяет тезис о близости демократии и тирании, столь явно и грубо воплотившийся в современной практике современной России и других постсоветских государств.

Идеология консервативной революции окончательно сформировала иерархию ценностей национального и государственного строительства в рамках традиционалистского подхода в сочетании с пониманием динамики современных социальных изменений. Вершина ценностной иерархии занята нацией, национальным единством. Государство становится инструментом этого единства. Общество как совокупность изолированных индивидов или группировок со своими частно-групповыми интересами рассматривается как подчиненное государству. Такой системе соответствуют национальная форма демократии, очищенная от либерализма, и сословно-корпоративная иерархия, вершину которой занимает военная аристократия, подчиняющая себе госаппарат, регулирующий в интересах нации частнокапиталистические институты, сословные и общественные объединения.

Сообразно ситуации концепция консервативной революции допускает также и национальную форму диктатуры (или чрезвычайного положения), отвечающей на вызовы времени и обстоятельства, грозящие существованию нации. Решение, а не дискуссия в такой ситуации должно быть выдвинуто на передний план. И это чрезвычайно актуально для современной России, потратившей полтора десятилетия на бесплодные поиски консенсуса, переговоры с террористами и «организацию» всенародного согласия. Намечившаяся линия на более динамичную политику разбивается сегодня о постоянные рецидивы уже вьёвшегося в российскую политическую культуру бездеятельного и антинационального либерализма.

Ввиду катастрофических процессов в российской действительности «консервативная революция» показывает нам то направление, в котором общество и власть должны увидеть выход из смертоносного тупика, чтобы из раздерганного противоречиями и предательствами сброда стать нацией.

Доктрина фашизма и пропаганда нацизма

Теория фашистского государства и нации, теория нацизма неуловима, поскольку с ней соотносят лишь крайне незначительную философскую литературу, предпочитая видеть фашизм как разрыв исторической ткани, как аномалию европейской истории. Между тем, фашизм в своих основных постулатах никак не был разрывом европейской традиции, напротив, продолжал ее и вполне органично отвечал на вызовы времени реализацией консервативной парадигмы государственности. Иное дело нацизм. Это явление соединяет две ветви европейской истории – философско-мистическую, попавшую в руки дилетантов, и авторитарно-государственную, доставшуюся в руки плебсу, подавившему аристократию. Нацизм, действительно, стал для Европы новым явлением – порогом к новой исторической действительности, куда намеревались войти не только немцы, но и многие другие нации.

Теория фашистского государства ясна и понятна, будучи выраженной как в «Фашистской доктрине» Муссолини, так и отчасти в гитлеровской исповеди «Майн Кампф». Но неясны и непонятны нити, связывающие реальное нацистское государство с этими догматическими сочинениями. Как и в СССР, марксистское государство не состоялось, так и в Германии гитлеризм никак не мог совпасть с европейской философской традицией, идеями «консервативной революции» и самой фашистской доктриной. Нигде и никто не предполагал газовых камер и зондеркоманд, никто не толкал к фантастическим военным авантюрам, нацеленным на недостижимое мировое господство.

Нам остается считать фашистской идеей государства лишь то, что не совпадает с претензиями, которые предъявлены гитлеризму человечеством в той же мере предъявляются другим живодерским режимам в Латинской Америке, Африке, юго-

восточной Азии. Эти зверства никакими теориями не оправдываются и не из каких теорий не выводятся.

Нас интересует именно теоретическое наследие – своеобразная государственная утопия, которая лишь в некоторых элементах была реализована. Причем не только Гитлером и Муссолини. В равной мере об элементах этой теории в государственном строительстве можно говорить и по отношению к рузвельтовским США, сталинскому СССР, деголевской Франции и т.д. Мы должны провести жесткую разделительную черту между теоретической доктриной фашизма (прорисованной скорее пропагандой, чем наукой) и практикой нацизма. И сказать, что фашизм не состоялся точно так же, как и марксизм, повоздействовал на историю государств, очарованных соответствующими доктринами.

Существенно, правда, одно отличие: в фашизме проступили некоторые черты общих устремлений нации и национального духа, которые невозможно искоренить. В марксизме ничего подобного не было. Марксизм актуален в основном своим нигилизмом по отношению к государству, но архаичен по силам, которые предполагает втянуть в исторический процесс – этим силам противостоят куда более мощные и куда более оснащенные современными социальными технологиями. Фашизм, наоборот, современен своим государственностроительным пафосом и той самой технологией социального процесса, которую не знает марксизм. Ветхость же фашизма – в той практике, к которой он привел политические элиты и народы. И те, и другие, как будто не поняли, что сами выговаривали и к чему призывали. В марксизме мы видим неадекватный миф, породивший вполне жизнеспособную социальную практику, а в фашизме – впечатляющий политический миф, которому досталось прозябать среди авантюристов и невеж.

Мы можем коснуться лишь заключительного этапа национально-государственной концепции фашизма, не прибегая к анализу его генезиса. В противном случае нам пришлось бы перерывать горы литературы, которую никто не отважится отнести к «фашистской». Поэтому остановимся на национально-государственных идеях некоторых наиболее известных фашистских произведений.

Поставив эту задачу, сталкиваешься с тем, что крайне затруднительно оспорить некоторые позиции. Например, что человек – «это индивид, единый с нацией, Отечеством, подчиняющийся моральному закону, связующему индивидов через традицию, историческую миссию и парализующему жизненный инстинкт, ограниченный кругом мимолетного наслаждения, чтобы в сознании долга создать высшую жизнь, свободную от границ времени и пространства. В этой жизни индивид путем самоотрицания, жертвы частными интересами, даже подвигом смерти осуществляет чисто духовное бытие, в чем и заключается его человеческая ценность». Между тем, это доктрина фашизма по Муссолини⁸⁶³. Как и классический консерватизм, она отрицает индивидуализм и космополитизм. Критика этой позиции потребовала бы борьбы с огромной интеллектуальной традицией.

Муссолини декларирует такое понимание жизни, в котором неизбежна «высокая оценка культуры во всех ее формах (искусство, религия, наука) и величайшее значение воспитания» и «ценность труда, которым человек побеждает природу и создает собственный мир (экономический, политический, моральный, интеллектуальный)». В противовес либерализму фашистская доктрина утверждает ценность государства и понимает свободу только как свободу индивида в государстве и свободу самого государства. В противовес социализму фашизм не признает верховенства классового единства над государственным, национальным. «Государство является гарантией внешней и внутренней безопасности, но оно также есть хранитель и блюститель народного духа, веками выработанного в языке, обычаях, вере». «...государство воспитывает граждан в гражданских добродетелях, оно дает им сознание своей миссии и побуждает их к

⁸⁶³ Муссолини Б. Доктрина фашизма. Париж, 1938.

единению, гармонизирует интересы по принципу справедливости; обеспечивает преэминентность завоеваний мысли в области знания, искусства, права, солидарности; возносит людей от элементарной, примитивной жизни к высотам человеческой мощи, то есть к империи; хранит для будущих веков имена погибших за его неприкосновенность и во имя повиновения его законам; ставит примером и возвеличивает для будущих поколений вождей, увеличивших его территорию; гениев, его прославивших».

В фашистском понимании нации нет внешней агрессии, но есть требовательность к себе, требовательность долга: «Нация не есть раса или определенная географическая местность, но лежащая в истории группа, то есть множество, объединенное одной идеей, каковая есть воля к существованию и господству, то есть самосознание, следовательно, и личность». Нация воплощена в личности, личность не растворяется в нации, а существует в ней как выразитель национальной идеи. Сама нация является личностью, поскольку воплощена в государстве. Государство же создает нацию, дав народу моральное единство. Нация в форме государства есть этическая реальность (вполне по Гегелю).

Фашизм стоит на естественной позиции по отношению к проблеме иерархии. Неравенство естественно, говорит он вслед за тысячами европейских философов. Как и консервативные идеологи, Муссолини отрицает управление государством с помощью числа – постоянными голосованиями, уравнивающими всех и вся. «Фашизм отвергает в демократии абсурдную ложь политического равенства, привычку коллективной безответственности и миф счастья и неограниченного прогресса». Национальная демократия иное – она организована, централизована и авторитарна.

Муссолини в своей доктрине демонстрирует прохождение по той же цепочке рассуждений, которое вел Бердяев, писавшего «Новое Средневековье». В частности, Муссолини пишет, что «только война напрягает до высшей степени все человеческие силы и накладывает печать благородства на народы, имеющие смелость предпринять таковую». Начало XX в. обязывало готовиться к войне, чтобы выжить. Поэтому фашистская доктрина, как и реальная государственная практика большинства государств во все времена, отвергала пацифизм за его неготовность к жертве и готовила нацию к победе.

В духе упреждающего реформирования социальных отношений фашистское государство Муссолини является не реакционным, а революционным, в чем выражается его лидерская функция в сравнении с охранительным характером общества. Но эта революционность особого типа, исходящая из необходимости «порядка, дисциплины, повиновения моральным заповедям Отечества».

Государство создает нацию, но не должно попирает ее. Фашизм отвергает как полицейское государство, так и возврат к абсолютизму. Взамен он выбирает авторитет партии, которая управляет нацией. И это, пожалуй, единственная новация, которую можно приписать фашистской доктрине. Она выражает не более, чем требование авторитарного, мобилизационного характера государства в преддверии мировых потрясений. Ничего, что бы оказывалось вне европейской интеллектуальной традиции, в доктрине фашизма обнаружить не удастся. Что же касается политической практики фашизма, то она также мало чем отличается от практики иных государств, называвших себя в те времена демократическими – те же внутренние репрессии к инакомыслию, тот же произвол правящей верхушки, те же военные приготовления.

Германский национализм преднацистского толка выражен в популярнейшем в те времена произведении Меллера ван ден Брука «Третий Рейх»⁸⁶⁴. И здесь уже можно различить некоторые авантюрно-агрессивные нотки, претензии на мировую миссию, для которой «Запад надо оставить как прочный тыл» и повернуться на Восток. Героическое видение истории заставляет Меллера писать о том, что для великого народа нет более великолепного конца, нежели гибель в мировой войне. Но это лишь нотки. Главная мысль

⁸⁶⁴ Moeller van den Bruck A. Das Dritte Reich. Hamburg, 1931.

пропагандистского труда Меллера – формулирование отличия национализма от патриотизма, обоснование верховенства нации над государством.

Патриотизм привержен всему немецкому, какого бы достоинства оно ни было. Национализм устремлен в будущее и прагматичен, прочно укореняясь в настоящем, он рассматривает национальное как становящееся. История для национализма не завершена. Патриотизм замкнут на собственном государстве. Национализм является обратной стороной универсализма, который предусматривает утверждение личности нации. Национализм Меллера консервативен, поскольку стремится сберечь традиционные ценности, но одновременно революционен, поскольку привлекает новые ценности ради приумножения сил нации.

Прежнее европейское государство опиралось на трон и алтарь, дополняя земное отечество небесным. Но это государство рухнуло, пытаясь делать за нацию то, что нация хотела делать сама – определять свое предназначение. И теперь только от нации исходит таинство любви к Отечеству. Реализуется оно через национальную демократию государственного народа, принимающего деятельное, энергичное, ответственное политическое участие в собственной судьбе.

Актуальное состояние, когда прежняя форма государства не удерживает его от распада, религия перестала быть опорой государственности, требует новой утопии, которой и становится политический миф национализма. В нем предлагается новый пафос государственного строительства, продолжающий романтические, консервативные, консервативно-революционные тенденции. Что же до милитаристских отзвуков, то странно было не услышать их от мыслителей, живущих в кратком затишье между двумя мировыми войнами.

Как мы видим, фашизм эмоционален, но не иррационален, утопичен, но не абсурден. Его доктрина находится в рамках традиции европейской мысли и адекватна условиям начала XX в. Более того, есть веские основания считать, что фашизм черпает интеллектуальную и культурную традицию еще глубже, стремясь подражать Древней Греции⁸⁶⁵. Но одновременно в этом и причина несостоятельности фашистской доктрины для нацистского государства, которое не стало по-настоящему фашистским – консервативно революционным, глубоко национальным. Холодная фигурность, телесность греческой культуры могла быть средством возбуждения эстетического чувства при угасающей религиозности, средством возвращения к религиозности через реанимацию духа нации в древних образах. Но эти образы не создавали пафоса экспансии и партийной тирании, которые сами собой вошли в политическую практику европейских государств, собирающихся войной решить проблемы, оставленные после прежней войны. Военные авантюры и масштабный террор никак не были связаны с культурно-государственной парадигмой фашизма. Нацизм стал извращением консервативной доктрины, выпестованной Европой, болезненным ответом на чумную заразу либерализма и марксизма, реакцией на чужие авантюры, террористическим методом в ответ на внешний террор. Нацизм вышел за пределы фашизма, чтобы погибнуть и погубить вместе с собой перспективу развития Европы по пути уважения собственных культурных традиций и сбережения собственных наций.

Для нацистского государства важна была не доктрина, а пробуждение архетипов нации. Только такую, греющую образами древних богов и героев нацию, можно было подтолкнуть к решению масштабных проблем – от преодоления безработицы и подавления коммунистического движения внутри страны до завоевания Европы. Не важен смысл национального мифа, важно состояние возбуждения, которое он принес. Содержание мифа, содержание доктрины забывается, как только градус возбуждения пройден, национальный дух поднят мифом и живет самостоятельной жизнью, экзальтированная национальная идентичность стала самостоятельной реальностью.

⁸⁶⁵ Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2002.

Дальше в ход идут символические инструменты, освещающие героическим пафосом самые прозаические движения государства.

Вряд ли за это можно предъявить претензии Альфреду Розенбергу и его труду «Миф XX века». То, что кажется дьявольским заговором, смутившим немцев, в действительности – лишь преддверие мира государств, держащихся исключительно пропагандой. Розенберг оставил выдающийся документ, где этот механизм о самоубийственной грезе нации вскрыт и описан. Именно проект грезы, а не фашистская доктрина, оказался решающим политическим фактором, предопределившим судьбу европейских государств и, прежде всего Германии. Достаточно было на грезящую нацию наложить истерический авантюризм Гитлера, чтобы мощь национального духа была израсходована в самом примитивном и безысходном сценарии – в мировой войне.

Нацистская пропаганда взяла в качестве главных символов «своего» и «чужого» крайне смутно прописанную идею расы вообще, необоснованную научно идею арийской расы и умозрительно сфабрикованную идею противостоящей ей еврейской «антирасы». Ничего подобного в фашистской доктрине не наблюдалось.

Идея расы нацистскими пропагандистами интерпретировалась как воплощение души, форма и фигура души. Отсутствие расовой определенности означает незаконнорожденность, антитипичный не-тип по отношению ко всем расовым типам вообще. Соответственно, такой не-тип противостоит высшему, культуротворящему расовому типу. Не-тип угрожает идентичности народа, который определяется уже не как нация (нация несет в каждом своем представителе лишь некоторую долю расы), а как воплощение некоего «мистического синтеза», мифа.

Нацистская пропаганда создавала «проживание мифа» нацией, и, когда миф становился для нее истинным, нация отождествлялась с ложным мифом противостояния с еврейством и низшими расами. Жизнь в противоречиях, о которой писал Меллер, перетекала в жизнь противоречивых догм. Миф нации вытеснялся мифом крови (в котором биологическое признавалось лишь на словах), язык перестает расцениваться как средство идентичности. Арийский миф говорил о немцах, как о наследниках великого племени, создававшего древние цивилизации. От них немцы, по мысли Гитлера, получали право на «коллективный и священный эгоизм нации», переданное посредством крови. И теперь миссией немцев становится не немецкая культура, традиция, язык и т.д., не национальная идея, а охранение крови (а в действительности, только мифа крови) как собственной чести. Причем, принимая образ варвара, немец должен был отказаться от милосердия, поскольку, как говорит Розенберг, ему приходится делать выбор между любовью и честью. Фашизм такого выбора не предлагал.

Volk, укорененный в почве и соединенный узами одной крови – это идеал, высказанный Гитлером. Но задачи пропаганды поставили иные цели. Целью был гипноз нации, которая направлялась не охранять свою кровь, а проливать ее и смешивать с кровью своих истинных и мнимых врагов на полях сражений. «Мировоззренческая схватка» оказалась схваткой не за немецкую идею, а за идею вымышленной расы, война оказалась сражением не за национальную независимость, а против вымышленного не-типа. Причем абсолютность соответствующего пропагандистского мифа требовала абсолютизации схватки – всеобъемлющего потрясения общественной жизни вплоть до некоего «прозрения», которое предвещало скорее агонию, чем жизнеутверждение. Все теоретические идеи должны были быть отброшены, если фюрер не благословлял ими массы, а благословлял он на смерть.

Закончилась история нацистского мифа крайне трагично. Немцы, не имевшие собственной литературы в середине XVIII века, погибли как нация к середине XX века. Фашистская доктрина оказалась опорощенной вместе с нацистской практикой, не имея к ней никакого отношения.

Точно угадывая главный порок нацизма, Иван Александрович Ильин видел его в «цезаризме», противостоящем принципам монархии, т.е. государственной традиции. В

гитлеровском цезаризме воплотились безбожие, деспотизм, презрение к личности, террор, заносчивость и зависимость от психических уродств черни. Нацизм скомпрометировал не только консерватизм и начало единовластия, он скомпрометировал те идеи государственного строительства, которые были традиционны для Европы и в фашизме нашли лишь краткое изложение.

Не стоит забывать, что накануне Второй мировой войны практически вся Европа была под властью режимов, которые были аналогичны итальянскому фашизму, а там, где сохранялась власть либеральных партий, их противники были как никогда сильны. Это произошло сообразно обстоятельствам, ведущим к большой войне и внутренним конфликтам, и общим тенденциям развития государственности. Фашизм был лишь одной из форм реализации консервативных теорий государства и нации – достаточно жесткой, но не выбивающейся из общеевропейской истории.

В противовес этой тенденции в Германии, имевшей крайне скудные традиции государственности, развернулся совершенно иной сценарий – попытка создания новой Античности, которая могла состояться только в условиях самогипноза и идентификации нации (вовсе не расы!) по самогипнозу. Итогом военного поражения Германии и ее сателлитов и союзников стала ликвидация фашистских доктрин во всей Европе вместе с их носителями. Что же касается нацизма, то им заразились победители, вступившие в эпоху тотальной обработки сознания своих граждан и тотального преследования инакомыслия. Не-тип в глазах политических лидеров Запада переселился в коммунизм и «империю зла». Эта псевдоморфоза нацизма коснулась наиболее развитых стран, которые в процессе борьбы военных блоков и политических систем на мировой арене получали в слаборазвитых странах собственные карикатурные автопортреты. И там, казалось бы отошедшие в прошлое черты нацизма – машина уничтожения людей и эскадроны смерти – проступали вновь. Либеральный миф, гипнотизирующий Запад, оказывается ничуть не менее амбициозным, чем нацистский миф. Во множестве деталей и последствий для национального духа эти мифы совпадают.

Фашистская доктрина в свое время привлекла немало русских эмигрантов, пытавшихся за пределами России организовать партии фашистского типа. История этих жалких партий не стоит внимания. Важнее отметить, что современная Россия все больше вводит в оборот обсуждение тех тем, которые в фашистской доктрине были доведены до политического лозунга. Аналогичные лозунги идут в ход и понуждают испуганных либералов говорить о «русском фашизме». Правда, при этом обличающий перст направляется в сторону таких же жалких партий «русских фашистов», что и канувшие в Лету эмигрантские группки. Русскому консерватизму нечего опасаться этого перста, поскольку его идеи овладели умами многих государственных мужей России, а их аналогию с нацизмом найти, а тем более доказать, нет ни малейшей возможности.

Для русского консерватизма взгляды, гулявшие по официальным изданиям нацистов, оказываются возможностью прояснить его различие с фашизмом, но в то же время взять у него некоторые ясные формулировки, которые без нашего национального смыслообразующего элемента, оказываются в России ничтожными, а с ним весьма влиятельными и перспективными для государственного и национального строительства.

Русский консерватизм

В российской традиции национальный романтизм созрел несколько позднее, чем в Европе, и вылился в славянофильство. При всем разнообразии славянофильских идей главными ценностями в нем признавались исключительные черты русского православного народа - общинность, соборность и православная вера. В значительной степени эти ценности находились в противоречии с формулой «православие, самодержавие и народность», выглядевшей для славянофила слишком государственноческой.

Славянофильство, как и европейский политический романтизм, было альтернативной утопией европейскому либерализму. Но в Европе романтизм

противостоял либеральной доктрине, набравшей реальную силу, а в России, за неимением либерализма вне литературы, приходилось противостоять практическому консерватизму с его приверженностью социальной иерархии. И в первом, и во втором случае у романтизма оказалось меньше связи с жизнью и меньше воли к воплощению.

Трагическим заблуждением славянофильства была попытка рассматривать русский народ в отрыве от государства, и когда история поставила эксперимент, и в условиях гражданской войны русский человек оказался без пригляда государства, выяснилось, что в таких условиях в нем нет ничего общинного. Именно поэтому русский консерватизм для нас более интересен и с точки зрения политической практики, и с точки зрения доктрины.

Понятие о консерватизме и соответствующей ему государственной теории осложнено значительными различиями между современным европейским консерватизмом и русской традицией. Европейский консерватизм как бы разбивается на две ветви. Первую из них можно обозначить как «либеральным национализмом», который всего лишь умиряет избыточный нигилизм классического либерализма. Вторая ветвь, несмотря на успехи в избирательных кампаниях последних лет (Йорг Хайдер в Австрии, Ле Пен во Франции и пр.) остается маргинальной и обозначается термином «новые правые». Маргинальность приводит соответствующее направление мысли к радикализму иного рода, зачастую антихристианского, неоязыческого (отвергающего веру как основу действующего политического строя) и ультра-либерального (переосмысливающего современную политику как уход от классических определений свободы, народного суверенитета и др.) В этом смысле обе ветви консерватизма европейского идеологическими построениями разрывают традицию европейской истории.

В России также присутствуют европейские формы консерватизма. Но в области политической теории они выражены крайне слабо. Именно поэтому ниже мы останавливаемся на идеях русского консерватизма традиционалистского толка, в котором теория государства разрабатывалась глубоко и всесторонне, но в части государственной теории может быть изложена конспективно.

Ключевой идеей русского консерватизма можно считать мысль о богоустановленности власти, о чем Митрополит Филарет Московский пишет: «...Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства — царя самодержавного; по образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века, — царя наследственного»⁸⁶⁶. Задача земных царей состоит в том, чтобы соответствовать своему небесному достоинству — следовать богоподобной правде, чистоте мысли, святости намерений и деятельности. Задача же народов состоит в том, чтобы разуместь небесное достоинство царя и смиренно принимать его законы и удалять от себя своеволие и раздор.

В отношениях Церкви и государства святитель Филарет предлагает вспомнить, что «Христос Спаситель созидал церковь, а не государство. Силою внутреннего благодатного закона Он благоуствует внутреннюю и внешнюю жизнь человеков. Государство старается силою внешнего закона поставить в порядок и охранить в порядке частную жизнь человека и общественную жизнь государства. (...) Но государство не может сказать ограбленному: отдай грабителю и то, что еще не отнято у тебя. С таким правилом не могло бы устоять государство, в котором есть и добрые, и злые. Оно по необходимости говорит ограбленному: иди в суд; по суду грабитель (хитрый или наглый) должен возвратить отнятое, и быть обличен и наказан». В то же время, «Спаситель не кодекс уголовный исправляет, не о том говорит, чтоб изменить род и степень наказания, Он преподает духовный закон — терпеть и не домогаться наказания за обиду»⁸⁶⁷.

Во главу угла Филарет ставит нравственный закон: «Что есть государство? Союз свободных нравственных существ, соединившихся между собою с пожертвованием

⁸⁶⁶ Филарет Митрополит Московский. Государственное учение. Союз православных братств, СПб, 1993.

⁸⁶⁷ Там же.

частью своей свободы для охранения и утверждения общими силами закона нравственности, который составляет необходимость их бытия. Законы гражданские суть не что иное, как примененные к особенным случаям истолкования сего закона и ограды, поставленные против его нарушения. Итак, где священный закон нравственности непоколебимо утвержден в сердцах воспитанием, верою, здравым, неискаженным учением и уважаемыми примерами предков,— там сохраняют верность к отечеству и тогда, когда никто не стережет ее, жертвуют ему собственностью и собою без побуждений воздаяния или славы. Там умирают за законы, тогда как не опасаются умереть от законов и когда могли бы сохранить жизнь их нарушением. Если же закон, живущий в сердцах, изгоняется ложным просвещением и необузданной чувственностью — нет жизни в законах писаных; повеления не имеют уважения, исполнение — доверия; своеволие идет рядом с угнетением, и оба приближают общество к падению»⁸⁶⁸.

Верховенство нравственного начала над всеми государственными и общественными нормами в России исторически обусловлено предшествованием Церкви государству. Как писал М.Н.Катков, «в России есть национальная Церковь. Русской следует называть нашу Церковь не потому, что она пользуется государственной привилегией, а потому, что она присутствовала при начале нашего исторического бытия, при рождении нашего государства. Как только можем мы запомнить себя, она уже светилась в нашей тьме и сопутствовала нам во всех превратностях исторической жизни. Она поддерживала и спасала нас; она проникала во все изгибы нашего существования и на все положила свое знамение. Все наши воспоминания связаны с нею, вся наша история исполнена ею. Нельзя представить себе возможность какой-либо иной из существующих ныне Церквей, которая могла бы называться русской, хотя, с другой стороны, никогда не должно упускать из виду, что истинное значение нашей Церкви состоит не в том, чтоб быть национальной. Связывать ее с какой-либо народностью значило бы унижать и бесславить ее. Она признает себя вселенской, и в этом ее истинный характер. Значение же русской имеет она для нас не по сущности своей, а лишь потому, что мы усвоили ее себе изначала и что она существует у нас как наше национальное учреждение»⁸⁶⁹.

В концентрированной форме русская государственная идея заключена в формуле Константина Леонтьева «Без насилия нельзя. Неправда, что можно жить без насилия. Насилие не только побеждает, оно и убеждает многих, когда за ним, за этим насилием, есть идея»⁸⁷⁰. Идея первична по отношению к государству, именно идея описывает его и дает те или иные обоснования применяемого насилия. Речь идет, безусловно, и о национальной идее. Ведь именно национальная идея русскими консерваторами всегда рассматривается как содержательный признак государства.

Консерваторы всюду ищут некоторых априорных оснований для государства. Так, Павел Флоренский в трактате «Предполагаемое государственное устройство в будущем» (1933 г.) указывает: «Устройство разумного государственного строя зависит прежде всего от ясного понимания основных положений, к которым и должна приспособляться машина *управления*. При этом техника указанного управления вырабатывается соответственными специалистами <...> применительно к данному моменту и данному (месту). Ввиду этой ее гибкости заранее изобретать <...> не только трудно, но и вредно. Напротив, основная <...> устремленность государственного строя должна быть продумана заранее». «Построить разумное государство — это значит сочетать свободу проявления данных сил отдельных людей и групп с необходимостью направлять целое к задачам, *неактуальным* индивидуальному интересу, стоящим выше и делающим историю»⁸⁷¹. Государство-

⁸⁶⁸ Там же.

⁸⁶⁹ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 205.

⁸⁷⁰ Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 243.

⁸⁷¹ Флоренский П. Предполагаемое государственное устройство в будущем. Россия-2010, 1994, № 3.

машина должна быть подчинена государственной идее, индивидуальные устремления — надиндивидуальным задачам.

Иван Александрович Ильин, затрагивая вопрос о нравственной задаче власти, писал: «...каким бы путем люди не выделялись к власти, (именно к власти, а не совету) — сверху (назначением) или снизу (выборами) — ни безвольные добряки, ни волевые подлецы не должны выдвигаться, ни поддерживаться. ...Это есть прямое предательство ставить лукавого авантюриста во главе народа или вручать общее спасение безвольному болтуну; и это есть гибельное легкомыслие — выдвигать к власти слабовольного попустителя или ставить заведомого подлеца на страже народной святыни... <...> ...проматывая авторитет вверенной ему власти, властвующий совершает подлинную растрату национального достоинства, все равно подрывает ли он этот авторитет сам, своею пассивностью и своими злоупотреблениями, или позволяет другим захватывать и расхищать вверенную ему власть, история взыщет с него, как с нерадивого часового...»⁸⁷².

Н.Н.Алексеев обращает внимание на роль религиозных норм, которые могут при конституировании государства замещать торжественные обещания в форме конституционного закона: «...изучение государств других культур убеждает нас, что торжественное закрепление конституционного порядка может принимать иные, например религиозные или нравственные формы. Московская монархия имела, разумеется, свою неписаную конституцию, однако конституция эта свое торжественное выражение имела не в хартиях и договорах, не в законах, изданных учредительным собранием и торжественно подписанных монархом, а в том чисто нравственном убеждении, что порядок, устанавливающий характер внешней мощи государства и его распорядителей — царя и бояр — установлен свыше, освящен верою отцов и традициями старины. Торжественной формой выражения этой конституции были не законы, а религиозное убеждение»⁸⁷³.

Митрополит Филарет пишет, что народы происходят от семейств, где и нужно «искать и первого образа власти, и подчинения видимых ныне в обществе». «Но как власть отца не сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, то открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало первой, а следовательно всякой последующей между людьми власти в Боге»⁸⁷⁴. «Участь государств определяется вечным законом истины, который положен в основание их бытия и который, по мере их утверждения на нем или уклонения от него, изрекает на них суд, приводимый потом в исполнение под всеобъемлющим судоблюстительством Провидения»⁸⁷⁵.

Поскольку семейство древнее государства, произошедшего от семьи, необходимо «чтобы с почтением к родителю родилось и росло благоговение к царю, чтобы любовь дитяти к матери была приготовлением любви к отечеству, чтобы простодушное послушание домашнее приготавливало и руководило к самоотвержению и самозабвению в повиновении законам и священной власти самодержца...» (Заметим сходство мысли Жана Бодена и Митрополита Филарета, которые находят сущностное сходство между семьей и государством).

Из семейной природы государства следует самодержавный принцип: «...чем искреннее подданные предаются отеческому о них попечению государя и с сыновнею доверенностью и послушанием исполняют его волю; чем естественнее государь и поставляемые им под собою правители народа по образу его представляют собою отцов великого и в великом меньших семейств, украшая власть благотворением, растворяя правду милосердием, простирая призрение мудрости и благодати от чертогов до хижин и

⁸⁷² Ильин И.А. Наши Задачи. Статьи 1948-1954 годов, М.: Рарог, 1992. Т.2. С.8.

⁸⁷³ Алексеев Н.Н. Цит. пр. С. 529.

⁸⁷⁴ Филарет Митрополит Московский. Государственное учение. Союз православных братств, СПб, 1993. См. http://pagez.ru/philaret/nasl_058.php

⁸⁷⁵ Там же.

темниц,— тем соединяющие правление с подданными узы неразрывнее, ревность ко благу общему живее, деятельность неутомимее, единодушие неразлучнее, крепость необоримее. Но когда члены общества связуются токмо страхом и одушевляются токмо корыстию собственною, когда глава народа, презирая его, употребляет орудием своего честолюбия и злобы, тогда есть покорные невольники доколе есть крепкие оковы, есть служители кровопролития доколе есть надежда добычи, а при наступлении общей опасности все связи общества ослабевают, народ без бодрости, престолы без подпоры, отечество сиротствует»⁸⁷⁶.

Филарет выделяет три формы повиновения — корыстное (для собственной пользы), рабское (из страха) и честолюбивое (для достижения преимуществ). Но все они ограничены по сравнению с повиновением из добродетели.

Филарет полагает, что без власти общества нет — только власть посредством повиновения может соединить множество людей в общество. Поэтому «кто стал бы колебать или ослаблять повиновение, тот колебал бы или ослаблял бы основание общества». Вместе с тем, Филарет видит необходимость насилия, включая физическое насилие: «Нельзя осудить *всякое* насилие *безусловно*. Если кто буйствует неукротимо, то необходимо *насилие*, чтобы связать его. Если надобно поймать и задержать преступника, вора, разбойника,— он, конечно, не допустит сего добровольно,— а надобно употребить *насилие*, чтоб его схватить и сковать»⁸⁷⁷.

Государь и государство требуют от подданных верности, которая не может быть обеспечена только законом, честным словом или страхом. Страх наказания нужен и полезен для обуздания склонных к преступлениям, но недостаточен для образования качества верноподданных. Поэтому необходимо, чтобы подданный «так уважал верность, как благоговеет перед Богом, дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно коснуться своего обещания, неизбежно встретился с Именем Божиим». Филарет пишет, что «холодность к вере уменьшает благоговение к священной клятве и таким образом ослабляет союз верности, соединяющий подданных с Царем и царством»⁸⁷⁸.

Митрополит Филарет считал всеобъемлющим государственным постановлением принцип святости власти и союза любви между государем и народом. «Правительство, не огражденное свято почитаемою ото всего народа неприкосновенностью, не может действовать ни всею полнотою силы, ни всею свободой ревности, потребной для устройства и охранения общественного блага и безопасности». «Подвластные, которые не признают священной неприкосновенности владычествующих, надеждой своеволия побуждаются домогаться своеволия; власть, которая не уверена в своей неприкосновенности, заботой о своей безопасности побуждается домогаться преобладания: в таком положении государство колеблется между крайностями своеволия и преобладания, между ужасами безначалия и угнетения и не может утвердить в себе послушной свободы, которая есть средоточие и душа жизни общественной»⁸⁷⁹.

Принцип российского самодержавия для Филарета замечателен тем, что царь свободно ограничивает свое самодержавие «волей Царя Небесного, мудростью, великодушием, любовью к народу, желанием общего блага, вниманием к благому совету, уважением к законам предшественников и своим собственным». В ответ же подданные относятся к власти, исходя из праотеческого предания, «наследственной и благоприобретенной любви к Царю царствующих и Господу господствующих»⁸⁸⁰.

Видя в современной России почти идеальную форму власти, Филарет выступает против каких-либо изменений в государстве. «Было бы осторожно как можно менее

⁸⁷⁶ Там же.

⁸⁷⁷ Там же.

⁸⁷⁸ Там же.

⁸⁷⁹ Там же.

⁸⁸⁰ Там же.

колебать, что стоит твердо, чтобы перестроение не обратилось в разрушение. Бог да просветит тех, кому суждено из разнообразия мнения извлечь твердую истину»⁸⁸¹.

Теория монархической государственности, разработанная во всех аспектах и подробностях Львом Александровичем Тихомировым, обосновывает консервативный взгляд на теорию государственной власти как таковой. В своей работе «Монархическая государственность» Тихомиров выделяет три классические формы верховной власти – демократическую, аристократическую и монархическую. При этом он отказывается от представлений о циклической смене этих форм, как и от прогрессистского взгляда, предписывающего считать монархию и аристократию архаическими формами. Формы верховной власти отражают нравственное состояние нации, которая логическим образом предопределяет отношения доверия между верховной властью и подвластными.

Если нация подчинена всеобъемлющему нравственному идеалу, то ей желательно иметь монархию – для реализации нравственного идеала не требуется численного могущества и механизмов договоренности между отдельными индивидами о правилах совместной жизни. Не требуется и ареопага авторитетных лиц, который толковал бы нравственный идеал в коллективных формах власти. Достаточно одной личности, чтобы выражать нравственный идеал, будучи независимой от любых влияний и мнений.

Если вера в нравственный идеал сосуществует с верой в разумные основания, кои могут быть изысканы для регулирования общественных процессов, то власть предпочтительнее передать группе «лучших людей» – аристократии, способной выявлять и применять на деле социальную разумность.

Если подчиненность нравственному идеалу слаба, то общество может существовать, только опираясь на численную силу и количественное решение вопроса о разумности того или иного устройства. Это демократия.

Сравнивая три типа верховной власти, Тихомиров заключает: «Демократия выражает доверие к силе количественной. Аристократия выражает преимущественное доверие к авторитету, проверенному опытом; это есть доверие силы. Монархия выражает доверие по преимуществу к силе нравственной».

Все три формы можно считать идеальными типами, сосуществующими в любом обществе, но в разных соотношениях. Нравственный порядок монархии позволяет даже в условиях слабости правления привлекать к государственным делам все социальные силы, используя все принципы власти, лишь не допуская их верховенства. Что же касается демократии и аристократии, то они, напротив, не могут допустить присутствия монархического принципа, который неизбежно станет им нравственным укором. Но в силу близости монархического принципа к самой сущности власти, в тех или иных искаженных формах он все-таки проникает в аристократические и демократические режимы помимо воли верховенствующей в ней власти.

Идеи самодержавной монархии в русской консервативной мысли трансформируются в идею сильной власти. Известный общественный деятель и активный участник «белого» движения В.В.Шульгин писал: «Мы из тех пород, которым нужен видимый и осязаемый вожак. Ибо сей вожак, избавляя каждого отдельного русского от необходимости сноситься со своими согражданами – "в бок" (на каком пути, как мы видели, возникают сей час же ссоры, споры, драки и скандалы), направляет их стремление как-то послужить единой и ценимой ими русскости – "вверх", то есть на себя. В нем, в вожаке, как в фокусе, собираются эти действенные лучи, не парализованные взаимоотталкиванием». Самодержавная монархия уже не может в полной мере соответствовать современной ситуации: «Сейчас Государь, который хотел бы выполнить цареву службу былых времен (то есть выловить из народа все творческое, отринув разрушительное), должен быть *персонально* на высоте своего положения. Если же этого

⁸⁸¹ Там же.

нет, то рядом с ним становится вождь, который, по существу, выполняет царские функции»⁸⁸².

Флоренский описывает верховного правителя примерно так же, как мог бы описывать идеал героя-самодержца, который должен как бы заменить наследственного царя-самодержца и в этом смысле переучредить государство на новых основах и принципах властвования: «Ему нет *необходимости быть* ни гениально умным, ни нравственно *возвышаться* над всеми, но необходима <...> гениальная воля, — воля, которая стихийно, *может быть* даже не понимая всего, что она делает, стремится к цели, еще не обозначившейся в истории». «И как бы ни назывался подобный творец культуры — диктатором, правителем, императором или как-нибудь иначе, мы будем считать его истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а в силу трепетного сознания, что пред нами чудо и живое явление творческой мощи человечества»⁸⁸³.

В значительной мере переступая консервативную традицию и обращаясь к идеалу вождизма, Флоренский пишет, что «выдающаяся личность возьмет на себя бремя и ответственность власти и поведет страну так, чтобы обеспечить каждому необходимую политическую, культурную и экономическую работу над порученным ему участком».

«В настоящий исторический момент, *если* брать массу, — цельные личности, — отсутствуют не потому, что стали хуже, а потому, что воля парализована внутренними противоречиями культурной среды. Не личность слаба, но нет сильных, не задерживающих друг друга, мотивов деятельности.

Никакие парламенты, учредительные собрания, совещания и прочая многоголосица не смогут вывезти человечество из тупиков и болот, потому что тут речь идет не о выяснении того, что уже есть, а о прозрении в то, чего еще нет. Требуется лицо, обладающее интуицией будущей культуры, лицо пророческого [склада]. Это лицо, на основании своей интуиции, *пусть* и смутной, должно ковать общество. Ему нет *необходимости быть* ни гениально умным, ни нравственно *возвышаться* над всеми, но необходимой [...] гениальная воля, — воля, которая стихийно, *может быть* даже не понимая всего, что она делает, стремится к цели, еще не обозначившейся в истории.

Как суррогат такого лица, как переходная ступень истории появляются деятели вроде Муссолини, Гитлера и др. Исторически *появление* их целесообразно, поскольку отучает массы от *демократического* образа мышления, от партийных, парламентских и *подобных* предрассудков, поскольку дает намек, как много может сделать воля. Но подлинного творчества в этих лицах все же нет, и надо думать, они — лишь первые попытки человечества породить героя. Будущий строй нашей страны ждет того, кто, обладая интуицией и волей, не побоялся бы открыто порвать с путами представительства, партийности, избирательных прав и прочего и отдался бы влекущей его цели. Все права на власть [...], избирательные (по назначению) — старая ветошь, которой место в крематории. На созидание нового строя, долженствующего открыть новый период истории и соответствующую ему новую культуру, есть одно право — сила гения, сила творить этот строй. Право это, одно только не человеческого происхождения, и потому заслуживает название божественного. И как бы ни назывался подобный творец культуры - диктатором, правителем, императором или как-нибудь иначе, мы будем считать его истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а в силу трепетного сознания, что пред нами чудо и живое явление творческой мощи человечества...»⁸⁸⁴.

В этих идеях отражаются общие иллюзии эпохи и разработки евразийцев, выступавших в пользу власти лидера единой и единственной партии, которые стремились каким-то образом связать русскую историческую традицию с реалиями сталинского государства. Лишь отчасти это уклонение от традиционного русского консерватизма

⁸⁸² Шульгин В.В., Что нам в них не нравится... М.: Хорос, 1992. С. 94–95.

⁸⁸³ Флоренский П. Россия-2010, 1994, № 3.

⁸⁸⁴ Флоренский П. Предполагаемое государственное устройство в будущем// Россия-2010, 1994, № 3. С. 192.

может быть объяснено тревожной международной обстановкой и сложностями внутренней жизни СССР накануне мировой войны.

Критика формализма западной демократии для русских консерваторов всегда была тем, от чего отталкивалась их мысль. Глядя на современную ему Россию, победившую Наполеона и отменившую крепостное право (сам митрополит участвовал в составлении Манифеста об освобождении крестьян в 1861 г.), и Европу, Филарет делает сравнение не в пользу последней: «Перестав утверждать государственные постановления на слове и власти Того, *Кем цари царствуют*, они уже не умели ни чтить, ни хранить царей. Престолы там стали не тверды; народы обьюродели. Не то чтоб уже совсем не стало понимающих; но дерзновенное безумие взяло верх и попирает малодушную мудрость, не укрепившую себя премудростью Божией. Из мысли о народе выработали идол, и не хотят понять даже той очевидности, что для столь огромного идола не достанется никаких жертв. Мечтают пожать мир, когда сеют мятеж, не возлюбив свободно повиноваться законной и благотворной власти Царя, принуждены раболепствовать пред дикою силой своевольных скопищ. Так твердая земля превращается там в волнуемое море народов, которое частью поглощает уже, частью грозит поглотить учреждения, законы, порядок, общественное доверие, довольство, безопасность». В Европе, считает Филарет, «мечтают на мятеже основать законность, во всенародных распрях найти источник общественного согласия, иметь свободное управление посредством поработанного правительства», во главу угла ставится безначалие, выступающее как разрушительное начало. «Они хотят царей, не освященных Царем царствующих; правителей, поработанных своим подданным; напротив того, приписывают царскую и самодержавную власть народу»⁸⁸⁵. Поэтому Филарет видит в России неколебимые устои нравственности и выступает против иноземных нововведений.

Критикуя теорию общественного договора, митрополит Филарет пишет, что эта теория есть «прекрасное основание для того, чтобы на нем построить государство в высокоумной книге или в мечтательной голове, а не в природе вещей»⁸⁸⁶. Он ссылается на природные сообщества, в коих нельзя увидеть признаков никакого договора, но благоизволение Творца мира. Более того, договор может иметь место, когда в него вступают с сознанием и по доброй воле, чего явно нет в обществе. Действительно, спрашивает Филарет, с кем мог договориться человек, чтобы родиться в России – с родителями или с самой Россией?

Продолжая эту традицию критики демократии, Павел Флоренский пишет: «Задача государства состоит не в том, чтобы возвестить формальное равенство всех его граждан, а в том, чтобы поставить каждого *гражданина* в подходящие условия, при которых он сумеет *показать* на что способен». «Политическая *свобода* масс в государствах с представительным правлением есть обман и самообман масс, но самообман *опасный*, отвлекающий в сторону от полезной деятельности и вовлекающий в политиканство»⁸⁸⁷.

Консерватизм всегда стоит на страже традиционной социальной иерархии, как естественного и необходимого положения вещей в государстве. Так, Флоренский пишет: «Ни одно правительство, если оно не желает *краха*, фактически не опирается на решение большинства в вопросах важнейших и вносит свои коррективы; а это значит, что по существу оно не признает представительства, но пользуется им как средством для *прикрытия* своих действий».

Аналогичную точку зрения высказывал и М.Н.Катков, который писал: «Как только возникает баллотировка, народный дух тут же развращается, и большинство голосов отражает лишь это развращенное состояние, попирающее традицию предков и интересы потомков. В России государственную партию составляет весь русский народ»⁸⁸⁸. «Россия

⁸⁸⁵ Филарет, Митрополит Московский. Указ. соч.

⁸⁸⁶ Там же.

⁸⁸⁷ Флоренский П. Указ соч.

⁸⁸⁸ Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002. С. 380.

выросла и окрепла не мнениями, не большинством голосов, не интригой партий, вырывающих друг у друга власть, а исполнением священного долга, связующим воедино все сословия народа»⁸⁸⁹.

В работе «О государственном строе и форме правления» евразиец Н.С.Трубецкой пишет: «Взгляд на государственно организованное общество, как на живое органическое единство, предполагает существование в этом обществе особого правящего слоя, т.е. совокупности людей, фактически определяющих и направляющих политическую, социальную и культурную жизнь общественно-государственного целого. А в среде этого правящего слоя, в свою очередь, можно всегда ясно выделить некоторый государственный (правительственный) актив. Как правящий слой вообще, так и государственный актив отбираются из общей массы данной общественно-государственной среды по какому-нибудь определенному признаку, но признак этот не во всех государствах один и тот же, в одних этот признак — имущественный, в других — генеалогический и т. д. Вот этот-то признак, по которому в данном государстве отбирается правящий слой и правительственный актив, и является наиболее существенным и основным для характеристики данного государства»⁸⁹⁰.

Трубецкой считает вопрос о монархии или республике малосущественным и концентрирует внимание именно на типе отбора ведущего слоя: «Аристократическая республика более похожа на аристократическую монархию, чем на республику демократическую, точно так же и демократическая монархия ближе к демократической республике, чем к монархии аристократической. Существенно важно во всех этих случаях не различие между монархией и республикой, а различие между аристократическим и демократическим слоем, т.е. между двумя типами правящего слоя»⁸⁹¹.

Трубецкой, как и Флоренский, полагал, что оба господствующих в современной ему Европе типа отбора себя изжили: «Формально отбор этот производится по признаку отражения общественного мнения и получения общественного доверия - к правящему слою принадлежит всякий, кому известно (сравнительно значительное) число лиц данной местности при помощи голосования доверяет отражать мнения этой группы лиц. Но фактически дело обстоит, конечно, иначе: правящий слой при демократическом строе состоит из людей, профессия которых состоит не только в улавливании и отражении фактического общественного мнения разных групп граждан, сколько в том, чтобы внушать этим группам граждан разные мысли и желания под видом мнения самих этих граждан. Сюда, следовательно, входят активные члены партии, руководители разных профессиональных организации, журналисты, профессиональные ораторы и, наконец, столь же профессиональные депутаты. Весь этот слой представляет из себя нечто довольно однородное (несмотря на обязательную, вызванную самой техникой политической жизни многопартийность), так что всякий новый человек, вступивший в эту среду, либо ею ассимилируется, либо извергается вон. Демократический строй, обычно соединяющийся с плутократическим, предполагает не только особый экономический строй и целый ряд специфических политических институтов, но и также известные особенности культуры. Характерным для этого строя является государственный минимализм, т.е. невмешательство государства в большинство отраслей культуры и быта, откуда кажущаяся независимость и автономность всех этих отраслей (например, свобода науки, свобода искусства, свобода производства и т.д. и т. д.)»⁸⁹².

Вебер также указывал на тупик, в который попадает общество, абсолютизируя принцип выборности: «Избираемое чиновничество — источник разрушения формально рациональной экономики, потому что оно является упорядоченным партийным чиновничеством, а не специально обученным профессиональным, и потому что

⁸⁸⁹ Там же. С. 382.

⁸⁹⁰ Трубецкой Н.С. О государственном строе и форме правления.

⁸⁹¹ Там же.

⁸⁹² Там же.

возможности отозвания или избирания препятствуют ему в проведении управления и строго деловой юстиции, не заботящейся о последствиях. Избираемое чиновничество незаметно тормозит формально-рациональную экономику только там, где ее шансы, вследствие возможности использовать технические и экономические достижения старых культур на новой почве с еще не апроприированными средствами, оставляют достаточно широкое пространство для развития, чтобы потом поставить в счет как издержки почти неизбежную коррупцию избираемого чиновничества и все-таки достичь прибыли в еще большем размере»⁸⁹³.)

Трубецкой призывает к новому типу отбора правящего слоя, называемого им идеократией, идеократическим строем, в котором правящий слой состоит из людей, объединенных миросозерцанием. Примером первых образцов идеократического строя Трубецкой считает государственные образования, возникшие в результате русской и итальянской революции. Правда, российская и итальянская идеократии ущербны – первая государственным атеизмом и тем, что правящая партия делает вид, будто правит не она, а пролетариат; вторая – культом личности Муссолини и голым организационизмом. Поскольку проблема идеократии в обоих случаях не осознана, и фашизм, и коммунизм — лжеидеократии, но сама жизнь создает для настоящей идеократии политические, экономические и бытовые условия и формы.

Разработке теории ведущего слоя немало сил посвятил Н.Н.Алексеев, который полагал, что характерной чертой российской истории является преобладание стремления к формированию чисто служилого ведущего слоя (в противовес государствам, где ведущий слой формировался на классовой основе и социально-экономическом доминировании). Алексеев приводит слова Ключевского: «В других странах мы знаем государственные порядки, основанные на сочетании сословных прав с сословными обязанностями или на сосредоточении прав в одних сословиях и обязанностей в других. Политический порядок в Московском государстве основан был на разверстке между всеми классами только обязанностей, не соединенных с правами. Правда, обязанности соединены были не с одинаковыми выгодами, но эти выгоды не были сословными правами, а только экономическими пособиями для несения обязанностей»⁸⁹⁴. В дальнейшем Петр I снова в соответствии с этим образцом превратил московское дворянство из привилегированного сословия в служилый государственный слой и провозгласил принцип личных деловых заслуг и личной годности.

В отличие от евразийцев, в большей мере можно считать приемлемой для современной ситуации и для восстановления связи с русской традицией позицию Ивана Ильина, который также писал о ведущем слое общества. Он полагал, что «демократия заслуживает признания и поддержки лишь постольку, поскольку она осуществляет подлинную аристократию (т.е. выделяет кверху лучших людей); а аристократия не вырождается и не вредит государству именно постольку, поскольку в ее состав вступают подлинно лучшие силы народа... Демократия, не умеющая выделить лучших, не оправдывает себя; она губит народ и государство и должна пасть»⁸⁹⁵. Именно поэтому «всякое государство строится своим ведущим слоем, живым отбором своих правящих сил. Всегда и всюду правит меньшинство: в самой полной и последней демократии большинство не правит, а только выделяет свою "элику" и дает ей общие, направляющие указания. И вот судьбы государств определяются качеством ведущего слоя»⁸⁹⁶.

В то же время Ильин не отказывается от избирательной системы: «...главное, выработка особого вида конкурирующего сотрудничества в нахождении и выдвижении лучших людей – сотрудничества государственного центра с избирателями»⁸⁹⁷. При этом

⁸⁹³ См. Социологические исследования. 1988. № 5.

⁸⁹⁴ Алексеев Н.Н., Указ соч., С. 474–475.

⁸⁹⁵ Ильин И.А., Наши Задачи. Статьи 1948-1954 годов, Т.1, М.: Парог, 1992. С. 128.

⁸⁹⁶ Там же. Т. 1. С. 210.

⁸⁹⁷ Там же. Т.1. С. 129.

он неявно признает и необходимость политического неравенства различных социальных слоев: «Только тот, кто чувствует себя самокормильцем, приносящим пользу своему народу, имеет основу для независимого суждения в политике, для неподкупного волеизъявления и голосования»⁸⁹⁸. «...демократия гибнет от обилия в стране черни, отвыкшей от честного труда и жаждущей подачек, развлечений и авантур... Есть минимальный уровень образования и осведомленности, вне которого всякое голосование становится своею собственною карикатурою... при котором голосует не народ, а обманываемая толпа»⁸⁹⁹.

Мы видим, что в консервативных концепциях русских мыслителей прежняя концепция государства, опирающегося на религиозные представления (Святитель Филарет) в начале-середине XX в. заменяется концепцией нации-государства (И.А.Ильин). В то же время роль государства остается особенно выраженной в концепции правящего отбора (включая выделение национального лидера), которая так или иначе просматривается во всех консервативных сочинениях.

Политические течения развивают в области теории государства свои «любимые» идеи. Для марксистского и в целом «левого» направления пересекаются две тенденции: 1) нигилистическая, антигосударственная, исходящая из усеченного представления о государстве как об аппарате насилия властвующего класса; 2) тоталитарная, инструментальная, связанная со стремлением быстро уничтожить все негативные характеристики государства с помощью государственного же регулирования. Либеральная традиция также делится на две составляющие: 1) нигилистическую, отодвигающую государство как противоестественную сущность в сравнении с ценностью индивида; 2) утопически-институциональную, выраженную в стремлении к рациональному созданию гражданского общества с такими качествами, которые могут быть представлены только умозрительно.

Консервативная традиция не имеет нигилистической составляющей, но усиливает как негативные (тоталитарные), так и конструктивные составляющие государственности (его духовно-нравственная, историческая основа), нации (национальное единство), сжимая пространство, в котором мог бы действовать свободный индивид и где социальные технологии превалируют над чисто политическими. Консервативная традиция имеет свой политический миф, но не погружается в утопизм, подобный марксистскому или либеральному – консерватизм всегда более прагматичен и исходит из ситуации, к которой старается применить высшие цели политики и человеческого существования. В этом смысле русская консервативная традиция в современных условиях может соединиться с политической практикой – прежний разрыв, когда консервативная государственность существовала в отрыве от консервативной политической теории, может быть преодолен. Основой такого преодоления может и должна стать концепция русской нации – именно национальное строительство востребует теорию, приближая ее к практике, и принуждает государство к выработке стратегического курса, исходя из теоретических разработок на основе национальных ценностей и национальных интересов.

⁸⁹⁸ Там же. Т. 2. С. 7.

⁸⁹⁹ Там же. Т. 2. С. 8.

Глава 9. ПАРТИЙНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВА

Партийное размежевание как дифференциация стилей мышления

Карл Мангейм выдвинул тезис о том, что человеческая мысль также развивается «стилями» и что разные школы мышления можно различать благодаря различным способам использования отдельных образцов и категорий мышления⁹⁰⁰.

Эта тенденция прослеживается и в терминологии, которая используется как в разных значениях, так и в разных контекстах, которые могут высвечивать тот или иной стиль мышления: «Слова никогда не означают одно и то же, если произносятся представителями разных общественных групп, даже в одной стране. А небольшие различия смысла служат лучшим проводником к различным мыслительным тенденциям определенного общества»⁹⁰¹.

Мангейм указывает, что «после Французской революции развилась тенденция к «поляризации» в мышлении, т.е. стили мышления развивались в явно центробежных направлениях. Осью уделов были различия, выявившиеся под натиском событий Французской революции. Различные стили мышления развивались в соответствии с партийными направлениями, так что можно говорить о мысли «либеральной» или «консервативной», а позднее также о «социалистической»⁹⁰².

Это обстоятельство говорит о том, что мы можем приложить понятие о стилях мышления к позициям политических партий трех указанных направлений в отношении государства. Более того, поскольку, как убеждает нас Мангейм, политика находится в родстве с определенными философиями, мы можем говорить и о близости определенных теоретических концепций государства к действующим партиям.

Введенное Мангеймом понятие *основополагающего мотива* позволяет вывести представление о государстве в партийных платформах и политической эссеистике на передний план и именно здесь искать принципиальные (хотя порой скрытые или скрываемые) различия между типами политического мировоззрения.

Мангейм выделяет ряд «параметров», отражающих проблемы современных государств, по которым можно было бы дифференцировать партийные программы: 1) достижение национального единства; 2) участие народа в правлении; 3) включение государства в мировой экономический порядок; 4) решение социальной проблемы⁹⁰³.

Еще одна группа характеристик политической мысли связана с концепцией времени, которая так или иначе присутствует в партийных программах и теоретических трактатах. Мангейм говорит, что «консервативная мысль сосредоточивается на прошлом в той мере, в какой прошлое живет в современности, а мысль буржуазная, принципиально сосредоточенная на современности, живет благодаря тому, что, собственно, есть новое, в то время как пролетарская мысль пробует уловить элементы будущего, существующие уже в настоящем, сосредоточиваясь на тех существующих в данный момент факторах, в которых можно увидеть зародыши будущего общества»⁹⁰⁴.

Конечно, по сравнению со схемой консерваторы-либералы-социалисты могут применяться и более сложные схемы. Одна из них была предложена в рамках исследования «Особый путь России»⁹⁰⁵. По отношению к ведущей государственной идее респонденты, придерживающиеся соответствующего политического лозунга, разделились на группы:

Русские националисты: Россия должна быть государством русского народа.

⁹⁰⁰ Мангейм К. Консервативная мысль// Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 573.

⁹⁰¹ Там же. С. 575.

⁹⁰² Там же. С. 577.

⁹⁰³ Там же. С. 598.

⁹⁰⁴ Там же. С. 611.

⁹⁰⁵ «Полис», 1997.

Державники: Россия должна быть сильной военной державой.

Интернационалисты: Россия должна быть многонациональным государством равноправных народов.

Социалисты-реставраторы: Россия должна вернуться к социалистическому строю.

Объединители: Россия должна стать государством, вокруг которого сложится новый добровольный союз бывших советских республик.

Империалисты: Россия должна возродиться как сильная военная империя в границах бывшего СССР.

Постсоветские индивидуалисты: Россия должна стать государством, сила и могущество которого обеспечивается благодаря росту благосостояния граждан.

Демократы-западники: Россия должна стать государством с рыночной экономикой, демократическими свободами и соблюдением прав человека.

Православные христиане: Россия должна стать христианской православной страной.

Слабость такой классификации состоит в том, что стили мышления могут смешиваться и давать достаточно большие группы приверженцев не одного, а нескольких лозунгов. И такие смешанные идентичности выявлены в указанном исследовании. Оказалось, что «чистые» типы все равно распределяются по трем группам: националисты и державники, демократы-западники и интернационалисты вместе с социалистами. Остальные группы диффузны и не имеют «чистого» ядра.

Последнее обстоятельство говорит в пользу того, что именно диффузные группы высказывают консолидационные идеи, умиротворяющие хотя бы отчасти антагонизм стилей мышления. Тогда в качестве консолидационных идей следует признать именно идеи диффузных групп: воссоздания СССР, воссоздания империи и строительства православного государства. Еще одна консолидирующая «идея» — «постсоветский индивидуализм» — оказывается общим признаком для демократов-западников и интернационалистов, отличающим их от остальных групп, где идея сильной государственности выражена более ярко.

И здесь, по всей видимости, повторяется с обратным знаком ситуация, о которой Л.Н.Тихомиров писал: «Революционные крайности вытекают из *общего мирозерцания*, которое в одну сторону создает не додуманные до конца, половинчатые, а иногда иезуитские либеральные требования, в другую же — вполне логично и последовательно стремления революционные. Наши “передовые” создают революционеров не своими ничтожными либеральными программами, а пропагандой своего общего мирозерцания»⁹⁰⁶. «Либерал только и мечтает, как бы не додумать до конца. Революционер все спасение ищет в том, чтобы дойти до самого последнего предела. Но судьба обоих одинакова: оба осуждены дойти до противоречия с действительностью, откуда их ничто не может вытащить, кроме реакции»⁹⁰⁷.

Мы сталкиваемся с политическим абсентеизмом «постсоветского индивидуала», которое также вытекает из противоречия с действительностью, с ее неприятием, выражавшееся в начале XX в. в революционном экстремизме и либеральных недосказанностях в отношении государства.

При всей этой мировоззренческой недостаточности история демонстрирует феноменальную способность либералов и «левых» сливаться в партийные группы — как будто слабость создает им дополнительный стимул, чтобы противопоставить себя нации, но выступить непременно от ее имени.

Шпенглер писал: «...*собственно говоря, существует только одна партия*, партия буржуазии, либеральная, и, надо сказать, этот свой ранг она вполне осознает. Она приравнивает себя к “народу”. Ее противники, прежде всего подлинные сословия, “баре и

⁹⁰⁶ Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. С. 78.

⁹⁰⁷ Там же. С. 109.

попы», являются врагами и предателями «народа» как такового, ее голос – «глас народа», который вдалбливается этому последнему всеми средствами политической обработки – речами на форуме, прессой на Западе, с тем чтобы затем от его имени выступать». «...марксизм, в теории являющийся отрицанием буржуазии, ультрабуржуазен как партия по повадкам своим и руководству. Налицо непрекращающийся конфликт между волей, которая с необходимостью выходит за рамки партийной политика, за тем самым и всякой конституции (и то, и другое исключительно либерально) и это, говоря по чести, может быть названо лишь гражданской войной, и теми повадками, иметь которые полагают здесь за должное и которыми действительно необходимо обладать, чтобы рассчитывать в это время на сколько-нибудь длительный успех. Однако манера поведения аристократической партии в парламенте столь же фальшива, как и партии пролетарской. Лишь буржуазия чувствует себя здесь как рыба в воде»⁹⁰⁸.

Касаясь партийного вопроса, Шпенглер пишет о двух движущих силах – национальной и антинациональной, которые, по сути дела, составляют две решительно противостоящие друг другу протопартии: «Именно в мировых столицах наряду с меньшинством, обладающим историей и переживающим в себе нацию, с меньшинством, ощущающим себя представителем нации и желающим вести ее за собой, возникает другое меньшинство – вневременные, внеисторические, литературные люди, люди резонов и оснований, а не судьбы, внутренне отчужденные от крови и существования, сплошь мыслящее бодрствование, которое более не находит в понятии нации никакого “разумного” содержания. В самом деле, они к ней больше не принадлежат, ибо культурные народы – это формы потоков существования; космополитизм же есть просто бодрствующая связь “интеллигенций”»⁹⁰⁹.

Консервативная партия возникает как «оборонительное сооружение» против либеральной партии (и следующей ее повадкам «левой» партии), объединяющей антинациональные силы. В этих противостоящих силах мы имеем дело с либеральным и консервативным пониманием нации и государства, антиисторическим и историческим, эманипированным и традиционным.

Идеологическое размежевание и перспективы консервативной партии лучше всего прослеживаются по отношению к русскому вопросу. Социологические исследования, проведенные в ноябре 2003 года, показали, что гражданам России менее всего понятно, что такое «русские национальные ценности». Поддержали политику их утверждения только 10%. Партийное позиционирование с привлечением православных ценностей дает немногим больше – 12%. Зато более понятно, что такое «русские интересы» (36%); и еще понятнее, что главный интерес – это Россия (43%). Таким образом, государственническая позиция с элементами национализма объединяет почти половину населения страны, а лозунги русского национализма – лишь десятую его часть. Причем, во многом и та, и другая группа находятся под сильным влиянием «левой» и либеральной догматики.

Что же касается духовной традиции, что она пока мало что дает для судеб государства. При том, что православными себя считают около половины населения России и еще четверть говорит о колебании между верой и безверием, действительно хотели бы внедрять православные ценности в свою жизнь и жизнь страны не более трети населения. Испытательным здесь служит вопрос о введении в школьное обучение курса православной культуры. Респонденты поделились на три равные группы – сторонников такого нововведение, его противников и не имеющих определенной точки зрения.

Еще меньше оказывается группа, в которой имеется понимание, что Церкви касается любой вопрос жизни общества – в том числе и политика. Таковых менее четверти респондентов. И лишь около пятой части респондентов прочно связывают веру и нравственность и видят необходимость веры в современной жизни. Если же прямо связывать православие и политику и противопоставлять эту связь другим объединяющим

⁹⁰⁸ Шпенглер О. Закат Европы. Т.2, М.: Мысль, 1998. С. 478.

⁹⁰⁹ Там же С. 190.

мотивам, то оказывается, что политизированные православные составляют ничтожную часть электората – всего 4,4%.

Таким образом, из количественных исследований следует сделать вывод, что русское национальное самосознание пока еще смутно. Оказалось, что русские в простонародной массе вообще не в состоянии обсуждать свои проблемы, все время возвращаясь к забитой в сознание риторике советского времени и заикливаясь на темах, связанных с наплывом мигрантов и несправедливым перераспределением материальных благ.

Смутность русского самосознания обусловило в 2003 году голосование за «старые» партии, созданные в период ельцинизма и связанные с ельцинизмом либо прямым соучастием в его преступлениях, либо компромиссами и закулисными сделками. Но альтернативный проект блока «Родина» в кратчайшие сроки собрал миллионы сторонников, тем самым обозначив грядущее партийное размежевание, оставляющее в прошлом размежевание общества между коммунистами и антикоммунистами. Даже будучи внутренне разделенным на «левый, социальный» (С.Глазьев) и «правый, национальный» (Д.Рогозин) проекты, блок «Родина» переполошил все политическое пространство и почти сразу был распознан наемниками олигархии как самый главный их враг.

Основное размежевание происходит теперь между политикой олигархии, поставивших себе на службу и ультрарадикальные, и «левые» группировки. При этом олигархия расколота на непубличную (ее присутствие было вскрыто в 2003 году во время скандала вокруг ареста нефтяного магната М.Ходорковского) и публичную – открыто опирающуюся на «административный ресурс» власти. Антиолигархическое течение в российской политике пока еще только набирает силу и ищет адекватного партийного воплощения и собственной идеологии, которая не может быть ничем иным, кроме русского национализма.

Пока же поле российской политики усеяно старыми проектами нации и государства, отражающими устаревающие взгляды и выхолащенные социальные конфликты. Ниже мы кратко остановимся на партийных проектах, хоть как-то определяющихся в теории государства.

Социалистические и прочие «левые» модели государства

Существующие партийные документы «левых» партий достаточно просто анализировать, сравнивая с прежними марксистскими установками. В политической жизни России эти установки сохранились в относительной «чистоте» лишь в малых маргинальных группировках. В то же время нельзя сказать, что европейская эволюция коммунистической идеологии и превращение ее в современную социал-демократию, произошло только в рамках малопопулярных и не имеющих политических перспектив партиях.

Наряду с респектабельной коммунистической оппозицией в партийном спектре России присутствуют и такие «левые» партии, которые сохраняют прежний большевистский подход к государству. Примером такой партии служит ВКП(б), в программе которой ставится задача подготовки широких социальных слоев к свержению буржуазного строя, содействия классовой борьбе и ее направление на установление диктатуры пролетариата (правда, в демократических и гибких формах).

Фактически данная партия в ряде своих теоретических положений без каких-либо изменений использует прежний багаж советско-коммунистической доктрины в ее марксистской определенности («Любая политическая власть, по существу, есть диктатура экономически господствующего класса») без обычных уловок «реальной политики», которая так или иначе бывает свойственна тем, кто имеет шансы приобрести власть и контроль над государственным аппаратом. Например, программа ВКП(б) говорит о советской бюрократии как о предвестнике новой буржуазии криминального и

номенклатурного происхождения. С одной стороны, государство считается порождением антагонизма классов, с другой – источником новых классов. Парадокс когда советское государство выступает в роли такого источника состоит в том, что в программе ВКП(б) связывается с перерождением КПСС и отступлением от принципов большевизма.

Таким образом, мы сталкиваемся с двойственным отношением к государству – хорошо лишь большевистское государство (причем в сталинском его виде), а всякое другое принципиально вредно. Целесообразна только государственная организация диктатуры пролетариата, все остальные государственные организации враждебны. Любое небольшевистское государство подлежит разрушению, и с этой целью ВКП(б) говорит о необходимости поддержки национально-освободительных движений. Отсюда логично вытекает и идея мировой революции, которая должна вылиться в установление большевистских режимов в странах победившего национально-освободительного движения.

И все-таки, когда речь заходит о международной политике, программа ВКП(б) выделяет собственное государство как объект эксплуатации другими государствами. Антиколониальный пафос, тем не менее, подчиняется генеральной идее: борьба за демократию и национальные интересы народов должна перерасти в борьбу за социалистическую революцию.

ВКП(б) намеревается использовать часть старого государственного и муниципального аппарата, осуществляющего управление экономикой, социальной и культурной сферами, «пока не произойдет советизация всей системы, управления». То есть, в какой-то мере опыт государственного строительства все же признается позитивным.

Имеются также определенные ограничительные оговорки по поводу права наций на самоопределение. Перед плачевным опытом современной России ВКП(б) уже не может заявлять открыто о готовности к гибели родного государственного организма. Поэтому признание права наций на самоопределение связывается с его подчинением интересам победы социалистической революции. Кроме того, это право трактуется как нечто отличное от права на образование самостоятельного государства. Более того, развитие этой мысли дает идею унитарного многонационального государства, которое объявляется наиболее целесообразной для условий диктатуры пролетариата формой национально-государственного устройства. Различные формы конфедерации, федерации и национально-территориальной автономии рассматриваются как переходные формы к «социалистическому унитаризму».

Другим полюсом «левого» подхода к государству становится либеральный социализм, опирающийся преимущественно на идеи западной социал-демократии и идеи «перестройки». Например в программных установках Союза общественных объединений «Российское движение за новый социализм» (РДНС) видение демократии зафиксировано в таких пунктах⁹¹⁰:

- форма политического устройства, основанная на признании народа единственным источником власти;
- строгое и неукоснительное разделение функции власти;
- гибкое сочетание парламентаризма с функционированием институтов прямого волеизъявления граждан;
- верховенство законов, выражающих волю народа и его подавляющего большинства;
- гарантия со стороны государства естественных и неотъемлемых прав человека;
- путь мирных перемен, позволяющий переходить от исходного состояния общества к другому без неоправданных разрушений;

⁹¹⁰ Материалы I Съезда Российского движения за новый социализм, М., 1997.

- разумная дискуссия, ведущая к выработке реалистических решений на основе многообразия суждений;
- участие в жизни страны и общества, дающее возможность свободному человеку влиять на рассмотрение различных собственных и общественных проблем;
- возможность каждого более полно использовать свой талант, знания, опыт, энергию и творческую инициативу в общественно полезных целях;
- норма деятельности людей, позволяющая несмотря на многообразие и несовпадение интересов сообща решать насущные задачи в рамках закона.

Таким образом, идея нации и государства из концепции демократии либеральных социалистов полностью выпадает, а их взгляды практически без изъятия могут быть включены в любую либеральную программу. Не случайно для них утрачивается определенность важнейших элементов теории государства, когда они касаются проблем собственной страны: «Россия – «мир миров», многонациональная и поликонфессиональная страна, где патриотизм и интернационализм – неразделимые понятия, опирающиеся на взаимное уважение всех народов». И это несмотря на критическую оценку того, что «Россия представляет собой набор «локальных миров» – регионов и республик, все более отдаляющихся от Центра».

В области государственного строительства у РДНС (Манифест, 1998 г.) обнаруживаются «последовательный федерализм», либеральный тезис о реализации «технологий общественного договора», положение об уважении «самобытности всех наций и народностей», декларация о «народовласти и подлинном демократизме» и множество других фрагментов либеральных и социальных доктрин. Важную роль в идеологии «новых социалистов» занимает также тезис о том, социализм есть плод Великой Октябрьской социалистической революции, которая будто бы дала мир народам, землю – крестьянам, власть – Советам, самоопределение – нациям.

Наиболее серьезной (но краткосрочной) попыткой внедрить социально-либеральный синтез в «эпоху Путина» стало создание в 2000–2001 г. спикером Госдумы Г.Селезневым лево-демократического движения «Россия» (впоследствии сменившего название на «Партию возрождения России»). Идеология движения опирается на требование построения социального государства («доведенная до своего высшего воплощения идея социального государства и есть социализм», социализм – это социальная справедливость плюс рыночная экономика). Большая часть программных разработок «России» была посвящена экономике и социальному обеспечению. Социализм в ее программной интерпретации – это справедливая оплата труда, достойное образование и здравоохранение, достойное пенсионное обеспечение, восстановление хозяйственной роли государства, усиление роли местного самоуправления, расширение прав трудящихся в сфере производства. По этим и другим поводам говорилось много общих слов, но почти ничего конкретно-практического. Характерно, что социальная политика «России» взяла ориентир не на проблематику жизнеспособности нации и государства, а на права человека.

Политика государственного строительства в программных документах «России» требует утверждения федерализма в противовес унитаризму, а также сочетания стратегического централизма и «этно-конфессиональной автономности субъектов Федерации». Духом либеральных идей отдают такие слова из программной брошюры движения: «Единство многонациональной державы возможно только на базе ценностей демократии и свободы, на основе прав и морали, общих социально-экономических и духовно-политических интересов».

В целом движение пыталось позиционировать себя между коммунистами и либералами, т.е. как «центристское» объединение, как бы берущее от всех самые полезные идеи. В действительности программные разработки «России» представляли собой эклектичное сочетание социалистических и либеральных идей с рядом весьма экстравагантных проектов разных авторов (С.Кара-Мурза, А.Дугин и др.). То же,

вероятно, можно сказать и о любой другой попытке либерально-коммунистического синтеза.

Иммануил Валлерстайн⁹¹¹ пишет, что аргументация социалистических партий, которые в конце концов сделали выбор в пользу участия в парламентских выборах (а следовательно, и в правительствах) выбор основывается на мнении о рациональности человека, который действует согласно рациональному интересу, а также на том, что прогресс неизбежен и история на стороне социалистического дела. Так, социалистические партии к 1914 г. превратились из революционной силы в «несколько более нетерпеливый вариант центристского либерализма». Далее Валлерстайн пишет, что призрак, бродивший по миру в период 1917–1991 гг. преобразился в чудовищную карикатуру на призрак, бродивший по Европе в 1848–1917 гг. Старый европейский призрак излучал оптимизм, веру в прогресс, справедливость, нравственность, составлявшие его сильные качества. Второй же призрак, по Валлерстайну, стал источать предательство идеалов, исторический застой и отвратительное угнетение.

Казалось бы, по сравнению с недосказанностью либерального социализма по вопросам государства (в основном в силу рассмотрения этого вопроса как второстепенного) и антигосударственным экстремизмом большевистского коммунизма позиция Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) может в ряде аспектов рассматриваться как последовательно государственническая.

Так, в своеобразном манифесте КПРФ по международным вопросам «Прорыв в XXI век» (1999 г.), написанным С.Ю.Глазьевым (в ту пору – одним из ведущих идеологов компартии), говорится об опасности, которую мировая финансовая олигархия несет суверенитету национальных государств. Глубокой тревогой проникнуты слова о «моделировании человеческого сознания через СМИ с телевидением во главе» и антинациональном характере правящей олигархии, которая «заинтересована в уничтожении национального суверенитета России и максимальном ослаблении государственной власти». Суверенитет государства, духовное здоровье граждан, возрождение национального духа – вот главные ценности, к которым апеллирует Глазьев.

В преамбуле программы КПРФ в том же тоне говорится о национальной катастрофе, ведущей к гибели российской цивилизации, о том, что Россия превращается в объект очередного передела мира, о боли патриотов за поруганную честь Державы. Но вслед за преамбулой все возвращается на круги своя – к декларациям марксистско-ленинского толка и забвению России.

КПРФ намеревается соединить социально-классовое и национально-освободительное движение в единое массовое движение сопротивления и ставит перед собой следующие главные цели:

- народовластие, означающее конституционную власть трудящегося большинства, объединенного посредством Советов и иных форм демократического самоуправления народа;
- справедливость, предполагающая гарантированное право на труд и его вознаграждение по конечным результатам, на доступное всем бесплатное образование и бесплатную медицинскую помощь, благоустроенное жилье, отдых и социальное обеспечение;
- равенство, основанное на освобождении труда, на ликвидации эксплуатации человека человеком и всех видов социального паразитизма, на господстве общественных форм собственности на средства производства;
- патриотизм, равноправие наций, дружба народов, единство патриотических и интернациональных начал;
- ответственность гражданина перед обществом и общества перед гражданином, единство прав и обязанностей человека;

⁹¹¹ Валлерстайн И. Социальная наука и коммунистическая интерлюдия, или к объяснению истории современности// Полис, 1997. №2. С.5–13.

– социализм в его обновленных и закрепленных в будущей конституции формах, отвечающих современному уровню производительных сил, экологической безопасности, характеру стоящих перед человечеством задач;

– коммунизм как историческое будущее человечества. Коммунисты считают, что исторический процесс совершается в эволюционных и революционных формах. Они поддерживают те из них, которые действительно соответствуют интересам людей труда. Добиваясь социалистических преобразований, они стоят за мирные методы их осуществления. Партия выступает против буржуазного и мелкобуржуазного экстремизма, таящего огромную опасность гражданской войны.

Возникает вопрос, какое все это имеет отношение к государству и нации? Этот понятийный блок отодвигается на второй план, как только дело касается идеологических клише советского периода, который дают КПРФ львиную долю электората и депутатские мандаты на выборах.

Глобальные проблемы мирового развития в программе КПРФ трактуются исключительно с точки зрения производства и потребления, а не национально-государственных интересов. Мировой политический процесс видится настолько единым и связанным, что в нем не возникает никакого своеобразия ни для России, ни для какого-либо иного государства.

Первоначальные заявления о неповторимом вкладе России в развитие человечества (включая и своеобразие государственного устройства), опрокидываются утверждением взгляда на революции как на «локомотивы истории», которые будто бы подтверждает история России. То есть, крушение российской государственности, а не сама государственность обнаруживает вклад в развитие человечества. Вероятно, именно поэтому от русского исторического наследия в программе КПРФ остаются только геополитические последствия, а традиция заменяется революцией: «Геополитическим преемником Российской империи был Советский Союз». Идеологические клише берут верх над попыткой следовать традиционализму: «возрождение нашего Отечества и возвращение на путь социализма неразделимы. История вновь оставляет народам нашей Родины тот же выбор, что и в 1917 и в 1941 г.: либо великая держава и социализм, либо дальнейший распад страны и окончательное превращение ее в колонию. Можно смело утверждать, что в своей сущности "русская идея" есть идея глубоко социалистическая».

С точки зрения традиционалиста, такой идеологический оборот должен быть оценен как отречение от давней традиции в пользу более «свежей».

Программа КПРФ постоянно объединяет классовый и государственный интересы: «Исторический опыт свидетельствует, что успех в этом деле нашему Отечеству сопутствовал лишь в тех случаях, когда трудящиеся, весь народ правильно осознавали свои коренные национально-государственные интересы».

Вот как должны реализоваться эти интересы:

«- возглавить растущее народное сопротивление насильственной капитализации страны;

– отстранить от власти мафиозно-компрадорскую буржуазию, установив власть трудящихся, патриотических сил;

– сохранить государственную целостность России, воссоздать обновленный Союз советских народов, обеспечить национальное единство русского народа;

– укрепить политическую независимость и экономическую самостоятельность Союза, восстановив его традиционные интересы и позиции в мире;

– обеспечить гражданский мир в обществе, разрешение разногласий и противоречий законным путем, на основе диалога;

– спасти научный потенциал, оборонный комплекс и Вооруженные Силы. Привести их в соответствие с потребностями надежной национальной безопасности;

– объявить решительную борьбу преступности, гарантируя безопасность и защиту личности и общества в целом;

– принять срочные меры для выхода из экономического кризиса посредством государственного регулирования хозяйственной жизни».

В данном случае классовый интерес уступает место государственному – исключительно государственному, в котором народные чаяния, условия выживания народа уже не просматриваются помимо интересов правящего слоя. Не случайно эти тезисы (с некоторыми стилистическими поправками в трех первых) могут считаться общепризнанными для практически любой партийной группировки современной России и, вне всякого сомнения, отражают официально объявленный курс Кремля.

При той огромной роли, которую КПРФ отводит государству в сфере экономики и социального обеспечения, в ее программу не попало ничего, что касалось бы самой концепции российской государственности, а не срочным мерам ее спасения. Лишь по оговоркам можно судить, что марксистско-ленинский подход подразумевался и не подлежал пересмотру.

В программе КПРФ есть программа-минимум, нет программы-максимум – т.е. заявлений о целях и о перспективном видении российской государственности. Лишь образ мощного СССР прослеживается как идеальная модель, к которой КПРФ намерена стремиться. Отсюда следует, что никакие уроки в области национально-государственного строительства из практики своих идейных предшественников не извлечены идеологами и лидерами КПРФ.

Последнее следует из взглядов лидера КПРФ Г.А.Зюганова на генезис национальной политики Советской власти. В своей программной статье «О национальной гордости патриотов»⁹¹² коммунистический лидер, защищая советскую национальную политику, излагает ленинскую доктрину не в ее аутентичной форме, а в виде отдельных случайных оговорок, связанных в большей мере с проблемами выживания большевистской власти. Смена лозунгов поражения собственного отечества в войне на лозунг «Социалистическое Отечество в опасности!» представляется таким образом, что большевики в короткие сроки смогли ликвидировать национальное неравенство, будто бы существовавшее в Российской Империи. Зюганов приводит слова Ленина: «Нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством "великодержавной" нации. Необходимо неравенство, которое возмещало бы то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Оценка имперской национальной политики как дискриминационной по отношению к инородцам позволяет оправдывать дискриминационную политику большевиков по отношению к русскому народу: «справедливая» национальная политика требовала уступок со стороны русских и преимуществ для нерусских – масштабная помощь национальным окраинам за счет русских и Центральной России; формирование федеративного государства «титulyных наций» взамен унитарного государства русской нации.

Всю русскую историю Зюганов видит как сплошные рецидивы местничества - мы не русские, мы «псковские»... Это противоречит реальной истории, в которой только распри «верхов» развязывали братоубийство. Столь же нелепым с исторической точки зрения выглядит утверждение о том, что «местную ограниченность и раздробленность России сумела окончательно преодолеть лишь Октябрьская революция». Если бы это было так, то СССР не был бы разрезан национальными границами и не распался бы по этим административным «надрезам».

Так как политика выравнивания статуса инородца со статусом русского была решена сначала возвращением к патриотизму («Социалистическое отечество в опасности!»), а потом началом общенационального строительства (образование СССР), то продолжение прежней дискриминации русских было нецелесообразным. Тем не менее,

⁹¹² Зюганов Г.А. О национальной гордости патриотов// Завтра, 3 сентября 2002.

оно продолжалось. Зюганов косвенно признает, что антирусский перекося в политике Советской власти все-таки оставался как наследие исходных антигосударственных установок большевиков, что губительно сказалось на судьбе страны.

Однако, Зюганов не говорит о том, что русские имеют право на компенсацию за годы дискриминации. Речь идет всего лишь о том, что теперь надо как-то поддержать жизнеспособность «национальной сердцевины». Но в чем же состоит идея Зюганова в этой области. Она сводится к тому, чтобы сделать русское патриотическое движение заложником социалистических идей, а труд русских людей обобществить в коммунистическом государстве. Последнее особенно симптоматично – Зюганов, с одной стороны, объявляя о единстве Труда, отказывается от разделения труда и иерархизации современного производства, а с другой, – объявляет Труд первой ценностью, превосходящей по значимости вероисповедание, язык и территорию проживания. Данное обстоятельство есть логичное продолжение интернационалистической доктрины, вынужденной в конечных идеях выступать против государства – лишь производственный процесс, хозяйственная деятельность видятся коммунистам силой, скрепляющей людей в нацию. Взамен государства, таким образом, приходит утопия единого предприятия, чреватая разрастанием бюрократии, забвением культурных корней и превращением человека в «винтик», встроенный в колоссальный механизм.

Пытаясь быть честным, Зюганов признает, что гражданская война «чуть было вновь не противопоставила социализм и патриотизм», и только интервенция спасла большевиков от последовательного антипатриотизма. Именно нашествие иноземцев подтолкнуло коммунистов к тому, чтобы перенять у белого движения лозунги единства и неделимости России. И опять же нашествие гитлеровских полчищ, по мысли Зюганова, окончательно соединило социализм и патриотизм. Выходит, что на доктринальном уровне коммунисты не могли примириться с патриотизмом, пока сама жизнь, проблемы выживания коммунистической номенклатуры не поставили на повестку дня патриотические лозунги, мобилизующие народ на отпор врагу.

Зюганов, отражая стремления верхушки своей партии, стремится отождествить русский патриотизм, русское национальное самосознание с коммунизмом. Именно русские патриоты, по мысли Зюганова, «есть главный противник антисоветских и антикоммунистических сил» («нельзя не замечать ярко выраженного антикапиталистического, антибуржуазного пафоса патриотизма в России»). При этом никакого пересмотра доктрины интернационализма не предусматривается. Занятно, что задачу обеспечения единства русской нации и преодоления местничества Зюганов называет... интернационализмом!

Нельзя выдавать патриотизм за социально-нейтральное явление, – говорит Зюганов. И тем самым утверждает, что социально избирательный патриотизм фактически становится интернационализмом. Соответственно, именно в данном месте проявляется различие между социалистическим патриотизмом и русским патриотизмом. В первом случае выражается классовая солидарность (или точнее, солидарность исключительно прежним с социалистическим государством и нынешней компартией), а во втором – с русским народом и его интересами вне зависимости от политических режимов и исторических эпох.

Либеральная модель государства и нации

Среди безбрежной либеральной публицистики в России системным изложением и непосредственным изложением концепции государственности отличается книга Е.Гайдара «Государство и эволюция», особенно ценная тем, что ее автор является одним из создателей действующей сегодня политической и экономической системы и одним из ведущих представителей либеральной мысли и либеральной партии «Союз правых сил».

Безусловно, книга Гайдара носит не научный, а просветительский характер, о чем говорит множество тривиальных ссылок для непросвещенного читателя, а также

схематичное изложение истории России, в которой в кратком виде пытается отразить предпосылки возникновения, процесс рождения и перерождения коммунистической номенклатуры. Вместе с тем, именно этот упрощенный характер позволяет говорить о труде Гайдара как о политическом памфлете, главная цель которого не доказательство какой-либо научной истины, а изложение идеологии российского либерализма.

На такой характер книги также указывает задача оправдания правительства «камикадзе», фактически руководимого Гайдаром с начала 1992 г. В то же время аргументы автора дают широкие возможности для доказательства противоположного. Например, Гайдар пишет, что фактически вся собственность к началу 1992 г. была уже приватизирована номенклатурой. Но тогда остается заключить, что его правительство позволило придать номенклатурной приватизации относительно законный вид и полностью разорить население страны, даже в части личных сбережений, собранных по крохам в предыдущие десятилетия. Этот «поворот» Гайдар назвал переходом от «азиатского» обмена власти на собственность к рыночному. Причем, этот поворот, как свидетельствует сам Гайдар, не имел никаких условий для реализации – казна пуста, частного сектора нет, нет поддержки в парламенте... И тем не менее, Гайдар считает совершенный переворот «мягким». Хотя производство упало резко и повсеместно, – пишет Гайдар, – потребительский рынок наполнился. Он судит об этом по удвоению числа «мерседесов» на московских улицах, а также по краху «гипертрофированного военного сектора». Симптоматично, что антибюрократический пафос, в котором много верных замечаний, обнаружился у Гайдара только при написании книги в период резкого спада влияния его партии «Демократический выбор России» в 1994 г.

Гайдаровский антибюрократизм на самом деле является антигосударственностью. Он пишет о восточных империях и власти в них паразитического чиновничества, подавляющего частное предпринимательство, совершенно не понимая исторической роли прежних империй, главной задачей которых было воспитание населения правилам жизни, государственной дисциплине, совместному выживанию большого социума. Китай, Египет и другие цивилизации с их постоянными внутренними катаклизмами становятся каким-то безнадежно жестоким и бессмысленным историческим нонсенсом: «В период своей мощи восточная деспотия опасна, при ослаблении – невыносима»⁹¹³.

Ведущий мотив книги – исключительная абсолютизация роли частной собственности, как чуть ли не основной подоплеку исторических событий: «главное в "греческой мутации" то, что отделило ее от восточной прародительницы, – изменение отношений собственности, возникновение развитой системы частной собственности, легитимной юридически и социально-психологически, все более независимой от государства. Частная собственность действительно как частная, а не как один из атрибутов власти» «В результате постепенно сложилась система, где само государство – не повелитель, а инструмент в руках полиса»⁹¹⁴, «становой хребет европейской цивилизации – пронесенное через века, воспитанное веками убеждение в легитимности частной собственности ("священное право частной собственности")»⁹¹⁵. А все революционное движение против несправедливостей капиталистической системы Гайдар сводит к примитивной зависти честолюбивых маргиналов, покушавшихся на легитимность частнособственнической традиции⁹¹⁶.

В ответ, как полагает Гайдар, состоялась «социализация капитализма» по Берштейну и Кейнсу. И здесь без труда можно заметить «левизну» гайдаровской социальной теории, в чем-то очень близкой социал-демократам: «"Полумарксизм" на западной почве оказался защитой от настоящего марксизма, реформизм защитил от

⁹¹³ Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. Как отделить собственность от власти и повысить благосостояние россиян. СПб: Норма, 1997. С. 17.

⁹¹⁴ Там же. С. 20.

⁹¹⁵ Там же. С. 37.

⁹¹⁶ Там же. С. 34–36.

революции и тоталитаризма»⁹¹⁷. Но Гайдар допускает лишь временный характер «левого поворота» и считает неизбежным «консервативный ренессанс» 70-х годов – тэтчеризм и рейгономику, возвращавшихся к «классическим» традициям либерализма через теорию монетаризма – «законную наследницу классического либерализма»⁹¹⁸.

Как бы ни были противоречивы эти контрастные модели государственности («полумарксистская» – патерналистская и либеральная – монетаристская), Гайдар видит их как части единого целого: «И кейнсианцы, и монетаристы, и социально ориентированное государство, и "классическое рыночное", и либерально-консервативные и социал-демократические правительства на Западе – все это относится к одной глобальной традиции, которую они сумели сохранить, – к социально-экономическому пространству западного общества, основанного в любом случае на разделении власти и собственности, легитимности последней, на уважении прав человека и т.д. Войти в это пространство, прочно закрепиться в нем – вот наша задача»⁹¹⁹. Альтернативой этой «двугорбой» модели Гайдар считает «восточное государство»: «До тех пор пока не сломана традиция восточного государства, невозможно говорить о вмешательстве. Не "вмешательство", а полное подавление – вот на что запрограммировано государство такого типа. Результат известен – экономическая стагнация, неизбежный дрейф России в направлении ядерной державы "третьего мира". Вот именно против превращения нашей экономики – уже на новом уровне – в экономику, описываемую как "восточный способ производства", в экономику "восточного государства" мы категорически возражаем, боремся»⁹²⁰.

Гайдар вскользь замечает роль традиции в становлении правовых институтов, но тут же снова забывает об этом, сводя все к обособленной от государства частной собственности. Он выводит формулу: «слабое государство – основа европейского социально-экономического прогресса»⁹²¹.

В одной из своих брошюр Гайдар пишет еще более откровенно: «Сверхусилия государства даются дорогой ценой – ценой истощения общества. <...> Каждый раз в экстремальной ситуации государство насилует общество, обкладывая его разорительной данью. <...> Идеология реформы, которую мы начали в 1991 г., была совершенно противоположной. Поднять страну не за счет напряжения всей мускулатуры государства, а как раз наоборот, – благодаря расслаблению государственной узды, свертыванию государственных структур. Отход государства должен освободить пространство для органического развития экономики. Государство не высасывает силы общества, а отдает ему часть своих сил»⁹²². Это автор называет «методологически новым» рывком русской истории.

В «Государстве и эволюции» Гайдар вспоминает о традиции только лишь с целью уязвить даже вполне либеральные реформы, имевшие место в истории России: «Не проросшая, как в Европе, через века традиций, а насажденная разом государством взамен традиционной феодальной, смешанной дворянская частная собственность никогда не имела глубоких корней, исторической легитимизации, гарантий правовой устойчивости»⁹²³. «Да, сильное, жесткое государство теоретически дает гарантию защиты прав собственности, защиты от других государств, от феодалов и т.д. Но платить за это приходится непомерно большую цену, ведь государство слишком сильный защитник. И

⁹¹⁷ Там же. С. 42

⁹¹⁸ Там же. С. 43

⁹¹⁹ Там же. С. 44

⁹²⁰ Там же. С. 45

⁹²¹ Там же. С. 28

⁹²² Гайдар Е. Т. Новый курс. М.: Начала-пресс, 1994.

⁹²³ Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. Как отделить собственность от власти и повысить благосостояние россиян. СПб: Норма, 1997. С. 64.

оно не защищает собственника от самого страшного врага, наиболее могущественного, всепроникающего, -- от самого государства»⁹²⁴.

Исторически бесспорную роль государства Гайдар сводит к простому сопутствованию интересам рынка: в Европе «государственные усилия шли не "поперек", а "вдоль" естественной линии развития, задававшейся рынком»⁹²⁵. В России даже условия мировой войны не являются для Гайдара оправданием для усиления роли государства, для решающих преимуществ военно-промышленному комплексу. Именно это он ставит в упрек Ленину и большевикам – не разорение, а именно усиление государства: «в российский организм Лениным был занесен вирус, но и сам организм был готов его воспринять. Только это не был вирус анархии и разрушения государства, чего боялись наиболее крепколобые государственники строгого режима. Как раз наоборот, это был вирус патологического, злокачественного усиления, разрастания государства»⁹²⁶. А современных коммунистов упрекает за отход от интернационализма и видение национальных интересов наряду с государственными⁹²⁷.

Гайдар заявляет, что в коммунистической доктрине «не было никакой логической связи между собственно державным ("национальным") и коммунистически-антисобственническим ("большевистским") компонентами идеологии», но была связь историческая, психологическая. «Державный национализм в марксистской оболочке» сросся с этой оболочкой и сам не имел сил ее скинуть. Поэтому «торжество национально-государственнической идеологии в 80-е годы могло выступать лишь как торжество национал-большевизма (= сталинизма)»⁹²⁸. Иными словами, Е.Гайдар не видел никакой альтернативы перевороту 1991 г. и столкновению, повлекшему за собой крушение государственности. Этот переворот, ввергший страну в войны и взваливший тяжелейшее бремя на плечи народа, Е.Гайдар считает особенно замечательным своим мирным характером, обеспеченным «прививкой», страхом перед гражданской войной.

Гайдар именно мирным (это говорится после Чеченской войны и терактов в российских городах! – А.К.) характером переворота и крушения государства оправдывает обмен номенклатурой власти на собственность: «это был единственный путь мирного реформирования общества, мирной эволюции государства»⁹²⁹. И уж тем замечателен этот обмен, что не позволил номенклатуре прибавить к власти собственность.

Гайдар стремится к обособлению политической и экономической сферы от всей остальной жизни общества и государства. Иначе ему не доказать своего патриотизма в отношении России. Поэтому он говорит о «догоняющей цивилизации» в отношении государственного устройства и хозяйственной деятельности России, признавая величие самобытной русской культуры⁹³⁰.

Сама государственная самобытность, как следует из рассуждений Гайдара, мешает развитию России: «Россия попала в плен, в "колонию", в заложники к военно-имперской системе, которая выступала перед коленопреклоненной страной как ее вечный благодетель и спаситель от внешней угрозы, как гарант существования нации. Монгольское иго сменилось игом бюрократическим. А чтобы протест населения, вечно платящего непосильную дань государству, не принимал слишком острых форм, постоянно культивировалось "оборонное сознание" – ксенофобия, великодержавный комплекс. Все, что касалось государства, объявлялось священным. Само государство выступало как категория духовная, объект тщательно поддерживавшегося культа – государственничества. В сущности, российское государство всегда насаждало

⁹²⁴ Там же. С. 29.

⁹²⁵ Там же. С.30.

⁹²⁶ Там же. С. 104.

⁹²⁷ Там же. С. 128.

⁹²⁸ Там же. С. 142.

⁹²⁹ Там же. С. 154.

⁹³⁰ Там же. С. 47.

единственную религию – нарциссический культ самого себя, культ "священного государства"»⁹³¹. Все неудачи России объясняются именно этими – внутренними причинами.

И вот рецепт: «восстановить прерванное социальное и культурное единство с Европой, перейти с "восточного" на "западный" путь, пусть не сразу, постепенно, но взрастить подобные европейским институты на российской почве и, опираясь на них, создать мощные стимулы к саморазвитию, инновациям, предпринимательству, интенсивному экономическому росту. Но это неизбежно означает "укоротить" государство»⁹³². Даже Петра, символа партии Демократический выбор России, Гайдар считает противником такой «альтернативы» государственничеству.

И все-таки именно в сфере государства Гайдар видит залог успеха России: «...прежде всего по социально-экономической структуре мы отстали от передовых стран. И вот этот разрыв, это расстояние мы должны, обязаны преодолеть, стать страной, экономика которой подчиняется законам не мобилизации, а постоянно суммирующихся инноваций. Для преодоления этого разрыва нужна политическая воля -- воля развивать страну, качественно изменив в ней функции государства»⁹³³. Основная мысль – демобилизация страны, ослабление государства. Ведь государство Российское для Гайдара всегда одно – самодержавие, интернационал-коммунизм, национал-большевизм, державность одинаково означают для него «корыстный, хищнический произвол бюрократии, прикрытый демагогией»⁹³⁴.

Гайдар видит только такую альтернативу: либо восстановление военной сверхдержавы, либо «отказ от имперских амбиций и раскрепощение общества ради свободного экономического и культурно-социального развития». «Соединить же первое со вторым невозможно и технически (не хватает ресурсов), и принципиально, потому что речь идет о разных линиях развития страны, о разных структурах общества и государства, о разных идеалах и идеологиях»⁹³⁵. Больше всего не желает Гайдар установления «государственной религии в виде спиритуалистического "государственничества"»⁹³⁶. Потому что это «невозможно без официальной ксенофобии, без активного формирования "образа врага" - внешнего и внутреннего»⁹³⁷.

Признав Россию принципиально незападной цивилизацией, Гайдар подводит к мысли о том, что достойная жизнь страны возможна только после преодоления «восточной» идентичности, отказа от самобытности и «возвращения» на путь, начертанный западной цивилизацией. В определенной мере именно для этого требуется разоружение (как идеологическое, так и военное) перед Западом. Именно к мысли о неизбежности и целебности для России такого рецепта подталкивает читателя мысль Гайдара. И в том же ключе, но более откровенно излагаются либеральные идеи в программе «Союза правых сил» (СПС).

Программа СПС более всего походит на меморандум правительства, ушедшего в отставку в 1998 г. и оправдывающего свою политику за прошедшие семь лет. Она формулирует свой «символ веры», исключая какую либо ценность государства по сравнению с ценностью личности. Единственное упоминание о том, что государство носит исключительно негативный характер: «Государство для граждан, а не граждане для государства. Гражданское общество взамен всевластия чиновников. Правовое государство, власть разумных законов».

⁹³¹ Там же. С. 52–53.

⁹³² Там же. С. 57.

⁹³³ Там же. С. 197.

⁹³⁴ Там же. С. 218.

⁹³⁵ Там же. С. 198.

⁹³⁶ Там же. С. 202.

⁹³⁷ Там же. С. 205.

Партия СПС ставит себе в заслугу то, что приватизация обеспечила переход двух третей государственного имущества в частные руки. Произошедший в период правления либералов кризис относится на счет последствий коммунистического правления: планово-распределительной системы, милитаризации, разбазаривания ресурсов, колоссальных диспропорций в хозяйстве, распаду трудовой и человеческой морали. Не отрицая политический и экономический хаос в России, программа СПС гласит: «это не от реформ, а оттого, что они либо не проводились, либо проводились плохо и не смогли достичь цели».

Интересно, что в программе СПС (в отличие от Е.Гайдара – одного из лидеров СПС) нет слабого государства: «тоталитарное государство было разрушено, а новое российское демократическое государство, вынужденное пользоваться многими ненадежными, в значительной мере разложившимися институтами прежнего государства, включая суд, прокуратуру, органы безопасности, поначалу не могло не быть слабым. Это означало, в частности, отсутствие сильных властных рычагов для осуществления трудных преобразований с наименьшими потерями».

Поскольку либералами СПС ставилась задача перейти от большого и слабого государства к сильному и компактному, а правящие круги также следовали либеральным принципам хотя бы на словах, то возникала оппозиция «номенклатурному капитализму», сращивающему бизнес и власть. «Законность подменяется торгом между предприятиями и правительством за субсидии и льготы. Это один из истоков слабости государства».

Сокращение роли государства СПС обуславливает тем, что государство – неэффективный собственник, а потому оно должно сократить до минимума свое владение акциями компаний. Государство также, указывает программа СПС, неэффективный покупатель, поэтому нужно сокращать государственные расходы. Чисто налоговая концепция существования государства вынуждает СПС объявлять, что у государства нет никаких иных средств, кроме взятых из карманов граждан.

С одной стороны декларируется необходимость усиления правоохранительных функций государства, с другой – разграничение власти и денег, устранение возможности укрепления номенклатурного капитализма.

Все институциональные идеи СПС сводились к одному пункту: «укрепления конституционного строя. После президентских выборов мы считаем целесообразным внести в Конституцию назревшие изменения, прежде всего касающиеся гарантий прав и свобод человека, принципа разделения властей. Мы считаем назревшим вопрос об ограничении прав Президента по формированию правительства. Необходимо в законодательном порядке предоставить гарантии Президенту, уходящему в отставку после завершения срока полномочий. В целях укрепления федерализма целесообразно сохранение выборности глав субъектов федерации при условии права Президента отстранять их от власти и вводить президентское правление в случае грубого нарушения федеральных законов».

СПС не видит проблем нации (вообще нет национальной проблематики, религиозной проблематики), международных вызовов существованию России, внутренних проблем государственного устройства.

После 1998 года в стане СПС прослеживается продвижение к консервативным ценностям. В программе 2002 года, которая стала также предвыборной в 2003 году. Программа, названная «Российский либеральный манифест», на самом деле сочетала разнородные политические установки в отношении нации и государства:

Либеральная «классика»	Консервативные симптомы
<p>Либеральные реформы рассматриваются как успех России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж тоталитарной империи, - разделение властей и многопартийность, - плюрализм и терпимость, - формирование независимой прессы и др. 	<p>Итог периода реформ связывается с вызовами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - всевластного государства и великодержавия, - коррупции, - правового нигилизма, - незрелой демократии и неполноценного федерализма, - информационного монополизма и др.
Нападки на «холопское отношение к государству», «самовластие государства» и противопоставление ему гражданского общества.	Государство признается важной, хотя и не единственной, функцией общества
Объявление великодержавия «комплексом проигравших» и объявление о миссии России как гаранта либеральных ценностей	Представление о государстве как о системе управления, организованного профессиональным «служилым сословием», для которого служба России считается высшей честью
Требование демократического подотчетности государства и обеспечения права граждан на свободный выбор.	Требование преодолеть неравноправие субъектов Федерации, а также привилегий этнического характера.
Требование «общественного договора между различными поколениями россиян».	Требование сохранения культурных ценностей и нравственного здоровья.

В «Либеральном манифесте» СПС сохранил либеральную риторику прежних лет, но перестал открыто проповедовать антигосударственные идеи и даже в какой-то мере согласился на концепцию «сильного государства» и некоторую роль нравственной традиции. В то же время, за пределами программы главной пропагандистской темой СПС осталась тема реформы российской армии и немедленный перевод ее на контрактную основу, что всеми серьезными экспертами расценивалось как прямое посягательство на национальные интересы России в угоду антиармейскому популистскому лозунгу.

Пробел в обсуждения эффективности государственного механизма, имеющийся в программах СПС (чрезвычайно компактных), заполнялся в программе партии «Яблоко», которая вместе с СПС образовала «лево-правый» спектр либеральных сил.

«Яблоко» объявляет себя противником «практики закрепления в Конституции режима личной власти и тенденции к превращению президента в монарха с неограниченной властью; выведения силовых министерств и структур из-под контроля не только парламента, но и правительства; поощрения авторитарных режимов в субъектах федерации; назначения должностных лиц по принципу личной преданности; перетекания власти к теневым фигурам; терпимости к фактам коррупции и беззакония в государственных органах».

В отличие от СПС «Яблоко» видит ключевую проблему не в стеснении частной собственности, а в том, что «в России оформился политический строй, который характеризуется сращиванием дряхлеющего коррумпированного полуавторитарного режима с элементами феодальной раздробленности и разрушения структур государственной власти». То есть, речь идет не столько о неэффективности экономики, сколько об угрозе самому существованию государства. Вместе с тем, «Яблоко» защищает прежде всего либеральные ценности гражданского общества, законность и рыночную экономику. Именно для реализации и защиты этих ценностей «Яблоку» требуется государство.

«Яблоко» объявляет себя партией государственников: «Мы считаем, что никакая самая разумная экономическая политика не принесет результата в условиях распада государственных структур. Наша цель — создание в России дееспособного государства, способного защитить права граждан, эффективно противостоять коррупции и криминалу». «Мы боролись против распада СССР, теперь мы боремся за сохранение единой России, за недопущение развала страны. Нужно укреплять нити, связующие людей по всей стране, а не пытаться замкнуться в национальных или региональных «квартирах». Мы предлагаем ряд жестких мер по укреплению федеративных принципов Российского государства, проведению осмысленной внешней политики, усилению армии, борьбе с преступностью и осуществлению других федеративных функций государства».

Не случайно «Яблоко» раскрывает темы, которые упущены СПС. «Яблоко» в своей программе делает акцент на нравственные ценности, из которых вытекают позиции по многим вопросам. Именно поэтому «Яблоко» говорит о единстве России и патриотизме. Вместе с тем, реальная политическая практика говорит о том, что позиция «Яблока» по многим текущим вопросам (дискуссии об альтернативной службе в армии — 2002 год, о разрушении медиа-империй — 2001 год, о войне в Чечне и др.) подвергается резкой критике как со стороны лево патриотических сил, так и со стороны государственников из «партии власти». Патриотическая нота звучит в программных документах «Яблока», но очень слабо проявляется в предвыборных кампаниях.

«Яблоко» можно считать социально-либеральной партией, которая в значительной мере (по крайней мере, на уровне деклараций) противостоит практике либерального правительства 1992–1998 гг. и отказу от социальных обязательств. Следствием социальной ориентации «Яблока» является более глубокое видение проблем российской государственности, для разрешения которых предлагается целая система мер.

Конституционная реформа, предлагаемая «Яблоком», предусматривает создание оптимального механизма сдержек и противовесов власти, не допускающего злоупотребления ею во взаимоотношениях как федеральных властей, так и федерального центра с властями регионов:

- реальное разграничение полномочий между законодательной, исполнительной и судебной властью, введение положений, предотвращающих возможность присвоения одним органом государственной власти полномочий других органов;
- четкое определение полномочий и ответственности президента;
- предоставление парламенту достаточных контрольных полномочий;
- изменение порядка формирования Совета Федерации, избрание его непосредственно гражданами;
- повышение роли правительства во главе с председателем, который назначается и смещается президентом с согласия Государственной Думы;
- реализация федеративных принципов построения нашего государства, пресечение сепаратизма, своеволия местных властей и торга между федеральной властью и властями регионов;
- упрочение конституционных гарантий местного самоуправления.

Для восстановления эффективности федерального присутствия в регионах «Яблоко» в программе 1999 г. предложило:

- обеспечить реальную независимость от региональных властей федеральных судов, территориальных подразделений прокуратуры, МВД, налоговых инспекций и полиции, других министерств и ведомств, предусмотрев жесткую административную ответственность за выполнение ими незаконных нормативных актов и распоряжений региональных властей, а также добившись полного и своевременного финансирования федеральных структур из федерального бюджета;
- разработать механизм приведения региональных правовых актов в соответствие с федеральными, в том числе путем «опережающего контроля» на этапе их подготовки;
- создать механизм федерального надзора, предполагающий возможность приостановки

региональных правовых актов в случае обжалования их в судебном порядке федеральными органами власти, уполномоченными на это федеральным законом;

- создать механизм федерального вмешательства, законодательно закрепив возможность отрешения от должности по решению суда любых (в том числе выборных) должностных лиц регионов за грубое нарушение Конституции и федеральных законов;
- предоставить гражданам и общественным организациям право на обжалование в суде региональных правовых актов (не обязательно нарушающих конкретные права конкретных лиц) в случае их несоответствия Конституции и федеральным законам;
- предоставить гражданам и общественным организациям право в случае признания судом фактов нарушения должностными лицами регионов (в том числе выборными) Конституции и федеральных законов ставить в судебном порядке вопрос об их отрешении от должности.

Указанные пункты программы «Яблока» и ряд других положений данной программы говорят о том, что после 1999 г. именно она стала источником ключевых решений, принимаемых президентом и правительством в сфере государственного управления и экономики. При этом «Яблоко» осталось оппозиционной партией, в основном в связи с позицией по урегулированию конфликта в Чечне и защите медиа-империй, оказавших в прошлом «Яблоку» значительные услуги.

Возвращаясь к работам либеральных идеологов, необходимо указать на удивительную близость их концепций «левым» доктринам. Например, критики концепции гайдаровской «эволюции государства» подметили, что терминологически она находится в русле марксистской и советской традиции. Действительно, Гайдар полностью игнорирует понятийную сферу нации, религии, власти, геополитики и других сужая представления о государстве до размеров, установленных теми, с кем он полемизирует. Официальные программы либеральных партий также почти не затрагивают темы нации, что определенной частью либеральных интеллектуалов ощущалось, как грубый пробел, как идейное отставание от европейского либерализма, который не только породил само явление современной нации-государства, но и периодически актуализировал дискурс вокруг проблем нации. Поэтому желание «быть как все» вызывает у части либеральных мыслителей и полемистов попытку сформулировать идею «либерального национализма».

Замечательно емким и кратким изложением этой идеи является статья одного из бывших соратников Е.Гайдара – А.Улюкаева, которую он опубликовал в газете «Русская мысль»⁹³⁸.

Улюкаев говорит: «Вполне возможно быть националистом, то есть человеком, более всего желающим блага своей нации, но только при нескольких принципиальных уточнениях. Необходимо безусловное отрицание розенберговского понимания нации как кровно-этнического понятия. Для всего цивилизованного мира нация – понятие культурно-историческое. Национальность и гражданство – практически одно и то же (и как запись в паспорте, и как фиксация культурно-правового самоопределения личности). Русская нация и российское гражданство – почти синонимы, просто понятие "российское" охватывает официальный, государственный срез, а "русский" – приватный, духовный, культурный срез».

Здесь мы видим попытку утвердить «французскую» концепцию нации в противовес «немецкой» (разумеется, разработанную вовсе не А.Розенбергом).

Для того чтобы создать гибрид национализма и либерализма, требуется виртуозная операция по сращиванию нации и гражданского общества: «Нацию, достигшую известной степени экономической, социальной, культурной зрелости, с гегелевских времен называют гражданским обществом. В этом смысле националист – это гражданин, для него

⁹³⁸ Улюкаев А. Национальная идея, национальный интерес, национальная гордость// Русская мысль (Париж), 4 марта 1999.

совокупность обязанностей перед "городом и миром", важнее, чем получение каких-либо преимуществ персонального или национального характера»⁹³⁹.

Чтобы не опровергнуть либеральную доктрину единой судьбы человечества, приходится опровергать самобытность и особый путь собственной страны: «Нормальный националист должен радеть не за мифическое величие отечества (понимаемое обычно как унижение чужих отечеств), собирание бедных, скудно населенных земель под орлом, серпом-молотом либо трехцветным флагом, утверждение своего штандарта в чужих краях и т.п., а за то, чтобы твоя нация была здоровой и богатой, а не бедной и больной». «Особый путь – это всего лишь выражение комплекса национальной неполноценности, который упорно пытаются навязать русским. У русской нации миссия такая же, как и у всякой другой, – здоровье, богатство и счастье людей»⁹⁴⁰.

Наконец, чтобы доказать тождество либерала и националиста, требуется совместить идеалы буржуа с идеалом гражданина-патриота: «Буржуа, он же бюргер, он же мещанин, есть горожанин, то есть гражданин; буржуазная жизнь и есть на самом деле гражданская жизнь, которая и есть подлинная жизнь нации, патриотическая жизнь». «...либералы и есть настоящие, рациональные патриоты, настоящие, рациональные националисты, желающие блага своей нации, а не ущерба нациям другим, как этого добиваются иррациональные националисты, безумные патриоты»⁹⁴¹.

Образность и емкость тезисов Улюкаева позволяет говорить о том, что российский вариант доктрины либерального национализма создается только при условии определенной подмены понятий, где тождественны либерал и националист, нация и гражданское общество, государство и культура. И это ни что иное, как ответ на взрывной рост популярности нелиберальных концепций государства. Как пишет Улюкаев, «голова идет кругом, когда пытаешься уяснить, какое значение могут иметь тот или иной термин, понятие, идеология, охотно эксплуатируемые на политическом рынке, особенно накануне предпраздничной распродажи (выборы), когда все должно быть продано, все должно принести доход. Особенно ходко идут – оптом и в розницу, распивочно и навынос – Патриотизм, Державность, Государственность, Величие России, Российская Национальная Идея и т. п.»⁹⁴².

Идея либерального отказа от российской самобытности точно совпадает с мыслями английского историка, специалиста по России Джеффри Хоскинга⁹⁴³, который именно в самобытности нашей истории увидел препятствия для создания нации: «создание империи препятствовало созданию нации. Раньше в России народ и империя противопоставлялись. По большому счету, России вообще никогда не было. Была Российская империя, был Советский Союз. Только сейчас, после 1991 г., впервые за всю историю наконец появилась Россия». Английский историк утверждает, что в России никогда не было чувства единой судьбы.

Сюда же относится и религиозный момент: «национальное чувство было связано с православной церковью, а Российское государство церковь ослабляло. Православная церковь не могла функционировать как объединяющий фактор в империи – там было много мусульман, буддистов, лютеран. Объединяющим фактором выступало государство и государь-император. А церковь – разъединяющим для империи и объединяющим для русских».

И здесь речь идет о перспективах такого разделения, которое почему-то расценивается позитивно, как и в период разрушения СССР, когда жителей РСФСР склоняли позитивно оценить «сбрасывание периферии». Хоскинг говорит: «Я, между прочим, – русский националист. Потому что я верю в создание русского национального

⁹³⁹ Там же.

⁹⁴⁰ Там же.

⁹⁴¹ Там же.

⁹⁴² Там же.

⁹⁴³ Известия, 1 августа 2001.

государства. Обычно, когда я говорю, что я русский националист, поднимают брови – как вы сейчас. Потому что здесь это слово употребляют неверно. "Националист" у вас означает "империалист". Я не империалист. Я не считаю, что Россия должна оставаться империей. Но должна стать национальным государством»⁹⁴⁴. То есть, национальное государство для России – это либеральный проект подражания западу и изживания внутреннего разнообразия за счет всеобъемлющей гражданской унификации.

Другой соратник Е.Гайдара экономист В.Мау в тот же период (1999 г., период избирательной кампании) в интервью агентству АК&М заявил: «Оптимальная (из всех реально возможных вариантов) политика для России на ближайшие год-два – "либеральный национализм". Это сочетание либеральной экономической политики (государство вмешивается только там, где оно может себе это позволить) и национализма (в английском понимании этого термина: доминирование государственных интересов над общечеловеческими ценностями). При этом права человека и общечеловеческие ценности – это не одно и то же: права человека безусловно должны соблюдаться».

Фактически речь идет об отказе следования интересам Запада, который в случае послушности, должен был, по мысли либералов, вывести Россию на магистральный путь развития человечества. Интересы Запада и интересы России, как стало очевидно не только в правительственных кругах, могут не только не совпадать, но и противоречить друг другу. Это понимание, утвердившееся в широких слоях населения, потребовало от либералов изменения идеологических ориентаций и допущения самостоятельности позиции России. Именно эта часть либералов, уже видевшая неизбежную победу более сильной линии государственной политики в лице идущего к триумфу на президентских выборах В.Путина, торопилась сменить приоритеты и предложить президенту собственную прагматическую идеологию – либеральный национализм или либеральный консерватизм. Дальнейшие события показали, что именно эта идеология стала для правительства Путина доминирующей, хотя сближение с Западом осталось одним из ключевых его приоритетов и признаком приверженности прежнему курсу либеральных реформ.

Справедливости ради надо сказать, что либеральная мысль в современной России имеет шансы вернуться к своим истокам, когда либерализм не противостоял государственности. Поиск идеологической преемственности находится на путях оправдания государства и русской истории, выявления духовности в политике. Так, С.И.Каспэ, критикуя неукоренившуюся в российской истории систему федеративного устройства государства и предлагая строить федерацию как империю⁹⁴⁵, пишет: «Имперская иерархия должна трактоваться в первоначальном смысле этого слова – как священновластие, как попытка установления институциональной связи между мирами горним и дольным. И только ощущаемый в качестве подлинного контакт с миром горним легитимизирует империю в сознании ее подданных – вне зависимости от того, насколько такой контакт возможен и успешен с точки зрения стороннего наблюдателя» «Имперская государственность, не воспринимаемая как институционализированная иерофания, как канал трансляции "сакрального" содержания, превращается в автопародию, лишается доверия и вслед за тем – как всякий идол, обнаруживший свою ложность, — исчезает в небытии. Именно такой была судьба Советского Союза, мгновенная и безболезненная ликвидация которого стала возможной прежде всего потому, что в него перестали верить – и элиты, и массы». «Речь идет исключительно о том, что российская либеральная демократия может быть успешной, только если она будет подкреплена

⁹⁴⁴ Там же.

⁹⁴⁵ Отчасти следуя за Улюкаевым (Улюкаев, А.В. Правый поворот. – Полит.Ру, 30 ноября 1999. <http://www.polit.ru/documents/147910.html>) и рядом зарубежных авторов.

этнополитическими технологиями, соприродными ее культурному — то есть именно имперскому субстрату»⁹⁴⁶.

Каспэ пишет о возможности придания имперской форме нового идейного импульса, для чего может быть привлечен либерально-консервативный идейный комплекс, поскольку мировой опыт отчетливо демонстрирует совместимость империи и либеральной демократии. И здесь логично восстановление статуса традиции и самобытности по отношению к российской государственности: «Представляя российский либеральный проект как вовсе лишенный ценностного измерения, как несущий гражданам исключительно шкурную выгоду (причем ложность этого обещания выявилась мгновенно), как рвущий с опостылевшей традицией, а не придающий ей новый импульс, его архитекторы загнали сами себя в ловушку — программы такого приземленно-циничного свойства не реализуются не только в России, но и вообще нигде»⁹⁴⁷.

Спекулятивным заимствованием мыслей об империи является появившийся в 2003 году в качестве пропагандистской находки тезис еще одного идеолога СПС А.Чубайса о «либеральной империи». Слово «империя», внезапно возникшее в стане ультралибералов, привлекло внимание СМИ и позволило говорить о старом как о новом: о благотворности либеральных «реформ», об почти божественной природе частной собственности, о ценности для судеб России парламентаризм и разделение властей. Под имперской идеей Чубайс спрятал прежнюю позицию — Россия в его понимании должна представлять собой негосударственное образование, контролируемое транснациональными корпорациями, называться «одной из великих демократий» и размещаться на последнем месте среди тех, кому это звание присвоено в обмен на раздачу собственного национального достояния. Иными словами, на идеологическом продукте, запланированном СПС к реализации, должно быть начертано «Великая Россия», а под оберткой размещаться нищая колония.

В современной философии империя осознана как культурное и историческое пространство цивилизации. Все это для лидеров СПС — ненужный хлам, который надо было отбросить, чтобы изготовить из империи новую мечту о сожительстве среди избранных в «золотом миллиарде», помыкающем остальным миром. Русским, таким образом, было предписано вместо верности своей цивилизации, вместо хранения наследия предков полное отречение от всего русского и зачисление на службу в качестве нижних чинов в компании надсмотрщиков за поработанным человечеством.

Идеей «либеральной империи» Чубайс в самом убогом и примитивном виде повторил давно осмеянную и опровергнутую мысль незадачливого американца Ф.Фукуямы о «конце истории», которая, будто бы, завершается победой либеральных ценностей во всемирном масштабе. Только Чубайс прорисовал ее с большим цинизмом — представил Россию на посылках у США.

В высказываниях Чубайса об империи, фиксируется технология уничтожения русской цивилизации и подмены мирового разнообразия цивилизаций некоей «псевдоимперией». Достойное имя для этой империи — империя Антихриста. Именно от ее имени и в ее интересах вел агитацию Чубайс, обнаружив в 2003 году вместе с новым прочтением Империи старую опасность фашизма и национал-социализма в блоке «Родина». Вновь поднимая осевшую за годы разрухи социальную муху, Чубайс рассчитывал снова смутить обывателя угрозой диктатуры, которой пугали всю страну в 1988-1989 гг. Но этот расчет оказался неверным. Опыт разочарований протяженностью в полтора десятилетия, не позволял избирателям верить ни в фальшивые речи об империи и мощи российского государства, ни в фашистскую опасность.

Подводя итог, можно сказать, что объединяющим для всех либеральных концепций становится побочный характер государства, которое обслуживает некие вне государства зародившиеся ценности, требующие от него послушного самоограничения. Следствием

⁹⁴⁶ Каспэ С.И. Конструировать федерацию — *Renovatio Imperii* как метод социальной инженерии// Полис, 2000. №5.

⁹⁴⁷ Там же.

такого подхода к государству является антигосударственный нигилизм, отказывающийся признавать государство как ценность и полагающего, что государство – лишь инструмент, в зависимости от характера использования помогающий личности и обществу, либо вредящий им. В любом случае либеральная оппозиция всюду видит в государстве вред, а силу государства всегда понимает как его минимизацию.

В некоторых случаях попытки обновления либеральной модели государства привлекают фрагменты других идеологических течений, но в целом статус нации и традиции остается для либеральной мысли крайне низким.

Консервативная модель государства

В противовес определению консерватизма по Мангейму⁹⁴⁸, мы полагаем, что для российских условий в качестве консервативных следует квалифицировать те партии, которые соотносят себя с исторической традицией и стремятся к ее воплощению в действительность тем или иным путем. Нельзя представить себе, чтобы российский консерватизм стремился лишь следовать непосредственно данному, скажем, текущему состоянию государства. В этом смысле российский консерватизм неизбежно становится романтическим порой до такой степени, что перестает заниматься конкретными частностями и декларирует возвращение к традиции через смену всей общественной системы.

По мысли Виталия Аверьянова, Традиция может воплощаться «как конкретно-историческая иерархия, как соотношение Церкви, государства и общества, являющихся связанными друг с другом внутренними величинами единого цивилизационного организма. Таким образом Традиция не стоит "над" государством и обществом, а включает его в себя, она становится "полной системой" общества, вбирает своей полнотою всю народную жизнь»⁹⁴⁹.

Нельзя принять также утверждения Мангейма о пренебрежении консерваторов по отношению к политической теории (ибо она как раз и уходит от частных задач и подталкивает к чисто рациональному конструированию общества, как полагает Мангейм). Конечно, говоря словами русского консервативного мыслителя Льва Тихомирова, «в государственных построениях голос опыта важнее самой соблазнительной гипотезы». Но в области теории государства как раз консервативное течение в 90-х годах XX в. стало основным источником идей, и либералы заняли по отношению к этим идеям позицию критики (что прямо переворачивает мангеймовскую схему). Консерваторы-традиционалисты в этот период уступили (и очень существенно) в плане политической организации, так и не сумев составить конкурентоспособных партий, которые могли бы вклиниться в оппозицию либеральных сил и компартии. Возможно, именно в силу большого числа центров, растаскивающих силы консерваторов на малые группы, концентрирующиеся вокруг множества «вождей» и идеологов, породили такое разнообразие консервативной политической публицистики.

Касаясь той полемики, которая направлялась в последние годы против консерваторов-традиционалистов, надо сказать, что предъявляемые им претензии в приверженности тоталитаризму оказываются справедливыми лишь в малом числе частных случаев. В целом идеологи консерватизма не только обозначают границы вмешательства государственной власти в жизнь индивидов, общества, нации, но и для них гражданское общество (приверженное традиции) является конечной целью государственной деятельности. Более того, в русской консервативной традиции власть есть служение религиозным идеалам, высшим целям.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в течение короткого периода стал авторитетным автором текстов, которые служили отправным

⁹⁴⁸ Мангейм К. Цит. пр. С. 593–597.

⁹⁴⁹ Аверьянов В. Россия – не от мира сего// Завтра №2, 1 августа 2002.

базисом для многих почвенно-консервативных политических объединений (в частности, для партии Русский национальный Собор).

По одному из посланий митрополита Иоанна можно проследить частичное развертывание консервативно-государственных идей:

- отказ от разделения властей, единство власти, сосредоточение ее в одних руках, разделение функций власти между различными органами;
- отказ от договорных отношений внутри России и государственного статуса национально-территориальных образований, построение жесткой иерархической властной вертикали;
- сословно-профессиональный или сословно-территориальный характер народного представительства;
- отказ от атеистического характера государства, государственная поддержка Русской Православной Церкви в сочетании с поддержкой традиционных конфессий на местном уровне, пресечение религиозной экспансии из-за рубежа;
- восстановление традиционных религиозно-нравственных ценностей в качестве правовых норм жизни общества;
- восстановление Российского государства в его естественных границах, постепенное возвращение Украины и Белоруссии в состав единой державы;
- возрождение тесных дружественных отношений с традиционными, прежде всего православными и славянскими партнерами России;
- добрососедские отношения со всеми континентальными соседями, обеспечение прочного тыла при сдерживании давления Запада;
- разумный изоляционизм.

Все эти позиции в течение ряда лет повторялись в разных вариациях во множестве политических документов и деклараций отдельных политиков. Но ни одна влиятельная политическая сила России 90-х годов XX в. не взяла их на вооружение в своих предвыборных программах, а те, кто надеялись привлечь такими призывами избирателя, потерпели на общероссийских выборах сокрушительное поражение.

Наиболее успешным политическим объединением консервативно-традиционалистского толка в этот период можно считать Конгресс русских общин, который в результате определенных уступок на выборах дважды создавал вполне дееспособные предвыборные коалиции (в 1995 и 1999 гг.). И хотя результаты выборов (особенно в 1999 гг.) оказались для КРО плачевными, именно эта организация стремилась донести до избирателя консервативные идеи, которые были изложены в Манифесте возрождения России, выпущенным в свет в 1996 г. достаточно большим тиражом.

Идеологи КРО дали позитивное определение национализма: «Национализм является инстинктом самосохранения нации, который хранит ее духовное единство и своеобразие. Русский (российский) национализм означает принятие русского языка, русской истории, русской государственности, русского мирозерцания как своих собственных. Русский национализм есть отождествление своего личного восхождения к духовному и материальному богатству с благополучием *своего* Отечества».

Лидер КРО Д.Рогозин в своей книге «Русский ответ» писал: «Без национальной идеи любая власть утрачивает свою легитимность. Безнациональная власть никогда не сможет утвердиться в общественном сознании. Такая власть не способна мобилизовать ни общество, ни собственные управленческие структуры, так как утрата смысла служения Отечеству приводит их к полной деморализации и разложению». При этом речь идет не об абстрактном, а именно о русском духовном национализме, задачах выживания и развития русской нации и России как русского государства. «Сама Россия является истинной ценностью, и в этом глубокий смысл русской идеи. Россия собрана русскими. Россия превыше всего – этот лозунг сохранения и возрождения Отечества есть, вне всякого сомнения, общий девиз всех ее народов. В этом смысле русская идея не разъединяет, а объединяет народы России». «...выполнение исторической миссии невозможно без

сохранения самой русской нации, её культуры, истории, бытового уклада, экономического пространства, без национального сплочения русского народа, в том числе и той его части, которая оказалась за рубежами сократившейся национальной территории. Это и есть “русский вопрос”»⁹⁵⁰.

«Манифест возрождения России» говорит о тесной связи русского национализма с идеей духовного бытия русских и российской государственности:

«Главный смысл русского национализма состоит в стремлении воссоздать и сохранить русский народ как единый национальный организм, укрепить его соборный дух и его государственность.

Отличие русского национализма от других “национализмов” состоит в осуществлении “проекта” Российской Империи, обеспечивающего русской нации жизненное пространство и материальные ресурсы, соответствующие ее историческим масштабам и самобытности.

Яркое отличие русского национализма – в его неразрывной связи с Православием, точнее – с православным мироощущением, впечатанным в сознание народа его вековым опытом. Русский национализм, понятый в его генетической связи с Православием, реализуется как идея Божьей Правды на грешной земле. Православие указывает на этот наднациональный идеал Правды, к которому нация обязана стремиться».

В цитированной выше статье современного консервативного мыслителя В.Аверьянова дается своеобразная концепция нации, которая в полной мере отражает также и установки авторов Манифеста КРО: «В подлинном смысле слова "народ" содержится вовсе не количественно-расовая или языковая характеристика, тем более не социологическая, но характеристика пределов, то есть жизни и смерти человека. Народ в своем духовно-инициатическом измерении есть святые. Высшая мера "народности" принадлежит героям духовного подвига, подлинная "народность" — это не то, чем обладает человек от рождения. Ее нужно заслужить — "русским народом" были и есть наши святые и праведники, наши мученики, те, кто был смертельно ранен за Родину на фронтах отечественных войн и те, кто нес страдания за веру и отечество. Все остальные лишь "претендуют" на то, чтобы быть народом, способны лишь приближаться к этой великой чести. Только такой облагороженный, духовный "национализм" достоин того смысла, той веры, которые всегда вкладывались русскими в понятие "народ"».

В краткой форме Манифест ставил следующие задачи национального строительства:

1. Воссоздание национального единства, как условия существования России в качестве суверенного государства и великой мировой державы. Пресечение всех форм проявления сепаратизма и этнической исключительности, разрушающих государство.

2. Восстановление территориальной целостности страны на основе неделимости Российского государства и единообразной административной автономии ее регионов. Аннулирование всех межгосударственных договоров, унижающих достоинство России или создающих угрозу ее суверенитету.

3. Восстановление влияния в обществе и государстве Православия, а на местном общинном уровне – традиционных религий народов России. Ограничение деятельности иностранных миссионеров и религиозных сект.

4. Обеспечение Российским государством условий для достойной жизни его граждан и реализации их прав: защиты их духовных, политических и имущественных интересов независимо от места жительства. Государственное обеспечение старости, сиротства, вдовства и инвалидности.

5. Забота о национальном самосознании русских: возрождение православной веры, как веры национальной; возвращение народу его истинной истории; сохранение русских

⁹⁵⁰ Рогозин Д.О. Русский ответ, М. 1998.

национальных святынь, возвращение и возрождение русских культурных ценностей; очищение, сохранение и развитие великого русского языка.

6. Охрана генетического фонда русской нации: содействие здоровому образу жизни, борьба с курением, пьянством и наркоманией.

7. Возрождение элементов здорового социального уклада русских: восстановление семьи как основы русской государственности, воспитание детей и молодежи в русской традиции общения и традиции уважения старших; борьба с безнравственными тенденциями – проституцией и порнографией.

8. Особая забота об уровне образования русских, содействие освоению русскими наиболее наукоемких профессий, перспективных в рамках международного сотрудничества, содействие притоку грамотных кадров в медицину, юстицию, банковское дело, гимназии и высшую школу, предпринимательство, милицию.

9. Воссоздание высокопрофессиональной русской армии, ее исторических традиций; изживание уголовных нравов в армии, восстановление достоинства солдата и чести офицера.

10. Обеспечение действительной свободы печати при безусловной цензуре нравов. Недопустимость содержания российских печати, телевидения и радио за счет иностранных источников финансирования, а также управления государственных средств массовой информации людьми, чуждыми русской культуре.

Симптоматично, что Манифест ставит задачи национального развития на первый план и отделяет их от чисто государственных, которые как бы носят служебный характер.

В качестве политического ориентира для всех сил, отстаивающих национально-государственные интересы России, Манифест провозглашал следующие принципы государственных преобразований:

1. Преемственность предшествующих форм существования Российского государства с целью предотвращения разрыва истории государственности и пресечения безответственности власти. Утверждение России в качестве единого, неделимого государства, являющегося правопреемником Российской Империи и СССР.

2. Независимость административно-территориального устройства от этнического состава территорий, правовое равенство территорий. Восстановление губернской системы управления территориями и представительной системы земских собраний.

3. Сохранение российского гражданства за всеми, кто не отрекся от него добровольно. Защита интересов российских граждан независимо от места их жительства. Применение государственных средств защиты граждан России от любой дискриминации или опасной угрозы.

4. Единство власти и разделение функций вместо конфликта и конкуренции властей. Взаимодействие институтов власти на основе их единства и установленной законом компетенции.

5. Эволюционность государственно-правовых реформ. Пересмотр «новой» Конституции, подрывающей основы действующего законодательства, принятой меньшинством населения в условиях политической диктатуры.

6. Ограничение правоспособности иностранцев и лиц, не признающих себя гражданами России. Должностными лицами государства могут быть только граждане по рождению, не имеющие второго гражданства.

7. Борьба против злоупотреблений и бюрократизма со стороны должностных лиц. Беспощадное подавление преступников, особенно коррупционеров, насильников, спекулянтов, взяточников и изменников.

Можно видеть, что большинство программных положений КРО представляет собой видение определенного государственного устройства и защитных механизмов для формирования русской нации (в данном контексте следует считать, что русская нация тождественна российской нации).

По прошествии нескольких лет с того момента, когда был издан Манифест, видно, насколько реалистичными оказались выраженные в нем идеологические позиции – до такой степени, что в них теперь легко угадываются черты доктрины, воплощаемой в политике Президента В.В.Путина.

Другим примером попытки создания развернутой политической программы русского консерватизма может служить «Манифест российского патриотизма», созданный в 2001 г. депутатами Государственной Думы из группы «Народный депутат» и предложившими его в качестве идеологии Народной партии, созданной на базе этой группы. Несмотря на то, что эта попытка не удалась, указанный документ интересен собранием почвеннических идей прошлого с целью на их базе сформировать объединяющую «общественно-государственную идеологию».

Базовой идеей в данном случае послужило представление о возможности и органичности для России «государства правды», в котором устранены посредники между властью и народом. Средством такого устранения служат принципы всеобщности (народности), солидарности (мировой поруки), которыми руководствуются Земские Соборы – новый институт верховной власти, предлагаемый авторами Манифеста, и, наконец, экономическая доктрина «владения в общественной собственности».

Национальному государству Манифест противопоставляет «пастырское государство», в котором госстроительство не самоцель, а условие осуществления миссии – государство исполняет по отношению к нации роль «пастыря доброго» и предполагает развитие диалога между властью и обществом.

Как документ для партии, имеющей претензии стать «партией власти», Манифест развивает идею «сильного государства», которое характеризуется независимостью в принятии решений, невмешательством бизнеса в дела государства, «новой бюрократией» (эффективной для общественно-государственного строя), властной «вертикалью» и приоритетом общегосударственных задач над местническими.

В Манифесте, с одной стороны, говорится об общегосударственном общественном домостроительстве, в котором все «сотрудники и соработники», а с другой – большое внимание уделяется диалогу общества и государства и контролю общества за государственными решениями, что указывает на отсутствие солидарности и выстраивании общества как «параллельной» государству действительности местного и сословного самоуправления. Таким образом, идеал государства смешивается с реальным государством, в котором путь к солидарности еще не пройден.

В целом «Манифест российского патриотизма» можно назвать земской всеобщей утопией, эклектично составленной программой славянофильского консерватизма, имеющего мало общего с современной действительностью. Но уже само появление такого документа, его обсуждение среди российских депутатов – свидетельство того, что консервативные идеи «обкатываются» в российских политических процессах.

На «правые» и «консервативные» идеологии в 2000–2001 году пришла мода. Многие партии и партийные лидеры декларировали консерватизм, толком не понимая, какую ответственность они берут на себя. Сказывалось понятное желание размежеваться, с одной стороны, с коммунистами, с другой – с либеральными реформаторами.

Самым заметным проектом такого рода стала Либерально-демократическая партия В.В.Жириновского в поверхностной форме воспринявшая элементы консервативной доктрины.

Жириновский и его соратники в программных документах 2003 года выдвигали следующие тезисы:

- Отмена моратория на смертную казнь,
- Свободная продажа оружия населению для защиты жизни, чести и достоинства,
- Уголовное преследование за задержки с выплатами зарплаты и пенсий,
- Контроль государственной власти за ключевыми экономическими, административными и информационными ресурсами,

- Национализация нефте-газовой отрасли,
- Восстановление государственной монополии на внешнюю торговлю, производство и сбыт алкоголя, табака и сахара,
- Прогрессивный налог на сверхприбыли,
- Национальный эгоизм во внешней политике
- Запрет на госслужбу для лиц, не служивших в армии.
- Ликвидация деления на национальные республики и создание унитарного государства («губернизация»), защита русских за рубежом, облегчение приобретения гражданства русским из стран СНГ, преодоление разделенности русской нации.

В то же время, все эти тезисы носили поверхностный характер и разбавлялись явно популистскими эпатажными идеями:

- объявление всеобщей политической, уголовной и экономической амнистии («простить всех за все»),
- обеспечение для чиновников возможность перехода в частный бизнес,
- присоединить Православную церковь к государству,
- разрешить многоженства,
- восстановить монархию,
- ввести гражданскую дееспособности с 16 лет, снизить брачный возраст, ввести мораторий на аборт.

Кроме того, ЛДПР декларировала приверженность ценностям либерализма и демократии с одновременным выдвижением лево-популистского лозунга «Мы за бедных, мы за русских». В целом эта партия осваивала лозунги консерватизма в игровой форме и никогда не привязывала себя к мировоззренческим глубинам русской традиции. Например, лозунг всеобщей амнистии у нее сочетался с требованием посадить в тюрьму всех оппонентов Жириновского и разогнать все партии. Последним всплеском идеологического «творчества» Жириновского стало требование тотального огосударствления экономики и репрессивной национализации всей собственности. В связи с этим ЛДПР следует считать не консервативной, а национал-популистской партией, использующей моду на консерватизм и русский национализм, опошляющей действительно продуктивные идеи и играющей в политику на потребу черни.

Политические группы, в которых консерватизм остается лишь словом, пасуют перед проблемой определения роли государства в национальном строительстве. Либо в риторике «партии власти» государство подавляет нацию, либо с позиций почвеннического или этнического нигилизма наносится удар по самому государству – будто бы в защиту нации.

Растущая популярность консервативных идей привлекает к ним не только тех, кто действительно намерен возрождать Россию после шока либеральных реформ, но и разного рода маргинальных путаников, политических скоморохов и циничную челядь бюрократии. Ограждение консервативных идей от всей этой публики является для будущих консервативных партий одной из непростых задач.

Этатизм «партии власти»

Определенный идеологический оттенок «партия власти» будет иметь всегда, коль скоро государственная власть принимает в качестве официальной риторики определенную идеологическую доктрину. При этом идеология так или иначе должна входить в противоречие с политической практикой, которая для «партии власти» всегда совпадает со стремлением обеспечить чиновничеству максимально благоприятные условия для господства над нацией и контроля любых социальных инициатив. Это правило касается и КПСС, и движения «Выбор России», и движения «Наш дом – Россия», и сегодняшней «президентской» партии «Единая Россия», составленной из недавних антагонистов – партий «Единство» и «Отечество».

Каждая их слившихся воедино партий представляла определенную социально-политическую парадигму, востребованную в избирательной кампании 1999 г. и заметно трансформировавшуюся к началу 2002 г.

В предвыборной программе «Единства» (избирательное объединение «Медведь») приоритетной задачей, явно выделяющейся своей определенностью в сравнении с лозунговой формой прочих положений программы, является задача создания сильного государства. При этом сопутствующими задачами являются чисто либеральные – личная свобода, гражданское общество, федерализм.

Заявляя себя как «консервативный центр», «Единство» выдвигает тезисы о самобытности России и необходимости патриотизма – что, собственно, в консервативной парадигме настолько тривиально, что не нуждается в обосновании, а, скорее, должно подлежать защите и выражаться в конкретных проектах. Таких проектов «Единство» предложить не смогло, ограничив свою роль поддержкой президентских инициатив.

Более того, «Единство» вполне сознательно придерживалось пассивной позиции. Идеологи «Единства» обосновали такое положение консервативной идеологией: «...одни выдвигают нереальные проекты возвращения к дореволюционной русской консервативной традиции, другие предпринимают попытки выдать за консерватизм ностальгические воспоминания о коммунистическом обществе или же маскируют под этикеткой консерватизма прямо шовинистические, узко националистические взгляды».

При этом перечисляются следующие задачи консервативной политики:

- защита традиционных ценностей; соблюдения их иерархии;
- уважение авторитетов;
- дисциплина, мораль, нормы и обязанности индивида;
- опора на семью, религию, общину;
- сопротивление культурному кризису;
- необходимость социальной стабильности⁹⁵¹.

В то же время идеологическая неясность побуждает идеологов «Единства» варьировать свою позицию от обмолвок о консервативной революции до лозунга «постепенность, последовательность, органичность». Также остается неясным, с какой моделью российской государственности «Единство» ассоциирует свою позицию. Поскольку отрицается как советская, так и дореволюционная имперская модели, остается лишь «традиция» либеральных реформ последнего десятилетия XX в. Таким образом, в «Единстве» происходит та же идеологическая борьба, что и во власти – между либеральной (программа «Единства» 1999 г.) и консервативно-традиционалистской (идеологические разработки 2000–2001 гг.) парадигмами.

Идея сильного государства (и даже его восстановления!) прослеживается и в программе «Отечества» (1999 г.): «Главная идея нашей Программы – преодоление вакуума власти, восстановление в полном объеме всех функций государства. Мы полагаем, что в нынешней кризисной ситуации реформирование государства является тем звеном, потянув за которое мы вытащим Россию из поразившего ее системного кризиса. Горький опыт последних лет говорит о том, что только сильное государство способно обеспечить на практике основные права и свободы личности, и, прежде всего, право на жизнь. Исторический опыт учит уважать и беречь могущество государства как гарант целостности страны, ее внутренней и внешней безопасности, ее национального достоинства, как основное условие успешных преобразований в экономике».

В программе имеется также определенное видение национальной проблематики: «К числу нерешенных проблем национального развития мы также относим вопрос о гражданском примирении, о национальном единстве». Тем не менее, с чего начинается раздел программы «Сильное государство»? Вовсе не с идеи национального единства, а с прав человека и разделения властей, т.е. с либеральной риторики, которая в 1999 г. еще не

⁹⁵¹ Моро Г., руководитель Центра разработки программных документов ЦИК партии «Единство». Материал официального web-сайта партии.

была поставлена под сомнение. И только в разделе «Крепкая федерация» говорится об укреплении единства России, понимаемой как федерация (что объявляется лучшей формой государственного устройства), «опирающейся на патриотическое единство и многообразие ее народов» и «полноценное развитие всех регионов».

Программа «Отечества» больше похожа на разностороннюю правительственную программу с расчетом по меньшей мере на пятилетку и с неясными перспективами исполнения намеченных целей. При скудности ценностных позиций и неясных результатах выборов поставленные задачи стали благими пожеланиями, скорее рекомендациями власти, чем способом привлечь сторонников. Огромное количество фраз, начинающихся со слов «"Отечество" будет добиваться...» дает основание через несколько лет после обнародования программы говорить о том, что реально добиваться поставленных задач (помимо обеспечения «сильного государства») никто и не собирался. В особенности, такие претензии легко предъявить предвыборной платформе блока «Отечество – Вся Россия», состоявшей из перечня десятков законов, которые должны были быть разработаны и проведены через парламент. Эта обширная программа почти не нашла своего отражения в парламентской деятельности депутатов от указанного блока, которые предпочли сначала уйти в тень, а потом влиться в «партию власти», забыв прежние разногласия с «Единством».

Этот этап может быть проиллюстрирован попыткой найти новую идеологическую подпорку для идеи «сильной власти». И здесь идеологи «Отечества» (на этот раз эту роль играют лидеры партии) приходят к попытке отречься и от либерализма, и от коммунизма. В программной статье Ю.Лужкова и А.Владиславлева говорится, что новой партии («Единая Россия») нечего заимствовать из нашего недавнего прошлого – коммунизм стал тождественен тоталитаризму, а либерализм проявил себя с антипатриотических и антигосударственных позиций. «Принцип "священной частной собственности" был бездумно противопоставлен ценностям государства, семьи, религии, нации, традиций. Российские либералы объявили войну своему государству, его традициям, национальным ценностям. Патриотизм был для них "прибежищем негодяев"»⁹⁵². Их либерализм «обрел знакомые "большевистские" черты, едва только был пересажен на российскую посткоммунистическую почву».

Поэтому идеология новой партии должна «воспользоваться современными и применимыми к условиям нашей страны элементами правой и левой идеологий и соединить их в практической политике». Причем «левые» элементы должны доминировать: «В нынешних российских условиях, когда десятилетние реформы создали сильный перекос вправо, мы считаем, что первоочередные наши задачи связаны с возрождением силы и могущества Российского государства, с поддержкой отечественной промышленности, с подъемом жизненного уровня большинства народа. Если корабль дал правый крен, следует восстановить его устойчивость».

Нетрудно заметить, что «левая» идея воспринимается здесь как чисто этатистская, что дает основание говорить о близости к позиции, выраженной в программе КПрФ. О том же говорит и фраза: «мы государственники до мозга костей».

Отрекаются идеологи новой партии и от консервативной ориентации на прошлое: «Государство – не более чем инструмент, который должен служить народу. И в этом плане опыт российской истории, к которому так любят взывать националисты, ничему хорошему научить, к сожалению, не может».

Социально-либеральный синтез достигается постановкой задачи для партии «Единство» плюс «Отечество» «сделать обыкновенного человека, нашего современника, мерой всех вещей, а улучшение его жизни – единственным критерием успешности реформ». На первое место ставятся интересы человека, в пользу которого должны проводиться реформы – «созидание на основе раскрепощения человека». Либеральная

⁹⁵² Лужков Ю. Владиславлев А., Народная партия в современном мире// Литературная газета, 2001. №40. 3–9 октября.

составляющая новой идеологии должна обеспечивать приоритет производства и эффективности, а социалистическая – приоритет справедливому распределению. Планируется цивилизованное соревнование социалистических и либеральных идей в одной партии.

Одновременно просматривается и либеральная идея минимизации государства, и уравнилельная социальная идея коммунистов: «Нет никакой "роковой загадки" России. Есть лишь традиция: пытаться проводить масштабные преобразования "сверху" без учета интересов большинства при отсутствии адекватных юридических и политических механизмов. И не покажется после этого удивительным, что от реформ у нас, как правило, выигрывало меньшинство, тогда как большей части народа отводилась незавидная участь "навоза истории"».

Интересно, что Лужков и Владиславлев находят роль для «партии власти», делая партию (причем, единственную) неотъемлемой частью политического режима, отводя ей место посредника между властью и народом и выразителя интересов больших социальных групп. Данное положение полностью заимствовано лидерами «Отечества» из программы партии «Единство».

Критики указанной программной статьи зафиксировали в статье Лужкова и Владиславлева множество несуразиц⁹⁵³. Прежде всего, характерная особенность идеологии «народной партии» – отчаянное отсутствие какой-либо новизны. Критика всех аргументов «слева» и «справа» оставляет лидеров партии без собственных аргументов или же вынуждает вступать в противоречие, повторяя слова, произносимые своими оппонентами. Говоря, что ничего не заимствуют у либералов и коммунистов, лидеры «Отечества» на самом деле заимствуют у них все. Но это второстепенное, чисто риторическое. Фиксируя «антипартийный синдром», они все равно готовы к партийной борьбе, которая «является источником развития».

Возникает вопрос, какой же идеологией будет следовать «Единство России»? Единственный устойчивый идейный комплекс, который прослеживается в программных разработках, касающихся предистории партии, это этатизм, отрицание какой-либо традиции и ориентация на индивидуализм.

Необходимо отметить важное обстоятельство в идеологии, складывающейся из нескольких фрагментов социально-либеральной «партии власти». Установки программ «Единства» и «Отечества» по своему стилю и характеру постановки целей государства оказываются в противоречии с теми позициями, которые высказывал избранный ими в лидеры Президент В.В.Путин. Именно это противоречие не позволило объединенной партии «Единая Россия» разработать предвыборную программу и вынудило ограничить свой «теоретический багаж» очень краткий и маловразумительным Манифестом. Разработанные ранее достаточно откровенные программы и реальные политические действия мнимых соратников путина из «Единой России» показывают, что в самой «партии власти», включающей как компонент Администрацию Президента, существует раскол и борьба, тщательно скрываемые от публики⁹⁵⁴.

Например, программы «партии власти» затрагивают национальную тематику лишь вскользь. В.В. Путин же начинает свое Послание Федеральному Собранию 2000 г. с главного – в демографической ситуации, а затем выдвигает ключевую проблему современной России: «сможем ли мы сохраниться как нация, как цивилизация, если наше

⁹⁵³ См. Орлов А.Г. Какую утопию нам предлагают на этот раз?// Русский дом, 2002. №1.

⁹⁵⁴ Отчасти о столкновении между группировками в «партии власти» стало известно накануне парламентских выборов 2003 года. Выявилась достаточно острая конкуренция между опирающихся на «олигархов» ставленников Ельцина и новой путинской командой «силовиков». Порождением этой конкуренции стали такие партии-дублиеры, как Народная партия, Партия жизни, Партия возрождения России и, наконец, предвыборный блок «Родина», в котором переплелись замысел раскола КПрФ за счет объявления новой «левой» коалиции и замысел о переигрывании раскольнического сценария и превращения его в национальный.

благополучие вновь и вновь будет зависеть от выдачи международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой экономики?».

Трудно более остро поставить вопрос о судьбе государства Российского, по сравнению с тем, как сделал это Путин в указанном Послании: «Россия столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности. Оказалась лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перестройке мира». Столь остро проблему ставили, самые жесткие оппозиционеры, но не «партии власти». И как будто к этим партиям обращены слова Послания: «не нужны очередные чиновничьи партии, прислоняющиеся к власти, тем более подменяющие ее».

К национальной проблематике относится также поставленная Путиным во главу угла задача выработать четкие демократические правила, гарантирующие подлинную независимость журналистики и выведения ее из-под влияния финансовых групп, использующих ее для клановой борьбы. Подобная постановка вопроса также не встречалась в программных документах «партий власти».

С другой стороны, в Послании Путина с достаточной ясностью выражен экономический либерализм – ставится задача ограничения вмешательства государства в экономику и защита государством экономической свободы (равенство условий конкуренции, освобождение от административного гнета и т.д.).

Позиция Путина по проблемам государства и нации позволяет зафиксировать ее как очень близкую к концепции либерального национализма, но не социально-либерального синтеза. И это находится в жестком противоречии с уклончивыми формулировками «партий власти». Ведь не эти партии, а именно Путин поставил вопрос о возвращении государству естественной функции легитимного насилия, которая в прежние годы все больше узурпировалась службами безопасности частных корпораций и кланов с одной стороны, и региональными группировками, размывающими единство государства, с другой.

Уже в Послании-2001 Путин объявляет о создании федеральных округов как о важнейшем достижении в деле укрепления государства. И надо отметить, это становится частичной реализацией выдвинутой традиционалистско-консервативными партиями идеи укрупнения административно-территориальных единиц (к примеру, в программных установках Конгресса русских общин). Новым перспективным направлением укрепления государственности становится в Послании-2001 объявление войны бюрократизму. И хотя в последующий период эта задача оказалась практически неподъемной без поддержки «снизу» и без встречной организационной инициативы «сверху», данная мысль В.Путина весьма серьезно показывает идейное расхождение между «партиями чиновников» и его собственными устремлениями.

Хотя на выборах 2003 года Путин высказал поддержку партии «Единая Россия», он ничем не смог обозначить ее идейную задачу. В то же время организационная задача партии неоднократно объявлялась – образовать в Государственной Думе парламентское большинство. Что касается идеологии, то «Единая Россия» полностью отказалась от высказывания на выборах своей позиции, уклонилась от участия в дебатах, чтобы не дать оппонентам задать каверзные вопросы, и ограничилась в избирательной кампании самыми примитивными лозунгами. При этом использование имени Президента дополнило всюду примененный «административный ресурс», включая циничное наполнение своих партийных списков десятками чиновников, которые вовсе не собирались заседать в российском парламенте.

Таким образом, формально заявившая о своем консерватизме «партия власти», не решилась развивать соответствующие темы в условиях выборов, а просто спряталась за примитивной партийной рекламой, за именем президента и именами губернаторов. Следовательно, «партию власти» в парламенте будут представлять в основном марионетки бюрократии, а реальная политика по-прежнему будет осуществляться за

кулисами, где о консервативной идее не задумываются, предпочитая лишь удерживать власть в том ее виде, в котором она осталась после ухода Ельцина.

«Клубные» концепции государства

Как показано выше, партийные концепции государства и государственные программы развития национальной политической модели, выглядят весьма бледно и скупо выдавливают из себя идеи, достойные внимания и воодушевляющие граждан. Этот недостаток политической системы России пытаются компенсировать политические клубы или группы авторов, которые от внутренних обсуждений переходя к декларациям, посвященным государственной концепции. Мы остановимся на тех, которые хотя бы в какой-то степени оказывались существенными как в содержательном отношении, так и в потенциальных возможностях повлиять на позицию государственной власти и политического класса.

В ельцинской России неоднократно предпринимались «клубные» попытки научной общественности сформировать проект интегративной государственной идеологии, которая могла бы стать привлекательной для власти, постоянно демонстрирующей неспособность выработать в своих недрах нечто удобоваримое. Часть научного сообщества, констатирующего кризис обществознания, попыталась вынести на суд коллег и власти свои разработки в этой сфере. Наиболее проработанными и методологически выверенными стали попытки формирования интегративной идеологии, исходящие от «честных демократов» – мыслителей, видящих невозможность реставрации и коммунистической доктрины и явную несостоятельность дикого рынка. Методологические разработки были связаны, прежде всего, с коллективной монографией «Россия: опыт национально-государственной идеологии»⁹⁵⁵, в которой была поставлена задача прийти «к тайнам национально-народной жизни через здоровую патриотику, отлитую в форме национально-государственной идеологии», и с дальней перспективой программы развития.

Главные проблемы на пути решения этой задачи можно свести к следующим:

Проблема онтологии. Вопрос «Что есть Россия?» требует ответа: мы имеем дело с многонациональной империей или моноэтническим унитарным государством, с федерацией или конфедерацией?

Проблема идентичности национального духа. Необходима новая российская идентичность при исконном полиэтизме, поликонфессиональности, антиномичности, традиционно имеющих в России и обострившихся в условиях социально-экономического кризиса.

Проблема геополитики. Россия попала в ситуацию транзита в условиях быстро складывающихся центров: Северная Америка, Тихоокеанский регион, объединяющаяся Европа. Если Россия не успевает сложиться в качестве значимого геополитического центра, она превращается в геополитическое захолустье или чью-то периферию.

Проблема хронополитики. Перед Россией стоит проблема выбора программ вестернизации и истернизации. Нужно понять, о какой Европе, какой Азии идет речь, какие образцы из таких различных культур и противоречивых их компонентов мы должны выбрать?

Проблема консолидации. В чем смысл федерации при условиях, когда прав у полиэтнических республик больше, чем у однородно русских областей. Это движение к конфедерации или форма уступки сепаратизму, которая в дальнейшем будет отменена?

Проблема онтологии российской жизни. Русская жизнь, построенная при советской власти как гигантский домострой, исключила из себя прочие формы русской общности, в частности, русскую семью и русскую общину в ее трудовой и приходской форме.

⁹⁵⁵ Ильин В.В. Панарин А., Рябов А.В. Россия: опыт национально-государственной идеологии, М.: Изд-во МГУ, 1994.

Национально-государственная идеология должна была опираться на тот набор идеом, которые были бы приемлемы для России и отражали бы ее исторический путь и сложившуюся ментальность: с одной стороны, это Богоизбранность, Непостижимость, Безгласие-безмолвие и Простор; с другой – заемность, отсутствие самодостаточности, межеумочность, метание между Востоком и Западом. Естественно, в интегральной идеологии слабые стороны должны были стать опорой для разработки проблематики, сильные – использованы как ресурс.

Эскиз идеологии, по мнению проектировщиков интегральной идеологии, необходимо было строить на основе следующих ценностей:

- солидарность (в противовес местничеству),
- преемственность (нельзя подрубать национальные корни),
- гуманизм (каждая человеческая личность выше общества, выше человечества),
- государственность (для государства – лишь задача макроадминистрирования на державном уровне).

Гуманистический пафос не позволял говорить о каких-либо насильственных или максималистских формах идеологического программирования. При этом оставлялась возможность авторитаризма, который мог быть оправдан сильными идеями, т.е. идеологией, отграничивающей от Запада. В прочих элементах в значительной мере повторялись евразийские идеи, дополненные почвенническим пафосом и пафосом милости к слабым и неорганизованным, которых должно защитить и организовать государство.

Прорывом для философской элиты было признание идеи «Москва – третий Рим» живым воплощением *имперской геополитической идеи*. Москва в пространстве Евразии превращается в гаранта стабильности, единства пространства и прав человека (меньших по сравнению с Европой, но общих для всех). «Римская идея» в форме евразийского лидерства Москва выступает как альтернатива и догматическому экономико-центризму «левых» и утопизму либералов, верящих в окончательное воцарение «нового мирового порядка».

Вторым прорывным моментом авторов интегративного идеологического проекта было признание противогосударственного характера постсоветской номенклатуры, которая вполне в духе феодального боярства *«стремится к безраздельному удельному владычеству, не останавливается перед тем, чтобы разорвать громадную страну по клочкам»*. И этой суверенизации должна быть поставлена в противовес идея России как надэтнического образования, опекающая неконкурентоспособные периферийные этносы.

Здесь интегративная идеология дала сбой, забыв о субъекте имперского проекта – о русском народе, который как раз и был способен на создание надэтнического единства. Эта забывчивость превратила весь проект из надэтнического в неэтнический, «россиянский», а империю – в химеру, где малые этносы паразитируют на теле русской нации, кормящей удельные номенклатуры и сепаратизмы. Имперский принцип терпимости преобразовался в русофобию и парад суверенитетов при одновременной европеизации страны и вытеснении русской традиции.

Этот евразийский рецидив в интегральной идеологии противоречил иным ее положениям, в частности, отказу от идеи «моста», которым, будто бы должна служить Россия при перемещении товаров между Западом и Востоком. В этой роли Россия лишается самодостаточности, превращается из самобытного цивилизационного центра в торговца-посредника. Понимая, что с русской соборностью несовместима западная атомарность индивида, что русская терпимость никогда не уживется с воинствующей традиционностью Востока, интегралисты говорили, что Россия достойна автономной концепции собственного величия.

Интегралисты верно подметили нестойкость народного единства: «Народ вне государства и большой письменной традиции рассыпается на местные общины - локусы, – ему, оказывается, всего труднее дается единство в пространстве и во времени, особенно,

если речь идет о масштабах большого пространства и большого времени. История свидетельствует, что суперэтническая общность и ее ценности единства прав и непосредственная соотнесенность индивида с большой культурой традиций не вырабатываются спонтанным образом из недр народного духа, а либо приходят извне в обличье завоевателя, объединяющего локусы в империю, либо формируется для отпора грозным внешним вызовам».

Вместе с тем утрата видения этнического субъекта, складывающегося в нацию, приводит интегралистов к завышению роли государства в обеспечении единства. Выходит, что народ един только под давлением аппарата насилия, беспрестанно «культивирующего» народную «почву». Соответственно возникает гипертрофия государственной компоненты в идеологии принижения национальной идеи. Между тем, очевидно, что «государство либо несет мессианские обетования, требуя религиозной веры, либо выступает в карикатурной форме вымученной и ретроградной авторитарности, вызывающей гнев и отвращение». Государство создает нацию, но нация, будучи созданной, переобустраивает для себя государство, делая его своим. И хотя государство выступает на стороне великой письменной традиции, навязывая населению цивилизационные универсалии, оно с таким же успехом может навязывать антицивилизационный деспотизм, тупую бюрократическую процедуру.

Совершенно ясный для патриотического движения противороссийский замысел атлантистов осложнен у интегралистов представлением о некоем прагматическом подходе Запада, стремящегося экспортировать вовне импульсы нетерпимости, социальную энтропию, «шлаки цивилизации». Прагматизм будто бы должен встретить ответный прагматизм с заключением баланса между ними. Между тем, ситуация не дает России шансов оградить себя от тлетворных воздействий неким интегралистским искусством поликультурного консенсуса. Речь идет о защите самого существования России, для чего требуется не учиться консенсусу, а наверняка знать, что это учение ложно. Если же принимать позицию оборончества от Запада, придется снова поставить вопрос о культурном субъекте этой обороны – о русском народе. Однако, этот вопрос либеральные интегралисты обходят стороной, превращая свой проект в подобие евразийского патриотизма, который не отыскать, не воспитать нет никаких шансов.

Гибельность западнического проекта для интегралистов отчетливо ясна. В силу успешности вызова со стороны Запада культурам традиционалистского типа минимальное проявление политического плюрализма дает шанс на власть «западникам», которые в случае успеха тут же проводят тотальное социокультурное разрушение, уничтожение национальной идентичности. Происходит это в силу отягощенности западничества тремя «субкультурными» комплексами: традицией экономического монизма (попыткой вывести решение всех проблем из одного начала); политической эсхатологией «нового мышления» (пренебрегающей вопросами государственного суверенитета и целостности); «демократическим трюкизмом», объявляющим интересы демократии (прогресса) выше интересов России.

Прагматическая позиция авторов интегративного проекта вела к пониманию, что Запад нам не друг и не помощник. Напротив, западная модель демократии в культурном отношении выступает как гегемонистская сила, основанная на вере в безусловное преимущество и конечное всемирное торжество западной культуры. Не говоря уже о беспрерывном «крестовом походе» Запада против России, начиная с Чудского озера. И в этом плане попытка либерально-консервативного синтеза достигает понимания о неприемлемости атлантистского проекта модернизации. Этот проект для России смертелен.

Воспоминания о субъекте, надо отдать должное, у интегралистов все-таки встречаются. Так они стремятся основать идеологию на представлениях о русском национальном характере. Тем не менее, реальный социальный проект, который предполагал бы мобилизацию лучших черт этого характера и угнетение худших,

ограничивается неким макетом российской духовности, в котором выделяются следующие направления:

- внутреннее самовозвышение, подвижничество, нравственное путеводительство;
- правдоискательство: идеал жития по совести;
- братолюбие: достойное самоограничение, страсотерпство, личная жертвенность, неагрессивность («бог терпел и нам велел»);
- софийность: душевно-планетарный коллективизм – сверхсознательная душа мира;
- соборность: солидарность действия, духовность единения;
- всеединство: духоборческая, интегральная космософия, ориентирующаяся на духовное устройство Вселенной;
- непротivление: стезя личной святости, самосовершенствующей работы души.

Поскольку из всего этого монашеского набора трудно построить что-либо серьезное, интеграллисты о нем забывают и пытаются выстроить концепцию российского патриотизма. Но, несмотря на утверждение, что «патриотизм связывается с принципом почвы, началом этносоциального становления, выживания, процветания», интегралистская концепция все-таки остается безэтнической. Утверждается, что «государственность в России формируется не из этнического, а из геополитического принципа», что вообще превращает национальную идеологию в вариант геополитической теории и объяснений, почему российская колонизация пространства была столь успешной.

Важным достижением интегративного проекта была первая постановка вопроса о *демографической ситуации* в России. Опустевшая страна при неизменности нынешних тенденций не сможет остановить демографического давления с Юга, наступающего на Россию под флагом Ислама и с проектом Великого Турана в качестве антироссийской доктрины. Истощенность схемы форсированной индустриальной самовестернизации, сопровождаемой усиленным социальным сближением с Востоком, требует нового проекта. И здесь снова интеграллисты останавливаются, отказываясь видеть в качестве такого проекта перспективную самодостаточность русского национализма как общегосударственной идеологии.

Относительный интеллектуальный успех интеграллистов связан с принятием ими как аксиомы утверждения о *самоценности России*, которую подавляющее большинство мыслителей и публицистов ельцинской России поставило под сомнение, полагая, что есть более высокие понятия – «общечеловеческие ценности», ради которых Родиной можно пожертвовать. Очевидность этого принципа означала слабость интегралистской идеологии – нужны были новые, более сильные основания для жизнеспособного политического проекта во исполнение этого принципа.

Уступкой западничеству можно расценить положение о едином потоке истории с «унитарными законами общественного прогресса», которые Россия должна принять не как соблазн чужой жизни, а как общемировой закон, в котором генерируемые Западом социальные технологии опасны, но одновременно и всеобъемлющи.

Более того, по мнению интеграллистов, «нормальная национально-государственная идеология не может быть ни воинствующей, ни автаркичной; вытекая из универсальных (не побоимся сказать космополитичных) ценностей она должна сообщать им специфичную этноконтекстуальную интерпретацию. На этом основании мы с порога отмечаем вариант национально однородного российского государства, задуманного как государства русских. Россия этнически не гомогенна; она не государство русских. Россия – образование синтетическое, является агрегацией культурных, исторических, хозяйственных, ментальных зон народов, которые со своей суверенностью никогда не расстанутся».

Действительно, суверенизация Великороссии от России – абсурд. Но разве не идеал национально-государственного устройства – универсализация гражданских прав и

гражданского самосознания? Кроме того, почему нужно обязательно выводить любую национальную специфику из каких-то общечеловеческих универсалий? И почему нужна не национально-государственная специфика, а непременно этническая?

С одной стороны, говорилось об универсализме, с другой – об этнических различиях. Будто бы нет специфичных надэтнических феноменов, будто бы русское есть этническое. Ведь признается же интегралистами, что национальность – категория этническая, нация – социально-историческая, государственно-геополитическая.

Интегралисты вообще не хотели говорить о русской нации, полагая, что она – удел прошлого, а в настоящем ее реальность под вопросом в силу ослабленности государства. Отсюда прямо выводится утверждение, что обострение русского вопроса ведет страну к «надрывным кровопускательным испытаниям». Конечно же, обоснования этому найти невозможно. Потому что русская история говорит о прямо противоположном.

Еще одной уступкой западничеству является утверждение, что знаменитая триада «Православие, Самодержавие, Народность» носит конфронтационный характер. Вместо него предлагается совершенно бесцветный вариант идеологического истока: «Демократия, веротерпимость, солидарность». Будто бы нельзя говорить о православной веротерпимости, самодержавной демократичности, народной солидарности.

Совсем уж ренегатским выглядело утверждение, что «время русской идеи в трактовке русской империи прошло. Настало время русской идеи в трактовке процветания России. Сбросив бремя патронажа этнических периферий, Россия развязала руки для долгожданной собственной социальной, политической, индустриальной модернизации».

Преуспев в критике номенклатурного капитала, навязывающего обездоленным пролетарский аскетизм и цинично гарантирующий свою прибыль за счет всего общества, доказав крайнюю опасность неэквивалентного информационного обмена с Западом, интегралисты, тем не менее, не смогли выдвинуть непротиворечивой концепции, а тем более – утвердить ее в более широкой группе.

Тем не менее попытки создания интегральной идеологии были продолжены. Соответствующее обсуждение было среди авторов журнала «Полис»⁹⁵⁶. Здесь также констатировалось, что главные причины кризиса России связаны с утратой культурной идентичности и кризисом социального познания. «Демократическая» политическая мифология признавалась несостоятельной, как и коммунистический миф о прорыве в «светлое будущее». Поиск «срединного пути» происходил в попытках выработать концепцию нового русского консерватизма.

Диагноз духовной ситуации в России определялся двумя основными факторами.

1. Кризис ценностей, распад сферы представлений о высших целях. Индивид теряет возможность идентифицировать себя с целями и ценностями общества. Вместо общности под видом демифологизации возникает «одинокый индивид», бессильный перед соперничающими криминальными и олигархическими кланами, делящими сферы влияния. Утрачивается не только христианская парадигма мировоззрения, но и архетипические остатки язычества, худо-бедно скрепляющие общество.

2. Россия находится между «двумя варварствами» – «варварская борьба с варварством», варварская приватизация и дикий рынок против варварского тоталитаризма. Новая социальность соответствует «азиатскому» варварству – западная догма о многопартийности воплощается с восточным лукавством: партии организуются «сверху» ради использования в клановых интересах новых правовых норм.

Возможные варианты политического программирования предлагались в рамках сведения противоположностей в синтетическую идею русской цивилизации. Ставилась задача заменить непримиримое противостояние под лозунгом «или западничество, или самобытность» на логику «русская цивилизация против русского варварства». И здесь верно указывалось на устарелость и бесперспективность экономоцентризма ельцинских

⁹⁵⁶ Кара-Мурза А.А., Панарин А.С., Пантин И.К. Духовно-идеологическая ситуация в современной России: перспективы развития// Полис, 1995. №4.

«хозяйственников» и «реформаторов», не способных понять, что экономика не есть самодостаточная сфера, а всего лишь средство достижения социальных и духовных целей, детерминированных культурными и моральными факторами (т.е. Традицией).

К сожалению, попытка действовать в рамках просвещенческой традиции привела авторов первого интегративного идеологического проекта к надежде отыскать либерально-консервативный синтез среди «осмысленных западников» и «почвенников», выступающих за «многообразие форм продуктивного творчества при сильном государстве».

Обсуждение интегративного проекта как нового прочтения консервативной идеологии⁹⁵⁷ натолкнулось на косность либеральных ученых, которые уже адаптировались в ельцинской России и не желали быть выброшенными за борт вместе со своими кафедрами и темами исследований. Отсюда возникла оценка консерватизма как угрюмого реакционного течения, которое характеризует «недоверчиво отстраненное отношение к человеческой личности, рассматриваемой как несовершенный продукт творения, «сосуд греха», нуждающийся во имя собственного блага в твердой руке». Выделялись основные компоненты консервативной идеологии: сдержанно-ограничительное отношение к разуму, неприятие абсолютизации его возможностей, его гордыни, заводящей общество в тупик; отрицание принципа равенства; необходимость строгого иерархического, пирамидального построения общественных структур; потребность в системе контролирующих институтов (управленческих, идеологических, религиозных, рассмотрение нации как основного фактора человеческой истории, феномена, подверженного жизненному циклу и обладающему набором позитивных и негативных качеств.

При этом идеологический абрис давался в целом правильно, отношение к нему было также недоверчиво-отстраненное. Особенно к консервативной универсалии – к нации, понятие о ценности которой было открыто еще либералами эпохи Просвещения, но не осталось в распоряжении либерализма наших дней. В негативном свете представлялись и формы консерватизма: традиционалистский (ориентация на сохранение устоявшихся порядков, на историческую преемственность), реформистский (либеральный, неоконсервативный, технократический), революционаристский (неприятие того общества, которое сложилось в результате адаптации к новой информации). Исторические типы консерватизма также вызывали в либеральной среде страх использования его в современных условиях. Прежде всего, отрицалась какая-либо позитивная роль активных форм консерватизма. Утверждалась преимущественно охранительная функция консерватизма (которая только и могла быть принята в рамках ельцинизма как лояльность режиму). Любая динамика в рамках консервативной доктрины объявлялась только эволюционной, боящейся всякого радикализма. Понятие «консервативная революция» объявлялось абсурдным и запятнанным якобы имевшимся сотрудничеством его адептов с национал-социализмом.

Консерватизм подозревался в репрессивной идее государственности, в приверженности технологиям принуждения и насилия. Говорилось, что консервативная государственность открывает возможности для развития в обществе «тоталитаризма», господства народных лидеров-диктаторов, управляющих толпой. Слияние государства и общества как «большой семьи» в консервативной доктрине объявлялось враждебным правам и свободам отдельного индивида.

Наконец, предпринималась попытка ослабить консервативную идею западничеством – примером неоконсервативного реформизма, носящего антиэтатистский характер, а оттого берущий на вооружение ультралиберальные идеи. Тэтчеризм и рейгономика представлялись примером прагматичного консерватизма, который легко отказывается от своих установок в пользу социального государства, когда адаптивные

⁹⁵⁷ «Круглый стол» по консерватизму// Полис, 1995. №4.

формы консерватизма исчерпываются. Российский же консерватизм объявлялся непрагматическим, «академическим», интересным лишь историками.

И все-таки дискурс, возникший вокруг консервативной идеологии, принес некоторые плоды.

Во-первых, было осознано, что для консерватора центральной проблемой является связь времен, взаимоотношения прошлого, настоящего и будущего, а основной идеей – поддержание Традиции. Консерватизм – это не обращение в прошлое, а сохранение всего жизнеспособного, почерпнутого из прошлого и связанного с идеальным порядком, зафиксированным в народной традиции и фактах национальной истории. Консерватизм актуализирует историческое прошлое. Консервативная идея нации – это родовой выбор веков и поколений. Вместе с тем, традиционализм представляет собой лишь предварительную форму исторического консерватизма, его «антропологически-структурный источник», нерелексирующую форму.

Во-вторых, была выявлена принципиальная несовместимость консерватизма и либерализма, консерватизма и социализма; возникло понимание «трехмерности» идеологического пространства (в отличие от практиковавшегося ранее представления о противостоянии лишь двух идеологий – демократической и антидемократической). «Естественному праву», присутствующему в либерализме и социализме, консерватизм противопоставляет историческое право нации, духовно-органическую традицию. Если социализм предлагает программу революционного переустройства социальной среды в соответствии с «разумом истории» – объективными тенденциями общественного развития, то консерватизм ориентируется на приспособление к исторически сложившейся традиции, в которой воплотился разум предшествующих поколений.

В-третьих, была замечена связь консерватизма с религиозной традицией. Христианские основания русского консерватизма предопределяют отказ от любых попыток подменить живую традицию какой-либо иной вымышленной «традицией» в духе «тысячелетнего рейха». Этот вариант консерватизма убивает «стрелу времени», динамическую составляющую христианской культуры. И от этого он становится похож на некоторые восточные религии, в которых «стрела времени» отсутствует.

Третья заметная попытка «клубного» создания государственной идеологии состоялась на поле либеральной идеологии – как попытка подстроиться под заказ Кремля, объявившего о необходимости формулирования национальной идеи⁹⁵⁸. За счет либеральных ученых был расширен авторский состав и обеспечен определенный консенсус. Это был значительно более осторожный (если не сказать «трусливый») «синтез», чем проповедовать Кремлю целительные качества некоторых элементов консервативной идеологии.

Необходимость интегративной идеологии обосновывалась тем, что консенсус будто бы перестал быть «одинаковостью» и стал «соглашением относительно несогласия». Предполагалось, что именно такая идеология должна восстановить единство народа, который превратился в «население» – в агрегат этнических, конфессиональных, экономических, политических, статусных и иных групп, не укладывающихся в общую матрицу народной жизни. При этом своеобразие и даже конфликт интересов составляющих «народ» групп не снимаются, а единство достигается вопреки их своеобразию – в головах идеологов или в глубине народного сознания, где она содержится в готовом виде. Интегративная идеология в таком варианте пассивна – она лишь помогает конфликтующим группам сложиться в целостность.

Фактически авторы нового проекта сразу отказались от формулирования явных идеологических тезисов на том основании, что декларирование идеологии «сверху» противоречит Конституции. Кроме того, предполагалось, что существуют два важнейших фактора, которые отодвигали реализацию интегралистской инициативы на отдаленные

⁹⁵⁸ Алексеева Т.А., Капустин Б.Г., Пантин И.К.// Полис, 1997. №3. С. 16–22.

времена. В качестве таких факторов декларировались именно те, которые с иной точки зрения требовали самых решительных мер по выработке и внедрению общенациональной идеологии:

1. Оставшаяся в наследство от СССР федеративная структура неадекватна ни современному геополитическому положению страны, ни демографическим ареалам, ни задачам национально-государственного строительства. Однако, вполне понятно, что проблема реформирования федеративной структуры – вопрос отнюдь не ближайшего будущего. Вместе с тем, в ряде регионов страны очевидны тенденции к сепаратизму и местничеству.

2. Нация, понимаемая в либеральном европейском смысле, в России еще не сложилась. Русские, как основная несущая конструкция государства, продолжают сохранять черты скорее имперского народа с сильным наднациональным пафосом, нежели черты сформировавшейся нации. Картина усугубляется наличием множества мелких национализмов чисто этнического свойства. В такой ситуации национальная идея очень легко может превратиться в идею националистическую с самыми разрушительными последствиями для единства страны.

Отсюда был сделан вывод о том, что Россия даже для постановки задачи создания национальной идеологии еще не созрела. Вместо этого предполагалась лукавая уловка – интегративная модель, которая каким-то образом рассматривалась как некий промежуточный этап идеологического «оформления» народа. Методологически такая модель была возможна только в рамках либерального мифа об «общественном договоре», в котором все группы признают право на инаковость других групп, чтобы сохранить собственное право на нее. При этом приходилось допускать, что «неправильных» ценностных ориентаций быть не может или они проповедуются группами, столь малочисленными и слабосильными, что ими можно пренебречь.

Интеграллисты отказывались от активного предъявления своего видения путей вывода России из кризиса, допуская, что даже разные регионы будут преодолевать кризис каждый по-своему. Интегралистам оставалось проповедовать благотворность единого политико-правового пространства страны, культурно-нравственного единения населения и возрождения чувства гражданственности. Для какой страны, для какого народа все это предназначалось, как виделась самостоятельность народа в определении своего бытия, чем оправдывалась миссия интеллигенции и обществоведов при таком брошенном положении народа – оставалось неясным? Интегралисты полагали пустить все на самотек, уговаривая конфликтующие стороны «не ссориться» и подумать об «общем благе». Разумеется, если считать Россию «полиэтнической и поликонфессиональной», конфликта не избежать, а интегралисты всегда найдут себе работу имитаторов общественного примирения. Ведь целью интегративной идеологии было «не утверждение того или иного политического и экономического строя, не гегемония той или иной культуры, а создание ненасильственных форм коммуникации между этими "частными" идеологиями».

Либеральные интегралисты выступали также и как этнисты, полагая возможным любое возбуждавшееся этническое самосознание как «сотворца» общероссийского самосознания. Соответственно и Россия виделась им не как полноценное государство, а как Общий Дом всех народов – скандальное общежитие, удерживаемое от поножовщины только уголовным кодексом. Точно также интегралисты надеялись приобщить к своему проекту и традиционные российские конфессии, которые называли «органичными», чтобы не перечислять действительно традиционные для России и не исключать нетрадиционные.

Превратное представление о ситуации в России вело интегралистов к пустоопорожней и ложной концепции идеологического конфликта: «Ось нынешнего конфликта в России (часто скрытая от наблюдения) – это не “социализм против капитализма”, не “патриотизм против космополитизма”, не “русские против инородцев” и т.п., а терпимость и нравственность, с одной стороны, против нетерпимости и

безнравственности – с другой. "Терпимость плюс нравственность" и оказывается, по сути, искомой формулой и общественной стабильности, и национальной безопасности, и будущего величия России». Идеологическая триада, которая была предложена как ядро интегрализма, мало отличается от какого-нибудь социал-демократического лозунга: общее отечество, социальная справедливость, достоинство человека и страны.

В результате «ненасильственного демократического согласования всех частных идеологий» интегралисты предполагали выработать внешнеполитическую «стратегию адекватного развития», стратегию «российского государственно-политического прагматического национализма». Что это за идеологический «фрукт», интегралисты так не разъяснили, намереваясь, по всей видимости, просто украсть слово «национализм» из патриотического арсенала и выхолостить его.

Практическая часть интегративистского проекта свелась к созданию консультативного органа, в котором бы представители системной оппозиции спорили бы с представителями партии власти, с благими пожеланиями о развитии местного самоуправления, «форумов гражданской активности», «пространства межличностного общения», восстановления образования и просвещения. В финале самое главное – «решать проблему систематического массового политического просвещения, рассчитанного на привитие терпимости к инакомыслию». Разумеется, этот проект закончился так и не начавшись, оставив нам пример тупикового «клубного» замысла о будущем России.

В постельцинской России «клубный» поиск идеологии велся исключительно в сфере консерватизма – либеральная догма оказалась к этому времени настолько непривлекательной, что ее уже невозможно было адаптировать к политическому тексту. Все значимые попытки непартийных политических манифестов могут быть отнесены к поискам консервативной реабилитации для России⁹⁵⁹.

В 2002 г. группа интеллектуалов попыталась обсудить и согласовать политическую позицию, основанную на концепции преемственности современной России от России дореволюционной. Обойдя остро полемичный в этой группе вопрос о значении Февральской революции 1917 г., удалось сформулировать декларацию «Преемственность и возрождение России»⁹⁶⁰, в которой были показаны основные контуры государственной и социальной доктрины. Задача упрощалась признанием необходимости возвращения к традиции, прерванной в 1917 г.

В декларации группы поставлен естественный вопрос, на который политические партии в подавляющем большинстве случаев стараются закрыть глаза, чтобы не отпугнуть от себя избирателя. Что такое Российская Федерация как государство? Как соотносит она себя с прежним коммунистическим режимом? Как соотносит она себя с тысячелетним опытом российской государственности? Какова стратегия страны в XXI в.? В самой декларации дана однозначная оценка советского периода как пагубного, безнравственного и противоправного. Отказ от подобной оценки со стороны нынешних российских властей обозначен как отмежевание от своего тысячелетнего исторического наследия и продолжение советского государства. Следствием является потеря исторических и государственно-правовых ориентиров, утрата морально-нравственных норм, иными словами – разложение нации. Уже сам факт, что преступления большевиков официально

959

Объединение	Общественный комитет «Преемственность и возрождение России»	Серафимовский клуб	Фонд «Русский проект»
Журнал	«Гражданин»	«Эксперт»	«Золотой лев»
Газета	«Гражданин»	-	«Великоросс»
Интернет-ресурс	-	www.serafim-club.ru	olmer1.newmail.ru
Концепция	Правопреемство	Спаси и Сохрани	Русский прорыв

⁹⁶⁰ Пора избрать путь// Гражданин, 2003. №2.

не осуждены и созданная ими правовая система не пересмотрена, означает, что русскость из национального самосознания не вытесняет советскость. Сохранение советской государственной символики и советской топонимики в Российской Федерации означает, что дореволюционная жизнь переносится в современность только как фольклорный декор. Отсюда нездоровый патриотизм, путающий два отрицающих друг друга Отечества – СССР и Россию. Самым важным в декларации оказывается «еретическая», с точки зрения либеральной публики, идея воссоздания исторического пространства России. Расчленение России по сталинским границам оценено как обман. Чтобы снять подозрения в призывах к аннексии, декларация уточняла, что она всего лишь требует «не закрывать вопрос о восстановлении территории исторической России, если того пожелают те или иные народы, входившие в ее состав».

Основными задачами декларация провозгласила 1) воссоздание в качестве основы государственности и правопорядка Основных государственных законов 1906 г. и всего законодательства до 1917 года путем постепенной подстройки к их духу и букве; 2) признание коммунистической идеологии и попыток оправдания преступлений большевизма против человечества – преступными деяниями, а борьбу с большевизмом – достойной уважения и признательности потомков; 3) реституция собственнических прав, имевшихся до 1917 г. (в обсуждении авторы декларации оговорили множество проблем, возникающих в связи с реализацией этой задачи); 4) смена имен и образов советской пропаганды на те имена, который достойны отечественной истории; 5) получение Россией возможности вернуться в свои исторические территории (с оговорками об уважении международного права).

Особенно важным в этой интеллектуальной инициативе было признание невозможности строительства основ государства «с чистого листа» – с 1991 г. Это означает выбор между советской и дореволюционной Россией. Не выбирая второго, власть выбирает первое. И это – совершенно неприемлемый выбор. При всех оговорках о влиянии современных условий «правопреемники» установили для себя факт, что историческая Россия – это и есть Российская Империя.

Минусом декларируемой концепции является яростный антисоветизм, переставший быть актуальным для подавляющей массы населения и для значительной части политической элиты. Отрекаясь от правопреемства также и Советского Союза, декларация пропускает тот факт, что историческая Россия и в СССР не умирала, что традиция подспудно сохранялась и прорывалась в жизненное пространство не только на бытовом уровне, где сохранялись основные нравственные императивы русского народа, но и в государственной жизни, прежде всего в пафосе индустриального и научного труда и в подвиге Победы.

Серафимовский клуб в январе 2003 г. поставил вопрос о российской государственности, исходя из иных вопросов: «Почему Россия остается экономически – а значит, и политически – несостоятельной страной? Почему за десять, а если считать с объявления перестройки в 1985 г., то и за все семнадцать лет реформ наша страна так и не встала на путь уверенного экономического развития?»⁹⁶¹ Экономический тупик объясняется комплексом страхов (перед голодом, коммунистической реставрацией, дефицитом бюджета, внешним долгом, падением мировых цен на нефть и т.д.). Все это сформировало «некую суррогатную идеологию, бюджетобесие, когда профицит государственного бюджета становится единственной целью и критерием деятельности», что привело общество к апатии.

Главная претензия, которую предъявляют «серафимы» власти – катастрофизм элиты: порожденная катастрофой, она способна лишь воспроизводить ситуацию катастрофы. «Наша вялая элита списала страну». «Если в России и есть причина, которая не позволит ей быстро развиваться, то только одна: безответственная и пораженчески

⁹⁶¹ <http://www.serafim-club.ru/about/0.shtml>

настроенная элита, которая боится ставить перед собой и страной серьезные цели – и даже не пытается использовать исторические шансы».

В то же время «Россия находится в выгоднейшем состоянии для начала экономического прорыва». При этом главные ресурсы развития – не только природные богатства, но и сформировавшийся слой предпринимателей, огромный рынок и мировой кризис (ввиду нарастающей деглобализации все страны становятся одинаково слабыми).

Возвращение России в историю требует ускоренной модернизации и мощного экономического роста. «Политика роста – это еще и ключ к становлению России и оформлению нынешнего рыхлого конгломерата разнородных земель и территорий в единый организм, ибо именно в условиях быстрого хозяйственного роста – и никак иначе – состоялись все известные нам сильные национальные государства».

Вместе с замыслом о смелых экономических решениях Серафимовский клуб декларировал необходимость наладить не только производство материальных благ, «но и единых национальных целей, единых национальных смыслов, единых национальных структур». «Необходимым условием роста экономического является подъем в области идейного производства» – нужен хотя бы «самый скромный набросок вида будущей России».

Сделав ставку на раскрепощение сил российского бизнеса и соединение целей государства и бизнеса, «серафимы» все же оставили для дискуссии вопрос о государственных реформах, которые реализовали бы эту задачу. Несколько месяцев таких дискуссий на страницах журнала «Эксперт» и в самом клубе оставили много неясностей, что свидетельствовало о явной торопливости инициаторов дискуссии в стремлении к публичности.

Фактически «серафимы» отвлеклись от идеи одного из своих основателей – Михаила Соколова, который еще в июне 2002 г. предварил клубное объединение своей программной статьей «Спаси и сохрани», оказавшейся более содержательной, чем выпущенный через полгода Манифест. Соколов поставил на повестку дня России консервативное устранение нигилистического подхода либералов к прошлому – советскому и досоветскому. В нашей истории есть, что спасать и что сохранять. При этом достойное спасения и сохранения оказывается продолжением дореволюционной традиции, уцелевшим при коммунистическом режиме. Таким образом, восстанавливалась связь времен, и Россия может вступить в наследство как полноправный субъект истории.

Увы, продуктивная идея о пути к продуктивному консерватизму постепенно была вытеснена примитивным экономизмом: метафорой страха и альтернативной метафорой роста. Страх как бы от либерализма, рост как бы от консерватизма. Клуб зашел в идеологический тупик, заменив вопрос о государстве и нации вопросом об экономическом росте. Сказалась как экономическая ориентация журнала «Эксперт», так и журналистская разбросанность изначальных учредителей проекта. Объединение вылилось в затяжные обсуждения, в которых участвовали люди с полярными взглядами или упорными «авторскими концепциями». «Серафимы» обсуждали Русский проект, который считали отсутствующим и начинали задумывать его с чистого листа. Между тем, соответствующие обсуждения прошли пять лет назад в другом объединении интеллектуалов – Фонде «Русский проект».

Группа «Русский проект» сформировалась относительно давно, ее ядро участвовало в создании идеологии Конгресса русских общин (1993 г., 1996 г., 1999 г.), затем – в издании журнала «Золотой лев» (с 1997 г.) и множестве других партийных, издательских и клубных проектах. Осенью 2000 г. в журнале «Российская Федерация» были опубликованы дискуссии группы вокруг концепции «Русский прорыв». В сентябре 2002 г. «Русский проект» подготовил и опубликовал «Примерную программу партии национального возрождения».

Предложенная идеология «основана на традиционных национальных ценностях России и её народа, его образа жизни, его верованиях и его стремлениях. Традиция имеет

преимущество перед любым нововведением уже тем, что она укоренена в народной жизни и демонстрирует свою жизнеспособность. Любые социально-политические и экономические эксперименты, напротив, требуют тщательной, всесторонней и предварительной проверки. Торопливые реформы, которые не раз проводились в России в XX веке, показали, что все они были основаны на стратегическом просчете или злонамеренных планах группировок, преследующих свои эгоистические интересы.

Гарантией против опасных для нашей страны реформ может быть только систематическая поддержка традиции – прежде всего, духовных основ существования общества, религиозного самосознания граждан и связанных с ним нравственных заповедей. Традиционные религиозные установления формируют духовный мир России, ее самобытность и уникальную роль в мировой истории.

В этом смысле в основе государственной идеологии должна лежать традиционная духовная культура. При этом никакая церковная организация не может быть элементом государственных политических институтов, тогда как государство находит свое духовное развитие через верования своих руководителей и граждан».

Главными приоритетами заявлены:

- обеспечение полноценной духовной жизни народов России, господствующее положение традиционной культуры;
- приоритет нравственно обоснованной деятельности над частным произволом, сочетание нравственного воспитания подрастающего поколения с профессиональным обучением;
- защита национальных интересов России во всех сферах, включая, прежде всего, экономическую, где должна быть обеспечена хозяйственная самодостаточность за счет устранения барьеров между российским производителем и российским потребителем;
- в международных отношениях ставка на государственное объединение народов, традиционно входящих в сферу российского влияния, имевших опыт совместной политической жизни и желающих воссоединения.

Утверждается, что важнейшим условием воспроизводства России в грядущих исторических эпохах является преодоление тягчайшего демографического кризиса, формирование стабильного интереса молодого поколения к созданию семьи, рождению детей, воспитанию их в духе исторических традиций и верности Родине.

Подобно «правопреемникам», «Русский проект» требует «преобразования государственного уклада в соответствии с национально-государственной традицией и глубинными интересами большинства граждан России, в согласии с волей наших предков и с учетом необходимости обеспечить будущие поколения наших потомков. Государство и народ не долго продержатся, если их не соединяют с прошлым и будущим духовные узы, если им уже не дороги те святыни, с которыми связано существование самой России». Конкретнее «правопреемников» выражена и идея воссоединения России: предлагается внести в Конституцию тезис о готовности «к полному государственному воссоединению с Белоруссией, Украиной и Казахстаном, а также готовности принять в состав России другие территории, население которых законным путем выразит такое желание».

Затрагивая сферу экономики, «Русский проект» дает гибкую концепцию развития, рассчитывая не только на раскрепощение бизнеса, как это делают «серафимы»: «Одной из срочных мер должно стать пресечение на территории России деятельности международных финансовых аферистов и незаконного вывоза капитала из страны в сочетании с созданием условий для инвестиций внутри страны – прежде всего, налоговыми освобождениями в ряде отраслей и повсеместным снятием с производства бюрократического гнета. Любые частнокоммерческие инициативы должны быть обусловлены национальными интересами России. Государственная политика должна обеспечивать норму прибыли в приоритетных отраслях производственного сектора выше, чем в сфере финансов и торговли. Предпринимательство должно рассматриваться как служение Отечеству, а не как инструмент частной наживы вне рамок закона». При этом

бизнес не является целью или даже основным средством достижения главных целей России: «В стратегическом плане Россия должна стать страной с приоритетами науки, культуры, образования, с масштабными проектами, направляющими национальную энергию на освоение новых областей производства, технологий и исследований (микроэлектроника, космос, биохимия и т.д.), на заселение и освоение Сибири и Дальнего Востока».

Выступая против разделения властей, в Примерной программе говорится об альтернативной системе: национальное собрание, земский собор, система референдумов. «Законодательная власть должна формироваться не по принципу представительства с мест, а по принципу учреждения Земским собором специальной коллегии профессионалов из доказавших свои способности граждан». «Демократию должно обеспечить не столько всенародное голосование по неясным поводам и за неизвестные и непонятные политические или правительственные программы, сколько организация земств, муниципалитетов, общин, автономий “малых укладов”. Избираемой может быть только верховная власть и местное самоуправление в его традиционных формах (территориальная община, профессиональный союз, казачий круг, земство и др.). Подконтрольность, подотчетность и сменяемость государственных чиновников может быть лишь тогда по-настоящему обеспечена, когда они будут назначаться по вертикали власти».

Ключевым элементом государственной политики в деле формирования нации Программа считает «духовно-просветительское и воспитательное формирование традиционного мировоззрения: веры, нравственности, целомудрия, идеалов патриотизма, служения Отечеству, трудолюбия, а также стремление к устранению противоречащих этим ценностям явлений».

Одним из параметров устойчивости нации является сохранение этнических пропорций, что требует управления миграционными потоками, «которые внутри страны должны быть направлены не на разрастание мегаполисов и сферы посредничества, а на освоение слабозаселенных территорий и укрепление производства. В сфере иммиграции – ограничивать распространение в России нетрадиционных или чуждых жизненных укладов и исключать образование замкнутых полукриминальных анклавов, сообществ, претендующих на контроль определенных территорий и видов деятельности. Необходимо немедленное упорядочивание иммиграционной политики: введение визовых и прочих специальных режимов контроля над передвижением населения в Россию из иностранных государств, прекращение засилья нелегальных иммигрантов в российских городах.

Вместе с тем, должен быть обеспечен свободный въезд в страну зарубежных соотечественников, в первую очередь из стран СНГ, свободное получение ими гражданства и социальной поддержки для обустройства на исторической Родине. Соотечественники, живущие за рубежом и сохранившие любовь к России и российские традиции общежития, должны поддерживаться государством, где бы они ни находились. Особым патронажем государства должны пользоваться российские граждане, проживающие за пределами нашей страны».

«Телесность» нации обуславливается демографической политикой и отношением власти к семье: «Помимо существенных изменений в содержании образования и воспитания, в системе контроля этих процессов со стороны общества и государства, должно быть обеспечено сохранение и приращение русского народа. Необходимо восстановление налога на бездетность при разумном его применении, а также система особых общественных привилегий для семей с числом детей три и более, где воспитание ведется в традиционном духе. Семья должна получить не столько социальный, сколько политический приоритет. Только живущие оседло и воспитывающие детей родители могут считаться достойными того, чтобы вручать им управление страной и решение важнейших вопросов государственной жизни. Голос семьи должен быть многократно весомей отдельных частных, индивидуальных голосов».

Отчасти воспроизводя идеи программных документов КРО, «Русский проект» выдвигает концепцию военной политики: «Воспроизводство традиционного уклада жизни невозможно без надежной его защиты и соучастия в деле этой защиты всех граждан. Речь, прежде всего, идет о постепенной замене действительной службы обязательной воинской учебой и краткосрочными сборами для мужчин и контрактной службой для профессионалов военного дела. Необходимо воссоздание системы военно-патриотического воспитания и военно-технической подготовки, развитие сети стрелковых и военно-спортивных клубов, военно-патриотических центров для брошенных детей на базе сокращаемых военных частей. Гражданин нашей страны должен быть подготовленным для защиты Отечества. Эта задача требует всеобъемлющей реформы военной организации государства, учитывающей новые типы войн, которые планируются и ведутся против нашей страны».

Отзываясь на общественную дискуссию, несколько лет муссирующую вопрос о праве гражданина на оружие, Программа утверждает: «Защита добропорядочного гражданина против посягательств на его честь, жизнь и здоровье может быть подкреплена снятием ограничений на владение и ношение оружия самообороны. Эта мера, как показывает мировая практика, резко снижает уровень уголовной преступности и повышает ответственность гражданина за свои слова и поступки, процент преступлений, совершаемых с помощью оружия самообороны, ничтожен, а польза от него для правопорядка в целом велика. При этом оружие самообороны сможет получить только психически здоровый и дееспособный человек, не имеющий судимостей».

Таким образом, «клубные» проекты поместили реперными штрихами континуум возможных политических проектов консервативного толка – от яростного отрицания советского периода через разборчивую отбраковку всего несносного в этом периоде и выборку всего достойного к идее «русского прорыва» – фактического аналога «консервативной революции» в российской интерпретации. Интеллектуалы продемонстрировали, с одной стороны, неготовность к пересмотру либеральной доктрины, а с другой – широкие возможности для консерватизации политического режима, получавшего в этом случае смысловое наполнение и оправдание своего существования. Научно-общественные проекты с разной глубиной проработки и разной степенью огласки были представлены. Власти оставалось делать выбор.

Консервативный прорыв

Для «левых» партий в политических установках чаще всего присутствует народ (с достаточно неясными характеристиками), государство практически всюду отвергается либо как источник несправедливости, либо как неприемлемый для построения справедливого общества институт. Либеральные партии, при всем их разнообразии, практически едины в отрицании государства перед лицом интересов отдельной личности, а также в своем игнорировании феномена нации и насущных задач обеспечения национального единства. Консервативные партии уделяют внимание и народу и государству, исходя из исторических традиций развития России. Наконец, «партии власти», составленные из чиновников, вольно или невольно находятся на позиции этатизма: государство для них сверхценно, а народу (нации) достаются малозначащие славословия или не предназначенные к исполнению обещания.

Позиция, выраженная в Посланиях президента В.В.Путина Федеральному Собранию, приближается к либеральным партиям в части определения места государства в экономической жизни, а в остальных сферах сближается с консервативными трактовками, оставаясь, тем не менее, ближе к концепциям либерального национализма. Вероятно, данное обстоятельство связано с общей тенденцией ослабления «классического» либерального отвержения государства и поисками в системе власти привлекательных моделей либерально-консервативного синтеза. Именно поэтому сохранялись общие либеральные установки в экономике и западническая ориентация во

внешней политике при усилении влияния на эти сферы задач национальной безопасности, национальных интересов и культурно-исторической самобытности развития России.

Послания 2002 и 2003 гг. последовательно повторяли мысль о необходимости административной реформы. На деле же все свелось к вопросу о «разграничении предметов ведения» между федеральным центром и регионами, а также к планам сокращения функций министерств. Новой концепции административного строительства Кремль не выдвинул и реальных сдвигов в сторону обеспечения эффективности госаппарата не предпринял. Во многом отсутствие результатов связано с тем, что все внимание высших чиновников в политической сфере заняла игра в «партию власти» и обеспечение подконтрольности парламента для автоматического принятия решений, предлагаемых правительством. Никакого выверенного новаторского взгляда на государство в системе власти так и не возникло, административная реформа захлебнулась, прежде всего на уровне ее идеологии.

В Послании-2003 была высказана ключевая идея о переходе к формированию Правительства парламентским большинством. Этой идеей президент Путин подчеркнул простую мысль о том, что власть будет формироваться гражданским обществом через партийную систему. Но такая модель формирования власти совершенно не сочетается с «бюрократическим камерализмом», утвердившимся в России. И это обстоятельство вынудило многих аналитиков к оценке Послания-2003 как оппозиционного⁹⁶². Это подтверждается также постановкой невыполнимой в прежней системе задачей создания новой Российской армии. Одновременно оппозиционность Президента расценивалась и как призыв к политическому классу вернуть себе контроль за государством и самостоятельно, без участия «административного ресурса» определить стратегические задачи России.

Державная риторика в Послании-2003 ориентировала Россию на возвращение в разряд великих держав, что означает общенациональный проект стратегического характера. Тем не менее, контуры этого проекта остаются в политических документах власти крайне расплывчатыми, либо вообще неуловимыми. Единственный штрих к стратегии – обращение Президента к российской элите с призывом к консолидации вокруг общенациональных интересов и общенациональных ценностей. К народу этот призыв был направлен в несколько ином ключе – в виде предупреждения о предстоящих рудах, жертвах и лишениях в качестве способа «воспроизводства» России как сильной страны.

Во многом стратегический выбор государственной модели России зависит от внешнеполитической ориентации. Она оставалась под руководством Путина проблемной и противоречивой: многократно декларируемый принцип сближения с Европой наталкивается на нежелание Европы сближаться и на общее настроение граждан стран ЕС – презрение к политическому великану, добровольно оскопившему себя. Россию хотели уважать, перестав бояться. Но усилиями политиков «новой волны» мощь России была произвольно рассеяна, и Россия перестала быть привлекательной для Европы – она стала для европейцев ничтожным и ненадежным партнером. Настолько ненадежным, что от него можно ожидать не только непостоянства в делах, но и ничем не объяснимого самоуничтожения. Прохладность отношений с США, сквозящая в официальных выступлениях, напротив, сопровождается интенсивным сотрудничеством и соперничеством – для США Россия остается последней независимой территорией, которую гипотетически невозможно уничтожить без риска быть уничтоженным самим. Для России же это необъявленное противостояние стало поводом для продолжения считать себя великой державой.

Указанные внешнеполитические обстоятельства, с одной стороны, делали внешнюю политику России двусмысленной, а с другой, – прямо подталкивают правящие группировки к обособленной политической линии, дистанцированной как от Европы, так

⁹⁶² Послание Президента: директива для властей и программа для избирателей. М.: Открытый форум, 2003.

и от США. Естественный приоритет, декларированный, но так и не прочувствованный российской властью, состоит в упрочении отношений с постсоветскими протогосударствами, все еще годными для воссоединения. И первый проблеск понимания этой проблемы прозвучал в Послании-2003, когда Президент фактически признал ошибку с инициированным его администрацией радикальным ужесточением миграционного законодательства. «Окно в Россию» должно сохраниться, прежде всего для зарубежных соотечественников – об этом Президент не сказал, но именно этот вывод может быть единственным следствием сделанных заявлений.

Симптомом изменения отношений России к своему «ближнему зарубежью» стал демарш Госдумы против режима Туркменбаши в июне 2003 г. – первый акт государственной власти в защиту российских граждан за рубежом, которым в данном случае грозила насильственная туркменизация. Пусть президент и не поддержал жесткости тона депутатов, его собственная риторика уже начала склонять чашу весов в сторону иного политического режима, ничего общего не имеющего с нынешней «партией власти».

Другим симптомом стала знаковая публикация брошюры Дмитрия Rogozina «Мы вернем себе Россию»⁹⁶³, которая как бы договаривала за Президента то, что он не мог высказать по должности и опасался обсуждать вне официальных церемоний, предвидя ответные меры номенклатуры, сложившейся в закулисную партию при Ельцине. Новые идеи исходили от человека, ставшего одним из близких доверенных лиц президента, – спецпредставителя Президента на переговорах с ЕС по проблемам Калининградской области, активного участника международного диалога по Чечне, российского переговорщика по широкому кругу вопросов в международных делах в европейских делах.

Внешняя лояльность сочинения известного политика (одного из немногих или даже единственного, получившего известность значительно позднее эпохи «бури и натиска» начала 90-х годов XX в. – только на излете этого десятилетия) вовсе не означала бесконфликтность – лояльность проявлялась к одной из неявных фракций, существующих во власти, которой предлагалась идеология «третьего пути», «младоконсерватизм», тредиционализм. Новая идеология противопоставлялась номенклатурной ориентации официально пропрезидентской партии «Единая Россия», включившей в себя все слои российской бюрократии, включая ее московский отряд, жестко противостоящий Путину в 1999 году.

Новизна стиля и содержания новой идеологической доктрины не отвергала, а в полной мере принимала традиционные национальные ценности: «Национальная идея существует для России, какой ее Бог дал в нашей истории. История сложила российские народы в единую гражданскую нацию, где всем ясны основные нравственные императивы». Поэтому «настоящую идеологию *достаточно усвоить*, взяв главное из сокровищницы интеллектуальной традиции России».

Rogozin назвал альтернативные национальному бытию России проекты своими именами – утопиями, отрицающими отечественные традиции, игнорирующими достижения отечественной общественно-политической и экономической мысли. Национальной идеей России в противовес этим выдумкам должен был стать национальный эгоизм, сочетающий в себе приверженность к традиции, традиционным ценностям русского народа. «*Консерватизм* – это идеология национальных интересов, национальной самобытности, собственного пути, собственного лица России, гражданского достоинства и исторической гордости, не унижающей другие нации

⁹⁶³ <http://rogozin.ru>

воинственностью, высокомерием и чванством. Консерватизм – это прагматическая политика национальной перспективы, национального подъема России»⁹⁶⁴.

Либеральные и «левые» идеологии должны быть отодвинуты в сторону волей нации и властью государства – только таким образом может быть открыт простор стратегическим инициативам. Либерализм и коммунизм – из этих «двух зол» Рогозин предложил «не выбирать ни одного». Что же касается «партии власти», то ей Рогозин противопоставил партию государственников, которая, очевидно, не состоялась в проекте «Единая Россия».

Признак обретения здоровых консервативных ценностей, забытых в советские и либеральные времена, Рогозин увидел в том, что общество и политическое руководство страны пришли к пониманию незыблемости единства России как основополагающего принципа государственности. Следом приходит гармоничное сочетание общегражданской солидарности с собственным государством и родовой солидарности со своим племенем. Этнос не нация, а потому не имеет право на собственную государственность и собственную территорию. Ему достается лишь национально-культурная автономия и местное самоуправление в рамках единого и неделимого государства. «Слава Отечества – общий девиз всех народов России. В этом смысле русская идея не разъединяет, а объединяет народы России. Но выполнение исторической миссии невозможно без сохранения самой русской нации, ее культуры, истории, бытового уклада, экономического пространства, без национального сплочения русского народа, в том числе и той его части, которая оказалась за рубежами сократившейся национальной территории».

Рогозин первым из известных политиков предпринял усилие восстановить в правах понятие «великоросс» – племенное имя «собственно русских». Это позволяет ему разумно выстроить концепцию нации: «Современный русский человек – это и великоросс, и малоросс, и белорус, и все остальные обрусевшие жители Евразии». «Российская нация присутствует в мире в лице своих соотечественников и граждан – носителей нашей культуры и традиций, представляющих интересы России».

Во главу угла государственной концепции Рогозин поставил задачу административной реформы. Но не такой, которая пробавляется лишь уточнением функций министерств. Рогозин говорит о разделении политических и технических функций государственной власти и строгой процедуры взаимодействия и ответственности исполнителями этих функций. Таким образом, материализуется многократно провозглашенная Президентом Путиным война бюрократии – иными словами, война политического класса и антибюрократической «фракции» госаппарата против бюрократизированной «фракции» номенклатуры.

Рогозин фактически выдвигает цензовый принцип формирования политического класса: «Простейшим принципом дифференциации является добропорядочность гражданина – отсутствие судимости, наличие семьи и детей, опыт службы в армии, определенный образовательный уровень и прочее. Такому выборщику действительно не заморочишь голову, он знает свои интересы и связывает свою судьбу с судьбой страны».

Много внимания Рогозин уделяет армии – основе существования нации, упорно повторяя идею народной армии, которая включает все население к подготовке на защиту Родины. Он повторяет мысль, звучавшую еще в документах КРО: «Система контрактной службы должна быть дополнена национальной системой всеобщей воинской учебы, которая станет основой для создания всенародной армии, бойцы которой обычно живут дома, учатся и работают, регулярно проходя армейские сборы».

В новой консервативной доктрине Рогозин точно ставит задачи воспроизводства нации: ее «телесности» (демография, семья, здоровье и достаток) и идентичности (защита от неконтролируемых потоков мигрантов, восстановление контроля над СМИ).

⁹⁶⁴ В первоначальном тексте, опубликованном рязанской газетой «Вектор», речь шла о консерватизме. В более позднем и массовом издании автор заменил этот термин на «традиционализм», несколько смягчив очевидную конкуренцию за владение знанием об истинном консерватизме.

Фактически систематизировав и продолжив президентские мысли, мельком блиставшие в Посланиях Федеральному Собранию, Рогозин поднял флаг новой политической эпохи и дал политическому классу шанс услышать за шумом собственных словесных баталий мелодию небесных сфер.

Таким образом, Послание Президента РФ 2003 года, не озвучив ясно ни одной государственностроительной идеи, стало, по сути дела, отправной точкой для постепенного изменения не только риторики власти, но и государственной политики России. Путин, действуя исключительно риторически и не имея эффективных рычагов управления, смог ускорить процесс изменений в общественном сознании, становящегося восприимчивым к консервативным идеям и восстанавливающим приоритет национальных ценностей и государственного величия.

Культ создает нацию

Идея нации может быть возведена к античному общинно-родовому строю, который весь пронизан родственными отношениями вплоть до картины мира, где также обнаруживались, как отмечает А.Ф.Лосев, отношения родителей и детей, братьев и сестер, дедов и внуков, предков и потомков. «Решительно все на свете: и солнце, и луна, и звезды, вплоть до неорганической и неодушевленной природы, – все это понималось как всеобщая родовая община»⁹⁶⁶. И таким образом все стороны действительности воспринимались в античности как единый родовой (национальный) миф. Демифологизация родовых отношений приводит к примитивным этноцентристским установкам, из которых исчезает Космос и его «вечное возвращение».

Рене Жирар отмечает ничтожество философских концепций «общественного договора», будто бы основанного на разуме, здравом смысле, взаимном расположении, правильно понятых интересах и т.д. Эти концепции в конечном итоге есть мифологическое утаивание (в смысле современных политических мифов) роли учредительного насилия над «чужим» и попытка обойти вопрос о том, как складывается родовая общность и насколько она важна, чтобы современная социальность не рассыпалась в результате внезапных всплесков нерегламентированного (вне ритуального), а потому и неостановимого насилия.

Как говорит Рене Жирар, наличие внешнего врага, который обнаруживается внедрившимся в общину, жизненно необходимо для выживания общества. Если нет внешнего врага, если границы группы непроницаемы для «чужого», то начинается разгул насилия, которое не может быть перенесено на врага. Если в настоящий момент внешний враг отсутствует, общество должно придумать его для себя и держать на случай забвения социальной иерархии. Тогда этот суррогатный «враг» становится своеобразным магнитом, который должен притянуть к себе насилие и освободить от него общину. Так формируется религиозный ритуал очистительного жертвоприношения.

Известно, что Афины содержали фармаков, которые умерщвлялись или изгонялись в случае каких-либо бедствий или распрей. Фармака водили по городу, предоставляя гражданам для проявления всех возможных форм оскорблений и издевательств. Затем проходила церемония избавления от фармака. Очистительная жертва умиротворяла и объединяла общество, превращаясь в священную. Отсюда и значение греческого слова *фармакон*, которое обозначало (в зависимости от дозы) яд и противоядие, болезнь и лекарство.

Важно, чтобы жертва была не посторонней и не чужой общине. Только тогда миссия объединения в религиозном ритуале будет исполнена: «Ритуальные жертвы потому выбираются вне общины или сам факт их выбора потому сообщает им известную посторонность, что жертва отпущения уже не кажется такой, какой была в действительности: она перестала быть таким же, как *другие*, членом общины. (...) Однако из вышесказанного не следует делать вывод, будто жертва отпущения должна восприниматься как просто посторонняя общине. Она есть не что иное, как *чудовищный двойник*. Она впитала в себя все различия, и в частности различие между внутренним и внешним; кажется, что она свободно циркулирует изнутри наружу и обратно. Таким образом, она образует между общиной и священным сразу и соединительную и разделительную черту. Чтобы исполнить роль этой необычайной жертвы, ритуальная жертва, в идеальном случае, должна бы принадлежать *сразу* и общине, и священному. Теперь мы понимаем, почему ритуальные жертвы почти всегда выбираются из категорий не откровенно внешних, а маргинальных — из числа рабов, детей, скота и пр. ...нужно,

⁹⁶⁵ Автор благодарен участникам форума на электронном сайте журнала «Эксперт», обсудившим с ним проблематику русского служения и сделавшим ряд ценных замечаний по данной теме.

⁹⁶⁶ Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М., 1998.

иными словами, иметь жертву не чересчур постороннюю этой общине, но и не чересчур близкую. ...Ритуальная мысль хочет принести в жертву существо, максимально похожее на *чудовищного двойника*. Маргинальные категории, откуда часто вербуются жертвы, соответствуют этому требованию не идеально, но они составляют наилучшее к нему приближение. Их, размещенных между «внутри» и «снаружи», можно счесть принадлежащими сразу и тому и другому»⁹⁶⁷.

Чудовищное «Оно» (двойник) в ритуале должно быть выявлено как «чужое» и изгнано, т.е. ритуал повторяет процесс взросления, формирующий способность к различению социальной иерархии и чувства родного. Не случайно именно пограничное состояние для учредительной жертвы является обязательным.

Даже если жертва отпущения берется из общины, сам факт выбора есть способ отделить ее от общины и специальными средствами превратить в удобоваримую – насилие над этой жертвой коллективно признается священным и не подлежащим отмщению: «...жертвенная подготовка в широком смысле предстает в двух весьма несхожих формах: первая пытается сделать жертву более внешней, то есть пропитать священным жертву, слишком включенную в общину; вторая, напротив, пытается теснее включить в общину жертву, слишком постороннюю. ...И, чтобы устранить имеющийся в нем [чудовищном двойнике] избыток человеческого, чтобы удалить его от общины, его заставляют совершить инцест и пропитаться пагубным священным во всех мыслимых формах»⁹⁶⁸. «Жертвенная подготовка делает жертву достаточно похожей на «естественные» и непосредственные мишени насилия, то есть на соплеменников, чтобы обеспечить перенос агрессивных тенденций, чтобы, одним словом, сделать жертву «привлекательным» объектом, но в то же время эта жертва остается достаточно чуждой и отличной, чтобы ее смерть не угрожала вовлечь общину в цикл мести»⁹⁶⁹.

Древняя Греция дает нам образец родового определения дихотомии «свой-чужой» – более сложной, чем простое разделение на друзей и врагов. За внебрачную связь с чужеродцем у древних греков полагалась смерть. Поиск чужого Кидоса (божественная субстанция, проникающая во все, что принадлежит человеку и обеспечивающая его успех и величие) означал бесчестие для Родины. Род для древнего грека был священен. Единичное Я, индивид для него было бессмысленным, человек без рода, «без закона, без очага» просто не имеет Кидоса и Олбоса (мистическое вместилище благословения богов, славы в человека), т.е. не является человеком как таковым.

В то же время, как пишет Курт Хьюбнер, в гомеровской «Илиаде» прослеживается почти родственная связь, возникающая через подарки. Вместе с подарками происходит обмен субстанциями родов, границы между семейством и близкими друзьями расплываются – их объединяет мифическая связь. Мифические и кровнородственные связи переходят от друга к другу. «...семейство – это постоянная мифическая субстанция, которая однажды перелилась от божественного существа (бога, героя) в человека и теперь передается из поколения в поколение. К поколению, по мнению греков, принадлежат не только родственники и их владения, но нередко и все то, что стоит в тесной связи с ними, особенно через обмен подарками. Мифическая первосубстанция семейства присутствует у священного домашнего огня, поэтому возвращающийся домой победитель кладет туда своей венец, чтобы число Олбос и Кидос предков увеличилось на Олбос и Кидос побежденного. Владение семьи защищается как жизнь, потому что члены семьи идентифицируются с ним»⁹⁷⁰.

Таким образом, «свой» не всегда был кровным родственником, но соединялся с родовой общностью через мифическое. Точно также «своими» образовывался союз государств, город и полис, наполняемые некоей мифической субстанцией – обычно

⁹⁶⁷ Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 329.

⁹⁶⁸ Там же. С. 329–330.

⁹⁶⁹ Там же. С. 336.

⁹⁷⁰ Хьюбнер К. Истина Мифа. М.: «Республика», 1996. С. 108.

приписанной к очагу какого-либо божества. Жесткая родовая конструкция через миф дополняется переходной формой, которая допускает превращение «чужого» в «своего», отбирая из множества «чужих» только тех, кто комплементарен роду, союзу родов, городу и т.д. (Такого рода отбору служит, например, особая функция Зевса, который в одной из своих ипостасей мог выступать в роли защитника чужаков - *Hikesios*).

Культовое формирование нации в целом не замыкается на кровном родстве, хотя имеет его в своей основе, как общество выстраиваясь в виде аналога большой семьи. В то же время культурный стандарт означает возможность превращения кровного родственника в чужого нации. Изгоняя отчужденного, нация вырабатывает и подтверждает определенный культурный стандарт. Обычай создает национальную идентичность, в которой родственная связь лишь намечает преимущественную возможность примкнуть к общности «своих». Воспитание детей происходит вне зависимости от родовой включенности – они находятся вне отношений «свой-чужой». Взрослость наступает с обряда превращения в «своего» и наложения ответственности, означающей этический закон, преступление которого грозит отторжением от общества и превращением в «чужого».

В христианской традиции эта схема культового формирования нации не меняется, лишь дополняясь помимо концепции служения гражданина, концепцией служения самого общества и государства. Государство в любом его виде становится замыслом Творца о человеке и фазой Божественного Домостроительства. Сообразно пониманию своего служения оценивается и человек, и государство. Служение государства – прежде всего в охранительной функции («начальник не напрасно носит меч» – Рим. 13, 16), обеспечивающей одновременно и общественное, и частное служение. Священность этой функции создает пафос служения государству как богоугодному делу, преисполненному культурных смыслов.

Фиксируемый по всему миру процесс возрождения религиозности имеет очевидное продолжение в возрождении нации в христианских народах. Культ, порождает нацию во всех ее формах. В том числе и в безгосударственной (в исламе). Но в христианской, а в особенности в православной традиции, нация без государства немыслима. Соответственно, православная религиозность создает устойчивые предпосылки для возрождения русской (российской) нации и упрочения российской государственности. Она становится тем более перспективной для судеб России, что в современном мире продолжается кризис прежних идеологий, а православные ценности фиксируются (пусть пока еще и очень смутно) как важные для личности у трех четвертей граждан Российской Федерации.

Верность и измена

Верность Родине содержит три типа солидарности: кровнородственную, политическую и культурно-религиозную. Отступление хотя бы от одного из типов солидарности означают измену.

Если предать кровнородственные связи, мы получаем мыслимую модель государственности, которой все равно кого иметь в подданных. Для России такой подход выражен, например, достаточно распространенным убеждением, что наши пространства следует заселить китайцами, которые трудолюбивы и непритязательны. А русский народ, будто бы, к этому делу не способен – глуп, ленив и безынициативен.

Отказ от политической солидарности означает отступление на обочину современной жизни Родины – что произошло с белоэмиграцией, которая была нелояльна к Советам, но продолжала любить Россию, которую потеряла. Некоторые деятели эмиграции стремились найти союзников в борьбе с Советами среди врагов России. Они перешли грань именно здесь, не заметив, как нелояльность к текущему политическому режиму превратилась в измену протяженной национальной традиции. Большинство же

эмигрантов первой волны было солидарно со своим народом во время тяжких испытаний войны.

Наконец, измена традиционному культурному стереотипу делает несущественными другие грани национальной солидарности. Антихристианские группировки – среда для вербовки антирусских сил. Здесь мы можем фиксировать не только богоотступничество, но и пренебрежение к собственным предкам – православным христианам во многих поколениях.

Богоотступничество дает пример измены, через который можно понять другие типы предательства. Имя Каина связано с предательством не потому, что он стал первый в человеческом роде убийцей, а потому, что в этом убийстве сконцентрировано все – забвение Бога, измена родству, зависть, гордыня...

Альтернатива предательству – вера и верность. Вероотступничество означает, что один тип солидарности будет противопоставлен другим, а предательство высших смыслов бытия оправдано утверждением низших смыслов. Так, измену вере могут оправдывать солидарностью с нацией, а измену нации – солидарностью с государством, государству – солидарностью с классом или партией (не важно, партия ли это большевиков или партия «общечеловеческих ценностей»).

Измена вере сегодня стала не всем понятной, но остается ясным смысл измены Родине. Такая измена не прощается и не имеет срока давности. Потому что в образе Родины сливаются все типы солидарности – Родина одновременно и семья (кровное родство), и нация (культурно-историческая и политическая общность), и государство (политическая общность, устройство жизни нации).

Только Смута и революция могут поколебать представление о Родине, когда нация раскалывается и каждая из ее частей пытается создать свое государство – восстановить, прежде всего, политическую солидарность. При этом возможна гражданская война, в которой брат идет на брата и на народ ложится каинова печать. Следствием становятся возмездие во всенародных муках и мук перед необходимостью искупления.

Измена февраля 1917 г., совершенная группой думских лидеров, поощряемых разложившейся элитой, сменилась всенародной изменой Родине со стороны большинства народа с октября 1917 г. и «триумфального шествия Советской власти». Февраль 1917 г. последний российский Государь отметил в своем дневнике скорбными строками: «кругом измена и трусость и обман». Возмездием были гражданская война и тяжелое время политических репрессий.

В современной русской истории мы имеем другой пример всенародного предательства, последовавшего за длительным периодом смутного состояния национального самосознания. Это двухактная драма 1991 и 1993 г. Разрушение государства стало возмездием за измену Родине – страна раскололась на множество государств с собственными внутренними «солидарностями», была унижена гордость народа, привыкшего считать себя великим, впали в гнетущую бедность две трети населения.

Предательство представляет собой расчетливый или случайный срыв социальной связи с нанесением внезапного ущерба стороне, которая считала себя защищенной. Обязательства, ранее казавшиеся незыблемыми, внезапно обрываются и наносится «удар в спину». Это может быть разрыв отношений между отдельными людьми (личная измена), самопредательство (измена как внутреннее разрушение личности). В политике это разрыв отношений между человеком и обществом (группой, партией, корпорацией, нацией) либо, самопредательство народа – предательство предков и потомков, исторической миссии.

Личное предательство в отдельных случаях становится образцовым и символически включается в самосознание нации как краткий сюжет. Это предательство богоотступничества, связанное с эксцессом зависти (Каин) или соблазном выгоды (Иуда), измена народу и государю (Мазепа), измена другу и покровителю (Брут), измена под страхом смерти (Власов). Нигилистические круги, подрывающие нацию, иногда берут эти

символические сюжеты, придавая им позитивные оценки, очаровывая таким образом своей новизной. Так, фигура Брута оказывается символом борьбы за свободу против тирана в либеральных кругах Европы, она пользуется популярностью у российских мятежников-декабристов. Имя Мазепы, ставшее ругательным среди малороссов («клятая мазепа»), в современной элите Украины превращается чуть ли не в имя национального героя. А фигура генерала Власова среди нынешних российских либералов оказывается «неоднозначной» только потому, что он декларировал свою борьбу со сталинизмом.

В каждом случае нигилизм находит оправдание. Для Брута свобода оказывается оправданием вероломного убийства, заговора и мятежа. Мол, для свободы все средства хороши, а по отношению к тирану не может быть никаких моральных запретов. Говоря о Мазепе забывается его участие в работорговле, и крепостное закабаление 100 тысяч украинских душ, и народная война против нового хозяина мятежного гетмана – шведского короля. Зато возносится будто бы имевшая место борьба за свободную Украину против «москалей» и «имперских амбиций» России. Власов рисуется мужественным человеком, решившимся бросить вызов Сталину, но обманутым немецким командованием. Из отвратительного примера измены пытаются сделать пример трагический.

Предательство возникает в момент выбора. Генерал Власов, не попади он в такую ситуацию, мог окончить войну прославленным героем. Ведь он был успешным профессионалом – командовал дивизией, осенью 41-го – 37-й армией, оборонявшей Киев, потом – 20-й армией в контрнаступлении под Москвой. В ситуации выбора он оказался в результате стратегической ошибки военного руководства страны, переоценившего значимость победы под Москвой и бросившего армию в неподготовленное наступление – 2-я ударная армия Власова должна была играть основную роль в снятии блокады Ленинграда в марте 1942 г., но попала в окружение и до конца июня методично уничтожалась противником.

В плен Власов сдался, возможно, вспоминая о расстрелах верхушки Западного особого округа Красной Армии, на которую Сталин свалил вину за катастрофические неудачи первых дней войны. Измена стала для Власова альтернативой неминуемой смерти – либо в сталинских застенках, либо в болотах, где погибла его армия. Самооправданием он выбрал борьбу со Сталиным и подготовку Русской освободительной армии (РОА) для нового русского порядка, который будто бы придет на смену коммунистическому режиму вместе с победой немцев.

Попытка создать РОА из пленных красноармейцев так и не состоялась – была сформирована одна дивизия, которая приняла участие в боях только в апреле 1945 года под Франкфуртом-на-Одере, а позднее власовцы сыграли заметную роль в освобождении Праги от гитлеровцев. Последний эпизод указывает на расщепленность сознания предателей, выраженное в непоследовательности службы и непонимании задач служения. Смутное представление о Родине у советских людей (достойным существования признавалось только социалистическое Отечество) создавало такое состояние, в котором плен в первые дни войны был следствием растерянности, а служба во власовской армии в последние дни войны – неверной и вялой. Расщепленность сознания предателей осознавалась гитлеровцами, которые продержали Власова под домашним арестом до 1944 г., опасаясь, что его деятельность выйдет из-под контроля или будет иметь свои скрытые цели.

Этот пример объясняет, но не оправдывает предательство. Потому что в плену русские люди в массовом порядке отказывались от сотрудничества с врагом, в том числе и крупные военачальники, которые могли быть обласканными фашистским командованием. Генерал Карбышев предпочел превратиться в каменную глыбу, а генерал Понеделин плюнул в лицо Власову, пришедшему к нему в камеру агитировать за РОА. История Понеделина показывает, в какой ситуации испытывалась верность Родине – в 1945 г. генерала освободили союзники, после передачи советским властям он был арестован, в 1950 г. расстрелян за измену Родине, в 1956 г. реабилитирован.

Смутное состояние сознания среди советских людей проявлялось не только на войне. Ярчайшим примером массовой измены военных вождей СССР было предательство в 1991 г. со стороны командующих военных округов, которые все, как один, присягнули власти сепаратистских режимов в бывших союзных республиках. В дальнейшем череда предательств отмечена такими фигурами, как генерал КГБ Калугин, сдавший американцам своих товарищей из агентурной сети, как последний шеф КГБ Бакатин, раскрывший американцам систему «прослушек» в посольстве США в Москве.

Предательство захватывает общество в условиях смутного времени, когда многие попадают в ситуацию выбора. Человек слаб, а жизнь полна соблазнов и ужасов. Перед выбором между смертью и предательством устоять крайне трудно. Это под силу только героям. Но нация не может простить предателей, чем бы оно ни объяснялось – даже опасностью смерти. В то же время гибельным для нации было постоянное испытание граждан на верность у последней черты. Чем тяжелее испытания для нации, тем больше в их предательства. Хотя, с другой стороны, и героизма тоже. Судьба нации определяется тем, что перевесит. Взвешивать судьбу нации на весах истории – дело опасное, оно не должно входить в привычку. Историческая случайность может уничтожить нацию, и подвиги ее героев окажутся примером для других наций, а не для собственной нации. Отсюда следует задача для «отцов нации» – воспитывать героев, но не стремиться их испытывать. Жизнь сама предложит испытания. Авантюризм, бросающий героев нации в пекло войны, исключительно опасен. Это достаточно ярко показала история гитлеровской Германии, которая рассчитывалась на тысячелетие, а сошла на «нет» за одиннадцать лет.

Задача политики национальной безопасности состоит в том, чтобы беречь нацию от измены – по возможности исключать ситуации, в которых измена возможна как выбор, сделанный перед лицом тяжких испытаний или манящими соблазнами.

Русское служение

Божественное предопределение, которое Макс Вебер считал преддверием капиталистической этики, – это вовсе не другое определение служения. Служение выбирают вольно. Это у кальвинистов предопределение считалось данным от рождения. На этом, кстати, возникла американская нация. Для них служение и предопределение оказались тождественными и лишенными всякой традиции. У русских служение может быть понято только из традиции, а детерминированное предопределение противно русскому стремлению к воле. Традиция тем ценна, что в ней можно увидеть Откровение и по нему судить о служении.

В своем служении мы ученики своих предков, которые лучше нас знали, что такое быть Божиими соработниками. А отсюда следует национальная идея. Нет речи о буквальном повторении порядков XIX в. или более ранних. Только о восстановлении традиции в современности. Вспомнить все и применить к современности необходимое.

Служение связано с предопределением, как и закон природы, с нашей свободой воли. Служение можно выбрать или отринуть, или же выбрать его неверно. Результат в этом смысле предопределен как причина и следствие. Это равно и для отдельного человека, и для народа. Но нет изначального, от рождения данного предопределения, которое гарантирует программу частной или общенациональной судьбы.

Служение России познается и осуществляется через любовь. В то же время беспредметная любовь может обернуться самообманом – можно думать, что любишь Русский мир и народы, живущие в нем, но вывести из этого толстовщину или «право наций на самоопределение вплоть до отделения». В русской традиции служение обретает предметную форму в конкретной задаче воссоздания России в ее живом, органически-историческом, русском наследственном понимании государства при отвержении несостоятельных мечтательно-доктринерских, рассудочно-формальных, отвлеченно-

сверхнациональных, массово-утилитарных и искательно-демагогических постановок вопроса о будущем нашей страны⁹⁷¹.

Из любви к живой и современной России появляется национальная диктатура, а вовсе не демократия либерального типа. Либеральная демократия противоположна и противна национальной демократии. Противопоставлены также монархия и либеральная демократия. Национальная демократия монархией предполагается, утверждается и укрепляется.

Монархия органична России. Ведь кто-то должен стеречь власть, чтобы она достойно и надежно стерегла русскую землю. Уповать на гражданское общество, значит разрушать концепцию служения, единую для нации. Уповать на «глас народа – глас Божий» корректно только тогда, когда это является частью религиозной идеи, «мнением земли». Без монархии это упование будет ложным.

Концепция служения наиболее ярко вписана в монархическую традицию. В то же время современные условия не дают шансов для восстановления монархии «с сегодня на завтра». Монархия в России предполагает, по меньшей мере, православие государства (при формировании нации, предполагающем свободное существование в России других традиционных конфессий – ислама и буддизма), а также аналога сословно-корпоративного устройства общества (т.е. осознанного служения социальных и профессиональных групп). Монархия пока для нас, как точка на горизонте. Как любят говорить монархисты, монархию надо выслужить. И в то же время монархические принципы организации власти возможны и действенны и без монархии. Предметное служение означает не ожидание монархии, а служение монархии – обустройству путей ее восстановления. Русское служение связано с монархическими принципами, среди которых главенствующий – принцип ранга.

Общественная природа человека связана с социальной и политической иерархией. Одним приходится смирять свои амбиции, другим раскрывать их в полной мере. Одним доводится быть правителями, другим – подданными. В традиционном обществе и то, и другое равнодостойно и связано с личным служением. В «демократическом» все это представляется несправедливостью и приводит к тому, что социологи называют «сублимированной гражданской войной». И если в стабильном обществе сублимация достаточно глубока и «война» становится скорее метафорой политического процесса, то в современном российском обществе это не только сломанные судьбы, но и горы трупов – в Чечне, в заказных и разбойных убийствах, в семейных драмах...

К.П.Победоносцев заметил различие современного и древнего понимания демократии: в Греции и Риме равенство граждан понималось как равенство права на служение в соответствии со своими способностями. Таким образом к правительству призывались лучшие, способнейшие. Современные же демократии превратили служение в службу, призвание в служебные назначения, задачу спасения народа в задачу отягощение его множасьими доходными должностями⁹⁷².

Сегодня существует множество «приватизаторов» ценностей Русского мира, и есть негодование русских людей на похитителей Родины. Стоит спросить себя, а во что должно это негодование выливаться? В упование на волю Божью? Для монаха или ребенка это вполне уместно. А для здорового русского мужика? Для него обязательна деятельность с целью «отбирать наши пяди и крохи», «сокрушать врагов Отечества». Это и есть правильно понятое служение и очерк политического проекта, который Иван Ильин излагал именно как задачу служения: «властно внушаемая солидаризация народа; авторитетное воспитание автономного правосознания; созидание национального

⁹⁷¹ Ильин И.А. Основы государственного устройства, М.: Парогъ, 1996. С.43.

⁹⁷² Победоносцев К.П. Московский сборник. Новая демократия <http://rus-sky.com/gosudarstvo/pobed9.htm>

будущего через эксплуатацию национального прошлого, собранного в национальном настоящем»⁹⁷³.

В этой методологической доктрине звучит идея ранга и идея собирания сил властью национальной диктатуры, бесспорно необходимой для преодоления либеральных догматов разрухи, разобщения и расчленения; для последующей передачи русского будущего не в руки тирана, а в руки авторитетной власти, избранной в соответствии с русскими традициями национальной демократии.

Семен Франк в книге «Смысл жизни» ставит проблему соотношения Божьего и человеческого миров и долга по отношению к каждому из них. Служение Богу, по видимости должно противоречить служению государству. Ведь нельзя служить Богу и мамоне, а служение Богу требует отречения от мира. Так оно и есть, но только для монахов. Для мирянина возможно и должно быть мирское служение, оправдывающее мирскую жизнь через ее связь с Богом. Мирянин «вынужден идти к Богу и осуществлять смысл своей жизни *сразу двумя путями*: пытаться по мере сил неуклонно идти прямо к Богу и возвращать в себе Его силу и вместе с тем идти к Нему через переработку и совершенствование мирских сил в себе и вокруг себя, через приспособление их всех к служению Богу»⁹⁷⁴. Приходится одновременно и отречься от мира и «любовно соучаствовать в нем» – отречься от богомерзкого и благоустраивать мир, приближая его к богоугодному.

Непонимание и отвержение этой двойственности, так распространенное в России среди современных православных верующих, боящихся политики, означает ложное отречение от мира, которое «состоит в фактическом пользовании жизненными благами, в рабстве перед миром и желании вместе с тем не соучаствовать действенно в жизни мира и наружно не соприкасаться с его греховностью. При таком мнимом отречении человек, стараясь воздерживаться от внешнего соучастия в грехах мира, но пользуясь его благами, грешит на самом деле *больше*, чем тот, кто, соучаствуя в мире и обременяя себя его греховностью, стремится в самом этом соучастии к конечному преодолению греховности. Война есть зло и грех; и монах, и отшельник правы, воздерживаясь от участия в ней; но они правы потому, что они не используют никогда плодов войны, что им не нужно уже само государство, ведущее войну, и все, что дает человеку государство; кто же готов воспользоваться ее плодами, кто еще нуждается в государстве, тот несет ответственность за его судьбу и, греша вместе с ним, менее грешит, чем когда умывает руки и сваливает грех на другого».

Уподобление монаху, который отстраняется от служения государству ради целостного служения непосредственно Богу, является для мирянина мнимым и греховным. Иными словами, отказ от служения государству для мирянина означает выхолащивание религиозности и обращение к образу поведения рьяного, но неумного неопита, не замечающего, что имитационным уподоблением жизни в скиту он умножает мирские пороки.

Надо понимать, что «*ограждение добра* вовне, создание внешних благоприятных условий для его обнаружения и действия вовне, и *обуздание зла*, ограничение свободы его проявления есть важнейшее вспомогательное дело человеческой жизни. То и другое есть дело, с одной стороны, права, как оно творится и охраняется государством, дело нормирования общих, “общественных” условий человеческой жизни и, с другой стороны, повседневное дело каждого из нас в нашей личной, семейной, товарищеской, деловой жизни. Итак, внешнее воспитание воли и содействие ее внутренней работе через ее дисциплинирование в действиях и поведении и создание общих условий, ограждающих уже осуществленные силы добра и обуздывающих губительное действие зла, вот к чему сводится мирское дело человека, в чем бы оно ни заключалось». Что, собственно, и составляет краткую формулировку концепции православного служения.

⁹⁷³ Ильин И.А. Основы государственного устройства, М.: Парогъ, 1996. С. 44.

⁹⁷⁴ Франк С. Л. Смысл жизни http://www.yabloko.ru/Themes/History/frank_sz8.html

Франк пишет о двух сходных заблуждениях, понимающих служение противоположно, разным образом искаженно: «Смешивая внешнюю жизнь с внутренней, не понимая отличия между ограждением добра и обузданием зла, с одной стороны, и осуществлением добра и истреблением зла – с другой, одни утверждают, что всякая внешняя, общественная и государственная деятельность бесполезна и есть зло, а другие, напротив, считают ее равноценной внутренней деятельности, мнят через нее осуществить добро и истребить зло. Толстовцы и фанатики внешних дел права и государства разделяют *одно и то же заблуждение*: смешение сущностно-творческого с вспомогательно-механическим делом, внутреннего с внешним, абсолютного с относительным. *Отвергать* относительное на том основании, что оно – не абсолютное, и признавать его, только превознося его до значения абсолютного, значит одинаково не понимать различия между абсолютным и относительным, одинаково не признавать относительной правомерности относительного, значит в *том* или *другом* отношении нарушать завет: “воздавайте кесарю кесарево, а Богу Богово”. *Правы* толстовцы, когда говорят, что насилием нельзя сотворить благо и истребить зло, что всякая внешняя, механическая и государственно-правовая деятельность не осуществляет и не может осуществить самого главного: внутреннего обретения в себе добра, внутреннего свободного воспитания человека, нарастания любви в человеческой жизни. Но они *неправы*, когда поэтому считают всю эту сферу жизни и деятельности ненужной и губительной. Если нельзя на этом пути сотворить благо, то можно и должно *ограждать* его; если нельзя истребить зла, то можно *обуздать* его и не позволить ему разрушать жизнь. Никакие самые суровые кары, вплоть до смертной казни, не уничтожают ни одного атома зла в мире, ибо зло в своем бытии неуловимо для внешних мер; но следует ли из этого, что мы должны давать убийцам и насильникам свободно губить и калечить жизнь и не имеем права их обуздать? Государство, справедливо говорит Вл. Соловьев, существует не для того, чтобы осуществить рай на земле, оно бессильно совершить это; но оно существует, чтобы предупредить осуществление *ада* на земле. *Правы* фанатики общественности и политики, когда утверждают, что обязанность каждого гражданина и мирянина заботиться об улучшении общих, общественных условий жизни, действительно бороться со злом и содействовать, хотя бы и с мечом в руках, утверждению добра. Но они *неправы*, когда думают, что с мечом в руках можно истребить зло и сотворить благо, что *сами добро и зло* творятся между собой в политической деятельности и борьбе. Добро *творится* – и только им, его творением, зло *истребляется* одним лишь духовным деланием и его осуществлением – любовным единением людей. Никогда еще добро не было осуществлено никаким декретом, никогда оно не было сотворено самой энергичной и разумной общественной деятельностью; тихо и незаметно, в стороне от шума, суеты и борьбы общественной жизни, оно нарастает в душах людей, и *ничто* не может заменить этого глубокого, сверхчеловеческими силами творимого органического процесса. И никогда зло не было истреблено, как уже указано, никакими карами и насилиями; напротив, всегда, когда насилие мнит себя всемогущим и мечтает действительно *уничтожить* зло (а не только обуздать его, оградить жизнь от него), оно всегда плодит и умножает зло; свидетельство тому – действие всякого террора (откуда бы он ни исходил и во имя чего бы ни совершался), всякой фанатической попытки истребить зло в лице самих злодеев; такой террор рождает вокруг себя новое озлобление, слепые страсти мести и ненависти. “Аполитизм”, пренебрежение к общественной жизни, нежелание мараться соучастием в ней есть, конечно, недомыслие или индифферентизм; а религиозный аполитизм есть лицемерие и ханжество. Политический же фанатизм и рождаемый им культ насилия и ненависти есть слепое идолопоклонство, измена Богу и поклонение статуе кесаря».

Подводя итог, Франк фиксирует роль государства в служении православного человека Богу: «В нашей внешней деятельности мы правомерно *служим* лишь тому, что само *в свою очередь служит* – именно служит – абсолютному Первоисточнику жизни – Богу и тем самым служит осуществлению нашей подлинной жизни. Служение

государству правомерно постольку, поскольку само государственное бытие воспринимает себя и воспринимается нами, как служение Богу, поскольку мы сознаем, что оно имеет свое, относительное и подчиненное, назначение в осуществлении подлинной жизни; материальные заботы правомерны, поскольку они служат не обогащению, как самоцели или как средству к наслаждениям и довольству, а лишь поддержанию жизни в той мере, в какой оно действительно необходимо при нашей слабости и действительно содействует нашей духовной жизни (мера эта очень невелика, и потому богатство, по слову Спасителя, затрудняющее нам достижение Царства Небесного, вредно). Ни в каком труде и интересе, ни даже в естественной любви к человеку, которая, возникая в нас, всегда манит нас надеждой на какое-то высшее удовлетворение, нельзя усматривать последней цели; все это разумно и осмысленно, поскольку само есть средство и путь, поскольку само есть *служение* – именно содействие тому внутреннему служению, которое одно только и есть подлинное осуществление нашей жизни».

В начале XX в. патриотическое движение, формирующее русскую нацию, дало множество интеллектуальных и пропагандистских достижений, пробивавшихся сквозь напластования либеральных и нигилистических воззрений, бюрократизм чиновничества и праздное дворянство.

Современный исследователь русской истории О.А.Платонов упоминает любопытный документ, имевший хождение в тот период в патриотических кругах – так называемые «Десять заповедей российских»:

«1. Возлюби Родину – Русь больше себя, ибо она есть мать и кормилица предков твоих, тебя самого и ближних твоих, ибо она для тебя есть путь к совершенству.

2. Защищай, не щадя жизни своей, единство, целостность, свободу и честь Руси, ибо она есть священное твое Отечество, твоя милая Родина; ибо она – это ты сам.

3. Благоговейно чти и оберегай Веру Православную, Самодержавие Царское и первородство Народа Русского, ибо три они создали Русь.

4. Помни о любви к брату твоему русскому и помогай ему – ты обязан помочь, ибо одной с ним плоти, крови и духа.

5. Стремись всеми силами твоими к выполнению и применению первородства русских, власть и богатство России должны принадлежать нам.

6. Будь нравственен и не посягай на имущество брата твоего.

7. Будь дисциплинирован и соблюдай законы и правила Русской власти.

8. Помни о врагах Родины: противодействуй им всеми твоими помыслами и силами, не имей с ними никакого дела и помни, что даже копейка, перешедшая от тебя к врагам, усиливает их, ослабляет русских и есть измена Отечеству.

9. Работай, трудись и учись; стремись к познанию природы и окружающего тебя мира и к владычеству над ним.

10. Помни, что без единой Верховной власти – нет единого государства; без господствующей нации – нет крепкого неделимого государства; без силы – нет господства; без борьбы – нет победы»⁹⁷⁵.

Также в форме заповеди кратко сформулировал свой «проект России» Иван Александрович Ильин:

«Восстановить Россию можно только верным, предметным служением ей, которое должно быть почувствовано и осмыслено, как служение Делу Божьему на земле. Нас должен вести религиозно осмысленный патриотизм и религиозно вдохновлённый национализм. Тогда наше служение найдёт верные пути и примет верные формы.

Вот основы такого служения.

1. Для всех политических событий есть единое и единственное мерило: русский национальный интерес – интерес Богу служащей России.

⁹⁷⁵ Цит. по Платонов О.А. История русского народа в XX веке. Т. 1 Гл.33 http://www.pereplet.ru/history/Author/Russ/P/Platon/XXvek_1/XXvek_144.html

2. Россия ни на кого не похожа. Она – единственна в своём роде во всей истории человечества. Она идёт своими путями. Ей необходимы свои, особые формы жизни.

3. Чтобы найти эти новые русские формы бытия, надо созерцать Россию, как она есть – её дары, её опасности, её нужды, её силы и слабости; и из неё самой создавать верный уклад, и строй, и порядок, и власть, а не навязывать ей иностранные, инославные, иноплеменные трафареты.

4. Россия – наше отечество, наша родина, русское государство – выше классов, сословий, партий, выше всякого лица и всякого рода, выше династии. Мы призваны ей служить, а не она нам. Она не есть «механическая сумма» лиц, партий и классов. Она есть живое, органическое, таинственное и священное единство и зовёт нас всех к совестному единению перед Лицом Божиим.

5. Русский – это тот, кто принимает Россию огнём своей любви и служит ей волею и делами. И вот, русский русскому – брат в предметном служении Родине как общему и совместному Делу Божию на земле. Мы свободны объединяться с нашими братьями по единочувствию и единомыслию. Но всякая непредметная вражда, борьба и ненависть между русскими – запретна и позорна.

6. У русских должна быть ныне одна главная забота: во всём и всегда искать ответственного служения, стоять «безо всякие шатости» и дело России «нести честно и грозно». И так служа, искать себе таких же людей, верных, крепких и грозных. С ними договариваться до полного доверия. И беспощадно жечь в себе всякие непредметные и противоположные побуждения.

Таковы основы борьбы за национальную Россию»⁹⁷⁶.

Два приведенных фрагмента сближают задачи гражданского и научного служения, фиксируя главное в ориентирах гражданской жизни и одновременно методологию научного понимания России и русской нации, проектирующую шаги власти и общественной активности в державостроительных делах.

Национальный проект России в современных условиях обозначается только как ответ на либеральный и социалистический гуманизм и соответствующие им проекты национального расслабления – в первом случае за счет низложения и приватизации государства, во втором – за счет его бюрократизации и разорения популистскими подачками. Консерватизм, напротив, требует самой решительной мобилизации, концентрации ресурсов для проекта национального прорыва и выхода из бесперспективного состояния. Адекватные меры для Русского прорыва, бесспорно испугают тех, кому государство кажется анахронизмом, а нация – лишней сущностью.

Зафиксируем несколько принципиальных расхождений между консервативной и либеральной доктринами:

1. Проект воссоединения. Либералами он понимается только как стремление к силовой оккупации бывших союзных республик, в крайнем случае – как непомерные и непосильные имперские амбиции. Консерваторы же понимают, что воссоединение русского мира должно произойти не только в сознании, но и в естественных территориальных границах русской цивилизации. Освоенное русскими пространство должно управляться одним законом. Все ресурсы пространства должны быть направлены на благополучие русских людей. И главное – нужно сосредоточить все ресурсы на решении ключевых национальных задач. Только тогда будет предотвращен дальнейший раздел России. Консерватору ясно, что геополитический «обмылок» РФ нежизнеспособен. Поэтому территориальный вопрос для русских – вопрос жизни и смерти. Отношение к нему – точный тест на адекватность мировоззрения.

2. Проект национальной диктатуры. Либералы страшатся любых ограничений придуманных ими свобод. Любой режим чрезвычайного положения кажется им полным крушением «демократических завоеваний» и мечты о либеральном царстве свободы.

⁹⁷⁶ Ильин И.А. Основы борьбы за национальную Россию, гл.30.

Консерваторы, при нелюбви к эгоизму тиранов видят в ужесточении режима власти возможность изживания измены в обществе и государстве. Монархический принцип требует самодержавного правителя – предтечи русского православного Государя.

3. Проект воссоздания национального достояния. Либерал, приверженный идее священности частной собственности, отождествляет любой передел собственности с гражданской войной. Он не желает видеть бандитского передела, идущего у него на глазах, не желает восстановления традиционных отношений предпринимателей и государства. Консерватор понимает неизбежность такого передела собственности, который изымает у вора украденное и помещает вора в тюрьму. Олигархический режим противен консерватору, а потому консерватор будет всегда выступать в союзе с малым и средним предпринимателем против назначенных прежним режимом олигархов и обслуживающих их бюрократов. Консерватор не против частной собственности и точно знает, что олигархическая собственность – не частная и не является капиталом, работающим над увеличением прибыли и национального достояния. Олигархи предельно неэффективны для экономики. Их мнимая эффективность возникает за счет кромешной неэффективности системы хозяйства страны, насажденной ими в эгоистических целях.

4. Проект воссоздания национального самосознания русских. Либералы называют это возбуждением межнациональной розни, русским фашизмом и даже расовыми предрассудками. Консерваторы, напротив, видят, что национальное самосознание – средство самосохранения нации. Невозможно терпеть ситуацию, когда русские – желе, в котором плавают айсберги «малых народов». Консерваторы прекрасно знают, что русская солидарность равна русской социальности – сети русских социальных и экономических корпораций. О прочих интересах можно говорить только, когда защищены русские интересы. А они могут быть защищены только обособлением этих интересов от интересов денационализированной публики и этнических группировок.

5. Проект национализации массовой информации. Либерал считает, что это наступление на свободу слова. Консерватор – что это пресечение свободы сквернословия и развращения национального духа. России нужна русская информация, создающая русские смыслы. Поскольку результат в политике обусловлен не только качеством идей, но и размахом их тиражирования и трансляции, русский прорыв может быть обеспечен только при условии ликвидации антинациональной журналистской корпорации, захватившей ведущие СМИ. В этих условиях свобода СМИ – это не гражданская свобода, а корпоративная привилегия, предоставленная враждебным русскому делу элементам.

Консерваторы убеждены:

- территория исторической России наша по праву и питает каждого из нас, нашу семью, наш род;
- либерализм и социализм – болезни национального духа, разрушающие социальную и природную среду вокруг каждого из нас;
- русская солидарность – источник спасения, опора и условие личного и общерусского успеха;
- русская информация – альтернатива тлетворному духу «демократической» свободы слова, разрушающей нашу способность мыслить о своих интересах.

Традиционалист-консерватор отрекается от мира сего – от непригодного для жизни нации социального мира, мешающего служению нации во имя Божиего. Консерватор стремится отречься от безобразий социально-политического разложения. Акт отречения – это отказ поддерживать догмы нигилистического мракобесия.

Слабость либерального проекта в том, что единственный шанс его выживания – недвижность России. Именно поэтому либералы делают все, чтобы не состоялся экономический рост, не было бы никаких прорывов ни в одной области жизни, а только одна «системная работа во многих направлениях». Любое движение России тут же заставит переписать всю повестку дня мировой политики. И тогда конец либеральной

догме и возвышенным волной нигилизма политикам. Тогда конец их хозяевам – олигархам и негодным чиновникам.

Консерваторам нечего бояться – нынешнее положение смертельно опасно, любое другое положение дает шанс выжить. Поэтому не страшны ни диктатура, ни реквизиция собственности олигархов, ни закрытие большинства газет, ни отключение телевидения. Консерватора привлекает как раз то, что кажется врагам России чудовищным. Все «чудовищное» – в пользу России, все приемлемое для них – против России. Консерватор боится только гибели России, а потому расчетлив и осторожен, но не бездействен. Его решительность в понимании того, что «надо перегнуть, чтобы выпрямить», что промедление и поиски консенсусов убивают решение проблем.

Консерватизм русского служения явно снижает социально-политические опасности (т.е. стабилизирует систему в смысле ее устремления к определенной точке равновесия). Вопрос об эффективности государства консервативного типа более сложен вследствие вопроса о критерии эффективности. Если под эффективностью понимать самоидентичность нации и государства, то точка равновесия приближает нас к такой самоидентичности. В некотором другом ракурсе оказывается, что «точка» вовсе не точка, а определенная траектория. Тогда эффективность связана с приближением к этой траектории, т.е. с пониманием традиции, существующей во времени. Идея служения указывает направление к этой «траектории», путь компенсации отклонений от нее. То есть служение надо понимать как тип деятельности, приближающий к живой традиции.

Живость русского национального организма находится в прямой связи с жизнеспособностью русского государства. В нынешних границах оно тщетно пытается наладить управление и хозяйство. Тысячи километров прозрачных границ и миллионы угнетаемых вне этих границ соотечественников вызывают к проекту воссоединения русских земель.

Воссоединение исторической России многим сегодня покажется мечтой, пусть даже сочувственно принимаемой, но не связанной с реальностью. Но мечта нереальна если в ней нет никакой реалистичной задачи. Мечта же русского человека о воссоединении своей земли не раз становилась явью. Русские всегда возвращали отторгнутые территории. И русские правители России стремились к возвращению русских земель, никогда в мыслях не имея превращать государство в федерацию. Это можно считать законом истории, который современные русские должны взять на вооружение.

Единство Русского мира как цивилизации важнее, чем торопливые проекты объединения без внятной национальной идеи. Что толку в объединении, если за формальным решением последуют бедствия, новое отчуждение и утрата русской идентичности? Разумеется, ключевая задача – самоидентичность (аутентичность) Русского мира, русских людей, т.е. связь с исторической традицией. В то же время переход от пустопорожних разговоров об интеграции к продумыванию проекта воссоединения показало бы созревание политической элиты, ее приверженность национальным интересам, а не частному успеху в глобализирующемся мире. Снос хотя бы одной из внутрирусских границ стал бы для русских настоящим национальным праздником и сам собой уже обеспечил бы взрывной рост национального самосознания.

Смысловое наполнение Русского мира – дело людей культуры, мыслителей, творцов. Дело политиков – политическое действие. Для русского политика нет более высокой цели, чем воссоединение Русского мира Русским государством. И пусть начинается все с конфедерации, но только потом перейти, к нормальному унитарному государству.

Для русских федерация – нелепость, нет никаких причин для федерации ни в Российской Федерации, ни в будущем общерусском государстве. Если хотим объединяться, то к чему нам фиксировать внутренние границы? Или чтобы опять потом разъединяться, если что-то кому-то не понравится. Внутренние федеративные границы –

это уступка нетвердым элитам, которые торгуются между собой, делят территорию и шантажируют центральную власть.

Воссоединение России не может терпеть сепаратизмов, уступок русского культурного и политического пространства, конфедерации или федерации. Пример таких уступок в создании «обновленного Союза» – разрушение единой страны. Например, в силу фанатизма украинофилов, которым хотелось всюду видеть вывески на местном наречии, для чего не пожалели единого для русских народов государства. Теперь измену общерусской перспективе пытаются затушевать репрессиями против русского языка в образовании, литературе, журналистике, науке. Ради этого отбрасывается даже такой примитивный интерес политических элит, как конкурентоспособность подконтрольного общества – лишь бы оправдать сепаратизм, свое отпадение от общерусского дела, свое предательство изначальной Руси.

Принять возможности России как федерации сепаратизмов – некоего евразийского союза – нельзя. Хочешь быть русским – будь им. На этом должно быть основано сближение и слияние постсоветских государств. Русский гражданин считает соотечественника русским уже за то, что его Родина – единая и неделимая Россия. Ему невозможно увидеть ничего русского в проектах воссоединения самостийников, в создании альянса удельных номенклатур, лишенных национальной солидарности..

Децентрализация разумна лишь в рамках единого государства, понятая как рассредоточение жизненной энергии народа по всей его земле; чтобы не было заброшенных уголков, заросших бурьяном полей и умирающих поселений. В этом смысле благотворна идея отдаления государственной поддержки от столицы и угнетение ее гипертрофированной хозяйственной и управленческой функции. Тем более, что Москва перестала быть русским городом, ее исторический центр изуродован; здесь организовано расхищение национального достояния русских, а сами русские изгнаны из престижных районов и высокодоходных отраслей хозяйства, угнетены криминальными инородческими кланами. Нерусский город в России не должен быть ни политической, ни культурной столицей, его жители не могут быть уважаемы и любимы.

Простейший принцип, известный еще от Платона и Аристотеля: равное для равных, неравное для неравных. Равенство для неравных – явная несправедливость. Правовое равенство – вовсе не равенство персон, а лишь равенство прав/обязанностей в одинаковых диспозициях (правовых ситуациях). Развитие права связано с умножением диспозиций, а значит, с актуальным неравенством (выявляются неравенства по все большему числу позиций). Чтобы чувствовать себя равноправным и свободным, человеку достаточно выбирать диспозицию со знанием неизбежно и однозначно следующей за ней санкции (или новой диспозиции). Разумеется, не всякому дано освоить любую диспозицию в силу природных задатков и воли других людей. Каждому народу дана своя диспозиция в собственной истории, отсюда – неравенство. Учесть его в праве очень сложно, но вполне возможно в реальной политике.

Физиологическая предрасположенность народов к тем или иным видам деятельности – самая простая и очевидная вещь, чтобы ее подробно обсуждать. Но есть предрасположенность судьбой народа, историческим наследием. Если его отбросить, то не будет народа, а будут только разные люди, между которыми невозможно братство, потому что они не знают, что это такое. Если же знают и пусть осваивают все, что угодно, все достижения народов. Неплохо и русскому быть специалистом в немецкой философии. Но при этом ему пытаться быть немецким философом вовсе не нужно, бессмысленно и глупо.

Граница тонка – свое служение понять очень трудно. Но в том и суть вопроса, что без понимания служения нет и никакого труда богопознания и самопознания.

Фашисты вовсе не потому ошиблись со служением германской нации, что объявили о своем особом статусе. Они ошиблись, не поняв, что у других исторических

народов тоже есть свое служение, которое могло быть угадано точнее, а также методом утверждения приоритетности своего служения, поддавшись авантюрным планам.

Помысел о служении собственного народа наиболее важен для личности, в нем меньше риска совершить ошибку. Но и о других народах, чтобы понять собственное служение, стоит рассуждать и стремиться к пониманию их служения. Что, собственно, тот или иной народ свидетельствует своим существованием? Или это все только биологизм, бессмыслица, «предыстория»?

Ясно, что народы различаются и по своему масштабу. Есть исторические народы, а есть народы, которые историю в крупномасштабной действительности не делают. Но у них есть тоже свое служение, может быть меньшего масштаба, но вполне уважаемое, если его смысл верно понят. Оправдано русское великодержавие, но смешна заносчивость малого народа, пытающегося делать вид, что несет больше, чем возложила на него История. «Несмешное» служение наверняка есть у каждого народа. Но не всякому народу такое служение отводит заметную роль в мировых делах и даже в масштабе государства. И нет в этом ничего унижительного до тех пор, пока представителям малых народов открыты пути имперского служения.

Может ли быть навязывание служения одного народа в ущерб служению другого народа? Может. Например, когда моему служению противостоит иное, несовместимое с ним. Тут я могу ошибаться. Но могу и не ошибаться. Если у меня есть основание считать, что не ошибаюсь, то свое служение я могу и навязывать в формах, которые уже существовали в прежней жизни нации и государства. К примеру, когда народ в целом понял свое служение так, что помешал служению моего народа, играющего государственно-строительную или мироустроительную роль. Немцам, ведь, доказали, что они не так поняли свое служение, когда доверились Адольфу Гитлеру, и чеченцам, когда они отдали свое будущее Джохару Дудаеву.

Что такое служение нерусских народов в России? Например, для татарина, что значит иметь достойное служение в России? Быть братом русскому, быть навеки с русским народом! И не верить «степной истории», согласно которой из Казани делают макет отуреченного города с ордынской организацией власти. Служение для татарина, как и для представителя любого другого этноса, – знать свой род, культуру и язык. А в России – еще и русскую культуру и русский язык. И еще любить русскую Россию, русскую государственную традицию как источник культурного богатства собственного рода и защиту от инородных веяний и вмешательств.

Для русского народа служение – быть удерживающим мир от распада, несущим свет Православия. Для братских русскому народов служение – быть помощником, соратником в русском служении. Добавлять к русскому служению то, чего русским не хватает, а у других народов имеется. Можно и с иной верой быть в России строителем жизни во исполнение триады Вера-Нация-Держава.

Служение определено историей. Пересмотр ее означает, что некоторым коренным народам попытаются доказать, что в противовес Православию они должны нести заблудшим «неверным» свет Ислама. И тогда исторический ислам в России обернется неофитским – агрессивным, террористическим, антигосударственным. Безусловно, для русских и всех достойных граждан России служение состоит в том, чтобы пресечь такую тенденцию.

Государствообразующий народ уже своим языком и нравом определяет неравноправие. Если армия в России не русская, а некая «евразийская», то быть ей битой всеми и всюду. Багратион и Барклай – кровно нерусские люди и совершенно русские полководцы. Суворов – кровно смешанный тип, но совершенно русский национальный гений. Отрадно, что современная армия России все более русифицируется, во многом благодаря православному ритуалу. Если же снова в армию насильно введут «многонациональность» с «многоконфессиональностью», она погибнет.

Восстановление русскости России идет от самой жизни не только в армейских делах. В «проекте» России армия остается русской, литература – русской, музыка – русской и т.д., все это имеет уже мировое значение. Если единой государственно-национальной концепции нет, то общность политической нации рассыпается на слабосильные локусы, внеисторические народности. Только русскость России обеспечивает другим народам перспективу самобытности и безопасности.

Русскость России восстанавливается и свободной русификацией нерусских народов – если нет склонности к языку своего рода, утрачены связи с традиционной культурой и осталось только имя и воспоминания о предках, то нет ничего позорного в обрусении. Хуже, если вместо обрусения возникает американизация, растворение в городском космополитизме. Это как раз отказ от служения, которое само собой разумеется, что человек должен иметь и большую, и малую родину. Если малая родина забыта, то ее надо создавать для своих детей. Что плохого в том, что татарин по происхождению становится родоначальником русского рода? Ведь альтернатива – это отсутствие рода и забвение себя самого в своих потомках.

Народы очень трудно сделать субъектом или объектом права. Дурной пример такой попытки – закон о репрессированных народах. Если действительно что-то компенсировать им, то надо точно установить принадлежность к тому или иному народу, т.е. ввести процедуры установления этнической принадлежности по объективным факторам (генетическим, краниологическим, дерматоглифическим и др.). Если этого нет, то в «репрессированные» записываются все, кому не лень. То же происходит и с программами преодоления демографического неблагополучия коренных народов России. Выделять этнос по паспорту или самоопределению, нелепо.

Есть национальные особенности и есть общечеловеческое, отраженное в национальном. Часто за общечеловеческое выдают то, что ни в одной нации не находит отражения. Поэтому национальное противопоставляется общечеловеческому как вредный фактор. Эта злонамеренная концепция более всего вредит России, где русское начинает выдаваться за отрицание общечеловеческого, т.е. бытия других наций. Это и есть либеральная «ересь», не желающая признать, что общечеловеческое на нашей национальной почве выражено только русским, а русское – неотъемлемая часть общечеловеческого.

Национальная традиция и общечеловеческая «ересь»

В результате интеграции мира в единое мировое хозяйство, возникновения явных признаков его монополярности и определенной девальвации национальных суверенитетов, поставлены под вопрос не только сама теория государственности, но и государство как таковое. Притом, что государство по-прежнему остается важнейшим субъектом мировой политики, может сложиться впечатление, что оно само становится инструментом глоболизирующихся элит, которые подминают наметившийся с крушением колониальных систем всплеск национального самосознания. Такие сомнения особенно касаются нестабильных регионов, где государство ослаблено. В частности, и Россия затронута процессами, размывающими национальное самосознание – прежде всего, распространением ценностей западного мира, нивелирующим самобытность российской государственности, сравнивающим ее с усредненной «общечеловеческой» массовой культурой. Глобализация становится вызовом Традиции.

Либеральный ответ на этот вызов состоит в готовности подчиниться ему, пустив дела человеческие на самотек, уповая на природу человека, которая будто бы все поставит на свои места и создаст органическое существование. В действительности, такой ответ означает лишь одно – вымирание подчинившихся своей «природе» наций и замена их исторических ниш иными нациями, ответившими на вызов глобализации импульсом сосредоточения и творческого усвоения новых условий жизни в своих «национальных проектах».

Глобализация будто бы подсказывает, что все национальные ценности относительны и становятся достоянием всего человечества. На самом деле, они могут только потребляться всем человечеством, но никак не создаваться. И если немцы, к примеру, не смогут сохранить немецкую философию как свою национальную традицию, то вместо нее появится какая-нибудь подделка или другая великая философская школа, затмевающая немецкую.

Смещение и глобализация открывают великие возможности для многих. Но они не открывают традиции и даже превращают освоение собственной традиции в проблему. Японцу в результате глобализации можно быть неплохим специалистом в немецкой философии, но никогда не стать немецким философом. Глобализация дает также возможность стать «просто философом» в «общечеловеческом» смысле, лишив себя причастности к Откровению в собственной национальной традиции. Этот выхолощенный профессионализм может быть тиражирован далеко за пределами собственной нации. Но он никогда не будет распространен за пределы времени, в течение которого рассылаются разного рода симулякры, поток которых в современности, казалось бы, смыкает национальные культуры.

Глобализация имеет два измерения – внешний политический проект будущего мира без наций и государства; и везде фиксируемый процесс, связанный с изменениями условий жизни, невиданным развитием коммуникаций. Первое может быть расшифровано как угроза государству и нации, которую надо парировать, второе – как вызов (сколько их уже было в прежние эпохи!), который надо принять и использовать. Критерием выбора пути для нации и государства является сохранение идентичности России своему культурно-историческому типу. То есть, служение России, «проект» России.

Концепция служения, безусловно, выглядит опасной для «общечеловеков», которые не желают иметь над собой никакого нравственного закона, в пределах не только церкви, государства, традиции, но даже и семьи. Опасность для всех остальных заключена не в концепции, а в ее негодной интерпретации, т.е. в неверном понимании служения (национального, сословного, должностного и пр.). Концепция служения менее опасна в сравнении с идеологиями, поскольку не имеет экстремистской интерпретации. Не может быть такой ситуации, в которой нельзя подобрать служения. То есть, для концепции служения нет лишних людей, если они не отменяют ответственности за свои поступки. Личные амбиции, кроме того, смиряются некоторыми ограничениями «вертикальной мобильности», социального эксперимента, частной инициативы – ограничениями, проистекающими из традиции, что и есть консерватизм. Он может быть революционным лишь в части накладывания ограничений, проверенных временем. Чем и отличается от прочих форм революционизма, которые стремятся все ограничения снять и выдумать какие-то новые.

Индивидуалистическая концепция государства, увы, все больше забирает общественное сознание в свои сети. «Государство – это мы!» – восторженно декларируют заплутавшие под руководством горе-идеологов граждане. «Государство – это мы», – твердо уверены молчаливые чиновники. Между тем, государство не состоит из случайных прохожих; государство, по утверждению практически всех значительных мыслителей, не есть сумма одиночек. Государство также не исчерпывается административным управлением, а зачастую и губится им. Пусть для одних философов государство есть монополия на легитимное насилие, для других – бытие нравственной идеи, для третьих – политически организованное общество. В рамках всех интеллектуальных традиций государство ни в своем начале, ни в расцвете, ни на закате не суммирует индивидов. Если утверждать обратное с последовательным упорством, то дойдем до биологизма – главное, что индивиды представляют собой обособленные организмы. Тогда и муравейник будет государством. Поэтому «атомарную» модель государства следует считать просто досужим вымыслом, случайной торопливой идеей. Что же касается «административной» модели

государства, то в ней есть злонамеренный замысел перерождения государства в учреждение и изгнание из него всяких признаков корпорации граждан, изгнание нации.

Государство само по себе – личность. Но ее наследник – нация, которая поднимается над государством и делает его своим. Если государство возвышается над личностью нации, оно теряет личностные свойства и превращается в механизм, где только индивид и может считать себя личностью, но будучи при этом ничтожной и одинокой перед всемогуществом бюрократии.

Правовая концепция государства путает многих – в ней уже есть социальное пространство, но индивид все же остается главным действующим лицом. В рамках права не происходит ничего существенного, правом история не делается, а только оформляется. Мы и в повседневной жизни живем обычаем и привычкой, но не по законам, о которых в большей степени ничего не знаем. Нас ведет социальный и нравственный закон, а не правовая норма. Закон несовершенен, он то и дело попадает в руки бюрократии и становится оружием, направленным против граждан. Тогда защита государства и нации состоит в том, чтобы прервать тупиковую правовую традицию. В этом и есть революция возрождения, которая в отличие от преступного мятежа всегда противоположна модернизации. В истории России возрождение всегда так обновляло жизнь, что страна шла вперед семимильными шагами, попытки же насаждения умозрительных идеологий (включая правовое их оформление) оборачивались смертоубийствами и застоєм – утопические модернизации, обоснованные потоком словоблудия, не раз заводили страну в тупик.

Такое государство, которое устраивало бы индивида, никогда не будет существовать. А если и возникнет такая ситуация, то государство погибнет и неизбежное нашествие чужой власти, которая не даст долго наслаждаться анархией. Политика – жестокая схватка, а не консенсусы и толерантности. Повторять застарелые идеи «естественного права» после опыта XX в., после разрушения нашего государства, рассыпания его в архипелаг – это тешить себя иллюзией зазеркалья.

Либерализм попытается вынудить российскую нацию на забвение ее прошлого и принятие западных стандартов, среди которых будет зафиксирована достаточно малопривлекательная роль России в мировой истории и современной политике и экономике. Консерватизм, напротив, обещает нашей стране серьезные проблемы на мировой арене в ближайшем будущем, но одновременно и серьезное стратегическое продвижение в более отдаленной перспективе. Даже если отдаленные перспективы кажутся сейчас призрачными, непризрачным достоинством консервативной модели государства будет формирование дееспособной нации и выстраивание общественных и хозяйственных отношений с прицелом на конкурентные преимущества российской цивилизации. На этом пути теоретические изыскания становятся важными для понимания неслитного, но и нераздельного существования нации и государства, признаков и сущности суверенитета, основ национальной безопасности и т.д.

По сути дела, мы сталкиваемся с ситуацией, когда политические условия диктуют двоякую научную позицию – либо она носит ликвидаторский по отношению к государству характер и доказывает неизбежное торжество единственной модели модернизации (вестернизации) российского общества; либо это позиция оборонческая, в некотором смысле автаркическая, стремящаяся выявить мобилизационный потенциал нации за счет обращения к ее истории и к позитивным истолкованиям черт российской самобытности. В первом случае неизбежна этатизация политических доктрин, следующих ликвидаторской политической философии, и как ответная реакция – оппозиция доктрин, нигилистичных по отношению к государству. Во втором случае речь идет о создании современной российской нации, мобилизации государства на решение этой задачи и о средствах защиты российского государства-нации, государства-цивилизации.

Останавливая свой выбор на втором варианте, автор стремился дать читателю представление о том, насколько «классические» теории государства сохраняют свою

значимость для современности и какие элементы этих теорий утратили объясняющую и предсказательную силу. Новые условия политической коммуникации, безусловно, не могут быть игнорированы. Но не может быть отброшена и такая, например, характеристика государства как территория, над которой осуществляется суверенитет. Данная характеристика лишь приобретает новое измерение – информационное. Не случайно российская власть пытается сформулировать общие подходы к концепции информационной безопасности. Важность развития этого направления теории государства демонстрируется тем, что сегодня сохранение территориальной целостности уже не может быть обеспечено только административными методами. Как только население Большой России (СССР) на время упустило из виду некоторые общенациональные ценности, государство рассыпалось по административным границам. Сегодня, например, малейшее колебание в вопросе о принадлежности Курильских островов вызывает попытки изменить эту принадлежность как со стороны претендующих на острова японцев, так и со стороны внутренней оппозиции суверенитету и национальной независимости России.

Служение государству как этический императив обусловлено российской историей, в которой Русь стала последним оплотом православия, а Российская Империя – последним удерживающим мир от царства Антихриста. В этом смысле судьба России отразила в цепи видимых случайностей глубинный Божий промысел. В истории оправдана особая миссия русской нации в жизни человечества – миссия служения правой вере и свидетельство миру об Истине.

Самодержавие в России сложилось не в результате конкуренции за престол, а как воплощение религиозной идеи Третьего Рима, наследующего духовную практику от Византии. Сообразно этой идее русское дворянство было служилым сословием, и только проникновение западных идей дало ему «хартию вольности» и право на праздность («Манифест о вольностях дворянских» Екатерины II).

Военная судьба России наложила отпечаток на русскую нацию, создав в ней «роевое начало», коллективный дух воинского служения и ощущение своего единства с монархом в ратном или сельском труде. Разложению этого чувства причастности к государственному служению послужила праздность помещиков, провоцирующая тунеядство и разбой в крестьянской среде.

Роль чиновничества в России также была задумана Петром Великим как аналог воинской службы и продолжение воинского служения аристократии. Истощение потенциала родовой аристократии расплодило в госаппарате разночинцев, не подготовленных к служению и оторванных от воспитательной силы традиции. Либерализм в среде российского чиновничества имел самое широкое распространение. Мелкое чиновничество и интеллигенция предпочли идее служения государству идею служения народу, народной воле, а затем – уже в марксистских интерпретациях – идее революции во имя будущего счастья народа. Советский период отчасти восстановил служение государству как этическую идею, опирающуюся на новую псевдорелигиозную традицию. Но либеральный откат и отказ от всей традиций вообще снова бросил чиновничество и интеллигенцию в пучину нигилистических воззрений. Восстановление этики государственного служения сегодня возможно лишь, опираясь на сохранившуюся верность своему делу вопреки крайне низкому социальному статусу и материальному достатку.

Торгово-промышленное сословие именно в силу своей удаленности от государевой службы и приверженности делу, дающему барыш, всегда имело на Руси низкий статус и искало своего служения государству в благотворительности и меценатстве (строительство храмов, больниц, школ, театров, галерей). В перспективе этому сословию отдавалась роль социального призрения убогих и главенство в деле местного самоуправления. В рамках традиции вызревало также понимание связи частного предпринимательского дела с государственным. Либеральный разрыв этой зреющей традиции, сохранившейся в

советское время, подорвал хозяйственную мощь России, отбросив торгово-промышленный класс в начало его пути к единению с русской нацией.

Отношение личности к государству становится ключевой политической проблемой, когда ему предписывается постепенное исчезновение. Если служение личности государству объявляется порочным, а самому государству полагается обслуживать процесс собственных похорон, то неизбежно возникает ответная реакция самосохранения общества – консервативная реакция на либеральную утопию.

Вопрос о роли государства решается либералами очень просто: ими ставится задача сменить мотивацию служения государству на мотивацию обслуживания общества⁹⁷⁷. Речь идет о мотивации поведения чиновника, которого ориентируют на «оказание услуг населению», и гражданина, призванного стать потребителем государственных услуг. Соответственно из мотивации гражданского и служебного поведения предлагается исключить ориентацию на державность, государственное величие, служение государству. Консервативная реакция на такую программу реформирования госслужбы и гражданской позиции означает обращение к русской традиции государства, к концепции служения.

Комментируя государственную парадигму Просвещения, А.М.Салмин пишет: «Государство Абсолюта, обернувшееся абсолютистским государством, находится, между тем, на острие развития христианской цивилизации, принадлежит ее сути, ее необходимости, а не случайности. Напротив, ее яростная оппозиция – “Гражданская религия” – отнюдь не классическая ересь: возможно, именно поэтому, ослабленная действительными ересями, вольнодумством и индифферентизмом, христианская цивилизация Европы оказывается странно беспомощной в отношении ее»⁹⁷⁸.

«Деятели эпохи просвещения использовали Античность как духовный противовес христианству, а в социальном проекте отрекались и от Античности. Так Просвещение становится двойной антитезой – антихристианской, возникшей в христианской цивилизации, и анти-античной, возникшей из попытки сформулировать антитезу.

Осознанный разрыв просветителей (не одного Руссо) с христианским пониманием природы человека, резкое противопоставление себя выявившемуся в христианстве и развившемуся в христианской традиции ее ощущению не может не сближать в известном смысле просветительское восприятие с дохристианским и нехристианским видением человека в его отношении к себе. Просвещение вполне осознает это и пытается осмыслить свое положение. Его естественно тянет – через голову христианства – к античности, к афинской демократии и республиканским доблестям Рима, кое-кого – к лакедемонскому идеалу и поздним текстам Платона»⁹⁷⁹.

В либерализме задача служения исчезает, поскольку из Античности берется только понимание природы отдельного человека, но не природы его социальности. Таким образом, либерализм представляет собой ересь и в отношении христианства, и в отношении античной политики. Выходя из Просвещения, современный либерализм доходит до нигилизма, т.е. последовательного отрицания служения Богу и служения государству. Провозглашая служение человеку, он в действительности задает устранение из человека всего человеческого.

Либеральная идея обслуживания-потребления подспудно содержит в себе идею продажности и подкупности, которая в своем пределе доходит до измены за деньги. Уступка несовершенной человеческой природе, которую либерализм делает основой своего мировоззрения, в конце концов губит общество тотальной коррупцией, развитой в современном государстве как принцип существования государства. Введенная во времена истощения государственного организма, система «кормления» в период доминирования либералов стала единственной связью между гражданами и государством. К этому привел

⁹⁷⁷ Соответствующая конференция прошла летом 2003 г. в Высшей школе экономики.

⁹⁷⁸ Салмин А.М. Современная демократия. М.: Ad Margenem, 1997. С. 64.

⁹⁷⁹ Там же. С. 64–65.

принцип выгоды и службы-обслуживания. Как и в начале XX в. стихия своекорыстного предательства вылилась в систему взяточничества и разложения как государственной службы, так и гражданского самосознания.

Углубление христианского понимания личностного предметного служения, побуждает к видению иерархии служений – разрешению задач, возникающих в связи с выбором между любовью к ближнему и любовью к Отечеству. Н.Г.Дебольский по этому поводу говорит следующее: «Главное условие существования государства состоит в том, что его интересы возвышаются над интересами каждого входящего в его состав неделимого, что для сохранения своего государства каждый обязан жертвовать и имуществом, и жизнью. При грубом, механическом строе государства эта обязанность налагается на подданных внешнею властью; в национальном же государстве она должна опираться на добровольное согласие граждан. Но и в том и в другом случае сущность этой обязанности сводится к тому, что любовь к ближнему подчиняется требованию государственной пользы, что даже гибель ближнего находит себе оправдание, если она для государства необходима. Христианское правило: люби ближнего, как самого себя, сохраняет при этом свою силу. Но так как для человека есть нечто, что он должен любить *более*, чем самого себя, именно его *отечество*, то любовь к отечеству должна подчинять себе в сознании человека любовь к ближнему. Существование государства, как и существование церкви, одинаково требует, следовательно, подчинения моральных соображений соображениям общественным»⁹⁸⁰.

Следует уточнить, что здесь мораль распространяется лишь на отношения человека с человеком, а отношения человека и общества придется описать другим понятием, означающим ценности, превышающие правила частного общения, – патриотизм. В патриотизме мы имеем этические нормы служения Божию замыслу не в отдельном человеке, а в совокупности людей.

Иван Александрович Ильин выразил неясное либералам, но понятное в русской традиции различие службы и служения: «Чем бы человек не занимался, что бы он ни делал, где бы ни служил - он руководится своими внутренними *мотивами*, и не может не сознавать ту цель, ради которой он делает свое дело. И вот, во всяком благом деле есть некоторое *высшее, сверхличное задание, предметная цель*, придающая *высший смысл* всему тому, что Пушкин обозначал словами “жизни мышь беготня”, и указующая человеку, что и как надлежит ему делать. Это и есть то Дело, которым воистину стоит жить, за которое стоит бороться даже до смерти и за которое стоит и умереть. Человек, проникающийся этим смыслом, работающий во имя этого Дела, чувствует себя *предстоящим, ответственным, включившимся и включенным в некий предметный “кадр” и “фронт”*. То, что он делает, оказывается уже не службой, а *служением*. Он носит в своем сердце идею и знает, что такое идейный пафос, т.е. вдохновение, подъемлющее личные силы и расширяющее личные возможности. Он сразу поймет, если мы скажем, что служение *окрыляет его*, или если мы вспомним восклицание Суворова: “господа офицеры, какой восторг!”... В устах Суворова это слово “восторг” отнюдь не было ни преувеличением, ни аффектацией: оно точно выражало то самое, что он разумел и переживал сам, и что он хотел передать другим... - *окрыленный подъем души, созерцающей совершенство*. То, что составляет самую сущность Христианства»⁹⁸¹.

Следуя христианской заповеди, Ильин понимает служение как волю к совершенству. Неизгладимые пороки человечества вовсе не делают слово «совершенство» праздным и глупо-пафосным. «...совестная воля неустанно зовет человека к *исканию, обретению и осуществлению* самого лучшего, совершенного душевного строя и доступно наилучшего исхода из каждого жизненного положения. Она зовет к тому, чтобы увидеть

⁹⁸⁰ Дебольский Н.Г. Начало национальностей в русском и немецком освещении // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1916. № 2 (февраль). С. 183–207.

⁹⁸¹ Ильин И.А. Наши задачи. О предметности и продажности www.apocalypse.orthodoxy.ru/problems/123.htm

высший смысл своей жизни, чтобы найти себе сверхличное задание, свою предметную цель, чтобы преобразить “дела” в “Дело” и “службу” в *Служение*».

Христианская религиозная традиция, развитая в повседневном мотиве, в психологию предметного служения, противостоит либеральной мотивации личного успеха и добычи. Предметность противостоит продажности, служение – обслуживанию. Эта мысль Ильина имеет прямое отношение к пониманию роли государства. В православной традиции личность призывается на служение, а не на потребление; государство в целом также ищет своего служения как совершенного своего устройства в служении Богу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате интеграции мира в единое мировое хозяйство, возникновения явных признаков его монополярности и девальвации национальных суверенитетов поставлена под вопрос не только сама теория государственности, но и государство как таковое. Государство, по-прежнему оставаясь важнейшим субъектом мировой политики, становится самоистребительным инструментом глоболизирующихся элит. Не только большинство вопросов двусторонних отношений между государствами, но и все больше внутригосударственных вопросов решаются при прямом участии международных организации и транснационального лобби.

Современная политическая теория в России должна признать, что глоболизирующиеся элиты предали русский народ и служат интересам таких же элит со своими собственными планами извлечения прибыли, получаемыми от разрушения нации и государства. В связи с этим перед политической теорией стоит ряд вопросов, имеющих актуальнейшее прикладное значение. Насколько государство вообще, и Российское государство в частности, имеет перспективы сохранить классическую форму суверенитета и не превратиться в один из кирпичиков глобальной иерархической системы, напоминающей планетарную империю? Насколько сохранятся различия между государствами, если планета будет опутана глобальными экономическими связями, сетями коммуникаций и повсеместно присутствующими в культурных кодах и стилях жизни едиными стандартами, причем, несовместимыми ни с одной традиционной культурой?

Россия особенно сильно затронута процессами, размывающими национальное самосознание, — прежде всего распространением ценностей западного мира, нивелирующих самобытность российской государственности, сравнивающих ее с усредненной «общечеловеческой» массовой культурой. Мы имеем дело с разложением государственности, которое автоматически следует за упадком Традиции, а в современном мире связано с достаточно «свежей» тенденцией — с разгосударствлением мира под влиянием либеральных догм и транснациональных экономических интересов. Нынешняя концепция глобализации — всего лишь иная интерпретация прежних западных идей о конце истории, «золотом миллиарде» и столкновении цивилизаций. В рамках этой концепции государство считается уходящей сущностью, поскольку стирание границ между народами кажется либералам естественным и гуманным. Вместе с тем выгода от неуклонной деградации национальных суверенитетов распределяется далеко неравномерно в грядущем «мировом государстве».

В мировой политической системе поверх государственных границ уже наметились иные границы, которые имеют не только пространственное, но и национальное выражение. Мы можем наблюдать это в российской действительности. Даже в относительно благополучной Москве складывается национальная дифференциация, угнетающая коренное население вместе с его культурой. В столице России уже образовалась русская беднота, а власть и материальный достаток делят этнократические кланы, выстроенные в своеобразный интернационал. Русская провинция вопреки надеждам патриотов также демонстрирует деградацию традиционного русского самосознания и подавленность элементарных инстинктов выживания. Государство и нация в таком состоянии превращаются в объект прямой колонизации.

Мир наций и государств нестабилен, и наше видение будущего связано с тем, будет ли это мир колониально зависимых пространств, лишенных суверенитета, и народов, лишенных права на собственный исторический выбор. Быть может, нас ожидает целая эпоха, в которой борьба за суверенитет и национальную идентичность станет главным содержанием политического процесса, оставляя в стороне иные вопросы как второстепенные? Не будет ли монополярный мир охвачен сплошной гражданской войны?

Современность попала в клещи двух стратегий - глобализации, позволившей США

проникнуть почти во все уголки мира, и этнизации, которая теперь возводит новые границы, разрывающие обратную связь «золотого миллиарда» со всем остальным глобализированным миром, а попутно — связь между народами, составившими современные нации. Оба процесса подталкиваются западными учеными и отечественными либерал-марксистами вкупе с их учениками, воспитанными на зарубежные гранты. Русская политическая наука должна решительно противостоять измышлениям этого нездорового «сословия», впитавшего в себя все болезни беспочвенности российской интеллигенции.

Чтобы очнуться от обморока, доставшегося нам в наследство еще от обществоведения советских времен, русским ученым следует ясно увидеть кризис мировой науки, которая после 1945 г. (а более того, после 1991 г.) мигрирует в так называемую постсовременность — будто бы наступила такая эпоха, которой никакой исторический опыт не указ и никакие предки — не авторитет. И в связи с этим наука об обществе превращается в забаву, которую государства финансируют по привычке. Превращение политической науки из фикции в действующую политическую теорию дало бы России принципиально новое качество развития — прежде всего знание стратегии и смысла этого развития.

Наше исследование позволяет сделать вывод о том, что успешное развитие государства Российского связано не столько с изменениями и совершенствованием институциональных структур и доктрин, сколько с глубокими преобразованиями в сфере мировоззрения элит и национального самосознания граждан России. Следует вести речь о «консервативной революции» в системе ценностей, которая должна поставить нацию над государственным аппаратом и создать соответствующий вызовам времени сплав нации-государства и традиционной культуры.

Политические режимы, в которых нет внутреннего ощущения самобытности, нет глубоких культурных корней, нет национальной научной школы обществознания, обречены подчиниться новым веяниям и встроиться в общемировую колониальную систему в качестве несамостоятельного образования, управляемого местной либеральной бюрократией, получившей территорию в «кормление». Напротив, самобытное государство со сложившейся политической нацией будет эффективно сопротивляться попыткам внешних манипуляций и ренегатству собственного чиновничьего аппарата. У России, как у «мира миров», есть все шансы для такого противостояния и обеспечения достойного будущего и существенной роли в мировых делах. Исторический, человеческий, ресурсный потенциал создает основу для того, чтобы в России быстро сформировалась имперская нация-государство, чтобы либеральная бюрократия утратила свои доминирующие позиции во власти и в науке, а нация нашла в себе силы для отбора «ведущего слоя» — политического класса, защищающего национальные интересы и суверенитет.

Прежние утопии, побуждавшие многие государства к национальному строительству, — либеральная, коммунистическая, почвенническая — полностью или в значительной мере утратили свой потенциал. Именно

поэтому увеличилась роль этатистских концепций государства. В России они воплотились сначала в идею «сильной исполнительной власти» (1992—1993), затем в идею «сильного государства» (1999—2003) отразившуюся в программах большинства политических партий. Идея верховенства нации, несмотря на множество деклараций в пользу приоритета гражданского общества, оказалась утраченной. Это создает конфликт между «либеральным национализмом» и традиционалистским консерватизмом как в российских властных структурах, так и в партийно-политической среде. Разрешиться данный конфликт может лишь в результате утверждения новой парадигмы российской государственности. И тогда будущее России будет гарантировано, историческая развилка будет пройдена, страна-цивилизация отстоит свои пространства и отразит вторжение чуждых интересов и чуждых замыслов.

Пройти историческую развилку мы сможем лишь обратившись к собственной Традиции. В политике, в государственном строительстве это означает идеологию традиционализма. Русская вселенскость и православная соборность подготавливаются русской самобытностью, в которой вечные ценности отражены в частных, национальных. Обустроивая в опоре на эти ценности ядро русской цивилизации, мы можем разворачивать и собственный политический проект как образец возрождения Традиции.

Традиционализм — это внутреннее направление мировоззренческого служения Традиции. В политическом «срезе» мировоззрения возникает национальная форма консерватизма — внешняя форма традиционного мировоззрения. Разрыв традиционализма и консерватизма превращает их в вырожденные и враждебные России (в лучшем случае бесполезные) явления: утрата внешней составляющей превращает традиционализм в сектантство и гностицизм; утрата внутренней составляющей сводит консерватизм к одной из форм либерализма.

Идея Царства, православной монархии, идея симфонии Церкви и Государства более всего отражены в христианском мировоззрении. В этом смысле Традиция в современной России может проявляться только как реакция — системно выстроенный консервативный ответ на революционные мутации социума. Как пишет современный философ Виталий Аверьянов, христианство в его историческом происхождении — абсолютная реакция. Действительно, истинная традиция противостоит не только социальной революции, но и социальному модернизму, который неизбежно приводит к мутации общества и утрате им традиционных ценностей.

Реакция противостоит не только модернизму, но и постмодернистской смуте. Постмодернизм — это «перманентная революция» маргинальных групп, легитимированных в либеральной демократии в качестве «деидеологизированных идеологий». В своей маргинальности они оказываются равнозначными и равноприемлемыми, как бы ни корежился в них смысл исходных понятий, какие бы игры с языком в них ни предпринимались. Для русского самосознания, всегда стремящегося к ясности и высшей правде, эти бесконечные вариации кажутся странной заморской диковиной, которая вызывает все меньше любопытства и все больше справедливого возмущения.

Чтобы иметь перспективу установления в России традиционной государственности — пусть не впрямую монархии, но строя, основанного на монархических принципах, — следует понять паразитическую сущность как либерализма, так и социализма, возвышающихся только за счет низложения традиционных форм жизни и подрыва государственного могущества. Консервативная идеология противопоставляет этим разлагающим концепциям свои социальные доктрины: религиозный традиционализм, империализм и великодержавный национализм. В ней отражены ценности православной ортодоксии, надсословной монархии, национально-государственного единства (унитаризма), родовой солидарности и государствообразующей роли русского народа. Это альтернатива современным тенденциям ослабления мощи государства и скреп политической нации, все более подрываемым частными и групповыми эгоизмами, индивидуалистической моралью, преимуществами национальных меньшинств, федералистскими концепциями, интернационализмом и глобализмом.

Сообразно современной ситуации вряд ли следует ожидать появления монархической или клерикальной партии. Зато соответствующие элементы мировоззрения вполне могут присутствовать у представителей партий с самыми причудливыми именами. Что же касается партий, принимающих консервативные ценности, то, вполне вероятно, в ближайшие годы могут появиться национально-консервативная (имперская) и национально-гражданская (социальная) партии. При множестве совпадающих позиций (православный традиционализм, русский национализм) первая из них будет условно «правой», в большей мере ориентированной на органичную иерархию русского общества (национальную, административную, социальную), а вторая

— условно «левой», нацеленной на сглаживание и умиротворение иерархических различий. Разумеется, здесь не может быть ничего обоего с теми отношениями правых/левых, которые установились на Западе и о которых так мечтают многие российские политологи, пытающиеся подогнать русскую действительность под свои заблуждения.

Для русского интеллекта всегда было непросто объяснить и взвесить сочетание самобытности и вселенскости русского народа, а для государственных мужей — уберечь страну от уклонений либо от вселенского, либо от родного. Проблемы мировоззрения всегда вращались вокруг неоднозначной идеи «народа» и «народности». Эта идея всегда и всюду является заведомо незрелой, откуда народ воспринимается как этнографический субстрат, оформленный государством. Зрелое содержание идеи народа состоит в представлении о родовой солидарности и священной родовой истории, которая может быть сохранена от разрывов только под сенью Церкви — в общине «народа Божиего», где народ вызревает в нацию — сверхродовое единство в культе и культуре.

Русский национализм имеет следствием русское национальное государство, но не замкнутое в себе и враждебное другим народам, а открытое имперскому строительству. В русской православной империи Россия обустроивается для русских, но не только для них. Имперский противовес узкоэтническому национализму и вселенский противовес православной веры, смиряющий заносчивость элит, создают национал-имперский синтез, когда обустройство России для русских становится одновременно обустройством России и для других коренных народов.

Имперская константа в русской идеологии важна тем, что дает священству и церковному народу то поприще, на котором невозможно впасть в протестантизацию и утратить размах русской духовной миссии. Теократический характер идеи Империи содержательно наполняет Государство, обогащает его смыслами, восстанавливает центростремительные процессы, собирает Русь после очередной Смуты и дает силы для нового геополитического и мировоззренческого «вздоха» русской государственности.

В этом видении пути от либеральной демократии к русской Империи обозначается политический проект возрождения исторической России, отличный от прочих имперских проектов (прежде всего от проекта «либеральной империи» США). Имперский проект для России — это одновременно и возвращение к своей миссии, и шанс для человечества не допустить «конца истории», измельчания политики до ничтожных дрыз мышинной возни частных эгоизмов. Православная Империя — это у версалистский проект, противостоящий глобализму, глобальной а империи, нивелирующей все культурные различия и стирающей все традиции.

Для условий современности самая напряженная идея русского бытия - идея воссоединения. Воссоединение территориальное - как политическая задача, воссоединение истории - как нравственная задача. Внутреннее воссоединение — как преодоление «титulyного» федерализма, внешнее воссоединение — как возвращение в единое государство Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Казахстана, а затем и других самостийных частей прежней русской Империи.

Воссоединение России в любых его формах — это путь из Смуты, возвращение исторически обусловленных рубежей русского мира, возрождение русской цивилизации как явления, определяющего судьбы человечества.

Итак, возвращение к традиционной государственности предполагает:

- идеологию реакции, противостоящую социальным экспериментам;
- вытеснение «лево-правого» конфликта плодотворной конкуренцией и консервативным синтезом традиционализма-реформизма;
- проект православной Империи, выстроенной русской политической нацией;
- воссоединение исторической России, русского мира и воссоздание русской цивилизации во всем ее пространственном и духовном размахе.

Мы можем питать надежду на восстановление традиционных форм власти,

присущих традиционно российской государственности, рассчитывая только на очаги и «острова» Традиции, которые постепенно соединятся в сеть-архипелаг и смогут сначала сковать антитрадиционные силы, а потом укротить их. Тогда Россия в современном мире превратится в континент Традиции и получит решающий импульс национально-государственного развития.

Русской нации предстоит вспомнить государство как таковое, отличив актуальную ситуацию от той, которая защищает гражданина расположенным к нему государственным строем бытия. Мы должны почувствовать, что государства вокруг нас нет — нет того защитного покрова, который должен отражать или смягчать львиную долю опасностей. А затем понять, что такое было классическое государство в его самобытном российском виде. Без этого все разговоры о правовом порядке и социальной защите остаются всего лишь сотрясанием воздуха или, прямо говоря, наглой ложью. Сегодня признаки государства как будто нарочно вычеркнуты из учебников и изгнаны из системы образования. Положенное для нормальной жизни общества знание заменено неким либеральным «правом» — словесной шелухой, которая выветривается из головы, как только человек сталкивается с реальной жизнью.

На гибельном пути мы уже сделали немало шагов. Пора поворачивать. Русские слишком много отдали в прошедшие годы. Даже государство. И теперь, чтобы спастись, остается только возвращать «наши пяди и крохи». Прежде всего отнимать у глобализирующейся и этнизирующейся бюрократии наше государство, у олигархии — наше национальное достояние, а у прислуживающих антинациональным силам интеллектуалов — право выступать от имени науки.